

# Александр Исаевич Солженицын

## Красное колесо. Узел I Август Четырнадцатого

### О КНИГЕ

#### Последняя редакция Узла сделана уже в процессе набора, в 1981 в Вермонте.

“Август Четырнадцатого” задуман автором в 1937 году – ещё не как Узел Первый, но как вступление в большой роман о русской революции. Тогда же, в 1937 в Ростове-на-Дону, собраны все материалы по Самсоновской катастрофе, доступные в советских условиях (немалые), – и написаны первые главы: приезд полковника из Ставки в штаб Самсонова, переезд штаба в Найденбург, обед там... Конструкция этих глав осталась почти без изменения и в окончательной редакции. В той первой стадии работы много глав отводилось Саше Ленартовичу, но эти главы с годами отпали. Были также главы об экономии Щербаков (дед автора по матери), где уже тогда задевался вопрос о деятельности Столыпина и значении убийства его.

Затем в работе над романом наступил перерыв до 1963 года (все заготовки сохранились через годы войны и тюрьмы), когда автор снова стал усиленно собирать материалы. В 1965 определяется название “Красное Колесо”, с 1967 – принцип Узлов, то есть сплошного густого изложения событий в сжатые отрезки времени, но с полными перерывами между ними.

С марта 1969 начинается непрерывная работа над “Красным Колесом”, сперва главы поздних Узлов (1919-20 годы, особенно тамбовские и ленинские главы). Той же весной 1969 писатель перешёл к работе над одним “Августом 1914” – и за полтора года, к октябрю 1970, кончил его (то, что в нынешнем издании составляет первый том и часть второго).

В таком виде Узел Первый был опубликован в июне 1971 в Париже издательством YMCA-press, в том же году вышло два соперничающих издания в Германии, затем в Голландии, в 1972 – во Франции, Англии, Соединённых Штатах, Испании, Дании, Норвегии, Швеции, Италии, в последующие годы – и в других странах Европы, Азии и Америки.

Самовольное печатание книги на Западе вызвало атаку на автора в коммунистической печати.

После высылки писателя в изгнание, он углубил написанные ещё в СССР ленинские главы, в том числе и 22-ю из “Августа”, намеренно не опубликованную при первом издании. Она вошла в отдельно изданную сплотку глав “Ленин в Цюрихе” (Paris, YMCA-press, 1975). Весной 1976 писатель собрал в Гуверовском институте в Калифорнии обширные материалы об истории убийства Столыпина. Летом-осенью 1976 в Вермонте были написаны все относящиеся к этому циклу главы (ныне 8-я и 60-73). В начале 1977 написана глава „Этюд о монархе” (ныне 74-я, была отдельно напечатана в “Вестнике РХД”, 124, 1978) – после чего Узел Первый окончательно стал двухтомным.

Все заметные исторические лица, все крупные военачальники, упоминаемые революционеры, как и весь материал обзорных и царских глав, вся история убийства Столыпина Богровым, все детали военных действий, до судьбы каждого полка и многих батальонов, – подлинны.

Отец автора выведен почти под собственным именем, и семья матери доподлинно. Семьи Харитоновых (Андреевых) и Архангородских, Варя – подлинны, Ободовский (Пётр Акимович Пальчинский) – известное историческое лицо.

# ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.

## РЕВОЛЮЦИЯ.

*“Только топор может нас  
избавить, и ничто, кроме  
топора... К топору зовите Русь”.*

Из письма в “Колокол”, 1860.

### УЗЕЛ I

## АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

(10-21 августа ст. ст.)

### 1

Они выехали из станицы прозрачным зорным утром, когда при первом солнце весь Хребет, ярко белый и в синих углубинах, стоял доступно близкий, видный каждым своим изрезом, до того близкий, что человеку непривычному помнилось бы докатить к нему за два часа.

Высился он такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных. За тысячи лет все люди, сколько жили, доотказным раствором рук неси сюда и пухлыми грудями складывай всё сработанное ими или даже задуманное, – не поставили бы такого сверхмыслимого Хребта.

От станицы до станции так вела их всё время дорога, что Хребет был прямо перед ними, к нему они ехали, его они видели: снеговые пространства, оголённые скальные выступы да тени угадываемых ущелий. Но от получаса к получасу стал он снизу подтаивать, отделился от земли, уже не стоял, а висел в треть неба и запеленился, не стало в нём рубцов и рёбер, горных признаков, а казался огромными слитными белыми облаками. Потом и облаками уже разорванными на части, уже не отличимыми от истых облаков. Потом и их размыло, Хребет вовсе изник, будто был небесным видением, и впереди, как и со всех сторон, осталось небо сероватое, белесое, набирающее зноя. Так, не меняя направления, они ехали больше пятидесяти вёрст, до полудня и за полдень, – но великанских гор перед ними как не бывало, а подступили близкие округлые горки: Верблюд; Бык; плешивая Змейка; кудрявая Железная.

Они выехали ещё не пыльной дорогой, ещё росной прохладной степью. Они проехали те часы, когда степь звенела, вспархивала, щебетала, потом посвистывала, потрескивала, пошуршивала, – а вот уж к Минеральным Водам, волоча за собой ленивый пыльный взмёт, подъезжали в самый мёртвый послеполуденный час, и отчётливый звук был только – мерное постукивание их: таратайки, дерево об дерево, а копытами в пыль становились лошади почти неслышно. И все тонкие запахи трав за эти часы были и перешли, а теперь настоялся один знойный солнечный запах с подмесью пыли, и так же пахла их таратайка, и сенная подстилка, и сами они – но, степнякам от первой детской памяти, этот запах был им приятен, а зной – не утомителен.

Отец пожалел дать им рессорную бричку, берёг, оттого на рыси их трясло и колотило, и большую часть дороги они проехали шагом. Ехали они меж хлебов и между стад, миновали и солончаковые проплешины, перекачивали пологие холмы, пересекали отлогие балки, с

близкой водой и сухие, ни одной настоящей реки, ни одной большой станицы, мало кого встречая, мало кем обогнанные по воскресному малолюдью, – но Исаакию, и всегда терпеливому, особенно сегодня, по настроению и замыслу его, совсем не тягостны были эти восемь часов, а мог бы он и шестнадцать проехать так: из-под дырявой соломенной шляпы – посверх лошадиных ушей, да придерживая возжи ненужные.

Евстрашка, младший, от мачехи, братишка, эту всю дорогу ему сегодня же ворочаться в ночь, сперва спал на сене за спиной Исаакия, потом вертелся, на ноги поднимался, разглядывая в траве, соскакивал, отбегал, догонял, полно было ему дел, ещё и рассказывал или спрашивал: “А почему, если закроешь глаза, кажется – назад едешь?”

Сейчас перешёл Евстрат во второй класс пятигорской гимназии, но сперва, как и Исаакия, его соглашался отец отпустить только в ближнюю прогимназию: остальные ведь, старшие братья и сестры, не знали, не видели ничего, кроме земли да скота да овец, и жили же. Исаакий был пущен учиться на год позже, чем надо, и после гимназии год передержал его отец, не давая себе сразу втолковать, что теперь какой-то нужен университет. Но как быки сдвигают тяжесть не урывом, а налогом, так Исаакий брал с отцом: терпеливым настоянием, никогда сразу.

Исаакий любил свою родную Саблю и хутор их в десяти верстах, и сельскую работу, и теперь, в каникулы, нисколько не отлынивал ни от косьбы, ни от молотьбы. В понимании своего будущего он как-то рассчитывал соединить свою первородную жизнь и набранное в студенчестве. Но, что ни год, выходило напротив: учение бесповоротно отделяло его от прошлого, от станичников и от семьи.

Во всей станице двое их было, студентов. Удивленье и смех вызывали среди станичников их рассуждения, их вид, – и едва приехав, спешили они переодеваться в своё старое. Впрочем, одно было приятно Исаакию: станичная молва почему-то отделила его от другого студента и назвала – с издёвкой же – народником. Кто это первый прилепил и как это выложилось, а все дружно стали кликать его “народником”. Народников давно уже в России не было, но Исаакий, хоть никогда б не осмелился так представиться вслух, а понимал себя, пожалуй, именно народником: тем, кто ученье своё получил для народа и идёт к народу с книгою, словом и любовью.

Однако даже в родную семью возврат был почти невозможен. Три года назад уступивши непонятному университету, отец уже не менял решения, не брал назад, но испытывал как свою ошибку, как потерю сына. Только и видел он в нём прок на каникулах – взять Саньку на сельские работы, а в остальные отлучные месяцы развидеть смысла учёности не мог.

Да с отцом осталось бы у них сродно, когда б не мачеха Марфа – бойкая, властная, жадная, стягивала дом под свою руку, свобода простор для детей своих. Старшие братья и сестры Исаакия уже отделились, по мачехе чужел и отец, и дом родной. Приглядысь, позадумывался Саня ещё и пареньком: как же тяга эта ведёт человека всего, и долго, если, за сорок овдовевши, отец привёл вторую жену двадцатилетнюю, а этакой бабе молодой проворной, сам теперь о-шестьдесят, уставу твёрдого положить не мог, и не многое сам решал.

Да и воззрения новоприобретаемые отдаляли Исаакия. В детстве знал он немудро, беспонятно посты и праздники, босиком ко всенощной, – а потом от становой народной веры кто только его не отклонял. И Саблинская сама, и вся округа их была просеяна сектами – молоканами, духоборами, штундистами, свидетелями Иеговы, из секты была и мачеха, стал насчёт церкви теряться и отец, споры о верах были излюбленные в их местности в досуг, Саня много ходил-прислушивался, пока воззрения графа Толстого не отодвинули ему эти все разноверия. Сумятица умов была и в городах, образованные друг друга тоже не все понимали, а учение Толстого так убедительно укладывало в мире всё, требуя одной лишь правды. Увы, и толстовская правда в отношениях с семьёй привела Саню, наоборот, ко лжи: так, став вегетарианцем, нельзя было объяснить, что делает это по совести, – позор и смех поднялся бы и по семье и среди станичных; пришлось начинать со лжи, что не есть мясного

– это медицинское открытие одного немца, обеспечивает долгую жизнь. (А на самом деле, напившись снопам, тело до дрожи требовало мяса, и ещё самого себя надо было обманывать, что довольно картошки и фасоли).

Отчуждение от семьи облегчило Исаакию и нынешнее решение, с чем уезжал он теперь, – но и тут открыться не мог, пришлось и тут солгать, что требуется ему ехать в университет на практику прежде времени, и саму эту практику придумывать и втолковывать простодушному отцу.

Три недели войны отозвались до сих пор в их станице лишь двумя царскими манифестами, на Германию и на Австрию, прочтёнными в церкви и вывешенными на церковной площади, да двумя отъездами запасных, да ещё отдельным отгоном коней в уезд, потому что числилась теперь станица Саблинская не казаками терскими, а кацапами. Во всём же другом как не было войны: не попадали в их станицу газеты, и письмам из Действующей армии было рано, – да ещё понятия такого не было “письма”, до сих пор “получать письма” в их станице было нескромностью, выделением, Саня старался не получать. Из семьи Лаженицыных не взяли никого: старший брат был уже в годах, уже сын его служил на действительной, у среднего брата не хватало пальцев, Исаакий – студент, а мачехины дети ещё малы.

И в сегодняшней полудневной езде по обширной степи тоже не послан был им никакой знак войны.

Переехав по мосту Куму, перевалив каменистым переездом через зноистое двухпутное полотно и уже едучи по травяной улице станицы Кумской, теперь Минеральных Вод, – и тут нигде не заметили они признаков войны. Так не хотелось жизни переворачиваться! Где только могла, она текла и таилась по-прежнему.

В тени большого вяза у колодца они остановились: Евстрашка должен был здесь обгодить, остудить и напоить коней, потом подъехать к станции. Саня обмылся, обхлюпался до пояса, два ведра извёл, ледяную на спину поливал ему Евстрашка тёмной жестяной кружкой, – тогда протёрся хорошенько, надел чистою белую рубаху с пояском, вещи покинул в таратайке и налегке, сторонясь от пыли, пошёл к станции.

Пристанционная площадь недавно была украшена посадкой сквера, но так и рылись куры по её окраинам да к длинному зданию станции подъезжавшие шарабаны и телеги взнимали воздушный наслей пыли.

Зато минералводский перрон, во всю длину покрытый лёгким навесом на тонких крашенных столбиках, провеваемый, прохладный, манил за собою курортами и сегодня, как всегда. У столбиков навеса вился дикий виноград, всё было привычно-дачное, весёлое, никакой войны и здесь как будто не знал никто. Дамы в светлых платьях, мужчины в чесучёвом шли за носильщиками к платформе кисловодских поездов. Продавалось мороженое, нарзан, цветные летучие шары и газеты. Саня купил одну, подумал – и вторую, разворачивал их уже на ходу, а потом на лавочке у дачного перрона. Вопреки обычной степенности он не дочитывал сообщений, перескакивал по столбцам – и просветлялся. Хорошо, хорошо. Наша крупная победа под Гумбиненом! Противник будет вынужден очистить всю Пруссию... И в Австрии хорошо дела... И у сербов победа!...

По хуторской привычке бережа всякую вещь, вот и бумагу, он сложил газеты не заминая, не рвя, как если б думал нужны будут вечно, встал и пошёл в кассу, узнавать о поездах. Он ровно шёл сквозь пассажирскую сутолоку, не разглядывая людей, – и вдруг из этой пересечки вырвалась девушка, он и не обернулся, как летела она, может быть на поезд, – а она к нему! он тогда и понял, когда обвила его за шею руками, притянулась, поцеловала – а вот уже и откинулась, своей смелости удивляясь, раскраснелая, радостная:

– Саня!!! Вы?? Какое совпадение! А я всю дорогу из Петербурга почему-то...

Всего-то полсекунды обнимала, а всё настроение и мысли сшибла, сметнула, и он стоял растерянный, с тем летучим, что возникло в этот налётный миг, и ещё оставалось на нём, не только от губ, солнечно нагретых.

Варя. Старая знакомая гимназических лет, после Пятигорска и не виделись, сперва ещё

писали иногда. Раньше – заглаженная узкая головка сироты, а теперь волосы стрижены, пышно набиты вширь, и какой-то взгляд победно – возбуждённый:

– Я почему-то так и думала: а вдруг – вас встречу? Понимала, что невозможно, а... Даже мысль была – дать вам телеграмму в станицу, только знала, что вы не любите.

Саня стоял, улыбаясь. Он сбит был – и как она изменилась от шестиклассницы, и неожиданностью, и какая, при чём тут телеграмма (разорвалась бы в доме как бомба), и ощущением нагретости её.

– А я вот четвёртые сутки всё еду! – радовалась она. – Умирает мой опекун, и надо поклониться. Не самое удобное время ехать, поезда полные... А вы?... Тоже едете?... Или встречаете кого?

Такая дурашливая мысль, пошутить: вас. И этот налёт её, и безо всяких усилий... Пошутить: а я по сну приехал, вы мне приснились; сразу: да не может быть? Она так и стояла, как будто всё ещё разогнанная, в наклон к нему.

Варя не бывала красива, и не похорошела за эти годы, оставался тот же твердоватый по-мужски подбородок и удлиненный нос, но вспыхнуло радостное напряжение встречи, от чего она опалена и просто хороша:

– А помните?... А помните?... Как мы с вами на бульваре тоже вот так встречались – неожиданно, без уговора? Судьба?... Слушайте, Саня, куда вы сейчас? Ну, найдите время! Давайте побудем вместе. Давайте, я побуду в Минеральных?... А хотите – поедемте в Пятигорск?... Как вы решите, так и будет, а?... – Внезапные фразы бросала она, с неожиданным значением и выражением, как налетела и как стояла, не вполне ровно.

Заколебало, заклубило, замутило всё то высокое чистое настроение, с которым Саня сегодня прозрачным утром выехал и насматривался на снежно-синий скалистый Хребет. Как Хребет расплылся, так вдруг и всё дорогое настроение его. Вечное борение с искусствами, вся наша жизнь: мяса есть нельзя – а хочется, злого делать нельзя, доброе трудно... А в Минеральных Водах только пройдишь, тут увидят свои станичные, дома расскажут... А ехать в Пятигорск – и вовсе уклонение, вздор. Гостиницы, рестораны?... Все копейки рассчитаны на билет.

Жалко было своё сегодняшнее особенное утро. Но, с удивлением к себе: уже и жалко было бы не встретить Варю. Так Саня ощущал, что, пожалуй, способен вдруг и поехать с ней.

А она сияла, остролицая, видя его уже согласным, но по разгону повторяла с резковатыми призывками:

– А – куда вы? Куда? Зачем?

И так сама напомнила. Навела.

Отвела.

Улыбаясь рассеянно и чтоб её не обидеть:

– Я... В Москву. – Он смотрел в сторону, вниз, как виноватый. – Сперва в Ростов заеду, там друг у меня, Константин, может быть знаете?

– Но ведь до занятий ещё три недели! – Рукой, до локтя открытой, взяла у локтя его, крепко, требовательно. – Или, думаете, вас...? – затревожилась, потянула сильнее, – с четвёртого курса? Ни за что! Зачем же вы едете?

Вот так просто ответить на ходу – было разменно, недостойно. Саня улыбался смущённо:

– Да понимаете... Н-не: сидится... на хуторе...

Она вздрогнула откинутой головой, как лошадь, увидевшая круто вниз, и напряглась, уже за обе руки спасая его:

– Да вы... не... ли... до-бро-вольно?...

Правда, они встречались раньше, даже не уговариваясь. Со скрытой надеждой ученица городского училища выходила к вечеру на главный бульвар Пятигорска, и вот ей навстречу шёл уже знакомый, на три года старше, гимназист.

А встретясь, они рассуждали. Их встречи были серьёзные умные разговоры, для Вари

очень важные: Варя никогда никого не помнила старшего близкого. Даже когда темнело, наставницы и наставники увидеть их не могли, и Сане вполне было уместно взять Варю под руку, – он не брал. И она особенно уважала его за такую серьёзность. (Хотя, пусть бы меньше уважала).

Позже, переведясь в гимназию, она стала встречать Саню и на ученических балах и других собраниях, но и там больше рассуждали, а не танцевали никогда. Саня говорил, что объятия вальса создают желания, ещё не подготовленные истинным развитием чувства, и граф Толстой полагает в этом дурное. Подчиняясь его мягким разъяснениям, уверилась и Варя, что танцевать не хочет.

И ещё потом сохранялась между ними переписка, очень разумные письма писал он. Хотя в Петербурге на курсах далеко расширился варин кругозор, и много умных людей знала она теперь, но и Саню вспоминала.

А когда три недели назад у себя на Васильевском Варя прочла наклеенный на тумбе царский манифест, потом трамваем переехала через Неву, а там, на Исаакиевской площади, патриоты громили германское посольство, били стёкла, выбрасывали в окна мебель, мрамор и проткнутые картины, свалили с кровли на тротуар огромных бронзовых коней, ведомых гигантами, и все люди вокруг возбуждённо радовались, будто пришла не война, но их долгожданное счастье, – в тот сметный миг, подле черно-коричневых колонн Исаакия, защемило у Вари повидать бы теперь Саню. Да проезжая мимо Исаакиевского собора она и всегда его вспоминала: не любя своего имени, Саня отшучивался, что Пётр Великий ему тёзка: тоже на Исаакия родился, отчего и собор, только императору облагодзвучили имя, а степному мальчику нет.

Не предполагала Варя, внезапно вызвали её в Пятигорск: тяжело заболел её опекун, не опекун, – жертвователю, на деньги которого она и многие другие сироты учились, и сочтено было, что она должна его навестить, хотя он и не помнил всех, на кого жертвовал, и не мог приезд какой-то незнакомой курсистки с остывшими благодарностями подбодрить его. И вот, через всю ширину империи, томясь четыре дня в поездах, Варя почему-то придумывала и вызывала: “Саня, встреться! Саня, встреться!” – как когда-то, проходя всю длину пятигорского бульвара.

Не обязательно именно Саню, сколько мужских характеров этот Толстой перепортил. А просто ехала Варя от Исаакия – через Москву, через Харьков, через Минеральные Воды, всё санины места. Грянула война – ей стало одиноко, упущение. Не была и прежде полна её жизнь, но ощущалась полнота общего озера. А теперь как будто разверзся донный провал, и туда с крученьем и гулом стала навсегда уходить вода озера – и пока не всё пересохло, надо было спешить, спешить!

А ещё: разобраться, как это сразу всё закособочилось, куда поползло? Всего месяц назад, три недели назад, кажется никакой мыслящий русский гражданин не сомневался, что глава России – презренная личность, недостойная даже серьёзного упоминания, немислимо было без насмешки повторить его слова. И вдруг в день-два всё изменилось. По виду образованные и неглупые люди, никем не понуждаемые, собирались, строгие, около тумб – и с этих тупых цилиндрических тумбленных туш им выглядело длинное титулование монарха совсем не смешным, и никем же не понуждаемые чтецы громко читали ясными голосами:

“Встаёт перед врагом вызванная на брань Россия, встаёт на ратный подвиг с железом в руках, с крестом на сердце... Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мирской славы подняли мы оружие, но ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой нашей империи, боремся за правое дело...”

Всею долгой дорогой наблюдала Варя сопутствия войны: военные погрузки, проводы. Особенно на полустанках лихо выглядело русское прощание: под балалайку выплясывали запасные на утолоченных площадках, взметая пыль, и что-то развязно кричали, видно пьяные, а родные крестили их, плакали по ним. Когда ж мимо товарного поезда запасных пронёсился другой такой же поезд – взлетало братское “ура-а-а!” из двух поездов и растягивалось, безумное, отчаянное, бессмысленное, на длину двух составов.

И никто не демонстрировал против царя.

А Саня в белой чистой рубашке был особенно степной, загорелый, примятые волнистые пшеничные волосы, пропалённые солнцем на крестьянской работе. Едва увидела – и кинулась к нему, на свою загадку-угадку, но и – сбить одним движением эту прежнюю тягучую робость их встреч. Так поверилось, что сейчас они всё своё бросят – и куда-то, куда-то...

Саня был простак уже и до сложности.

Меж коротко подстриженными русыми усами и диковатой порослью ещё-не-бородки улыбался мягко, раздумчиво. И в глазах, как всегда, непрерывная внутренняя работа. А уже – и заглатывающее заострение – общее – увидела на нём. Уходил! – добровольно?...

– Саня! Не идите! – за плечи его. – Не уходите!

Тем же водоворотом, в тот же донный провал закручивало и его... От него же занятую когда-то рассудочную ясность она теперь порывалась ему вернуть, из водоворота выхватить его назад, как успеет. Она не готовилась, само натекало на язык... Десятилетия гражданской литературы, идеалы интеллигенции, народолюбие студенчества – и всё отдать зашлёпать в один миг? Забыть этого... Лаврова, Михайловского?... Хор-рошенькое дело! – так поддаться тёмному патриотическому чувству! изменить всем принципам! Ладно, он не был революционером, но пацифистом-то был всегда!

Со стороны показалось бы, что это она воинственно настроена, а он мягко отговаривает её от войны. Варя разгорячилась, и улыбка её стала резкой. Приподнялась и в отчаянии сбилась её шляпка – дешёвая и беззатейная, не для привлекательности выбранная, а защищать от солнца только.

Не находясь возражать, не защищаясь, Саня кивал.

Грустно:

– Россию... жалко...

Урчала, гудела, уходила вода из озера!

– Кого? – Россию? – ужалилась Варя. – Кого Россию? Дурака императора? Лабазников-черносотенцев? Попов долгорясых?

Саня не отвечал, ему нечего было. Слушал. Но под хлестом упреков несколько не ожесточался. Он на каждом собеседнике себя проверял, всегда так.

– Да разве у вас характер – для войны? – подхватывала Варя всё, что только можно было, что под рукой.

В первый раз она чувствовала себя умней его, зрелей его, критичней, – но от этого только холод утраты сжимал её:

– А Толстой! – нашла она ещё, последнее. – Что сказал бы Лев Толстой – вы подумали? Где же ваши принципы? Где же ваша последовательность?

На загорелом санином лице под пшеничными бровями, над пшеничными усами голубели ясные, печальные, в себе не уверенные глаза.

Плечи чуть подняв, чуть опустив:

– Россию жалко...

## **ДОКУМЕНТЫ – 1**

**23 июля**

### **ПОСОЛ ФРАНЦИИ ПАЛЕОЛОГ – ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II.**

... Французская армия должна будет вынести ужасный удар 25 немецких корпусов. Умоляю Ваше Величество отдать приказ своим войскам немедленно начать наступление. В противном случае французская армия рискует быть раздавленной.

## **ДОКУМЕНТЫ – 2**

**31 июля**

### **Запись маршала Жоффра.**

... Предвосхищая все наши ожидания, Россия начала борьбу одновременно с нами.

**За этот акт лояльного сотрудничества, которое особенно достойно, поскольку русские ещё далеко не закончили сосредоточение своих сил, армия Царя и великий князь Николай заслужили признательность Франции.**

### **ДОКУМЕНТЫ – 3**

**1 августа**

**НИКОЛАЙ II – МИНИСТРУ САЗОНОВУ**

**... Я приказал великому князю Николаю Николаевичу возможно скорее и во что бы то ни стало открыть путь на Берлин. Мы должны добиваться уничтожения германской армии.**

## **2**

Это не ново было для Сани, что он запутывался в противоречиях, что его взгляды не сходятся с чувствами. Но если в противодействии мясу или танцам можно было всякий раз и от месяца к месяцу упражнять свою выдержку, то войны никто никогда и не предлагал, не хвалил, не манил ею, она казалась вовсе исключена в цивилизованный развитой век, – так некогда было к ней и подготовиться. Было усвоенное представление: война – грех. Без единой проверки легко было так считать. Но вот разразилась первая – и в раздольной бестревожной степи, под небом бестучным – засосало. И незащитно почувствовал Саня, что эту войну ему не отвергнуть, не только придётся идти на неё, но подло было бы её пропустить – и даже надо поспешить добровольно. В станице не оспаривали и не обмысливали войну как событие, которое будто бы в наших руках, могло бы быть или не быть допущено. Войну и вызовы воинского начальника там все принимали как волю Бога, как снежный буран, как пыльную бурю. Но и добровольного ухода тоже взять в толк не могли бы. И в сегодняшней долгой дороге, поколачиваемый таратайкой и пожигаемый солнцем, Саня решил ещё неясно, неокончательно. Ещё предстояло ему в Ростове совещаться с другом своим, Котей. Измена Толстому была уж и совсем определённая. Но услышав Варю и приняв на себя взмёт возможных демократических и революционных аргументов, Саня не обнаружил среди них решающего: через тёмную бездну, зинувшую перед Россией, не бросали они никакого моста.

И он расстался с Варей более убеждённый идти добровольцем, чем до неё.

Другое: с Варей самой. Он ведь еле удержался. Она так звала, и так томительно ему, – поехал бы! По-крестьянски: ломай солому пока трещит, а девку пока верещит. Но уже в боях умирали люди. Нечестно. Поехал бы – и смял бы, сбил всё настроенье своё и, может, даже, в станицу бы вернулся.

Это всё он перебирал полночи уже в бакинском почтовом, на боковой верхней полке, только-только помещаясь в длину от макушки до подошв. Из Минеральных выехали вечером, от военного времени было переполнение: в третьем классе редкая полка пустовала.

Расстался с ней – тут и потянуло: ах, зря! Хоть вдогонку езжай. Теперь-то именно, идя на войну, как же было пренебречь?

Так заныло, лучше б не встречал. Так заныло, хоть в Харьков заезжай, к черноволосой Леночке с гитарой и романсами. А какая ж разница – Пятигорск или Харьков? Если б он поехал с ней – ничего б не стоило и всё его решение, и движенье.

Хотелось, мечталось Сане дожить – полюбить по-настоящему. Душой полюбить. И на всю жизнь.

Но теперь пока расстилалась – война.

В вагоне было душно, у Сани правая сторона по ходу, и имел он право оттянуть свою раму вниз, так открыл себе продух, а решётку складную опустил, чтоб не вывалиться. На частых остановках ходили по вагону, цепляли за простеленную санину студенческую тужурку, разговаривали за окном на платформе, – Саня просыпался, и сразу подступало всё то же ощущение беды, не собственной своей, но от этого не меньшей. Поглядывая на



стеариновую свечу в стеклянном простенке, освещавшую четыре купе сразу, Саня по отгару её соображал, сколько времени прошло. На ходу пламя свечи подрагивало, и колебались густые тени под полками.

А то слышал он название станции или: высматривал её через щель решётки: он каждую тут станцию знал в лицо и мог наизусть их перечислять с полустанками от Прохладной до Ростова и наоборот.

Он любил эти все станции, и весь край здесь был его родной, в Нагутской жила одна замужняя сестра, в Курсавке другая. Но за последние годы его привязанность раздвоилась, с тех пор как Саня узнал и коренную, лесную, настоящую Россию – ту, что начинается только от Воронежа.

Из-под Воронежа откуда-то и вышли Лаженицыны. И в свой холостой год между гимназией и университетом Саня выпросился у отца съездить посмотреть места их предков (а на самом деле ещё и ко Льву Толстому метил попасть).

Дед Ефим, когда жив был, рассказывал, что на его пращура Филиппа напустился царь Пётр – как смел поселиться инде без спросу, и выселил, и слободу их Бобровскую сжёг, так осерчал. А дедова отца сослали из Воронежской губернии сюда за бунт, несколько их было, тех мужиков, однако тут кандалов не надели, и не в солдатское поселение, и не под крепость, а распустили по дикой закумской степи, при казачьей Старой линии, и так они жили тут, никто никому, не жались по безземелью, на полоски степь не делили, где пахали-сеяли, а где гоняли на тачанках, да стригли овец. Окоренились.

Через просветы между планками решётки всё было черно за вагоном. Но потом стало осветляться небо, и ещё светлеть, вот уже пересиливало свечу, и проводник пришёл погасить её. Белое небо взялось розовым, Саня покинул попытки спать, поднял решётку к потолку, избочась надел тужурку и в обдуве холодного встречного воздуха стал ждать восхода. Розовое распахивалось просторным шатром, особенно ярко находя по небу и выхватывая мелкие облачка, а в исходе своём всё накалялось – алым, багряным, и уже неудержимое выперло, расплавилось красным солнцем. И так, у мира всего на виду, всю красную щедрую мощь погнало, полило багрецом по степной шири, не жалея нисколько, до крайней западной дали не обойдя ни местечка.

В той России – много красот умеренных, разделённых, обставленных лесами и взгорками, а вот таких разгарчивых, разливистых восходов на всю вселенную – не бывает.

Тоже вот таким ранним погожим утром, когда солнце едва взошло, ещё до шести утра, и тоже из первых дней августа, четыре года назад, Саня вышел со станции Козлова Засека – идти к Толстому. Было сочнее и свежей, чем может быть на Кубани летом. Спрося на станции, Саня спустился в овражек, поднялся по косогору и попал в такой лес – просторный, ядрёный, широкоствольный, парадный, парковый, какого, живя на юге, не мог бы вообразить, да и на картинках никогда не видел. В росе молочной, а потом радужной, лес этот звал не пройти себя, а бродить, сидеть, лежать, остаться тут, никогда из него не выбраться, – а ещё особенным казался оттого, что дух пророка носился здесь: ведь Толстой же ходил или ездил на станцию, он здесь не мог не бывать, этот лес был уже началом его поместья!

Но нет, лес поднялся к орловскому большаку – и оборвался. Саня понял свою ошибку: только перевалив через большак, он спустился к яснополянскому парку. И пошёл вдоль него. Парк отделялся от дороги канавкою и тесной зарослью. Дальше, за огибом, виднелись белые каменные входные столбы.

Тут Саню взяла робость. Он не нашёл сил идти через парадные ворота, по парадной аллее, отвечать на вопросы встречных. Да его могли и не пустить к Великому, скорее всего. И легче оказалось перепрыгнуть через канавку, продрасться сквозь заросль – и просто, без цели, походить тем парком, где, уж без ошибки, хаживает Толстой, и присесть, где сживает он.

Тут были петлистые аллеи, небольшой прудок, ещё один, и мостики через застоялую воду, покрытую ряской, и беседка. А дома и людей – не было видно. И в раннем солнечном

переблеске, в мелкой солнечной пестряди бродя, бродя, садясь и глядя, Саня, кажется, и насытился. Он, кажется, уже мог возвращаться на юг и считать, что побывал у Толстого.

Но ещё поднялся по берёзовой аллее – длинной, прямой и узкой, как коридор. Берёзы сменились клёнами, потом липами. Тут открылась не поляна, но разрезание парка, окружённое липовым прямоугольником, ещё разбитое вдоль, поперёк и диагонально дорожками. И – кто-то мелькал по этим аллеям, шёл довольно бодро. Саня спрятался за толстую липу, выглядывал. И увидел – Седоволосого, Седобородого! в длинной рубахе с пояском. Ниже ростом, чем ожидал, но так похожего на свои изображения, что хотелось головой тряхнуть, от миража.

Толстой шёл с палкой, смотрел в землю. Один раз упнулся палкой, остановился и едва ли не минутой неподвижно смотрел в одно и то же место, в землю. Опять пошёл. Он попадал головой то в густую утреннюю тень, то под солнечный свет – и тогда голова его, в объёме парусиновой картузы, вспыхивала как нимбом. Так он прошёл все четыре стороны прямоугольника и опять повторял их, на одном углу совсем рядом с Саней.

Саня упивался. Он мог бы и час вот так простоять, налегши грудью на липу, обнимая пальцами её дорожчатую кору, а голову выставив из-за ствола. И он не хотел помешать утреннему размышлению Пророка. Но испугался: а вдруг Толстой следующий раз уже не завернёт сюда, уйдёт к дому; или кто-нибудь появится и заговорит с ним.

И с колотящейся смелостью он вышагнул на дорожку – издали, чтобы Толстой не испугался внезапности, снял гимназическую фуражку (он тот год носил её, пока отец не отпустил в студенты) – и стоял прямо, немо.

Толстой увидел. Подходя ближе, поглядел на опущенную фуражку, на вольную косоворотку. Приостановился. Заботы и заботы были на его лице, лоб не расправлен. Но и ему же досталось первому поздороваться с немим обожателем:

– Здравствуйте, гимназист.

Кто же к кому пришёл? Кто кого искал? Как будто самого Саваофа слыша, спекшимся горлом Саня слабо ответил:

– Здравствуйте, Лев Николаевич!

И не находился, дальше что. Сам Толстой должен был отвлечься от своего, сосредоточиться на новом. Перевидел он, конечно, этих посетителей, и этих гимназистов, заранее знал, что они могут спросить и что им нужно ответить, всё это они могли прочесть в его книгах, но почему-то хотели не прочесть, а непременно слышать из уст.

– Откуда же вы, гимназист? – вежливо спрашивал великий старик, не проходя дальше.

– Из Ставропольской губернии, Александровского уезда, – теперь уже слышным, но хриплым голосом сказал Саня. И очнулся, прокашлялся, поспешил: – Лев Николаевич! Я знаю: я нарушаю ваши мысли, вашу прогулку, простите! Но я так долго ехал, мне только услышать от вас несколько слов. Скажите, вот правильно я понимаю? – какая жизненная цель человека на земле?

Но – не сказал, как же он понимает, а ждал. Губы Толстого, не вовсе утонувшие в бороде, безуильно сдвинулись в произнесенное тысячу раз:

– Служить добру. И через это создавать Царство Божие на земле.

– Так, я понимаю! – волновался Саня. – Но скажите – служить чем? Любовью? Непременно – любовью?

– Конечно. Только любовью.

– Только? – Вот за этим Саня и ехал. Теперь свободней ему стало, и говорил он плавней, ближе к своей негорячей манере. Он задавал по виду вопрос, но в этом вопросе уже свой собственный ответ отчасти содержался и, по свойству юности, он хотел даже великому собеседнику выявить таким образом своё не совсем пустое мнение: – Лев Николаевич, а вы уверены, что вы не преувеличиваете силу любви, заложенную в человеке? Или, во всяком случае, оставшуюся в современном человеке? А что, если любовь не так сильна, не так обязательна во всех, и не возьмёт верха – ведь тогда ваше учение окажется... без..., – не мог договорить. -... Очень-очень преждевременным? А не надо ли было бы предусмотреть

какую-то промежуточную ступень, с каким-то меньшим требованием – и сперва на нём пробудить людей ко всеобщему благожелательству? А потом уже – на любви?... – И пока Толстой не ответил, в этот последний миг: – Потому что, как я наблюдаю, вот на нашем юге, – всеобщего взаимного доброжелательства нет, Лев Николаич, нет!

Ещё свои заботы не ушли с борождённого стариковского лба, а тут гимназист задавал малооблегчающий вопрос. Из-под бровей мохнатых твёрдо посмотрев, бесколебно ответил старец, всей жизнью выношенное:

– Только любовью! Только. Никто не придумает ничего верней.

И – кажется не хотел больше говорить. Как будто затмился или обиделся за свою истину. Он хотел дальше идти по прямоугольнику и думать своё.

Болезнью, что огорчил обожаемого человека, отдавая уже свой любимый вопрос, умягчая, но и ещё одну кроху выгадывая, Саня опять заторопился:

– Что до меня – я так и хочу, через любовь! Я так – и буду. Я так и постараюсь жить – для добра. Но вот ещё, Лев Николаич! Само-то добро! Как его понять? Вы пишете, что разумное и нравственное всегда совпадают...

Приостановился пророк, мол – да. И остриём палки чуть посверливал в твёрдой земле.

– Вы пишете, что добро и разум – это одно, или от одного? А зло – не от злой природы, не от природы такие люди, а только от незнания? Но, Лев Николаич, – духа лишился Саня от своей дерзости, но и своими же глазами он кое-что повидал, – никак! Вот уж никак! Зло – и не хочет истины знать. И клыками её рвёт! Большинство злых людей как раз лучше всех и понимают. А – делают. И – что же с ними?...

Даже пальцами губы свои прикрыл, чтобы больше не говорить, чтоб самому-то услышать!

Вздыхнул старик глубоко:

– Значит – плохо, недоступно, неумело объясняют. Терпеливо надо объяснять. И – поймут. Все рождены – с разумом.

И, расстроенный, пошагал с палочкой.

А Саня – стоял. И когда Толстой с дорожки за дом ушёл. И ещё потом стоял.

Так он надеялся в три минуты от Самого узнать и понять! Не понял.

Уж он не решился, не успел проверить у своего кумира о стихах: всё-таки – можно? хоть для себя, потихоньку? Или – решительно противоречит?... Тайно всё равно влекло его слагать строки и рифмы. И в альбомы девицам, шутки ради, он записывал иногда. Однако и ограничив себя в стихах, тем не сберёг заметно времени и не открыл кратчайшего пути: как же служить Царству Божьему на земле?

Никогда не знал Саня уверенности в себе, каждый год вышибало что-нибудь из-под ног. Не раз отчаивался он преодолеть отцовскую волю, затягивал его жребий степного неуча. В сельской работе провёл он тот год, после поездки к Толстому, лишь немного читая, что попадалось, больше всё Толстого же. Наконец, отпущен был в Харьков, но начав курс историко-филологического факультета, ощутил свою дремучесть, своё степное невежество среди городских студентов. А в Харькове год поучась, и найдя в себе дерзость после первого курса перешагнуть в московский университет (и Котю с собой увлёт), он ещё долго ощущал себя отставшим, недоразвитым, не домысливающим до ядра каждого вопроса. Он запутался в изобилии истин, он измучился от убедительности каждой из них. Пока было мало книг в руках, Исаакий твёрдо и хорошо себя чувствовал, с седьмого класса он считал себя толстовцем. Но вот дали ему Лаврова с Михайловским – как будто правильно, очень верно! Плеханова дали – опять-таки верно, да гладко, да кругло как! Кропоткин – тоже к сердцу, верно. А распахнул “Вехи” – и задрожал: всё напротив читанному прежде, но – верно! пронзительно верно!

И стал брать его от книг – страх, не прежняя почтительная радость: что никак он не научится автору противостоять, что увлекает и подчиняет его каждая последняя читанная книга. И только-только стал он сметь не соглашаться с книгами – как вот теперь война, и уже не научиться, не гнать.

Поезд подходил к Армавиру. В полуспящем вагоне Саня окончательно спрыгнул с полки, успел умыться, пока не заперли умывальника. Тут стоянка двадцать минут, меняют паровоз. На раннем чистом перроне было мирно, безлюдно, опять ничто не говорило о войне. В буфете с горячим крепким сладким чаем позавтракал Саня своими станичными запасами из мешочка, другого не брал.

Тронулись. Он остался в тамбуре. Теперь по солнечной стороне поезда несло паровозную сажу, но Саня открыл другую дверь и высовывался туда, нависая. Никогда не надоедало это кружение огромных цветных площадей уродившей земли. От каждого вагона сюда тряслась по полю продолговатая чёрная тень, ныряя в балочках, а остальная степь была вся освещена с раннеутренней, уже не розовой, ещё не жёлтой нежностью.

И хотя силы молодые радостно полнили тело и обещали жизнь, жизнь, – может быть эту степь и утреннее солнце над хлебным морем он не увидит больше никогда.

Проехали станцию Кубанскую. Саня и после неё не шёл в вагон, а всё так же стоял у открытой двери, обдуваемый ветром хода, – и смотрел, смотрел, примеряясь к прощанию.

Вот отдельно показалось имение или “экономия”, как говорят на Северном Кавказе. Среди степи здесь было густо, ровно насажено, и высоко уже раскинулось. Ехали груженные возы. Быки тянули локомотив и молотилку. Кружились постройки жилые, хозяйственные. А вот в разрыве тополевой просадки, сопровождающей поезд, показался верхний этаж кирпичного дома с жалюзными ставнями на окнах, а на угловом резном балконе – явная фигурка женщины в белом, – в беспечном белом, нетрудовом.

Наверно, молодой. Наверно, прелестной.

И закрылось опять тополями. И не увидеть её никогда.

### 3

Ещё при первом разрыве сна, ещё прежде чем вспомнить, как ты молода, и какой летний день, и как можно счастливо жить, – тупым холодным вступает: ссора! С мужем в ссоре опять, со вчерашнего дня.

Глаза открыла: не в спальне. Одна.

Распахнула ставни в парк – а утро какое! а воздух с тeneвым холодком! Гималайские серебристые ели держат ветви у подоконников второго этажа.

Какого счастья?... Весь этот парк по её хотению вырос в голой степи. И любой предмет мира, и любой наряд из Петербурга, из Парижа, сейчас же может быть заказан, доставлен.

Последняя крупная ссора длилась у них три дня, – три дня молчания, незамечания, всё врозь. Тут выдался день Преображения, и со свекровью Ирина ездила в церковь, в Армавир. Взмывающее пение литургии, добросердечная проповедь священника, и потом по кольцу церковного двора радостное освящение всецветных яблок, сложенных холмиками, и мёда в ведёрках и глечиках, при разгоревшемся солнце сверкание облачений, хоругвей, начищенных кадил и относимый ладанный дым – всё вместе так небесно настроило, а мужнины обиды показались так мелки и ничтожны перед Божьим миром, Божьим замыслом, тут ещё и войной, – что решила Ирина не только просить прощения в этот раз, хотя несколько не была виновата, но и впредь никогда не допустить ни одной больше ссоры, а чуть поссорясь – тут же виниться первой, ибо только в этом христианство. И вернувшись от Преображенской обедни, Ирина просила у мужа прощения, Ромаша очень обрадовался, этого он и ждал, тут же простил жену и даже сам великодушно просил встречного прощения.

Но лишь со среды до воскресенья они прожили в ладу. И снова поссорились так обидно, что разговаривать нельзя.

В коридоре горничная шёпотом спросила у Ирины Ивановны распоряжений. Пока нет. Ирина перешла в ванную, красно-белого мрамора.

Потом молилась, перед Богородицей. Однако не было очищения.

И за туалетом, у трельяжа, не облегчил вид своей естественно-розоватой кожи, округлых плеч, волос до бёдер (четыре ведра дождевой на мытьё).

Перешла на солнечную сторону, на балкон-веранду, сощурилась на поезд, вероятно бакинский почтовый. Вид на поезда в двухстах саженях от дома Томчаков был самый живой. Никогда не надоедает глазами встретить и проводить, что-нибудь загадать, посчитав вагоны: чёт ли, нечет.

У многих, ехавших сейчас, назначенье сливалось: война, на войну, для войны.

Из-за того вчера и загорелась ссора: Ирина слишком выразительно сказала, как трудно сейчас России и как должны сыны её... Не о муже, она не думала, что так получится! Она говорила вообще о тевтонской угрозе... А Ромаша принял на свой счёт, уязвился, обзывал, что она туполобая патриотка, дремучая монархистка, и от подобного же отца-невежды, самодура, что она не способна уразуметь, как мало в нашей дикой стране таких светлых, предприимчивых голов, как у её мужа. И последняя потаскуха пожалеет толкать мужа на войну, а она...

Вот такие ссоры у них и бывали, скорей как между мужчинами: то из-за Государя, над которым всегда смеялся Роман; то из-за веры, которой у него нисколько не осталось, лишь скрывал для приличия.

Но ещё б не так обидно, если бы Роман не вмешал ириноного покойного отца. Невежда? Да, с батраков начинал, сын николаевского солдата. Самодур? – а кому представлялся Роман и старался понравиться, ведь не дочери? И был выделен из женихов: “У этого деньги из рук не вырвутся”.

Отец долго оставался бездетен. Уже стариком заплатил сорок тысяч ставропольскому архиерею, чтобы пережениться. От той любви и родилась Орина, Оря! – только так её звал. А в семнадцать оринных лет подходил уже к смерти и спешил при своих глазах выдать замуж её, сразу из пансиона. Теперь-то видно: рано. Теперь-то жаль. Мог бы дать ей ещё поразвиться. Порезвиться. Мог бы позволить ей и выбрать самой.

Однако свершилось. И не смела Оря не только отца покойного упрекать, но не смела ни думать, ни сожалеть о всяком другом жребии. О том, что не состоялось, сожалеют лишь неверующие души. Душа же верующая утверждает на том, что есть, на том растёт – и в этом её сила.

Свершилось – и Оря покорно признала невыбранного мужа. Весь наследный капитал отдала ему без дележа, без оговорочной записи. Вся сегодняшняя независимость, невылазное богатство, досужность, свободные вояжи по столицам и за границам – всё досталось Роману от ориноного отца, не от своего, – так можно б его поминать хоть не руганью?...

Пора было спускаться к завтраку. Вела вниз внутренняя деревянная лестница. Над её верхним маршем лелеялся царскосельский вид, над нижним – пахал Толстой. (Изобразил их выписанный из Ростова художник-итальянец).

Столовая была расписана под орех, и ореховый же буфет огромный, а кожа мебели – лягушино-замшелого цвета. Лимонные деревья в кадках заслоняли окна в парк. На серединном просторе, где раскладывался на двадцать четыре персоны, стол был сложен на двенадцать. А прибора накрыто – только два, через уголок: золовка Ксенья спала, Роман и никогда к раннему завтраку не ожидался, а свёкор спозаранку частенько уганивал в степь на линейке по двум тысячам десятин. Сегодня же был он в отъезде, уже третий день в Екатеринодаре, решалась судьба Ромаши, все об этой поездке думали, никто вслух не говорил.

Желая доброго утра, Ирина нагнулась и поцеловала свекровь в полную широкую щёку. Избыточная полнота и устоявшийся покой – вот было лицо Евдокии Григорьевны после пятидесяти лет. Как будто не пробирали её сегодняшние заботы, как будто не знала она горя в прошлом – так было всё утоплено, расплыто и примирено в этом лице. А между тем была в её жизни неделя, когда она потеряла от скарлатины сразу шестерых детей – только Ксенью, самую маленькую, выхватили, как из пожара, да Роман со старшей сестрой были уже взрослые. Порой негодуя на свекровь, Ирина напоминала себе эту неделю.

Она перекрестилась на икону Тайной Вечери (по содержанию повесили её в столовой), села. Шёл Успенский пост, на столе не было ни мясного, ни молочного, и кофе без сливок

подала буфетная девка, сам лакей к раннему завтраку тоже не выходил.

Евдокия Григорьевна, дочь простого станичного коваля (одень её плоше – и сегодня та ж, бабка из деревни), не могла и за много лет привыкнуть – сидеть за столом барыней в кружевной шали, а всё нужное подадут. Она рада была заметить упущенное и сама поднести, а в иные дни, отстранив поварих, стготовить в ведёрной кастрюле малороссийский борщ. Уж дети, стыдясь прислуги, останавливали её, а перед гостями заставляли убрать постоянную вязку на спицах и клубок шерсти от ног.

В прачечной тщилась свекровь проверять расход мыла и древесного угля, распоряжалась не принимать в стирку тонкого белья невестки (“зачем дорогое надевать? Кто его видит?”), себе со стариком и всем, кому в доме могла, велела носить грубое, шитое прихожими монашками. Ведь с этим самым мужем они были когда-то в саманной хатёнке при десятке овец – и до старости не могла Евдокия Григорьевна поверить в прочность мужниного богатства. Она не могла точно уследить, где утекает, утекало везде, от богатства их черезкрайнего люди заимствовали, брали, воровали, было десять человек домовой обслуги да десять дворовой, это без казаков, а сколько служащих, рабочих – конторщики, приказчики, объездчики, кладовщики, конюхи, воловики, машинисты, садовники, – кто мог за ними уследить? И надо ли было, где пьётся, там и льётся? Это хорошо понимал свёкор Захар Фёдорович, это было в его развороте: “Так и жить, шоб людям жить давать. У мэнэ рука крыляста, там находэ, дэ самы нэ найдут”. Но Евдокия Григорьевна, смиряясь с неотвратимым течением обильного хозяйства экономии, в меру своих сил проверяла у годовой портнихи нитки и обрезки. Захар Фёдорович легко мог подарить прохожему босяку свой старый костюм – Евдокия Григорьевна, узнав, слала за босяком гонца отбирать костюм. Напротив, через её сестру Архелаю, монахиню, прознали их дом и тянулись сюда монашки, и монахи, и странники, и для них ничего не жалели, в самые раскоромные дни задавалась прислуге двойная работа: готовить ещё отдельно постное на чёрную ораву. И в Тебердинский монастырь бычьими платформами отправлял продукты Захар Фёдорович. А Ирина наоборот убеждала свёкра, что монашки – хитрые, работать не хотят, что угодней будет Богу повернуть эти продукты на рабочих и в летнее время кормить их мясом трижды в день. Так и сделали.

С той же неотвычной простотой свекровь и сейчас спросила:

– С Ромашей ночью – опять поврозь?

Ирина опустила прямо-носимую голову. Покраснела не от грубой простоты вопроса, но от восьмилетней безнадёжности родить, томившей саму её: могла быть и груба свекровь, имел право и раздражаться муж.

Простецкая голова свекрови над разнесенными плечами и грудью выражала, в меру её постоянной ровноты, – изумление:

– Чтоб жена – и сама отдельно? Не слыхано... Если б тебя он прогнал – я б тебе ничего не сказала.

Это она не только о сыне – она всякого мужчину всегда оправдывала рядом со всякой женщиной.

– А так мы никогда и не дождёмся...

Огромные пристенные стоячие куранты пробили и заиграли “Коль славен наш Господь”. (Купили их в аукционе, казна продавала вымороченное имущество пресекшегося рода Рюриковичей).

– Гордость надо нагибать, Ируша...

Ах, нагибала, нагибала, – да что ведала свекровь о гордости? Свёкор мог, осердясь, бранить её за столом, как хотел, – и Евдокия Григорьевна всё покорно сносила. Это Ирина однажды вскочила: “Ромаша! Уедем! Не будем здесь жить!” – и свёкор, вилку швырнувши на пол, сам поднялся, ушёл. Верно, при жениной покорности мужья остывают сразу, и ссоры как не бывало: “Старушечка моя!” – тут же вскоре умилялся и приласкивал её Захар Фёдорович.

Ирина сама молилась о кротости и смирении, но когда кротость вкладывала в неё

свекровь – упруго ответно поднималось в ней тёмное:

– Зачем вы так баловали? зачем вы так кохали вашего сына? А мне с ним – жить.

– А чем он плохой вырос?

Так простодушно удивилась, с глазами такими незамутнёнными, что не было духа напомнить ей ну хоть эту сцену перед кабинетом, при всех служащих, и началось из-за какой-то клетки, чем её засеять: “Сукин ты сын!!” – кричал и топотал Захар Фёдорович, побагрев глазами. “Ты – сам!!” – кричал ему Роман Захарович. Отец тяжёлым ореховым посохом с размаху ударил сына, а сын, в той же первобытной ярости, выхватил из английского кармана револьвер. Ирина повисла на муже: “Мама! Заприте дверь!”, только так разделили их. Роман надулся, уехал. Растревоженные родители тут же стали слать ему телеграммы – сыночек, вернись, приезжай!

Сын с отцом и сегодня были в ссоре. Это состоянье их было чаще лада.

Кончился завтрак. Ирина встала, пошла – в полотняном, вся ровная, статная, в пансионе отработанной походкой. Пошла золотистым ковром, не снимаемым на лето, мимо выставки хрусталя – опять на лестницу, и по оставшимся вниз ступенькам, мимо ещё одного Льва Толстого, на этот раз с косой, вышла парадным подъездом.

Всех этих Толстых настоял изобразить Роман. Старому Томчаку объяснил он, что у людей образованных так, что великий человек России и граф. Сам же для себя почитал и выдвигал Толстого за отвержение исповеди и причастия, которые Роман ненавидел.

Со всеми службами и огородами занимала придомная усадьба пятьдесят десятин – было куда пойти: в прачечную; в погреба – осмотреть с экономкой запасы; по казармам обойти жён рабочих-срочников; или, пожалуй, в оранжереи.

Но куда ни иди, надо решать: мириться или нет? смириться или нет?...

Ирина пошла через парк, заставляя себя не обернуться, не поднять головы на веранду их спальни, откуда наверно высматривал он. Выражая обиду, он способен затаиваться там на день и на сутки, как в тюрьме, не выходя ни по двору, ни по дому.

Прошла под гималайскими елями. Сколько с ними было тревог, что не привыются: из великокняжеского крымского сада их везли уже большими, с комами земли в корзинах, и на каждой промечено было, какой стороной сажать на восток.

Дальше вились сиреневая, каштановая, ореховая аллеи.

“Шоб гроши зароблять – нужен розум”, – говаривал Захар Фёдорович. Но не меньший розум да ещё и вкус нужен был, чтоб те деньги тратить. Несчитано денег было и у Мордоренок, да как они их тратили? Долго жили по-чумазому, Яков Фомич вставил для красоты полон рот платиновых зубов, сыновья ж его, жеребцы, играли в орла-решку золотыми вместо медяков. Когда Томчак вместе с Чепурныхом покупали в Петербурге у братьев-графов Граббе шесть тысяч десятин кубанской земли – размахнулся Захар Томчак: “Угостим графьёв? Да нэ якво ны угощают, дрэбэдэнькой”, – но чем же именно угощать, так и не мог придумать в ресторане Палкина, а велел нести побольше да подороже.

Как обставлять жизнь – Захар Фёдорович учился у сына и невестки. Со стороны железной дороги насадили тополей, бальзамических и пирамидальных, аллеями шириной на две встречных тройки. Бальзамические тополя после солнечных дней благоухали к вечеру, и диковатый степной помещик признал: “Гарно, Ируша, гарно!” Парадный двор обсадили платанами. Придумала Ируша и выкопать близ дома пруд – с цементным ложем, купальней и сменяемой водопроводной водой, а вынутую землю перевозить и складывать в холмик, на нём же поставить беседку. Так составлялось то, что есть парк, отличающий старинные усадьбы, и чего не бывает в экономиях: самостоятельность пейзажа, отъединённость от окружающей местности, непохожесть на неё. Кругом может быть степь, лес или болото, здесь по своим отдельным законам – парк, другая страна. За парком посадили сад, перевезли со старого места, с Карамыка, из-под Святого Креста, сотни две фруктовых деревьев, – принялись. За садом – виноградник. Вкруг беседки распорядилась Ирина засеять мавританский газон, а на парадном дворе – изумрудный английский рейграсс, подстригаемый газонокосилками.

Но особую заботу Ирины составили две оранжереи: маленькая, для весенних цветов, подаваемых уже к ранне-пасхальному столу; и высокая, где зимовали в кадках олеандры, пальмы, юки, араукарии и сотни горшков с мелкими цветами, которые назвать по именам мог кроме Ирины только оранжерейный садовник, отдельный от общего садовника. Всех этих нежных жителей надо было пересматривать почти каждый день, кому-то помогать, летом – выносить и вносить, зимой кого-то цветущего нести в зимний сад, кого-то завядшего – назад в оранжерею.

В разнообразии запахов, окрасок и контуров, в нежности и росте цветов Ирина становилась увереннее, защищённее от мужниных обид.

Была такая фантастическая мысль у неё, что Роман, проснувшись, станет её всё-таки искать. Это невозможно было в обычное время, но когда война, не исключено расстаться, – может быть, его проберёт? Она хотела этого прихода не для того, чтоб одержать верх, но для него же больше, для его сердца.

#### 4

Нет, нигде так хорошо не бывает, как дома! – и постели такой приятной, и такой голубенькой комнаты, сейчас ещё тёмной, а лучики бьют в жалюзи. И такой обеспеченной возможности поленился – день, неделю, хоть месяц!

От долгого хорошего сна к долгой хорошей жизни со сладкой-сладкой-сладкой зевотой, потяжкой, перетяжкой, Ксения сжала руки в кулачки над головой.

Правда, это жизнь осудительная, в ней опускаешься, о ней не будешь подробно хвалиться подругам, тут многое плохо и дико, – а всё равно хорошо! Что-то есть такое хорошее, что только тут, только ты и твои семейные понимают – а подруги и не могут понять. Московские радости, конечно, несравненны: танцевальные занятия, театры, диспуты, публичные лекции, да, ещё ж и курсы! – всё головокружительно, а тут с утра проснёшься – лежи, сколько хочешь. Побарствовать всё-таки очень приятно.

За дверью кашлянули, постучали.

– Ксения, ты не спишь?

– Ещё не решила, а что?

– Да мне в кассу надо, на минуту. Ну, если хочешь спать... я могу потом...

Тут-то и приятно полежать, едва проснясь... Но когда тебя ждут – всё уже отравлено.

– Ладно! – крикнула Ксения и вскочила в постели без рук, одним качком сильных ног. Пугаясь в длинной сорочке и босиком по ковру добежала до двери, сбросила крючок. – Подожди, не входи! – и опять в постель ныр, зашуршала сеткой, натянула одеяльце. – Можно!

Брат открыл, вошёл:

– Доброе утро. Я правда тебя не разбудил? Очень понадобилось, прости. Со света не вижу. Разреши, одну ставню открою?

Прошёл осторожно, всё-таки толкнул туалетный столик, зазвякали флакончики – и открыл наружную ставню. Открыл – и весь ликующий день ворвался в комнату, и сразу пережались Ксенья, что она не выпалась: выпалась! И перевалась на бок, под щеку руку, смотрела на брата.

А Роман при свете оглянулся, будто в этой маленькой комнате кроме сестры ожидал встретить врага. Из глубоких глазниц у него был режущий взгляд. А усы – как палки заострённые, не хотели расти с закрутом.

Но врага не оказалось. И в кулаке обнаруживая ключи от стенного сейфа, Роман шагнул отпираться.

– Я быстро, я сейчас уйду. Могу опять тебе затемнить.

Когда строился дом, несколько лет назад, эта комната предназначалась под кабинет Романа, потому здесь и вделали в стену стальную кассу. Потом решили, что сын будет в одном кабинете с отцом на первом этаже, а тут – Ксения, но кассу так и оставили, для



отдельных бумаг и денег Романа. Да сестра и бывала-то здесь лишь на каникулах.

Роман был складен фигурой – поджар, вёрток, в облегающем костюме английского спортивного типа, но не доставало ему роста. На нём было кэпи блекло-коричневое, в тон его костюму и штиблетам.

– Да ты не на автомобиле собираешься? – догадалась Ксения. – Ты нас с Орей не покатаешь сегодня? В город? Или на Кубань туда, за Штенгеля?

Круглой, позорно здоровой, неприлично смуглой мордашкой на подушке Ксения примеряла надежду и жертву: для автомобильной поездки от чего отказаться, переложить на завтра? На краю экономии барона фон-Штенгеля, превосходного соперника всех здешних экономистов, стояла столетняя дубрава, чудо степной окрестности. Автомобиль же был у Романа не какой-нибудь, но белый ролс-ройс, каких в России, говорили, только девять экземпляров. Роман, ученый англичанином, сам правил автомобилем, да даже всё в нём понимал, и чинить мог, но не любил пачкаться в гаражной яме и держал шофёра.

Однако сейчас он обиженно потрогал, помял пальцами гнутый, широкий козырёк кэпи.

– Нет, я просто в гараж ходил. Покатаю, только не сегодня. Пусть решится сперва...

– Ах, в самом деле!... Ой, прости, Ромашечка!...

Как же можно всю память заспать, да просто всё на свете забыть с вечера до утра – даже что война идёт! вообще – что война идёт на свете!! А уж тем более – что отец поехал хлопотать о Ромаше, что с ним решается. Да, и с автомобилем же! Просто нелепо: могут заставить сдать ролс-ройс! Ну, понятно, брату не до развлечений, суеверие даже.

Хотя, если откровенно говорить, Ксения не понимала, как не стыдно мужчине уклоняться от армии. Ну, если единственный кормилец, – так Роман какой же кормилец? Не обязательно под пули, но вообще пойти в армию требует простая порядочность.

Однако он должен сам понимать, а сказать так брагу Ксения бы не решилась при всей незатруднённости и дружелюбности между ними с тех пор, как Ксения выросла из ребёнка.

– А где Оря?

– Не знаю.

Роман уже отпер первую и вторую дверцы кассы и пригнулся к ней головой и плечами.

– А к завтраку ты не ходил? Там поста не отменили?

И сама же фыркнула. Роман в знак понимания слегка повернул голову, показал край уса и косой оскал губы. Нос у него был как у отца – с наливом, с нависом.

Кого тут убеждать! Из самого глупого, что велось в доме Томчаков, были посты. И сколько! Один бы великий – ладно, можно понять, привозят священника, и сплошную неделю в экономии служба, говенья, причастия, всю прислугу, всех работников спешат очистить до начала посева. На великий пост Ксения всегда в отъезде, и Роман уезжает в столицы, возвращается только к Пасхе. Но едва минует Троица, как начинается совсем уже бессмысленный петровский пост. И едва минует петровский – заряжает успенский. А чтоб до святков весёлых добраться, ещё надо с постной миной проходить рождественский. А ещё ж на каждой неделе среда и пятница! Не обидно поститься бедняку. Но с такими деньгами, с таким выбором вкуснейшего, что только есть на свете, – и полжизни увечить себя постами? Совершенная дикость.

Сестру и брата то и объединяло, что только двое они во всей семье имели критические, передовые взгляды. Остальные были дикари, печенег.

Так же на боку, с поджатыми ногами и кулак под щекой, Ксения размышляла вслух:

– Не знаю... Всё-таки последняя возможность мне бросить курсы – сейчас, в августе, пока год только один потерян. И – набор в школу босоножек.

Какое-то чувство интимности с кассой, да и сосредоточиться, требовало остаться с кассой вдвоём, не дать видеть сестре, что в ней и что он делает, хотя Ксения ничего б и понять не могла и не хотела. И шелестя хрусткими бумагами, Роман загородился от сестры, сутулясь.

– Если б ты меня поддержал, – вздохнула Ксения, – я бы скакнула!

Роман возился, молчал.

– Я уверена, что папа ещё и три года не узнал бы. В Москву и в Москву, вроде на курсы... А потом – покричит, посердится, неужели не простит?

Роман возился, почти головой туда, в кассу.

– Да даже и не простит – ну что делать?... – так и этак играла губами Ксения, оценивая.  
– А жизнь губить – лучше? На что мне эта агрономия?... Зарывать наклонности – преступление!...

Роман прервался, выпрямился. Всё так же загораживая открытую кассу туловищем, обернул голову:

– Никогда не простит. И вообще – говоришь вздор. Тебе полный расчёт, единственный резон кончать именно агрономические курсы. Тебе цены не будет здесь.

Он смотрел острыми сообразительными глазами из-под чёрных густых бровей, из-под английского кэпи. Ксения и головой замотала, и сgrimасничала – Роман как не видел. В чём бывал он убеждён – то выговаривал неотклонимо, и с такой мрачной строгостью, что побаивались и мужчины деловые, не то что Ксения.

– Ты именно будешь сельским хозяином. Тебе во всяком случае обеспечена четверть наследства. А если мы с отцом окончательно поссоримся – то и больше. А всё бросишь – и голыми ногами по помосту? Безрассудство. Ты – не нищая девчёнка.

Но – девчёнка, но – ребёнок, доступный руководству. На целых семнадцать лет она была моложе, брат говорил с ней тоном почти отца с дочерью, и Ксения слушала, хотя не убеждённая.

Опять повернулся в свою кассу. Если б он был человеком корыстным, он как раз бы подтолкнул сестру идти в танцевальную школу: только поддакнуть её напору да похвалить один-два танца. Если Ксения выйдет замуж и родит деду внука – старик, взъярённый на сына, может подписать внуку всё. Глубоко рассуждая, Роману выгодно, чтобы Ксения пошла в балет и поссорилась бы с отцом. Но он не разрешил бы себе такого бесчестного приёма, это противоречило бы избранному им английскому джентльменскому стилю. Он ей разумное говорил.

Взяв нужное и две стальных дверцы двумя разными ключами на полных два оборота каждую заперев, Роман ещё посмотрел на притихшую сестру, строго:

– И выйдешь замуж – за экономиста.

– Что-о-о?? Да-ни-за-что!! Да лопните вы все!!! – Ксения вскинулась как уколота, сорвала ночную повязку с головы, белками арапки мелькнули весёлые глаза. И – захохотала, зазвенела, руку поднимая к потолку, однако танцевально поднимая. Это был тот испуг, когда уже смешно, сме-шно! У экономистов та женщина красавица, какая на двух стульях помещается. – Уходи, я встаю!!

И едва он дверь прикрыл – толчком вскочила! ставню второго окна – распахнула! – а день! а солнце! а жизнь! – и на пол прыг! и к туалетному столику, из серого гнutoго дерева (весь гарнитур такой, к окончанию гимназии). Но поворотное зеркало, сколько ни наклоняй, – никак не берёт всей фигуры, -

а только во всей фигуре вместе – только в сильных! не толстых! подвижных ногах! с маленькими! маленькими ступнями! – красота Ксении!! Прыжок! Прыжок! Прыжок!

И опять близко. Круглое, румяно-смуглое, слишком простоватое лицо – хохлушки, степнячки, “печенежки”, как дразнил Ярик в гимназические годы, и это очень её задевало. Хотя волосы не тёмные, и при карих глазах это – интересно. И с годами всё-таки выражение тоньше – гораздо тоньше – и интеллигентней – и задумчивей. Но всё равно, ненормально здоровый вид, совсем нет бледности, надо выработать бледность... Круглолицесть неумная, деревенская, безнадежно степное лицо! И зубы такие уж ровные, такие уж крепкие, только без-на-дежнее выявляют его! Разве можно выразить этим лицом – как ты уже образована? как ты стала тонко-тонко-тонко чувствовать красоту? Разве по этому лицу догадаться – на каких спектаклях ты бывала? сколько фотографий развешено, сколько статуэток расставлено – и здесь, и в московской комнате? И Леонид Андреев! и несколько Гельцер! и несколько

Айседор! И сама Ксения – то в венгерской шнуровке и в сапожках со шпорами! то в воздушно-вуалевом, с медальончиком, босиком! -

вся в полёте, подхвачено пальцами платье! – первая танцовщица харитоновской гимназии! – а может быть первая из ростовских гимназисток?!... Как устоять?... Чем ещё можно жить? Что ещё в жизни есть? -

кроме танца? кроме танца! Какие летучие руки, недлинные! какие плечи, уже в наливе! вот шея бы выросла, ну немножечко бы тоньше и длинней! шея в танце сама говорит отдельно, она очень важна!

Умываться – не надо! Есть – не надо! Пить – не надо! Пустите потанцевать! Пустите потанцевать!

Через дверь – на балкон! А с балкона – в зал! Тут старая глупая плюшевая мебель, старикам выкинуть жалко. Вот где зеркало, вот где ты вся! Сама себе напевая – прыжок! Прыжок! Как это у неё получается! Она – как птица! Ступня удивительно маленькая, её всю можно забрать в мужскую ладонь. И такой толчок! И такой толчок! Это – школа босоножек: всей ступнёй, на носках они не ходят. Восстановить Элладу! Это даже не танец, это ор-хе-и-стическая иллюстрация! В греческой тунике склониться в отчаянии над погребальной урной. Или станцевать – молитву перед жертвенником. Слушайте, да ведь она почти как Айседора, она не уступает! И у неё ещё всё впереди, впереди!

... А уж одна горничная шла убирать зал электрическим пылесосом. А другая несла барышне нагретое на солнце полотенце: после ванны очень приятно обтираться таким.

Пока то, пока сё, пока завтрак – а степь разгоралась, жарко уже, никакая шляпа полястая не защитит, и лучше всего – в гамак, посреди сада, и – вся в белом, так легче.

Просвечивало белеющее небо, обессиленное накалом, и даже в доброй тени чувствовалась густота зноя. Размытое им, достигало сюда попыхивание локомотивов с молотьбы, машинное гуденье с делового двора да общее слитное жужжанье насекомых и мух. Ветра не было ни слабого.

Потом захрустел гравий. Ксения изогнулась – это Ирина подходила, в постоянной прямизне и сдержанности движений. Ксения протянула обе руки, как бы впопыхаму, а – чтоб обняться, сегодня не виделись. Ирина нагнулась. Ксения книга сама закрылась и сползла, упёрлась в ромб гамака. Ирина не упустила, кивнула укорно:

– Опять французская?

Книга была английская, но не в этом... Рассыпчатой подколкой волос откинута в тугую гамачную сетку, Ксения просительно сморщила носик:

– Ну, Оренька, ну неужели же мне – житие Серафима Саровского?...

Оря стала к стволу каштана, не касаясь его, кажется не испытывая желания расслабиться, не отдыхая ни правой, ни левой ногой. А смотрела – скорей благожелательно-насмешливо:

– Нет, но в твоём чтении я совсем не замечаю русского.

– А – кого? – с проходящей непрочной досадой досуга отозвалась Ксения. – Тургеневы все перечитаны, надоели сто раз. От Достоевского меня дёргает, руки сводит в судороги. А вот Гамсуна мы не читаем, Пшибышевского, Лагерлёф, это тебя не беспокоит!

В этой семье Ирина застала Ксению застенчивой одиннадцатилетней девочкой и направляла до тринадцати, до отъезда в ростовскую гимназию. Та Ксения была воспитана в Боге и не знала большего упоения, чем подражать невестке в постах, молитвенном стоянии, в преданности русской старине.

С затуманенным лбом покивала Ирина, покивала:

– Отходишь ты.

– От чего? от хохлацкого? – выхватывали живенькие каренькие глазки. – Истинно хотела бы отстать, но – как? От этих женихов экономических дёгтем воняет, с ними разговаривать от смеха разорвёт! Мордоренко Евстигней!... – Только вспомнив, она уже душилась от смеха. – Как он плакал, что его угонят в Париж?!...

Переняла и Оря, на её многозначительно-строгом лице нос-то был расплюсчен к концу,

проявляя склонность к юмору, да и губы были склонны дрогнуть при смешном. У неё и малая улыбка значила, сколько ксеннин хохот нарастает.

Этот долдон мордоренковский держал своих скаковых лошадей, им подошла пора выступать в Москве, но в чём-то провинился Евстигней перед отцом, и тот в наказание велел ему вместо московских скачек ехать в Париж. И лошадино-здоровый Евстигней, не пропускавший в экономии ни одной девки, ни даже гувернантки, тут сел и рыдал двое суток, размазывая слезы, и просил не гнать его в Париж.

– Или как они на здешних балах женщин качают! – тряслась Ксения.

Как качают юбиляров, так пьяные экономисты на своих диких сборищах подхватывали молодых женщин, своих же жён и невесток, да подбрасывали их в дюжину рук, чтобы платья развевались, и норовя за ляжку схватить. (Надменно держась среди экономистов, Роман с таких балов Ирину уводил, чем обижал всех очень).

– Вообще – судьба! На визитной карточке, представляешь: Ксения Захаровна Томчак! Так и несёт не то тачанкой, не то овечьей шкурой, в порядочном доме и не примут.

– Но если бы не эти овцы, Сенечка, ты б не увидела ни гимназии, ни курсов...

– Да лучше б и не увидела! Не знала б, что потеряла. Вышла б за такого печенег а десяти мельницами, фотографировалась бы как каменная баба позади мужниного стула...

– А тем не менее, – вговаривала Ирина с тихой настойчивостью, – народные основы...

– Здесь – народные основы?? Печенежские?!

– Вот здешнее всё, – упрямо вела Ирина, с челом прихмуренным, и напряжена была её изгибистая высокая шея с голубыми прожилками, – гораздо ближе к народным основам, чем твои просвещённые Харитоновы, равнодушные к России.

Ксения загорячилась, заёрзала в гамаке, упёрлась в тугие ромбы:

– Боже мой, ну откуда у тебя эти неподвижные категорические суждения! Никогда ты никого Харитоновых не видела – почему ты их так терпеть не можешь? Все честные, все труженики – чем тебе их семья не угодила?!

От резких поворотов Ксении через ячейку гамака провалилась книжка.

Ирина уверенно покачивала голову с башенкой накрученных волос:

– Никого не видела, а всех таких знаю. Они все только клянутся народом, а к России...

– Но Харитоновых – не смей! не трогай! – уже раздражилась. Ксения.

Ну, не так повела, Ирина раскаивалась. Не надо было Харитоновых прямо. Но:

– Мне горько, Сенечка, что тебе всё здесь стыдно и смешно. Правда, многое. Но зато и народная жизнь, самая твердь под почвой. Тут – и хлеб родится, не в Петербурге. Тебе – и посты лишние. А в постах – люди вырастают.

– Ну ла-адно, – жалобно просила Ксения. И спорить было лень, а что-то и правильно.

– Я только хотела сказать, – как можно уступчивее вывела Ирина, – что мы очень легко смеёмся, нам всё смешно. Висит в небе комета с двумя хвостами – смешно. В пятницу было затмение солнечное – смешно.

А уж Ксения вовсе не спорить хотела, сердитость её как нанеслась, так и унеслась. Она жмурилась на листовенно-солнечный потолок:

– Ну, правда же... Есть астрономия...

– Да астрономия пусть как угодно, – стояла Оря спокойно на своём. – А вот шёл князь Игорь в поход – солнечное затмение. В Куликовскую битву – солнечное затмение. В разгар Северной войны – солнечное затмение. Как военное испытание России – так солнечное затмение.

Она – загадочное любила в жизни.

Ксения наклонилась цапнуть книжку с земли, чуть сама не вывалилась, и растрепались волосы, а из книжки выпал распечатанный конверт.

– Да! Я ж тебе не сказала! – от Ярика Харитонova письмо. Представь: их срочно выпустили, на второй день войны! Письмо – уже из Действующей армии! А пока дошло до нас – он бьётся где-нибудь! И – радостное письмо! Доволен!

Одногодок, вместе уроки готовили, как любимый брат! – с нежностью, гордостью

думала Ксения о нём.

Откуда же штемпель?

– Штемпель – Остроленка, надо у Ромаши по карте...

Прямые Орины брови сдвинулись – смущённо, и одобрительно:

– Из такой семьи – и патриот, офицер! Вот в этом я вижу знак.

А – её муж?... А с мужем ей что?...

## 5

В скаженном этом городе Ростове привык Захар Фёдорович делать дела, да только не такие. Больше всего он ездил в Ростов насчёт машин: все новые машины появлялись там, и можно было посмотреть и пощупать, и объяснялось хорошо, как они действуют. Покупал он там, опережая всех экономистов, а то и самого барона Штенгеля, дисковые сеялки от Сименса, и пропашники картофеля, и те плуги новые, идущие на длинных ремнях между двумя локомотивами. Иногда большие сделки на зерно и на шерсть подписывал там (самим французам зерно продавал). И конечно сам покупал: рыбу – где ж как не в Ростове рыба! – и другое из харчей и вещей. А кодась-то поехал только купить перчатки, какие хотел, – чтоб внутри беличий мех, а снаружи замша, в Армавире таких не случилось, – да уговорили чертоготы: на придаток купил ещё и автомобиль “русско-балтийскую карету” за семь с половиной тысяч. Когда-то гыркал на сына за “томаса”, твёрдо считал, что от той зверяки, как она вокруг поля объехала, – и гроза ударила, и хлеб полёг. А вот и сам подыскивал шофёра, хорошо виноградарский сынок научился в армии, он и стал.

Всю эту куплю-продажу в Ростове Захар Фёдорович справлял гладко, и нравилось ему, как швидко все ростовские крутятся при делах, – а вот гимназии никогда он там не видел ни одной, где стоят, вывески не замечал. И когда подговорили его Роман с Ирой забрать Ксению из пятигорского пансиона да в ростовскую гимназию, то с заминкою повёз он дочку в Ростов, потому что в товаре таком, как гимназия, толку не смыслил, и наверняка б его окопачили, подсунули б, какая хуже.

Но в тот раз надо было ему по делу посетить одного умнейшего жида, почтенного человека – Архангородского Илью Исаковича. Тот Архангородский был первый знаток по мельницам, и по самым новым, хоть электрическим, хоть каким хочешь, до того был знаток, что без его конторы ни одной мельницы не ставили от Царицына и аж до Баку, и когда туз Парамонов затеял в Ростове пятиэтажную, так тот же Архангородский ему и ставил. Вот и надумал Томчак, что Архангородский ему дурно не скажет, спросить его: яка гимназья наилучшая, куды дочку отдать? И Архангородский добро отгукнулся, сказал, что хоть есть казённая Екатерининская и ещё другие, но лучше бы всего он советовал отдать в частную гимназию Харитоновой, где и его дочь уже учится, Соня, в четвёртом классе. Сравнили возраста – той и той тринадцать, так вместе и сядут, гарно.

Сразу и подружка, понравилось Захару Фёдоровичу. А что гимназия частная, не казённая, так особенно хорошо: только те дела и надёжны, где сам хозяин во главе, а где казна да казённые служащие – там добра не жди никола.

Когда ездил Захар Фёдорович в Ростов, надевал он костюмы, по времени года шерстяные или чесучёвые, надевал и шляпу фетровую, или брал зонтик для фасону, но забывал об этом вскорее и так шагал и руками махал, как у себя в степу, соскочив с дрожек в чумацком плаще и смазных сапогах. А ещё, как раз перед тем, надоумила его невестка заказать сотню визитных карточек, будто нужно так обязательно. Но только гроши гинули задарма: у торговых и деловых людей, кого посещал Томчак, и в банках и на бирже, никто тех теребенек друг другу не совал, и вся сотня лежала в кармане целая, как неигранная карточная колода. И только когда биля Старого собора Томчак подъехал к гимназии Харитоновой – разменял он ту сотню: первую карточку послал через швейцара наверх.

Аглаида Федосеевна оказалась барыня важная, рассудительная, только в щипоноске, уж носила б очки, а то та щипоноска с носа сваливается. Такой серьёзной женщине вполне

можно было доверить дочку в дальнем городе, не разбалуется, хоть по полгода её не видь.

А что сам: он может начальнице не понравиться – у Захара Фёдоровича и минуты в голове не было. Все Томчаки по мужской линии отличались тем, что упрямство, хмурость и брань выворачивали дома, а при гостях и в гостях были весельчаки и лучшие собеседники. Такого общества не было и такой женщины не было, которым бы Захар Фёдорович не понравился в разговоре, когда хотел.

И действительно, картинный этот хохол, с резкими чертами, мохнатыми бровями, крупным носом разляпистым, в маскарадном городском костюме с цепочкою часов на самом видном месте, – своей, однако, открытостью, юмором, но и патриархальным достоинством, а больше всего степным ветряным напором, от которого еле бумаги не срывались со стола и календарь сам переворачивался, – ошеломил Аглаиду Федосеевну и очаровал. В обществе, где она обращалась, много знали и понимали, много вздыхали и мечтали, да не было ни у кого такой энергии, такой страсти действовать сейчас же, выскочив из кресла. Томчак и разговаривать-то приличным полуголосом не умел, в кабинете начальницы едва не кричал, будто рядом арбы скрипели и прогоняли мычащий, блеющий скот, так же громко и хохотал, – но Аглаиду Федосеевну, тонную хранительницу именно полуголоса и сдержанных манер, всё это не только не покорило, но увлекло свежестью. И даже явная его прикраса, что он четыре гимназии объехал и все ему не понравились, а эта сразу нравится, с лестницы, со швейцара, – даже наивное лукавство это умилило её. И хотя четвёртый класс у Харитоновой был укомплектован, никого больше она не собиралась принимать, да ещё какую-то дикую девочку, конечно недоученную, – но за десять минут она согласилась принять, и не только не указала, как умела насупленно, что ждут её другие занятия, а поддалась простодушию весёлого хохла, стала о нём самом спрашивать и велела подать кофе.

Не скупясь на подробности и на шутки, уверенный, что тут только и ждали его послушать, Захар Томчак рассказал, как в детстве был простым чабаном в Таврии, пас чужих овец и телят; как они, тавричане, приехали на Кавказ найматься батрачить, и получал он тогда много меньше, чем платит сейчас последнему прихожему рабочему, не говоря о постоянных своих мастерах; что только через десять лет дал ему хозяин десять овец, тёлку и поросят – и с того завертелось всё его сегодняшнее богатство, трудами и боками. Спросила начальница про его образование – полтора класса церковноприходской, как раз научился, сколько надо ему: Библию читать да Жития святых, по-русски, але и по-славянски, а писать – плохо совсем, а ни при одной купле его не обманешь. Про семью спросила, и поведал он, какое испытание ему Бог послал: в неделю шестеро диток вымерло, уся середина потомства. Стали слезы у него, вытер платком. И потом про экономию рассказывал: как кирпича-железняка звенящего сами в печах самодельных вот выжгли миллион штук, ещё и продадут, мабуть останется; как новый дом планоу с архитектором сам, окна нет без жалюзей снаружи и ставен внутри, так что жара никакая нипочём; четыре линии водопровода положили, своя электрическая дизельная станция у них уже стоит, теперь садовлят парк, а по нему расставят фонари, – да просто зовёт он начальницу на следующее лето приезжать с детишками гостевать.

Слово за слово и начальница о себе рассказала, что она овдовела недавно, был её муж – инспектор казённых гимназий; что детей у неё трое: дочь кончила только что гимназию, теперь в Москве будет учиться, а старшему сыну Ярославу тринадцать, от рук отбивается: хочет гимназию бросать, да в пустоголовые идти, в кадеты.

Объявила она, что плата за обучение – двести рублей в год, в пять раз больше казённой, потому что... – Томчак едва не обиделся: “Скики платыть – я и сам знаю. У вас быкив нэма, пидсовнухив на масло нэ жмэтэ и квасоль нэ растэ – на шо-то надо дитэй содэржуваты”. Спросила, где девочка будет жить, – Томчак туг-то и взжалился: “Та нэма ей дэ дитыся, дитыни бидной! У таком городе кружёнэм як ии без глазу оставлять? А чи, може, у вас бы и жила?” (Он это с первых минут и придумал! Он для того тут и прихотни тачал и кохвий пил и на кумыс приглашал, хоть его другие дела пекли, волокли). “Как вы это понимаете?” – чего угодно ожидала Харитонова, не этого только. “Та шо ж у вас – комнат небогацько? Вот

старшая, кажэтэ, закинчала, до Москвы пойдэ, – заместо ии мою и визьмить. Та вы мини хочь усих трѣх своих давайтэ, я им зараз мисто найду!”

Как это было ни дико, ни нахраписто, но после всего разговора, дружелюбия и смеха уже невозможно было вернуться к той первоначальной нерастопляемой ледяности, которою Аглаида Федосеевна умела отпугивать. Она вразумляла хохла, объясняла, почему нельзя, так не делают, ученица не может жить у начальницы на квартире, она свою собственную дочь учила не у себя, а в казѣнной, чтоб не было и тени благоприятствования, – ничего этого хохол не усваивал, сыпал свои прибаутки да пытался её растрогать: “А тоди куды ж мини ии? Чужим людям нэ оставлю. Назад, та за овцами ходыть. А дивчина шибко разумная”. – “А я вам кто? не чужой человек?” – “Вы? – ни! вы – своя людына, зовсим своя!” – так уверенно, радостно наседали хохол, что начальница и понять не успела, в чём же они с этим дикарѣм такие свои?

Томчак хорошо видел, как он начальнице понравился, и что дочка тоже понравится, але не надо напирать сразу. И свѣл на шутку, об одном только просил: нельзя ли девочку на три дня приютить, пока он тут сделки заключает, по конторам ездит, ещё и в Мариуполь ему, а на кого дочку в гостинице оставишь? А вернѣтся – и найдѣт ей квартиру.

И начальница сама не заметила, как дала себя уговорить. Томчак даже ручку ей поцеловал (он не умел, но видал, как делают) и порывом ушѣл. Ещё прежде, чем он привѣз эту пугливую девочку в домашнем клетчатом платьице с поясом-кушачком, не смевшую перед величественной дамой в пенсне ни повернуться, ни сесть, – к другому подъезду (квартира начальницы была в здании гимназии) подвезли фарфоровый бочонок осетровой икры, от Филиппова торт в квадратный аршин и ещё коробки. Не могли же не к делу быть лишние гроши хоть бы и этой образованной начальнице, хоть и в щипоноске. Да платить людям вперѣд и по совести – не подкуп, не покупка, не мог бы Томчак объяснить, а про себя понимал: щедро платить за всякое дело создаѣт между людьми дружбу и добро.

За три дня, что Томчак был в отъезде, Ксенья проявила себя чистоплотной, послушной, восприимчивой к навыкам и к урокам, это быстро замечает опытный глаз. Комната дочери пустовала, мальчиков можно было и не расселять, и решила Аглаида Федосеевна, что будет даже хорошо: при двух сыновьях пусть в доме растѣт девочка, это будет влиять на них. Только вот молится ребѣнок избыточно: и утром, и вечером подолгу, на коленях. Но тем заманчивей взять девочку из тѣмной семьи и переделать на девушку передового толка. Условия поставила: Ксенья будет ездить домой лишь на каникулы, а в году отец не будет вмешиваться ни во что. Да Захару Фѣдоровичу лучше того и не надо: начальница правил строгих, чего ж для девочки ещё?

Томчак не задумывался, какое первейшее испытание возложил на дочь: жить на квартире начальницы и не прослыть меж одноклассниц фискачкой. Впрочем, от этой опасности её оберегла и начальница: дорожа либеральным духом своей гимназии, она никогда не позволяла себе и классным наставницам прибегать к осведомлению через тайные допросы и доносы учениц. Ни одного такого вопроса за годы не задала она и Ксенье. Она и её покойный муж считали главной задачей воспитания юношества – воспитание гражданина, то есть лица, враждебного властям.

Способности Ксеньи и её усидчивость превзошли догадки Аглаиды Федосеевны. Переходы между гимназией и квартирой занимали у девочки одну минуту, не час в день, как у всех, и этот час тоже шѣл на занятия. Сам процесс занятий завлекал её выше гимназических наград. Ниже пяти с минусом у неё не бывало выводной отметки ни по какому предмету, а особенно расцвела она в иностранных языках, из которых ни одного не знала, придя: в гимназии Харитоновой было два обязательных, Ксенья, кончая с золотой медалью, уже свободно читала на трѣх. (И так любила она свою гимназию, не мысля дня пропустить занятий, такая робкая сохранялась долго, что отказалась от ориного приглашения поехать с ними в большое заграничное путешествие).

Больше языков – больше и книг. Детскими и недетскими, ими уставлены были многие шкафы в квартире Харитоновых, и почти не было здесь общих с теми, что читала Ксенья у

Ори, – ну разве, может быть, Гоголь да Диккенс. Когда издано было толщиной и бумагою как Библия – так не Библия была, а Шекспир со страшными картинками.

И с каждым полугодием, каждым месяцем этих четырёх гимназических лет мир прежней ксеньиной жизни разживался ей как дикий тёмный угол. Да каким позором была одна развязность отца – предложить начальнице взять дочь на постой! Приезжая домой на каникулы, Ксения в ужас приходила от густоты домашней невоспитанности. Однажды привозила она с собой Соню Архангородскую и её глазами ещё острее увидела всю эту первобытность, и сгорела от стыда. Не подвернись агрономических, она на любые всякие другие курсы бы уехала, чтобы только обращаться в культурном мире.

Ничего не осталось и от её прежних старательных утренних и вечерних коленных молитв: помаливалась она теперь дома бегло, в церковь ездила со всей семьёй, когда нельзя уж не поехать, – а стояла рассеянно, крестилась неловко.

И спохватился Томчак, что одну только малость забыл тогда спросить у начальницы: со своей всей гимназией – верует ли в Бога она?

#### ДОКУМЕНТЫ – 4

11 августа

**ФРАНЦУЗСКОЕ М. И. Д. – ПОСЛУ В ПЕТЕРБУРГЕ ПАЛЕОЛОГУ**

**... настаивайте на необходимости наступления русских армий на Берлин. Предупредите русское правительство неотложно...**

### 6

Нисколько не было Роману тягостно провести наедине хоть и неделю: лишь бы всё было ему вовремя подано, а интересней и приятней самого себя он никого не знал.

Пожилому лакею с бакенбардами он подробно заказал обед себе на одного – сюда, на веранду, пока солнце ещё не заглянет. С особым вниманием спросил и отобрал рыбные закуски. (От ростовского рыбного торговца Томчакам высылался с проводником пассажирского поезда то бочонок, то пакет; на станцию выезжал казак и платил проводнику за беспокойство). Был смысл пообедать со вкусом и без поправок – одному, пока старик не вернулся. Вернуться он может перед вечером, там два поезда рядом. Но – в ссоре они, и Роман не может заискивать, встречать его на станции.

Соучастником волнений был сегодня и лакей: брат его, шофёр Романа Захаровича, подлежал призыву, однако в числе других важных работников при удаче мог быть отхлопотан учётным.

Роман-то был *единственный кормилец*, один сын в семье, и никак: не мог бы подлежать призыву. Но слухи потянулись, что льготы эти отменят, если натурально кормильцем не является, в манифесте об ополченцах три дня назад было неясно сказано о *пропущенных* прежними призывами, – отец и поспешил к воинскому начальнику закрыть и закупорить при всех случаях.

Тут, на остеклённой веранде второго этажа, при спальне, стояла и любимая кушетка, отобранная из жениного гарнитура: с плавногнутым подъёмом изголовья, так что не лежишь, а на треть сидишь. Не подымаясь и без подушек, можно курить, читать газету или вот теперь, так повешена, рассматривать на стене карту военных действий.

Из ростовского магазина по телеграфному запросу прислали Роману набор флажков воюющих государств для вкалывания линии фронтов. И он уже начал вкалывать, но тут как раз возникли эти слухи о снятии льгот – и весь дымок очарования и интереса как сдуло с карты, только душу щемило смотреть на кривые линии границ, кружки городов, чужие названия.

Роман поджёг золотой зажигалкой папиросу особого размера. В путешествие медового месяца, за границей, Ирина подарила мужу золотой портсигар – удлинённый, каких в России не было папирос. Как джентльмен, Роман не мог пренебречь первизной и ценой подарка,



поэтому отказался от покупных папирос, а заказывал ростовской асоловской фабрике по двадцать тысяч гильз удлинённого же размера, и вызывали из Армавира специальную девицу набивать всю партию табаком.

Но и куренье никакого удовольствия не доставляло сегодня.

Сел за ломберный столик, разложил бумаги из кассы, постарался заняться расчётами. Окончил Роман всего четырёхклассное училище: тридцать лет назад на Мокром Карамыке только на ноги становились, и в голову не могло прийти, что сыну хорошо бы в гимназию. Потом начинал коммерческое училище, не кончил. Однако цифровая хватка была у него хороша. И к хозяйствованию большие способности, но обидно быть подручным, при напористом отце, не терпящем перекоору и тоже сметливом редком удачнике. Ждал Роман своего отдельного часа! А пока капитал позволял ему хоть и совсем не участвовать в отцовском хозяйстве. Каждый год на два месяца в Москву и в Петербург, на два месяца за границу. В Москве катать на рысаках, в “Элите” на Петровских линиях брать отделение “люкс”, перебивая у иностранцев, а в Большом театре, когда уже все сидят, проходить в смокинге в первый ряд партера... В путешествиях себя особенно любил Роман. Так одеваться, чтобы даже знакомые у Нарзанной галереи тебя принимали за англичанина. А Европу поражать русской решительностью и своеобразием. В Лувре, в пурпурной круглой комнате, где Венера Милосская, но ни одного стула, чтобы никто не сидел, повелительно протянуть служителю десятифранковую бумажку: “ля шэз!” А переходя в следующий зал, показать: “Теперь – туда ля шэз, туда!” – потому что долго ещё будет жена разные черепки смотреть, уже курить хочется, и даже обедать.

Но и – хороша же Ирина! Когда наденет эспри и движется, не наклоняясь, как статуя богини, только качаются перышки райской птицы воздушно. С ней и при Дворе не стыдно появиться. Самому б на вершок повыше. Да если б волосы так не выпадали, а то приходится стричься под машинку.

Нет, занятя не шли. Тянуло: с чем отец вернётся? Стал Роман расхаживать по веранде. И – думать, куря.

Больше всего он и любил себя в таких думаньях. Он разворачивал в них все свои способности – даже и государственные, ещё тайные ото всех. Чем он наверняка превосходил многих депутатов Думы – это своей резкой прямоотой с людьми. Сколько было вокруг самых диких и распущенных экономистов – все уважали Романа Захаровича, может быть не любили, но робели. Он никогда никому не только не льстил, но вершка не уступал из вежливости, но улыбки не дарил из гостеприимства, а всегда разговаривал с гордой серьёзностью, не сводя с собеседника режущего взгляда. Да вообще он минуты не разговаривал с человеком неинтересным или ненужным: даже если тот был гость – Роман Захарович открыто вставал и уходил к себе. Именно таких непреклонных людей не хватало сейчас в государственном управлении, а на самом верху – особенно.

Роман расхаживал всё твёрже и решительней. В одном конце его проходки висела на верандном переплёте фотография Максима Горького. Роман с симпатией смотрел на вызывающе вскинутое плющеное лицо знаменитого писателя. Роман везде громко хвалил его книги и пьесы. Он находил в нём свою черту: не лебезить перед теми, кто к тебе благосклонен. Романа восхищала та дерзость, с которой Горький полосовал и жёлчью поливал тузов промышленности и торговли, – они же в восторге аплодировали пряному, острому, свежему.

А за парком – две тысячи десятин кубанского чернозёма, если их наследовать. И такую прочную, богатую, обещающую жизнь, такую умную светлую голову – одна повестка воинского начальника может сорвать в грязный окоп под власть фельдфебеля!... Вот дикость!

От Кубани не было ещё ни одного настоящего деятеля в России, Кубань никем не прославлена. Роман представлял разные виды своего выдвижения, одно интереснее другого. Да он, по сути, был бы смелее кадетов! Но левее кадетов кто ж – социалисты? Вот и Горький – социалист.

Да можно было бы подумать и о социализме, если б это не было так связано с грабежом, с отнятием законного имущества. Единственное личное воспоминание о социализме было у Романа – от Девятьсот Шестого, кость в горле, обиднейшая потеря за всю жизнь. Да если бы потеря! – с потерей можно примириться как с убытками от грозы, от засухи, от колебания цен. Потерять – не унижительно, кто не теряет! Но своими руками добровольно протянуть кровные деньги этим наглецам, этим рожам мерзавским, ни ума, ни трудолюбия не хватило б у них двадцатую долю того заработать! А весь их труд был – писарским почерком с завитушками написать и разослать всем экономистам письма: “Уважаемый Захар Фёдорович! С вас причитается сорок (с кого – и пятьдесят!) тысяч пожертвования на революционную работу, иначе вам наступит немедленная смерть. Анархисты-коммунисты”. И первых отказавшихся для подтверждения – действительно убили, всю семью.

Что было делать? Революция, все напуганы, власти в себе не уверены. А настроение образованного общества: на революцию? вы обязаны! ваш долг святой перед ограбленным народом. (Да если б на законную революцию, сбросить ненавистного царя, – так сколько бы то можно и дать). Экономии разобщены, стоят в степи без охраны... (С тех пор Томчаки и стали держать четырёх наёмных казаков). И пришлось ехать, на тачанке, попроще оделись, втроем: Роман, управляющий и конторщик. Отец не поехал – отец не мог бы своими руками деньги отдать, у него бы сердце разорвалось от первой тысячи.

Поехали за дальнюю глядичевую посадку. Была осень, хорошо запомнились под колёсами широкие лиловые опавшие стручки. А те приехали – из Армавира? – на фаэтоне, одетые не только не просто, но богато, один даже в визитке с атласными отворотами и с бабочкой. Очень вежливо разговаривали, считали ассигнации терпеливо. И – трое на трое, можно бы кинуться на них, избить, застрелить, ещё в засаду людей подсадить. И был револьвер в заднем кармане. Но не было решимости, Но вся Россия считала правоту – почему-то за ними, грозными, славными... Всё же не мог Роман отдать полные сорок тысяч, упёрся, торговался – и две с половиной выторговал у них, те ещё понасмехались: какие вы скупые, экономисты! (Отец очень похвалил за две с половиной тысячи). И раскланялись превежливо, и уехали. И так никто никогда не узнал и не проверил: баррикады ли строили на те деньги? винтовки ли покупали? или просто три жулика хорошо поживились и поехали в Баку кутить с проститутками?...

Ещё долго, долго было до вечерних поездов. А занятий только – читать да старое перечитывать, газеты.

\*\*\*\*\*

## **БОГАТИЧИ – ЧТО ГОЛУБЫЕ КОНИ:**

### **РЕДКО УДАЮТСЯ**

\*\*\*\*\*

**7**

**(вскользь по газетам)**

**ЖИВОЙ ТРУП тот, кто не знает волшебного действия лециталья... Стимулол от МУЖСКОЙ НЕВРАСТЕНИИ ...**

**Московская касса ВЗАИМОПОМОЩИ НЕВЕСТ...**

**Кокосовые гамаки для дам...**

**И Лондонские духи клик-клик, эсс-букет...**

**СЧАСТЬЕ И СЛУЧАЙ ДАЮТ БОГАТСТВО! Участвуйте в лотерее...**

... этический идеализм в общественных делах, которым так богата славянская душа, но обеднел просвещённый Запад...

На встречу ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 7 июля устраивается морская прогулка с оркестром музыки на большом первоклассном пароходе “Русь”, исключительно для фешенебельной публики.

... безразличие французской демократии к внешней безопасности страны... торжество антипатриотических партий во французском парламенте...

**ПОКУШЕНИЕ НА ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА...** На все расспросы отвечала: “Он – антихрист”... Оказалась крестьянкой Симбирской губ. Хионией Кузьминичной Гусевой... Жизнь Распутина вне опасности...

... отмена воспрещения евреям арендовать лавки на нижегородской ярмарке...

**ЗАЧЕМ ОСТАВАТЬСЯ ТОЛСТЫМ?** Идеальный анатомический пояс против ожирения... Незаменим элегантным мужчинам.

**СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА РУССКО-ФРАНЦУЗСКОГО СОЮЗА...** Пребывание господина Пуанкаре... Парадный обед... Направо от Ея Императорского Величества... По левую руку Государя...

Приём делегации русских крестьян господином Пуанкаре... Глава делегации приветствовал президента и просил Передать французским крестьянам...

**ПАРАДНЫЙ ОБЕД** на броненосце “France”... Блистательное подтверждение неразрывного союза... один и тот же идеал мира...

**ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ** пребывания французских гостей... На предложенный вопрос, основательна ли тревога европейского общественного мнения... событиями на Балканах... Вивиани ответил: “Несомненно преувеличена”.

...”Times” отмечает, что превосходство русской армии над германской значительно, нежели...

**ДЯДЯ КОСТЯ** – папиросы 10 шт. 6 коп., верх изящества и вкуса!

**НЕСРАВНЕННАЯ РЯБИНОВАЯ** настойка ШУСТОВА!

**КРАСАВИЦЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ!** Снимки парижского жанра, новейшие оригиналы С НАТУРЫ! Высылаю в *НАГЛУХО ЗАКРЫТОЙ* посылке.

... миролюбие России хорошо известно... Но Россия сознаёт свои исторические

обязанности и поэтому...

... ввиду непрекращающейся забастовки, промышленники Выборгского района... закрыть фабрики и заводы на две недели...

... в Москве не вышли газеты... однодневная забастовка наборщиков...

Сегодня БЕГА

*РЕСТОРАН "ЯР"*

**МИР ИЛИ ВОЙНА?** Утром всюду говорили "мир"... Несчастливая Сербия... Миротворительная Россия... Австрия предъявила самые унижающие требования... Через голову маленькой Сербии меч поднят на великую Россию, защитницу неприкосновенного права миллионов на труд и на жизнь...

... вместо угнетающей подавленности – прилив бодрости и веры в свои силы. Такова психологическая черта всех здоровых народов.

... Народ-исполин, которого не сломили величайшие испытания, не боится кровавой тяжбы, откуда б она ни грозила.

**МНОГО ОБЕСКУРАЖЕННЫХ ЖЕНЩИН** вернули себе этим кремом полную жизнерадостность...

Государь Император Высочайше повелеть соизволил перевести армию и флот на военное положение. Первым днём мобилизации назначено 18 июля 1914 г.

А на Севере туманном  
Слышно гром пророкотал:  
То с крестом, в доспехе бранном  
Старший брат славянства встал.

**ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В С. -ПЕТЕРБУРГЕ ВРУЧИЛ НОТУ  
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВОЙНЫ**

Бодрое настроение в Петербурге и Москве... Запрещение торговли спиртными напитками в обеих столицах.

**НА НАПАДАЮЩЕГО – БОГ!**

... У Зимнего дворца – стотысячная масса на коленях со склонёнными национальными флагами...

... Вставай же, великий русский народ!... Великий подвиг, перед которым бледнеет всё, что когда-либо видел мир... за светлое будущее всего человечества... мечтаний о братстве народов... Свет миру с Востока теперь или никогда...

**ВЗДОРОЖАНИЕ ПРОДУКТОВ.** За последние дни в Петербурге цена на мясо... с 23 до 35 копеек... В Киеве толпа из бедняков учинила суд над торговцами, самовольно повышающими...

О приостановлении размена государственных кредитных билетов на золотую монету... Посещая сегодня столичные банки... с удовольствием констатировать... В экономическом отношении война не так страшна для России, как для Германии... Забастовочное движение сразу прекратилось...

## **НА НАПАДАЮЩЕГО – БОГ!**

... Германию мы вывели из позора в 1812-13 годах, Австрию – в 1848...

Портреты наших врагов: Его апостольское величество император Австрии, король Венгрии Франц-Иосиф I...

**ТРИУМФАЛЬНО ОДНОДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**  
26 июля... Представителей разных национальностей и партий в этот исторический день волновала одна мысль, одно великое чувство трепетно звучало во всех голосах... руки прочь от Святой Руси!... Мы готовы на все жертвы для охранения чести и достоинства нераздельного государства Российского... – Литовский народ... идёт на эту войну как на священную... – В защиту нашей родины мы, евреи, выступаем... по чувству глубокой привязанности... – Мы, немцы, населяющие Россию, всегда считали её своей матерью... и как один человек готовы сложить свои головы... – Мы, поляки... – Мы, латыши и эстонцы... – Позвольте мне как избраннику татарского, чувашского и черемисского населения заявить... все как один человек... бороться против нашествия... сложить свои головы... – Вся Родина сплотилась вокруг своего Царя в чувстве любви... В полном единении с нашим Самодержцем... – Все мысли, все чувства, все порывы... “Бог, Царь и народ!” – и победа обеспечена...

**ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ...** Европейская война не может быть продолжительной... Из опыта предыдущих войн... решительные события происходили не позже двух месяцев...

## **НЕПРОБИВАЕМЫЕ ПАНЦЫРИ**

**ВСЯКАЯ ДАМА** может иметь **ИДЕАЛЬНЫЙ БЮСТ**, украшение женщины!  
Принимайте пилюли Марбор! Строго солидно. Без разочарований.

По случаю мобилизации открылось много вакансий...

**АНГЛИЙСКИЕ СУКНА** дешевле на 40%...

**ГИТАРА**, заочные уроки, бесплатно. Тюмень, Афромееву...

**ВТОРАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА...** Сообщение Генерального Штаба...  
Русские отряды вторглись в Пруссию... Наши лихие кавалерийские части...

... созидательные цели войны...

Нижегородская ярмарка , 1 августа... Закрыты все пивные и винные лавки вот уже две недели, и ярмарка приобрела необычайный вид. На улицах не видно пьяных, нет обычного обирания загулявших купцов... почти не стало карманных краж...

## **УХОДЯЩИМ**

Идите, милые! Без страха и тоски

По здесь покинутым свою примите чашу...

Поляки! Пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов... Да воссоединится польский народ под скипетром Русского Царя...

**НЕПРОБИВАЕМЫЕ ПАНЦЫРИ ...**

**ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!**

... Никогда русско-польские отношения не достигали такой моральной чистоты и ясности...

Чехи! Настал двенадцатый час!... трёхсотлетняя мечта о свободной независимой Чехии – теперь или никогда!

**ПРАВА ЕВРЕЕВ...** Циркулярное телеграфное распоряжение всем губернаторам и градоначальникам приостановить акты массового или частичного выселения евреев...

**ПРЕДСКАЗАНИЕ ГИБЕЛИ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ.** Вильгельм II, в бытность свою студентом боннского университета, однажды обратился к одной цыганке с вопросом... Цыганка ответила бесстрастным голосом: “Злой вихрь налетит на Германию и разметёт”...

**БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕТЕРБУРГА.** Выдумка о немецком десанте... совершенно исключается...

**В СТРАНЕ ДИКАРЕЙ...** Страна Шиллера и Гёте, Канта и Гегеля... под кулаком железного канцлера, которому они везде поставили памятников... Никто не прольёт слез над развалинами страны лжи и насилия...

**ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА.** В 7 часов вечера 3 сего августа в Санкт-Петербурге вводится военная цензура.

... осведомление населения в пределах возможности возложено на Главное Управление Генерального Штаба. Общество должно мириться со скудостью сообщаемых сведений, находя удовлетворение в том, что такая жертва вызывается военной необходимостью...

**ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОСЕЩЕНИЕ МОСКВЫ...** Речь Государя в Большом Кремлёвском дворце... Их императорские Величества выходят из часовни Иверской Божьей Матери... Десятки тысяч верноподданных манифестируют на Красной площади...

... Примчались сербы, нам родные,  
Был пышен быстрый съезд Двора,  
И проходили запасные  
Под клики дружного “ура”.  
Из храма доносилось пенье.  
Перед началом битв, как встарь,  
Свершив великое моление,  
К народу тихо вышел Царь.

## **ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!**

**ПОДВИГ ДОНСКОГО КАЗАКА КОЗЬМЫ КРЮЧКОВА...** Заметил 22 всадника... С гиком бесстрашно бросился... врезался... вертясь волчком, рубился... Подоспели товарищи... первым в эту войну Георгиевским крестом...

... ввиду прекращения экспорта... небывалое понижение цен на зерновой хлеб... Хлеботорговцы переживают крайне тяжёлое время...

**ШАЛЯПИН НАШЁЛСЯ!** Благополучно избег немецкого плена и в настоящее время...

Письмо прапорщика... “Сегодня привели 9 австрийских шпионов... По их словам состав армии плохой”...

**ДНЕВНИК ВОЙНЫ.** Центральным событием дня является наше наступление в пределы Восточной Пруссии на широком фронте... Лесов имеется много, но они разбиты просеками... не представляют препятствия для продвижения кавалерии и пехоты... 7 августа пришло известие о занятии нами Гумбинена... Это отдаёт в нашу власть всю Восточную Пруссию... Разбитые германские корпуса лишились способности...

**ПРИЯТНОЕ ИЗВЕСТИЕ.** Из самых авторитетных источников нам сообщают, что в русской армии в настоящее время не имеется ни одной части, шефами которой состояли бы особы владетельных германских и австрийских домов.

## **8**

Её ввели и подтолкнули старшими женскими руками – как в полную темноту, в спальню, где он лежал.

Совсем темно не было, но обычное затмение глаз, когда из яркого южного полдня войдёшь в заставленную комнату.

Пахло ладаном, сухой травой, лекарством. Сразу вскоре видны лучи от щелей, в них – пляшущие пылинки, потом от этих лучевых пылинок расходится для глаз и по комнате всей – смутная видимость. Потом и чётче, и почти уже полная.

Он лежал в междустенке на высокой кровати, высоких подушках, покрытый одной простыней по духоте, – а как будто уже саваном, только не до верха.

Варя подошла сколько-то, за сколько-то остановилась. Говорить она совершенно не знала что, за всю дорогу от Петербурга не выдумала, боялась сфальшивить, что ни произнеси. Но отчасти эта темнота помогла ей, в темноте легче было и молчать, и освоиться.

А он-то, наверно, хорошо видел её. Но и головой не повёл. А после нескольких дыханий спросил, громче шёпота:

– Кто это?

– Матвеева. Варя.

– Мат-ве-ева?? – его беззвучный голос передал, однако, удивление – и ласковость. – Матвеева? – Далеко отстояло слово от слова. – Да ведь ты ж. В Петербурге.

– Приехала. Узнала – и приехала.

Что война началась – ему нельзя было говорить, не говорили. Что приехала из-за него, пусть понуждаемая разными дамами, – была почти правда. А высказалось – неловко. Благодарить благодетеля?... И само благодетельство вообще стыдно, и благодарить – фальшиво: благодетельство есть откуп от общественного долга, так говорят. А всё же перед

собой и перед этими дамами не могла Варя не признать, что ни гимназии бы не кончила, ни на высших курсах бы не училась без Ивана Сергеевича Саратовкина.

За минуты молчания и в нём что-то прошло, прошло. И он сказал уже голосней и со всё более отчётливой ласковостью:

– Спасибо, Варюша. Не ждал. Мне приятно.

Когда-то маленькую девочку может быть погладил по головке. Ей и не запомнилось, чтоб он говорил с нею особо или ласково. Да они и не встречались никогда. На петербургской улице она бы мимо него прошла, не узнала.

А сейчас этот голос – тронул её. И первый раз ей показалось, что она ехала так далеко – не зря. Хотя всю дорогу была уверена, что – зря, смешно и глупо.

Среди образованных курсисток, её подруг, стыдно было бы признаться, что она ездила к одру благодетеля, да кого? – владельца бакалейно-гастрономического магазина, – как ни назови его, купец или лабазник, всё равно чёрная сотня. (Хотя и у Гоца дед был чаесторговец – но сотни тысяч жертвовал на революцию!)

Магазин Саратовкина на тихой Старопочтовой, на отлёте от движения, без зеркальных витрин, не такой большой и даже полутёмный, однако известен был всему Пятигорску, и Ессентукам, и Железноводску: что нет никакой такой в мире еды – всякой марки заграничного вина, швейцарского шоколада, вологодского масла или нежинских огурчиков, чтоб они не нашлись у Саратовкина. Его приказчики считали позором ответ “у нас нету-с”. И даже непонятно, какую выгоду Саратовкин преследовал не в бойкости повседневного спроса, а в том, что на всякое шалое желание у него не бывает “нету”. Скорее – гордость.

Варя приехала не зря? – однако что же было говорить дальше? Как она поняла, Иван Сергеевич уже неизлечим, и даже в днях её торопили, чтоб она поспела. Но теперь высказывать ему несбыточные пожелания здоровья было неискренне, а признать смерть – тоже нельзя. А говорить о постороннем – и совсем неестественно,

И Варя, ни шагу дальше, от натянутости переминалась, выжидая, сколько прилично надо простоять, чтобы можно уйти. И обеими руками держала сумочку перед собой, чтобы только занять их.

Уже гораздо ясней стало в комнате, и на подушке виделась круглая голова Ивана Сергеевича, редковатые волосы, всё ещё полное лицо – и большие, устало свисшие усы, как мокрые кисти.

А всё остальное – под саваном.

Не от сознания близкой смерти его, а вот от этого савана, до подбородка натянутого, её как созвонило.

А он, напротив, так покойно лежал, будто нисколько не боялся и не ему грозило.

– Пошли тебе Бог, Варюша, – с той же ласковостью сказал Иван Сергеевич, как будто она была не одна из двух десятков, ему не памятных, а его любимая дочь. – Чтоб ученье. Пошло на благо. И тебе. И людям. Свет ученья, он знаешь. Двулезый.

Последнего странного слова она не поняла. Да и не так старалась понять, а старалась выстоять прилично свои десять минут, и облегченье было, что не ей говорить, а он сам. Но его тон – очень раздобрал сердце.

– И жениха хорошего, – размышлял он, кажется и без труда. – Или есть уже?

– Не-е-ет, – простоналось у Вари.

И тут почувствовала к нему бесподдельную благодарность, что самого главного он не забыл и самого больного так коснулся мягко.

Он, правда, был хороший старик, хотя и купец. И кто-то же должен быть купцом. И кто-то же должен один взяться, чтобы город их не был хуже столицы.

А – после него?

– Всё – будет. Всё – будет, – то ли успокаивал старик. То ли успокаивался.

Замолчал.

**Забыл?**



И Варя молчала. Она даже хотела что-нибудь сказать, но совсем не могла придумать, как если б ей было четыре года.

И пока она стояла, ещё переминаясь и вцепясь в сумочку, она подумала искренно, не формально, что ведь когда-нибудь и она будет старой и вот так же плашмя и беспомощно будет умирать.

А Иван Сергеевич с одра смерти как будто ей помогал на тот миг.

И ещё сказал:

– Спасибо. Что посетила. Спаси Бог.

Правда, как-то хорошо получилось, неожиданно. Не так непролазно мучительно, ничемно, как ей представлялось в пути.

Из тёмной комнаты его она вышла растроганной. Вышла наружу – а там дрожащий знойный воздух. И много виделся раскинутый Пятигорск.

Трёхэтажный дом Саратовкина стоял на углу Лермонтовской и Дворянской. Тут поворачивали открытые маленькие трамвайчики, идущие на Провал, несмотря на войну и сегодня полные курортной публикой. Они всползали выше, выше по подножью Машука, мимо богатых белых дач, вилл, пансионеров – и туда, к Эоловой арфе, к Лермонтовскому гроту. А в другую сторону, к базару, Лермонтовская круто спускалась, сразу падали крыши в зелень. На юг, поверх сниженного города, синели отодвинутые, размытые, ненастойчивые линии гор.

И – так горячо стало от этого обзорного родного вида. Пятигорск! Зачем она отсюда уехала в чужой неприветливый Петербург? Тогда казалось – к счастью.

Сирота... Но и сироте помогает родное место. Вот... вот... не отец, а... а как бы и за отца? Не отец – а сколько для неё сделал?

И – как добро пожелал. Как угадал!

И вот – уже и его нет...

Вся с детства известная привлекательная окрестность, ещё и под невидимым духом Лермонтова, – как чаша, налитая зноем и счастьем, – томила невыносимостью.

Вот ведь, как чувствовала: и с Саней встретила. Родная земля, здесь всё возможно!

С Саней-то встретила, но только раздражилась до крайности. Такая невозможная встреча, в таком переполошенном общем завихре, кажется – что только дать могла, именно по необычности положения – всего мира, и его, и её! – а ничего не дала. Уходила, урчала тёмная вода – и телом своим готова была Варя рухнуть и перегородить ту воронку. Но всё впустую. Тягостно с ним прошатались несколько часов по станции Минеральных Вод – а всё ни к чему. Эта чрезмерная его добродетель, медленная рассудительность – они уже и девчёнке-ученице претили, – а тут, в ослепительном июльском дне, стало видно до чёрточки, как Саня губит себя, – и ничем Варя не могла отвратить. И чего-то резкого ему наговорила, имея в виду свою досаду, а вкладывая в слова другого разговора, – и уехала дальше дачным, в Пятигорск.

А она так неслась, так неслась на родину, как будто не война сопровождала её всю дорогу, как будто не к последним вздохам опекуна, а летела в счастье, вся до щекучих подошв ожидая его.

Как террористки возят на себе пироксилин, в каких-нибудь местах, не доступных для полицейского обыска, под лифчиком, – так Варя везла в себе силу взрыва, уже недовезомую.

Пропадала она в этом Петербурге, никем не замеченная, не привеченная, малообразованная провинциалка. А здесь – горячая чаша родины, и здесь не может у неё не найтись друзей, знакомых, кого бы встретить. Кто-то должен её понять – и ей помочь понять свою судьбу.

И как она будет благодарна! и как отслужит!

Не мог этот приезд её кончиться – так, ничем. Вот, на черкеске проходящего горца видела она в перепояс узкий ремешок с бляшками чёрнёного серебра, а с ремешка свисающий кинжал, – вот, это наше, наш мир! (Хотя никогда ни одного горца не знала).

В дешёвой соломенной шляпке она шла по бестенному жаркому тротуару – и вдруг оказался перед её ногами, поперёк тротуара – ковёр! Расстеленный роскошный текинский, тёмно-красный с оранжевыми огоньками.

Варя вздрогнула, как вздрагивает засыпающий, сочтя уже за галлюцинацию, – огляделась: да, мягкий ковёр был расстелен поперёк всего тротуара от двери коврового магазина – и другие прохожие тоже останавливались, не решаясь наступить. Но стоял в двери пожилой коренастый турок в красной шапочке, с дымящимся чубуком, и ласково приглашал прохожих:

– Ходы, пажалуста, ходы, так лучше будыт.

Кто – всё-таки миновал, кто – смеялся и шёл. И Варя – пошла, наслаждаясь стопами от этой роскоши, – необычайный какой-то счастливый знак.

Голову набок, смеясь, покосилась на щедрого турка. И встретила хитро-властные глаза.

С сожалением соступила с ковра, покидая игру. От ковра через ноги огнём – будто вспыхнули в Варе яркость, красота жизни, уверенность в себе.

От Лермонтовского сквера к другому скверу по незастроенному месту тянулись временные лавчёлки, многие в ряд разнообразные лавчёлки и мастерские – из досок сбитые маленькие ларьки, домики с приподнятыми козырьками над своим дневным прилавком.

Варя пошла мимо них медленно и заглядывала в каждый без смысла. Тут был – продавец рахат-лукума и халвы. Галантерейный лавочник. Сапожник. Лудильщик. Чинильщик примусов и керосинок. А в следующей – жестянщик: висел большой оцинкованный таз у него над прилавком как витрина, вместо названия, а из будки нёсся жестяной бой, хоть уши закрывай, резкий и даже злой.

Мимо этих жестяных ударов Варя прошла бы быстрее, но покосилась – и увидела самого жестянщика, как раз оставившего работу и поднявшегося во весь рост. В такой жаркий день в серой плотной рубашке, под цвет жести, и в чёрном твёрдостоялом фартуке наперед, это был молодой парень, черноволосый и сильно смуглый, как многие на юге, но особенное в нём было то, что при широко-раздатом лице, и во лбу и в нижней челюсти, уши у него были неожиданно маленькие.

Варя увидела – и замедлила. Она узнала?... И через шаг остановилась уже уверенно.

С молотком в руке парень покосился на неё, без искривой готовности лавочников и ремесленников, и даже угрюмо, как на врага, а не заказчика. Да и не было ж в руках у неё никакого видимого заказа.

А Варя улыбнулась ему во всю летнюю улыбку:

– Вы меня... Ты меня не узнаёшь?

Сама она тогда, только перейдя в полустаршие гимназистки из городского училища, едва сменила, тоже на чёрном фартуке, бретельки на зелёную пелеринку. Но две её старшие подруги, приезжие, с которыми она как сирота вместе жила на квартире, уже водились с таким Йеммануилом Йенчманом (не представлялся Эмма, а всегда Йеммануил). И взявши с Вари твёрдое слово, открыли ей однажды, что это – знаменитый анархист, и что сами они тоже сочувствуют анархизму. От Вари просто негде было им скрытничать на квартире, но Варю охватило святое чувство посвящённости. Девочки прятали то какую-то коробку, то книгу Бакунина, то газету “Чёрное знамя” – и по тайности, и запретности, в хранении жадно читали их, от общих принципов – что должен быть полностью уничтожен весь нынешний строй жизни и надо посвятить себя неуступному неотступному разрушению, и до рецепта, как делать “македонки”: в кусок водопроводной трубки насыпать бертолетовой соли и вложить ампулку серной кислоты.

Так вот с Йенчманом раза два-три появлялся и Жорка – сильный, молчаливый паренёк, ещё не развитый, но обещающий самоучка, как говорил Йеммануил. И держал его на подмогу, на замену, для поручений. Ему тогда было лет пятнадцать.

С тех прошло? – семь лет? Варя ни разу с тех пор не видела их обоих, даже забыла совсем, вот никак не думала, что и сейчас он в Пятигорске.

Из своей полутёмной пещерки-ларька недоброжелательно искоса смотрел.

– Не узнаете, Жора?... Я – Варя... Я – из тех гимназисток на Графской улице... куда вы... куда ты приходил с Йеммануилом.

Почему-то само прорывалось “ты”. Да ведь ей тогда тоже было тринадцать, детское. Хотя вот он уже не подросток, а сильный мужчина с узластыми плечами.

А он из полутьмы смотрел на неё кособрово, ему это, видно, сильно всё не нравилось. Как-то гмыкнул, ничего ясно не выговорил, полуотвернулся, сел на низкий стул – и на выдвинутой железке стал обивать загнутый край лохани. Молотком он бил по твёрдой железке через подставленную жести, понемногу поворачивал лохань и снова бил, подбивал. Бил он сердито, как будто на эту жестянку сердясь, бил и подбивал, голову наклонив, оттого ещё хмурей. И на Варю даже не смотрел.

А её – как приковало к этому темно-деревянному нечистому прилавку с обрезками цветной жести, то белой, то жёлтой стороной наверх, и кой-где присыпом металлической пыли. Она обоими локтями оперлась, вглядывалась в крупнолицего мастера и настаивала:

– Не можете вы меня не помнить! Там было две старших гимназистки, а я – младшая, Варя. А я – так: помню вас!

Пять минут назад она ничего о нём не помнила, – а сейчас вдруг из трубы памяти, через раскрывшийся раструб – потянуло сильным тёплым током, и она вспомнила даже клетчато-бордовую рубашку, в которой он бывал тогда, даже на каком стуле он сидел и движенья его рук. Сейчас – это всё очень помогло, – и силой вызывающего чувства она вытягивала из памяти ещё, ещё, какие-то анархистские программные фразы: разрушение несовместимо с созиданием... действительное разрушение и есть свобода... бороться с общепризнанными авторитетами... взрывать памятники...

А он поколачивал свою поделку со злостью, как удары нанося извечному врагу, и перекошены были его сильные, крепкие, мясистые губы.

Варя – уже больше различала в затеньи лавчёрки, хорошо видела его набор положенный гладкий смоляной чуб, только глаза от неё уходили. И – длинный негибкий чёрный фартук, то ли прорезиненный.

Тогда – и на ней тоже был короткий чёрный фартучек, но каждой складкой лънущий, как положишь.

Не мог он её не вспомнить! Она не уйдёт иначе!

Она и не шла никуда. А из трубы памяти – выносило на помощь, и она вытягивала – с изумлением, как новое:

... Только через преодоление культуры возможно достижение анархистских идеалов. Долой научное насилие, долой университеты, синагоги науки! Анархист вторым делом объявляет террор науке! Похоронив религию – затем похоронить и науку, отправив её в архив человеческого суеверия...

Удивительные, неожиданные слова! А что, какая-то односторонняя правда есть и в этом? Наука – холодный, сухой, бессердечный путь. Особенно для молодой женщины. Особенно для одинокой.

Но как это помнилось? но какой силой вызвалось сейчас?

... Формы борьбы могут быть разнообразны: яд, кинжал, петля, револьвер, динамит... динамит, динамит...

Бил со злостью – и не узнавал? Резкий железный близкий звук хлестал по ушам Вари.

Тут ей осветилось: он не хочет узнать – из конспирации! Он – и по сегодня состоит в каком-то жутком чернознаменном обществе. Или не состоит, но скрывает прошлое и опасается быть опознанным.

Да разве она – его предаст? Да она могла бы ему даже помочь – выручить в чём-то конспиративном. Или – помочь ему в чтении, в развитии, – ведь это ему наверно трудно.

И ещё сильнее придавило её к прилавку, всем передом, как вертелся каруселью весь лавочный ряд, а эта лавочка была на них двоих, и её прижимало всей центробежной силой.

– Жора! Я никогда вас не выдам! – выговаривала она сильнее, через жестяной лязг, через примусный шумок сбоку, но – и не так, чтобы соседи слышали, а ему одному. – Вы

можете быть совершенно уверены! Ты можешь быть...

Через лязг, через шум и от боязни не убедить – дыхания не хватало. Но он услышал, понял. Перестал бить. И повернулся к ней. И как она видела теперь всё его возмужание за эти годы, и всю его решительность! И закрытую загадочность. А по широкому подбородку и на верхней губе – стоячая чёрная щетинка.

– Ты можешь на меня... положиться!

– А чего – положиться? – спросил он грубо. – Чего нам раскладывать? Ты себе – барышня, и проходи.

В грубости голоса его была как команда.

– Ты можешь положиться! – всё уверенней и увлечённой выговаривала Варя, так же прижатая к прилавку, и не заметила, заметила, что голым локтем раздавила лепесток сажи, перелетевший от примусника, – и тут же забыла.

Прохожие за её спиной миновали, заказчики не останавливались – и она с локтей смотрела и смотрела на отчаянного анархиста. И вспомнила, да:

... Революционер знает только науку разрушения... Холодной страстью должны быть задавлены все его нежные чувства... Он – не революционер, если ему чего-либо жалко в этом мире...

Ну конечно! Ну понятно! Он – добровольно всего лишён в этом мире. Но разве помеха – дружеское участие? светлая помощь?... Сама сирота – как понимала Варя всякое сиротское одинокое положение!

Смотрел.

Столько горечи, столько невысказанной тяжести было в его мрачном небритом лице и чёрном взгляде.

– Наверно, у тебя была это время очень тяжёлая жизнь? – как будто могла его утешить.

– Было, – вдруг открылся он. – Предателей много. Редкий не предатель. Попался я на одном деле, укокали начальника тюрьмы. Дали арестантские роты.

– И долго? – (Так и предчувствовала она!)

– Потом – амнистия, на ссылку заменили. И выбросили в собачью жизнь, вот... Им бы такую жизнь...

Видно и не женат.

Отдал молотком по железке, трахнул вместо слов.

– Я никак не думала, что вы в Пятигорске!...

Он приоткрывал подземный, тайный, преследуемый мир – и она не смела больше говорить ему “ты”, он вырос перед ней. В этот страшный мир она не готова была вступить – но если бы он властно позвал, то может быть и... В какой бы ни форме, но – слиться с народом, кто об этом не мечтал?

– Южно-Русская Федерация?... – ещё вспомнила и прошептала.

Когда он и не бил по жести – мешал слитный шум нескольких примусов от соседа.

Но Жора – расслышал и пришикнул как на кошку:

– Тшить!

Замерла.

– Продали Федерацию, – доверился он, услышала. – Из Киева. Сами виноваты, много психики наводили. Даже эксы стало делить нельзя. Ну, и развалились...

– А Йенчман? – спросила она, да просто напомнить их общее прошлое.

Махнул рукой:

– Он стал – пан-анархист. А я – анархист-коммунист. Они – учёные слишком. А анархист-коммунист не должен ничего читать, чтоб не поддаться чужому влиянию. Все свои взгляды он должен выработать сам, только так свобода личности.

Высказал, а лоханку проклятую доделывать. Бил.

Выше фартука ещё двигалось, а ниже – стоял дыбчатый фартук неподвижным хребтом.

Какая воля была в нём! Какая сила в подземном кузнеце!

Но если он не нуждается даже читать – то в чём она ему поможет? Но может быть – с

кем-то связать, куда ему нельзя появиться? Если бы он доверил?...

Не покидано чувство, что к чему-то же сегодня счастливо лёг ей под ноги ковёр.

Остановился бить, но помахивал молотком и смотрел жгуче:

– Все-е будут ползать перед нами на коленях! У все-ех мощну растрясём!

Непобедимые глаза!

– Всех подлецов стрелять по одному! – смотрел и на неё, как на подлеца. – Наели шеи жирные в крахмальных воротниках. А собачку нажмёшь – мясная туша.

Варя не знала, как смягчить его, чем угодить навстречу.

– А попам долговолосым – расчесать гривы, за гривы вешать.

– А не жалко? – усумнилась.

– Никого не жалко, – откровенно шевелил он тяжёлыми губами. – Должны знать, что сила на них идёт, пусть боятся!

Страшные он говорил слова! – но и жизнь ведь жестока. Это на Бестужевских курсах, на благополучной поверхности можно так категорично оперировать моральными правилами.

Навалило Варю на прилавок, платье не бережа.

А память подавала ей любимый спор тех лет, сейчас так объясняющий это гордое одиночество: имеет ли право революционер на личное счастье? Или должен постоянно подчинять его революционному идеалу?

И жалея его, обойденного, обделённого, явно одинокого, загнанного, затаённого, – простонала ему через прилавок, уже в половину его ширины:

– Жо-ора! Но вы не должны лишать себя... А?

Перестал бить, посмотрел. Всё не расхмуренный, раздражённый.

А она не уходила, не отходила, не слегала с прилавка.

Пока не захлопнется козырёк ларька.

Не бил. Молчал, смотрел, соображал. Сильные чёрные глаза.

Но заогнились, от подземной кузницы, от скрытого горна?

Глаза в глаза, ещё подумал и сказал:

– Ну, зайди.

Сильно шумели примусы.

Отлипла от прилавка, не видела сажевого пятна на локотке, может где и платье, – и подняв доску, вступила в узкий зев прилавка.

А дальше идти и некуда: два шага на два шага, и заставлено, завешано кастрюлями, вёдрами.

Зачем сказал войти?

Поднялся – неровно, как ногу отсидев, на голову выше её. Ступнул ещё вглубь, там надавил низкую дверцу, кивнул головой:

– А ну!

Вот что! Оказывается, в ларьке ещё был скрытый задний чулан, и туда вела эта дверца – такая низкая, что даже Варе надо было голову приклонить, чтобы войти.

Какая-то тайна.

Варя бесстрашно протиснулась мимо дыбчатого фартука, наклонённого плеча анархиста – и вошла туда. Как в подполье.

Доверил? Понадобилась!

В тесноту такую, что еле повернулась – и от спины её предупредительно гроыхнуло дном висящей жестяной ванны.

И чем-то сбило соломенную шляпку, попрыгала она куда-то.

Это был наглухо сколоченный чулан, но щели в разных местах, и всё же светилося.

Жора сильно пригнулся, вошёл. И ещё раз гроыхнуло прогнутым железом, как глухим громом.

Так было тесно, обвешано и обставлено, что только и стояли они друг против друга.

И что же тут?

В пережных щелях видя его, стояла.

Ужасно шумели примусы!  
Но когда он сбросил фартук – тот отчётливо, твёрдо стукнул о пол.  
Она – если и начала понимать, то не хотела понять!  
А он – страшно молчал!  
Она задыхалась от страха и жара в этом чёрном неповоротливом капкане! колодце!  
И ощутила на плечах неумолимое давление его рук.  
Вниз.

## 9

Иной год платили Томчаки управлению Владикавказской железной дороги шестьсот рублей, и чтоб любой скорый по их требованию останавливался на их станции Кубанской, а не протягиваться им до Армавира лишних двадцать вёрст.

В этом году управлению не платили, но скорые останавливали, как и всегда. Возвращаясь сегодня из Екатеринодара, Захар Фёдорович в Кавказской не стал ждать почтового, сел на первый скорый, тут же велел позвать к себе старшего кондуктора, приготовил на столике две красненьких, ему и машинисту, и объяснил, где надо остановить. Старший кондуктор нисколько не удивился, что деловой человек бережёт время, обещал – и сделал точно. Недалеко до вечера, но сильная жара ещё стояла, Томчак один со всего поезда, при головах, удивлённо высунутых из окон, сошёл на станционные пути без тени. От рыжего гравия возгонялся в дрожащий зной сладковатый запах мазута.

В тени склада стоял фаэтон, ожидавший целый день. (Давно уже была у Томчака не “русско-балтийская карета”, и рессорами, и спицами, и осями вполне похожая на обыкновенную телегу, а “мерседес”, но то для шику, иногда в гости, – ездил же Томчак почти только на лошадях, так чувствовал себя неестественно; в церковь и на станцию, где люди видят, – в фаэтоне). Кучер спохватился, побежал принять от хозяина маленький баул, потом – зануздать лошадей, искусанных слепнями.

А сына – не было. Не встречал его сын – чёртова притыка, а не сын, из какого семени он вырос?

Начальник станции вышел руку пожать Томчаку, но через пути опоздал: фаэтон уже покатил, Томчак торопился, как всегда, а тем более, потеряв три дня на поездку, весь охвачен был свербежом от упущенных дел, толкалось в нём – проверять, как тут что идёт в самое горячее время. Что за плечами – то оторвано, думал Захар Фёдорович о делах – передних, не сделанных, не проверенных, и может быть упускаемых. А ещё – от накипи сердца, что сын не встретил.

Не так далеко налево, меньше версты, он увидел и первую из молотилок в облачке взвешанной пыли – и тут же бы свернул к ней, как есть, на фаэтоне, да не стал людей смешить, надо всё ж переодеться и пересесть на дрожки.

Думал: про молотьбу; что карболку отправить надо к лукьяновским хуторам, вот-вот вторая стрижка меринсов; и не пора ли кукурузу ломать да кочаны убирать в новый амбар, на миллион пудов с жалюзным проветриванием (все стенки хоть открываются на продув, хоть закрываются плотно от дождя; это хранение, перенятое у немецких колонистов, если правильно заложить, обещало большой барыш).

У колонистов Томчак много чего перенял, и всегда это приносило ему барыш. Очень он уважал немцев – и войну против Германии считал бисовой дуростью, как свою драку палками в первом классе курьерского поезда с Афанасием Карпенко – из-за того, что тот назвал дурой свою невестку, старшую дочь Томчака. Дура и есть дура, её из четырёхклассного училища выхватили, чтоб за богатого человека отдать, и из-за того деловым людям стыдно драться. Наоборот, всей Россией надо учиться у Германии, как хозяйство ставить. Сейчас, когда годы такие пошли, что Россия соками наливается, не воевать надо было, а по тому Ерцгерцогу панихиду отслужить да на поминках трём императорам выпить горилки.

Тем более не видел он резону отпускать на эту войну ни сына, ни мастеров своих добрых, ни казаков, верно служивших ему по вольному найму на охране имения и кассы после того случая с разбойниками. Всех он от войны освободил, кого хотел, с этим возвращался. И если б они его на станции встретили, да во главе с сыном, вот то был бы отцу и почёт, вместе бы и порадовались.

Всё ж у каменных белых въездных столбов сидели вприсядку на земле и ждали хозяина: двое казаков, дизельный машинист, один садовник да романов шофёр, брат лакея. И Томчак остановил фаэтон и поднявшимся, окружившим сказал тепло, как обязанный им не меньше, чем они ему:

– Усэ будэ добрэ, хлопцы. И другим майстерам кажить. Робыть як робылы, та Богови добры свички поставьтэ.

И под их благодарный ропот тут же тронул. Лошади бодро зацокали по плитам аллеи, потом парадного двора – но с верхнего этажа выглянула только мать. А он и не высунулся.

Кучер подал по разворотному кругу к крыльцу. Томчак сошёл и быстро в дом. Теперь он уже и не хотел встречаться с сыном.

Ни одна половица крепкой молодой лестницы не скрипнула под его ногой, да и сам он в пятьдесят шесть лет поднимался, как молодой.

В верхней прихожей, выставя руки в надежде и в слабости, стояла перед ним его бочкотелая жена.

– Ну як, отец? – почти даже голоса не было у неё спросить.

А ему и отвечать шкодило: здесь, под крышей домашней, особенно приходилось как унижение. И, лба жены прикоснувшись чуть, он молча шёл в спальни. Она за ним. Как отстала Евдокия от мужицкой работы, так подагра привязалась к ней и ещё дюжина болезней, и тем больше болезней, чем она лечилась больше. (А нияких докторив! никола слухать нэ трэба! К себе-то Томчак их и не подпускал: он лучше усих докторив знал, как себя когда лечить). Сперва покупали грязевые бочонки и сестру милосердия выписывали в экономию делать хозяйке ванны, потом признали ей нужным ездить в Ейск, Горячеводск, Ессентуки – а там только в кружевных платьях да в экипажах, так донимали болезни горше.

Но сейчас попевала Евдокия живо и в своей спальне, пока муж на святой угол крестился, обошла его и заступила дорогу дальше. Она за грудь его держала и не спрашивала почти, а смотрела на его усатое, носатое, бровастое лицо, как на Илью-пророка: ударит или не ударит?

Говорить Томчаку не хотелось. Схлопочи, принеси – а он на диванчике будет лежать, не встанет. Добрэ було бы – так и уйихаты у стэп, никому ничего нэ сказав. Но посмотрел, как мучается стара, – пожалел, буркнул:

– Присягавсь воинский начальник – билый билет на усю войну.

Евдокия ослабла, отеплела, повернулась и крестилась на главную икону:

– Ну слава тебе! ну слава тебе! Услышала Богородица мои молитвы.

– Та ни, – поморщился Захар, кидая шляпу, срывая пыльник. – Богородица тут с краю. То я трохи пидмазав, шоб нэ рыпило.

И – шёл к себе, но зорко обернулся, что она отстаёт уже, и огнём метнул из-под бровищ:

– Ты куды?! Нэ пидэшь! Хай ему грець, шоб вин сказывься!! – Красная от ветров, с узлами вздувшихся тёмных трубок, рука его сошлась в кулак. Потряс. – Сам прыйдэ, як йому потрибно.

– Та я нэ до Ромаши, – лгала счастливая Евдокия. – Чого подать тоби, кажи?

– Ничего. Бальзаму выпью. У стэп пойиду зараз.

И срывал с себя парадную тройку, всё до исподников.

Огненный дёготный рижский бальзам стал его любимым напиток, с тех пор как недавно он его в Москве узнал. Один такой глянцеваый кувшинчик стоял у него в столовой, другой в спальне, пил Захар Фёдорович по маленькой серебряной стопочке.

– Та хоть борща постного! – предлагала жена, залитая радостью. – Разогреть?

– А чого там грить? – квасоль чи масло пидсонечное? Холодного давай! – И ещё вдогонку крикнул: – А кажи казаку бигты до Семэна та дрожки закладать.

Спальня Захара была за спальнею жены и без отдельного выхода. “Зато в мэнэ сквознякив николы нэ будэ!” – говорил он. По степи в лыху году, в дождь и в холод мотался он не стережась, но дома боялся сквозняков и спать любил тепло. Не в размахе их жизни здешней, а по-деревенски пристроена была к печи широкая кафельная лежанка, зимой Захар спал на ней. Была у него тут и касса большая, вделанная в стену, в неё он швырял на ходу, на ходу и вынимал; конторских книг лежало несколько, но никого из служащих Томчак здесь не принимал, да и сам цифрами в книгах наслаждался мало, – он был не слуга деньгам, а господин им. Деньги у него не задерживались, всегда были в землях, в скоте и в постройках; а золота Томчаки избегали, как и все получатели, как и все рабочие (обранивался из кармана маленький золотой), в банке приходилось чиновнику подплачивать, чтоб не нагружал золотом, а давал ассигнации.

Однако и в конторе не сиживал Захар Томчак над цифрами или деньгами, не задерживался там дольше, чем надо было принять решение. Весь смысл его дела был в степи, у машин, у овечьих отар и на деловом дворе – там досмотреть, там управить. Весь успех его дела был в том, как степные просторы разделялись полосками посадок на прямоугольные отсеки, защищённые от ветров; как по семипольной системе чередовались пшеница-гарновка, кукуруза-конский зуб, подсолнух, люцерн, эспарцет, и что ни год всходили всё гуще и налиivistей; как порода коров сменялась на немецкую трёхведёрную; как резали разом по сорок кабанов и закладывали в коптильню (ветчины и колбасы выделывал немец-колонист не хуже, чем у Айденбаха в Ростове); и, главное, как настригали горы овечьей шерсти и паковали в тюки.

Никогда не пропускал Томчак стоять самому при отправке на поезд или дальним гужом больших транспортов зерна, шерсти или мяса из своего имения. То был наистарший праздник для него: обойти глазами весь этот объём и тяжесть, которые он выдавал людям. Тем и похвастаться он любил иногда: “Та я ж Россию кормлю”, и такую же похвалу выслушать.

Пока жена ходила за борщом, Захар Фёдорович переоделся в полотняный костюм, надел сапоги с двойной мягкой подошвой (“шоб ноги спалы”). Поел бы он сейчас свиного сала розового в четверть высотой или горячей чабанской каши с барашком, но надо было Успение пережить. Зато пшеничный хлеб “со вздохом”, от руки сжимаемый втрое, он полосанул длинным кухонным ножом от края до края и склонил усы над большой миской холодного постного густого борща.

А жена стояла против него, сложив руки на толстом животе, и смотрела, как он ест.

Торопился он кончать да гнать по степи на дрожках (тырдыкалку одноосную не любил). Но постучала и вошла невестка.

– Шо? Уже Роману сказали? – насторожился и от миски как пёс зарычал Захар Фёдорович.

– Та ни, ни, – виновато успокаивала жена. – Тильки Ире, мабуть можно?

А Ирина вошла невиновато, прямая как всегда, с высокой шеей и пышной высокой причёской. Только то за весь день знала она от лакея, что муж её не умер там, в спальне: обедал, принял свежие газеты. Смотрела она, как свёкор усы мочил в борще, – не благодарил, молча смотрела, но с одобрением, с дружбой.

На всех в доме мог Захар Фёдорович кричать, громы метать, – на неё никогда, с первого дня она так себя повела и почувствовала здесь. Правда, и поперёк ему она ничего не делала, даже не надевала дома дорогих нарядов и цацек (бриллиантов) из-за того, что он не любил. Верный тон найдя, она умела убеждать его там, где никто, к примиренью с домашними, с другими экономистами. Свёкор вздыхал: “Божье дитя ты, Ируша”, и уступал. Когда в политике что случалось, сына он никогда не слушал с его газетами, а слушал, как невестка толкует, по “Новому Времени”.

– Ну, пидыйды, пидыйды, – показал он ей и, посереде борща обтерев большой плотной



салфеткой рот и усы, поцеловал в наклонённый лоб. Однако не пригласил её сесть и ничего ласкового другого не сказал, а, громко чавкая и второй перекройный ломоть добирая из руки, зажёвывая, пропускал между глотками сердито: – Жалкую, шо йиздыв я та вызволяв... Пийшов бы вин на вийну – о то була б йому прочуханка... Бисова дытына, лыха вин нэ бачив...

Чавкал.

И Ирина – понимала свёкра: что освободить сына – дерябило его, и только тем смягчалось, что освобождал и работников. Возразила ненастойчиво:

– Ну как, папа, вы можете так говорить? Он ел своё, доедал, но, кажется, уже холосто глотал, ожесточаясь:

– И кажи йому: нэхай вин свое дило развёртуе, моего нэ ждэ! А я лучше племеннику усэ завещаю. Або... – Он начинал ещё не так твёрдо, но вот лицо его потвердело, решение проступило между двумя заглотами: –... або Ксинью зараз с курсов визьму та замуж выдам!

– Папа! Папа! – ахнула, взялась Ирина, своды бровей поднялись. – Да это вы сторяча! Для чего ж тогда было и отдавать, чтоб среди курса брать? Где ж тут резон?

Бывало, слыша о просчётах других экономистов, Захар Фёдорович говорил: “Дывысь, то ж бы и я нэ зрозумив. Трэба своего агронома йматы. Дзэсь мини такого шукать, шоб и дило добрэ знав и работящий був, свий чоловик и нэ жулик?” В такую минуту Ирина с Романом и уговорили его отдать Ксенью на агрономические курсы: вот уж будет свой агроном, куда ближе!... А сейчас совсем другое высматривал Томчак мохнатым степным взглядом:

– А тот и резон. Будэ мини через год внук, а через пятнадцать – наслідник.

Кончил хлебать, вытирался. Закрылась салфеткой нижняя часть лица, а верхняя выражала застигнутую боль.

Не только им, бабам, но вообще не мог Захар словами назвать, в чём его расплох и смятение. Не деньги, не имение гибло – Роман не вертопрах, но нарушался, главный ясный стержень дела, душа его. Чтоб наследовать и верно вести – душа должна продолжать душу. А для этого чужого, чёрного – зачем было всё сделано и налажено?

Ирина же своё бабичье выдвигала:

– И как вы можете, не спросясь её – замуж? И – за кого?

Поднялся Томчак. Рядом со стройной Ириной громоздилась его запорожская фигура:

– А там ии – за кого? За студэнта? А вин на каторгу потом пидэ? Дурак я був, шо ии учив. На усих басурманских языках балакае, а в Бога развирылась. Та був бы сын як сын – да учись аж до сорока годив, доки на тэбэ вже и дывыться нэ будут. Э-эх, стара! – крикнул он и взял лёгкую походную палку с крючком, полированным от долгой носки. – Нэ дала ты мини другого сына.

– Бог не дал, отец, – вздохнула жена, и благостно-покойно было её раздобренное лицо.

– Та я Его волю не знаю, Бога... А моя – ось така.

И шагом: сильным, крепким ушёл, и слышно было, как сбегал по лестнице.

Оря – всегда восхищалась свёкром. Он был – делатель народной жизни, как и её покойный отец. Десятки людей работали и кормились вокруг него. И он понимал широту своей службы, ничего не жалел для работников, не трусился над богатством. Да по сути сам себе он от этого богатства не много и брал. Наверно, такие и должны быть простые герои в реальной жизни.

С юности они рисуются иначе. Герой затаённый у неё был, с девяти лет, – Натаниэль Бумпо, куперовский “Соколиный глаз”, бесстрашный благородный воин. Только такому герою должна была достаться Оря! – но ни такого, ни сходного она никогда не встречала. Лишь, своему внутреннему жребию служа, полюбила стрельбу, носила в дамской сумочке или держала в ящике трельяжа маленький дамский браунинг, а на ковре на ремне висело её английское дамское ружьё – для дробы и для маленьких пуль, пробивающих две верхковые доски. Когда в экономию приезжали в гости офицеры из гарнизонного штаба, натягивалось за скотным двором на двух столбах полотно, и Оря стреляла с офицерами, не уступая очков.

Если когда-нибудь встретится её герой – она могла бы быть его достойна...

Но – где? зачем? и разве он может теперь встретиться?...

А впрочем – что мы знаем об истинных токах жизни?

Оря вообще любила – загадочное. Ей нравилось верить, что силы потусторонние таинственно действуют рядом с нами. Вот почему-то же висела над ними комета Галлея в год постройки этого дома, посадки этого парка...

Всё, что **здесь** нам не досказано,

Мы постигнем в жизни **той** ...

Она любила мечтать, ходя под звёздами. А ещё даже больше – в закатном жёлтом обливе, на крайней западной аллее парка, откуда начинались уже виноградники, и через них всякий погожий летний вечер непреграждённое золотое осияние вырывало её гуляющую фигуру из этого парка, от этого дома, от этого мужа, из этого мира, – всю в солнце, никем не тревожимую.

И сегодня такой был закат. И хотелось туда уйти, побродить свободно душой, как бы без тела, без его огорчений.

Но если бы тотчас же не пошла объявить Ромаше она – поторопилась бы свекровь.

Впрочем, с этой вестью не было унижения войти первой. С такой вестью можно было войти и не прося прощения.

Никаким предупредительным шарканьем, кашлем, стуком Ирина не предварила свой приход. Подступила тихо и открыла тихо.

Сразу из двери обдал её смешанный жёлто-розовый свет: ещё просачивался сюда закат между вершинами парка, проходил веранду, и остеклённую стену с веранды в спальню, – а здесь поддерживался бледно-розовой обивкой стен, отзывом розово-золотистых покрывал и посвечиванием бронзовых столбиков двух двойных кленовых кроватей.

Так был ещё свет читать. И он сидел в низком глубоком кресле, спиной к ней. И в руках держал развёрнутую газету. Слышал дверь, не мог не угадать шагов. Но не обернулся.

Он до конца должен был выразить, как он всеми здесь обижен – но и как он твёрд.

Он так сидел, что Ирине виделось выше кресла лишь облысевшее темя его чёрной головы.

И эти глубокие взлизы лысины в тридцать шесть лет, эта знакомая беззащитная макушка вдруг смягчили Ирину. И то вязкое, что мешало ей идти дальше, – отвалилось.

Освободившимся шагом она пошла на поворот его головы, на перемесь обиды, колебания и готовности просиять на этом тёмном, ещё от света отвёрнутом и сегодня не бритом лице.

И ровным голосом объявила:

– Всё хорошо, Ромаша. Папа сговорился. Обещали, что будет крепко.

И уже подошла вплотную к его креслу, так что он и встать из своего запрокида не успел – но схватил её за руки и, целуя их, говорил что-то, захлёбывался. Не о ссоре, не о вине, своей или её. Ссоры как не бывало.

И отца – как бы не было, Роман о нём не сказал, не спросил, не потянулся благодарить.

И Ирина не решилась передать ему брань и угрозы отца.

Руки Ирины были открыты выше локтей, и Роман целовал ямочки у локтей, и выше, чистую нежную розоватую кожу её, без единого пупырышка. А дальше тугие рукава не поднимались. И, повернув её, он усадил к себе на колени, и голову прижимал к её груди.

И опять она сверху рассматривала его лысину меж коротких, жёстких, но слабых волос. И осторожно поцеловала её:

– Мушечка.

От “макушечки” или от “мужа” сложилось такое ласковое у них: мушечка. Он любил это прозвище.

Он оживлённо, радостно говорил, много. Ирина не сразу даже вникла. Он обещал ей,

что после Америки, куда он давно хотел, как в самую лучшую, деловую, разумную страну, и даже прежде Америки, лишь бы вот кончилась война, они поедут по её заветному (давно высказанному, отвергнутому и затаённом) маршруту: в Иерусалим, Палестину, а потом в Индию.

– А смотреть будем как? – спросила Ирина. – Как Париж?

(На Эйфелеву поднимал скоростной лифт, – “А чего мы там не видели?” – боялся он высоты. – “Тогда я одна!” Если “одна” – тащится и он. Могила Наполеона? – “А что нам Наполеон? Да мы, русские, уморились его лупить.”)

– Нет, нет, всё подробно, – обещал он, но уже освобождал с колен, но уже мял свою удлинённую папиросу и шёл покурить на веранду, прихватывая смятую “Биржёвку”. – Ирочка, ты вели на ужин что-нибудь лёгкое нам сюда принести, вроде цыплят. Никуда не выйдем, спать ляжем.

Ещё на веранду доставало свету, а в спальне по минутам темнело, и погасли, серели все цвета. Но Ирина не зажигала электричества.

Она перешла в безоконную глубину спальни. Нехотя и как тяжесть железную подняла за угол обесцвеченное в сумраке покрывало на одной из раскидистых кроватей. И так задержалась, осталась, держа поднятый, непосильно-тяжёлый угол...

За какую завесой, за каким покрывалом таится от обыденного опыта людского, от многих и всю их жизнь – то благословение, то сожигание, какое в старости посетило отца, – чтоб не побояться ни мирского осуждения, ни Божьего суда, бесстыдно кинуться подкупать архиерея – только бы пережениться на любимой?...

Жалость к мужу как быстро посетила Ирину, так быстро и ушла. А жалко стало ей своей прошлой отдельной ночи и даже сегодняшнего томительного одинокого, но и свободного дня. Если стянуть покрывало – обнажится шахта, высохший колодец, на дне которого в ночную бессонницу ей лежать на спине, разможжённой, – и нет горла крикнуть, и нет наверх верёвки. И героя – не будет никогда.

... А Роман, уже несколько часов дуревший над газетами, только сейчас ощутил весь их горячий интерес и смысл. Газеты как переменились, как будто посочнели и запульсировали буквы. Ещё не темно было на веранде, и он подошёл к карте, смотрел на свои флажки и на линию границы.

С тех пор как граница была утверждена Венским конгрессом, вот эта прусская культяпка, выставленная: к нам как бы для отсечения, никогда ещё не испытывалась: Россия с Германией не воевала с тех пор... Да больше, да лет сто пятьдесят не воевала... да самой Германии ещё не было... И вот – первая проба границ и расположений.

А старая поговорка от фридриховских времён: русские прусских всегда бивали!

Наступаем **мы**, наступают **наши**! В сообщениях штаба Верховного главнокомандующего не указывались номера армий, корпусов и дивизий, и нельзя было точно понять, куда ж именно поставить флажки. Да и флажки неизвестно что выражали, их число придумал сам Роман, как ему показалось удобно. От него самого зависело, захватить или не захватить лишних десять-двадцать вёрст Пруссии.

Осторожно, не рвя карту, он теперь переколол все флажочные булавки – вперёд, на два дневных перехода.

Корпуса шагали!

## 10

Стемнело, и у каменного двухэтажного штаба Второй армии в Остроленке зажглись электрические фонари. У ворот и у парадной двери стояли молодцеватые часовые, да прохаживались по улице двое патрульных, то входя в тени деревьев, то выходя из них.

Армия, руководимая этим штабом, уже неделю наступала на неприятеля – но здесь не было тревожного снования, прискока и отскока верховых, грохота экипажей, громких распоряжений, догона, перемен, – всё успокоилось к вечеру и дремало, как остальная

Остроленка. И какие окна светились – те светились, а в каких было потушено – те не засвечивались, и в этом тоже был покой. И не стягивались к штабу переплетения полевых телефонных проводов, а спускалась со столба постоянная городская пара.

Проход по улице вблизи штаба не был запрещён жителям, и польская младость в чёрном, белом и цветном гуляла по тротуарам. Уже многих молодых-поляков взяли в армию, паненки гуляли дружка с дружкой, а кое-кто и с русскими офицерами. После жаркого дня вечер был беспрохладный, душноватый, многие окна открыты, и слышалось изнедалека граммофонное пение.

Диковинно светя белыми снопами фар, качаясь и тарахтя, из-за угла за квартал выехал автомобиль, прогрохотал по улице, вскрутил пыль и под честь часового въехал в ворота. Автомобиль был открытый, в нём сидел маленький мрачный генерал-майор.

Стихло опять у штаба. Проплыл по улице в сутане полный ксёндз. Поклоном всей спины и поклоном шляпы на вытянутой руке его приветствовали прохожие паны, как никто не здороваются в России с православным священником.

Показался извозчик, он вёз двоих офицеров к штабу. Офицеры расплатились, соскочили, вошли.

Старший из них, полковник, не в первом вестибюле встретил дежурного офицера, а когда встретил – предъявил ему бумагу. Бумага оказалась серьёзная. Дежурный, придерживая на боку шашку, побежал наверх, докладывать начальнику штаба.

Тот удивился, встревожился, едва было не пошёл встречать приехавшего сам, передумал, хотел принять его в кабинете, тоже передумал, и, крупнотельный, посеменил к комнате командующего, генерала Самсонова.

Генерал-от-кавалерии Самсонов за долгие годы устоявшейся военной службы то наказным атаманом Войска Донского, то туркестанским генерал-губернатором и атаманом семиреченского казачества, привык служить размеренно, разумно и внушал подчинённым, что, следуя Создателю, каждый из нас может в шесть дней с умом управиться со всеми делами и ещё шесть ночей спокойно спать, а в седьмой день благорассудно отдохнуть. Суетуну же не управиться и в седьмой день.

Но за последние три недели жизнь 55-летнего генерала наполнилась будоражным движением и неутихающей тревогой. Непосильно стало управиться ни в будни, ни по воскресеньям, и перепутался даже самый счёт дней, вчера только к вечеру он вспомнил, что прошло воскресенье. Что ни ночь – бессонно ожидал он опаздывающих распоряжений штаба фронта и посылал свои приказания в неурочные часы. И стоял в голове постоянный шумок, мешавший сообщать.

Три недели назад высочайшим повелением Самсонов был отозван от благоустройства дальней азиатской окраины и перенесен сразу на передовую линию начинавшейся европейской войны. Давно, после японской, он побывал здесь начальником штаба Варшавского округа; по той старой должности и сегодня определён сюда. Доверие Его Величества было почётно, и, как всякую службу, хотел бы и эту отправить Самсонов наилучше. Но отвычка была велика, семь лет он не касался оперативной работы, лишь административной, он и корпусом никогда в бою не командовал, – а вот ему вручили сразу армию.

Давно уж и думать он забыл, что такое восточно-прусский театр, никто эти годы не знакомил его с планами войны здесь, как они составлялись и изменялись, – теперь его телеграммой вызвали из Крыма, где он лечился, и велели спешно выполнять не им составленный и даже не обдуманый им план, как должны две русских армии, одна с востока от Немана, другая с юга от Нарева, наступать на Пруссию, предполагая намертво окружить все тамошние войска.

Нуждался новый командующий в неторопливом разборе, уладке, нуждался он прежде всего один побыть, прийти в себя, оценить тот план, посидеть над картами, – ни на что не отпускалось времени ему. Нуждался новый командующий узнать свой штаб, каково добры в нём советчики и помощники, – но и на это не было льготного времени, и сам штаб был

составлен с нечестностью: начальник штаба Варшавского округа Орановский, переходя на Северо-Западный фронт, забрал туда и всё лучшее из штаба. Командующий Виленского округа Ренненкампф, переходя на Первую армию, так же забрал туда свой знакомый многолетний штаб. А в штаб Второй армии ещё до приезда Самсонова наслали из разных мест случайных офицеров, друг друга тоже не знавших, не сработанных. Никогда б не избрал себе Самсонов ни этого мямлистого начальника штаба, ни этого жёлчного генерал-квартирмейстера – но они раньше его прибыли, его встречали. Да нуждался ж новый командующий и полки объехать, узнать хоть старших офицеров, посмотреть на солдат и себя показать, убедиться, что все готовы, и тогда только начинать движение в чужую страну, и то постепенно, силы войск для боя бережа и вработывая в солдатство запасных. Но если и командующий не был готов – то где уж там корпуса! Только три корпуса были варшавских, остальные подвозили издали. Вместо готовности 29 дней от мобилизации назначили наступать на 15-й день, при неготовых тылах, – такая нервная спешка всех охватила спасать Париж. Ни один корпус не укомплектовался как быть, не подошла назначавшаяся корпусная конница, пехота была выгружена из поездов раньше времени, не на своих направлениях (уже при разгрузке меняли места назначения и некоторые полки гнали пешком рядом с железной дорогой по 60 вёрст), вся армия рассредоточена на территории больше Бельгии. Интендантства застал: Самсонов только ещё на разгрузке; армейские склады не имели возимых запасов на семь дней операции, как это полагалось, а главное – не было транспорта обеспечить подвозку на всю глубину, только левый фланг мог рассчитывать на железную дорогу, остальным корпусам оставался гуж, а его недослали, вместо парных повозок одноконные, и лошади городские, не приспособленные к здешним пескам, да ещё неизвестно чьим распоряжением по ведомству военных сообщений обоз 13-го корпуса выгрузился прежде Белостока и собственными колёсами без нужды тянулся, и по пескам, полтора вёрст до границы.

Ни на что не было отпущено времени, нависали неумолимо короткие сроки, гнали телеграммы, весь мир должен был увидеть грозный шаг российских полков – и 2 августа они пошли, а 6-го, как раз на Преображение, добрый знак, перешли русскую границу – однако противника не встретили и продолжали день за днём всё так же идти и идти в пустоту, расточительно оставляя на переправах, мостах и в городках свои боевые части, оттого что не подходили второочередные дивизии на подпор дивизиям первой линии.

В характере Самсонова было – наступать смело и решительно, – однако ж не без ума. Никаких боёв не было, но при расстройстве тыла сама скорость движения становилась губительна. И насущно было – задержаться хоть на день-на два, подтянуть снабжение, боевым частям дать днёвку, да попросту осмотреться и твёрже стать. И штаб армии ежедневно докладывал штабу фронта: восьмой, девятый день движения, четвёртый и пятый день по Пруссии, опустошённой стране, откуда вывезены все припасы, а сенные стога сожжены; подвозить фураж и хлеб – всё дальше, трудней и не на чем, две трети армейского сухарного запаса уже съедено; в жару, по песчаным дорогам идут изнурённые колонны – в пустоту!

Но всё то прочитывая, главнокомандующий фронтом Жилинский, кзади на сто вёрст от Остроленки, ничего не понимал, ничего не принимал, а попугайски каркал своё: энергично наступать! только в скорости ног наша победа! противник ускользает от вас!

Были пределы, которых генерал Самсонов не разрешал себе переступать и в мыслях. Он не смел судить императорскую фамилию, стало быть и Верховного главнокомандующего. И высших интересов России он также не смел истолковывать своевольно. Разъяснено было директивою Верховного, что так как война первоначально была объявлена нам, а Франция как союзница немедленно нас поддержала, необходимо нам по союзническим обязательствам возможно быстрее наступать на Восточную Пруссию. Ту директиву генерал Самсонов не смел подвергать сомнению. Но всё же говорилось в ней о наступлении “спокойном и планомерном” – а если происходило нечто другое, то с правом можно было приписать это штабу фронта, да ещё зная самого Жилинского – его

надменность, жёлтую сухость, колкость. В штабе фронта верстовые подсчёты Самсонова подвергали неверию, если не смеху, и жалобы его приписывали его слабости. Упречные телеграммы и дёрганья от Жилинского день ото дня разжигали Самсонова – и тут не находил он в себе смирения остановиться и не судить. Упорство высшего начальника не признавать действительной обстановки почему называется волей? донесение низшего о том, как идёт на самом деле, почему называется безволием?

Всех-то задач было у главнокомандования фронтом: координировать Вторую армию с Первой, и больше ни с какой. Это мизерно было для такого многолюдного штаба и обрекало его мелко вмешиваться в распоряжения командующих армиями. Сама же координация с первых дней была лишь папки в колёса. Ни через штаб фронта, ни на местности, ни конною разведкой не чувствовала Вторая армия на земле Восточной Пруссии своего правого соседа. И даже три последних дня, когда приказы по фронту и вся русская печать восславили победу Первой армии под Гумбиненом, – самсоновские корпуса, идущие с юга, нигде за лесами и озёрами не ощутили подмогу корпусов Ренненкампа, идущих с востока, ни даже его многочисленной конницы, пять кавалерийских дивизий, и не заметили немцев, бегущих бы с востока на запад. Вся Россия ликовала победе Ренненкампа, и только сосед его по Восточной Пруссии не выиграл от той победы ничего.

Это всё могло бы быть иначе при другой людской расстановке. Но Жилинский и Орановский были люди какой-то чужой души, не умеющие выслушивать, не желающие столкнуться. С Жилинским в прежние годы Самсонов тесно не встречался, лишь сейчас представился ему в Белостоке. Но и за неполный разговор, за первые же минуты понял, что никогда ничего рассудительного у него с этим генералом не выйдет. Жилинский фразы не сказал по-человечески, как с братом по оружию. Это был брезгливый погонщик, а не брат. Он показывал, что всё знает лучше и не намерен советоваться с подчинённым. В тишине кабинета он говорил без надобности резко, даже обрывал – и, наверно, себя ж в униженьи считал, что так низко сидит, всего на фронте из двух армий.

Да Жилинского только этой весной, смещая с генерального штаба, куда-то надо было устроить, и назначили на Варшавский округ. (А думали Самсонова возвращать сюда, но отвергли за незнание французского языка, нужного для Варшавы. Теперь получается жаль: вернись бы он в Варшавский округ весной – уже бы вник в дела, и военные планы узнал бы раньше).

Плохие люди все друг друга поддерживают, в этом главная сила их: Жилинского застоял Сухомлинов. А была у Жилинского заступа и выше: он близок был ко двору Марии Фёдоровны, и это давало ему самостоятельность даже от Верховного. Но здесь упирался Самсонов в предел: не ему было судить.

Да не завидовал он всем их успехам и продвижениям, не искал породниться со Двором, но складка печали ложилась в душу: наступи у России тяжкий час – всех этих блистательных хлюстов не сдует ли ветром? их имена тогда – услышишь ли?

Пускай бы возвышались они, да не портили дела. Довольно бы с Самсонова своих забот: принять, поднять и вести Вторую армию. Но – передёргивали, но – ломали всё! Даже состава армии по корпусам Самсонов не мог два дня подряд удержать постоянным: подчинили 1-й корпус – но без права его передвигать; подчинили Гвардейский корпус – и через три дня отобрали (и отобрали тайком, лишние сутки считал Самсонов, что тот по его приказу наступает, и Жилинский не предупредил, а уже сам командир корпуса доложил потом); подчинили 23-й корпус – и тут же одну пехотную дивизию, Сирелиуса, отняли в резерв фронта, другую, Мингина, – в Новогеоргиевск, корпусную артиллерию – в Гродно, корпусную конницу на Юго-Западный фронт. Потом спохватились и дивизию Мингина вернули Самсонову, пришлось ей догонять другие корпуса ещё усиленной, чем те шагали. Ещё формально подчинили 2-й корпус, далеко справа уткнувшийся в озёра и недвижимый (распоряженья ему Самсонов мог посылать – только через штаб же фронта). А вчера пришла телеграмма: 2-й корпус передать Ренненкампу. То доходило до семи корпусов – теперь оставлен был Самсонов при трёх с половиной!

Да и это б он покойно снёс, если был бы в том толк. Но именно толка не было. Как ни поздно Самсонов приехал сюда, как ни мало было ему времени подумать и узнать, что тут годами трактовалось о Восточной Пруссии, но глядя на эту культу, выставленную против России, он сразу понял, что отхватывать её надо под мышкой, а не с локтя угрызать, и потому сильнейшей армией должна быть южная, наревская, его армия, а не восточная, ренненкамповская.

Однако со штабом фронта тянулась и тянулась разголосица: как понимать задачу Второй армии и по какому направлению ей наступать? Если не поняли друг друга, сидя через стол, то что можно по телеграфу? Как в чёрта не угодить пестом, так нельзя было ухватить и план Жилинского: что немцы будут жаться к Ренненкампу, к самой груди, на восток, к Мазурским озёрам, – и ждать, пока накроет их сзади Самсонов. А потому де самое успешное направление для Самсонова – северо-восточное, наискосок. И всю Вторую армию Жилинский разгружал, сосредотачивал – правее, чем быть ей нужно, и лишь потом постепенно подавал налево, чем и размазывал. А только на карту глянув, сразу можно было понять, что гораздо левей надо армию развёртывать – у железной дороги Новогеоргиевск-Млава, единственной во всём районе наступления, тогда как у немцев подходил десяток железных дорог. Как можно было единственную дорогу оставить за флангом, а всю армию погнать по песчаному и болотному бездорожью?!

Но уже опоздав предлагать собственный план и другую дислокацию, Самсонов послал встречную записку, что – да, надо ему наступать наискосок, да только не на дурной искосок, прочерченный Жилинским-Орановским, не к северо-востоку, а к северо-западу: не обняться с Ренненкампом впустую, а спешить удержать немцев в неводе, не дать им уйти за Вислу.

И уж в этом уступить было никак нельзя: надо совсем дураком себя счесть, дергунчиком на верёвочке. Жилинский слал ежедневные директивы: наискосок направо! Самсонов ежедён просил: наискосок налево! И, не упуская правого края, стал полегоньку сам погибать налево: в приказах корпусам и дивизиям по две-три деревни выбирал каждой левее. И когда уже перешли немецкую границу, и ни в первый, ни во второй, ни в третий день не встретили никаких немцев, ни одного выстрела не услышали и не сделали, – Жилинский всё видел свой вздор: что немцы замерли против Ренненкампа и ждут удара в спину, что сгрудились они в гибельном уголке у Мазурских озёр, в косом простенке между Ренненкампом и Самсоновым, и ждут терпеливо, когда их в мешке зашьют, – Самсонову же стало окончательно ясно, что Жилинский гонит его в пустоту, немцы уходят из наших клещей, льются на Запад, и последняя надежда – растворить клещи пошире.

И так – делал он, и сколько мог, отклонял левую клешню налево, а Жилинский не утверждал, держался за правую клешню, и все чувства и сердце уходило на этот спор, а корпуса между тем шли и шли, и только дерготнёю и зигзагами генеральский спор удлинял их путь, тратились ноги на ошибки направлений. Эти вёрсты на солдатских подошвах Самсонов ощущал, как на своих, они палили и мозоли натирали, и союзки отпарывались от ранта, – и всё же не мог он без противления выполнять обалделые приказы штаба фронта.

А ещё от этого спора – растягивался фронт веером, три с половиной корпуса редели на семидесяти верстах, и в эту растяжку тыкал и тыкал Самсонову Жилинский, и тем обиднее, что правильно: растянуто.

Самсонову всего спокойней было выполнять приказ, как он получен. Но – приказ вовсе бессмысленный? Но – приказ, заведомо в ущерб Отечеству?

Ему не давали общую армейскую задачу, а форма пусть будет твоя, – нет, и саму форму регламентировали до последнего штриха и цукали за малое отклонение. Командующему армией не оставалось никакой свободы, он был как лошадь стреножен.

Чтобы хоть как-то разорвать телеграфное непонимание, Самсонов в последней надежде вчера послал к Жилинскому своего генерал-квартирмейстера Филимонова – объяснить устно, просить разрешения наступать хотя бы без загиба, прямо на север, на Балтийское море. И настойчиво просить хоть полные права на левофланговый 1-й корпус резерва Верховного, который не разрешалось выдвигать. (И по которому приказы Самсонов узнавал

с опозданием).

Но пока генерал-квартирмейстер ездил, телеграфные аппараты стучали и настучали ещё две директивы от Жилинского – вчерашнюю и сегодняшнюю. Во вчерашней было всё то же: не трогать 1-го корпуса, а остальными тремя с половиною, обеспечивая фланги (поди попробуй, сукин сын), энергично наступать, да так энергично, чтоб не позже 12-го августа занять справа... – это просто уже с Ренненкампом плечами стукнуться, если тот правда немцев гонит, просто уже у Ренненкампа город отобрать. Бзык штабной, выталкивание немцев, а не охват. И цукал Жилинский, что медленно Самсонов идёт, недостаточно быстры его приказы, нерешительны действия, что перед ним – лишь незначительные заслоны противника, а убегающие главные силы он не успевает перехватить.

Вот это одно и было верно: что немца перед Самсоновым нет (до вчерашнего дня – не было). Но где он? – то главный был вопрос. Не пощупав, не посмотрев, не послав кавалерии, не взяв ни одного пленного, как догадаться: где немец? Штаб армии хоть честно этого не знал, штаб фронта уверял, что знает.

И личным докладом ничего Филимонов не объяснил, потому что за час до его возвращения пришла директива штаба фронта сегодняшняя, от 11 августа: “Раньше обращал ваше внимание и ныне крайне не одобряю растягивание фронта и разброску корпусов вопреки данной вам директиве”.

Эти директивы телеграфные составлял, конечно, Орановский – волоокий вилоусый красавец, надутый, чистенький. Он составлял, а Жилинский подписывал, они дружно вот так служили.

“Крайне не одобряю”! Крайне не одобряли стараний Самсонова хоть левым боком зацепить немцев и задержать. Они настаивали, чтобы Самсонов выпустил немцев всех целыми...

Теперь генерал-майор Филимонов воротился на автомобиле командующего и не отлагая минуты, не помывшись (лишь проверив, что точно к ужину будет кулебяка), обойдя начальника штаба (которого не считал за подлинного военного), постучал в комнату Самсонова. Войдя по разрешительному оклику и увидя командующего на диване без сапог, Филимонов всё же подтянулся и отмахнул честь, но коротко, не по полной форме, как в своём кругу. Вместо доклада сказал только:

– Воротился, Александр Васильич.

Сказал хмуро, устало. Постоял, подождал. Сел. Он страдал от своего маленького роста, мешавшего возможной карьере. Как только мог, он всегда садился и брался рукою за аксельбант. Он всегда старался держаться позначительней, но много проигрывал, что стрижен был под машинку, как простой солдат.

А командующий прилёг потому, что сморился. Он прилёг потому, что сколько ни стоял в своих тяжёлых сапогах, сколько ни топтался – его войскам не было от того ни легче, ни быстрее. Вот он лежал на спине, без кителя, с руками за головой, ноги подняв на валик. Его крупное большелобое лицо, привыкшее к генеральской представительности, на треть закрытое невыседевшей бородой и усами, вообще никогда не искажалось, никогда не выражало раздражения, неудовольствия. Сейчас большими спокойными глазами он повёл в сторону вошедшего, но не поднялся. Будто не очень и ждал, с чем Филимонов вернётся.

А он очень ждал! Но даже в голосе Филимонова, не богатым тонами, эти три слова “воротился, Александр Васильич”, произнесенные с спуском, выразили ему всё.

И с пригуживанием в голове, никому кроме него не слышимым, командующий по-прежнему глядел в высокий лепной потолок. Таким же кругло-спокойным, гладким, без борозды оставался его накатный лоб, и в своём постоянном широком раскрытии не шурились, не косили глаза, по щекам не пробежали змейки, спокойные толстые губы прикрывались спокойной зарослью, – но внутренне наступила шаткая безопорность, о которой признаться никому было недопустимо, и она страшила командующего. Ни одна мысль его не успела вполне додуматься, как должны в здоровой голове вызревать уверенные мысли, ни одно решение, уже утекшее на телеграфную ленту, – прежде сформироваться вполне. И первый



раз за тридцативосьмилетнюю службу, ещё от своего гусарского полуэскадрона в турецкой кампании, Самсонов чувствовал, что он – не действитель, а лишь представитель событий, они же утекают по себе сами.

Как раз Филимонов всё это в командующем видел. Вот если б он был командующим, он разговаривал бы с Жилинским не так. И корпусных командиров затянул бы не так. Да не было власти ему дано. В шее жёстко охваченный стоячим воротником, прибарабанивая пальцами по аксельбанту, поглядывал он на распластанного командующего.

Но Филимонов не знал, что тут случилось, пока он ездил. Убегающий противник наконец-то был настигнут или, во всяком случае, столкнулись с ним! Столкнулись ещё вчера, весть пришла сегодня, а особое удовлетворение было в том, что столкнулись именно левым боком левого из центральных корпусов – 15-го, и вели бой, повернувшись налево! И бой удачный! и толкнули немца дальше!

Всего часы назад победа окончательно выяснилась по донесению генерала Мартоса, аллюр три креста, в автомобиле молодой офицер с повязанной головой, – и так первый раз подтвердилась правота Самсонова, что и в безмолвной пустоте он правильно рассудил немца. Час назад, в ответ на оскорбительную директиву Жилинского, Самсонов послал ему на посрамленье своё донесение о победе. В донесение он слово в слово включил и доклад Мартоса о славном эпизоде в Черниговском полку: увидя отходящие части, полковой командир Алексеев с развёрнутым знаменем повёл в штыки знаменную полуроту. Был вскоре убит. Вокруг знамени возник рукопашный бой, но рука немца не коснулась знамени. Знаменщик был трижды ранен, знамя попало к поручику, которого тоже убили. Ночью черниговцы пробрались на нейтральную полосу, вынесли полотнище, георгиевский крест и раненого знаменщика. Теперь знамя прибито к казачьей пике.

Вот это донесение отослав, Самсонов и снял сапоги, и лёг на диван. Ещё ничто по-настоящему не облегчилось – но проявился-таки немец, и слева! – и посрамлён был штаб фронта!

Вот почему спокойным лбом, спокойными глазами к потолку, Самсонов лежал и не хотел подробностей из штаба фронта, а неторопливо рассказывал своё.

Однако должен был знать он и всё привезенное! И без сожаления к командующему, не смягчая выражений, Филимонов сыпанул как из совка горячим угольем: Жилинский сказал и велел передать дословно: “Никакого отдыха вам не будет! Ваша армия и так продвигается медленней, чем я ожидал. А видеть противника там, где его нет, – **трусость**, а трусить я не позволю генералу Самсонову!”

И покойное крупнолобое лицо Самсонова залилось от усов до сидящих висков, до тёмного короткого зачёса – пунцовостью. И – он спустил ноги на пол. И посмотрел на своего генерал-квартирмейстера, как раненый. Тот бранился, зло вспоминая *Живого Трупа*, как прозвали офицеры Жилинского, а Самсонов – не выругался, ему дышать не хватало, при волнении у него выступала астма.

Тем он был ранен, что в хорошие времена за такое вызывали на дуэль – но увы, это отошло, а сейчас ни обжаловать по субординации, ни оправдаться. Кавалерист от молодых ногтей, из-под турецкой сабли, из-под японских пуль, – он только новой двойной смелостью на полях боёв мог ответить злему обидчику. Позорно было гнущься перед ним – и нельзя было не гнущься.

Раненый багряный Самсонов слышно дышал, так и не вставляя ног в чуваки.

Тут и вошёл начальник штаба Постовский. На вид крупный (но не крупней Самсонова), это был блеклый, нерешительный, но старательный генерал-майор, не бывавший сроду ни на одной войне. Многие годы прослуживши в штабах, в штабах, в штабах, и всё больше – для особых поручений, и восемь лет уже в генеральском чине, Постовский выше всего ценил неуклонность устава, и своевременный приход и уход директив, распоряжений и донесений. Только две настоящих беды знал он по военной службе: недоставку назначенной бумаги и неверную конфронтацию влиятельному лицу.

Сейчас он, сугулясь, подошёл близко, и глядя не так на потный лоб командующего, как

на его разутые ноги, доложил почтительно:

– Александр Васильич! Прибыл полковник из Ставки, с бумагой от великого князя.

Самсонов очнулся, вник. Вот как! новая беда! – уже и в уши великому князю успели надуть? Пока тут с Жилинским – а уже и от самого великого князя?

– Что в бумаге?

– Бумага у него, я не читал. Я не знал, по какому разряду его встречать.

– Взяли бы да прочли.

Командующий мрачно посмотрел на Филимонова.

Да, видел Филимонов, что кулебяка откладывается надолго, упустил он перехватить прежде захода к командующему.

Кликнуто было за сапогами и кителем.

## 11

Самсонов не ждал добра и толка от этого полковника из Ставки: ещё один какой-нибудь штабной момент, посланный внушать ему, куда правильно наступать. Самсонов заранее знал, что приезжий ему не понравится, потому что хороший офицер служит в части, а не снует из штаба в штаб.

Но когда в кабинет командующего, куда они все перешли, прибывший вступил, испрося разрешения не подобострастно и не нагло, перешёл несколько шагов по пустой середине комнаты, выдерживая уставные движения, но без внимания и любования, – определил Самсонов против намерения, что в этом офицере, лет под сорок, ничего неприятного нет. И из-за большого стола, куда сел для солидности, командующий приподнялся.

– Генерального штаба полковник Воротынцев! Из штаба Верховного. Письмо для вашего высокопревосходительства.

Не рисуясь и не затруднённо, Воротынцев вытянул бумагу из планшетки и протянул желающему взять.

Постовский опасливо взял.

– О чём грамота? – спросил Самсонов.

Всё менее напряжённо держась, всё проще глядя в глаза, командующему своими тоже -крупными, тоже ясными глазами, Воротынцев сказал:

– Великий князь обеспокоен скудостью сведений, которые он имеет о движении вашей армии.

И с этим Верховный главнокомандующий прислал офицера в штаб армии, обойдя штаб фронта? Новичку это могло показаться лестно. Самсонов же ответил тяжёлыми губами:

– Я думал, что достоин большего доверия великого князя.

– Уверяю вас! – ускорил приезжий полковник. – Доверие великого князя несколько не поколеблено. Но Ставка не может так мало, так мало знать о ходе военных действий. Одновременно со мной и к генералу Ренненкампу тоже послан, полковник Коцебу. Штаб Первой армии даже о гумбиненском сражении доложил лишь... когда весь бой был далеко позади.

Чего-то не договорил. Но так ясно, так неподозрительно приехавший смотрел, будто и здесь всё, чего он ожидал, была укрываемая, почти одержанная победа.

Победа и была, Самсонов как раз мог её выставить. Но это нескромно, да и не за победою приехал посланец Верховного. Он приехал с налёту поправлять, учить, попрекать. Невозможно было в пятнадцать минут передать ему всю сложность, сгустившуюся вокруг каждого корпуса, вокруг всей армии и в голове командующего. Бесполезно было и разговор начинать. Полезнее было идти ужинать, как и предложил Филимонов, ревниво к полковнику. Всё же спросил Самсонов утомлённо, вежливо:

– А что именно вас интересует?

Но быстрый, ёмкий взгляд был у приезжего. Он успел уже и комнату оглядеть, где так

всё хорошо обставлено и обряжено, будто штабу Второй армии стоять в этом доме всю войну; и двух генералов, кто должны были олицетворять собранный разум армии, – начальника штаба и генерал-квартирмейстера (зависелась чердачная традиция называть мозговую часть квартирмейстерской – уж до чего, значит, в забросе); и снова – на Самсонова, сколько нельзя не смотреть на собеседника; и уже покашивался на глухую стену, всю завешанную клеенными трёхвёрстками Восточной Пруссии, к ней его тянуло. По карте туда и сюда переходили глаза приезжего полковника, да не с любознательностью постороннего, а с тяжёлой заботой самого Самсонова.

И вдруг через всю тоску тревожного упуска чего-то самого главного – просветило командующему, что это послал ему Бог того самого человека поговорить, которого в штабе не было.

И Самсонов сделал шаг в сторону карты. И Воротынцев сделал два лёгких.

Офицерский Георгий и значок академии генштаба отмечали его грудь, другого не носил по-походному. Воротынцев, Воротынцев?... хотел вспомнить эту фамилию Самсонов, генштабистов не так уж много в России, но младшие выпуски он плохо знал.

Затучный, с чуть выдающимся животом, Самсонов подошёл к карте ближе. На пустом пространстве комнаты можно было оценить, что его фигура не потеряется и перед дивизией. Была в ней покойная отлитость. И голос приятный и сильный.

Воротынцев, приплотнённый, но стянутый весь и лёгкий, шагнул туда же.

И вот они стояли перед самой картой, далеко впереди Постовского и Филимонова, спинами к ним. На уровне их животов воткнут был в Остроленку крупный, праздничный, ни разу не загнутый, не смятый флажок штаба Второй. Выше плеч, на уровне глаз – пять корпусных трёхцветных флажков: четыре своих и один, левый, резерва Верховного. А ещё выше – руки надо было поднимать, чтобы переставлять булавки, вился по булавкам красный шёлковый шнурок, который будто бы показывал положение фронта сегодня.

Выше же его чёрных флажков германских – не было. Безмолвие было там. Среди зелёных площадей леса глубоко синели многие озёра, на такой карте ощутимо водополные. А противника – не было.

Ладонью вытянутой руки Самсонов опёрся вперёд о стену. Он любил крупные карты. Он говорил, что на картах, где труднее рисовать стрелки, чаще вспоминаешь, как трудно солдату эти стрелки проходить.

Он спешил ко главному: сразу проверить, противодействие или сочувствие по своему раздору с Жилинским встретит в приехавшем. Только в поглощающем этом разногласии можно было узнать, говорит ли командующий с другом, как предвещали глаза.

И он стал с надеждой толковать полковнику, ещё, ещё проверяя его глазами, почему надо наступать на северо-запад, и как Жилинский сбивает его на северо-восток, оттого получается в среднем – север и восток. Он подробно это объяснял, как бы донося самому великому князю, – да завтра-послезавтра Воротынцев и доложит.

Самсонов говорил медленно и переходил к следующей мысли не раньше, чем обстоятельно излагал предыдущую. И, как все генералы, не любил, чтоб его прерывали.

Воротынцев и не прерывал. Не мелькало возражения на его вертикальном чистом лице, подведенном укороченной тёмно-русой бородкой. Только быстрые светлые глаза не достаточно смотрели на Самсонова и не в согласии с его пальцем – на карту.

Сзади ближе подошёл и почтительно стоял Постовский, не вмешиваясь. Филимонов в отдалении неодобрительно скрипел креслом.

Сказал Самсонов, что по разведывательной сводке Северо-Западного фронта противник, по словам жителей, перед Первой армией бежит...

Полковник как бы чуть дрогнул головой. Как бы смущённое, виноватое появилось на его лице. И – непрямо Самсонову, а всё щурясь туда, в немое пространство карты, он тихо сказал, как надохнул:

– Ваше высокопревосходительство... Не будем слишком в этом уверены. А что говорит ваша армейская разведка?

Так и кольнуло Самсонова в сердце. Ох и ждал же он тут недоброго, так и есть!

– Так у нас – что ж?... – с неохотой ответил он, как пожаловался. – У нас 13-й корпус Ключева даже не имеет казачьего полка до сих пор. А кавалерийские дивизии – по своим заданиям, на флангах. Так что разведку и вести нечем.

И, чтобы вернее перехватить противника, нельзя наступать центральными 13-м и 15-м корпусами правее, чем на север, чем вот на Алленштейн. И до Балтийского моря здесь уже не так далеко, уже пройдено больше.

И так же тихо, будто от Постовского втайне, Воротынцев спросил:

– А – сколько пройдено? От мест развёртывания?

– Да... кто сто пятьдесят, кто сто восемьдесят...

– И ещё – качания?

– Качания, потому что меня штаб фронта задёргал.

– А вот тут, до немецкой границы, – Воротынцев водил внизу по карте, – всё тоже – пешком?...

Дерзкое это допрашивание полного генерала не смел бы он производить, но его глаза остановились на Самсонове не с дерзостью, а признанием совиновника. И Самсонову только согласиться осталось:

– Пешком. Да тут и железных дорог нет...

– Десять дней, – считал Воротынцев. – А – днёвок?

Лёгкими вопросами так и взрезал. Ну, тем лучше, что всё понимает.

– Ни одной! Жилинский не даёт. Вот прошу. О главном прошу!... Пётр Иваныч, принесите наши донесения!

Постовский, приклоня голову, засеменил, ушёл. И будто спохватясь, что не найдёт без него Постовский бумаг, вскочил и твёрдыми недовольными шагами ушёл Филимонов.

– Остановиться передохнуть мне больше всего сейчас надо! – объяснял командующий. (Это счастье, что в Ставке понимают, ведь обычно только погоняют). – Но с другой стороны... и противника упускать нельзя, правда. Фронт погоняет нас, чтобы немцы не ушли за Вислу. Остановимся – выпустим. Наши орлы...

“За Вислу” – не проняло Воротынцева. Не принял, не отозвался.

План-то кампании известен полковнику?

Известен, известен... (Кивнул Воротынцев, но не очень радостно). Охватить немцев с обоих флангов, не дать отступить ни к Висле, ни к Кенигсбергу. План был известен обоим, но нынче все вопросы стояли как новые, не проверенные.

– У меня, – усмехнулся Самсонов, – было и свой план появился, да поздно.

– А – какой? – насторожился полковник.

Нравился, понравился он генералу, а в таких случаях Самсонов сразу бывал откровенен.

– Да вот, если угодно. – Не хватало карты. Перешёл генерал налево, обе ручки положил на низ стены и поволок их по крашеной плоскости вверх: – Пустить бы наши обе армии рядом, по двум берегам Вислы. Тогда мы локоть к локтю. А у немца вся густота прусских дорог пропадёт. И вообще ему живо из Пруссии убираться.

Взгляд полковника повеселел, с живостью смотрел он на генерала. Так казалось, что оценил самсоновский план.

– Хорошо! Смело! – Но напрягся, соображая: – А никогда б не разрешили: Вильна и Рига без защиты.

– Не разрешили бы, – вздохнул Самсонов.

– И ещё, – теперь уж полковник не мог отстать, – самим загнаться вглубь польского мешка? а там и прихлопнут? И тыл открыт? Это – оч-чень решительно надо действовать!

– Я и не подавал, – махнул Самсонов. – Я только о направлении подал. На имя Верховного, 29 июля. Но – не ответили. Почему, вы не могли бы выяснить?

– Узнаю! Непременно.

Разговаривалось всё легче. Да! ведь ещё не знал приезжий главного: противник

всё-таки обнаружен! Вчера. И – где? Слева! Вот – Орлау, вот здесь! и – силою около двух дивизий. Наш Мартос (Самсонов поправил на карте флажок 15-го корпуса, и без того сидящий плотно) не растерялся, из походного положения развернулся – и дал бой. Горячий бой, у немцев были заранее укрепленные позиции, всё поле сражения в трупах, наших – тысячи две с половиной. Но – победа! Нами взяты тяжёлые пушки и гаубицы. И сегодня утром немцы ушли.

– Так поздравляю! – не вполне обрадовался полковник. – Это – то, что нужно! И нашли противника! А – какой корпус?

– Шольца.

– Шольца? – И тут же в щёлочку: – Преследовали?

– Да где, – вздохнул Самсонов. – Сами еле бредут.

Вот тут уместно пришлось и рассказать историю с полковым черниговским знаменем, георгиевским за 1812 год и за Севастополь. Полковой командир Алексеев с развёрнутым знаменем... Вокруг древка – смертельный бой... Георгиевский знак выламывали затвором, лёжа... Теперь прибито к казачьей пике.

Самсонов живо видел эту сцену и, пересказывая, волновался: он ощущал честность и простоту этого боевого случая. А Воротынцев не удивился, даже несколько раз кивнул, как будто знал, давно знал этот случай, а теперь только сочувствует. И:

– Та-ак, – опять рассматривал карту. – Значит, слева. Значит, нашли противника, никуда он не бежит?

– Я ж и говорю, – гудел Самсонов, – если противник обнаружен слева, если он уходит налево, и это ясно ребёнку, – зачем велят справа корпусом Благовещенского охранять до озёр, завтра брать Бишофсбург? Эвон где! Чтобы только Жилинского успокоить – откололи корпус и гоним направо, гоним отдельно... Что это будет?... Там – на обеспечение, здесь – на обеспечение, а наступать?

– Нашли налево и наступайте налево – решительно советовал Воротынцев. – Но если и две дивизии только заслон, – прошупать бы его?

– Да чем наступать? Два с половиной корпуса?

– С половиной?

– Ну, потому что: Клюев да Мартос, а 23-й раздёргали, где-то и Кондратович ездит, свои части собирает.

Воротынцев тем временем присел на пружинных ногах, растворил два пальца жёстким циркулем по масштабу карты, снова поднялся и раствором стал откладывать от живота к глазам, от Остроленки к корпусам. Он как бы для себя это, между делом, не показательно, не в науку откладывал, – но Самсонов запнулся, смолк, и глазами считал за полковником.

И покраснел.

Шесть полных раз отложился раствор от Остроленки до 13-го корпуса.

Нет, не урок! Воротынцев не с торжеством, не с превосходством, а с горечью вскинул на командующего глаза – он не упрекал! он хотел понять: почему? Почему не вдогонку за корпусами?

– Тут... с Белостоком связь хорошая, – сказал Самсонов. -... Ведь спор всё время идёт. Надо разобраться... – сказал Самсонов. -... Отсюда интендантства, обозы легче подогнать... – сказал Самсонов.

Но краска сильнее заливала его щёки и лоб, он чувствовал. То, что не поправу, а по-подлому бросил ему Жилинский – “труса”, то имел истое право подумать сейчас полковник от Верховного.

Как это случилось? – командующий даже не понимал. Как эту простую мерку, эти шесть дневных переходов он не отложил раньше, своими пальцами сам? Ведь это сразу видно!... Как Бог свят, он не виноват! Он нисколько не трусил идти с корпусами. Но его затуркали, закружили, события напирали быстрее, чем переваривал котёл головы, весь этот вздор держал его дневными и ночными когтями...

А корпуса шли, шли.

И ушли.

Не признавая ответа, взгляд Воротынцева всё так же горел на командующем.

Нижняя часть лица Самсонова, разглядел теперь Воротынцев, была усами и бородой – государева, под Государя, и так же почти скрыты как будто спокойные, но далеко не уверенные губы. А выше всё шло крупней – и нос, и глаза, и лоб особенно. И проседь. И как будто в вечном покое застыло всё это. Но тлелся под неподвижностью беспокой.

И прорвалось, вспомнил командующий:

– Да! сам на себя наговариваю... Приказ фронта: место штаба армии менять пореже и только по разрешению! Вот и потолкуйте с ними.

– Как же вы сноситесь с корпусами?

Полковник всё вложил, чтоб этот вопрос был не инспекторский, а дружеский. Но Самсонов насупился.

– Да плохо. Конные связные, трёхкрестовый аллюр, еле-еле за сутки доходят. Песок глубокий, автомобиль вязнет.

Этот полковник, конечно, считает себя умнее всех и здесь и в Ставке. Он наверняка думает: эх, пустили б его командовать! Он никогда не поверит и не представит: могут так закрутить, что этих шести переходов просто не успеешь заметить.

– А лётчики?

– Да все неисправны, чинятся. А то без бензина. А немецкие всё время летают.

– А телеграф?

– Только частью, – чмокнул Самсонов сожалительно. – Рвутся провода. И не хватает. Честно говоря: Найденбург взяли 9-го, я узнал 10-го. Под Орлау начали бой вчера, я узнал сегодня. Тут о своих не знаешь, не то что о немцах.

Постовский один, без Филимонова, внёс донесения в двух папках.

Каждый день приходили вчерашние письменные донесения о том, что делали корпуса в основном позавчера, и каждый день писались к вечеру приказы на завтра, которые корпусам никак нельзя было выполнить раньше чем послезавтра.

– Вот! – схватился Самсонов и искал в бумагах сам. – Вы говорите – днёвок...

– А искровки? – добивался всё-таки Воротынцев.

– Искровые телеграммы мы наладили, да, – с удовольствием заявил Постовский. – Правда, только со вчерашнего дня, но уже передаём.

Хоть это.

– Например, от 13-го корпуса пришла искровая телеграмма, – старался подслужиться Постовский. – Авангард продвинулся уже за озеро Омулёв, а противника всё нет.

А у них шнурок фронта проходил южнее Омулёва. Не доглядели.

– Вот! – нашёл Самсонов. – Я именно хотел третьего дня все корпуса остановить и подтянуться. И вот что мне Жилинский, телеграмма: “Верховный главнокомандующий – понимаете, не он, а Верховный – требует, чтобы наступление корпусов Второй армии велось энергичным и безостановочным образом. Этого требует не только обстановка на Северо-Западном фронте, но и общее положение...”

Палец держа, где остановился, сам смотрел на Воротынцева.

Ну, как тебе, голубчик, командуется? Что бы ты предложил умней? Осёкся?

Да, осёкся. Пожевал губами Воротынцев. Перевёл глаза на сапоги. Потом опять на карту вверх. Есть такие обороты и слова, которые, где б тебя ни застигли, надо покорно переносить, как ливень. Общее положение. Это не твоё разумение, не моё, не полководца, не Жилинского, даже не Верховного. Это удел суждений Государя. Это – спасти Францию. А нам – выполнять.

– “...Вашу диспозицию на 9-е августа, – дочитывал Самсонов, – признаю крайне нерешительной и требую...”

Туда, наверх, на север, в немое пространство совсем не маленькой Пруссии задрал! Воротынцев голову и молчал.

И Самсонов, отдав папки, – туда же, это он не уставал.

А у Постовского были не походные ноги. И он попятился с папками, сел в кресло поодаль.

Ещё они не знали, что Воротынцев их обошёл: в ожидании приёма он не топтался в зале, а сразу проник в оперативный отдел, оттуда вызвал знакомого капитана и пошептался с ним за колонной десять минут: молодые генштабисты последних лет выучки все знакомы друг с другом и действуют как тайный орден. Почти всё, что Воротынцеву отвечали в кабинете командующего, он уже знал от капитана, и тому только был рад и за то уже полюбил Самсонова, что тот не врал, не прикрашивал.

От дружелюбного капитана, и здесь, у карты командующего, Воротынцев напитался этой обстановкой, этой операцией – так, будто не приехал только что, а все три недели здесь лишь и вертелся, – нет, будто всю жизнь, всю военную карьеру только и готовился к этой одной операции!

Всё, что хоть раз за этот час было произнесено и названо, – Воротынцев своим воображаемым карандашом уже положил прямоугольниками, треугольниками, дужками и стрелками на эту почти пустую карту и легко охватывал нанесенное. Уже ничьи вины, ни заслуги этих генералов не имели для него значения, и отступало даже важное – всеобщая измождённость, сухомытка, жара, безднёвщина, бесконница, дурная связь, отсталость штаба – перед сверхважным: увидеть невидимых немцев, разгадать их план, своим ребром почувствовать укол их штыка задолго прежде, чем он высунется, их первый пушечный выстрел услышать ранее, чем похлопает в высоком воздухе снаряд. Как красotka чутким телом даже со спины, не оглядываясь, ощущает мужские взгляды, – так телом чувствовал Воротынцев эти жадные волны врага, текущие на Вторую армию с немой части карты. Он был уже весь – во плоти Второй армии, его покинутый стул в Ставке – ничто, бумажка, подписанная великим князем, – ноль, она не давала ему права переставить здесь ни одного солдата, а трепет его был – угадать, а рок его был – принять решение, а такт его был – представить командующему, что это – его, Самсонова, решение.

Надо всей Восточной Пруссией подвешены были роковые часы, и их десятивёрстный маятник то в русскую, то в немецкую сторону слышно тукал, тукал, тукал.

И вдруг подняв руку, как древнеримское приветствие, только левую, в откос перед собою, слева к карте, Воротынцев лопастью изогнул кисть, вниз медленно повёл её по нижней внешней дуге с выворотом и остро подал ладонью с запада – к Сольдау и Найденбургу. И держа так ладонь при карте, кинжалом на Сольдау, повернул голову к командующему:

– Ваше высокопревосходительство! А вот так вы не ожидаете?

Это не была чистая догадка его, в Ставке он узнал агентурные сведения о немецких военных играх прошлого года (успел ли узнать их Самсонов?): избрали немцы как наилучший план: отрезать наревскую русскую армию с Запада. Вряд ли их план изменился, а сейчас многое в неясной обстановке помогало туда ж.

Большеголовый, большелобый генерал внимательно следил, видел весь объёмный жест, видел широкий кинжал ладони. Его глаза моргнули:

– Так ведь если был бы хоть мой 1-й корпус! Артамоновский корпус в Сольдау – если стал бы мой из резерва Верховного! Не дают!

– Как не дают? Он теперь... ваш.

– Да не дают! Прошу – отказывают! Не разрешено его выдвигать дальше Сольдау.

– Да нет! – освобождённой рукою-кинжалом уже у своей груди был Воротынцев. – Уверю вас! Я сам присутствовал, когда великий князь подписан распоряжение: вам “разрешается привлечь 1-й корпус к участию в боях на фронте Второй армии”.

– Привлечь...?

– ... к участию в боях.

– А дальше Сольдау выдвигать?

– Ну, если “на фронте Второй армии” – так вы его можете хоть и направо перекинуть? Я так понимаю.

– А не отберут? Как остальные? Как гвардейский? – сперва “не выдвигать дальше Варшавы”, потом забрали?

– Да наоборот же: привлекать к боям!

Самсонов раздался, раскрылся, кажется вырос плечами, колыхнулся:

– И – когда это подписано?

– Когда?... Позвольте... По-за-по-за-вчера. Восьмого вечером.

– Так уже трое суток?! – заревел Самсонов. – Пётр Иваныч!

Постовский встал.

– Вы слышите? Есть такое распоряжение о 1-м корпусе?

– Никак нет, Александр Васильич. Отказано.

– Так Северо-Западный от меня скрывает? – загромыхал Самсонов. И переступая уже рамки службы: – Да шут его раздери! Зачем вообще нам навязали этот Северо-Западный? Над двумя армиями?

Воротынцев незатруднённо поднял брови:

– А над двумя дивизиями – зачем корпус? А в дивизии – зачем две бригады? В дивизии – не слишком много генералов?

Верно, далеко это шло. Густовато начальников и штабов.

Да, сам Бог послал этого полковника. Не только всё понимает, не только расположенный и быстрый, – но вынул из кармана и подарил армейский корпус!

Самсонов шагнул к нему крупно:

– Ну, голубчик!... – Положил ему обе руки медвежьих на плечи: – Разрешите, я вас...

И поцеловал волосато.

Стояли так, Самсонов выше, ещё не отняв рук.

– Только я должен проверить...

– Да проверяйте! Ссылайтесь на меня. На распоряжение от 8 августа. – Мягенько-мягенько Воротынцев вывернулся из-под медвежьих рук, и снова к карте.

– Всё-таки как понять: “привлекать к боям”? – жался Постовский. – Это надо запросить.

– Да не надо запрашивать! Понимайте, как вам выгодно: давайте полный приказ, вот и всё! Ну, не пишите выдвинуться севернее Сольдау, пишите находиться севернее Сольдау, так и обойдём.

– Но почему он может держать трое суток, злыдень? – гневался командующий.

– Ну, почему? – лишняя отдельная часть, без неё падает значение фронтового командования. – Полковник это говорил по поверхности, а думал уже вперёд, и вот что: – Вот что. Ничего не выясняйте – а пишите приказ Артамонову, я ему сам отвезу.

Ещё изумил!

– Как отвезёте? Вы разве – не в Ставку?

– Со мной – поручик, я с донесением в Ставку пошлю его. А сам...

Предусмотрел Воротынцев и этот случай. Да никто, начиная с Верховного, не понимал, что всю посылку двух полковников изобрёл именно Воротынцев и втолковал другим. Потому что жутко было томиться высшим писарем высшего штаба, ничего не имея, кроме шелеста карт и донесений, опоздавших на сорок восемь часов, да в окошко смотреть, как кавалергард Менгден, ещё самый деятельный из шести бездельников адъютантов Верховного, свистит, не осаждаёт голубей у своей голубятни, поставленной под окнами великокняжеского поезда; остальные адъютанты не делают и того. Задохнуться можно было писарем в Ставке, когда в Пруссии начался самый опасный и самый крылатый манёвр: при всех свободных флангах сходящихся армий. Когда на северном фланге Ренненкампафа уже допущены помрачительные и может быть неисправимые ошибки, и лучше б не было той гумбиненской победы (но не смел Воротынцев передавать Самсонову плохое о Первой армии, чтоб не подорвать командующего дух). Да пока и слишком мало узнал Воротынцев в штабе Второй, чтобы с этим возвращаться к Верховному. Остриё тревоги колело с самого западного фланга – туда и надо было ехать.



– ... Рассматривайте меня, ваше высокопревосходительство, как лишнего штабного работника, оперативно приданного вам.

Самсонов смотрел на него с самым тёплым одобрением.

И Воротынцев, как будто почтительно:

– Почему мне нужно ехать именно к 1-му корпусу – потому что именно там может что-то начать выясняться.

Там! Верно, там! – подтверждал и Самсонов:

– И правда, голубчик, поезжайте. Помогите мне 1-й корпус забрать.

– Из вашего штаба для связи никого нет в 1-м?

– Полковник Крымов, мой генерал для поручений.

– Ах, там Крымов?!... – охладился Воротынцев. – Он, кажется, и в Туркестане был у вас?...

– Всего полгода. Но я его полюбил – и советчик, и солдат.

(Один Крымов и был ему в штабе свой, присердечный).

Колебался Воротынцев.

– Ну, хорошо. Пишите туда приказ! Только что ж писать, когда... Аэроплана не можете дать?

– Чинятся, – извинился Постовский.

– Из двух автомобилей как раз один у Крымова, – развёл руками Самсонов.

– А как ворона летает, как ворона летает... – мерил Воротынцев, – тут девяносто вёрст. Без дорог. По дорогам – сто двадцать.

– И очень запущенная местность, – рад был предостеречь генерал Постовский. – Её так и держали, заслоном от немцев. Топкий песок, заболоченные речки, плохие мосты, мало питьевой воды.

И там-то прошагали их корпуса!...

– Вам лучше поездом через Варшаву, – благоразумно советовал начальник штаба. – На Млаву там сообщение однокорейное, но к утру в среду будете, и отдохнувшим.

– Нет, – оценивал Воротынцев, – нет. Дайте мне хорошего коня, двух коней с солдатом, – и я поеду гоном, сам.

– Но какой же смысл? – удивлялся Постовский. – То ж на то и будет, только без сна.

– Нет, – уверенно качал головой Воротынцев. – Из поезда я выйду со вздором, а так всё сам посмотрю.

Стали собираться. Писали Артамонову распоряжение. (Что писать – нельзя было даже придумать: как можно было привлекать к боям, но не командовать полностью?) Писал и сам Воротынцев в Ставку, и объяснял своему поручику. К клеенной карте Воротынцева подклеивали ещё два листа. Это было уже при Филимонове, в оперативном отделе, Воротынцев попросил дать ему шифр искровых телеграмм для 1-го корпуса. Филимонов насупился: какой, шифр? мы не шифруем. Воротынцев пошёл к Постовскому. Начальник штаба уже уставал от него, да ведь так и ужинать не даст:

– Ну, не шифруем, что за беда? Да ведь в этом коде чёрт ногу сломит, батенька. Что у нас искровые – гимназии кончали? Они ещё не тренированные, перепутают, перевернут, больше будет неразберихи.

– Нет! – не понимал Воротынцев. – И расположение соседних корпусов и задачи – всё посылаете открытым текстом?

– Да не знают же немцы точного времени наших передач! – сердился Постовский. (Уж в эти штабные подробности мог бы приезжий носа не совать!) – Что ж они, круглые сутки ловят, что ли? Да может в их сторону искра и не идёт, не пойдёт... Смелому Бог помогает.

И видя изумлённое охолодение Воротынцева:

– Да мы искровки редко. Мы телеграфом больше. Но когда телеграф перерван – что ж, лучше совсем не передавать?

Собрались ужинать. Самсонов вздыхал, что плохо, конечно, надо код разработан! и ввести, прямая задача начальника службы связи, просто ещё не успели. Да ведь искровые

телеграммы только вчера и передавать начали, не такая беда.

Посматривал Воротынцев на приветливого взрачного командующего, на энергично-враждебного Филимонова, на затёртого, невыразительного Постовского, всех троих, сроднённых, однако, большим аппетитом. Понимал ли командующий, как его обманули таким штабом? Настоящий штаб обязан из пучины предположений выведать и поднять грядущее, по которой шагает решение. Все сомнительные донесения он шлёт офицеров проверить на месте. Он выпукло отбирает сведения, он заботится, чтобы важные не утонули в малозначащих. Штаб не заменяет волю командующего, но помогает ей проявиться. А этот штаб – мешал.

Предлагали Воротынцеву выбрать себе лучшего солдата, но он брал только сопровождающего с возвратом (про себя понимая, что лучшего солдата не в штабе армии надо искать, скорей возьмёт он в полку). Он не мог войти в их обстоятельный обрядный ужин с устойчивой сервировкой. Он ел наскоро, ни рюмки не выпил, лишь крепкого чая. Он просидел, сколько было прилично, не чувствуя той кулебяки, отсутствия.

– Да уж вы бы, голубчик, оставались до утра! – радушно настаивал Самсонов. – Что уж вы, не присевши, не отдохнувши – и дальше? Этак не навоюешь! Оставайтесь, посидим, потолкуем.

Ему, правда, очень хотелось придержать Воротынцева; обидно казалось, что так торопится. Он встал проводить полковника и обещал завтра же до обеда переезжать в Найденбург.

Не совсем было понятно, как же они уговорились, и как теперь снесутся. Что-то из опасностей и возможностей было недосказано между ними, но по суеверию и не надо было досказывать. Поймется там само.

Вернулись к ужину, и Постовский с Филимоновым дружно возражали командующему, что и думать нельзя перевозить завтра штаб, это значит всю работу под откос, а там голыми руками корпусам не поможешь.

Налётный самоуверенный полковник из Ставки был, промелькнул, уехал, а своим чередом надо сноситься со штабом фронта, запрашивать, получать разъяснения и перетолковывать их корпусам.

Тут притёк от Жилинского новый приказ: во изменение предыдущего разрешается командующему Второй армии принять для корпусов общее направление на север, но для прикрытия правого фланга непременно оставить на прежнем направлении 6-й корпус Благовещенского, а для обеспечения левого фланга не продвигать 1-й. (С 1-м опять непонятно: как же его считать? Но всё же намёк, что принадлежит).

Ещё сегодня утром Жилинский запрещал растягивать фронт. Теперь он рекомендовал растягивать. При всех случаях он будет прав...

А всё-таки: в направлении уступал. И слава Богу. И этого надо держаться.

Пока переработали в распоряжения корпусам – была уже ночь поздняя, телефон-телеграф куда не работал, куда и не было. Чтобы не задержать утренние марши корпусов, в те штабы послали распоряжения – искровыми. Незашифрованными.

Не должны были немцы перехватить – не могли ж они подслушивать всю ночь, не спамши.

## 12

Дали Воротынцеву хорошего каракового жеребца и, в сопровождение, унтера на кобылке. Выезд из города надо всегда расспросить точно, но унтер знал. Тяготясь по тихой тёплой ночи шинелью и полевой сумкой, Воротынцев приторочил их к седлу и ехал налегке.

Годами нося в груди как мечту недостижимое стратегическое совершенство (не тебе, но кому-то, один раз в столетие, удаётся его осуществить!), – подходишь к каждому генералу,ходишь в каждый штаб с дрожью надежды, что это – он! что это – здесь! И каждый раз – разочарование. И почти всегда с отчаянием видишь, что нет единого ума и

воли – сковать и направить к единой победе заблудившиеся тысячи.

Как будто усвоенный-переусвоенный закон, а всякий раз удручался им Воротынцев: чем выше штаб, чем выше по армейской лестнице, тем отстранённой от касания к событиям, и тем резче, непременно жди там – самолюбив, чиновлюбив, окостенелых, любителей жить как живётся, только бы есть-пить досыта и подыматься в чинах. Не одиночки, но делал толпа их, кто понимает армию как удобную, до блеска чищенную и ковром выстланную лестницу, на ступеньках которой выдают звёзды и звёздочки.

Так – было и в Ставке. И такое же донеслось в последние дни из Первой армии, чем не хотел Воротынцев расстроить Самсонова. Армия Ренненкампа была всего три корпуса, но к ней придано – пять с половиной кавалерийских дивизий, вся гвардейская кавалерия, цвет петербургской аристократии. И командовавший ею Хан Нахичеванский получил приказ: идти по немецким тылам и рвать коммуникации, тем лишая противника передвижений по Пруссии. Но едва он двинулся 6 августа – сбоку показалась всего одна немецкая второстепенная ландверная бригада, 5 батальонов. И вместо того, чтобы мимо неё, заслонясь, спешить по глубоким немецким тылам, – Хан Нахичеванский под Каушеном ввязался в бой, да какой – сбил на 6-вёрстном фронте четыре кавалерийских дивизии, и не охватывал бригады с флангов на конях, но спешил кавалерию и погнал её в лоб на пушки – и понёс ужасающие потери, одних офицеров больше сорока, – сам же просидел бой в удалённом штабе, а к вечеру и всю конницу отвёл далеко назад. И тем – пригласил немцев двигаться на пехоту Ренненкампа. И так на следующий день, 7 августа, произошло Гумбиненское сражение. Отдать честь Ренненкампу – с шестью пехотными дивизиями против восьми немецких он одержал победу! – хотя неполную, должно было, дорешиться на следующий день. Но и победа эта не спасала, ибо по стратегическому русскому плану самого решительного сражения Ренненкампа не должен был по началу давать – но лишь служить для восточно-прусской армии притягивающим магнитом, наступать же, им в спину, должен был Самсонов. А на утро после Гумбинена – немцы исчезли! они скрылись в глубь Пруссии. А Ренненкампа не кинулся преследовать их – отчасти из-за больших потерь в пехоте (но сколько же есть кавалерии!), отчасти – оттого что не стало снарядов и не подвозили их, тут и сказались неготовность тылов, наша самоубийственная жертвенная спешка для Франции; отчасти и потому, что не поддавался дёрганью Жилинского, а предпочитал не торопиться. В оправданье он утверждал, что немцы никуда не ушли, а укрепились близко от него. И двое суток после Гумбинена – Ренненкампа не двинулся, разве лишь вчера, – но уезжая сегодня утром из Ставки, Воротынцев ещё не знал, заметно ли тот двинулся.

Эти дни между Ставкой и штабом Первой армии натянулись другие напряжения: после Каушенского боя Ренненкампа в гневе отрешил Хана Нахичеванского от конного корпуса, а тот – любимец великого князя и всего гвардейского Петербурга, – и Николай Николаевич просил Ренненкампа дать Хану реабилитироваться. А из Петербурга уже неслись первые проклятья за гибель стольких гвардейских офицеров – и все на Ренненкампа. А Ренненкампа вдобавок ещё отрешил от бригады и младшего брата Орановского – и старший Орановский в штабе Северо-Западного негодовал.

И за этими мельтешениями скрылась главная загадка: куда же делись немцы в Пруссии? В ком не течёт суворовская нетерпеливая кровь – того не раздрает до небес эта загадка: куда делись? что случилось с ними?

В этой обстановке Воротынцев и устроил, чтобы послали Коцебу в Первую армию, а его – во Вторую. Там, в Первой, оставалось много неясного, но главная загадка уже залегала вокруг Второй.

А что в штабе Второй? Никто тут не охватывал мгновений сегодняшней войны, её отзывчивой обоюдной связи. Вторая армия шла на манёвр, достойный только Суворова, – стремительный марш, отрезать Восточную Пруссию, начать войну ошеломительно для Германии! – и начинала на кое-какстве! Разведка!... – ждут сводки из штаба фронта, а те – “по словам местных жителей”. Да Самсонов и никогда в разведке не был силен, в двадцати верстах не находил конницею японской пехоты, об этом уже и немцы пишут, уже есть и

русский перевод в Петербурге. Они знают, кто против них стоит, – и не ждут напора. Куропаткинская школа, “терпение” в ореоле, мы – кутузовцы... Длинноухие!... Иметь три кавалерийских дивизии – и ни одной из них перед фронтом армии, чтобы найти же исчезнувших немцев! Окружать противника – да какого! – столько же понимая в окружении, сколь медведь понимает, как гнуть дуги для упряжи. Но такая дуга по лбу хлопает.

И под Орлау – что ж за победа? Нашли противника! удача! Но две с половиной тысячи уложили, узнали, что противник не там, куда идёт Вторая армия, и топают себе по-прежнему не туда!

Это – Жилинский, это он!... Но не разорваться навсюду. Рапорт – поехал к великому князю. (А великий князь, кажется, пока поехал в Петербург). Воротынцев – едет вперёд.

Унтер не соврал, вывел точно к каменному мосту через Нарев. (Только мог бы в седле сидеть посвободней. Ста вёрст ему не проехать, придётся вернуть).

С другой стороны подводил к мосту, видимо, объезд, прозначенный по Остроленке так, чтобы громохание обозов от железнодорожной станции на Янувское шоссе не беспокоило штаб армии. Именно сейчас на мост вливалась голова длинного обоза. Все телеги пароконные были как одна. Все они были нагружены выше грядок мешками и покрыты парусиной. Обоз, видно, только что вышел с места, повозочные ещё не уселись на телеги, шли рядом (в штабном городе, пожалуй, наскочишь на начальника: зачем лошадей моришь безо времени?), иногда соединялись по двое, кто курил, кто перебранивался беззлобно, и все были настроены заметно весело. Выезд в путь безлунной, но тихой ночью, вызвавший бы неохоту у мирного человека, им был даже по душе. При сытых лошадях, хоть, может, ещё и не съезженных, сытые сами, не предвидя себе опасности в ближайшие дни (ещё двое суток до границы), и такие здоровяки, что хороши были бы и в пехоту, они без нужды широко размахивали руками, а один даже исхитрился на ходу приплясывать по булыжнику, смеша товарищей.

– Не доплясал, вишь, со своей паненкой...

– Братцы, да ведь жалко-то как, – безо всякой жалобы в голосе оправдывался плясун, – с главной-то ночки и сорвали...

– Ты вот что, Ониська, – густо советовал третий ездový. – Твоя соловая и одна потянет, так за моими и пойдёт, а гнеденькую ты отпрягай, отпросись у фельдфебеля, да ворочайся, доведи дело... А к утру нагонишь... На старость лет кормилец лишний будет...

Гоготали. Но увидя всадника на породистом жеребце, обгоняющего по мосту, смолкали тут же.

Шутки солдат всего медленней меняются в армии – медленней, чем оружие, чем форма и устав. Такие же шутки Воротынцев слышал и в японскую войну, такие, наверно, были и в крымскую, да и в ополчении Пожарского такие же. Они веселили не содержанием, а той освобождённой лихостью, с которой вышумливались.

Омрачённому Воротынцеву развязная уверенная бодрость ездových пришлась кстати. И, уже мост переехав, он остановился и без надобности окликнул проворного фельдфебеля, бегущего вдоль обоза и кричащего ругань передней телеге. Тот метнул на бегу глазами, в четверть-свете звёзд и речной ленты разглядел от земли на небо, что здесь штаб-офицер, круто повернул свой бег и с такой готовностью отпечатал последние шаги по торной земле и с такой точностью остановился на уставном расстоянии, будто для этого всю дорогу и бежал.

– Чей обоз?

– Тринадцатого армейского корпуса, ваше высокоблагородие!

– От станции – сколько своим ходом?

– Пятые сутки, ваше высокоблагородие!

– Что везёте?

– Сухари, гречку, масло, ваше высокоблагородие!

– А – печёного хлеба?

– Никак нет, ваше высокоблагородие!

Ещё на эти неповоротливые “высокоблагородия” уходило столько солдатского

времени, сколько нельзя было в войне XX века! Но не Воротынцеву было их отменять. Он тронул коня, унтер за ним. Фельдфебель развернулся, ещё уставно, а там пустился рысью вперевалку, крепче голося передней телеге.

Станция Остроленка – отсюда в версте, а они пятые сутки своим ходом! Пять суток позади – да шесть переходов впереди! А и на шесть переходов не езда, корпусному транспорту не дать круговорота. А армейского нет. В штабе на картах стрелки дивизий черти не черти – вот этими колёсами тележными решается сражение неслышно.

Однако весёлые, крепкие эти солдаты, признанные негодными к строевой; и лихой фельдфебель; и кони крепкие; и парусина, подвёрнутая от дождя; и хорошо подкованный жеребец под ним, скалящий зубы, когда отставала кобылка унтера, – всё это веселей и спокойней настраивало Воротынцева, чем он из штаба вышел; сильна, неисчерпаема была Россия. И силу эту чувствуя, он сам усилился.

Эта война началась при изумительной народной дружности, какой в японскую не было ни дня, какой Воротынцев никогда и не помнил. В Петербурге, рассказывали, в первый день войны, без всякого сговора и оповещения, народ выходил из домов и двигался к Зимнему, дожидаясь там царя, и студенты даже. Бастовавшие петербургские рабочие окончили в день все забастовки. В Москве Воротынцев пробыл недолго, но каждый день шла к градоначальству манифестация, и всюду на улицах – единодушные чувств. Мобилизация грянула в горячие дни страды – и повалила деревня к воинским начальникам: “царь позвал!” Такой слитный порыв – как можно разорнить? Но уже в первых штабах в первые дни хлопались наземь первые плески, проливались первые вёдра.

Та ковровая лестница возвышений – она должна бы обязывать больше, чем награждать. Кто легко нахватывает чинов, тому серьёзно в голову не приходит, что существует какая-то наука управления войсками, и она меняется каждое десятилетие, и надо всё время учиться, меняться и поспевать. Если сам военный министр хвастается, что за 35 лет, от академической скамьи, не прочёл ни одной военной книжки, – так ещё кому ж куда? Выслужив генеральские эполеты – куда им ещё поспевать? Ведь устроена лестница так, что лучше продвигаются по ней не волевые, а послушные, не умные, а исполнительные, кто больше сумеет понравиться высшим. Если ты действовал строго по уставам, директивам, приказаниям – и потерпел неудачу, поражение, отступил, разбит, бежал, – никто тебя не обвинит! и тебе не надо ломать голову, отчего произошло поражение. Но горе тебе, если ты от приказаний отступил, если ты действовал по собственному уму, по смелости, – тут тебе, пожалуй, и удачи не простят, а при неудаче сгрызут совсем.

Да ещё же губит русскую армию это старшинство! верховный неоспоряемый счёт службы, механического течения возраста и возвышения по чинам. Только бы ты ни в чём не провинился неприлично, только бы не рассердил начальство, – и сам ход времени принесёт тебе к сроку желанный следующий чин, а с чином и должность. Исключительные надо заслуги, как у генерала Лечицкого, или уж близость ко двору, чтоб обойти старшинство. И так уже все приняли эту разумность старшинства, наряду с постепенным ходом небесных светил, что полковник о полковнике, генерал о генерале первое спешат узнать – не в каких он был боях, а с какого года, месяца и числа у него старшинство, стало быть, в какой он фазе перехода в очередной чин.

Сразу после моста мощёнка оборвалась, но дорога стала как раз для копыт хороша. Она вилась под звёздами чуть светлеющей, отличимую явно полосой, с мягкими закругленьями, забирая вверх сейчас, а потом пойдёт вниз, вилась по спокойной спящей стране с угасающими последними огоньками, с загадками тёмных кущиц по сторонам. Выспрашивать нечего было. Всадники пошли бодрую ходой, но не шибче, чтобы кони к утру не притомились.

В этом бодром движении по тёмной, тихой, тёплой стране на Воротынцева быстро нисходила та прекрасная лёгкость, известная каждому военному человеку (нет, солдату реже, а именно офицеру, кто и живёт для одной войны), когда непрочные нити, припутавшие тебя к постоянному месту, обрезаны начисто, тело воинственно, руки свободны, приятно

чувствуешь тягу оружия на себе, голова занята прямой задачей. Воротынцев знал в себе, любил это состояние.

Потому и не мог он ехать поездом через Варшаву, что ко всей земле, пройденной корпусами, ему надо было тоже прикоснуться, иначе он ничего понимать не будет. Потому что и смелый, и решительный, и сообразительный офицер – это тоже ещё не настоящий офицер. Ещё должен он постоянно ощущать тягу и нужду солдата, чтобы тёрло и его плечи, пока не все солдаты скинули заплечные мешки на ночлег; чтоб не шла ему в горло ни вода, ни еда, если без воды и еды осталась хоть рота в дивизии.

Прикоснуться потому нуждался Воротынцев, что жгла его, не ослабляя паленья, ещё японская война, так десять лет и жгла, не утихая. Безумное русское общество могло радоваться тому поражению – как безрассудный ребёнок радуется болезни, чтоб сегодня чего-то не делать или не есть, а не понимает, что грозит ему от той болезни на весь век остаться! калекою. Общество могло радоваться и всё валить на царя, на царизм, но патриоты могли только скорбеть. Два-три таких пораженья подряд – и искривится навсегда позвоночник, и погибла тысячелетняя нация. А два подряд уже и были – крымское и японское, лишь слегка прополосенные не такую уж славной, не такой уж великой турецкой кампанией. Оттого наступившая война могла стать или началом великого русского развития или концом всякой России. Оттого-то ошибки японской войны особенно саднили сейчас истинных военных – и тянулись они, и содрогались они, как бы тех не повторить!

Прикоснуться к тому, что случится в Восточной Пруссии со дня на день и с часу на час, особенно потому нуждался Воротынцев, что в прошлые годы он был среди немногих генштабистов, кто допускаем был к обсуждению общих планов войны и составлению частных проектов, на которых потом, безымянных, годами ставили, ставили подписи и визы генералы и великие князья, а после тех лет “Соображения” были издаваемы несколькими номерными экземплярами, хранимы в несгораемых шкафах, и даваемы читать, кому ведать надлежит.

Именно после японской войны, когда в армии, раскалённой поражением, разгорался “военный ренессанс”, – в Академии генштаба создалась и сплотилась малая группа военных, кто уразумел и почувствовал XX военный век, в котором ни петровские штандарты, ни суворовская слава нисколько не могли укрепить Россию, оштитить её, помочь ей, – а только сегодняшняя техника, сегодняшняя организация и быстрый кипучий разум.

Лишь это узкое братство генштабистов да ещё может быть кучка инженеров знали, что весь мир и с ним Россия невидимо, неслышимо, незамечаемо перекатились в Новое Время, как бы сменив атмосферу планеты, кислород её, темп горения и все часовые пружины. Вся Россия, от императорской фамилии до революционеров, наивно думала, что дышит прежним воздухом и живёт на прежней Земле, – и только кучке инженеров и военных дано было ощущать сменённый Зодиак.

Пока в государстве строились баррикады, собирались и разгонялись Думы, издавались исключительные законы и искали мистические выходы в тусторонний мир, – эта группка капитанов-полковников, обозванная “младотурками”, осознавала себя, читала германских генералов и набирала сил, никем не преследуемая, но как будто и не нужная никому. Она сплотилась, но и тут же расплотилась, ибо не могли они без конца сидеть в Академии, и единого штаба такого для них создано не было, а надо было по назначению ехать каждому в разные гарнизоны и, может быть, никогда уже не увидеться друг с другом, хотя повсюду чувствовать себя частью целого, клеточкой русского военного мозга. Ещё держалось ядро “младотурок” – группа профессора Головина, но в прошлом году завладел Академией вкрадчивый Янушкевич – и этих последних неслужливых разгромили, разослали тоже. Никто из них не получил реальной власти, никто не получил даже дивизии (Головина – сослали командиром драгунского полка) – ведь была долгая череда ожидающих по старшинству службы, по стажу бездарности и по придворным протекциям. Но сами между собой и перед собой они были ответственны теперь за будущее русской армии и, более всего по оперативным отделам штабов рассеянные, точностью своих разработок и

убедительностью предложений рассчитывали всю армию повернуть, куда надо.

Именно они, бездолжностные и бесправные, подняли перчатку императора Вильгельма. Именно они – не балтийские бароны, не приближённые императорской семьи, не генералы с иконостасами орденов от шеи до пупа, именно они только и знали сегодняшнего врага – и восхищались им! Они знали, что германская армия – сильнейшая в сегодняшнем мире, что это армия – со всеобщим патриотическим чувством; армия с превосходным аппаратом управления; армия, соединившая несоединимое: беспрекословную прусскую дисциплину – и подвижную европейскую самостоятельность. Такие точно офицеры, подобные кучке наших генштабистов, там были во множестве, и в силе, и во власти, даже до командующих армиями. А начальники генерального штаба не меняются там, как у нас, за 9 лет чехардой из шестерых, но – за полстолетия четверо, да не меняются, а наследуют, Мольтке-старшему Мольтке-младший. А “Положение о полевом управлении войск” не утверждается там за два дня до всеобщей мобилизации, как у нас, 16 июля. И семилетняя программа вооружения принимается не за три недели до начала войны.

Конечно, куда веселей было бы состоять с Германией в “вечном союзе”, как учил и жаждал Достоевский. (И как Воротынцев тоже бы предпочитал). Куда веселей было бы так же развить и укрепить наш народ., как Германия – свой. Но – сложилось воевать, и гордость наших генштабистов была – воевать достойно.

А достойно – значит: не только короткие задачи этого дня и этой ночи понимать и выполнять наилучше, но понять и проверить от самых истоков, от основания: вообще тут ли наступать? и, ещё ранее, – наступать ли вообще?

Это доктрина германского генштаба: наступать во что бы то ни стало! И у Германии есть основания её избрать. Но, глядь, её перехватили французы. Глядь, её перехватили и наши: только вперёд! всегда вперёд! как красиво! – и мотыльку Сухомлинову приятно. Однако есть у военной науки принцип и повыше вперёда: чтобы задача отвечала средствам.

По договору с французами мы сами вольны себе выбирать операционные направления. Годами шло сравнение естественных двух: на Австрию и на Германию. Граница с Австрией легко проходит, озёра же Пруссии выгодны для обороны, стеснительны для наступления. Наступать на Германию – много сил, а надежд мало. Наступать на Австрию – большие успехи, разгром всей их армии, всего государства, передвижка половины Европы, – а тем временем против Германии легко обороняться малыми силами, подсунуть им наше приграничное бездорожье да широкую колею. Так и выбрали. Так и готовился Палицын, цепью крепостей Ковно-Гродно-Осовец-Новогеоргиевск.

(И конь Воротынцева, всё вязче ступая в песчаную дорогу, подтверждал: для того и дорог не строили тут, ни единой).

Но пришёл в генеральный штаб Сухомлинов и с легкомысленным невежеством (столь похожим на решительность) примирил спор направлений: будем и туда и сюда наступать, одновременно! Из двух он выбрал наихудшее оба. И сменивший его Жилинский в позапрошлом году уже обещал французам, сверх договора, от себя как от России: обязательно будем и на Германию наступать – или на Пруссию, или на Берлин. И как же, наша доблесть, наша честь теперь перед союзниками – чтобы их не обмануть!

А ты, осветив истоки, сам уже воюй достойно...

Но или-или томит русский ум, как это – или на Пруссию, или на Берлин? Чего проще – валяй и туда, и сюда! И в эти самые дни, когда Первая и Вторая армия только-только входили в Пруссию и всё сраженье ещё было впереди, – уже на письменных столах Ставки сколачивали Девятую армию – на Берлин. И для того-то (не знал бедняга Самсонов) отобрали у него гвардейский корпус, и не разрешали Артамонова выдвигать дальше Сольдау, и, ещё замедляя его тылы, перегоняли поперёк их новые части к Варшаве.

Да что там, в прошлом году Жилинский Жоффри уже и срок начала, за счёт России, сдвинул щедро: начнём не на 60-й день мобилизации, и даже не на 30-й, но, при полной неготовности, – на 15-й! Ведь друзьям плохо, для друга слазь и в грязь, а англичане когда ещё через пролив спопашатся!

Но как в частной жизни не должна переходить дружба в самовыстиление, это никогда не отблагодаривается, – так и тем более в государственной... Эту жертву русскую, эту нашу кровавую подать долго ли будет Франция помнить?

А ты пока – воюй достойно.

За полтора ста вёрст вперёд, за темнотою ночи, за местностью, не виданной иначе, как по карте, за покачкою крупной жеребцовой головы и за округлостью земли на градус широты – предполагал, ощущал, представлял и просто видел Воротынцев десятки таких же генштабистов, только немцев, да едущих через ночь по твёрдым шоссе на быстрых автомобилях, да связанных сплошным телеграфом, да кладущих рядом с картами точные разведывательные данные с аэропланов, уколом булавки и точною стрелкой – откуда и куда мы на них идём, да понятливых отзывчивых генералов, да решения, принимаемые в пять минут и в согласии с разумом, – а сзади был Жилинский, со взнесенным самоуверенным подбородком; Постовский с папками аккуратных третьеводнишних бумаг; Филимонов с бесплодной честолубивой энергией – для себя одного; затруженный, медленный Самсонов; попереди – потерянные в песках и озёрах корпуса. И в приближении этого грозного столкновения Воротынцев мог только в огненной памяти разглядывать карту да подгонять жеребца и то не слишком, чтобы хватило ему сил.

Спешить! Конечно надо было спешить в этой операции, да не от Белостока же пеший марш начинать. Спешить, да не так же, как клоун спешит на арену, не терять же ботинок и штанов, сперва подпоясаться, зашнуроваться. И как же можно было начинать с разрывом: подсылать Ренненкампфа, когда Самсонов ещё не готов? Весь смысл плана – мерк, уничтожился.

... На разговоры с унтером и времени не осталось. Проезжали населённые пункты, иногда было кого спросить, а иногда присвечивал та карту и соображал Воротынцев сам. Часа два он думал напряжённо, потом сбивчиво: и о корпусе Благовещенского, что так оторвался направо, как если бы, правда, переходил к Ренненкампфу; и ещё хуже – о 2-м корпусе, который застрял против немых пустых озёр, не помогая ни Первой армии, ни Второй; и о том, что по фамилиям генералов судя – фон-Торклус, барон Фитингоф, Шейдеман, Рихтер, Штемпель, Мингин, Сирелиус, Ропп – никак не счесть было Вторую армию русской, да ещё этой весной назначался командовать ею Рауш-фон-Траубенберг, то-то бы звучало! Это немецкое преобладание уже так привычно распространено, что мы даже не задумаемся: да ведёт ли Россия последние два века своё отдельное национальное существование? Или, с Петра, направляют его немцы?

И о том русском генерале; Артамонове думал, к кому лежал его путь сейчас и от которого завтра может быть зависеть будет вся честь России. Артамонов ещё и ровесник Самсонову, уже потому будет обидно подчиниться. Служил Артамонов долго в штабах, да “для поручений”, да “в распоряжении”, был почему-то комендантом Кронштадтской крепости, хотя сухопутник, даже главным руководителем крепостных работ, – и вот теперь на армейском корпусе,

Немцы это всё себе переписывают, переписывают и смеются: у этих русских Главный Штаб даже не ведаёт такого понятия – военная специализация. Всё, что не конь и не пушка, – всё у них инфантерия...

Думал Воротынцев и о генштабисте полковнике Крымове, который опередил его в 1-м корпусе, и может быть уже всё исправляет, а может быть не видит и губит. Лично они не встречались. Но отъезжая из Ставки, Воротынцев по справочнику генералов и полковников просмотрел службу каждого, с кем приведётся встретиться тут. Крымов был на пять лет старше Воротынцева, и настолько ж опережал его в полковничком чине. Можно было заключить, что служил он как-то неровно: туповато в конце того века, полтора года мог ведать батарейным хозяйством, да и потом не острей. Но всё ж раскачался на Академию и успешно кончил её перед Японской. Воевал, видимо, храбро, бой за боем отмечены наградами. А потом лет на пять снова задремал делопроизводителем да начальником отделения мобилизационного отдела Главного Штаба. Там были и какие-то труды у него о



запасных войсках, это всё нужно для великой армии, но опять: как совмещается в одном офицере?

Путь в холодающей звёздной ночи стелился и стелился. Иногда дорога была обсажена, иногда гола, а в песке – всё время. Черно и мягко миновались редкие хутора, очепы колодцев, придорожные высокие распятия. Тиха, мирна спала северная Польша, совсем не по-военному. Правда, в двух деревнях стали на ночь обозы, окликались их дозорные. А так никто не обгонял, никто навстречу не катил. Утомлялись кони, но ещё больше унтер сквашивался. Перед утром думал Воротынцев коней покормить, два часа поспать, да унтера отправить назад, а дальше уже одному.

Постепенно мысли его углаживались, не жгли, не так быстро выпрыгивали, не толкали друг друга. Приходили совсем другие, и все их приятно было сейчас дояснять, додумывать в долгом ночном успокаивающем движении.

Нисколько не тяготила Воротынцева бессонная ночь, и ещё завтрашний долгий путь, и потом, может быть, сквозная безумная неделя – ибо такой обещала быть Прусская битва, и может быть со смертью впритирку. Это и был его жребий. Это и были его высшие дни – те дни, для которых и живёт кадровый офицер. Ему не только не тяжело – ему крылато-легко было сейчас, и не могло иметь значения: спит он или не спит, ест или не ест.

### 13

А если честно говорить, была ещё одна причина нынешней его лёгкости. Ему оттого было сейчас так легко и свободно, что он уехал из дому.

Он не сразу понурил этому ощущению в себе, он поразился: никогда прежде не было радости или облегчения от разлуки. Но три недели назад в Москве, когда они в штабе округа получили приказ о всеобщей мобилизации, и во всю же голову, во всю же грудь наполненный только общим, – Воротынцев однако приметил, как между глыбами войны проскользнуло радужной ящеричкой: теперь он естественно надолго отъедет от жены. Как будто станет свободнее или отдохнёт?

Странно. Вот не думал. Отчего и было ему крылато-легко во всей жизни., во всех его движениях и планах, – что он очень удачно и быстро женился. При его острой направленности, захваченности единым Делом, ему скорей должно было не повезти с женитьбой, как многим не везёт, – а ему повезло! Для устройства счастливой семейной жизни люди тратят много внимания и забот, а ему так легко: сразу – удача! превосходная жена.

Когда-то, ещё в последний год прошлого царствования, юнкером первого года, он опоздал в училище с гимназического бала: зацеловался с гимназисткой в Неопалимовском переулке, пришлось перелезть через забор, и всё равно был обнаружен. Наутро его вызвал сам начальник училища генерал Левачёв, царство ему небесное. “Ну что ж, Воротынцев? Двое суток гауптвахты?” – “Есть двое суток, ваше превосходительство”. Высокий стройный генерал ещё и разговаривал стоя, светлыми насмешливыми, а потом вполне серьёзными глазами глядя на юнкера: “Мне не жалко дать вам эти сутки, а вам не жалко их отсидеть. Но, Воротынцев, с вашими выдающимися способностями, с вашей хваткой, – я слышал, вас дразнят “начальником генерального штаба” – (действительно, кличка такая была, и Воротынцев не считал пустой, внутренне он не исключал такую возможность годам к пятидесяти), – примите дружеский совет опытного человека. Карты да неумеренное питьё – скольких прекрасных офицеров замотали. Но незаметней того, а больше – сглодали нашего брата дамы. Поверьте, все эти ухаживания, а потом личные потрясения – пустяки, ничто, трата лучших молодых сил и времени. Не рассоритесь! Успеете. Хоть и говорится “ешь с голоду, люби смолоду”, но слишком смолоду человеку талантливому – некогда любить. Семья придёт своим чередом. А в движении к высшим военным должностям должно быть что-то монашеское. Подумайте!”

Воротынцев и подумал. И – принял. Он даже усвоил это внушение генерала Левачёва

как прирождённую свою мысль, так хорошо ложилась она в план его жизни.

Да ещё раньше, ещё в детстве Георгий где-то прочёл, услышал об этом бессмертном выборе – Любовь или Долг? – и уже тогда для себя решил не колеблясь, тотчас и навсегда: Долг! Долг! Долг! И впредь – ухаживания и даже размышления над всеми этими так называемыми любовными вихрями он настолько не принял в свой опыт, что ни от товарищей по службе, ни от случайных встречных даже на досуге не выслушивал любовных историй, отводил, избегал их, не тратил времени. Совет генерала тем прочней лёг в основание его молодой жизни, что от родного отца он никогда ничего ясного на этом пути не слышал.

Отец и вообще никогда никакого своего опыта ему не передал. Единственное, чем он пытался направить жизнь сына – отдачей его в реальное училище, а не в кадетский корпус, как Георгий рвался. Но и за семь лет реального Георгий не остыл, не уклонился, и всё равно поступил в Александровское училище. Он как бы искупал измену деда и отца их родовой традиции: они отвратились от военной службы, и уже от того отец не заслужил полного почтительного внимания сына. Да и семейное вряд ли что отец мог посоветовать, потому что сам он счастлив не был, последние годы они жили с матерью плохо, порознь, – а почему, Георгий не вникал, и не взялись они ему объяснить, а только веяло над ним тоскливым безрадостью и безвыходьем семейной жизни – может быть и всякой семейной жизни? может быть и не бывает другого развития?

И как бы в тон этому родительскому разладу в юные годы Георгия всегда звучала в их доме фортепьянная игра матери – всегда элегическая, пронзительно-грустная. Сама для себя она много играла, и этими звуками был наполнен их московский дом, Георгий пронизался ими, полюбил их, пристрастился даже. Было жалко маму, но – и не умел её утешить.

А мать не упустила воспитать в сыне – рыцарственное, преклонённое отношение; к женщине. Что женщине недостаёт защиты от грубого течения жизни, и мужские руки, от избытка своих сил, должны приподымать её над этой жестокостью. Георгий охотно и прочно это впитал, это укладывалось и в его характер, он и чувствовал в себе этот избыток сил, при котором не унижительно служить слабому существу.

Алину в первый раз Георгий увидел и услышал в тамбовском дворянском собрании – и тоже за роялем, в концерте, и так сразу зажглись и сплывались ему в одно впечатление: и наружность её – вот кажется такой тоненькой, поворотливой, среднего роста, среднего цвета волос, и с такой улыбкой он всегда и ждал встретить свою будущую жену! – да фортепьянная игра, да сверкающие шопеновские мазурки! Всё вмиг сплеснулось воедино! – и, кажется, ещё до знакомства, ещё до конца последней мазурки он уже решил: женюсь! нашёл! нечего тут и примерять, сравнивать, оглядываться, – вот она, единственная женщина на земле, особо для меня созданная!

Да ещё это было – тотчас после японской войны, в послевоенном восторге бытия: я – уцелел! Теперь я долго буду жить! Теперь – я счастлив быть хочу!

Да ещё и тридцать ему исполнилось.

И как ещё совпало счастливо: никогда до того он в Тамбове не бывал, и после не бывал, всего-то приехал на три дня в мелкую служебную инспекцию. И Алина тоже была – борисоглебская, тоже они с матерью приехали из уезда лишь погостить – и вот так встретились!

Георгий для себя решил мгновенно (он всегда мгновенно знал, чего хотел и что верно), стремительно сделал предложение. Алина была ошеломлена, не сразу готова ответить. Тогда он прогалопировал бурное ухаживание. И когда вскоре всё же повёл это воздушное белое чудо под венец, то ещё опасался, как бы она в последнюю минуту не передумала.

И всё оказалось великолепно! Любовь даётся в жизни раз, и как же счастливо – растратить её безошибочно! Нежно любишь ты, нежно любят тебя, и мир замкнулся в наилучшем виде, приспособленном для твоего движения! (Мелкие размолвки не в счёт). И всю силу воспитанного рыцарского преклонения перед женщиной, безграничного восхищения – ты знаешь теперь, кому отдаёшь.

Их первые брачные годы были – его академические страдные годы, забиравшие всю

протяжённость времени, всю напряжённость ума при невыносимой платности предметов в году: всех военных, нескольких математиков, двух языков, двух прав, трёх историй, и даже славистики, и даже геологии, и потом трёх диссертаций. Да ещё это были и лучшие годы самой Академии, когда расчищали рухлядь (не всю и не надолго...), когда легенду о врождённой русской непобедимости сменяли на терпеливую работу. (Но каждый день ты шагаешь в Академию по Суворовскому проспекту, мимо Суворовской церкви, и гулко звучит в голове это славнейшее имя – какой русский офицер не мечтал о суворовском жребии!)

И при такой захваченности Академией – как счастливо текли их с Алиной тихие вечера в маленьких недорогих комнатках на Костромской улице! (И Костромская родная слышится!) Георгий – за письменным столом, Алина – за стеной у пианино или на кушетке, – покой и устояние, исключаяющие из мира тревог – тревоги сердечные. При академической восьмидесятирублёвой стипендии чаще и денег не было на театр или концерт, а времени-то – почти никогда, так дома и дома сидели, тем слаще, – и Алина не жаловалась. Пресчастливые годы! Чем бурней общественная и военная жизнь, тем приятнее, чтобы семья и быт текли ровно, традиционно, и не было бы надобности менять привычки. Непробудное, постоянное, повседневное ровное счастье, ни взрывов, ни сотрясений. Произошла неудача с ребёнком, никакого второго потом, но и это не навело облаков: жизнь будет в движении, в боях. Алина не слишком тосковала от потери – и в этом Георгию тоже повезло. Согласились они, что им – и не нужно, их любовь и без того преуказана с небес и вечна.

За тремя годами учёбы – три года преподавания в Академии, ещё полнее счастьем. Но когда головинскую группу разогнали – довелось Воротынцеву ехать в глухой гарнизон за Вяткой. Для него-то – почти своя Костромская. Однако и Алина снесла потерю петербургской жизни, не уклонилась отсидеться в Борисоглебске с мамой – но поехала с ним в тот грубый неустроенный быт и глушь, и стойко перенесла эти полтора года ссылки, и не гнушалась кухонной и домашней работы. У него-то всё равно был Шлиффен каждый день на столе – а у неё? что она видела в этом жизненном провале? Так двойным вниманием, восхищением, двойной нежностью Георгий старался облегчить ей это тёмное время, всегда сознавая размеры её подвига и её любви. Правда, под конец она уже захандрила, – но тут ему удалось вынырнуть – и перевестись в штаб Московского округа.

Это случилось – меньше полугода назад. А вот эти последние комфортные полгода в Москве, когда Алина, напевая, вила новое гнёздышко, – странно, Георгий стал понемногу замечать, будто чего-то в их жизни недостаёт, обронено. Что-то не совпадают у них больше ни начала фраз, ни продолжения начатых. Вот укладывается Алина на кушетку, чтоб он сидел рядом и рассказывал о разных офицерах, служебных случаях, и о чём он думает, – но нарастает и фамилий, и новых идей, и прочтённых книг – подвижный огромный ком, он вращается как Земля, и распёртый череп Воротынцева сам едва вмещает его, – а память Алины не держит, она забывает и фамилии, и уже рассказанное, переспрашивает по второму и третьему разу, это скучно, потеря времени, потеря темпа, да ей, чувствуется, и не так уже интересно, а он лучше пошёл бы, позанимался вечерами в штабе. И он уклоняется от рассказов. А она надувает губы.

Справедливо выговаривает ему за холодность, недостаточное внимание к людям, приливы угрюмости, занятость только собой, выговаривает настойчиво, с полнотою прав, – и возразить трудно. А от каждого выговора остаётся осадок.

Да вот что! Переехав в Москву – Алина как-то изменилась, стала требовательна, новый тон, новые желанья: после вятской заглуши, после стольких лет терпения и жертв – она хочет, наконец, яркой жизни, когда же??

А – когда же?... Георгий – не готов. Он нисколько не разгрузился, всё ещё плотней, все труды, все усилия – всё впереди.

Да и – никогда. Да и – страшно подумать: что б это стала за жизнь?

Да, конечно, он перед ней виноват, виноват...

Но и не в этом только, а – что-то ещё. Случилось что-то с самим Георгием. Как будто

кожа окорявела, очерствела, перестает ощущать каждый пробежавший волосок. Заметил, что становятся безразличны мягкие, невесомые, пахучие предметы её одежды – лежат себе и лежат, висят себе и висят. И в поцелуе губы перестают быть самыми нужными и нежными, а удобнее – в щёчку. Вообще, весь обряд любви – утомляет, с годами – пресен. И – тянуть его вечно?

Так ты прежде сорока – уже и стар? Впрочем, и всё растущее, и на каждом дереве так: корявеет, лубенеет. Неизбежно лубенеет и всякая любовь, устаёт и всякое супружество. Очевидно, так и нужно: с годами острота, и потребность любви, и все восторги должны поостывать. На сорок лет остаётся нам и других ощущений довольно: и росное утро воспринимается не черствей, чем в юности, и как в двадцать прыгаешь на коня, и с волнением ставишь пометки на полях у Шлиффена.

И вот – война. И счастье же, что Георгий оставил её Москве, где будут у неё и общество и концерты. Насколько легче, что нет угрызений, и свободна душа для главного дела.

Лишь не забыть вниманием, часто писать, как просила, хоть полстранички. Успел и в Остроленке опустить несколько слов: люблю, люблю, ни с кем не сравнивая! И правда.

И – свободен, и – на коне. И сразу – как проще, подвижней, беззаботней. И дальше бы так.

Вообще предъявляет всякая женщина слишком много прав на своего мужчину, да не упускает всякий день расширять их, если удаётся. Когда-то для тебя это наслаждение, когда-то сносно, а вот уже и тяжело.

Вообще, прав был генерал Левачёв: все эти проблемы любви, её волнения и переживания, все ничтожные личные драмы вокруг неё – слишком преувеличиваются женщинами, слишком смакуются поэтами. Чувством, достойным мужской груди, может быть только патриотическое, или гражданское, или общечеловеческое.

А может быть – просто засиделся. Семейная жизнь – не для воина. Просвежиться надо.

Он ехал и ехал ночной дорогой. Крепкими перебористыми ногами своего жеребца отмерял, перещупывал эти бесконечные вёрсты между штабом армии и корпусами, эти страшные шесть дневных переходов.

Нет, так не воюют! Воевали, но больше так не дадут...

И – противника нет, провалился!

Да! – кольнуло – и эти незашифрованные искровки! Как можно было посылать?! Уж лучше б и средства такого не было вовсе, чем в руки нашим нерадивым.

Далеко обогнавши всадников с их аллюрами – в неразборную тьму чужой стороны беззащитными невидимыми искорками утекала на обокрад сила Второй русской армии.

## 14

Этим летом Ярослав Харитонов и должен был кончать Александровское училище, но по порядку: сперва в летние лагеря, потом торжественный выпуск, потом до полка ещё месяц отпуска – домой, в Ростов. В Ростове – ворох радостей, запрыгает Юрик, мамины заботы, родные комнаты, гимназические друзья, но важнее всего: с Юриком, уже ему двенадцатый, и с одним другом – садятся в парусную лодку, уже припасённую, снаряжённую, и едут вверх по Дону смотреть, как казаки живут, давно собирались, ведь стыдно: родиться и вырасти в Земле Войска Донского, и ничего о казаках не знать, кроме того, что они нагайками разгоняют демонстрации, – а это смелое, подвижное, сильное племя, из самых здоровых русских порослей.

Но не сложился расчисленный вход в армейскую службу, а сразу вихрем, свежим и страшноватым, налетело то, что в армии главное, для чего и есть армия, – война! Уже 19-го июля их выпуск надевал заветные погоны со звёздочками, и не то что съездить попрощаться с родными, а даже самим успеть получить из фотографии первый офицерский снимок не пришлось: всех рассылали тут же с готовыми назначениями, Ярослава – в 13-й армейский

корпус, в Нарвский полк.

Свой полк он застал в Смоленске, частью на погрузке в эшелоны, а частью ещё даже не собранный. (В Смоленске – овации офицерам на улицах, все кричат о победе, ощущаешь себя как в тёплом урагане). Хотя четыре полка их дивизии носили самые первые номера во всём российском войске, но состава постоянного у них не оказалось: именно теперь-то и нагнали нижних чинов, по три запасных на одного коренного солдата, сам же Ярослав успел и принимать их – в серо-чёрном мужицком, с последним домашним припасом в белых узелках, как на Пасху увязывают святить куличи. Он же застал и в баню их водить, переодевать в серо-зелёные шаровары и рубахи, выдавать винтовки, амуницию и грузить в товарные вагоны. Кто остался и в крестьянских шапках. Да не только солдат действительной службы – не хватало почему-то и унтеров, и офицеров не хватало, хотя уж кажется к войне ли может быть не готова Россия, всегда воевавшая и воюющая! На роту приходилось по три-четыре офицера, Харитонову как свежеиспеченцу дали только свой взвод, но офицеры поопытней получали два взвода сразу и на одном держали подпрапорщика.

А всё это хорошо выпало! – и трёхдневная суматоха в Смоленске с переодеванием деревенщины (а Ярослав ходил пружинно, с прямой спиной и вдавливая след), и того более – сама езда, когда Ярослав не пошёл в офицерский вагон, а остался со своими, собственными своими, ему доверенными сорока народными лицами в теплушке, – и загудел паровоз через тридцать вагонов, и залязгали, залязгали, перекликаясь, передаваясь, буфера, и натужно заскрипели сцепы, и потянул весь поезд! О любви к народу много говорили, только и говорили в семье Харитоновых, для кого же и жить, как не для народа, – да только видеть народ было негде и нельзя, даже на базар соседний нельзя было отлучиться без спросу, и потом руки надо мыть и рубашку менять, к народу никак было не подойти, ни с какой стороны не заговорить, неизвестно что говорить, стесняешься, – а вот теперь естественно сошлось, что этим мужикам бородатым был 19-летний Ярослав чуть ли не за отца, и сами они искали его – просить, спросить, доложить. А ему оставалось, сверх наилучших действий по службе, только вбирать, и вбирать глазами, ушами и памятью – кто как зовётся, кто родом откуда и что у кого дома. Вот охотный рассказчик Вьюшков, его только слушай, проезжает поезд их места – вон уездный город на высокой горе, а тут овраги повсюду, урочище Крутой Верх, и какие тут соловьи и какие выгоны, – ведь нигде ж Ярослав ещё не был, ведь всё это повидать бы самому! До чего ж радостно и желанно – объединиться с ними, отъединиться с ними в одной теплушке, и слушать, как балалайка их тренькает (сколько свободы и поэзии, какой чудный инструмент!), днём стоять с ними, опершись о длинный засов, перегородивший раздвинутую дверь (а внизу ещё сидят, ноги наружу свесив), ночью в темноте не спать под их пение, пересуды, да смотреть на огоньки цыгарок. Хотя не радости ждать на войне – а радостно было ехать! И не одному Ярославу: явно весело было и солдатам, всё время шутили, и даже пританцовывали, и боролись друг с другом, – а на узловых станциях ещё встречали их толпы с оркестрами, флагами, речами и подарками. В этом настроении успел Ярослав написать и первые письма – маме, Юрику и Оксане-печенежке, милой сестрёнке, – настоящей сестре, потому что Женя, ставши замужем и с ребёнком, превратилась в младшую маму, только почужей. Написал он, что вот к этому всю жизнь и стремился, этого и хотел: быть вольно-мужественным и вместе с простым народом.

Но дальше не так было весело, уж очень много суматохи и неразберихи. С железной дороги их внезапно ссадили, хотя поезда шли и дальше, – и, как издеваясь, погнали пешком почти рядом с колеёй – до Остроленки, так шли они несколько дней, и трудно это было уже отвыкшим запасным, в обуви необхожденной, в одежде неприношенной да со всей амуницией. Отчего так? – нельзя было охватить, понять, некого спросить. Наверно, злой номер их корпуса так сработал. Проезжал в автомобиле генерал, сказал: “Это немцам подай железную дорогу, а русские орлы и пешком отхватят! Верно, братцы?” И кричали ему: “Вер-на!” (Ярослав тоже кричал).

Второй офицер их батальона, штабс-капитан Грохolec, с острыми дуговыми наверх

усами, маленький, а чёткий, весь военная косточка (Ярослав старался ему подражать), – сам от смеху давясь, кричал на колонну: “Эй, шествие богомольцев! В Иерусалим собрались?” И до чего ж метко было крикнуто, смеялся Ярослав, только военный глаз может так подметить! Запасные тяготились винтовкой как лишней тяжёлой палкой нацепленной, и новыми твёрдыми сапогами тяготились и, невдогляд офицерам, стягивали их, перекидывали верёвочкой через плечо, а топали босиком. Батальон растягивался на версту, а уж полк не спрашивай, офицеры теряли своих ещё не пригляженных солдат, а из чужих батальонов тянули к себе и пробирали. Между разбродом людей втёсывался обоз, назначенный по той же дороге, и интендантские гурты коров, гонимых на свежую пищу их дивизии.

А 8 августа, на третий день как перешли немецкую границу, было полное солнечное затмение. Об этом был заранее приказ по дивизии и разъясняли офицеры солдатам: что тут ничего особенного, что так бывает, и только надо будет удерживать лошадей. Однако не верили простаки-мужики – и когда стало среди знойного дня темнеть, наступили зловещие красноватые сумерки, с криками заметались птицы, лошади бились и рвались, – солдаты крестились сплошь и гудели: “Не к добру!... Ой, неспроста...” Да если бы поучить, напомнить, боевые стрельбы устроить – ещё в отличных солдат можно было вправить этих запасных. Ярослав же видел по своим, хотя бы по Крамчаткину Ивану Феофановичу, – пятнадцать лет из деревни не вылезал, уже с сединой и, как о нём говорили, старовидный, – но изумлял он Ярослава своей строевой подготовкой, будто с плаца только что, будто ничего другого в жизни не видел, как подходить-отходить, как в чести тянуться с самозабвением: “Рядовой Крамчаткин по вашему приказанию, ваше благородие, явился!” – и в небо торчали усы, и глаза блюдцами, – а вот стрелять совсем не умел (скрывал, случайно узналось).

Великая война, первая война подпоручика Харитонов, начиналась так на каждом шагу, что в училище можно было бы за эти промахи лепить и лепить гауптвахту: всё, как в насмешку, шло в нарушение всех уставов. Как будто в училище, в их подтянутом молодом строе, с едиными быстрыми ружейными приёмами, чёткими рапортами, отрывистыми командами и лихой песней, им нарочно показывали, как никогда в армии не бывает, не будет и не может быть. Отпало всё, чему учили будущих офицеров: никакой разведки, ничего о соседних частях, и приказы удручающе отменяли, целые бригадные колонны останавливали галопирующими всадниками и заворачивали.

Днёвок не было вторую неделю, с утра батальоны подымались чуть свет и к походу бывали готовы в сносное время, однако садились и ждали на изморчивом утреннем солдцегреве, пока привезут из дивизии, из бригады приказ на дневное перемещение, начальство же иногда и до полудня не управлялось (а привозил ординарец приказ: начать марш не позже восьми утра), – зато уж днём батальоны гнали без передыха, навёрстывали. Потом садились вдруг: разобраться с обозами, забившими дорогу, задержать кухни, а пропустить вперёд отставший авангард. Опять гнали. Шли до заката, до сумерек и в сумерки, а то и до середины ночи. Ночами разбирались, кормились, и всё не просто: то в темноте не находили своих квартирьеров, высланных заранее, и не знали, где располагаться; то спорили между собой высшие начальники, где какой части можно ночевать, а части пока топтались да разводили костры, чай кипятили на сучьях, нимало не заботясь, что выдают противнику своё расположение. Тут же и кухни в темноте суетились при керосиновых факелах, при разбросе искр. А то – отбивались кухни, и так бывало, что в полночь ложились спать голодные (офицеры, как и солдаты, зябли на земле в одних шинельках), а к рассвету будили обедать за вчера. И ночи выходили короткие, не хватало сна.

Солдаты спрашивали: “Когда ж бы печёного хлебца, ваше благородие? Сухари вторую неделю, ажио брюхо скребут!” – и не было разумных слов объяснить: почему в Белостоке, где кругом полно было печёного хлеба, их дивизии уже никак нельзя было хлеба получить – не то интендантство; как же так при начале войны, ещё прежде германской границы, ещё ни один снаряд не упал, ни одна пуля не просвистела, – а они восьмой, десятый день получали сухари с лежалым мышинным запахом, давних годов сушки, и соль – перебойно, не в каждом супе, не подвезли.

До Остроленки ещё была одна для всех дорога и перемещения ясные. Но после Остроленки, где не дали им отдохнуть ни дня, они разошлись дивизионными колоннами, после немецкой границы – и бригадными, и тут-то особенно не стало начальство успевать с приказами, а то и путало с ними, какому полку давая вильнуть лишних десять вёрст, – и всё это пропадало, никому наверх не известное, кроме немецких лётчиков, так и летавших ещё с Польши над русскими колоннами (а наши – не летали; говорили, что держат их до важной минуты). После немецкой границы кому доставались твёрдые щебенные дороги – шоссе; но и там от массы сапог и копыт поднимались густые клубы пыли, хрустело на зубах; да те шоссе кончались или не туда поворачивали, или не было их вовсе, а приходилось идти, и повозки тянуть, и орудия – по пыли сплошной, по вязкому песку, всё это в жару, не опадающую ни на день, одним ночным ливнем только и прерванную, и колодцы не везде, по много часов и без воды маршируя. А то наоборот плутали и вязли по болотистым поймам путаных речушек, будто нарочно самыми непроходимыми маршрутами. И не оставалось у лошадей, у солдат, у офицеров другого желанья, понимания и тяги, как – отдохнуть! Знамена давно были скручены и тянулись как лишние дышла, барабаны убраны на телеги, к песням не было команд, роты теряли отсталыми, и только одна мечта их вела, что, может быть, завтра скажут: отдых!

Сгорели с ног.

Но, видно, слишком важный был замысел, чтоб дать им день отдохнуть, – нет! всё с той же поспешностью их слали и гнали – вперёд! Уже по Германии, без единого живого немца.

Штабс-капитан Грохolec, узкоплечий, с фигурой мальчика, а лысоватый, – шутил между офицеров на перекуре:

– Да никакой войны, это – манёвры. Ординарец из штаба армии нас четвёртый день ищет остановить – не найдёт. А мы по ошибке занеслись вот на чужую территорию, теперь Василь Фёдорычу ноту извинения послали.

Василием Фёдорычем все как-то дружно принялись называть Вильгельма, браня. От этого легчало.

От “Хоржелёй”, как все говорили в полку, – после Хоржеле, перейдя границу, с первых саженой неприятельской страны ожидали боя, оружейной или ружейной встречи. Но ни в тот день, ни в следующий, ни в черезследующий они не услышали ни выстрела, не увидели ни солдата немецкого, ни гражданского жителя, ни живности никакой. Где протянуты были проволочные заграждения по полю и покинуты, где окопы начаты на окраине деревни и недокопаны, теперь их закидывали для пропуска пулемётной команды на двуколках и прочих конных, а то в самой деревне через улицу сложена баррикада из возов, из мебели, и всё брошено. (“Плохи же у немцев дела!” – первый раз повеселел постоянно унылый, ноющий подпоручик Козеко). В следующей деревне нашли и прикатали велосипед – и вся рота стянулась его смотреть, многие солдаты отроду и не видели такой диковины. Один унтер показывал, как на нём ездят, а толпа шумела, подбодряла.

Распалённым, бессонным, одурённым головам русских воинов странней всего и была: Германия, да ещё пустая!

Германия оказалась настолько необычная, непохожая страна, как Ярослав не мог себе представить по иллюстрированным изданиям. Не только странные крутые крыши в половину высоты дома, сразу очужавшие весь вид, – но деревни из кирпичных двухэтажных домов! но каменные хлевы! но бетонированные колодцы! но электрическое освещение (оно и в Ростове-то лишь на нескольких улицах)! но электричество, проведенное в хозяйство! но телефоны в крестьянских домах! но в знойный день – чистота от навозного запаха и мух! Нигде ничего недоделанного, просыпанного, кой-как брошенного – не ко встрече же русских наводили прусские крестьяне парадный порядок! Толковали бородачи в их роте и дивились: как же немцы хозяйство так уряжают, что следов работы никаких не видать, только всё уже готовое стоит? как они в такой чистоте поворачиваться могут, тут же кафтана бросить негде? И как при таком богатстве мог покуситься Вильгельм на русскую нашу дрань?... Польшу прошли – страна привычная, распушенная, но с немецкой границы словно струной по земле

ударило: и посевы, и дороги, и постройки – всё другое, как не с земли.

Почтительный страх вызывало одно только это устройство не русское. А то, что оно было опустошено, грозно брошено мёртвой добычей, вызывало жуть: будто наши войска мальчишками-озорниками ворвались в чужой притаившийся дом, и не могла их за то не ждать расплата.

Но где и было бы чем разживиться – проходящим солдатам не выпадало времени шарить по домам. И котомок не хватило бы – уносить добычу. И, на смерть идучи, не наносишься.

Первые жители, которые не ушли, были не немцы, а немецкие поляки, кое-как изъяснявшиеся ломано. Но не доверие вызывали они, а подозрение, и приказано было взводу Козеки произвести на хуторе тщательный обыск. (Отправляясь на эту операцию, сказал Козеко Харитонову: “Кто-то хочет моей смерти. Там в подвале может быть взвод пруссаков засел”.) Сопротивления не встретили, обыскивали тщательно, и нашли: в доме трубу вроде валторны, в сенном сарае – опять велосипед, в бане – два русских ружейных патрона и сапоги со шпорами. Плохо оборачивалось дело поляков: склонялось к тому, что их могут расстрелять. Их отправляли в штаб полка под конвоем, одному было лет пятьдесят, двоим паренькам – по шестнадцать-семнадцать. Проводимые мимо батальона, они молили каждого офицера и унтера: “Подаруйте нам жице!... Подаруйте нам жице!” Но унтер от Козеки, который их вёл, только покрикивал весело: “Шагай-шагай, Москва слезам не верит!” Солдаты стягивались смотреть: “А что? Вот такие и стреляют из засады. На лисапедах вон там, лесными дорожками, такие и разъезжают, про нас сообщают”.

Но проходя мимо первых немецких трупов у дороги – запасники снимали шапки и крестились: “Упокой, Господи!”

Совсем без стрельбы уже не проходило дня. То пролетал над головами немецкий летательный аппарат, – а они летали часто, два раза в день, и все роты принимались усердно в него палить, однако не попадая. (Да ещё, заметил Ярослав, иные запасные палили, закрывая глаза). То видели сами, как из фольварка убежали в лес трое в мирной одежде, стреляли по ним, одного подстрелили. То прискакал казак, что в четырёх верстах отсюда он был из лесу обстрелян кавалерийским разъездом, – и тотчас отрядили полуроту прочёсывать лес. Кляли солдаты того казака, и судьбу свою, ходили прочёсывали, никого не нашли.

Но Козеко одобрял: “Сейчас для нас главная опасность – это пуля сбоку”. Двум подпоручикам не миновать было бесед: ещё от Белостока их свело назначение на соседних взводах в одной роте. С остальными офицерами был Козеко молчалив, батальонного боялся, ротного не любил, а Грохольца избегал, как мог, тот высмеивать был горазд. Всю деятельность своего наблюдения и жажду высказывания вкладывал Козеко в дневник (по отсутствию бумаги – в офицерской полевой книжке), всякую свободную минуту вписывал туда по несколько свежих строк и обязательно время по часам. “Это просто подвиг! – ахал Грохолоц. – Истории полка никто не пишет, вот кончится война – мы приказом заберём ваш дневник в штаб и переплетём в золото”. – “Никто не имеет права! – тревожился Козеко. – Это – дело моей совести. И моя собственность”. – “Нет, подпоручик, это казённая собственность! – вращал глазами Грохолоц. – Бланки полевой книжки принадлежат штабу!!”

Козеко был старше Ярослава по возрасту, он уже два года отслужил офицером до начала войны, – но не мог Ярослав принять его влияния.

– По-моему, на войне ни одного дня так жить нельзя. Мы должны стремиться к победе, а не проклинать войну! И как вообще может великий народ избежать больших войн?

– М-м-м, – тянул Козеко, как от зубной боли, и оглядывался, никто ли их не слышит, – как избежать! Да каждый ловчит! Милошевич, вон, в какую-то командировку устроился, а Никодимов – по закупке скота. Умный человек в батальоне не задержится, не беспокойтесь.

– Тогда я не понимаю, – волновался Ярослав, – зачем с такими взглядами становиться кадровым офицером?

Со сморщенно-несчастливым сожалением Козеко вздыхал над дневником:

– Это – тайна... Вот когда будет у вас ненаглядное солнышко да любимое гнёздышко...



Пусть это непатриотично, но я без жены жить не могу. И потому желаю мира. Я вам скажу: лучше быть не офицером, а конюхом, но подальше от этой войны.

Только добавлял тоски этот Козеко – то умыться ему негде, то нематыми руками кушать нельзя, то на ночь раздеться бы. И без того день ото дня мрачней и безнадежней становилось в батальоне от беспрепятственного наступления. Всегда представлял Ярослав наступающее войско весёлым: мы вперёд идём, мы пленных берём, мы землю занимаем, значит мы сильнее! Для наступления и создают армии, для наступления и воспитывают офицеров. Но удручало это двухнедельное наступление без единого боя, без единого немца, без единого раненого, а по ночам сопровождаемое то справа, то слева тускло-багровыми пятнами неопознанных пожаров. Куда подевались лёгкость и радость, которые не он же один, но кажется все они, кажется и все солдаты испытывали в пути на фронт в побалтывании теплушки, обвеваемые встречным летним ветерком? Ещё Крамчаткин сохранял самоотверженный служацкий вид, не сутулился, и так же глазами ел своего подпоручика, а Вьюшков и лицо воротил, и уже рассказов охотливых из него было не вытянуть. Не только уже песен никто не пел в батальоне, но даже громко крикнуть избегали бородачи, а лишь сказывали друг другу самое надобное, как бы Бога не гнева пустословием лишней раз.

Да и само пространство – стеснялось, сдвигалось, подступали леса. Сперва посылали взводы и полуроты обшаривать их края, потом и полк уже целиком весь втекал, поглощался лесом. Лес был совсем не как наш: ни сухостоя, ни трухлявины, ни покинутого бурелома – только что не подметен, а кучками сложен хворост и чистыми ровными коридорами содержались просеки. По разным направлениям разрезался лес дорогами, и дороги содержались хорошо, где не были сейчас подпорчены.

Хотя полагалось каждому офицеру иметь в планшетке карту местности, но ни одной не было в роте, лишь у Грохольца одна на батальон, и то спечатанная с немецкой, неясные надписи и не подробная. Ярослав, как никто из взводных, вился около Грохольца, ловя всякий добрый момент заглянуть к нему в карту. А то ведь сожжены были немцами все указатели, и из уст офицерских в уста неточно передавались, неточно визнавались названия деревень: вот Саддек прошли, вот Кальтенборн, ночуем в Омудеффе. А весь этот лес с десятисаженными соснами назывался Грюнфлиссский.

С половины дня 10 августа по всему лесу слышался слева, с запада, зык артиллерийской стрельбы вёрст за пятнадцать – настоящей упорной стрельбы, первый бой! Но, не обращая на то внимания, полки 13-го корпуса шли и шли себе по лесу на север – туда, где тихо, и не встречая никого. И заночевали в Омудеффе.

На другое утро, ещё в тумане поднявшись и первый раз не получив даже сухарей, затеяли, как всегда, долгое построение и равнение полковой и даже бригадной колонной, с артиллерией и повозками на своих местах. Строились идти из Омудеффена опять же на север, надо было обходить ширококрылое озеро Омудёв.

Уже долго строились, и прочли обычную молитву перед выступлением, и готовы были двигаться, уже нарастала позднеутренняя растомляющая жара – как прискакал ординарец из штаба дивизии и передал командиру бригады пакет. И тотчас командир бригады вызвал командиров полков и началось на дорожной тесноте поворачивание и перемешивание Нарвского и Копорского полков: не сразу двигаться, не на месте кругом, а обязательно сохранить построение упорядоченной бригадной колонной, но головой теперь на запад, на другую улицу. Уже в полную силу палило августовское солнце, и забывался рассветный завтрак, не поддержанный сухарями, когда полки тронулись новым направлением, а версты через две попали в затылок Софийскому полку, который туда же шёл. Ещё вскоре увидели на просеке на коне лихого полковника Первушина, всем известного командира Невского полка. Значит, вся дивизия. Вытянулись главной долгой лесной дорогой между колоннами мачтовых сосен сперва через Кальтенборн, как вчера пришли, а потом – на запад, на Грюнфлисс. Впереди же их опять погромыхивало, но не так громко, как вчера, – потому ли, что в жару слышно хуже, потому ли, что стихало. Идти на стрельбу – бодрей, подобралось:

лучше верное дело впереди, чем эта пустота. (Козеко: “Дай Бог, до нашего подхода кончится.”)

Был перекресток лесных дорог, с растолоченным песком и ещё с подъёмом, где надо было поворачивать, – и артиллерийские упряжки, тоже истощённые, недокормленные, не могли в том месте вытянуть, зажирали колёса, не хватало сил и прислуги, – и на помощь их фельдфебелю, весёлому шароголовому, позвал Ярослав своих, и вытолкнули ему два орудия, а на остальные всё равно пришлось фельдфебелю перепрягать вместо шести лошадей по восемь – опять задержка всей колонны.

Шли и шли, а стрельба впереди совсем прекратилась, как накаркал Козеко. И пройдя с утра вёрст пятнадцать, уже спадало солнце от полудня, вся колонна остановилась – прямо на дороге, так из лесу и не выйдя, и в тени разлеглась по приволью.

Озабоченные верховые проскакивали целый час вперёд-назад. Не только до солдат, но и до младших офицеров ничего не доходило. Затем полковой командир собрал старших офицеров – и начался новый скрип, возня, суета, захлёстывание упряжных лошадей, – поворот всей дивизионной колонны – назад, откуда пришли.

Занывали желудки, палили подошвы, упало солнце за лес, и было доброе время разбивать бивак, варить обед. Но нет, снова через тот перекресток и через весь тот лес всё те же вёрсты отмеривала их дивизия назад.

И помрачнели переодетые богомольцы и загудели, что всюду немцы командуют, что немцы и заматывают нас на погибель, так доводят и выморят, даже и без боя.

Не остановились при закате желта солнышка, пророчащего и на завтра такую же ясень, пыль и жару. Не остановились и в сумерки, а все вёрсты отложили честно назад, и в звёздной темноте воротились в ту самую деревню Омудефен, и на тех же местах разжигали кухни, да только кашу заваривали после полуночи, а спали перед петухами.

Подымались свинцовые и, через нехоть, глотали уже утреннюю кашу, чтоб опять целый день её не видать. Привезли, правда, за два дня сухари. Разбирались, вытягивались и строились на вчерашний северный выход из Омудеффена. И ворчали, предсказывали солдаты, что опять повернут. Невыспанный Ярослав сам себя и других бодрил: “Ну уж нет! Уж сегодня – нет!”

Но – как заколдовали предсказатели: стояла колонна, не спала, не отдыхала и вперёд не трогалась. И дождавшись, когда солнце стало крепче палить и размаривать, – невидимые штабные немцы (иначе уж и Ярослав не мог бы объяснить!) скомандовали: опять всюю колонною поворачивать и выстраиваться по ещё третьей дороге, выходящей из деревни, между той и этой – средней.

И снова перестраивались полный час.

Тронулись. Такой же был день жаркий. Так же вязли и ноги и колёса в песке. Да глуше и хуже была дорога, а маленькие мостики на ней взорваны, и вся русская силушка уходила на объезд и обтаск, на то, чтоб из вязкого места вытащиться снова на круть, на дорожную насыпь. Ещё новинка была: колодцы, близкие к дороге, немцы засыпали землёй, мусором, обрезками тёса, и взять воды было не где как в большом озере, а к нему и не подобрёшься – топко.

Сегодня ниоткуда уже не доносилось стрельбы. Нигде не видно было немца – ни военного, ни мирного, ни старика, ни бабы. Да и наша вся армия задевалась куда-то, никого не осталось, кроме их дивизии, гонимой по затерянной, пустынной дороге. И не было казаков, хоть вперёд съездить посмотреть, что там.

И последний неграмотный солдат понимал, что начальство закрутилось.

Шёл четырнадцатый день непрерывного марша их, 12-е августа.

\*\*\*

Как и день идёшь, как и ночь бредёшь,

Крест да ладанку на груди несёшь.  
А в груди таишь рану жгучую:  
Не избыть судьбу неминучую.

## 15

В Найденбурге, маленьком городке, так мало отнявшем у полей, так много настроившем камня, – это была не единственная площадь, площадушка. Три улицы с неё вели, и несколько было углов. На одном изломе двухэтажный дом с разбитыми стёклами магазинных окон первого этажа и венецианских второго – дымил изнутри, а ещё гуще что-то дымило во дворе.

Полувзвод солдат, не очень из сил выбиваясь, гасил дым. Из-за угла они таскали воду вёдрами, вносили в ворота (там слышался крихт отдираемых досок и стук топоров), а другие передавали ручную цепью по наложенному трапу через подоконник первого этажа.

Вся работа их была на солнце, солдаты сбросили верхние рубахи, часто снимали фуражки, вытирали лбы.

Оттого и не торопились, что было знойно, а пожара прямого нет, хотя дым всё валил. Не было и бодрых криков, гула возбуждения, а многие разговаривали о своём, на ходу рассказывали, кто-то и сметное, пересмеивались.

Со всем этим справлялся унтер, а прапорщик с университетским значком, с очень энергичным, чуть запрокинутым лицом, а движениями вялыми, дела не имел, заботы не выражал. Постояв и походив по мелкому, ровному, скользкому, змейночешуйчатому камню площади, он выбрал себе глубокую тень на каменном крыльце напротив, где в обхват колонны привязана была простыня с красным крестом, а перед домом стояла аптечная двуколка без кучера, лошадь вздрагивала иногда.

Как раз вышел на крыльцо, потирая одуревшую голову и продыхая глубоко, черноусый чернобровый врач, в халате. Стал дышать – и стал зевать, в зевоте то отклоняясь, то наклоняясь. Тут увидел досочку на каменной неполированной ступеньке – и сразу же сел, ноги ещё спустя по ступенькам, руками назад оперся, и так бы и лёг, так бы и откинулся.

Сегодня стрельбы не слышалось, ушла, и весь шум был только от солдат, вся война – в полотнище красного креста, да в немецких высокобоких зданиях, не нашего облика и лишённых жителей.

Прапорщику некуда было иначе и сесть, как на те же ступеньки, только ниже. Решительные черты были прозначены в его лице, даже не по возрасту, а военная форма на нём – мешковата, а выражение, с каким он глядел на своих солдат, не вмешиваясь, – скучающее.

Солдаты таскали воду.

Дымило, но по безветрию всё вверх, сюда не несло.

Врач отдышался, отзевался, поглядел, как тушат, скопился на соседа.

– Прапорщик, не сидите на камне. Вот тут доска.

– Да тёплый.

– Нисколько не тёплый, застудите нерв.

– Подумаешь, нерв! Тут с головой неизвестно.

– А нерв – сам по себе, это вы не болели. Идите, идите.

Прапорщик нехотя поднялся, пересел рядом с врачом. Врач был статный, гладкий мужчина, усы пушистые, и мягкой шёрсткой, как чёрной тенью, баки по всей дуге, а вид – замученный.

– А с вами что?

– А... оперировал. Вчера. Ночь вот. И утро.

– Столько раненых??

– А как вы думали? Ещё и немцы, кроме наших. Всех видов ранения... Шрапнельная рана живота с выпадением желудка, кишок, сальника, а больной в полном сознании, ещё

несколько часов живёт, и просит, чтоб мы ему непременно смазали, смазали в животе... Сквозное в черепе, часть мозга вывалилась... По характеру ранений – бой был не лёгкий.

– Разве по характеру ранений можно судить о бое?

– Конечно. Перевес полостных – значит, бой серьёзный.

– Но теперь-то кончились?

– А сколько было!

– Так – спать идите.

– Вот успокоюсь. От работы напряжение, – зевнул врач. – Расслабиться.

– Всё-таки – действует?

– Да ничего не действует, а – расслабиться. На смерть, на раны не реагируешь, иначе б не работа. У него глаза раскрыты, как плоски, одно спрашивает – будет ли жив, а ты холодно себе пульс считаешь, соображаешь план операции... Если был бы хороший транспорт, некоторых полостных ещё можно бы спасти: оперировать надо в тылу. А у нас какой транспорт? – две линейки да одна фурманка. Немцы свои подводы с лошадьми угоняют. Да и куда везти? за Нарев? Сто вёрст, десять по шоссе, а девяносто по российским дорогам, душегубство. А немцы на автомобилях отправляют, через час – в лучшей операционной.

Прапорщик построжел, посмотрел на врача.

– А изменись обстановка вот сейчас? – отступить? – сетовал тот. – Совершенно не на чем. Со всем лазаретом достанемся немцам... А наступать – так за нами забота трупы хоронить. Ведь там по полю лежат – жара, разлагаются.

– Чем хуже, тем лучше, – сурово сказал прапорщик.

– Как? – не понял врач.

Засветилось в глазах, только что лениво-безразличных:

– Частные случаи так называемого милосердия только затемняют и отдалают общее решение вопроса. В этой войне, и вообще с Россией – чем хуже, тем лучше!

Бровные щётки врача в недоумении поднялись и держались:

– Как же?... Раненых – пусть трясёт, донимает жар, бред, заражение?... Наши солдаты пусть страдают и гибнут – и это лучше?

Всё строже, заинтересованней становилось энергичное умное лицо прапорщика:

– Надо иметь точку зрения *обобщающую*, если не хотите попасть впросак. Мало ли кто на Руси страдал, страдает! К страданиям рабочих и крестьян пусть добавляются страдания раненых. Безобразия в деле раненых – тоже хорошо. Ближе конец. Чем хуже, тем лучше!

Оттого что прапорщик держал голову чуть запрокинутой, он как будто имел в виду не только единичного этого собеседника, а оглядывал нескольких: “у кого ещё вопросы?”

Врачу и спать перехотелось, всеми глазами он смотрел на уверенного прапорщика.

– Так тогда – и не оперировать? И повязок не накладывать? Чем больше умрёт – тем ближе освобождение? Вот с вашим черниговским знаменщиком мы сейчас... Повреждение крупных сосудов. Да полсуток на нейтральной пролежал, пока вынесли. Нитевидный пульс. Так зачем мы с ним возимся, да? Так я понял обобщающую мысль?

Коричневым огнём жгнули глаза прапорщика:

– А зачем они поперли как бараны за нашим полковым, за мракобесом? Развёрнутое зна-амя!! – и обсююкивает теперь весь полк. Нашли за что драться – за тряпку! Потом уже – за одну палку. Навалили кучу трупов, это что! Играют нами как оловянными!

Но хирург был в тупике:

– Вы, простите, вы ведь не кадровый, вы – кто?

Прапорщик пожал узкими плечами:

– Какое это имеет значение? Гражданин.

– Нет, но по специальности?

– Юрист, если так вам нужно.

– Ах, юри-ист! – понял врач, и покивал, покивал, что так он и думал или мог бы

догадаться. – Юри-ист...

– А что вам не нравится? – насторожился прапорщик.

– Да вот именно то. Юрист. Юристов у нас развелось, простите, как нерезанных собак.

– Если страна насквозь беззаконная, так ещё очень мало!

– Юристы – в судах, юристы – в Думе, – не слышал врач, – юристы в партиях, юристы в печати, юристы на митингах, юристы брошюры пишут... – растопырил он большие руки. – А спросить вас, – что это за образование – юрист?

– Высшее. Петербургский университет, – ледяно-любезно пояснил прапорщик.

– Ерундический факультет? Да какое там к чертям высшее! Десять учебничков вызубрить да сдать – вот и вся ваша... образование. Знал я студентов-юристов: все четыре года баклуши околачивали, листовки, конференции, будоражить...

– Так **низко** говорить интеллигенту! – предупредил прапорщик, темнея. – Подумайте, на чью мельницу... Порядочный человек должен сочувствовать левым.

Это верно. Врач почувствовал, что переступил меру, но и прапорщик его ж допёк.

– Я хочу сказать, – исправился врач, – поучились бы вы на медицинском или на инженерном, вы бы узнали, почём каждый экзамен. А с положительными знаниями рук тоже не сложишь – надо работать. России нужны работники, делатели.

– Как не стыдно! – всё с тем же горячим укором смотрел прапорщик. – Ещё эту гнусность достраивать! Ломать её нужно без сожаления! Открывать дорогу к свету!

Достраивать? – врач, кажется, так не говорил, он говорил: лечить.

– Да вы сами не медицинскую ли Академию кончили? – торопился допросить горячеглазый прапорщик.

– Академию.

– В каком году?

– В Девятом.

– Та-ак, – соображал быстро прапорщик, и прямой длинный нос его подрагивал в ноздрях. – Значит, в кризис Академии, в Пятом году, вы были уволены – и сдались, и подали верноподданное заявление?

Затмился врач, поморщился, концы усов вниз отогнул, но они сами вверх выторгнули:

– Как это у вас сразу топориком: верноподданное... А если ты хочешь быть военным врачом, а Академия в стране одна? И хоть бы раздемократическое правительство – в своей военной Академии оно может рассчитывать, что не будет антивоенных митингов? По-моему, это справедливо.

– И ношение формы? И студенты козыряют, как младшие чины?

– В Военной Академии? – ничего страшного.

– Сол-датчина! – всплеснул прапорщик. – Вот так мы всё уступаем, а потом удивляемся...

– А потом – раненых лечим! – сердился уже и врач. – Раненых вы мне оставьте! Солдатчина!... Смотрите, завтра сами явитесь. С раздробленным плечом.

Прапорщик усмехнулся. Совсем он не был зол, а юноша искренний, с убеждённою лучших русских студентов:

– Да кто же против гуманности!? Лечите на здоровье! Это можно рассматривать как взаимопомощь. Но не надо теоретических оправданий этой пакостной войны!

– А я – нисколько... Я разве...?

– “Освободительная”!... Чем-то надо заинтересовать. “На выручку братьям-сербам”! – сербов пожалели! А сами по всем окраинам душим – этих не жалеем!

– Но всё-таки Германия на нас... – терялся врач перед уверенной молодостью, как принято в России теряться.

– Если хотите, очень, жаль, что Наполеон не побил нас в Восемьсот Двенадцатом, – всё равно б не надолго, а свобода была бы!

Накатывал, накатывал юрист, переодетый в гадкую военную форму, да мысли отдуманые, так сразу не поспоришь. И, всё больше идя на примирение, посочувствовал

врач:

– И как же вас мобилизовали? – ни льгот, ни отсрочки?

– Вот так, застрял... Напра... отставить, нале... отставить, ноги на-пле... отставить, кругом, бегом! Сдал экзамен на прапорщика запаса.

– Ну, будем знакомы, – врач протянул крупную, мягкую, сильную кисть: – Федонин.

И получил в неё узкие костистые четыре пальца юриста:

– Ленартович.

– Ленартович? Ленартович... Подождите, я эту фамилию в Петербурге где-то слышал. Мог я слышать?

– В зависимости от круга ваших интересов, – сдержанно отвечал Ленартович. – Мой родной дядя был известен в революционных кругах. И казнён.

– А-а, верно-верно! – соглашался врач, тем более виновато, тем более с уважением, что так и осталось у него в голове смутно, побалтываясь: то ли удачный выстрел, то ли невзорванная бомба, то ли военно-морской мятеж. – Да, да, верно, верно... У вас фамилия – отчасти немецкая, да?

– Да был какой-то мой предок, тоже кстати военный врач, при Петре. Потом обрусели.

– И кто ж у вас в Петербурге?

– Родители умерли. Сестра, бестужевка. Как раз сегодня пришло от неё письмо – и что же? Написано на четвёртый день войны, 23-го июля, – а сегодня какое? 12-е августа? Это что? – это почта? На волах? Или в чёрном кабинете моют? – И всё более горячился. – Так и газеты: за 1-е августа! и это почта? Как же жить? Что в России? что в Германии? что в Европе? Нич-чего не известно! Вот видим одно: Найденбург взят, можно сказать, без боя, однако мы его зачем-то бомбардировали, подожгли, а теперь туши, русские Иваны ведра носи...

– Ну, тут и немцы поджигали...

– Крупные магазины – немцы, а окраины – казаки. Ладно. А на австрийском фронте ничего не знают о нас. А мы ничего не знаем про австрийский, – так можно воевать? Слухи, слухи! Проехал кавалерист, шепнул что-то – вот наши и новости! Кто уважает Действующую армию? Нас – презирают! А вы – Россия, Германия! Солдаты выбили двери в оставленных квартирах, что-то там понесли – так это позор христолюбивого воинства, за это карай, гауптвахта. А подполковник Адамантов набрал серебряных молочников да кувшинчиков – это ничего, это можно. Вот ваша Россия!

Но если б не было этой мерзкой войны – не накинули бы девушки такой белизны, не натягивали бы на лоб, к самым бровям, так строго, чисто, ново. Неведомая, неназванная, неизвестного образования, состояния и цвета волос, в непоказанном платье вышла на порог сестра милосердия.

– Что, Таня?

– Валерьян Акимыч, челюстной беспокоен. Вы не подойдёте?

И – не было тут спора, никто не сидел на ступеньках. Вздохнул врач, ушёл, по праву уводя за собой и лебедино-белую сестру, лишь мельком прошлись по Ленартовичу её печальные потухлые глаза.

Тоже, конечно, и эти халаты, косыночки – игрушки для обеспеченных, опиум для солдатской массы.

И верховой подполковник, вдруг выпятившись на площадь на беспокойном коне, тоже по праву закричал, заревел громогласно:

– Кто-о здесь старший?

Солдаты – быстрее, быстрее с ведрами, а Ленартович умеренно быстро, стараясь достоинства не терять, сбежал со ступенек, пересек площадь, и не очень вытягиваясь, но всё-таки подбираясь, и руку к козырьку, хоть и криво:

– Прапорщик Ленартович, 29-го Черниговского полка!

– Это вас оставили пожары тушить?

– Да. То есть: так точно.

– Так у вас тут что, прапорщик, святочный базар? Сюда Штаб армии едет, через два дома станет, – а вы третий день тушите не потушите? Это кур смешить – ведрами таскать из такой дали, неужели не можете насоса найти?

– Откуда насос, господин подполковник, у нас в батальоне его...

– Так надо ж немного и мозгами шевелить, это вам не университет!!! Что ж вы людей изматываете? Ступайте за мной, я вам и насос покажу, и шланг, надо ж было по сараям пошарить!

И, выступая на знатном коне, подполковник отправился, как триумфатор.

И Ленартович побрёл за ним, как пленник.

## 16

Полные сутки и ещё ночь добирался Воротынцев до Сольдау. Он мог бы быстрее, он унтера вскоре отправил назад, был налегке, но не хотел изматывать жеребца, не зная, как тот ещё понадобится впереди. На поеном и кормленном он приехал в Сольдау 13-го, утренними часами, ещё до жары.

Сольдау, как и все немецкие городки, не занимал лишнего плодородного места, не опаршивел мёртвым кругом свалок, пустырей и окраин, – но сразу, по какой дороге ни въехать, сомкнуто стояли кирпично-черепичные, даже трёх-четырёхэтажные дома, на полвысоты подобранные под крыши. В таких городках улицы, аккуратные, как коридоры, сплошь мощены ровными гладкими камнями или плитами, каждый дом чем-то особен – тот окнами, тот шпилями. В таких городках на малом пространстве умещается ратуша, церковь, игрушечные площади, кому-нибудь памятник, да не один, все виды магазинов, пивные, почта, банк, а то за узорными решётками и игрушечный парк, – и так же внезапно обрываются улицы, город, и едва шагнуть от крайнего дома – уже потянулось обсаженное шоссе и рассчитанные расчерченные поля.

Сольдау был вовсе покинут жителями, не переполнен и нашими частями. Около магазинов и складов в иных местах выставлены часовые – мера правильная (миновались и разгромленных два). Воротынцев разглядывал город и отдался чувству розыска, оно не должно было обмануть, хотя б и проехать лишнего – не спрашивал встречных о штабе корпуса. Близ малого особнячка, однако с железной решёткой, садиком, фонтаном и двумя колоннами у крыльца, он увидел автомобиль, “русско-балтийскую карету”. На штаб это не было похоже: безлюдно. Но по автомобилю подумал Воротынцев, не тот ли здесь человек, которого и надо раньше штаба.

Он соскочил – и всю усталость почувствовал в спине. Рядом с автомобилем привязал коня, чембуром за дерево, шинель оставил при седле – никто на него внимания не обращал. И, косолапо разминая ноги, толкнул решётчатую калитку. Подалась. Вошёл.

В круге фонтана ещё было сыро от недавно утекшей воды. Неповреждённые цветы ещё ровно держались на маленьких высохших клумбах. Обогнув куст у фонтана, только тут заметил Воротынцев сбочь крыльца на каменной скамье со звериными подлокотниками – пожилого грузного офицера, черно-небритого, не очень и расчёсанного, с недовольным видом курящего самокрутку, козью ножку. От пояса вниз на нём было офицерское, шаровары казачьи, с лампасами жёлтыми забайкальскими, а наверх простая нижняя сорочка, так что чина нельзя было понять, но лицом и фигурой на штаб-офицера он тянул. И мало пошевелился при подходе полковника.

Не отдавая чести по форме, но к фуражке два пальца несколько приблизив, Воротынцев спросил:

– Скажите, не полковник ли Крымов здесь остановился?

– У-гм, – ещё недовольней кивнул небритый офицер, не шевелясь.

– Это вы?

– Я.

Опять не уставно и без чина – дремлющий Крымов так наводил, приезжий протянул

вперёд, как швырнул, правую руку открытой ладонью:

– Воротынцев. Я к вам.

Крымов приподнялся совсем немного, без чего было б вовсе невежливо, и даже по грузности меньше того, круглой жёсткой рукой отметился в рукопожатии, отобрал руку и показал с собою рядом на скамью. И – курил, не проявляя любопытства узнать что-нибудь дальше, хотя полковники генштаба не по каждой улице Сольдау мелькали.

Только и времени, что Воротынцев садился на скамью да лоб отёр, а уже охватил, как с Крымовым разговаривать: слов поменьше, чинов поменьше, и охватил, что сам он Крымову ещё не нравится, но дело у них сейчас пойдёт:

– Я к вам от Алексан Васильича. Он мне про вас...

– Догадываюсь.

Всё-таки изумился Воротынцев:

– Откуда ж...?

Чуть кивнул Крымов туда, за фонтан:

– Жеребца знаю. Я на нём прошлую неделю... Как вы его довели?

Теперь Воротынцев рассмеялся:

– Не я его! Он – меня.

Крымов сбылчился, недоверчиво:

– В седле? Из Остроленки?

Воротынцев гмыкнул, ничего мол особенного. (Однако крестец ломило, и спина плохо гнулась).

Подобрил Крымов, но глаза ещё маленькие:

– Ни-че-го. А что ж не поездом?

– В поезде – какая война? – весело возразил Воротынцев, но по легчайшему движению тяжёлой головы перехватил, что вопрос был не так о всаднике – о коне. – Нет, не выбился. И кормил близко.

– Это верно, – уже крупнее кивнул Крымов. – В поезде – не война. Но удобно. – Вытянул из кармана клеёный портсигар: – Листовой, даурский. Добрый табак.

– Я – бросил.

– Зря, – не одобрил Крымов бровями. – Без табака тоже не война. Но не вчера же?

– Да уж года два.

– Из Остроленки, – поправил Крымов.

– А-а... третьего дня вечером.

Моргнул Крымов, утвердил.

– И что ж Александр Васильич? Донесения мои получает?

– Не говорил.

– Три штуки ему послал. Четвёртое собираюсь. А – вы?

– Я... – всё-таки не схватил ещё Воротынцев сокращённую манеру этого бурбона с сонной распушенной физиономией. – Я... – догадался: – Из Ставки.

Худшая рекомендация: значит, проверять, копать, чужой, чего явился, фазан удачливый? Опять Крымов потемнел:

– Ладно, умываться да завтракать. Я тоже только встал, ночью вернулся. Проснулся вот – и думаю...

– Откуда?

– А-а... Из кавалерийской, от Штемпеля.

– Слушайте, эти две кавалерийские дивизии тут есть или нет? – охотно перебросился Воротынцев. – Что с них толку? Чем они заняты?

– Чем заняты! – траву щиплют. Любомиров вчера горячий бой имел. Брал город. Не взял.

Ну нет, и Воротынцева так не собьёшь:

– У армии – три кавалерийских дивизии, а перед фронтом – ни одной. Наступает вслепую, никакой разведки. У Ключева – даже нет конного полка. У Мартоса казаки – с



варшавских улиц, что за разведка? Почему вся конница по бокам?

Ну, и Крымова не собьёшь:

– Почему, почему. Так само сложилось. Думали левым крылом загребать, окружать. А чем прикажете окружать?

Вошли внутрь. В хорошем петербургском доме могла быть такая мебель приглушённого блеска, бронза, мрамор, как здесь, в худеньком Сольдау. Немного, однако, и потрошено: на пол рассыпаны кружева, ленты, булавки с кораллами, гребни, так и не подобрано.

Во всём доме Крымов был с одним казаком, выскочившим из кухни на зычный оклик: “Евстафий!”

Да они уж до кухни и дошли. Евстафий был не молод, высок, но шибко подвижен, очень заинтересованный во множестве фарфоровых, жестяных и деревянных бочоночков и коробок с припасами, с непонятными надписями. Управлялся он и завтрак готовить и нюхать, пробовать все бочоночки сподряд, головой крутя.

Распорядился Крымов, что завтрак – на двоих, и показал Воротынцеву ванную комнату с мрамором и зеркалом. Действовал водопровод! Развешано было женское и мужское, ещё такое мирное, оставленное дня два назад.

– А пожалуй, я и побреюсь! – решил Воротынцев.

Естественно было ему закрыть за собой дверь ванной, но он не сделал так, а снял с оружием пояс, проворно скинул китель, остался, как и хозяин, в нижней сорочке.

И тогда Крымов, вместо того, чтоб уйти, вступил, сел на край ванны и засмолил новую кривую цыгарку (наворачивать её было одно его быстрое движение).

Евстафий принёс кипятку. Воротынцев, управляясь безопасной бритвой, разъяснял Крымову, хотя тот ни слова не спрашивал, свою командировку, и как вышло, что он поехал сюда, в 1-й корпус. Однако видит теперь, что, кажется, ехал лишним.

Он ещё не думал так вполне, как сказал, – но с огорчением склонился к этому. Ещё на скамье со звериными головами не думал так – а вот здесь, бреясь. Когда предупредили его в штабе армии, что на левом фланге уже есть Крымов, было колебание и надо было послушаться, поехать не сюда, а на правый фланг, к Благовещенскому. Новилась в Воротынцеве эта несчастная черта – слишком быстрых горячих решений, а потом от них не отступить вовремя. Ещё до Остроленки он наметил, что поедет непременно в 1-й корпус, ибо здесь-то видел весь ключ к операции.

А теперь уже не поможет ни конь, ни поезд – нужны крылья на лопатках, чтоб в один час перелететь к Благовещенскому.

Крымов ему всё больше казался положительным, даже в том положительным, что вот не спешил одеваться, прикрываться погонями, а всё так же в сорочке сидел на краю ванной и пфукал дымом. Что можно тут сделать, при 1-м корпусе, этот обломай сделает и без Воротынцева.

Крымов послушал-послушал гостя, опять попростел:

– Конечно, лишним, – сказал он. – И я тут лишний. Этот святой моляка и командующего армией не признаёт. Он знает, что его корпус сам Верховный бережёт, и надеется: гвардейский от нас изъяли, и его изымут. Он сюда через Вильну ехал, в кафедральном соборе так объявил: “Ничего не бойтесь! Я еду воевать!” Будет стоять как в магазине на витрине, а там, смотришь, война кончится, уже призы раздают.

Осунулся Крымов, ноги свесил, и ванна под ним была как лодка без вёсел, без шеста.

Но именно эта косность его и невесёлый смысл слов возвратили Воротынцеву уверенность:

– Так вот, будем сейчас Артамонова брать на испуг. Я ему привёз письменный приказ от Самсонова. Если брыкнёт – тогда по телефону снесёмся со Ставкой. Верней – не прямо по команде, а там есть понимающий человек, он дальше что сможет. Тут надо и Янушкевича обойти, и Данилова, и к великому князю в удобную минуту... В Ставке тоже ни единства, ни ясности. Уж они 1-й корпус как будто восьмого числа передачи Самсонову – а вот приказа

нет? Опять кто-то мотает. Бессмысленная вещь: в самом остром углу, на переднем краю стоит корпус, никому не подчинённый! Но впрочем, я вижу – Артамонов действует? – и Сольдау занял и дальше продвинулся?

– А чего продвинулся? Да я тоже побреюсь, всё равно уж... Чего продвинулся? Он – врун собачий! – вдруг побурел, рассердился Крымов, до зеркала вразвалку и оттуда оборотясь, а Воротынцев сел на дамский стулик. – Он писал в штаб армии, что в Сольдау будто стоит немецкая дивизия. Это он без разведки, без языка узнал, якобы какой-то телефонный провод перехватили! – тряс Крымов станочком бритвы. – А сам брехал для того только, чтоб не атаковать города. А оказалось в Сольдау два ландверных полка, и сами они ушли. Хочешь не хочешь, пришлось город занимать. Так опять же сбrehал! – снова разгорячился, уже пышно намыленный. – Теперь он доносит, что немцы потому бросили Найденбург, что он, Артамонов, взял Сольдау.

– А Уздау?

– А Уздау кавалерийская дивизия взяла, не он. А ему пришлось, бедняге, опять продвигаться.

– Вот как... Никогда я Артамонова не видел.

– Да кто его видел? Его и Александр Васильевич не видел. Он генералом-то стал и оружие золотое – за голопузых китайцев. Как и Кондратович...

– Кондратовича вы сейчас не встречали?

– Да где! По тылам корпус собирает, и рад. Трус известный.

– А кого эти дни видели?

– Мартоса видел.

– Вот отличный генерал!

– Чего отличный! Сам на ниточках дёргается и своих штабных задёргал.

– Нет, на редкость отчётливый. А как Благовещенский по-вашему?

– Мешок с дерьмом. Да жидким, протекает. А Клюев – тёха-пантёха, не военный человек.

– А начальник штаба здесь, в 1-м, какой?

– Полный остолоп, нечего с ним и разговаривать.

Воротынцев не додержался, рассмеялся.

Пошли завтракать. Евстафий поставил и водки графинчик, Крымов уверенно налил обоим, не спрашивая.

Но Воротынцев отклонил, рискуя разладить откровенный разговор: он не умел пить прежде дела, это была в нём черта не русская. Он пил только, когда уже всё хорошо, облажено, удачно. Да и не утром.

Крымов кулаком рюмку обнял:

– Офицер должен быть смел перед врагом. Перед начальством. И перед водкой. Без этих трёх – нет офицера.

Выпил один. Насупился. Но об Артамонове всё-таки досказывал. Действительно, в 1-м корпусе не хватает двух полков, так ведь и у всех чего-то не хватает, все некомплектны. Но Артамонов вывел из того, что и вообще воевать не может. Очень гладко болтает, “на наступление я отвечу наступлением”! А главное – врун! Что со вруном делать? Морду набить? На дуэль вызвать? Оттого-то Крымов и ездил к Мартосу, договорился: оттуда взять колонну и наступать на Сольдау с востока. И Мартос – нашёл. Но тут немцы сами Сольдау бросили.

Воротынцев опять кавалерию зацепил: не так используется, сведена на обеспечение да на фланги. Главное, все генералы: Жилинский – от кавалерии, Орановский – от кавалерии, Ренненкампф – от кавалерии, Самсонов – от кавалерии...

– Самсонова – не трогать! – приказал Крымов. – И о кавалерии, не понимая, не рассуждать! Был приказ – отрезать немцев от Вислы. А теперь – конечно уже не переведёшь.

Выпил сам вторую смаху и сердито объяснял, что кавалерия – хорошая, и бои ведёт серьёзные, и потери большие. Скачи на каменные здания да на самокатчиков! А вот – не

слаживается. Районы ей меняют, направления переменяют, по три раза через одну речку переправляться, задачи – незахватные, где-то в тылу железнодорожные узлы разваливать, потом не надо...

Но Воротынцев своё:

– Вот, вот! Не умеем мы конницы использовать. А у Ренненкампа? А что Хан Нахичеванский, знаете?

– А что? – готовно насторожился Крымов.

И последнее, что из Ставки вёз в голове, чем неуместно было расстраивать Самсонова, сейчас тут рассказал. Про позор Хана, про Каушен... Да чтоб и этот не задавался с конницей.

– ... С такими потерями, хоть взяла кавалерия переправы через Инстер. Но на ночь – Хан увёл свою кавалерию на восток для спокойного ночлега. И те переправы тоже отдал.

Крымов супился, как будто его оскорбили.

Но и это не всё. Воротынцев ещё додавал:

– А у немцев – всего одна конная дивизия...

– Да конные полки при корпусах.

– То – другое. И этой одной дивизии Хан не мог рядом с собой просвет закрыть, и она – рядом с ним! – в сталупененском бою, 4-го августа, обошла 20-й корпус сзади, растрепала пехотную дивизию – и так же благополучно ушла.

– Сноб гвардейский! – налился Крымов. – Удушить!

– Для чего ж и конница, если не для таких боёв? Когда ж ей и рейды делать! У Ренненкампа пять кавалерийских, у Самсонова три – да котлету из Восточной Пруссии можно было сделать! А у нас кавалерия жмётся к линии пехоты. Ренненкамф после Гумбинена не только не преследовал, но не знает, куда немецкие корпуса подевались. Доложил, что корпус Франсуа разбит, а Макензена потрёпан, – что-то мало правдоподобно.

– Но – побил их?

– Я не уверен. Я из Ставки уехал на том, что ничего не понятно: куда корпуса делись?

Нет, русского обряда не обойти – начиная с третьей пришлось пить вместе. Что с Крымовым их объединяло, то поняли они друг во друге: что в этой кампании не для себя лично искали.

От кавалерии – к артиллерии, тоже не обойти.

– Это мы в японскую поняли, что будущая война вся будет огнём решаться, что нужна тяжёлая артиллерия, нужно гаубиц много, а сделали – немцы, не мы. У нас на корпус 108 орудий, у них – 160, и каких? Потому что у нас на армию всегда “крайний недостаток средств”, на армию денег нет. Они хотят победы и славы, не потратясь.

– Да Дума деньги вроде предлагала, – неожиданно подал Крымов, хотя от него такое не ждалось. – И обвиняла военное министерство, что это оно мало требует средств.

Да может и так, за всей газетной болтовнёй не уследишь. Но этой весной читал Воротынцев и так:

– Дума голосовала против военного бюджета и против большой программы. Есть у них такой... Ш... Шингарёв – он выступал: милитаризация бюджета? а за миллионами потом пойдут миллиарды?... Пожил бы на офицерское жалованье.

Ну, Крымов – читатель не слишком напряжённый:

– Может и так. У Думы семь пятниц.

– Нет, программу Дума приняла, но – против кадетов. Да ведь считается, что дух войска решает всё, – и Суворов так считал, и Драгомиров... и Толстой... Зачем же на оружие тратиться?... А что в крепостях стоит? – чуть не единороги! есть на чёрном порохе стреляют!

Никакого значения и действия не имело – доказывать это всё Крымову. Но были вопросы, где не мог Воротынцев остановиться. Да с этой водкой только вот и начни, и начни. Крымов наливал по следующей:

– Да теперь и сами крепости разбазарили, – пожалел.

Вот уж несколько горячности ему не передалось: всё такое подобное он знал-перезнал, кивал ему согласно, как закону природы.

Всё больше друженели они, Александр Михалыч да Георгий Михалыч, дальше и на “ты”. (Не спешил бы Воротынцев на “ты”, но и тут уклониться не мог, русский обряд). Не шли к Артамонову, сидели за завтраком лишнее.

Заговорили о солдатском грабеже по Германии. Крымов поставил между тарелками узловатый кулак: военно-полевые суды и показательные расстрелы! Он уже ходатайствовал перед Самсоновым.

И, значит, был он истый военный и последовательный армеец. А Воротынцев прижал обе ладони к столу, и все пальцы разбросал как мог широко:

– Нет. Расстреливать нашего солдата я не могу, как хочешь. За то, что он беден – и мы таким привели его в богатую страну? За то, что мы ему никогда не показали лучшего? За то, что он голоден, а мы неделю его не кормим?

Кулак Крымова не разжался, но напрягся, но пристукнул:

– Да это ж позор России! Это верный развал армии! Тогда нечего было сюда и идти. Армейское решение: правильная реквизиция. Сильное интендантство приходит тут же, с полками. Оно берёт весь скот и выдаёт его полкам. Оно берёт те молотилки, что здесь, и те мельницы, что здесь, молотит, мелет, печёт – и выдаёт полкам! А мы – ничего не берём.

– Но это ж фантазия, Алексан Михалыч! Это бы – немцы, это – не мы, это будем не мы!

Воротынцев говорил “не мы”, но с тайной гордостью знал, что отчасти и мы, он знал за собой и немецкую деловитость и немецкое ровное упорство, что всегда давало ему перевес над такими порывистыми и отходчивыми, как Крымов.

Кончать завтрак, кончать бесцельную беседу – идти толкать Артамонова вперёд и добиваться его полного подчинения Второй армии. Воротынцев изобретал, как бы ему в Ставке вызвать к аппарату своего друга Свечина. А Крымову тяжело было подняться, будто утренним разговором он уже всё главное сделал, теперь бы ему поспать. Но пойдёт, конечно, сейчас и, если вспылит, – Артамонову может прийтись худо.

– А потом не поедешь ты посмотреть, где дивизия Мингина? Сомкнулась она с Мартосом? – спрашивал Воротынцев, будто не направляя.

Промычал Крымов вроде “да”, но уклончиво. Кажется, он уже устал за эти дни ездить, кажется, ему проще остаться на месте.

Тут разом услышали они отчётливо-возникшую канонаду.

– Эге.

– Эге.

И вышли наружу.

Били на севере. Вёрст за пятнадцать. Жаркий уже воздух ослаблял далёкую стрельбу. Но артиллерии – изрядно.

Сам Артамонов ни за что не начал бы.

Так немцы?

Проявились. Подтянулись.

– Если б... если б, – загадывал Воротынцев, – узнать бы сейчас, какая тут дивизия у немцев подошла, многое б мы поняли.

## 17

Как отстаивали Постовский и Филимонов, штабу армии переезжать на новое место 12 августа нечего было и думать. Целый день ушёл на предварение, на подготовку, а ещё важней – на проверку и согласование со штабом фронта новой линии телеграфной связи с ним, как она будет действовать: Белосток-Варшава-Млава, а дальше, используя немецкие телеграфные линии, – на Найденбург. Не убедясь, что штаб Второй армии останется на конце устойчивого провода, всегда доступный директивам и всегда готовый к донесениям, штаб Северо-Западного не мог отпустить его от себя вперёд. Поэтому назначен был переезд на утро 13 августа.

День 12-го тоже прошёл для Самсонова напряжённо. Вчера на шесть переходов,

сегодня корпуса уходили на седьмой. Опять обстоятельно и пространно просили у Жилинского днёвки для центральных корпусов Мартоса и Ключева – и снова было отказано: уйдёт противник, ускользнёт, ведь гонит его Ренненкампф! О Ренненкампфе сами ничего не знали кроме того, что сообщал Жилинский: гонит! Пришли сообщения от разведки левофланговых кавалерийских дивизий, что перед ними – большое скопление противника. Опять это подтверждало понимание Самсонова, что **слева** сгущается враг, но не радостно было подтверждение правоты, а замучили колебания: что же делать? Простейший рассудок подсказывал: поворачивать все корпуса налево, а не гнать их вперёд. Но вчерашнее клеймо труса ещё пылало на Самсонове, измучился он препираться с Жилинским, война наверху изнурительнее, чем вперёд; и дорожил он тем компромиссом, который накануне был как будто достигнут; и ещё смягчала первая от Жилинского телеграмма, поздравительная с победой под Орлау; и что-то же знал уверенно штаб фронта, если так твердил, а кавалерийская разведка легко могла и преувеличить противника. Одна дивизия 13-го корпуса накануне ходила налево к Мартосу, по его просьбе, на помощь, под Орлау. Там бы, может, ей и остаться, но она уже успела вернуться к своему корпусу, и уже шла опять на север, и почти немыслимо было психологически снова дёргать её, перемещать опять налево. Да весь такой поворот корпусов был очень сложен, требовал остановки наступления и, может быть, перекрещивания тылов.

Тем временем, к досаде Самсонова, в Остроленку прибыл английский полковник Нокс. Зачем он прибыл – неизвестно, верней – выражать добрые чувства англичан, которые на континент ещё через полгода высадятся. Самсонов и вообще не любил европейских неестественных дежурных улыбок, тем более помехой и отвлечением был этот гость сейчас. Своих-то собственных событий и соображений не успевал Самсонов уложить в растревоженной гудящей голове, а тут ещё надо было озабочиваться вести дипломатический приём.

Вечером 12-го за позднотой Самсонов уклонился от встречи с Ноксом, а не избежать было пригласить его к завтраку 13-го. Но ещё до завтрака пришло беспокойное донесение от Артамонова, что против него сгущаются большие силы. И тут же, натошак, Самсонов собрал несколько штабных у карты и чуть не принял решения – поворачивать центральные корпуса налево! Но штабные отговорили его: они напомнили, что к Сольдау подходят от железной дороги разгруженные части, нагоняющие 23-й корпус, так вот их всех можно пока и подчинить Артамонову, вот и выход. А центральными продолжать наступление.

Как будто и выход, и довольно просто. Пока так. Написали приказ. Пошли завтракать. Надел Самсонов золотую шашку. Надо было ехать скорей – а тут парадный завтрак с вином, рукопожатия, приветствия, перевод с языка на язык, и всё затягивалось, запозднялось. Нокс, породистый, как в десяти поколениях выведенный, нестарый, а повеленьем и того моложе, очень охотно пил и вообще держался свободно. У них и военная форма располагает так – отложной воротник, свободно шея ходит, и не чувствительны на плече уменьшенные погоны, и ещё Нокс носил форму особенно свободно, высоко-наградный крестик болтался так себе, верхний карман френча был вздут от бумаг, а в нижние карманы он то и дело руки убирал, с совсем другим понятием о выправке.

Самсонов надеялся, что тем завтраком от гостя и отделается, что тут же Нокс вернётся к Жилинскому, к великому князю, в Санкт-Петербург, только от него отстанет. Но нет! – шёл Нокс садиться в автомобиль, нёс плащ в трубке на ремешке, а остальные вещи, объяснил переводчик, повезёт денщик вместе с хозяйством штаба.

Переглядывая со своими, командующий распорядился Филимонову в автомобиль не садиться, вместо него британец с переводчиком, а Постовский послал круговую через всё Царство Польское телеграмму в Найденбург, штабс-капитану Дюсиметьеру, чтобы готовили особый обед и сервировку.

И – тронулись, оставляя прочий штаб поспевать за ними на фургонах, шарабанах и верхами. Открытый жёлтый автомобиль командующего с выпученным передом и высоковыставленным рулевым колесом сопровождали восемь казаков, нельзя сказать чтоб

отборных: лучших сотен от дивизий не отрывали. Не на полную скорость погнал шофёр, а так, чтоб на рысях не отставали восемь казачьих пик.

Вот теперь-то и нуждался Самсонов – молчать. Молча разглядывать эти вёрсты, пройденные его корпусами, а им самим не виданные ещё никогда: полсотни вёрст до Хоржеле и пятнадцать до Янува, и ещё десяток вдоль германской границы, наконец переезд через неё – и дюжину вёрст по чужой земле, без капли крови и без выстрела завоёванной его корпусами.

День расходился жаркий, душный, как все перед тем, но на ходу обвевало – и думалось хорошо, и может быть хоть сейчас, на этом бегу-лесту, могла прийти многожданная ясность в голову командующего. Он сам не понимал, в чём же неясность, приказы разосланы и выполняются, – а неясность была, несдугый туманец, несомещённые точки, как будто двоилось в глазах. Самсонов чувствовал это непрерывно и мучился.

На коленях у себя утвердил командующий большой аршинный планшет с туго натянутою, но треплемой ветром десятиверсткой всего театра действий – и так попеременно, то через борт автомобиля, то в карту намеревался он смотреть весь путь.

Но теперь за его спиной на заднем сиденьи оказался доведчивый британец и хотел тоже всё понимать, и заглядывал через плечо Самсонова, вот уже и палец тыча в планшет и требуя пояснять себе каждое обстоятельство.

К тарыхтению мотора ещё этот шмелиный гул добавился, и отчаялся Самсонов в пути устояться, прояснить, побыть с самим собой.

Особенно интересовался Нокс правофланговым 6-м корпусом, потому что глубже всех он уже врезался в немецкую территорию, и до Балтийского моря ему оставалось не много больше, чем он прошёл.

Да, должен был 6-й корпус ещё вчера занять Бишофсбург, а сегодня уж он, очевидно, и северней.

Так было отмечено на карте, и так теперь приходилось считать вместе с британцем, потому что нельзя ж было признаться европейскому союзнику, что мы на карте отмечаем, а на деле не знаем; что искровая телеграмма доходит не всякая, а больше нет никакой связи кроме нарочной, да и то не прикрытой, не охранённой, по чужой стране. Корпус Благовещенского настолько уклонился вправо, что перестал быть флангом, он уже ничего не прикрывает, он стал одиночный отдельный корпус, жертва спора.

Но, к счастью, упросили штаб фронта, и сегодня утром разрешено было перевести 6-й корпус налево, к центральному. Да, он уже сейчас переходит – вот, мимо озера Дидей – и к Алленштейну.

А там дальше – Ренненкампф? Он наступает? Да, имеем такие сообщения.

А это – кавалерийская дивизия? Да, на обеспечении правого фланга.

Туда же, в ту же прорву забрали и кавалерийскую дивизию Толпыго, так бы нужную сейчас под рукой! Пропала для командующего и она.

Чем было делиться с непрошеным гостем? Что неукomплектованы все части, а 23-й корпус вообще не собран? Что только с виду командуя армией, владел Самсонов по сути лишь двумя с половиной центральными корпусами, к ним и ехал? Но даже и их положения он точно не знал.

Именно о центральных теперь и спрашивал дотошный Нокс: где они?

Крупным пальцем показывал Самсонов: 13-й, Ключева, вот здесь... Вот тут примерно, вот... Вот сюда на север он примерно перемещается, между этими озёрами...

Значит, на север?... Да, он на север пойдёт... Он пойдёт на Алленштейн. И уже сегодня должен его взять. (Вчера должен был, не дошёл).

А 15-й?... А 15-й, Мартоса, должен быть ему вровень, тоже на север. Вчера должен был взять Хохенштейн. (Взял ли?... ) А сегодня – далеко за него.

А 23-й?

Знал бы командующий сам уверенно – когда 23-й соберёт Кондратович и представит на передовую?... Дивизия Мингина сбилась с ног, догоняя Мартоса, и сразу в бой.

А 23-й... Да должен быть тоже недалеко... Вот это шоссе от Хохенштейна на северо-запад сегодня перерезать.

Но что бы отвечать Ноксу, если б допытывался о германцах: где их корпуса? сколько? куда идут?... Пустое, незаселенное пространство озёр, лесов, городков, шоссежных и железных дорог – вот были германцы, всё, что видно, известно о них, беззащитная и привлекательная добыча.

Он вот что! Он всем корпусам рассылал точные повседневные приказы – куда идти, что взять, и это согласовывалось с желаньями выше его, но вот что: эти приказы не были спаяны одним ясным планом, что именно делать? Углубляться... перерезать пути... не допустить... – *а в чём план операции* ? При сегодняшнем (неизвестном) расположении нашем и противника – на что можно рассчитывать?

Только-только стал достигать Самсонов – опять Нокс перебил: а – 1-й корпус? а вот эти две кавалерийские дивизии что?

А, будь ты неладен!... Они все... обеспечивают операцию с левого фланга... Создают прочный уступ.

Сняв с колен планшет, Самсонов поставил его на пол у дверцы, чтоб только кончить разговоры с англичанином через шум мотора. От объяснений этих и нарастающей жары Самсонов почувствовал отлив сил, и ему уже не одумываться хотелось, а вздремнуть бы в мягком сиденьи.

Скорость автомобиля придерживали – к казачьим лошадям. Среди пути один раз сменили их подставою. Обгоняя обозы, подвижной госпиталь, шорный ремонт – всякий раз останавливались, и командующий выслушивал рапорты. В Хоржеле и Януве проверили комендантские пункты и от кого оставлены, с какой целью, стоящие там подразделения. Один раз выходили, сидели в тени около речки. Солнце было за полудень, когда, с подтянутым строем казаков, настороже и торжественно, они по польскому склону спустились на деревянный старый мосток и по прусскому склону поднялись на новую землю.

Замелькали кирпичные деревни, в каждом доме сиди, как в крепости, – а без выстрела сданы. Вскоре вывернули на отличное шоссе из Вилленберга в Найденбург, нигде не повреждённое. Шоссе чуть прикоснулось к южным отрожкам обширного грюнфлисского леса, а дальше несло их местностью открытой, ныряя с холма на холм, как будто и невысокие, но с просторным обзором.

Для Нокса особая приятность этого путешествия и этого дня была та, что он – первый англичанин, ступивший на землю врага в этой войне. Он уже в пути сочинял несколько писем в Англию, которые сегодня вечером, непременно в немецком городе, намеревался написать, а пока вбирал как можно больше впечатлений, ибо хороший стиль требует не повторяться из письма в письмо.

С потягом тяжёлой гари возник перед ними и Найденбург. Ещё издали виднелся в зелёном шпиле крупный белый циферблат с кружевными стрелками, теперь расступались розовые, серые, синеватые дома, все надписи камнем по камню. До боевых действий здесь было очень благоустроено, сейчас же, хотя не виделся нигде прямой пожар, но много было следов пожаренных: пустые обугленные проёмы окон, кой-где рухнувшие крыши, очернённые стены, брызги лопнувших стёкол на мостовую, вонючие сизые дымы от недотушенного в разных местах, и общий зной неостывших камней, черепицы, железа, добавленный к зною дня.

На въезде в город командующего встретил офицер из высланных квартиреров и побежал по улице вперёд, показывая дорогу. За поворотом, на ратушной площади, открылся и выбранный дом – не только сам не горевший, но и окружённый целыми домами, в него попало две русских гранаты, но он не пострадал. Это была приветливая гостиница, маленькая, в три этажа, по углам крыши с двумя как бы шлемами на немецкий лад. С крутых ступенек крыльца сбежал подполковник и, вытянувшись перед автомобилем, доложил громогласно о готовности здания, телеграфной линии, обеда, ночлега, и о том, что город

горит с самого дня взятия, но сейчас усилиями выделенных частей пожары устранены.

Затем доложил комендант, полковник, назначенный здесь Мартосом три дня назад. Представился и вальяжный бургомистр (жители где-то были, но не видны).

Въезжая в город, не сразу заметили, что сюда доносится глуховатая, ослабленная жарою, но обильная дружная толчея как бы во много крупных ступ, и непрерывно. Первый Постовский несколько раз прислушался, покрутил головой: “Близко.” Слишком близко к расположению штаба армии. Комендант уверял, что далеко.

И опять-таки – **слева**. И серьёзный бой. Кто же это? Пока англичанин отвернулся, Самсонов и Постовский сориентировались, глянули на карту. Так получалось, что это левее Мартоса. Скорее всего – Мингин, злополучная половина недособранного корпуса. Но он должен быть дальше!

Поднялись внутрь, в прохладу. Снаружи такое скромное по размерам, здание содержало в себе на втором этаже некий зал с лепными гербами по стенам, с тремя соединёнными полуовальными окнами, – такой просторный зал, что не верилось, как он в это здание вместился. Здесь и был уже сервирован им стол, со старинной серебряной посудой и золотогербыми бокалами, и ничего не оставалось, как сесть обедать, перекрестившись. (Командующий крестился, никого ни к чему не обязывая). Подавали – немцы, гостиничные кельнеры.

А между кирхой и ратушей по низам тянуло голубо-серым дымом, и так весь обед.

И толкли, толкли далёкие тупые ступы.

Обилие вин располагало ко многим тостам, и, предсмакуя их все, Нокс поднялся на первый. От него совсем не ускользнула озабоченность командующего все эти часы переезда, и какая-то покорная печаль его широких глаз вместо дерзкой ярости победителя, – и союзный офицер счёл своим приятным долгом ободрить русских генералов и объяснить им их успехи.

– Это – страницы славы русской армии! – говорил он. – Потомки будут вспоминать имя Самсонова рядом с именем... Зуворова... Ваши корпуса прекрасно идут и вызывают восхищение всей цивилизованной Европы. Вы оказываете высокую услугу общему делу Тройственного Соглашения... В роковой момент, когда беззащитная Бельгия разорвана леопардом... когда, по-солдатски говоря, нависла угроза над Парижем, – ваше мужественное наступление заставит дрогнуть врага!!

Действительно, во Франции положение было грозное. Над Парижем нависала немецкая мощь.

С того размочилось и пошло, не уклониться от тостов, как от падающих снарядов: за Его Величество Государя императора! за Его Величество английского короля! за само Тройственное Соглашение!

Если б не заморский гость – Самсонов не засиживался б за этим обедом. Он хотел бы своими ногами, пешком обойти этот небольшой городок, осмотреться. Он рад был оказаться наконец в Германии, ближе к делу корпусов и ближе к самой опасности. Он должен был отметить на карте своё новое пребывание и теперь по-новому рассмотреть все расположения: кто как близко оказывался к нему; через какие дороги; с кем была проводная связь и где проходила она. Он должен был истолковать себе этот сильный бой на северо-западе, послать туда, запросить. Тревожный поиск что-то додумать и дорешить всё грыз его, требовал трезвости, и ни одно из этих вин ему в глотку ни шло сейчас, не имело вкуса.

Но был обряд гостеприимства и союзнической вежливости. А у вина, хоть и проглоченного безо вкуса, – своё теплящее, кружащее и успокаивающее действие.

И почему, в конце концов, надо было видеть плохое, где этот неглупый британец видел только хорошее?

И, поднявшись массой тела своего, командующий возгласил короткий тост.

– ... за русского солдата! За святого русского солдата, кому терпенье и страданье – в привычку. Как говорится: русского солдата мало убить, пойдёшь ещё его повали!

Постовский, не преминувший сразу по прибытии доложить в штаб фронта, а затем и



проверивший яства на самих кельнерах отеля, не отравлены ли, тем бы вполне облегчённый, и с веселием расположенный к праздничному обеду, если б не эта слишком близкая канонада, осматривал каждую бутылку придирчиво, прежде чем налить (там были домашние надписи на наклейках, их переводил штабс-капитан Дюсиметьер), и, превзойдя своё обычное скромное малословие, раскрылся похвалам гостя. Да! – германцы наглядно бежали! Да! – победа явная. И если бы Первая армия шла бы с тою же скоростью, что Вторая...

Заговорили в несколько голосов, тут и подъехавший Филимонов. И, без карты, вдруг выяснилось разногласие: все понимали так, что Вторая армия должна охватить и отрезать немцев, но все они, руководившие операцией, по-разному понимали, каким же для этого она заходит крылом: правым или левым? Казалось бы, нельзя охватить Восточную Пруссию, не заходя крылом левым, – но достоверно-то было, что левое у них стоит на месте, а заходит правое?

Однако перенимая от Постовского главное и развивая его, англичанин, не поленясь приподняться (да он был очевидный спортсмен), объяснял в следующем тосте: гибель прусской армии будет концом Германии! Ибо все силы её на западе, и скованы там. На востоке она станет обнажена. И сразу же, за Пруссией, форсируя Вислу, русские армии откроют себе прямой, кратчайший и беспрепятственный путь **на Берлин!**

Эти бокалы только подняты были, ещё не опорожнены, когда в зал вошёл дежурный капитан и ждал случая доложить. Самсонов кивком головы разрешил ему, опустил свой бокал непригубленным.

– Ваше высокопревосходительство! Вас просит к аппарату генерал Артамонов.

Командующий громко отодвинул стул и, забыв извиниться, пошёл, тяжело ступая.

Так и чувствовало вешнее сердце...

Начальник штаба, изменяясь лицом, посеменял паркетными плитами за ним.

В аппаратной стояла тишина, монотонно постукивали буквопечатающие юзы. В свои большие мягкие белые руки Самсонов принимал невесомую ленточку.

Генерал-от-инфантерии Артамонов приветствует генерала-от-кавалерии Самсонова.

Взаимно.

Генерал Артамонов считает своим долгом поставить в известность генерала Самсонова, что сегодня совместно с генштаба полковником Воротынцевым происходили телеграфные переговоры со Ставкой относительно степени подчинения 1-го армейского корпуса штабу Второй армии. Этот вопрос будет в Ставке выясняться. Окончательное решение Верховного Главнокомандующего пока не известно.

(Опять выясняться! Крутят опять).

Генерал Самсонов надеется, однако, что генерал Артамонов выполнил просьбу командования Второй армии прочно находиться своим корпусом севернее Сольдау для вернейшего обеспечения...

Да, генерал Артамонов это сделал ещё раньше просьбы. Заняты и удерживаются позиции далее Уздау.

Уздау... (Проверка по карте).

Встречено ли при этом сопротивление противника?

Нет, вчера не встречено. Однако теми, весьма значительными, силами, о которых было доложено сегодня утром...

– ... Вам приданы дополнительные части...

– ... да, да, получил... Теми значительными силами сегодня корпус атакован, по какой причине генерал Артамонов и счёл нужным обеспокоить генерала Самсонова.

Как именно значительны силы противника и каков результат боя?

Все атаки отбиты, все части доблестно устояли. Силы же противника, сколько можно предположить, больше армейского корпуса, вероятно – три дивизии. Это подтверждается и лётной разведкой.

Уже много неоторванной ленты сошло с пальцев командующего сперва на пальцы Постовского, потом к офицеру оперативного отделения, потом на пол и пугалось кольцами.

Самсонов опустил большую голову, глядел в пол.

При всей пустой Пруссии – откуда столько сил может оказаться там, слева? Значит ли это, что противник уже утёк из всей Восточной Пруссии, уже ушёл из подготовленного ему мешка – но не за Вислу, не бежал – а начинает напирать слева?

Или это свежие силы, только что подошедшие из самой Германии?

Так что ж, неужели сейчас, вот сию минуту – всем корпусам поворот налево?

В эту минуту дать решение.

В эту минуту.

А может быть – Артамонов и преувеличивает, он очень склонен к перепугу. И скорей всего преувеличивает.

Ему бы **наступать** ! Так вот – не согласовано со Ставкой...

Но удержаться он обязан! – он и сам теперь – полтора корпуса.

Аппарат работал вхолостую, Постовский и капитан поддерживали и расправляли ленту, чтоб она не запутывалась.

Генерал Самсонов во всяком случае настоятельно просит командира 1-го корпуса твёрдо держать нынешние позиции и не отходить нисколько, ибо это угрожало бы срывом всей армейской операции.

Генерал Артамонов заверяет командующего армией, что его корпус не дрогнет и не отступит ни шагу.

## 18

Часов около четырёх пополудни генерал-майор Нечволодов подводил свой отряд к Бишофсбургу с юга, по каменистому шоссе. Сам Нечволодов ехал верхом (несколько конных близ него), крупным шагом, саженей на триста впереди отряда.

Отряд его был – стыдно сказать что, неизвестно что.

Вообще назначен был Нечволодов в 6-й корпус командовать пехотной бригадой. Такая должность по разным дивизиям была за ним уже шесть лет. Эту ненужную должность – над двумя командирами полков, между ними и начальником дивизии, Нечволодов всегда считал для того только созданной, чтоб отучать генерал-майоров от строевого дела, – с тем и служил. Но в 6-м корпусе Нечволодова сильно удивили: ещё за день до начала войны, в Белостоке, не снимая с бригады, его назначили также и “начальником резерва” корпуса. Такое понятие – начальник резерва – существовало, в боевой обстановке и для отдельной операции могли создать резерв для прикрытия остальных частей в тяжёлую минуту, – но не встречал Нечволодов, чтоб назначался резерв как постоянный ещё в день всеобщей мобилизации. То ли не знал генерал Благовещенский, куда ему девать столько генералов в корпусе, то ли ещё до начала войны готовился к худому концу. (Да наверно так, ибо хороший драгунский полк держал всего лишь на охране штаба корпуса).

И странен был состав резерва: к двум полкам Нечволодова – Шлиссельбургскому и Ладожскому, просто присоединили разные особые части – мортирный дивизион, понтонный батальон, сапёрную роту, телеграфную роту да семь сотен донцов (среди них и ту отдельную сотню, которая охраняла штаб корпуса, и от него ни на шаг), – и вот это стал нечволодовский резерв. Как будто все эти части были в корпусе не разветвлённым пособием, а помехой, и только путали Благовещенскому простую пехотную классификацию: четыре роты – батальон, четыре батальона – полк, четыре полка – дивизия, две дивизии – корпус. А ещё привалило 6-му такое счастье, какое редкому корпусу достаётся: артиллерийский тяжёлый дивизион, с калибрами, мало известными в русской армии, – с шестидюймовыми гаубицами. Уж этот-то ни на что не похожий подарок и совсем не знал Благовещенский, куда пристроить, и тоже определил: в “резерв”. (Он служака был понимающий: за редкое вооружение и ответ большой, если потеряешь. Он и пулемёты, по их драгоценности, старался не выдвигать на передовые позиции, а держал их больше при штабе или в санитарном обозе).

Но даже и такой резерв Нечволодову ни разу не дали собрать вместе (да это было и невозможно, и ни к чему), даже коренной его Шлиссельбургский полк отняли и вызвали вперед, так что и бригады его не стало существовать, самого Нечволодова задержали по укреплению тылов, – и тот отряд, с которым он теперь, приставной болван, нагонял главные силы, состоял из Ладожского его полка (и то без батальона), да сапёров, понтонцев и телеграфистов, а не было при нём ни конницы, ни артиллерии.

Впрочем, прикидывал Нечволодов, что и обе дивизии впереди него раздёрганы так же, каждая из них растеряла четверть сил по пути: одна была целиком без полка, и из другой рассорили дюжину рот.

В Нечволодове не было генеральского величия – раздавшейся груди, разъединенного лица, самодостоинства. Худощавый, длинноногий (даже на крупном жеребце низко спущены стремяна), всегда молчаливо серьёзный, а сейчас и сильно хмурый, он походил скорей на офицера-переростка, застоявшегося в низких должностях.

Все эти дни он был хмур от одной идиотской комендантской работы по тылам и от отнятия шлиссельбуржцев. Сегодня добавочно хмур от того, что всегда благоразумный штаб корпуса – и тот оказался впереди Нечволодова, утром проскочил в Бишофсбург, а вскоре затем впереди густо загудело, выказывая плотный бой. И ещё хмурей – последние два часа, когда стали навстречу попадаться то порожние телеги с перепуганными обозниками, то двуколки с ранеными, то табунок лошадей с ногами и копытами, раздробленными от повозок. Дальше встречались раненые гуще, уже и пешие, из Олонецкого полка, из Белозерского, а несколько – из оторванных ладожских рот, среди них – пожилой сверхсрочный унтер, хорошо известный Нечволодову. Провезли и офицеров несколько. Нечволодов задерживал встречных, коротко опрашивал – и по возбуждённым отрывистым сообщениям хотел составить картину утреннего, ещё и сейчас не оконченного боя.

Как всегда по горячим следам, от участников разных мест и ещё друг другу не рассказавших, история выступала полностью противоречивая. Одни говорили, что ночевали сегодня совсем рядом с немцами, только не знали, и немцы тоже не догадывались. Другие: что шли утром, ничего не подозревая, и в походном порядке столкнулись, попали под гиблый огонь, нисколько не готовые и не окопанные (да сбоку, сбоку немец стрелял, не спереди!). Третьи: что развёрнуты были к бою заранее и даже по пояс окопались. Из офицеров считали одни, что шли на север и наткнулись на боковую колонну отступающих немцев, что мы их ещё сильнее напугали, чем они нас, – но потом уж очень много артиллерии у них развернулось, жаркий дали огонь. А мы их с востока ждали, на восток приказано было выдвигать охранение. Нет, исправляли другие: Олонецкий даже на запад был развёрнут. Но уж как только немцы из многих орудий ударили (“пятьдесят орудий”, “нет, сто!”, “двести!”), да шрапнелью, да над гущей колонн, сразу рвало и дырявило наших десятками, – так и побежали, так всё и перепуталось, там – тысячи легли, из батальона по дюжине оставалось; нет – стояли хорошо, наша рота белозерцев сама в атаку ходила; где в атаку, когда нас к озеру прижали, деться некуда, орудия побросали, даже винтовки – и вплынь.

Но несомненно сходилось, что потери велики, что несколько батальонов нацело разгромлены (а каждый батальон кругло тысяча человек). Несомненно сходилось, что за две недели привыкли не встречать, не видеть и не слышать противника, и гонко, беспечно продвигались по чужой земле без разведки, а где и без сторожевого охранения. И так отшагали вчера за Бишофсбург больше пяти вёрст, перевалили важнейшую для немцев железную дорогу – как бы горизонтальную ось Восточной Пруссии, и дальше маршировали с той же безоглядкой, как у себя в Смоленской губернии, вперемешку со строевыми частями обозы, – и меньше всего ожидали в этой германской стране повстречать ещё какие-нибудь войска, кроме русских. И когда внезапно бой начался – не было ни плана зараньего, ни приказаний. А это сразу чувствует войсковая масса – и разваливается сразу.

Только не попался Нечволодову ни один раненый из своего Шлиссельбургского полка – и ничего нельзя было о полке понять, где он и что.

Плохо, что за спиною Нечволодова солдаты его отряда встречали тех же раненых и даже на ходу успевали узнать для себя достаточно.

На севере погромливалось и сейчас.

При таких порядках впору было Нечволодову, хотя двигался он позади штаба корпуса, выслать своё сторожевое охранение.

Зной как будто ещё не умерялся, но солнце заметно обходило левое плечо и палило в левое ухо.

Уже открывался просвет и на город – уцелевший, без пожаров, с сероватыми и красными шпилями и башенками, – как слева, по пересекающей грунтовой дороге, Нечволодов увидел походную пыль и определил колонну больше батальона пехоты и с батареей. Она тащилась медленно и тоже без предосторожностей.

Хотя слева как будто не было противника, но ведь и вообще никого слева не должно было быть. Вот так и насакаивают, а потом удивляйся оплошности других.

Однако в бинокль тут же убедился Нечволодов, что это – наши. Впереди той колонны тоже ехал верхом офицер, с одним просветом без звёздочек, только конь под ним шёл беспокойно, избочивался, вывёртывался, мотал оскаленной головой, а всадник понуждал его повиноваться. Ещё увидел Нечволодов по обочине бегущую приметную черно-рыжую собачку с крупными крыльчатыми ушами. По той собачке, всегда при своей роте, уже многие знали, что это – рихтеровская дивизия.

По темпу движения как раз предстояло всадникам сойтись на перекрестке. Заметив генерала и за ним колонну, тот офицер повернул коня, – конь занёс больше чем надо, был осажен, – и звонко крикнул своим:

– Хэ-ге-ей, суздальцы! Перекур десять минут, ла-жись!

Он весело, ничуть не устало крикнул это, а солдаты его были очень утомлены: они еле сбредали с дороги и, даже скаток с плеч не стянув, лишь винтовки малыми пирамидками составив, на первой же пыльной траве прилежали, хотя сто шагов было до лесной тени и чистой травы.

Офицер подъехал на беспокойном гнедом коне и с лихим изворотом руки доложил:

– Капитан Райцев-Ярцев, ваше псходительство! Полковой адъютант 62-го Суздальского!

Между дерзкими его губами раскрывался один передний золотой зуб. А конь тревожно косил глазом и дёргал головой.

Нечволодов кивнул:

– Не свой?

– Два часа, как взят, ваше псходительство, ещё привыкает.

– А вы – кавалерист.

– Был, ваше псходительство, да спешил Бог за грехи.

Та знакомая неунывность была в капитане, тот лихой огонь, который красит истого кадрового офицера: для войны родились, на войне только и живём! Горело то и в Нечволодове, да притухло с годами.

– Где ж взяли?

– А вот тут поместье брошено, конюшни славные! Советую заглянуть! Около озера, как его...

Сама рука Нечволодова уже тянула с бока и раскрывала полевую сумку.

– Ох, карта у вас хороша! Вот: озеро Дидей, купать...дей! – дорифмовал неприлично шёпотом.

Нечволодов приоткрылся в улыбке:

– А как вы там очутились? Зачем?

– А нашей дивизии семь вёрст не крюк! Мы – гуляли, потом передумали – и назад.

Вился в душу этот весельчак. Но и конь под ним танцевал, нельзя было вместе карту смотреть. Да и солнце пекло.

– А пойдёмте-ка в тень, – предложил Нечволодов.

Золотозубый капитан охотно кивнул.

Они отдали лошадей.

– Миша! – скомандовал Нечволодов своему адъютанту – пухлощёкому, розовому (юная кровь так и просилась под кожу) поручику Рошко, – пока колонна будет идти, а ты быстро вперёд, посмотри, нет ли какой дороги обойти Бишофсбург. Если нет – выбери улицы, чтоб не мимо штаба корпуса.

Круглолицый хитросметливый Рошко всё понял, его группа поскакала.

Под прохладным уреем леса Нечволодов и Райцев-Ярцев сели по-турецки, генерал вытащил и просторнее развернул свою карту. Поджав пальцы, и безмянный с золотым кольцом, Райцев-Ярцев мизинцем с удлиненным заостренным ногтем как указкой показывал и бегло осведомлял.

Их дивизия, три полка без отставшего, вчера занимала здесь фронт лицом на восток, и такие были разговоры, что противник там зажат в клин и будет оттуда пробиваться. Однако ни выстрела не произвели. Потом велено было стягиваться к Бишофсбургу. Сегодня утром топтались в нём. Перед полуднем командующий корпусом распорядился их дивизии идти на запад, огибать с юга озеро Дидей и дальше идти на Алленштейн, вёрст почти сорок. Так, не успев пообедать, они пошли, никого не встречая, и не стреляя, и морясь от жары, – но вёрст через десять, когда уже озеро обогнули, примчался ординарец от штаба корпуса с новым приказом Благовещенского: тотчас возвращаться к Бишофсбургу и даже стать восточнее его. Суздальский полк был последним в дивизионной колонне, первый повернул и вот возвращался. Но за это время прискакал с офицером и третий приказ: только Суздальскому полку с двумя батареями идти сюда и стать под Бишофсбургом в распоряжение командующего корпусом. Остальная дивизия должна повернуть на север по тому берегу озера Дидей – и наступать, дабы после озера соединиться с комаровской дивизией, этого бока озера. И ещё так удачно, что Суздальский полк оказался в хвосте, а сказали бы Углицкому – и он продирался бы сюда, через два полка, а Суздальский – продирался бы туда.

Райцев-Ярцев взялся всё это весело рассказывать, будто ему удовольствие доставляла такая путаница, – но перед мёртво-серьёзным Нечволодовым перестал сверкать золотым зубом и лишь постукивал длинным ногтем о пряжку.

О, какой отчаянный оказался у них корпусной командир! – да просто смелей Наполеона! Не устроенный заседать в тыловом благотворительном комитете, он тут смело гуляет по чужой стране, он просто крестит её движеньями своих полков. Ему разгромили четверть корпуса спереди – он отправляет полкорпуса налево! Он ничего не боится, ну да! – ведь он ещё до войны сформировал резерв – и теперь Нечволодов пусть ему всё выручит.

Отряд Нечволодова уже шёл мимо них к Бишофсбургу. Батальон Райцева-Ярцева лежал на траве, пушки стояли на дороге, остальные суздальцы ещё не показывались.

Надо было ехать скорее вперёд, искать своих шлиссельбуржцев, искать начальника дивизии, – но не так легко сворачивается карта, если тебе над ней сказали что-то новое: уже известный, десятки раз рассмотренный рисунок завораживает, выявляет и угрожает всё новым и новым.

Кого только могли – оторвали от своих частей, кого только могли – переподчинили, вот и суздальцев – самому командующему корпусом. Безнадёжно запуталось подчинение и ведение командиров. А Рихтер, если даже пробыётся мимо озера Дидей, – с кем же он там соединится, там же наших разнесли? Где тут справа кавалерийская дивизия Толпыги? Её уланский полк раздёргали как корпусную конницу, самой дивизии то и дело меняют направление и задачи. Где тут справа немцы? – они, конечно, ушли давно. Где тут справа Ренненкампф? Зачем ему торопиться, он обсаживает победу, а впереди риск. Пустая земля – ни звука, ни выстрела. Где же слева 13-й корпус?

Немота. Пустой воздух.

– Ну, спасибо, капитан! – жёсткой ладонью Нечволодов пожал руку Райцеву-Ярцеву, вскочил в седло и на рысях с ординарцем погнал к Бишофсбургу мимо своего отряда.

Здесь немцы, видно, готовились к обороне: последних саженей двести перед городом были кряду срезаны обоесторонние кусты вдоль дороги – для обзора и обстрела; и в первом у дороги городском здании – большом кирпичном складе, был проделан десяток бойниц.

Но ничто не понадобилось.

Выходила из города навстречу большая пешая колонна ходячих раненых. Нечволодов уже не расспрашивал, только крикнул:

– Ребята! Шлиссельбуржцев тут нет?

Не оказалось.

У склада ждал его круглолицый спокойный Рошко. Он доложил, что объездной дороги нет, но такие улицы он нашёл и расставил маяков.

Нечволодов поехал искать штаб корпуса – по узким прохладным улицам между уютными домами.

Первое впечатление было, что город населён русскими ранеными, – так много белело бинтов на улицах и из окон. Но были и жители. Одного мирного немца, не старика, и ещё потом двух вели куда-то под конвоем. На углу несколько немцев окружило уланского офицера, и все сразу что-то горячо говорили ему, и одна за другой показывали то на его шашку, то себе на грудь. Ещё дальше две немки вынесли эмалированные вёдра и поили солдат водой, а те шутили с ними.

Нечволодов признал штаб по синему автомобилю Благовещенского и по казакам конвойной сотни. Рошко и другие остались снаружи, сам он крупно взошёл по гранитным ступеням, через арочный вестибюль и стал искать командование.

В штабе всё было в ящиках и на ходу: то ли от недавнего приезда, то ли от скорого отъезда. Ни до Благовещенского, ни до начальника штаба он не добрался, а встретил полковника Ниппенстрёма из генерал-квартирмейстерской части.

– Вы почему здесь? – испугался Ниппенстрём. – Вы ещё не дошли до Комарова? Вас давно уже ждёт Комаров!

– Я быстрее не мог, – даже медленнее обычного, даже холодней обычного отвечал Нечволодов. – Я хотел у командующего...

Ниппенстрём замахал руками:

– Да если корпусной вас увидит – он вам голову оторвёт! Езжайте скорей!...

– Но – куда? Я же не знаю своего задания.

– Как? Вы ничего не знаете? Вам приказано собрать свой резерв и прикрывать отход корпуса. У Сербиновича всё получите...

– Но где мой резерв? Где моя артиллерия?

– Там-там, все на месте, ждут только вас.

– Со мной сапёры, понтонцы, телеграфисты...

– Этих всех оставьте здесь.

– А где мой Шлиссельбургский полк?

– Это должен знать Сербинович. Поезжайте к Сербиновичу! Мы тоже уезжаем! Мы слишком выскочили вперёд...

– А какие немецкие части против нас?

– Мы сами не знаем!

Ниппенстрём спешил: ему надо было второй раз послать искровку 13-му корпусу о том, что 6-й атакован крупными силами неприятеля и не пойдёт на выручку 13-му в Алленштейн. Уже послали один раз, и 13-й подтвердил приём, но никак не отозвался.

Это движение в сторону Алленштейна выполнять не было сил, но чтоб не иметь неприятностей и отмены своего отказа – докладывать в штаб армии генерал Благовещенский пока не велел, а только сообщить соседу.

В простенке между готическими окнами, в густой тени, Нечволодов постоял, длинный, худой и неподвижный, как забытая рыцарская статуя. Пристучал пальцами по каменной стене.

Чины штаба упаковывали и перетаскивали большой ящик, вроде лежачего шкафа.

И никого больше Нечволодов не искал и не спрашивал. Вышел наружу. Поднялся в седло. Чуть отъехал, выслушивая Рошко, что отряд уже вытягивается на север, а шлиссельбуржцев так нигде и нет.

Тут от штаба услышался шум. Нечволодов оглянулся. Заводили автомобиль. Генерал Благовещенский поспешно спускался наискосок по широким гранитным ступеням, не видя Нечволодова или другого кого на площади. Начальник штаба и ещё кто-то с трубками карт подбегали за ним.

Сели, защёлкнули дверцы. Автомобиль стал разворачиваться по маленькой площади, чтоб ехать назад. Благовещенский снял фуражку и перекрестился открытым полным крестом.

От подпрыгивания или от ветерка растрепалась его седина на бабьей голове, какой и с горшками в печи не управиться.

Нечволодов на рысях повёл свою свиту из города.

## 19

– Ваше благородие! Хэ! Ваше благородие! – весело крикнули.

От колодезной очереди Ярослав обернулся к дороге.

Тянулась полубатарей, четыре пушки, и кричал Ярославу тот шароголовый фельдфебель, знакомец по дорожному случаю: позавчера (не месяц назад?) взвод Харитонова вот эти самые, значит, пушки и подмогал вытаскивать из песка.

– О-о! – обрадовался Ярослав и вскинул обе руки, приветствуя не по-офицерски, по-мальчишески. – Водицы не хотите?

– А кака водица? На хлебе не перегнана? – спросил коренастый сбитый фельдфебель, грудь колесом, опять весёлый, как и прошлый раз.

– Соло-одкая, схлебаете! – отозвался ему из очереди чужой пехотинец. – Сверху мусорок, снизу песочек.

Уже солнце сильно сдало на левое плечо, но ещё было жарко.

– Представьте, был колодец досками закидан, но мы разобрали! – криком объяснял Ярослав, однако стыдясь мальчишеской звонкости голоса, никак не умел он огрубить его. – И вода очень сносная, вот все набирают!

Фельдфебель снял фуражку и замахал своим остановиться. У него была маловолосая, вся круглая, вся жёлтая голова, как головка сыра, только крупней. И приделаны были к ней спереди пшеничные усы – толстенькие, а потом с остриями.

Колодец был у начала раскинутого хутора из нескольких домов на широкой поляне. Пушки приняла в сторону. Ездовые несли вёдра для лошадей, а орудейная прислуга волокла бидон с винтовой крышкой, да наверно уже немецкий.

Вызывала зависть артиллерия, что на колёсах везёт себе лишнее необходимое. Но и другую зависть, Ярослав пожаловался фельдфебелю:

– У вас солдаты как солдаты, чес-слово! А у меня – от сохи да сразу в Германию, что с ними делать?

Фельдфебель улыбался довольно:

– У нас – наука. Сохатых нельзя.

Фельдфебель такой был важный, плотный, и заметно старше Ярослава, что юному подпоручику неловко было перед ним за свои звёздочки, неловко быть чином выше да, при тонкости фигуры, и ростом. Всю эту неловкость Ярослав старался искупить вежливым невоенным обращением:

– Как мне вас называть, простите?

– Фельдфебель, как! – улыбался тот, вытирая пот с загорелого лица.

– Ну что вы! По имени-отчеству!

– По имени-отчеству в армии не зовут, – шевельнул усами сыр.

– В человечестве – зовут.

– Меня и в человечестве всю жизнь только Терентием.

– А фамилия?

– Чернега. – И спросил, как не спросил: – А вас? – потому что мимо Ярослава и колодца, туда, на хутор, насторожились его глаза и маленькие уши. И тут же он скомандовал фейерверкеру, почти не ища и не оборачиваясь: – Коломыка! А як бы не куры там кудахчут! Сходить с двумя хлопцами. Чувал визмить, та палками их!

Ярослав огорчился: такие хорошие артиллеристы, такой хороший фельдфебель – и туда же? кто ж тогда устоим? Предупредил:

– А хутор уже почистили. Жителей нет, петуху последнему голову оторвали. В саду, правда, яблоки.

По саду слонялись солдаты, видно было отсюда. И ещё другие сочились туда, неспрошенно, недосмотренно. Впрочем, кажется, не из харитоновского взвода, эти рады были, безногие, посидеть, пока не гонят.

Но Чернега не поддался:

– Ни, там, за посадкой, подале, я ж чую. Та визмить ще два ведра, довидайтесь по закромам. Як що овёс – то кликайте, будемо завертать.

Распоряжался Чернега уверенно, не спросясь своих офицеров. Но видя огорчение услужливого веснушчатого подпоручика, пояснил:

– Без чего артиллерия буты не може? Без овса та без мясца. Кони пушек не тянут, руки снарядов не поднимают. А як в кобуре ще и гусь жареный – о то война!

Это он нараспев добавил, и обмаслилось его лицо, представя гуся жареного, и ничего греховного как будто и правда не было в этом выражении и в этом желании. А с другой стороны, если подумать... Мучило это Ярослава.

– Солдат – добрый человек, да шинель его хапун, – ещё успокаивал Чернега. – Мы только по прозвищу лёгкая. А пушка наша в походном положении – 125 пудов. А снаряд едва не полпуда, вот и покидайся.

На большом лежачем бруске сидел Козеко, поджав ноги, и на коленях записывал в свою неизменную книжку полевых донесений. В постоянном насмотре и наслухе он чутко поглядывал и на Чернегу. Неодобрительно.

Тут ротный крикнул издали:

– Поручик Харитонов! Остаётся за меня, я – скоро! – и с двумя солдатами надал мимо хутора и с заворотом за посадку, куда уже послал своих хлопцев Чернега.

Козеко остро посмотрел ему вслед. И опять в книжку донесений. Записывал и грыз яблоко – то ли кислое, то ли от всей неприятности морщась.

Колодец был обетонирован и с шеломком наверху, от него уже длинная тень. С гульным грохотом в бетонной трубе одно и то же прицепленное ведро быстро спускали и поднимали сильные солдатские руки, крутя валик и выбирая цепь. Тут же переливали в котелки, в другие вёдра, торопя друг друга, браня расхлебаями и безрукими, подталкивая и наплескивая грязи вокруг, а уже опорожненные выпитые котелки снова со звяком совались, ища себе струи. Наполненные артиллерийские вёдра бегом, но без росплеска, относились разнузданным крупным нежным лошадиным губам. Рычали на артиллеристов, что по таким бидонам никакого колодца не хватит, впрок не наливать! Эй, впрок не наливать, пей здесь, сколько брюхо терпит! И на головы не лить, э, вы, охломоны – вон, в озеро беги, суйся по шею!

За своим гомоном, бранью и звяканьем все уже привыкли и как будто даже не слышали непрерывного общего гула слева, на подсолнечной стороне, гула боя. И вёрст до того боя не было много, но много было озёр. Весь день сегодня, сколько они шли, всё были слева озёра, большие и маленькие, вплотную и отдали, – и так не одною волею начальства, но и этими озёрами отклонялся их путь на север, безопасно отгораживался от смежного боя. Озёра были и справа. А час назад протащились они по узкому, трёхсотсаженному лесному перешейку между двумя большими озёрами Плауцигер и Ланскер – простой глаз лишь смутно видел другие берега. И так загнались они в длинный лесной безлюдный коридор между этими



озёрами, хотя и отступившими, и теперь только то могло касаться их дивизии, что было в этом коридоре, – а не было тут ничего, никого.

Поднесли Терентию напиток. Холодна была вода, схватывала горло, и с мутой – а нутро требовало, ещё и ещё.

Сел Чернега на тот же брус, приглашая рядом Ярослава. Достал кисет с махровыми завязками, распустил.

– В трубочку табачку всё горе закручу. Не курите, ваше благородие?

По чёрному шёлку кисета малиновыми нитками вычурно, терпеливо, с отрезками было вышито: Т. Ч.

– Скажи, аж земля гуркотит, – посматривал Чернега на подсолнечную сторону. – А мы тут идём, лесов не обшариваем, а небось на соснах сидят, в бинокли смотрят на нас – и названивают, и названивают. Вот прямо сейчас там сидят – и в немецкий штаб про нас звонят, как мы тут воду пьём, – уверенно говорил Терентий, глядя на обступивший лес. Но, в противоречие с тревожным смыслом, не порывался бежать туда и даже несколько не волновался – то ль от лени, то ль от упитанности силою.

Зато подпоручик Козеко встревожено поднял голову, отозвался:

– А сторожевое охранение! Так быстро гоним, что боковые дозоры идут положительно рядом с ротами! А передние дозоры мы иногда своей колонной обгоняем. Да нас ничего не стоит из пулемёта перестрелять.

– Главное, – тревожился и Харитонов, – ничего не понятно. Уже пятнадцать вёрст и сегодня отмахали. И ещё, говорят, надо десять до вечера. Самые свежие новости – от денщика полкового командира. Сегодня утром пустили слух, что к нам на помощь идёт японская дивизия!

– Таку балачку и я слыхав, – кивал Чернега, благодушно дымя. Так и пышело от него могутой, к делу даже излишней.

– Ну что за вздор? Откуда японская? То ли наша из-под Японии?...

– А то говорят: сам Вильгельм в Восточной Пруссии войсками командует, – ещё поддавал Чернега, так же, впрочем, мало озабоченный и Вильгельмом.

Старшее, доброе и верное чувствовал Харитонов в Чернеге. И хотя не полагалось бы офицеру жаловаться фельдфебелю на дурость начальства:

– А позавчера? Туда и обратно тридцать вёрст без толку прогоняли! Ну, туда на помощь шли, ладно, не понадобилось. А обратно – можно было догадаться наискосок нас пустить? Зачем же опять назад в Омудефен? Мы ж без Омудефена могли! И тоже бы днёвку имели, как та дивизия.

Курил Чернега, понимал, спокойно кивал. Вот это спокойствие его, всё принимающее, особенно хотелось бы Ярославу перенять.

– И сзади час назад ружейную стрельбу вы слышали? – вёл своё Козеко. – Вполне свободно, что немцы в тыл прорвались.

Чернега боком закурил трубку:

– А про шо он там пишет? Он нас там не записывает?

Смеялся Ярослав.

– Вы – кадровый?

– Ни, дуракив нэма.

На его шаровой голове фуражка сидела лихо набекрень – а держалась прочно.

Не знал Ярослав, как и спросить то, что ему надо: что за человек этот фельдфебель? как его в понимание уложить?

– А... житель вы – городской? или деревенский?

– Та так... по уездам... – затруднился Чернега, без удовольствия отвечая.

– А губернии?

– Та вроде Курской... Чи Харьковской. – Хмурился.

Ярославу отставать было жалко от этого сочного богатырька, но не знал, как разговор с ним вести:

– Женаты, дети есть? – благоприязненно спрашивал он, как бы даже сам за Чернегу отвечая вперёд утвердительно.

Посмотрел Чернега на подпоручика глазами-шариками перекатными:

– Та зачем жениться, як сосед женат?

Тут – летом, полным бегом подбежал посланный фейерверкер и доложил своему фельдфебелю негромко, чтоб чужие не перехватили:

– И овёс! И окорока копчёные! И – пасека. Помещика нет, утром уехали. Сторож один, поляк, говорит – берите! Я пока часовых там поставил! Скорей надо! Пехота уже лошадей хватает, птицу бьёт.

Вмиг оживился, поделовел, вскочил Чернега на сильных коротких ногах, только и ждал, закричал:

– Хло-опцы! Живо по коням! Тро-гай! – и Коломыке: – Веди колонну, а я капитану доложу.

Головка сыра, всё ещё в поту, под сбекренной фуражкой глядела шелковидно, уверенно.

И дружно потянули пушки к завороту, стали там, а зарядные ящики завернули за посадку.

Навстречу же им из-за посадки бойко выкатили две двуконных брички и рессорный тарантас.

Настороженный Козеко ничего не упустил, издали разглядел, определил – и объяснил тотчас:

– Ну вот, то батальонный в бричке покатил, а теперь и ротные на бричках, и батюшка в тарантасе. Нижних чинов – за кучеров, скоро некому будет воевать.

– Ладно! – рассердился Ярослав. – А вы яблок зачем набрали?

– Да чёрт попутал, – без сожаления отбросил Козеко недоеденное яблоко. – Не нужно мне от Германии ничего, живым бы только...

– Вы – останетесь! Вы – наверняка останетесь!

– Почему вы так думаете? – с надеждой смотрел Козеко от своего блокнотика. – Конечно, прямое попадание мало вероятно, но шрапнель...

– Бережёного Бог бережёт! Вас пошлют на закупку скота! Убирайте дневник, стройте своих!

Не высоко уже солнце стояло, и даже без боя было им сегодня тянуться до темноты и в темноте. Подошёл к колодцу другой батальон, а передние роты их батальона уже строились, тронулись. Стал Ярослав скликать и строить свой взвод.

Сзади, обгоняя и раздвигая спотычливую бредущую пехоту, ехало верхами несколько штаб- и обер-офицеров в сопровождении шестёрки казачьей конной стражи, двое всадников со свежими бинтовыми повязками. Передний полковник, мрачный, небритый, приостановил лошадь, посмотрел на Харитонова. Тоненький готовный Харитонов подбежал, выровнялся, отрапортовал.

Тут как раз из-за посадки донёсся отчётливый, далеко слышный свиной визг.

– Это ваши солдаты грабят, подпоручик?

– Никак нет, господин полковник! Мои – здесь.

– А почему не маршируете? Где командир роты?

Харитонов мотнул головой, но бричка с ротным куда-то пропала.

– Я – за него! – вспомнил он.

– Будете наказаны! – говорил полковник, но без зла, рассеянно. – Известно ли вам, что был приказ на форсированный марш? Сегодня вам надо выйти на железнодорожную линию и ещё по линии направо пять вёрст. А вы у колодца расхлюпались. Где командир батальона?

– Впереди.

Ещё меньше понимал Ярослав: немцы слева, а мы поворачивать направо?

Всадники тронули. Если б сами они понимали что-нибудь в этом лесном межозёрном блуждании!

То были офицеры штаба 13-го корпуса. Час назад они едва минули смерть: приняв за немцев, их густо обстреляла своя пехота. Такое они и предполагали (вчера таким же своим обстрелом испорчен был штабной автомобиль), для того и взяли шесть казаков сопровождения, чтоб их отличали по пикам, – и всё равно, в двухстах шагах своя пехота приняла их за первых, наконец, немцев и накинулась.

Они ехали с новейшим приказом штаба армии: ускорить движение их корпуса на Алленштейн! А от 6-го корпуса, потерянного далеко справа, пришла неожиданная искровка, видимо важная, ибо передана была раз за разом, дважды. Однако никто в штабе 13-го корпуса не сумел той искровки расшифровать: почему-то не сходилась код. И в штабе не знали, что думать.

Верховые постояли у пушек, нагнали одного командира батальона в бричке, другого, – и всем полковник грозил, внушал, как форсированно надо двигаться.

Обогнав полк, ещё через три лесных версты они достигли выложенных у дороги двоих немцев, гражданских, исколотых пиками, изуродованных ударами.

– Ваших станичников работа, не сомневаюсь, – сказал полковник старшему уряднику, раненому, когда останавливал стрельбу пехоты.

Урядник пожал плечом, ничего не ответил, челюсть его была подвязана.

А в стороне из одинокого дома валил густой чёрный дым, предвестник ярого огня.

## 20

В пять часов вечера, только и дождавшись Нечволодова, чтоб отдать ему приказание занять позиции и удерживать, а о дальнейшем будут распоряжения письменные, начальник дивизии генерал Комаров со штабом отбыл вослед за штабом корпуса. Задание дал он не по карте, а кружа кистью в воздухе, что “крайне неожиданным” было сегодняшнее наступление немцев с севера, он даже не уверен, что это – их истинное направление, может быть загнули крыло, но во всяком случае с севера Белозерский полк держит оборонительную линию, где и надо его сменить. При этом просит он Нечволодова не принять за немцев и не обстрелять половину дивизии Рихтера, которая уже идёт вокруг озера Дидей с запада и вот-вот подойдёт сюда на помощь. Начальник штаба дивизии полковник Сербинович не мог объяснить Нечволодову не только расположения и сил противника, но и расположения и состояния оставшихся на позиции наших частей. Тяжёлый и мортирный дивизионы он обещал ему там, дальше, впереди, а один батальон ладожцев для какой-то цели отобрал. Пока не мог он ничего точно сказать о Шлиссельбургском полке, прошлой ночью выдвинутом в сторону, на восток, и не мог точно назвать, где будет теперь штаб дивизии, но обещал регулярно присылать ординарцев.

И тут же скрылись они так быстро, что Нечволодов не управился даже заметить их отъезд. Попался ему подпоручик из Белозерского полка и доложил, что сам видел, как командир их полка только что сел в автомобиль с Комаровым, и они уехали в Бишофсбург. А их полк? А Белозерский полк понёс утром большие потери и сейчас получил приказ полностью отходить. Но батальона два ещё там, впереди, на позициях.

И так, оставшись с двумя батальонами ладожцев, Нечволодов продвигался дальше, ища свою артиллерию. Он осторожно, с дозорами, двигался вдоль железнодорожной целёхонькой линии к станции Ротфлис, от которой дуга полотна плавно переходила и в поперечную магистраль. И тут, позади рощицы, действительно увидел на огневых позициях одну батарею 42-линейных пушек, дальше одну батарею тяжёлых гаубиц, где-то и остальные должны были быть.

Заложенную грудь генерала – откладывало.

Едва достиг Нечволодов каменной будки на станции Ротфлис, к нему явились туда и командир мортирного дивизиона с трубчатыми чёрными усами и командир тяжёлого дивизиона полковник Смысловский – невысокий, лысый вкруговую до сверкания, но с длинной, как у волшебника, серо-жёлтой бородой и очень уверенным видом. За минувшие

недели Нечволодов раза по два видел обоих, но сейчас особенно заметил радостно-горящие глаза полковника, будто он только и ждал стрелебной работы, просто сиял, что дорвался до неё. (Да уже в том была радость, что не бросать оборудованных позиций).

– Дивизион – весь? – спросил Нечволодов, пожимая руку.

– Все двенадцать! – тряхнул Смысловский.

– Снаряды?

– По шестьдесят на ствол! В Бишофсбурге – ещё, можно подвезти.

– Все на позициях?

– Все. И связаны телефонами.

Это была новинка последних лет: связывать проводами наблюдателей и закрытые позиции батарей, ещё не все умели хорошо.

– И хватило проводов?

– И сюда притяну. Вот, мортирцы помогли.

Дальше не спрашивал Нечволодов, некогда, хотя б и украли, да и видел, как мортирный полковник довольно провёл себя по трубчатым усам.

– А у вас?

– По семьдесят.

Всё остальное здесь не выговаривалось, само было ясно: что будут стрелять, что без приказанья не побегут. Удача! – такие орудия, такие командиры и проводная связь!

И всё сошлось на остриё, на одну-три-пять минут: надо понять местность; отделить, где враг, где мы; выбрать оборонительные линии; отправить туда ладожские батальоны; выбрать с артиллеристами общий наблюдательный пункт; тянуть связь; пристреливать репера. И если за эти одну-три-пять минут будет огляжено, выбрано, послано, скомандовано не в том порядке или неверно, – то за следующие полчаса не будет верно сделано, и если именно в эти полчаса немцы повалят или начнут бить – ничего не стоят наши сияющие глаза, наша связь проводная и шестьдесят снарядов на ствол: мы побежим.

Был тот военный момент, когда время сжимается до взрыва: всё сейчас, ничего потом!

– Тут есть водокачка! – объявил Смысловский. – А дальние репера у нас пристреляны, только продвинулся он.

Нечволодов молча нагнул голову под низкую будку и вышел.

И артиллеристы за ним.

Бегом пробежали они через нагретое, в масляном жарком запахе, рельсовое полотно.

Нечволодов поманил одного батальонного командира (полкового у него тоже не осталось, да и лишнее) – и велел тотчас идти сменять батальон белозерцев, а если плохо линия выбрана – и её сменить, да вкопаться хоть немного, если жить хотят.

За дальним лесом раздался негромкий пук, звук нарос – и жёлтое облачко немецкой шрапнели рвануло впереди, левой и выше водокачки.

– Они уже сюда сегодня бросали, – одобрительно сказал Смысловский. – Но мы молчим – перестали.

Поднялись по внутренней деревянной лестнице, Нечволодов на ходу выправлял бинокль из-под ремней. Выше лестницы оказалось помещение с обзором на запад и север. Уже сидели тут телефонисты при двух зуммерных телефонах. Западное окно было остеклено и низким жёлтым солнцем ослеплено, туда сейчас не смотрелось. А северное – с хорошим видом, рама вышиблена, и не отвечивал немцам бинокль.

В простенке на ларе, около телефонов, развернули и карту.

Из обстановки знали они только то, что своими глазами видели, да по собственному соображению.

Бросили немцы один фугасный снаряд, другой. Тоже репера, наверно. За магистральной железной дорогой в Гросс-Бессау было скопление, шевеление. И по опушке леса. Но ни колонны, ни цепи сюда не продвигалось.

Могли, однако, всякую минуту пойти.

– А там, под Гросс-Бессау, наших не осталось? Мы по своим не лупанём?

– Наверняка нет, я уже заключил.

– Осталось – и много, – сказал серьёзный мортирный усач. – Именно там – слишком много.

В самом деле: до Ротфлиса не было трупов. Все трупы – впереди. Но уже под вопрос “наши?” – они не вполне подходили...

– Солнце слева, на север хорошо стрелять! – объявил Смысловский. – У них вон тригонометрическая вышка – ах бы сшибить!

Слева же, от озера, постреливала немецкая батарея. Значит, и пехота какая-то там. Значит, и Рихтера не ждать.

И распорядился Нечволодов другой батальон ладожцев поставить лицом на запад. И полковую пулемётную команду разделить на два фланга.

А больше у него не осталось никого. Ещё был целый полукруг направо, на северо-восток и восток, – но ставить там было некого. Зачем-то забрал Сербинович батальон ладожцев – и Нечволодов отдал молча.

Когда-то в молодости он горячился всё оспаривать. Но за долгую службу свело кислотой скулы, и он молчал: и когда можно смолчать, и когда надо перемолчать.

Впрочем, справа вот-вот могли показаться пики кавалеристов Ренненкампа.

Впрочем, как и на японской войне, кавалерией в основном не воюют: кавалерию на войне в основном берегут. По сохранению кавалерии хвалят командующих.

Замер, умер, онемел Ренненкампа.

И, стало быть, верно делал Благовещенский, что отходил? с кем же ему смыкаться?

Если Вторая армия входила в Пруссию, как голова быка, то они тут сейчас, на станции Ротфлис, были остриём правого рога. Рог вошёл в тело Восточной Пруссии уже на две пятых глубины. Держа станцию Ротфлис, они пересекали главную и предпоследнюю железную дорогу, по которой немцы могли перебрасываться вдоль Пруссии. Ясно, что немцы без этой станции жить не захотят. И разумно было всему 6-му корпусу именно сюда.

Но и за то уже спасибо судьбе, что над ними не осталось суетливых дураков, того положения нет страшней. Хрупкая кучка их составляла кончик рога – но от них зависело хоть не делать глупостей.

Пришли два командира батареи, начали кричать команды.

До темноты бы можно продержаться – лишь было бы кого поставить направо с заворотом.

Сверху видно было движение отходящих белозерцев – шла пехота и гнали двуколки стороной от станции, под лесом. Немцы били грозней – и уходящие радовались убраться из невозможного места.

Нечволодов спустился с водокачки.

К нему крупными шагами бежал, как прыгая, рослый офицер с дородным, чистым и отчаянным лицом. Из последнего шага-прыжка он остановился перед генералом враз, честь приложил с размаху едва ли не сзади уха и доложил близким басом:

– Ваше превосходительство! Подполковник Косачевский, командир батальона Белозерского полка! Считаю низостью вас покинуть! Разрешите нам не отступить!

Но сказалась нехватка равновесия, он пошатнулся, чуть не навалившись на генерала. Всё то же отчаяние было в его смелых глазах под писаными бровями.

Нечволодов смотрел, как не понимал.

Потом жестокой grimасой повело его губы вбок. Ответил недовольно:

– Ну-у... ну, что ж...

И длинными руками обнял Косачевского, как тот и валился.

А вереница поодаль отступала. Катились двуколки, ковыляли, хромали и шли люди.

Могли ли они так хотеть – остаться? Или их офицеры только? Или один Косачевский?

– Сколько ж вас?

– Да выбило. Да две с половиной роты есть.

– Заворачивайте. Станете вот где, покажу, направо...

Уже радостно завывали по одному наши снаряды, улетая на пристрелку.  
И из разных мест подлетали немецкие фугасы – вольным бичом – и в чёрный фонтан.  
И вот уже очередями.

А вот – и наши погнали очереди. По четыре, это Смысловский. По шесть, это мортирцы.

И лысый бородатый, потирая руки и притопывая, и приплясывая, встретил Нечволодова вверху на водокачке:

– Сшибли, ваше превосходительство! Тригонометрическую – мы им сшибли!!!

Но – не успел Нечволодов поздравить: шорох гигантского падающего дерева – и свист жестокий! сюда!!!

Сотряслась и пылью задымилась водокачка.

## 21

Когда бьёт артиллерия – и без разведки ясно, что противник не бежит, что противник силен. Когда бьёт артиллерия, то на силу и мощь этого грохота возрастает воображаемая сила врага. Чудятся там, за лесами и пригорками, такие же грозные наземные массы – дивизия, корпус.

А их, может быть, и нет. А их может быть два батальона некомплектных да один потрёпанный, и только первые удары сапёрных лопаток долбят одиночные ячейки.

Но надо для этого, чтоб артиллерия была не дурово – толково. И чтоб снаряды её не пресекались. И чтоб стояла она хорошо, не давая себя засечь ни по дымкам, ни по вспышкам – ни при солнце, ни, с упадом его, в сумерках.

Именно так всё и было у Смысловского и мортирного полковника. Именно этого и ожидал от них Нечволодов, с первого взгляда признавши в них природных командиров. А если командир природный – то успех военного события зависит от него больше чем наполовину. Не просто храбрый командир, но хладнокровный и берегущий своих от потерь. Только такому и верят: если скомандует атаку – значит край, значит не избежать. Таким природным командиром ощущал Нечволодов и сам себя, едва не от рождения. Это и дало ему силу в 17 лет добровольно покинуть военное училище, избрать действительную службу, на ней дойти до подпоручика не позже своих оранжерейных сверстников, ученье начать сразу с академии генерального штаба, и в 25 лет окончить её не только по первому разряду, но через чин перескочив за выдающиеся отличия в военных науках.

Сегодня сошлось их счастливо трое, да нанёс Бог Косачевского, и жалкой своею горстью они выполнили невозможное: в узком месте у станции Ротфлис на всё предвечернее время остановили какие-то крупные, всё растущие, с густой артиллерией силы врага.

Сперва, в начале седьмого, после короткого огня, немцы пошли с севера даже не цепью, а колонной, так уверенные от дневного успеха.

Но тут два дивизиона, с пяти утаённых огневых позиций, в двадцать четыре орудия, повернувши от реперов, накрыли наступающих косым дождём шрапнели, затолкли их чёрными столпами фугасов и загнали назад, в невидимость рельефа и леса.

А наши батальоны спешили вкалываться.

Немцы замялись, замерли.

А солнце медленно сползало.

Готовность тут и остаться, никуда не отступать, этот бой принять как главный бой своей жизни и последний бой, завершающий всю военную карьеру, – естественное ощущение природного командира.

Так и стояли они сегодня, вынужденные противником, расположением, обстановкой. Но не худо было бы им всё же иметь приказ: как надолго поставлены они здесь? будет ли подсоба? и что делать дальше?

Однако ничего не приходило им. Не приезжал обещанный связной, – ни с указанием, ни с объяснением, ни даже посмотреть – живы ли тут. Отъехав поспешно, штаб корпуса и штаб

дивизии как бы забыли о своём оставленном резерве – либо уж сами перестали существовать.

В 18.20 Нечволодов послал записку начальнику дивизии, испрашивая дальнейших распоряжений. Ехать с этой запиской предстояло ординарцу неизвестно куда.

Немцы потратили сколько-то времени на наблюдение, на перестройку. Взули и стали поднимать привязной аэростат – с него б засекли наверное все наши батареи – но что-то не сладилось, он не поднялся. Тогда открыли тройной огонь, разнесли до конца водокачку, разрушили всю станцию (штаб резерва перебежал в надёжный каменный погреб), – наконец стали продвигаться, но цепями, осторожно, по рубежам. Не обнаруженные и не подавленные, тут снова сказались русские батареи и накрывали те рубежи, мортирным крутым огнём захватывали накопления за укрытиями.

А солнце зашло за озером. И сразу за ним, у кого зрение острое, можно было различить, как туда же клонился молодой месяц. Кто увидел его из русских – увидел через левое плечо. А немцы – через правое.

Смеркалось. Сильно холодало, переходя в звездистую ночь. От холодка быстро рассеивалась, уходила вверх гарь стрельбы, запахи разрушения. Все надевали шинели.

Около восьми часов немцы замолчали: то ли по общей человеческой склонности принимать вечер за конец дневных усилий, то ли не всё было у них ещё готово.

Распорядясь тотчас же всех кормить уже сваренным, соединённым обедом и ужином, а батальонам выдвинуть полевые караулы, Нечволодов поднялся на стену разбитой станции, оттуда последние серые минуты изглядывал местность. Пока виден был циферблат карманных часов, он удивился в восемь и удивился в четверть девятого: прошло три часа, но никто не ехал из штаба дивизии.

Тогда, осторожно спустясь по разваленной стене, а потом и в погреб, на весь арочный спуск бросая длинную тень за собою вверх, Нечволодов достиг до нижней свечи, присел на корточки и на коленях написал начальнику дивизии:

“20.20, станция Ротфлис.

Бой стих. Тщетно отыскивал ваше расположение. (Как ещё написать снизу вверх: “вы бежали?”). Занимаю позиции с двумя батальонами Ладожского полка у ст. Ротфлис. (О батальоне Косачевского писать нельзя: ведь это дисциплинарное нарушение, что он не отступил). Ищу связи с 13-м, 14-м и 15-м полками. (То есть: со всей остальной дивизией, как ещё крикнуть?) Жду ваших распоряжений”.

Выйдя из погреба, отправил нарочного.

И различил почти в темноте, как быстрыми шагами шёл к нему невысокий бородатый Смысловский.

Обнялись. Фуражка того ткнулась Нечволодову в подбородок.

И прихлопывали по спине друг друга.

– Весёлого мало, – сказал Смысловский радостным голосом. – Снарядов осталось десятка два, у мортирного тоже. Я послал, но не уверен, привезут ли, – что там в Бишофсбурге делается?

Перевести батареи в походный порядок? Это уже отступление.

Но вот что было успехом: по обоим дивизионам всего несколько раненых, и то легко. Собрались донесенья из батальонов – совсем немного и у них, несравнимо с утренним.

Кто упирается – тот не падает. Падает тот, кто бежит.

– Я осколки подобрал, – радовался Смысловский. – Они тут кидали из мортирок, видимо, двадцать одного сантиметра – нич-чего!! Этот погреб – тоже развалит.

Приходили раненые из батальонов. Перевязочный пункт с занавешенными окнами отправлял их в Бишофсбург.

Лёгкий стук повозок выдавал шоссе.

На станции перебежали штабные, связные, переговаривались телефонисты, санитары – сдержанно, но довольный был гулок отовсюду. Долгой дневной дорогой столько повстречав сегодня раненых и перепуганных, все нечволодовцы теперь ощущали себя победителями.

Холодела безветренная тишина. Ни звука от немцев. В темноте не было видно разрушений, простирался куполом мирный звёздный вечер.

– В девять будет – четыре часа, – сказал Нечволодов, сидя на гнупом и покатою своде погреба. – Скоро ли девять?

Присевший рядом Смысловский задрал голову в небо, поводит:

– Да вот-вот, уже подходит.

– Откуда вы...?

– По звёздам.

– И так точно?

– Привык. До четверти часа всегда можно.

– Специально занимались астрономией?

– Порядочный артиллерист обязан.

Знал Нечволодов: пятеро их было братьев, Смысловских, и все пятеро – артиллерийские офицеры, и все деловые, даже учёные. Которого-то из них Нечволодов уже встречал.

– Вас как зовут?

– Алексей Константиныч.

– А где братья?

– Один – тут, в первом корпусе.

Нащупал Нечволодов в кармане шинели забытый электрический фонарик – немецкий ладный фонарик, где-то найденный сегодня и ему подаренный унтером. Засветил на часы.

Было без трёх минут девять.

И, не сходя с погреба, распорядясь негромко, чтобы приготовили конного, стал подсвечивать себе на полевую сумку и, водя световое пятно, писал химическим карандашом:

“Генералу Благовещенскому. 21.00, станция Ротфлис.

С двумя батальонами ладожцев, мортирами и тяжёлым дивизионом составляю общий резерв корпуса. Ввёл ладожские батальоны в бой. С 17.00 не имею распоряжений начальника дивизии. Нечволодов”.

Кому было ещё писать? И как было ещё на военном языке объяснить им: уже четыре часа, как все вы бежали, шкуры! Отзовитесь же! Тут – можно держаться, но где вы все??

Прочёл Смысловскому. Рошко отнёс нарочному. Нарочный поскакал. Ещё приказал Нечволодов: усилить сторожевое охранение батальонов.

И молчали. На косою крыше погреба, подтянув колени, приобняв их руками, Нечволодов молчал.

Разговориться с ним было нелегко. Хотя знал Смысловский, что это генерал не такой простой, на свободе он книги пишет.

– Я вам мешаю? Я пойду?

– Нет, останьтесь, – попросил Нечволодов.

А зачем – непонятно. Молчал, и голову опустите.

Время тянулось. Неизвестное что-то могло меняться, шевелиться, передвигаться в темноте.

Отдельно высказать это страшно: потерять жизнь, умереть. Но вот так сидеть двум тысячам человек в затаённо-гиблою, мирной темноте брошенными, забытыми, – как будто пока и не страшно.

До чего было тихо! Поверить нельзя, как только что гремело здесь. Да вообще в войну поверить. Военные таились, скрывали свои движения и звуки, а обычных мирных – не было, и огней не было, вымерло всё. Густо-чёрная неразличимая мёртвая земля лежала под живым, переливчатым небом, где всё было на месте, всё знало себе предел и закон.

Смысловский откинулся спиной, на наклонном погребе это было удобно, поглаживал длинную бороду и смотрел на небо. Как лежал он – как раз перед ним протянулась ожерельная цепь Андромеды к пяти раскинутым ярким звёздам Пегаса.

И постепенно этот вечный чистый блеск умирал в командире дивизиона тот порыв, с



которым он сюда пришёл: что нельзя его отличным тяжёлым батареям оставаться на огневых позициях без снарядов и почти без прикрытия. Были какие-то и незримые законы.

Он полежал ещё и сказал:

– Действительно. Дерёмся за какую-то станцию Ротфлис. А вся Земля наша...

У него был живой, подвижный, богатый ум, не могущий минуты ничего не втягивать, ничего не выдавать.

– ... Блудный сын царственного светила. Только и живёт подаванием отцовского света и тепла. Но с каждым годом его всё меньше, атмосфера беднеет кислородом. Придёт час – наше тёплое одеяло износится, и всякая жизнь на Земле погибнет... Если б это непрерывно все помнили – что б нам тогда Восточная Пруссия?... Сербия?...

Нечволодов молчал.

– А внутри?... Раскалённая масса так и просится наружу. Толщина земной коры – полсотни вёрст, это тонкая кожица мессинского апельсина, или пенка на кипящем молоке. И всё благополучие человечества – на этой пенке...

Нечволодов не возражал.

– Уже однажды, десять тысяч лет назад, почти всё живое было похоронено. Но это ничему нас не научило.

Нечволодов покоился.

Возник и длился между ними заговор умолчания. Смысловский не мог не знать нечволодовские “Сказания о русской земле” для народного восприятия, а, принадлежа кругу образованному, очевидно не мог их одобрять. Но как вся война, действительно, ничтожна перед величием неба, так и рознь их отступала в этот вечер.

Отступала, но не вовсе терялась. Вот упомянул он Сербию. Сербия была давима хищным и сильным, и защита её не могла умалиться даже перед звёздами. Нечволодов не мог тут не возразить:

– Но где же был бы предел миролюбию Государя? Неужели оставить Сербию в таком унижении?

Эх, мог бы, мог бы Смысловский ответить. Слишком много дурной экзальтации в этой славянской идее – и откуда придумали? зачем натащили? И всех этих балканских ходов не разочтёшь.

Но сейчас – душа не лежала так мелко спорить.

– Да вообще: откуда жизнь на Земле? Когда Землю считали центром Вселенной – естественно было и считать, что все зародыши вложены в земное существо. Но на эту маленькую случайную планету? Все учёные остановились перед загадкой... Жизнь принесена к нам неведомой силой. Неведомо откуда. И неведомо зачем...

Это уже нравилось Нечволодову больше. Военная жизнь, состоящая из однопонятных команд, не допускала двойственного толкования. Но в размышлениях досужных он верил в двойное бытие, откуда и производились чудеса русской истории. Только говорить об этом было труднее, чем писать, говорить почти невозможно.

Отозвался Нечволодов:

– Да... Вы широко всё... А я шире России не умею.

То и плохо. Ещё хуже, что хороший генерал писал плохие книги и видел в этом призвание. Православие у него всегда право против католичества, московский трон против Новгорода, русские нравы мягче и чище западных. Гораздо свободнее было разговаривать с ним о космологии.

Но уже и он двинулся:

– Ведь у нас и России не понимают. *Отечества* – у нас девятнадцать из двадцати не понимают. Солдаты воюют только за веру и царя, на этом и держится армия.

Да что солдаты, когда и офицерам запрещено разговаривать на политические темы. Таков приказ всеармейский, и не дело Нечволодова этот приказ осуждать, раз он высочайше одобрен. Однако приняв под командование 16-й пехотный Ладожский полк, и не мог бы он на минуту забыть, что именно этот полк, вместе с Семёновским и с 1-й Гренадерской

бригадой, только и были опорой трона в Москве в мятеж Пятого года.

– Тем более важно, чтобы понятие Отечества было всеобщим сердечным чувством.

Всё-таки подводил он как бы к своей книге, а разговаривать о ней серьёзно было неудобно. Сам-то Алексей Смысловский по развитию перешагнул и царя, и веру, но как раз отечество он очень понимал, он понимал!

Однако поплетись их разговор туда – по незвучавшим тропкам – должен был бы и Смысловский признать, что очень уважал он своего покойного тестя генерала Малахова, а именно тот, генерал-губернатором Москвы, и подавил восстание Пятого года.

– Александр Дмитриевич! А правда, я слышал, вы ещё в прошлое царствование предлагали реформу офицерского корпуса? гвардии, порядка службы?

– Предлагал, – безрадостно, бесчувственно выразил Нечволодов.

– И – что ж?

Уходя в безголос, вполслуха:

– Плыви течением. Как все плывут...

Посветил фонариком на часы.

Легли ли немцы спать? Или медленно просачиваются, не замеченные сторожевым охранением? Или обходят другой дорогой, а завтра отрежут?

Надо было решать? Действовать? Или покорно ждать? Что надо было делать?

Нечволодов не двигался.

Вдруг услышался близкий шумок, переговоры, бранный выговор – и Рошко подвёл к погребу фигуру:

– Ваше превосходительство! Вот этот олух ищет нас пятый час. Если не спал и не врёт – он чуть к немцам не попал.

И подал пакет.

Вскрыли. При фонарике прочли вдвоём:

“Генерал-майору Нечволодову.

13 августа, 5 ч. 30 м. дня”.

Ещё раз перечли, Нечволодов даже цифру протёр: да, 5.30 пополудни!...

“Начальник дивизии приказал вам с вверенным вам общим резервом прикрыть отступление частей 4-й пехотной дивизии, ведущих бой к северу от Гросс-Бессау...”

– К северу от Гросс-Бессау, – повторил Смысловскому Нечволодов ровным скучным голосом.

К северу от Гросс-Бессау. Позади не только пехоты немецкой, но и тех пушек, что вели огонь минувшие часы, позади их привязного аэростата. Там, где только трупы русские пролежали жаркий день после утреннего смятения. Какие же бредовые тени должны закачаться в голове, чтоб написать “к северу от Гросс-Бессау”?

Ушедший лучик Нечволодов снова направил на бумагу: а что надо было делать после Гросс-Бессау?

Но – нечего было далее читать. Далее стояло:

“За начальника штаба дивизии капитан Кузнецов”.

Не начальник: дивизии, даже не начальник штаба – они только крикнули что-то, прыгая в автомобиль или в шарабан, уже отъезжая, – но за всех за них капитан Кузнецов, который, впрочем, тоже погнался вослед, а с пакетом послать не мог бы вестового недотёпистей.

Нечволодов осветил часы, написал на полученной бумаге: 13 августа, 21 ч. 55 м.

Четыре с половиной часа шло распоряжение. Но могло бы и вовсе не писаться: почти это самое в 5 часов вечера Нечволодов ушами слышал от Комарова.

А за пять часов – недосуг им было рассудить о дальнейшей судьбе резерва.

Нечволодов вскинул голову, будто прислушался.

Не к чему. Тишина.

Тихо сказал:

– Алексей Константинович. Оставьте две гаубицы на позиции, а остальные пусть принимают походный порядок, головой на юг. И мортирному так же сделать.

Громче:

– Миша! Галопом в Бишофсбург, точно выясни сам, какие там части, с какими приказаниями? Кто старший? Везут ли снаряды под наши орудия? Где шлиссельбуржцы? И возвращайся быстрее.

Рошко повторил все вопросы – сочно, точно, без пропуска, метнулся, кликнул сопровождающих, пробежали в несколько ног – и глухо, по мягкому, застучали и стихли копытные удары.

Полтора часа назад с тем и пришёл Смысловский: что ж держать орудия на огневых без снарядов, они погибнут. Но вот он получил разрешение, а самому жалко было сниматься.

Совсем наоборот: довольно было этой тихой ночи, чтобы весь корпус пришёл бы сюда и развернулся рядом с ними.

Уходить – значит, впустую была вся его стрельба, все снаряды полетели впустую, и раненые зря.

А ночь казалась такая тихая, такая безопасная.

Через полчаса или больше Смысловский возвратился к штабу резерва – и нашёл Нечволодова всё на том же погребке. Он прислонился рядом, к своду:

– Александр Дмитрич! А батальоны?

– Не знаю. Не могу, – выдавил Нечволодов.

Это потом всё бывает легко рассудить: конечно, надо было уходить – и быстрее! Конечно, надо было остаться – и твёрже! Может быть, именно в эти минуты их отрезают. Может быть, именно в эти минуты на последней версте к ним подходит помощь. Но сейчас, покинутый всеми, кто только сверху, ничего не зная ни об армии, ни о корпусе, ни о соседях, ни о противнике, в тишине, в темноте, в глубине чужой земли, – принимай решение и только безошибочное!

Не мешая принять, не смея влиять, Смысловский молча стоял, плечом подпирая свод погребка, поглаживая бороду.

Вдруг – изменилось всё! Ожила безлюдная тьма! – хотя и без звука: млечный, белесый, толстый, бесконечно длинный, откуда-то с высоты возник немецкий прожекторный луч!

И враждебной, смертоносной тупой рукой стал медленно ощупывать местность нечволодовского резерва.

Сразу всё изменилось в мире, как если бы в двенадцать тяжёлых орудий дали огневой налёт!

Нечволодов упруго вскочил на ноги и взбежал на верхнюю точку погребка. И Смысловский в несколько прыжков нагнал его там.

Луч – искал. Он медленно-медленно шёл, нехотя покидая освещённую, вырванную полосу. Он начал слева, от озера, и сюда ещё было ему не близко.

Нечволодов подозвал и крикнул распоряжение, передать в батальоны: под лучом ни в коем случае не двигаться, укрыться.

Побежали телефонировать.

Один этот луч – а всё менял. Ясно: только ночь держала немцев. К исходу её или утром они пойдут вперёд.

И если ждать до утра – то стоять здесь и завтрашний весь день.

А если не ждать, то уходить сейчас.

И – засветился второй луч! – в отстоянии от первого и под углом к нему, но не вперекрест, а враспах: второй луч пошёл по правому флангу Нечволодова, по белозерскому батальону.

За молчаливыми этими дубинами света – сколько силы надо было предполагать?

Но и немцы, значит, думали, что нас тут – силища.

Снова подозвал Нечволодов и передал, вытягивая длинную руку:

– Подполковнику Косачевскому: как только луч от них уйдёт – снять батальон с боевого порядка и выводить сюда на дорогу.

Этих – он во всяком случае не мог держать далее.

– Полезли на станцию! – предложил Смысловский.

Обидно было время упустить, не посмотреть тоже. Они сбежали с погреба, подбежали к развалинам станции и, с фонариком, пошли по груде кирпичей к той наклонной балке, по которой можно было выйти на стену.

Но сзади – шум копыт задержал их. Нечволодов узнал голос Рошко.

Вернулись.

Хотя и запыхавшись, однако всё тем же здоровым голосом парубка, выразившим молодую силу тела и розовость щёк, Рошко доложил:

– В Бишофсбурге ни одного высшего командира. Головного эшелона артиллерийского парка не нашёл. Все части перемешаны, в домах – раненые. Никто не знает, куда идти. У одних есть приказание отступить, у других нет. Шлиссельбургский полк нашёлся! – они только что пришли в Бишофсбург с востока. У них есть приказ Комарова отступить ещё дальше, чем мы утром были. А ещё втягивается в город кавалерийская дивизия Толпыго, и приказ ей – идти на запад. А с запада отступает рихтеровская дивизия, обозы. Перемешались, на улицах не протолпиться. Там и к утру не разобраться. Всё.

Прожекторы медленно брали и глубину. Потом перемещались вбок.

Они сходились.

Было четверть двенадцатого ночи. В календарный день 13-го августа резерв Нечволодова задержал противника южнее Гросс-Бессау. Приказа на 14-е августа – не было, самому Нечволодову предстояло его составить.

И, стоя на груде битых кирпичей в развалинах станции, косясь на подходящий прожекторный луч, Нечволодов вымолвил тихо и даже лениво:

– Мы уходим, Алексей Константинович. Снимайте последние орудия. Обоими дивизионами двигайтесь на северную окраину Бишофсбурга. Там на всякий случай приглядите позиции и ждите меня.

– Есть, – ответил Смысловский. – *Feci quod potui, faciant meliora potentes.* (сделал, что мог, кто может – пусть сделает лучше. – лат). Ушёл.

– Рошко! Ладожским батальонам передай: без звука покинуть линии обороны, смотреть связь – и сюда.

На станции всё замерло: пришло сюда мёртво-бледное пятно, свет неживой. Стояли, сидели за домами, за деревьями. Лошади в укрытиях заволновались, ржали, рвали поводья. Приказано было держать их крепко.

Унизительно-беспомощно было замереть в неподвижном свете: луч не сдвинется – и ночь так просидеть.

Но ещё хуже было переползание прожектора – угроза.

Луч ушёл.

Сворачивались. Нечволодов спустился в погреб. Записал своё последнее приказание. Перед тем как свечу гасить, ещё, ещё смотрел на карту.

6-й корпус откатывался, как свободный бильярдный шар, – ни к кому не припутанный, гладкий, круглый, беспечный.

Открывал самсоновскую армию беспрепятственному удару справа.

\*\*\*\*\*

**БЫЛ РОГ,**

**ДА СБИЛ БОГ.**

\*\*\*\*\*

Да, да, да, да! это – порок, эта жила азарта, этот напор, когда увлечённый одной линией, вдруг слепнешь и глохнешь к окружающему и простейшей детской опасности не видишь рядом! Как с Юлей Мартовым когда-то (да когда! – едва отмучивши трёхлетнюю ссылку, едва соберясь за границу!) с корзинкой нелегальщины, с химическим письмом о плане “Искры” – перемудрили, переконспирировали: полагается в пути менять поезда, не подумали, что тот пойдёт через Царское, – и в нём заподозрены, взяты жандармами, и только по спасительной российской неповоротливости полиция дала им время сбыть корзину, а письмо прочла по наружному тексту, не удосужилась подержать над огнём – и тем была спасена “Искра”!

Или как потом: в напряжённой годовой внутривластной войне большинства из двадцати одного против меньшинства из двадцати двух – пропустили, почти не заметили всю японскую войну.

Так – и эту (и не думал о ней, и не писал, и на убийство Жореса не откликнулся). Да потому что: расплодилось всеобщая зараза *объединительства*, за последние годы охватила всю русскую социал-демократию, – огульное объединительство, самое опасное и вредное для пролетариата! примиренчество и объединенчество – идиотизм, гибель партии! И перехватили инициативу вожди слонтявого Интернационала – **они** нас будут мирить! **они** нас будут объединять! зовут на пошлейшее объединительное совещание в Брюссель, – как вырваться?? как избежать?? Всё вниманье, всё напряжение ушло туда – и почти не слышал выстрела в эрцгерцога!... А тут подкатывал в августе конгресс Интернационала в Вене – и никогда ещё так не схватывало напряжение борьбы против меньшевиков! и архи-архи-важно было в эти немногие недели успеть сколотить делегацию изнутри России, как бы от большой действующей реальной партии, – собственно, вот тут, в деревушке Поронино и оформить такую партию! – и мощно явиться на конгресс! А пока изобретал, пока стягивал делегатов (прямым ходом через границу) – объявила война Австрия Сербии, – как не заметил. И даже Германия объявила России! – как нипочём... Да, да, вот так затягивает, когда хорошо разгонишься в борьбе, трудно остановиться. Пустили известие, будто немецкие с-д проголосовали за военные кредиты, – так они себя погубили? так Интернационал лопнул? – нет, как машинально разогнанный продолжал собирать свой съезд.

Вообще – конечно, должна была разразиться империалистическая война! – теоретически предсказана, неуклонно предвидена. Но – не именно конкретно же сейчас, в этом году. И – пропустил. И – вляпался...

Да, да, да, было десять дней – сообразить своё двусмысленное положение возле самой русской границы и повернуть делегатов обратно, и убираться поскорей из этого чёртова Поронино, уже теперь никому не нужного, и изо всей этой захлопнутой Австро-Венгрии: в воюющей стране какая работа? Сразу нужно было мотнуться в благословенную Швейцарию – нейтральную, надёжную, беспрепятственную страну, умная полиция, ответственный порядок! – так нет, даже не пошевелился, в угаре съездовской подготовки, – а тут грянула и австро-русская война – и сразу интернировали всех приехавших делегатов: русские, призывного возраста, как попали, зачем тут?...

Ах, какой просчёт!... Ах, какие нервные три недели с тех пор!...

Сейчас-то – уже позади. По перрону Нового Тарга – до паровоза и назад. До паровоза – и назад. С Ганецким.

Гладко-выбритое, приятное, даже нежное лицо Ганецкого – сейчас такое спокойное, а как иступлённо кричал на новотаргских чиновников! – не бросил в беде. (Ну да он в Новом Тарге – свой, папа тут богач).

Новый Тарг – не Поронино, здесь уже не так опасно, но могут ещё какие-нибудь поронинские фанатики появиться, ещё всё может случиться. Хотя тут, на станции, надёжно расхаживает жандарм, никто не кинется.

Диалектика: жандарм – вообще плохо, а в данный момент – хорошо.

Большое красное колесо у паровоза, почти в рост.

Как бы ты ни был насторожен, предусмотрителен, недоверчив – убаюкивает проклятая безмятежность быта, мещанская в сути своей, семь лет подряд. И в тени чего-то большого, не рассмотрев, ты, как к стенке, прислоняешься к массивной чугунной опоре – а она вдруг сдвигается, а она оказывается большим красным колесом паровоза, его проворачивает открытый длинный шток, – и уже тебе закручивает спину – туда! под колесо!! И, барахтаясь головой у рельсов, ты поздно успеваешь сообразить, как по-новому подкралась глупая опасность.

Самому-то Ленину от властей не грозило: законный паспорт, законное положение политического эмигранта, врага царизма, и возраст 44 года, интернированию не подлежит, – перед австрийской полицией он непорочен. Но – провалить такое мероприятие? Но – дать схватить свои скудные кадры? Кольцо глупости! Стена глупости! Глупейший, простейший, слепейший просчёт! – как с Царским Селом тогда. (Да как и в 95-м году – газету готовили, ни одного номера не выпустили, сразу и провалились...) Да, да, да, да! – сесть в тюрьму революционер всегда должен быть готов (впрочем, умнее избежать) – но не так же глупо! но не так же позорно! но не так же не вовремя дать себе спутать руки!! Только-только собрал начатки партии – и дал её посадить? И даже хуже: делегатов арестовали, а организатор на воле? Как же это будет истолковано??

И слали с Ганецким телеграммы – в политический отдел краковской полиции, социалистическим друзьям в Вене, – телеграммы, потому что так просто не вырвешься из Поронина и сам, на каждый билет от дня войны нужно разрешение тупого старосты, а он не даёт, и даже дружественный полицейский вахмистр не может его склонить легко. А и добравшись до Нового Тарга – нужно новое разрешение, нужно новое доверие, а его не шлют, – и одиннадцать дней ты бегаешь по плитчатому полу комнатёнки в старостве от стенки до стенки, не отлежишься на их визгливой кроватной сетке, а жжёт и палит: могло не быть! – могло не быть!! – сам наделал! – сам влопался!

Никакая внешняя неудача, поражение, подлость и низость врагов – никогда ничто так не травит сердце, как собственный даже малый просчёт, днём и ночью сжигает. Своего просчёта нельзя объяснить объективно, потому нельзя заглядить, забыть, а только: его могло не быть! могло не быть!! могло не быть!!! – а он был, по собственной оплошности.

А каков был Куба (партийная кличка Ганецкого) в эти дни! Не смяк, не сдался. Фонтаном взвил имена – социал-демократов! депутатов парламента! общественных деятелей! – кому сейчас же писать, объяснять, теревить! добиваться вмешательства! И – десяток писем во все концы! Не было поезда вечером – гнал в Новый Тарг на арбе. И бросился в Краков, и встречался там с сочувствующими влиятельными людьми (да он и любому чиновнику сплетёт историю в одну минуту!), и снова телеграфировал в Вену. Любой бы славянин на его месте устал, отстал, бросил, но Ганецкий с неиссякаемой настойчивостью – не отставал. И – уже дальше поручал ему Ленин: добиваться сразу выезда в Швейцарию.

От телеграфных толчков Ганецкого с-д депутаты Виктор Адлер и Диаманд обратились к канцлеру и в министерство внутренних дел, дали письменные ручательства за русского социал-демократа Ульянова, что он не только лоялен к Австро-Венгерской империи, но враг русского правительства злейший, чем сам канцлер. И в краковскую полицию пришло указание: “Ульянов смог бы оказать Австро-Венгрии большие услуги при настоящих условиях”. И так – открылся путь для дальнейших переговоров, действий и выручки интернированных товарищей.

Товарищей освободят – а как же Ленин? А почему же он не сидел?... И с Кубой – чудесное понимание: вот эта комнатёнка староства, во все изводящие дни, – вот это и была его камера! Он – тоже сидел, конечно!

А между тем – опять промах: упустили другую опасность. Что можно было втолковать австрийскому канцлеру и слабоумным австрийским чиновникам – того не могли понять галицийские мужики, тупые, как все мужики в мире, – в Европе ли, в Азии, в Алакаевке.

Живёшь – сам себя со стороны не наблюдаешь, не понимаешь. А в глазах поронинских дремучих жителей: странные люди, не похожи на остальных дачников, – каждый день почта мешками, пакеты, и пишут, и пишут, и немалые денежные переводы из России, и прихожие люди через кордон без паспортов, а тут война, – так вот и есть шпион!? То-то всё ходили по горам – так значит планы снимали? Тут всех и власти предупреждают: задерживайте подозрительных, делают снимки дорог, отравляют колодцы. Шпион?!.

Поразительно. Непостижимо! Шли из костёла крестьянки и, сами ли по себе или увидя Надю и для неё, расшумелись на всю улицу, что они сами выколнут ему глаза! сами вырежут ему язык!... Надя пришла домой бледная, вся тряслась. И испуг её – передавался, захватывал: а что? – и выколнут, ничего удивительного. А что? – и вырежут, ничего невозможного! Очень просто: придут с вилами и ножами... – и к чертям вся партия! И – к чертям всемирная социалистическая революция!... Такой колоссальной опасности не подвергался Ленин никогда за всю жизнь. Никогда ещё ни от кого ему такое не... Да мало ли знает история вспышек простонародной безобразной ярости! От неё нет гарантии даже в цивилизованном государстве, даже в тюрьме безопаснее, чем от тёмной толпы...

Тревожно настраиваться при угрозах – это не паника, это мобилизация.

Так были затемнены и задёрганы последние надины дни и часы в Поронине – а Ленин туда уже и не возвращался. Два года такой безопасный, мирный, посёлок как насторожился к прыжку. Уже и из дому не выходили, плохо спали, плохо ели, нервно укладывались, и, конечно, Надежда наделала массу новых ошибок, не взяла, бросила секретнейшие бумаги, да не владела собой, вникнуть не могла, да и набралось там за два дачных сезона бумажного пудов шестьдесят.

Да как вообще можно медлить, оставаться рядом с русской границей?! Тут и казаки налетят – захватят в один момент.

Только сейчас, перед зелёньким аккуратным поездом, на платформе, где при жандарме и станционных чиновниках уже никак не могло быть бесконтрольной расправы, – сваливалась тяжесть, наконец. Уже дали первый звонок, до отхода поезда оставалось 23 минуты. И все веселели. Стояло и утро весёлое, солнечное, без облаков. Не грузили военных грузов, не ехали мобилизованные, перрон и поезд выглядели как в обычное дачное летнее время. Но ехать поездом – требовалось разрешение полиции, оттого вагоны были полупустые. Надя и тёща сидели уже там, выглядывали из окна. А Владимир Ильич, взявши Якова-Кубу под руку, снова и снова шли вдоль платформы, оба точно равного невысокого роста, оба широкие, только Ильич от кости, а Куба от жирка.

Яков держался очень самоуверенно, коммерсантская манера, изобретательно-шнуровая полоска усов, и глаза настойчивые, спокойно выкаченные, не могут не восхитить.

Когда видишь способность человека на такие дела, следует внимательней прислушиваться и к его словам, какими бы мечтательными они ни казались. Знал Якова давно, со II съезда, но по польским делам, а только этим летом он развернулся с новой стороны и стал самым важным человеком. Он вообще был золото: исключительно исполнительен – и обо всём серьёзном замкнут, слова не вытянет никто чужой. В июне и в июле в окрестностях Поронина они всё ходили с ним на прогулки по нагорью и обсуждали его увлекательные финансовые проекты, целый фейерверк. Может быть из-за своего буржуазного происхождения, Ганецкий имел к денежным делам поразительный нюх и хватку – редкое и выгоднейшее качество революционера. Он правильно ставил вопрос: деньги – это ноги и руки партии, без денег любая партия беспомощна, одно болтунство. Даже парламентская партия нуждается в больших деньгах – для избирательных кампаний, что же сказать тогда о партии революционной, подпольной, которой надо организовать укрытия, явки, транспорт, литературу, оружие и готовить бойцов, и содержать кадры, и в нужный момент совершить переворот?

Да что убеждать! Всем большевикам это было понятно от самого II съезда, от первых шагов самостоятельности: без денег – ни на шаг, деньги решают всё. Первый путь был – выжимать пожертвования из русских толстосумов, из Мамонтова, из “пряника” Коновалова,

да Савва Морозов гнал по тысяче в месяц, как раз на содержание петербургского комитета, но другие отваливали нерегулярно, от купеческого расположения, от интеллигентского сочувствия (Гарин-Михайловекий дал десять тысяч один раз), – а там снова ходи проси. Верней был путь – брать самим. Где – наследство вымотать, как у фабриканта Шмидта, членам партии жениться на наследницах, то в уральских горах обмануть банду Лбова – деньги взять у них, а оружия не привезти. То более систематически – развивать военно-технические средства: в Финляндии готовились печатать фальшивые деньги, уже Красин водяную бумагу доставал, и для эксков готовил бомбы. Эксы пошли исключительно удачно: но на V-м съезде чистоплюйством Плеханова и Мартова запретили их, да остановиться не было сил, и в Тифлисе Камо и Коба триумфально захватили ещё 340 тысяч из казны. Но – забылись, голова закружилась, стали хрустящие царские пятисотки менять в Берлине, в Париже, в Стокгольме, надо бы поумеренней, а царское министерство разослало номера, и Литвинов попался, и Равич попала в Мюнхене, да неудачно записку послала из тюрьмы, перехватили. Стали искать среди женевских большевиков, взяли тринадцать, а Карпинского и Семашко упекли бы на срок, если б либералы из парламента не помогли. Но хуже всех, но гаже всех с фальшивой лицемерной подлой своей принципиальностью раскудахтался Каутский, какая низменная затея: устраивать “социалистический суд” над русскими большевиками и скудоумно велеть *сжигать* полутысячные всеильные банкноты! (Только при одном виде его портрета, святенького седенького старичка в вылупленных очках, – челюсть поводит брезгливостью, как взял лягушку в рот). Вам хорошо, немецкие рабочие богатые, взносы большие, партия легальная, а – нам?? (Да не всё сожгли, конечно, не такие дураки). И ещё потом сглупили, сделали злобного старика денежным арбитром между большевиками и меньшевиками (не избежать было манёвра объединения, значит и деньги, вроде, объединять, а меньшевики-то голенькие; всего шмидтовского наследства скрыть было нельзя, часть дали Каутскому на арбитраж – так потом, при новом расколе, не хотел большевикам возвращать).

И вот этим летом Ганецкий захватил Ленина проектом: создать в Европе своё коммерческое предприятие или войти партнёром в уже действующий трест – и пакет прибыли ежемесячно гарантированно передавать партии. И это не было русской маниловщиной, каждый предлагаемый шаг поражал точным расчётом. Не Куба сам придумал, это шло из бегемотской гениальной головы Парвуса, от него письма были Кубе из Константинополя. Когда-то нищий, как все социал-демократы, и поехавши в Турцию стачки устраивать, он откровенно теперь писал, что богат, сколько ему надо (по доходившим слухам – сказочно), пришло время обогатиться и партии. Он хорошо писал: для того чтобы верней всего свергнуть капитализм, надо самим стать капиталистами. Социалисты должны прежде стать капиталистами! Социалисты смеялись, Роза, Клара и Либкнехт выразили Парвусу своё презрение. Но может быть поторопились, Против реальной денежной силы Парвуса насмешки вяли.

Отчасти за этими проектами Ганецкого и прохлопали начало войны.

Их же обсуждали и сейчас, в последние минуты. И как связь держать. Да увидятся скоро: вот Зиновьев поедет за Лениным вслед, а там и Ганецкий, как только отпишется от австрийской воинской повинности.

Тут дали второй звонок. Ильич вскочил на подножку шустро – без шляпы, почти совсем лысый, в поношенном костюме, с заостренным лицом, с неотпустившей его беспокойной оглядкой, отросшая борода, неаккуратная, – и правда чем-то похож на шпиона, хотел пошутить Ганецкий, но знал, что Ленин обижается на шутки, и удержался.

Он и сам, с печальными осмотрительными глазами, с лицом коммерсанта, а в затёртом костюме, на кого ж и был похож, если не на шпиона?...

Строго стоял дежурный по станции в высокой красно-чёрной фуражке. Ударили в колокол три раза. Начальник поезда затрубил в рожок и побежал.

И помахивали отъезжающим. И помахивали те в открытое окно.

А всё-таки тут жили неплохо. Покойно, размеренно, не то что Париж суматошный.



Сколько по Европе ни мытарился Ленин – а европейцем не стал. Условия жизни должны быть узкими, это лучшее состояние для действия.

И сколько прошло здесь волнений. Радостей.

Разочарований.

Малиновский...

Вместе с платформой, со станцией – оторвало оставшихся. И даже Ганецкий, какой он ни был достойный надёжный партийный товарищ, сейчас пока он отлично своё дело сделал, – а из следующего этапа жизни мог бы и выпасть. Но очень может быть, что на каком-то из следующих он снова окажется самым главным нужным человеком и к нему архисрочно понесутся бессонные письма с двойным и тройным подчёркиванием.

Никогда никем не сформулированный, существовал непреложный закон революционной борьбы или, может быть, всякого человеческого развития, много раз наблюдал его Ленин: в каждый период выступают, приближаются один-два человека, наиболее единомыслящих именно в данную минуту, наиболее интересных, важных, полезных именно сейчас, вызывающих именно сегодня к наибольшей откровенности, беседам и совместным действиям. Но почти никто из них не способен удержаться в этой позиции, потому что ситуации меняются всякий день, и мы должны диалектически меняться вместе с ними – и даже мгновенно, и даже опережая их, и в этом политический гений! Естественно, что тот, и другой, и третий, попадая в вихрь Ленина, тотчас вовлекаются в его действия, выполняют их в указанный момент с указанной скоростью, всеми средствами, и жертвуя своим личным, – естественно, ибо это делается не для Владимира Ильича, но для властной силы, проявляемой через него, а он – только безошибочный её указатель, всегда точно знающий, что верно лишь сегодня, и даже к вечеру не всегда то, что утром. Но как только эти промежуточные люди упрямылись, переставали понимать нужность и срочность своего долга, начинали указывать на противоречивость своих чувств или на особенности своей личной судьбы – так же естественно было отвести их с главной дороги, устранить, забыть, а то изругать и проклясть, если требовалось, – но и в этом устранении или проклятии Ленин действовал волей влекущей его силы.

В такой позиции близости-единомыслия затяжно держались енисейские ссыльные, но лишь потому, что территориально не было никого ближе. В такой позиции рисовался издали Плеханов, но каким холодным жестоким уроком отрубил он это в несколько встреч. В такой позиции, и даже в опасной недопустимой близости находился годами Мартов. Но сдал и он. (От Мартова горько, вошло в опыт навсегда: в человечестве вообще не может быть такого типа отношений – “дружба”, вне отношений политических, классовых и материальных). Был близок Богданов, пока добывал для партии финансы, но это отпало, а он, не поняв крутизны, ещё претендовал направлять – и сорвался. Некоторые удерживались довольно постоянно, как Красин, всегда незаменимый в добывании денег. А тем временем в вихрь втягивались новые верные – Каменев, Зиновьев... Малиновский...

Держался и двигался рядом лишь тот, кто понимал партийное дело правильно, и лишь – пока понимал. А миновалась частная срочная задача, и обычно миновалось понимание, и все эти недавние сотрудники оставались безнадежно вращенными в тупую неподвижную землю, как придорожные столбики, и отставали, и отрывались, и забывались, а иногда на новом повороте неслись навстречу остро, как уже враги. А были единомышленники, близкие на неделю, на день, на час, на один разговор, одно сообщение, одно поручение, – и Ленин искренне отдавал им всю горячность, натиск необходимого дела, – каждому из них как самому важному человеку в мире, – а через час они уже и отваливались, и забывалось начисто, кто они и зачем. Так показался близким Валентинов, когда приехал первый раз из России, хотя сразу смутил своей тупостью, что какая-то им сделанная слесарная деталь ему, рабочему, даже важнее политической борьбы. И это быстро сказалось: не хватило у него стойкости против Мартова, а значит стал всё равно как и меньшевик.

Поезд катил под уклон, сильно огибая горки, – а по ним тропинки и дороги колёсные бежали по склонам и вверх, мимо хуторов, стогов и неубранного, и, пока ещё видна горная

дорожка, по ней успеваешь глазами взбежать, как ногами. Много было похожено вокруг Поронина, а здесь не был.

И – сел на скамью. Думать ли, заниматься – но не размазывать сантиментов.

И семейные, по взгляду, по движению всё поняв, не лезли с мелким бытовым, и не возились лишнего, смиренно сидели на своей скамье.

Все эти изнурительные годы, с Девятьсот Восьмого, после поражения революции, все и были: отход и отброс людей. Ушли впередисты, отзовисты, ультиматисты, махисты, богостроители... Луначарский, Базаров, Алексинский, Бриллиант, Рожков, Лядов, Лозовский, Мануильский, Горький... Вся старая гвардия, сколоченная в расколе с меньшевиками. И так уже казалось минутами, что никого не останется, что вся партия большевиков – он один с двумя женщинами да десяток третьестепенных стёртых, кто ещё приходил на большевистские собрания в Париже, а вылезешь на собрании общем – своих нет и с трибуны столкнут. Уходили – все подряд, и какая сила уверенности нужна была – не усумниться, не закачаться, не побежать за ними мириться, но, провидя будущее, стоять и знать: сами возвратятся, сами очнутя, а кто не вернётся – и пропади.

Шестой и Седьмой годы – ещё было совсем не поражение, ещё всё общество кипело, вертелось, втягивалось в воронку, Ленин сидел в Куоккале и ждал, и ждал второй волны. Но вот с Восьмого, когда всю страну захватила реакционная свора, а подполье как будто отсыхало, рабочая жизнь уходила в открытое копошенье, в профсоюзы, в страховые кассы, а вслед за подпольем как будто отживала, становилась тепличной и эмиграция... Там – Дума, легальная печать, – и каждый эмигрант старался печататься там...

Вот почему – замечательно, что началась война! Это радость, что началась!! Там их сейчас всех зажмут, ликвидаторов, значение легальности резко упадёт, а значение и сила эмиграции, напротив, увеличатся! Центр тяжести русской общественной жизни снова переносится в эмиграцию!!

Это всё Ленин оценил в первые нервные дни сиденья в Новом Тарге, не давая личной неудаче заслонить великую всеобщую удачу. Он принял в себя и втянул в проработку – всеевропейскую войну. А из всякой проработки в ленинском мозгу рождались готовые лозунги – в создании лозунга для момента и был конечный смысл всякого обдумывания. И ещё – в переводе своих доводов на общеупотребительный марксистский язык: на другом не могли его понять сторонники и последователи.

И что отсюда выносилось – первому открыл Ганецкому: надо понять, что раз война началась, то не отмахиваться от неё, но – использовать! Надо переступить через поповское представление, иногда зароненное и в пролетарские головы, что война – несчастье или грех. Лозунг “мир во что бы то ни стало” – поповский лозунг! Какую линию в создавшейся обстановке должны повести революционные демократы всего мира? Прежде всего: необходимо опровергнуть басню, что в поджоге войны виноваты Центральные державы! Антанта будет сейчас прикрываться, что “на нас, невинных, напали”. Они даже придумывают, что “для дела демократии” нужно защищать республику рантье. Смять, раздавить это оправдание! Какая разница – кто на кого первый напал? Следует пропагандировать, что виноваты все правительства в равной мере. (И даже: немецкие – меньше других). Важно – не “кто виноват?”, а – как нам выгоднее использовать эту войну. “Все виноваты” – без этого невозможно вести работу на подрыв царского правительства.

Да это счастливая война! – она принесёт великую пользу международному социализму: одним толчком очистит рабочее движение от навоза мирной эпохи! Вместо прежнего разделения социалистов на оппортунистов и революционеров, деления неясного, оставляющего лазейки врагам, она переводит международный раскол в полную ясность: на патриотов и антипатриотов. Мы – антипатриоты!

И – кончилась эта лавочка Интернационала с “объединением” большевиков и меньшевиков! и уже никакого венского конгресса не будет. Уж: теперь не заикнутся. Теперь зазияла трещина так трещина, уже не помиришь! А в июле как прихватили, прямо клещами за горло: не видим разногласий, достаточных для раскола! присылайте делегацию –

мириться! С меньшевистской сволочью мириться! А теперь за военные кредиты проголосовали – так уже вам не подняться, мёртвое тело! Ещё долго будете корчить из себя живых, но надо вслух объявить: мертвы! На этой инессиною поездке к вам в Брюссель – последняя наша с вами встреча, хватит!

Тут спохватилась тёща, что один чемодан забыли! Бросились переглядывать, пересчитывать, под лавками и на верхних сетчатых полках, – нет! Что за позор! Как с пожара. А ещё – какие бумаги забыли, какие бумаги, даже списки адресов! Владимир Ильич расстроился. Без порядка в семье и в доме – невозможно работать. Смешно выразиться, но и домашний порядок есть часть общепартийного дела. Не смея выговаривать Елизавете Васильевне – она ответить умела, и они друг друга уважали, даже мелкими подарками задабривал её, – строго высказал Наде. Какой уж от неё порядок, если она пуговицы пришить хорошо не может, пятна вывести, он сам – лучше. Носового платка ему, не скажешь – не сменит.

Ошибок он вообще не прощал. Ничьей ошибки он не мог забыть никогда, до смерти.

Отвернулся в окно.

Изгибался поезд и скатывался постепенно с гор. То серым, то белым паровозным дымом проносило иногда мимо окошек. Надоели уже и горы эти за эмиграцию.

А в Надю всё уходило, как в подушку: ну, забыли, ну, не возвращаться в такой обстановке. Из Кракова напишем, перешлют чемодан почтой.

Надя прочно знала, много раз уже применяла: если брать на себя, не упрекать, что и он виноват, – Володя успокоится и отойдёт. Больней всего ему, если окажется, что он – тоже виноват.

Постаревший, насупленный, с наросшей неподстриженной усобородой, с обострёнными рыжими бровями, темнолобый, он смотрел в окно, но косо, ничего там не различая. Все выраженья на его лице Надя хорошо знала. Сейчас не только нельзя было перечить, но и вообще: ни обратиться к нему ни с чем, ни отвлечь его ни словом, даже сказанным с матерью. Надо было дать ему вот так посидеть, углубиться в себя, от всех страданий очиститься молчанием – и от новотаргского бешенства, и от поронинских угроз, и от чемодана. В такие часы уходил ли он один гулять или молча сидел и думал – от, думотни, в полчаса, и в полчаса, лоб его – перевёрнутый котёл, и окруженье глаз переглаживались от мелких сердитых складок – к большим и крупным.

Международный раскол социалистов давно назрел, но только война проявила его и сделала необратимым. И – архивеликолепно! Хотя от массовой измены социалистов как будто ослабляется пролетарский фронт, а нет: и хорошо, что они изменили! Тем легче теперь настаивать на своей отдельной линии.

А что было говорить месяц назад? как выкручиваться? Догадка: послать в Брюссель – Инессу вместо себя! Вы ждали меня самого, так просто? – утритесь, господа Каутский, Плеханов и Вандервельде! Главой делегации – Инессу! С её прекрасным французским языком! С её несравненной манерой держаться! – холодно, спокойно, немного презрительно. (Французы в президиуме будут сразу покорены. А немцы будут плохо тебя понимать – и очень хорошо! А ты от немцев требуй после каждой речи – перевод!) Вот это ход! Вот растеряются, ультрасоциалистические ослы!... И – захват: скорей! писать! узнать: поедет ли? может ли? На Адриатике отдыхает с детьми? – чепуха, для детей кого-то найти, расходы оплатим из партийной кассы. Занята статьёй о свободной любви? – не говоря обидного (стоцентной партийкой женщина никогда не может быть, обязательно какие-нибудь штучки): эта рукопись подождёт. Я уверен, что ты – из тех людей, которые сильней, смелей, когда одни на ответственном... Вздор, вздор, пессимистам не верю!... Превосходно ты сладишь!... Я уверен, ты сможешь быть достаточно нахальна!... Все будут злиться (я очень рад!), что я отсутствую, и, вероятно, захотят отомстить тебе, но я уверен: ты покажешь свои ноготки наилучшим образом!... А назовём тебя... Петрова. Зачем открывать твоё имя ликвидаторам? (“Петров” – и я, никто не помнит, но ты-то помнишь. И так, через псевдонимы, мы выйдем на люди слитно – открыто и не открыто. Ты действительно будешь

– я). Дорогой друг! Я бы просил тебя согласиться! Ты едешь?... Ты едешь!... Ты едешь!! Да, конечно, надо спеться детальнее. И архиспешить. Ликвидаторам надо просто врать: обещай, что может быть мы потом примем общую резолюцию. (А на деле мы конечно никогда ничего не примем! ни одного их предложения!) И: о болезни детей, ври о болезни детей, что из-за них не можешь задерживаться. Европейских социалистов, эту сволочь обывательскую, надо убедить, что большевики – наиболее реальная партия из русских. Подпусти им там профсоюзов, страховых касс – на них это архивляется. Задающих вопросы – сразу отсекай, отклоняй, отбивай! Всё время – наступательная позиция! Розу – тyani за язык, докажи, что у неё в Польше нет реальной партии, а реальна – оппозиция Ганецкого. Ты всё поняла! Ты едешь!... Крепко жму руку! Very truly... Твой...

Тут подпортил Ганецкий – поставил ультиматум (вообще-то справедливый): 250 крон на поездку в Брюссель, иначе не едет. А партийную кассу надо беречь. (Да один ли Ганецкий! – есть много людей, кого можно бы утилизировать, но нельзя разбрасывать денег...) А без Ганецкого паршивая польская оппозиция изменила, пошла на гнилое идиотское примиренчество с Розой и Плехановым.

... Всё равно, ты провела дело лучше, чем мог бы я. Помимо того, что языка не знаю, я ещё непременно бы взорвался! не стерпел бы комедианства! обозвал бы их подлецами! А у тебя вышло спокойно, твёрдо, ты отпарировала все выходки. Ты оказала большую услугу партии! Посылаю тебе 150 франков. (Вероятно, слишком мало? Дай знать, насколько больше израсходовала. Вышлю). Пиши: очень ли устала? очень ли зла? Почему тебе “крайне неприятно” писать об этой конференции?... Или ты заболела? Что у тебя за болезнь? Отвечай, иначе я не могу быть спокойным.

Инесса – единственный человек, чьё настроение передаётся, потягивает, даже издали. Даже – издали больше.

А вот что: с военной цензурой теперь покинуть надо это “ты”. Можно дать повод для шантажа. Социалист должен быть предусмотрителен.

Нарушилась переписка с начала войны, придут теперь письма в Поронино. Но, по всему, отправив детей в Россию, должна Инесса вернуться в Швейцарию. Может быть – там уже.

Женщины тихо разговаривали, как обойтись в Кракове. Надя предложила, чтобы мама с Володей посидели с вещами, а она – к той хозяйке, у которой останавливалась Инесса: удобно было бы там и стать сегодня.

Сказала – а сама смотрела как бы мимо володиной щеки в окно. Он не изменился, не повернулся, не отозвался, а всё-таки, по движениям жилок и век, Надя убедилась, что – слышал, и – одобряет.

Удобно, быстро, не искать – да. Но и необходимости останавливаться именно в инессинной комнате – не было. Только то ещё, что Володя не любил привыкать к новому, да на короткий срок. Только то и было оправданием перед матерью.

Перед матерью – было всегда унизительно. Прежде – больше, теперь – меньше. Но и теперь.

Однако Надя воспитывала в себе последовательность: не отклонять с пути Володю ни на волосок – так ни на волосок. Всегда облегчать его жизнь – и никогда не стеснять. Всегда присутствовать – и в каждую минуту как нет её, если не нужно.

Однажды выбрав, надо держаться. Запрягшись – уже тянуть. О сопернице – не разрешить себе дурного слова, когда и есть, что сказать. Встречать её радостно, как подругу, – чтобы не повредить ни настроению Володи, ни его положению среди товарищей. На прогулки брести и усаживаться читать – втроём...

Когда это всё началось, даже раньше, когда студентка Сорбонны с красным пером на шляпе (как никогда не осмелилась бы ни одна русская революционерка), хотя и с двумя мужьями и пятью детьми за спиной, Инесса первый раз пошла в их парижскую квартиру, а Володя только ещё привстал от стола, – как от удара ветра открылось Наде всё, что будет, всё, как будет. И своя беспомощность, помешать. И свой долг не мешать.

Надя первая сама и предложила: устранимся. Не могла она взять на себя быть препятствием в жизни такому человеку, довольно было препятствий у него всех других. И не один раз она порывалась – расстаться. Но Володя, обдумав, сказал: "Оставайся." Решил. И – навсегда.

Значит – нужна. Да и правда, лучше её никто бы с ним не жил. Смириться помогало сознание, что на такого человека и не может женщина претендовать одна. Уже то призвание, что она полезна ему среди других. Рядом с другой. И даже – во многом ближе её.

А оставшись – осталась никогда не мешать. Не выказывать боли. Даже приучиться не ощущать её. А чтоб эта боль выжглась и отмерла – последовательно не щадить её, колоть, жечь. И вот если практически удобно было остановиться в недавней инессинной комнате, то в ней и надо было остановиться, и не перетравливать, когда, сколько, как Володя пробыл в ней.

Только вот на глазах матери...

Скоро и Краков. Володя светлел. Значит, мысли его хорошо продвинулись.

Нет, замечательно ты съездила в Брюссель, не жалея. Единственное жаль – не успела затеять переписки с Каутским, как я тебе... (Ты бы переписывалась от своего имени, а письма тебе приватно готовил бы я). Какая он подлая личность! Ненавижу и презираю его – хуже всех! Какое поганенькое дрянненькое лицемерие!... Жаль, жаль, не начали эту игру, мы б его разыграли!

Повеселел, даже посвистел Володя чуть-чуть. И, чемодана больше не вспоминая: поедим? И – перочинный нож вынул, всегда с собой.

Простелили салфетку, достали цыплёнка, крутых яиц, бутылку с молоком, галицийского хлеба, масло в пергаментной бумаге, соль в коробочке.

И Володя даже расшутился, что тёща у него – капиталист и пятнает его революционную биографию.

А действительно, надо было денежные дела решать, и проворно. В краковском банке лежали большие деньги – кто ж мог ждать эту войну! – на имя Елизаветы Васильевны, больше 4000 рублей. И теперь должны были секвестровать как имущество враждебных иностранцев, вот маху дали! Надо было вырвать деньги во что бы то ни стало, найти нужного ловкого человека. И перевести их в надёжное – в золото, можно часть в швейцарские франки. И увозить с собой.

И сразу – в Вену, не задерживаясь. И кончать с визами и поручительствами в Швейцарию, надо скорей туда, Австро-Венгрия – воюющая страна, мало ли что случится.

В чём всё-таки этот оппортунистический Интернационал себя оправдывал – никогда не отказывал в личной помощи. И в каждой стране у них – чуть не свои министры. Сейчас вот, настаивал Куба, надо нанести визиты Адлеру и Диаманду (хотя уже телеграфировал сердечную благодарность), и ещё лично благодарить за освобождение и ни в коем случае не дерзить. Улыбался Володя криво, в крошках желтка и белка: да, вот такой деликатный поворот: трухлявые ревизионисты, сволочь обывательская, а надо ехать любезничать. И в конце концов это справедливо: не способны на принципиальную линию, так пусть хоть в жизни помогают. Конкретная реальная платформа для временного тактического соглашения с ними. И дальше, в Швейцарии, не обойтись без этой своры: без поручительства не впустят, а кто ж другой поручится? Роберт Гримм – мальчишка, в прошлом году познакомились в Берне, когда ты в больнице лежала.

Не царапали Ленина насмешки, не гнули унижения, ничего он не стыдился – а всё-таки тяжело в сорок четыре года кланяться молодым, ото всех зависеть, не иметь собственной силы.

Не уехали б в 908-м из Женевы в Париж – не надо б сейчас и в Швейцарию добиваться, уж как бы там сидели прочно и безопасно – и со своей типографией, и со связями, и со всем. Скажи, кой чёрт нас тогда потянул в Париж?

(Не поехали бы в Париж – не узнал бы Инессы).

Да даже и прошлым году, когда лечили твою базедку у Кохера и узнали, что такое

настоящая медицина (Володя и сам тогда книги по базедовой читал, проверял), – вот бы нам сообразить и остаться сразу в Берне. А что? Если нужно пережить царизм, а возраст – уже не двадцать пять, то здоровье революционера становится тоже его оружием. И партийным имуществом. И надо поддерживать его всеми партийными финансами, не жалея. Надо жить при отличных врачах, и даже ближе к первоклассным знаменитостям, – где ж, как не в Швейцарии? Не у Семашко же лечиться, смешно!... Наши революционные товарищи как врачи – ослы, неужели им доверить своё тело ковырять?

А ты – и сейчас не выздоровела. Надо тебе ближе к Кохеру.

Но, Володя, но в Швейцарии ужасен мещанский дух, ты вспомни, как нам там было затхло! Ты вспомни, как от нас шарахались после тифлисского экса! – у них, видите ли, право стоит так непорочно, они не могут потерпеть преступлений против собственности!... И это – социал-демократы?!

Всё правильно, но в Швейцарии вот так не попадёшь, как мы в Поронине попали. А Семашко и Карпинского мы освободили шутя.

И какие библиотеки там, как заниматься хорошо! – и прежде, а сейчас-то, во время войны! Исключительная культивированность и удобства жизни.

Чистая вымытая страна, приятные горы, приветливые пансионы, прозрачные озёра с плавающей птицей.

Отстойник русской революции.

И при нейтральности страны только оттуда и можно будет держать, международные связи.

Обдумывать, обдумывать: что же за радость – невиданная всеевропейская война! Такой войны и ждали, да не дожили Маркс и Энгельс. Такая война – наилучший путь к мировой революции! То, что не разожглось, не раздулось в Пятом году, – само теперь раздуется! Благоприятнейший момент!

Раскручивалось и предчувствие: вот оно, то событие, для которого ты жил, чтоб его разгадать! Двадцать семь лет политического самообразования, книги, брошюры, партийная перебранка, холодное неудачное наблюдение первой революции, для всех в Интернационале – нарушитель порядка, зарвавшийся сектант, слабая маленькая тающая группка, называемая партией, – а ты ждал, сам не зная, вот **этого** момента, и момент пришёл! Крутится тяжёлое разгонистое колесо – как красное колесо паровоза, – и надо не потерять его могучего кручения. Ещё ни разу не стоявший перед толпой, ещё ни разу не показавший рукой движения массам, – какими ремнями от этого колеса, от своего крутящегося сердца, их всех завертеть, но – не как увлекает их сейчас, а – в обратную сторону?

Краков.

Одевались, собирались.

В рассеянности собирался, не вполне, понимая что вот – Краков, и что делать надо.

Понесли вещи сами, без носильщика.

Оглушенье от многолюдья, отвыкли, а тут ещё – особенное, военное. Людей на перроне – впятеро больше, чем может быть в будни, и впятеро озабоченнее, и спешат. Монахини, которым бы тут делать нечего, – толкаются, всем суют образки и печатные молитвы. Ленин отдернул руку как от гадости. У пассажирской платформы, не на месте – товарный вагон, и в него несут, несут какие-то большие ящики; написано: порошок от блох. Толкаются военные, штатские, железнодорожники, пассажиры. Через густоту перрона – медленно, трудно, чуть не локтями. А по стене вокзала – крупный плакат, жёлтая ткань и красными буквами:

Jedem Russ – ein Schuss!

(В каждого русского – стреляй!)

Совсем это не к ним относилось, а нельзя вовсе не вздрогнуть.

В зданьи вокзала – набито и душно. Нашли местечко – в тени, на возвышении, у боковой стены, углом на площадь. Тут ещё больше густела толпа и много женщин. Посадили

тёщу на скамейку, вокруг неё все вещи. Надя поехала к инессинной хозяйке. Владимир Ильич побежал купить газет и шёл назад, читая их по дороге, обталкиваясь со встречными, тут присел на твёрдый чемодан, зажимая газетный ворох между локтями и коленями.

В газетах не было особенно радостно: и о галицийской битве и о Восточной Пруссии писалось уклончиво, значит русские были не без успеха. Но – бои во Франции! но – война в Сербии! – кто это мог мечтать из прежнего поколения социалистов?

А – растеряются. Выше “мира! мира!” не поднимутся. Кто не “защитники отечества”, те в лучшем случае будут вякать и тявкать “прекратить войну!”.

Как будто это возможно. Как будто кому-то посильно – схватиться руками за разогнанное паровозное колесо.

Помойные слюнявые социалистики с мелкобуржуазной червоточинкой, чтобы захватить массы, станут болтать за мир и даже против аннексий. И всем покажется, что это натурально: против войны – так значит “за мир”?... По ним-то первым и придётся ударить.

Кто из них имеет зрение увидеть, имеет волю переступить в это великое решение: не останавливать войну – но разгонять её! но – переносить её! – в свою собственную страну!

Не будем прямо говорить “мы за войну” – но мы за неё.

Тупоумный предательский лозунг “мира”! Для чего же пустышка никому не нужного “мира”, если не превращать его тотчас в **гражданскую войну** и притом **беспощадную**?! Да как предателя надо клеймить всякого, кто не выступит за гражданскую войну!

Самое главное – трезво схватить расстановку сил, трезво понять – *кто теперь кому союзник* ? Не с поповской глупостью вздымать рукава между фронтов. Но увидеть в Германии с самого начала – не равно-империалистическую страну, а – могучего союзника. Чтобы делать революцию, нужны ружья, нужны полки, нужны деньги, и надо искать, кто заинтересован дать их нам? И надо искать пути переговоров, тайно удостовериться: если в России возникнут трудности и она станет просить о мире – есть ли гарантия, что Германия не пойдёт на переговоры, не покинет русских революционеров на произвол судьбы?

Германия! Что за сила! Какое оружие! И какая решительность – решительность удара через Бельгию! Не опасаются, кто и как заскулит. Только так и бить, если начал бить! И решительность комендантских приказов – вот уж, не пахнет русской размазнёй. (И даже та решительность, с какой хватают русских социал-демократов. Тем более – с которой освобождают их).

Германия – безусловно выиграет эту войну. И так – она лучший и естественный союзник против царя.

А-а, попался хищный стервятник с герба! – схвачена лапа, не выдернешь! Сам ты: выбрал эту войну! Об-кор-нать теперь тебя – до Киева! до Харькова! до Риги! Вышибить дух великодержавный, чтоб ты подох! Только и способен давить других, ни на что больше! Ампутировать Россию кругом. Польше, Финляндии – отделение! Прибалтийскому краю – отделение! Украине – отделение! Кавказу – отделение! Чтоб ты подох!...

Площадь загудела, нахлынула сюда, к перронной решётке, дальше не пускала полиция. Что это? Подошёл поезд. Поезд раненых. Может быть, первый поезд, из первой крупной битвы. Толпу раздвигали – для вереницы ожидающих санитарных карет и автомобилей, чтобы где развернуться им. Здоровенные нахмуренные санитары быстро выдавали от поезда к каретам носилки за носилками. А женщины напирали, продирались со всех сторон, и между головами и через плечи смотрели с жадным страхом на кусочки серых лиц между бинтами и простынями, ужасаясь угадать своего. Иногда раздавались вопли – узнавания или ошибки, и толпа сильнее сжималась и пульсировала как одно.

С возвышения, где сидели Ульяновы, было видно хоть издали, но хорошо. И ещё из этого положения Ленин встал и пошёл к парапету ближе.

С каретами и носилками была нехватка, а тем временем, поддерживаемые сестрами милосердия, выходили с перрона и на своих ногах – фигуры белые, в серых халатах и в синих шинелях, перебинтованные толсто по головам, по шеям, по плечам и рукам, и двигались, кто осторожнее, кто смелей, – и вот уже к ним., теперь к ним уже! бросались

встречающие, теснилась толпа, и тоже кричали, режуще и радостно, и обнимали, и целовали, то ли своих, то ли чужих, отбирали от сестёр, подносили их мешочки, – а ещё выше, над всеми головами, плыли к раненым из вокзального ресторана на поднятых мужских руках – кружки пива под белыми шапками и в белых тарелках жаркое.

У парапета стоял освежённый, возбуждённый, в чёрном котелке, с неподстриженной рыжей бородкой, с бровями, изломанными в наблюдении, с острыми щупкими глазами, и одна рука тоже выставлялась с пальцами, скрюченными вверх, как поддерживая большую кружку, а на горле его глоталось и дрожало, будто иссох он в окопах без этой кружки. Глаза его смотрели колко, то чуть сжимаясь, то разжимаясь, выхватывая из этой сцены всё, что имело развитие.

Просветлялась в динамичном уме радостная догадка – из самых сильных, стремительных и безошибочных решений за всю жизнь! Воспаряется типографский запах от газетных страниц, воспаряется кровавой и лекарственный запах от площади – и как с орлиного полёта вдруг услеживаешь эту маленькую единственную золотистую ящерку истины, и заколачивается сердце, и орлино рухаешься за ней, выхватываешь её за дрожащий хвост у последней каменной щели – и назад, и назад, назад и вверх разворачиваешь её как ленту, как полотнище с лозунгом:...ПРЕВРАТИТЬ В ГРАЖДАНСКУЮ!... – и на этой войне, и на этой войне – погибнут все правительства Европы!!!

Он стоял у парапета, возвышенный над площадью, с поднятою рукою – как уже место для речи заняв, да не решаясь её начать.

Ежедневно, ежечасно, в каждом месте – гневно, бескомпромиссно протестовать против этой войны! Но! -

(имманентная диалектика:) желать ей – продолжаться! помогать ей – не прекращаться! затягиваться и превращаться! **Такую** войну – не сротозейничать, не пропустить!

Это – подарок истории, такая война!

## 23

### (Обзор по 13 августа)

**На что не простягало воронье смельство генерала Жилинского – охватывать в Пруссии больше, чем угол Мазурских озёр, – то, глянув на карту, мог бы понять германский гимназист: уязвимость русскому удару целиком всего восточно-прусского рукавчика, выставленного к востоку и под мышкой подхваченного Царством Польским. Сам собою предвиделся русский замысел: Пруссию будут ампутировать. С востока, от Немана, куда германская армия всё равно не решилась бы наступать, удлинить свою уязвимую руку, – русские выставят слабый заслон, отвлекающие силы. А главные подожмут под мышку, от Нарева, и ударят на север.**

Если б это была не своя земля, далеко от Германии, при таком невыгодном расположении её можно было бы уступить пока. Но – корень Тевтонского ордена и колыбель прусских королей – она должна была быть удержана при любых невыгодностях.

Во время ежегодных военных игр будущая ситуация уже не раз проверялась германским командованием, и был отработан энергичный контрманёвр: по множеству шоссейных и железных дорог, для того благовремение сгущённых, в двое-трое суток ускользнуть из мешка и успеть сильно ударить по флангу главной вражеской группировки, ошеломив её, смяв, а иногда и окружив.

Правда, после японской войны уже не опасались так, и в инструкциях стояло: “Не следует ожидать от русского командования ни быстрого использования благоприятной обстановки, ни быстрого точного выполнении манёвра. Передвижения русских войск крайне медленны, велики препятствия при издании, передаче и выполнении приказов. На русском фронте можно разрешить себе манёвры, каких нельзя с другим



противником”.

Но даже и при такой оценке русские действия в августе 1914 изумили! С востока двинулся никак не отвлекающий заслон – до восьми пехотных дивизий и пять кавалерийских, среди них – гвардейские, цвет Петербурга. А с юга в эти самые дни русские вообще границы не перешли.

Коварная загадка! Почему русские армии действовали одновременно? почему южная не спешила опередить восточную в темпе и нанести охватывающий удар? Надо ли было истолковать это как стратегическую новинку русских: вместо модных теорий охвата – простое выталкивание, вышибание, что очевидно выражает собой бесхитростный русский национальный характер (*das russische Germut*)?

Ну что ж, ударить пока по неманской армии Ренненкампа! И как можно быстрее, затяжные действия могут оказаться губительными. Командующий прусской армией генерал Притвиц бросил почти все свои силы в восточную! оконечность Пруссии. И была бы верная победа: Ренненкампа, при всей своей бездействующей кавалерии, настолько не ведал о сближении с противником, что на день наступившего боя, 1 августа, назначил всей армии дневку, и кавалерия его не дралась, а каждая пехотная дивизия – сама по себе. И всё же в тот день наказаны были германцы за пренебрежение к врагу: инструкция их, перечисляя пороки русского командования, упустила напомнить стойкость русской пехоты и отличный стрелковый огонь, – японская война не впустую была проиграна. Армия Притвица под Гумбиненом, несмотря на двойное превосходство в артиллерии, была рассечена, а бой потерян.

В вечер того тяжёлого дня доложили Притвицу, что авиаторами замечены и с юга большие колонны русских. Даже бы и выиграв бой под Гумбиненом, теперь требовалось мгновенно откатиться, оторваться от Ренненкампа. Проиграв же Гумбинен, склонялся Притвиц и вовсе уйти за Вислу, уступить Восточную Пруссию.

Но отрыв прошёл очень гладко, германцы маневрировали так, будто восточной русской армии вообще не было: тем же вечером отошли в тыл, за ночь разрыв уже равнялся дневному переходу, затем без глаза русской авиации погружались и уезжали в другой конец Пруссии. Для наблюдения за армией Ренненкампа оставили всего одну кавалерийскую дивизию и слабую ландверную пехоту. Весь следующий за боем день 8-го августа, и 9-го, и даже утром 10-го Ренненкампа – вторая поразительная русская загадка! – не стремился догонять, топтать и уничтожить противника, захватывать пространство, дороги и города, – но стоял, давая создаться разрыву в 60 километров, после чего двинулся с величайшей осторожностью.

Удачно уведя от Ренненкампа за сутки три своих корпуса, Притвиц решил не уходить за Вислу, а перегруппироваться назад направо и ударить по левому флангу подходящей с юга самсоновской армии. Ибо – третья русская загадка! – южная русская армия, ежедневно подробно наблюдаемая с воздуха, не старалась ни расщупать противостоящий ей корпус Шольца, загородивший Пруссию как бы косо поставленным щитом, ни охватить его, ни даже ударить в лоб, – а уверенно двигалась наискосок в пустое пространство мимо Шольца, подставляя ему свой бок.

Однако самим же Притвицем накануне посланное наверх предположение и волна тревоги в Берлине от беженских потоков из Пруссии раскачивали своё. 9 августа в германской Ставке решили: Притвица сместить. Новым начальником штаба прусской армии был назначен свежо прославленный в Бельгии 49-летний Людендорф: “Быть может, вы ещё спасёте наше положение, предотвратите самое худшее”. Вечером 9-го он уже принят Вильгельмом, получил орден за взятие Льежа, в ночь на 10-е в экстренном поезде из Кобленца на восток уже сошёл с новым командующим армией Гинденбургом, 67-летним ворчливым отставным генералом, на манёврах бывало критиковавшим распоряжения императора Вильгельма, а теперь взятым из отставки. Но из поезда вперёд посланный их приказ перегруппировывает армию так, как без них делает уже и Притвиц. (Единая техника военной мысли, поголовно воспитанная в

немецких военачальниках по завету Мольтке-старшего: гениальный полководец есть случайность, участь народа не может зависеть от такой случайности; посредством же военной науки победоносная стратегия должна осуществляться и средними людьми).

Хотя миру извне вырисовывалось поражение немцев в Пруссии, но в Париже, под неотвратимым прорывом немецкой мощи с севера, французское министерство иностранных дел, поддаваясь то ли собственной панической выдумке, то ли чьей-то мистификации, 11-го августа дало истерическую телеграмму своему послу в Петербурге, что “по сведениям из самого верного источника” немцы сняли два действующих корпуса из Пруссии во Францию – а потому снова настаивать на неотложном наступлении русских на Берлин. На самом же деле германская Ставка 11-го августа действительно сняла два действующих корпуса – резервный гвардейский и 11-й армейский – но именно с Марнской битвы, с заходящего на Париж правого крыла, – и в Пруссию. Это тяжёлое решение генерал граф Мольтке-младший принял после известия о вчерашнем поражении под Орлау. К поражению под Гумбиненом это был уже нестерпимый довесок, Германия не могла отдавать Пруссию ни даже на время. А по великому плану Шлиффена именно в правом крыле и была вся сила битвы за Париж, чтобы разделаться с французами за первые 40 дней войны. (После “чуда на Марне” уволен и Мольтке). Так затерявшимся в истории боем никем не прославленного корпусного генерала Мартоса был сорван захват Парижа немцами – а тем самым и вся война.

Тем временем русские закинули немцам и четвёртую загадку: незашифрованные радиogramмы! То и дело подносили приехавшему Людендорфу и даже в пути нагоняли его автомобиль другим автомобилем и передавали – перехваченные русские радиogramмы: между штабом Второй армии и штабами корпусов, и от Первой армии тоже десятков радиogramм за 11 августа, с указанием точного расположения русских корпусов, их задач и намерений и степени их тёмного незнания о противнике, а утром 12-го и полную радиogramму обо всей дислокации Второй армии! И уже ясно стало, что Первая не помешает бить Вторую.

Да не для обмана ли всё это выставлялось? Нет, стекались в одно и донесения авиаторов, оставленных лазутчиков, добровольных военных обществ, телефонные звонки жителей. Во всей военной истории – бывала ли такая открытая карта? такая ясность о противнике? Сложная война по озёрной стране, загороженной лесами двадцатиметровых сосен, стала для германцев проста, как занятия на учебном полигоне.

И все четыре загадки разгадывались едино: русские не умеют согласовывать движения больших масс. А потому: можно рискнуть охват фланга заменить *окружением* ! Карта стонала, карта просила, карта сама показывала, как можно прочертить Канны XX века.

Был соблазн охватить всю самсоновскую армию, да слишком она разбросалась, не могло достать германских сил. Решено было поэтому лишь оттолкнуть крайние корпуса от Уздау и от Бишофсбурга и так открыть проходы для вставки клешней. Для того уже пятый день перестраивались германские войска. Корпус генерала Франсуа поездами перебрасывался через всю Пруссию по диагонали. А корпуса Макензена и фон-Белова (о которых донёс Ренненкампф, что они разгромлены и остатки их укрылись в Кенигсберге) нормальными переходами покрыли 80 километров, спокойной днёвкой привели себя в порядок и утром 13-го августа ошеломили беспечно выдвинутую комаровскую дивизию.

Это был тот день 13-го августа, когда Самсонов перевозил наконец свой штаб в Найденбург и пились там тосты за взятие Берлина под остриём уже прорезанной стрелки-клешни и под близкий грохот семикратно превосходной немецкой артиллерии под Мюленом против дивизии Мингина. Тот день, когда корпус Мартоса, гонимый мимо Шольца, но всё более цепляясь за него, всё более поворачивался на него и

отважно и с большим успехом его теснил. Тот самый день, когда корпус Клюева, ни о каком противнике не зная-не ведая, гнал по пескам на пустой север – в ловушку, в волчью яму, невозвратные вёрсты гнал, за каждую из которых придётся платить батальонами. Тот самый день 13 августа, когда русская Ставка уже разрабатывала план, как забирать Ренненкампфа из завоёванной Восточной Пруссии, а Жилинский давал Ренненкампфу телеграмму: считать главной цепью обложение крепости Кенигсберг (где укрылись ландштурмисты-старички) и прижатие немцев (где не было их) к морю, чтобы не допустить до Вислы (куда они не шли).

И всё же прусскому командованию не показался этот день успешным. Уже то было неудачно, что за сутки не перехватилось ни одной новой открытой русской радиограммы, и расположения русских, недавно такие ясные, стали взмучиваться и смешиваться от многих неизвестных движений.

Хотя и разгромив комаровскую дивизию, корпуса Макензена и фон-Белова наступали близ озера Дидей с осторожностью, приобретенной под Гумбиненом, и эта осторожность оправдала себя: у станции Ротфлис вечером 13-го русские оказали стойкое сопротивление, видимо немалыми силами. (Нужно было наступить утру 14-го, чтобы германские авиаторы обнаружили корпус Благовещенского в таком отходе и расстройстве, каких невозможно было предположить накануне). А стоянье насмерть двух русских полков южнее Мюлена затемнило Гинденбургу, что на этом участке уже сквозит нужная щель, и написал он в приказе, что там у русских побольше корпуса. Не видя этой готовой щели, пробивали её под Уздау.

Концы толстых охватывающих стрелок изнывали перед рывком.

Ложилась ещё и тень Провидения (Vorsehung) на ту самую мюленскую укреплённую линию, на те самые озёрные скалы и полутысячелетние ели хранящей и хранимой родной земли, где оголтело, обнажённо наступала сейчас русская Вторая армия: именно сюда в 1410 году пришли соединённые славянские силы и под деревушкою Танненберг, между Хохенштейном и Уздау, нанесли разгром Тевтонскому ордену.

Через полтысячи лет роково сложилось так, что могла Германия исполнить суд возмездия (das Strafgericht).

## 24

И никакой прирождённый нам дар не приносит радостей сплошь, непременно и огорчения. Но мучительно быть из ряда талантливым – офицеру. Восторженно служит армия блестящему таланту, но когда уже схватит он маршальский жезл. А прежде, пока он к этому жезлу тянется, она бьёт и бьёт его по рукам. Дисциплина, основа армии, всегда против! восходящего таланта, и всё, что роится в нём и разрывает его, – должно быть сковано, согласовано, подчинено. Всем, кто пока поставлен выше него, невыносимо иметь такого своевольного подчинённого. И оттого продвигается он не быстрее посредственностей, а медленнее.

В 1903 году приезжал генерал фон-Франсуа в Восточную Пруссию начальником штаба корпуса. И через десять лет, сам уже под шестьдесят, назначен был сюда же – всего лишь командиром корпуса, правда – лучшего в германской армии.

В 1903 году граф фон-Шлиффен проводил здесь штабную поездку-игру, и Франсуа был назначен командующим одной из “русских” армий. Как раз на нём и показал Шлиффен свой двусторонний охват. В отчёте записали: “русская армия под угрозой окружения с фланга и тыла сложила оружие”. Франсуа возразил задиристо: „Exzellenz! До тех пор, пока армией командую я, – она оружия не сложит!!” Шлиффен усмехнулся и приписал: “Осознав безвыходность положения своей армии, *её командующий искал смерти на передовой и нашёл её там* ”.

Как на подлинной войне, собственно, не бывает.

Как, впрочем, генерал Герман фон-Франсуа был готов бы, при позоре. Гугенотский род Франсуа в стране, приютившей его, не видел случайного крова. Род Франсуа привык знать одну родину и служить ей одной – и прадед Франсуа заслужил германское дворянство ещё когда во Франции на дворян не завели гильотины. Отец Франсуа, тоже генерал, смертельно раненный французами в 1870 году, воскликнул: “Я рад умереть в такую минуту – кажется, Германия побеждает!”

В 1913 году Франсуа застал войска Восточной Пруссии с задачей “уступающей обороны”: перед превосходящим противником отступать с боями. Но это был неправильно понятый план покойного Шлиффена! Оборона на Восточном фронте в общем, пока не освободятся немецкие войска с Запада, совсем не означала отступления как тактики на каждом участке. Сравнивая немецкий и русский характеры, Франсуа находил, что наступление и быстрота – в духе немецкого солдата и его военного воспитания, отличия же русского характера: отвращение к любой методичной работе; отсутствие чувства долга; боязнь ответственности; и полная неспособность ценить и плотно использовать время. Отсюда для русских генералов вытекали: вялость, склонность действовать по схеме, тяга к покою и удобству. Поэтому Франсуа избрал для себя в Пруссии – вести оборону наступательным образом: где бы ни появлялись русские, нападать на них первому.

Когда началась Великая война (великая – для Германии, и великая, долгожданная для Франсуа, ибо теперь-то и выпадала ему единственная возможность показать себя первым полководцем страны, а может быть и Европы), Франсуа рассчитывал использовать быстроту немецкой мобилизации и, как только его корпус будет боеспособным, – пересечь границу и атаковать скопление частей Ренненкампа на их медлительной формировке. Но тут-то и сказалось, что даже германская армия не может принять и признать слишком динамичный талант. Притвиц запретил план Франсуа: “Надо примириться и пожертвовать частью этой провинции” (Пруссии). Франсуа согласиться не мог: самовольно дал бой под Сталупененом, ход которого считал успешным, но в разгаре подъехал автомобиль с приказом Притвица: прекратить бой и отступать к Гумбинену. У армии могли быть свои планы, но у корпусного командира были свои! – и Франсуа ответил курьеру громко, при офицерах: “Доложите генералу фон-Притвицу, что генерал фон-Франсуа прекратит бой тогда, когда русские будут разбиты!” Увы, разбиты не были они, и свой же начальник штаба донёс на него в штаб армии. Вечером Франсуа давал объяснения, Притвиц доложил непосредственно императору о непослушании Франсуа, а Франсуа – непосредственно же императору, что с *этим* начальником штаба корпуса он воевать не будет! То был риск, кайзеру был повод разгневаться и самого Франсуа снять с корпуса, по многим жалобам он и без того считал генерала “слишком самостоятельной натурой”, – однако и терпеть неприязненного начальника штаба не было бы чертой выдающегося полководца!

Как ни глуши и ни отрекайся, а сидел-таки в нем, наверно, неутомонный француз.

Но при сепаратности от высшего командования нельзя было отказать себе в равновесии справедливости: каждый шаг свой и каждый конфликт необходимо было тут же объяснять Истории и потомкам, вряд ли кто это выполнит за тебя, если не позаботишься. И вот, не по возрасту вёрткий и лёгкий, воюя подвижно, со вкусом, взлезая и на колокольни для наблюдения, распоряжаясь и разгрузкою снарядов под картечью (может и без него б разгрузили), успевая в каждое место боя на автомобиле, чтоб обстановка не расходилась с приказом, иногда проглотив за день лишь чашку какао (это – для мемуаров, бывал и бифштекс) и спя по два-три часа в ночь, – Франсуа не упускал следить, чтобы каждое его решение фиксировалось и объяснялось трижды: приказом! вниз; донесеньем наверх; и подробным изложением для военного архива (а если будет жив – то в собственную книгу), изложением не только действий, но и намерений, не всегда разрешённых, как генерал хотел. До боёв такое изложение он сам писал, а с начала боёв, в одном из двух своих автомобилей постоянно возил при себе специальным адъютантом своего сына, лейтенанта, и тот вёл дневник генерала, на месте мгновенно запечатлевая все его соображения.

И всю линию своего поведения генерал тоже должен был сформулировать сам, этого

никто не сделает за него лучшим слогом: просто ли следовать приказам, как это легче всего? Или ощутить в себе долг ответственности выше долга прямого повиновения, не дать в себе подняться страху перед промахами, и против всех отговоров робких духом следовать инстинктивной угадке успеха?

В гумбиненском бою опять получился с Притвицем разрез. С первых же часов Франсуа считал этот бой крупной победой (так доносил Притвицу, и тот в Ставку), усиленно атаковал, обойдя фланг Ренненкампа (критики утверждают, что атаковал в лоб, неправильно представляя группировку русских), захватил много пленных, вечером отдал приказ атаковать и на следующий день – и тут же получил приказ Притвица отступить в ночь беззвучно, всем корпусам, – и даже за Вислу.

Невыносимый случай: враз потерять всё сегодняшнее, достигнутое твоим талантом, из-за того, что рядом Макензен бился неудачно, покинуть и завтрашний успех, чуемый ноздрями, в распале правоты отменить свой правильный приказ и подчиниться неправильному!

Но в этом – армия. И ещё весь в музыкально-воинственном состоянии, с поля своей победы – он начал корпусом железнодорожную длинную рокировку через Кенигсберг.

В этом – армия, но немецкая ещё и в другом: на следующий день комендатура телефонных линий, составляя звенья, ища Франсуа, соединила его малую точку с Кобленцем, и Его Величество император осведомился у генерала, как он рассматривает положение и считает ли правильной переброску своего корпуса?

То была высокая честь корпусному командиру (и явная отставка командующего армией). Но подвижный ум Франсуа не настаивал на своей чести и вчерашней упущенной правоте: правильное вчера, уже не было правильно сегодня. Как сказал Наполеон, не может быть полководцем генерал, рисующий перед собой картины. Уже начав отход, надо было продолжать его до конца. Отдав поле неманской армии, свою исключительность теперь доказывать уже против наревской.

И где-то тут неухватимо, между телефонными разговорами, курьерскими поездами, встречу в новом штабе с новыми командующими (все старые знакомые, в корпусе Гинденбурга и был Франсуа когда-то начальником штаба, а Людендорф, моложе Франсуа на 9 лет, был когда-то в генеральном штабе его подчинённым, а вот уже вознёсся), – где-то тут назревала идея: “наревской армии – двойной охват!” – и каждый из троих чувствовал себя автором её (и ещё предстоит потом доказать Истории, что автор и исполнитель – ты).

Вечером 11 августа (как раз когда Воротынцев появился в дремлющем остроленском штабе) – генерал Франсуа уже близ места разгрузки первых приходящих своих поездов против левого фланга Самсонова, сидел в отеле “Кронпринц” и писал приказ по корпусу:

“...Блистательные победы, которые одержал наш корпус под Сталупененом и Гумбиненом, побудили Верховное командование перебросить вас, солдаты 1-го армейского корпуса, по железной дороге сюда, чтобы вы своей непобедимой храбростью сразили бы и этого нового врага, пришедшего из русской Польши. Когда мы уничтожим этого противника, мы вернёмся в прежнее наше расположение и рассчитаемся с русскими ордами, сжигающими там, вопреки законам международного права, наши родные города...”

Предвидя точно этот неумолимый возврат, Франсуа писал в западном нижнем углу Пруссии – а ещё грузились его части в восточном верхнем углу под Кенигсбергом, и через всю Пруссию с края до края гремели частые поезда. За полусуточную заминку это было из немецких чудес: каждые полчаса, днём и ночью, шёл воинский поезд, и даже немецкие железнодорожные правила утратили свою обязательность: воинские поезда на открытых перегонах подходили вплотную друг ко другу; они занимали пути, пренебрегая красными семафорами, и разгружались на специальных военных платформах вместо двух часов за двадцать пять минут. По запросу Франсуа поезда подходили к самому полю предстоящего боя, и батальонам оставалось только размяться километров пять.

Но и этого чуда не могли оценить тяжеловицы – Гинденбург и Людендорф. Они приехали на командный пункт Франсуа, когда почти вся его артиллерия ещё была в пути, – и

потребовали начать жадно ожидаемое наступление.

Глаза Франсуа (он сам этого не знал и не хотел) были постоянно уставлены насмешисто:

– Если будет приказ, я начну. Но солдатам придётся сражаться... неудобно сказать... штыком.

Это русским простительно твердить: штык молодец, пуля дура и, очевидно, тем более дурак снаряд. Ученикам же Шлиффена полагалось бы понимать, что наступила война орудийная, и успех будет за тем, у кого перевес артиллерийского огня. В приказах солдатам можно писать о непобедимой храбрости, самим же – подсчитывать батареи и снаряды.

О, почему подчинённость всегда идёт обратно степени таланта?! Франсуа изнывал, вынужденный созерцать в метре от себя и выше себя эти два волевых раздавленных лица, поставленные посредством толстых негибких шей на плотные туловища. Людендорф ещё не так отвердел челюстью и не так омертвел взглядом, но уже сильно напоминал своего командующего. А лицо Гинденбурга было точно прямоугольно, тяжелы и грубы все черты, грузны подглазные мешки, нос без высоты, как под тяжестью прогнулись усы, уши срослись с щеками. Этим двум пинцауэрам – разве доступны или хотя бы ведомы были импульсы интуиции и риска?

(Упуская мысленно с ними перемениться, забывал Франсуа посмотреть от них на себя: что за курц-рост – не по генеральскому чину? что за быстроглазие не по возрасту? и главное – дурная привычка высказывать, обскакивать, перепрыгивать?)

Вот и сейчас: где наступать? Франсуа не слушает, где ему указывают, он предлагает своё: в один котёл со всей самсоновской армией валить и русский 1-й корпус. И спорит! – проспорили час. Запрещено. Велят ему русский 1-й корпус – отталкивать, а охватывать ядро армии без него. А **когда** наступать? – еле выторговал Франсуа полдня отсрочки с рассвета до полудня 13 августа.

Не там и не тогда, как хотел, он начал в первый день вяло, больше для отчёта, потеснил передовые русские заставы – и стали русские полки на хорошо видимые позиции по возвышенностям: от мельничного холма – через Уздау – и вдоль железнодорожной насыпи. Через Уздау и предстояло 14 августа открыть дорогу на Найденбург.

С заходом солнца предварительный бой смолк. За ночь вся остальная артиллерия должна была подойти и стать на позиции – такие калибры и такая густота снарядов, какой русские ещё не испытывали никогда. Завтра в четыре утра он, генерал Франсуа, начнёт большое армейское сражение.

– А если русские начнут ночью первые, мой генерал? – спросил сын, ещё записывая при ночном фонарике.

Это – на сеннике было, генерал брезговал спать в доме, где похозяйничали русские. Спрятав заведенный будильник под изголовье, он до предела вытянул короткие ноги без сапог, хрустнул костями и с улыбкой зевоты ответил:

– Запомни, мальчик: русские никогда не могут сами двинуться раньше обеда.

\*\*\*\*\*

Con moto

Запевала: Немец белены объелся,

Драться в кулаки полез!

Хор: Фу ты, ну ты, фу ты, ну ты,

Драться в кулаки полез.

Запевала: А ведёт их войско важно

К нам усатый Васька-кот!

Хор: Фу ты, ну ты, фу ты, ну ты,

К нам усатый Васька-кот!

**(“Русская солдатская песня 1914 года”,  
почтовая открытка с нотами, марш наших героев  
с барабаном и жалкий кот Вильгельм).**

**25**

Всё сгруживалось некстати и несласто: и сама эта война, прерывавшая карьеру генерала Артамонова; и опасное западное расположение его корпуса, наиболее в сторону Германии; и вынужденность продвинуться всё-таки от Сольдау вперёд; и сведения о большой силе противника, и вот первое наступление его – да как раз в день приезда этого полковника, шпиона из Ставки; и телеграфные переговоры, чтобы накинуть на Артамонова удавку покрепче.

До сих пор военная карьера Артамонова расстилалась всё по верхам, по генеральским чинам и по орденам первой степени. Правда, и сам он не ленился, чины отработывал усердно: все кончают одно военное училище, а он – два, все – по одной академии, а он отсидел – две (а поступал даже и три раза, единожды провалился): служба так служба! А сидеть ему было труднее, чем другим, потому что резвые сильные у него были ноги, и жилами он изводился без беготни. Но счастливо выпало лет десяток служить то “для поручений”, то старшим адъютантом при штабе округа, то “в распоряжении Главного штаба”, – и он гонял по Приамурью, и гонял к бурам, и гонял в Абиссинию, и ещё на верблюдах по восточным провинциям гонял, – он нисколько не ленился! он честно служил, как мог, чем мог! Его стихия была – уезжать, находиться в пути, приезжать, переезжать, – но не воевать, потому что война включала не только движение, но и возможный ущерб чиновному при неудачных обстоятельствах. Впрочем, война против бунтовавших китайцев прошла для него приятно и наградно. Также и на японской он хорошо выскочил из мукденского мешка, без сожаления бросив желтоскулым полсотни этих глиняных деревушек сахобетаев да шоуалинзов. А вот **эта** начиналась как-то недобро. Докладывали авиаторы, что против Артамонова стоят две дивизии – нет, уже и два корпуса! Что-то страшное замышляли немцы. Но как проникнуть в эту загадку? как предохраниться? Всю жизнь Артамонов проносил военный мундир, но лишь сегодня ощутил перед собой эту грозную тайну войны, невозможность догадаться, что хочет завтра сделать с тобою противник, невозможность придумать, что делать в ответ, – и мотало, и мотало его не то что по комнатам штаба, но по всему расположению корпуса: дважды за день он испылил на автомобиле всю местность, как бы для проверки и ободрения частей, а на самом деле от растерянности, обрывающей всё внутри. Что же предпринять кроме ободрения, не мог он сообразить, честно – не мог! Среди дня немцы начали наступать – и от отчаяния Артамонов сам решился, к чему не мог понудить его штаб армии, на маленькое наступление: два полка на левом фланге прошли пять вёрст ещё дальше на запад и взяли большое село. Но – хорошо ли это было? но – так ли надо? Командиру корпуса негоже спрашивать совета у кого-нибудь, а тем более – у полковника, подосланного Ставкой. Тут, напротив, надо было голову трудить, догадываться и выведывать: насколько этот полковник в силе, насколько он в доверии у Верховного, и чья это интрига, что его прислали сюда. И не о страхах своих, не о заботах говорил с ним Артамонов, а, молодечествуя, – так, о чём-нибудь общем: мол, говорят, Германия сильна порядком и системой, но ведь в этом её и слабость! вот начнём воевать не по системе, не по порядку, – глядь, они и растеряются.

Этот полковник как прилип, и когда, уже к ночи, по стихшему бою, решил командир корпуса ещё раз объехать все позиции и ещё раз ободрить войска – полковник вызвался непременно ехать с ним, дурная примета. И верно: всё, что тот спрашивал и говорил по дороге, всё было от недобра, всё – подковырка. Из Сольдау ехали, светя фарами, обгоняя кой-какие войска, – притворился: что это не видно укреплений, окопного пояса вокруг города за те четыре дня, что корпус тут стоит, может он пропустил? О дневном бое говорили – стал головой крутить, что вот сняли полк с правого фланга – и там, мол, теперь щель.

Только осадил его Артамонов, что туда пошла конная бригада Штемпеля, – как въехали в деревню, а бригада Штемпеля на ночлеге, и лишь собирается завтра утром выступать. Артамонов учинил Штемпелю разнос. Но у кого не найдёшь недостатков, если так хот ездить по расположению и присматриваться?... И наконец с открытым уже непочтением ставочный полковник приступил с расспросом, какой у командира корпуса на завтра план.

**План!** – слово-то какое неправославное. Какой мог быть “план”, и о том ли вслух рассказывать, нашёл простака! План был – как выскочить отсюда всем корпусом благополучно, и не лёг бы порок на имя корпусного, а получить награду. Но такой простой план нельзя было высказывать. А полковник, определённо имея за собой большие связи, развязно лез почти уже с указаниями: что войск у генерала вдвое больше, чем корпус, и нескванный левый фланг с кавалерийскими дивизиями на нём, – и завтра можно было бы захлестнуть немецкий фланг своим подвижным и длинным, есть ещё время развезти приказы и перестроить части. И будто это в интересах самого же Артамонова.

Ну уж, свою пользу мы и сами знаем! Но, правда, легла такая беда, что войск у Артамонова с сегодняшнего дня стало вдвое больше, оттого и головоломание вдвое больше: имел он неосторожность поднять тревогу, пожаловаться в штаб армии, что против него накапливается неприятель, – и Самсонов по телеграфу отдал в его распоряжение обе кавалерийские дивизии и все войска, опоздавшие в несобранный 23-й корпус, – варшавскую гвардейскую дивизию да отдельную стрелковую бригаду. Теперь “командующий убеждён, что даже превосходящий противник не будет в состоянии сломить упорство славных войск 1-го корпуса”. И так же гордо благодарил по телеграфу Артамонов “своего доблестного командующего за доверие”. А сам оледенел от такого *доверия* – что же с этой крестной ношей делать?

Эти петушье-кукушкинские перехвалы Воротынцев ненавидел до затмения глаз. В том, что трезво-отжатый язык военных заменялся языком придворного раскланивания перед взаимной доблестью, был роковой признак слабости, невозможный у германцев. Собралась такая сила на левом фланге самсоновской армии – и надо было не промедлять получасу в действиях, они же выстукивали комплименты. Лейб-гвардии Кексгольмский полк разгрузился раньше и пешим порядком ушёл направо, в Найденбург, догонять свой 23-й корпус. Но сегодня во Млаве выгрузился лейб-гвардии Литовский, и он-то теперь попадал в подчинение Артамонову. (А два других полка варшавской “жёлтой” гвардии были даже и не в Варшаве, и неизвестно где болтался её начальник генерал Сирелиус). 1-я же стрелковая бригада была из новейших и наилучше подготовленных боевых частей всей русской армии; её батальоны, идущие на передовые позиции, и обгонял сейчас их автомобиль.

Если бы армейский левый фланг стоял рогом, выдаваясь вперёд от линии армии, – не страшен был бы отход минувшего дня и не страх был бы ещё потесниться. Но левый фланг уже был продавленным плечом.

Однако с Артамоновым всё говорилось вразнобой и без отклика. Намёки, советы, идеи Воротынцева отскакивали от этого кругло-выкаченного каменного лба. Бесполезно было и обсуждать с ним, что узналось сегодня к вечеру: что стоит против них германский 1-й корпус Франсуа, тот самый, который Ренненкампф разбил под Гумбиненом, – и вот он стремительно оказался здесь. Это мог быть только замысел – и грозный.

Весь день Воротынцев провёл при штабе корпуса и насмотрелся на этого хлопотного бегучего генерала. Седина на темени и в моржовых усах, погоны и аксельбанты благообразно возвышают и дурака, мешают увидеть человека, каким он был и есть, – первичного Адама. Но если сделать усилие, можно увидеть: это переодет в генерала солдат-бегунок, при строгом унтере отличный бы солдат: ретивый, ногастый, минутки зря не посидит, везде ему надо, да пожалуй и бесстрашный к пуле. Или это дьякон изрядный: высок, статен, голосом не обижен, во все уголки с кадилом сунуться не ленив, и актёрство в нём есть, а может и преданность Божьей службе.

Но почему он был генерал-от-инфантерии? Почему в его неосмотрительной власти



оказалось шестьдесят тысяч русских воинов?

Вот мчался он объехать ночью все части – а что оставил в штабе? кем ведётся разведка? как связана артиллерия с пехотой? сколько снарядов завезено на орудие и хватит ли колёс и ящиков перевозить их вперёд и назад по ходу боя? – этого наверняка он не знал, и даже не знал, что это надо знать. Отчего за минувший день, в бою умеренной силы, его корпус местами сильно потеснён? – Артамонов нисколько не заботился доведаться до причин, и было бы неприятно ему услышать их от Воротынцева. Вот и в автомобиле по полю боя – для генерала умного это верный приём, мгновенно охватить расплзшиеся войска, везде вовремя побывать и самому всё исправить, – но беда, когда к прытким, бестолково-усердным ногам да прибавляются автомобильные колёса!

Решительности не отнять было у Артамонова! Перед своими задачами он не унывал, советов не принимал, и тонкое надо было ухо – услышать в его голосе ошеломлённость.

Они ехали ночной дорогой, светя фарами, неестественным белым светом омертвляя и очуждая стволы древесной придорожной обсадки, кусты, дома, сараи, шлагбаумы, перильца мостиков, обгоняемые колонны, повозки, а встречных слепя. Там и сям к дороге с любопытством обращались из тёмной глубины солдаты, а застигнутые одиночки уковывали побыстрее или простёгивали лошадей поспешно.

Если был вообще смысл у поездки Воротынцева на левый фланг армии – то вот он и исчерпался. Самое большее в его полномочиях была “штабная разведка”: личное знакомство с обстановкой и тем поправка разведывательных данных. Это с лихвой уже было выполнено, а данные его грозили для Ставки запоздниться, и точный служебный долг его был: гнать в штаб армии и в Ставку назад. Нависать же над штабными офицерами и строевыми командирами у Воротынцева не было полномочий. Да, ходу дел очень можно бы пособить, если бы теперь к Артамонову присосаться, присутствовать при каждом его решении и спасать от ошибочного. Но такую опеку Артамонов с подозрительностью отвергал. Да и самого себя Воротынцев почти не мог принудить оставаться при Артамонове дольше. Все призывы: одерживает терпеливый. Однако терпение не было добродетелью Воротынцева. Он и сам уже не мог довершать с генералом его ночную объездку. Её начали с Уздау, откуда по шоссе до штаба армии оставалось двадцать вёрст, – и тут решил он отделиться.

Село Уздау располагалось на обширной высоте, ощущаемой и ходом автомобиля. В некоторых домах светились керосиновые лампы, другие были темны, но по лошадям, по солдатам чувствовалось, что и дома, и сараи, и дворы – всё забито. За большой стеной, укрыто от неприятеля, умеренным огнём дышали несколько походных кухонь.

Позади готической краснокирпичной церкви остановились, потушили фары. Уже дали знать, и к ним спешил с докладом генерал-майор Савицкий, начальник боевого участка, как он назывался для прикрытия неряшества, а проще – командир бригады над командиром единственного здесь 85-го Выборгского полка, другой же полк этой бригады застрял в Варшаве. (И неряшество на том не кончалось: с Выборгским граничила слева другая дивизия, и тоже без полка, тоже в Варшаве, а ещё левой той дивизии – ходившие сегодня в наступление два полка этой дивизии, там и начальник её генерал Душкевич. Всё впереслойку и запутано как нарочно).

Артамонов захотел увидеть позиции, Савицкий повёл их в обход домов, под рассеянным светом окон. Он уже сед был, но держался твёрдым молодцом, в звёздной темноте это было слышно и по голосу и по рассудительности объяснений.

Потеснясь за минувший день, Выборгский полк занял теперь эту сильную ключевую позицию. Тут, перед селом в ста саженьях, где высота начинала уклоняться к противнику, была проведена линия оплосных окопов, и солдаты всё ещё углублялись.

Полк был свежий, доведен по железной дороге, перебоев в кормёжке не знал, за минувший бой потерь почти не имел, работал дружно. Глухо и сильно стучали лопаты, кирки, и слышались шутки.

Савицкий ясно понимал все слабости и опасности: что сразу справа у нас дыра, нет никого; что для важного этого крыла слишком мало дано артиллерии: дивизион лёгкой

полевой да как бы в насмешку – две средних гаубицы. А остальные десять корпусных гаубиц и весь армейский тяжёлый дивизион – на левом. Но Артамонову невыносимо было вникать, тогда б он за ночь не объехал всех позиций. И оборвав Савицкого с Воротынцевым, он велел построить ему взвод – вот тут же, из ближнего окопа, в рабочем виде, как они есть. (Да, бишь, ведь он бывал начальником оборонных работ самого Кронштадта!) Взвод покидал инструмент, вылез, построился без оружия. Артамонов ступил вдоль шеренги:

– Ну как, ребята? Отобъём?

Не ладно в один голос, но зароготали ему, что отобъём.

– Значит, дела ничего?

Отвечали, что – ничего.

– Ваш полк – Берлин брал! Серебряные трубы за это имеете! Вот тебя, – спросил он широкоплечего солдата, – как зовут?

– Агафоном, – ваше высоко-дительство, – расторопно отвечал тот.

– Агафон – какой? Когда день ангела?

– Огуменник, ваше... дительство! – не растеривался солдат.

– Дурак ты! Огуменник! Почему – Огуменник?

– Дык, значит – осенины, ваше всходительство! Копны с поля, а на гумне работа.

– Дурень ты, святого своего надо знать! И ему молиться перед боем. Жития святых читал?

– Чи... читали, ваше дительство...

– Святой – это ж как ангел твой, он тебя защитит и охранит. А ты не знаешь! А в селе вашем престольный праздник когда? Тоже не знаешь?

– Как не знать, ваше дительство! В тех же днях, на малую пречистую.

– Что ещё за малая пречистая?

Агафон замаялся. Но сзади крикнули грамотейным голосом:

– Рождество пречистой Богородицы, ваше высокопревосходительство!

– Так вот молись Божьей Матери, пока жив! – заключил Артамонов и спросил через трёх четвёртого.

Но и тот оказался Мефодий-Перепелятник и тоже не знал жития своего святого.

– Да кресты-то на всех? – осердился генерал.

– Как можно!... На всех!... – в дюжину голосов, даже обиженно ответила ему Россия.

– Ну так и молитесь! Утром начнёт немец бить – а вы молитесь!

Мог бы подумать Воротынцев, что это всё показно для него строится, – нет, и всегда Артамонов так. Шло ль от корней генеральской души или от того, что он долго служил в Петербургском округе и знал, как приятны великому князю лампы в каждой солдатской палатке? Лицо б его при этом увидеть – ничего б не добавило: лицо его – гладкая стенка с глухою ручкою носа, не открывающей ничего. И глаза такие же стеночные.

Вот и он перекрестился, видно против неба: как сам мотался по правому, левому флангу, так отмотал крупно и торопливо по лбу, по груди, будто овода смахивая с последнего плеча. И Савицкого окрестил, обнял:

– Храни вас Бог! Храни Бог ваш Выборгский полк!

Он бы и полней его, может, назвал, да некстати: Его Императорского и Королевского Величества Императора Германского Короля Прусского Вильгельма Второго полк. Теперь перестали то название повторять, а нового им ещё не придумали. Знал Воротынцев этот полк давно: он был под Ляояном, и на Шахэ, и под Мукденом, всё где-то рядом. С тех пор солдаты, наверно, уже все сменились, а полк, живое существо, остался как бы тот же. Да наверно офицеры с того времени есть, если поискать.

И командир корпуса уехал. А Савицкий шёл направо, где фронт обрывался, – расположить там пулемётную полуроту. Воротынцев пошёл с ним. Грудь без тревоги не живёт. Теперь, когда миновало беспокойство, что армию обойдут слева, глодало другое: что справа от корпуса сквозняк, пустота.

Савицкий говорил по делу и кратко, всё он понимал. Но почему понимание всегда

слоится ниже власти?...

Идя между селом и главной линией окопов, они вышли к мельнице. Особняком, ещё выше села, на обвеваемом месте, на юру, стояло гигантское чёрное тело мельницы, и по звёздному небу были видны её неподвижные крылья – как руки, перекрещенные в мольбе “не идите!”, или в запрете “не пустим!”.

Есть на мельнице наблюдательный? Был, да снят: уж слишком напоказ, под вечер сюда били.

А дальше шоссейная и железная дороги, выйдя из-за села, рядом, двумя насыпями круто поворачивали на север, поперёк фронта, – и по ту сторону полотна шёл Савицкий располагать пулемёты. Воротынцеву он предложил ночлег в доме, где и сам. Надо было, наконец, и отстать. Воротынцев пошёл пустынным тёмным полотном – и там, где Найденбургское шоссе выныривало из-под железной дороги, сел на откосе, на сухой редкой травке.

Теперь во всём тёмном пространстве, сколько видел он его на восток, от севера и до юга, не моргало ни огонька, лишь раскинулись Андромеда с Пегасом, за изогнутым Персеем уже выползла яркая Капелла и скученные туманные Плеяды. Не слышно было ни артиллерии, ни ружейной стрельбы, ни копыт, ни колёс, – земля, какой она создана, но уже без зверей и вот без людей. Рядом зрел бой корпуса на корпус, от него зависела судьба армий, может быть и целой кампании, и тут же рядом – кати шаром, на рассвете выступит бригада Штемпеля. А немцы? – догадались или нет? сочатся или нет?

Верней бы всего Воротынцеву – с откоса сбежать, да по шоссе в Найденбург! найти командующего, объяснить ему, что рядом с его штабом – свищ, тело армии уже разрывается на две части, и беззащитен сам штаб. Получить приказ наступать левым флангом – и с приказом снова сюда!

Да не к утру. Даже двуколку найти и гнать в опор 20 вёрст – ничего уже не исправишь к рассвету. Патруль какой-нибудь подстрелит. Медлительного командующего среди ночи поднять, раскатать, склонить к экстренным мерам? – недоступно...

Так оставаться в Уздау. Здесь, в Уздау, будет ключ ко всему. Только полковник Ставки терял смысл своего пребывания здесь. Десятки тысяч офицеров и солдат за его спиной были каждый в круге своих обязанностей, он же один ничего не был прямо *должен*, а – что-то по совести, неопределённое. Из артамоновского автомобиля как вылез он – цель его поездки в 1-й корпус и вовсе миновала. И не заменилась другой. Вот он не слал донесений и не мог вмешаться в события. И уже казалось: останься в Ставке – успел бы больше.

Он всё рвался найти себе лучшее применение. И нашёл худшее.

Одна глубокая тяга сосала Воротынцева от самой молодости: иметь благое воздействие на историю своего отечества. Тянуть его или толкать его, непричёсанное, куда ему лучше. Но силы такой, но влиянья такого не отпускалось в России отдельному человеку, не осенённому близостью короны. И за какое место он ни хватался и как из сил ни выбивался – всегда втуне.

Да и спать клонило наплывами, даже вздрогнул. Ведь прошлых две ночи прокачался в седле. У Крымова завтракал – неужели сегодня? Кажется, неделя прошла.

Спиной так близко, удобно было откинуться на насыпь и передремнуть. Но – холодная уже земля.

Воротынцев спустился на шоссе, побрёл в село назад. Заплетались и ноги, и мысли. Уже ни действовать, ни решать, ни думать. Презирая свою неудачу, презирая свою потерянность, доспотыкался до дома, где ему указали ночевать.

Комната, хоть и деревенская, а была с альковом. И на двуспальной кровати – невесомый пуховичок в розовой шёлковой оболочке. С японской войны помнился фронтной ночлег как фанза, землянка, палатка.

На мраморной обкладке камина тикали бронзовые островерхие часы, может быть с недельным заводом, вероятно, ещё хозяева их завели. С часами Воротынцева шли они почти вровень: без четверти полночь.

В комнате было душновато, ещё и от керосиновой лампы, но и приятно, что тепло. Последними усилиями снимал и стягивал Воротынцев пояс, сапоги, сунул револьвер под подушку, приготовил спички, задул лампу – и поверх всего опустился в нежную мякоть, с ещё отчётливой горечью неудачи и потерянности. А кровать приняла его, как ждала. И все тревоги и потерянность обмягчили контурами, удары сердца, слышные через подушку, стали реже – и прекратились.

... И долго ли, коротко ли – он очутился в комнате. Но не в этой. С невысвеченными углами. Со светом скупым, неизвестно откуда льющимся, и только в то место, которое нужно увидеть.

Вот – на лицо и грудь её.

**Она ?** Она! – сразу узнал, никогда не выдавши в жизни! Он – диву давался, что так легко её нашёл, ведь это казалось несбыточно.

Никогда они не виделись – а сразу узнавши, бросились друг ко другу, взяли за локти.

И был же какой-то свет, и зрение было, но их не хватало вполне увидеть её лицо, её выражение, – а тотчас продрожно узнал: **она !** точно она! та самая невыразимо близкая, заменяющая весь женский мир!

Острая-острая нежность!! Изумление – и тому, что она существует, и тому, что сердце твоё ещё способно так сильно, так залиvisto чувствовать.

Кинулись друг ко другу и говорили, не говоря, ни одного слова не произнося отчётливо вслух, а всё понятно и быстро. Зрение было в четверть света, а осозание полное, и с её локтей он руками перешёл на её вогнутую узкую спину, и прижимал к себе – и так им было хорошо, так родно, так найденно.

Никакой долг никуда его не звал, никакие заботы не обременяли, была только лёгкость и счастье её обнимать. И вот что: они как будто не первый раз виделись, так уже было у них далеко, принято, договорено, – и он уверенно вёл её к постели, была тут постель, и свет перемещался туда.

Вдруг она почему-то запнулась, остановилась. Не из-за стеснения, их чувства уже были все отверсты, – остановилась потому, что не могла, он понял верно: она почему-то не могла стелить этой постели.

Тогда, недоумевая и торопясь, он сам отдёрнул покрывало – и увидел: полу-под подушкой лежала сложенная в несколько раз ночная сорочка Алины – розовая, с кружевами. Никаких цветовых ощущений больше не было – ни в каком платки она, ни какие у неё глаза, губы, – а вот розовую рубашку он сразу узнал.

И только тут толкнуло, вспомнилось ему, что ведь – Алина же есть! Есть Алина, и это помеха.

И в высасывающей тоске он понял, что места им с нею – нет, и сейчас он её потеряет. И в последние мгновенья, сколько сил было в руках, в ногах, он тесней и тесней замыкал её, затопляемый любовью.

...Но – загремело, зазвенело и выбило стёкла! Георгий проснулся, ещё силы не имея пошевелинуться от сладости. Стёкла не выбились, но близко ложились первые немецкие снаряды. В комнате рассветно серело. Он снова закрыл глаза, нет сил размеживать.

Он ощутил её касание так сильно – теперь поверить не мог, что – сон. Он ещё весь в бессилии лежал, хоть трава не расти, хоть мир погибни. Он так ещё жарко чувствовал её, что не сразу уразумел: да кто ж она? да разве он искал её? Он, кажется, никогда не думал о ней. Он так никогда не думал.

Поразительно не то, что женщина придумана сном, не существующая, так бывает, – поразительна острота продрога, какой Георгий не знал и наяву.

Порочная немощь плоти! Хоть умереть, хоть всё лети, – а воля подняться ещё не вернулась.

Он так ещё чувствовал её, что жалко было разнять колени и утратить её тепло. И лежал разнеженный, беззащитный, хоть разваливай стенку снаряд.

Что это? – не перед смертью ли?...

Всё возвращалось: неудачная поездка – сегодня день боя – он не при деле – куда-то надо спешить: к Самсонову? к Артамонову?... Он различал отчётливые в рассветной прохладе отдельные орудийные выстрелы, ещё неслившиеся полёты снарядов, и тут, у села или в селе, разрывы. Трёхдюймовая. Шести. А вот эта как бы не побольше.

А в окопе? У Агафона Огуменника – у него как?...

Уже различались и часы на камине: семь минут пятого. Ближе рвалось. Стучали в доме дверьми. Стучали и в дверь к нему: круглолицый расторопный кашевар принёс ему котелок с кашей, и горячая ещё, а солдатам раздавали, небось, час назад, – ах, спасибо тебе, безмянный! Сто тысяч вас таких в России лиц, повидал, забыл, повидал, забыл, – дай Бог мне помнить вас вечно!

Воротынцев вскочил – и вот уже забыл сон. Ел быстро кашу деревянной ложкой широкой, раздирающей рот, и тут же часы карманные заводил, и пояс надевал, и бинокль, шинель, соображал: куда ж ему теперь?

Стёкла позванивали, передавалась тряска и всему дому, но изнутри, как всегда, плохо понимались направления выстрелов и разрывов.

Дочиста выбрал всё из котелка, а кашевар ждал в прихожей, котелок-то небось его собственный, – по плечу его, “спасибо, братец”, – и выскочил из дому к окопам, едва не весёлый.

Зябкое было утро. В объёмной развёрнутой низине на западе стлался туман. Близко черно рванулся фугас, посвистели осколки. Переждав их за кирпичной стеной сарая, Воротынцев крупно побежал – к ближнему окопу, да к тому взводу как раз, который вчера оскандалился перед генералом. И впрыгнул в окоп меж двумя солдатами. Хорошо отрыли! – в полный рост и с нишами, и даже скамеек натащили, мягких стульев, озорники. А щепой поранит.

А полевой, в накиданной земле бруствера, в проделанной для него поперечной канавке, с боками, охранёнными землёй, мордой вперёд на неприятеля, а хвостом к своим солдатам стоял, величиною с кошку, игрушечный лев с прекрасной начёсанной песочной шерстью.

– Ваше выс-ла-ро-дие, этот зверь – как называется?

– Ну, говорили ж...

Всё-таки ждали ещё подтверждения.

– Лев. А где взяли?

– А вот город проходили.

– А он из тряпки или твёрдый?

– Твёрдый.

Снаряды летели и летели, пока ещё не густо и не точно, со злой весёлостью обещая горячий денёк. В одиночку б уже пригнуться, приткнуться в земляную стенку головой и молчать – но друг перед другом стояли задорно. И этот лев. Понравилось Воротынцеву. Из утренней растерянности и нерешённости отливалось сразу бодрое начало дня.

Отсюда обзор был очень просторный, но половина всей огляди плавала в тумане, а по верхам тумана хорошо обозначались огневые вспышки тех немецких батарей, что стояли повыше. Вот и работа нелишняя пока: лист бумаги на планшетку, поставить по компасу, отметить по мельнице – она как раз с этого места длинно-изогнутого окопа вся была на прозор видна, и чертить расположение батарей, беря дальности на глаз, а можно и делениями бинокля. Воротынцев любил артиллерийские работы, он одно лето по собственному желанию проходил курс в офицерской артиллерийской школе в Луге и много набрался там.

– Ребя-а, а пошто наши не отвечают? – спрашивали друг у друга, но косились на Воротынцева.

– А чтоб себя не выдавать! – важно ответил рослый солдат, сосед Воротынцева по окопу, но с важностью показной, нарочито губы выставив. И – на полковника тоже, избоку.

Хотя главная сила немецкого огня приходилась, видимо, левее их, по другим полкам, но закидали гуще и сюда. Лица солдат стянуло, смыло от шуток сухой водой. Один держал молитвенник, шептал. Взвизгивали стальные бичи на подлёте, довизгивали осколки. Солдат

по правую руку Воротынцева хоронился от каждого даже пустого свиста. А по левую этот насмешливый, широносый, губы разведя, нижнюю отнеся, следил за каждым чирком полковникова карандаша. Очень доброжелательно было его лицо. Губы-то развешены, а глазами живо смотрел солдат на планшетку, не любопытничал, а будто перенимал, чтоб сейчас и самому приняться за то ж.

– Понимаешь? – спросил Воротынцев, а сам в бинокль да на планшетку. – Пока вот нас не прижали как следует...

– Пота и затёсы поставить, – уверенно кивнул большеротый солдат. И по лицу видно, что соображал: направленья, расстоянья, – а чего тут?

– Тебя как зовут?

– Арсением.

– А фамилия?

– Благодарёв.

Ловкая подхватистая фамилия, и так же подхватисто он выговорил её, тёплым помелом прошёл по сердцу. Благодарёв! – такой, видно, лёгкий на благодарность, вот уже готовый и Воротынцева чуть ли не благодарить.

За спинами их, за деревней, разгоралась заря, а туман в низине густел. Час ближайший будет их высота черна, заклеплена для тех немецких батарей, что бьют с запада. А северные будут метче. Вот уже – “о-о-ох!... о-о-ох!” – прямо рядом. Да больше всё гаубицами бьют, да тяжёлыми, да не столько шрапнелями, сколько фугасами – и правильно. Не доработать, пусть как есть.

Протеснясь позади спин, проходил по окопу ротный:

– Льва ещё не ранили?

Отозвались смешком.

– А вы тут гнётесь!

Попросил его Воротынцев передать листок батальонному, а тот чтоб – артиллеристам.

Во всей роте пока трое легко раненных. В первом батальоне, ниже мельницы, говорят – прямое в окоп, навалило там с десятков.

Разгоралось утро, сжимался туман – и осветилось, и налево развернулось обширное поле боя – в облачках шрапнелей, в фугасных фонтанах земли, и всё больше на нашу сторону, – десять вёрст по фронту, как стояли друг против друга два первых корпуса. Число уже было известно: 14 августа 14-го года. Ещё только не было названия этому бою: Уздау? Сольдау? Ещё менее было известно – прославится ли он в веках? и какую сторону прославит? или завтра забудут его?

От короткой ночи, орудийного подъёма, зябкого бойкого утра – так и не пришёл Воротынцев в рассудительное соображение: в чём же сегодня долг его? не в том же, чтобы бессмысленно сидеть в этом окопе. А тем не менее он был налит бодростью: как будто вот, наконец, при деле, кончилось его пустое слонянье-мотанье, сейчас несколько он не жалел о своей поездке, тем более – о кинутой Ставке, где в девять утра только проснутся. Сегодня, 14 августа 14-го года, начиналась для полковника Воротынцева вторая в жизни война – неизвестной длительности, неизвестного результата для русского оружия и для него самого. Но для того он и учился и служил, чтоб не пусто эту войну провоевать.

– Улегчают! – раньше всех объявил Благодарёв – значит, через разрывы слыша выстрелы и не все по полю боя, а выделяя те, что против них. На секунды он всех опередил, как опытный посетитель консерватории ещё при дозвуке последней ноты. А вот и разрывы по их полку поредели разом.

– Доброе у тебя ухо, – похвалил Воротынцев. – Жалко ты не в артиллерии, ты бы цели брал на слух.

Благодарёв осклабился – очень в меру, не то чтобы вот радовался, как он полковнику угодил.

Распрямлялись, отдувались. Кто и на стульях расселся, цыгарки крутил. Проверили льва – а лев цел, ни пробоинки! Зароготали: а мы-то хоронимся, дураки!

– А когда теперь обед будя? – спросил тот солдат, что про артиллерию спрашивал.

Все как обрадовались на него накинуться:

– Ишь ты!... Проголодался!

– По теми, раньше не жди!

– Прежде смотри – брюхо бы не проткнули, а то некуда обед совать!

Только с них одних и сняли огонь, да переложили на соседние полки слева. Централизация артиллерийского управления! – вот что оценил Воротынцев. Чтобы так сразу всем сменить цели – у нас это невозможно: телефонов не хватит, проводов, тренировки. Но – к чему это? Не атака ли пешая на Уздау? Они стояли лицом на северо-запад, но Воротынцев биноклем шупал на севере – оттуда бы не завернули, оттуда страшнее всего.

Багряное солнце позади них уже просвечивало над домами, меж деревьями, уже поигрывало на их взгорке. Потеплело. Катали шинели в скатки. На всех погонах ещё хорошо были видны стёртые следы свежеспоротых вензелей Вильгельма.

Передали команду по цепочке всем изготавиться к стрельбе.

Но – не было немецкой атаки, вообще немцы не высовывались ниоткуда. И опять же Благодарёв первый доглядел:

– Мотри! мотри! – как бы не полковника на “ты”, а может и не ему, руку длинную протянул поверх бруствера, очень заинтересованный. – Едут! Едут!

И в бинокль Воротынцев увидел подробно: из леска выехало два автомобиля с откинутыми верхами, в каждом сидело по четыре человека. Тут было менее трёх вёрст, сильным биноклем различал Воротынцев и лица, и знаки на погонах. В первом сидел вёрткий маленький генерал, то и дело поблескивая бинокленными стёклами, ему же против солнца должно было быть черно. Их дорога шла слева направо по той стороне низины, выше осевшего тумана. Некому было их предупредить, задержать, они быстро приближались.

– Генерал! Генерал сюда к нам едет! – возбужденно поделился Воротынцев – с Благодарёвым, с кем же. – Вот бы его спугнуть! Вот бы нам с ним сейчас побеседовать!

Неудачно он стал тут, в окопе. Если бы подле Савицкого – сейчас задержать бы всякий огонь. Видят ли там? Но уже и к телефону перебежать поздно.

– Ге-не-рал! – так и зашёлся Благодарёв глубокой грудью, охотничьим задором. – Пай-мать! Пай-мать его!

И вот уже снижалась дорога – нырять в туман, а потом подниматься сюда, к Уздау. Но незадавленные ячейки охранения у самой низины не выдержали – и саженой за четыреста из нескольких винтовок стали палить по автомобилям.

А немецкая пехота – им отвечать.

И – спугнулись автомобили! Остановились разворачиваться, на развороте застряли.

Вот бы когда по ним шрапнельку! Но артиллерийский наблюдатель будет лопотать в батальонный телефон, а пока на батарееу...

В бинокль видно было, как генерал спортивно выпрыгнул из автомобиля, и свита сразу тоже, тоже попрыгала, не все и дверцы открывая, – и побежали, пригибаясь.

– Ах, подбить бы! – надсаживался впустую Воротынцев. И, всё равно делу не помочь, подставил бинокль Благодарёву перед глаза. Ожидал – биноклю поразится, а тот – вгляделся мигом и захохотал, забил себя по бокам, закричал на весь батальон, голосу не занимать:

– За-блудился чёрт козлоногий! Держи его! Хого-о-о!...

Автомобили выправились, выехали носами назад, ждали седоков. Но те уже убегали в сторону за кусты, спустились в канаву или ложок – и махнул генерал автомобилям ехать без них, сами так пошли.

И вот лишь когда наша трёхдюймовка дала через село, через головы – и близко над тем местом. Пристрелено всё-таки.

Кто ж этот был генерал!? И как же он не знает, что полно тут нас?

Происшествие очень развеселило солдат и сблизило вокруг Воротынцева. Благодарёв объяснял теперь без усилия, саженой на двадцать в обе стороны, как он там побывал и сам видел: генерал козлом скачет, а подбористый! Дивились солдаты: да разве генералы такие

бывают?

Видно, лих был смеяться Благодарён, так и несло его на смех. Ну да и работать, наверно, лих. Было в нём чуть неуклюжести, – той неуклюжести, когда сила в руках затекает, в ногах перетаптывается. Лет ему было, сказал, двадцать пять, но сохранилось в его лице что-то толстощёкое ребячье и с той доверчивостью, которую только в деревне и встретишь.

– Ну, теперь держись, ребята! И льва хорони получше! Он нам жарку подсыпет, для того и приезжал! – весело обещал Воротынцев.

Весёлого тут ничего не было, смерть и раны для многих. Но по свойству мужских обществ никто не открывал, если и была в нём тоска бежать отсюда поздорову, – а все друг перед другом выставлялись, шутили, гоготали.

– И помни, ребята: смелый человек умирает один раз, а робкий – каждую минуту!

Воротынцев чувствовал, как эта рота уже узнала и полюбила его, – и лёгкое гордое чувство своей уместности его наполняло, и ощущение вливаемой в него силы, за петербургские и московские годы забытой силы ядрёной неисчерпаемой России под каждой шинелью, вот не боящейся немца нисколько.

– А где Огуменник, братцы? На Огуменника бы днём посмотреть!

– Огуменник!... – Э-э!... – Огуменник!... – Сейчас, ваше высокодие!... – Никак нет, по нужде отлучился!... – Щас доставим!...

– Ну, тогда – Перепелятник!

Щуплый, а бойкий Мефодий-Перепелятник оказался через несколько человек от Благодарёва и, шмыгая носом, уже пробирался к полковнику – да не стало когда его рассматривать.

Сверх того, что гудело слева, в дюжину толчков толкнули против них, в дюжину долгих бичей хлестануло по воздуху – и все сюда.

– Ну! Святых своих все помните? – ещё успел крикнуть Воротынцев. – Ма-литесь!

И ещё последним смешком, вспоминая вчерашнего генерала, отозвались ему справа и слева:

– Богу молись, а к берегу гребись!

– Николай Угодник один всех покроет!

и Арсений взревел:

– Прощай, белый свет – и наша деревня! -

а уже приседая на дно, а уже головы пряча, однако и крестясь.

И всю полосу окопов Выборгского полка накрыло толчеей немецких фугасов! Всё та же единая стянутая команда и верная безотказная связь теперь враз перевели на их высоту, на эти две версты окопов – огонь десятков пушек и гаубиц, лёгких и тяжёлых, и ещё тяжелей, – да, шлёпало рядом сильнее шестидюймовых, неслыханные разрывы!

Вот тут, рядышком, выламывало землю! Тряслось тело земли, выворачивая из души. Каждый снаряд летел прямо сюда, только и прямо в тебя – в полковника, в нижнего чина, в мать твою за ногу, Господи помилуй! – а ни один никак не попадал, и только трясло, глушило, сыпало иногда землёй, может и осколками, да их не слышно, и наносило той вонючей тягучей гари, запах которой даже у новичка быстро соединяется со смертью.

Разрыв от разрыва уже не отделялись. Всё слилось. В общее трясение, в муку перед смертью.

**Такого** и сам Воротынцев ещё не испытал никогда в жизни! **Такой** густоты на японской не бывало! Не землю рядом – уже само твоё тело терзали, и усилием ума надо было напоминать, что если слышишь и соображаешь, то это ещё не твоё тело, а всё-таки землю! Как будто все годы войной занимаясь, здорово ж он от войны отвык: все ощущенья как внове. Ему, академисту, и то усилием ума надо было внушать и внушать себе, что теоретически из окопа полного профиля даже за час такой работы не могут вырвать более четвертой части защитников – и, значит, 75 процентов за то, что ты останешься жив.

Но сколько минут можно выдержать нервами и сознанием, не видя противника, не ведя никакого боя, а просто жертвой мишенной? Надо было засечь, на часы посмотреть. А



глаза-то зажмурены, оказывается! Сам не заметил, само зажмурилось.

Разожмурился. И увидел в аршине от себя, на той же полувысоте окопа, в ту же переднюю стенку вжатую, с фуражкой смятой – голову Благодарёва.

И тот раскрыл глаза тоже не сейчас ли.

В беззвучном грохоте, от всего мира отъединённые, только двое они, одни на всей Земле живые, смотрели друг на друга человеческим, последним, может быть, взглядом.

И Воротынцев подмигнул ему для бодрости. А тот – и больше, даже хотел распылить губы в несуразную улыбку. Да не вышло.

Ему-то неизвестно про семьдесят пять процентов. Ему-то не растолковано загодя!...

Теперь минуты пошли засеченные, отсчитанные. Тёплые карманные часы сжимал Воротынцев в руке, но неотрывно смотреть на них не было сил: слишком медленно пробиралась секундная стрелка, в один оборот вбирая лавины металла, тысячи осколков и крупьеv земли.

Уже не было солнца, не было утра, стояла дымная зловонная ночь.

И мыслей, мыслей в тесноту секунд тоже набивалось, как солдат в окоп: как же нам воевать, не имея равной такой артиллерии? – у нас не бьют дальше семи вёрст, а немцы на десять – на японской такого... – в японскую он ещё не был женат – Алина поплачет и выйдет замуж – жалко, не останется детей – и хорошо, что не останется – жалко, не встретил ту, сегодняшнюю, ночную – так и прожита жизнь, что сделал? – четырнадцатое августа четырнадцатого года – умирать не может быть жалко, кому война профессия – у него профессия, но этим мужикам? – какая награда солдату? только остаться живым. В чём же его опора?

Благодарёв, как давеча в планшетку, совсем не без интереса смотрел на часы полковника. А потом стал сползать вперёд – сползать – ранен?? – нет, на ухо крикнуть:

– Как-зна-току!!

Воротынцев не понял: что – как знатоку? Дать часы подержать, как: знатоку? хвастается, что на часы смотреть тоже знаток?

– Как-на-току!! – ещё раз рывкнул Благодарёв, шая силой лёгких.

И ещё не сразу достигло Воротынцева: как на току! Как колосья, распластанные на току, так и солдаты в окопах притаились и ждут, что расколотят им тела, каждому – его единственное. Гигантские цепи обходили их ряды и вымолачивали зёрнышки душ для употребления, им неизвестного, – а жертвам солдатским оставалось только ждать своей очереди. И недобитому, и раненому – только ждать своей второй очереди.

Правда, чем они эту молотилку выдерживают? – не ревут, не сходят с ума.

А минуты всё-таки прокручивались.

Прошло несомненных пять.

И десять прошло.

С лицом, вынутым из кровавой ванны, придерживая кожу всеми пальцами, бешено солдат протиснулся по-за спинами.

Недалеко бинтовал один другого.

А так – было цело звено их окопа.

Ну что ж, начали и привыкать. Это такая форма жизни: жить под молотьбой. Начали привыкать.

Воротынцев смотрел на Благодарёва и ясно определял, что тот – не боится. То есть он, конечно, не хочет умирать, и понимает, что бояться – надо, что всем надо бояться, раз положение такое, – а страху всё равно в Благодарёве уже не было: душевное потрясение не отпечатлелось на его лице, не пучились глаза, не помутился ум, не выскочило сердце.

И подумал: вот этого солдата он и предвидел встретить, когда в штабе армии отказался взять в сопровождение тыловую рязку. Вот этого солдата он сейчас возьмёт и будет с собою таскать до конца сражения.

Благодарёв сидел в окопе, как пережидают ливень под худой крышей. Он оглядывался и привыкал, как тут жить. Вот он охотился на осколки – выколупывал, какой в стенку не ушёл глубоко. Вот поднял горяченький, обжётся, с руки на руку перебрасывал и дал полковнику подержать, посмотреть – многозубчатый тёплый осколок, сроднённый телу, как тёплый нательный крест.

Простота держаться была у этого солдата дослужебная, дочиновная, досословная, догосударственная, невежественно-природная простота.

Тут изумился Благодарёв – через Воротынцева и выше, изумился, как будто в лаптях подошёл, а заместо сарая – дворец. Обернулся и Воротынцев туда -

---

## ЭКРАН

---

Горит ветряная мельница!

Мельница занялась!

Это видно хорошо через верхние края окопа -

как бы дорожка туда прямая, только застилает

дым разрывов, пыль земляная, земляные забросы.

А на макушке у нас грохочет! последним грохотом всё

грохочет и трясётся! – и потому беззвучно

мельница пылает! не разрушена снарядом,

а целно схвачена огнём:

и пирамидальное её основание, языки багровые

проедают обшивку,

а на просторе светлеют, багрянеют.

И крылья неподвижные. Огонь быстро бежит по

нижним лопастям

и от скрестья разбегается по верхним.

= Вся мельница! Горит!! Вся!

Огонь так работает: сперва съедает тесовую

обшивку, а каркас держится дольше,

каркас всё светлей, всё золотистой – а держится!

ещё скрепы есть!

Огненны все рёбра – и основания, и крыльев!

= И почему-то крылья – от струй ли горячего воздуха? -

ещё не развалилась, начинают медленно,

медленно,

медленно кружиться! Без ветра, что за чудо?

Странным обращением движутся красно-золотистые

радиусы из одних рёбер -

как катится по воздуху огненное колесо.

И – разваливается,

разваливается на куски,

на огненные обломки.

Что казалось непереносимо больше трёх минут – выдержал Выборгский полк больше часу. Мёртвых, кого успевали, распрямляли вдоль стенки. Раненых тут же и перевязывали, друг друга. Утягивать раненых было плохо: окопы глубоки, а подходы от села мелковаты и два на батальон. Так оставались и перевязанные – землистые лица, в кровавых пятнах по всем местам, где и не ранены, с дрожью губ и рук. Второй час перемолачивали выборжцев –

но не было в них порыва бежать и вряд ли вступало им в голову, что могли б они тут, под снарядами, и не крючиться. Нет, как камни, натащенные ледником, переживают потом его таянье, переживают века и цивилизации, грозы и зной, лежат и лежат, – вот так тут солдаты сидели и сидели, не вышибаясь. От дедов привычное, долгое, неотклонимое: надо терпеть, никуда не денешься.

Корчился и Воротынцев, как они. В этом перемолачивании, для него не нужном, в этом дружестве с полком, которым он не командовал, нашёл он как будто своё последнее место.

Безнадёжно было, что когда-нибудь кончится. А вдруг – поредела стрельба, согласованно перенеслась или прекратилась, не понять, – и стала рассеиваться смрадная чёрная ночь, и оказалось, что утро красное в поле, солнце высоко уже поднялось, переместилось и в окоп припекает.

И стали разгибаться, разминаться, высовываться, смотреть. Дико-хриплые голоса, из смерти воротившиеся, тоже разминались, вступали в звучность: что сегодня мно-о-ого покрепче, вчера такого не было; что слева курит-кутит посильней нашего, гляди!

Что кому-то тяжче нашего – это облегчение. Слева там, вдоль железнодорожного полотна и на другую деревню валили, валили, и всё это взрывалось, вздымливало, взносилось чёрным, и как они там сидят, и что там уцелеть может – отсюда страшней было представить, чем только что сидели сами.

Труден, труден возврат от камня к жизни – а надо было не разминаться и не глазеть, а поскорее с винтовкой спохватываться: как лежала она, не набилось, ли грязи, тут ли патроны, до конца ли примкнут штык, – ведь немцы огонь унесли не из жалости, ведь вот уж подбираются, наверно.

А вот тут они сплеховали! – что-то у них разорвалось: огонь-то прекратили, а пехота не шла. Неоценимые теряли минуты и возвращали Выборгскому полку и силу и злость.

В низине перед ними выгрелся последний туман, не осталось. И ясно виделось, что немцы не шли. А! вот! – справа! густо запалили винтовки и застучали пулемёты.

И Воротынцев, не соображая отчётливо, голова как не своя, тяжёлая дымная пьяность, – схватил свободную винтовку от мёртвого, патронов подсумок, и, шашку стороня, в неверных движениях толкаясь о стенки окопа, потаскался мимо мёртвых, раненых и живых – туда, к правофланговому батальону, чей окоп огибал сгоревшую мельницу. Голова-то тяжёлая, а соображалось не тяжелей, но даже легче, даже слишком легко, даже опрометчиво. Уже там побывав, как-то думалось иначе. Ни из какой теории не следовало полковнику Ставки протискиваться на правый фланг и винтовкой помогать тамошнему батальону. Но так хотелось! Так нужно было обязательно!

Да, наступали острые однорогие каски, но:

– Вахлаки! – закричал Воротынцев, подбадривая, кто слышал его тут рядом, и на изломе окопа найдя себе местечко. – Вахлаки, а не Европа! Кто ж так воюет?!

Опоздали немцы и тут – не подобрались ближе к точному моменту, когда кончилась артиллерийская работа, не рванули в этот миг ошеломления, а главное: пёрли на крутой откос не малыми звёнышками, не рассыпаясь, не перепрыгиваясь, а – цепями, как шлось, любо-дорогой мишенью, да ещё стреляя навскидку, для того останавливаясь, – нет уж! пехоте или стрелять или идти, что-нибудь одно! Мы вот – стрелять! Мы вот – стрелять! Отучили японцы нас так ходить. А стрелять, наоборот, приучили.

Столько в муке перемолачиваться – и врага не видеть. Столько не видеть – а вот он теперь! Вот он, враг заклятый, вечный, вот из-за кого мы всю жизнь мучились – ну, раззудись плечо, посчитаемся! Мы покорчились – полежите ж и вы! Сколько свалим – на столько вас меньше будет!

Выпрямился правый батальон как нетронутый – и палил! щедро, бойко, метко бил, с удовольствием оплачивал за своё окопное сиденье. И Воротынцев с удовольствием в том ряду стоял и бил, зачерпывал патронов, заряжал, целился, бил, переводил, и когда казалось, что от него немец упал, – кричал даже.

Удлинные страшные острые каски приближались, били с колена и стоя. (А что нам

каска! – мы и в фуражках хороши, русские лбы непробойные, ну, иной за голову схватился, закружился). Но выборжцы стояли и стреляли, без дрожи, без потяги отступать. Уже в пятидесяти саженьях не испугались острых касок, и никто команд не подавал, руками не махал, – а стояли выборжцы и били на совесть.

И – западали немцы с криками боли, зазапрокидывались, кто и нарочно, кто и боками катясь с откоса, чтобы целей. Остальные повернули – и в рост бежать. А мы – в спину! А мы – в спину!

И несколько горячих охотников вымахнули из окопа со штыками – догонять! Но поручик – за шиворот одного! И других задержали. Правильно.

Воротынцев больше уже не бил. Воротынцев радовался, как наши стоят. Эти выстоят, верно чувствовалось, так и будут стоять и ждать тут хоть шефа своего, императора Вильгельма! Воротынцев в дымности пьяной – любил Выборгский полк! и день 14 августа, этот бой под Уздау уже любил! И – Савицкого, вот кого особенно! И пробирался по окопу – дальше, к нему.

Командир роты на ухо кричал и показывал: там, под железной дорогой арка, а под аркой – генерал, или с той стороны.

И место правильное, там ему и быть. Чем тише тут – тем слышней отсюда пулемёты, и сколько у него своих – поставит верно. И к Савицкому идти нечего. А в Найденбург тоже сейчас не перелететь. И бригада Штемпеля уж где-нибудь маячит. И нечего идти направо. И в Выборгском полку тоже нечего делать, зачем он здесь?

Слева же гремело, черноту фугасов покрывал жёлтый слой шрапнели, там ещё пять полков один за другим занимали линию, там по-разному мог накрениться бой, и надо было – туда! Терпенье и крепость Выборгского не должны были гинуть впустую, они в этих же часах должны были отозваться на всём корпусе.

Идти по окопу было-тесно, трупы обтягивать, с ранеными стыкаться – да уже солдаты и расползались наверх, на простор. И Воротынцев, не бросая винтовки, взяв её на ремень, выскочил из окопа назад и пошёл по верху вдоль. Кажется, и посвистывало близ, но легко так шлось, нестеснённо. Да и слышалось плохо, уши уже не принимали. Да и виделось как будто не всё, что виделось. Лежали сорванные искровавленные бинты, жгуты. Насыпано было шрапнельными пулями. Валялась казённая часть от разбитой винтовки. Пустые гильзы сверкали от солнца. Жестянки. Медная пряжка брошенного пояса. Этот полз. Этот с обмотанной головой держался за лоб, а макушка открытая. Этот, сидя на земле, сапог стянул и кровь из него выливал, как из кувшина. Тот безжизненными глазами смотрел из окопа, а эти уже и смеялись. Ничто как бы не виделось, не принимали глаза, не принимала душа. Как от хмеля, появилась приятная неосторожность в движениях, излишняя сила их: то выбрыкивалась рука, то нога с излишней силой наступала или подворачивалась – состояние, когда наколешься, обрежешься и не почувствуешь. А в пьяно-тяжёлой голове сохранялась странная лёгкость мысли.

Уйдя в правый батальон, Воротынцев совсем забыл про своего соседа Благодарёва. Теперь, возвращаясь, он вспомнил его как самого главного, нужного человека. Жив ли? Неужели не жив?

Второй батальон так же удачно отбил, как и первый. Утягивали, уводили раненых – ходом сообщения и поверху. В окопе разбирались. Отрывали засыпанного, как дюжиной могильных заступов. Узнал Воротынцев своё место – жёлтый львиный хвост сперва увидел из груды земли, а правой – вот и Благодарёв, славная сообразительная рожа! Хмуристо разбирался, стул поломанный выбрасывал, пустые цинковые ящички патронные.

Попросил Воротынцев капитана отпустить с ним одного солдата. И кивнул весело:

– Благодарёв! А пойдём со мной?

– Ну-к что ж, – нисколько не удивился Благодарёв, будто между ними и условлена была прогулка. Перекатил языком под оттопыренной щекой, оглянулся мельком на квадратную полусаженья ямы, где в час минувший едва не окончилась вся его жизнь, перекинул тугую скатку через голову, сильным толчком выбросил ноги из окопа и вскочил в

рост. – Куда идти-то?...

Он держался, будто на войне и взрос, ещё и с Воротынцевым бок о бок:

– Винтовочку-то вашу дайте. Да и шинелку, вам полегче.

Шинель на шинель насадил, две винтовки вместе, ремнями за одно плечо, а котелок на ходу пропускал под пояс. Пошли.

Половина восьмого, в Ставке ещё не проснулись, не пили утреннего чая, а здесь с рассвета перемолотили уже под тысячу человек, да весь день боя ещё впереди.

Опять такой же летний душный застойный обещал нагреться день.

Пошли задами наших позиций, позадь чугунок, чтобы быстрее и легче идти. То, что было в окопе переглушено, тут-то видно было: что пыхают и наши пушки, суетится прислуга до пота, верхние рубахи скинув, снаряды подносят, шнур дёргают – да немца не переймут. Летели немецкие шрапнели и сюда, раза два так близко, что прилегали Арсений с полковником ничком, – однако после той канонады как в шуточку.

Но всё так же главный немецкий огонь приходился по передовой, по тем полкам, чьими тылами они шли сейчас.

– Стоит Енисейский! – потирал руки Воротынцев. – Ещё часок, и всё может перемениться.

Фотография этого самого Енисейского полка обошла Россию совсем недавно: в Петергофе он маршем проходил перед Пуанкаре, и на правом фланге его, ладонь к козырьку, голову на почётного гостя, с отменной отчаянной выправкой шагал великий князь Николай Николаевич. Месяца не прошло – и тех самых богатырей месило уже тут,

– И Иркутский стоит! – радовался полковник. – Сегодняшний бой, Арсений, мы можем выиграть, если с головой.

Выиграть – это б Сенька рад, скорей бы войне конец.

– А – чего делать надо, ваше высокоблагородие?

– Пока ничего, пошли вот быстрее на левый фланг. Если только отстаиваться – конечно не выиграем.

Да Сенька и так не хуже журавля ногами мерил – однако ж и полковник ходовит; ну без ноши, правда. Зато во все боки бегал узнавать: какая часть? сколько снарядов? какой имеет приказ?

Да взялись и позади их! – по Выборгскому снова взялись толочь, и крепко! Кой-где горит-дымит, и фугасы, фугасы взлётывают. Арсений рад был, что ушли. Окоп – яма могильная, и сам же ты залез туда, трясёшься, как баран, тесака в шею ждёшь. А по полю идти – свои руки, свои ноги, умирать вольней. А ещё и поживём. В охотку пошёл Арсений за этим расторопным полковником. В денщики б не урядился, а вот так обоюдком хорошо походить. Полковник не просто день проводил, чтоб живым остаться, он что-то настигал.

Воротынцев искал резервы, подошедшие части. Но первые вёрсты никого не находил, и с артиллерией было убого. Удивил только автомобильно-санитарный отряд великой княгини Виктории Фёдоровны – вероятно один такой на всю российскую армию: на их глазах принимали в автомобили тяжёлых раненых с перевязочных пунктов и сразу увозили в Сольдау.

У новой излучины железной дороги, где она поворачивала круто в тыл, на Сольдау, обнаружили корпусной мортирный дивизион, без тех двух гаубиц, отданных Савицкому. Тут, на обратных склонах, у них было много соштабелёвано снарядов, и они их ещё подвозили, а стреляли мало: подчинялся их дивизион лишь начальнику артиллерии корпуса Масальскому, его и близко не было, и не было ясной задачи, кого и в чём поддерживать. Командир дивизиона подполковник Смысловский готовился к обороне, если дела станут худо. Воротынцев быстро столкнулся с ним: от их расположения на северо-запад приготовить поворот орудий на сорок пять градусов влево и выбросить к западу боковые наблюдательные пункты – слева могут быть дела, и вот-вот. Условились, где и как связь. Воротынцев искал стрелковую бригаду, Смысловский предполагал, что может она и на

подходе, там дальше, за железной дорогой. А вот направо, глубже, в леске, собирается гвардейский Литовский полк – свежий, а стоит без дела, боевого порядка не занимает, второй линии обороны не копает.

Сенькин полковник так и замыкался: к литовцам идти? Туда лежало жнивье в чёрных зольных плешинах по всему полю: была рожь в копнах сожжена, ни одной копёнки не пропущено. Уже решил полковник: ты, Арсений, посиди тут, я скоро вернусь. Потом на часы скинулся – нет, айда на левый фланг, там стрелки.

Перемахнули живо через полотно, озрился полковник и показал:

– Вот так пошли!

И – торопом, наддавая.

– А почему – гаубицы, ваше высокоблагородие?

– Всякий раз не выговаривай “ваше высокоблагородие”, времени много уходит.

– А как же?

– Да никого нет – и никак. Видел, стволы – короткие, а широкие, сорок восемь линий.

– Это как – линий?

Вздыхнул полковник.

– В общем, они навесной огонь дают. По укрытиям хороши.

Вздыхнул и Сенька.

– Жалко, я не в артиллерии.

– А хочешь? Живы будем – я тебя устрою.

Сенька кивнул, а веры не придал, конечно: надо ж человеку что-нибудь сказать. Это каб раньше, пока Сенька действительную тянул. А война – тьфу, может к Покрову и разойдёмся.

Перед ними теперь сплошь раскидалось картофельное поле, богатая картошка! Да у немцев и буераки не пропадают, и на склонах всё возвращено, и от скота загорожено. А за полем – два дома-одинка, стоят себе за особицу. Туда, хлеща ботвою о голенища, они и зашагали. Хорошо так жить: тут же, при тебе, вся земля вкруговую сомкнута.

Гнал полковник скородышкой, будь у Сеньки ноги покороче – загонял бы. Гнал – и в трубки свои всё вперёд высматривал. Не доходя деревни стоял сарай высокий, кирпичный – там различил полковник много пехоты, вот это и есть стрелки.

– Это кто ж – стрелки, ваше высоко...? – доведывался Сенька и на ходу.

– Да тоже пехота, но отборная. Пулемётов больше, выучка строже. Парни здоровы, вроде тебя. Оттого у них на полк не четыре батальона, а только два. Ничего, справляются.

– Эх, – пожалел Сенька, – воротиться бы нашим рассказать, сколь тут силы напихано! Им бы намного легче стало!

Они заворачивали так, как завернул здесь и фронт. Вперёд от них было имение Рутковиц, за ним – лесок, а за леском, как понимал Воротынцев, – Петровский и Нейшлотский полки, вчера они туда продвинулись. Немецкий же обстрел был здесь гораздо тише. Верно, верно понимал он замысел! – немцы не смеют охватывать фланга, тут же ещё и кавалерия наши, немцы хотят протолкнуться через Уздау. И всё можно спасти, всё изменить – именно здесь! Но – кому собрать силы? Эти полторы кавалерийских дивизии переминаются, кто их поведёт?

А сарай оказался – скотий, ну-у! для скота – и такая постройка! А стрелки, правда, – рослы, здоровы, свежи. Сидели и по-сухому доедали, узкого что было. Заскребло и у Сеньки: ведь есть в мешке два сухаря, надо б съесть, пока не убили, не ранили. И отчего б так брюхо раззявилось? – не пахал, не косил, а нутро истачивает.

Спорили стрелки, почему продухи в стене оставлены – многими крестиками: класть ли было так гожей? или для красоты? или для защиты скота от нечистой силы? И хвалили крыши крутые, что снега сбрасывать не надо, сам свалится.

Полкового командира Воротынцев не застал – он поехал искать-спрашивать приказаний у кого-нибудь, кого найдёт, хоть у командира корпуса. А здесь были оба батальонных командира и полковой адъютант. Сели вчетвером. Их стрелковая бригада

прибыла в Сольдау без командира бригадах, без штаба бригады и без приданной артиллерии – просто четыре отдельных полка, и каждый двигался и искал себе задачу по своему разумению. Но – приказ есть? Общий приказ от корпуса – двигаться на северо-запад и ничего точней, – ни рубежей, какие занять, ни разграничительных полос, ни соседства справа и слева.

– Хорошо, господа! – горячо взял их Воротынцев. – Штаб корпуса в десяти верстах и, вы видите, никого от них нет. В уставе есть такая форма командования: совещание старших наличных начальников. Давайте такую создадим, хотя бы по вашим четырём полкам. Обстановку я вам сейчас – точную... Выберем место сбора – вот, пока имение Рутковиц. Ах, один полк уже там? Замечательно. Ваши батальоны тоже могут идти туда и дальше в лес. Как нам собрать все ваши четыре полка? Пусть каждый пришлёт по старшему офицеру в Рутковиц, и полки туда же подтягиваются. А младших офицеров – для связи можете мне дать двух или трёх? Одного с запиской – в Литовский полк, может быть убедим их перейти левой. Одного – к полковнику Крымову. Если его найти – он сдвинет нам сейчас эти кавалерийские дивизии, а может уже и двинул. И одного... – где? где этот тяжёлый дивизион?

Тяжёлый дивизион стоял в двух верстах сзади. По странностям подчинения он не слушался и инспектора артиллерии корпуса, он был – как себе хотел.

– На этом расстоянии они ничего не сделают. Им надо подтянуться сюда. Я к ним сам... Нет, я в Рутковиц. А – проводов у них тут не тянется, вы не видели? Не может быть, чтоб у них в Рутковиц не было наблюдательного. На позиции я им тоже записку...

Светлый жар убеждения передался старшим стрелковым офицерам – они не закосневшие были, они томились своим немочным бездействием, когда всё гремело и решалось вокруг. И – писались на планшетке развезенным спешным почерком, но сжатые смыслом записки. И, придерживая на ходу ненужные глупые шашки, побежали молоденькие офицеры связи. Оба батальона, гремя амуницией, поднялись, построились и ушли на Рутковиц.

И Сенька с полковником у всего сарая остались вдвоём: сидел полковник у стенки, ещё чего-то думал или ждал.

А Сенька-то за прошлое время из пруда, где утки ныряли, не понимая никакой войны, зачерпнул водицы в котелке, принёс. Прямо, брюхо разрывало – и с чего бы? А сухари, небось, пять лет на складе лежали, без воды и не угрызёшь. Удивительное дело, никто с дороги не приложится по этим уткам выстрелить. Хорошо бы разуться, да ноги в пруду смочить, но на полковника окидывался – никак нельзя, невдоспех.

– Возьмите сухарик, ваше высокобл...?

Удивился, взял как чужой рукой, но котелок всё же видел и макал.

– Только девять утра, – сказал. – Лучше б сухарь этот на обед.

Грызли.

В карту посматривал полковник. На дорогу посматривал, где за обсадкой катились патронные двуколки да телеги обозные. Грыз.

– А ты – женат, Арсений? – тоже голосом чужим, то ли спрашивает, то ли нет.

– Да что женат! И годика не пожил. С масляны.

– И – хорошая жена?

– Да по первому году они все хорошие, – сказал Сенька, будто небрежно, сухарь донимая. Сказал для прилики, как не думал.

– И как же зовут?

– Е-ка-те-ри-ной, – замедлился Сенька жевать.

... Её и Каткой-то не звали. Её по-уличному звали “рукавичка”, и в том обидно крылось не только, что – ростом мала, но что будто – не сама по себе она, что ей к кому-то прихлестнуться, а бросить её – труд невелик. А Сенька пословицей отвечал: дружлива рука с рукавичкой. И когда начал с ней гулять, то смеялись и девки, и парни: что ж, не мог он себе статной работной девки найти? Что ж с этой крохой делать будет? А над ней смеялись, что все рёбра он ей раздавит. Но, через глум, он верил чутью своему, так и ник он к ней, мочи

нет, – и до чего ж тёплой радостной женой обернулась Катёна! Не только в их Каменке, ещё по всему Тамбовскому уезду такую поискать! Бывает, как лошадь полюбишь – за то, что с нею ни в кнуте, ни в возже потребности нет: даже не по слову, а по задумке, почти прежде тебя она знает, куда поворачивать и как тянуть. А если – баба такова, то – как она тебе? Спит она когда, ест ли что – за этим не уследить, а прочнёшься – уже спорхнула, уже управляется, только б Сеньке было сытно, дельно, раздольно.

Но и не в том даже ядрышко, а – очень уж сладко с ней, вот как кость сладкую сосёшь, туда, туда, туда добираешься. И – чего не придумает! такое придумает!... От души он ей брюхо заделал, не нарадовался поглядывать да пощупывать, как круглится. Не дали радости потянуть.

Даже утёрся Арсений, отогнать неместную думку. По всему окружью топталась, крылась и елозила наша солдатня, и каждый кую-небудь Катюку бросил, да не рот разевать, о ней вспоминать. Ещё до конца этого дня сам ли Сенька будет жив?...

– А верхом ты можешь?

– А чего уметь-то?... У нас и все мастаки. У нас и коннозаводств по уезду, и коней...

Бы со сковородки подскочил полковник: “Как бы не стрелки!” – и тропочкой махнул наискось к дороге. Недолго и Сеньке: на одну руку сгрёб, на другую – и ходом. А им напересек – посланный прапорщик бежит: мол, тяжёлый дивизион и сам уже снимался, сюда переходит! Развеселился полковник: “Ну, и мы погнались!” Доспели и к стрелкам, вместе с ними по дороге, к тому имению. Сенькин полковник – с командиром полка толковать, тот с коня склонился. А стрелки – ребята подборные, ещё гладкие, строя подерживались. У Сеньки: “Что, с приказанием? Куда нам, ты не знаешь?” – “Куда! – отвечал им Сенька важно. – Где пестом наскрозь достают, чего ж на разбор опаздываете?” Рассказал им маленько про сегодняшнюю молотьбу.

Ещё они до имения не дошли – затарахтело новое что-то, сразу не поймёшь. Срывали винтовки и в небо палили. Запрокинулся Сенька: ах, супостат, летит, кресты чёрные на крыльях. Но сам в него не сажал, несручно, только задумался: и как же, нехристь, летает, ни на чём не держится? и каково ему подбитому, да вниз кувыркком?

Пролетел.

Имение – большое. Сад – на несколько сот корней, но сильно уже трушен, обобран, многие ветки ломаны. А близ сада – липы столетние, дубы, свой малый лес, обчищенный, ровный, с дорожками, – а по нему скот бродит, племенной видно скот. Конюшни – нараспах, чистота внутри, поилки, а коней ни одного. Из дома какая-то солдатня вытащила наружу диваны, кресла такие красно-ворсистые, развалилась и курит. Вскочили перед полковником, убрались. Сенька тоже посидел, забавно. Два поручика от стрелков уже при полковнике, и задумали они на крышу лезть, смотреть. Сенька взялся открыть им чердаки. Внутри дома – дива много. Зеркало – на целую стену, и разгрохали его, видно кусочки себе разбирали, смотреться. Мебели, мебели! – а перевёрнута, переломана. Посуды цветастой ребрёной набито на полу. И чудной бильярд – без сукна, без бортов, чёрный, гладкий, а очерком как топор. Как же тут шарам держаться? – Де-ревня! – поручик Сеньке фуражку нахлобучил, – это не бильярд, а **рояль** !... – А на стене вот это что раскололи? – А это – мрамор, родословная, от кого кто, значит, произошёл. На другом этаже – разворох не меньше: с окон кружева сдёрганы, шкафы опростаны, одежда на полу, игрушки, карточки портретные, книги, бумаги. Поручик подобрал: “Скаковые свидетельства. Хороших лошадей растил!”

Открыл Сенька все двери на чердак и окошко чердачное, полковник сенькин выперся и, ещё трубок не наставя, сразу: “Слушай, тут за парком сотня стоит, а ну пригласи ко мне офицера!” Поплюхал Сенька через две ступени на третью, добра-то, добра, и пощупать-посмотреть некогда!

Нашёл там Сенька подъесаула – 6-го Донского казачьего полка сотня, взяты на замен дивизионной конницы, с усилением огня отведены сюда. А от себя догадался Сенька попросить у них кобылу, да запречь её в двуколку, да охапень соломы туда кинуть, – и возвращался, уже возжами кобылу подбадривая, – по песочной убитой дорожке, крытой



ветвями дерев, что дождь не пробьёт.

Толковал полковник подъесаулу и записки ему писал, куда скакать. А за всё то время что-то погромчело, булга поднялась: между именем и ближним лесом стояли пушки наши полевые – и вот занаторвались! вот как взялись! как со всей деревни на одного прохожего собаки возьмутся, вот лопнуть бы хотели все сразу! Что-то в бою повернуло.

И тут у них тоже пошло скорохватом. Поручики, шашки придерживая, побежали к своим полкам. Полковник в двуколку прыгнул, как будто её и заказывал.

– Петровцы и нейшлотцы в атаку пошли! – Сеньке на ухо кричал. – **Сами** пошли! Без корпуса! Вот это и надо! А стрелки поддержат! И гаубицы сейчас поддержат! – И сам бы, кобылу опереди, вперёд выпрыгнул.

Обгоняя их, прошла галопом к лесу и та донская сотня.

Весело! Сенька, достань, тоже б сейчас на немцев побег, хоть бы и с оглоблей! Да рассчитаться поскорей – да и по домам. Это посильней, чем деревня на деревню! Весело смотреть, как наши подпирают. Ай да мы! Сами пошли! – а чего ж выстаивать, ждать, пока перемолотят? Пригожий, разгарный денёк и земля чужая раздольная, топчи – не жалко. Мало сладкого, конечно, если б так вот у них в Каменке воевали. В Каменской волости, сла-Богу, сроду так не воевали.

За именем сразу стояли и пушки. Стреляли, не перемежаясь, весело возились, война весёлый дух любит! Даже в денном ярком свете видно было, как при выстреле вылизывает огонь из дула. Один наводчик за каждым выстрелом кулаком в лес машет: получай, проклятый! А капитан поблизости кричит полковнику: “Прицелы растут!” Объясняет полковник Сеньке: “Это значит – продвигаются наши!”

Бери валом! Да неужели ж не пересилим?

А немцы тоже щупают – не имяне, а вот эти батареи. Тут – пойма впереди, лёгкий ветерок по травке кудрявой ходит, – а как гахнет сюда снаряд – чёрный столб расшлёпывает выше высокого дерева, шире кома дубового, и воронка остаётся не как в песке, а рытая, да чёрная-пречёрная.

И одну батарею нашу – накрыли! Прямо меж наших орудий – пых! пых! и ящик со снарядами – в воздух! да сам ещё он рванул! рванул! – и побежали лошади во все стороны, и люди зачуханные отползают, кто жив. А сенькина кобыла с пережахи – да перёк дороги взяла, еле вправил её Сенька – и в лес!

А от леса к батарее наоборот – передки понеслись: сейчас; прицепят и тоже вперёд. – А что, у них закида не хватает? – На открытую позицию!! – машет полковник вперёд. – На прямую наводку! Хлещи, Арсений, катим дальше!!

Лес неглубокий, проскочили, обогнав один полк стрелков, – а два других уже где-то развернулись. Просторное поле, село – вчера нами забратое, хутора там и сям – и опять лес, уже стеной, – ив том-то лесу, полковник говорит, и должны быть петровцы. А по сю сторону леса – картечные дымки, с неба не уходят, разойдутся – и новые замест, заградительная картечь, отполашивает, чтоб наши дюже не напирали.

– А справа? – не слышишь? гаубицы! Сюда, поперёд петровцев переносят!

– Эт те, что у чугунки были?

– Они!

– Так это мы с вами такой крюк задали?

Ка-а-ак огнём перед' ними полыхнуло на дороге! ка-а-ак чёрный дуб перед ними вырос! – только в сторону метнулись – в уши гахнуло – спрыгнули, к земле прикили (а возжи в руках!) – и осколки многие, многие засвистели, засвистели мимо! Как кобыла цела осталась? Как сами? Тележку пробило. Нет уж, теперь с дороги сворачивать: дуй наперевал поля, без рессор, а рысью – трях, трях, трях! Да вот и полевая вьётся... – Ваше вы-сокоро... туда ли едем? Ведь стрелки вроде налево остались. – А мы – направо, шрапнель объедем, – к петровцам, давай!

Места – ещё от немцев тёплые, сегодня поутру у них были, лежат и их убитые, лежат и наши, есть и раненые, да разбираться некогда. А вот – немецкая батарея стояла, на ней

заряды горели, два орудия их разбиты, лошади в упряжках убитые, остальные утянули.

А картечь в воздухе так и стоит, бери правей.

Тут как вжакнут два снарядика – не спереди, сзади! – через голову не перелетят. Это наши, слушай, это наши с недолётом лупцуют, лешие!

По-гнали через что ни попало! Полковник плечо – щуп, щуп, – эге, меня цепануло, Арсений! Расстегнулся: цепануло тут, по плечу. Может от своих, а скорей – от того фугаса на дороге, только сейчас зануло. Так перевязать, ваше высокородие? Не надо, ехать скорей!

Вот тут были немцы полчаса назад: патронташи, обоймы, сумки раскиданы, пулемётные ленты, отдельно убитый без головы, и с головой убитый (а карманы вывернуты, уже пошарили), ружья целые и ломаные, и в завёртке цветной как бы не съедобное, да страда: остановиться, нагнуться некогда. Вот и в лес упёрлись и пулемёты близко тукотят – наши ли? немецкие? Дальше ехать нельзя. Вяжи её к дереву, мы так пойдём.

А через лес навстречу раненные бредут – ох, далеко им добираться... Один руками машет, хвастает: накладено яго много, наши вперёд валят! Другой по всей груди забинтован, шинель внакидку, хрипит: кладут наших, кладут... Прапорщик бредёт, в шею ранен, крутить головой не может, плачет полковнику, да не от боли плачет: стрелять же нечем, последние патроны достреливаем, почему не везут, кто ж это задницей думает? Полковник ему: а сколько сзади покидали? Машет рукой прапорщик, кровью харкает: верно, сорят патронами солдаты, беречь не умеют.

Лес прервался большой косой прогалиной. Тут, на краю – канава с водой, перед ней петровцы залегли, не высовываются и не стреляют. А по прогалине – дорога, и по ней, ближе саженой двухсот чудо какое едет: как бы на колёсах, а колёс не видно; живое, а без головы, без хвоста. Колпак подвижной, слышно из пулемёта сеет, а потом с дымочком – жьжжж-у!

Что такое? – переполох, никогда не видали. Может ли в лес сюда заехать, или только по дороге? – Да грузовой автомобиль! – кричит сенькин полковник. – Через канаву не пойдёт, застрянет! – А что на ём? – А плитами железными одет, оттого и тяжёлый, сюда не поедет. – А что это с его бьёт, не пушка? – Ядромёт, малый калибр, больше страху, чем боя. – Да мы б его, може, взяли, ваше высокоблагородие? Да нам бы с двух сторон дорогу ему перекопать, али подорвать? – Чем будешь рвать, когда стрелять нечем, патроны скончались? – Патроны уже везут – слух – сейчас патроны будут, лежать! Но раньше того прибежал унтер: справа, от нейшлотцев, передают: есть приказ всем отступить! На него сенькин полковник: я тебе голову оторву за “отступить”! я тебя на месте сейчас ухлопаю!! – Так ваше высокоблагородие, я ж не сам придумал, я вас до подполковника сведу, у фольварк, а к ему записку принесли, а там по телефону передали!... – Батальонный командир, прошу держаться здесь, не верьте вздору! А подвезут патроны – по возможности продвигайтесь. Слышите? слышите? – это наш тяжёлый дивизион переехал вперёд, пристреливается, сейчас вам будет поддержка, какая вам не снилась! А я с этим унтером схожу, проверю и у того фольварка его застрелю! Откажись, сукин сын, сейчас, при всех! – Да ваше благородие, хучь и стреляйте, по телефону передали... – Благодарён, ты там задами подгони тележку!

Ещё в Уздау, под цепным обмолотом, как раздробилось в голове, рассеялось, так уже и собраться не могло за следующие часы. Ещё от того обстрела был принят темп, невысказанный в обычной жизни, и Воротынцев будто и бешено соображал за троих, и вместе с тем как будто дым разрывов и пожаров несло через саму его голову, и всё, что видел он, происходящее с ним и с другими, – всё в этом сизом отnose.

Он точно видел карту и понимал ход операции: при ослабевшем слева натиске противника накопленная сила, томясь, ломанула **сама** вперёд – это не из дивизии истекло, это в ротах началось! (Да ведь силы немеренные в этом народе! Да ведь привык же он побеждать!) Без понуждения, сами, пошли петровцы и нейшлотцы – и, не без участия Воротынцева, три полка стрелков им на подпор, на расширение влево, и два артиллерийских дивизиона. (Тем особенно был он горд, что – угадал, за час до нашей атаки угадал, что она может начаться!) А от первого успеха, друг на друга глядя, все теряли ощущение опасности,

и ещё бодрей и самозабвенней напирала вперёд. Командир кричал батарее: “Спасибо за блестящую работу!” – и канониры, бомбардиры и фейерверкеры кричали “ура-а!”, подбрасывали в воздух фуражки. Вся эта самобродная успешливая атака длилась час один, до половины одиннадцатого, но в этот бесконечный час испытал Воротынцев состояние счастья нанимающей полноты – не столько от продвижения на две-три версты, не столько от бегства противника, сколько именно от самобродности, самозарождённости атаки, что должно быть верным признаком победоносной армии. И, в достоинство с ней, весь этот час не давал Воротынцев уйти из себя безутратной ясности мысли: как помочь атаке развиваться? как заворачивать её направо, чтоб она захлестывала немецкий фланг? где найти генерала Душкевича? как подтянуть гвардейский Литовский?... Зато уж прочее всё, неважное, заволакивалось: почему они могли сидеть, грызть сухари у пруда, где утки плавали? они были пешком – откуда взялась под ними двуколка? и когда именно ему ободрало плечо? И через дым счастья, дым боя, дым несвязанности бытия всё время видел он ещё лицо Благодарёва: никогда не услужливое, а всегда достойно готовое, доброжелательное даже до снисходительности, не дерзкое, но живущее осмысленной отдельной волей. И успевалось ощутить: хорошо, что я этого солдата нашёл.

И всё это оборвалось как обвалом скалы, перешибом дороги – этим унтером с приказом отступить. Воротынцева кинуло в крик, он и правда готов был этого унтера на месте застрелить – но не за лжеца приняв, а с отчаяния, от угадания, что **этого** всё утро и боялся, только не знал, в чём явится **это**. С первого услышанья принесенный слух так и проколол Воротынцева своей верностью: вот **это** могло быть! что другое, а это – по-нашему!

Петровский полк такого распоряжения не получал, – но через него, как ток, ослабительная эта мысль передалась и стрелкам. А в Нейшлотском, уже начавшем отход, как Воротынцев ни разуверял офицеров, – приказание получил телефонист, это был грамотный спокойный унтер-малоросс, он повторил дословно, у него и записано было: “Начальнику дивизии. Командир корпуса приказал немедленно отступить на Сольдау”, а передал приказ – офицер связи дивизии поручик Струзер, его голос унтер хорошо знает, прямое начальство.

На возвышенной южной опушке того дородного соснового леса, откуда они теперь сматывали свой ненужный телефон, – качалась высоко на сосне свежееоборудованная немцами площадка наблюдения, отбитая час назад. И Воротынцев полез, едва не срываясь, так шатка, недокончена была лесенка, – и вот когда сказалось болью плечо. Всё качалось, даже думал не долезать. Что он рассчитывал увидеть? – но надо было сейчас охватить. Площадка, на высоте саженой восьми, ещё не имела никакой огорожи, перил, а надо было к суку себя привязывать, либо одной рукой держаться. Так и взялся здоровой рукой, а другой держал бинокль и ею же винт регулировал. И первое, куда посмотрел, – на левый теперь край, на знакомый холм Уздау, каменный постамент сгоревшей мельницы, и их утренние окопы, обрызганные чёрной оспой воронок. И по всему этому увидел: цепью в рост идущую, ни штыком, ни пулей не встречаемую, без помех идущую немецкую пехоту!!

Вот и всё. И бой решён. И день решён.

А Выборгского полка там уже, значит, не было. И все его тела и головы намолочены были зря.

Снизу крикнули, что генерал Душкевич тут, внизу, и спрашивает, что видно. Но этого Воротынцев не мог ему кричать при всех. Он обещал спуститься. А сам вёл бинокль правее. И увидел, как немцы уже и железную дорогу перевалили. И только на большом её завороте какой-то батальон ещё отстреливался из-за полотна. А из глубины, в его поддержку, били с прежнего места десять гаубиц Смысловского. А ещё гораздо правей, закрытый рельефом, угадывался по выстрелам тяжёлый дивизион, особенно пушки по их большой скорострельности. Они доставали как раз сюда, за большой лес, куда надо было вести всю атаку, куда уже заворачивала была она... Впустую... По многовёрстному обозримому полю ворошились и перемещались люди и части, явно не управляемые единою волей.

Цеплялся бинокленный ремешок за ветки, ныло плечо, срывалась нога, спускаться было трудно, чуть не оборвался.

Как будто ещё и оглох Воротынцев, не слышал своего голоса, как он передавал Душкевичу и что Душкевич, взбулгаченный, толстолицый, ему говорил. Слов не слышал и лицо как во сне, а понял: от телефонного приказа Сольдау стала дивизия отступать, а начальник дивизии даже не знал ничего! И там, впереди, у него выдвинуты, в полуобхвате, он – к ним. А – кто будет отход прикрывать? – в приказе нет. Без прикрытия всем так и валить? Хорошо притянули связь оба дивизиона, только под ними и вывернемся. А по всему полю раненые остались – что с ними теперь?...

Душкевича не стало, но появился Благодарёв с тележкой, и они покатали по чему попало, без дороги и дорогами. Снималась восьмипушечная полевая батарея, а командир её на камне сидел как в голову раненный и потряхивался. По большой дороге гнали взмыленные обозы, вперёд-то они всегда еле тянутся. И пехота перемешанных частей шла, гомонила, ругалась. Так и пахло от них тем особенным солдатским озлоблением, когда не они сами, а сверху испортили.

Проехали невдалеке от того сарая, где со стрелками уговаривались, – и тут-то встретились с батальоном Литовского: без приказа, по просьбе полковника Крымова, командир его шёл занимать рубеж. Навстречу откатной ораве шли гвардейцы строго, головами не крутя, шли как будто равнодушные, со своими закрытыми мыслями, своими отсчитанными минутами.

А вот командира корпуса – не было! Вездесущий автомобиль его – нигде не мельтешил. А к нему-то и рвался Воротынцев теперь, когда уже никого нигде остановить не мог, когда уже нельзя было спасти этого боя. Первое, что хотелось, – в его надменно-глупую рожу пощёчину залепить! плюнуть в него, с ног его сбить! Хотелось, хотелось... – но что может младший? и что позволяет мундир? Ничего! Даже не выговорить ему такого, чего он не слышал никогда и не услышит. Да и длинна была дорога до Сольдау, и забита сперва, лишь потом посвободнело, погнал Благодарёв кобылку во весь хлёт. В её мелькающих ляжках перебивалось, что Воротынцев мог бы корпусному сказать, – но за длинную дорогу он образумливался. Нет, только бы услышать от самого, крутолобого: как он мог погубить атаку, возникшую в ротах? как он мог упустить такой случай выправить заваленный, проваленный армейский левый фланг? Разумного ответа не жди, но услышать, какую он глупость придумает?...

Автомобиль корпусного теперь спокойно дремал перед штабом.

Рвануло Воротынцева из двуколки – и прыжком, бегом, толчком в тяжёлую дверь, – и как раз из аппаратной выходил – вислоусый, крюконосый, с бессмысленными глазами стенки, со лбом отважным, грудью строевой и плечами распрямлёнными, всякую минуту готовый за Господа и за императора в бой и на смерть. Так бы шашкой и раскроить этот лоб бараний! Теряя вид и оцупь служебных надвышений, голоса своего не слыша, однако с приложенной честью, Воротынцев закричал на корпусного командира:

– Ваше высокопревосходительство! **Как** вы могли отдать приказ отступить при выигранном бое?! **Как** вы могли погубить зря такие полки?!

Тёмная рябь трусливого отречения пробежала по лицу Артамонова:

– Я... не отдавал такого приказа...

Ах ты лжец, ах ты отступник, рыбы усы – так и ждать надо было, что ты откажешься!... Значит, выдумал приказ – поручик Струзер?

Такой бой!! такой бой!!! – и отдать по-бараньему!...

В аппаратной был только что разговор с Самсоновым, и Артамонов донёс ему: “Все атаки отбил. Держусь как скала. Выполню задачу до конца”. А – как можно было иначе, не позоря своего имени? Ответ – военный, гордый, сильный. А потом все разошедшиеся концы со временем как-то сходятся, Артамонов к этому привык на службе. Вот – и связь с Найденбургом тут же разорвалась, очень хорошо. Потом можно будет и так донести: отошёл под давлением двух корпусов противника. Двух с половиной корпусов. Трёхсот орудий. Четырёхсот орудий. И бронированных автомобилей. Вооружённых пушками. Как-то потом

это всё сойдётся, выступят и покровители.

Но всё ж – было мутно. Да разве жизнью своей дорожил Артамонов? Он службой, он именем дорожил, а не жизнью! Достоин умереть, к славе имени – он хоть сейчас.

И вскочил в автомобиль, погнал шофёра – куда-нибудь, туда, вперёд, где ещё наши есть! И за ветровым стеклом ему не было воздуха! – он приподнимался и ехал стоя, глотая встречный ветер. И полы его шинели с красным подбоем заворачивались, вскидывались, как два красных флага.

Он ехал навстречу нашим отступающим, устыжая их, что генерал бесстрашно едет туда, откуда они бегут. Он не указывал рубежей обороны или какой батарее где свернуть на позицию и в какую сторону стрелять – это укажут и без него. Но он ехал – вообще воодушевить, себя показать, воздуха глотнуть.

Трепались его красные полы, но сам он стоял как скала.

## 26

Головной батальон 1-го Невского Его Величества Короля Эллинов полка пополудни 14 августа первый вступил в город Алленштейн, без выстрела, без изготовки оружия к бою.

Столько сошлось невероятного сразу вместе, что как мороком колебался этот город в глазах невцев: вправду ли он есть или нет? своими ли ногами, не во сне ли они по нему идут? Столько дней надо было тащиться по опустелой бежавшей стране, не видеть ни одного жителя, а только разоряемые хутора и редкие в лесах деревни, далеко миновать города, избирать как нарочно самые дикие лесные межозёрные проходы – чтобы вдруг, среди яркого дня, войти в один из лучших городов Пруссии, войти голодными, пыльными, осмяглыми – в зеркально-чистенький городок во всём мельканьи его мирной будничной, но кажется праздничной жизни, не просто полный своими обычными жителями, но изобилующий приезжими, – и всё это сразу, в один шаг из пустынного леса. Две недели гнали они без боёв, почти не имея свидетельств, что вправду идёт война, и вот теперь, войдя в этот город, уже твёрдо видели, что не идёт: по своим делам шли тротуарами жители, испытывающие безопасность именно в своём обилии и беззащитности, заходили в открытые магазины, несли покупки, катили детские коляски, кто оглядываясь на входящие войска, а кто даже и нет, – и можно бы подумать, что батальон возвращается с манёвров в свой исконный Рославль, где всем они присмотрелись, – да только от простенького Рославля очень уж отменялись эти здания, и жители чудно были одеты. Теряя равненье и ногу, солдаты вылупливались на них.

И среди этой шаткой иноземной диковины (может, её и нет, если рукой пощупать) что одно было своё верное – это вид полковника Первушина, излюбленного полком. Он тут же шагнул, как всегда своей лёгкой походкой, отмахивая левой рукой, осматривался, лихим припухло-лукавым видом здорового смелого решительного человека даже нехотя как бы обещание подавая, что он всё знает, учтёт и сделает для солдат хорошо. И остановив батальон в затенистом месте, и дав распоряжение о расстановке караулов, особенно к открытым винным лавкам, Первушин сказал:

– А кому, господа офицеры, постричься-побриться или в кондитерскую – чередуясь, прошу.

После двухнедельного страстного похода могло это показаться шуткой, из-за дерзкого выката глаз полковника, из-за того, что усы дикорастущие, не холёные, совсем скрывали движенья губ, – а шуткой несколько не было, и стали отпрашиваться офицеры и шли, как в Смоленске или в Польше, клали на прилавок деньги с двуглавым орлом – и приказчики, и хозяева вежливо, поспешно выполняли заказ, беря в счёт марки по курсу 50 копеек. Давно ли ловили цивильных сигнальщиков, военизированных велосипедистов, – а вот немецкая бритва мягко ходила по шее русского офицера. И кончалось двоение, как поворотом бинокленного винта приходя в свой правильный объём и вид: воюют мундиры, но было бы за пределом человечности воевать всем против всех. На большом доме была вывешена простыня с надписью по-русски: “Дом умалишённых. Просят не входить и не беспокоить

больных”, – не входили и не беспокоили. Немецкий военный санитар в форме отдавал честь русским офицерам. А заметив в проходящем офицере знание немецкого языка, останавливали его женщины и спорили: “На что вы надеетесь? Разве можете вы победить культурный народ?” Но приглашали выпить кофе с бутербродами.

Переполненность узкого тесного города жителями вносила ещё ту новизну, что собственно занять этот город было труднее всего, негде было располагать на стоянки почти целый корпус, да даже и один полк. И Первушин отправился искать командира дивизии и командиров других полков уже на улицах и городских входах: предложить им расположить полки биваками вне города – близ озера, близ реки, в последних отрожках леса, из которого пришли.

Он встретил своего малословного друга Кабанова, командира Дорогобужского полка, – и тот сразу согласился. И командира Каширского полка – Каховского, с нервно вздёрнутой головой, тоже встретил, и с тем сговорились враз, и сами, без верхнего начальства, примерно распределили, кому какой район. У них в корпусе при бывшем их корпусном генерале Алексееве очень были развиты и поощрялись самостоятельные действия и содействия командиров полков. И, вместо возможной зависти и подпакощиванья, отношения большинства были приятельски-деловые.

А дальше Первушину не повезло: он проходил мимо скверика, где остановилось с десяток верховых, одни держали лошадей, другие сидели на скамье близ фонтана, – и невозможно было сделать вид, что не заметил корпусного командира, и не представиться ему.

Вообще офицер не избалованный, сын прапорщика, безо всякой собственности, женатый на купеческой дочке, правда и с Владимиром и с Георгием после мукденской раны и с умеренным набором других орденов, Первушин по возрасту был почти ровня командирам корпусов и командующему армией, но застарился, уже 8 лет пребывал полковником. Узнать было нельзя, о том никогда не говорилось, шло секретной перепиской, но очевидно тайным указанием за какую-то дерзость высокому лицу было закрыто его дальнейшее производство. Однако при докладах старшим по чину Первушин не выражал капризной мины, не напоминал о своей обиде, да и не в военное же время.

Миновать корпусного не пришлось, и полковник Первушин, на шестом десятке лет с лёгкостью стана, руки и голоса, доложил своему вознесенному ровеснику, генералу Ключеву, о караулах, о принятых мерах, может быть и не нужных сведению его.

Ключев имел принадлежности лица военного человека, особенно усы, без которых офицер неприличен, но чуть взглядеться: не военное это было лицо, и вообще не лицо, не было собственных настоящих признаков. Все ли это примечали или не все, но каждый привык на этом месте видеть простоватое прихмуренное, всеми любимое лицо генерала Алексеева – только что, посвежу, при загаре войны взятого с повышением в штаб Юго-Западного фронта, – и каждый не мог не думать при докладе: “как ты ни старайся, хоть из кожи вылезь, а всё-таки ты не Алексеев”.

И Ключев не мог не читать этого в лицах докладывающих офицеров, и за то не любил их, а особенно сразу не полюбил Первушина, с неусыпной выставленной отвагой в его дерзко выпуклых глазах. Эта неприязнь ещё углубилась четыре дня назад, когда при взгугле канонады слева полковник Первушин имел наглость самочинно явиться в палатку к корпусному командиру – миновав бригадного! миновав дивизионного! – и “от имени офицеров своего полка” испросил разрешения ударить влево на помощь 15-му корпусу! Такой беспримерной распущенности не только ожидать от своих подчинённых, но вообще представить в армии нельзя! Может быть таковы тут были алексеевские порядки, но негодование Ключева обратилось именно на Первушина.

Он отказал ему тогда. (Но – мысль использовал для своего возвышения: доложил наверх, что готов идти всем корпусом на помощь). И с той же неприязнью выслушивал Первушина сейчас, ища, чем бы ему досадить. Первушин же и тут не мог отойти бессловесно, но, имея в виду загородное расположение полков, спросил – не об этом

расположении, это без Клюева лучше сделается, а: не прикажет ли командир корпуса нарушить четыре железных дороги, подходящих к Алленштейну с разных сторон, – для большей безопасности. (Здесь пересекались главные прусские магистрали).

Клюев брезгливо ответил, что это не забота командира полка, но уж если он так хочет знать, есть директива фронтового командования: германских железных дорог не разрушать, а сохранять для нашего наступления. А лучше (дайте-ка карту) выдвиньте, полковник, один свой батальон к северу от города, в так называемый “городской лес”, и широким полукругом поставьте в охранение.

Вот эту беду Первушин и знал: не надо даже случайно встречаться с высоким начальником, тем более не надо стараться думать за него, как лучше.

Но уж теперь ничего не оставалось, как закинуться литым, полноватым, отважным лицом, повторить приказание, и только глазами в отместку: „Не-е-бывать тебе Алексеевым!” И – тремя шагами чёткими, а потом как попало, идти выдвигать тот батальон, глубже которого за всю войну никто уже не ступит в Германию.

Штабные офицеры, без интендантских и казначейских, на скамейке в тени рассчитывали, сколько заказать городу печёного хлеба, чтоб успели к вечеру и чтобы полкам вдохват, сколько за то заплатить, и останется ли купить провизии сверх того. Во многих частях ни сухарей не осталось, ни соли, в других – на один день, и овса уже не выдавалось лошадям.

Здесь, в тени, жаркий день был ласково-тёпл. Мирно бил маленький фонтан с мифологическими фигурами. В нескольких шагах проходили немки в летних платьях, вели и катили детей, напротив торговал галантерейный магазин, вёз извозчик пожилую немецкую чету. И кроме мирных рассеянных звуков бестрамвайного, безавтомобильного городка – не достигало сюда никаких других, никакого этого погромохивания, даже дальнего, когда кажется, что огромное жестяное дно рокочет от вгибанья-выгибанья.

После двух недель ненастоящей войны, всё время гуляя, а не стреляя, пришёл 13-й корпус в райский призрачный уголок – и на том бы вся война кончилась!

Генерал Клюев, скоро сорок лет на военной службе, **никогда отроду** не бывал на войне, так-таки не бывал – ни юнкером, ни прапорщиком, ни командиром лейб-гвардии Волынского полка, ни тем более свитским Его Величества. “Для особых поручений” продержался он в турецкую кампанию в тылу и “генералом для особых поручений” в японскую. Часто награждаемый и поощряемый, уже и начальник штаба округа, он мог надеяться и вообще никогда на войне не побывать. Но вот накатила она, и ему пришлось заменить Алексеева на корпусе.

Правда, генерал Клюев не раз бывал на манёврах. И нынешнее двухнедельное движение его корпуса счастливо походило до сих пор на манёвры, усложнённые плохим пропитанием войск, трудной связью, сильной стрельбой слева (как раз сегодня утром он откупился от судьбы, пославши Мартосу бригаду из Нарвского и Копорского полков – тех, что уже раз ходили к нему зря и вернулись), – но сам он не отвечал за те заполосные события, а в его полосе текло пока всё сносно, и лишь боялся он какой-нибудь ошибкой, неосторожным своим распоряжением нарушить эту хрупкость, или что оно само внезапно ворвётся откуда-нибудь. Клюев томился, он не ощущал в себе никакой твёрдости, и не чувствовал поддержки в офицерах, всем в корпусе чужой. О противнике он не знал ничего. Сейчас в Алленштейне он не приказал выбирать здания для штаба, сам не вполне ещё веря, что этот город завоевал и можно остаться тут ночевать.

Вдруг (не это ли оно?...) – подкатила двуколка, из неё выскочил лётчик, подбежал с докладом (чтобы тише, не слышно улице, его посадили на песок у ног Клюева). Он только что вернулся с разведки в восточном направлении, летал за 30 вёрст, почти к озеру Дидей, – и видел две колонны, по длине каждая в дивизию, которые шли сюда. Он не спускался так низко, чтоб отчётливо различить, что это – свои, но...

... но – затолковали, загудели штабные, на коленях разглядывая планшеты и поднося их генералам Клюеву и Пестичу, – иначе не могло быть: это шёл им на помощь по приказу

Самсонова корпус Благовещенского! совпадало и время, и направление, и численность! И завтра будет их тут кулак, два корпуса! А если с Мартосом соединятся, то и ещё больший кулак!

Правда, начальник штаба корпуса Пестич предложил ещё раз для проверки послать другого лётчика, старше и опытней, – но Клюев отвёл проверку и велел немедленно писать от него к Благовещенскому письмо: что он с тремя четвертями корпуса пришёл в Алленштейн и будет здесь ночевать, противника же нигде нет; а с рассветом покинет Алленштейн Благовещенскому, сам же пойдёт в сторону Мартоса.

И распорядился искать здание для штаба корпуса.

Вдруг (оно! оно! ) – близко за городом раздалась сильная ружейная стрельба, и даже маленьких пушечек.

Клюев побледнел, всё пересохло. Откуда, как могли так незаметно подкрасться немцы? – и теперь перережут пути отхода?

Помчался конный выяснять.

Дружно палили минут несколько. Немцы на улице не скрывали своего оживления. Но лишь в одном месте били. И вот реже, реже.

И замолчали.

Клюев подписал письмо, запечатали пакет, вручили лётчику: сделать посадку близ одной из тех колонн и передать пакет ближайшему генералу.

Молодой пилот, гордый поручением, прыгнул в двуколку, погнал к своему аэроплану.

Вернулся конный: это неожиданно подъехал с запада к самым домам Алленштейна бронированный немецкий поезд и открыл огонь по бивакам Невского и Софийского полков. Наши не растерялись, отогнали его.

– Надо пути нарушить! – приказал Пестич.

Лётчик не вернулся ни через час, ни через два, ни до ночи.

Но это не беспокоило никого: ведь летательные аппараты то и дело портятся.

Правда, посылали и по земле офицерский разезд навстречу тем колоннам. К вечеру прискакал назад один офицер и доложил, что из той, нашей, колонны их обстреляли.

Но и это никого не встревожило, потому что часто у нас обстреливают своих...

## 27

Генерал-от-инфантерии Николай Николаевич Мартос был, как говорится, “человек не пролей капельки”. Ему невыносимо было российское растяпство, “обождём”, “утро вечера мудреней”, переспим, а там что Бог даст. Всякий знак тревоги, всякое невыясненное пятнышко тут же позывали его к живому исследованию, решению, ответу. У него был истинный дар полководца: быстро, точно и трезво разобраться в любой обстановке и среди самых разноречивых данных, и чем хуже бывало положение – тем острее его проникание и тем бурней энергия. Ни с чем невыясненным мельчайшим он заснуть не мог, его жгло, оттого и спать ему мало доставалось, а больше он курил и курил. Ему доставалось мало спать – но и штабу корпуса тоже, ибо этой самой пролитой капельки он никому не прощал, он не понимал, как можно её пролить, он требовал её всю тут же с земли соскresti назад. Он заболел от каждого невыполненного приказа, от каждого недояснённого, неотвеченного вопроса. Он не уставал добиваться от каждого подчинённого каждой мелочи, чтоб она была ему выложена как начищенная серебряная монетка, – но к такому режиму были непривычны русские офицеры и кляли Мартоса, и это же показалось невыносимо Крымову, отчего и бранил он Мартоса, что тот “задёргал штаб”. По развалке Крымова не могло быть досаднее генерала, чем Мартос.

Хотя и всю жизнь в армии (с девятнадцати лет – на турецкой войне), Мартос так не походил на русских представительных медлительных генералов, что казался ловко переодетым шпаком – худой, подвижный, как будто не было ему сейчас 56 лет, острый, да



ещё хаживая с тросточкой-указкой и в распахнутой шинели под эполетами.

Своим 15-м корпусом он командовал уже четвёртый год кряду, всех знал, а корпус гордился своим командиром, и на многих зимних и летних учениях, манёврах, полигонах успел понять своё превосходство над другими корпусами. Воспитанный Мартосом корпус стал достоин своего командира. И был корпус – здешний, Варшавского округа, именно к этому театру действий Мартос его и готовил, и справедливо, что именно его корпус попал в Пруссии на самое горячее направление, вёл бои с 10 августа, когда другие корпуса всё только шли в пустоту, и что именно его корпусу досталось разведать своими боками, а Мартосу – разгадать обстановку, которую ещё не понимали на всех верхах, разгадать – и избрать правильное направление удара.

Несправедливо другое: что в первый день мобилизации от Мартоса отобрали и 6-ю и 15-ю кавалерийские дивизии, где Мартос знал каждого эскадронного, и даже не оставили просимого Глуховского драгунского полка, а навязали небоевой Оренбургский казачий полк, всего лишь с опытом полицейской службы в Варшаве, а полевой и не знал, и нести уклонялся. Единственный в самсоновской армии корпус был готов ко всей тяжести армейского сражения – и его лишили кавалерийской помощи, погнали в неизведанную пустоту даже без конной разведки. И несправедливо то, что начальство успело ещё до боёв помотать 15-й корпус на лишние переходы: совершить ненужный марш на восток для общего сосредоточения, а потом – назад, петля на несколько дневных переходов. (Воевал Мартос третью войну, но никогда ещё не видел такой сумятицы и гонки). А в приданном корпусу отряде лётчиков все 6 аэропланов были устаревшей системы, все моторы выслужили срок – и только лётчики горели геройством, и летали, – и корпус всё же не остался без воздушной разведки.

Боязливые городские казаки вели разведку, собирая слухи от местных жителей. И так ожидали боя за Найденбург, а его не было, а 10 августа объявил Мартос первую днёвку корпусу – но под Орлау неожиданно наткнулись на немцев и неожиданно среди дня начали бой. Артиллерия корпуса была вся со снарядами и стреляла отлично. То Симбирский полк, то Полтавский сами бросались в атаку, не дожидаясь команды (а не всегда это хорошо, и несли потери). В бою выбыли два командира бригады, три командира полка, несколько батальонных, много офицеров, больше трёх тысяч нижних чинов. У противника оказалось больше шести полков пехоты, на заранее выбранных и сильно укреплённых позициях с 16 батареями. В ходе двухдневного боя, разделённого душевной ночью с редким дождём, русские брали Орлау и Франкенау, отступали от них – и снова взяли их рассветной атакой, и противник с разгромом ушёл с позиций, оставляя снаряжение, раненых и трупы – даже стоячие трупы, застрявшие в тесном крепком молодом ельнике.

А оказался тут – немецкий корпус Шольца, в мирное время и расквартированный в этой самой местности, к ней и подготовленный. И так, противник никуда не бежал из Восточной Пруссии, как уверял штаб фронта. И Мартос, продолжая двигаться вперёд и день ото дня задирая противника левым боком, первый стал понимать истинное, косое, расположение корпуса Шольца, и первый, не дожидаясь распоряжения, стал заворачивать налево. Пилоты помогли ему открыть и выяснить за Мюленским озером с запада укреплённую позицию немцев.

И всё это приходилось совершать с корпусом, две недели не знавшем днёвок, изголоженным без подвоза, и в бессонные ночи – приходилось ночами переводить и поворачивать части. Для разгрома Шольца нужна была помощь соседей. Справа, где-то далеко, брёл Ключев. Ещё 10-го, при загаре боя под Орлау, Мартос полевой запиской к соседу, как бывает проще всего в обход начальства, просил помощи у Ключева – прислать в Орлау два полка. Но Ключев, хотя и получил записку быстро и слышал канонаду, – послал помощь только на следующий день, и не рано, и опоздавшую, Мартос уже выиграл бой и сам. А слева от Мартоса была пустота ещё тревожнее, корпус Кондратовича не подошёл, одна дивизия Мингина, и та как наскочила 13-го на Мюлен внезапно, не понимая противника, не сумела взять укреплений с удара и ещё быстрее откатилась на юг. А Мартосу

из армии было приказано на 13 -е не брать Мюлен, не фронтом на Шольца, – но на пустой север, брать Хохенштейн и даже идти к северо-востоку, на Алленштейн. С бурей в душе Мартос ещё послал два правофланговых полка брать Хохенштейн – а остальными всё более поворачивал на северо-запад, на Шольца, а в ночь на 14-е смелой ночной рокировкой полностью переменял фронт с севера на запад, против мюленской линии (ещё долго обозы путались на путях).

Уже понимая, что его потрепанным дивизиям этой обороны не одолеть, Мартос вечером 13-го снова послал полевую записку Ключеву, идущему безо всякого боя на север, прислать сюда если не дивизию, то хоть два ближайших полка. Но не было уверенности, что Ключев пришлёт. А только тем можно было спасти сражение, что привлечь сюда ключевский корпус весь, подчинить его Мартосу. Штаб армии проявился в Найденбурге – и Мартос просил об этом уже в ночь: сейчас, но только сейчас, безотложно, 14-го августа, можно было разгромить весь немецкий центр – и тогда никакая конфигурация не спасёт прусскую армию, – но корпус Ключева должен идти к Мартосу в ночь на 14-е! И одной дивизией успевал бы прийти прежде полудня, другой после.

Однако штаб армии, не понимающий, что сам держится в Найденбурге лишь тем, что Мартос атакует немцев, – отказал.

Да что ж, недавно в варшавском отеле Мартос представлялся Самсонову (да знал он его и молодым офицером, Самсонов – моложе на год). Нет, не нашёл в нём быстроты, схватчивости, решительности. А уж тестяной Постовский – это полное бедствие, нельзя было назначить неудачней.

Мартос первый из корпусных командиров проводил время не в штабе корпуса, а на командном пункте, с которого виден противник и где снаряды рвутся. Этим положением он дорожил, всякая отлучка была потеря, и утром 14-го, когда на их участке уже гремело с обеих сторон, а по расчёту и в штабе армии должны были вот-вот продрыхнуть, – Мартос послал в деревню к телефону полковника: снова просить штаб армии настойчиво, чтоб и весь корпус Ключева был немедленно повёрнут сюда!

Бой за Мюлен был тяжкий, 6 русских полков против 9 немецких, врывались в деревню, и брали пленных, и отступали. Разорвалось несколько сот шрапнелей и фугасов, многие десятки носилок пронесли, кое-где сменили батальоны резервными, кое-где переменяли огневые позиции, оттащили побитые батареи, дружным обстрелом едва не сбили свой аэроплан, – пока вернулся от телефона полковник. На беду он разговаривал с Постовским – да и как бы мог он требовать непременно командующего? – и Постовский отказал с мотивировкой такой: “командующий не хочет стеснять инициативы генерала Ключева”.

Нельзя было штопором завертеть Мартоса сильнее, чем этим ответом! Он бросил бинокль, сбежал с чердака, и под соснами бегал и вился на горке, ругаясь сам для себя, проклиная и исходу не находя ногам. Он не впал в ошибку доверия, что действительно его просьбу доложили командующему, и тот своей избыточно-крупной головой со всех сторон обдумал – и пощадил инициативу нерешительного Ключева. Нет, сразу узнавалась чернильно-промокательная душа Постовского, его боязнь отойти от позавчерашней директивы фронта и его ничтожно-значительная мина говорить от имени командующего, не доложившись. Да и как решиться такое подчинение составить, если Мартос корпусной как корпусной, а батюшка Ключев ведь был недавно начальник штаба округа, а Постовский служил у него генерал-квартирмейстером?!...

Что было Мартосу? – с утра бросить бой, когда уже переходили укреплённую реку, когда уже Мюлей обкладывали, а немецкий батальон панически бежал, – и скакать самому в тыл звонить, добиваться, проснулся ли командующий? В такие стервенящие минуты, неизбежные в армейской службе, когда надставленные остолопы делают всё как хуже и вредней, – хоть скинь с себя всё военное до нитки и утопись голый, не причастный ни к какому военному мундиру!

Но его звали, ждали, докладывали и спрашивали, а тут пришёл полевой ответ и от Ключева: Нарвский и Копорский полки высланы на Хохенштейн. И неутомимый Мартос

уравновесился, снова ввинтился в бой.

И так, на командно-наблюдательном, имея хорошую связь и с полками и с артиллерией, изведя три десятка папирос и не пообедав, Мартос провёл бы сносно этот день. Бой стихал, подтягивались и перемещались. Подходили и у немцев резервы и орудия. Пришло сведение, что два полка от Клюева достигли Хохенштейна, – и велел им Мартос немедленно идти насквозь дальше. В 4 часа пополудни, не давая немцам отдышаться и своим вздохнуть, Мартос начал новую атаку всеми полками, и хорошо пошли, обтекая Мюлен, – но дожидаться заветного момента Мартосу не дали: прискакали звать его к телефону, вызывал срочно штаб армии.

Так сейчас нужен был Мартос на командном! Так непосильно было ему отрываться, ехать разговаривать, даже Клюева получать! – но армейская шкура не давала самовольничать. Всё покинув на начальника штаба, поскакал Мартос к телефону, чтобы скорей обратно.

В большой тяжёлый телефон постоянной немецкой сети Мартос отчётливо услышал скрипучую манеру Постовского, – да что манера, не до манеры, он верить ушам своим не мог, он с ноги на ногу как на горячем заперемаялся.

– Генерал Мартос, такое приказание, – нудно тянул Постовский. – Завтра с утра двинуться на Алленштейн для соединения с 13-м и 6-м корпусами. Там образуется большой кулак из трёх корпусов.

Мартос изумился, нет, он не понял: не Клюев – сюда, а он – к Клюеву?

Да, именно так.

Узкую грудь Мартоса разорвало как прямым попаданием. Нельзя было ни дышать, ни жить! Это пресс-папье ничего не понимало и понять не могло! Оно не понимало, что один 15-й корпус только и вёл успешный жаркий бой со всей обозримой живой силой врага в Пруссии, со всей, какая проявилась до сих пор! Оно не понимало, что каждый час этого боя есть золотой час для всей армии, и надо сюда, сюда тянуть войска, а не отсюда. Оно не понимало, что сегодняшней день был доблестью целой жизни Мартоса, всей его военной карьеры! Оно вообще не разговаривало на человеческом языке. Да, бишь, 15-й корпус ещё не выполнил приказа – уйти далеко севернее.

– Позовите к телефону командующего! – закричал Мартос бешеным тонким приказным голосом. – Сию же минуту позовите!

Постовский отказался. Ну да, им же из комнаты в комнату переходить, смотришь, и по лестнице.

Зачем командующего? Приказ от имени...

– Не-ет!! – закричал Мартос, пока ещё горло кричало, пока ещё не перерезали шеи. – Нет!! Только командующий! Пусть командующий укажет, кому из генералов передать корпус, а меня пусть **уволит** от командования! Я больше **не служу** !! Я уйду **в от-ставку** !!

И Постовский не закричал навстречу (да он и не умел). Постовский сильно снизил тон. Постовский растерянно сказал:

– Хорошо. Хорошо, доложу. Через час вызову к телефону.

Да волки вас разорви через час! Через час вы меня не дозовётесь!

Лёгкий, с фигурой мальчика, с подпрыгом мячика, вскочил Мартос в седло и галопом погнал на командный, так что адъютант еле за ним успевал.

В темноте пришло известие, что весь корпус Клюева подчинён Мартосу. Мартос кинулся звонить командиру своей правой дивизии, чтобы тот скорей слал Клюеву новую полевую записку: срочно двигаться сюда на помощь.

Наша связь! – одинокая скачка верховых по чужой стране, среда, может быть, отрядов неприятельских. Телефонные линии – всюду, а нет технических команд налаживать их.

Не принёс и Найденбург успокоения мыслям Самсонова, не принёс прямого участия в деле. Чужой потолок над утренним пробуждением, в окно – кровли и шпили старинного орденского города, необъяснимо-близкая канонада, потягивающие дымил недотушенных пожаров и смешение двух жизней в городе – немецкой гражданской и русской военной. Каждая из них текла по своим законам, бессмысленным для другой, но в одних и тех же каменных простенках им неизбежно было совместиться, и вот с утра, раньше штабных., добивались приёма у командующего вместе: русский комендант города и немецкий бургомистр. Из городских запасов пришлось взять муки, печь хлеб для войск – расчёты, возражения, оговорки. Полицейская служба, установленная комендантом, не принесёт ли ущерба жителям? Русскими взят под контроль хорошо оборудованный немецкий госпиталь – но там есть немецкие врачи и немецкие раненые. Реквизируется здание и транспорт для русских госпиталей – условия, основания?

Самсонов честно старался вникнуть и справедливо решить разногласия, впрочем взаимно благожелательные. Но – рассеян был он. Шевелилось в нём то невидимое, недостижимое, что происходило в песках, лесах, в разбросе ста вёрст, и о чём с докладами не спешили прорваться к нему штабные.

Хотя по армейской иерархии высший начальник властен и волен над своими штабными, а те над ним – нет, но косным ходом событий чаще бывает наоборот: от штабных зависит, что высший начальник узнает и чего не узнает, в чём дано ему будет распорядиться, а в чём нет.

Вчерашний день, как и каждый, закончился рассылкою наиразумнейших из возможных приказаний всем корпусам, что делать им сегодня, и с этим сознанием невозможного благополучия штаб армии лёг спать. К утру у некоторых чинов штаба накопились кое-какие противоречия ко вчерашнему, но обнаруженное могло пойти в противоречие тому, на чём они сами вчера настаивали, – итак, не с каждым же докладом было спешить к командующему. Некоторые вчерашние приказания и надо бы как будто изменить – да ведь уже завязались по ним утренние бои, всё равно поздно. И оставалось командующему проводить неторопливое утро, полагая, что с Божьей помощью всё развивается, как он хотел и распорядился, то есть к лучшему.

Только нельзя было от него утаить связанных с близкою канонадой событий в дивизии Мингина. Эта дивизия, из Новогеоргиевска во Млаву почему-то не перевезенная по железной дороге, а прошагавшая сто вёрст рядом с нею и ещё полсотни потом, с быстрого хода вчера пошла в наступление всеми полками, причём правые едва не взяли Мюлена, а левые – Ревельский и Эстляндский, тоже очень успешно продвигались, но были встречены сильным огнём и отошли. А Мингин, узнав об отходе левых полков, отошёл и правыми, оторвался от Мартоса, как бы фланг его не открыл. Но в остальном сведения не были точны: как именно велики потери? до какого именно рубежа отошли? Неточность сведений давала возможность истолковывать их пока и не столь тревожно, тем более, что и канонада сегодня с утра отдалилась, перенеслась правее, к Мартосу.

Внимательно рассмотрел Самсонов предложенную ему карту. Велел послать указание, дальше какой деревни, в десяти верстах от Найденбурга, полкам Мингина ни в коем случае не отступать. Теплилась надежда, что вот-вот начнет подходить к Мингину гвардейская дивизия Сирелиуса. Его или корпусного Кондратовича очень ждал Самсонов в это утро к себе, но они не появлялись.

Может быть не офицера посылать на выяснение, а самому командующему поехать и посмотреть? Но поедешь к дивизии Мингина, а тут с другого края подскочит что-нибудь важное.

Так, без верных сведений о событиях, без явного дела, Самсонов протомился всю первую половину дня: то опять с Ноксом (верхом проехали с ним на высоту и оттуда смотрели вдаль), то с интендантами, то с начальником госпиталя, то с Пестовским, то над телеграммами Северо-Западного. И подходило уже время обедать, когда казачий разъезд привёз донесение Благовещенского, помеченное двумя часами минувшей ночи.

Донесение было так странно, что Самсонов моргал над ним, хмурился, пыхтел – а ничего понять не мог, вместе и со штабными. О том, что приказано было, – идти на выручку Ключеву, Благовещенский как будто не знал: он об этом не отчитывался, не оговаривал, почему не сделано. Ещё меньше он знал о немцах, была такая странная фраза: “Разведка не дала сведений о противнике”. И тут же: что в утреннем бою под Гросс-Бессау (**каком** утреннем бою? **когда** он об этом доносил?!) потери комаровской дивизии – более 4 тысяч человек! То есть, четверть дивизии?! И при этом – о противнике нет сведений?! И вот уже пункт указывался: на 20 вёрст южнее Гросс-Бессау, куда корпус отходит, явно бросив Бишофсбург, но об этом ни слова! И что ж за войска оказались там у немцев? Если б они бежали, на убеганьи боком зацепили Благовещенского – но как же четыре тысячи потерь?... Но они не бежали, ибо Ренненкампф не подходит – и, значит, они держат его. И значит никаких серьёзных сил против Благовещенского быть не должно. Так откуда?

А если они – от Ренненкампфа, то что ж не идёт Ренненкампф? Ох, он себе на уме.

Кой-как укрывшись от Нокса, Самсонов с этим уклончивым, нет, лживым донесением ходил по тёмному залу ландрата, как растревоженный медведь, и над тёмным дубовым столом сжимал голову.

Как несчастливо изменился вид войны, превращая командующего в тряпичную куклу! То обозримое поле сражения, по которому можно доскакать до оробевшего командира или вызвать его к себе, – где оно? Уже в японскую оно заслонялось, отодвигалось – а где оно теперь? За 70 вёрст, по стране врага, под угрозой пуль и плена, полсуток везли казаки лживую, подлую, предательскую грамоту! А добиться понять, исправить, ободрить труса, переприказать – ничто невозможно, пока казаки не покормят лошадей, дадут им отдохнуть и ещё потом проскачут полсуток назад. Не нащупывали друг друга станции беспроволочного телеграфа, не взлетали или не возвращались летательные аппараты. И свой единственный автомобиль усylать с ответом Благовещенскому – тоже не гораздо, да и ему потребно конное сопровождение. И так на 70 вёрст, как при Кутузове на пять, оставались всё те же копыта таких же по размаху ног коней. И только завтра об эту пору можно будет узнать, исправится ли 6-й корпус, подтянется ли к своим, или вовсе отколется, затеряется, а самсоновская армия окажется с отрубленной правой рукой?

С этим ощущением отрубленной правой руки, подшибленного крыла, Самсонов и сел за обед, и есть ничего не мог, и уже был откровенно хмур с Ноксом, отвечал ему невпопад.

Но в середине же обеда настигла и нечаянная радость: прерванная с утра, восстановилась связь с 1-м корпусом, и передали донесение Артамонова: “С утра атакован крупными силами противника под Уздау. Все атаки отбил. Держусь как скала. Выполнил задачу до конца”.

И высокое откидистое чело командующего помолодело, осветилось – и всё осветилось за столом. С живостью требовал объяснений и благорасположенный Нокс.

Правая рука была отшиблена, но силой наливалась левая, главная сейчас рука. А как несправедлив был командующий к Артамонову все эти дни, считая его и карьеристом, и глупым суетливым человеком! Теперь же он держал главное направление, всю армию, и не подумает, что преувеличивает, ибо тогда не родилось бы это сильное выразительное: **как скала** .

В приятных минутах кончился обед. Захотелось Самсонову узнать ещё подробностей, позвать к аппарату Крымова или Воротынцева, кто там ближе, – однако провод опять прервался.

Тем более надлежало заняться центральными корпусами. И хотя только третий час дня, очевидно уже пора начать составлять приказ по армии на завтра: лучше рано, чем поздно. Конечно, разумней бы отдавать распоряжения не на сутки, а по часам, по обстановке, но уж так всеми принято, не нами так заведено: в сутки раз.

На овальном столе перед командующим разложили карту, и Самсонов с Филимоновым и двумя полковниками, приминая углы, наклонялись, переходили, водили пальцами, а полковник оперативной части для справки вычитывал вслух из прежних донесений и

распоряжений.

К этой работе, в несколько рук, Самсонов всегда относился как к высокому обряду. От случайных причин – от освещения, от морга глазом, от стоянья или сиденья у стола, от толщины пальца, от тупого карандаша могла зависеть судьба батальонов и даже полков. Согласуя линии и стрелки, высшие приказы и свои соображения, Самсонов добросовестно, как только мог, старался вынести разумное решение. Даже пот капал на карту, Самсонов снимал его со лба платком, – то ли душно было в знойный день в зале ландрата при небольших узких окнах?

Приказ, как всегда, начинался с утверждения того, что уже достигнуто. Выходило неплохо: 1-й корпус отбил немецкие атаки под Уздау, дивизия Мингина во что бы то ни стало удержится, где ей сказано, 15-й занял Хохенштейн, вот-вот и Мюлен возьмёт, 13-й – в Алленштейне, а 6-й... да и 6-й ещё может исправиться.

Что же – завтра? Ясно, что центральными корпусами будем всё более поворачиваться налево, а неподвижный артамоновский будет как бы осью поворота армии. Ему так и напишем дипломатично, не предлагая наступления: “удерживаться впереди Сольдау”, и воля Верховного ни в коем случае не будет нарушена. А Ключеву велеть идти форсированно к Мартосу. А Мартосу... тут Филимонов настоял на глубокой формулировке: “скользя вдоль себя налево, сбрасывать противника во фланг”.

Только одного не могли они указать корпусам: как силён противник, как он расположен и из каких корпусов состоит.

И вот – почти готовый, лежал армейский приказ на завтра. Работа была – как продираться через кустарник в сумерках, а приказ лёг на бумагу без помарок, красивым наклонным почерком.

Но не уверен был Самсонов, что всё действительно готово. Да и нездорово себя почувствовал, дышать не хватало.

– Пожалуй, господа, пройдусь по свежему воздуху немного, потом подпишем, время есть.

Филимонов и полковник Вялов испросили разрешения идти вместе с ним. А начальник разведки с лысо-сверкающей тыквенной головой понёс проект приказа Постовскому в другой зал, и тот сразу заметил, как противоречит этот приказ последнему указанию Северо-Западного фронта наступать строго на север:

– Куда ж вы смотрите? Не Ключев должен идти к Мартосу, а Мартос к Ключеву. И так собрался бы большой кулак!

Был уже пятый час дня, жара спадала, но раскалены камни, и на улице тоже не хватало командующему воздуха. Он снимал фуражку, снова обтирал пот.

– Пройдёмте, господа, на край городка, там – рожица или кладбище.

Хотя и видно было вчера, хотя и на солнце сейчас – командующий задержался перед памятником Бисмарку. Обсаженный цветами, стоял на ребре скалистый необработанный коричневый камень, обломистым ребром вверх. А из него в треть плоти выступал в острых линиях и углах – чёрный Бисмарк, как чёрною думой затянутый.

Выбранная улица вела на северо-западную дорогу, к дивизии Мингина, может и не случайно сюда тянуло командующего. Как любил, он шёл с руками за спиной. Спереди это выглядело внушительно, а сзади – как бы по-арестантски, к тому ж и голова опущенная. Он не поддерживал разговора, и офицеры шли стороною.

Самсонов ощущал, что делает – не так. Верней – чего-то нужного не делает, а не мог схватить – чего, не мог прорваться через пелену. Хотелось ему скакать куда-нибудь, саблю выхватывать, но это бессмысленно было бы, и не приличествовало его положению.

И сам собой он был недоволен. И Филимонов недоволен им всё время, явно. И вряд ли командиры корпусов довольны. И главнокомандование фронта называло его трусом. И неодобрительно думала о нём Ставка.

А – что делать, никто не мог ему сказать.

При последних домах улицы начиналась рожица. Хотели все в неё сворачивать, как с

дороги загрохотали и показались на быстром прокате двуколка, вторая, потом двуконная телега. Возчики кнутами гнали, как спасаясь от близкого преследования, – катили с развязностью, неприличной в расположении штаба армии. Сопровождающие Самсонова бросились перехватить, и Филимонов, одёргивая аксельбант, со злым лицом вышел на середину дороги. А Самсонов ещё не придал значения, зашёл в рошу, сел на скамью.

Однако шум с улицы не умолкал. Колёса остановились, но подъехало ещё сколько-то. Слышался гул голосов, утишаемый по мере подхода. Слышался грозный голос Филимонова, как он допрашивал солдат и не отпускал. Самсонов попросил Вялова пойти узнать, что там. Вежливый Вялов вернулся с задержкой, смущённый, как доложить, – а голос Филимонова там набирал силы, резко распекая.

Вялов объяснил: это – очень расстроенные остатки Эстляндского полка и немного ревельцев (которые должны были во что бы то ни стало стоять в десятке вёрст отсюда), они стихийно отступали и вот докатились до Найденбурга, конечно, не зная, что здесь штаб армии. Они имели порыв откатываться и дальше.

Самсонов тревожно встал, дыша с недостаточностью, и, забывая надеть фуражку, потерянно неся её в руке, вышел на солнцепёк, на улицу.

Тут набрался как бы строй: несколько повозок, отдельно четверо офицеров, потом солдат сотни полторы, еще подходили и новые. Им приказано было разбираться в четыре шеренги, но что это были за шеренги! – неостывшие кривые линии распалённых лиц, многие без фуражек, как на молитве, а не в строю, кто без шинельной скатки, у кого скатка в ногах, у всех ли ещё винтовки? А у правофлангового чёрного дядьки оттопырен на боку котелок, пробитый в донце осколком, но не покинутый. Десятка два было раненых, перебинтованных кто фельдшерской рукой, кто саморучно, а и просто были с запекшимися открытыми пятнами. Уже остановясь, они как будто не остановились, их клонило, валило в ту сторону, куда они быстро шагали незадолго. Они дико смотрели, и ещё странно, что держали как-то строй.

При подходе командующего Филимонов рывкнул: “смирно!” (Самсонов отставил), и стал громко докладывать – да не докладывать, а позорить это трусливое стадо потерявших человеческий вид солдат... До сих пор командующий слышал своего генерал-квартирмейстера только в комнатах. Он не ожидал от него такой звучности, резкости, ярости. Филимонов кричал перед строем с неистраченным честолюбием штабного начальника и ещё с особым честолюбием генералов, низких ростом.

Самсонов слушал крик, обвиняющий весь Эстляндский полк в предательстве, трусости, дезертирстве, а сам оглядывал неостывшие лихие солдатские лица. То была лихость крайности – крайности конца жизни, когда никакой генеральский распёк уже не проникал в их уши, и это чудо ещё, что они позволили себя остановить: их и каменный забор уже мог бы не остановить.

Но эту лихость, эту крайность тут же отличил Самсонов от той бунтарской лихости, которую повидал в 905-м году на сибирской магистрали, где кипели солдатские митинги, распоряжались комитеты, где гудело “доло-ой!”, “домо-ой!”, громили вокзалы, буфеты, силой хватили паровозы для своих составов: “Мы первые! домой! долой!”. Там – ничего не значили офицеры, и в сто глоток кричали бунтари “до-лой!” – долой вас, какие б вы ни были хорошие, мать вашу расперетак, не надо нам вашего хорошего, отдайте нам кровное наше!

А здесь, на этих лицах перекажённых, на возврате уже ненадежном от смерти к жизни, было с болью к офицерам: кровное наше, мать вашу так, мы же вам отдаём, – а вы?? а вы?!

И Самсонов, чувствуя, что краснеет, может быть и не видимо никому на солнце, выставил лапу ладони, остановил нависающий гам генерал-квартирмейстера и стал тихим голосом спрашивать – сперва офицеров, случайных, только один был ротный, потом и солдат.

А им – рассказывать непривычно, сбойно, нескладно, да и что они там поняли во всей этой свистящей смерти? Под снарядным накрытием от сотен орудий – да без единой канавки, в мелких бороздах свекловичного поля. А нашей артиллерии – не было, или не доставала в

ответ, а какие несколько пушек выехали – тут же и разнесло их. И всё ж таки ружьями да пулемётами, дальней стрельбою – отвечали по пушкам. А ещё подымались в атаки и даже до немецких окопов дотягивали. И все патроны расстреляли. А тут пехота стала обходить их. А тут и конница сзади заворачивала (может, и не заворачивала). Да такого грохота и в Страшный Суд не будет, старые солдаты никогда не слышали. Тысяч до трёх из их полка разметало. А-а, этого не расскажешь...

Он. Он виноват. Он же слышал эту стрельбу вчера, и сегодня утром хотел к ним поехать – отчего не поехал? Уже в том его вина, что он **здесь** их дождался, а не **там** разыскал, в их беде. Да не в том, а прорезалось ясно, что никак не понималось в тёмном зале ландрата: ещё вчера на сегодня писал он им, под советы вот этого неуёмного генерала, какое шоссе у немцев перерезать; как ворона летает, и то бы им было туда двадцать вёрст. А посылал – по жаровне, по единственному месту, где немцы замечены были, стояли и бились. И ещё сегодня ошмёткам этих полков он велел **“во что бы то ни стало”**...

Пока говорили – подбывало сзади, и знамя пришло на древке, с крестом георгиевским в навершной скобе и с юбилейными лентами. Подошло и стало знамя на левом фланге молча, и кучка солдат при нём – некомплектных, раненых, ободранных.

И к рассудительному тихому голосу, слышному однако тут всем, добавляя, чтоб и тем было слышно, Самсонов окликнул:

– Сколько вас, ревельцы?

И фельдфебель ответил отрубисто:

– Знамя. И взвод.

А из задней шеренги Эстляндского крикнул, спроса не дожидаясь, голос нетерпеливый, охрипший:

– Ваше высокопревосходительство! Мы ведь – третий день без сухарей!

– Как? – ещё затемнился, изумился, обернулся командующий. – Третий день?

Весь вчерашний день, наступая по жаровне, и вырубаемые снарядами, и в штыковые атаки ходя, и умерев на девять десятых, – без сухарей?...

– Без сухарей!! – подтверждали ему сбойным хором.

Командующий покачнулся вперёд высоким грузным телом, видели. Адъютант подбежал его поддержать, но не пришлось, он устоял.

(Да ему освободительней было бы рухнуть и крикнуть: “Каюсь, братцы, это я вас погубил!” Ему легче к сердцу было бы – взять всё на себя и подняться уже не командующим).

Но – только распорядился тихим голосом:

– Всех накормить сейчас же. И поместить на отдых.

А тяжесть вся осталась в нём.

И он зашагал в город назад, окаянно перемещая ноги.

Как раз у глыбы Бисмарка из-за угла выехало навстречу командующему несколько конных, провожаемых штабным офицером. Тот показал. Увидели. Соскочили и пошли к Самсонову кривым кавалерийским шагом, наращивая его.

Это были: кавалерийский генерал, драгунский полковник и казачий полковник.

Генерал-майор Штемпель (так много в его армии генералов, Самсонов лоб наморщил, да, командир бригады у Роппа) доложил, что прибыл во главе сводного отряда из драгунского полка, трёх с половиной сотен 6-го Донского и конной батареи. Отряд сформирован полковником Крымовым властью командующего армией с задачей установить прерванную живую связь между 1-м армейским корпусом и 23-м.

Ещё видели глаза Самсонова эстляндцев и ревельцев, ещё через голову промешивалась их беда со своей виной, а в памяти наслоено было, что всякие временные отряды, расподчинения и переподчинения всегда истекают от худа, – но время наступало, и надо было вратываться и понимать:

– Да? Хорошо, это хорошо... Между этими корпусами действительно...

Командующий здоровался за руку со всеми тремя – а казачьего полковника он знал!



сразу вспомнил его скромно-грубоватое лицо, седой бобрик, седую бородку щёткой, по Новочеркаску знал:

– Исаев? Алексей Николаич, кажется?

Лет уж под семьдесят, а безотказен:

– Так точно, ваше высокопревосходительство!

– А почему – три с половиной сотни? – слабо улыбнулся Самсонов.

И Исаев, рад случаю пожаловаться, может ещё полк соберёт назад, – объяснял. Но – странно смотрел на Самсонова.

И Штемпель тоже смотрел странно. Они переглянулись.

– Худая весть и гонцу не в честь, – поёжился простоватый Исаев.

Самсонова кольнуло:

– Что такое ещё?

Сухощавый Штемпель выпрямился и протянул пакет, как если б ждал себе за это казни:

– Нагнал нарочный от полковника Крымова. Велел передать.

– Что такое? – спрашивал Самсонов, будто устно легче было услышать. А пальцы уже разворачивали бумагу с крымским замысловатым почерком:

“Ваше высокопревосходительство, Александр Васильевич!

Генерал Артамонов – глуп, трус и лгун. По его беспричинному приказу корпус с полудня отступает в беспорядке. От вас это скрывается. Потеряна прекрасная контратака петровцев, нейшлотцев и стрелков. Отдано Уздау, ещё удастся ли к вечеру удержать Сольдау...”

Если б это сказали на словах, хотя б и под клятвой, – нельзя было бы поверить. Но Крымов зря не напишет.

Самсонов вырос, побагровел, затрясся, как мех раздулась его грудь. Он брёл сюда ослабленным и виновным – но вот обнаружился злодей виновнее его! И с силою правоты он заревел на перекресток:

– От-ре-шаю мерзавца!

И поднятою рукой оперся о бисмаркову неровную глыбу:

– Кто здесь? Восстановить немедленно связь с Сольдау. Генерала Артамонова отрешаю от командования корпусом. Назначаю генерала Душкевича. Сообщить в 1-й корпус и в штаб фронта.

Он опирался как будто о скалу, как будто левою рукой – но не было у него больше левой руки.

Отрубили и её.

## 29

Ещё вчера, с ног сбивая, гнали Нарвский и Копорский полки на север, не давая у колодцев посидеть, и уже в вечерних сумерках всё на север, биваками стали в темноте. Слух был, что завтра в городе Алленштейне будут хлеб печь и выдавать. Но утром 14-го после обычной заминки, затяжки, когда приказы никак не рождались и не рассылались, и батальоны цепенели в бездействии, впрочем зная, что их же ногами и расплачиваться за всё, – пришёл приказ Нарвскому и Копорскому полкам поворачивать налево назад, от Алленштейна прочь, и, с тем же спехом возвращая незримому немцу вёрсты, отшаганные у него вчера, – гнать на помощь соседу, как уже бегали три дня назад именно эти полки – и зря.

Может быть, командиру бригады было при этом какое-то пояснение. Может быть, и командирам полков перепало осведомления сколько-то. Но в батальоны офицерам ничего не было объяснено, и даже при добром доверии трудно было связать вчерашний: марш и сегодняшний иначе, чем глупостью или злой насмешкой. А что могли думать солдаты? Перед солдатами Ярославу Харитонову было так стыдно за эти метанья, вымученные у их тел, как будто сам он и был тот злобный штабной предатель, кого солдаты во всём

подозревали.

Но – и награда неожиданная за весь двухнедельный голодный мотальный марш ожидала их полки: в полдень, при ярком солнце, при ровном ветерке, при весёлых пучных белых облаках открылся им с обзорных grisлиненских высот – первый: город, а через час уже и входили они в него без препятствия, небольшой городок Хохонштейн, так, саженей четыреста на четыреста, поразительный не только уёмистой теснотой крутоскатных кровель, но – полной безлюдностью, этим даже страшен в первую минуту: вовсе пуст! – ни военного русского, ни мирного жителя, ни старика, ни женщины, ни ребёнка, ни даже собаки, только редкие осмотрительные кошки. Где – забитые ставни, а где – рамы сорваны с петель, текла вдребезг. Передний полк не сразу поверил, предполагался за город бой, они принимали резервный порядок, выслали разведку. Невдалеке, по тому ж направлению, громыхла артиллерия, стучали пулемёты, – но сам островерхий город по прихоти войны был совершенно пуст – и цел! – видно, никто не бился за город и перед ними, и если брал – то так же пустым, без боя, и так же бросил.

Полки втекли с алленштейновского шоссе ещё с порывом к бою, ещё с готовностью пройти город насквозь к идти дальше, куда было им велено, – но, как в сказке, на первых шагах в зачарованной черте истекают из героя силы, и роняет он меч, копьё и щит, и вот уже весь во власти волшебства, так и здесь первые кварталы чем-то обдали входящие батальоны – и расстроился их шаг, свертелись головы в разные стороны, смягчился, сбился порыв двигаться на шум боя, и бригадная и полковая воля над ними почему-то перестала существовать, никто не понукал, не прискакивали ординарцы с новыми приказами. И батальоны почему-то стали сворачивать – направо, налево, ища себе в городе отдельного простора, да единая батальонная воля тоже парализовалась, и зажали роты отдельно каждая, а там и они распались на взводы, – и удивительно, что это никого не удивляло, а повеяло заколдованным обессиливающим воздухом.

Вопреки тому старался Ярослав хранить сознание, что – не должно так быть! что их помощи дальше ждуть! Но не шире взвода действовала его власть. Однако вот и взводы беззвучно, неприметно растекались, рассасывались, как вода, сама себе ища свободный сток и незанятые объёмы. И взводу Харитонову, из лучших, добропорядочных солдат составленному, не стоять же было одному под ружьём на солнце, заслужили они право на привал.

А – на еду? После стольких изнурительных дней при ущербном пайке – так ли уж дурно было, что неотклонной голодной надобностью по одному, по два, по три стало утягивать и его солдат, – кто спросом, как благородный Крамчаткин, подошёл, печатая шаг, и глазами вращая, весь живот во власти командира: – “Разрешите обратиться, ваше благородие? Разрешите отлучиться за продовольственной поддержкой?”, – а кто за стену винть, и вот уже сахар несёт, и печенье в цветных пачках, из рук второпях обранивая и прячась от взводного командира. Дурно? Наказать? Да ведь голодны, да ведь это – потребность, от которой и бой зависит. Почему уж так надо считаться с покинутым захватным имуществом? Посоветоваться бы с другими офицерами, но что-то не видно их, и с кем советоваться? – ты взрослый, ты офицер, ты решаешь сам.

А вот – макароны несут, мужиками отроду не виданные! А ещё чудней: в стеклянных банках – телятина, жаренная по-домашнему. Наберкин – маленький, юлкий, с сияющими глазами несёт своему подпоручику, радый угодить:

– Ваше благородие! Не погнушайтесь отведать! До чего же хитро сработано!

Здесь – нет преступленья, чиста солдатская душа, они – заслужили. Да ведь что-то и сварить, и разогреть – в доме, или на дворе, свой огонь разведя между кирпичами. А вот ещё занятней, даже офицерам вдиво – как немцы хранят яйца: кладут их в беловатую, видимо известковую воду и оттуда они как свеженькие, сколько ж месяцев?

На кладовках у немцев замки не тяжкие, у немца ведь какое глупое понимание: раз замок – значит нельзя, никто не возьмёт. А слух – что в городе есть большие склады, и уже другие батальоны до них добрались, нас опередили.

Нет, что-то не то... Нет, так нехорошо! Надо запретить! Надо сейчас построить всех и объяснить...

Но тут расторопный служивый унтер, опора Ярослава во взводе, доложил ему, что на краю города стоят казармы, а в канцелярии – много карт! И – зажглось Ярославу эти карты посмотреть, пока не выступили дальше! Да в конце концов у него-то во взводе солдаты хорошие. И оставив унтера со строгим наказом, Харитонов захватил неохотого солдатика и поспешил с ним в казармы.

По казармам бродило немного добытчиков, но никому не приглядывалось немецкое обмундирование и фельдфебельское имущество. А в распахнутой канцелярии действительно сложены были карты Восточной Пруссии, в километровом измерении, на немецком языке и очень чёткой печати, гораздо разборчивее тех, что Нарвский полк выдавал на батальон одну карту. Приловчив солдата подавать ему и убирать просмотренное, Ярослав отыскивал карты тех мест, где прошли они и куда могли попасть. Совсем ведь другая война, когда имеешь полный набор карт! И карты к Висле горячо смотрел – захватывающее очарование топографической карты тех мест, где никогда ты не был, а **будешь** скоро! Составил Харитонов один большой набор, с переходом через Вислу, и три комплекта по ближним местам (один непременно Грохольцу подарить!).

Но при хватком, быстром, деловом отборе ещё быстрее что-то опустошалось внутри Ярика: радость от карт была какая-то неполная, ненастоящая, а по-настоящему тоска серая разливалась, или даже страх, – страх опоздать к полку, полк уйдёт? нет, другой страх – предчувствие беды, что ли? И хотя дело было самое нужное, а скорей бросай его и беги к полку назад, нет покоя! – уж некогда рассматривать и обстановку немецких казарм для нижних чинов, пожалуй, лучше наших юнкерских. Внутри натягивалась тревожная пустая протяжённость, и не хотелось уже отбирать, брать, смотреть – а только вернуться скорей к своим.

Понёс солдат перевязанную кипу карт, Ярослав спешил ко взводу – и видел, как сильно изменился город за этот только час: из чужого заколдованного уже свойский нам. Туда-сюда сновали разлапистые солдаты, как у себя по деревне, хорошо зная места, – и свои офицеры не кричали на них, не Харитонову было вмешиваться. Бочку пива катили. Нашли в городе и птицу, и уже перья нащипанные окровавленные завезало ветерком по мостовой, и шевелило цветные обёртки, пустые коробки. Хрустело под сапогами от насыпанного и выбитого. Вот в оконном проломе – разворошенная квартира, ещё не вся нарушена недавняя любовная опрятность, а комоды вывернуты, а по полу – скатерти, шляпки, бельё.

И натягивалась тревога: а как его взвод? неужели и его взвод?...

Вроде бы часовыми стояли два нижних чина у двери магазина, солдат не пускали, а перед офицерами расступались, – и вошёл знакомый офицер, и Харитонов за ним почему-то тоже завернул. Это был магазин одежды, в его первом торговом помещении при витрине сновали нижние чины, Ярослав узнал денщика Козеки, в заднем же помещении офицеры переодевались, примеряли – дождевые накидки, вязаные фуфайки, нижнее тёплое бельё, гетры, перчатки, всё это без шума, деловито, в тесноте, с помощью стульев и денщиков, а то – вертели, рассматривали коврики, дамские пальто.

Козеко оказался рядом, в жёлто-коричневых тёплых кальсонах. Обрадовался:

– Харитонов, Харитонов! Пользуйтесь случаем, выбирайте тёплые вещи! Ведь вот-вот похолодает, какие ночи уже! Человек не может постоянно думать только о смерти, надо и позаботиться...

Ярослав не различал, кто тут ещё, может и знакомые. Загороженный от единственного окна, он полуслепо стоял и видел даже не Козеку, не столько лицо его или поджарую фигуру, как эти жёлтые ворсистые тёплые кальсоны. И сказал – ему, но может быть громче, может быть и другим слышно:

– Стыдно.

Козеко оживился, сразу подступил, со своей обычной цепкостью несдаваемых аргументов, и ещё ухватил Ярослава за грудной ремень, чтоб он не ушёл, дослушал:

– Почему ж это может быть стыдно, Харитонов? Давайте рассуждать. У нас с вами тёплых вещей нет, и когда нам повернутся выдать? Сами знаете российское интендантство. А мы с вами зябнем, мы с вами спим в шинелях прямо на земле. Долго ли простудиться? А ночи холодают. Это даже не нам с вами лично нужно, это – армии нужно, мы будем лучше воевать. И фуфайку берите!

Не раздражение, не торопливость, с которою он гнался исправлять, – овладела Харитоновым музейная усталость ног, глаз, души: больше бы не ходить, не видеть, провалился бы этот богатый город, лучше б месили пески, как все эти дни. Отвратительны стали всякие **вещи**. И как легко жить без вещей!...

– Но – не таким образом... – вяло, устало отклонил Харитонов. Он пытался ремень освободить, да не так легко было отцепить его от Козеки.

– А – каким же образом? А каким? Купить? Мы и зашли – купить, но кому платить? Хозяин бежал. Пожалуйста, можете оставить деньги, но кому они достанутся? А кстати, мы с вами получаем – много не накупишься.

– Ну, не знаю, – Ярослав не находил что сказать, но затопляло его отвращение. Он освободился, повернулся к выходу, Козеко шагнул за ним и ещё держал за плечо. Лицом сморщен, как плача, он тихо договаривал, почти на ухо:

– Ну я согласен, это не хорошо. Если подумать, что фронт может откатиться и до Вильны, и ворвётся враг в наше гнёздышко с моим солнышком, и разорит, как здешние очаровательные квартирки. Да ведь я ничего не хочу, я никаких наград не хочу, вы же знаете! – Он почти слёзно упрашивал. – Но ведь не отпустят, пока хоть руки не оторвут. Или ноги. Так я советую: оденьтесь потеплей, ведь будет зимняя кампания, Харитонов! Возьмите бельё! И фуфаечку!...

Скорей к своему взводу. Всё-таки нёс ещё веру Ярослав, что его взвод... Не только вещей, даже пить-есть ему перехотелось.

Росло предчувствие беды.

Где-то в городе горело – крупно, высоко, упорно. Немудрено было заняться и другим пожарам: там и здесь дымили солдатские костры, печки, между ними, как цыгане, бродили солдаты, тащили что-то. За два часа так изменился Нарвский полк!

На телегу, сверх другого добра и ящика с парфюмерией, вязали велосипед.

Таковы нашлись и офицеры в их полку! Но в солдатах – нравственная сила народной жизни, они сейчас поймут, им никто не объяснил, Ярослав сам виноват – пробовал консервы и похваливал, с этого началось. Он и бессильным себя чувствовал, он и не вправе себя чувствовал, безусый, поучать мужицких отцов самым основам жизни, он и обязан был – к чему ж тогда его погоны?

Он заблудился, дал крюк, и ещё места своего не узнал, а увидел первого Вьюшкова, долгого, а с узкой спиной, как он узел из простыни тащил через плечо.

Да Вьюшков ли? Может ещё не он?... Нагнал, крикнул:

– Вьюшков!!

Вырвалось надорванно, а – резко, и Вьюшков уронил узел, и сделал шаг бежать, но не побежал, а избычась повернулся. И не смотрел, лицо воротил.

И это-то был его залиvistый вагонный рассказчик, такой улыбчивый, симпатичный, душа смоленских мест?! Какое у него уклончивое, не прямое, замкнутое лицо! Какой, оказывается, нехороший человек...

– Ты – что?? – со всей силой внушения вталкивал ему Ярослав. – Ты – куда? Ты – кому? Ведь мы сейчас под пули пойдём, может завтра в живых не будем, ты – озверел, ошалел? – Но ещё с надеждой, страдательно: – Что с тобой, Вьюшков?

Всё так же закрыто, не глядя, косо-потупленно:

– Простите, ваше благородие. Лукавый попутал.

– Ну пойдём со мной, пойдём!

А ноги Вьюшкова – как вросли, от узла не идут.

А навстречу – Крамчаткин, лучшая служба взвода, – нет, не Крамчаткин! – что он

красный такой, он шатается на ходу, он поёт, не то бормочет? – нет, Крамчаткин, он увидел своего офицера – и приструнивается, и берёт шаг, и даже печатает по гладким плитам, – но почему ноги забирают одна за другую, почему глаза такие вылупленные дико – а рука взброшена точно по форме:

– Ваше... пре... благородие, разрешите доложить? Рядовой Крамчаткин Иван Феофанович из отлучки...

Но – косая сила завернула его по дуге вместе с честью – и безжалостно шлёпнулся он на тротуар, и фуражка откатилась.

**Младший брат!** Гордость моя, Иван Феофанович!

С ужасом, но кажется уже и с гневом, Ярослав спешил дальше. Ведь предупреждали: мародёров – пороть нещадно, наказывать телесно! Но мародёры представлялись далёкими чужими злодеями, не своими же нарвцами, не из своего же взвода!

Сейчас – с оружием и с полной амуницией поставить их на солнцепёке в строй! И – разнести их, прочесть им та-кое внушение! И каждого разобрать – кто что взял! И – каждого заставить бросить...

Вот тот дом! Ворота были нараспашку, и видно, как во дворике обмывался в жарком токе углей закопченный котёл, пристроенный на шестиках. А вокруг сидели на кирпичках, на ящиках и как попало человек пятнадцать из харитоновского взвода. На земле и возле ног стояли у них консервные банки, лежала еда разная, уж ею особенно и не потчевались, а больше – пили, котелками и кружками черпая из котла.

Сразу мелькнуло: перепились! из котла черпают хмельное!?!... Но тогда зачем костёр?...

Нет, хмельность лиц была не пьяная, а благодушная, – доброжелательность пасхального розговенья. С застольной мирной неторопливостью улыбались друг другу, беседовали, рассказывали. В стороне, в пирамидках по несколько, стояли ненужные винтовки.

Увидели своего подпоручика – не испугались, а оживились, обрадовались, место расчищали:

– Ваше благородие!... Ваше благородие, сюда, к нам извольте! – а двое с кружками засуетились, один полоскать, один и так, наперегонки зачерпнули, наперегонки понесли ему, горячие и полные всклень, с улыбками пасхальными:

– Ваше благородие, какова какая!

А Наберкин – маленький, кругленький – да на ножках быстрых, всё-таки выпередил, и голосом писклявым:

– Испейте какаву, ваше благородие! Вот ведь чем немец подкрепляется, стервец!!

И... – не кричать. Не распекать. Не строить в наказание. Даже не отклонить протянутое от изумлённого сердца.

Булькнул Харитонов горлом пустым. Потом уж и глотком какао.

Задняя стена двора была невысока, за ней – незастроенное место, а дальше – горел двухэтажный дом с мансардой. Мелкими выстрелами лопалась черепица в огне. Сперва густо-чёрный дым вываливал из мансарды, а там прорвалось сразу в несколько языков сильное ровное пламя.

Видели, но никто не бежал тушить.

Дым и пламена с треском выбрасывали, выносили вверх чужой ненужный материал, чужой ненужный труд – и огненными голосами шуршали, стонали, что всё теперь кончено, что ни примирения, ни жизни не будет больше.

За ночь отступя от Бишофсбурга на 25 вёрст, отгородясь от немцев обновлённым арьергардом всё того же Нечволодова, – потрясённый Благовещенский с утра 14 августа остановился в местечке Менсгут, и ни он, ни его штаб за весь день не отдали никаких

распоряжений по корпусу. Арьергард стоял на позициях, покуда считал нужным. Части дивизий пехотных и кавалерийской отходили, поелику им было удобно так, без спросу и без оповещения корпусного командования. Генерал-от-инфантерии Благовещенский никогда не командовал на войне даже ротой – и вот сразу корпусом. Он бывал заведующим передвижением войск по железным дорогам, начальником военных сообщений, а в японскую войну дежурным генералом при штабе, где выписывал литеры на проезд по железным дорогам и составлял научное руководство, как, в каких случаях и кому эти литеры выписывать. А вчера его жизни был нанесен крушащий удар – и душа генерала нуждалась теперь, в покое, собирать и склеивать осколки.

Да весь день было и тихо: отошли за ночь так далеко, что немцы не притесняли. Но военный покой недолог, и суток не дали отдохнуть! В шестом часу вечера послышались звуки боя с севера, со стороны арьергарда. От дальних немецких орудий стали перелетать фугасы и в сторону Менсгута. Снова взмутилась тревога в груди генерала Благовещенского, и помрачнел его штаб.

А тут – не хватало! – совсем с другой стороны, от выставленной в боковое охранение донской сотни, прискакал в Менсгут казак с донесением. В донесении-то у него всё написано было правильно: что его сотня имела столкновение с противником за 15 вёрст отсюда, – но его самого распирало: рассказать, что и он там был! и он вот, даве, с немцами дрался! И на окраине Менсгута увидя другую сотню своего же полка,

-=

## ЭКРАН

-=

позамедлил ход коня, лихой казачок,  
и трясся донесением,  
и за плечо себе показывая – мол, бились! -  
радостно крикнул землякам:  
– **Немцы!... немцы!...**  
И поскакал, ему мешкать нельзя, ему в штаб  
донесение сдавать.  
= Но земляки, на просторном дворе, за огорожей,  
так и скинулись: немцы?!... вот они – немцы?!  
Батюшки, а у нас не сёдлано!  
Заметались, заседлали,  
из конюшни выводят бегом,  
в торока вяжут,  
вскакивают -  
да уж и со двора! со двора!  
Конский топот.  
= Эх! сотня едва ль не вся – галопом по улице!  
Топот  
по улице!  
= А с поперечной, издалека  
подъесаул (их же полка, погоны те ж) как увидел:  
= пронсится, пронсится конница!  
= да бежать назад, да бежать!  
Тут недалеко – штаб.

И – к драгунскому полковнику. Тот читает как

## раз

донесенье от первого казачка.

Подьесаул:

– ...сподин...овник, разрешите доложить?...

**На соседней улице – немецкая конница,  
силой до эскадрона!**

И нисколько же не напуган подьесаул:

– **Разрешите охрану штаба развернуть  
на отражение кавалерии!?**

Драгунский полковник не медля, полногосой командой:

– **Дежурный по штабу! охрану – в ружьё-о!!**

= И дежурный капитан, на ходу:

– **В ружьё-о-о!!... в ружьё-о-о!!...!**

= Да какая готовность! – уже выбегает пехота из своих помещений, винтовки в руках!

Да сколько их! тут две роты!

Свои ж командиры-молодцы неоплошно командуют:

– **Взводной колонной... ста-новись!...**

**Раз-бе-рись!...**

Не до разбору. Вот уже выбегают трусцой в ворота распахнутые, и сразу заворачивают, как показывает подьесаул: вон туда! вон туда!

= А в комнате драгунский полковник докладывает генералу седому, измученному, расслабленному, с каждым словом оседающему в бессилии:

– **Ваше высокопревосходительство!  
кавалерия противника прорвалась в селение Менсгут!  
мною приняты...**

О, как это тяжело больному старику! Этого ужаса он и ожидал! Ведь он – болен! он – изболелся, страдалец-генерал!... к врачам его!... в больничный покой!... даже губы его разваливаются, не удерживая формы рта:

– **В Ортельсбург... в Ортельсбург...**

= Драгунский полковник энергично распоряжается.

Грузимся! уезжаем!

= Чины штаба собирались карту развесить на стене - вот и хорошо, что не успели, сворачиваем!

Штабу – недолго собираться! Несут бегом, каждый знает, что.

= А автомобиль уже готов, подан!

Да и генерал поспешает, как может, его под руку ведут.

И уже – полный автомобиль! И – тронулись! в сопровождении верховых казаков, конечно, а там – экипажи, двуколки, кто на чём - за ворота! ехать! ехать! скорей!

= Шоссе.

Не шоссе, а поток бегущих,  
не бегущих (слишком тесно) – а льющихся.  
Каждому, каждому хоц-ца жить, хоц-ца в плен не  
попасть -

и пехоте-матушке;

и на зарядных ящиках;

и на пушках самих – все отступают, а мы хуже,  
что ль?

и повару при походной кухне, трубное колено на  
бок;

и обозникам! и обозникам-то больше всего! им  
первым и положено отступать, а им дорогу  
перебивают!

Смешанный гул движения.

И в этой реке человеческой  
как проплыть автомобилю корпусного командира,  
да чтобы всех быстрее, обгоняя? – ему-то  
особенно быстро надо, его-то жизнь – самая  
дорогая!

Гудеть?

Не помогает.

А вот как: передние казаки

расчищают дорогу,

ну, хоть в обочину, что тебе, морда?! -

а на пустое место вливает автомобиль,

и сзади замыкается сразу.

Самого-то генерала голова почти не держится, ему  
уже всё равно, везите, везите.

= А солнце садится.

И вдаль

плоховато уже видно. Течёт серая масса.

Впрочем, там, впереди – огонь.

Крупней.

Большой огонь.

Ещё крупней, ближе.

Это – Ортельсбург. Он горит.

Он – в едином пожаре.

Часто и непрерывно трескается взрывками черепица.

Как видно от головы колонны:

= да просто ехать туда нельзя, через город.

= Колонна останавливается, останавливается.

Только автомобиль корпусного с казачьим  
содействием, взмахами шашек:

– **Ну что, бараны? Па-теснись!** -

одолевает последние сажени дорожного затора,  
сворачивает в сторону, в объезд.

Покачался на бугорках, поехал,  
дорогу показал, мимо города. Трогаются и за ним  
(в освещении от городского пожара).

А назад – уже темно.

Но там, вдали, позади – движение какое-то.



Тревожное, быстрое движение – сюда!  
Продирающие вскрики!  
– **Кава-ле-рия!**...  
– **Об-хо-о-дят!**  
= Переполох! Куда с шоссе? Пробка!  
Страх и ужас на лицах (при пожаренном свете).  
Эх, была не была! Свернула двуколка в сторону -  
через канаву, по ухабам! -  
перевернулась!  
= Ничего! Сворачивают, кто может!  
Ружейные выстрелы.  
Это – наши, из колонны. Бьют – туда, назад, в  
кавалерию!  
Её и не видно. Тени какие-то, исчезли.  
= А тут – лошадь понесла,  
сшибло кого-то, да под копыта:  
– **А-а-а!**...  
А подале слышится “ура-а-а!”. Гуще выстрелы.  
Не поймёшь, кто и бьёт. Вон, в воздух садят.  
– **Ро-та! в це-епь! залегай!**  
Фигурки залегают по обе стороны шоссе.  
Вспыхивают при земле огоньки их выстрелов.  
= Лошадей ранило! Зарядный ящик – понесли!  
понесли!  
да на людей! да давят!  
– **ра-а-а?... а-а-а!**...  
Обезумевший обоз! люди в сторону прыгают,  
с дороги бегут. Что несли, что держали, -  
всё кидают.  
= Ох, пушку покатило! Сшибла телегу!  
другую!  
Трещат, ломаются оглобли.  
= А тут – постромки рубят! Телегу – в канаву,  
сами – на лошадей!  
Всё это видно то в отсветах городского пожара, то  
на фоне его.  
= Раскатился зарядный ящик – люди прыгают прочь.  
Чистая стала дорога от людей,  
только набросанное топчут лошади,  
перепрыгивают, переваливаются колёса...  
И лазаретная линейка – во весь дух!  
и вдруг – колесо от неё отскочило! отскочило на  
ходу -  
и само! обгоняя! покатило вперёд!  
колесо!! всё больше почему-то делается,  
Оно всё больше!!  
Оно во весь экран!!!  
КОЛЕСО! – катится, озарённое пожаром!  
самостийное!  
неудержимое!  
всё давящее!  
Безумная, надрывная ружейная пальба! пулемётная!!

пушечные выстрелы!!  
Катится колесо, окрашенное пожаром!  
Радостным пожаром!!  
Багряное колесо!!!  
= И – лица маленьких испуганных людей: почему оно катится само? почему такое большое?  
= Нет, уже нет. Оно уменьшается. Вот, оно уменьшается.  
Это – нормальное колесо от лазаретной линейки, и вот оно уже на издохе. Свалилось.  
= А лазаретная линейка – несётся без одного колеса, осью чертит по земле...  
а за ней – кухня походная, труба переломленная, будто отваливается.

## Стрельба.

= Цепь лежит и стреляет – туда, назад.  
= А оттуда, из мрака, с дорогою рядом – скачет! да, скачет конница на нас сюда!  
ну, пропали, нет нам спасенья! – и кричат, кричат нам драгуны:  
– *Да мы же свои! Да мы же свои, лети вашу мать! В кого стреляете?!*

## 31

Сквозь пелену и погуживание, мешавшие Самсонову соображать все эти дни, а сегодня особенно, вдруг прорвалось и выплыло не нужное что-нибудь, а – гимназическое, из немецкой хрестоматии, фраза одна: “Es war die hochste Zeit sich zu retten” (было крайнее время спастись).

Статья была о Наполеоне в горящей Москве, но ничего из неё не запомнилось, а эта фраза всегда была в памяти из-за странного сочетания “die hochste Zeit” – высшее время. Будто время могло быть пиком, и на этом пике миг один, чтобы спастись.

Так ли опасно было Наполеону в Москве, и мгновенье ли крайнее одно было у него на выход, – но сейчас пасмурная тревога обложила сердце командующего, что эти часы у него как раз и есть “die hochste Zeit”.

Только не понимал он, где этот пик торчит, и в какую сторону толчок надо делать. Не мог он ясно охватить всё положение армии и указать решительное действие.

Из-за артамоновской измены опал, обнажился весь левый бок армии – так надо ли было менять приказ корпусам, приготовленный днём? И что же менять? Центральными корпусами удар с поворотом налево – очевидно это и надо как раз? Что же менять? Вообще задержать наступление центральных? Но это больше всего поставится ему в вину. Клеймо труса от Жилинского казнило Самсонова четвёртый день. Понудить к наступлению фланговые корпуса? Очень бы хорошо, но это невыполнимо сейчас.

И никто из штабных не приходил просить решительных изменений.

И вспомнилось ему из японской войны, как сам он с казачьей дивизией, с уссурийцами и сибирцами, двое суток цепко держался у Янтайских копей, упорно прикрывая левый фланг куропаткинской армии (а Ренненкампф так же был справа), – и предлагал Куропаткину даже охватывать фланг японцев. Но Куропаткин сробел, и без надобности скомандовал отступить, и так проиграл битву под Ляояном. А – зря, не надо робеть. Один отважный удар может спасти и безнадежное положение, в этом военная история.

Так не повторить сейчас куропаткинских колебаний – а смело, решительно бить

центральными корпусами!

А телеграф – снова работал. Разминувшись с телеграммой о снятии Артамонова, пришло его запоздалое донесение: “После тяжёлых боёв под сильным натиском противника отошёл к Сольдау.” По лживости характера генерала можно было допустить, что и Сольдау уже сдали. Но нет, телеграф через Сольдау продолжал работать весь вечер.

Доложили оттуда, что генерал Душкевич на передовых позициях, а командование корпусом принял пока инспектор артиллерии генерал князь Масальский.

Не сразу и отсюда послали в штаб фронта телеграмму об отрешении Артамонова. Корпус был придан армии условно, отрешения могли не подтвердить. Однако Жилинский-Орановский молчали. Вообще молчали, как будто сегодня не происходило и завтра не предполагалось важных значительных боёв.

Командующий с потемневшим, мрачным, натруженным лицом покинул штабные комнаты, пошёл отдохнуть к себе. По его лицу ещё никто б не догадался снаружи, один он чувал: какой-то пласт его души с какого-то пласта как будто сшибся и стал помаленьку, медленно-медленно сползать.

И Самсонов всё время прислушивался к этому неслышному движению.

В его комнате днём было прохладно, а сейчас к вечеру душно, хотя пол-окна открыто на тонкую сетку. Самсонов снял лишь сапоги и лёг. Пока ещё не смерклось, была видна ему с подушки крупная гравюра на стене, как в насмешку: Фридрих Великий в окружении своих генералов, все молодец к молодцу, жгутосуе и непобедимые.

Странно. Прошло всего несколько часов, и вот уже не держал он сердца ни против Благовещенского, ни против Артамонова за их ложь и за их отступление. Ведь только от стеснения, от худа, от пекла могло у них так получиться. Гнев на них был отводной, обводной, неправый. Что ж гневаться на них, если и сам уже виноват довольно? Переноса на них своё, даже оправдывал их Самсонов: и командиру корпуса плохо подчиняется ход событий в этой войне, рассеянной по пространству.

Но если оправдывать ошибки подчинённых – что тогда остаётся от генерала?...

За всю свою военную службу не предполагал Самсонов, что может так сразу сойтись тяжело, как ему сейчас.

Как бутылка с подсолнечным маслом, взмученная тряской, нуждается остояться до прозрачно-солнечного цвета, муть книзу, а пустые пузырьки вверх, – так тянулась очиститься и душа командующего. А нужна была для того, он ясно понял: молитва.

Молитва ежедневная, утренняя и вечерняя, бормотомая по привычке и наспех, между мыслями, забегающими на дела, это как умыванье одетому и одною горстью: толика чистоты, а почти и неощутимо. Но молитва сосредоточенная, отданная, молитва как жажда, когда невыносимо без неё и ничем нельзя её заменить, – такая молитва, помнил Самсонов, преображает и укрепляет всегда.

Не зовя своего вестового Купчика, он встал, нашарил спички, зажёл на малый фитиль гранёную настольную лампу, заложил крючок на двери. А окна не задёргивал – напротив не было второго этажа.

Он раскрыл нагрудный походный казачий складень белого металла и тремя створками утвердил его на столе. Тяжёлыми коленями опустился на пол, не справляясь, чисто ли там. И так, грузной тяжестью на коленях, от боли в них испытывая удовлетворение, уставился в распятие и две иконки складня – Георгия Победоносца и Николая Угодника, вошёл в молитву.

Сперва это были две-три цельных известных молитвы – “Да воскреснет Бог!”, “Живый в помощи”, а там дальше потекла молебная немота, что-то бессознательно составленное, незвучащее, изредка опёртое на крепко сложенные, удержанные памятью опоры:... “всепресветлое Твое лице, о Жизнеподатель!”, “боголюбивая и щедромилостивая Богоматерь”... – и опять без слов, в дымных тучах, в тумане, перепрыгивая с пласта на пласт, пошевеленные, как льдины в ледоход.

То, что больше всего бременило, то цельней и верней выражалось не готовыми

молитвами и не своими даже словами, а – стояньем на ломящих, а вот уже и забытых коленях, смотреньем пристальным и отдающейся немотой. Поставить перед Богом всю жизнь свою и всю сегодняшнюю боль охватнее было – вот так. А Бог и сам ведь знал, что не для почестей личных, не для власти служил Самсонов и орденами изувешивался не для них. И сегодня успеха своим войскам просил не для спасения своего имени, но для могущества России, ибо эта начальная битва много могла определить в судьбе её.

Он молился – о ненапрасности жертв. О ненапрасности гибели тех, кто по внезапности свинца и железа, вошедшего в тело, не успел даже перекреститься на смерть. Он молился о ниспослании ясности своему замученному уму, чтобы на пике высшего времени мог бы сложить он верное решение – и так воплотить ненапрасность жертв.

Он стоял коленно, всей тяжестью вдавливаясь в пол, смотрел на складень вровень глаз своих, шептал, молчал, крестился – и тяжесть крестящейся руки с каждым разом становилась как будто менее, и тело не так грузно, и душа не так темна: всё тяжкое и тёмное беззвучно и невидимо отпадало от него, отделялось, возгонялось, – это Бог на себя принимал от него тяготу – Ему ведь всё посильно перенять.

И – чин как будто отлетел от командующего, и сознание города Найденбурга, и армейского штаба в двух шагах отсюда, – молящийся всплывал, чтобы прикоснуться вышних сил и отдаться их воле. Ибо вся стратегия и тактика, снабжение, связь, разведка – разве не было копошение муравьиное перед волею Божьей? И если благоволил бы Господь вмешаться в ход сраженья, как по преданиям бывало в старину не раз, то чудодейственно выигралось бы оно при всех огрехах.

В мелкую сетку снаружи уже давно билась ярко-тёмная ночная бабочка, такая крупная и слышная, как не бабочка, а птица.

Может быть, её необычная крупность и зловещая расцветка были дурным предзнаменованием?...

Вытирая душный пот, Самсонов поднялся с молитвы. Так никто и не пришёл за ним – ни с нуждою вопроса, ни с радостным, ни с худым донесением. Разбросанные бои десятков тысяч людей как-то шли сами собою, не зацепляя командующего. А, быть может, щадят его отдых. Пригоже пойти узнать самому.

Сперва вышел наружу, мимо часовых. Там было приятно-прохладно, темно (от повреждения электростанции не освещались улицы). Шум боя – глухой, далёкий, как если б наши войска отбросили и отбросили неприятеля. (А если чудо уже начало совершаться?...)

В штаб снесли много керосиновых ламп и свечей, тем душнее и жарче было в комнатах. Все были на местах, все заняты делом. Готовилось за истекший день донесение в штаб фронта.

Принесли, в опасении обнесли командующего, но всё же поднесли ему свежую предвечернюю телеграмму Артамонова:

... После тяжкого боя корпус удержал Сольдау...

Как умеют писать! Что за изворотливые перья! Он бы ещё написал, что **удержал Варшаву**, и можно было бы его представить к Андрею Первозванному.

... Связи все нарушены. Потери огромны, особенно офицерами. Настроение войск хорошее (...??). Войска послушны...

А недолго им и сорваться.

... Удерживаю город авангардом из остатков разных полков...

И арьергард у него – авангард. Умеет выразиться... Для перехода в наступление необходим прилив новых сил, все прибывшие уже понесли большие потери. Приведу все части корпуса в порядок ночью и перейду в наступление...

Уже без “прилива новых сил”? Умопомрачительный прохвост. А почему вообще он подписал эту телеграмму? Как он смеет не принять смещения? Надеется на высшие связи...

Однако мешало Самсонову разгневаться отошедшее сердце. А работа в штабе отлично варилась. И вот уже было дважды начисто переписало и начальником штаба мягкой иноходью поднесено суточное телеграфное донесение в штаб фронта:

... Сегодня второй день армия ведёт бой на всём фронте. По опросу пленных оказалось... (Может быть так, может быть и не так...) На левом фланге 1-й корпус удерживал свои позиции, затем отведен без достаточных оснований (и выругаться-то вволюшку нельзя), за что я удалил генерала Артамонова от командования корпусом. В центре дивизия Мингина понесла большие потери, но доблестный Либавский полк удержал свои позиции. Ревельский полк почти уничтожен.

– Дopiшите, – показал Самсонов. – **Остались знамя и взвод** .

... Эстляндский полк в большом беспорядке отошёл к Найденбургу... 15-й корпус... атака увенчалась успехом... 13-й взял Алленштейн... Последние сведения о 6-м... выдержав упорные бои у Бишофсбурга...

И получилось совсем не унылое донесение. Получилось даже победное донесение. И как будто ведь... как будто всё верно. Благовещенский? – не так уж сильно и отступил, он держит Менсгут, вот будет переходить к Алленштейну. Так, может, и правда, не так плохи дела?

Хоть узнает завтра утром Жилинский, что немцы отнюдь не бегут за Вислу, но всем туловищем навалились на Вторую армию.

Была половина двенадцатого ночи. Оставалось подписать и, пожалуй, пойти уснуть.

Ещё бы только... Ещё бы только одно какое-то важное исправление в приказе на завтра. Какого-то одного главного распоряжения не хватало – и будет разрублена тягучая путаница, и наступит спокойствие духа.

Но голова как запелената была.

И, опустив её, пошёл командующий спать.

Перед тем как Купчик, трубач казачьей конной батареи, задул огонь, ещё раз мелькнули на стене гордые молодчики Фридриха.

Думал Самсонов, что сразу уснёт: темно, тихо, дела возможные свершены, и так ведь, так ведь устал. Пока он вынужден был двигаться и действовать, его клонило лечь и окаменеть. Теперь, когда он лёг, раздевшись в покойной постели, – стала камнем подушка под головой, и потягота к действию стала тянуть ему руки и ноги, ворочать его.

Невыносимо столько дней подряд затруживать голову до оупения. Да нервничать над телеграфным аппаратом, когда выползает белой змейкою немая лента, и не знаешь, чем ещё тебя укусит, каким оскорблением унизит. Кажется, больше всего сейчас ненавидел Самсонов – телеграфный аппарат. Прямая телеграфная связь с Жилинским – вот была ему верёвка на шею.

Как всегда в бессоннице, очень быстро, беспощадно утекало время. А запоминалось и словно не двигалось до следующего просмотра – то, которое ты последний раз видел. Отщёлкивая ногтем двойную крышку часов, с тоской углядывал Самсонов на светящемся циферблате: четверть второго... без пяти два... половина третьего...

А в четыре уже будет светать.

Чтобы вернее заснуть, опять читал Самсонов молитвы – много раз “Отче наш” и “Богородицу”.

Не виделось ничего. Но возле уха – ясное, с оттенками вещего голоса, а как дыхание:

– Ты – успишь... Ты – успишь...

И повторялось.

Самсонов оледел от страха: то был знающий, пророческий голос, даже может быть над будущим властный, а понять смысл не удавалось.

– Я – **успею** ? – спрашивал он с надеждой.

– Нет, успишь, – отклонял непреклонный голос.

– Я – **усну** ? – догадывалась лежащая душа.

– Нет, успишь! – отвечал беспощадный ангел.

Совсем непонятно. С напряжением продираясь, продираясь понять – от натуги мысли проснулся командующий.

Уже светло было в комнате, при незадёрнутом окне. И от света сразу прояснился

смысл: **успишь** – это от Успения, это значит: умрёшь.

Прилил пот холодный наяву. Ещё струною дозвучивал пророческий голос. А – когда у нас Успение?

Голова сосредоточивалась: мы – в Пруссии, сегодня – август, сегодня – пятнадцатое.

И – холодом, и – льдом, и – мурашками: Успение – сегодня. День смерти Богоматери, покровительницы России. Вот оно, вот сейчас наступает Успение.

И мне сказано, что я умру. Сегодня.

В страхе Самсонов поднялся. Сидел в белье, с ногами босыми, с руками скрещенными.

Дальний, но уже постоянный, хорошо слышался гул канонады.

И этот гул канонады возвращал Самсонову бодрость. И – ясность!

Солдаты уже умирали – а командующий боялся!

Куда ночь, туда и сон!

Густым свежим голосом кликнул Самсонов Купчику в первую комнату – вставать!

И тот, в минуту оклемавшись и одевшись, уже нёс кувшин и таз умываться.

От холодной воды к лицу, от полного белого света в окно, от настойчивой канонады прояснилось командующему одним ударом: ехать надо! уезжать отсюда! перевезти штаб ещё ближе к войскам! Самому – туда, в пекло! На коня, по-солдатски! Атаман донских казаков, атаман семиреченских, – что ж он не на коне?! Да в кавалерийскую атаку поскакал бы сейчас сам! Взять бы налётом батарею врага! – разве такая кровь пойдёт по жилам? разве такая война! Ах, ту-рец-кая!...

Это был – медведь, встающий из берлоги! Без рубахи, телесный, волосатый, он подошёл к окну и настезь его растворил. Потянуло радостной прохладой. Городок был в праздничном тумане, как в подвенечной фате, и отдельно, навстречу восходному солнцу, вытянулись и плавали, ни с чем не связанные: головки, башенки, шпили, коньки отвесных крыш.

Как ещё могло всё хорошо повернуться! Какое освобождение! – не сидеть пленником штабных комнат и телеграфного аппарата, – а ехать вперёд, действовать! Ещё вчера это надо было! Такая простая мысль! Заодно и от Нокса избавиться.

Командующий велел поднимать штаб. В Белостоке долго спят. Пока *Живой труп* проснётся, хватъ, – а связи уже нет, нет Самсонова, некого поучать.

Освобождение!!!...

Но прособирались как бабы – ещё два часа. Чины штаба поднимались медленней командующего, проразумевали трудней его.

Штаб делился надвое. Вся канцелярская, штабная и управленческая часть отправлялась за двадцать пять вёрст назад, за русскую границу, в безопасный Янув. Оперативная часть – семь офицеров, ехала с командующим вперёд.

Кому надлежало отступить – приняли решение, не сопротивляясь. Кому надлежало ехать вперёд – были мрачно недовольны. Самсонов, почти натошак, бодримый этим радостным утром, расхаживал быстро и всех торопил. Ещё особенную радость, лёгкость – и примиренье с недоброжелателями – добавила телеграмма, только что поданная ему, а из Белостока в час ночи:

“Генералу Самсонову. Доблестные части вверенной вам армии с честью выполнили трудную задачу в боях 12-го, 13-го и 14-го августа. Приказал генералу Ренненкампу войти с вами в связь своей конницей. Надеюсь, что сегодня совокупными действиями центральных корпусов вы отбросите противника. Жилинский.”

Было тут – из исполнения молитвы. Все мы – русские, мы можем и помириться. Мы можем и простить прежние обиды. Вот ведь правильно – к центральным корпусам! И Ренненкампу сегодня подскочет. Объединённо, соборно – неужто не одолеем?!

Тем обидней было и задерживало сплочённое недовольство семерых, кого брал с собою. И он созвал их на совещание, стоя:

– Есть соображения, господа офицеры? Прошу высказывать.

Постовский – не посмел. Конечно, ему разумнее было бы ехать в Янув и там

руководить. Но он не имел воли спорить с командующим. Да всех офицеров позиция была слаба, потому что под наименованием штаба они предлагали себе самим ехать назад, а не вперёд. И они мялись. Всех мрачней выглядел Филимонов, и всегда непримиримый к любому суждению, кроме своего:

– Разрешите сказать, Александр Васильич. Найденбург сейчас не менее передовая, чем Надрау, куда вы хотите ехать. Противник непосредственно близок к Найденбургу. Но тогда и всему штабу надо переезжать в Янув. Мартос отлично справляется, какой смысл ехать к нему?

И один из полковников:

– Ваше высокопревосходительство! Вы отвечаете за **все** корпуса армии, а не только за те, которым сейчас тяжелее. Выезжая вперёд, вы пренебрегаете обязанностями командующего **всей** армией. Снимая связь со штабом фронта, вы снимаете связь и с корпусами.

Как умеют запутать любую ясную, простую вещь, обосновать любую уклончивость. Впервые за неделю Самсонов был трезв умом, чист душой, наполнен сильным смелым решением – и сразу же хотели его опетлить и обессилить. Но поздно! Иначе он уже не мог:

– Благодарю, господа офицеры. Через десять минут мы выезжаем верхами в Надрау. Автомобиль повезёт полковника Нокса в Янув.

А полковник Нокс как раз хотел ехать с командующим вперёд! Полковник Нокс сделал гимнастику, позавтракал и, походно одетый, спортивным шагом пришёл, чтобы ехать вперёд. Свой саквояжик он соглашался отправить в тыл. Но Самсонов указал ему на автомобиль. “Что-нибудь плохое?” – удивился Нокс. Отведя его в сторону без переводчика, Самсонов с усилием строил английские фразы:

– Положение армии – критическое. Я не могу предвидеть, что принесут ближайшие часы. Моё место при войсках, а вам следует вернуться, пока не поздно.

Восьмеро казаков передало своих лошадей восьмерым офицерам. Ещё полторы сотни сопровождало их эскортом, ибо впереди ожидалось беспокойно.

В пять минут восьмого медленно рысью, цокая по гладким камешкам найденбургских мостовых, кавалькада тронулась на северный выезд. В радостном солнце оглянулись на старый орденский замок.

По желанию командующего лишь после его отъезда, в 7.15, перед самым снятием аппарата, была отправлена последняя телеграмма в штаб фронта:

“... Переезжаю в штаб 15-го корпуса, Надрау, для руководства наступающими корпусами. Аппарат Юза снимаю, временно буду без связи с вами. Самсонов”.

\*\*\*\*\*

**НЕ РОК ГОЛОВЫ ИЩЕТ -**

**САМА ГОЛОВА НА РОК ИДЁТ**

\*\*\*\*\*

**32**

**(14 августа)**

День за днём германцы вели цельное армейское сражение, и перерыв связи с дальним корпусом Макензена даже на несколько часов ощущался как **чрезвычайный**

изъян: тотчас посылали авиаторов, тотчас искали окольные звенья восстановить телефонную цепь. Армейская же операция русских день ото дня разваливалась на корпусные: каждый корпусной командир, потеряв ощущение армейского целого, вёл (или даже не вёл) свою отдельную войну. А под Сольдау развал пошел и дальше: защищал город уже и не корпус, а только те части, кто сами не хотели отойти.

И всё же германцы дали русским лишние сутки очнуться. Хотя генерал Франсуа ещё до полудня занял неожиданно покинутое Уздау и уже была ему открыта дорога на Найденбург, он не почувствовал себя оперативно свободным и не решился ограничиться против Сольдау лёгким заслоном, ещё вечером окапывался, ожидая контрудара. На то ж направлял его и армейский приказ на завтра: отказаться от движения на Найденбург, отбрасывать русских за Сольдау.

Гинденбург особенно потому настроился так тревожно к своему южному флангу, что 14-го вечером, вернувшись в штаб армии от невесёлых дел в корпусе Шольца, получил известие, будто корпус Франсуа вообще разбит, а остатки его прибывают на железнодорожную станцию за 25 километров от Уздау. Гинденбург тотчас по телефону запросил станционного коменданта, и тот подтвердил. (Лишь ночью выяснилось, что это отскочил один гренадерский батальон, панически испуганный атакою петровцев, – по дороге же захватывал паникой обозы, и обозы докатились до самого штаба армии).

А усиленный корпус Шольца, лишь на полдивизии меньше всех вместе центральных корпусов Самсонова, батареями же и сильнее их, – весь этот день оборонялся на мюленской линии от сильного нажима Мартоса. То казалось, что Мартос обходит через Хохенштейн, то – уже взял Мюлен, – и туда, сорвавши с контрнаступления и даже приказав сбросить ранцы для лёгкости, срочно погнали дивизию – а не понадобилась.

Среди дня узналось и о занятии русскими Алленштейна, отчего германцам приходилось круто повернуть сюда корпус фон-Белова, уже стоявший на другой клешне, и Макензена, уже шагавшего на окружение распахнутою улицей, открытой ему Благовещенским, – коридором, двойней, чем требовалось.

Слепота осторожности охватила командование прусской армии: уже сквозил на юг от Шольца провал, уже распался там фронт, еле держалась четвертушка несобранного 23-го корпуса да рысила завесой конная бригада Штемпеля, – а Гинденбург предполагал тут два русских корпуса и не видел пути окружения. День выглядел неудачным, и не только на классические полные Канны не мог быть дан приказ, но даже на глубокий охват флангов русской армии. Мысли прусского командования были – собрать поближе свои разбросанные тринадцать дивизий. В ночном приказе на 15 августа план окружения был ещё умельчен: охватывать единственный только корпус Мартоса, самый пометный и самый успешный.

В генералах помпезной Российской империи всё ж не дерзали германцы предположить такое заострение, такое полное отсутствие смысла в водительство сотысячных масс! Вероятно же был какой-то план в этом странном выдвигании корпусов Самсонова пальцами разбросанной пятерни. Вероятно же был какой-то план и в таинственной неподвижности Ренненкампа, чей молот был занесен и висел над затылком завозившейся прусской армии. Ещё и сегодня успевал бы Ренненкамп вмешаться в армейское сражение своею мощной конницей – и смять германский замысел. Но не использовал он потерянных германцами суток.

Чтобы окружить Мартоса, намечался удар на Хохенштейн с трёх сторон, а дивизией Зонтага, нацелой пока у Шольца, обходить Мартоса с юга, с рассвета обогнуть Мюленское озеро, взять деревню Ваплиц и её высоты.

Этот приказ пришёл в дивизию в двенадцатом часу ночи. Перед тем она несколько часов окапывалась, предполагая оборону, с опозданием получила дневной хлеб, и сейчас ее солдаты только что ложились спать. Командир дивизии генерал Зонтаг решил опередить рассвет и наступать в темноте, используя внезапность. Тут же,



перед полуночью, дивизию подняли и стали готовить к движению. Холмистая местность и неторёные песчаные тропы затрудняли ориентировку. Ощупью отыскивали сборные пункты, путались. Авангард сбился правой назначенной линии, голова главных сил – левой, туловище – средней колонной. А драгуны без ведома дивизии и без помех от русских ночью же въехали в Ваплиц и остановились там в расположении Полтавского пехотного полка. Затем русские патрули распознали их – и под стихийным обстрелом немецкая конница карьером ушла. Ещё в темноте русский полевой караул перед Ваплицем заметил приближение головной походной заставы немцев и, отстреливаясь, отступил. Перед рассветом, но в непроглядном молочном тумане, на Ваплиц пошёл в атаку развёрнутый немецкий полк, однако встретил отчаянный ружейно-пулемётный огонь русских, всегда особенно тревожный и злой на рассветном пробуждении.

Тут принялась и артиллерия обеих сторон.

### 33

К счастью, а больше к несчастью, характер Мартоса был – легко возбуждаться, долго успокаиваться. И все эти дни вскружили его, а последний особенно: переменным характером целодневного боя; препирательствами с Постовским; и вместо помощи от присланной Клюевым бригады – хаосом в Хохенштейне; и напряжением предугадать немецкие действия.

Обычно он всё-таки с вечера поддавался усталости, а просыпался позже, и гибла ночь. Но тут расколебало его так, что он и с вечера заснуть не мог. И из хуторского дома он уже в полной темноте вышел посидеть-покурить на скамье, как на Полтавщине любят сидеть на завалинках тёмными вечерами. Только там они и в сентябре тёплые, а здесь уже зябковато. Мартос накинул шинель, но без фуражки сидел, холодил голову и от висков поглаживал назад, угоняя болевые точки. Принял и пилюлю. Ещё часок посидеть вот так, успокаиваясь, – тогда свалиться заснуть.

Он ждал корпуса Клюева, теперь ему подчинённого. Невозможно было надеяться, чтобы тот подоспел ночью, – но если бы к рассвету! Бой завтрашнего дня предвещал быть крепче всех этих, главный бой всей Восточной Пруссии сосредоточился теперь здесь – и как же надо было удвоиться силами к утру!

К полуночи стрельба вся стихла, уже не отблескивали вспышки. Слабые, беззвучные, изредка засвечивались огоньки и гасли. Звёздное небо обещало и назавтра погожий день. Да при разбросанности их армии это и лучше.

Все эти дни Мартос, по сути, одерживал одни только победы: он не оставлял противнику поля боя, непрерывно и повсюду атаковал его и теснил, хотя артиллерии у него было заметно меньше, и не всегда подвезены снаряды, а тем более продовольствие и фураж. Но никак не видел Мартос, чтоб из этих его непрерывных побед складывалась одна большая. Все его победы оказывались какими-то тщетными.

Нужно было сейчас удвоиться! – и все победы сольются в одну окончательную!

Но корпус Клюева – не шёл, не шёл. Ни даже посланец от него.

И наконец в ночной темноте прискакал казачий разъезд.

Кажется из рук хорунжего взял Мартос письмо – и нервно пошёл с ним к свету, внутрь.

Нет, это было не на войне!! Нет, это было не от генерала!! Это старый подагрик писал своему знакомому за два квартала, что не может прийти поиграть в карты. А Мартос надеялся, что Клюев сам пойдёт на помощь! Нет!!! Уже подчинённый Мартосу, он отвечал, что нет возможности поднять корпус ночью! Что корпус выступит с утра 15 августа, но и это имеет смысл лишь в том случае, если генерал Мартос берётся и гарантирует сохранить своё расположение ещё сутки, до утра 16-го.

Убийственно!! Жбан с квашнёй, а не генерал!

И что ж оставалось?

Воевать...

В Куликовскую битву витязь Мартос из дружины брянского князя – отбил от группы татар великого князя Дмитрия Иоанновича.

Отходить? Выйти из боя теперь ещё трудней, чем наступать.

Значит, продолжать напористо, как продолжает играть опытный актёр, всё равно уже выйдя на сцену, хотя бы видел он, что партнёры его сбились и несут околесицу, что у героини отклеился парик, что отвалился щит от декораций, что сквозняком несёт, что публика громко шепчется и почему-то жмётся к дверям. Продолжать играть-воевать с отчаянной лёгкостью: пусть только не от него провалится спектакль, а может ещё и вытянем.

Всё тяжёлое – и войну, и бой, трудно начинать. Но когда уже влез в хомут – какое-то время воспринимаешь его как свой естественный воротник, уже тебе не странно в нём.

Снова – наружу, в темноту.

Нет, всё-таки постреливали слева. За Ваплицем.

Да, там не успокаивались.

Завтра было пятнадцатое число, всегда важное в жизни Мартоса, как и удвоенное, тридцатое. Много роковых и просто заметных, плохих и хороших событий случалось с ним в эти числа. И когда он дивизией командовал – то 15-й, и теперь корпусом – 15-м, а в нём был 30-й полк – и конечно Полтавский, по родине Мартоса. Так что завтра надо было особенно не моргать.

Постреливали, не унимались. Да, это между Ваплицем и Витмансдорфом. Там идёт глубокий овраг. Серьёзное место.

Сколько убитых за эти дни! А как устали те, кто не убит и не ранен! И какие офицеры погибли! – всех их Мартос знал. Годами знал, в неделю слизнуло. Нескоро будет им замена. Какая будет замена настоящим строевым офицерам, если их не делят между фронтом и запасными полками, а с первых же дней всех на фронт? Так можно два-три месяца провоевать. А если больше?

Стреляли и стреляли. Для неопытного уха – ну, просто не угомонятся, чудится им что-нибудь ночью. Но ухо Мартоса отличало: это не случайность. Так бывает, когда в темноте шевелятся массы. Стреляют, может быть, и наши, а готовят что-то немцы.

Он поставил себя на место Шольца, перебирая обстановку прошедшего дня. Да, удобное направление для охвата фланга. И время удобное. Мартос как увидел ночное наступление немцев оттуда.

И как раз уже организм генерала подготовлен был рухнуть спать. Но – предупредительный огонёк загорелся в нём. И он пошёл в комнаты, поднимая от сна неохотливых и ленивых, звоня по телефону и рассылая ординарцев.

Он велел поднять корпусной резерв, вести в ту лощину и ставить поперёк, обещал и сам быть скоро. Он дал распоряжение по артиллерии: двум батареям сменить позиции, другим приготовить новое направление стрельбы. Налево, двум оставшимся, хотя и ослабленным, полкам Мингина – Калужскому и Либавскому, он послал предупреждение о ситуации, в сам Ваплиц командиру Полтавского – приказание подготовиться к возможной ночной атаке.

И вот уже были на ногах штабные, ненавидя своего генерала-зуду с осиной талией. И тем более где-то в темноте чертыхались поднимаемые и перемещаемые полки и батареи. Только бессмысленной дерготнёй и могли показаться измученным сонным людям эти ночные приказы.

А Мартос снова курил, пружинно расхаживал по засвеченным комнатам, пренебрегая недоброжелательством, принимая доклады о предпринятых действиях. Конечно, всё могло быть подозрительностью его ушей и вкрадчивостью рельефа под Ваплицем, – но не для того корпус шёл сюда десять дней и бился пять, чтобы теперь проспаться поражением. И уже, кажется, генерал больше желал немецкой атаки, чем мирного рассвета.

И вдруг – в самом Ваплице загремело залиvisto в сотни ружей. Мартос кинулся на свой чердак – и ещё застал багровое мелкое переблискивание у Ваплица, постепенно, однако, стихавшее.

Так! Он не ошибся! Велел подать коня и поскакал к резерву, в тот овраг.

Рота, в которой был взводным Саша Ленартович, входила в Найденбург одной из первых, с пальбой и манёвром, – а боя не было. Затем неся в Найденбурге комендантскую службу, они пропустили и бой под Орлау, лишь хоронили трупы там. Только 14-го после обеда они догнали свой Черниговский полк, но их бригаду как раз отвели в корпусной резерв. Однако до вечера гудело со всех сторон, нескончаемо брели и ехали раненые, и видно было, что в следующий день не миновать им мясорубки. А чтоб извермишелить роту, взвод, покалечить отдельного человека – совсем и не надо целой войны, кампании, месяца, недели, даже суток, довольно четверти часа. Холодную ночь на 15-е взвод Ленартовича спал в сенном сарае, и, если в сено закопаться, было даже жарко. Солдаты спали как будто крепко, с удовольствием, не травя себя завтрашним днём. Теоретически и Саше должна была бы нравиться такая демократическая форма ночлега, но за эти дни неумываний, нераздеваний и возни с быстро гниющими трупами, ему нечистота и неудобства опротивели, вся его кожа зудела и как бы нервами изнывала. И он ворочался в жарком сене и выходил наружу охладиться.

А больше всего не спалось не от близости возможной смерти, нет, но – от неуместности её. За светлое великое дело Саша готов был бы умереть в любую минуту! Не то что с отрочества, но с детства колотилось его сердце от ожидания, что вот-вот произойдёт необыкновенно важное, счастливое **нечто**, вспыхнет, озарит и преобразит всю жизнь и в нашей стране и по всей земле. И не совсем маленьким был Саша, когда уже вспыхивало, уже озаряло, вот кажется дождались! – а погасло, затоптали. Так вот: цепи железные Саша готов был разбивать не то что голым кулаком, но – собственной головой. А что передёргивало ему сейчас кожу хуже грязной одежды, что изгрызало его тоской, – это что он попал не туда, и теперь с бессмысленной лёгкостью мог умереть не за то. Нельзя было влипнуть хуже: в двадцать четыре года погибнуть за самодержавие! После того, что так рано удалось тебе узнать истину, и стать на верную дорогу, и значит остальная жизнь уже пошла бы не на слепые поиски, не на гамлетовские сомнения, а на **дело**, – погибнуть в кровавом чужом пиру, жалкою пешкой держиморд!...

И как это вышло несчастно, что Саша не попал ни в тюрьму, ни в ссылку, – там среди своих, там цель ясна, там наверняка б он сохранился и для будущей революции! все порядочные революционеры – там, если не в эмиграции. А его три раза задерживали – за студенческую сходку, за митинг, за листовки, и всякий раз отпускали, так легко отпускали по юности, не давая возмужать! Конечно, ещё не потеряно. Если вот эти ближайшие дни, когда рубят и месят, рубят и месят, проскочить, то надо искать надёжный уход из армии, лучше всего – под суд, только не по военно-уголовному делу, а – за агитацию.

Да в агитации и был бы истинный смысл его пребывания в армии, он пытался, но всё зря. Солдаты его взвода оказались, как на подбор, далёкие не то что от пролетарской идеологии, не то что от зародыша классового самосознания, но даже простейшие экономические лозунги, которые в их прямую пользу идут, – долдонными своими головами не могли освоить. Своей тупостью и покорностью – отчаяние вызывают они!

Как же сложно-петлиста история! Вместо того чтобы прямо идти к революции, заворачивает вот на такую войну – и ты бессилён, и все бессильны.

Поздно ночью стало утихать, но когда Саша наконец задрёмывал – пробивало сон выстрелами, как гвоздями. Потом какие-то крики близко, топот, кто-то кого-то искал, и как же хотелось, чтоб их не коснулось! – улежаться, вжаться, пусть хоть пули сверху свистят, не вставать! – и все равно подкатило их роте: “в ружьё-о-о!”

Проклятые военные порядки! Какой-нибудь же дурак придумал, и всё зря, а подчиняйся. Из тёплого милого сена выбираться, выминаться наружу, в сырость, во тьму, а там и под пули, и не только самому выходить, путаясь шашкой никчemuшной, но ещё делать бодрый голос перед солдатами, притворяться, что тебе очень важно вывести и построить взвод во всей амуниции и слышать от унтера и от солдат омерзительные рабские “никак нет”

и “так точно”!...

А там – “напра-во! ша-гам...” – покинули они свой тёплый сарай и в полной темноте, спотыкаясь, натываясь, едва не за руки держась, побрели куда-то.

Говорили, что идут на выручку Полтавскому. Чёрт бы с ней и с выручкой, не лезьте первые, не надо б и выручать.

По ошупи ног они перешли железнодорожную линию, зацеплялись за стрелки, отводы рельсов, упирались в стену – тут была станция Ваплиц, бездействующая, видели её днём. Спотыкались по неровному, шли по кривому – и выбрались на гладкое шоссе, где команда была перестраиваться по четыре, и Саша повторял и перестраивал своих. Тут на шоссе собрался весь их батальон, и больше, – и всем скопом пошли они дальше в темноту, но хоть по гладкому.

Перешли мост. Потом передавали по цепочке: “Осторожно, слева обрыв!” А тьма, ничего не видно.

И вдруг – стали сильно, отчаянно, надрывно, гулко палить впереди! Такая стрельба, что и по дню была бы страшная, а тут – ночью! По ним? Нет, не по ним, никто не падал, и пули не свистели, и даже вспышек не было видно почему-то, но очень близко впереди, совсем рядом, вот-вот предстояло столкнуться.

Странно задрожали коленные чашечки, только они одни, крупно запрыгали, запрыгали отдельно от ноги, как никогда не бывает. При свете могло бы стыдно быть, но в темноте и самому не видно.

Стали голосно, зазывисто командовать разворачиваться в цепь, кому вправо, кому влево. Спотыкались с крутой дорожной насыпи, наугад чавкали по болотистому месту, холодную воду напуская в сапоги, там по бугоркам, да по ямкам, да по огородной посадке, что ли, – а пока дошло ложиться, вся стрельба впереди начисто утихла. И раздались команды опять собираться на шоссе и строиться резервным порядком. И опять спотыкались, в канаву попадали, чавкали по тому же мокрому месту, лезли опять на шоссе.

А коленки всё прыгали, скакали, не унимаясь. Сами по себе.

Снова долго окликались, разбирались, строились. Опять пошли. Как ни было темно, но различили, что шоссе вступило в лес. Прошли его. Вот что, из-за леса и не было тогда вспышек видно.

Дальше все батальоны пошли по шоссе, а их опять спустили по откосу – теперь на мельничную плотину, через речку. А там – полезли и полезли вверх, открытым полем, твёрдой землёй.

Стрельбы большой опять не было, и опять решил Саша, что водят их зря, только ноги ломать. Коленки успокаивались. Да это не от страха, он вовсе не боялся. Он только чувствовал, что это *не то, не там*, и уж здесь-то голову складывать никак не надо.

Как будто светало, но видимость нисколько не лучшела: ночная мгла заменялась даже и тут, на возвышенности, густой туманной.

Дальше погнали их не то без дороги, не то плохой полевой, об сапоги цеплялось что там росло, но главное – местность вся была в буераках, в каких-то провалах, ямах, буграх, камнях, и говорили солдаты, что здесь черти в свайку играли, они и наворотили.

И тут – совсем уже близко от них, правой на версту, опять залилась стрельба, в несколько сот ружейных стволов. И пулемёты! Но всё ещё не сюда летело: справа и ниже был бой, а им надо было верхом идти, и – скорей, скорей! А вот стала толкать и рвать, толкать и рвать со мглисто-огненными вспышками – артиллерия! Наша! Перелетало через головы и – на тебе! на тебе! Шрапнель поблескивала в молочном тумане мутно. Стала и немецкая отвечать, невдалеке направо её разрывы.

Нисколько не желая и не добиваясь победы, всё ж с отрадою отметит Ленартович, что наша артиллерия перевешивает. Это противоречило принципу “чем хуже, тем лучше”, но обещало, что осколком не просверлит. В таком грохоте именно нашей артиллерии была какая-то жуткая несомненная красота.

Всё светлело, но молочнело, уже в трёх шагах – только туман, и вспышки видны всё

хуже. И в этом густом молоке, по этим ломоногим буеракам их уже гнали, ружья наизготове, – бегом, они не успевали куда-то! Они взбегали, задыхаясь, и тут же вниз, и опять вверх, и опять вниз. Безопасней было бежать нагнувшись, но при такой беготне подкашивались ноги. И бежали в рост. Несколько шрапнелей разорвалось над ними, но, видно, так высоко, и в сторону, что пули падали безобидным горохом.

Велено было развернуться в цепь и стрелять навскидку. Стали стрелять, а в кого, куда – ничего не видно, и бежали дальше. (А уж прицелы переставлять – этого Саша не командовал, да и сам не помнил). Наших убитых и раненых не падало. Бежали каким-то обходом, что ли. И всё больше местность забирала вверх. В груди колотилось, сжималось, сил нет бежать, ещё в этой сырой мгле.

Совсем уже стало светло, уже и солнце могло бы взойти, но в сплошном на весь мир тумане не виделось даже мутным кругом.

А как стала местность чуть спускаться – тут навстречу им, невидимым, невидимый ударил и противник. Вспышки его лишь чуть мельтешили, но близко свистели пули, а одна ударилась о камень и взбила яркий огонёк.

Давно была забыта неспанная ночь, нехотные блуждания, мокрота ног, и даже грудь заложенная от задоха, – теперь пошло на минуты – сшибем или не сшибем? успеем или не успеем? Или мы их – или они нас! Все солдаты поняли и вошли во вкус, и Саша с ними. Подсумки полные у всех, стреляли охотно, азартно, самим же уши разрывало от своей стрельбы, в своей же гари нечем было дышать – а рвало и рвало огонь в молоке. И – чтоб не по своим! Саша поправлял, кого мог. И заметил, что сам из револьвера стреляет, хоть это было и бесполезно. И через канаву прыгали, и через изгородь перескакивали, а вот уже и через убитых – не наших, немцев! И жуть разбирала, и гордость: ах, здорово идём! ах, всё-таки сила мы, сила... битская!

Это уже они в деревне бились, за домами прятались, высовывались, обходили. Несло солдат с выставленными штыками, не удержать, и Саша со странным удовольствием тоже стрелял, и одного-то немца точно он ранил, тут же его и в плен забрали.

А за всё это время накалился слева от них красный шар – и через белую мглу прорвал наконец: солнце! Ещё весь мир качался в тумане, но вот уже начало отделяться и проясняться. Теперь видна была крупная роса на затворах и на штыках, у кого окроветелых. С их высоты туман уже утягивало ключьями – и хорошо были лица видны с запыханной радостью злой. И то же чувствовал Ленартович. И бисерилась трава синими, красными, оранжевыми вспышками, и уже пригревало победителей желтеющее солнце нового дня.

Как-то легко всё к концу получилось. Не похвальба, не наслышка, а вот их собственного батальона конвой проводил через деревню назад пленных человек триста, и с дюжину офицеров, мрачно нащуренных против солнца, кто егерскую шапочку потеряв, кто без карабина. А у нас, после разбору, на весь батальон – трое убитых да десятков раненых, в их взводе – один, и в строю остался, весело расхаживал и рассказывал.

А за это время выступала и выступала из тумана как бы театральная декорация на эффект, набиралась высота, глубина и перспектива, точными линиями до дна оврага очертились все предметы, живые существа, и мёртвые, легли солнечные светлы, и долинны тени, и проступили цвета посадок и зелени, – и с их высоты Витмансдорфской, с откоса, хорошо было видно, как по овражному дну ведут колонну остроконечных касок в несколько сот, а глубже того – набито нашей картечью трупов.

Всё это наблюдал Ленартович, уже никуда не спеша, никуда не бежа, уже ничего не боясь, со скамейки за садом, куда сел отдыхать. Странное торжество распирало его – победы не в диспуте, но телом своим, руками и ногами. Он так сидел, как будто и был тот главный полководец, перед которым внизу проводили его триумф. Солдатам не дали отдохнуть, им крикнуто было окапываться на краю деревни, и Ленартович вынужден был это приказанье им передать, но сам-то он не должен был копать, а мог на скамье посидеть, смотреть на этот завоёванный вид театральный, на тёмно-голубую долину, и в замолчавшем мире – никто уже поблизости не стрелял – ещё и ещё перебирать свою радость, анализировать внезапные

чувства свои.

Вот сейчас было – легко! Сейчас надежда через край переливалась: переживёт он эту войну! И как дорого – жить! Вот на такое утро хотя бы сидеть и смотреть. Или – бежать по холодку. Или – на велосипеде катиться вон той дорогой обсаженной, чтобы ветер свистел. Или – в рот забирать оранжевые мягко тающие южные абрикосы. А – книг ещё не читанных! А – дел даже не начатых! Нет!! – через всю грудку книг, конспектов и даже литературы (насущенной, нелегальной), лет, месяцев и часов, иссиженных в Публичной библиотеке, – выворотилось, выдвинулось и в небо взнеслось обелиском сожаление острое – а женщины?! А женщин – как мог он эти годы миновать? Разве не они – самое главное, для чего мы все остаёмся жить?

Это была не высокая мысль – но вот именно так она была. Полчаса назад Саша мигом мог потерять всё – и набранные знания, и убеждения, и кровообращение. А память о женской любви как будто оставалась бы на земле чем-то вещным, не пропащим. Её как будто пуля не брала.

Сейчас это радостно проявилось, что – будет. А последние дни Саша был как с открытой горячей раной, задевало её всё, где не ожидаешь. Увлечённо спорил с врачом на ступеньках госпиталя – вышла сестра милосердия – рослая! крупные груди – с ним не сказала слова, и никогда он её не увидит, – а как полотенцем хлестнула по открытой ране, ушла. И разные такие воспоминания прошлых лет в эти дни подступали и щипали всё ту же рану.

А захватистей всего – вот совсем же в Петербурге недавно, в последний приезд, – Еля, сокурсница Вероники. Всего-то видел её несколько раз – приходила к сестре, да компанией ездили на лодках, да на студенческой вечеринке, а отдельно, особо – ни вечера. На лодках он был сердит, надоело это смакование белых ночей, отвечал всем резко, а Еля, молчаливая и тоненькая, сидела на носу лодки, как та женская фигурка, которыми скандинавы украшают носы кораблей. А на вечеринке Саша разошёлся – тогда бывает он остроумен, быстр, неотразим, все его слушают, и Еля слушала пристально, однако с необычной в их компании манерой: все их девушки смело говорят, имеют мнения и отстаивают их, а Еля смотрит тёмными глазами, загадочно промалчивает все рассказы, все споры, нельзя понять – соглашается или протестует, только разжигает к аргументам. На узко-маленьком её лице губы детско-подушечные, но очень запоминаемые – один раз мимоходом, в шутку, они поцеловались.

Однако в Петербурге он ничего не почувствовал, и не искал побыть с ней вдвоём: петербургские дни были наполнены, и не предполагалась же война, а скорый конец его службы. Ещё за её воззрения, не принятые в их круге, он был мало внимателен к ней.

Но с первых же дней войны вдруг как омытая выступила перед ним – Еля! Еленька! – Ёлочка! И он изводился от упущенного сладкого жала, от собственной глупости в Петербурге в июне, как же мог он тогда не разглядеть и не притянуться этим: она вся – колеблемая. Самое порочное, что может быть в мужчине, колебания, в ней было – самое женственное. Недоуменные колебания бровей. Колебания головы. Колебания шеи. Колебания плеча. А особенно – колебания всей узкой маленькой точёной фигуры её, когда, убаюкивая ходьбу, она смешно переходила в бежок.

Как скромно-коварная зыбь, дошедшая, начинает качать, кидать корабли, – так Сашу и, более того, его будущую важную жизнь – Еленька этими колебаниями уводила, увлекала за собой. Сейчас-то он понял: ему своими руками надо, необходимо, невозможно не – остановить эти колебания! в своих руках успокоить её – и только тем успокоиться самому.

Но даже её фотографической карточки он тогда не догадался попросить, а теперь взывал в письмах, письма ползли черепахами через цензуру, и только шутивную двухстрочную приписку от Елочки он получил в веронином письме.

Теперь – теперь надо было защищать это чёртово **отечество** .

Русский комендант Найденбурга полковник Доватур только случайно, от телеграфиста, узнал, что армейский штаб из города уехал, последние уезжают сейчас, телеграф снят. А ему – никто не оставил распоряжений. За делами стратегическими о нём забыли. Он кинулся к оставшимся штабным, но те только плечами пожимали, они свои последние ящики торопились укладывать на подводы в Янув.

А тут хорунжий из 6-го Донского привёз командиру донесение от командира сводной конной бригады – и комендант не знал, куда его посылать, а принять донесение тоже не мог. Он слышал ночью краем уха, что бригаду подчинили генералу Кондратовичу, но где этот Кондратович, где его штаб – и вовсе никто не знал. Тут же вынырнул и другой курьер: всю ночь скакал из Млавы, вёз варшавскую почту и в том числе, настаивал, письмо генералу Самсонову от его жены. И обоим этим курьерам, не отнесенным к коменданту, он так же мало мог посоветовать, как ему самому – штабные, к которым он не был отнесен.

Только вчера к вечеру потушили все пожары, хорошо убрали улицы, только бы сейчас, на шестые сутки, начать городу нормально выглядеть, магазинам торговать, – но уехал штаб и, словно того дожидавшись, с севера на юг потянулись по улицам обозы, и пехота, да не строем, а малыми группами, разбродом, даже и в одиночку, и все спрашивали “дорогу в Россию”.

А улицы Найденбурга – две подводы в ряд, и вот уже забита; останови передних на ратушной площади – и вот уже весь городок забит; и нижние чины без офицеров друг другу кричат осадить, подводы сцепляются барками, рвут упряжь, солдаты дерутся, а подошедшему вежливому офицеру дерзят. А в окна со внимательным злорадством поглядывают немки. И надо выдержать в городе порядок силами комендантской неполной роты, расставленной ещё и на караулы, да любезным содействием вальяжного бургомистра.

Своими малыми силами комендант заставил два северных въезда в город и велел направлять все части в объезд. И это б ещё пошло, но сбегав в дивизионный лазарет и в госпиталь, комендант изменил своё распоряжение так: подъезжающие обозы просматривать, все маловажные грузы выбрасывать, а телеги подавать под эвакуацию раненых. И сам отправился на заставу, подготавливая взвод к возможному применению оружия против непокорных.

А в госпитале врачи совещались. За час-другой после отъезда штаба армии в воздухе города уже потянуло сдачей. Война только начиналась, и ещё нельзя было точно знать, как твёрдо будет соблюдаться женева конвенция о раненых 1864 года: что госпитали считаются нейтральными, не могут быть ни обстреляны, ни взяты в плен и обязаны принимать раненых от обеих сторон; что персонал их неприкосновенен и во всякое время волен хоть остаться, хоть уйти; что после оправки от ран отпускают на родину и самих раненых под честное слово больше не касаться оружия; что частный дом, принявший раненого, тоже попадает под охрану конвенции. Нельзя было предположить, почему бы через полвека после подписания конвенции, война могла бы ожесточиться, но газеты уверяли о немцах так, а сами врачи тоже заметили, что при обилии раненых и недостатке коек невозможно совсем равно относиться к своим и чужим. Итак, готовя госпиталь к эвакуации, нельзя было предсказать, что ждёт остающихся. Разделили врачей, кто едет, кто остаётся. Делили сестёр. Оставляли пожилых из общин Красного Креста, с хорошим опытом ухода. Молодых же добровольцев, прошмыгнувших на передовую в суматохе мобилизации, отправляли в тыл. При разной степени переимчивости, ничего путного они ещё не умели, только хихикали, одна забавница в коридоре на велосипеде сбила провизора. А вот Таню Белобрагину, всегда безрадостную, Федонин просил старшего врача непременно оставить: хотя не было у неё настоящей подготовки, но очень серьёзно она взялась и кроме общих дежурств сосредоточилась на лицевых и шейных ранениях. Она и не попросится уехать.

Вообще, работа вся скашивалась: ожидая команды на снятие и при многих сотнях уже лежащих раненых, нельзя было оперировать, а только перевязывать. Шли начинать отбор для эвакуации. Но как делить? Даже в неподвижном госпитале не было верных средств

борьбы с гангреной, а в тяжёлом пути?

Раненым старались прежде времени не объявлять, но они сами почувствовали необычность обхода, забеспокоились. Каждый, кто в сознании и малом движении, просился ехать. Потому ли что вместе лежали и на виду было, все ощущали как нечестность: остаться отдыхать, когда земляки воюют.

Санитар доложил, что какой-то полковник шибко добивается врачей.

– Валерьян Акимыч, сходите?

Федонин быстро пошёл к выходу. На треугольную площадь уже стягивались пустые подводы, почти забив её всю. На каменном крыльце, раскрыв планшетку с картой, допрашивал раненого ходячего унтера запалённый помятый полковник с надорванным кителем на приподнятом плече. Порывисто повернулся к Федонину:

– Вы врач? Здравствуйте. Полковник Воротынцев, из Ставки. – Как побыстрей, пожал руку. – Скажите, есть у вас свежие раненые с передовых позиций и в сознании? Разрешите расспросить их? Офицеры?

Кажется, и врачи не засиживались, но темп этого полковника, плотного, а очень подвижного, сильно превосходил. Федонин поддался ему, быстро вспоминал:

– Есть. Ночные. И утренние. Есть подпоручик из 13-го корпуса. Был изрядно контужен, но отошёл, сейчас в полном сознании.

– Из 13-го?? Интересно! – удивился, насторожился, ещё убыстрился полковник. И уже сам вёл Федонина за локоть сильной рукой. – Вы же – 15-го, откуда 13-го?

Лестницей, коридором, через две палаты – идти им было немного, и Федонин тоже заспешил:

– Скажите, что будет с городом?

Полковник метнул ясным взглядом на Федонина, только сейчас рассмотрел его не как дателя справок, покосился вправо, влево, и – тихо:

– Если удастся построить оборону – ещё подержимся.

– Построить? – сразу схватил Федонин. – Так неужели...? И штаб армии?...

Полковник только губами тпрукнул.

– Тут с западной стороны...

Но уже входили в палату – и полковника, со всей его готовностью, как ударило, откинуло, он омрачился, сморщился – на рубеже сгущённого запаха лекарств, крови и гноя.

В первой палате, у самого прохода, батюшка напутствовал отходившего, эпитрахилью накрыв его лицо.

– Верую, Господи, и исповедую... – который, который, который раз за эти дни произносил он глуховато, заученным распевом, а как будто свеже, не соскучась.

Во второй палате у окна нашли того подпоручика, и как раз Таня Белобрагина сидела на его кровати, поднялась при подходе их, в межоконьи стала к стене, руки опущенные за спиной, и в глубоком тёмном взгляде застыла.

А подпоручик, обмотанный по лобной полосе головы, но уже с возвратом мальчишески-быстрого зоркого взгляда ещё стараясь для пришедших, готовно встретил их.

Федонин попробовал его щёки, пульс:

– Вам легче намного, да?

– Да! да! – радостно уверял веснушчатый подпоручик, и подтягивался в кровати выше, не зная, как быть полезнее.

– Вам говорить, отвечать не трудно?

Таня покраснела:

– Мы – немного, он земляк оказался.

Её и не заподозрить, чтобы много.

– Вы какого полка? – уже сидел на кровати полковник и разворачивал карту. – Вы разве при 15-м корпусе?... когда вы к нему пришли?... Где вы стояли? Где ранило вас?... А какие там части рядом?...

Подпоручик полусидел на подушках, светло-влюблённо смотрел на полковника и



отвечал ему как радостный экзамен, гордый, что знает и все билеты и на дополнительные вразброс. Тем невидимым юношеским светом жертвы он был освещён, который зарождается ещё до женщины и без неё. Он слышал через шум, голова слабая, затруднялся в речи, но старался преодолеть и как можно чётче отвечать. Он уверенно показывал по карте, как из Хохенштейна их вчера вечером водили на запад в сторону близкого боя (а про себя: чего стоило всех собрать, дозваться, дослаться, из города вывести), и как опять отозвали (в который раз, никогда не доводя их полка до боя!) и по бездорожью петлёй вернули зачем-то снова в Хохенштейн (и ещё была вечером паника, стрельба по своим, но это не к делу), а из Хохенштейна (опять не без труда) вывели на окраину в боевой порядок и вот тут-то... (Дальше маме можно рассказывать, не полковнику: разрыв до того близкий, что выразить нельзя, и только успеваешь: смерть! – перекреститься! – мама, прости! – а следующего разрыва уже не слышишь...)

– Да, а что у вас с плечом? – вернулся Федонин.

Вспомнил и полковник:

– Вы посмотрите? Меня вчера, видимо, осколком зацепило.

– Трудно ворочать? – щупал хирург.

– С затруднением.

– Зайдёте ко мне, на этом этаже. Вот, сестра проведёт. – А Тане: – Старший врач согласен вас оставить. Не возражаете? Можно застрять надолго.

Уставленный грустный взгляд сестры нисколько не переменялся, не тронулся даже интересом. Кивнула:

– А кому же? Конечно.

И ждала теперь провести полковника. Когда он быстро водил головой, вся его решительность, кажется, была в короткой, но широкой дуговой бороде. При ней усы и не замечались: они не торчали, не висели, не закручивались – лишь потому осеняли верхнюю губу, что без усов офицеру не полагается.

А у подпоручика – ни усов, ни бороды, и даже никакого ещё характера в губах, – самая ранняя юность и добрые чувства, такой чистенький и вежливый, какие бывают при женском воспитании. Ничего он ещё не знает о жизни. Всего на год была Таня старше его, а умудрённей себе казалась – на десять.

... Плен?... На всё была согласна Таня. Нечувствительно было бы сейчас – пленение, ранение. Ещё бы лучше – убило её поскорей. С надеждою, что убьёт без греха, руки самой не накладывать, она и спешила на фронт. Всё равно не могло с ней произойти хуже того, что случилось. Легче в пучине, чем в кручине.

Под окном, внизу, на узкой улочке виделась толчея, сумятица. Сновали солдаты разбродными группами и в одиночку, не строем. В тени остановилось несколько, обтирали пот, выбрасывали лишнее из мешков, лопатки, топоры, ящички с патронами – и пошли быстро опять. Никто их не останавливал. А два казака, наоборот, торчали что-то к сёдлам.

... Вместе читали. Вместе гуляли, за руки держась. И постепенными разговорами проходили путь, где каждый вершок незаменим, неупустим, остаётся потом на всю жизнь. Росло как растение, всему своя пора: листочкам, завязи, расцвету. Разве Таня не могла бы ускорить? – но не женская это доля, так нельзя. А та – ничем не лучше, не красивее, не добрей, не верней – налетела, схватила и урвала. И нет того суда, где эту нечестность разбирают. А мужчины? – только разве и тверды на войне, больше нигде, ни в чём.

Каких толковых офицеров можно воспитать за два года – и как их умеют потом загубить за двадцать. Это движение всеготовности, эта боль за армейскую операцию на мальчишеском лбу!

– Господин полковник! – за рукав удерживал подпоручик, смотрел с надеждой и пересиливал затруднения речи, – я слышал, будет частичная эвакуация. А я – никак не могу остаться, это позор! Я не могу начинать жизнь с плена!! – заблесты слез смочили ему глаза. – Попросите, чтобы меня вывезли непременно!

– Хорошо! – и полковник с силой пожал ему руку. С быстротой: – Сестра!

Таня круто повернулась от окна, всё оставив окну, о чём думала там, а сюда – внимание, старание неизнеженного, некапризного лица, так частого среди русских девушек.

Что за тёмный пламень взгляда, и твёрдость какая в лице – ещё не сегодняшняя – возможная! Или это от глубокого обхвата косынкой, когда скрыты и лоб, и шея, и уши?

– Сестра, я очень попрошу доктора, а вы уж тогда проследите, чтобы подпоручика Харитонов не оставили. – И, вот уж не легкомыслие было в её лице, вот уж не нуждалась в угрозе! – почему-то пальцем ей погрозил, сам не ожидал, а губы улыбнулись: – Смотрите, везде вас найду! Вы – откуда родом?

– Из Новочеркаска.

– И там найду! – кивнул. Быстро пошёл между кроватями.

А на каждой – замкнутый мир, единственная борьба в единственном каждом теле: буду жив или не буду? оставят руку или не оставят? И вся война с операциями армий и корпусов отступает как ничтожная. Пожилой, но развитой мужичок, может быть запасной унтер, умно-подозрительно поглядывает на всех из-под простыни. Другой катается, катается по подушке головой и хрипло выкрикивает.

Из шибяющего, густого смрада палаты – скорее выйти, вздохнуть! Сестра провожала.

Когда вернулась, не сразу к тому окну, подпоручик уже осел, ослабел, побледнел, но ещё нашёл улыбку для Тани:

– А вы остаётесь, землячка? А вы напишите письмо своим, я возьму, аккуратно отправлю. Кто у вас там?

Лицо Тани стянуло как яичным белком. Суровой головой качнула вправо, влево. Не напишет она. Никому.

Никого.

После войны – куда угодно, только не в Новочеркасск.

Воротынцев успел бы рано утром в Найденбург и мог бы ещё захватить Самсонова, да сворачивал смотреть по пути, кто же держит фронт, – и не нашёл никого. Ещё гонялся за беглым Кондратовичем – и не нашёл. И к Самсонову опоздал.

Во фронте слева сквозил свищ, боля как в собственном боку, но никто не посылал войск туда, и войск-то не было, кроме Кексгольмского полка, заменившего Эстляндский и Ревельский, а распорядился им генерал Сирелиус, но тоже кружил где-то непонятно, ни разу не доехав до фронта.

Изумление вызвал и отъезд Самсонова: почему не велел укреплять Найденбург с северо-запада? почему не стягивал фронта, а уехал вдоль растянутого?

Остатки Эстляндского и Ревельского полков и их обозы едва не бесчинствовали в Найденбурге, но не ими мог заниматься Воротынцев. Он оставил Арсению коней и за полтора часа здесь, в нескольких кварталах мечась, выяснил, что произошло с армейским штабом; и убедил курьера-хорунжего познакомить его с донесением конной бригады, самому же подождать, пока не ехать; и от разных людей, а больше от раненых, неплохо прочертил положение армейского центра; от Харитонova понял, как идёт у Хохенштейна, но что с остальным 13-м корпусом – тёмная молчаливая была загадка; ещё меньше можно было понять, есть ли надежда на вспомогательный удар Благовещенского и Ренненкампа. И сам бы туда полетел-поскакал, да близкая левая дыра сквозила, звала. И из госпиталя выскакивая, кажется Воротынцев уже имел план.

Ещё и вчерашнее отступление к Сольдау не было последней катастрофой, если исправить его в этих часах.

У приметной скалы Бисмарка условился он встретиться с хорунжим.

Был при Бисмарке союз трёх императоров, и полвека жила спокойно Восточная Европа. Русско-германский мир полезней был этих манифестаций с парижскими циркачами.

Кони стояли там, привязанные к дереву. А в холодке за скалою, за клумбой, Арсений сидел. Он поднялся поспешно, но в полроста, и приглушённо, приклонённо, заветно:

– Ваше выскродие, перекусить надо!

Что-то было в котелке.

– Ты мне и вчера сухарём чуть дело не испортил... А коней покормил?

– А ка-ак же! – обиделся Арсений. И без того большой рот ещё распылил: – На кладбище попас, ха-рошая травка.

Позади скалы стояли два камешка скамеечкой и торчал под руку черенок ложки.

– А ты?

– А я после вас, – отказался Арсений быстрым заученным почтением.

– Нет уж, давай сразу.

– Ну, ин сразу, – легко согласился Благодарён, бухнулся перед котелком на колени и стал таскать себе.

Таскал левой рукой и Воротынцев, то жадно, то рассеянно, так и не вникнув, что там. А правой тут же на приподнятом колене, на твёрдой гладкой коже планшетки, торопился писать, чтобы хорунжего не задерживать:

“Ваше высокопревосходительство!

На левом фланге, потеснённом, но нисколько не разбитом (выиграли бой и отступили по глупому недоразумению!), находится треть вашей армии. Но там сейчас **три** командира корпуса (Артамонов-Масальский-Душкевич) и никакой единой воли. Если бы Вы сами сочли возможным приехать туда (6-й Донской полк сопроводит Вас в безопасности за 2-3 часа), Вы бы энергичным наступлением могли бы выправить всё положение армии: Вы бы связали и опрокинули генерала Франсуа, намеренного сейчас **отрезать** Вас.

Мы вместе с Крымовым настоятельно просим Вас избрать этот шаг. Полковник Крымов сейчас заменил начальника штаба 1-го корпуса.

Я буду западнее Найденбурга, здесь почти никакой обороны, дыра.

Полковник Воротынцев”.

А ещё надо было советовать: отступать центральными корпусами. Но прямо так он не смел, должен был догадаться Самсонов.

Подъехал и хорунжий. Воротынцев предупредил: донесение сжечь, съесть, только не противнику в руки.

А варшавский курьер потерялся куда-то. И письмо жены получить командующему была не судьба.

## 35

Уже сколько дней не было у Самсонова такой ясности, такой уверенности в своих действиях. Во главе понурых штабных он бодро выехал из Найденбурга и бодрой ходой шёл конь под ним. Свежесть была в груди, несмотря на короткий сон. Ещё более свежести добавило августовское сырое утро, победный разрыв туманных хлопьев солнцем, разгон пелены, обнесшей небо на рассвете.

Как славно подыматься утром рано! Как славно думается и действуется утром! Как обнадёжливо представляется в утреннем холодке ход сражения! Сколько ещё прекрасных утр может быть впереди у 55-летнего человека!

Путь поездки он не сам выбирал, и повезли его кружно, восточной петлёй, с проездом деревни Грюнфлис и угла Грюнфлисского леса: уверял начальник казачьего конвоя и штабные, что по короткой дороге до Надрау беспокоино, может прорваться немецкий разъезд, могут стрелять из засады. И всё равно на полпути запылили справа конные, приближались. Конвой изготавился к бою, выслал навстречу разъезд.

Оказались свои: взвод драгун из 6-го корпуса, взводный эскорт, чтобы сопроводить бумажку донесения на полсотни вёрст ничьей, полупустой, не своей страны. Если б штаб не поехал кружно – и не встретил бы их.

Сейчас было 8.30, а донесенье Благовещенского – от часу ночи, сутками позже

вчерашнего, – ночное аккуратное суточное донесение, как если бы в промежутке не случилось важного. Что ж, идёт он на выручку Ключеву? прикрыл спину центральных? или занял твёрдые рубежи?

“...отошёл к Ортельсбургу...”

Не сходя с коня – карту! Вчера Благовещенский необъяснимо отходил к Менсгуту, и это казалось грозно. А сегодня – о, если б он остался под Менсгутом! Но он ещё на 20 вёрст откатился – по знакомой дорожке, в Россию скорей...

Корнет порывался, кажется, рассказать и больше об этом откате, но командующий сдержал. Себя самого щадя, свой внешний уверенный плотный вид – для окружающих.

А за те семь часов, что драгуны скакали, – может, Благовещенский уже бросил и Ортельсбург?... Может быть он уже в России?...

И что ж можно было теперь ему приказать?... Удерживать во что бы то ни стало Ортельсбург?... Во что бы то ни стало... ни стало... От стойкости вашего корпуса зависит...

И поскакал корнет со взводом и с бумажкой назад. Чтобы доставить её после полудня.

А донесение Благовещенского шло по рукам штабных. Надо было сообщить о нём Ключеву? А как? Да ведь он к Мартосу переходит. И мы к Мартосу едем.

Разве вот что: Живому Трупу надо об этом знать, может быть руки его хоть немного оживеют. И подправят. Сейчас конными в Янув и оттуда по телеграфу.

И всё так же, большой планшет на конской голове, почерком размашистым:

“6-й корпус отошёл южнее Ортельсбурга, по словам офицера-очевидца – в беспорядке. Корпус сильно пострадал, ослабел физически и морально. Еду в Надрау, где приму решение относительно наступающих корпусов...”

Он написал “приму решение”, как если б оно ещё не было принято: наступать центральными корпусами! Но теперь, Благовещенский так откатывался, – остановить? отозвать центральные? Но как не хотелось! Всё больше оседали отбитые плечи армии, но как дорог был утренний разгон, державший Самсонова молодцом-солдатом! “Приму решение” – а в том же направлении тронул коня. И штабные, глухо ропща, тронули за ним. (Большой знаток заполнения бумаг, утешал себя Постовский, что даже несколько часов, проведенных вблизи огня неприятельской артиллерии, можно будет выгодно записать себе в послужной список и в орден).

С одной вершины открылся распашистый вид на озеро Маранзен – продолговатое, вглубь и вглубь. Солнце светило через плечо, вода не сверкала, темно покоилась. И лес глубокий стоял по берегам. А по склонам холмов разбросались мёртвые фольварки, краснея черепицею.

И, отойдя от забот своих, облегчённой душой принимая мир без нас:

– А красивая страна, господа!... И откуда здесь такие высоты, такие виды?

Встречью втягивался на высоту обоз раненых, много ран штыковых. Кто стонал, а кто говорил вполне бодро, ещё бодрей при трёх генералах: ночной штыковой бой у деревни, вёрст десять отсюда. В один голос: удачный бой, мы победили!

Да и сейчас гремело слева недалеко. Кроет, кроет нас Господь и Божья Матерь. Так быстрее же вперёд, господа, мы ничего не знаем!

“Надрау” – так по маленькой деревне только назывался командный пункт Мартоса, а был он западнее, на высотах, в полукруге леса – отличное место с обширным видом. Передняя линия отошла, обстрел уже не достигал сюда, и несколько офицеров стояли открыто на холме, на солнечном уже припёке и передавали друг другу бинокли.

А внизу, по шоссе, к железной дороге и через неё, шла медленная колонна – нет, вели колонну пленных в оцеплении, да! пленных не меньше тысячи!

Узкоплечий невысокий Мартос на стуле сидел, и тоже смотрел в бинокль. О переезде армейского штаба они ничего не знали! Оглянулись, и против солнца не сразу узнали конных.

С юной лёгкостью вскочил на ноги немолодой полководец, передавая в левую руку короткую тросточку, всегда покачиваемую на ходу. И, с честью, вытянулся перед конным

дуючим командующим, щурясь против солнца:

– Ваше высокопревосходительство! Противник силою в дивизию пытался атаковать нас ночью лощинным подходом к деревне Ваплиц. Замысел его обнаружен, расстроен и даже нарушено управление: у кладбища Ваплиц противник уничтожил своих же артиллерийским огнём, видимо расчётным, без наблюдения. Наступавшая дивизия разгромлена и отброшена, мы удерживаем важные Витмансдорфские высоты. Имеем пленных две тысячи двести, до ста офицеров, взято двенадцать орудий. Хотя и очень ослабленные, Калужский и Либавский полки пошли в атаку противнику в спину и содействовали победе.

Мартос не захватывал чужого, он делился успехом и с соседями.

Всё зримо: вот и пленных вели, а маленькую группу офицеров завернули сюда, на высоту.

Вот этот торжественный момент и предвидел командующий! К нему он и рвался утром из Найденбурга! Он ехал не зря!

Доклад корпусного Самсонов принял в седле, но тут же грузновато, однако и уверенно, спустился на землю, передал поводья и – не разминаясь, сверху вниз увесистыми руками обхватил за плечи узкого ловкого Мартоса, облобызал его:

– Один вы! Один вы и спасаете нас, голубчик!...

И, отклонясь, смотрел на него, желая ему четверть царства. Ту награду предвидя, которой можно было бы украсить эту узкую грудь – если б не было табеля очерёдности возможного получения наград...

Вздорная мысль Постовского идти на Алленштейн уже никем не вспоминалась. Но может теперь-то и повернуть корпуса круто налево с сильным ударом в немецкий тыл? теперь-то и пришла пора бокового наступления, вчера ещё определённого в армейском приказе? От кого и услышать первого, как не от победителя:

– Хотелось бы ваше мнение, Николай Николаич!

Мартос ровно держал отважную узкую голову, блеснул глазами. Он не искал времени раздумывать, не изобразил отягощённого думой чела. Подхватисто-ловкий, с плечами сами собою поднятыми, с усами ловко подкрученными, он так же молодцевато и ответил:

– С вашего разрешения – немедленно отступать!

Он не имел докладов об отступлении Артамонова и Благовещенского, но прирождённым чутьём угадывал, что не тут его корпусу место, а – назад и скорей! Как улитки или птицы предчувствуют бурю – давлением воздуха или астральными струями, так утягивало и его.

Но командующий: как? что? – не понял. Почему же?

И Постовский, с помощью казака осторожно сойдя с коня, приблизился и, видя несогласие своего командующего:

– Что-о-о это вы панике поддались! Не-ервы у вас подгуляли! Слева вот-вот подойдёт Кексгольмский полк. Справа вам придана бригада 13-го корпуса. Сам 13-й вот-вот, вот-вот...

– Постовский даже оглянулся, ожидая корпус увидеть, но тут лес был стеной, – подойдёт и весь. А ещё ж и конница Ренненкампа. Кто ж нам позволит отходить?

Уж чего никогда не знал Мартос – это нерешительности. Энергично чеканил своё:

– Корпус бьётся третий день подряд и пятый день из шести. Потеряны лучшие доблестные офицеры, несколько тысяч солдат. Корпус изнемогает и к активным действиям более не способен. Нет кавалерии, действую вслепую. Снаряды на исходе, подвоза нет. Недостача уже и патронов. Наши непрерывные атаки не дают выигрыша армии, лишь усложняют её положение. Надо отступать – и немедленно.

И напором его доводов сметён был весь утренний стройный замысел, так что уже ни чёрточки не восстановить. И не было той радостной атаки, куда командующий должен был скакать или послать. Без него тут было все уже и выиграно, и обсуждено, и предложено, и проиграно.

А ещё ж не знал Мартос об отступлении фланговых корпусов.

Самсонов тяжело помаргивал, как борясь со сном. Снял фуражку с потеснённой

чернеди седеющих волос. Отёр лоб.

Как никогда, лоб его был крупен и незащищен: белая мишень над незащищенным лицом.

## 36

В запале и спехе Воротынцев промахнулся: уж начав утро с розысков Кондратовича, надо было не сходить со следа, настигнуть увёртливого генерала, пристыдить или припугнуть Ставкой, – и ещё можно было поставить к западу от Найденбурга всё, что в 23-м корпусе оставалось способно обороняться.

И генерал Кондратович, которому – счастье выпало? – что его корпус раздёргали, и, будто бы собирая его, можно было долго кататься поездками между Варшавой и Вильной, – генерал Кондратович в это утро несомненно побывал где-то тут, не дух же: впервые он приблизился к передовой линии, его видели в одном месте за час до Воротынцева, в другом за полчаса. Но у Воротынцева не достало терпения скакать за ним, и пока он собирал сведения от раненых, Кондратович примчался в Найденбург и, не имея тут никого выше себя чином, распорядился: командиру Эстляндского полка взять шесть рот и пулемётную команду и с ними уходить на восток, по шоссе, сопровождая и охраняя его, генерала Кондратовича. Он, очевидно, так расчёл, что одна растрёпанная дивизия его несобранного корпуса всё равно уже подчинена Мартосу, Кексгольмский полк занял позиции и сам продержится, остальные гвардейские полки сюда вовсе не дойдут, – и ему, корпусному, делать нечего, а безопаснее отойти за русскую границу и там ждать, чем кончится.

Всё это узнал Воротынцев, спохватясь, уже отослав записку Самсонову.

Ещё сегодня рано утром был Найденбург резиденцией штаба армии, центром и узлом связи и дорог – и вот к полудню в нём не осталось ни одного генерала, никого старше Воротынцева чином, и никакой связи ни с корпусами, ни с фронтовым штабом, а все покинутые должны были своим умом и совестью сами избирать себе образ действий.

Зато Воротынцев сохранял состояние чистого делания, черезильной лёгкости, свободы от собственного тела, от собственных желаний и мыслей, – он был только подвижным приспособлением спасти и поправить, что можно. Прохват, продох с левого бока армии ощущался им как колотье в своей груди, и только знал он: надо заткнуть эту скважину на те несколько часов, пока командующий успеет проехать к 1-му корпусу.

И в запруженном тревожном Найденбурге он нашёл подполковника Лунина, батальонного командира эстляндцев: четыре его роты, сильно прореженные, оправалялись тут со вчерашнего дня, а подполковник сам ещё не решил, что делать. И ещё с другим подполковником подошло с севера пять рот эстляндцев же – да таких рот, что каждая была едва ли сильнее взвода. Ещё ночью они стояли на позиции, а утром сменили их кексгольмцы.

Этим двум подполковникам и половине сохранившихся ротных Воротынцев в несколько фраз объяснил положение города, положение армии, уход в Россию остальных рот их полка, вместе с полковым командиром, и что от оставшихся надо. Говорил – а сам лица оглядывал, как будто и своеобразные, а в чём-то главным сходные все, какими сделали их: армейская традиция; долгая гарнизонная служба, отдельный от общества мир; и отчуждение, и презрение со стороны этого общества, осмеяние от передовых писателей; и верховный запрет мыслить о политике, о материях, обстриженный или потускневший интеллект; и постоянная денежная недостаточность; и через всё это, в очищенном и собранном виде – энергия и мужество нации. Вот это и был их момент, и Воротынцев не сомневался в ответе.

Надо – так надо. Подполковники оба согласились подчиниться Воротынцеву, но выразили, что их солдаты уже стоять не могут, особенно велико ошеломление от тяжёлых немецких снарядов, пережитых без окопов. Попросил Воротынцев по крайней мере построить их всех у западного выхода, при шоссе на Уздау.

Пока роты собирали и выводили из города назад, а те брели понуро, бурчали и оглядывались, Воротынцев успел повидать коменданта Доватура – полненького, с брюшком,

очень вежливого и обязательного, и уговорился с ним о патронах, подводах под патроны и указал западной города место, куда прислать ему связного, когда город освободится от обозов и всех уходящих.

Построили солдат плотно, в шесть шеренг, все в тени, не раскиданы фланги, и без крика всем слышен голос. Эти минуты построения Воротынцев, руки за спину и расставив ноги прочно, смотрел на свой неожиданный отряд с длинным чёрным дядькой на правом фланге.

За двое суток, что перемалывали их полк, состарились уцелевшие: появилась в них достойная медленность смертников, никто не тянулся спешить угодить команде, выполнить её лучше, выкатить грудь. Ни одного беззаботного лица, ни с показной бодростью: там, где со смертью они сокоснулись, все обязательства службы стали слупливаться с них. Но не слупились ещё настолько, чтоб и всякие команды перестали быть над ними властны. Ещё и простого приказа могло достать, чтоб они вышли на позиции, – да только разбежались бы вослед, а надо, чтобы держали.

И что ж можно было им сказать сейчас? У них ещё уши не отложило, они ещё не отдышатся, что вырвались из смерти, – и опять туда? Да какой-то чужой полковник, который, смотришь, тут же и сгинет, с ними умирать не потянется, только их погонит.

Уж конечно не “честь” – непонятная барская. Уж конечно не “союзные обязательства”, их не выговоришь. (И сам Воротынцев не слишком к ним расположен). А призвать на смертную жертву именем батюшки-царя? – это они понимают, на это одно откликнутся. Вообще за Царя – непоименованного, безликого, вечного. Но этого царя, сегодняшнего, Воротынцев стыдился – и фальшиво было бы им заклинать.

Тогда – Богом? Имя Бога – ещё бы не тронуло их! Но самому Воротынцеву и кощунственно и фальшиво невыносимо было бы произнести сейчас заклинанием Божье имя – как будто Вседержителю очень было важно отстоять немецкий город Найденбург от немцев же. Да и каждому из солдат доступно догадаться, что не избирательно Бог за нас против немцев, зачем же их такими дураками ожидать?

И оставалась – Россия, Отечество. И это была для Воротынцева – правда, он сам так и понимал. Но понимал и то, что они не очень это понимали, недалеко за волюсть распространялось их отечество, – а потому и его голос надломило бы неуверенностью, неправотой, смешным пафосом – и только бы хуже стало. Итак, Отечества он тоже выговорить не мог.

Речь – не сочинилась.

Но оглядывая тяжёлые, усталые, хмурые лица, он себя самого затолкнул туда, под потные скатки, потные рубахи, под ремни, набившие плечо, в сапоги, пылающие немытыми ступнями. И приняв “смирно” и отдав “вольно”, стал говорить не звонко, не бойко, не рывкая, а с той же усталостью и несдвигностью, как они себя чувствовали, как и сам бы ещё до конца не решив дела:

– Эстляндцы! Вчера и третьего дня досталось вам. Одни из вас отдохнули, другие и нет. Но так смотрите: а третьи, половина ваша, **легги**. На войне всегда неравно, на то война. И думать мы должны – не как себе выгадать, а как соседей не подвести.

А вот что бы проще всего: высказать им просто, как есть, всю обстановку высказать, боевую задачу, как не принято по уставу нижним чинам, а по-настоящему – только б и надо. Ну, не прямо: “Гибнут наши центральные корпуса! Генералы напутали, генералы у нас – дураки или трусы, но вы-то, мужички, выручайте!” А всё ж туда, под шинельную скатку, под ружейный ремень:

– Братцы! – раскинул руки и в землю врос. И широкость его и прочность увидел строй и ощутил. – Не корыстно нам спастись за счёт других. Нам до России недалеко, уйти можно – но соседним полкам тогда сплошь погибать. А после – и нас догонят, не уйдём и мы... Через силу вам, вижу, но тут близко – во фронте **дыра**, нет никого! Пока раненых из города вывезут, пока обозы уйдут – надо загородить! надо подержать до вечера! Больше некому, только вам.

Вот так, не приказывал, не грозил – объяснил. И лица угрюмые, неугворимые – вдруг пересветлели все пониманием, сочувствием, едва ли не улыбками жалости, как бы подбитую птичку видя, – и не хотелось же! и ноги не шли по-прежнему, и проклят был возврат! – а не словами полными, не встречными возгласами, помня строй, но неразборчивым тёплым мычанием, благожелательным ропотом отозвались.

И увидя проблеск этих великодушных улыбок и расслышав этот мычащий ропот, полковник скинул вместе руки и ноги, переменялся на “смирно”, вернулся к силе, и крикнул уже командно, звонко:

– Вызываю **только** охотников! Пер-вая шеренга! Кто пойдёт – три шага вперёд!

И – шагнула вся шеренга!

И – ещё уверенней, уже победно:

– Вторая! Кто пойдёт – три шага вперёд!

И – вторая перешагнула!

## **И – третья.**

И – все шесть шагнули дочиста. С тёмными лицами, крестные шаги – но прошагнули.

И хотя понимая, что радоваться нечему, неприлично, некместно, всё ж заорал Воротынцев:

– Славно, Эстляндский полк! Не оскудела матушка Русь!

Вот тут и матушка принималась...

\*\*\*\*\*

## **И НЕ РАД ХРЕН ТЁРКЕ,**

## **ДА ПО НЕЙ БОКАМИ ПЛЯШЕТ**

\*\*\*\*\*

## **37**

А времени в обрез, бегом к своей конной группе – трём приставшим казакам из 6-го Донского и Арсению. Казаки очень кстати прились – один чубатый, один дремучемордый, один растрёпа, все – тигры на конях. А вот...

– А вот ты, Арсений, просто меня позоришь. Ты ж говорил – “верхом могу”?

– Так и могу! Только айдаком, без седла. У нас в Каменке и все мужики так. А седло – затея барская.

Вчера Благодарёв сгоряча поехал в седле, набил сестное место, теперь выкинул седло, ехал охлябью. А на укору полковника изощрился: навязал пуховую подушку на коня, верёвки под брюхо, и сидел довольный, ноги свешены, от трёх гоготавших казаков отбредиваясь.

– Неуж плохо, ваше высокородие? – и показал готовность хоть сейчас и отвязать подушку, а не двигаясь к тому. – Зато теперь хоть в Турцию скачи! – отговаривался и щёки надувал.

– Вот именно что в Турцию...

Винтовки за плечо наискось, по-кавалерийски, и погнались.

Одна забота набегала на другую. Только что заботился Воротынцев, убедит ли он солдат повернуть опять в то пекло. А теперь заботился: обещал – до вечера, а если надо



будет дольше, то кем сменять? Да ещё – удержит ли их на позиции до вечера? А удержит – так будет ли польза от этой жертвы, не обманул ли он их? Ведь всё остальное, вся армия, – не зависело от него, а как сложится. С его малой головы довольно было: где и как поставить теперь эти пять, хотя и сводных, но слабых рот? как растянуться от кексгольмцев с севера и до уздауского шоссе на юг? На все вёрсты не могло хватить сил, а смысл-то и был – держать непрерывный фронт.

Несколько вёрст они проскакали по просёлочной – не на запад, а правей, по тому направлению, откуда было у Воротынцева ощущение дыры. И оказывалось, да, дыра, пустота, вообще ни человека, ни своих, ни чужих, ни жителей, ни бродячих лошадей, ни собак, ни трупов, ни домашней птицы. Как бывает центр циклона: всё кругом уже рвётся, бьётся и темно, а здесь – тишина голубая.

Уже тут, не дальше, надо было принять и расставить эстляндцев, и Воротынцев оставил одного казака маяком, а с остальными хотел ещё непременно поискать фланг левого соседа, соткнуться, лишь потом воротиться.

Не заслонённое облаками солнце переваливало самый жар, накалилась открытая брошенная мёртвая местность, и, казалось, никого уже тут не встретить.

А впереди была высотка, в мелких сосенках, и решил Воротынцев осмотреться оттуда. Сильные кони легко взяли подъём, между соснами скрытно и по мягкой дороге мягко, лишь перед самым верхом странный рычащий звук удивил их, но тут же смолк. На макушку горки они вскакали и – немцы?! Автомобиль! – стоял против них! в десятке шагов! видно, только что выскочив сюда и заглохнув.

Четверо немцев сидели в автомобиле, изумлённые не меньше четырёх русских всадников.

Сперва только все захолонули.

Казаки со свистящим шорохом вытянули шашки.

Офицер позади генерала выхватил, выставив высоко, револьвер. С другого заднего сиденья, завозясь, высунули ручной пулемёт.

Благодарёв без усилия скинул с плеча винтовку и дослал патрон.

На комара они все были от того, чтоб само начало стрелять и рубить, и покончило бы их тут всех. Но казаки ждали команды. Немцы – тем более.

А низенький генерал – не выхватил револьвера, не подал команды. Головой круть-круть, и остроглазо, изумлённо смотрел как на забавное, редкое, не спугнуть бы.

И Воротынцев, это поймав, лишь руку держал на рукояти шашки. (А винтовку скинуть было долго, непривычно).

Так стало тихо между заглохшим автомобилем и не заржавшими конями, что на горке нагретой, со смолистым воздухом только и слышалось лошадиное подыхивание да жужжанье овода или мухи.

И перейдя без выстрела этот миг тишины, нагретости и одинокого жужжания – они все восемь стали выше смерти.

Генерал (“вчерашний, вашскродь!...”), подёргивая головой, всё так же присматривался, с большим любопытством, как будто и не допуская, что в него могут выстрелить или зарубить его. Уши у него были отогнутые и прижатые, как в испуге, но он, напротив, не испугался ничуть. Что-то юмористическое было в его лице – от усов ли щёточных, торчком в бока? Да просто юмор понимал. И не промедля доказал это, веселовато укоря:

– Herr Oberst, ich hatte Sie gefangennehmen sollen (Полковник, я должен был бы взять вас в плен).

Этот тон весёлого, не настоящего укора сразу заразил и Воротынцева, ещё прежде, чем он сообразил значение встречи, как быть и что выгодней всего. Откликаясь лишь на тон, Воротынцев ответил ещё веселей, сверкнув ровными зубами:

– Nein, Exzellenz, das bin ich, der Sie gefangennehmen soil! (Нет, ваше высокопревосходительство, это я должен взять вас в плен).

Приспустился пулемёт. И револьвер. И шашки. Генерал же настаивал рассудительно:

– Sie sind ja auf unserem Boden (Вы – на нашей территории).

Входя и в этот тон, Воротынцев нашёл аргумент не хуже:

– Diese Gegend ist in unserer Hand (Эта местность – в наших руках).- Это было фанфаронство, но тем и брать, когда худо дела: может, тут, позади горки, наши пехотные цепи. И несколько построже: – Und ich wage einen Ratschlag, Herr General, lieber entfernen Sie sich (И я осмелюсь вам посоветовать, господин генерал, лучше удалиться).

Он, он, вчерашний, Арсений верно шептал, это он вчера из автомобиля прыгал, да как легко, молодец, а ведь не моложе Самсонова.

Но генерал так не хотел и даже не мог разговаривать:

– Bitte, Ihren Namen, Oberst? (Как вас зовут, полковник?)

Ну что ж, тут тайны нет, пожалуйста:

– Oberst Worotynzef (Полковник Воротынцев).

Понимая ли стеснение полковника спросить фамилию полного генерала или находя в разговоре вкус, генерал любезно представился и сам, сохраняя в быстрых глазах юмористический блеск:

– Und ich bin General von-Francois (А я – генерал фон-Франсуа).

О! Так командир 1-го немецкого корпуса! И почти в руках, можно взять?...

Почти в руках, да неизвестно, кто у кого.

А главное: стрелять и рубить – естественно, ещё не познакомься. А познакомившись – уж как-то и не по-людски.

– A-ha! Ich erkenne Sie!- непринуждённо, весело воскликнул Воротынцев. – War es gestern Ihr Automobil, das wir beinahe abgeschossen haben? Was suchten Sie denn in Usdau? (А-а! Я вас узнаю. Вчера это ваш автомобиль мы чуть не подбили? Зачем вы ехали в Уздау?)

Генерал покачал головой и вполне рассмеялся:

– Es wurde gemeldet – meine Truppen seien schon drin (Донесли, что мои войска уже там).

И с одобрительным прищуром снизу вверх рассматривал Воротынцева. Это была шутка войны, надо уметь её понять.

Казачи – поняли, и, к тону общему ухмыляясь, с освобождающим шумом вставили шашки в ножны – и чубатый косоватый Касьян Чертихин и лукавый нечёса Артюха Серьга.

Уже был вовсе убран и револьвер немецкого офицера. И пулемёт лишь чуть виднелся из-за спины шофёра. И винтовку за спину отправил Благодарёв, и шепнул уже не первый раз:

– Ваш скородие... **Лев**, смотрите! Льва-то нашего упёрли!

Всё глаз не сводя с генерала и с пулемёта, Воротынцев не видел до сих пор, что на радиаторе автомобиля как-то укреплен был тот самый лев, та самая игрушка, бодрившая звено их окопа под Уздау, давно-давно когда-то... И удивительно, что лев – совсем целый.

Как они – льва, так и немцы что-то заметили и весело шептались.

– Wer sind Sie aber, ein Russe? (А вы – русский ли?) – присматривался Франсуа. Ему, кажется, хотелось ещё поговорить. Уверенный в своей неотразимости, он явно хотел очаровать и противника.

– Ein Russe, ja, (Русский...) – улыбнулся Воротынцев, отчасти понимая этот европейский вопрос.

И окончательно решил: разъедемся, так и лучше. Поверил же, наверно, что мы тут близко. Скорее ставить эстляндцев. И сожалительно поднял руку к козырьку:

– Pardon, Exzellenz, tut mir leid, aber ich muss mich beeilen! (Ну, простите, ваше высокопревосходительство, к сожалению, мне некогда). – Ещё в глаза генералу. Скользнул по пулемётчику. Неужели в спину выстрелят? Невозможно! – Leben Sie wohl, Exzellenz! (Будьте здоровы, ваше высокопревосходительство!)

И так же насмешливо-приветливо, и даже с сожалением ответил ему генерал, помахивая тремя пальцами как крылышком:

– Adieu, adieu! (Приятного пути!)

Это помахивание и казаки поняли, и тут же, за полковником, круто повернув коней, карьером взяли с горки, погигикивая, довольные. А вослед доспевал им Благодарёв, ногами

длинными болтая без стремян.

И – взрывом засмеялись немцы! Воротынцев успел услышать, понял – и первый раз рассердился на Благодарёва:

– Над твоей подушкой!... Всю русскую армию позоришь!...

Благодарёв скакал богатырски-ровно, с лицом нахмуренным, обиженным.

Ещё успевал бы немецкий пулемётчик перестрелять их всех.

Но – это невозможно было после уступчивого разговора. И вовсе было бы недостойно полководца, ступающего в Историю.

## 38

Полководцу высшего класса недостаточно воевать победно: надо ещё воевать изящно. Для истории не будет безразличен ни один его жест, ни одна деталь его командования. Либо резьбой и отделкой они доведут его образ до совершенства, либо представят как тупого удачника, не более.

Вечером 14 августа генерал Франсуа ещё не мог отдать приказа на 15-е: сердце его рвалось на Найденбург, обстоятельства грозили контрударом от Сольдау, и на Сольдау же толкало его армейское командование. В таком положении мизерный военачальник томится всю ночь и томит свой штаб, ожидая, что подплывёт, и тогда в ночи заскрипят перья, выписывая распоряжения. Но Герман Франсуа написал лаконично: “Дивизиям на своих участках подготовиться для наступления. Время и характер наступления будут даны завтра в 6 утра на высоте 202 близ Уздау. Офицеры сообразуют быть на месте для принятия приказа”, – и в одном из уцелевших домов Уздау, под перинкой с розовой оболочкой, лёг спать. Это и был жест: командиры дивизий и подчинённых отдельных частей не смели допустить, что завтра не будет наступления, или командир корпуса не знает, что он завтра будет делать.

Важным сопутствующим жестом был и выбор места для сбора командиров: даже не высоту 202, а – мельничную, под Уздау, непременно назначил бы Франсуа, если б не так сильно продвинулись его войска. Мельничная высота была красивейшим и виднейшим местом тут, особенно вчера, ещё с целою ветряной мельницей, когда Франсуа по недоразумению ехал сюда, уже этой неудавшейся, но счастливой попыткой связанный с нею. Вчера же половина его артиллерии по сосредоточенной системе, впервые вводимой в эту войну, работала на изрытие этой высоты и уничтожение сидевшего тут полка. Вчера же после полудня генерал Франсуа мог видеть этот навал мёртвых и полумёртвых русских тел в окопах и по склонам высоты, первый такой артиллерийский результат во всей своей военной деятельности. (Правда, на подъёме – и немецких масса, от преждевременной атаки). И взойдя на эту высоту с тлеющими развалинами мельницы (лишь сыростью ночи и туманом они пригасились), Франсуа понимал, что его каждый здесь шаг есть история. Отсюда начиналось и шоссе на Найденбург, которым предстояло ему совершить исторический прыжок. Здесь не пропустил Франсуа и жёлтое пятнышко в насыпной земле бруствера – и его шофёры с восторгом вытянули из земли перенесшего убийственный обстрел, целого и отлично сделанного игрушечного льва. Этого льва придумали укрепить на радиаторе одного из автомобилей и за взятие Уздау присвоить ему первый унтер-офицерский чин, в предвидении длинного пути побед, возвышающего до маршала.

Однако – ближе к переднему краю надо было собрать командиров. Да густой туман заволакивал даже и высоты, ровняя подробности. Руки скрестив на груди, Франсуа расхаживал ещё прежде назначенного времени. Его одиночество и значительность подчёркивались тем, что уже десятый день он продолжал игнорировать своего начальника штаба, отстранив изменника от всей работы.

Рано утром Франсуа и решил: из трёх подчинённых ему дивизий половиною начать наступать на Сольдау, как требует начальство, а другую половиною держать для затаённого прыжка на Найденбург. (И у начала шоссе собирать передовой летучий отряд –

мотоциклистов, велосипедистов, уланский полк, конную батарею). По беспечности и молчанию русских от Сольдау он предчувствовал уверенно, что оттуда не выступит опасность ему, что тамошние русские озабочены только своим отступлением за реку.

Когда великий миг приходит и стучится в дверь, его первый стук бывает не громче твоего сердца – и только избранное ухо успевает его различить. Хотя не доказано было с Сольдау, хотя и у Шольца, по левую сторону, неожиданная возникла ночью канонада и длилась утром – генерал Франсуа уверенно ощутил неслышимый роковой сигнал! И на свой риск выпустил летучий отряд – на Найденбург, да не прямо, а с южным обхватом: взять русские обозы, которые уже вероятно льются на юг. А прямое шоссе он оставлял для главных сил, чтобы с ними вскоре выступить.

Дела под Сольдау шли обещательно: русские отстреливались вяло, бросали город без контратак. Но тревожно продолжалась канонада у Шольца – и в десятом часу утра, разрушая планы Франсуа, удержав от самовольства в последний миг, подкатил автомобиль со срочным армейским приказом:

“Дивизия генерала Зонтага отеснена врагом от деревни Ваплиц и находится в дальнейшем отступлении. Ваш корпус должен немедленно направить на помощь свой сконцентрированный резерв. Это движение должно носить форму атаки. Начать немедленно. Обстановка требует спешности. О выступлении донести”.

Нет, не родились полководцами ни Людендорф, ни Гинденбург! Рокового стука – не слышали они. Малейшая возня противника вызывала у них страх, протекающая тонкая струйка уже мнилась выбитым дном. Какое трусливое бездарное приказание – гнать его корпус в лобовую контратаку – за 15 километров уже “форма атаки”! – когда созрел и звал красивейший из обхватов!

Но, прослыв до самого кайзера в дерзких, не мог Франсуа не подчиниться.

Но и подчиниться трусливой посредственности – тоже он не мог!

Компромисс на войне – чаще гибель, чем мудрость. Однако вот был выходом только компромисс: куда указали ему, отпустил Франсуа из резерва одну дивизию. Сам же с крепкой бригадой остался на том же старте того же рывка к Найденбургу. А как только, к полудню, был взят Сольдау – с того участка дивизия тут же перетекала, восполняя резерв корпусного командира.

Так и знал он, что недолго держатся людендорфские приказы: к часу дня новый связной офицер с новым приказом: изменить направление посланной помощи на более восточное, более пологое.

Нет, Людендорф не был полководцем! Нельзя же водить армии с переменчиво-дамским настроением. Нельзя же послать “в форме атаки”, а потом заворачивать “более полого”. Не знал Людендорф сам, чего именно хочет, а лишь бы, не рискуя, при всех случаях сохранить престиж.

Пожалел Франсуа: не надо было и первого приказа выполнять, отменился бы сам собою.

“... Весь исход операции отныне зависит от вашего корпуса”.

Да зависел он от корпуса Франсуа с начального часа до конечного часа!

И – выпустил приготовленную бригаду с конноегерским полком – по шоссе Уздау-Найденбург! Город – взять и пройти! И как можно скорее протягивая клешню, оставляя пунктиром патрули и заставы – этим же шоссе дальше, на Вилленберг! И отряды эти тут же настичь полевыми кухнями и кормить! (Должен думать полководец о еде своих солдат).

И сам, не очень теперь дорожа телефонною связью со штабом армии, на двух автомобилях погнался проверять, направлять ушедшие части.

На одинокой высотке в мелких соснах имел он забавную встречу с русским разъездом.

Дивизия, посланная Шольцу на помощь, по пути ввязалась в бой с русским гвардейским полком, когда к трём часам дня нагнал генерала Франсуа ещё третий приказ: эту помощь посылать совсем не надо, отменяется! А задача корпуса Франсуа, как видит её

армейское командование: “преградить противнику пути отступления на юг, для чего сегодня же занять Найденбург, а завтра с рассвета двигаться на Вилленберг”.

Стратеги-стратеги, только и ждать вашего прозрения. Эх, не надо было утром раздваиваться – сколько лишних русских обозов было бы захвачено! Компромисс на войне – всегда ошибка.

И как незаметно, в смене приказов, предположений, разочарований и радостей прошёл немалый летний день! Часов около пяти пополудни конноегерский полк вошёл в Найденбург без боя и не обнаружил там русских боевых частей, лишь тыловые учреждения и обозы. Только и защищалась узкая полоска пехоты, протянутая к северу от шоссе (под её пули из картофельного поля и сам Франсуа попал). Очень удивило генерала: насколько же русские не понимали обстановки, если даже не предполагали защищать ключевой город! И чего ж они ожидали тогда ото всей войны? Как посмели на всю на неё отважиться?!!

Русские обозы – вот была главная трудность продвижения корпуса Франсуа. Посланный утром летучий отряд создал обозные заторы на дорогах южной Найденбурга, и была среди трофеев даже воинская касса с третью миллиона рублей. Ещё непроходимее сбились русские обозы в самом городе: перед сумерками въехал в Найденбург Франсуа со штабом, и автомобили его остановились сразу же. До отеля на рыночной площади пришлось идти пешком.

Отряд жандармов и батальон гренадеров (бежавший вчера из-под Уздау на 25 километров, их майор и усердствовал теперь оправдаться) обыскивали дома, чердаки, подвалы, вылавливали, вытягивали и конвоировали укрывшихся русских. Всё это делалось почти без выстрелов.

Перед отелем генералу представились вместе – немецкий бургомистр и русский комендант. Комендант доложил об окончании своих обязанностей, о состоянии госпиталей, складов немецкого же снаряжения и устройстве военнопленных. Бургомистр высоко оценил деятельность коменданта по сохранению порядка в городе, жизни жителей и их имущества. Генерал поблагодарил коменданта и просил его избрать себе комнату, где и самоограничиться: в качестве тоже военнопленного. И ещё переспросил его фамилию.

– Доватур, – доложил полненький чёрненький полковник.

Рыжие брови Франсуа подвижно отозвались.

– А зовут?

– Иван, – улыбнулся полковник.

Ещё больше взвились брови Германа Франсуа и в созерцательную усмешку сложились губы.

Два рассеянных семени аристократической Франции двух времён её несчастной эмиграции, гугенотской и бурбонской, на минуту встретились на краю Европы, один отдал рапорт, другой отпустил его под арест.

Генералу Франсуа уже приготовили в отеле комнату. Темнело. Город гудел голосами, командами, скрипел телегами, ржал лошадьми – и в хаосе входил в ночь.

А первоотправленная бригада и конные егеря в сумерках уже двигались по шоссе дальше Найденбурга – к востоку, на вторую половину замыкающего кольца.

\*\*\*\*\*

Ах ты, герман-герман, шельма!

Наплевать нам на Вильгельма!

А уж Франца, дурака,

Раздерём мы до пупка!

Позади командного пункта Мартоса стояла на высоте чистая роща из бука и сосны, а позади неё – два фольварка. В них и поместились пока летучий армейский штаб Самсонова и сопровождающая казачья сотня.

Не отступать? Но делать было что? Офицеры штаба бродили и роптали: без телефонной, телеграфной да и нарочной связи, просто без цели и смысла они были загнаны сюда, под самые передовые позиции. Совсем рядом толклись немецкие разрывы и ахали наши орудия, отчётливо стучали пулемёты. Мюленская линия, вчера и позавчера удержанная немцами, теперь трещала в нашу сторону, одна дивизия Мартоса с обнажёнными флангами час от часу зажималась там. И Полтавскому полку было не додержать до вечера утренние победные позиции у Ваплица. Отказал командующий отходить – но не мог же и выхода указать из этого тесного состояния. Отступление само начинало течь, как течет и твердый металл, никого не спрося, лишь свою температуру плавления.

Лишённые выразить свой ропот командующему, но и благоразумно не дожидаящие, пока тот в тугой голове будет осваивать и перемышлять, – штабные отделились теперь составлению изошрённого плана отступления (лишь отступлением не называя его, по предвиденью Постовского, чтобы потом не оборотилось пятном на них). На врытом столике под яблоней лежала карта, Филимонов показывал уверенной рукой, и штабные жужжали. Чтоб не оказаться потом упречным, должен был прежде всего быть гордостью оперативной выучки этот сложный план скользящего щита: как скользит по шкивам приводной ремень, так, сохраняя защитную стенку с запада, должны были задние с северного края по очереди переходить вперёд на юг и становиться в ту же стенку. Прежде всех под защиту стенки должны были убираться обозы, потом 13-й корпус (да, бишь, он до сих пор не подошёл, вот незадача), а тем временем 15-й должен был держать фронт (свои седьмые боевые сутки), и все обломки 23-го корпуса – тоже. Потом, оставляя Полтавский и Черниговский полки в арьергарде, должен был перескользнуть налево и 15-й корпус. (Каким неповоротливым, каким неуклюже большим кажется корпус, когда ему надо отступать!...) А как только 15-й в отходе достигнет Орлау, своего первого победного поля, он снова займёт фронт, с поворотом уже на юго-запад, к Найденбургу, а остатки 23-го проскользнут по его тылам. А тем временем 13-й, весь завтрашний день отходя тылами (сорок вёрст за сутки), в свою очередь станет ещё левей их всех – и так отпустит их отойти за русскую границу.

В стороне, под елью, на широкой грубой крестьянской скамье без прислона, сидел командующий на виду у всех, но как бы в отдельном кабинете. Золотая шашка и планшет лежали рядом с ним на скамье, фуражка снята, и возвышенно-голый лоб он вытирал время от времени платком, хотя не могло быть ему жарко в продуваемой тени, где разлит был августовский холодок. К отчаянию своего штаба Самсонов несколько часов просидел вот так – с напряжённой шеей, движениями редкими, глазами малосмысленными, ответами приветливыми, как всегда, но односложными. То ли он обдумывал выход за всех. То ли уже и думать забыл, что ему подчинена целая армия. Двумя разлапистыми ладонями опершись по бокам в скамью, он и полчаса мог совсем неподвижно смотреть перед собою в землю. Он – не почивал, не отдыхал, не время проводил в ожидании новостей, – он думал и мучился, непосильную думу как камень валунный удерживал на подставленном темени, оттого и пот вытирал.

Чего мог он ждать? С той стороны, куда лицо его смотрело, с северо-востока, ожидал ли он увидеть густопылящие колонны Ключева? Или даже пики конницы Ренненкампа? Или ничего он не видел и не всматривался никуда, а только слушал, что совершалось в нём внутри, – глухая сдвижка пластов мироздания или уже гулкое рушенье их?

В ту сторону, как сидел он, опадал их холм в торфяной луг, а за ним, всего отсюда в версте, хорошо видная, приподнятая встречным склоном, шла слева направо дорога из Хохенштейна в Надрау. Целый день по той дороге редкое было движение, больше санитарное: дорога была несквозной и мало помогала 15-му корпусу. Но вот, много спустя после полудня, покатали из Хохенштейна густо телеги обоза, зарядные ящики, передки, ни одной пушки, всё беспорядочно, и тут же, вперемешку с ними, – разрозненная пехота.

Солнце светило штабным из-за спины, и хорошо виделось, что это – не только не строй, а уже и винтовки брошены или на ходу бросаются, и от снаряжения облегчаются, кто как может.

И вот это бегство Самсонов, в своей теневой неподвижности как будто не видящий ничего, заметил из первых. И быстро поднялся на крепких ногах и зычно скомандовал офицерам штаба – скакать, бежать наперерез, задержать и восстановить порядок!

И кто больше роптал на командующего, и кто меньше, кто полковник и кто капитан, захватив казаков или только необстрелянный штабной револьвер выхватывая, побежали непробитой травяной дорожкой с холма, потом между проволочной загородью скотьего выгона и каменной дамбою у болота – и опять наверх. Видно было, как они трясли револьверами, размахивали руками, на дороге спруживалось замешательство, задние ещё бросали снаряжение, а передние понуждались его поднимать. Заскакали туда и сюда связные, докладывая Самсонову: что это бегут в беспорядке из Хохенштейна Нарвский и Копорский полки, покинув артиллерийский дивизион на позициях, без прикрытия; что пулемётная команда тоже бежала; что недостойно вёл себя командир Копорского полка; что отступающие обезумели, настроены так, что всё пропало; но действиями штабных офицеров...

и – от командующего с приказаниями: вдоль дороги произвести разборку бегущих по их частям; об обстоятельствах бегства ещё допросить старших офицеров; кого можно – возвратить в Хохенштейн, а по батальону из провинившихся полков выстроить при полковых знамёнах.

Самсонов оживился, расхаживал туда и сюда, смотрел в бинокль, и мягкий прищур его над тёмным усом-бородым низом лица обещал спокойное руководство, мудрый выход: ничто ни для кого потеряно не было, и командующий всех спасёт! Наконец-то было обретено недоставное дело – то самое, может быть, для которого утром он и выехал сюда! День ото дня всё властней его влекло выйти самому на передний участок фронта – и вот прикатился к нему фронт, в зримой версте.

Уже и лошадь оседланная ждала командующего, но долга была разборка неурядицы, два батальона долго собирались, выстраивались перед Надрау, за это время ещё сотни шрапнелей разорвались над фронтом Мартоса и произошла вряд ли благоприятная передвижка частей, сдвинулось солнце из послеполуденного в предвечернее, – когда, наконец, можно было командующему ехать к строю виновных батальонов. Он без труда поднялся в седло и поехал уверенно.

И вот стояли два батальона в ожидании генеральского суда над собой, и полковое знамя каждого было развёрнуто на правом фланге. И конный командующий, с могучей фигурой, с превосходством божественным подъехал одушевить их к воинскому чуду. Большая плотная голова его была плотно приставлена к плотному телу. Голосом густым, без напряжения сильным, в чём-то родственным русскому колокольному звону, Самсонов загудел, разлил на всю долготу строя и окрест:

– Солдаты Нарвского полка, генерал-фельдмаршала Голицына! Солдаты Копорского полка, генерала Коновницына! **Стыдитесь !!** Вы присягали на верность своим знамёнам! Взгляните на них! Вспомните знаменитые битвы, за которые древки их увенчаны орлами! Георгиевскими крестами!

Горше не мог он упрекнуть! Не мог он их бранить и клясть – ведь это были благородные русские люди, и к их благородству взывал он.

Но мощный голос отдельно поплыл над головами – и с ним изошла из командующего сила его уверенности. Он только что хорошо знал, что ему говорить, как вызвать чудо поворота этих батальонов, и их полков, и всех центральных корпусов, – и вдруг оборвало ему память, он потерял, что говорить дальше, – а в смутности наплыл какой-то другой случай из его жизни, как будто это уже было когда-то: едва задержанный строй бежавших солдат перед ним, только ещё раздёрганной рубахи, винтовки, котелки, ещё перекошенной и запалённой лица – и тогда... Что тогда?

Полководческое слово должно удался, в этом военная история. В трудный миг сам полководец обращается к войскам, и они, воодушевлённые...

– Так верните же себе солдатское мужество! Так сохраните же верность знамёнам и славным именам, носимым...

Нет, слово – утеряно было, не находилось. Ну, ещё: **как** же они могли? как могли они так позорно...?

Полководческое слово ту особенность имеет, что оно призывает к действиям одноуказанным, что оно не терпит возражений от слушателей и не ожидает встречных сведений. Хотя и спрашивал Самсонов, **как**, но – не как плохо пришлось каждому стоящему здесь офицеру и нижнему чину.

А мог бы штабс-капитан Грохolec, даже и в позорном строю молодцеватый, с усами взвинченными, объяснить и ответить резким голосом с прифыркиванием: как совсем неплохо простояли они ночь в охранении по ту сторону Хохенштейна, а утром по приказу Мартоса ещё и ходили в атаку, помешали противнику загнуть охват на фланге 15-го корпуса; но потом попали под огонь батарей больше дюжины, под огонь, которого, может быть, сам командующий никогда не испытал, – в огневые клещи с трёх сторон, а своих батарей было только три и снарядов скудно; и так они отступили в город, и ещё держали его – но и патронов уже не хватало, и не шла обещанная помощь остального 13-го корпуса; а противник стал давить на Хохенштейн концентрически, с трёх сторон, от юго-запада и до востока, прорывалась немецкая конница их отрезать, а они всё стояли, и спасал их какой-то русский пулемёт с городской башни – да по наступающим немцам. И вот уже пыль ожидаемая поднялась с северо-востока, но то не Клюев шёл, а враг, – и лишь тогда батальон побежал...

Да и Козеко, моргавший в задней шеренге, мог бы жалобы свои командующему интимно наговорить: как не могло завершиться иначе, чем бегом убегать из Хохенштейна; как худо досталось, и как страшно представить себя окровавленным, разорванным или с проколом штыка через глаз; а исчезновением своим, хоть и в плен, перепугать светика-жёнущку; как уже навидались они трупов за эти дни, не радуясь и немецким, а свои сегодняшние не счесть. Сколько жертв? и зачем? и – оправдано ли?...

А рядовой Вьюшков, чуть одним глазом из-за чужой головы выглядывал: на то вы и поставлены, чтоб нам проповедывать; на то и голова у нас, чтоб знать самим.

А Наберкин на маленьких ножках: да уж больно шибко бьют, ваше высокопревосходительство! К такой ведь шибкости никто не привык.

А Крамчаткин в первой шеренге, прямо перед генералом, так и вытянулся в сто жил, так и голову запрокинул каменно, так и ел генерала глазами выпученными, радостными: что умел, то показывал, а другого смысла не содержал.

И этого достойного воина, с обещанием и верностью обращённого, не мог не заметить генерал – и силу зачерпнул в верности его.

– Я – **отрешаю** командира Копорского полка! Новый командир поведёт копорцев в бой – вот этот полковник, Жильцов! Я знаю его с японской кампании, он храбрый солдат. Идите смело за ним и будьте достойны...

На крупном коне крупный генерал – он хорошо сидел, он был как памятник. И поднял руку в сторону Хохенштейна. Запевала, по знаку, сокольным взлётом начал походную песню. Батальоны повернули и застыкались дорогой, обратной своему бегству. (А с Жильцова командующий взял слово, что тот не отступит без приказания). И Самсонов теперь тоже повернул к штабу.

Но... чего-то он не договорил. Он не остался доволен речью. Он, кажется, говаривал и лучше. Главное дело целого дня как будто не состоялось.

И Самсонов огрузнел, ослабел в седле. А поднявшись на холм и видя Мартоса, выезжающего из рощи, – всё такого же гибкого, а вот уже и усталого Мартоса, – командующий мгновенно созрел к согласию, которого утром дать не мог. Десять минут назад, подъяв полководческую руку, что указал он батальонам? Не отступление же, нет! А



вот в сероватой тени рощи, в загроже от закатного солнца встретил измученные красные глаза Мартоса – и сразу уже был согласен. Ещё не выслушав Мартоса, как сами потекли его полки, сами сдвинулись с места командные пункты, сами замолчали телефоны, какие ещё командиры из лучших убиты за эти часы, – уже был согласен. Батальонам бежавшим произнёс речь – и стал согласен с ними...

Величайшее решение его жизни было принято в единую минуту и как будто даже не потребовало душевного труда. Но когда и как это вступило и повернулось? Все движенья и расположенья, две недели имевшие такой настойчивый связный смысл на картах, – когда ж получили смысл обратный? Будто север стал югом, восток – западом, всё небо повернулось на вершинах сосен, – когда и как Самсонов проиграл сражение? Когда и как? – он не заметил.

А уже подносили ему разумный стройный план скользящего щита – и в нём тоже было круговращение, повторявшее вращенье неба.

И ища опоры в этом вращении, Самсонов положил тяжёлые доверчивые лапы на острые плечи своего теперь любимого командира корпуса, не оцененного в первые дни:

– Николай Николаич! По плану ваш корпус завтра станет у Найденбурга. Там будет решаться всё. И Кондратович должен быть где-то там. И Кексгольмский где-то полк. Вы распоряженья по корпусу отдайте, да поезжайте-ка сами вперёд – на разведку и выбрать позиции для самой упорной защиты города.

Это было высшее доверие командующего: опять на Мартоса ложился главный камень.

Но Мартос – не понял: его отрешали от корпуса?? За что же – от корпуса? За что же – без корпуса? Только от права – назначить, послать?... Да командующий сам понимал ли, что делал?!

– И – поспешите, голубчик. Завтра там будет решаться всё. И мы тоже поедem туда.

Найденбург, покинутый утром как бремя, теперь представлялся ключом вызволения.

Добрим движением в напутствие целовал Самсонов Мартоса. И ломал.

И что бурлило в Мартосе эти дни – вдруг иссякло. Из прута стального он стал тростинкой. Сказано – и покидал свой корпус, и ехал, куда велят.

А уже смеркалось. Разослали приказ. (В 1-й корпус – капитана: наступать немедленно на Найденбург. А 6-му, что ж, 6-му удерживаться... во что бы то... А непришедший 13-й? Теперь становился от Мартоса независим). Вот готовы были и штабные. Убеждали они командующего ехать в Янув. Самсонов: только к Найденбургу.

Сегодня утром невыносимый, сейчас манил этот город, хотя б и погибнуть у его стен.

Тогда натеснились штабные, что сегодняшняя утренняя дорога уже кружна недостаточно, надо ехать ещё кружней.

Захлопал противник шрапнелями почти над головою штаба, огнистые вспышки уже хорошо виднелись в полутьме. И в Надрау, куда ехать было неминуче, зажгёт фугасами два дома. В Надрау застучали пулемёты – кто? по ком? – расколыханная сумятица несчастного дня. При пожарах, видно было перебеганье. Или убеганье?...

Потом стихла стрельба. Никем не тушимые, играли зарева. Днём незаметные, завыли собаки.

День Успения кончился, и вопреки непонятому сну – жив был Самсонов, не умер.

Жив был генерал Самсонов, но не армия его.

## 40

В трёхлетней войне, надорвавшей народный дух, кто возьмётся указать решающее сражение? Бесчисленно было их, больше бесславных, чем прославленных, глотавших наши силы и веру в себя, безотрадно и бесполезно забиравших у нас самых смелых и крепких, оставляя разбором пожиже. И всё-таки можно заявить, что первое русское поражение в Восточной Пруссии как бы продолжило череду невыносимых поражений от Японии и задало тот же тон войне начинающейся: как начали первое сражение, не собравши разумно сил, так

и никогда впоследствии не успевали их собрать; как усвоили впервые, так и потом бросали необученных без отдышки, сразу по подвозу, затыкали, где прорвало и текло, и всё дергались вернуть утерянное, не соображая смысла, не считая жертв; от первого раза был подавлен наш дух, уже не набравший прежней самоуверенности; от первого ж раза скислились и противники, и союзники – каковы мы вояки, и с печатью этого презрения провоевали мы до развала; от первого ж раза и в нас заронилось: да те ль у нас генералы? справны ли?

Не позволяя себе ни взмаха выдумки, коль можно точно собрать и узнать, держась к историкам ближе, а от романистов подальше, разведём руками и заверим единожды тут: так худо сплошь мы б не осмелились придумывать, для правдоподобия распределяли бы в меру свет и тень. Но с первого же сражения мелькают русские генеральские знаки как метки непригодности, и чем выше, тем безнадёжней, и почти что не на ком остановить благодарного взгляда, как на Мартосе. (И тут бы утешиться нам толстовским убеждением, что не генералы ведут войска, не капитаны ведут корабли и роты, не президенты и лидеры правят государствами и партиями, – да слишком много раз показал нам XX век, что именно они). Какому же романисту можно бы поверить, что корпусной генерал Клюев, поведший центральный корпус глубже всего в Пруссию, никогда прежде того не воевал?! Нет оснований предположить, что Клюев был глуп, отчего ж, не без умения, не без ловкости: зряшную опоздавшую гоньбу своей дивизии к Орлау сумел в донесениях так изобразить, что в докладе Верховному и даже императору был представлен победителем под Орлау не Мартос, а он: это он, угрожая охватить фланг противника, заставил того отойти; и в мемуарах из плена подточил, подвязал, подплёл всё так, что виноваты все кругом, а не Клюев. И нет у нас прямых сведений, что Клюев был дрянной человек, а по опыту многих других примеров не сомневаемся, что нашлись бы обеляющие искренние свидетельства, что он был хороший семьянин и любил детей (особенно своих), и был застольный приятный собеседник и может быть шутник. Но: никакими добродетелями не загородится, не оправдается тот, кто взялся вести судьбы тысяч – и худо вёл их. Пожалеем солдата-новичка под первыми пулями и разрывами в захвате злой войны, а генерала-новичка, как бы ни было муторно ему и тошно, – не пожалеем, не оправдаем.

Вот действия генерала Клюева. Почти весь день 14-го пробыв своим корпусом в Алленштейне, на самом дальнем выступе самсоновской армии, он не пытается на местности разведать, есть ли противник: от него справа, впереди, слева, где и сколько, – но просит штаб армии сообщить ему это всё из Найденбурга. Шифрованную искровку от Благовещенского его штаб расшифровать не сумел. Уверенный, что с востока не может к нему идти никто, кроме Благовещенского, Клюев послал туда лётчика с открытой ориентировкой, что 15-го выступит на запад к Хохенштейну. Лётчик летит доверчиво низко над немецкой колонной, сбит, – и ещё 14-го фон-Белов узнаёт о намерениях Клюева. Однако в Алленштейне так хорошо, удобно расположились, войны нет, – и в ночь на 15-е Клюев отказывается от прямого приказа двигаться на помощь Мартосу – потому ли, что жалеет своих солдат? нет, своего покоя нарушать не хочет и лишнего риску от ночного движения. Не выступает он и на раннем летнем рассвете, как обещал Мартосу, – но лишь в 10 часов утра 15-го августа. Покидая Алленштейн, он объявляет об этом открытую радиogramму, сообщая чужим заодно со своими маршрут, рубежи и сроки своего движения на помощь Мартосу. У Клюева осталось шесть полков, он щедро раскидывается ими. Охранять Алленштейн “до Благовещенского” он оставляет (на погибель) две тысячи – батальон дорогобужцев и батальон можайцев. Вытянув корпусную колонну на юго-запад по шоссе на Хохенштейн, он скоро покидает в смертном арьергарде и остальной Дорогобужский полк, обнаружив за собой преследование почему-то. (А – по клюевской же радиogramме, перехваченной немцами в 8 утра. Поспешили немцы бросить преследователей в спину Клюеву, никак не привыкая, что русские всегда опаздывают, и где Клюев грозит быть в полдень, он дотянется только к вечеру). Когда с grisлиненских высот открывается Клюеву Хохенштейн – тот самый узел и город, который и должно удержать в помощь Мартосу и где уже томятся

его собственный Нарвский и Копорский полки, – Клюев останавливается **ждать**. Ждёт ли он, чтобы подтянулась вся колонна? Колеблется ли, как верно истолковать, кто же именно там, в Хохенштейне, за четыре версты? (А нарвцы и копорцы из городской котловины принимают собственный корпус на высотах за густеющих немцев). Разворачивается и новый (немецкий) отряд между ним и Хохенштейном – Клюев не препятствует. Ждёт он более ясных событий? Или нового приказа?

Единственное, в чём распоряжается он: посылает свой головной Невский полк – в сторону, в целодневный ненужный бой в густом лесу Каммервальде. И неугодный Первушин ведёт туда полк, не получив артиллерии, лишь с пулемётной ротой. Ведёт своих невцев на тот особенный лесной бой, когда ни вперёд, ни по сторонам не видно дальше двадцати шагов, нельзя понять, откуда несутся пули, когда выстрелы особенно громки и зловещи, по верхушкам леса идёт ураганный треск от шрапнели, пули с шумом расщепливают деревья и кажутся разрывными, а рикошеты – новыми выстрелами; когда ранят и отщепки деревьев и сами падающие стволы; когда свои стреляют через головы своих и гибнут от собственных пуль, теряют голову даже храбрые солдаты и всё сбивается в кучу. И в этом бою Невский полк час за часом теснил подбывающих до дивизии немцев (и штаб дивизии разогнал, оставив генерала при восьми солдатах), пробился несколько вёрст лесной густоты – к сумеркам на западную опушку, победителем. Но вся победа была не нужна, и не нужен лес, и командовано ему уйти.

Ещё утром марш 13-го корпуса можно было понимать как вектор наступления. Но в полудневном топтаньи на grisлиненских высотах корпус без выстрелов, без действий, незаметно, в никакую минуту, обращался в кучу рухляди. На помощь ли близкому Мартосу (от него приехал офицер и звал), или хотя бы себя спасти, не тратя часу – на юг, пока свободны межозёрные проходы, – но надо было **двигаться**! А Клюев промялся в нерешительности весь успенский день до вечера – и там же встретил ночь.

За время этого топтанья – нарвцы и копорцы бросили немцам Хохенштейн и побежали на юг. За время этого топтанья были накрыты, посечены конницей и расстреляны в Алленштейне два покинутых арьергардных батальона (стреляли и жители из окон, и пулемёт из “дома умалишённых, просят не беспокоить”). Разумно посланные утром на отход тылами, обозы корпуса были за это время захвачены, а прикрытие перебито. Обеспечивая никчемное перемирие корпуса, перемолачивался Невский полк в лесном бою. А более всего обеспечил безопасность – не отхода, не спасенья, но топтанья клюевского – в десяти верстах за его спиной покинутый арьергардный Дорогобужский полк.

Дорогобужскому полку тремя неполными батальонами выпало вести арьергардные бои недолго после выхода из Алленштейна. Ни рубежей, ни сроков не указал штаб корпуса полковнику Кабанову, а: вести арьергардные бои, пока не снимут. Очень вероятно, что полковник Кабанов имел весьма холодное суждение о генерал-лейтенанте Клюеве, о его распоряжениях и планах, но это не могло оказывать никакого влияния на солдатский долг Кабанова сегодня. Его было дело одно: судить, где и как лучше и дольше задержать наседающего противника. И – задержать.

Мы, в повседневной жизни всегда руководствуясь соображениями своей сохранности, оставляем в стороне эту загадку профессиональных военных и других людей долга (как будто не из нас же получаются такие люди при твёрдом воспитании): как неуклонно они переходят в неестественную готовность умереть и в самую смерть, такую преждевременную и постороннюю им по планам их жизни? Как это: человеческое существо перестаёт отвергать смерть? Всегда во всякой армии есть эти удивительные офицеры, в ком сгущается вся высшая возможная стойкость мужского духа.

Но в такие минуты, как в Успенский день – Кабанову, уже не это сомнение и решение очевидно представляется главным (если ты военный по профессии, тебе и умереть по профессии, рано или поздно). Очевидно, свою собственную жизнь Кабанов без колебания тут же бы и отдал, если бы этим мог задержать врага. Но – всех солдат своих ему надо было для того, и мало ещё, потому что противника шла внагон дивизия. И если посетили сомненья

Кабанова, то могли быть только такие: ему доверенным, его родным полком – жертвовать ли для спасения главных сил корпуса? или стараться самый этот полк спасти? Тяжесть в том, что командиру полка надо принять роль рока для своего полка: это он должен был вынести полку смерть. Артиллерии Кабанову не оставили. Патронные двуколки исчезли, не дойдя до этого места. Патронов так не хватало, что из четырёх пулемётов можно было действовать лишь одним. Скоро и для винтовок должно было их не хватить. На четырнадцатом году Двадцатого века оставался дорогобужцам против немецкой артиллерии – русский штык. Полку, очевидно, предстояло погибнуть, и этот приговор каждому дорогобужцу ложился на совесть командира полка – но так, чтоб не обременить ясности его решений: где выбрать рубеж, где поставить засады для штыковых атак накоротке, как дорожке себя отдать и больше выиграть времени.

Такой рубеж Кабанов выбрал у Деретена, где и высоты стояли благоприятно, один фланг замыкало большое озеро, другой – небольшие озёра цепочкой. Там дорогобужцы стали и держались всю солнечную вторую половину дня и светлый вечер. Там кончились у них и все патроны, там трижды всем полком ходили они и в штыковые контратаки, убит был, в пятьдесят три года, и полковник Кабанов, и в ротах осталось менее одного солдата из двадцати.

И это чудо – ещё большее, чем стойкость офицеров: что солдаты, наполовину запасные, месяц назад пришедшие на призывные пункты в лаптях, ещё со свежим ощущением своей деревни, своего поля, своих помыслов, своей семьи, напротив, ничего не понимая, не зная во всей европейской политике, и этой войне, и этом армейском сражении, в задачах корпуса, даже по номеру им не известного, – не разбежались, не схитрили, не уклонились, но силой неведомой перешли ту грань, до которой любишь себя и родных, и надо сохраниться, – перешли, и уже себе не принадлежа, а только долгу жестокому, три раза поднимались и шли на огонь с беззвучными штыками. Переставьте этот полк вместо Нарвского в пустой богатый Хохенштейн – и так же, очевидно, они бы там добыничали и пировали (да за неделю до того в Вилленберге они уже пили и лили спирт). Перенесите нарвцев на место дорогобужцев на этот неумолимый рубеж (но, с Толстым не смерясь, дайте им Кабанова и его батальонных командиров) – и взойдут они на то возвышение, где простых мужичков мы начинаем понимать богатырями.

Отрезано: такие ж как мы, другие – уходят, уйдут, вернутся домой, а мы – не должники их, не родственники, не кровные братья, останемся умереть, чтоб они жили после нас.

Что в тот день передумали обречённые, взглядывая в небо голубое, а чужое, на чужие озёра и чужие леса? – то там осталось, погребено в русских братских могилах, которые, при немцах, и до второй войны ещё сохранялись под Деретеном.

Как он выглядел, полковник Кабанов? По неизвестности подвига или трудности доставки нигде не была напечатана его фотография, а тем более – ни одного из нижних чинов, которых вовсе было не принято изображать в газетах, журналах, да и неохватно по их численности, лишь тогда уместной, когда надо стоять насмерть. Чохом на всех отпустила пресса “серых героев” – и рассчитались. Фотографий – нет, и тем горше жаль, что с тех пор сменился состав нашей нации, сменились лица, и уже тех бород доверчивых, тех дружелюбных глаз, тех неторопливых, несебялюбивых выражений уже никогда не найдёт объектив.

Никто не прислал сказать, что задача полка выполнена, можно отойти. Дорогобужский полк погиб, немногие вышли. Десять солдат понесли своего убитого полковника и знамя. Достоверно известно, что атаковавшие от Алленштейна немцы так и не продвинулись до глубокой ночи, до законного сна.

Сколько бы Клюев ещё стоял, но близ полуночи прорвался на копытах приказ из армии:

“Для лучшего сосредоточения частей армии и снабжения всеми видами довольствия, 13-му корпусу в течении ночи отойти в район..., воспользовавшись проходом между

озёрами...” (и назывался проход, накануне упущенный, а сегодня никак уже было туда не повернуть).

Слава Богу, ничего не поминалось обо всех боевых задачах вчерашнего и прежних дней. Рука Постовского, как добропорядочно: будто течёт счастливое мирное время, и вот для лучшего продовольствования удобно 13-му корпусу перепрыгнуть за ночь за двадцать вёрст через семь озёр в крохотную деревню из десятка домов – и там всё найдётся.

А продовольствоваться было нелишне: за минувший день, выйдя из Алленштейна, корпус ничего не ел.

Спасаться! Пришло время спасаться, и вот приказ давал право спасаться, это Клюев понял хорошо.

И – случайными дорогами, другими проходами, где и впритирку к противнику, повалил беззвучно корпус.

Уже не корпус, а три полка из восьми: истрачены были все остальные. Каширский полк с 16 орудиями оставлял Клюев под Хохенштейном ещё на один арьергардный бой, ещё один полк на уничтожение. Невский полк теперь должен был бросить свою победную позицию и ломиться ночью назад через лес, завоёванный днём. А сапёрную роту штаб корпуса просто забыл. Предстояло ей, проснувшись, увидеть, что она одна, куда идти – не сказано, кругом враг, – а после этого уже не многое увидеть.

\*\*\*

Ты заржи, мой конь,  
Громким голосом,  
Услыхал бы мой  
Родный батюшка,  
Сказал бы он моей  
Родной матушке;  
Сходила бы она  
На сине море,  
Достала бы она  
Со дна морской песок,  
Посеяла бы в зелёном саду  
На кирпичике;  
И когда тот морской  
Песок взойдёт,  
Тогда родный её сын  
Домой воротится.

41

(15 августа)

**Генерал-квартирмейстер Верховного главнокомандующего генерал Ю. Данилов, по посту – третье лицо в российской армии, а по участию в руководстве – первое, все последние дни трудолюбиво разрабатывал важные вопросы: составлял проект немедленного обращения завоёванной Восточной Пруссии в отдельное генерал-губернаторство (и генерал-губернатором предназначался многоизвестный генерал Курлов, о нём речь впереди); скорейшего окончания военных действий в ней и переброски освободившейся армии Ренненкампа – за Вислу, для операции в сторону Берлина. Для этого Данилов просил Северо-Западный фронт уже сейчас озаботиться переброской одного корпуса от Ренненкампа к Варшаве.**

Начальник штаба фронта Орановский не мог этому противостоять возразительно, ибо всякое возражение снизу вверх всегда подрывает положение и успешность возражающего, и уже отдавал распоряжения о возврате того корпуса к железной дороге. (Ренненкампф, неверно истолковав ночной приказ идти отчасти и на помощь к Самсонову, углубит в Пруссию этот корпус и получит серьёзный упрёк за такой служебный проступок). Не смел Орановский сколько-нибудь настойчиво доложить наверх и о тревоге, начинавшей поселяться в штабе Северо-Западного. Доложено было о некотором потеснении 1-го корпуса под Сольдау в недостаточном порядке, о внезапном появлении перед Второй армией корпусов Франсуа и Макензена, которые исчезли перед фронтом Ренненкампфа, – но Ставка ничем этим озабочена не была, и в ночь с 15-го на 16-е в длительном аппаратном разговоре Данилов добивался от Орановского, по своему ещё новому проекту, скорейшей переброски гвардии из-под Варшавы на австрийский фронт, а о Самсонове заметил беспечно, что у него – до пяти корпусов, обойдётся.

Беспокойство этого дня Жилинский и Орановский издёргали бы на Самсонове, но к досаде их, а отчасти и к облегчению (теперь будет сам во всём виноват), Самсонов снял проводную связь. На том они и успокоились. Штаб фронта имел и конницу, и автомобили, и летательные аппараты – но не сделал никаких попыток найти утерянные корпуса, ни – взять в свои руки корпус Благовещенского и бывший артамоновский и толкать их на помощь ядру Второй армии: то было бы для штаба фронта слишком хлопотно, да и унижительно, по службе они не обязаны были.

Тем временем правофланговый корпус Благовещенского жил отдельной жизнью, как если бы не составлял никакого фланга никакой армии и не был перед ней ответственен. Самопроизвольно, неостановимо он откатился почти к русской границе, и вот уже никому более не мешал, никого не трогал, вышел пока из войны. Генералу Благовещенскому, счастливо не отрешённому от корпуса на сутки раньше Артамонова (а всё – благодаря задержке и умелому составлению донесений!), – после этого страха 13 августа, внезапного столкновения с германцами, о чём не предупредило его высшее командование, после страха попасть в плен в Бишофсбурге или быть убиту под Менсгутом, после нескольких кошмарных отступлений 14-го августа и даже 15-го на рассвете, когда волна ужаса подхватывала и несла весь корпус, – потребно было время для излечения нервов, а тем более в 60 лет: пожить без раздражительных приказов извне и самому не тратиться на их создание. Слава Богу, никем уже не преследуемый и оторванный от телеграфов и телефонов, Благовещенский и сам имел время очнуться и дать очнуться корпусу. Он не велел держаться и за Ортельсбург, узел шоссейных и железных дорог, а обтечь его в пожаре, отдать его без боя – и отходить далее, в сторону от дорог, в места глухие.

Как хотел Благовещенский, чтоб не вернулись его драгуны, ночью посланные с донесением к Самсонову! – не то, чтоб их убили, нет, но чтоб задержали при штабе армии, присоединили к какой-нибудь другой части. Пусть бы и вернулись они с приказом, но не сегодня, а завтра, послезавтра, дали бы переспать и духом укрепиться в покойном уголке. Увы, напрасны надежды! – неутомимые драгуны пробрались по чужой земле полсотни вёрст назад и 15 августа в полдень привезли собственноручные крупноразмашистые строчки командующего: “Удерживайтесь во что бы то ни стало в районе Ортельсбурга. От стойкости вашего корпуса зависит...”

Эк, куда! – тут уже от Ортельсбурга 20 вёрст!... Благовещенский с глубокой горечью прочёл, перечёл, ещё перечёл неисполнимый приказ. Он вызвал штабных и обстоятельно обсудил с ними, по каким причинам совершенно невозможно выполнить этот неприятный приказ.

И решился Благовещенский во здравие вверенного ему корпуса (и к облегчению многих подчинённых) исправить распоряжение командующего армией: всем корпусом никуда не двигаться не только сегодня, но и на завтра объявить днёвку. И кто только

должен был силы положить, это сам Благовещенский: составить пристойное, убедительное донесение, почему был брошен Ортельсбург и иначе быть не могло: “...Подходя к Ортельсбургу, обнаружили, что весь город горит, зажжённый жителями. Конечно, это была подстроенная ловушка. Оставаться на высотах я признал невозможным и отозвал корпус к югу”. А ещё добавить: “Люди утомлены, ходатайствую дать отдых”. И ещё умение: не отсылать бумаги (на конях до русского города, а там телеграфом) тотчас, а выждать следующего утра, когда днёвка уже начнётся, тогда и послать.

Что же до левофлангового русского 1-го корпуса, где Артамонов был смещён, но властно присутствовал, Масальский, оглядываясь на него, перенимал командование на сутки, а Душкевич лишь теперь догонял и принимал, – корпус этот, без единой воли, угнетённый своим отступлением, тоже без преследования втягивался в инерцию безопасного отката – за русскую границу, к Млаве. Русская граница – хотя не крепостная линия, не линия окопов, лишь условная черта на земле, – как будто оберегала от немцев, успокаивала. Знали в корпусе, что Найденбург уже у немцев. Но вся дюжина генералов, преизбывавшая тут, не имея неуклонного приказа действовать решительно – действовать решительно не могла.

Так в день 15 августа с русской стороны было сделано всё, что требовалось для торжества противника, для танненбергского реванша. И только назначенные в жертву центральные корпуса не вели себя покорно. Кексгольмский полк, лишь в середине дня впервые достигший передовой, к вечеру потерял уже больше половины состава. Бой под Ваплицем сорвал “узкий” план окружения под Хохенштейном. Все бои этого дня в центре либо были выиграны русскими, либо не были выиграны германцами. Но в карусели боёв так оборачивается лицо войны, что выигранное отличными полками тут же разматывается в прах негодными корпусами и армиями. С каждым боем, тактически выигранным в центре, русские всё больше проигрывали этот день, всё больше ссылались в погибель.

Однако с немецкой стороны не так ясно ещё это было видно. Кровавопролитные наступления корпуса Шольца шли в каких-то нелепых неудачах, когда не сходится то, что сойтись обязано. То и дело свои повернувшие эскадроны принимались своею пехотой за русскую конницу и тяжело обстреливались, даже до рассеяния. Своя артиллерия обстреливала свою пехоту. Попадали под внезапный фланговый обстрел русских и отбрасывались. Бившись день, почти не продвигались. Из-за утренней неудачи под Ваплицем потеряли темп почти всех частей. Одну из шольцевых дивизий потеряли в утреннем тумане и несколько часов не могли найти. А в лесу Каммервальде была растрёпана Невским полком другая германская дивизия и штаб её. И даже сами Гинденбург и Людендорф в своём автомобиле в этот день попали под Мюленом в скоротечную панику, возникшую... от русских пленных: неслись санитарные роты и артиллерийские парки с криками “русские идут!”. Весь день проопасались соединения Клюева с Мартосом. Генералу Франсуа не велели окружать, но идти на выручку в центр. А корпусные фон-Бёлов и Макензен весь день провели в споре, кому идти на Хохенштейн, а кому на юг. Макензен, как старший по чину, приказал Белову очистить дорогу для своего корпуса. Белов не подчинился. Послали авиатора в штаб армии на разрешение спора. Тогда Макензен вообще перестал куда-либо двигаться и объявил своему корпусу днёвку. Лишь к четырём часам пополудни нашёл Гинденбург телефонный путь к Макензену и приказал ему двигаться на юг, на окружение. Но часу не прошло от этого телефонного звонка, как пришлось отказываться от идеи окружения и поворачивать и Макензена, и Белова – против Ренненкампфа: дошли сведения (ложные), что три корпуса Ренненкампфа и конница движутся на запад. А германские корпуса были все в разбросе и повернуты спинами к новой опасности. (“Ренненкампфу стоило только приблизиться, и мы были бы побиты”, – пишет Людендорф).

На самом же деле на этот день главный приказ Ренненкампфу от Жилинского был: приступить к обложению-наблюдению Кенигсберга. Но в ночь на 15-е, посещённые всё же тревогой о непонятности на самсоновском фронте и появлении там новых германских корпусов, Жилинский-Орановский дали Ренненкампфу телеграмму: идти левым флангом в сторону Самсонова и выдвинуть кавалерию. Уважая сон генерала Ренненкампфа, эту телеграмму доложили ему только в шесть утра. Он разослал приказания, однако главные силы конницы (Хан Нахичеванский) сумели шевельнуться лишь к вечеру 15-го; генерал Гурко был ближе к сражению, но и он не прикоснулся к нему: его глубокий, но поздний рейд к Алленштейну только доказал, как легко Ренненкампф перед тем мог вмешаться и переменить всю битву.

А тем временем в штабе Прусской армии уже пересоставлялся приказ на 16-е августа. Об этом приказе Людендорф не вспоминает в мемуарах, а между тем, считает Головин, приказ этот был отлично сработан, по всей науке: наименьшими возможными перемещениями корпусов Макензена и Белова создавался новый фронт против Ренненкампфа, а корпуса Франсуа и Шольца, преследуя и огибая Самсонова, одновременно заводили невод, полумешок, и на подходящего Ренненкампфа. Но в приказе уже не было окружения самсоновской армии.

Вечером этого дня прусское командование, хороня мечту о Каннах, доносило в Ставку: “Сражение выиграно, преследование завтра возобновляется. Окружение северных корпусов, возможно, более не удастся”.

В решении Гинденбурга-Людендорфа содержалась верная победа средних людей. Лишь не было блеска интуиции.

Эта интуиция светилась у своевольного Франсуа, вероятно, не ведавшего о совете Льва Толстого, что “бессмысленно становиться на дороге людей, всю свою энергию направивших на бегство”. И сверх приказа гнал и гнал Франсуа своих уланов, самокатчиков и блиндированные автомобили через Найденбург – и дальше на восток, к Вилленбергу!

Да строптивый Макензен, чертея от смены армейских приказов, обиженный, как решён его спор с Беловым, снял связь якобы перед последним приказом и, уже недоступный изменениям и поворотам, повалил на юг – к Вилленбергу же!

Не забудем и бесперебойные германские интендантства, при которых, во всех перепрыгах, германские части не терпели недостатка ни в чём: всегда сыты, снабжены и вооружены.

## 42

Обходить Москву, прощаясь, – непосильная задача, даже и для молодых неутомимых ног, даже если только по главным местам. С каждого перекрестка – три-четыре пути, за каждой неизбранной улицей – свой потерянный обход. С утра побывали в канцелярии Александровского училища, где назначили им ещё к вечеру, потом последний раз в Университете, и на том дела кончились, всё остальное – прощальное, ненаправленное, для сердца только. И москвичи-то ненастоящие, приезжие, а как защемило, закружило – Москва-а-а, бросать не хочется, покидать больно. На просторных площадках у Храма Спасителя и всеми заведено здороваться-прощаться с Москвой. А оттуда только вдоль набережной сразу видишь два и три десятка конических вершин – домовых наверший, колоколен, кремлёвских башен. И-и потянули сами ноги по набережным, а набережные во сто шагов ширины, и что видно от домов и что видно от парапета – это разное. Приглашают мосты направо, там Третьяковка, да ведь времени нет, да хоть бы руками дотронуться до узорочной стенки, похлопать, погладить. Тогда через Кремль! – уж это единственная прогулка, уж такой нигде, а за делами вечно некогда, минуешь – но сегодня-то!... Кремль – город в городе, и Китай-город – в городе город, и Варварка, Ильинка, Никольская, плотно насыщенные резными и лепными домами, на каждом изломе – церквями, сегодня



переполненными по Успеньеву дню, и по два монастыря ещё на каждой, зовут, обещают, кто боярские палаты, кто купецкую торговую тесноту. Знаешь, а может и хорошо, что никогда ни по какому плану Москва не строилась? городил каждый, как смыслил, и всякий уголок непохож на другой, и в этом она, Москва? Нам бы ещё и на бульвары, нам бы ещё и на пруды, нам пройти поклониться мимо Художественного, а в Охотном ряду по дороге брюхо набить, а потом бы по всем, по всем арбатским переулкам, – да когда же, слушай? ведь на Знаменку опять – за бумагами. А как у Пушкина не побывать на Страстной? На трамвай садиться? – это не мы, так не прощаются со студенческим прошлым. Уже – прошлым? уже мы не вернёмся? Нет, мы вернёмся! (Кто-то не вернётся, но неужели – мы?...) А будем ли ученье кончать? Непременно будем, а как же!...

Что за чудо быть студентом в России! – кажется: все тобой любуются, все к тебе приветливы, открыты тебе все пути жизни!

Но – уходило... Последний день.

Оставались милые камни, оставались! И легки под подошвами уходящих становились тротуары и мостовые, как если б не во всю силу тяжести ступала на них нога. Саня и Котя, так недавно вышедшие на первую московскую вокзальную площадь робкими южными парубками, за два года узнали Москву, полюбили, а вот уже в чём-то и превзошли её – и в этом своём превосходстве над ней особенно великодушно любили её сегодня.

Но был и ещё оттенок в сегодняшнем обозрении Москвы: что как-то не очень она почувствовала войну, не ждала в ней рока. Если не знать о войне и не прищуриваться близко к объявлениям, кое-где расклеенным, не заметить команду из запасного полка, прошагавшую в баню, так пожалуй и не догадаешься вообще, что Россия уже четыре недели воюет: публики и экипажей с московских улиц несколько не отбыло, не потемнели ни лица, ни цвета одежд, так же весело пошумливали и красилась витринами торговля, разве только добавилось на улице военных, да кое-где флагов и портретов царя, не снятых после его недавнего пышного приезда в Москву. И все эти наблюдения Котя и Саня тоже живо сообщали друг другу, и только шевеленье последнего вывода, растущего отсюда сомнения, бороздящего в каждом из них, они не высказывали вслух: а – не поторопились они опрометчивой волей исключить себя из этой наполненной неопечаленной жизни? Естественно уходить в Действующую армию из Москвы рыдающей, траурной, гневной, а из такой живой и весёлой не поторопились ли? Но пока это сомнение шевелилось неуверенно и немо в глубине груди, оно ещё не существовало. Вот если вслух произнести, то дать ему рост и сделать больно другому из них, кто по благородству так не подумал. Особенно Котя не мог этого произнести, потому что вышел бы упрёк Сане: зачем он приехал к нему в Ростов? зачем задал вопрос, не пойти ли добровольцами? – ведь первый задал он. Другое дело, что Котя на лету подхватил: правильно, идём! До приезда Сани, он, честно говоря, не думал так, но тут во мгновенье осенило его, что – правильно, конечно надо идти, идём, мама будет решительно против, а всё равно идём! (Так решительно против, что было подряд двенадцатичасовое слезоговорение и нервоистязание, и крепкую мощную маму Котя оставил в упадке бесчувствия). И ещё сегодня утром в канцелярии военного училища не поздно было отступить (но невозможно друг перед другом!), а сейчас уже поздно, поздно.

И друзья только беззаботней обычного делились мыслями – всеми остальными, и смеялись.

Второй раз в канцелярии им дали отправные бумаги в Сергиевское училище тяжёлой артиллерии, как и хотели они, и назначили, в котором часу завтра утром явиться, что с собой иметь, чего не иметь, – и уже перезывался вечерний колокольный звон, когда от mnogой ходьбы с приятным зудом ног они пошли через Арбатскую площадь к Никитскому бульвару. Между островками зоологического магазина Бланка, заповедника всех мальчишек, и церкви Бориса и Глеба, по проезду, где двоим пьяным в обнимку, удивительным образом пронизывался трамвайчик, разворачиваясь на Воздвиженку, и своё предупредительное позванивание вплетал в верховой разливистый звон колоколов, в цокот извозчичьих подков, в тяжелоступ и колёсное громоухание ломовых по булыжнику, в крики газетчиков, зазывы от

лотков, в общий слитный гул Арбата. Тут: “эй, сторонись!” – гордо кричал на пешехода извозчик, там “но, пошла!” – хлестали лошадь, зацепившую колесом за тумбу.

Молодые люди стали вечером чутче к налетающим, ударяющим запахам – то кондитерскому, то кухмистерскому, то свежепечёного хлеба, и рассчитывали теперь в трактире где-нибудь поесть, а потом ещё кружить пешком.

На Никитском бульваре перед собой увидели они в ту же сторону идущего высокого узкого человека с седым затылком, с книгами под мышкой, не вложенными ни во что, а так, врассыпную. Едва увидели – сразу узнали, они привыкли и со спины часами видеть его: это был их знакомец по Румянцевской библиотеке. И Костя, тыча в бок Исаакию, объявил:

– Смотри, Звездочёт!

Саня с досадой удержал его: не знал Котя пределов своему голосу, никогда не умел говорить тихо, Звездочёт мог бы услышать и обернуться, очень неудобно. Не то чтоб знакомец, они никогда не познакомились и не разговаривали, а один раз в читальном зале укоризненно посмотрел в их сторону, когда они громко шептались, они смолкли; в другой раз по коридору вот так же он нёс под мышкой десяток книг и рассыпал их, а мальчики случились тут и, подскочив с двух сторон, подобрали; и хотя по-прежнему остались, собственно, незнакомы, но уже как бы и знакомы: не полностью здоровались, а всё же приклоняли головы при встрече, в пол-улыбки. А со стороны частенько видели его за столом. Чем-то выделялся Звездочёт и среди весьма важной, умственной библиотечной публики Румянцевского музея: то ли темно-блестящими глазами в пещерных впадинах, отчего постоянно глубоко серьёзно было его лицо; то ли ужатостью с боков, ужатостью и головы и всей фигуры; то ли особой манерой задумываться: длинные руки локтями в стол упереть, шалашиком свести, пальцы впереплёт, и чуть-чуть вода по ним крайними волосами бороды, упорно глядеть поверх голов на верхние полки и под хоры. В такую-то минуту Котя и назвал его Звездочётом, а чем он на самом деле занимался – понятия они не имели, первым заговорить неудобно. А сейчас:

– Подойдём? – высказали разом.

Прощальная свобода несла их выше Москвы. Невозможно было ничего потерять, только приобрести! И, оба с одного боку обогнав, один через другого глядя, и интонацией исправляя невежливость обратиться без имени:

– Здравствуйте!...

– Здравствуйте!...

Старик не вздрогнул. Он перевёл на юношей свой углублённый взгляд, посмотрел, не столько и с высоты, это от ужатости он таким высоким казался, и признал:

– А-а, молодые люди! Очень рад. – Под калачом левой руки подправив книги, свободную правую протянул им. Кисть из-под рукава выходила тонка, а сама ладонь была разлаписта, как у мастерового. – Варсонофьев.

Назвались и они. Стояли перед ним в светлых льняных рубахах с узкими поясами, в студенческих фуражках, но тут же Котя потрепал свою и громко объявил:

– Всё! Последний денёк! Завтра в армию уходим. Добровольно!

Это не хвастовство у него было, а всегда так: пело внутри и пело вслух, широкое скуластое лицо сияло торжеством, и руки сами разбрасывались показать широту жизни.

И Павел Иванович Варсонофьев дал немного раздвинуться кругло подстриженной крепкой щётке седоватой бороды и седоватым, косо растущим крепким усам. Это была очевидно улыбка, хотя губ не видно почти:

– Вот как? – Посмотрел внимательней на одного, на другого. – Хм-м-м. – Его голос, тоже из пещерной глубины, с гулком выходил. Ещё присматривался. – И вы не боитесь, что коллеги вас обзовут патриотами?

– Так-кы... – подыскивал Саня оправдательно, – назовут, конечно. Но в известном смысле это так и есть...

– А почему нельзя быть патриотами?! – грозно, громко, налиvisto спросил Котя. – Ведь не мы напали, на нас! На Сербию напали!

Изучающе смотрел на них старик, лоб наклоня.

– Да как будто так. Однако слово “патриот” до последних недель значило у нас почти “черносотенец”, вот я почему.

– А как вы считаете? – напёр на него Котя. – Правильно мы поступаем? Или нет?

Вот был случай! – не обидно для друга, ещё раз проверить для себя. Этот старикан мог что-то веское отпустить.

Поднял одну бровь Варсонофьев:

– Правильность или неправильность можно оценить, только исходя из ваших убеждений. – И с искоркой в темно-уставленных глазах: – Вы, вероятно, – социалистических?

Саня застенчиво покачал головой.

Котя сожалительно громко чмокнул.

– Как?! Нет?... Ну тогда, надеюсь, – анархических?

Нет, не было от мальчиков согласного кивка.

А заметили они, что старик как бы не посмеивался. То есть на его ужасно серьёзном лице усмешка была непредставима, да и раздвижка губ между сошедшимися усами и бородой замечалась мало, а вот – лёгкий такой блеск нашёл на глаза.

– Я, например, гегельянец! – твёрдо, ответственно заявил Котя старику. У него очень решительная была манера выражаться, подбородок выпяченный и челюсти крепкие.

– Чистый гегельянец? – удивлялся старик. – Ведь это редкость!

– Именно. Чистый! – твёрдо, гордо подтвердил Котя. – А он, – пальцем в санину грудь, – толстовец.

Тем временем переступали, пошли все трое опять к Никитским.

– Тол-стовец? – изумился старик, избоку примеряясь к сдержанному неуверенному Исаакию. – Ба-атюшки, а как же на войну?...

Но заметил, как это Сане сокрушительно: он сам понимал, он запутался, он страдательно смотрел, отбирая пшеничные мягкие волосы со лба:

– Я – не чистый толстовец теперь.

– Это – что! – взвопил Котя, всё более свободно чувствуя себя с этим славным стариком. – Он когда-то и мяса не ел! Ну посудите, как бы он теперь в армии? Там не поковыряешься, там всем одно!

Между друзьями это не обидно было, Саня улыбался мягко, но недовольный собой.

Явно, явно благожелательно смотрел старик на того, на другого:

– А что, молодые люди, если вы не торопитесь к барышням...? Может быть зайдём, пивка выпьем? Да вы, поди, и проголодались?

Нет, к барышням не торопились. Почти не переглядываясь – да! Для последнего дня очень и интересно познакомиться со стариком.

– Тогда подождите меня здесь минутку, я в аптеку.

Уже и Никитская аптека стояла перед ними задней стеной, загораживая бульвар. Варсонофьев пошёл вокруг. Он немного сутулился на ходу.

– Эх! – спохватился Котя. – Надо было книжки взять подержать, хоть посмотрели бы! И тогда подбирали, не посмотрели... Слушай, ты только про Толстого не заводи особенно, с Толстым и так всё понятно.

Саня улыбался неоспорчиво:

– Ты же сам.

– Лучше пусть он ответит, правда, как он понимает, что мы в армию... А потом втравим его в какую-нибудь историческую тему, какой-нибудь, знаешь, общий взгляд на Восток, на Запад...

А трамваи шелестели дугами и позванивали. А извозчики прокатывали, по седоку – вальяжно или торопливо. А по бульвару текли себе гуляющие, будто никакой войны не зная, девочка с длинными косами несла ноты на урок музыки, неопрятный половой в зашлёпанной белой куртке перебежал с судками через бульвар, кому-то неся заказ. На перекрестке

Никитской, у полукруглого здания с весёлой рекламой папирос “дядя Костя” постаивал стройный чёрно-белый городовой, наблюдая безусловный вокруг себя порядок. Ещё рекламы разные везли и трамваи при крышах. Да длинная череда вывесок, доведшая их досюда, с именами торговцев, как бессмертных созидателей, выведенными в буквах замысловатых, накладных и рельефных, изогнутых и прямых, утверждала вечность и вечность этого города, – а между тем совсем нереального, потому что завтра мальчики уже не будут в нём. Только кинематограф “Унион” и откликнулся им, что знает: **"НА ЗАЩИТУ БРАТЪЕВ-СЛАВЯН "**, сенсационная киноиллюстрация переживаемого всеми нами величайшего исторического...”, а в прочем – город стоял и тёк, оставался и переменялся, и в своей нечуткой огромности не мог понять, какой особенный возвышенный сегодня день, последний день, какой рубеж переступается смело. Обрывался, оставался обременённый город – но и нет, груди даже и не было больно, потому что самое лучшее и от этого города и своё – они уносили в себе.

Это у них называлось – “готовится чихнуть”: Саня голову немного отклонил, глаза сузил – и мечтательно, обе руки другу на плечи:

– Слушай... А как всё... Как всё... – Он оглядывался, ища это всё назвать, не называлось. Ну да понятно было обоим, уж кто бы мог друг друга так понимать, как они! – И после войны прийти – и на это самое место, а? Да?

– Да, да! – убеждённо сгрёб его под плечи и Константин. И даже подкинул немного, силы в нём было как в Иване Поддубном.

Лёгкость, лёгкость несла их выше этого всего цветного, звенящего, цокающего. Неистово-радостная сила рвала их в будущее. И даже если беда уже разразилась, уже совершалась – вот наблюдение: даже и в ней можно нестись невредимо, ощущая грозную красоту беды!

Из-за аптеки вышел Варсонофьев и манил их идти к “Униону”. Нет, он не сутулился, а голову непокрытую, с седоватым светлым бобриком, держал чуть вперёд, как бы прислушиваясь или присматриваясь.

– Тут, под “Унионом”, очень приличная пивная, и публика хорошая ходит.

Не такой уж неземной был старик, понимал что-то.

За дверью первое – запахи! тёплые, радостные запахи, и с остротой, и с густым пивным духом. Три соединённых помещения, да просто три комнаты, одна на Никитскую, одна – в глухой двор, куда и повернули они. Котя толкнул Саню в бок: сидел у пива и воблы известный университетский профессор с естественного факультета, и студенты с ним. В нескольких местах – офицеры, а то – вроде адвокатов. И нигде ни одной женщины, заповедник мужского досуга. Видно по пустым бутылкам, не убираемым для счёта, что сидели тут часами многими и объяснялись до конца. Читали и газеты, журналы разложенные. Подхватил на ходу Котя “Ниву”, Саня – “Русское Слово”. Выбрали столик у окна в глухое нагромождение пивных ящиков.

– До сих пор всё хорошо, – просматривал Саня. – Наступаем и в Австрии, и в Пруссии, везде удачно.

– Слушайте, слушайте! – громко объявил Котя. – Приказ войскам военного министра лорда Китченера: “Обращайтесь с женщинами вежливо, но избегайте близости с ними!” А? О чём заботятся!... А?...

Хохотал оглушительно, да правда же смешно. Тут и другие шумели, смеялись, не тихо было в пивной. Да и есть уже очень хотелось, раздранилось, и выпить неплохо, всё кстати.

– Так, молодые люди, селянку, котлеты, что будете? – спрашивал одолжительный старик. – А вы против мяса не возражаете? – заботливо к Сане.

– Селянку! Обоим! – определял Котя.

Селянку проносили – ароматный парок, сложный ласкающий запах.

И Варсонофьев заказал две.

– А вам, Павел Иваныч?

Варсонофьев выставил длинный белый палец свечою:

– В вашем возрасте удовольствие – поесть, в моём удовольствие – ограничиться.

– Да сколько ж вам, Павел Иванович?

– Да считайте кругло пятьдесят пять.

По седине, по впадинам лица, они ожидали больше, но и пятьдесят пять немало, не возражали. А заказ давал, и пиво разливал, и заедал мочёным горохом Павел Иванович со вкусом. И спрашивал Саню:

– И что же вас с графом Толстым разъединило?

Саня – не сразу отвечать. Сперва подумать, как же верней. Он вообще не спешил. Котя за него решительно:

– Телега!

– Телега?

Саня ещё подумал, кивнул:

– Да. Это, знаете, какой-то грамотный крестьянин послал Толстому письмо. Что, мол, государство наше – перекувырнутая телега, а такую телегу очень трудно, неудобно тянуть, так – доколе рабочему народу её тянуть? не пора ли её на колёса поставить? И Толстой ответил: на колёса поставите – и сразу в неё переворачиватели же и налезут, и заставят себя везти, и легче вам не станет. Но что ж тогда делать?

Саня виновато смотрел, не слишком ли долго собой занимает. Нет, Павел Иванович – слушал, не тяготясь.

– А вот, мол, что: бросайте вы к шутам эту телегу, не заботьтесь о ней вовсе! А – распрягайтесь и идите каждый сам по себе, свободно. И будет всем легко... – На Павла Иваныча, оборонительно: – И вот этого толстовского совета я, как тоже крестьянин, принять решительно не могу. В хозяйстве моего отца самую последнюю телегу я б ни за что так не бросил, непременно б её на колёса поставил. И вытянул бы хоть без волов, без лошадей, на себе. – Ещё проверил, не надоел? – А если телега эта означает русское государство – как же такую телегу можно бросить перепрокинутой? Получается: спасай каждый сам себя? Уйти – легче всего. Гораздо трудней – поставить на колёса. И покатить. И сброду пришатному – не дать налезть в кузов. Толстовское решение – не ответственно. И даже, боюсь, по-моему... не честно. – Виновато выговаривал, своё ничтожество понимая: – Вот это нежелание тянуть общую телегу – меня самое первое в Толстом огорчило. Нетерпеливый подход. Потом и другое...

– А что ж другое?

– Да например, если в Толстого вчитаться... Любовь у него получается не больше, как частное следствие ясного полного разума. Так и пишет, что учение Христа, будто, основано на разуме – и потому даже выгодно нам. Вот уж нет... Как раз наоборот, по-земному христианство совсем не разумно, оно даже безрассудно. Это в нём и... и... Что чувство правды выше всякого земного расчёта!

Поблескивал старик из пещерных впадин. Но – и с шуткой:

– Да-а-а... Значит, с чистой линии вы сбились... А это в жизни и всего трудней: проводить линию в чистом виде, как вот ваш друг проводит гегельянство. А смешанная линия – всегда легка, всем доступна, у кого и зубов нет – селянка.

Принесли её как раз.

А Котя не выносил этого толстовства и рад был друга защитить:

– Да он не такой уж и толстовец, вы его простите. Не прямо, чтобы вот толстовец. Например, в станице его зовут *народником* .

Варсонофьев продул усы:

– Да в какую я компанию попал!

И заказал ещё две пары пива.

Узнал Варсонофьев, что кончили они по три курса историко-филологического, Котя – больше историк, Саня – больше филолог. Ещё уточнил у Коти с почтительным интересом:

– А разрешите узнать, какая, например, из Гегеля ваша любимая мысль? Ну просто, какая первая вспоминается?

Котину широкоскулое лицо, с большим размахом от виска до виска, переходило легко в широкий смех, но и в думанье тоже. Много было прекрасно – и самодвижение идеи, и начальное отстаиванье принципа в его неразвитой напряжённости. А лучше всего:

– Пожалуй, развитие через скачок!

В скачке было что-то затягивающее.

Варсонофьев со вкусом сплетал пальцы на столе.

– Но если вы гегельянец, вы же должны утверждать государство.

– Я и... и утверждаю, – с некоторой заминкой согласился Котя.

– А государство – оно не любит резкого разрыва с прошлым. Оно именно постепенность любит. Перерыв, скачок – это для него разрушительно.

Ели. Пили, в меру прохладное и крепкое пиво. Варсонофьев грыз солёные сухарики. Зубы у него пробелевали все целые, ровные.

– А допустимо будет спросить, – трубил Котя, – чем вы, Павел Иванович, занимаетесь? Мы тут гадали...

– Да как сказать... Одни книги читаю, другие пишу... Толстые читаю, тонкие пишу.

– То, что вы говорите, – не вполне ясно.

– А когда слишком ясно – не интересно.

У Коти была эта манера – ломиться, не сообразуясь с вежливостью, Саня от неё страдал. И, помогая увести разговор от допытывания:

– Разве так?

– Да знаете, чем важнее для нас сторона жизни, тем она смутнее. Полная ясность бывает только в простячком. Лучшая поэзия – в загадках. Вы не замечали, какой там тонкий кружевной ход мысли?

– Два-конца, два-кольца, пос-редине гвоз-дик! – энергичным ритмом считалки выговорил Котя и расхохотался. Впрочем, громкость его не прорывала общего гула, и в круговой стене этого гула они друг друга слышали отчётливо, как в тишине.

– Есть и получше. Со вечера бел заюшка по приволью скачет, со полуночи на блюде лежит.

Слова загадки он выговорил особым поглубевшим распевным голосом, от своего голоса – особым, а тем более от гудящих плотоядных пивных голосов.

– И – что ж это такое? – торопился Котя.

Тем же голосом затаённо выпустил между усами и бородой:

– Невеста.

– А почему – на блюде?

– А прямо на кровати – загадки не будет. Поэтический перенос. На блюде, потому что отданная, беспомощная, распластанная.

Саня не покраснел ли чуть? Нет, он обдумывал.

Ели, пили.

Варсонофьев продул усы:

– Но слова затаскиваются и часто закрывают смысл. А что это значит сегодня – быть народником?

Саня сосредоточился, покинул всё, что на столе. При его здоровости и степной загорелости, заметной даже здесь, от малых окон пивной, было совсем не степное, а мягкое у него лицо; под пропалёнными волосами в голубых без твёрдости глазах всё время шла работа, не оставляя охоты много говорить, а когда говорил, то тут же готов был перед собеседником и потесниться:

– Н-ну... кто любит народ. Верит в его духовные силы. Полагает его вечные интересы выше своих кратких и малых. И живёт не для себя, а для него, для его счастья.

– Для счастья?

– Д-да, для его счастья.

А глаза Варсонофьева из-под надёжной защиты просторных бровных сводов так двумя светлыми и наслеживали:

– Но счастье народного большинства – это сытость, одетость, благополучие, полная удовлетворённость, так? А накормить, одеть – на это, смотришь, тоже целое столетие понадобится? Пока до вечных интересов – а мешают бедность, рабство, непросвещённость, плохие государственные учреждения, – и пока это всё сменить или исправить, тут и народников три поколения надо?

– Д-да, возможно.

Не мигая, совсем не нуждаясь мигать, мог смотреть Варсонофьев неотрывно, не упуская из глаз наследственное:

– И все эти народники, спасая не меньше всего народа сразу, до той поры отказываются спасать себя? Вынуждены так. И вынуждены считать негодниками всех других, кто не жертвует собой для народа, – ну там занимается каким-нибудь искусством, или поисками абстрактного смысла жизни, или, хуже того, религией, душу спасает, и так далее?

Саня так внимательно слушал, даже измучивался. Он кисть, палец поднял, чтобы слово вставить, потом забудет:

– А в ходе жертвы для народа – разве душа не спасётся? Сама?

– А вдруг эта жертва – не та? А скажите – у народа обязанности есть? Или только одни права? Сидит и ждёт, пока мы ему подадим счастье, потом вечные интересы? А что если он сам-то **не готов**? Тогда ни сытость, ни просвещение, ни смена учреждений – не помогут?

Саня лоб вытер, глаз не сводил с Варсонофьева, так из глаз в глаза и хотел перенять, понять:

– Не готов – в отношении чего же? Нравственной высоты? Но тогда – кто ж?...

– А вот – кто ж?... Это, может, до монголов было – нравственная высота, а мы как зачили, так и храним. А как стали народ чёртовой мешалкой мешать – хоть с Грозного считайте, хоть с Петра, хоть с Пугачёва – но до наших кабатчиков непременно, и Пятый год не упустите, – так что теперь на лике его незримом? что там в сокрытом сердце? Вот кельнер наш – довольно неприятная физиономия. А над нами – “Унион”, кино, этот антихрист искусства, там тапёр играет в темноте – а что у него в душе? какая ещё харя высунется из этого “Униона”? И почему же надо всё время для них жертвовать собой?

– Тапёр и кельнер, – объявил Котя, – это не строго народ.

– А где же? – седо-светлую узкую голову со светящимся бобриком повернул на него Варсонофьев. – До каких же пор непременно обязательно один мужик? Уж миллионы из него утекли – и где ж они?

– Но тогда надо строго научно определить народ!

– Да все мы научность любим, а вот народа никто строго не определил. Во всяком случае не одно ж простонародье. И нельзя ж интеллигенцию отдельно от народа считать.

– И интеллигенцию определить! – сил не смеряя, ломился Котя.

– И этого тоже никто не умеет. Например, духовные лица у нас никак не интеллигенция, да? – И увидел в котином мимолётном фыркании подтверждение. – И всякий, кто имеет ретроградные взгляды, – тоже у нас не интеллигент, хоть будь он первый философ. Но уж студенты – непременно интеллигенты, даже двоечники, второгодники и по шпаргалкам кто...

Не выдержал серьёзности, бороду от усов отодвинул в явном смехе. К усам прилипла пивная пена. Показал неприятному кельнеру:

– Ещё пару, пожалуйста.

Хватка серьёзности за столом ослабла, опала – а Саня всё ещё задерживался в ней: что-то в этом коротком разговоре так и не разрешилось, в сторону повисло и оборвалось. Он не просто думал в разговоре, но удручался.

– А кстати, молодые люди, если это не нескромно, мне хочется понять: вы – каких родителей дети? Из какого слоя?

Котя густо покраснел и стих, как поперхнулся. Сказал нехотя, к молчанию:

– Мой отец умер.

И пива налил.

Но Саня знал котину болезненное место: ему стыдно, что его мать – рыночная торговка, он обходит это, как может. И, отрываясь от недодуманного, собою заставил друга:

– А дед у него – донской рыбак. А мои родители – крестьяне. Я в семье – первый, кто учился.

Варсонофьев довольно сплёл и расплёл пальцы:

– Вот вам и пример. Вы и от земли, вы и студенты московского университета. Вы и народ, вы и интеллигенция. Вы и народники – вы и на войну идёте добровольно.

Да, это трудный и лестный был выбор – к кому же себя отнести.

Котя разодрал воблу как грудь себе:

– Но я так начинаю понимать, что вы – не сторонник народовластия?

Покосился Варсонофьев:

– Как вы догадались?

– Что ж, по-вашему, народовластие – не высшая форма правления?

– Не высшая, – тихо, но увесисто.

– А – какую ж вы предложите? – возвращался Котя в свой жизнерадостный, почти детский задор.

– Предлагать? И не посмею. – Повёл, повёл из двух пещер тёмно-блестящими глазами.

– Кто это смеет возомнить, что способен придумать идеальные учреждения? Только кто считает, что *до нас*, до нашего юного поколения, ничего важного не было, всё важное лишь сейчас начинается. И знаем истину только наши кумиры и мы, а кто с нами не согласен – дурак или мошенник. – Он, кажется, сердиться начинал, но тут же умерился: – Да не будем упрекать именно наших русских мальчиков, это мировой всеобщий закон: заносчивость – первый признак недостаточного развития. Кто мало развит – тот заносчив, кто развился глубоко – становится смиренен.

Нет, Саня не поспедал за разговором: слушал новое, а додумывал передсказанное. Уж сколько они захватили, бросили и дальше. Но всё то безнадежно упуская, вот этому последнему он выставился навстречу:

– А вообще, идеальный общественный строй – возможен?

Варсонофьев посмотрел на Саню ласково, да, отречённый неуклонный уставленный взгляд его мог быть ласковым. Как и голос. Тихо, с паузами он сказал:

– Слово строй имеет применение ещё лучшее и первое – **строй души** ! И для человека нет нич-его дороже строя его души, даже благо через-будущих поколений.

Вот оно, вот оно, что выдвигалось! вот что Саня улавливал: надо выбирать! Строй души – это же и есть по Толстому? А счастье народа? – тогда не держится...

Прогонял, прогонял продольные морщины по лбу. А Варсонофьев:

– Мы всего-то и позваны – усовершенствовать строй своей души.

– Как – позваны? – перебил Котя.

– Загадка! – остановил Варсонофьев пальцем. – Вот почему, молясь на народ и для блага народа всем жертвуя, ах, не затопчите собственную душу: а вдруг из вас кому-то и суждено что-то расслышать в сокровенном порядке мира?

Сказал, на обоих посмотрел: не много ли? Притушился. Отхлебнул. В который раз отёр от пены усы.

А юности это заманчиво, так сразу и подпрыгивает навстречу в глазах: а что? а правда? а ведь не зря я что-то чувствую в себе?

Но всё-таки интересовало мальчиков:

– А – общественный строй?

– Общественный? – с интересом заметно меньшим взял Варсонофьев несколько горошинок. – Какой-то должен быть лучше всех худых. Да может и пресовершенен. Но только, друзья мои, этот лучший строй не подлежит нашему самовольному изобретению. Ни даже научному, мы же всё научно, составлению. Не заноситесь, что можно придумать – и по придумке самый этот любимый народ коверкать. История, – покачал вертикальной длинной головой, – не правится разумом.



Вот! Вот ещё! Саня вбирал, Саня и руки сложил, улавливая:

– А – чем же правится история?

Добром? любовью? – что-нибудь такое сказал бы Павел Иваныч, и связалось бы слышанное от разных, в разных местах, – как хорошо, когда совпадает!

Но нет, не облегчил Варсонофьев. Ещё по-новому отсек:

– История – **иррациональна**, молодые люди. У неё своя органическая, а для нас может быть непостижимая ткань.

Он это – с безнадёжностью сказал. До сих пор прямой в спине, он дал себе согнуться и отклониться к спинке стула. Ни на того, ни на другого не смотрел, а в стол или через мутно-зелёные бутылочные искажения. Ни Котю, ни Саню ни в чём он не убеждал, но стал говорить звучней и не покидая фраз несогласованными – да не читал ли он лекций где-нибудь?

– История растёт как дерево живое. И разум для неё топор, разумом вы её не вырастите. Или, если хотите, история – река, у неё свои законы течений, поворотов, завихрений. Но приходят умники и говорят, что она – загнивающий пруд, и надо перепустить её в другую, лучшую, яму, только правильно выбрать место, где канаву прокопать. Но реку, но струю прервать нельзя, её только на вершок разорви – уже нет струи. А нам предлагают рвать её на тысячу сажень. Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев – это и есть связь струи.

– Так что ж, ничего и предлагать нельзя? – отдувался Котя. Устал он.

Саня мягко положил руку на рукав Варсонофьеву:

– А – где же законы струи искать?

– Загадка. Может быть, они нам вовсе не доступны, – не обрадовал Варсонофьев, вздохнул и сам. – Во всяком случае – не на поверхности, где выключет первый горячий умок. – Опять поднял крупный палец как свечу: – Законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей. В замысле мироздания. И в назначении человека.

Замолчал. В своей библиотечной позе замер: руки на столе шалашиком, и бородой аккуратно подстриженной в круглую лопатку, туда-сюда о переплетенные пальцы.

Может быть, и не надо было им этого всего. Но не совсем обычные студенты.

Котя мрачно тянул пиво. Узелком на лбу надулась у него жила, от думанья:

– Что ж, тогда и делать ничего нельзя? Только наблюдать?

– Всякий истинный путь очень труден, – подбородком в руки отвечал Варсонофьев. – Да почти и незрим.

– А на войну идти – правильно? – очнулся Котя.

– Должен сказать, что – да! – определённо, похвалительно кивнул Варсонофьев.

– А – почему? Кто это может знать? – заупрямился Котя, хотя бумага-то уже была у него в кармане. – Откуда это доступно?

Все десять пальцев развёл Варсонофьев честно, как с равными:

– Доказать не могу. Но чувствую. Когда трубит труба – мужчина должен быть мужчиной. Хотя бы – для самого себя. Это тоже неисповедимо. Зачем-то надо, чтобы России не перешибли хребет. И для этого молодые люди должны идти на войну.

А Саня этого последнего как и не слышал. Он вот что понял: путь или мост должен оказаться незрим. Зрим, да мало кому. А иначе человечество давно б уже по тому мосту...

– А справедливость? – зацепился он всё-таки, вот тут было не досказано. – Разве справедливость – не достаточный принцип построения общества?

– Да! – повернул к нему Варсонофьев светящихся две пещеры. – Но опять-таки не своя, которую б мы измыслили для удобного земного рая. А та справедливость, дух которой существует до нас, без нас и сам по себе. А нам её надо **угадать**!

Шумно-шумно Котя выдохнул:

– Всё у вас загадки, Пал Иваныч, да всё трудные. Вы б легче какую-нибудь.

Павел Иваныч поиграл губами лукаво:

– Ну, вот какую. Кабы встал – я б до неба достал; кабы руки да ноги – я б вора связал; кабы рот да глаза – я бы всё рассказал.

– Не-ет, Павел Иванович, – шутил уже немного и опьяневший и довольный одобрением Костя, и хвостом воблы постукивал по тарелке. – Главный вопрос, я чувствую, главный – мы так и упустим вам задать. А потом на войне будем жалеть.

Смягчился Варсонофьев к улыбке, к отдыху:

– А на главные вопросы – и ответы круговые. На **главный** вопрос и никто никогда не ответит.

\*\*\*\*\*

## КОРОТКА РАЗГАДКА,

### ДА СЕМЬ ВЁРСТ ПРАВДЫ В НЕЙ

\*\*\*\*\*

## 43

Отца родного чуть помнил Терентий Чернега, воспитывала его мачеха поконiec рук, потом и отчим пришёл, а Терентий ушёл, – не много он от них набрался. И в двухклассном сельском училище и в одноклассной торговой школе тоже не богато подобрал. Да ученье и книги тому ни к чему, у кого на жизнь глаза и уши правильные. Когда надо, оборотистым смыслом своим Чернега легко поспеивал за разговором образованных, хоть бы вот и офицеров.

Слышал Чернега, как командир бригады полковник Христинич разговаривал с командиром батареи подполковником Венецким о делах вообще в артиллерии: как у нас пустая трата тяги и простой пушек из-за того, что восемь орудий в батарее, а у немца – шесть или четыре, а перестроить шесть восьмиорудийных в восемь шестиорудийных – нет у казны денег, дешевле пушки возить, не стреляя; и как командиры батарей погрязли в батарейном хозяйстве, в содержании да чистке запасного имущества, так что некогда стрелять, некогда боевых наставлений читать, да и они-то все устаревшие, а новое последнее – и до рук не дошло, война.

Тем более утвердился Чернега, что если кто в артиллерии что и значит – это фельдфебель! – на ком же то хозяйство?

На действительной прослужил Чернега от хоботного до первого номера и до начальника орудия. А на войну теперь в первый же день призванный, в третий день представленный в Смоленск, попался на глаза полковнику Христиничу, тот посмотрел мимоходом сего-мохнато и сказал Венецкому:

– Такого молодца грех унтером держать, поставьте его фельдфебелем!

Это он правильно догадался, про себя Чернега знал, что будет фельдфебель отменный. А узнав подполковника Венецкого, ещё раз догадался, что не во всякую батарею Христинич бы стал и фельдфебеля советовать. Венецкий знал свои прицелы, трубки, дистанции, а барин был нежный, с солдатами объяснялся извинчиво, команду подавал просительно, – и не было бы в батарее единого сжатого кулака, если б не назначили Чернегу фельдфебелем. И с первого же зыка-рокота природнился он к новой должности, и вся батарея разом признала его. А по такой войне, какая пошла, кто ж и был в батарее главный, как не фельдфебель? Две недели пушки не снимались с передков, не занимали позиций, и были в головах господ офицеров боевые наставления или нет – это не влияло нисколько. Ещё показывали они, по какой дороге двигаться, так это и так было ясно по общей дивизионной колонне; ещё – донесенья писали. А вёл батарею, кормил-поил батарею, размещал на ночёвки, за лошадьми

следил, снаряды оберегал – Чернега, и вся батарея признала его главным человеком, и лошади ушами вели, что он их понимает. (Да лошади-то всегда отзывались Чернеге с первого прихлопа по шее. Ох, он их знал-перезнал, покупал-продавал – не для барыша, из задора! Страстовал Чернега по лошадям больше, чем по бабам).

Терентий переносил на плече шестиведерный бочонок с квашеной капустой, гнул подковы, гривенники, выколачивал молотом на ярмарках – всё, как мериться любили на Руси от лишних досугов и лишней силы. Он и сам был как бочонок. Ростом не добрал, но на силе это не отозвалось. Да **всю** -то силу, кроме пожара да подтопа, почитай никогда не приходилось ему и пускать. Вполсилы доставалось ему в жизни всё, чего он хотел, – потому что и умений, и ремёсел много знал, ремесло не коромысло, плеча не гнетёт, а своеродную поберегал на запас. И вот теперь на войне Чернега тоже ещё всей силы не показывал, обходилось и так, командовал он вполдрёма-вполсмеха: война ворвалась совсем ни к ляду, в тридцать два года, в сок, и, как всегда кажется, на самом захватном месте. Так протолкаться бы её, не повредя себя.

Но когда середь ночи подняли по тревоге, и то томленье безвестности, безлюдности, капкана, накопившееся в солдатских грудях всю неделю, прорвалось теперь ясным приказом, нет, разрешением: “айда, ребята, наутёк!” – Чернега в два толчка сердца разрешил всю силу, какая таилась в нём, и кинулся к подполковнику:

– Ваше выс-родие, только скажите: **что надо** ?

Подполковник Венецкий при свечке, в палатке, схватился за уязвимое предплечье фельдфебеля:

– Через вот эту речушку надо бы, Чернега! – и, белый локончик на лбу, по карте на раскладной походной койке, оставляемой теперь тут навек, показал быстрее обычного, не мямля: -... чтоб нам на шоссе не выходить, крюка не давать, и там вообще немцы, а вот здесь на речушке какой-то мост, может повреждён, может сгнил, подходы к нему болотистые – а нам бы вот перейти! Десять вёрст сбережём, и немца минуем, и сразу вот на этот перешеечек, Шлягу-М.

По карте мудрость не столь велика. Зелёное, чёрное, голубое, озёра-озёра-озёра, ног не протащить, это всё Чернега круглыми глазами быстро вбирал, тем быстрее, чем надо было, – а всё-таки зацепило его:

– Шлага-эм, это что такое?

Шляга – молот большой, а по-польски “шлагтрафи” – сдохни, удар бы тебя хватил...

– Очевидно, так плотина называется – или мельничная, или от деревни Меркен. Но Меркен мы обойдём тогда, а Шлягу-М не обойти. Только кто Шлягу-М перейдёт – тот будет жив, а здесь...

А здесь – мы и не будем! И тож у плечика, да чтоб не раздавить, привзят Чернега подполковника:

– Ваш выс-благородь, сосватано! Шлите только офицеров по маршруту, а мы всей упрягой возьмёмся!

– И... снаряды... ты понимаешь, Чернега?...

– Да неужель не понимаю! – высказывал Чернега из палатки. – Лучше руки отвинтим, бросим – а снаряды возьмём. Доколыхаем как бабьи груши!

Вот и настал пожар-подтоп, даже выше захлестывало, и в такие минуты нет у офицера рук, а руки – у фельдфебеля! У них только покашливание с извинкой, за двести лет заминаются, – а ну-ка их на... однажды пошлют? Вот задумал бы Чернега снарядов не взять – хоть сто раз приказывайте, а покинули б. Но печёт Чернегу, что – мало снарядов, а каждый снаряд пять солдатских голов спасает, если не двадцать.

И – зарычал Чернега на своих львино, перекрывая все другие команды, ропот, ржанье и лязг. Знала батарея своего фельдфебеля, но ещё и не знала, до этой ночи не было войны! Рык этот львиный всем передавал, чтобы теперь ни одна поджилка не проленилась, что если лошади откажут – пушки на себе понесём. (Рык-то рык, а и с приглушью: в ночь далеко разносится, не проведали б немцы, что мы струнули и куда пошли).

И – завертелась невзгодю погожая тихая ночь, после оброна месяца с одними только звёзданьками. Не объявлялось, а быстрый слух разнёсся и усвоился всеми без отказа: где-то есть мост, и на тот мост надо спешить, а снимут его – мы пропали. Без задышки бегал Чернега вдоль колонны вперёд-назад и поспевал везде разобраться. Гнулись и тянули как против косога дождя, как под обстрелом – не передыхая. Полевая дорога кривуляла и перекрещивалась, на развилках от офицерской разведки ждали маяки. Ближе к речке у Чернеги была своя разведка: ногой дознаться, где топко и насколько. Поработали и до моста: заминались, топли, перепрягали выносы, брали урывком, все подхватывая. И на мосту поработали: на последнем хуторе разобрали сарай – и потом в темноте меняли брёвна, достраивали мост. И лошадёй поили. И после моста долго тянулись низинкой, как бы не встрять, ещё перепрягали. А там – крутенько пошло наверх, и опять подпрягали, толкали – и взъехали, наконец, на твёрдое. Вот война: в полуночи перебуженные, чего днём осилить нельзя – одолели ночью. А за тем и вся краткая ночь прошла. Оставив мосток и прорытую тёмную дорогу остальному дивизиону, их батарея уже на свете, прикрываясь справа лесной полосой, беззвучно потянула к шоссе. Никто не стрелял, никто не пересекал им дорогу, отпалились за прошлые дни. Простояла тихая ночь, как будто нет войны.

Перед самым шоссе, не выводя из лесу, батарею остановили. Они пришли первые, значит долог оказался кружной путь, а может полки блукают. Уже довольно развиднелось, но и неполный свет ещё. В версте направо на высоте лежала у шоссе та самая деревня Меркен. Налево же по шоссе, всего за триста саженьей, но по откосу и в провале – ждала их закаятая Шлага-М, и если разведка сейчас не встретит на ней огня – через пятнадцать минут батарея уже будет за нею. Ну да сказал командир первого взвода, что через пять вёрст ещё одна такая будет закупорка. А когда и вторую проскочут – донесёт их туда, где были они неполных три дня назад.

Надо было три дня таскаться со всеми орудиями, парками, обозами, ни одного снаряда не выпустив, отломав сорокавёрстный крюк, чтоб теперь дониматься и рваться: ах, если б назад угодить!

На широком пне, на закрайке леса, присел Чернега – и руки свесил, и ноги ослабил: ныли. А есть и спать – перехотелось.

Слышался уже из деревни стук колёс и разговоры. Это – по шоссе наши подходили. Теперь попрут, только успеть бы перед ними.

Вернулась разведка: свободна Шлага-М! Никого!

Свободна. Плотинка две сажени ширины, но свободна. Две сажени? – ой-ой.

И вот уже не таясь, звонкими голосами, на отлёт: “По ко-о-ня-ам!... Ездовые сади-ись!” – и батарея выворачивать на шоссе и спускаться вниз, к Шлаге.

А вдруг – ударили по деревне Меркен немецкие пушки! И сразу – дом загорелся. И тут же занялись пулемёты с немецкой стороны – да где она, немецкая сторона? – там и немцы, там и наши, там наших больше, там весь корпус наш ещё идёт-бредёт. А в неразгоревшемся дне огневые вспышки стрельбы помелькивают со всех сторон – и отлева деревни и отправа деревни, и переносом сзади. И только одна сторона верная, несомненная: Шлага-М свободна, вот тут, под откосом, Шлага-М, до которой они измеси́ли болотце, и ногти срывали в кровь, и надорвали лошадей до упаду. И если теперь побыстрее дорогу занять и туда спускаться, то ещё опережаем обоз – тот, что галопом из Меркена кинулся сюда от обстрела, гудят колёса, а там и пехота бежит по обочинам.

Эти миги поворотные, когда не знает себя ни человек, ни целая часть, когда голос не слышен, и начальник не виден, и ты один решаешь за себя – да не решаешь, ведь думать некогда, – и вдруг решается всё.

Пушки подъехали – лучше позиции не надо! – и спускаться под откос? оттуда не постреляешь. Вскочил Чернега и размахом руки, как тысячу рублей пуская на ветер, показал первому орудью, где ему разворачиваться. И второму!

Могли б не послушать: почему фельдфебель? Подождём командира. Там плотинка нас ждёт, эта плотинка – в Россию! Мы целую ночь спотыкались, потели, толкали, мы – первые,

мы имеем право в Россию!

Но щедрость передавалась как переимная зараза, и разученными движениями ездые заводили пушки, и Коломыка, рожа скулая, уже свою снимал с передка. И бежал штабс-капитан, во все руки махая! что махая? не надо? не надо было? Надо! надо... правильно, молодцы!! И подполковник Венецкий, узенький, из лесу вывернулся и, придерживая на боках шашку и сумку, бежал на высотку сбок деревни. А телефонисты – за ним, разматывая свои катушки.

Уже полный был превосходный свет, а заря запрятана за лесом, за спиной. По открытым холмам впереди и за холмами во все стороны расширялся гремёж. Не ушли, как хотели ночью, – не ушли, не ушёл 13-й корпус, запутался.

Четыре орудия чернегиной батареи развернулись по эту сторону шоссе, передки отъезжали в лес, отсюда же подтягивались зарядные ящики, позиция – лучше не придумать! По шоссе проносились первые безумные повозки, обгоняя друг друга и сцепливаясь, – это здесь, а что на плотине будет? Перебивая их бег, перевалили шоссе, потянули на ту сторону становиться – пятое, шестое, седьмое орудия...

А тут – пехотка поддала, что за скоробеги, где таких берут?

– Кто такие? – лвиным рыком через кювет от орудия окликнул их Чернега. – Кто такие? По каким делам?

– Звенигородцы! – отвечали.

Налился Чернега бычьей кровью:

– Да что же вы, грёб вашу мать, – говядину спасти звенигородскую? А мы за вас – отстреливаться? А ну, ворочайсь, давай прикрытие!

И батарейцы на холмик при Чернеге выскочили и не столько голосами, сколько руками, кулаками – остановили звенигородцев. Затолклись, обернулись, соткнулись – и пошла первая волна назад, ещё робко, ещё готовая повернуть. Но и там, как у нас, повиднелся офицер – и не погнал на Шлагу, а повёл в сторону от шоссе показывать, куда.

Ещё не вышло солнце из-за леса, только первым алым разгаром оттуда отдало – звенигородцы окапывались на склоне впереди, батарейцы обносили валками позиции, закладывали снаряды за подрывтый холмок, – и утвердилась оборона Шлаги-М, не предусмотренная командиром корпуса, катящего, как попало.

Не сразу она вступила в стрельбу: на ближних вёрстах били неразборно друг по другу, справа и слева, из серёдки вкруговую, из круга в середину. Оттуда стали отваливать, бежать на правое крыло, на ту ж дорогу, какой тащилась чернегина батарея, – и тем же краем леса сюда выбрались два батальона Невского полка с рослым грозным полковником Первушиным, хорошо его знали и узнавали вся дивизия и все артиллеристы. Тут в овражке они собрались, отдышались, раненые перевязались, рассказали, что с ночи идут из дальнего леса, два батальона отбилась на город, и нет их, а их батальоны попали меж огня своего и немецкого, вперекрест по ним били, и вот еле выскочили. Звенигородцы же и палили.

Размежевались теперь, где свои, где чужие. Немцы напирали справа – и сюда, и на деревню, и на город. Как стало солнце вываливать из-за сосен – завиднелся из запада местности черепичными верхушками, трубами и он, город этот Хохенштейн, куда они вчера целый день шли, не дошли. Видать в городе наши были, но в круговом мешке, и завязка затягивалась.

А уже от Венецкого и команды: “Пер-вое! Угломер... прицел... шрапнелью... трубка... беглый!” – и за первым орудием зарыгала вся батарея.

Шрапнель – она здорово сечёт, если батальон идёт строем – в три минуты его не будет.

В ответ ложились и немецкие снаряды, всё ближе, – но против солнца не находили нашей батареи.

А Софийский полк – прошёл!

Шли батареи, парки!

Шёл Можайский полк!

И – не на минуты, не на снаряды, не на раненых своих пошёл счёт, а вот на эти

проходящие колонны: сколько их успеет пронырнуть? сколько отрежут?

Выбило наводчика – стал Чернега за наводчика. Во многих местах уже горела деревня, клубились дымы – а наши вываливали из дыма, ехали, шли и бежали, и не было конца.

Два батальона звенигородцев. Какие-то остатки перемешанных, разбитых частей, откуда-то кучка дорогобужцев, и свой же батя полковник Христинич с отставшей полубатареей.

Узнал! Руками затряс: молодцы, славно! И ему замахали, закричали. Соскочил, обнял штабс-капитана.

И – в канаву, тут долго не наобнимаешься. Стали немцы метко класть по самой дороге – и сбежали с неё, кого не пришибло. Очистилось. Отрезано. Больше уже не пойдут.

Этого и ждал Первушин: теперь и его невцы спустились к освободившейся Шлаге.

Снимались, бежали из прикрытия звенигородцы.

И сам Христинич скомандовал: по одному орудью – на передки! И едва только брали лошади орудие – тут же и гнали широким аллюром на Шлагу.

А Венецкий наш – там не останется?... Жалко бы, барин уходчивый. Нет, вон сбегают как зайцы, с телефонистами. А уж провод пусть немцы себе мотают.

Ещё две пушки дорыгивали.

Что смогли, то сделали, братцы, не поминайте лихом!

А уж кто в Хохенштейне остался – тому конец.

## **ДОКУМЕНТЫ – 6**

**16 августа**

### **ОТ ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО**

**... На Восточно-прусском фронте 12-го, 13-го и 14-го августа продолжалось упорное сражение в районе Сольдау-Алленштейн-Бишофсбург, куда неприятель сосредоточил корпуса, отступившие от Гумбинена, и свежие силы. Алленштейн занят русскими войсками. Особенно большие потери германские войска понесли у Мюлена, где они находятся в полном отступлении...**

**... Наш энергичный натиск продолжается.**

## **44**

Кажется так: эдесский князь Авгарь, покрытый язвами проказы, услышал о пророке в Иудее и уверовал, что это – Господь, и послал просьбу: прийти к нему во княжество и тут найти гостеприимство. А если нельзя, то дать художнику нарисовать себя и прислать изображение. И когда Христос учил народ, художник всестарательно пытался запечатлеть его черты. Но так дивно менялись они, что тщетен был его труд и опала рука: изобразить Христа недоступно было человеку. Тогда Христос, видя отчаяние художника, умылся и приложился к полотенцу – и вода обратилась в краски. Так создан был Нерукотворный Образ Христа, от полотенца этого и излечился Авгарь. Потом на воротах города оно висело, защищая его от набегов. И древнерусские князья переняли Спас Нерукотворный в свои дружины.

Это когда-то рассказывал Самсонову настоятель новочеркасского войскового собора. От деревенской церковки своего детства в Екатеринославской губернии перестоял Самсонов во многих храмах сотни всенощных, литургий, молебнов, панихид, сложить те часы можно в месяцы и месяцы молитв, размышлений, душевных подъятий. Во многих храмах удостаивался он снисшествия примиряющего ладанно-сизого духа, во многих храмах было чем полюбоваться запрокинутой голове. Но нигде не бывало Самсонову так уместно и так душевно-просторно, как в могучем крутоплечем Новочеркасском соборе, слитом и с Войском Донским и с городом. Да весь Новочеркасск был сложен по характеру Самсонова: круго-обрывисто, незыблемо, а по горе – раскидисто, с тремя проспектами едва ль не шире петербургских, с Гостиным двором в соревнование с Петербургом же, с соборной площадью

перед Ермаком, где неестественно можно принять парад десяти полков. Два года в Новочеркасске были из самых счастливых в жизни Самсонова, и именно их, тепло и печально, вспоминал он сегодня бессонною ночью, – именно тамошние соборные августовские службы.

День Нерукотворного Образа идёт вослед за днём Успения. Эту полночь – с Успения Божьей Матери на Христов Нерукотворный Образ, генерал Самсонов нынче проводил в седле, отступая. До последней минуты исчерпался, минул, канул день Успения – и не протянула Божья Матерь своей сострадательной руки к русской армии. И уже мало было похоже, что протянет Христос.

Как будто и Христос и Божья Матерь отказались от России.

Близ двух часов ночи, в самое тёмное время, штабная группа кружным путём, еле битыми дорожками, добралась к шестидомовой деревушке близ Орлау – теперь звучащее насмешкой славное имя первого боя. И тут, в топтаны, неразберихе, на ощупь, на слух без глаза, от казачьей сотни всё того же 6-го Донского и от обозов Калужского полка узналось, что никакого щита с запада, как задумано было по “скользящему” плану, – уже нет: что Калужский и Либавский полки (меру сил человеческих изойдя) уже вечером отошли от рубежа, указанного им держать весь наступающий день, – и теперь во тьме, близко тут, в трёх верстах отсюда – передний край! А в самом Орлау столкнулись обозы и дракой расчищают путь.

Ещё два корпуса оставались наверху, в опрокинутом кувшине – а горловина сжималась. И Найденбург – так все гомонили согласно, да иначе и трудно бы нарисовать по карте, – Найденбург был уже у немцев.

Тем жёстче рвались штабные – ехать дальше скорей! Тем правей они были, остерегая Самсонова, что и не надо было им в Найденбург, а – глубже, на Янув сразу! Но командующий, увы, не слышал их, не понимал, он терял ощущение и своего поста и своих обязанностей! Вместо того чтобы думать обо всей армии, он стал управлять командирами батальонов.

Час от часу становился Самсонов уверенней и независимей от штабных советчиков. Как будто не стало для него армейского штаба, а – группа нестроевых побочных офицеров зачем-то. В комнате, расчищенной от ночёвщиков, при керосиновой лампе, за столом, сидел без фуражки крупноголовый Самсонов, с недоуменным как будто лбом, – и вызываемым офицерам одному за другим давал по карте приказания, как вернуть Калужский и Либавский полки на позиции; какая артиллерия их поддержит; какие дороги в каких местах проверить, очистить для подходящих обозов 15-го корпуса. Он подробно объяснял, до конца выслушивал возражения, не давая вырваться дурному настроению, говорил приветливо: “голубчик”, “пожалуйста”.

А вот и рассвет забелился, и утро налилось за окнами, оспаривая лампу. Нисколько не торопясь, ещё досиживал Самсонов над картой (он всё ещё примерялся, надеялся на подход 6-го корпуса), медленно проводил пальцами по крупно-расчёсанной бороде спокойными витыми линиями влево, и вправо, и объёмля, по кругло-покойной подстрижке. Его неприкрытые большие глаза будто и не нуждались во сне.

Теперь-то он мог бы эвакуировать штаб, наконец! Нет, потерял он всякий смысл своего назначения – и штабные, пожимая плечами и ёжась от холода, взлезали на коней – ехать ещё вдоль передовой линии в само Орлау зачем-то.

Неторная лесная дорога, на карте пунктирная, была уже разъезжена и забита чередой повозок, двуколок, ящичков, увозили куда-то патроны и снаряды, нужные здесь. От остановки одной пароконной повозки все останавливались, объехать было нельзя, – и представлялось, как будут томиться на таких дорогах два закапканенных корпуса. Черета верховых, штабных и казаков, гуськом обходила повозки, отклоняя ветви.

А лес ещё сужался, он был – узкий клин. До сих лишь на сосенные вершины отсвечивало солнце, но вот их дорогу вывело к левому краю – и, после полумрака, сразу окатило их полное алое ярое солнце, только что выплывшее поверх вершин другого леса –

двадцативёрстного, бесконечного Грюнфлисского, густо-тёмного, в тёмном ожидании отступающей русской армии. А двести саженой до того леса были – обрыв в луговую речную низину, и вся она шевелилась туманом, кверху редееющим в пар.

Самсонов вздрогнул, воззрился на этот пар, на солнце, как увиденное в первый раз.

Это плавающее величие осветило ему больше, чем он понимал даже последние сутки, не бедные мыслями.

В этот пар и туман кавалькада их спустилась на повреждённую мельничную плотину, и снова поднялась – в Орлау. То было самое поле недавнего боя, атак и потеря, схватки за знамя Черниговского полка, – и если отъехать и поискать, тут много свежих братских могил должно было ожидать их. А тяжёлый трупный запах, навеваемый то там, то здесь, значил, что и похоронены не все. Но никто о том поле, кроме командующего, как будто и не думал, – а вот на скрестьи дорог всё ещё не было растянута стесненье обозов. С запада же подпирали новые.

Тут провели они утро. Были разорваны пути оповещения, в чужой стране в неожиданных и крайних положениях были раскинуты пять пехотных дивизий, пять артиллерийских бригад, конница, сапёры, – а новости, и только дурные, приходили от случайных людей с такой быстротой и уверенностью со всех лесных сторон, как не мог бы наладить их поступление лучший начальник связи.

Узналось, что убит полковник Кабанов и выбит Дорогобужский полк. Узналось, что Копорский полк под Хохенштейном вчера после возврата и часу не простоял, снова бежал, и новоназначенный полковой командир Жильцов застрелился на коленях у воткнутого в землю знамени. Узналось и хуже: что убит генерал Мартос, достоверно говорили казаки из его сопровождения.

Тройную эту весть донесли до Самсонова. Трижды он снял фуражку, перекрестился. Жильцова – он так и поставил вчера. И Мартоса – так послал. Но печальный покой и новый смысл его лица уже и это не могло нарушить.

Самсонов как будто стал прислушиваться. И не к гаму вокруг. И не к отдалённой стрельбе. А – помимо.

Он покинул или даже забыл свою ведущую мысль – ехать оборонять Найденбург. Теперь он оставил штаб в Орлау и с малым конвоем поехал на передовые позиции, к Калужскому полку. Там, на подъезде, застал в овраге командира батальона, выгоняющего стёком из кустов своих солдат, бежавших с позиции, – и покинув свою цель – укрепление позиции, беседовал с этим подполковником отдельно.

А по Орлау слонялся без дела сердитый, пепельный армейский штаб – и не смел уехать без командующего. Но тут случилось кое-что и бодрое: внезапно приехал, доложить и за приказаньями, начальник штаба 13-го корпуса генерал Пестич. Оказывается, корпус – жил, был, существовал, шёл сюда, только не знал обстановки и не имел приказа. А вот стали подходить к Орлау и полки 15-го корпуса. Рассказывали о славном деле Кременчугского и Алексопольского полков в арьергардной засаде у Кунхенгута: в сумерках успели промерить расстояния, закрепить пулемёты и ружья – и в темноте облили огнём и откинули немецкую колонну трёх родов войск, густо шедшую в преследование. Полки и сейчас были бодры, и все старшие офицеры верили, что сегодня же, вот-вот, подойдёт выручка от фланговых корпусов, 6-го и 1-го.

И – оживились штабные: восстановить скользящий щит, и всё могло ещё обойтись хорошо. Сели сочинять, писать исправленный план. 13-му корпусу форсированно (а он и без того не медлил) отходить в направлении... с расчётом... 15-му, остаткам 23-го... держать фронт... Затруднение было в том, что недоставало корпусных и дивизионных командиров, а если их наскрести и правильно ими распорядиться, то штаб свободен и может уезжать на русскую территорию. Для этого вот что придумали: назначить единого командира над всеми частями, попавшими в беду. Вчера таким был Мартос, но Мартос убит. Как нельзя кстати был бы Кондратович, но никто его не видел, Кондратовича. Так естественно было передать руководство общим отходом – Ключеву, хотя он и позади всех, а Пестич сам возьмёт и



отвезёт ему приказ. Ещё был вопрос – подпишет ли такой приказ Самсонов.

Тут пришло достоверное известие, что сегодня утром под деревней Меркен лёг весь Каширский полк, и его полковник Каховской со знаменем в последней атаке.

Тем временем в Орлау – нет, на поле близ него, натоплялись части, отдельные и перемешанные, и тут всё запруживалось, ожидая своего назначения. Уходили обозы, парки, увозили раненых, но сгущенье не разрежалось. Место было открытое, предполуденное солнце пекло, не хватало воды, а еды и вовсе не спрашивай, и попахивало догниваньем боя, бывшего тут шесть дней назад. Беззащитным потерянным табором сгущались военные люди.

А фронт, все пять дней гудевший, какой-то вялый стал. Как если бы немцы помягчили, простили, не хотели догонять, выгонять русских.

Аэроплан пролетел над табором – и по нему не схватились бить.

Близ полудня возвращался с передовых Самсонов, но от излома дороги поехал не к дому, где оставил штаб, а напрямик, по жнивью, по холмистому взгорью – прямо к табору, в его густоту.

Необычно было перемешанное расположение частей, не имевших распоряжений. Необычен был подъезд генерала без команд на строй, равенье, отклики в двести глоток. Ещё необычнее сам генерал, грузно усталый, на коне: со снятой фуражкой в опущенной руке, подставленным солнцепёку теменем, с выраженьем не начальственным, но – сочувственным, но – печальным. Неуставно расстёгнута и его шинель лейб-гвардейского Атаманского полка с синими лацканами, с георгиевской ленточкой в петлице. Это был как храмовый праздник, но странный, без колокольного звона, без бабьих весёлых платков: съехались на гору хмурые мужики из окрестных деревень и объезжал их шагом то ли помещик, то ли поп верховой и обещал им не то землю дать, не то райскую жизнь за страдания в этой.

Командующий не кричал на солдат, что они ушли с передовых, никуда не гнал их, не требовал ничего. Негромко приветливо окликал он ближайших: “Из какой части, ребята?” (отвечали), “Велики ли потери?” (отвечали), крестился в память погибших, “Спасибо за службу!... Спасибо за службу!...” – кивал в одну, в другую сторону. И солдаты не знали, что отвечать, отзывался генералу вздох или стон неполных звуков, не полных до “рады стараться!”. С тем проезжал командующий дальше. И снова, глуше: из какой части, ребята?... велики ли потери?... спасибо за службу!...

В то самое время, как генерал начал этот прощальный объезд табора, другой полевой дорогой, под углом, подъехали верховые: полковник и солдат с длинными ногами, свешенными без стремян. По другому времени полковник этого солдата хотел представить командующему и просить Георгия. Сейчас оставил его на краю табора, а сам пробирался вглубь.

Полковник приехал на слух, что здесь – командующий. Вот добрался, вот уже был с Самсоновым рядом, начинал говорить – но тот, рассеянно отрешённый, не замечал его. И полковник сопровождал генерала вблизи.

Голос командующего был добр, и все, кого миновал он, прощаясь и благодаря, смотрели вослед ему добро, не было взглядов злых. Эта обнажённая голова с возвышенной печалью; это опознаваемо-русское, несмешанно-русское волосатое лицо, чернедь густой бороды, простые крупные уши и нос; эти плечи богатыря, придавленные невидимой тяжестью; этот проезд медленный, царский, допетровский, – не подвержены были проклятью.

Только сейчас Воротынцев разглядел (как он в первый раз не заметил? это не могло быть выражением минуты!), разглядел отродную обречённость во всём лице Самсонова: это был агнец семипудовый! Поглядывая чуть выше, чуть выше себя, он так и ждал себе сверху большой дубины в свой выкаченный подставленный лоб. Всю жизнь, может быть, ждал, ждал, сам не зная, а в сии минуты уже был вполне представлен.

Все эти дни, что они не виделись, Воротынцев старался думать о командующем хорошо, выплывало многое в обвиненье ему, а он искал в защиту и тревожился, чтобы

решительны и неопозданы были действия того. В первый вечер он почувствовал, что мог бы иметь на него верное и сильное влияние в главные минуты. Даже было колебание – задержаться в армейском штабе, никем, ничем, пришлёпкой, чужим глазом, ненужным и досадным всем. И минувшие дни порывало его вернуться повидать Самсонова, предупредить, помочь не оступиться – потому что эту оступку, оказывается, Воротынцев с первой минуты и ждал.

А за четверо с половиной суток совершилась вся катастрофа Второй армии. Вообще – русской Армии. Если (на торжественно-отпускающее лицо Самсонова глядя), если не (на это прощание допетровское, домосковское), если... не вообще...

С чем теперь он достиг Самсонова: как, со вчерашнего дня отступая и отступая, они ещё там держатся с остатками эстляндцев, на открытом месте, с одним пулемётом и последними патронами, – и для чего же? К 1-му корпусу отчего не переехал командующий? И почему в защищаемом месте здесь – табор? Зачем текут бессильными малымя массами? хотя б задержась на полсуток, а собрать ударный клин и лишь тогда прорываться! Но всё это, несомненно нужно Самсонову, почему-то не было ему нужно.

– Ваше высокопревосходительство!

Самсонов обернулся на запаленного, запыленного полковника с подмотанным плечом, с багровиной на челюсти, – и доброжелательно, но без ясного воспоминания кивнул и ему. Простил и его. Поблагодарил и его за службу.

– Ваше высокопревосходительство! Вы получили мою записку из Найденбурга, вчера?

Облако вины, вот только что и было на челе Самсонова. Может быть полуузнавая, может быть бессознательно:

– Нет, не получил.

И – что же теперь? И кому ж теперь рассказывать, как было под Уздау? как ещё вчера под Найденбургом?...

Поздно, ненужно: на такой высоте парил Самсонов, что это было ненужно ему, уже не окружённому наземным противником, уже не угрожаемому, уже превзошедшему все опасности. Нет, не облако вины, но облако непонятого величия проплывало по челу командующего: может быть по внешности он и сделал что противоречащее обычной земной стратегии и тактике, но с его новой точки зрения всё было глубоко верно.

– Я – полковник Воротынцев! Из Ставки! Я...

В своём не проезде, но проплывти над этим табором, над всем полем сражения, не нуждался командующий вспоминать прошлые земные встречи и прошлые дела.

Почему он – прощался? Куда уезжал? Вчера утром выехав к центральным корпусам – на кого ж сегодня покидал их? Почему не готовил группу прорыва? Его собственный револьвера барабан – полон ли?

Нет. И возрастом, и многолетним положением генерал-от-кавалерии всё равно был закрыт от доброго совета полковника, даже и не паря. В возвышенности и была беззащитность.

Головы их коней оказались рядом. И вдруг Самсонов улыбнулся Воротынцеву просто и сказал просто:

– Теперь мне остаётся только куропаткинское существование.

Узнал?...

Не оспаривая, он подписал подложенный ему приказ по армии.

Он вдруг осунулся, одряб. Когда после полудня штаб армии выехал из Орлау верхами, генерал Самсонов ещё держался в седле. Но по пути достали тележку – и Самсонов и Постовский сели в ней рядом, вплотную. И покачивались на ходу.

ощущение победы – победы над кем?... победы – зачем? Он долго не простил бы себе этого животного чувства, если б само оно не улетучилось в час-другой.

Что дала их полку эта победа – взятые орудия, и колонна пленных в полторы тысячи, которую теперь надо таскать за полком? Ничего. И дать не могла. Только продлила мучения, увеличила жертвы. От этой победы не прекратились бои и нисколько не легче прошёл день, напротив, тяжелее: целый день теперь с яростью била по ним немецкая артиллерия, немцы не тратили людей на контратаки, а били и били из орудий. И насколько ж они крупней калибрами, богаче снарядами! – целый день просидели утренние победители живыми мишенями, не раз ожидая себе верной смерти, и под обстрелом глубже вкапывались, и бросали выкопанное, оттягивались, а раненые отползали, уходили, их уносили.

И всё время обстрел был не редкий, а порой учащался в шквальные налёты. Опустошённый, умственно усталый, вялый, сам себе чужой, Саша отчаивался дожить до вечера. Скрючась в окопчике неполной глубины, он сидел, презирая себя как пушечное мясо, презирая в себе – пушечное мясо. Что ж можно было ждать от других, неразвитых и неграмотных, если вот он, активно-мыслящий человек, ничего не мог придумать, противопоставить, а сидел в мелкой ямке, для безопасности загнав голову меж колен, и весь день ожидал только – шмякнет или не шмякнет, пассивно ожидал, и даже уже без воли к жизни. Он пытался собирать свои мысли на чём-нибудь умном, интересном, – но ничто не входило в голову, а пустая костяная коробка свисала на шее и ждала: попадут в неё или не попадут.

Да при всеобщей воинской повинности никакой другой и не может быть война, вот только такой бессмысленной: людей гонят насильно, не спрашивая с них ненависти, гонят против неизвестных им, подобных же несчастных. Такая война не имеет оправданий. Другое дело – война добровольная, война против твоих действительных извечных социальных врагов: ты сам этих врагов узнал, ты сам их выбрал, ты – хочешь их уничтожить, потому тебе не страшно, что могут убить и тебя.

Если б десятую часть этих потерь, десятую часть этого терпения да половину этих снарядов потратить бы на революцию – какую прекрасную можно было бы устроить жизнь!

Один такой день пережить под обстрелом – постареешь. Вот этот один день пережить последний – и что-то радо менять. Твёрдо понял Саша: менять! Сегодня же ночью, как стихнет обстрел.

Но как – менять? Не в силах Саши было остановить всю войну. Значит, остановить её для самого себя. А для себя – как? Разумнее всего бы – эмигрировать, упущенная блаженная возможность – эмигрировать, как многие друзья. Там, в Швейцарии, во Франции, у них, не смотря на войну, конечно, продолжается свободная партийная жизнь, обмен идеями, живая работа. Но отсюда, из прусских окопчиков, эмигрировать можно только через линию фронта. То есть сдать в плен.

Можно! Сдаться в плен и разумно и можно: сохраняется главное – твоя жизнь, твои знания, общественные навыки. Потом ты возвратишь их трудящимся – и предосудительного ничего нет. Сдаться в плен – можно, но трудно. Под обстрелом открыто – не пойдёшь. Ночью – заблудишься, заперешься, убьют. Сдаться в плен – это нужно счастливое сильное перемешивание войск. А – сдавшись? Где уверенность, что немцы поверят, увидят в тебе социалиста? Какой-нибудь кайзеровский офицер – будет много разбираться? Да вообще – нужны им социалисты? Они и своих воевать гонят. В Швейцарию непустят, пошлют в лагерь военнопленных. Конечно, всё-таки спасение жизни. Но как перейти?...

Эти логические звенья трудно давались голове, словно распухшей. День – кончится когда-нибудь? Обстрел – кончится когда-нибудь? Откуда у немцев столько орудий? столько снарядов? Безмозглые наши дураки – как же смели войну начинать при таком неравенстве?

Но солнце спасительно опускалось, опускалось за немецкие спины – и кончился, всё-таки, день 15 августа. И обстрел стих. Не весь, ещё пулемёты раздирающе стучали долго в темноте. Но – пришла ночь. И Саша был жив.

Постепенная ночная свежесть. Подъехали кухни, кормили. Много было разборки по

взводу – строевая записка, имущество убитых, всё это Саша поручил унтеру. Все постепенно распрямлялись, разминались, голоса громчели. Перебирали события от ночи до ночи, кто ранен и кто убит, как всё было, – и вот уже смех раздался там и здесь – неисправимый народ! Не спешили спать – дышали, жили наступившей ночью. Навещали друг друга офицеры.

Час прошёл, два прошло – а Саша ничего не предпринимал, поужинал и в каком-то окостенении сидел просто так на чурбаке под разнесенным забором. Трудно было собраться, начать. А надо было просто – уйти. Опасно, но не опасней, чем на рассвете бежали в атаку.

Сила слухов. Не было передано никакого распоряжения, извещения, полк стоял в темноте, но откуда-то и по солдатам, и по офицерам просочилось: начали отступать... – мы отступаем... – Кременчугскому полку уже приказали... – Муромский и Нижегородский тоже готовятся... – генерал Мартос уехал... – фон-Торклуса нигде не могут найти... – скоро и нам... – скоро и нам...

Это ощущение разливается сверху: начальники бегут! нет их! Откуда становится известно, что их нет? Может быть убиты, в плен попали? Нет, слух как зараза: бегут начальники! Скоро и мы.

И сердце Саши заколотилось: верный момент! именно теперь! Нет, не ждать, пока прикажут полку отходить: и отведя, положат его под такой же обстрел, только деревней дальше. Но – уходить самому. Чем он хуже фон-Торклуса? Началась общая путаница, и оправдаться будет легко.

Взять кого-нибудь с собой – не приходило в голову. Вестовым Ленартович почти не пользовался. А вообще солдаты во взводе были замкнутые, запуганные, идейного пути к ним не было. Даже самых развязных спросить под вид шутки – а не скovyрнуть ли нам начальство? – губы сожмут, молчат.

Не было у Ленартовича карты. Сейчас он пошёл к штабс-капитану с каким-то предложением, и в доме при свече смотрел, запоминал. Улица Витмансдорфа переходила в дорогу на восток. Версты три... перейдёшь железную... ещё две... свернуть на церковь... дальше развилок трёх дорог... можно ещё и к передовым позициям назад угодить... а там – речка... там деревня Орлау... Что-то название знакомое.

Ленартович ловко всё это высмотрел и ушёл.

А больше у него дел не было: во взводе всё знал унтер. Самое дорогое – записная книжка с мыслями, она в кармане. Глупая палка – шашка, хоть сейчас её выкинуть по дороге. И револьвер, из которого Саша стрелял неважно.

Совсем уже стало тихо, почти мирно: после пулемётов одиночные ружейные выстрелы не угнетали, а успокаивали. Темно, а дорога жила: скрипели колёса, цокали подковы, хлопали кнуты, на лошадей ругались. Кто-то времени не терял, уходил.

И не возвращаясь ко взводу, шагом освобождённым, Ленартович зашагал туда же. Не связанный ни строем, ни колёсами, он легко обгонял поток. На случай задержки придумывал отговорки, почему идёт.

Но никто не проверял дорожного движения, все лились, куда им надо было. Ползли тяжёлые санитарные фургоны. Грохотали зарядные ящики, призывая цепями постромок. Сперва в один ряд, а там вливались сбоку, и шло уже дальше в два ряда, занимая всю дорогу. При встречных – матерились, не пропускали, теснились. А вереницею двигались мирно, ездовые шли рядом в разговорах, попыхивали цыгарочные огоньки.

Никто не проверял, и радостные ноги несли прапорщика дальше. Ещё было время вернуться, ещё б отлучки его не заметили, но он верно решил, что не имеет права бессмысленно так погибать за чужое. Он твёрдо отталкивался от твёрдой дороги – и укреплялся в достоинстве не быть пушечным мясом.

Но не как просто оказалось на дороге, как по карте, и это мешало рассвободиться мыслям. Подъёмы, спуски, мосты, дамба – этого всего он не заметил, когда смотрел. Церковь он нашёл, но дальше опять шли дома, а Саша забыл, как скоро главный развилок. Какой-то развилок нашёлся, но вела дальше обсаженная дорога, а он ждал полевою.

Никого спрашивать не хотелось. И совсем темно. И вот когда утомленье разобрало,

сказались черезсильные сутки. Саша отошёл, в копну лёг. Пить хотелось очень, но фляжки не было, и искать воду негде.

Он проснулся на рассвете – пробрало холодком и в соломе. Обобрался и возвращался к дороге, как увидел на ней казаков, проходящих шагом, малыми отрядами, через перерывы, – и вернулся в копну. Это было сильней разума, как врождено. Каждый казак ощущался с детства инстинктивным врагом, их строй – сомкнутой тупой силой. И даже наряженный в офицеры (а впрочем, форма хорошо к нему пришлась, говорили), всё равно Саша чувствовал себя перед казаками студентом.

Миновали казаки, покатило длинный обоз, и Саша выходил на дорогу. Наткнулся на сваленную кучу, это оказался хлеб, армейский печёный хлеб – уже чёрствый и даже заплесневелый. Наступали без хлеба, а вот – выкинут хлеб! – кто-то повозку освобождал для другого.

А есть хотелось! Но странно бы офицеру нести буханки под мышкой. Он шашкою разрезал одну, рассовал, пожевал – и пошёл.

Взошло солнце. Всё так же никто никого не задерживал, не спрашивал. А во всех, кто ехал и шёл, было новое, сразу даже не назвать: будто при оружии, при амуниции, по делу или в составе части, будто ещё не бегство, ещё подчинённая своим командирам армия, а уже не та: не так оборачивались на офицеров и на лицах появилось выражение своей озабоченности, не общего дела.

Отлично! Тем безопаснее было Саше.

Дорога оказалась верная, на Орлау, и спускалась к мельничной плотине, но тут из лесу вливалась и другая, и по двум дорогам набралось столько пушек, ящиков, телег, конных и пеших, что не обогнать было по краю и дожидаться очереди не просто. Павших заморенных лошадей подстреливали, выпрягали. Ближе к плотине тесней стояли, зацепливались повозки. Один зарядный ящик с раскату врезался дышлом в спину передней запряжке и убил лошадь. Перепрягали, кричали, чуть не дрались. Ожесточались солдаты и офицеры, маленький штабс-капитан, перевязанный по лбу, свирепо кричал высокому командиру батареи:

– Штыками вас задержу, а не пропущу!

а командир батареи намахивал на него длинной рукой:

– Колёсами буду вашу пехоту давить!

Каждый старался пропускать своих, а чужих никого. Но тут провалились две доски на плотине – и стали скликать на ремонт. Из солдат выдвинулись и плотники-охотники. Сверху видно было, как там столпились офицеры и каждый показывал и учил, как надо делать. Но старший плотник – дородный старик с богатыми седыми усами и в рубахе навыпуск без пояса, отстранял без разбору хоть офицеров, хоть солдат, и показывал и делал по-своему.

А солнце уже высоко стало, накаляло эту тесноту. И в речке – неширокой, а глубиной по грудь, стали лошадей поить и купаться до полного взмучиванья – сперва солдаты, там и офицеры.

А по ту сторону, на откосе и на высоте, как раз и было место знаменитого боя, здесь-то и положили первые несколько тысяч, набившие найденбургские госпитали, – и тем бессмысленнее показывала себя война: для того и клались тысячи, чтобы немного потеснить немцев на север; из-за того теперь скоплялись, голодные, злые, хлестали друг другу лошадей и лезли к морде, что немцы по тому же месту теснили нас на юг.

Но никакие беды, никакая кровь не может разбудить русского терпения. Из тысяч полутора, стеснившихся перед плотинной, никто этого не понимал, никому нельзя было объяснить.

Уже не от одного слышал Ленартович, что Найденбург этой ночью сдан. Куда ж тогда лился весь поток и на что сам Ленартович надеялся? Он плохо понимал. Он посмотрел дорогу только до Орлау, а дальше не представлял.

Наверху, в стороне, ожидая очереди на переправу, стояли лазаретные линейки, в одной из них лежал раненый приветливый подполковник. Разговорились, подполковник достал карту, развернули поверх его тела и смотрели вместе. Что-то плёл ему Саша, зачем он послан

и куда, а сам смекал: большой лесной язык... если его пересечь по просеке... деревня Грюнфлис в сторону Найденбурга... Отбиться в лесу и дожидаться немцев? Но теперь уже – жалко в плен, в этом хаосе можно и чистеньким выйти. Да выйти ли? Огромный лес зеленел на пути отступающей армии – а уж за ним, наверно, пулемёты. “Окружают” – откуда-то все вывели и знали.

Раздеваться и вброд по топкому дну Саша не захотел, много времени потерял на плотине.

Близ Орлау на поле беспорядочно скопились части и чего-то ждали. На огородах копали, что придётся, – репу, морковку, ели. Через это скопище и приходилось Саше идти в намеченный лес. Но теперь вполне бесстрашно он пробирался, зная, что уж в этом расстройстве и перепутанности никто его не спросит, не задержит.

И ошибся. Хотя это было скопище, однако его как на параде объезжали, здоровались, что-то говорили. И Ленартович узнал командующего армией (он близко видел его в Найденбурге).

Да, это был генерал Самсонов! На крупном коне и крупный сам, как олеографический картинный богатырь, он медленно объезжал цыганоподобный табор, словно не замечая: его позорного отличия от парадного строя. Никто не подавал ему “смирно”, никому он не разрешал “вольно”, иногда брал руку к козырьку, а то не по-военному, по-человечески снимал фуражку и прощался этим движением. Он был задумчив, рассеян, не влѣк при себе главной силы командира – страха.

Он близко уже наезжал, а прапорщик Ленартович не поспешил посторониться, он глаз не мог оторвать от этого зрелища, радостных глаз! А-а-а, вот как с вами надо! – и какие ж вы сразу становитесь добренькие. А-а-а, вот когда вы смякаете, иконостасные, – когда вас трахнут хорошо по лбу! По-до-ждите, подождите, ещё получите!

Так он смотрел с зачарованной ненавистью – а командующий ехал прямо на него. И прямо как будто его, только что не назвав по чину, но прапорщику в глаза своими коровьими, покорными, отсутственными глядя, отечески спросил:

– А здесь? А вы?

Вот так сплошал! – и думать некогда, и уйти нельзя, все соседи ждут от него, а – что сказать? Соврать? – тоже нельзя... Так чем выпалительней, тем лучше:

– 29-го Черниговского, ваше высокопревосходительство! – и какое-то там движение рукой как рыбьим плавником, вместо чести. (Когда-нибудь Веронике и друзьям петербургским рассказывать, если уцелеть!)

Не удивился Самсонов. Нисколько не задумался: откуда ж тут Черниговский полк, его быть не должно. Нет, улыбнулся, тёплый вспоминающий свет прошёл по его лицу:

– А-а, славные черниговцы!...

(Ну, влип! Вот начнёт расспрашивать?)

– ... Вам, черниговцы, особенное спасибо...

И кивнул – отпускающе. Понимающе. Благодарно.

И поехал шагом дальше.

Конь его тоже как будто закивался, глубоко опустил шею.

И в широкую спину ещё больше был похож командующий на богатыря из сказки, понуро-печального перед раздорожьем: “вправо пойдёшь... влево пойдёшь...”

## 46

Как бы игрой нарочитой был загнан 13-й корпус, чтобы наименее ему отступить. Так легли озёра, чтобы не проскочить корпусу по единственному пути спасения. Ему надо было уходить косо на юго-восток, – но сразу же навстречу семивёрстное озеро Плауцигер, два дальних плёса как две останавливающих руки раскинув, голубой глубиной зло мерцало ему: “не выпущу!” За кончиком левой руки зыбилась двухсаженная плотина Шлага-М – и тут же цепочкою малых озёр и снова раскинутыми шестивёрстными крылами озера

Маранзен закрывала дорогу корпусу враждебная прусская вода. Дорого отдав за Шлагу-М и прорвавшись всё-таки на юго-восток, имел корпус опять единственную лазейку у Шведриха – мост и дамбу, и должен был узкой ниткой проскочить через неё. А проскочивши, попадал не на простор своему искусному движению, но оказывался загнан в северо-южный коридор между двумя водными заградами: позади – цепью пройденных озёр, впереди – десятивёрстным озером Ланскер и ожерельем мелких, соединённых заболоченною рекою Алле. А и эту, вторую, заграду проскочив, упирался корпус в третьи водные объятия – снова в шесть вёрст запретно раскинутых крыл разветвлённого хвостатого озера Омулёв. И – никак уже не мог идти, куда ему надо, а должен был покорно сосовываться на юг, на столкновение с соседним 15-м корпусом, и далее, где дороги уже будут пересечены неприятелем. И даже обогнув озеро Омулёв, попадал он в бескрайнем грюнфлисском лесу так, что единственная прямая мощёная дорога Грюнфлис-Кальтенборн шла ему точно поперёк, а пробираться оставалось извилистыми лесными.

Именно этому злосчастному 13-му, уж и так отшагавшему более всех, досталось от Алленштейна за 40 часов сделать 70 вёрст, без куса сухаря и с лошадьми некормленными, нераспрягаемыми.

Но разве только лошадьё и не понимается особенность этого вида боя – бегства. Чтобы слать низших в наступление, приходится высшим искать лозунги, доводы, выдвигать награды и угрозы, а то и самим непременно идти впереди. Задача же бегства понимается мгновенно и непротиворечиво сверху донизу всеми, и нижний чин проникается ею несопротивительней корпусного командира. Всем порывом готовно отзывается на неё разбуженный, три дня не евший, разутый, обезноженный, безоружный, больной, раненый, тупоумный, – и только тот безучастен, кого уже нельзя добудиться. В ночь ли, в ненастье, единая эта идея ухватывается всеми, и все готовы на жертвы, не прося наград.

Ещё прошлую ночью 13-й не мог идти на выручку 15-му, потому что был утомлён и снабженье отстало. А в следующую – никто не ворчал об отставших кухнях, не спрашивал о днёвках, но со скоростью необычайной из чужих лесов и озёрных проходов убирал своё распученное тело корпус.

Кроме только арьергардов.

В русской армии Четырнадцатого года арьергарды – не спасали себя сдачею. Арьергарды – умирали.

В хохенштейнской котловине Каширский полк и два батальона отставшего Невского были вкруговую атакованы подошедшим корпусом фон-Белова, а две русских батарейки заглохли под шестнадцатью тяжёлыми немецкими орудиями и семью десятками полевых. Но и без артиллерии бились каширцы до двух часов дня, ещё контратаковав вокзал, и ещё до вечера держались одиночки в зданиях. Убитый при знамени полковник Каховской выиграл время, как было ему приказано.

В межозёрном суженьи у Шведриха окопался наиболее пока уцелевший Софийский полк и тут кровопролитно бился до трёх часов дня, так искупив и свою вину двухлетней давности: с 1912 года лежало на нём пятно и не был он выводим на парады за то, что в столетие Бородина, на бородинском поле, один солдат-софиец бросился с челобитной к царю. Теперь по три роты его сводились в одну, и то не набиралось сотни. Но отстали и преследователи.

Изо всех опасных дальних мест убрался 13-й корпус.

Однако не помогла ему доблесть его арьергардов: он и дальше не мог растечься широким фронтом, а шло уже к концу 16-е августа. За ночь надо было ему проскользнуть за спиной 15-го корпуса, а тот сам теснился, сбивался на те же дороги. Да и корпус уже не был корпусом, редкий полк – полком, а то – в нескольких ротах. Правда, ещё сохранялась сотня орудий и не отбилась парковая бригада со снарядами, а близ полудня представился генералу Ключеву – 40-й Донской полк, целёхонький, бодрый, только что из России, в отличном виде, – та самая корпусная конница, которой не хватало всё сражение...

Генерал Ключев не обрадовался этой ещё новой обузе и не придумал, что с донским

полком делать. Ещё меньше обрадовался он привезенному Пестичем приказу принять командование всеми тремя корпусами. Вот это ловкачи! – они все бежали, а Клюева оставили погибать в мешке. И где эти чужие корпуса искать, когда своего не досчитаешься?

Одна была выгода: до сих пор Клюев считал, что Мартосу отвели на отход более удобные западные пути, а ему – лесные, глухие. Теперь же он мог перераспорядиться.

И перед вечером, от озера Омулёв, не разведав дорог, ни – кто на них, свернул всем корпусом не налево, как ему было велено, а направо. И врезался в тылы 15-го корпуса.

А 15-й за предыдущие дни так изнурил противника, что обеспечил теперь себе в меру беспрепятственный отход: только артиллерия постреливала ему вослед, и занимали немцы лишь те места, которые корпус уже покинул. Но отступал он уже не как целое – без штаба, без многих старших командиров, убитых или исчезнувших, и отступал на полдня раньше, чем требовал “скользящий” план, тем самым разрушая его: боевые участки, заграждающие с запада, таяли. До темноты держали “щит” только остатки 23-го корпуса, неведомо какой ещё кровью, а 15-й, из-за перехвата немцами дорог под Найденбургом, всё более втягивался в необъятный Грюнфлиссский лес, чернот-мрачный задолго до сумерок.

Тут-то и столкнулись корпуса под прямым углом на роковом перекрестке в непроглядной уже черноте лесной ночи; тут, где днём четыре телеги разъехаться не могли, должны были ночью пройти **сквозь** друга друга два корпуса! Если до сего часа ещё как-нибудь существовала Вторая русская армия – с этого перекрестка она перестала существовать.

Что там выкрикано было, взахлёб и матерно, что за поводья, за дышла схвачено, отведено, по лошадиной морде бито, в сторону отжато, в хруст веток вломлено – только те знают, кто сам на фронте попадал. Во главе колонн не оказалось, конечно, старших командиров, а те младшие, что были, не сразу друг до друга докричались, опознались и придумали: стать на перекрестке, как врытые; солдата каждого, за плечи схватив, спрашивать, из какой он части; и весь 13-й корпус направлять на восток, на Кальтенборн; а 15-й и 23-й – на юг. Так руками перешупать оба корпуса и пустить их не вперекрест, а вразводку.

Показался адовой чёрной щелью тот лесной перекресток, где днями светило мирное солнце через мирные сосны. Горло своё на перекрестке довольно поупражняв, а всё не прихрипнув, замолчал Чернега, только пересчитавши, что все его колёса повернули, – и не узнал, что на этом-то перекрестке пять дней назад их уже подталкивала пехтура услужливого веснушчатого подпоручика Харитонова. И в той заглохшей чёрной дороге, какую они потянулись дальше, тоже не прознавалась прежняя дневная, прохладная в зной, по которой они уже тягались раз из Омулёффа и возвращались в него же.

Разведенные двумя дорогами массы потекли по лесу наудачу, на ощупь, то и дело останавливаясь. Брели солдаты, двое суток не евшие; без воды в баклажках, а во рту пересохло, хоть грязь сосать; без веры уже в своих генералов и в то, что разум есть, как их гоняют; и уже скрывая свои номера рот, не давая себя разбирать; и просто отваливаясь в сторону, да на земле засыпая.

И только конница, чья подвижность и скорость не приходилась к месту все эти дни, теперь использовала свою способность. Потянулся конный к конному, а пуще – донец к донцу: кто видел, узнал, успел – собирались к одной конной колонне. Дошла до них та непоправимая сдвигка частей и сдвигка в умах, после которой уже не восстанавливается армия. И конница пошла туда, где, как понимала, ещё есть выход: у самого дальнего завязав мешка. Роковой перекресток, где всё смешалось, обошли они прежде, засветло. Деревни, где на рассвете и завтра, достанется биться российской пехоте, прошли они, опережая немцев. И двадцативёрстную лесную дорогу до Вилленберга, какая завтра будет пехоте бесконечней пути на небо, бодро отмахали кони. По пути прихватили донцы легендарного фон-Торклуса, кого своя дивизия найти не могла, а драгуны – армейский штаб. Вилленберг уже был у немцев, ещё раз свернули, прорвали в лесу, поставили у Хоржеле арьергардную переправу, а сами уходили дальше.



Не так-то мало: сюда, батареи! сюда, парки! сюда, пехота! Пробивайтесь, мы ждём, мы держим.

Да что-то ребяташки не шли, не катили. Только завтра, уже при свете, они будут выбираться из лесу – и немцы коварно будут выпускать их на километр на голое пространство – а потом повально расстреливать из пулемётов и пушек.

К вечеру 16-го уже не существовала Вторая армия, а – перемешанная неуправляемая толпа. Утром 16-го донские казаки были верной частью общероссийского воинства, к вечеру самостийно смекнули они, что своя донская рубашка к телу ближе.

С Россией-матушкой пропадёшь к этой самой матушке!... У донцов – своя судьба, айда пробиваться, казачки!

И не в упрёк им, ибо не с них началось.

Так в разряде школьной магнитной катушки предвещательно умеет явить себя несравненная небесная гроза.

\*\*\*\*\*

## ЦАРЬ И НАРОД – ВСЁ В ЗЕМЛЮ ПОЙДЁТ

\*\*\*\*\*

### 47

Ощущение чистоты мягко вливалось в отдыхающее тело. Как он заснул – он не заметил, и как проснулся – не заметил, и даже он ещё не проснулся. Он только имел силы размежить веки и увидеть близко перед глазами эту травку – такую нетронутую, ровную, шёлковую, от которой и вливалась в тело чистота. Может быть ощутил он себя на боку, может ещё угол поляны видел, но не доясна, а травка заняла всё его размягчённое ненаправленное внимание.

Травка его детства. Такая точно, как сеянная, ну может с подмесью калачиков, росла в их поместном запустелом дворе в Застружьи, и такая же – по широкой улице деревни: густая, сильная, а короткая, не для косы. Дворов было в Застружьи мало, скот на улицу не выгоняли, так редко по ней ездили, что ни дороги, ни даже вдавленных травяных колеи не оставалось, а сплошная мурава, по которой они с деревенскими ребяташками катались.

Он силу нашёл только пальцами нижней руки пошевелить, потрогать травку. Да, такая.

А больше – не было сил. Спасительно, охранительно не было сил даже вспомнить: которое число, какое место, отчего он здесь, почему так покойно? А вот от муравы легко-легко скользила память.

К часовне. Каменная часовенка на той улице, за особым заборцем. Даже не часовенка, потому что и один человек, войдя в неё, не мог бы распрямиться. Как бы – деревенский алтарёк под крышей.

К молебнам. Их служили и перед часовней и просто в поле, когда за пять вёрст из приходской церкви к ним приходил крестный ход в храмовый праздник Успения, по костромскому лету может быть и выбранный так, чтобы кончать собой уборку хлеба.

Успеный день – когда? Это – было, будет?... Не вспоминалось. Предупредительно загорожено было всё, что вело к приближению, к пробуждению.

Седовласый почтенный батюшка никогда не приезжал в тарантасе, а всегда шёл пешком, с непокрытой головой. И две иконы несли, по две бабы каждую. Но главный добровольный состав шествия был – подростки. Двое-трое старших напряжённо-важно несли хоругви, а горохом вокруг – головастые, голостриженные ребяташки в белых и

тёмных рубашёнках под поясками, со снятыми картузёнками в руках, без смеха, без шалостей. И девочки – в длинных-предлинных юбках и, до самой малой, всегда в платочках: женской голове не полагалось бывать открытой. Приходили в лапотках и босиком, но в чистенькой всегда одежде, и столько доверия простодушного (обязывающего), столько чистой веры было в лицах, разлитая мягкость смывала озорную остроту. И две одинокие хоругви двигались праздником на всю распахнутую окрестность.

Щежит всякая память о том месте, где ты взрос. Пусть оно другим безразлично, ничем не отменно, – а тебе всегда лучшее на Земле. Неповторимые тоскливые изгибы полевой дороги в обмин оградных столбов. Покоселый каретный сарай. Солнечные часы посреди двора. Изгорбленная запущенная неогороженная теннисная площадка. Безверхая беседка, сложенная из берёзовых прясел.

Когда делилось между пятью детьми оскуделое имущество деда, отец отказался от всяких долей и просил только отдать ему Застружье – для души, для одиноких прогулок-размышлений о неудавшейся жизни, потому что угодий там уже тогда не оставалось никаких, польца хватало только чтобы прокормить семью управляющего (он же и конюх), лишь на Рождество и Пасху присылали в Москву хозяевам двух-трёх индюшек да круг топлёного масла. А когда-то строил их каменный двухэтажный доампирный строгий дом поручик-конногвардеец Егор Воротынцев, о пожаловании которого именной указ Елизаветы хранился у них на московской квартире, каллиграфический.

От того указа, от того поручика конногвардейцев и протянулась жизнь нового Георгия – в армию опять, после двух поколений гражданских. (Смутно был он уверен в большем: что они – какая-то линия от угасшего рода бояр Воротынских на Угре, от славного воеводы Михайлы Воротынского, сожжённого Грозным на костре, из-за того что видел в нём соперника престолу. Но – не хватало звеньев, недоказуемо).

Глаза уже полностью были открыты и видели всю поляну, вкрапленье нескольких дубов в замкнутое медно-хвойное море, предвечерний свет, – а тут отложило разом и уши, и услышалось погромыхивание артиллерии, не так далеко и не редкое. И – одним рывком унесло всё расслабленное успокоение, опять загудел пустой котёл души, вступило раскалённым кузнечным ковом:

Самсонов – прощался с армией! Это было сегодня, несколько вёрст отсюда. Всё пропало, помочь нельзя.

И его эстляндцев уже не было с ним – убеждённых им, возвращённых им и не зря ли погубленных?

И коня уже не было при нём. Коней, их двое. Арсений?...

Воротынцев на локте поднял ломотное тело, посмотрел вправо, влево – не было Арсения. Через спину, шею изворачивая, в плече и в челюсти боль, окинулся – здесь. Лежал на спине во всю растяжку, головой на чурке. Если спал, то с недокрытыми глазами. Нет, не спал, посматривал, но лицо покойно, как у сонного.

Этот один и остался на нём. Рвался Воротынцев повлиять, помочь целой армии. И остался с одним солдатом.

– Мы спали? – тревожно проверил. Арсений не сразу, не по-военному, сладко рот растянул:

– А-га.

– Как это? Мы не должны были спать! – изумлялся Воротынцев, а всё ещё не было полной силы вскочить, и он только перевалился на другой бок, к Арсению. Вытянул часы, но и глядя на них, не мог точно сообразить.

У тела свой ритм, свой допустимый темп. Как быстро ни завихривались полки и дивизии, воронкой втягиваемые в пропасть поражения, – комочек тела не мог начать в этой круговерти своего самостоятельного противного движения, пока в нём что-то предыдущее не замкнулось и не отпало через сон неподвижный и ленивое это лежанье с разглядыванием близких былинки. Какой-то срок оцепенения и самовозврата должно было перебыть тело от прежней скорости с одним смыслом до новой скорости с другим.

Как же можно было спать? И едва ль не четыре часа! На пять минут прилегли... Армия гибнет, кого-то можно выводить, что-то делать, – а он спал!

– Почему ж ты меня не разбудил? Ты же знал, что спать нельзя?!

Арсений чмокнул, вздохнул, зевнул:

– Так и я же спал, ваше... ваше... Я – три ночи не спамши. А вы вон пятую. Куды ж нам идти?

Ну, сон ладно, он прав, тело лежит, придавленное к земле, благодарное, и ещё сейчас не может подняться. Но не знает солдат, что полковник свалился на землю не от усталости. Пятеро суток от Остроленки он скакал, убеждал, призывал – а тут свалился. От отчаянья. Вот отчаянья он за собой прежде не знал, вот этого и не мог простить. Лежал, мямлил, вспоминал прошлое – а прошлое не помнится в добрый час.

Возвращалось ошеломлённое сознание, но и сейчас Воротынцев не мог охватить всех размеров катастрофы – необъятной, неуправляемой. Ни всего, ни большей части спасти уже было нельзя. Но что-то же можно? что-то же делать! Да-а-а, вспомнил он, – карта пропала, с конём и карта. Так он ослеп.

Воротынцев промычал, кулаком постучал по лбу. Через немочь тела – благодарного, благодарного за отдых, подтянул колени, обнял их. Хоть бы карту! хоть бы карту!...

Осталась голова – осталась в голове и примерная общая конфигурация, но это не то.

Воротынцев больше повернулся на Арсения. Под вниманием полковника нехотя приподнялся и тот, руками сзади подпёр туловище, а длинные ноги так и не пошевелил. Фуражка его опрокинулась на землю, волосы были заложмачены и вид хмурый, как с перепоя. Моргал.

– Завёл я тебя, – сообразил Воротынцев. – Остался бы ты там, не окружили.

– Може б там уже и без головы, – уступчиво шатнул её Арсений. – Что выпито, что пролито, того не разделишь.

Ещё раз удивился Воротынцев самолюбию этого солдата: как он умел, не выходя из подчинения, быть и сам по себе особо. Без офицерской снисходительности, как человеку своего круга, тихо сказал ему:

– Но мы выберемся, ты не думай.

– Ещё б не выбратся! – выпятил шлёпистые губы Арсений. – По такому-то лесу!

– Да он к шоссе, кажется, не подходит. А по шоссе – немцы.

– Ну, так и здесь переосенюем. Пока цепь снимут.

– Как это переосенюем?

– Да в шалаше сокроемся, до зимы. Кореньями да ягодами всегда живы будем.

– Три месяца?

Благодарёв сощурился важно, будто вдаль:

– Жива-али люди. И годами.

– Кто такие?

– Да хоть и в пустынях.

– Да мы ж с тобой не пустычники! Мы – подохнем.

Со знанием покосился Благодарёв из своего подпёрто-высокого положения:

– Коли надо – всё можно.

– Но мы не монахи, мы военные. Мы пробиваться будем. И как можно скорей, пока силы ещё. Ведь живот грызёт?

– Да уж и отгрызло, – пустыми зубами жевнул Арсений.

Этот сон вповалку придал силы им. Уже не батальоны собирать, а – самим пробиться. Ему, Воротынцеву, пробиться в Ставку, правду найти и правду рассказать. И тогда вся поездка будет не зря! Вот и долг его, и во всей окружённой армии – его одного. А батальоны собирать – есть офицеры кроме.

И вновь – как отложило уши. Воротынцев услышал – тишину. Артиллерия не била больше. Иногда – ружейный дальний выстрел. Иногда – очередь из двух-трёх.

Это могло значить: кончено всё!

И он оперся – вскочить! (Да не той рукой, кольнуло плечо). А получилось – насторожился вслед за Арсением: тот, кажется, ушами шевельнул отдельно и, скинув отупенье, живо смотрел между деревьями.

Хрустя, шли сюда.

Шёл – один. Неуверенно.

– Наш, – определил Арсений.

Раз один – не могло быть иначе.

Но остались у земли.

А тот – шёл. Брёл. Офицер. Худенький. Не молодой даже, юный. Раненый? – так шашка ему тяжела. Что-то знакомое.

– Подпоручик! – узнал, крикнул, поднялся Воротынцев. – Ростовский?

Из испуга – и сразу в радость перекинуло безусого дитятного подпоручика:

– О-о, господин полковник!

– А вас – не эвакуировали? Вы что ж, пешком из госпиталя? – Но ответить не дав: – А карты – нет у вас случайно, а?

На подпоручике – не португеза, но с особой важностью вертикальные подпогонные ремни с пряжками – от каждого плеча и прямо к поясу. А при узенькой фигуре – офицерская сумка самого большого размера, и забитая.

– А как же! – ещё просиял бледный подпоручик и расстёгивал сумку. И, похвалы ища: – Да какая чёткая, немецкая! Я в Хохенштейне нашёл! А в госпитале подклеил.

Но говорил – с усилием. И стоял с усилием. Тошнило ли, лечь хотелось?

– Ах вы, молодец! ах вы, молодец! – потрепал его Воротынцев по спине. – Вы куда ранены? Да, вы контужены. Голова? Ну всё-таки проходит? Вы вот что, шинель на землю и ложитесь пока, вы бледный!... Я сказал – ложитесь!

А сам уже разворачивал, раскидывал карту по траве – надвое, надвое, надвое. И уже нависал над ней, наклонился как сокол над жертвой. Что он спал полчаса назад, что он вообще способен успокоиться и лежать – было непредставимо.

– Арсений, подай сучков, углы придавить. Так, подпоручик, объясните, как вы шли.

Воротынцев стоял перед картой на коленях, а Харитонов лежал на животе, скрутку шинели держа под грудью и тем возвышаясь. Иногда он отдышивался, а то глаза прикрывал, но старался говорить без перерывов, чётко и пободрей. Он рассказывал и тут же показывал по карте, пальцами без всякой отделки и отроста ногтей, как вчера вечером вышел из Найденбурга, как уже было перехвачено шоссе. Как он приближался к нему, и отходил, и где ночевал. А сегодня пошёл на деревню Грюнфлис, но...

– Как, и Грюнфлис? Когда они вошли?

– Да не соврать... часа три назад...

Пока тут спали...

... Как он думал: найти свой полк при 15-м корпусе...

– И где, по-вашему, мы сейчас находимся?

– Вот здесь точно. Если дальше идти, должна быть вырубка справа, а потом край леса и должно открыться Орлау.

– Правильно, подпоручик! Мы оттуда, всё правильно. Только вам уже полка не искать.

Карта – была, исходная точка – была, остальное – на свой глаз и свой ум. Мысли быстро собирались к нужному, как прислуга к орудию, как рота “в ружьё!”. Там, где зев большого мешка, – туда бросятся все русские: ещё, может быть, не завязано. Все постараются выходить дальше от немецкой западной стенки, а мы выйдем как можно ближе. Немцы тут тоже не очень задерживаются, они гонят дальше – закруглить, замкнуть кольцо. И нет тут езженных дорог, тем лучше для малой группы. А просеки идут как раз на юго-восток, как нам и надо. Только сделать петлю версты на три, обойти безлесный грюнфлисский треугольник. И – всё лесом, и дальше. Железная дорога в густом лесу, по ней никого не будет. И опять просеками. И вот единственное малое место, два раза по полуверсте, у деревни Модлькен, где лес подходит к шоссе вплотную, совсем вплотную. Вот

здесь и переходить! И ещё хорошо получается: как можно меньше вёрст. Меньше вёрст – меньше сил, быстрее выходить. Отсиживаться в лесу и ждать, что с шоссе разойдутся, – ложный расчёт, они ещё и колючую проволоку натянут. Нет, как можно скорей! Но сегодня ночью уже не успеть. Значит, завтрашней ночью. А за сутки подобраться к шоссе. Вот и маршрут, и время, и место, и план – готовы.

На раскинутой карте зеленел перед Воротынцевым Грюнфлисский лес – огромный, но всё же расчерченный аккуратно на четверть тысячи прямоугольных пронумерованных кварталов, подсчитанный, исхоженный, подчинённый бежавшим лесникам – почему же не Воротынцеву?

Из своих рассуждений он часть выговаривал вслух Харитонову. Контуженный – это будет слабое место. Но так неотклонен военный порыв подпоручика, с таким сияньем и освобожденьем слушал он план старшего офицера, ещё от травы, от земли набирая сил, что не было сомнений: он не поддаст.

– А какого вы училища, подпоручик?

– Александровского.

– Нашего??

Обрадовались оба. Да вспоминать некогда.

Благодарёв босиком, нежа крупные лапы в траве, стоял рядом в рост, вольно извалясь на одну ногу. Он как бы с высоты аэроплана поглядывал на распростёртую Пруссию. Теперь она была схвачена, была – их.

Несколько часов назад в тупом упадке и бессилии свалился Воротынцев на этом месте. Час назад он не имел силы даже подумать о том, что надо было делать. А сейчас просверкнул и выстроился бессомненный план – и уже казалось Воротынцеву невысказанно минуту упускать, а разжимались и выталкивали пружины: скорей! скорей бы!

– А ну-ка, Арсений, возьми за два угла.

Прокрутили и по компасу сориентировали карту. И маленькая их затерянная полянка стала в строгую систему леса. И поперечная просека показала, как надо начинать идти.

– Ну что ж, ребята? – не терпелось Воротынцеву. – Пошли? – И с опасением на подпоручика: – Трудно? Ещё полежать?

Да, ему бы полежать, но:

– Я готов, я готов, господин полковник!

Арсений чмокнул громко и стал обуваться.

Воротынцев бережно сложил карту, соображая какие ближайшие развороты понадобятся, и прокладывая новые сгибы, чтоб обтёртые старые береглись.

На запад от них ближе всего был простор, но даже оттуда не пробивалось солнце, канувшее за лесную глубь. Бронзово-шелушистые лесины стояли тёмные, и только хвойные головки их, за десятой саженью высоты, отзолачивали ещё.

– Так! – решительно скомандовал Воротынцев, оглядывая, как на больном подпоручике болтается шашка. – Бросьте её!

– Как? – не понял Харитонов. Изумился: – Как?

– Кидайте-кидайте! – властно показывал Воротынцев. – Я вам приказываю! Я отвечаю. Я и сам свою скоро брошу.

Однако оставил.

– Тогда я... сломаю, господин полковник?

– Силы нет ломать. Ты, Арсений, пойдёшь последним. Возьми у подпоручика шинель. – И пальцем ответил Харитонову на протест.

Пошли гуськом. Теперь только с сумкой полевой и револьвером, в ременной “шлее”, худенький юноша старательно, прямо, с головой неопущенной, пошёл между коренастым легконогим полковником и загибающим редкими шагами солдатом. Кроме двух шинелей, двух винтовок, за спинного мешка, котелка, баклажки, ещё нёс Благодарёв свинцовый патронный ящик нераспечатанный, и била сапёрная лопатка по бедру, – а всё как будто належке.

Прошли они намеченные три квартала, свернули. Ещё с полквартала прошли. Тонкий лунный серпик тоже запал, преждевременная темнота уже наступала в лесу, но Арсений заметил в стороне от просеки, деревьев за десять человека на пне.

– Хо! – как в бочку гакнул он. – Сидит!

Весь лес теперь так, каждый куст мог ожить.

Всмотрелись и офицеры. Сидел. Не стрелял. Не бежал. Не прятался. Но и не бросился навстречу землякам.

Встал. Медленно пошёл к ним.

На просеке ещё хватало света увидеть, что всё на нём землёй измазано, и лицо грязное, а гордо-поставленное и строгое. Прапорщик. Тоже без шашки. Заметил полковничьи погоны, колебнулся, отдавать ли честь. Не отдал, не подтянулся особо. Ну да по-лесному. Хмурился. Как будто задумавшись или в груди его колело, сообщил не сразу:

– Прапорщик Ленартович, Черниговского полка.

Воротынцев за эту минуту уже разглядел на груди под расстёгнутой шинелью – университетский значок. И, как всякого солдата и офицера привык примерять, что б он был у него в полку, примерил и этого. И ещё додумывал донесенное ушами: Черниговского полка, вот уж какого наверняка близко не было. А впрочем, всё перемешалось.

– Вы ранены?

– Нет. – Хмуро, независимо, а добавил: – Но чуть не убит.

– Не понимаю, – резко поправил Воротынцев.

Мало ли кто “чуть” не убит, об этом бабе после войны рассказывают.

Ленартович показал назад через плечо:

– Я думал на деревню выйти. А там уже немцы. Меня в картофельном поле прижали пулемётом, не знаю, как отполз.

– А где ваш взвод? – торопился Воротынцев. Ночь терять нельзя. Растянулась по небу полоса клочковатых оливковых тучек, но не обещала непогоды. И – пропустил, что тем временем ответил прапорщик, да может и не поверил бы его объяснению, да смешалось и падало больше и крупней, чем судьба этого прапорщика. Не хотел бы он себе такого в полк, а впрочем угадывал, как и из этого студента, с его презрением к военной службе, ещё какого военного человека можно было бы отработать. Статен, голова хорошо стоит.

Быстро:

– Останетесь тут? Или идёте? Мы – на прорыв.

Миг колебания, и вот живей прежнего и вполне готовно:

– Если позволите.

Полковник – резко, жёстко:

– Предупреждаю: все наряды и обязанности у нас будут без чинов. Есть здоровые, есть раненые, вот все различия.

– Хорошо, хорошо! – живо соглашался Ленартович.

Да он ведь был и демократ, его-то особенно мучили эти “высшие” и “низшие”.

– Марш! – кивнул своим Воротынцев.

И пошли.

Ленартович и правда был рад, что попал, видно, в верные руки. Сейчас, ртом изъев крупитчатую землю у картофельных клубней, осыпанный брызгами земли от близких пуль, уже простясь со всей своей жизнью – неисполненной, почти не начатой, такой любимой жизнью! попятным червячным движением вылез из бесконечной борозды, ни разу голову не отняв от земли, – он беспамятно пробродил по лесу и, оглохший, с оцарапанными дрожащими руками и вывихнутым пальцем, доплёвывал и доплёвывал землю изо рта, выбирал из носа и ушей.

Сдаться в плен оказалось ещё опаснее, чем биться до последнего. Вот она, война! – её и бросить нельзя, от неё отвязаться нельзя. И если здесь не заподозрили, не упрекнули, обещали вывести – оставалось идти, стрелять, воевать. Если тебя хотели убить, почти убивали – ты вправе ответить тем же, а то дошутимся.

Он у солдата заметил баклажку, горло обмело и трескалось от жажды, – а попросить попить почему-то не решился.

## 48

Его – вели, везли. Его тело двигал не он сам. Сам он только размышлял. Пласты окончательно рухнули, пыль осела, прорвало, и расчистило, – и кончились все смутные неопределённые движения. И с ясностью предстал мир нынешний и всех прошлых лет.

Снялась тугая пелена с разума – и с сердца тоже свалился камень: с того часа, как под Орлау он объехал солдат и благодарил их и попрощался с ними, – свалился камень, облегчилась душа. Хотя немногие те солдаты на холме под Орлау не могли простить его за всю армию или за всю Россию, но именно их прощения жаждала душа. О суде чиновном не думал он много: не бывает судов над теми, кто поставлен высоко, – упрекнул, подержат в резерве, дадут другое назначение, стыд не выедает глаз. И хотя назначат, быть может, следственную комиссию, но вотще будет ей разыскать – этого уже никому не разобрать, не разложить, поздно. Был на то – замысел Божий, а понять его не нам и не сейчас.

Не гордым верховым уже, а тележным ездоком, подбиваясь на корнях и кочках, сталкиваясь плечом с Постовским, но нисколько с ним не беседуя, а даже совсем о нём забыв, Самсонов вёл и вёл свою думу.

О штабе фронта, о Жилинском не думал он, не перебирал обид и оскорблений, в недавние дни так травивших ему душу. Не изыскивал, как доказать, что во всём произошедшем виноват Жилинский больше, чем он. Охладело и осветлело внутри него, и уже не саднило, что вот Жилинский сумеет теперь извернуться, выйти сухим. Было странно, что упрёк в трусости от этого ничтожного человека ещё недавно так задевал Самсонова и влиял на его решения относительно целых корпусов.

Пожалуй, вот о чём думал он: как нелегко Государю выбирать себе достойных помощников. Ведь худые корыстные люди ретивее добрых и преданных, они особенно изошряются выказать перед Государем свою мнимую верность, свои мнимые способности. Никому не достаётся видеть столько лжецов и обманщиков, как царю, – и где ж ему, человеку, набраться божественной пронизательности разглядеть чужие потёмки? Так и становится он жертвой ошибочных выборов, и эти корыстные люди как черви истачивают крепкий русский ствол.

Мысли его приличествовали всаднику возвышенному, а трясло и качало его – в телеге.

Так спокойны и общи текли самсоновские размышления, не сообразованные с целью движения штабной группы: найти просвет в окружении и выскользнуть. И в перерыве думы не сразу понял, что ему докладывали: дорога на Янув, как едут они, перерезана, на шоссе перед ними – немцы, и обстреливают выход из лесу. Предлагали штабные: сменить южное направление на восточное, предпринять крюк с дальним плечом на Вилленберг, зато уж Вилленберг должен быть наш, у Благовещенского. Самсонов кивал, Самсонов не возражал.

Пришлось возвращаться, теряя вёрсты и время, потом сворачивать подходящей просекою на восток. И в выбор просеки, и в потерю времени и расстояний Самсонов опять не вникал. Как бы защитная духовная стена оградила его от всяких возможных неприятностей и раздражений внешней жизни. И чем быстрее и непоправимее текли внешние события, тем медленнее всё текло в теле Самсонова, тем обстоятельней остаивались его мысли.

Он хотел только хорошего, а совершилось – крайне худо, некуда хуже. Но если при лучших намерениях можно вот так до пера распушиться – что ж проистечёт в этой войне от действий корыстных? А если поражения повторятся – не возобновится ли в России смута, как после японской войны?

Страшно и больно было, что он, генерал Самсонов, так худо сослужил Государю и России.

Уж было и к вечеру, невысоко солнце. Возобладало среди штабных попробовать

свернуть ещё раз к югу и поискать проходного места тут. Командующий кивнул, кивнул, не очень вникая.

Какие-то места пошли здесь заклятые: покинули они сухой высокий красный бор, и ехали местностью низменной, закустаренной, вязкими песчаными просёлками и через многие неожиданные ручьи и канавы, канавы, перебирались только вброд.

Несколько раз казачья разведка выезжала вперёд, но вскоре слышался пулемётный стук, и разведка возвращалась: занято. Занято и здесь.

Да что то были за казаки, в конвойной сотне штаба? – второй и третьей очереди, трухлявые, боязливые, при первых выстрелах спешили в кусты. Как будто и казаками иссякла Россия – семиреченский и донской казачий атаман сотни добрых казаков не имел при себе!

Командующему требовалось – думать, еще много сегодня думать. Могли бы Постовский или Филимонов заменять его в руководительстве хоть штабной группой, но оба смякли они, и жадно-заглатывающее выражение как смылось с лица Филимонова, а стал он нахохленный, сопящий, будто инфлуэнцей болен. И у деревни Саддек, всего 4 вёрсты до шоссе, молодые штабные просили самого командующего дать разрешение атаковать казачьей сотней на прорыв.

Больше версты было от их опушки до пришоссейных высоток, открытая местность мало обещала успеха, но офицеры горячо настаивали хоть раз попробовать, и Самсонов разрешил. Как во сне, не вникая достаточно.

Полковник Вялов уговаривал негожих казаков к атаке, они мялись, не выходили из леса, возражали, что лошади истомлены. Тогда штабс-капитан Дюсиметьер с криком “ура” и выхваченною шашкой поскакал один в сторону пулемёта, за ним Вялов, ещё два офицера – лишь тогда двинулись и казаки. А уж ринулись нестройной толпой, беспорядочно стреляя в воздух, с гиком, криком, не столько врага пугая, сколько подбадривая себя. Однако сбило троих с лошадей, и за пятьдесят шагов до пулемёта свернули казаки в боковой лесок.

Вид этого позора возвратил Самсонова к действиям и решениям. Он всех отозвал, запретил офицерам вторую атаку, теперь уже спешенную, велел возвращаться на север и опять поворачивать на восток, к Вилленбергу.

И снова они въехали в бор, уже темнеющий, выбрались на каменистую дорогу и беспрепятственно, быстро двинулись к Вилленбергу. Но в трёх верстах от него, на выезде из лесу, в сумерках, встретили крестьянина-поляка, спросили: “Много ли русских солдат в городе?”, он за голову: “Не, панове, там фцале нема росьян, тылько немцы, дужо немцев джись пшышло” (Нет, панове, там совсем нет русских, только немцы, много немцев сегодня пришло).

Штабные так и обвисли. Сидели в отчаянии. Где же мог быть корпус Благовещенского?...

А Самсонов сел на широкий пенёк, опустил голову бородой в грудь. Если опаздывал прорваться даже штаб армии, то что могло ждать саму армию завтра?

Штабные советовались: надо ночью где-то прокрасться, эта ночь – последняя надежда.

А Самсонов подумал: то Божий перст. Кто затемнил его, чтоб он покинул свою армию? То перст!

И объявил твёрдо:

– Я отпускаю вас всех, господа. Генерал Постовский, возглавьте прорыв штаба. Я возвращаюсь к 15-му корпусу.

(Где 15-й, где 13-й – именно в эти минуты сумерок, в двадцати пяти верстах за спиной командующего на роковом лесном перекрестке необратимо перемешивалось и переставало существовать).

Однако все чины штаба в едином приступе окружили командующего и в едином говоре, каждый своими аргументами, стали доказывать ему невозможность, ошибочность, абсурдность, недопустимость, недодуманность его решения. Он командовал всею армией и не меньше обязанностей имел... перед фланговыми корпусами... и перед штабом фронта...



только он один мог в краткие часы объединить оставшиеся силы... охранить Россию от вторжения неприятеля...

Ещё вчера, при несогласии ехать из Найденбурга в Надрау, они не смели так настойчиво возражать ему. Да многое сдвинулось за эти часы.

Самсонов сидел на своём природном лесном пониженном троне, слушал их и закрывал глаза. Он думал, какие все в штабе ему чужие, все до одного – случайно собранные, умами и душами – другие. Один Крымов был свой, а услан.

Аргументы штабных складывались прочно, да не слышал Самсонов чистого звона в них. Не упрекнул открыто, но расслышивал: не о нём они заботились и не об армии, а о себе: никто не хотел идти с ним назад, а выйти без него было для них служебно невозможно.

Но и сил уже не было у Самсонова спорить с десятком заседающих подчинённых. Хуже: сил не оставалось тронуться сейчас одному с ординарцем Купчиком в дальнюю темноту, назад.

А чего-нибудь третьего – созвать сюда боевые части, прорываться с боем, как-то не предложил никто. В голову никому не пришло. И оставалось: как же выйти? “С этой бандой мы не выйдем”, – едино думалось о казачьей сотне. И объявили им вольную: выбираться самим, а штаб дальше пойдёт пешком. Представлялось разумным, что ночью по бездорожью будет легче выйти без коней. А живут в этой местности поляки, они сочувствуют.

Самсонов сидел на пне, бородой в грудь, как забывшись. Проигравший полководец, он был самый спокойный среди штабных.

Он ждал конца суеты, отвлекающей от мыслей. Он ждал, когда опять начнётся ровное движение, и можно будет спокойно думать.

Но и от казаков освобождаясь, и коней разнуздав и отпустив, штабные ещё не были готовы к ночному походу, ещё возились. При последнем сером свете с присветом месяца смутно видно было Самсонову, что копается ямка и туда кладут офицеры что-то из карманов. Он видел это, но не придал значения, он уже не чувствовал себя командиром над ними – указывать или запрещать. Он ждал, когда, наконец, его поведут.

Но – услужливо-настойчивая фигура Постовского приблизилась, приклонилась к нему: – Ваше высокопревосходительство! Разрешите вам заметить... Неизвестно, что с нами будет... Если мы попадём в руки неприятеля, – может быть, лишние документы или знаки?... Зачем доставлять им такой успех?...

Не понял Самсонов: какой ещё успех? какие знаки?

– Александр Васильич, всё лишнее мы прячем в землю... Это место мы замечаем... Мы вернёмся потом, пришлём... Если документы... всё, что выдаёт имена...

С той вершины понимания, которой достиг Самсонов за этот длинный день, – лепетны показались ему такие заботы. А вот и молодые сошагнули к нему и заговорили уверенно: что нельзя дать врагу понять, кого они взяли в плен, пусть думают, что упустили; что так и полковое знамя, если вынести его нельзя, – разрезается, сжигается, закапывается, только не отдаётся...

Как это повернулось быстро: четверть часа назад он ещё мог согласиться или не согласиться вообще идти с ними, только об этом они умоляли его. А вот – они уже и не очень его спрашивали, что им делать. Как золотого идола, как божка дикари, они только статую его доставят с собой, и тогда проклятие не падёт на головы их.

А – на его.

Вот они уже – шли. Шли гуськом, Самсонов где-то в середине, а Купчик позади него нёс чепрак с отпущенного коня. Несильный свет месяца, проникая в лес там, где было реже, позволял различать стволы, заросли, кучи хвороста или свободное пространство, но лишь в самой близи, и фигуры только ближайшие. Потом не стало его. Впереди шли со светящимся компасом, полуощупью, останавливались свериться, и все тогда останавливались. Прямо идти никак не удавалось: то надо было обойти ямину, то мокрое место, то чащу, а потом опять выверять направление.

Освободилось генералу Самсонову – думать. Теперь-то, без разговоров, без помех, он

мог додумывать.

Однако... нечего оказалось додумывать. Да, нечего. Всё было уже дорешено и додумано. Очищено, поднято. Разве что оставалось – вспоминать.

Но и вспоминаясь – не екатеринославское сельское детство. Не военная гимназия. Не кавалерийское училище. Не многие-многие места служб, события, сослуживцы. Всё обойдя, надвигался опять почему-то – мощный, грозный, а с затейной кирпичной кладкой, войсковой собор на горе. Родился в Малороссии, бывал в Москве, жила в Петербурге, в Варшаве, в Туркестане, в Заамурьи, – нет! неуроженного дончака, несло его на обширный новочеркасский холм! Сюда прилетать привольно душе! И не на верхнюю сторону, где взнесен Ермак, а на нижнюю, к спуску Крещенскому, где лишь немного поднимается гранит над бульжником, и на нём покинута литая бурка с папайхой, а сам хозяин, Бакланов, – вот только что был, сбросил, ушёл.

В могилу, в подвальную церковь.

Так – хоронят солдат.

Когда есть победы, чтоб на граните высечь...

А идти было трудно: ноги отучились ходить хорошо, сильнее же того захватывала одышка, астменная задышка от простой ходьбы, без бремени.

Проверяется наше тело, когда мы теряем возвышение над другими людьми, и средства передвижения, и средства охраны, и вот уже не генеральские погонны скрываются выражением твоей сути, а – сердце непоспевающее, неполный объём лёгких, как будто заложило две трети их, и – ноги слабые, ноги ненадёжные: ступают неровно, упинаяются, спотыкаются о кочки, о мох, о хворостяной завал.

И радуешься не успешному проходу, не тому, что мы выскользнем, может быть, а – всякой задержке впереди, когда остановились, и можно к стволу прислониться, продышаться немного.

Самсонову стыдно было просить об отдыхе, но, в оглядке ли на него, останавливались каждый час, садились. Купчик, тут как тут, проворно расстилал под командующим чепрак. Ноющие ноги рады были протяжке и покою.

Да много времени нельзя было сидеть: уходили краткие ночные часы, последние возможности. К полуночи заволакивало и звёзды. Совсем стало темно, ничего уже не видно, лишь по хрусту, сопенью да на ощупь чуяла бредущая цепочка друг друга. А дорога портилась, то чавкало болотце под ногами, перегораживал дорогу непродёрный кустарник, частый ельник. Полагали опасным сбиться в сторону Вилленберга. Опасно было наскочить на немецкий разъезд. Опасно было растеряться. Собирались кучкой, шёпотом переключались. Привалов не было больше. Когда попадались канавы – Купчик и есаул под обе руки помогали Самсонову перейти. Перетаскивали...

Что тяжело было у Самсонова – это тело. Единственно – тело. Только оно и тянуло его в груз, в боль, в страдания, в стыд, в позор. Освободиться же от позора, от боли, от груза – всего и требовало: освободиться от тела. Это был переход свободный, желанный – как первый полный-полный вздох во всю заложенную грудь.

Ещё вечером – искупительный идол для штабных, он пополуночи уже становился жерновом неуносимым, каменной бабой.

Трудно было ускользнуть только от Купчика: он всё время держался за спиной своего генерала и притрагивался то к спине, то к руке. Но при обходе частых кустов обманул Самсонов вестового казака: отступил и затаился.

И хруст, и лом, тяжёлый переступ – миновали. Отдалились. Затихли.

Повсюду было тихо. Полная мировая тишина, никакого армейского сражения. Лишь подвевал свежий ночной ветерок. Пошумливали вершины. Лес этот не был враждебен: не немецкий, не русский, а Божий, всякую тварь приючал в себе.

Привалясь к стволу, Самсонов постоял и послушал шум леса. Близкий шелест отрываемой сосновой кожицы. И – надверхний, поднебесный, очищающий шум.

Всё легче и легче становилось ему. Прослужил он долгую военную службу, обрекал

себя опасностям и смерти, попадал под неё и готов был к ней – и никогда не знал, что так это просто, такое облегчение.

Только вот почисляется грехом самоубийство.

Револьвер его охотно, с тихим шорохом, перешёл на боевой взвод. В опрокинутую фуражку наземь Самсонов его положил. Снял шашку, поцеловал её. Нащупал, поцеловал медальон жены.

Отошёл на несколько шагов на чистое поднебное место.

Заволокло, одна единственная звёздочка виднелась. Её закрыло, опять открыло. Опустясь на колени, на тёплые иглы, не зная востока – он молился на эту звёздочку.

Сперва – готовыми молитвами. Потом – никакими: стоял на коленях, смотрел в небо, дышал. Потом простонал вслух, не стесняясь, как всякое умирающее лесное:

– Господи! Если можешь – прости меня и прими меня. Ты видишь: ничего я не мог иначе и ничего не могу.

## 49

### (Обзор действий за 16 и 17 августа)

Шоссе Найденбург-Вилленберг как будто и прокатано было для того, чтобы скорей протянулись по нему подвижные части Франсуа на соединение с Макензеном. Это шоссе, без предчувствий пересеченное центральными русскими корпусами несколько дней назад, теперь за спиною их обратилось в стену, в закол, в ров. Недолго для ночёвку, передовые части Франсуа ещё до рассвета 16-го поспешили дальше, к Вилленбергу, местами громя обозы и случайные русские части. Спротивляться тут было некому, и к вечеру Вилленберг заняли. Правда, на пройденных сорока шоссеиных километрах остались лишь прореженные чёрточки застав и патрулей – окружение пока пунктирное. Более суток ещё предстояло одной из дивизий Франсуа растекаться по этому шоссе и занимать его.

Так же и от Макензена, по дорогам худшим, спешила передовая бригада, для облегчения сбросив ранцы на обывательские подводы, а то и сами на них. С севера на юг свисал Макензен к тому же шоссе, ещё выставляя отряды в бока – к Ортельсбургу и вглубь лесов, к окружаемому центру.

К вечеру 16-го если клещи и не сошлись захватами вплотную, то оставался между ними десяток вёрст непрохожего бездорожного дальнего леса, о которых русским и не догадаться было и не доспеть туда. Но Гинденбург, подписывая вечером приказ на 17-е, ещё не мог быть уверен в успехе окружения: в остальном полукольце, такие острые накануне, бои стали вялыми. Несколько схваток у межозёрных проходов вполне задержали преследователей. И не было никаких сил защититься, если бы русские 16-го прорывали кольцо извне.

Но они не пробовали.

Сквозь пунктир окружения прорвалось последнее донесение Самсонова от вечера 15-го августа – и поступило в Белосток утром 16-го, как раз перед завтраком Жилинского и Орановского. Сообщал Самсонов, злополучный упрямец и неудачник, что отдал приказ всей армии отходить на линию Ортельсбург-Млава, то есть почти на русскую границу. Этот жребий он и заслужил, этого и можно было ожидать, и очень хорошо, что инициативу и позор отхода он взял на себя, не спрашиваясь у штаба фронта. В благоприятное утро за завтраком (когда в Хохенштейне был уже окружён обречённый Каширский полк) Жилинский-Орановский решили, что напрасно они вчера понудили Ренненкампа наступать в пустое место, откуда Самсонов, теперь очевидно, уже ушёл. И тут же: телеграфировали: “Вторая армия отошла к границе. Приостановит дальнейшее выдвижение корпусов на поддержку”.

А Ренненкампф только накануне после обеда и тронулся, его корпусам до

сегодняшнего сражения по недостижимо-ровной прямой было сто вёрст, коннице семьдесят. И он охотно тут же в полдень распорядился: корпусам – остановиться, а завтра отходить.

Но некая новая тревога проскользнула к Жилинскому-Орановскому в Белосток. И в два часа дня они послали Ренненкампфу противоположную телеграмму: “Ввиду тяжёлых боёв, которые ведёт Вторая армия, направить выдвинутые корпуса и кавалерию на Алленштейн”. (Почему – на Алленштейн? Как можно было в трезвом состоянии направить восемь дивизий туда, где уже вторые сутки наверняка никто в их помощи не нуждался?)

Это почасовое передёргивание приказов как успешно отозвалось на движении войск, могут судить люди с военным опытом.

Распорядясь такими огромными массами вдали от поля сражения, Жилинский-Орановский уже не стали утруждать себя передвижкой фланговых корпусов поблизости от сражения, да и не порядок был вмешиваться в их жизнь, минуя командующего армией. Тем более, что Благовещенский стоял на днёвке, вот разве кавалерийской дивизии от него – для приличия куда-нибудь наступать.

И пришлось кавалерийской дивизии Толпыги среди дня выступить в поход. По пути её оказался заклятый Ортельсбург, ещё вчера пустой (когда велел Самсонов удерживать его во что бы то ни стало), а сегодня с рассвета оттуда постреливали. Поэтому кавалерийская дивизия обошла город стороной и покинутую местностью осторожно продвигалась в указанном зачем-то направлении – пока опять не показался противник. А уж темнело, и лес – невыгодные для кавалерии условия. И рассудил генерал Толпыго, что лучше всего воротиться к своему корпусу. И хотя ворочаться ночью тоже было нелегко и небезопасно, однако к утру вернулись. Что во всём этом рейде случилось забавного: спугнули немецкого генерала, командира дивизии; сам он ускачил в автомобиле, а шинель осталась, в ней карта, а на карте пометки, как Макензен окружает центральные русские корпуса. Никакого хода этой карте не было дано (так спокойней).

А вот 1-му корпусу не было благовещенского покоя: как ни далеко откатился он, но и туда в ночь на 16-е добрался капитан от Самсонова с приказом: для облегчения положения центральных корпусов, окружённых противником, немедленно наступать на Найденбург!

(И если бы тамошние полтора корпуса действительно немедленно двинулись бы на Найденбург, то в середине дня 16-го при подавляющем преимуществе они беспрепятственно бы в него вошли, не только бы развалилось окружение, но, как это случается в маневренной войне, корпус Франсуа оказался бы в тесных клещах с угрозой ответного окружения).

Однако, и ясный приказ получив, дюжина сведенных генералов из разных дивизий и отдельных частей не могла так просто собраться и выполнить его. И полковник Крымов, кого Душкевич избрал себе начальником штаба корпуса, не мог сплотить генералов. Понятно было, что приказ придётся кому-то выполнять – но кому? В отсутствие безусловно высшего начальника всякий генерал мог отстаивать, что: не его часть пойдёт и не под его командованием. И весь день 16-го августа шёл во Млаве генеральский торг: из кого составить сводный отряд и кому вести. Выходило так, что единственный совсем нетронутый был лейб-гвардии Петроградский полк из раздёрганной гвардейской дивизии, а остальные батальоны, эскадроны и батареи будут уже добавочные, и потому вести отряд в отчаянное это предприятие выпадало командиру варшавской гвардии петербургскому генералу Сирелиусу.

После всех споров и сборов Сирелиус выступил в шесть вечера, и то лишь с головою отряда, – с тем, что и остальные поочередно следом пойдут. Вечер и ночь, никем не замеченный и никем не препятствуемый, отряд Сирелиуса проходил свои 30 вёрст – и первое столкновение с немецким заслоном имел 17-го поутру в пяти верстах

от Найденбурга.

А в небе над ним появился германский аэроплан.

Генерал Франсуа уже две ночи пробыл в Найденбурге, уже два вечерних приказа Людендорфа здесь получил и посмеивался: Людендорф еще не чувствовал окружения, он больше готовился против Ренненкампа. Ночь на 17-е не давали спать Франсуа по его же приказу: на рыночную площадь на выставку тянули и тянули трофейные русские пушки. Франсуа просыпался и записывал удачные фразы для мемуаров. Утром “прекрасного гордого дня” своей жизни он вскочил напряжённо-свежий, хорошо позавтракал, выслушал донесения, послал торжествующую телеграмму Людендорфу и, вот-вот прославленный на Германию и даже всю Европу победитель при новых Каннах, вышел на крыльцо идти смотреть трофеи. Но раздался в небе моторный гул: это возвращался разведывательный аэро, посланный проследить, как отступают русские. Не томя генерала ожидать посадки и доставки, пилот тут же, на мостовую перед отелем, аккуратно сбросил пакет. Франсуа улыбнулся, похвалил. Адъютант кинулся, поднёс пакет генералу, распечатали: “Аппарат... лейтенант... маршрут... сброшено... Колонны всех родов войск... голова – 5 км южнее Найденбурга, хвост – 1 км севернее Млавы...”

И – как в той игре, где от верхней клетки неудачным броском кубика сверзаются на исходную первую, сияющий победитель тут же принял строгий вид ученика, у которого всё впереди. Перекинул донесение штабистам, но и без их расчёта понимал, что колонна в 30 километров – это корпус. Взрыв решений! – распоряжения только устно, для письменных времени нет. Резерв – два батальона? идти навстречу противнику и принять бой! Ещё батальон в караулах? – снять караулы! Южнее города ни одной германской батареи, севернее – две? перевести на юг! А с шоссе никого не снимать, окружение должно остаться!! В городе русские пленные? – вести их на север. Там под Сольдау осталась ландверная бригада? – гнать её сюда. Откуда ещё можно снять? Телефонный доклад в штаб армии. Обстрел города – и связь прервалась. Ничего, автомобилей много, снесёмся на них. Рвутся над городом русские шрапнели. Падают фугасы. Штабу корпуса более здесь не место. Отступить? Нет, наступать! По шоссе на Вилленберг!

На радиаторе – жёлтый лев. Сын – записывает мысли полководца. А во встречном автомобиле везут русского генерала, взятого в плен на рассвете. Остановка, выводят. Он измучен, одежда рвана лесом и пулями, губы запеклись. Но хотя ему лет 60 – строен и легкоподъёмен, какими не привыкли видеть русских генералов. В руке задержалась бездельная тросточка. Это – полный генерал, и можно догадаться, какого корпуса: того, который целую неделю лупил Шольца. Выйти ему навстречу, пожать руку, сказать несколько слов похвалы и утешения: смелый генерал никогда не застрахован от плена.

Посланный к Найденбургу как бесполезный посыльной, Мартос уже сутки бродил по окраине Грюнфлисского леса, не имея никого для атаки города, неделю назад им же и взятого. Казачий конвой разбежался, накрывала Мартоса близкая шрапнель, с четырёхсот саженьей, ночью у шоссе поймал его прожектор. Ружейный огонь в упор, начальник штаба корпуса убит. Переломлена шпага Мартоса и переломки отданы немецкому офицеру.

Но с удивлением и надеждой прислушивается сейчас Мартос, что по Найденбургу бьёт артиллерия русская с юга. Так ещё неизвестно, кто кого окружает?... С радостью видит он беспорядок в немецких обозах и нервность пехоты.

Франсуа:

– Скажите, генерал, как фамилия того командира корпуса, который сюда идёт, я ему предложу сдаться?... Да не возьмётесь ли поехать предложить им сложить оружие?

Мартос оживился и сразу:

– Поеду!

**Франсуа, охлаждаясь:**

– Нет, не надо.

Мартоса посадили в автомобиль между двумя маузерами и погнали по шоссе через Мюлен, так и не взятый им. В маленькой гостинице в Остероде к нему вышел Людендорф. – “Скажите, в чём заключалась стратегия вашего генерала Самсонова, когда он вторгся Восточную Пруссию?” – “Как корпусной командир я решал только практические задачи”. – “Да, но теперь вы все разбиты, и русские границы открыты для нашего продвижения до Гродно и до Варшавы”. – “Я – был в равных силах с вами, а имел перевес в бою, много пленных и трофеев”.

Вошёл Гинденбург. Видя Мартоса глубоко расстроенным, долго держал его руки, прося успокоиться. – “Вам, как достойному противнику, возвращаю ваше золотое оружие, оно будет вам доставлено”.

Но – не было возвращено. А посажен был Мартос под конвой и повезен в Германию в плен до конца войны.

До утра 17-го крепился Людендорф, а как раз утром 17-го доложил в Ставку, что совершено крупнейшее окружение! – и через полчаса телефонный звонок Франсуа взвыл о помощи, и связь прервалась. Тотчас были отобраны у Шольца с преследования три дивизии и за 20, 25 и 30 километров посланы на помощь к Найденбургу. В следующие часы пришло донесение, что несколько конных дивизий Ренненкампа углубляются в Пруссию! Ещё один авиатор донёс, что русский отряд идёт и к Вилленбергу!

Окружение затрещало.

Но генерал Сирелиус против восьми комендантских рот простоял десять часов, ожидая подхода всего корпуса. К вечеру 17-го он вытолкнул немцев из Найденбурга, да уж поздно было ему прорываться к своим ещё несколько вёрст: уже сто орудий поставили против него, и со всех сторон шли германские подкрепления.

А Жилинский-Орановский в далёком Белостоке узнали обо всех событиях не от лётчиков, не от разведки, не из донесений командиров действующих частей, но: от генерал-дезертира Кондратовича. Кондратович, ещё 15 августа сняв с передовой полдюжины рот для собственной охраны, бежал за русскую границу в Хоржеле, и день 16-го провёл там в тревожном ожидании конных ординарцев: возьмут ли верх наши или немцы? В ночь на 17-е стало ему ясно, что победили немцы. И тогда, изобретательно покрывая своё дезертирство, он подошёл к телеграфному аппарату, доложил как только что прибывший и благодарному штабу фронта дал о центральных корпусах те разъяснения, которых тому неоткуда было получить.

В неурочное время были подняты из постелей Жилинский-Орановский (может быть, близко к тому, когда Самсонов заводил для выстрела свой револьвер) – и после спокойного дня свалилась на них ночная обязанность спасать, решать, выходить из положения. Накануне представлялось, что за проигрыш операции, за отступление Второй армии ответит Самсонов: ведь это его был приказ отступить. Теперь же оборачивалось так, что Жилинский не распорядился вовремя Второй армии отступить, – и как бы часть вины за окружение не пала и на него. Какой же выход? Составить такую телеграмму: “Главкомандующий приказал отвести корпуса Второй армии на линию Ортельсбург-Млава...”, и не помечать её точным часом, и будто бы она послана была Самсонову, а не наша вина, что линия туда не доходит.

А теперь – Ренненкампу снова: “организовать поиск конницей для выяснения положения генерала Самсонова”. Благовещенскому: сосредоточиться к Вилленбергу (не надо прямо, что – брать). Кондратовичу: имеющиеся у него силы (его охрану) собрать в Хоржеле (где он и сидел), откуда в связи с Благовещенским действовать по обстоятельствам. Лётчикам: искать штаб армии, 13-й и 15-й корпуса где-нибудь между

**Хохенштейном и Найденбургом, и все эти приказы сообщить словесно, ни в коем случае не бумагою. А уж 1-му корпусу: постараться занять Найденбург!**

**Да бишь, и с 1-м корпусом как бы не было неприятности: ведь с 8-го августа есть разрешение Верховного выдвигать его дальше Сольдау, а мы не использовали, спросят с нас.**

## 50

Если б не чёткие просеки, в таком лесу двигаться ночью было б никак нельзя. Но счёт и расположение просек точно совпадали с немецкой картой, и, проверяя карту при редких спичках, и сам проходя лишнее для сверки, Воротынцев обвёл свою группу в обмин безлесного треугольника и привёл точно к тому отдельному двору в лесу, который и намечал.

Это – не домик лесника оказался, а что именно – они без света не поняли. Тут были сложены какие-то плоско загнутые твёрдо-мягкие предметы, на них натыкались. Лишь потом, найдя и засветя лампу, увидели, что измазались шароварами, сапогами, а кто и руками – в кровь. То были скотьи шкуры, здесь забивали скот. Зато ж был и колодец – напиться, отмыться, ещё напиться. Зато было вяленое и копчёное мясо – больше, чем они могли съесть и унести, хлеба немного и огород. Благодарёв нашёл набор тесаков и длинных ножей с негнуткими полотнами. Выбрал себе. И Воротынцев взял за пояс маленький ладный топорик. Всё это они искали и добывали, остерегаясь со светом, а потом, сытые, повалились и поспали немного – трое, Воротынцев же был на часах.

Со своим характером он бы и не заснул: план выхода, расчёты и надежды выхода сверлили его, и теперь, пока это не сбудется, не мог бы он расслабиться и заснуть. Забегали мысли и дальше: что и как он расскажет в Ставке, если выйдут. И как это подействует.

Не подбодрять себя от засыпанья, но умерять от нетерпенья надо было. Воротынцев прохаживался по просторному травяному двору, лишь отступя обставленному овалом дружного высокого леса, чёрной стеной. А над поляной он оставлял шире себя овал неба в звездах, потом через него потянулась полоса лёгких клочковатых облачков, а они были чем-то осветлены, неизвестно откуда, давали общий нежный свет, на этом свете отдельно ясно вырезывались ближние высшие вершины. Ни вид, ни дробность, ни малая скорость облачков не предвещали непогоды, и хорошо! Близ полуночи заволакивало небо даже сплошь, но потом опять расчистило. Ночь попрохладнела, а роса была невелика.

Рядом рушилась целая армия, гибли полки, дивизии – а грохота не было. От Найденбурга и со всего немецкого запада не слышалось ни выстрела – как будто немцы остались довольны уже достигнутым, насытились, не собирались преследовать.

Оставалось меньше звёзд. Из глубокого ночного цвета небо серело и, если б не звёзды, казалось бы пасмурным сплошь. Наступал час, когда цвета вообще нет: серое небо, а всё остальное обще-тёмное. И если б никогда не видел, например, зелёного, то не мог бы его вообразить ни по деревьям, ни по траве.

Не ждать было дольше. Воротынцев пошёл будить. Харитонов проснулся легко, как не спал, а только ждал, когда послышатся шаги. Ленартович от касания вздрогнул, как от удара, но поднялся без промедления. Арсений мычал, неразборчиво не соглашался, пришлось его рвануть за два плеча – проснулся, но лежал, отдуваясь.

Ещё подгруженные теперь мясом и скотобойным оружием, они вышли снова гуськом. Ветку или фигуру или ствол можно было увидеть только на просвет неба. Всё остальное виделось слитно-густо, неразделённо.

Недолго досталось поспать, но сегодня голова Ярослава была свежей и твёрже вчерашней. Каждый день ему было лучше, только оставались вдавленными уши, и оттого на слабых шорохах онемел, огрубел для него лес. Ещё в госпитале он позавидовал, что не служил у такого быстрого сообразительного полковника с летучим светлым взглядом, – и так освободился и обрадовался, когда набрёл опять на него в лесу, да ещё оказал ему услугу

картой. Худо было с армией, с полком, и свой взвод он потерял, но сам не мог попасть в лучшие руки, чтобы вернуться в свою единственную, любимую, ни на что не обмениваемую жизнь.

По светлеющему, безлюдному, но настороженному утреннему лесу они прошли с проверкою пересечений два квартала и повернули по просеке же, а та перешла в уширенную изгибистую вырубку. Светлело быстро, удлинялся просмотр до ста, до двухсот саженей – и тут они увидели, как тою же вырубкой поперёд их шли люди. Военные. Не в касках, в фуражках. Свои. Медленно. Нагруженные, несли тяжёлое на плечах.

Другой и дороги не было, нагонять их. Заметили и те, отстали двое с винтовками и расходились по краям вырубки, но Воротынцев поднял фуражку, помахал. Опознали. Четверо сзади нагоняли быстро, легко. И восьмеро передних поставили на землю двое носилок.

Прутяные носилки, оплетенные по жердям и с привязкой чурочек как ножек, – быстро сработано в лесу топором и мужицкой рукой, Ярослав таких и не представлял никогда, не знал, что сделать можно.

На задних носилках лежал покойник – большое, плотное тело. Белым платком с узелками покрыто лицо, а погоны – полковничьи. На передних – поручик с толсто-обинтованным коленом при отрезанной штанине шаровар. Все же десятеро пеших были нижние чины, ни одного унтера, и почти все в возрасте, запасные. В серо-голубом рассвете, вблизи, уже и лица были видны – охудавшие, вваленные, кто с кровяными запеклинами, и в одежде ошмыганы все. Восьмеро носильщиков не были налегке: у всех винтовки, и отвисали с поясов тяжёлые под сумки, не по одному; а двое свободных солдат нагружены были и сверху.

Откуда же? Кто? Воротынцев и поручик Офросимов представились, поздоровались. Обе руки поручика были здоровы, вся верхняя половина его, он мог и командовать и стрелять, лишь не мог идти. Смоляной шерстоловый грубоватый поручик говорил с хрипотой, не очень складно, не очень и охотно, как будто устал рассказывать, будто всю лесную дорогу их задерживали и спрашивали. Поручик приподнялся на носилках на локоть, но при земле было и это, Воротынцев присел к нему на корточки. А все десять солдат Офросимова не отошли от офицерского разговора, как полагалось бы, но обстали и обсели кругом тесно, равными соучастниками дела, и даже, один, другой, вставляли по несколько слов. (И Ярослав подумал: как хорошо! да ведь так бы и надо всегда с солдатами! Если уж поровну смерть делить – так и всё остальное!)

Все они были – из Дорогобужского полка, позавчера оставленного аррьергардом. И там они отбивались. До темноты. Штыками больше, патронов не достало. Сильно не достало. (Теперь, наученные, что патроны нужнее хлеба, они и нагрузились по пути от брошенного другими). Там полк их лёг. Сохранилось из рот, ну, по дюжине человек. Да где по дюжине...

А полкового командира их, Кабанова, они взяли в Россию снести. В России похоронить.

Вот только это они рассказали. Раненый угрюмый поручик. И десятеро солдат. Из тех офицеров поручик, каких Ярослав не любил: наверняка картежник и матершинник с анекдотами сальными, несмешными. Но сейчас: как, значит, солдаты его любили, если с кряхтеньем и передышками, через моченьку несли! Что за герои! И что за бой это был, со штыками против пулемётов, против пушек! Сколько ещё в том бою надо было угадать, что Ярослав не мог!

Только это они рассказали. В круговой сплотке ещё минуту молча постояли, посидели. И вот-вот должны были разойтись по своим местам поднимать носилки: разный был путь на выход. Вот-вот должны были разойтись, но ещё одну доверчивую минуту медлили. (И задумал Ярослав, чтоб любимый его полковник взял под свою руку и этих дорогобужцев тоже, ну куда они сами? ну что ему стоит!)

А Воротынцев, и сам с такой же ссадиной кровяной на челюсти, лоя не именно эту доверчивую минуту, но лоя недознанное им в операции, уже раскладывал карту по иглам и



шишкам, уже тянулся руками и мыслями к тому неизвестному дальнему погибшему полку:

– Там – это где ж вы могли стоять!?!... Какой же дорогой вы прошли? Сколько вёрст?

И ещё раньше, чем от поручика, услышал от солдат:

– Да вёрст сорок будя...

– Може и больше...

(Сорок вёрст! – и несли! И как же веру их, силу их не поддержать?!)

Не много и поручик мог по карте, потому что все эти дни был без карты, знал только Деретен и компас на юг с расчётом на тот узкий межозёрный проход, которым и наступали прежде. А дальше и солдаты вперемежку не меньше могли объяснить: дубососновым лесом шли, горки да горки; линию переходили; хутор разорённый; лес долгий; перешеек, заросший сплошь; село с церковью; реку бродом; а дальше наших войск – тьмотемно, поперёк текли; да только...

Да только дорогобужцы из мёртвого полка уже как бы не относились к своему корпусу – расплатились с ним за всю войну. В тот Успеннин денёк они как бы уже перебыли все в мертвецах, и у кого ещё ноги двигались – вольны были теперь уходить, как хотят. Они своими животами небронёными уже прикрыли раз отход всех остальных и больше не были перед ними в долгу. Они не объясняли этого прямо, может и сами этого не охватили, но так выступало из их слов сказанных, а ещё – промолчанных, из их особого соучастья, как они разговаривали с чужим полковником, минуя своего поручика, и – из двух пар носилок, по отшибным лесным местам пронесенных без ропота сорок вёрст. (По меридиану тридцать, а с извилинами натягивало больше сорока). И так со своим бывшим корпусом они не смешались, его дорогу переступили, видимо, тайком – и просекали лес по своему отдельному замыслу, не подневольному, не по команде и погонке унтера и явно не по команде Офросимова, ибо не мог он приказать себя раненого сорок вёрст нести на плечах. Что там было до третьего дня между ними – взаимное порицанье ли, досада, недоброжелательство, теперь всё было прижжено тем смертным днём.

Так нехотя они свою тайну выговаривали, что лишь к концу сказали – а от кого бы скрывать? – что выносят они и знамя Дорогобужского полка. Оно обмотано по телу поручика.

У Ярослава защекотало в горле. Он завидовал Офросимову: вот именно так с народом слиться! вот с этой надеждой он и шёл на военную службу! А у него орёл Крамчаткин оказался и дурень, и стрелять не умеет, а Вьюшков – плут и вор. Если б смел, Ярослав шепнул бы сейчас полковнику, теребнул бы его тихонько: “давайте возьмём их с собой! какие благородные сердца!”

И кажется – полковник догадался! Уменьшая карту в подворотах, спросил громко:

– А когда вы ели, ребята? Есть будете?

Промычали. Будем.

– Вот хорошо, и нам нести меньше. Отходи-ка все вон туда, под деревья, и с поручиком, на просвете не надо. Арсений! Раздавай мясо дочиста.

Благодарёв посмотрел, брови изогнул, кашлянул – так ли понял. Оттащил и свой большой цыганский узел. На колени к нему опустился, развязал, стал скотобойным ножом мясо отхватывать и раздавать.

– Да-а-а, тряхануло вас, мужички! Я смотрю – тряхануло.

Дорогобужцы оказались яро голодны, и лопатки говяжьей не должно было хватить на завтрак. Да было и кроме.

А Воротынцев отходил и смотрел в лицо покойного, поднимал покров. Тянуло и Ярослава подойти, посмотреть в лицо героя, уже отменное ото всего живого, а какими-то чёрточками ещё и то, с каким позвал он дорогобужцев в последнюю контратаку. Но неловко было соваться, не посмел.

Небо над соснами голубело, а там, где остался дымок нерастянутых облачков, – их забирало розовым. Опять занималось погожее тихое утро, не ведая никакой войны. Да близкой стрельбы и не слышалось, смутная далеко была.

– Я и чую – ты не тамбовский ли, – говорил Арсению пожилой, борода веником, рассудительный. – А уезда какого?

– Да Тамбовского ж! – всё на коленях, со всегдашней своей охотой отзывался Арсений. Дивилась борода, но чинно, у него были повадки грамотного:

– А – волости? а – села?

– Из Каменки я! – радовался Арсений.

– Из Каменки?? Да чей же ты?

– Благодарёв.

– Какой Благодарёв? Не Елисея Никифорыча?

– Его!! Меньшой! – скалился Арсений.

– Так-таак, – одобрял старший земляк и достойно, не по-солдатски, обглаживал бороду.

– Так я тебя знаю. А Григория Наумовича Плужникова знаешь?

– Ну как же! – чуть не обиделся Арсений. – Его и все батькой зовут, голова-а-а! А ты?

– А я – туголуковский.

– Туголуковский!! – раскидал Арсений ручища и всех звал подивоваться. – Так оттуда ж все кони добрые. И мы там покупали.

– Лунцов я, Корней.

– Да вас там пятьсот дворов, не перезнаешь.

И – все заулыбались, как породнились обе группы, и всем от того радость. Что там в одном полку, если деревни рядом!

– А вон ещё у нас тамбовский – Качкин! – показывал Лунцов на мрачного боровка лет тридцати, с широкой головой, слишком широкими плечами, короткими руками, а спина и грудь – подлинно колесом, но не по-бабьи выпирающая грудь, а по-мужичьи, хоть в соху его запрягай. – Только он дальний, иноковский.

– Хо-о-о, – отмахнулся Арсений, – и-иноковский! Эт с Вороны, что ль?

– Ну. Слышь, Аверьян, вот с волости соседней парень. Качкин исподлобья, но одобрил:

– Хорош землячок, подкормил. – Сощурил глазки, и без того маленькие, а хваткие: – А нож – кинь!

– Зачем тебе?

– Немца колоть.

– Так и мне!

– Так у тебя не один.

Не один был у Арсения, да, он с запасом взял. Но и – чужим солдатам отдавать? Оглянулся на своего полковника.

А Воротынцев – на Качкина, на колесо его от груди к спине.

– Дай.

Не – дал Арсений, не – встал подать, не – протянул. А как стоял на коленях шагов за восемь от Качкина – размахнулся и метнул нож мимо плеча чьего-то, – и у самой Качкина ноги, обдирая сосновый вздутый корень, врезался нож в землю стоймя.

Качкин выдержал, не убрал ноги. Вытаскивая нож, сказал:

– Ничего, подходяво. За тамбовского сойдёшь.

И посмотрел лезвие на свет, с жала.

– А костромских нет? – спросил Воротынцев.

Нет. Воронежский. Новгородских двое.

Медленно, внимательно пересматривал их всех полковник. Один гусак насупленный в счёт не шёл. Один ласковый услужливый так и просился – встать, доложить, ответить.

– А ты откуда?

Подскочил, засиял:

– Архангельский, ваше высокоблагородие, Пинежского уезда. Монастырь Артемия Праведного у нас, может, слышали?

– Сиди, сиди. – Дальше смотрел. И увидел крупного запасника с той бородой, какую бороной расчёсывают. – А ты?

Не вставая, как беседа, ответил с важностью:

– Олонецкий.

Он и ел непроворно, глаза переводил неторопливо.

Воротынцев выглядел озабоченно.

– Поели? А вода дальше будет, озерко малое. А ноги как у вас? – Отвечали, но он не об этом думал. Объявил, но как-то некатегорично: – Если хотите, можете с нами идти.

Харитонов просиял. Да не могло же быть иначе!

– Выходить придётся н-ночью, – всё озабоченнее объяснял Воротынцев и не на поручика глядел, а пересматривал солдатские лица, больше – на олонецкого, на Лунцова, на Качкина. – Сегодня же, ночью. Придётся шоссе переходить. Это сложно будет. А после шоссе, наверно, бегом бежать.

На отдалённом пне сидел прямоголовый сообразительный Ленартович и в испуге смотрел на Воротынцева: слишком рано он составил о нём мнение как об умном человеке. Он не спятил ли? Если от шоссе бежать – как же тащить этого поручика на носилках? А уж труп зачем волочить, что за обряд дурацкий? Ну и перестреляют всех. Живым погибай, для мёртвого? Неужели он так их и возьмёт?

Именно это и восхищало Ярослава, это нерасчётное упрямство и было самое трогательное: что мёртвого они несли, что полкового командира даже мёртвого не хотели оставить чужой земле! И почему полковник мялся, тоже понимал Ярослав: тут странная была группа, не армейское что-то, отношения не подчинённости, но доверия, не поручик Офросимов командовал ею, а как бы сама собой она командовала, оттого и спрашивать надо было самих солдат.

Воротынцев оглядывал их. Солдаты молчали.

Ну, правильно, понял Ленартович, тут сложность в том, что поручик Офросимов всю дорогу не мог велеть полковника бросить, а себя нести: если подрубить это наивное убеждение, его и самого могли бы оставить. Но Воротынцев-то волен приказать похоронить, да и поручика нести ещё подумать надо.

На пнях, на земле, на скатках – вразброс сидели дорогобужцы, и было бы это как собравшийся деревенский мир – если б не две пирамидки винтовок. А Воротынцев – деятельный, уверенный, непреклонный полковник – стоял обмявшись, на расставленных ногах, руки плетями, из-под козырька поглядывал. Поглядывал на дорогобужцев. И молчал.

И солдаты молчали, не все смотря на полковника – кто и в землю, кто на носилки одаль.

Когда полковник, ещё раз обглядывая всех, остановился на Корнее Лунцове, тот провёл по серой веничной бороде, всю её никак одной рукой не захватывая, и спросил со значением:

– А – сколько ещё до России вёрст, ваше высокоблагородие?

Далась им Россия, чучелы, будто немцы туда прийти не могут! Пулемётов они не понимали, только вёрсты. Если полковник уступит, надо Саше эту группу бросать.

А Качкин короткоухий какую-то кривулину корневую с руки на руку перебрасывал. Так – и так. Так – и этак.

Ещё проверил Воротынцев стоялый озёрный взгляд олонецкого – и вот уже выпрямился из колебаний, вскинулся и, чётко:

– Хорошо, выступаем! Прапорщик! – сощурился на гордую голову Ленартовича. – Мы с вами сменим двоих под покойным.

Как пришилил. Вздорная игра, а состояние безвыходное, ничего и не возразишь. Саша повёл головой, как бы не веря. Плечами пожал. Поднялся медленно. Ступнул не сразу, к носилкам. Погребальное шествие, идиоты.

– Я тоже, господин полковник! – беспокойно вытянулся Харитонов, но Воротынцев рукой отклонил.

Вместе с Ленартовичем они взялись за передние жерди – и подняли, лучше и хуже угадывая хватку задних. По росту ровни, пошли, попадая в общий лад, чтоб раскачки не было. Вчетвером не очень было тяжело, но неудобно, спотычливо.

Хотя и неприязненно, с видимым подозрением, принял вчера полковник Ленартовича, но Саша за вечер и за ночь оценил как удачу, что встретился с ними. Этот, пожалуй, выведет. Такие изнурительные часы настали, все силы отбирая движеньем и опасностью, что отдаться умелой воле успокаивало и отупляло: не искать, не беспокоиться, а делать и шагать, как скажут. К тому же с первых минут Саше нетрудно было заметить, что этот яснолобый полковник – какой-то редкий среди офицеров тип: по-настоящему, кажется, интеллигентный, образованный человек. А с другой стороны, если он истинно-образованный, да ещё имеет власть, – как же мог он поддаться тёмному немоу завету этих диких запасных из нечёсаных углов России? Ну, пусть как серьёзное что-то выносили знамя – тряпку казённую, никому не нужную, всеми уже осмеянную, но она хоть не весила ничего, да вот что: она была хороший предлог для Офросимова, чтоб его самого тащили. Но:

– Господин полковник! Зачем же всё-таки мёртвого нести? Ведь это дикость.

Они шли впереди, и слышать их только и могла бы третья голова за самыми их плечами, затылком вниз, покачивая на ходу.

Воротынцев не возразил.

– Какая ж это современная война? – смелел Саша.

Живые, умные у него были глаза, перед которыми не отделаться тупой армейской отговоркой. Но имел Воротынцев тон, чтоб и такие глаза моргнули:

– Современная война встретит нас на шоссе, прапорщик. Вы бы прежде подумали – чем будете стрелять? Этой пукалкой не настреляешь.

Может быть и верно, но всё это увёртка. А вот на главное возвращал его Саша:

– Сейчас вы заставляете нести труп, потом прикажете нести этого поручика, наверняка черносотенца, по лицу вижу.

Саша рассчитывал – полковник рассердится. Нет. Так же отрывисто, и даже думая будто о другом:

– И прикажу. Партийные разногласия, прапорщик, это рябь на воде.

– Партийные – рябь?? – поразился, споткнулся Саша, извернулся под жердью. Два-три пути возражений сразу открылись, перед ним, но наступательный был наилучший: – А тогда что ж национальные? Не рябь? А мы из-за них воюем? А какие ж разногласия существенны тогда?

– Между порядочностью и непорядочностью, прапорщик, – ещё отрывистей отдал Воротынцев. И внешней свободной рукой приподнял, расстегнул планшетку, на ходу смотрел то под ноги, то в карту.

Да не из принципа только, не из принципа даже, а совсем не просто, очень трудно было нести носилки, как будто двойной человек на них лежал, резала жердь плечо, всего тебя клонила пригнуться, и уже задний солдат окликнул:

– Повыше, ваше благородие!

Саша всю жизнь развивал мозг, то было важнее, а тело – некогда. За эти последние дни он ещё истощился. Зубы сжимая, он нёс и загадывал, до какого дерева донесёт, там попросит его сменить. Потом добавлял ещё прогон.

Между тем слева приоткрылась поляна – и солнце уже почти открыто ударило в них поверх дальних вершин. Опять вступили в просеку, темноватую от частых сосен, просека стала подниматься, подниматься, ещё труднее нести, сердце выколачивалось, – а полковник направил и с просеки свернуть и ещё круче подниматься, прямо лесом идти, между соснами, – правда, они реже стояли здесь, расчищено было от хвороста, от подростка, и повсюду свободно идти по мягкому ковру игл, только от шишек неровному. Не на подъёме ж было отказываться, терпел Саша дальше. А когда поднялись, то и сам полковник чуть раньше скомандовал:

– Стой! Опускаем.

Они оказались в глуби леса на открытой гряде, в утреннем солнечном боковом просвете. Сосны стояли здесь редко, на бронзовых, иногда дуговатых стволах, на возвышенных раскинутых ветвях держа свои сквозистые крупнохвойные шапки. Раннее

солнце уже теплило стволы – и до позднего вечера весь обход не должно было уходить отсюда. Должны были белки любить это место, в весну – тянуться сюда зверьки на первые обсохи: здесь быстрее всего сходит снег, и никогда не стоит вода. А назад, откуда пришли они, гряда спадала просторным длинным склоном в просторную же впадину, и туда по чистым иглам между чистыми соснами хоть боком прокатывайся.

А ещё выступал из гряды отдельный холмик. К нему-то и поднесли носилки.

Ничего не объясняя, Воротынцев постоял, осмотрелся и дал другим осмотреться. И тогда уже не в колебании и не тоном упрощивания, но уверенно объявил дорогобужцам:

– Ребята! Полковника Кабанова мы похороним здесь. Лучшего места не будет. А немцы – не нехристи.

И – пересмотрел, пересмотрел дорогобужцев. Добавил тихо:

– Иначе нельзя. Не выйдем.

Что не выговаривалось и не принималось на серой рассветной вырубке в низине и при первой встрече – то здесь, на радостной высоте, в ласковом утреннем солнце, в первом разогревном смольном запахе, и от того, кто сам эти носилки понёс, – принялось, уложилось. Та сумрачная тень на лицах – вины, не вины, отчего бы вины? оттого ли, что столько умерло, да не они? – ту тень прорвал им чужой полковник. И вот – не было сопротивления на лицах.

Олонецкий снял фуражку, повернулся к востоку; про себя молясь, перекрестился истово; поклонился поясно; отпустил:

– Бог простит.

И другие иные перекрестились.

Воротынцев, ни мига не медля, окликнул:

– Арсений, где твоя лопатка? Начинай. Вот тут. – Показал на холмик.

Всем снабжённый, ко всему приспособленный, на всё всегда готовый, Благодарёв безунывно отстегнул сапёрную лопатку, как если б к этой работе только и шёл сюда, взошёл на холм – там был простор и всем собраться, стал на колени, хоть сколько-то ноги укорачивая, и врезался, где не было корней.

И у дорогобужцев оказалось две лопатки. Давно самый готовый к делу из них, подкатился быстро Качкин тяжёлым комом, и, начиная тоже с колен, стал бить и выбрасывать, бить и выбрасывать землю – с дикой силой, без всякого передыха.

– Здорово, Качкин, берёшь! – отметил Воротынцев.

Качкин задержался, оскалился с колен:

– Качкин, вашвысбродь, по всякому может. И – так могу.

И вот увальнем, из силы последней, с недохваткой дыхания, больной толстяк, еле-еле ковырялся, еле-еле вынимал на кончике лопаты.

– И ничего не докажете! – кольнул кабаньими глазками. И тут же опять – пошёл, пошёл долбать, только земля замелькала, как будто сама та сказочная лопата ходила, что за ночь воздвигает дворцы.

И так – и так мог Качкин. И так – и этак.

А Лунцов с напарником пошли нарубить и сплести крышку для носилок, чтобы сделать их гробом.

Такой был цельный обширный лес, что война, бушующая вокруг, сюда, в эту глубь, за всю неделю не заглянула ничем: ни окопчиком, ни воронкой, ни колёсным следом, ни брошенной гильзой. Разгоралось мирное утро, сильнел смоляной разогрев, приглушённо перещебетывались, молча перелетали августовские успокоенные птицы. Обнимало и людей безопасное вольное чувство: будто и окружения никакого нет, вот похоронят – и по домам разойдутся.

Могила готова была. И крышка к носилкам готова.

Но как-то надо ж было отпеть? какой-то кусочек панихиды? Слыхивал Воротынцев панихиды не раз – а повторить или другим указать ничего не мог, дело это было офицеру стороннее, священское, не запоминалось.

Его нерешительный взгляд перенял Арсений – он рядом стоял и потягивался, спину

разминал. Перенял – и сообразил ведь! – никаким образовательным развитием не созданная, такая уж была быстрая сметка у парня. А ещё за эти трое безмерно наполненных суток установилась между ними бессловесная неоговоренная взаимная область разрешенья и прав, вообще невозможная между полковником и нижним чином, да ещё при разнице в годах. И вот, ни слова приказания не получив, ни слова предложенья не высказав, Арсений, уже принимавший столько разных взглядов, для каждого дела свой, ещё принял новый: выпрямился, приосанился, переимные от кого-то важность и строгость появились в лице и в голосе.

Фуражку снял, швырнул за себя, не глядя. Спросил у всех, ни у кого, брови нахмуря, как имеющий власть, голосом не будничным, возвышенным:

– Как покойника звали-то?

А солдаты – и не знали, солдатам – “ваше высокоблагородие” сунуто. И никто б не знал, если б не Офросимов. От земли, со своих носилок, ответил взнесенному нижнему чину:

– Владимир Васильевич.

И тут же шагнул Благодарёв к покойнику, наклонился, снял платок с лица – за пять минут до того не дерзнул бы. С выпяченной грудью, с головой прямой обернулся к восходу, к солнцу – и чистым сильным голосом и точною дьяконской манерой воспел до высоких сосенных вершин:

– Миром Господу по-мо-лим-ся!

Так это было властно, сильно и точно по-церковному, что приглашенья не требовалось больше, – и олонецкий, и Лунцов, и ещё человека два сразу поняли и тут же отозвались, закрестились, поклонились востоку каждый на том месте, где стоял:

– Господи поми-илуй!

И первым же, всех зычнее, пел среди них Арсений, из дьякона тут же перейдя в первый голос церковного хора. А отпев – перешёл снова в зычного, сочного дьякона, с удивительной мерою ритма, интонации, речитатива, – не умея повторить, Воротынцев узнавал с несомненностью:

– О новопреставленном рабе Божьем Владимире – покоя! тишины! блаженныя памяти его, Господу по-мо-лим-ся!

И уже всех захватывая, и офицеров, уже все собираясь к покойному, с головами обнажёнными и лицами к востоку:

– Господи поми-илу-уй!

Сколько ж сторон и объёма во всяком человеке, вот в молодом крестьянине из глухого тамбовского угла: три дня с ним вместе идёшь через смерть, потом бы потерял навсегда, так бы не узнал, не догадался, не задумался, если бы не случай: он в церковном хоре поёт, и не один же год, наверно, и к службе прислушан, и это нечто важное в его жизни, любит, знает – эх ведь выговаривает до точности в каждом звуке и в каждой паузе, с полным смыслом, все интонации верные:

– О неосужденну предстати у страшного престола Господа славы, Господу помолимся-а-а!

Поднесли и Офросимова, поставив лицом к востоку. Он сидя крестился и тоже пел. И Харитонов, теперь увидевший загадочное лицо героя, пел, ощущая слезы, но слёзы освобождающие:

– Господи поми-и-лу-уй!

И дальше властно вёл дьяконский голос, не стесняясь чужбинным лесом:

– О яко да Господь Бог наш учинит душу его в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, идеже вси праведнии пребывают, Господу по-мо-лим-ся!

Отчасти уже сбывалась молитва: для тела уже вот и было учинено такое светлое покойное место.

Все на восток, только и видели в спины друг друга – невидим был лишь последний, самый задний, не подпевший ни разу, с кривоватой улыбкой сожаления, но всё же голову обнаживший Ленартович. Зато перед всеми стояла, в поясных поклонах нагибалась и

распрямялась гибкая сильная спина Благодарёва, лишь потому не широкая, что ещё длинная. И привольны, отсердечны были крестные взмахи его сильной длинной руки, готовой и к работе и ночному бою за жизнь:

– Милости Божия! Царства небесного! и оставления грехов испросивши тому и сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу пре-да-дим!

И – выше солнца, выше неба, прямо к престолу Всевышнего четырнадцать грудей мужских напевом проверенным, голосом слитным, восслали уже не просьбу свою, но жертву, но отречение:

– Те-бе-е, Гос-по-ди-и-и!...

## 51

Потеряв командование, перепутавшись родами войск и частями, заняв лесные дороги во всю ширину и по обочинам, в глубине леса русские двигались ещё спокойно. Но всякий выход на просвет, на большую поляну, на перелесье, к деревне – был встречаем стрельбой. Одна стрельба вызывала другую: приняв своих за немцев, стреляли и по своим.

На рассвете 17-го августа голова беспорядочной колонны вчерашнего 13-го корпуса была встречена на опушке, за пятьсот шагов до деревни Кальтенборн, орудийным и пулемётным огнём. Утверждённого сводного командования не было, но оказался в авангарде полковник Первушин, и с доброхотными случайными помощниками от разных частей развернул на выходе из лесу несколько пушек, оказавшихся тут, они открыли огонь, а сам он пошёл со сводною ротой и развёрнутым знаменем Невского полка в атаку на деревню. Немцы бежали, оставив четыре орудия.

Однако вся завоёванная кальтенборнская поляна была – верста на версту, и снова предстояло углубляться в лес. А через две версты – опять выходить на просвет, к деревне, опять под обстрел, уже точно расставленный по просекам и дорогам. Михаил Григорьевич Первушин, со службой и годами несколько не утративший солдатского естества, стал душой и следующего прорыва. Он так всегда был слитен с солдатами, что не мог вести их на невозможное, а если уж вёл – не могли за ним не идти. В первушинском авангарде была перемесь невцев, нарвцев, копорцев, звенигородцев. Две неполных батареи следовали за ним, среди них и Чернега.

Вновь расставили свои немногие снаряженные пулемёты и пушки, открыли внезапный беглый огонь – и так все бросились в атаку. Опять Первушин бежал впереди и получил штыковую рану. Неожиданный прорыв русских и тут оказался так крепок, что немецкий заслон, силою в полк, кинулся в бегство, оставив многие пулемёты и двадцать орудийных стволов, иные с полной запряжкой.

В этом ратном труде, как выражались наши предки, у первушинского авангарда прошёл весь день. Дорога на выход ещё была длинна, лесные вёрсты, немецкие заслоны один за другим, завалы, колючая проволока; пулемёты по просекам и пушки на проходах поджидали свои столпленные нестройные жертвы. Едва высывались русские на прогляд, на прострел – немцы окатывали их всеми видами огня. С каждой удачей становилось русским всё трудней и трудней: меньше телесных сил, больше голод и жажда (колодцы завалены), меньше снарядов и патронов, больше раненых, сильней заслоны, а надежда вся – только на штыковую атаку.

Было уже за полдень далеко. Многолюдная с утра, колонна обтаивала. Безумеющие люди теряли разум действий и надежду.

Перед последним рывком полковник Первушин, уже раненный дважды, и всё штыком, приказал подпрапорщику...

-- ==

Экран

-- ==

= а тот – с полковым знаменем, сейчас свёрнутым.

Это такой человек – сам никогда не откажется, с ним и ляжет.

= Первушин, одна рана перевязана, другая нет, машет неповреждённой рукой: снимай!

Стрельба. Рвутся поблизости снаряды.

= А знамя – георгиевское, вделан крест в прорезную пику древка.

= Знаменщику – жалко. Душа болит. Крестится.

Снимает знамя. Древко передаёт помощнику. Тот отламывает овершье. А палку, палку простую – бросает...

= С лопатой они понуро уходят

= закапывать. Роят ямку, оглядываются на приметы, деревья.

Вершины деревьев вздрагивают при взрывах. Гудит всё. И в этой музыке

= Первушин сидит на пне, просто так сидит, думает.

Мы близко видим

= его, и его движенья, осторожные из-за ран. Кровь на лице, на шее, на кителе.

Фуражка пробита. Набекрень, неуставно.

Совсем опущены его диковатые усы. И выкат глаз уже не дерзкий, не шуточный – безнадёжный.

Ни с кем он не разговаривает, никто к нему не подходит.

Минуты думанья, может быть последние за пятьдесят четыре года жизни.

Разрывы. Гул стрельбы.

Поворот головы на знаменщика. Тот докладывает: всё в порядке.

Закопал. Как сердца кусок.

= И с усилием (себя-то самого как поднять?!):

– Штабс-капитан! Грохолоц!

= Вот и знакомый наш Грохолоц, без фуражки совсем, и видно, как он лыс: всё голо, только на макушке гладкий островок да два на теменах.

Ведь он далеко не молод, откуда ж эта подвижность, готовность? Да у таких худых бывает.

Всё так же взвинчены усы, но может быть – с отчаянием.

Первушин ему:

– Ну что ж, попробуем? Собирайте, кто винтовку держит. Командуйте пулемётам.

Грохолоц. Хорошо, попробуем. Сейчас. Ничего. Мы можем.

Поднимается Первушин. А – не мал уродился.

А – грозен.

Отец! За этим пойдут.

И фуражкой – два взмаха

= пушкам. Две пушки, уже готовы к бою, но в глубине за деревьями, и облеплены усиленной прислугой – чтоб выкатывать их на край леса.

Тут и Чернегу видим, он гол до пояса. Как наложенные, как наклепленные змеи плечевых мускулов,



а всё та же головка сыра с короткими усами,  
но свирепая:  
– Взяли, братья! па-катили!  
Покатили! Покатили!  
Хруст, лом, топот. И – отчаянный голос, его, не его:  
– Беглый! А-гонь!  
Ударили! И пулемёты наши, где-то близко. Уж сколько  
есть, уж чем осталось.  
Сзади, в спины,  
= через крайние деревья видим: по мелкому  
подлесью, промеж сосенок мелких  
побежали наши, побежали.  
Офицерики, конечно, впереди – и шашечками  
поднятыми струят над головою -  
жест беспомощный, совсем не опасный врагу, а для  
своих: не отстаньте, ребята, мы же все заодно!  
И рядом с бегущими.  
= Не атака – а спотычка.  
А кричат, что от “ура” осталось:  
– А-а-а-а-а...  
Тащат винтовки со штыками, но еле тащат, где уж  
ими колоть!  
Вот один – кувырк.  
Убит? Нет, отдохнуть лёг за сосенным молодняком:  
бегите уж без меня, я – весь, сожду судьбы и так.  
И шашки офицерские – трепещут как подбитые,

### **сейчас свалятся.**

Пулемётный тук.  
= Падают наши! Ах, падают, винтовки роняют...  
Как случилось? Одна штыком в землю воткнулась,  
а прикладом качается, прикладом качается.  
= Грохолоц трогательно бежит, по лысине сзади  
узнаём.  
Неужели подобьют? Бежит!  
= А ещё впереди, всех обогнав, – высокий  
Первушин. Снова грозный,

### **на нас!**

с усами страшными,  
с винтовкой, штык наперевес!  
И споткнулся  
о низкую проволоку, незаметную.  
= А из окопчика, из укрытия, навстречу  
немец здоровый, штыком  
подсадил  
его, верхнего, страшного полковника!  
Третья штыковая! Это надо же!  
Рухнул полковник Первушин.

Пулемётами, пулемётами  
= разрезается русская атака,  
посеклась,  
завернулась.  
= И на краю леса озверённый кругломускульный  
Чернега видит: уже не стрелять надо, а тикать.  
И, вспрыгнув на пушечное колесо,  
вывинчивает панораму, а по знаку его отнимают замки от орудий -  
= и с ними побежали

**все в лес,**

в глубину! назад...

## 52

Сам генерал Клюев не был ни в голове корпуса, где Первушин, ни в арьергарде, где Софийский полк отбивался в стошаговом лесном бою, – он держался середины колонны, и путал, и метался, мотал её, от каждого заслона отворачивая. Кольцо окружения казалось ему неразрываемым, и некому было собрать полкорпуса на прорыв.

Остатки нашей артиллерии действовали сами собой: меняли позиции, стреляли прямой наводкой, где видели противника, при бегстве оттягивали орудия или покидали их. А тут ещё широкая болотистая речная полоса со многими канавами перегораживала русским путь там, где расступался грюнфлисский лес, и в этой болотистой низине тонула артиллерия, тонули обозы. И хотя по прямой уже видно было шоссе, и дойти до него было три версты, – уклонялись части опять на восток в сторону недостижимого Вилленберга, искали переход по сухому. Поток отступающих таял, каждый час исчезали куда-то не сотни, но тысячи. Беспорядочная толпа вокруг Клюева выкатилась на поляну близ Саддека, попала под перекрестный шрапнельный огонь, шарахнулась назад в лесок.

И тут – исполнилась чаша терпения единокомандующего окружёнными центральными корпусами. Во избежание напрасного кровопролития велел генерал Клюев поднять белые флаги – при двадцати батареях, проташенных, прокруженных через всю Пруссию! – и против восьми батарей противника. С рассыпанными десятками тысяч по лесам – против шести батальонов в этом месте.

Золотые слова: “во избежание кровопролития”. Каждый человеческий поступок всегда можно огородить золотым объяснением. “Во избежание кровопролития” – благородно, гуманно, что на это возразишь? Разве то, что надо быть предусмотрительным и во избежание кровопролития не становится генералом.

Но – не оказалось белых флагов! Ведь их не возят по штату вместе с полковыми знамёнами.

Это было на поляне, близ выхода из лесу.

--

экран

--

= Всё, что колёсное есть – обозное, артиллерийское,  
санитарное, забило поляну без рядов, без направления.

На двуколках, фургонах – раненые,  
сестры и врачи.

Что попало на телегах – оружие, амуниция, вещи,  
может и захваченные у немцев...

Пехота стоит, сидит, переобувается, подправляется...

Верховые казаки стеснёнными группами...  
Разрозненная артиллерия...  
= Обречённая военная толпа.  
= А вот и генеральская группа, верхами.  
И казачья конвойная сотня при ней.  
= Генерал Клюев. Напряженье держаться с внешней  
важностью. Смотреть с важностью, бровями двигать  
(а иначе ведь и слушаться перестанут):  
– **Вахмистр! снимите нательную рубаху.  
Взденьте на пику! Выезжайте медленно  
к противнику.**  
= Вахмистр – как приказано. Пике передал соседу,  
снимает рубаху верхнюю, снимает рубаху нательную...  
= и вот уж одет, а рубаха – белым флагом на пике.

## Ехать?

Но что-то гул.  
= Это – казаки между собой гудят.  
= Вахмистр смотрит на них, замер.  
И Клюев на них оборачивается.  
Тише гул.  
Клюев машет,  
и вахмистр с белым флагом отъезжает.  
Громче гул.  
= От другой казачьей группы, подальше:  
– **А мы – сдюжаем!**  
– **Казаки не сдаются!!... где это видано?**  
Да не Артюха ли Серьга, плут забиячный,  
кругловатый, фуражка кой-как, из-за чужой спины  
кричит дерзко, разносисто:  
– **Вилать – не велят!**  
= Клюев – чересильным окриком (а уверенности -  
никакой):  
– **Кто там командует?**  
= И выезжает вперёд с капитанским беззвёздным  
погоном изгибистый, стройный, вьющийся в седле  
офицер. Лицо литое, черноглазый, – никакого  
почтения! – ах, сидит! ах, избочился, пальцы  
на сабельной рукояти:  
– **Сорокового Донского е-са-ул Ведерников!**  
Посмотрел на генерала – добавлять ли?  
И ничего не добавил.  
Новый гул, новые восклицания.  
= Клюев оглядывается, оглядывается...  
на пехоту, на столпленье людское.  
Кто как, кто слаб, кому хоть и сдать, а  
этот солдат кричит, за затылок взявшись,  
фуражка сбилась, где вся дисциплина? Где форма? -  
– **Чего это? в плен? а мы – не изъявляем!**  
Поддерживающий гул  
соседних с ним солдат.

И их подполковник идёт, прорезая толпу, обходя телеги,  
к верховому генералу,  
оборот:  
= сюда, к нему, снизу вверх, как покуситель на царя,  
вот выхватит пистолет и застрелит. Руку  
вздёрнул – нет, честь отдаёт:  
– **Подполковник Сухачевский, Алексопольского полка! Вы приняли командование и 15-м корпусом тоже! Вы обязаны выводить нас... генерал!**  
Снизу вверх – простреливаяюще, с презрением.  
= Уже и – не превосходительство... И нет твёрдости возражать. Клюева мутит. Глаза закрыл,  
открыл -  
стоит Сухачевский, не уходит.  
Да разве генерал не понимает! Да разве ему самому легко? Но – во избежание кровопролития?...  
Ну, да он ни на чём не настаивает. Со слабостью:  
– **Пожалуйста... кто хочет – пусть спасается. Как умеет.**  
Вынул платок, лоб отереть. А отерши, смотрит:  
= платок! он – белый! он – большой, генеральский платок!  
= И, взяв его за уголок, подальше от неприятностей с этими подчинёнными, перед собой спасительно помахивая,  
шагом конным поехал к опушке, сдаваться,  
вослед вахмистру с рубахой.  
= И – весь штаб за ним, кавалькадой.  
И – потянулись, кому скорей бы конец...  
скорей бы конец...  
скорей бы...  
= А близ лазаретного скопления  
врач с лошади командует:  
– **Внимание! Командир корпуса объявил о сдаче. Все, кто рядом с моим лазаретом, – бросай оружие! Бросай!**  
= Недоуменный маленький солдатик, винтовку няньча:  
– **И куды ж её бросать?**  
– **Под деревья кидай, вон туда!**  
А из фургона, из-под болока, выбирается в одном белье раненый, перебинтованный:  
– **Да ни в жисть! Дай винтовочку, землячок!**  
Забирает у недоуменного. И -  
зашагал в одном белье, с винтовкой.  
= А другие сносят, бросают...  
бросают...  
под крайние деревья, наземь.  
= Лица солдатские...  
и раненых...  
Но – голос боевой, звончатый:

– *Эй, казаки!*  
= Это – есаул Ведерников, выворачивая коня к своим:  
– *Нам тут не место!*  
= Ну, и донцы его стоят! Нет, не сдадутся!  
Гул одобрительный, воинственный.  
И Артюха Серьга зубы скалит. Что-то в нём симпатичное, когда мы теперь его увидим?  
= И командует Ведерников:  
– *Все – на коней!... справа по три... малым наметом... марш!*  
Махнул – и поехал. И за ним на ходу – по три, по три, по три разбираясь, поехали казаки.  
= И подполковник Сухачевский, он низенький, ему через головы не так сподручно:  
– *Алексо-опольцы!... Сдаёмся? Или выходим?*  
= Кричат алексопольцы:  
– *Выхо-одим! Выхо-одим!*  
Может и не все кричат, а сильно отдаёт.  
Сухачевский:  
– *Никого не неволю. А кто идёт - выставил руку:*  
– *... становись по четыре!*  
Пробиваются солдаты, разбираются по четыре.  
Кто бы и остался, кто на ногах еле - да ведь с товарищами!  
= Ещё к нему валят:  
– *А кременчужцам можно, вашескродие?*  
Грозно-счастлив Сухачевский:  
– *Давай, ребята! Давай, кременчужцы!*

Генерал Клюев сдал в плен до 30 тысяч человек, большинство не раненых, хотя много нестроевых.

Подполковник Сухачевский вывел две с половиной тысячи.

Отряд есаула Ведерникова вышел в конном бою, захватив два немецких орудия.

## 53

Генерал Благовещенский читал у Льва Толстого о Кутузове и сам в 60 лет при седине, полноте, малоподвижности чувствовал себя именно Кутузовым, только с обоими зрячими глазами. Как Кутузов, он был и осмотрителен, и осторожен, и хитёр. И, как толстовский Кутузов, он понимал, что никогда не надо производить никаких собственных решительных резких распоряжений; что из сражения, начатого против его воли, ничего не выйдет, кроме путаницы; что военное дело всё равно идёт независимо, так, как должно идти, не совпадая с тем, что придумывают люди; что есть неизбежный ход событий и лучший полководец тот, кто отрекается от участия в этих событиях. И вся долгая военная служба убедила генерала в правильности этих толстовских воззрений, хуже нет высказывать с собственными решениями, такие люди всегда ж и страдают.

Третьи сутки корпус благополучно отстаивался в тихом пустом углу у самой русской границы. У командира корпуса, отделясь от штаба, был маленький деревенский домик, успокаивающий своей теснотой. Лишь иногда смутно слышался дальний слитный

артиллерийский гулок, и можно было надеяться, что все важные события в Пруссии пройдут без корпуса Благовещенского.

А отдыхающий корпус не знал, что всё его благоденствие создаётся умелыми ловкими донесениями корпусного командира. Упустил и Лев Толстой, что при отказе от распоряжений тем пуще должен уметь военачальник писать правильные донесения; что без таких продуманных решительных донесений, умеющих показать тихое стоянье как напряжённый бой, нельзя спасти потрёпанные войска; что без таких донесений полководцу нельзя, как толстовскому же Кутузову, направлять свои силы не на то, чтобы убивать и истреблять людей, а на то, чтобы спасать и жалеть их.

Так и в донесении за 16 августа благообразно представил Благовещенский, как дивизия Рихтера, наконец пополненная своим задержанным полком, выдвигается на завтра для овладения городом Ортельсбургом (за два дня до того покинутым в панике и никому), где находятся крупные силы противника не меньше дивизии (две роты и два эскадрона), а дивизия Комарова держится слева на уступе (важное модное выражение русской стратегии, без которого несолидно выглядит военный документ). Также и все передвижения кавалерийской дивизии Толпыги очень украсили это донесение, и вполне мог рассчитывать Благовещенский без волнений пережить ещё и 17 августа.

Утром 17-го по всем правилам оперативного искусства разворачивалась против полупустого Ортельсбурга ни одного боя ещё не перенесшая дивизия Рихтера и уже подступалась для атаки, открыла артподготовку и обязательно город бы этот взяла, – как вдруг в 11 часов грянуло с пятичасовым опозданием утреннее распоряжение штаба фронта: корпусу Благовещенского идти выручать погибающие корпуса, для чего не к Ортельсбургу двигаться, почти на север, а к Вилленбергу, почти на запад. “Главнокомандующий требует энергичного выполнения поставленной задачи и скорейшего открытия связи с генералом Самсоновым”.

Вот этого Благовещенский и опасался! Край смерча прихватывал их при конце – но и при конце не поздно гибнуть.

Однако сама оперативная задача допускала свободу истолкования. По расположению сходно было, как если бы войска подходили к Москве от Рязани, а им велено идти на Калугу. И ничего не придумать стройней и удобней, как снова отойти к Рязани, а потом идти на Калугу. И победоносной рихтеровской дивизии, уже входившей в Ортельсбург, дал Благовещенский распоряжение покинуть взятый город и не идти налево на Вилленберг, но отступить направо назад 15 вёрст, а затем уже, с разгону, идти на Вилленберг.

Но ещё прежде этих манёвров Благовещенский послал энергичное донесение в штаб фронта:

“Для отыскания генерала Самсонова послан разъезд в Найденбург, для связи с 23-м корпусом послан разъезд в Хоржеле. Сведений пока нет. Веду бой у Ортельсбурга, рассчитываю отойти на линию... со штабом в... – (тут и штабу ведь придётся отойти), – чтобы действовать в направлении на Вилленберг”.

Естественно было использовать для наступления и конную дивизию Толпыги – хотя бы двинуть её туда, откуда она поутру самовольно вернулась. Но генерал Толпыго в таком же умелом пространным рапорте обстоятельно объяснил, что его уставшая дивизия только что расседлала коней и не может двигаться на повторение трудной задачи. Благовещенский отдал вторичный письменный приказ, Толпыго вторично письменно отказался. Только на третий раз и уже с угрозами приказ был принят, и стали седлать.

Теперь, когда вся сложная часть манёвра была обеспечена, пристойно было кого-нибудь послать и прямо на Вилленберг. Для этого хорошо подходил сводный отряд под командованием Нечволодова. С той самой порочной манерой вылезать, которую осуждал Благовещенский, Нечволодов вчера, во время мирной днёвки, уже добивался такого рейда, но указано было ему ждать распоряжений. Таких-то людей в своём подчинении Благовещенский больше всего не терпел, старался наказывать их, утяжелять им службу. А Нечволодов был сверх того ещё и писатель, уж вовсе лез не в своё дело судить за пределами

службы. Так наилучше подходил он для опасного авангарда.

После полудня 17 августа он был отпущен с Ладожским полком и двумя батареями. Приказано было ему поспешить, а главные силы дивизии тронутся позже.

## 54

Не быстрота была первым свойством генерала Нечволодова, но твёрдость. А замечал он в жизни не раз, что с твёрдостью бываем мы у цели не позже, чем при быстроте да шаткой, переклончивой на несколько дорог.

Цель же его была – не отдельная, не своя собственная. К пятидесяти годам холост, одного усыновлённого сына без натуги выводя в жизнь, он имел и досуг, и личную свободу служить цели внешней, надличной, – и никакая собственность, недвижимость не мешала ему. Такая цель у него была, от детского порыва в военную гимназию, от первой юнкерской присяги в год низкого убийства царя-освободителя – служить русскому трону и России. И за сорок лет эта цель в его глазах не ослабла, не раздвоилась, не пошатнулась, только изменился ритм, в котором он ей служил. По молодости он спешил двумя руками сворачивать горы в одиночку, обгонял проторенный общий порядок офицерского учения, а, едва кончив академию, предлагал реформу генерального штаба и военного министерства. Но тогда ж и на том его необыкновенные служебные успехи были пресечены. Впервые тогда он столкнулся с единым к себе недоброжелательством старших офицеров, генералов и гвардии. Ото всех от них Нечволодов ожидал естественных жертв для укрепления русской армии и, стало быть, – русской монархии. Но оказалось, что даже среди них слова о монархии принято звучно произносить, а быть ей истинно преданным – неприлично. Чем выше, тем сплошней они оказались не патриотическим пламенем охвачены, а жаром корысти, и служили царю не как Помазаннику, а потому, что он раздавал. И прежде чем Нечволодов это понял, уже поняли его: как человека, чуждого их среде, опасного тем именно, что не ищет себе пользы, и потому его действия могут быть разрушительны для сослуживцев. С тех пор включен был Нечволодов в проползание старшинств, замедленное неблагоприятными аттестациями, и в исполнение приказов без своевольных поправок. И не мог он служить трону быстротою, а только твёрдостью и при случае храбростью.

В поиске, куда же приложить избывающий внутренний напор, Нечволодов и занялся своим безудачным курсом русской истории для простого народа. Русскую историю он ощущал не иным от службы чем-то, но – общей традицией, в которой только и могла иметь смысл его сегодняшняя офицерская служба. Для себя искал он – оживить и освежиться в других временах, когда иначе относились русские к своим монархам, для читателей – обратить их в то прежнее состояние и так ещё охватней и прочней добиться своей неизменной цели. Но хотя история сия была высочайше замечена и рекомендована для военных и народных библиотек – повсеместного заглотного чтения своей книги и перемены в умах автор не замечал. Монархическая преданность Нечволодова, своей чрезвычайностью напугавшая генералов, теперь попала под издёвки людей образованного круга, принявших, что русская история может вызывать только смех и отвращение, да и есть ли она вообще, была ли? И уж как вовсе дикое встретили убеждение Нечволодова, что монархия есть не путы, а скрепа России, что она не сковывает Россию, а удерживает её от бездны. Из-за преданности династии он и бессилён был спорить со своими критиками: что бы в стране ни делалось, он, никогда не смея осудить ни Государя, ни его близких, только смел защищать их и объяснять, почему хорошо то, что общество находило дурным.

И через молчанье и через терпенье он снова мог остаться лишь на твёрдости. Да вот иметь пристрастие к своему Ладожскому полку за то, что тот был опорой трона при московском бунте 1905 года. Хотя сам Нечволодов никогда в Ладожском не служил, и весь состав полка с тех пор переменялся, но нескольких старослужащих он знал и отличал.

Молчать и терпеть оставалось Нечволодову и последние два тихих дня 6-го корпуса. Стойкостью своих арьергардных боёв он никого не заразил, и сейчас оставалось страдать от

бездействия, когда в 25 верстах тѣк главнейший бой и, по всему, тѣк нехорошо. Генерал-майор выезжал на коне версты за две-три на холм, слушал гул и бесцельно смотрел в бинокль.

А после потери двух суток велели Нечволодову поспешить. Но уж тут как раз он не спешил, а просто тронулись, все распоряжения были вторые сутки готовы. Упущенное в штабах не нагонять теперь было солдатским шагом, да сколько ещё главные силы протащатся! Только всю свою конницу – корнета Жуковского с полувзводом, он отправил вперёд.

Два дня, пока его не пускали, Нечволодов был болен, вял, тускл. Но едва получив приказ выступать – выздоравливал по минутам. Он улыбнулся своим ладожцам – во всём корпусе одним, кто допущен воевать, ободрительное крикнул батареям, что идём своих выручать.

От сознания “идём своих выручать” один полк обратился в два, а две батареи – в четыре. Только снарядов не прибавилось. Зато сбавились все раскисляи сверху, освободились руки, чистела голова.

Опять на своём рослом жеребце со спущенными стременами долговязый молчаливый Нечволодов ехал впереди сборного отряда, теперь авангарда, – и на конский корпус позади него и сбоку ехал круглолицый, на галушках выращенный и как медный чайник наблещенный, радостный адъютант Рошко.

Ближе к Вилленбергу вступила их дорога в кондовый сосновый бор. Прочищенные восьмисаженные сосны с лоснёными медными стволами чуть веяли вершинами по небу погожему, ещё летнему. В лесу вечерело прежде времени.

На втором десятке вёрст всё слышней становилась ружейная и пулемётная стрельба, орудийная редко. Что могло это быть? Это прорывались наши и били по ним. Вилленберг был очевидной крайней, угловой, точкой окружения – и сразу же за ним могли быть, должны быть наши. Жеребец под Нечволодовым давал ходу, слишком быструю для пехоты.

Лес укрывал движение нечволодовского отряда почти до самого Вилленберга. Да немцев и не было, они так уверены были, так распустились, что не выставили никого навстречу. При конце леса Нечволодов распорядился отряду свернуть и садиться, а сам выехал между последними деревьями. Тут стояли коноводы разведки, корнет с разведчиками ушли за реку. От Вилленберга сюда, ослепляя, жёлто затопляя, светило закатное солнце. Всё же можно было развидеть перед собой луговую низинку к небольшой реке и по ней одну только возвышенную дорогу – прямо, открыто на мост! – целый мост! – своё-то, немецкое, добро жалко взрывать. И – никакой заставы по эту сторону моста! – или уж совсем нас за дураков почитают? Напротив, по ту сторону моста, в первых редких домах города уже засели и стреляли корнет с разведчиками. Скорей послал к ним туда Нечволодов через мост команду с двумя пулемётами.

Дальше там – дома гуще, железнодорожная станция и сразу город. Обходить город справа нельзя: болотистый луг. Обходить город слева нельзя: обрезают другая речка, впадающая. Но через час весь полк, не опасаясь обстрела, может открыто, в походной колонне, переходить мост, а там разворачиваться для атаки города.

Обеим батареям велел Нечволодов занять позиции на лесном краю, справа и слева от дороги.

На ближней окраине Вилленберга стреляли. По ту сторону города тоже стреляли. Нет, шатко немцам в этом городке. И они хуже, чем в клещах: вот рассыпали свою облаву лицом на запад, не подозревая, что загонщики идут с востока.

От радости ожидаемой, ухватываемой, короткой, простой победы заколотилось сердце в груди генерала и жѣгся его тѣмный спокойный лик. Он вызвал командиров батальонов и батарей, рассудили, как пройдут мост и кто что делает после прохода.

А тут с донесеньем от корнета Жуковского – пеший драгун, бегом. Сообщал корнет, что сюда, на эту окраину города к нему прорвались: двое своих отбившихся из 6-го драгунского, четверо солдат из Полтавского пехотного да один казак из конвоя



командующего армией. Уверяет конвоец, что генерал Самсонов убит в перестрелке.

О Самсонове не домысливая до конца, это могло быть и слухом, выхватил Нечволодов главное: уже идут одиночные солдаты сквозь Вилленберг, как через решето! Руку протянуть – только и осталось! Тот самый миг пришёл – ударить тараном в дырявую бочку! И – скорей, ибо всё там перемешалось и гибнет, если с дальнего фланга армии был Полтавский полк – и сюда выбились его солдаты.

Послал по ротам объявить, что наши – уже пробиваются, уже здесь, вот они! Сел писать донесенье в штаб дивизии, что начинается бой за город, требует помощи от начальника главной колонны, ещё снарядов скорей и хотя бы батарею.

Солнце зашло – а темноты дожидаться долго. Видно было, как два дома горят, где бьётся корнет. Первому батальону – за мной, на мост! Второму батальону – через интервал.

Первый дружно прошёл, не обстрелянный, но был замечен, и по второму стала бить батарейка из рощицы за левой рекой. Наша ответила туда. Ввязалась немецкая другая. Тем временем поротно пробежал второй батальон.

Серело. Ярче виделись пожары в городе.

Нечволодов достиг корнета Жуковского, сам видел и полтавцев и конвойного казака брехливо-нечистого вида. Разворачивал первый батальон против станции, откуда немцы стреляли упорней, и ждал остальных ладожцев. Третий и четвёртый батальоны должны были в темноте пройти легче.

Сгушалось в ночь. Артиллерия приумолкала. Багровато посвечивали пожары. Другого освещения в городе не было, редкие слабые огоньки, электричество нарушено. Слева ещё держался серпик луны, с ним и с пожарами лишь столько света было как раз, чтоб не заплутаться при атаке, видеть соседей. Но не столько, чтоб издали хорошо видели их. Всё складывалось счастливо. Через час батальоны займут позиции, изготовятся – и в пояс пригнувшись первые два без выстрела пойдут на город, третий в обход на лесопилку, четвёртый в резерве. Пока же, сам пригибаясь на ходу до волка, Нечволодов с Рошко и ещё несколькими офицерами искаживал налево до реки и направо, отлого приподнятый сухой твёрдый выпас. Показывал, где вести батальоны.

По ту сторону города не переставали стрелять, хоть и реже. Три-четыре версты отделало наших от своих, но тут ощущение – мы, вместе, там – порознь, закружены, погибли, и наших в мире нет.

Вот уже и свободно, в свой превосходный рост, расхаживал Нечволодов в багровой ночи и распоряжался длинными руками.

Он был уверен в успехе. Для ночного нападения на город у него хватало сил, а там подойдёт главная колонна, и утром кольцо будет разорвано. Этот разрыв поддержать день – в окружении разнесётся, и все навалят сюда.

Тревожная радость предчувственно распирала Нечволодова, он не помнил в себе такой радости за недели этой войны, за годы мира.

Оставалось пятнадцать минут до назначенной атаки.

Он вернулся к дороге.

Его как раз искали – ординарец из штаба дивизии. Всё тот же продолговатый безотказный фонарик достав из кармана шинели, Нечволодов осветил бумагу, прикрываясь от города телеграфным столбом.

“Начальнику авангарда генерал-майору Нечволодову.

Ввиду отсутствия значительных сил противника главная колонна отозвана. Боя под Вилленбергом не начинайте, поддержки не дадим, тем более, что ожидается отход всего корпуса на русскую территорию. Ждите следующего распоряжения.

Полковник Сербинович”.

Рошко вскрикнул: его генерал замычал, как между рёбер проколотый, шатнулся к столбу и перебирал зубами по отсушенному телеграфному занозистому дереву.

На гряде, где хоронили полковника Кабанова, едва не изменились планы: со стороны замирённого Найденбурга слышалась стрельба, и ясно можно было понять, что это бьют извне, что это русская артиллерия бьёт по Найденбургу, а немцам отвечать нечем. И уже готов был Воротынцев поворачивать туда – однако стихла стрельба, осталась вялая ружейная.

Но и при готовом плане весь день потом всякие четверть часа требовали и требовали от Воротынцева и слуха, и глаза, взгляда на карту, на местность, на своих солдат, на ноги их, требовали решений и команд. В этой череде военных мыслей не могло, кажется, остаться промежутка никаким другим.

А – было в голове как бы два коридора рядом, через стекло: друг друга видели, звуками не мешали. По одному коридору без задержки проскакивали деловые мысли, как выбиться им, четырнадцати и раненому одному; по другому проплывали сами собой, без подгона, ничем не торопимые, независимые, и даже друг с другом не связанные: вообще о прошлом; о недожитом; о прожитом не так. Первые торопились вырвать к жизни. Вторые озирались на случай умереть.

Опять об эстляндцах. Они не покидали, требовали своего. (Это – первые сутки, а потом не острее ли ещё потянет?...) Такое недавнее, а такое уже неисправимое: кто в плену – так те уж в плену, кто выберется – те сами по себе выберутся, а кто лёг – тот уже лёг. Вспоминать – не помочь. Да ни в чём не обманул их Воротынцев. А именно с этим упрёком они тянулись по второму немому коридору – от правофлангового чёрного дядьки с перекошенной щекой. Ни в чём не обманул! – но отступят ли когда упрёки? Ни в чём он их не обманул – он всё открыл им честно, и двадцать часов они держали нужный важный участок, и это бы всей армии могло помочь, если бы правильно делали другие. Но другие – порушили.

И, значит, он – обманул.

Как же верно быть? Не тянуться, не изощряться, не выбиваться из сил? – тогда вообще не служить. Не жить. А что найдёшь и состроишь – обязательно тебе развалят, раздавят каким-то верховым незрячим переступом.

Когда всё разрушается – как же верно: действовать? не действовать?

Второй коридор несколько первому не мешал, ничего не отнимал, там был свой простор. И для воспоминаний. И для жалости.

Щемливо жалко было Алину, представить её вдовой, – как будет она убиваться, метаться, места не находить, горлышком тонким надрываться от слез. Ещё сколько ей, может быть, лет понадобится, чтоб очнуться к жизни!

Вспоминал, как в Петербурге умела на его заваленном столе вытереть каждую пылинку, не сдвинув ни одного карандаша. Как могла часами молчать, проходить за дверью беззвучно, когда особенно надо было тишины. Как, любя в гости и на люди ходить, могла отказаться, никуда не проситься – чтоб ему этих тягот с ней не делить. Счастливая и несчастная своим мужем, жертвовать – она умела! А – что она видела в жизни с ним? Никуда не ездили, не путешествовали, ничего не смотрели.

После войны надо будет всё-всё иначе.

Впрочем, всё и проплывало и было действительно лишь на случай, если умрёшь. А я...

– ... Я-то ничем не рискую, мне обеспечено остаться в живых, – усмехнулся Воротынцев Харитонову, лёжа с ним рядом на животах, на одной шинели.

– Да? Почему? – серьёзно верил и радовался веснушчатый мальчик.

– А мне в Манчжурии старый китаец гадал.

– И что же? – впитывал Ярослав, влюблёно глядя на полковника.

– Нагадал, что на той войне меня не убьют, и на сколько бы войн ни пошёл – не убьют.

А умру всё равно военной смертью, в шестьдесят девять лет. Для профессионального военного – разве не счастливое предсказание?

– Великолепное! И, подождите, в каком же это будет году?

– Да даже не выговоришь: в тысяча-девятьсот-сорок-пятом.

Год, словно из Уэллса.

Они лежали в частом молодом зеленохохлом соснячке, в каком зайцы любят зимой играть на солнце, – Воротынцев выбрал его за то, что здесь в пяти шагах можно пройти и не заметить лежачих. Всего полтора километра оставалось до шоссе, уже доносился характерный шум автомобилей и мотоциклетов, то справа налево, то слева направо. Будь у немцев силы, они выслали бы сюда патрули для прочёса. Таких сил, очевидно, не было, до темноты можно было лежать спокойно, но и вперёд прежде времени двигаться нельзя: лесной мысок неширокий только и был перед ними, в этом мыске могли накопляться и другие русские группы, да и немцы могли прийти туда раньше из соседней деревни Модлькен. С трёх сторон Воротынцев выдвинул лежать по два солдата, остальные были в середине. Они пришли сюда в жаркий послеполуденный час, здесь застоялся накалённый воздух, палило, отнимало силы, высушивало до жажды, а фляжки не у всех.

– Ничего, – утешал Воротынцев своих, – жара да при свете – не самое плохое. Вот под Ляояном, например, – да когда же? завтра, 18 августа, – вот такой же жаркий день, а к вечеру, нам отступать, – ко всей канонаде японской и нашей ещё добавился такой ветер с пылью, такое чёрное небо, такая бешеная гроза, небо в тысячу осколков, тропический дождь, а японцы всё бьют, где гром, где пушки, не различишь.

Душно было тут лежать, но и отбираться назад никак уже не хотелось, нелегко было дойти сюда, переходили и открытую полосу железной дороги, которую немцы вполне могли простреливать с дрезин, – да не хватало их сил, что-то творилось весь день под Найденбургом, вспыхивала и вспыхивала стрельба, хотя и не приближаясь. Верный день был вырваться сегодня, завтра будет поздно.

Прожигала Воротынцева катастрофа армии. О судьбе боя под Найденбургом, о 1-м корпусе, кто там идёт, где там Крымов, волновался он больше, чем о выходе своего отряда. Но, все часы перед собой раскрытую карту держа, заставлял себя смотреть не на весь простор, а запоминать засветло каждую извилину ближнего лесного окрайка: где бы в темноте ни оказаться – представлять себе все расстояния, а обязательно что-нибудь упустишь или уверенности не хватит, и тогда рассматривай под шинелью со спичками.

Свой несомненный план Воротынцев изложил не на совещании господ офицеров, как полагается, но, при полупартизанском их положении, тем изложил, кому предстояло его выполнять: Благодарёву и Качкину; двум лучшим стрелкам из дорогобужцев, как сами называли они – здоровому медлительному вятскому охотнику и молодому рязанцу Евграфову, приказчику суконной лавки; и подпоручику Харитонову – оказался он из первых стрелков в училище, просил дать ему самую дальнюю цель. Этим пятерых Воротынцев и стянул к себе по песку под нижними ветвями сосенок, шестью головами вместе, шестью парами ног вразброс. А ещё так, чтобы в пределах слуха был и поручик Офросимов, на носилках. У него жар был, разбаливалась рана, помочь он не мог, но один мог сказать нечто облегчающее – и эту возможность Воротынцев ему давал.

Должны были начать движение с темнотой, при луне. Сперва – согнувшись, от начала опасности – только ползти. Передняя группа – Благодарёв и Качкин, с ножами. Им – красться не торопясь, не треснув веткой: полночи им времени, переходить будем ближе к рассвету, с вечера немцы и настороженной. Сто сажень пройдя благополучно – возвращаться по очереди и звать вторую группу, стрелков. Стрелки, пройдя сто сажень, связным вызывают третью группу – всех остальных с носилками. Если же передним встретится немецкий пост, засада – беззвучно убирать ножами.

– Так? – проверил, близко смотря на губошлёпистого Благодарёва и бочкогрудого обритога Качкина.

– Да Господи, – выдохнул Арсений кузнечным мехом. – Они ж нас домой не пускают!

Качкин дёрнул щетинистой чёрной щекой:

– Я – на полсела скот забиваю.

Стрелков будет четверо, с Воротынцевым. Подпоручику взять винтовку у Благодарёва, проверенная. Патронов – по три подсумка. В лесу вряд ли придётся огонь открывать, а вот –

с края леса и по шоссе. И потом уже с того боку шоссе, прикрывая отбег наших.

Объяснял, как бить по разным целям, где залпами, где разделясь. И тут от поручика Офросимова услышал, что он свой долг понимает. Тоже небритый, чёрный, перекошенный, со взглядом блуждающим, на локте поднявшись с обрыднувших носилок:

– Господин полковник, разрешите сказать? Я прошу... чтоб меня необязательно выносить... а если... по обстоятельствам. Знамя отмотаем сейчас, я передам. А положите меня только удобно и патронов больше.

– Принято, – сразу отозвался Воротынцев. – Благодарю, поручик. Евграфов, возьми знамя.

Шустрый Евграфов, как и Качкин, раньше всех дорогобужцев очнулся от пришибленности, рвался в действие:

– Есть, ваш-соко-роди! Разрешите мотать? – и уже вскакивал.

– Ле-жи.

Получилось так, что из офицеров один Ленартович не был позван на совет. Обиделся-не обиделся, но сел ближе, около Офросимова, прислушивался, а теперь спросил:

– Господин полковник, всё-таки объясните: ну, а если шоссе никак нельзя будет перейти?

– Что значит – “нельзя”? – посмотрел на него Воротынцев строго и с сожалением: ведь можно, всё из него ещё можно сделать, да некогда. – Не локоть же к локтю они стоят. Лисица – проскочит? так и мы пробежим. А вы подумали – как им на шоссе? Они полоской протянуты, им страшней: откуда из лесу повалят?

– В армии не бывает нельзя! – поучал его и Офросимов. – В армии – всё можно.

Не ответил Ленартович, а подумал: вот это и плохо, вот вы и привыкли, что всё вам можно. Вот потому и надо все армии в мире распускать.

Совет был кончен, передавали знамя, патроны. Воротынцев навязал Ленартовичу свой топорик:

– У вас ведь руки голые, с чем пойдёте? – И видя колебание, не смеются ли: – Берите, берите! Первое оружие – топор!

Ещё долго досказывал полковник ножевикам и стрелкам, какая ждёт их дорога, через сколько шагов что будет. Требовал повторять, на песке чертить, как поняли.

А потом оставалось только лежать, голову на руки, лицом в песок, ожидать тревожно. Уж всем хотелось, чтоб ночь скорей: эти последние свои часы были всё равно не свои. О войне, о бое – никто не говорил. Пожилые дорогобужцы – о кормах, о коровах здешних чернопёстрых и о своих. Потом – и никто ни о чём, замолчали.

Солнце скатывалось, смягчалось, но в их мелколесье ещё достигало, и багровый-багровый закат, западая за главный лес, сюда досвечивал. От заката потянулись тучки, сперва розовые, потом темнея в сизо-лиловые, – не к перемене ли двухнедельного зоркого ведра, повидавшего и приход и гибель русской армии?

Кажется, никогда ещё так Саше не сходило: доживёшь ли до утра? не последний ли твой закат? В каком мире окажешься завтра? Валяться ли на песке, раскинув руки? Идти ли под конвоем? Или жадно писать на кусочке бумаги: “Родные мои! Я вышел! Я уцелел!” И: “Вероня, поцелуй за меня Ёлочку!” Отсюда – это не развязно, не оскорбит вкуса. А – горячо.

Он вертел навязанный ему топорик. Маленький, лёгкий, а так остро наточен – можно представить, как мягко входит в череп. Но – как им ударить человека? Такой решимости Саша в себе не находил. Нет, это мерзко: это – убийство. Хотя принципиально рассуждая: а чем лучше пуля? Вчера уже убивали Сашу, чуть не убили. И если выхода нет, если нескольких немцев сегодня ночью беззвучно заколют ножами Качкин и Благодарёв или подстрелит телёнок-подпоручик – пожалеть не придётся. Но самому, топором, видя живое лицо – нет, не хотелось бы.

Неумолимо всё повернулось. На шоссе гудели и сновали немцы. Были и среди них ведь социал-демократы, насильно погнанные на эту бойню. И в другой обстановке Саша был бы рад жать им руки, приветствовать на митинге. А сегодня вся надежда жизни, как на отца, –

на этого полковника, слугу престола.

Тянулись сумерки. Весь лес был тёмн, а на их молодую посадку чуть освещивал серпик молодой луны. От запада к ней подбирались тёмными рукавами вытянутые тучки, угрожая закрыть.

Скомандовал Воротынцев: двигаться, не качая вершинками.

Передвинулись в лес. Здесь темней было гораздо, но подсвечивал месяц и сюда. Ушли ножевики. Собирались стрелки. И тут внезапно страшно осветилось: ярко, фосфорически! Переполошились, выглянули опять к мелкой осадке – это прожектор был! Где-то очень близко, тут, у шоссе и деревни, он стоял! Светил не сюда, светил справа налево вдоль шоссе. Не сюда светил, и от узкого истока луча сюда отдавалось лишь рассеянное.

Вот тебе и перешли!... Вот так на войне и рассчитывай!

– Всё... – вырвалось у Саши. – И что бы не в нашем месте, подальше!

– Это и хорошо, что близко, – соображал Воротынцев. – Скажите: лишь бы не второй. Близко – мы его и подстрелим, доступная цель.

И стрелки ушли.

Луну закрыло. Луч не двигался, его боковое мерцанье лишь выявляло чёрные контуры. Теперь все события перешли в звуки. У шоссе стреляли редкими пулемётными очередями – то ли для острастки, то ли русские уже высовывались где-то. Потом приближался шорох. Каждый раз это мог быть чужой, но приходил от стрелков свой: можно перейти. Несли Офросимова на опущенных руках, ступая мягко, как при спящем; оттого что долго держали, оттягивало руки. Казалось бы – ровный лес, но попадались то кучи шишек (немцы прибирали, как в доме), то канава, то ямка. Раза два передвинулись, потом долго-долго ждали вызова, уж думали всё пропало. Оказалось: наши теряли компас, искали в темноте. Офросимов, заменяя стоны, мотюгался в темноту шёпотом, Саша просил его прекратить, это было очень неосторожно: вот услышали близко сбоку голоса, наверняка не из нашей группы, а кто? – языка не разобрать. Затаились, штыки приготовили. Миновало. Зачуялось, будто собака рычит неподалеку, – нет, и не собака, миновало. Пожалуй, с версту они протащились так, да больше: теперь, когда на шоссе гудело или очередь давали – совсем было рядом. И светлей стало – оттого что больше захватывал их побочный косой сектор прожектора, к счастью всё неподвижного. Так – часа три, наверно, ушло. Ничто не изменилось в их пользу, а могло быть, что лезли они в ловушку, откуда уже ни вперёд, ни назад не уйдут, стоило лишь прожектор повернуть и идти на них цепью. Нельзя сказать, чтоб страшно было Саше, а – тоска какая-то, отчаяние. Ручку топорика он сжимал, если что – так и хрястнуть по черепу.

Вдруг близко справа – ударили наши! В четыре винтовки – не залпами, но вперехлест, как бы состязаясь в быстроте! И на десятке выстрелов – погас прожектор!! Погас! И весь мир сразу погас! полная темнота! И наши – тоже замолчали!

И что ж – нам?! И куда же – нам?...

А тут ударил пулемёт, два пулемёта – с шоссе! Но – наудачу, напропалую, неизвестно куда.

И – кабаном треща и ломясь, подкатило спереди – что? кто? – Качкин:

– Где тут поручик? Бросайте носилки! Я его – на плече! Айда за мной, плошаки!

## 56

17-го утром открылась по Найденбургу внезапная с юга стрельба – и русские раненые оживились, избочась выглядывая с кроватей в окна, а сестры выбегали наружу радоваться облачкам русских шрапнелей и фонтанам русских фугасов, будто от них своим не могла достаться смерть. Немецкий врач и фельдшера посмеивались, не веря отходу своих. Целый день вокруг стреляли, но боя не было, и немецких войск почти не было, и русские не входили. Только вечером ушли от госпиталя немецкие часовые, оставив палаты своих раненых. Новая же власть не спешила объявляться, узнать о госпитале и вывозить своих раненых в тыл.

Уже в темноте прокатывали по городу русские запряжки, проходили конные и пешие. Несколько зданий в городе, загоревшиеся ещё засветло, с темнотою стали единственным грозным освещением ночи. В таниной палате одно окно открывало вид на пожары, на весь город, – она стояла, распахнувши створки, смотрела, смотрела, иногда отвечая раненым. На багровом пожарном под свете чётко выступали особенности чужеземных зданий – фигурные надстройки над фасадами, кружевные и зубчатые кирпичные выкладки, узорчатые балконы.

В том состоянии была Таня, что вся эта стрельба, пожары, уходы, приходы войск не пугали её, а облегчали. В духоте палат, в гари разрывов и пожаров ей становилось свежо, нисколько она не боялась простой человеческой боязнью. Наоборот, от этого всего сердце её облегчалось, и боль снималась. Она понимала, что происходит ужасное что-то, но через поволоку, – а сердце облегчалось, и от этого сил было много, и почти не нуждаясь ни спать, ни есть, она только делала, что велят.

Верных сведений не было у госпиталя, слухов – избывало. Даже и при немцах то и дело к ним подбавлялись свои раненые из разных частей, и нанесли, что убиты все старшие командиры, и перепутались все русские части, а немцы со всех сторон стреляют, разрезают и в плен берут. В танину палату попал чубатый сотник из казачьего конвоя генерала Мартоса (занял угловую койку ростовского подпоручика, ушедшего пешком в последний час). Не тяжело и раненый, он был сильно возбуждён и беспокоил всех смутными громкими рассказами о гибели их корпуса и их генерала. С таким жаром он рассказывал, не давая себя удерживать, как будто в том удовольствии находил, что всё очень плохо и все погибли. Слух об этом сотнике разошёлся по госпиталю, приходили его слушать и врачи.

Наступившей ночью ждали подвод для эвакуации, ждали начальства – и действительно, в полночь, при тускло-красном свете неблизкого пожара на площадь перед госпиталем въехал автомобиль, из него вышел главный врач и генерал с адъютантом. Через две минуты они были уже в таниной палате. И шли к сотнику. И к ним сюда, в угол, Таня поднесла керосиновую лампу со стола.

Чубатый, лохматый, угольный сотник так и взыграл в кровати навстречу генералу, как если б и ждал только его, для этого генерала и был его весь рассказ. А генерал – с белой-пребелой холёной кожей лица, холёными усами, столичный и вообще неснисходительный, – тоже как будто этого сотника искал: он не второпях, не мимоходом его расспрашивал, а сел к нему на нечистую кровать, выставил к нему представительные глаза, адъютанту же велел всё записывать, начиная с фамилии, чина и части.

Таня недодрожащей рукой держала жёлто-зелёную высокую стеклянную лампу над записями адъютанта, между головами сотника и генерала – и пытливо, и вот уже с прояснением всматривалась в них.

Двухдюжинный раз повторил сотник весь рассказ, уже всем известный, украшая его новыми подробностями, пожалуй и не в противоречие с прежними. Как весь корпус остался на позициях, а генерала Мартоса послал командующий Самсонов занимать Найденбург. Как они ехали к Найденбургу ранком вчера, но от драгунов разведали, что он уже у немца. Как поехали выбирать позиции и попали под картечь в трёхстах саженях – и убит был начальник штаба корпуса, и убит начальник дивизии генерал Торклус и многие казаки, а они, оставшиеся верными, отступили с Мартосом в лес. Как у Мартоса адъютант пропал – сумкой, а в ней и еда, и курево, и компас, и карты, и генерал был голодный и не знал куда. Лошадей под ними подбили, они пешком по лесу блукали, но куда ни совались – со всех сторон уже стояли немцы. И самого этого сотника послал Мартос пробиться в город и рассказать об общей гибели; обнял его на прощание, и тут же, на его глазах, застрелился, не вынеся такого позора.

Головой белокожей, кругло-оттянутой как огромное куриное яйцо, генерал кивал и переспрашивал:

– Значит, вы подтверждаете, что генерал Мартос в вашем присутствии застрелился?

– Как Бог свят, ваше превосходительство!

Адъютант записывал.

Со строгостью, с огорчением, но даже без удивления, кивал гвардейский генерал: только этого он и ожидал, именно это предвидел. И мешало, и неожиданно было ему лишь лицо сестры милосердия, неприятное своим тёмным жгучим добывающим взглядом – мимо лампы и на генерала, от неё глазами блестя – на него. Из-за этого он шеей дёрнул несколько раз и старался больше не смотреть на сестру.

А Таня – словно пробудилась. За все недели, прошедшие от измены жениха, первый раз с таким полным вниманием, совсем забыв о себе, она вбирала событие внешнего мира, происходящее в одном аршине от её выставленной некопящей светлой лампы с чистейшим стеклом. Таня не могла уличить, не могла доказать, но неприкровенным взглядом она втянула: оттого так многословен, возбуждён, с такой страстью всех уверяет сотник, что ему надо скрыть грех, а не тот ли, что бросил он генерала Мартоса в опасности и бежал; и оттого так верит охотно, не ловит, не сбивает сотника этот важный лощёный генерал, что ему зачем-то надо, удобно.

Как Дева Света, она внесла светильник в трёхголовый тёмный треугольник и бесстрашно высвечивала его.

До сих пор понимала она войну как неизбежную неуправимую стихию, в которой воинам суждено получать раны и погибать, и нет у человека над этой стихией власти. И даже видя и облегчая страдания раненых вокруг, она собственную душевную боль ни разу не поставила меньше их ран: их всех страдания были от стихии, на которую нельзя обижаться, её – от несправедливости, от подлости, от измены.

Но сейчас из этого тёмного треугольника, составлявшего протокол, проступила Таня явная злая воля – и проступило, что от этой воли зависит судьба их госпиталя, всех уже раненных, и ещё тех, что могут быть ранены завтра, – и первый раз чужая общая боль потеснила, потолкала и принизила её собственное унижение, обманное состояние, оказавшееся вдруг не высшим страданием в мире, а даже совсем маленьким.

И она с вызовом и упорством держала свет правды, видя, как режет он генеральские глаза, как неприятен ему.

Осмелев уже до крайности, говорливый сотник убеждал генерала:

– Ваше превосходительство! Они вас в этот город не зря пустили. То – капкан. У них тут войск освободилось – сила, они все круг вас собираются. Смотрите, кубыть не захлопнули!

Да, да, этого-то и боялся генерал Сирелиус! Он и удивлялся, что немцы так легко отдали ему ключевой город. Они сильнее нас, почему же отдали город? Одиночное стояние его дивизии здесь становилось всё более опасным. Растянувшиеся от Млавы подкрепления ещё неизвестно когда подойдут, а захлопнуть здесь капкан могут каждый час, особенно на рассвете. До окружённых русских частей может быть и осталось недалеко, десять вёрст, но не ночью же туда идти, в полную неизвестность, в немецкую густоту. Да и какие там войска, если вот подтверждают очевидцы, что генералы убиты, части рассеяны, они всё равно погибли, и нельзя это поражение отягощать ещё новой жертвой – гвардейцами Сирелиуса. Да и само отправление его отряда не было по-настоящему полномочным: Сирелиус – из 23-го корпуса и видный гвардеец, он не обязан подчиняться армейцам из командования 1-го корпуса. Показания этого сотника-очевидца давали ему хорошее основание пересмотреть приказ.

И лишь уклоняясь, шеей по-гусиному поводя, от допытчивого, даже ненавистного взгляда статной темноглазой сестры, миновав её яркую лампу, Сирелиус поднялся и ушёл с адъютантом.

И скоро зафыркал, уехал с площади автомобиль.

О чём подумал генерал, что решил – никому не дано было знать. А все, кто в палате был в яви и слушал, – поняли. Что никуда их не повезут. Что они остаются в плену.

Таня кинулась искать Валерьяна Акимовича – но он и раньше рассказу сотника не верил, и что он мог? К главному врачу? – но только для них и был он главный, а перед генералами маленький человек. И – что у неё было, кроме показаний сердца?

Как никогда она хотела быть полезной – и не знала, что делать. Ей стало стыдно, что столько недель она возносила своё горе выше горь окружающих.

До утра так и не было стрельбы. Догорали пожары, никем не тушимые. Прокатили артиллерийские упряжки – обратно, по сравнению с тем, как вечером. По другой улице воротилась пехота. И рассветный час был тих, безлюден. Раньше времени, до солнца, стали высовываться жители – они тоже за окнами не дремали. Вот стали и по улицам ходить, сперва беззвучно. И скоро уже – радостно гомонить, кричать, поздравляя друг друга и шляпами приветствуя первых немецких солдат, вступающих в город.

А раненые лежали, обхватив головы. И со слезами переходили сестры.

Пришли немецкие часовые и стали в каждом коридоре.

И не раньше, а уже после этого прибежала из палаты полостных пожилая курносенькая хлопотливая сестра, и шёпотом, задыхаясь:

– Танюша! Новый раненый прибрёл... у меня лежит... Еле дотянулся, кончится сейчас. На нём – полковое знамя Либавского полка, обернулся по груди. Что делать?

Таня сверкнула, ни миг не колеблясь, даже обрадовано:

– Пойдёмте! На себя намотаю!

– Да ведь в коридоре немцы! – кудахтала курносенькая. – Это – в палате придётся и скорей.

– Ну так и в палате! – уверенно обгоняя, шла Таня.

– Да как же ты при всех? Это – под сорочку надо, всё снимать!

– Ну так и снимать! – уже вносило Таню в ту палату.

Она и перед женщинами избегала раздеваться, стыдясь, что груди даже по её фигуре велики, слишком налиты, она в отрочестве плакала, считая это уродством.

– Подколем булавками?

– Нет, зашьём! Где он?! Одна будет наворачивать и зашивать, другая в дверях, чтоб немца не впустила!

## 57

(18 августа)

Ну, да если бы Сирелиус и не струсил в ночь на 18-е, Найденбурга ему бы не удержать, слишком долго он шёл и слишком растянулись его силы. По пружинной готовности германцев, к исходу ночи уже три дивизии было у Франсуа под городом и две на подходе. Хотя сам Франсуа, канатоходцем на проволоке, сидел на полоске шоссе в деревне Модлькен, другой опоры не имея, а с севера группами прорывались русские и у самой деревни подбили ему прожектор из винтовок, могли и к штабу прорваться, – он расписывал для пяти дивизий, как им концентрически брать Найденбург. А по тестяной податливости главнокомандования русского Северо-Западного фронта – именно вечером 17-го, при наибольшем успехе Нечволодова и Сирелиуса, когда ещё многие сильные русские группы (под Вилленбергом – 15 тысяч) готовились к ночным и утренним прорывам из кольца, – Жилинский-Орановский велели фланговым корпусам не выручать окружённых, а отступить.

И – как отступить! Благовещенскому: отойти на 20 вёрст, если противник теснить не будет, и даже на Остроленку (ещё 35), “если будет теснить”. Душкевичу: на 30 вёрст и даже на Новогоргиевск (ещё 60). Как же к месту пришёлся разумный Кондратович, на ту линию загодя убежавший сам!

А с переночеванием глаза страха ещё растягивались. Когда 18 августа Постовский самовольно укатил спасённый драгунами армейский штаб обосновывать в сорока верстах позади прежнего положения в Остроленке – штаб фронта ответил вослед: “На ваш переезд согласен”. Да ведь удобно: теперь возобновлялась со штабом армии нормальная телефонная-телеграфная связь и обмен депешами. И вот когда послано



было в штаб Второй армии письменное разрешение от штаба фронта выдвигать 1-й корпус также и далее Сольдау!

А что же с Ренненкампом? “Генерала Самсонова постигла полная неудача, и противник может свободно обратиться против вас”. После всех промедлений как раз-то и пошла его конница в глубину: конный корпус Хана Нахичеванского уже нависал над Алленштейном! кавалерийская дивизия генерала Гурко подходила разрезать самую слабую – восточную – дугу кольца! Именно 18 августа генерал Гурко легко вступил в злополучный Алленштейн, откуда покатались все бедствия 13-го корпуса. Немцев не было или были со спины, ничего не составляло его конникам резать и дальше немецкое окружение. Это было уже третье место за сутки, где русские легко разрезали немецкое кольцо.

Но для штаба фронта – слишком рискованно, очень опасно! “Выдвинутую конницу притянуть к армии...” (Это – чтобы без слова назад). И всей Первой армии начать отход.

(Промедлит и в этом Ренненкампф, теперь из гордости, что ли, – и через неделю, от такого же окружения спасаясь, предстоит его армии марафонское бегство – *Rennen ohne Kampf*, как немцы назовут).

Да, вот ещё: на достойную замену погибшего Самсонова прислать корпусного генерала Шейдемана.

Будущего большевика.

## ДОКУМЕНТЫ – 6.

18 августа.

### ОПРОВЕРЖЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА.

Германский и австрийский генеральные штабы в своих сведениях о положении на театре военных действий продолжают придерживаться принятой ими системы: по телеграфным сообщениям “Агентства Вольфа” германская армия “одержала полную победу над русскими войсками в Восточной Пруссии и отбросила их за пограничную линию...”

Правдивость и ценность этих сведений не требуют каких-либо пояснений.

\*\*\*\*\*

**ОГНЯ ПОД ПОЛОЙ НЕ УНЕСЁШЬ!...**

\*\*\*\*\*

58

-

экран

-

= Морда лошади,

непородистой, гнеденькой, русской. Беззащитная,  
незлюбивая морда.

А отчаянья может выражать не меньше человеческого:  
что со мной? куда я попала? Сколько  
смертей я видела! – и вот при смерти сама.

С неё хомут так и не снят. И не расслаблен.

Измождена, ноги еле держат. Её не кормили,  
не выпрягали, а только хлестали – тяни! спасай нас!

Уж вырвалась сама, оборванные постромки.

Перебрала ушами, бредёт безнадёжно куда-то,  
где нога увязает в

чавкающей

мочажине.

Вздёрнется, с усилием выберется из гиблого места,  
опять бредёт, заступая постромки, волочащиеся по  
земле,

голову низко опустила, но не травы ищет, её здесь  
нет...

Пугливо обходит

лошадиные трупы. Все четыре ноги столбиками  
вверх и животы вспухшие.

Какие вспухшие! при смерти – как увеличивается  
лошадь!

А человек – уменьшается. Лежит ничком,  
скорченный, маленький, не поверить, что от него  
был весь гром, вся стрельба, всё передвижение  
этих масс,

теперь брошенных, поваленных. Повозка в канаве  
на боку,

а колесо верхнее стало как руль...

Фургон, как бы в ужасе опрокинутый на спину,

а дышло вверх...

взбесившаяся телега, стоймя на задних...

перепутанная, разорванная, разбросанная упряжь...

кнут...

винтовки, штыки отдельно и ложки отбитые...

санитарные сумки...

офицерские чемоданы...

фуражки... пояса... сапоги... шашки... полевые

офицерские сумки...

солдатские заспинные мешки...

иногда – и на трупах...

Бочки – целые, и пробитые, и пустые...

мешки полные, полуполные, завязанные, развязанные...

немецкий велосипед, не доvezенный до России...

газеты брошенные... “Русское Слово”...

писарские документы шевелятся под ветерком...

Трупы этих двуногих, которые нас запрягают,

погоняют, секут кнутом...

и – наши опять, лошадиные трупы.

Если выворочен живот у мёртвой лошади, то

крупные

мухи, оводы, комары над гниющими вытянутыми внутренностями жадно жужжат.

А выше, выше

птицы кругами летают, снижаются к падали

и кричат, волнуются на десятки голосов.

= Нашей лошади этого не забыть. Да она

= не одна здесь! О-о-о-о, сколько тут бродит их, по

битвищу,

на низменной, болотистой, проклятой местности,

где всё это брошено, кинуто, перевёрнуто,

между трупов и трупов.

= Бродят лошади десятками и сотнями,

сбиваются в табуны,

и по две-по три,

потерянные, изнеможённые, костлявые, ещё

живые, кому вырваться удалось из мёртвой

упряжи,

а кто и в сбруе, как наша,

или с оглоблями тащится,

или – две, а между ними волочится вырванное

дышло...

и – раненые лошади есть...

ненаграждённые, неназванные герои этого

сражения, кто протащил на себе по сто, по двести

## вёрст

всю эту артиллерию, теперь мёртвую, утопленную в болоте...

всё это огневое снабжение, зарядные ящики на цепях, поди потяни их!...

= А кто не вырвался – вот их судьба: вперекрест друг на друге две полных убитых упряжки, три выноса и три...

так и лежат, топчя и давя друг друга, мёртвые...

а, может, и не все мёртвые, да некому выпрячь и спасти.

= Или вот, мёртвые упряжки, накрытые обстрелом на подъезде снять батарею с позиции. Батарея - была до последнего: разбитые орудия,

убитая прислуга вокруг,

и – полковник, косая сажень, видно командовал вместо старшего фейерверкера...

Но и трупами немцев, погибших при атаке, заложено поле перед батареей.

= А лошадей – ловят. Гоняются за нами, хватают...

а мы, лошади, шарахаемся...

а они опять ловят, вяжут...

Это – немецкие солдаты,

такой уж им приказ, не позавидуешь – за лошадьми гоняться,

пропадают тысячи трофейных лошадей.

= Да не только за лошадьми. Вот, на краю леса  
строят колонну  
русских пленных,  
и раненых неперевязанных.  
А глубже в лесу, глубже,  
лежат на земле ещё многие, обессиленные или  
спящие,  
или раненые,  
а немцы – цепью идут по лесу  
и находят, вылавливают их,  
как зверей,  
поднимают,  
а когда тяжело раненный -

### выстрел

достреливают.  
= Вот и колонна пленных тянется, почти без конвоя.  
Лица пленных. О, жребий тяжкий – знает, кто его  
испытал!...  
Лица пленных... Плен – не спасенье от смерти,  
плен – начало страданий.  
Уже сейчас клонятся, спотыкаются,  
а особенно плохо – кто ранен в ногу.  
Только верный товарищ, если за шею обнять его,  
ведёт тебя, полу-несёт.  
= А другим пленным ещё хуже: не идти налегке, но,  
вместо лошади впрягшись,  
свои же пушки русские, теперь трофейные,  
вытаскивать,  
выталкивать, выкатывать,  
победителям к шоссе, где разъезжают на  
блиндированных автомобилях,  
и самокатчики вооружённые,  
и при пулемётах сидят, готовые к стрельбе.  
= Здесь уже много выстроено, составлено русских  
пушек, гаубиц, пулемётов...  
= А ещё тянут по шоссе рослые битюги большую  
обывательскую фуру с жердяными наставками, на  
какой сено возят. А в ней везут  
ближе, крупней  
русских генералов!  
Только генералов! – девять штук.  
Смирно сидят на подостланном, подвернув ноги,  
все головы в одну сторону, все в нашу сторону  
смотрят покорно,  
покорные своей судьбе. Кто тёмн, а кто даже и  
спокоен очень: отвоевались, меньше забот.  
= Останавливает фуру, у своего автомобиля стоя,  
немецкий генерал, невысокий, остроглазый,  
несколько дёрганный, может быть, по торжеству, -

генерал Франсуа, с победительным прищуром.  
Не жалко ему этих генералов, но – презирает он их убогость. И жестом:  
пересаживайтесь! что уж там на фуре! у нас автомобилей на генералов хватит, вот четыре стоят.  
= Разминая затекшие ноги, русские генералы сходят с фуры,  
пристыженные, отчасти и довольные почётом, садятся в немецкие автомобили.  
= А пешую колонну ведут в загон для людей, обтянутый временной колючей проволокой, почти условной, на временных шестах, прямо в поле.  
Тут пленные по голой земле рассеялись - лежат, сидят, за головы взявшись, стоят и ходят, измученные, обшарпанные, перевязанные, не перевязанные, в кровоподтёках, с открытыми ранами, а некоторые, почему-то, в одном белье, иные разуты, и, конечно, все некормлены.  
Через проволоку смотрят на нас покинуто, скорбно.  
= Новинка! как содержать столько людей в голом поле, и чтоб не разбежались!  
А куда ж их девать?  
= Новинка! кон-цен-тра-ционный лагерь! - судьба десятилетий!  
Провозвестник Двадцатого века!

## ДОКУМЕНТЫ – 7.

19 августа 1914.

### ОТ ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

Вследствие накопившихся подкреплений, стянутых со всего фронта благодаря широко развитой сети железных дорог, превосходные силы германцев обрушились на наши силы около двух корпусов, подвергнувшись самому сильному обстрелу тяжёлой артиллерией, от которой мы понесли большие потери. По имеющимся сведениям войска дрались героически; генералы Самсонов, Мартос, Пестич и некоторые чины штабов погибли. Для парирования этого прискорбного события принимаются с полной энергией и настойчивостью все необходимые меры. Верховный Главнокомандующий продолжает твёрдо верить, что Бог нам поможет их успешно выполнить.

Бывают же дети – перенимают наши обычаи и взгляды так, что лучшего не пожелать. А другие – как будто и не ослушные, на каждом детском шагу ведомые как будто правильно, – вырастают упрямо не по нашей линии, а по своей.

И то и другое узнала Адалия Мартыновна, после смерти братниной жены, а потом и старшего брата взявшись растить одиннадцатилетнего Сашу и шестилетнюю Веронику. И сестра Агнесса, через несколько лет воротившаяся по амнистии Пятого года из Сибири,

должна была, при всём своём жаре и напоре, убедиться в том же.

Конечно, тут не только характер: Саше было уже 16 лет, когда казнили дядю Антона, он много перенял от него ещё при жизни и готов бы был вместе с ним идти на акт, если бы тот позвал. Саша сохранил этот порыв, его затопляли интересы и боли общественные, вне их он не понимал жизни или какой-то там карьеры. Каждого человека, каждое событие, каждую книгу истолковывал Саша в главном контрасте: служат ли они освобождению народа или укреплению правительства.

А Веронике меньше досталось помнить дядю живого, она только постоянно видела святыню его портрета на стене в их гостиной. Или от девушки вообще не следует ждать такой последовательности? Но в их время, время юности Адалии и Агнессы, не были редкостью как бы революционные монашки – те народницы и подвижницы с некосвенным взглядом, с речью несмешливой, кто знали только общественное служение, подвиг и жертву для народа, а свою отвлекающую красоту, если она была, прятали под бурными грубыми платьями и платками, на простонародный манер. И почти такие же были сами они обе, и их живой пламень мог бы иметь решающее влияние на Веронику. А вот не имел.

В десять лет Вероника была так простодушна наружностью – с прямым пробором на две косички, ясноглазая, с покойными толстенькими губками, что Агнесса, тогда воротившаяся, уверенно заявила: беззаветная растёт, наша. Направления понимали тётки по-разному: Адалия ни к какой партии не принадлежала, была народницей вообще, по душе, конечно левее кадетов, так, на меридиане народных социалистов; Агнесса же – то анархистка, то максималистка. Но все разъединения русской интеллигенции в конце концов второстепенны, вся русская интеллигенция в конце концов есть одно направление и одна партия, слитая в общей ненависти к самодержавию, презрении к жандармам и общей жажде демократических свобод для пленённого народа. Партийных программ сестры между собою не делили, а, почти погодки, сжились, любили друг друга, преклонялись перед погибшим братом, на десяток лет моложе их, – и восхищения, отвращения, похвалы, хулы, тревоги и надежды сестёр были почти всегда общие.

Но что-то лукавели глаза Вероники, форма губ по-новому объяснялась, и новое значение в улыбке, – тётушки забеспокоились: тут воспитатели не должны дремать! Жизненные понятия тоже не совсем сходились у сестёр: Адалия арестовывалась один раз на полтора дня, все годы провела в обычном человеческом быте и замужем, пока не овдовела, Агнесса побывала и в тюрьме и в Сибири, в промежутках целиком отдана революции, политике и никогда замужем, хотя собою недурна. Но тут они вполне сошлись и стали настойчиво сбивать в глазах Вероники значение красоты и поднимать значение характера: красота – такая же опасность для женщины, как для мужчины слишком острый ум, она влечёт за собой самовлюблённость, безответственность, всё для меня. К счастью, союзником тётей как будто оказался и темперамент Вероники: была в ней природная невзмучаемость, медленный отзыв на внешнюю жизнь, и веяние чистоты, – и это сбивало поклонников на дружбу да рассуждения, даже и на встрече летних петербургских зорь. Внушили Веронике, что в людях надо пробуждать хорошее, – она и пробуждала.

Однако этот же темперамент и помешал успеху воспитательниц. Вероника искренне трогалась всеобщими страданиями, но в жажду борьбы, но в ненависть к притеснителям никак это не переходило, в её расплывчатом безграничном сочувствии не прочертилось категорической границы, отделяющей жертв социального угнетения от жертв природённых уродств, собственного характера, ошибившихся чувств и даже зубной боли. (Так и сегодня, в наступившей войне, Вероника только и видела то простейшее, поверхностное, что вот теперь убитые, пропавшие без вести, вдовы и сироты, не выше того).

А тут ещё и сами годы после раздавленного багряного всплеска, невыносимые эти годы, после девятьсот седьмого, когда стало жить мрачней и тяжелей, чем до революции, – сама эта эпоха текла – ренегатская, безгоризонтная, рептильная. Отошла ослепительная эпоха, выраженная поэтом:

Славьте, други, славьте, братья,  
Разрушенья дивный пир!

Теперь груди борцов задыхались без воздуха, и можно было воистину повторить другого поэта:

Бывали хуже времена,  
Но не было подлей.

Раньше очень хорошо влиял на Вероню Саша, даже более влиял, чем тётки: на пять лет, на полгимназии старше сестры, потом на целый университет, в суждениях решительный, никогда не оставляющий возражения, пока не опровергнет его, не загасит, – он имел над Вероней такую власть ума и нравственного суда, что она стыдилась и каялась перед ним в своих отклонениях, старалась от них отмыться или хотя бы скрыть и быть достойной брата. Но на минувший год заглотнула Сашу прожорливая машина армии, а у сестры это был самый важный год, первый год курсов.

Вероятно бы окружение прежнее, какое господствовало в студенческой среде десять и двадцать лет назад, откорректировало бы в Веронике нужное направление сочувствия и ненависти. Однако – и это только в нашей многотерпеливой рабской стране возможно! – в послереволюционном угнетении студенчество не закалилось, не настроило для борьбы, а поддавалось общей усталости, сомнениям, наговариванию мутных пророков. Учащаяся молодёжь как будто забыла о заветах великих учителей, забыла даже о самом народе! Стало модно оплёвывать благороднейшие революционные действия. После нескольких жертвенных поколений потянуло в университетские аудитории смрадной струйкой молодёжи какой-то растленной, противоречащей самому представлению: “русский студент”, “курсистка”. Эта новая бесстыдно выставляла и даже хвасталась, что для неё святые имена Чернышевского, Михайловского, Кропоткина – просто ничто, пренебрегали, даже не прочтя их ни строчки, тем более – скучного Маркса. Молодёжь ушла в свои мелкие настроения. Если ещё продлится так несколько лет, то обломится и бесславно рухнет вся великая традиция полустолетия, всё святое свободолюбивое. И в такое-то гнусное время Веронике пришлось расти и формироваться!

Но ещё и в этой среде можно было избрать себе лучших подруг, – нет, на первом же курсе бестужевских к Вероне прилипла какая-то, сгусток отравы этого времени, – Ликоня или Еля (от невозможного купеческого Еликонида). Это была девушка совсем иного мира – играющая шалью, ломкой талией, натолканная символистическим вздором, то в роли апатичной, то в роли мистичной, то как бы призрачной до умирания. То и дело она декламировала, кстати и некстати, своих модных, туманный бред:

Созидающий башню – сорвётся,  
Будет страшен стремительный лёт,  
И на дне мирового колодца  
Он безумье своё проклянёт.

Играла голосом, но ещё больше ресницами, сразу замечались её глаза с их отдельной красотой, переблескивающим значением, будто она видела в окружающем совсем не то, что все остальные. И голову переводила с медленным недоумением, а густые чёрные волосы были свободны до плеч, как у красавицы большого опыта. На волосах иногда лента, а на плечах шаль всегда, и Еля постоянно ёрзала ею по фигуре узкой, почти без таза, что тоже теперь считалось модно, и ещё лелеяла эту линию, нося прямые узкие гладкие платья без пояса.

Тем была ещё вдвойне ядовита эта девица, что не только с Вероней сдружилась не-разлей, но приезжал из армии на побывку Саша – она и Сашу околдовала, он поедал её

глазами и сразу поглупел, утерял свой гордый независимый вид, которым так напоминал не отца своего, осмотрительного присяжного поверенного, а почти точно повторял дядю, героя Антона. (Саше и подходило сейчас под столько лет, в каких Антон был повешен, – это был оживший Антон!)

Но что могло быть в голове этой девчѐнки, такой значительно-загадочной в поворотах? За чайным столом и мимоходом при всяком случае, вопросом или спором, зоркие умные сестры пытались выведать: что же там, в этой небольшой голове под этакой россыпью волос? есть ли вообще какой материал? Ведь она явно не жила светлым руководством разума.

– Но какая всё-таки перед вами задача, девочки? Жизненная цель?

Девочки перехмыкивались, Ликоня достаивала вытянутыми подушечками губ, следя, чтоб они красиво сложились:

– Жить.

– Что – жить? Вообще – жить? Но – как жить?

Переглядывались, старались уклониться. Но если требовать неотступно, Вероника начинала говорить назидательно, как младшим:

– Ах, тѐтенки, вы хотите нам навязать прогресс? Но всё политически прогрессивное – очень отсталое культурно.

Нетерпеливая Агнесса выпыхивала вместе с дымом:

– А между тем, ответ очень простой: наша задача, наша общая основная задача – борьба с властью!

Два носика, поуже и пошире, морщились:

– И что же потом?

– А когда падѐт нынешний строй, спадут все цепи угнетения и откроются все возможности, в том числе и для культуры.

Ликоня стреливала испуганными глазками, движение вероятно отрепетированное:

– А если нет?

– Что нет?

– Если – не откроются?

– Откроются! – согласно отвечали тѐти. – Гарантия в том, что наша интеллигенция – здорова, и её порыв обещает светлый выход большой стране. У России могло быть жалкое прошлое, ничтожное настоящее, но будущее её – грандиозно.

– Ах, тѐтенки, – снисходительно вздыхая и губы чуть покривливая. – Да понимало ли ваше поколение, что такое культура? Деятнадцатый век имел серую культурную атмосферу.

Только задохнуться, словами не выразить:

– **Наш** век – серую? **Наш**?!... Ну, ты просто... Ну, вы просто...

Девочкам даже может быть и жаль, но:

– Конечно. Всякие общественные идеи – неизбежно узки. Всё, что плыло с 60-х годов. Что у нас было? Политика, социализм, вся литература переперчена социальностью, вся живопись испорчена... Культуры как комплекса у нас...

– Да если б вы хоть с Шестидесятыми могли равняться! А то ведь нигилисты – именно **вы**. Как этот ваш кумир: к добру или ко злу -

... Есть два пути,

**И всё равно, каким идти,** -

да?

Не те нигилисты – светлые начинатели, оболганные дворянским миром и писателями-помещиками, а вот эти – с “Аполлонами” и “Золотыми рунами”.

Ликоня морщила лобик:

– Мы должны быть гражданами Вселенной.

Если спор затягивался, Вероника тоскливо вздыхала:

– Ах! Мы не знаем ни скандинавской литературы, ни французских символистов, а хотим о чём-то судить!



Мы – надо было понимать: тётки не знали, они-то знали!...

А если тётки очень уж напирали, девочки выскальзывали как-нибудь так:

– Ну, хорошо, лучше заблуждаться, но идти своим путём, чем повторять избитые истины.

А когда, для окончательного выведывания, настигали их тётки уже не в общественных вопросах, но в самой их цитадели – в любви, и проверяли высоту её каким-нибудь жгучим давним интеллигентским вопросом:

– Как по-вашему – высокая истинная любовь допускает ли ревность? – девочки вытягивали веки и ресницы и как-нибудь так:

– Слово “любовь” вообще лучше избегать. Можно затрепать и убить её одним только употреблением слова.

Одна, дома, Вероня проявлялась гораздо развитей, но при Ликоне глупела, и никак невозможно было их сдвинуть.

И теперь вот, в первые дни войны. (Агнесса, суеверная к датам: “А кто заметил, в какой день началась война? В день подавления Свеаборгского восстания! Это будет – историческое возмездие!”) Теперь, когда война началась, – и эта жуткая эпидемия патриотизма непредсказанно, внезапно захватила, запьянила даже рабочий класс Выборгской стороны, прервала его великолепные забастовки, привела его покорного с казёнными знамёнами (а красные – свёрнуты) на призывные пункты вместо того, чтобы всем взбунтоваться и отказаться от призыва. А ещё страшней – позорная рабская сцена на Дворцовой площади, на той самой Дворцовой, где запеклась, ещё не испарилась кровь расстрела 9 января – и десятки тысяч свободных, непринуждённых людей – кто заставлял их? кто стянул их туда? какая сила ослабила их подколенки? – опустились на колени перед ничтожной императришкой на балконе безвкусно наляпанного дворца – опустились не лавочники только, не мещане, – опустились интеллигенты! опустились **студенты** !! – и в едином экстазе пели “Боже, царя храни”!?? Наш великий император, наш великий народ – разве это не черносотенство? И ещё несколько дней после того бессмысленная толпа с гимнами ходила по городу. Что с ними случилось со всеми? Безднадёжный народ. Безднадёжная страна. Как же можно с такой лёгкостью забыть казни, столыпинские галстуки, издевательства над свободной прессой, процесс Бейлиса – и опуститься на колени в гимне?! Нет, эта страна достойна была своего порабощения – царского, татарского, хазарского, какого угодно, это не страна, не народ! Но – интеллигенция??? Как же могла родиться эта всеподданнейшая (от одного слова кишки выворачивает, как можно этого не слышать?) телеграмма совета петербургского университета: “верьте, великий государь, ваш университет горит стремлением посвятить свои силы на служение вам и отечеству”, – без этого-то холуйства можно было обойтись?

– Что вы об этом думаете, девочки? Вероня, что ты об этом думаешь?

Вероня, со своим добротным спокойным взглядом:

– Ну, вкуса нет, конечно. Ну, хоть с начала начинай!

– Вку-уса? Да “великий государь” – это не черносотенство? А если бы ваши курсы такую телеграмму – вы бы протестовали? ваши подружки – протесто...?

– Ну, тё-тя, – как от невозможного поводи́ла Вероника, – но в этих протестах, уходах – ещё же меньше вкуса! Это – стадность...

В том и трагедия: ни к чему происходящему они никак не относились! Их современный нигилизм состоял в том, что они были бесчувственны к подлостям и предательствам. К гражданскому пафосу их уши и сердца были заложены, а какая-нибудь глупенькая выставка “Мира искусства” казалась им откровением. Куда подавался душевный огонь русского студенчества? Что за лишай на молодёжь!

Да что говорить о молодёжи, если сама Государственная Дума сыгралась в траги-опереточном однодневном заседании поддержки национальных восторгов? Сойтись на один день, пропеть хвалу империализму и тут же разойтись, – это разве похоже на достойный парламент? Хотя надо признать: социалистические депутаты всё-таки не дали себя заморочить. Хаустов пообещал: социалистические силы всех стран сумеют превратить

нынешнюю войну в последнюю вспышку капиталистического строя. А блистательный Керенский в смелой речи успел нашвырять упрёков власти: что затыкают рот демократии; и что даже сейчас не дают амнистии политическим борцам; и не хотят примириться с угнетёнными народностями в империи; и бремя военных издержек возлагают на трудящихся. Всё это сумел сказать, смельчак, не подавленный патриотическим рыком вокруг, и “неискупимую ответственность” за войну не пропустил, а в заключительном восклицании искусно-тонко намекнул на революцию: “крестьяне и рабочие! защитив страну, освободите её!”. А в думском отчёте жульнически *ошиблись* : “крестьяне и рабочие, защищайте страну, освободите её!” – то есть, будто бы от немцев освободите! – только у нас можно так нагло безнаказанно выворачивать мысль!

А по этим девушкам – только скользило, бровями не вели. И то политическое ободрение, какое выступало из просочившихся теперь известий о поражении наших войск, – тоже миновало их. Они безразлично выслушивали по необходимости, Вероня с мягким упорством, Ликоня с рассеянным недоумением, вяло доедали варенье, косились на часы. Возражать – они даже не искали, они – презирали бы возражать, только пофыркивали на старомодность. Им – всегда нужно было идти куда-нибудь из их глуховатого угла 21-й линии и Николаевской набережной, – но не в рабочую школу, конечно, не нести просвещение народу, а самим смаковать-потреблять: на спектакль, на поэтический вечер, на лекцию о “ценности жизни” или на диспут о “проблемах пола”.

Если же оставались дома, то это было иногда и оскорбительней. В той же столовой, где большой портрет Михайловского и невдали от портрета дяди Антона с его предчувствованной обречённостью, плотноватая Вероня с ворохом волос над неуклончивым лбом и мнимо-глубинным взглядом, садилась на диван, поджав ногу, а маленькая Ликоня, стоя у стены, кончиками пальцев, запутанных в шали, упираясь позади себя, покачиваясь корпусом и головой, с недоуменным видом, вопросительным маленьким детским ртом, выражала себя словами заёмными, стихами кошунственными:

Разрушающий – будет раздавлен,  
Опрокинут обломками плит.  
И, всевидящим Богом оставлен,  
Он о смерти своей возопит.

## 60

Невыносимо было дальше наблюдать, как Вероника уходит от святых традиций семьи. Племянница такого дяди не смела расти индифферентной к общественным вопросам, это выглядело как предательство. Даже перед Сашей не будет оправдания в упущенном. Все эти девчёнки – пусть они как хотят, и эта Еликонида, они из купцов или барышников, мы их традиций не знаем, но наша Вероня должна быть выхвачена из этого болота – и ведь сердце её открыто к благородным чувствам, её можно спасти внушеньем, напоминанием, светлыми примерами.

Светлый пример – это решающее. В наше время благословляли девушек – да тебя же, Неся! – портретом Веры Фигнер как образом. И ведь это определило твою жизнь, правда? Вера Фигнер постоянно горела перед глазами и вела!

Но нужно действительно набрать примеров – героических! Мы сами их видели, многих, о других слышали, а перед девчёнками теряемся, не можем назвать, рассказать, говорим в общих словах. Сколько молодостей, богатых надеждами, сгноено в казематах! Сколько юных сил подорвано в климатах отдалённых мест! И сколько характеров менее сильных дало сломить свои убеждения и поплелось по общей тропе, увь... Как же не хотеть видеть свою родину свободной и просвещённой! Как не отдать ей всех своих сил, а если дойдёт до тюрьмы – то с трепетом коснуться этой желанной чаши?

Нет, не может Вероня быть так глуха! А знаешь, она тянется к красоте – с красоты и

начать!

Тёти долго готовились к разговору, вспоминали имена, события, подбирали аргументы. Терпеливо дождались, когда Вероня осталась одна дома на весь вечер наверняка. И, конечно, не объявили торжественно – вот, сейчас будет решающее объяснение. И не налетели вихрем обе. А – подстроили такой самозащепляющийся, как будто случайный разговор.

– Вот ты, Веронечка, повторяешь: “красота”, красота. И мы в наше время тоже стремились к красоте, это естественно для человека. Но для нашего поколения красота была едина с правдой, так и говорили: Правда-Красота. И не отрывали от неё Истины и Справедливости, это всё заедино. И перед нами всегда маячила Грядущая Красота: в Царстве Будущего будут царить только Благородство и Справедливость.

Вероника слушала как бы в полудрёме, но благожелательной.

– Но эта светлая умная красивая будущая жизнь пока таится в темноте, только зреет, – и нашу задачу мы понимали: возжечь её ярким пламенем. И нам, Вероника, нам, – Адалия всегда говорила мягче, у неё было материнское в голосе, – непонятно, как можете вы пренебречь великой священной традицией от самих декабристов?! Как вы могли отшатнуться от революционерства?

Вероника пошевелила добрыми мягкими губами, она тоже от всей души хотела сделать тётям приятное:

– Но те, кого пошло называют декадентами, и кто представляет наше сегодняшнее искусство, – они и есть революционеры, тётеньки! Они – революционеры чувства! От этого тоже нельзя отталкиваться презрительно.

– Девочка! – закусила папиросу тётя Агнесса, она и почти никогда не выпускала её. – Искусства – у тебя никто не отнимает. Искусство тоже служит украшению жизни, но – на десятом месте. Самое прекрасное таится в борьбе за идею, самое радостное – в связи Доброго с Прекрасным. Неужели ты не слышишь: повсюду торжествует насилие, вопиет неотмщённое русское горе. Как же вы можете оставаться бесчувственны к этому призыву? Пора и вам вернуться к народу и отдать ему свою любовь. Да ты скажи, да ты хоть одно дело когда-нибудь знала, помнишь, хоть дело Веры Засулич? Помнишь имя, а дело выветрилось? Так это просто недобросовестно!

Да собственный их и был это промах! То – рано, успеет, то – сама наберётся из семейного воздуха, не внедряли систематически, не уследили – и вот ускользнула.

... Вера пострадала молоденькой девушкой ещё за Нечаева, помогала ему получать конспиративные письма, отсидела два года по тюрьмам, потом ссылалась, жила под надзором. Прошло десять тяжёлых лет, из акушерки она хотела выбиться в учительницы, не могла. Казалось бы: можно устать, ото всего отстать, да? Но летом 1877 в Саратове она читает в газетах, что в петербургском доме предварительного заключения за нарушение тюремных правил наказан розгами студент Боголюбов – студент! – и 25 розог! и так, что вся переполошенная тюрьма видела приготовления, слышала стоны! Вера Засулич ждёт – будет же месть этому градоначальнику Трепову, кто распорядился о розгах? Но месяцы проходят – никто не мстит. Тогда она едет в Петербург, просит купить ей пистолет самого большого калибра, почти тот, с каким ходят на медведей, ей надо не промахнуться, идёт к градоначальнику с прошением поступить в домашние учительницы, и из-под тальмы стреляет в него – в упор, хоть и не насмерть. По-настоящему русский террор и открылся со славной Веры Ивановны.

Но для истории русской революции ещё славней, чем сам выстрел Засулич, – судебный процесс над ней. Вера объявила, что ценой своей гибели хотела доказать: ругаясь над человеческой личностью, нельзя быть уверенным в безнаказанности. Адвокат произнёс одну из лучших речей русского судопроизводства: Россия достигла своего величия едва ли не благодаря розгам! государственное преступление – только рановременно высказанное учение о преобразовании! нельзя не видеть в мотивах этого выстрела – честного благородного порыва! это – нерасчётливое самопожертвование, ей нужна была не смерть

Трепова, а своё появление на скамье подсудимых! не много страданий может добавить ваш приговор к этой надломленной жизни! были женщины, мстившие своим изменщикам – и выходявшие отсюда оправданными! Адвокату аплодировали даже судьи со звёздами на груди – и присяжные вынесли “не виновна” – вообще не виновна! Светлый миг русской истории! И на углу Шпалерной и Литейного тысячная толпа несла освобождённую на руках!

А Вера от приговора сперва испытала полное удивление, потом – чувство грусти. Раз она свободна – в тот же миг её воля нагружается обязанностью делать что-то новое. Такой лёгкий исход подвига не удовлетворил её, теперь она готова была на новые жертвы! А несчастный удел её стал – многолетняя эмиграция и чёрная хандра у Женевского озера.

Но и звезда Засулич не долго в одиночестве на русском небе. Звёзды теснятся, идёт и идёт в революцию светлая череда народоволок, Софья Перовская, Галина Чернявская, Ольга Любатович, Геся Гельфман, Вера Фигнер. Каждая жизнь – захватывающий и высокий подвиг. Каждую из этих жизней постичь – надо отдать год своей. Но едва ли не всех затмевает Железная Софья.

Из высокого рода Разумовских-Перовских, племянница оренбургского генерал-губернатора и дочь петербургского вице-, пропустившего Каракозова. Последняя служебная неудача отца – первый намёк на будущее дочери, ничто не сладко ей в этом кругу, будто чувствует девочка, что товарищ её детских игр будет прокурором по делу её и друзей-первомартовцев. Сама эта среда ненавистна ей, Софья отталкивается, ни гимназии, и не твердила закона Божьего, ушла из семьи. Зачитывалась Писаревым, училась на фельдшерицу, а в народные учительницы – помешала жизнь. Девушка росла как в сознании своего необычного жребия, нерядовых задач (одно из детских мечтаний – стать королевой). Всегда ставила женщин выше, к мужчинам относилась сдержанно, бронированное сердце, и не было у неё презрительнее слова, чем “бабник”. Увлекалась бессмертным Рахметовым, спала и на голых досках. Всю жизнь замкнутая, как созданная для конспирации, холодного склада ума и не прощала эмоциональных срывов товарищам. Она – в первых петербургских студенческих коммунах, в 17 лет уже в кружке Марка Натансона, где не принимали такого, кто сил не имел отказаться от крахмальной сорочки, любил бы выпить или легко относился к женщинам. Кружок мечтал о социалистическом восстании, в котором монархия и династия погибнут, как в буре. Первые аресты, оправдана по процессу 193-х, как большинство там женщин. Не избежала романтического жребия ходить поддельной невестой на свидание с узником-героем, конечно же не предугадывая, что этот узник Тихомиров станет ренегатом социализма. Помогала Кропоткину бежать. В 23 года – в натансоновской “Земле и Воле”.

До этого склада жизни можно возвыситься только концентрацией воли и богатством жертвы. Это надо представить и перечувствовать: революционер – человек обречённый, у него нет своих интересов, своих привязанностей, не бывает имущества, а иногда он лишён даже имени. Всё в нём поглощено одной мыслью, одной страстью – революцией. Революционер – презирает господствующую нравственность, и что кажется в обществе важным или неважным, благим или дурным.

С 24 лет Софья – только на нелегальном положении. Ей 26, когда на Липецком и Воронежском съездах “Земля и Воля” раскалывается – на безнадёжных деревенщиков, не принимающих террора, ни даже борьбы с правительством как главной цели, – и “Народную Волю”. Софья – за террор как средство агитации масс, за убийство Александра II как агитационный сигнал к массовому движению, и даже если террор не добьётся политических свобод, то за террор как за месть. И она – в Исполнительном Комитете “Народной Воли”, и в августе того же 1879 на петербургской окраине Исполнительный Комитет выносит царствующему императору смертный приговор! И на глазах у всей России начинается одно из великих свершений, где все движения мстителей скрыты, и только неудавшиеся выстрелы и взрывы, один за другим шесть, отмечают для России положение участников. Тотчас после приговора Перовская с девяткой кидаются на подкоп Курской железной дороги за Рогожской заставой, Софья с гордостью и умением играет роль простонародной хозяйки дома, что ей особенно всегда удаётся, и выскочив с иконой, разыгрывает перед раскольниками

религиозную сцену, спасающую подкоп. При виде царского поезда Перовская же и даёт сигнал на взрыв – но растяпа опаздывает замкнуть цепь, и полтора пуда динамита непродуктивно взрываются за хвостом поезда. Что ж, Перовская и Фигнер бросаются в Одессу, и через три месяца у них готов уже другой подкоп, из лавки под улицу. А царь – в ту весну не едет на юг.

Темп усиляется, царь спешит с обманной конституцией, народовольцы спешат с казнью царя. Их всё меньше, Гартман бежит за границу, Зунделевич, Гольденберг и Квятковский арестованы, затем – ещё, ещё аресты, по пятеро, по одному, прорежая ряды перед последним седьмым покушением.

Нет, это не так, что у революционера нет чувств, – сердце революционера даже нежно, но чувствам своим он даёт развиваться лишь тогда, когда их направление совпадает с революцией. (Оттого насколько ж и выше, и ярче любовь революционера!) Мужененавистница Перовская в двадцать семь лет отдаётся любви к Желябову – в их последние нервные месяцы закружившейся охоты. В эти безумные месяцы втискивается всё – и сношения с Нечаевым в Петропавловке, подготовка его побега (уже охрана распропагандирована им и адреса солдатских любовниц зашифрованы у Софьи), и разметка осады, чтоб медведь уж не вырвался никак: взрыв подкопом из сырной лавки, четыре переходящих бомбометателя, а если всё не сработает – то сам Желябов с кинжалом. Чем ближе к покушению – их затягивало, и хотя никто из них уже не рассчитывал убийством царя добиться перемены политического строя, они не могли расслабиться в замысле – они готовили покушение.

Это неравное единоборство, это перенапряжение нервов – надо уметь оценить потомкам.

Вечером 27 февраля был арестован и Желябов. Над отважными навис разгром – и тут Перовская, спасая дело общее и дело своего любимого, забрала руководство маленькими руками – с мужской суровостью к товарищам, с беспощадностью к врагам. (Сказал Кибальчич: “наши женщины жесточе нас”). Без Перовской не состоялось бы Первое марта. Теперь, когда отпал кинжал Желябова, Софья и сама хотела метать, но не было пятой бомбы, успели приготовить только четыре. Она следила за каретой царя и знаком переводила метальщиков на верный путь. От лихорадки этих дней отказали нервы мужчин: Тимофей Михайлов вообще ушёл с поста, отказался метать, Емельянов так растерялся, что с бомбою под мышкой кинулся помогать раненому императору, через час Рысаков расквасился на следствии, Тыркова душили слезы, – одна Перовская подбежала оценить результат Гриневицкого и мягкими шагами пошла на свидание с уцелевшими. Все следующие дни она продиралась между арестами, спешила с прокламацией к русскому народу, с письмом к Александру III, сколачивала, кто бы освободил Желябова. Только узнав, что Желябов будет казнён, – задрожала, упала, в слезах просила оставшихся друзей спасти вожака. Тут она потеряла благоразумие, губила других, губила себя, пошатнулась с революционного уровня, – и арестована, со списком петропавловских солдатских подруг. Но снова – непроницаемая, железная, ехала на казнь в чёрном халате, с доской на груди – “цареубийца”.

... Ты восстала, ты убила,  
Потому что ты любила  
Свято родину свою.  
Злая сила, вражья сила  
Раздавила грудь твою...

Софья – Вера – Любовь...

Вера Фигнер – отдельная поэма. Как после 1 марта она пыталась воссоздать Народную Волю.

Что за женщины! – слава России! Пробрало же старого Тургенева: Святая, войди!

Увы, как горько предчувствовали казнённые, – Первое марта не преобразило России, не

вызвало всенародного восстания. Россия вплыла в полосу густого серого безнадёжного мрака, чеховское время... Наша с Адалией юность... И молодость, Неса... Какую веру надо было иметь, чтобы понять: это не тупик, не подвал – это долгий тоннель, но он вынырнет в свет!

Фигнер – в Шлиссельбурге. И сроки – по 25 лет. И кто же мог думать, что их реально придется отбыть. Что человеческое сердце может их выдержать.

А вспомни Ивановскую? По делу Народной Воли отбыла больше 20 лет. Вернулась в Петербург уже совсем не молодая – и опять примкнула к террору. Вот сердце!

Тут тоже были имена, была своя твёрдость, она не легче, хотя не так захватывает чувства. Несгибаемые поборницы женского равноправия – Философова... Конради... Стасова...

А – Цебрикова? Сейчас уже мало кто вспоминает это имя, но в 90-х годах мы произносили его благоговейно, как в 70-х шепталось имя Чернышевского: её знаменитое письмо Александру III, с такой пламенной силой она клеймила самодержавный режим! – не побоялась расправы... – и вышвырнута в Смоленскую губернию! Её письмо обращалось среди молодёжи, переписанное чернилами... Новые руки держали это письмо, новые глаза читали.

Как мы ярко встречали XX век, не просто как новый год, с каким факелом надежды! – и факел нас не обманул. История как будто ждала этого человеческого отсчёта – и в первом же году XX века выпустила студенческие толпы к Казанскому собору, – и тут же на арену выпрыгнул террор, броском Гершуни, и скоро – месяца не проходило без превосходных актов, и прежние народники обновлённо возродились эсерами.

Перед славными предшественниками трудно верится в достоинства молодых, а между тем – какая блистательная новая плеяда, и если о женщинах – то какие женщины! и это уже для тебя не седая быль – они все в твоём детстве, тебе было уже семь, десять, двенадцать, когда они просверкнули, и кто из них не казнён и не сошёл с ума – те и сегодня на каторге или за границей.

Тут из первых конечно – Дора Бриллиант, она на десять лет моложе тебя, Даля. Киевская студентка, большие чёрные глаза, замороженные террором. И готова принести себя, мечтала о смерти, и лишиться жизни – мучало её, и умоляла товарищей дать ей бросить бомбу самой. А досталось – только готовить бомбы. И в Петропавловке сошла с ума.

Нет, из первых – Мария Спиридонова! – никакая не революционерка, ни к чему не готовилась, не член никакой партии, но – носится в воздухе священная месть – и молодые сердца отзываются, не могут не отозваться! Гимназистка, вышла на борисоглебский перрон, в муфточке – револьвер, встречать генерала, усмирителя крестьян, и – за поротых мужиков – ухлопала наповал! И прежде всякого суда – казачья казнь ей, изнасиловали взводом, в очередь.

Ты извела, Мария,  
Всю свирепость палачей.  
Я молюсь тебе, Мария,  
В тишине моих ночей.

Нет, у Волошина ещё лучше:

– На чистом теле – след нагайки,  
И кровь на мраморном челе.  
И крылья вольной белой чайки  
Едва влачатся по земле.

А Биценко-Камеристая? Из замечательных актов, проведенных женщиной самой, в одиночку. И как драматично придумано! – она не просто пришла к Сахарову с прошением,

как Засулич, но в прошении написала Сахарову смертный приговор – и дала ему время прочесть несколько строк, дала осознать, поднять удивлённые глаза – и только тогда выстрелила! Подлинно: приговор – и исполнение! Её адвокат начал с того, что послал ей в камеру большой букет цветов.

Глубокая вера в святое дело – вот что вело их всех! Как Баранников написал, ожидая казнь: “Ещё одно усилие – и правительство перестанет существовать. Живите и торжествуйте! Мы торжествуем – и умираем”.

Красоту и философию террора хорошо понимала Женя Григорович. И ведь опять: дочь генерала, и генерал-то – почти единомышленник! тоже знак времени! – помогал ей спасать революционеров от ареста, прятал у себя в доме заговорщиц, узнавал часы проезда и приёма намеченных к удару лиц. А друг отца помог Жене, когда готовила покушение на Трепова, устроиться в Петергофе, рядом с царём, нелёгкая задача. И вот в трёх шагах от неё проезжают в коляске Николай с Алисой! – а у Жени нет оружия при себе, и плана такого не было, – и она вспоминает, что следила за царственной четой, как кошка за рыбами через стену аквариума. Для показа – светская жизнь, баловство живописью, – а при себе всегда капсула синильной кислоты, хотя партия и запрещает самоубийство. Она шла на акт, как на торжество, резвилась с подругой, упражнялась в лесу в стрельбе, в бумажку с надписью “Трепов”. В день покушения хорошо выпалась, хорошо пообедала, получила от портнихи специально заказанное театральное платье, и веселилась, смеялась – и в задоре пошла на спектакль Кшесинской. Вот так идут подлинные революционерки на жертву и смерть! К несчастью, Трепов почему-то в театр не приехал, – и сразу стало ей скучно и гадко от глупых плясок на сцене, от гладких затылков в партере, от бессмысленной болтовни в ложе. Сразу – и невозможность победы и невозможность пострадать. Ей пришлось уехать в Италию.

Или Каляев! – ведь это был великий человек, и прирождённый Поэт, его так и звали. Но он пожертвовал своим даром – и весь его обратил на художественное выполнение актов. Чего ему только не досталось, пока он выслеживал Плеве! Как он играл! Сам элегантный, изящный, – в засаленном заплатанном пиджаке, рыжих битых сапогах, картуз набекрень, грыз подсолнух, отругивался на площади, заводил знакомства с дворниками, извозчиками, – а по воскресеньям вместе с квартирным хозяином шёл в церковь в красной рубахе, крестился истово, а на херувимской пластался ничком. Чтобы легче дежурить на улицах, играл роль разносчика, таскал тяжёлый ящик, продавал папиросы, разную дребедень, и картинки “героев” японской войны. Говорил – “ненавижу эти картинки, во мне страдает художественное чувство! А иной дурень платит за них последний пятак. Герои “Варяга”, Чемульпо – грудь колесом, нахальные рожи, слава отечества! Патриотизм – повальная эпидемия глупости. Погодите, дурачье, собьёт с вас спесь японцев!”

Акты – не всегда убить, бывали замыслы грандиозные, от которых вся Россия должна была онеметь: в том же Петергофе готовили захват полного состава Государственного Совета, прямо на заседании. Вот уж, затряслись бы заслуженные старички, представить! Это уже – наши, максималисты, под руководством Михаила Соколова: план был ворваться с бомбами на заседание, взять их всех заложниками, и чего-то потребовать от правительства, ещё не решили – чего. А если откажутся – то и взорвать весь Совет и себя вместе с ними! Это было бы неопишимо!

Соколова знала Агнесса хорошо, это был не человек – исполин! Это первый он и придумал: начать террор против рядовых помещиков, чтоб им жизни не стало в имениях, а ещё – террор фабричный, и экспроприацию денежных сумм. Началось московское восстание – он бросился на Пресню и был начальником боевой дружины. Это он создал и максимализм, откололся от эсеров за их бюрократизм, неповоротливость, осторожность. Дядя Антон пошёл на свой акт в согласии с ним. Это был план Соколова – ворваться к царю на автомобиле, полном динамита, – и так взорвать всю свору. Его же было – и знаменитое взятие кассы в Фонарном переулке, сразу 600 тысяч рублей. И при всей твёрдости – какая это была чувствующая душа! Составляли план акта – Соколов просил играть на рояле и напевал. На петербургской улице он обернулся подать нищему – тут его узнал сыщик, и арестовали.

Через день его казнили. Он крикнул палачу – “руки прочь!” – и сам надел себе петлю на шею.

А Наташа Климова? – этот цветок среди максималистов. Она задыхалась в скучной пресыщенной жизни своей рязанской дворянской семьи, своего круга, жизнь казалась бессмысленной. Сперва она тоже, вот как и вы, искала правду в красоте, потом в служении людям – и так пошла в террор. Да без истинного яркого действия – разве может быть в жизни счастье, Вероня?... Вместе с Соколовым они готовили захват Государственного Совета и взрыв на Аптекарском, Наташа и поехала “барыней в фаэтоне”. При прислуге они разыгрывали с Соколовым мужа и жену, Соколов был наряжен барином, старался смеяться по-дворянски, Наташа покупала поддельные украшения. А вдвоём оставались – неловко, и спали никогда не раздеваясь. И какая была богатая натура! Она говорила мне: ведь вся природа – чудо, закат – чудо, и каждая мелочь в природе. Близость смерти открывает перспективы, которых в обычной жизни не видишь. За недели вот такой сгущённой жизни можно отдать годы пресного благополучия!... А красноречием и внушением – она была второй Нечаев. Сумела обратить в свою веру тюремных надзирательниц – и устроила знаменитый групповой побег из Новинской тюрьмы.

Да, был путь и через искусство: из богатых семей посылали девушек за границу изучать искусства, – а там они встречались с настоящей молодёжью, усовещивались – и шли в революцию.

Таню Леонтьеву, кстати – племянницу того самого Трепова, голубоглазую изящную аристократку, прочили во фрейлины императрицы. (Её лучший замысел и был – убить царя на придворном балу, поднося ему цветы). Дочь вице-губернатора, она тяготилась высшим светом, общением с неприятными людьми. В Петербурге вращалась в самых знатных кругах – и приносила революционерам ценнейшую информацию. И хранила у себя динамит. Генеральская родня не давала делать у неё обыска. Всё же с динамитом она и арестована, но родные подстроили признать её психически больной, освободили из Петропавловки, отправили в Швейцарию, там она примкнула к максималистам. Но исключительно ей не везло: как-то поручили ей в Лефортовской больнице дострелить уже раненого шпиона – ей не удалось. А в Швейцарии – приняла за Дурново какого-то пожилого швейцарца, был похож, и имя было Карл Мюллер, под каким и Дурново путешествовал. Застрелила – а оказался не он. Она так глубоко всё переживала, так рыдала после казни Каляева...

Иногда отказывали нервы. Тамара Принц, тоже генеральская дочь, никак не могла решиться убить назначенного генерала, друга её отца. В классическом мундире террористки – чёрном шёлковом платье, она трижды ходила его убивать. Один раз – не решилась, в другой – истерика её взяла, она всё прокричала и была арестована. Выпустили, третий раз пошла – уже с браунингом и с бомбой, – но обронила бомбу на улице, маленький взрыв зажигателя – нервы Тамары сдали окончательно, она бегом вернулась в гостиницу и покончила с собой.

Нет, не жаль тех, кто погиб или попался после успешного акта: он – свершил! Безумно жаль тех, кто не дошёл до победы. Зильберберг и Сулятицкий с их смелым планом застрелить Столыпина во время молебна при открытии медицинского института. И так же – в петропавловской часовне, на панихиде по Александру II, должен был взорвать бомбу Макс Швейцер, да в день 1 марта, да сразу грохнуть и Булыгина, и Трепова, и Дурново, – и, несчастный, взорвался в гостинице, на приготовлении. И Синявский, Наумов и Никитенко – повешены, не дотянувшись взорвать царя в его петергофском дворце! И Соломон Рысс повешен, так и не дотянувшись...

Многие женщины – не сами стреляли и взрывали, но готовили бомбы. Марии Бенеvской так руку оторвало – и всё равно не пощадили, дали каторгу. Её товарищ поехал за безрукой в Сибирь и женился. Тоже была из дворянской военной семьи, а о том, что насилие есть способ борьбы за добро, – заключила из Евангелия. Она очень искала морального оправдания террора.

Маня Школьник, портниха из местечка, рвалась непременно метать сама, хотя по



темпераменту скорей пропагандистка, очень страстно говорила. Муж Арон всё не пускал её в террор, но не мужа, а её бомба ранила черниговского генерал-губернатора.

Все героини и были – народоволки, анархистки, эсерки, максималистки. А если нужно маскироваться – одевались под социал-демократок, безвкусные цвета, “Капитал” под мышку, – и иди хоть сквозь полицию, безопасно. Эсдечкам не надо было ни нарядно одеться, ни понравиться, ни – проникнуть, ни – даже зеркальца на цепочке, проверять следят ли сзади.

А ещё, а ещё из королев террора – Евлалия Рогозинникова. Она всё предприняла, чтоб увести с собой побольше. Из браунинга застрелила начальника тюремного управления – и должна была выбросить браунинг в форточку как знак успеха и сигнал товарищам идти убивать Щегловитова и других. Она рассчитывала, когда возникнет схватка, взорвать с собой ещё несколько крупных чинов, и весь дом, где было тюремное управление, и несколько этажей их квартир. Но так не повезло, что её не допрашивали крупные, а прислали на обыск жён тюремщиков, потом вызвали полковника артиллерии – и у Евлалии, распластанной на полу, он обезвредил шнуры от батарейки к лифчику, полному тринадцати фунтов динамита.

Какое же отчаяние борьбы, какое же иступление справедливости надо испытать, чтобы так себя зарядить – и пойти как человек-динамит!...

– Как Женя Емельянова говорила, помнишь: началось бы всюду! добиться бы правды! – а там на всё остальное – наплевать!

Какая же правая ненависть вела этих девушек, этих несбывшихся невест!

Как же можно жить лёгкой ничтожной жизнью – выставки, лекции, спектакли – и забыть об этих героинях? и не ощущать пылающей ответственности перед их святыми жертвами?

– Да что эти великие далёкие примеры! – перед дядей, перед дядей родным, Вероника!?!

## 61

В портрете дяди Антона что должно было быть заметно первому неприсмотревшемуся взгляду – поиск. Что жизнь этого молодого человека и не устоялась и не хочет он устояния, а ищет: понять правду и ей послужить. Это – и в глазах, как он всматривался выше аппарата, чуть прихмурясь; и во лбу, никогда не размягчённом от складок мысли; и в отклоне головы вместо парадного позирования; и в продроге узкой шеи, кажется вот на снимке видном.

За две руки подвели Веронику к портрету – и стояла она, рослая, как старшая, между щуплой тётёй Адалией и приземистой тётёй Агнессой.

Глазам Ленартовичей безмерно был роден брат и дядя, но несомненно светилась в нём и родственность обобщённая: наша общеинтеллигентская, наша неповторимая, несравненная, жертвенная, по которой и незнакомые – с первого взгляда друг другу сродны и соединены.

Запечатленная талантливость. Энергичная худощавость. И этот горький продрог шеи, как будто уже так рано он обманулся в людском идеале.

А ещё понёс Антон от рождения – печать обречённости, и уже с отрочества он как будто понимал, что обречён. Да даже в детстве, странно, он был задет выражением: “умер от антонового огня”, и всё спрашивал: а что это – Антонов огонь, а почему от него умирают?

Впрочем, такие обнажённо чистые выражения лиц всегда производят впечатление, близкое к обречённости.

Если правда, что отпечатываются на рождённом звёзды неба, то отпечаталась на дяде Антоне та – через мрак весёлая – весна 1881 года, когда казнили тирана, а Антон родился. Когда народ, не понимая собственного своего добра, тысячами рыдал на панихидах. Не только не понял освободительного смысла удара, но приписал убийство порочности Петербурга и злодейству дворян, недовольных отменой крепостного права. Не упивался от радости в трактирах и питейных, но сумрачно отхлынул от них, и не было на улицах пьяных,

а весело пили только студенты по квартирам и дразнили университетских сторожей: “Ну-ка скажи: слава Богу!” – “Слава Богу”. – “Радуйся, твоего царя убили!”

Над люлькой Антона качались трупы пяти повешенных народовольцев – опять пяти, как и декабристов.

Задушены были пятеро отважных, к счастью для себя так и не познав разочарования: не вкусили, что только озлобление возникло у тупых обывателей, у черни – против своих спасителей, против учащейся молодёжи. Казнь царя, которая мнилась как вершина освободительной борьбы, как сигнал ко всеобщему восстанию и погрому помещиков, – оказалась лишь первым пиком в этой обрывистой горной гряде, только началом долгого жертвенного похода.

– Да дядя Антон как бы и рос под сенью террора. Слышал в доме революционные разговоры – и на него они действовали не так, как на тебя, – он очень рано начал всё понимать. И как раз к его двадцати годам совершились великие акты. И уже тогда он себя определил на тот же путь.

– Готовил себя, тщательно. Говорил: прежде, чем стучаться в дверь Б. О., каждый должен проверить себя: достоин ли? чист ли? В святилище надо входить с разутыми ногами.

– А как он рано возненавидел все петербургские дворцы, помнишь, Неса? Говорил: “Вот с ними-то мы и бьёмся. У меня кулаки сжимаются при виде дворцов. Как они нахально бахвалятся! О, скоро вы задрожите, с вашими обитателями!”

– Он был знаком и даже ученик Каляева. От него перенял и эту теорию... Что очень хотел бы погибнуть на месте акта – вспыхнуть и сгореть без остатка! смерть упоительная! – Тётя Агнесса волновалась, видно тоже, несмотря на свои 42 года, эту теорию разделяя и сегодня, тоже ли не была ученицей Каляева. Из сиреневого облака – она и дым – глаза попыхивали как маяки. – Но! Но есть счастье выше: умереть на эшафоте! Смерть в момент акта как будто оставляет что-то незаконченным. А между актом и эшафотом – ещё целая вечность, может быть самое великое для человека. Только тут, говорил он, почувствуешь всю красоту идеи, мистический брак с идеей! Сладчайшее наслаждение – умереть как бы дважды: и на акте и на эшафоте. А ещё какое наслаждение – суд! Умирая во время акта, ты уносишь всю свою ненависть невысказанной. А тут – обливая презрением судей, ставя ни во что их корректную законность, – излить на них всё, что накопело, поставить к столбу самодержавную Россию, эту всесветную сводницу!

Нельзя сказать, чтобы Вероника зажглась, – этого быть не могло, тёти знали уравновешенность её характера, – но опалило её это откровение великого террориста. Она смотрела большими тёмными глазами в изумлении. Хорошо и так, почва разрыхлялась!

Но каждое время приносит своим чадам и новые задачи, и средства их выполнения. Когда дядя Антон вошёл в полную зрелость и готовность отдать себя в акте – уже расходился, бурлил Пятый год, всё пришло в движение, обстановка менялась от месяца к месяцу, вспыхивали мятежи там, здесь, наконец московское восстание, – в тот год Антон, как многие, отверг индивидуальный террор и рвался к вооружённому восстанию. Всюду по России такое было желанно, но восстание бы в Петербурге было единственным и окончательным. И из самых первых Антон поставил вопрос о флоте: молодых сознательных петербуржцев ждёт флот, а по соседству – дружественная, всегда антицаристская Финляндия. Балтийский флот, а главное Кронштадт своими пушками почти без канонады продикували бы царю падение. Из первых же Антон носился со списками судовых команд, доставленных революционными офицерами, знакомился, готовил везде сторонников. Очень помогли японские неудачи флота, настроение флотских было упавшее.

Но восстание в Петербурге всё никак не возгоралось, а в Москве вспыхнуло, и Антон светло завидовал им, однако не бросился туда со своего участка. Подавили в Москве? – что ж, Петербург за всё отомстит! Но вот и Думу разогнали, а Петербург постыдно немотствовал, – и если уж теперь не восстанет флот!?...

– Ах, как мы могли не победить в Девятьсот Пятом?! Ведь правительство было совсем растеряно, городские невооружены, заводы переполнены молодёжью, на японскую их не

слали...

– А просто: народ ещё отделял себя от революционеров.

После разгона Первой Думы начались лихорадочные дни: надо было срочно ответить! Был план поднять одновременно Севастополь, Кронштадт, Свеаборг, весь флот – и кончить царизм одним ударом. Организация послала Антона в Свеаборг, на главную базу Балтийского.

– Ты же и о Свеаборге не знаешь ничего?

Вероника в ответ только могла моргать, уже пожалуй и виновато.

Там давно уже и свободно агитаторы разворачивали кругозор недовольных, два-три передовых офицера сами распространяли брошюры среди своих подчинённых. И едва командование выполняло одни требования – от массы выдвигались новые, нельзя было дать брожению успокоиться. Но тут, не теряя времени, не теряя связи с разогнанной Думой, надо было поднять восстание немедленно, – а конкретного плана не было, и дата не решена. Ещё не были готовы, но забыли предупредить, и по ошибке сигнально выстрелила условленная пушка, – и на одном острове поднялись артиллеристы, а пехота, искалеченная казарменной выучкой, осталась против народа, оказала кровавое сопротивление. Пришлось кое-где заставлять присоединяться, часть островков восстала, арестовали своих офицеров, – другая нет, среди них и главная крепость, – и восстание выродилось в войну между артиллерией и пехотой. Тяжёлые батареи восставших громили крепость, но и слабые пушки пехоты отвечали такой картечью, что всё горело. Антон в группе вольных агитаторов вместе со штабс-капитаном Серёжей Ционом прибыли руководить восстанием, уже опоздав. Цион стал его вождём. Но разочарование было, что под лозунг “правительство грабителей заменим Учредительным Собранием!” – не пошёл флот, ни одно судно не примкнуло к восстанию, хотя после “Потёмкина”, после “Очакова” так ожидалось! Значит, агитации было слишком мало. Показались броненосцы на горизонте – тут гениально придумали послать к ним навстречу на катере восставшего офицера с поддельным приказом якобы командующего открыть огонь по крепости, но его распознали и арестовали. Так флот оказался предателем, как и свеаборгская пехота. При несомненности солдатского и матросского сочувствия восстание несчастно проигрывалось. Правда, к восставшим пришла финская красная гвардия, но всего 200 человек, они подвозили оружие. Три раза руководители держали совет: взорвать ли самим пироксилиновые склады миной роты? Тогда взорвалась бы и центральная правительственная крепость, но и многие свои, и размело бы прибрежную часть Гельсингфорса. Не нашлось специалиста подсчитать силу взрыва – и не решились, как бы не больше потерять. Тут от неосторожной спешной стрельбы взорвался ещё один свой пороховой склад, и было 60 убитых, сплошное невезенье! Вторую ночь восстания Цион, Антон с отборной командой тайно стаскивали сами своих убитых в море, чтобы оставшиеся не видели, поддержать их дух. Антон готов был ко многому, но не такому кровавому месиву, он изнемогал, заболел. А издали стал бить недосягаемый флот – и снаряды всё ближе ложились к пироксилиновым погребам. Цион куда-то исчез, раненый подпоручик Емельянов с советом представителей решили поднять белый флаг. Но самим представителям надо было бежать с островов: застигнутым в крепости в штатской одежде могла быть казнь. Скрывались на простых лодках (часть лодок расстреляли из пулемётов), прорывались в город одиночками. Антон удивительно спасся, с ним – восставший сын одного подполковника, защищавшего крепость. Раненых всех пришлось оставить в плен, да и здоровые спаслись не многие. Убито было несколько сот человек.

Пережившим такое тяжкое поражение не приходилось думать о второй попытке. Идея восстания утонула. Когда вся Россия обращена в тюрьму – возможны только смелые удары одиночек. Оставалось мстить и мстить! И снова Антон обратился душой к Террору.

– Ты не помнишь и тебе даже трудно вообразить, какое это было чёрное время, какая тёмная ночь, когда реакция снова распростёрлась над нами! Даже стойкие революционеры падали духом, что их страдания и жертвы никогда никому не принесут пользы и бессмысленны! Совершенно обескураживались, что всё, всё – тупо, глупо, гадко, бесцельно.

Это второе подполье, после свободы Пятого года, было куда тяжелее первого, сколько душ изуродовало!

Только редкие гордые продолжали незатемнённо видеть звёзды грядущего обновления. И среди них – Антон. Всякую неудачу он всегда считал не неудачей, а преступлением, которое если нельзя поправить, то выход только – харакири. Теперь он избрал своей целью подавателя московского восстания Дубасова: сразу отомстить и за Москву и за Свеаборг! А тот уже избежал нескольких покушений, в том числе и самого Савинкова. Теперь Антон пошёл за ним охотиться в Таврический сад, где старый адмирал имел обыкновение гулять.

– После Фонарного это был следующий крупный акт. Антон хотел дать салют в самый день казни Соколова! Для этого поспешили – и опять не повезло, уцелел.

Антон прошёл весь задуманный желанный цикл – и акт, и суд, и эшафот. И конечно излил судьям своё презрение и ненависть. Но – не было свидетелей суда, ни эшафота. И даже, по своей исключительной конспиративности, Антон отдал жизнь, не прославясь, не войдя в Пантеон увенчанных героев. Со своим товарищем Воробьёвым он стрелял, был арестован, сужен и повешен – инкогнито, не имея надобности открывать судьям имя, а ошибкой дворника своего однодельца записан перед судом как Березин.

Повешен! Прямо отсюда, из этой квартиры, из этой комнаты ушёл молодой герой, – и шею его скрутили казённой верёвкой. А родная племянница, а следующее поколение – уже свободно от памяти? от долга чести?

Конечно, прямо перед портретом юно-умершего дяди Антона Веронике трудно было защищаться. Да и кого не тронет, не покорит безоглядное самопожертвование молодой жизни? Разве молодости свойственно бросаться в смерть? Вероника искала слова со смутностью, поводя на тётей своими устойчиво внимательными глазами. Она и сама искренне недоумевала, как могла так отойти от семейной ветви, но и... но и...

– Тёти, милые... Но мы дядю Антона любим все, и я не меньше вас. Но всё-таки, я осмелюсь сказать, – он не святой? не агнец? Ведь он же первый пошёл убивать?

– **Первый** ? – ахнули тётки. – Да кто же первый начал угнетать свой народ? Кто же первый загородил все иные пути освобождения? Кто – первый казнил за каждый шаг к свободе?

– Ну... народовольцы первые пошли?

– Нет! – решительно отказала Адалия. Когда касалось народников, лицо её тоже жестело и закигалось. – Народники шли пробудить в народе общественную жизнь и сознание гражданских прав. Если б им не мешали – они б не начали взрывать бомбы. Правительство и заставило их отклониться от чистого социализма.

– Но тётеньки! – почти умоляла Вероника густым своим взглядом из-под писанных темноватых бровей. – Но какое кто имеет право... идти через насилие?

– Имеем! – как вулкан обкуренная, послала тётя Агнесса. Она страстно умела это объяснить, тётя Адалия уже не так твёрдо ступала дальше. – Революционеры за то и называются революционерами, что они – рыцари духа. Они хотят свести уже видимый идеал с неба своей души – на землю. Но что при этом делать, если большинству этот идеал ещё не внятен? Приходится расчищать почву для нового мира – и поэтому долой вся старая рухлядь и в первую очередь самодержавие! Революционеров нельзя судить по меркам старой нравственности. Для революционера нравственно всё, что способствует торжеству революции, и безнравственно всё, что мешает ей. Революция – это великие роды, это переход от произвола – к лучшему праву и к лучшей справедливости, к высшей Правде. Тот, кто знает всю ценность жизни вообще, и свою собственную отдаёт смерти, знает, что он отдаёт и что отнимает, – тот имеет право и на чужую жизнь – таким пыланием это выговаривала тётя Агнесса, как будто и сегодня ещё сама могла пойти на акт. – Метод насилия в общественной борьбе вполне допустим. Только бы взвешенно применялся, чтобы не допустить несправедливости больше, чем с которой борешься.

– Но как это взвесить?

– Это всегда видно, понятно. В случае борцов против самодержавия это вообще

исключено: большего зла, чем самодержавие, вообще и придумать нельзя.

– Восстание – это я могу понять, – упиралась Вероника, рассудительно пожимая круглыми плечами. – И то, когда народная стихия, а не когда заставляют примкнуть под угрозой. Но – индивидуальное убийство??

– Да не убийство! – топнула тётя Агнесса, уже раздражаясь. – А как нам оставили прорваться к освобождению, если не через террор? Нам нужна в конечном счёте – общая революция, да! Но Революцию вводит за руку только Террор! Без террора революция так бы и завязла в российской грязи и глине. Крылатый конь террор – только и вытащит её. Надо видеть не сам террор, а высокие цели его! Убивают не конкретного человека – в его лице убивают само зло!

– Высокие цели, я понимаю, – Вероника мягко, руку к груди, вповёрт к одной тёте и к другой, нет, она не была потеряна, ещё не была разложена этой нигилистической развязностью. И сейчас, вопреки её словам, на лице её видели тётки чистую готовность поверить и увлечься. – И кто же может не сочувствовать освобождению народа, не подозревайте меня в этом. Но вот, вы рассказывали, Гершуни и Кочура написали харьковскому губернатору ложное завлекательное письмо от реальной женщины. Да как же не подумали о её чести? – а в чём эта женщина с её личной жизнью стоит ниже всех тех народных интересов?...

О-о-опять она в болото проваливалась!

– Я говорю, – спешила исправиться, – что, идя на террор, самый даже чистый возвышенный человек ещё прежде того выстрела или взрыва должен совершить какие-то... неблагоприятные шаги. Иногда, вот, сделать подлог, в другой раз притворяться, лгать, а то воспользоваться для убийства простым человеческим доверием, как вот все эти приходы с прощением в одной руке и с револьвером в другой. А Рогозинникова – даже вечером, в неприёмное время, притворилась слезами, с обиженным женским горем, а у самой не только браунинг, но – и пуд динамита? Да ведь... Ведь при этом теряется доверие между людьми – а оно может быть ещё важнее, чем освобождение народа?

Ну, это было слышать невозможно! Девчёнка тупо ставила на одну доску, равняла в нравственных правах – угнетателей народа и освободителей его! Опять её – на диван и, обсевши с двух сторон, обе тревожно и настоятельно, а Агнесса – особенно, с огненно-дымной страстью, кредо всей своей жизни.

– Девочка, не надо отвлечённой декламации. Мы не стремимся фарисейски оправдываться. Ну конечно, никто не настаивает на “абсолютной” моральной чистоте революционера. Абсолютная моральная чистота вообще мыслима только в ангельском мире. А люди – слишком люди, чтобы быть такими сияющими. Обстановка нашей общей жизни на земле пока слишком пакостна, а российской жизни – особенно мерзостна, и мы не можем не запачкаться хоть краем одежды. Так и о моральной чистоте революционера мы можем говорить не абсолютной, а – о чистоте постольку, поскольку. Поскольку он удерживает себя в дисциплине кристально-чистых намерений, как это было у дяди Антона. Поскольку он живёт в гармонии политических, общественных и нравственных идеалов. Поскольку он отвлекается на нравственно-опасные дороги только по необходимости. Пусть и лжёт – но во имя правды! Пусть и убивает – но во имя любви! Всю вину берёт на себя партия, и тогда террор – не убийство, и экспроприация – не грабёж. Лишь бы только революционер не совершил преступления против духа святого – против своей партии! Всё остальное ему простится! Я тебе и другие примеры приведу. Короткое время революционеры вынуждены бывают действовать и сами подобно сыщикам – хотя уж кто ярче испытывал отвращение к этим гамзеям, жандармам и провокаторам! Были случаи, да, – устанавливалась и слежка за подозрительными товарищами, и производились – тайком или насильственно – обыски у них, чтобы проверить подозрение. Да, у революционеров сколько раз бывали – и нарушение неприкосновенности личности, и притворство, и подлог, и обман, – но всегда для чистой цели! И несчастный Сазонов, убивши Плеве, мучился в тюрьме: “Боже, милостив буди мне грешному!” Трагедия террора – это и есть трагедия того, кто взялся нанести

освободительный удар! Трагедия человека, кто добровольно взвалил на себя нечеловеческое нравственное бремя. Кто добровольным выбором шагнул под собственную смерть и взял на себя ответственность за всё, что произойдёт! Зато в этой близости к смерти – и очищение. “Иди, борись и умирай!” – в трёх словах вся жизнь революционера. А кто добровольно идёт на смерть, тот не только левее всех политически, но – правее всех нравственно! Да что тут говорить!! Да вся наша русская интеллигенция, с её безошибочной чуткостью, всегда это понимала! всегда принимала! Не террорист бессердечен! – бессердечны те, кто осмеливается потом казнить этих светлых людей!

А в случае с Антоном это было ещё очевидней: ведь они не убили кровавого вельможу, только контузили (сперва был слух, что убили, – и уже ликовали обе столицы, и газеты), – и за что же, с какой бессердечностью повешены сами?! Да даже если б и убили – как можно сопоставить, сметь уравновесить жизнь этих жертвенных мальчиков – и этого упившегося карателя? Кто ж настоящий убийца, разве не Дубасов, от кого захлебнулась и смолкла Пресня, замерла в агонии революционная Москва??

– А ведь точно известно, – горестно сглотнула тётя Адалия, – что и Дубасов сам просил простить покушавшихся.

– Ну, точно это никому не может быть известно, мы документов не читали! – спичечно возразила Агнесса. – Палачи любят украшать себя легендами.

– Слишком знающие люди говорили. Даже Дубасов простил! А не простил их – Столыпин. – Тётя Адалия невесомую руку положила на плечо племянницы. – Так что можно считать, что дядю твоего повесил Столыпин.

Сто-лы-пин! – как угрожающе звучит фамилия. Тенью мрачной пересекла русскую историю.

– Если мы и по сегодня сидим без свободы – так это именно Столыпин отнял её у нас.

А ведь была уже в руках!...

Тёти агнессины глаза, серые с искринкой, вспыхнули:

– А славно наши максималисты рванули его на Аптекарском! Вот покушение! – памятник!

Она сама тогда только что вернулась с каторги по Манифесту, её не брали на акт, давали отдохнуть.

– Грандиозно было задумано! – и только мелочь подвела. Техника их была безупречна: три браунинга по карманам, если удастся подойти вплотную (а один был одет генералом, должен был проникнуть легко), а на запас в портфелях – сильнейшие бомбы, всем погибать, так всем! Подвела техника более тонкая: двое террористов были одеты жандармами, но не знали, поди уследи, что за две недели перед тем изменили форму жандармских касок, и по этим чёртовым каскам дежурный генерал и пёс-швейцар кинулись останавливать приехавших (а ещё может быть – слишком бережно несли под мышками портфели с бомбами). Тогда рванулись в переднюю, как успели, и бросили на пол, как попало. И бомбы рванули прекрасно, да ведь уже были не лабораторные, прошли ремесленные времена Кибальчича и Доры Бриллиант, когда готовили сами на квартирах, – теперь взрывчатые вещества с лучшими гарантиями и в лучшей упаковке продают европейские фирмы. Взрыв был такой силы, что на другой стороне Невки, а она там широкая, выбило стёкла в фабрике. Но счастлив каратель – ни одной царапины. Всё равно, Соколов считал удачей: грохнуло на всю Россию, убило и ранило несколько десятков человек, а важна именно грозность террора, планомерность: ещё придём! доберёмся! Должны знать, что на них идёт сила! Дело не обязательно в устранении, а в устрашении.

Но ещё должно было пять лет миновать и многие попытки разбиты, уже отчаивались дерзкие пловцы под нависшей громадой корабельного носа – он шёл и шёл, Россия упивалась обывательским благополучием, казалось отгремела счастливая боевая эпоха, – как раздался исторический выстрел Богрова!

– Ну уж, Неса, выбирай слова.

– Конечно исторический: по результату, по последствиям? – первосентябрьский акт превосходит все акты, это венец русского террора! – и равен он только первомартовской бомбе. А по справедливости мести...

Тётя Адалия в сомнении покачала головой:

– Знаешь, вот такое ощущение: богровский выстрел – не наше порождение. Общество не ощущает 1 сентября так сердечно и так восторженно, как 1 марта. Первое марта было совершено – прямо нашими руками, и Народная Воля тотчас взяла на себя ответственность. А первое сентября – какой-то чужой потёмочной душой, двусмысленной фигурой. И никто не взял на себя, ни тогда, ни потом.

– И это – позор для революционных партий! Выстрел Богрова – великое событие! И, если хочешь, даже в трёх отношениях. Он совершён в тот год, когда террор считался окончательно подавлен. И организован – одиночкой. И убит – самый главный, самый вредный зубр реакции.

Тётя Адалия зябко свела узкие локоточки:

– Нет уж, нет уж! Честь – выше всего! Ты доказываешь, что террористу многое прощается, – да. Но есть один грех, который никогда никаким судом совести не простится никакому революционеру: это сотрудничество с охранкой.

– Да не сотрудничество!! Надо же различать – сотрудничество или невольное касание в операции. Служба им – или использование их для революции?

– Ну да, азефовщина это плохо, а богровщина – хорошо.

– Да ты не смеешь такого слова даже строить! – полыхнули огнисто-серые глаза Агнессы. – Термин один – азефовщина. Это он – выворотень!

Азеф – Вероника знала: какое-то страшное, гадкое предательство, хуже которого нет. Но она даже не знала точно: “Азеф” – это фамилия или кличка?

– А какой такой особенный выворотень? Тот – добросовестно служил охранке, а не революции.

– Как? Войдя в руководство партии и втянувшись в акты?

– А в какие такие акты он втянулся, назови? Плеве убили летом Четвёртого, Сергея Александровича – зимой Пятого, и всё это время действовала только Бэ-О, по их уставу ЦК эсеров не мог ни руководить, ни знать, разве только один Михаил Гоц, и то не в подробностях. А Азеф в ЦК ведал типографскими делами – и типографии аккуратно проваливал. Вот и всё.

Агнесса не была эсеркой, но всё же:

– Такие люди, как Савинков, Чернов, Аргунов не могли же лгать!

– Но когда Лопухин открывал Азефа Бурцеву – то как осведомителя, и Бурцев тоже ещё не выдвинул гениального двойника. А когда эти трое пришли к Лопухину в Лондоне – вот к этому времени они уже всё и придумали.

– Но зачем бы это им?

– О-о! большой смысл: чтобы перед молодыми эсерами оправдаться в неудачах. Если и правительство запуталось, и правительство убивало даже само себя, чтобы только разгромить эсеров, – другая картина. А почему Гершуни, тигр революции, защищал Азефа перед смертью? Подумай? Он-то больше всех знал, что Азеф никакого отношения к Бэ-О не имел! Вообще, настоящих доказательств против Азефа никто никогда не привёл.

– Допустим, в отдельных случаях и не доказано, но по логике Азеф не мог не обманывать и полицию, не мог он не помогать эсерам честно – как бы он иначе возвысился до члена ЦК? И как бы он мог в ЦК бездействовать?

Сыпались имена, имена, будто известные всему миру, и угадывалась целая неписанная напряжённая история, которая, в общем, Веронике была и не нужна, но уж если слушать:

– Тётенки, милые, а кто такая Бэ-О?

– Боевая Организация. Ядро террористов. И во всяком случае после ареста Савинкова в

Шестом году – Азеф несомненно стал в центре боевизма.

– Ну, и центральные акты прекратились. А какие сделаны, то все – без ЦК эсеров, как и наш Антон.

– Да я вообще Азефа не трогала, это ты приплела. Я хотела сравнить Богрова скорей с Воскресенским.

– А кто такой Воскресенский?

– Ну неужели Воскресенского не помнишь? Ну, иначе Петров. Пяти лет не прошло, и тут, в Петербурге, и ты уже не маленькая была – и не помнишь? Да как тебе всё из головы вымело!

Объяснили. Учитель из Казани, эсер-боевик, сидел приговорённый в тюрьме, и оттуда, очевидно под влиянием азефовской истории, написал письмо в охранку: предложил свои услуги, если освободят его и товарища. И охранка освободила Воскресенского и взяла на службу, но он тут же покаялся в своё ЦК – и те велели ему в очищение взорвать сразу несколько крупных полицейских деятелей. Он так и заплетал, двух-трёх главных, но попался ему только полковник Карпов, его он и взорвал на Астраханской улице.

– Ну и что ж, всё равно, – тётя Адалия была неумолима, потряхая гладковолосой мирной стареющей головкой. – Перед судом революционной этики не может быть оправдания никакому пути через охранку, и этому тоже.

– Ну, какая рационалистическая крайность! – изумлялась тётя Агнесса. – Так ведь так и вообще ничего сделать нельзя! Действовать нельзя! Если охранка используется – против самой себя? Если охранка обманута, опозорена и наказана – тоже нельзя? Это уже чистоплюйство непомерное! Важно: не кем он притворяется, а – чему он истинно служит. Воскресенский решил сразиться с охранкой её же оружием. И рискнул революционной честью! И честь эту спас, отдавая жизнь!

– По нашим народническим идеалам – и такое невозможно.

– Да ведь он же никого не предал! Да ведь он же сам пошёл открылся товарищам!

– Но тогда в чём ты видишь сходство с Богровым? Богров реально служил охранке и предавал.

– Да не доказано это! – пылала тётя Агнесса. – Это же – охранские и данные! Вот судьба одинокого идеалиста: ещё и быть оболганным перед потомками. Воскресенскому было легко: он умер, ликвидируя свои ошибки перед партией, он до самого эшафота чувствовал себя посланником революционного центра, это совсем другое дело! А Богров? – в эпоху всеобщего разочарования и разложения – одиноко! замкнуто! имел твёрдость провести свою стальную линию, – да так одиноко, так тайно, так гордо, что вот, три года прошло, и только теперь начинают выплывать, разъясняться подробности.

– Откуда же, тётя Агнесса? – Этому странному скрытому миру во всяком случае нельзя было отказать в накале страстей.

– А-а, ничего ты не читаешь, одни “миры искусства”. Вот только сейчас вышли две первые книги о нём. Одна – благородная, честная, из эмиграции, другая – из охранской клоаки.

– И всё равно ничего не прояснилось, – махнула тётя Адалия.

– Да! потому что группа анархистов-коммунистов, к которой Богров себя идейно причислял, так до сих пор, из какой-то политической осторожности, не захотела публично засвидетельствовать его революционной чистоты. Очевидно, это вредит партийным целям. И так и засыхает на умершем герое вся эта грязь. Он ушёл загадкой – и за три года никто не взялся объяснить: как же Богров дошёл до своего великого шага? А трусливое правительство по своим причинам глушило и прятало дело Богрова. А потом внимание России было заслонено процессом Бейлиса. Сложилось как всеобщий дружный заговор против одинокого. Решительно всем сошлось удобно: или лгать, или принимать ложь за правду, или молчать, кто слишком много знает. Молчат и личные друзья Богрова. Его естественно ненавидят реакционеры. Но нападают и революционеры, кто слишком уверен в своей безупречности. А общество и печать почуяли такую политическую выгоду: принять за истину полицейскую



клевету, что Богров был верный охранник: ведь тогда им удобней клеймить охранный порядок! – а что им честь человека? А либеральчикам – выгодный момент отмежеваться от террора, ведь они теперь разлюбили террор, теперь они хотят заявить себя верноподданными паиньками. Либералам выгоднее всего так считать: Богров – провокатор, и правительство прячет гниль своей системы. Либералам выгоднее всего видеть в этом убийстве руку охраны, и только её. А социал-демократы, кто и револьвера в руках держать не умеют, не знают где ручка, где дуло, тоже обрадовались: не свалишь на революционеров, не свалишь на евреев, не начнёшь преследований. Заячьи душёнки! А газеты лепили всякие подозрительные сообщения, лишь бы сенсация. А от газет и распространился общий гипноз. В политической игре потопили героя – и высочайший подвиг лишился морального обаяния! Бьют лежачего – и заступиться некому. Бьют казнённого, кто уже никогда не защитится сам! Бросают грязью в свежую виселицу! И ты поддаёшься, Даля, этой гнусной либеральной клевете!

На защите ли, в нападении, но в вопросе страстном тётя Агнесса умела становиться розовато-серой пантерой, розовые пятна к приседи волос. Страшноватой. Уж била лапой – так всех подряд, никого не щадя, никого не боясь.

Но и картина не могла не захватить: одинокий смельчак – и всеобщий заговор несправедливости.

В такие минуты, когда тётя Агнесса особенно горячилась, – тётя Адалия, в своём тёмно-сером или выгоревшем чёрном, как монашенка, старалась как можно больше выиграть хладнокровностью. На узкой груди она сжимала пальцы в неразрывимый замок, а тонкие губы ее выразительно изгибались в недоверии:

– Так-так. Но что-то уж слишком невероятное совпадение: решительно всем, кто никогда ни в чём не сходится, от крайне-левых до крайне-правых, вдруг сошлось выгодным одно и то же: считать Богрова охранником. Не похоже ли всё-таки на неопровержимую истину?

– Нет, не похоже! – отмахивалась Агнесса. – Вот бывают в истории такие роковые совпадения! Правительство дёрнулось, пообещало в Думе “пролить самый яркий свет” – и осеклось.

– И почему же? – уверенно и даже язвительно сдерживала Адалия худенькие пальцы немолодых рук. – А не странно разве, что сторонники Столыпина, собравшись порыдять над дорогим трупом, вот недавно шумно открывая памятник, вознося покойному похвалы, – никто не выступил и не сказал просто, ясно: **кто** убил и **почему**? Им бы – ну зачем скрывать? Вся правда о Богрове находится в департаменте полиции, в охранных архивах, – а наружу её не выпускают. Почему?

– Потому что правда о Богрове – страшна правительству и всем правящим! – отдавала розовым Агнесса, расхаживала по комнате с хвостом папиросного дыма.

– А потому что, – с дивана не вставая, тихо и колко подавала Адалия, – правительству невозможно признаться, что председателя совета министров убил правительственный агент. Это как раз и было бы то, что построено из Азефа.

– Нет!! Потому что: правительству невозможно, стыдно признать, что всю их знаменитую мощную государственную охрану морочил одинокий умница-революционер. Чего тогда стоит весь их департамент полиции! Какое тогда уважение к государству? Вот правительство и поставило свою печать на кулябкинском отчаянном измышлении. И ревизия Трусевича и последующие, чуя носом верхний ветер, ещё и к делу не приступая, – заранее признавали, что Богров – секретный сотрудник. И вот клевета, пущенная Кулябкой, для сохранения своего жирного тела и ленивой шкуры, – единодушно и без проверки признана, подхвачена и жандармской корпорацией, и судейским сословием, и – увы – небескорыстным обществом.

Так ни на шаг не подвинулась Вероника понять о Богрове, теперь ещё – Кулябка кто такой?

– Начальник киевского охранный отделения! – швырнула ей тётя Агнесса. – От него и пошло, что Богров – агент. Да только Кулябке и охранке и спасительна эта версия, Кулябке

иначе на каторгу идти! ему безопасней, чтоб его переплели с Богровым и чтоб тот был “долгий верный сотрудник”. И всем высшим чинам так безопасней, свести к тому, что нарушен какой-то пункт какого-то циркуляра, и только. И особенно выгодно представить Богрова заагентуренным как можно раньше и сотрудником как можно более успешным. Пускали даже сплетню, что Спиридович заагентурил его ещё гимназистом четвёртого класса! И какой только лжи не давали просочиться в печать: что у Богрова были сообщники, их перехватили. А он – одиноко шёл на смерть, он и не рассчитывал спастись!... И кто ж против Богрова единственный свидетель на суде? Опять Кулябко! И на ревизиях – чьи единственные материалы, что Богров – старый охранник? Кулябки же! И всё – голословно.

– Ну как же голословно? – ласково-вкрадчиво спрашивала Адалия. – На полтора года исчезал из поля охраны, внезапно, в критическую минуту появился – и сразу ему полная вера! Чтобы пользоваться таким слепым доверием Кулябок – должны же быть основания в прошлом?

– Ч-чистый случай превосходства блистательного ума! Богров обморочил, переиграл охранку – и открыл себе все недоступные двери!

– Но из чьих же рук и почему Богрову выдан билет на спектакль, куда и не всякий генерал мог попасть? Такие билеты даром не даются.

Тёти уже позабыли и племянницу. Когда между ними разгорался принципиальный спор, забывали они, что у них может кипеть, бежать, гореть на плите, не чуяли запахов, не видели дыма – и несколько уже кастрюль погибло в жаре их столкновений.

– Даля, это не вина Богрова, что мы с тобой не можем объяснить получение билета в театр. Мало ли чего мы не можем понять до времени! Богров унёс правду в могилу, так это не освобождает нас от поиска её.

– Ну и что ты уже нашла? Если Богрову выдали билет для помощи департаменту полиции убрать Столыпина, как пишут националисты...

– Пойми: все сведения – из показаний Кулябки. А может быть и не он дал билет Богрову. Бывают сложнейшие детективные истории. Промелькнуло в газетах: какая-то кафешантанная Регина, а у неё высокий покровитель, оттуда и билет.

– Ну, натяжка невероятная! Тоже в охране придумали.

– Не больше натяжка, чем врёт Кулябко, что Богров с 907-го года – “ряд ценных услуг”, участвовал в целом ряде ликвидации анархических групп, – а затребовал Трусевич судебные дела анархистов – и почему-то в ревизии ни одно доказательство не привёл.

– Ну, Неса! Ну конечно им невозможно публиковать тайные архивы полиции!

– Вот на этом и выдувают ложь! Ревизия Трусевича видите ли “знает”, что Богров выдавал анархистов, а сама даже путает, в какой он был партии, записывает его в эсеры.

– Бюрократию ловить на глупости! Смешно, это и так все знают. А каких был взглядов Богров – никто не знает, он кочевал. А как ты объясняешь его рассеянную великосветскую жизнь? Эти карты, тотализаторы, буржуазные клубы? Разве это возможно у порядочного революционера?

– Даля, всё скрыто, а газеты были ложно информированы! Может быть, этих тотализаторов вообще не было, может быть это был утончённый способ маскировки. Вот его уже обвиняют и что он продавался за деньги – это при богаче-отце... Да он мог жить в благополучии и составить самую блестящую карьеру...

– А тогда значит служил им – чисто идейно? Тем хуже! В Киеве полоса арестов – а он уцелел. Он – единственный, не арестованный по делу Сандомирского...

– А потому что он на три месяца уехал в Баку, самое горячее время там и пересидел.

– И полгода его не трогают! За это время он возит оружие в Борисоглебск, там провалы...

– За это он не может отвечать!

– Но в сентябре его всё-таки берут! И целую группу одновременно с ним: провал побега из Лукьяновской тюрьмы, провал покушения на командующего киевским округом... Всех держат, всех судят – а его освобождают через две недели?!

– Так говорю тебе: исключительно связи отца.

– Какие б ни связи, но слишком странно: все товарищи по тюрьмам, по каторгам, он один на воле. Слухи ходили упорные.

– Так вот в этом и трагизм положения: что ходят слухи, а все старые товарищи по тюрьмам, через них не оправдаешься, а новички верят.

Вероника слушала-слушала, и вдруг почувствовала, что втраивается. В этом мелькании сшибающих аргументов действительно хотелось наконец понять: так кто же был этот Богров на самом деле. Но больше того: через этот спор выступала такая шаткая, быстрая, сжигающая острота: жизнь подпольщиков действительно шла в захватывающих переживаниях – и этому верен был дядя, и этому сегодня верен Саша, – и как же она потеряла к этому вкус, отстала, изменила? И они все рисковали и старались для общего дела, для народа!

– Его оклеветал Рафаил Чёрный после поездки к воронежским максималистам!

– Ты и максималистов ему прощаешь?

– Воронежские – недостойные максималисты, их процесс был самый грязный в истории русского революционного движения, они все друг друга оговаривали, обвиняли в провокации, действительно полубанда... Чёрный обвинил Богрова в растрате партийных денег, двух тысяч, смешно, он легко мог столько получить от отца. А потом Богрову стали приписывать и предательства Бегемота, а Бегемота убили в Женеве – и тоже не оправдаешься. Да даже если б он хотел предавать – начинающий рядовой анархист, как бы он мог так всеобъемлюще предать – и весь Юг? и Юго-Запад? провалить и Север? и Прибалтийский край? Но оправдал же его товарищеский суд анархистов! А после этого в Киеве и вообще анархической работы не было – и провалов не было.

Адалия не бывала каторжанкой, не была сама революционеркой, но кто же в России не интересуется конспирацией? Вся интеллигенция считает долгом чести знать правила конспирации:

– По правилам освобождённый из тюрьмы должен тотчас исчезнуть с места освобождения. А почему Богров остался?

– Да именно чтобы получить реабилитацию от товарищей из тюрьмы, это его мучало.

– А не потому, что был уверен в своей безопасности? А за ним, конечно, следят, и каждой встречей он кладёт на кого-то петлю? Нет, правила есть правила! Потом и Петербург. Ведь Богров поехал с рекомендательным письмом к фон-Коттену?

– Боже, это ещё кто такой? – отчаялась Вероника. Только-только она начала что-то понимать.

– Тогдашний начальник петербургского охранного отделения, девочка. После того как убили Карпова.

– Ну, это уже полный миф! Почему ж ни одна ревизия этого письма не открывала?

– Да Неса, не могут они таких вещей публиковать! Что ж им, перестать **быть**? А если Богров не был связан с петербургским отделением – как бы он осмелился сослаться на него после убийства Столыпина? Ведь он же понимал, что пошлют проверку, и действительно запрашивали о Кальмановиче, о Лазареве, – а о самом Богрове фон-Коттена даже и не спросили? Почему?

– Вот, представь себе, бюрократические чудеса! Охранные отделения в себе замкнуты и не любят делиться добычей. Между ними – соперничество.

– Нет, – твёрдым жемочком скруглила неуговорные губы тётя Адалия. – Нет. Твёрдо знали, что именно всё так, нечего и проверять.

– Да пойми, фон-Коттен выскочил в записке Богрова внезапно для самого Кулябки. Пока Кулябко пошёл к обеденному столу, вернулись со Спиридовичем, – а тут уже вписан фон-Коттен. Пришлось игру принять. А что, собственно, потом ревизиям подтвердил фон-Коттен? Что Богров никаких услуг не оказал и вскоре уехал за границу, вот ценный сотрудник!

– Так фон-Коттен вообще какой-то растяпа. Накануне убийства его запрашивают о

Лазареве – и он не поворачивается ответить, что того в Петербурге нет, ему заменили ссылку в Сибирь на границу, он в Швейцарии – потому ни с каким “Николаем Яковлевичем” готовить акта не может.

Уже сколько имён пропустив, о Николае Яковлевиче всё же Вероника успела спросить.

– О, девочка, это самое гениальное изобретение Богрова!

– И так фон-Коттен мог в последний день разоблачить всю хитрость! И как же Богров рискнул так дерзко соврать?

– Сошло? Значит мог, рассчитал. Победителей не судят.

– Хорошо. А ты не допускаешь, что анархисты послали Богрова убить Столыпина в искупление своей вины? Как посланы были Воскресенский? Дегаев?

– Как можно сравнивать? Воскресенский пришёл с повинной и сам попросил послать на искупление. А Дегаева после раскаяния через силу послали убить Судейкина, чтобы достичь взаимостреления двух достойных тварей. Что ж тут общего?

Адалия – тонкие губы жемочком:

– Но Бурцев остаётся почти уверен, что Богров – провокатор.

– *Почти* ! Но и Бурцев не провидец. Богров органически не мог пойти ни на что подлое. Его средства к цели в моральном отношении не хуже всяких других. Его ложь и притворство – праведны! Я не вижу за ним никакого антиморального поступка. Ну разве что он не совсем осторожно использовал имена Кальмановича и Лазарева, мол, всё равно известны. Но реально он им не повредил.

– Нет, ну как же, нет, ну как же! – Адалия всё же ясно видела. – Если он у Кулябки никогда не служил, – как же он мог для акта рискнуть пойти в охранку? Какая же надежда, что его фантастической небылице поверят?

Тётя Агнесса в облаке новой папиросы помолодела, вспоминая и свою боевую юность:

– Конечно, риск! Отчаянный риск! Потому и герой! Конечно, в его построении были дефекты, без этого невозможно, но смелость города берёт! И взяла!!! У него правильный был расчёт – на своё завораживающее обаяние. Это у него было! И смешно, не смешно – ему поверили все, до старой собаки Курлова. Богров подкупил их своим рассчитанным поведением и всех заставил клонуть на блеск успеха и наград.

– Но это же невероятно даже для полицейских дураков! Если никогда не сотрудничал или уже полтора года не сотрудничал – откуда доверие к такому доносителю?

– Так именно! Он сумел очаровать! Он явился не с грубым готовым планом – он явился как бы в сомнении, в беспомощности, за советом – против своих бывших товарищей. Да Кулябко и не поверил бы так своему постоянному унылому сотруднику, как этому внезапному блистательному добровольцу! Потому-то и особенно поверили, что пришёл достойный революционер!

– Ну, ты скажешь! – тётя Адалия всплеснула ладонями совсем по-простонародному или по-домашнему, она не выдерживала стиля спора, как тётя Агнесса. – Ты приписываешь Кулябке свои оценки. Для тебя – достойный. А для него – враг. И неизвестный. И почему ему верить? Да ведь ещё на каждом шагу противоречия в версии: “Николай Яковлевич”, мол, появился в конце июля, – а Богров приходит в охранку только в конце августа, – зачем же он месяц тянул?

– А будто бы: хотел прийти с полными руками, набрать ещё сведений. Это простой сотрудник может и должен являться с каждой мелочью. А новичку надо сразу принести много ценного, иначе не поверят.

– Но если он взялся так сильно содействовать “Николаю Яковлевичу”, – почему ж он так мало сведений получил от него?

– А тот – опытный террорист. Правдоподобно.

– Но со сведениями, опоздавшими на месяц, почему ж он всё-таки приходит 26 августа, а не ждёт дальше?

– Потому что – подкатили торжества и уже нельзя откладывать. Подкатила опасность высочайшим особам – и юноша встревожен. Это покоряет.

– Но если этот юноша новичок, как он сразу догадался обратиться к начальнику филёров?

– Находчивость.

– А тот сразу поверил первому встречному с улицы, и Кулябко зовёт его даже не в охранное отделение, а к себе домой?

– Где застигнут. Исключительное сообщение.

– Но сразу после этого – как же Кулябко не устанавливает наблюдения за этим добровольцем?

– Чтоб не скомпрометировать в глазах революционеров, верно! Чтоб через него раскрывалось дальше.

– Ну, это уже три Жюль Верна и пять Уэллсов!

– А меня поражает, Даля, насколько у тебя нет революционного чутья! Как ты не отличаешь подделку от истины!

– Ну, ты просто построила себе образ, тебе просто хочется, чтоб он был абсолютно честный.

– Я не говорю – абсолютно. Как и всякий революционер – в каком аспекте брать. Но революционер имеет право на незапятнанное имя.

– Так и я не говорю, что он охранник на сто процентов.

Агнесса, устав от пробегов, стояла спиной к кафельной печной стенке, одымленная, будто это валило из печи, через щели:

– Мы должны оценивать не Богрова, а сам акт 1 сентября. Когда вокруг – общественная апатия... отошли яркие годы... развал революции... бессилие революционных партий... нестерпимая упадочная моральная атмосфера... миазмы предательства и провокации... И направить дуло на того, кто этого всего добился? Человеку со звенящей революционной душой – неужели закрыты все виды действия? Можно, но только исключительно в одиночку! С любым ЦК свяжешься – провалишься, а один – можешь победить. Своим собственным одиночным ударом ты можешь разрядить эту гнусную атмосферу, спасти целую страну! Но за то же ты и обречён – на незнание, на непонимание, на оболгание, – за смелость пойти в бой одному, безо всяких партий. Вероника! Неужели ты не понимаешь красоты и силы такого подвига?

Вероника сидела на низкой мягкой скамеечке в углу. Она всё более честно и внимательно следила за этим спором, за этими бессвязными обрывками доводов, которые ей не могли разъяснять по скорости. Но несомненны вырывались сильные чувства сестёр – вовсе не нафталиновый сундук, как думали они с Ликоней. Тёти спорили так, как будто крыша над ними сейчас могла от того обвалиться. И Вероника вдруг так увидела, что может и правда они с подругами были ущербны и какая-то большая жизнь прошла мимо них. Геройство – для всех поколений и для всех народов – всегда геройство. А герой одинокий, затаённый, никому не доверенный, без этих партий, склок, голосований, кооптаций, резолюций, – дерзкий одиночка, копьём на Левиафана – какое сердце не тронет? Может быть действительно они с Ликоней не видели чего-то главного?

Агнесса увидела по лицу, что Веронику – разбирает, что, может быть, вот она и завоёвывается. Агнесса откинулась лопатками к белому кафелю и в возносимых клубах дыма увидела восхищённо:

– И за этот удар – ему вечная память! Мы не смеем быть неблагодарны: он поднялся на эшафот, он умер гигантски! Мы разбрасываемся людьми, а людей в России всегда недостаёт. Человек пошёл на величайший подвиг, а мы спешим зашлёпать его, только из-за того, что ни одна партия не приписала его подвига себе. Богров крупно врезался в современную историю. В будущей свободной России Богрову вернут его честное имя. Он станет – из любимых народных героев, ему поднимутся памятники на русских площадях. Реакция в России уже торжествовала полную победу! Всё казалось подавлено на тысячу лет. А тут им высунулся чёрный браунинг – и...

ИЗ УЗЛОВ ПРЕДЫДУЩИХ

**Сентябрь 1911**

**Июнь 1907**

**Июль 1906**

Октябрь 1905

**Январь 1905**

Осень 1904

Лето 1903

**1901**

**1899**

**63**

Он родился в день, когда умер Пушкин. День в день, но ровно через 50 лет, через поворот века, на другом конце диаметра. И – в Киеве.

Его прадед по отцу и дед по матери были винными откупщиками. Дед по отцу тоже долго служил по питейному промыслу, но оказался способный литератор, “Записки еврея” Богрова, напечатанные Некрасовым, сочувственно читались в 70-х годах, а с еврейской стороны вызвали нападки за выставление неприглядных сторон быта. К старости дед крестился ради женитьбы на православной, покинул первую семью и умер в глухой русской деревне ещё до рождения внука. Сын от первого брака, Герш Богров, оставался в иудейской вере, по материнской линии получил наследство, был влиятельный присяжный поверенный с миллионным состоянием (мог одновременно пожертвовать на больницу 85 тысяч), владелец многоэтажного доходного дома на Бибикивском бульваре, второго от угла Крещатика. Он был из видных коренных членов киевского Дворянского клуба, председатель старшин клуба “Конкордия”, известен как чрезвычайно счастливый игрок, в его доме за карточным столом сходились знатные киевляне. Семья бывала часто за границей, жили по-барски, у каждого из двух мальчиков была своя фройляйн, учили языки. Младшего, едва подрос, и до последнего дня, прислуга звала “барин”, и для удобства жизни имел он к своим комнатам парадный вход, отдельный от родителей. Посетителей к нему вводила горничная.

Без труда он был принят в 1-ю киевскую гимназию, тут же, через несколько домов. Как и все гимназисты того времени, он жадно вживался в либеральные и революционные учения. Постоянное сочувствие к революции и ненависть к реакции густелись в нём, как и во всей русской учащейся молодёжи. Гимназистом 5-го класса Богров уже посещает кружки самообразования, читает литературу и агитирует сам – булочников, каретников. Он очень рано определяет своё презрение к нерешительным социал-демократам, сочувствует эксам и террористическим актам. Переменяясь, он отдаёт свои симпатии то эсерам, то максималистам, то анархистам. В споре с отцом, предпочитающим эволюционное развитие, мальчик до слез отчаяния отстаивает путь не только революционного изменения строя, но

полного уничтожения основ государственного порядка. При одной из поездок с родителями на европейский курорт юный Богров на границе обыскан полицией – и так родителям явлен вокруг сыновьей головы почётный ореол неблагонадёжности.

Весною не какого-нибудь, но 1905 года он кончает с отличием гимназию, той же осенью поступает в Киевский университет. Но по начавшемуся революционному времени родители отвозят его вместе со старшим братом в университет Мюнхенский. Он долго потом не может простить себе, что поддался этому отъезду: в Киеве его сверстники митинговали на Крещатике, свергали с думского балкона царскую корону, прокалывали царские портреты, стреляли, – братьев Богровых держали в безопасности в Мюнхене. Тут вслед за Манифестом 17 октября произошёл в Киеве еврейский погром – и весть о погроме властно звала младшего Богрова назад: “не могу оставаться сложа руки за границей, когда в России убивают людей!” Но родители не дают ему отдельного паспорта, хотя ему и девятнадцатый год.

В Мюнхене он обильно изучает революционную литературу – и отвергает избранный им анархизм-индивидуализм за то, что тот прославляет личность как таковую и ведёт к буржуазному идеалу. Он читает Кропоткина, Реклю, Бакунина – и переходит к анархо-коммунизму. Это учение – враг государства, собственности, церкви, общественной морали, традиций и обычаев: каждый член общества может и без того рассчитывать на такое количество благ, которые ему потребны, – ведь человек по природе не корыстен и не ленив, и никто не будет уклоняться от работы, ведь в людях глубже стремление ко взаимопомощи, чем к обособлению.

Но его всё время мучит, что он ушёл от напряжённой борьбы тяжёлого времени – и в конце 1906 он возвращается в Киев.

Рос и зрел дисциплинированный ум и характер со способностью к систематическим действиям. Среди черт его проявились постоянная сосредоточенность, внимательность, осторожность, даже напряжённость. Отметной особенностью его было – никогда ни с кем не соглашаться, всегда иметь своё мнение. На массовке в Дарницком лесу его описывают: отстранённым, нелюдимым, необщительным, в выступлении – отчётливо-отрубистым. По замкнутости натуры он и действительно нуждался часто в уединении, отстояться самому с собой, предпочитал отношения деловые, друзей отталкивал иронией, насмешкой, холодностью. Насмешка так и струилась из его острых глаз, оттопыренных губ, ему стоило усилия выразиться не колко. Но иногда он находил силы побыть в компании с запасом фраз на случай и даже с короткой репутацией “весёлого малого, хохмача”.

Взгляд его, теперь всегда за пенсне в металлической или черепаховой оправе, был вдумчив, со смесью печали и иронии. Наружность никак не была революционной, напротив – в узких рейтузах, при свежем воротничке и чёрном галстуке, он выглядел типичным белоподкладочником. Одет был чаще всего элегантно, и манеры таковы. Он был высоковат, всегда худ, бледен, или с нездоровым румянцем, неестественно молодожав – к двадцати годам никакой растительности на лице. Всегда он казался истощён, переутомлён, недоумён и невесел. И голос его был надтреснут с вибрирующими нотками, как у лёгочных больных. Когда же Богров улыбался – улыбка как бы механически добавлялась к его лицу, а черты не пропитывались ею. Телесной силы совсем не было в нём, как он ни нагонял её гимнастическими приспособлениями в своей богатой квартире.

Филёры дали ему кличку “Лапкин” – метко, и по наружности и по манере действовать.

Ему немало и рано выпало светской жизни, киевских клубов, театров, бегов, скачек, заграничных курортов. Он играл на тотализаторе, в карты, в рулетку, отдавался азарту, ценил его. Отец не слишком стеснял сына в денежных выдачах.

Богров никак не считал такую жизнь своим идеалом, но и не мог отказаться её вести. Изнеженное тело его привыкло к благам и даже на самый короткий срок отвращалось от сурового испытания. Вот это своё охотное приспособление к удобствам! он считал своей слабостью, развращённостью. Для того чтоб этими удобствами пользоваться без зазрения, надо иметь другую скрытую осмысленную жизнь. Такою жизнью могла быть только жизнь революционера. Так как и внутренние стремления и общественная температура втягивали

молодого Богрова туда же – он и делал шаги ознакомления в революционной среде.

Одно время в университет он ходил с браунингом в кармане – потому что ненавидел насилие и обязан был с ним бороться во всякий внезапно возникающий момент. Браунинг из кармана взывал к свободе. Но к возне студенческих организаций Богров относился пренебрежительно: в университет ходят экзаменоваться, а выступать на простой студенческой сходке уважающий себя конспиратор не станет.

Выбор правильной партии – решающий выбор жизни. Богров ещё снова колебнулся к решительной партии максималистов – и опять снова к анархистам. В 1907 году среди анархистов, достигших и не достигших 20 лет, – Наума Тыша, братьев Городецких, Саула Ашкинази, Янкеля Штейнера, Розы 1-й Михельсон, Розы 2-й – Богров уже слыл умелым и смелым боевиком, хотя сам ещё ни разу не участвовал ни в одном эксе, ни в одном акте, ни в одном прямом нападении, лишь смело отбивался при разгоне литературно-драматического общества да пропагандировал среди арсенальских рабочих. Но товарищи ценили Богрова за остроту суждений, верность мнений и хладнокровие в прятании и пересылках оружия. В его руках были партийные деньги, он финансировал расходы по устройству лаборатории взрывчатых веществ, покупку оружия и транспортировку его дальше по Югу, но даже и в Тамбов и Борисоглебск. Правда, некоторые, как Леонид Таратута, Иуда Гроссман, Дубинский, недолго любили Богрова за его богатое положение, для всех его кличка была “Митька-буржуй”, однако он стал утверждённый герой, особенно для девушек – Ханы Будянской, Ксеньи Терновец, которые, вне партийной деятельности, им бы не восхищались. Среди киевских анархистов положение его стало так значительно, что когда Бурцев при побеге из Сибири пробыл пять дней в Киеве, – единственный анархист, который знал его укрытие и встречался с ним, был Богров.

И многих своих товарищей он превосходил теоретическими суждениями. Он указывал, что для обширных массовых движений и общественных переворотов нужна настолько организованная партийная деятельность, какой у них не было и быть не могло – при возмутительно плохой конспирации и недержании речи, – небрежности конспирации выводили его из себя. А что всегда было легко применить и давало яркие результаты – это террор. Всякий акт революционного террора достаточно мотивируется всем укладом буржуазной жизни, важно только понять классовую целесообразность в данный момент. Неправильным он считал направлять террор против крупной буржуазии, а правильным – против чинов самодержавия, причём не стрелочников убивать, а – самых главных, то есть террор центральный. В ответ на стеснения евреев и разные киевские эпизоды с ними, после разгона вот уже Второй Думы, – Богров не раз и не одному высказывал, что надо переходить к государственному террору, предлагал убрать начальника охранного отделения, жандармского управления и командующего Киевским Военным округом Сухомлинова. В том году он высказывал намерение и сам лично убить кого-нибудь из высокопоставленных. Позже этот мотив погас у него, не слышали.

Разные группы российских анархистов выражали свои буйные убеждения в трёх эмигрантских журналах: “Анархист”, “Бунтарь” и “Буревестник”. В одном из них как-то напечатал теоретическую статью и Богров. В ней он осуждал *экономический террор* : убийство заводских мастеров не наиболее разрушающе действует на современный строй, а иногда может и оттолкнуть рабочих от анархизма. Осуждал и профсоюзы: борьба за лучшие условия продажи рабочей силы никак не является частью революционно-насильственной борьбы рабочего класса. Но: первый вопрос практики революционной работы – отношение к экспроприациям. Дело в том, что у вожаков анархистов развился дух компромисса к тому, чтобы деньги, добытые эксами, распределять на личные нужды самих анархистов. Но такая экспроприация не имеет решающего революционного значения, ибо деньги переходят как бы от одного собственника к другому. И киевская группа анархистов, уверял Богров, отказалась от личного дележа добытых денег.

Уж если б она совсем отказалась или давно отказалась, то негде было бы Богрову эту делёжку наблюдать. Но всё более смущало его кипение анархистского дележа. В письмах и



разговорах того времени Богров решался даже высказывать отвращение к этой корысти. Отвечали братья-анархисты: “тебе, буржуй, хорошо говорить, тебе папаша даёт!” – и он тупился. Так легло принципиальное раздражение между ними. Среди революционеров всегда полагалось говорить только об угнетённом пролетариате, как будто слои достаточные, самодостаточные, просвещённые не достойны были ни защиты, ни свободной лучшей жизни.

Даже начинало казаться Богрову, что все эти революционные партии и группы больше сходственны, чем различны, так что не столь и важно, какую изберешь. А хоть и никакую. Никакой член партии ничего крупного совершить не может, и только свободная талантливая личность.

Отец посмеивался: он увлажал своего умного сына и вовсе не сомневался, что тот очнётся. А лёгкое касание к революции и большие симпатии к ней – обязательны для всякого порядочного человека в России.

А тут как раз и вся революция по всей стране – опала, распласталась, показав свою неготовность и ничтожество. В 1907 в ответ на разгон Думы не вспыхнула полоса военных мятежей, ни забастовок, как годом раньше. Свалило, сдуло все знамёна, крики и взрывы революции. Такую уже почти взятую игру – и проиграли бездарно! У революции не оказалось верных сил, а у самодержавия – оказались.

Да с этим сбродом, какой повидал Богров, мудрено было бы победить. Никаких революционных железных рядов из них не составить. А даже и победить с ними вместе страшно: эта рвань ничего и не жаждала, кроме грабежа и дележа. После победы они выступили бы разрушителями свободной и независимой жизни.

Теперь испытывал Богров физически брезгливое чувство, как очиститься от этой швали, как отрясти с себя связи подполья и вернуться в свою преимущественную устойчивую жизнь. Вернуться не для счастливого прозябания, но хотя бы иметь досуг и простор обдумать унизительное поражение. Круг и слой Богрова, развитое общество, – он-то и понёс поражение, у него-то и вырвали уже взятую свободу.

Однако отрясти прежние связи было и не так просто: все эти братья-анархисты и сестры-анархистки – Эндель Шмельте или Ровка Бергер, Шейна Гутнер или Берта Скловская, вцепились в Богрова и держались. В наступающее строгое время они своим неумелым копошеньем и несдержанной болтовнёй могли и должны были его погубить, а все вместе не были способны ни на что действенное. По простым санитарным мотивам была бы достойна эта грязная публика стереться с киевских улиц. Процесс ухода от них неизбежно должен был стать мероприятием активно-санитарным. В том и досада была, что Богров измазался ни за что, ничего не совершив, – а из-за этого не мог теперь двигаться дальше, уже под подозрением, уже на дурном счету у охранки.

Он хотел уйти от партии – а не от революционного действия. Он больше – или пока – не нуждался ни в партии, ни в организации, и даже не знал таких отдельных людей, с кем хотелось бы поделиться замыслом или сотрудничать. Одинокий и хрупкий, он нуждался сам изжить горечь, искать, и искать какой-то путь – переиграть проигранное, он не мог примириться с разгромом.

Но на всяком пути действия ему противостояла и перегораживала – Охранка.

Надо было снять её пристальность к себе, если такая где-то таится. Но не благонамеренным же тягучим замиранием. А – самому, наоборот, пойти, проникать её и понять. Врага надо знать. Познакомиться с этим львом, пощекотать ему усы? Снова острая игра, этап игры. Того стоит.

И даже не противоречит его недавнему. У анархистов нет партийной дисциплины, учение анархистов допускает каждого члена выбирать линию поведения по собственному усмотрению.

А узнав врага, можно будет лучше понять, как его обвести. Кое-какие методы и тонкости работы охранки хорошо освещались в легальном журнале “Былое”. Остальное надо было доузнать собственным опытом.

Если действовать – даже никакого другого решения и найти было невозможно.

Всего полгода – от своего приезда из Мюнхена – провёл Богров в кипении киевского анархизма – и уже пришёл к такому решению. И он – явился в киевское Охранное отделение и предложил услуги сотрудника – тайного осведомителя. Добровольная явка студента, да ещё из такой почтенной семьи, да ещё такого подавляющего ума – редкий случай, чрезвычайно обрадовавший начальника секретной агентуры Охранного отделения ротмистра Кулябку. (Богрову не трудно было предварительно собрать сведения, что Кулябко – не алмаз охранного дела, неудачно служил в московской полиции, уволен, здесь был писцом, но поднят протекцией своего шурина, тоже поднявшегося).

Однако приятной беседой и улыбками такое знакомство не могло ограничиться, – совершенно ясно, что предстояло называть – лица, события, планы. Богров обдумал тактику и ранее – а смотря на глупо-хлопотливое лицо Кулябки и вовсе уверился в своём обеспеченном превосходстве. Кулябко был выдающийся баран, до поразительности ни о чём не осведомлён, рад каждому второстепенному сведению и не могущий различить ценности его. (А Богров ещё так недавно предлагал применять к этому дураку террор!) При такой ситуации не было и нужды производить крупные выдачи. Можно было дурить: придавать вид агентурных сведений некоторым результатам уже происшедших провалов. Можно было в увлекательной форме представлять сведения безразличного характера или хотя бы партийную дискуссию. Или указывать явные преступные деяния – но без лиц. Или известных лиц, но без преступных деяний. Ощущая десятикратное превосходство ума, всё это Богров разыгрывал без труда – и суетливый глупый жадный Кулябко сиял от его осведомлённости, Богров казался ему светочем, ни с кем подобным он не работал. Разумеется, приходилось давать и более существенный улов – но можно было и пожертвовать кем-то из этой скотины, только грязнившей революционное знамя: чей-то адрес, или по какому подложному документу живёт, чью-то линию переписки, не самой важной; или пункт передачи журнала “Буревестник”; или свинячую группу борисоглебских максималистов; и группу анархистов-индивидуалистов (может быть немного увлёкся, не надо было); или предупредить экспроприацию в Политехническом институте (всё равно делили бы деньги между собой). То – разъяснил трудное дело Юлии Мержеевской, нервической и даже сумасшедшей девицы, лишь по случайности не успевшей в Севастополе убить царя (опоздала на поезд), но затем болтавшей о своём покушении вслух и всё равно обречённой. Богров вошёл в её доверие, брал её конспиративные письма и носил в охранку. (После этого уже не было границ кулябкинского доверия). Но при провале группы Сандомирского Богров владел самыми серьезными документами – и не выдал их.

Для правдоподобия пришлось и самому испытать дома обыск, огорчив родителей, затем, до конца 1907 года, на время самых интенсивных арестов, уезжать в Баку. Воротясь – тем спокойнее продолжать свои еженедельные визиты в охранку.

Хладнокровному, проницательному, внимательному юноше всё это доставляло забавный наблюдательный материал – ограниченность этих чиновников, неукрытые личные мотивы их, слабость методов, слепота, – невероятно, на чём вообще эта Охранка держалась и существовала ли она в самом деле в России. По сути, только то существенное и знали они, что могли им принести секретные осведомители. Кулябку Богров рассматривал только юмористически. Обманув стольких недоверчивых революционных друзей – этого-то селезня ничего не составляло дурить.

Разумеется, для правдоподобия Богров жаловался, что отец скуп, трудно бывает расплачиваться с картёжными проигрышами, – и получал от охранки в месяц когда 150 рублей, когда 100, смеясь, как легко они полагают покупать верность.

Когда в 1908 году Богров предложил друзьям-анархистам так построить анархическую работу в России, чтобы в Киеве сохранялись только конспиративный центр и лаборатории, а террористические выступления перенести на остальную страну, – то кроме несомненной тактической разумности он не без насмешки думал, что и им с Кулябкой так будет покойнее.

Ещё, повышенно интересуясь побегами из тюрем и помогая эти побеги устроить, Богров провалил два важных – Эдгара Хорна и группы Наума Тыша, своих товарищей из

Лукьяновки. При этом, чтобы пригасить подозрения, он должен был арестоваться и сам – и осенью 1908 арестован. (Как предуказанием судьбы: у здания оперного театра и в сентябрьскую ночь!)

Свой арест Богров сам же и предложил Кулябке, но в решительный момент дрогнул: его изнеженность протестовала окунуться в душную общую Лукьяновку, он телесно испугался тюрьмы – и Кулябко устроил ему сидение при полицейском участке: приличную комнату с казённой обстановкой. Однако и в этой льготе Богрову невыносимо было оставаться пленным – и он метнулся к опрометчивому решению: освободиться уже через 15 дней.

Такое скорое освобождение вызвало, конечно, подозрения к нему и даже слухи о провокаторстве. Богров объяснял хлопотами влиятельного отца (хлопоты и были честно произведены, и даже киевский губернатор участвовал в них). Но тут в Женеве расправились с Борисом Лондонским (он же Бегемот, он же Карл Иванович Йост) – провокатором безусловным, провалившим и всю мощную южную Интернациональную Боевую Группу анархистов-коммунистов и звезду анархизма Таратугу и загнавшим в тупик самоубийства одного из Гроссманов, – и теперь на казнённого упали и другие подозрения, а Богров обелялся.

Особенно поразило, что убийство произошло в вольной голубоватой Женеве. Даже в тех прекрасных западных городах и на лазурных курортах, ни в Мюнхенском университете значит, не оставалось покойного житья, если ты заподозрен товарищами. А Богров после освобождения, взяв заграничный паспорт, как раз и ехал полечиться в Меране, пожить в Лейпциге, Париже, а заодно и посетить заграничные анархистские центры. (Иногда и охранка оплачивала ему такие поездки, он из них привозил Кулябке что-нибудь свеженькое, забавное. А службисты все друг с другом повязаны, и вот Богров по частному поручению Кулябки посещает в Ницце помещика Бутовича с предложением добровольно уступить жену – генералу Сухомлинову, так и не убитому, да видно, что и убивать нечего). Но как ни чисто работал – подозрения против него длились, тянулись, слухи повторялись. Нельзя было дать им ходить. Богров возвратился в Киев и в конце 1908 добился своего оправдания от товарищеского суда анархистов в Лукьяновской тюрьме. С этой реабилитацией он в начале 1909 снова поехал в Париж и просил опубликовать её в эмигрантской печати. Центровые анархисты отговорили его, это было бы только раздуванием сплетен вокруг его честного имени.

Теперь, когда большинство товарищей пошли по тюрьмам и каторгам, Богров стал фигурой, одним из немногих старых работников, уцелевших после разгрома, а с устойчивыми заграничными связями – и единственный в Киеве, так что мог быть уверен: если где по России анархисты что захотят предпринять – они будут списываться с Богровым.

Но честолюбие никогда не было настойчивым чувством его. А эта ответственность была ему лишняя, а острота этой двойственности была куда больше, чем испытаеть на тотализаторе или на рулетке. Он пробирался в полной одиночной тайне (ни отцу, ни брату этого нельзя было говорить, а любимой женщины у него не бывало) – и только мог художественно полюбоваться сам, как это удалось: проползти бесшумно, невидимо, между революцией и полицией, разыскать там щель и точно в неё уложиться. Никто больше в России не догадался так!

И вдруг – в том же январе Девятого года, когда Богров добивался печатать свою реабилитацию, в той же самой эмигрантской печати, а через несколько дней и в российской – он прочёл об Азефе. Это остро ранило его двояко: не только он оказался не один такой оригинальный, умный и изворотливый, но вот – и покрупней его, но вот он видел и публичное раскрытие: как такое двойничество кончается. По всем газетам он следил за каждой подробностью, даже приходил в одну киевскую редакцию уточнить расспросом. Как разбивается толстое стекло, со змеистыми трещинами во много сторон, – так от провала Азефа нельзя было сосчитать и исследить все выводы. Многократно увеличатся подозрения революционеров. Увеличится недоверие охранки. Если не один такой Богров в России, то и

не двое их с Азефом, их могло быть много, как в отражательных зеркалах, и те, с кем беспечно он играл, могли на самом деле играть с ним. И оказывалось у него совсем не просторно, не так много времени, как он считал.

А он – ещё ведь и шагу не сделал по пути своего большого замысла. Он и по сегодня – вот четвёртый год – не отомстил за киевский еврейский погром октября Пятого года, от которого дал себя увезти – в 18 полных лет увезти, по сути бежал.

И как ища опоры оправдания, он в ту зиму в Париже без надобности нарушил свою глубочайшую конспирацию, высказал редактору “Анархиста” свою непокинутую, вынашиваемую и даже всё более определённую идею центрального террора. Наша задача – устранять врагов свободы, внести смуту и страх в правящие сферы, довести их до сознания невозможности сохранять самодержавный строй, да. Но для этого надо убивать не губернаторов, не адмиралов, не командующих войсками: убить надо или самого Николая II или Столыпина.

А слова, высказанные нами вслух и с которыми люди связали нас, – уже как объективный факт обратно входят в наши убеждения, укрепляя их.

И теоретически легко рассчитать, что именно так: повернуть течение огромной страны может только центральный террор, конечно же не губернский. А в Столыпине – и издали было видно – собралась вся неожиданная сила государства, о которой два года назад нельзя было и предположить, что она возродится. И властный руководитель этой дикой реакции – именно Столыпин, самый опасный и вредный человек в России (о нём много и недоброжелательно говорилось в кругу отца). Кто сломал хребет революции, если не Столыпин? Режиму внезапно повезло на талантливого человека. Он неизгладимо меняет Россию – но не в европейском направлении, это видимость, он оздоравливает средневековый самодержавный хребет, чтоб ему стоять и стоять, – и никакое подлинное освободительное движение не сможет разлиться. Умён, силён, настойчив, твёрд на своём – так он и есть несомненная мишень для террора.

Как будто Столыпин не предпринимал никаких мер против евреев? Но он создавал общую депрессивную обстановку. Именно со столыпинского времени и с его Третьей законопослушной думы евреев стало охватывать настроение уныния и отчаяния, что в России невозможно добиться нормального человеческого существования. Столыпин ничего не сделал прямо против евреев и даже провёл некоторые помягчения, но всё это – не от сердца. Врага евреев надо уметь рассмотреть глубже, чем на поверхности. Он слишком назойливо, открыто, вызывающе выставляет русские национальные интересы, русское представительство в Думе, русское государство. Он строит не всеобщее-свободную страну, но – национальную монархию. Так еврейское будущее в России зависит не от дружественной воли, столыпинское развитие не обещает расцвета евреям.

Богров мог идти в революцию или не идти, перебивать у максималистов, или анархистов-коммунистов, или вовсе ни у кого, как угодно менять партийные убеждения, и сам меняться, – но одно было ему несомненно: невероятно талантливому народу должны быть добыты в этой стране все полные возможности развития нестесняемого.

Однако само жизненное сопротивление не дает нам успевать за нашими замыслами. Подходит и время кончать университет – ради российского диплома. Может быть, это и лучше – как можно меньше встречаться с уцелевшими анархистами, остужать прежние связи, – а Кулябке всегда можно наворотить любую пустую ерунду. Если кто посторонний, но развитой, спрашивал о политике, Богров отвечал: “перестала интересоваться”. Зато часто видели его, безукоризненно светского юношу, в клубах Коммерческом, Домовладельческом, Охотничьем за карточными столами.

Но всё это мало радует двадцатидвухлетнего. Он заключает, что в конце концов жизнь – это унылая обязанность съесть бесчисленный ряд котлет, и только. А глубже всего, вероятно, его разочарование от того, что он не встречает женской любви. Этим веет и его портрет – чистюли с растопыренными губами. А в разговорах и письмах он роняет о личных неприятностях, которые доводят его до бешенства. (Не утихают подозрения против него). И

как всегда в таком положении более всего опостылевшим кажется нам само место – вот Киев, который, однако, нельзя покинуть из-за цепи экзаменов, затем и эта неудобная страна, затем и своя безудачная жизнь. Лучше бы всего – прокатиться опять за границу, на Ривьеру, но – связанные руки, экзамены, экзамены.

Наконец, в январе 1910 он оканчивает университет “беспольным членом адвокатского сословия”. Как еврей, он не может стать сразу присяжным поверенным. Отец предлагает ему крупную сумму открыть коммерческое дело – он отказывается. Но канцелярия губернатора даёт подтверждение о его политической благонадёжности – и Богров приписывается помощником киевского присяжного поверенного Гольденвейзера, друга отца. Однако работа не нравится ему, и хочется поскорее куда-нибудь уехать из Киева (гнетут подозрения революционных товарищей, и Кулябко тоже советует ему уехать). Но – куда? Где в этой унылой стране можно приткнуться? Не в какой же нибудь губернской дыре Европейской России, так и слепленной из болот и невежества, – разве вот в интеллектуальном свобододобивом ссыльном Иркутске? Теперь, с университетским дипломом, он имел повсеместное право жительства, чего прежде не было, ибо принципиально он, как и отец, не хотел креститься для получения льгот, и в документах по-прежнему стояло: Мордко.

Да и ещё ж одни оковы: воинская повинность. Даже окончившие универсанты ещё должны отслуживать в их армии. К счастью, вот и бумажка освобождения (уж чисто ли от врача или опять отцовской помощью): этот юноша не может служить в армии по глазам, он не способен *прицелиться и выстрелить* .

В последние его университетские месяцы прогремел из Петербурга взрыв на Астраханской и открыл, посмертно, ещё одного двойника – Петрова-Воскресенского. Так сколько же нас таких? Каждый открывался публичности при вспышке своей гибели и на разной протяжённости их головоломного пути, в разных позах – скрюченного или поднебесного вызова, могла осветить их эта последняя вспышка.

Вся история Петрова-Воскресенского так и не открылась полностью, но сколько можно было понять – Петров возвысил уровень изобретательности террора на ступень по сравнению с прежними боевиками: он вёл сложную личную одиночную игру между эсерами и охранкой, сам обмысливал ходы, сам разыгрывал их, стал необходим охранке – и заводил невод взорвать сразу кучу крупнейших чинов полиции, вместе с Курловым, заместителем министра, – но по случайности взорвался только Карпов один.

Пример Петрова был поучителен: как не надо отдавать себя по глупому заданию подпольной банды. Не к такому готовил себя Богров. Он чувствовал в себе накопленное сосредоточение – пойти на поединок с целым государством – и ударить в центр его. Теперь, освобождённый и от университета, и от армии, – теперь он кинулся из Киева без сожаления вон – и конечно не в Иркутск, а в Петербург. Там будет всё видней.

Петербург – не центр свободомыслия, зато там положение адвоката-еврея благополучнее, чем в любом другом городе. Там жил и брат Лев, тоже помощник присяжного поверенного, по нынешним временам вся семья Богровых шла в адвокаты. Известный присяжный поверенный Кальманович по связям охотно взял к себе Богрова помощником. Правда, адвокатский приём не успел сложиться и заработка не дал, но по другим связям устроили Богрова ещё и в общество по борьбе с фальсификацией продуктов питания. Стал Богров и в Петербурге завсегдатаем клубов.

Он как будто был и облегчён порвать с киевским охранным отделением, но и – по запаслivosti? – просил Кулябку послать о нём рекомендации новому начальнику петербургского отделения фон-Коттену, преемнику Карпова. Не сразу, но в июне он дал о себе знать – и встретился с фон-Коттеном в ресторане.

Фон-Коттен, потому ли, что так оплошно погиб его предшественник, был недоверчив, сдержан, да и умней Кулябки, да кажется и не понравился ему Богров. Но поручил новичку следить за петербургскими анархистами и предложил те же 150 рублей в месяц. На второй встрече Богров ответил, что анархистов в Петербурге нет, – ну, тогда за эсерами. Богров – зачем-то опять как будто возобновлял эту игру – хотя не знал ясной цели, и не имел

намерения серьёзно что-либо освещать и не испытал той юмористической снисходительности, как к Кулябке. Он как будто и стал сообщать нечто, с очень слабой регулярностью, – по скудости знаний у охранных отделений это даже могло походить на серьёзное осведомление? – а серьёзного не было ничего. Не могли охранку обогатить такие сведения, что у заграничных эсеров взбудораженность против Бурцева: зачем он сенсационно поспешил открыть партийную принадлежность Петрова? Самое большее вот такой эпизод: из Парижа с письмами от ЦК эсеров приехала какая-то случайная дама и должна была передать их или через Кальмановича (небольшой вред Кальмановичу, но он стоит крепко) или через Егора Лазарева в редакции на Невском, но эсеры забыли про Троицу, по празднику всё было закрыто на три дня, все в отсутствии, и пристраивать письма досталось Богрову, отчего он и мог показать их фон-Коттену, а ничего определённого или слишком интересного не было в них, потому-то Богров их и показал. Ведь он не служил, он, пожалуй, на фон-Коттене продолжал исследование охранного отделения, только теперь столичного. И впечатление было не намного уважительней, чем о киевском. Вот – и Петров тут управился хорошо.

Петров отражался, отражался в двойных зеркалах, показывая Богрову его самого, и какие возможности есть (их было, конечно, больше, чем тот разглядел).

Но – и нелегко стягивалась жертвенная воля, расслабленная буржуазным существованием, – как когда-то не собралась посидеть в Лукьяновке.

И вдруг – внезапный случай. В том же июне Богров от своего общества по борьбе с фальсификацией пришёл невзрачным агентом на городской водопровод – по контролю очистных устройств. И вдруг – лишь чуть оттесняя его, без охраны, без предосторожностей, в сопровождении инженеров шагах в десяти прошёл и даже останавливался – **Столыпин!**

Крупной фигурой, густым голосом и как он твёрдо ступал и как уверенно принимал решения – Столыпин ещё усилил то впечатление крепости, несбиваемости, здоровья, какое улавливалось и через газеты, с дальних мест всероссийского амфитеатра. Да сила и всегда была несомненна, раз один человек мог вывести такую страну из такого положения. Эманацией за десяток шагов так и потянуло на Богрова этой силой – победной и враждебной.

А браунинга, а браунинга – не было в кармане! – оставлена та привычка...

Да если б и был – не было решимости, вот так сразу – и...?

Теоретически всё было давно обосновано и ясно – но вот так сразу и...?

Эта встреча обнажила Богрову его бессилие и погрузила в мрачность. Если можно было рассчитывать на невероятность – так вот она произошла! – и миновала! – и второй уже не ждать.

Ни к чему не приблизил его Петербург...

Но Столыпин же, в своей речи об Азефе, которую Богров перечитывал со вниманием ненависти, прямодушно и подтвердил план Богрова. Что никакой серьёзный акт уже не стал успешным, если он связан с большой организацией. Столыпин среди тысяч поверхностных читателей нашёл внимательного, Богрова: что с 1906 года у ЦК эсеров сплошь провалы актов – и значит вместе с ними действовать нельзя. Покушение на Аптекаарском острове, экс в Фонарном переулке, убийство Мина, Павлова, графа Игнатьева, Лауница, Максимовского – все удались только потому, что действовали автономные группы, летучие дружины, не имеющие связи с ЦК.

Неизбежный центральный террор не мог, не мог оказаться невыполним даже и в эпоху всеобщей расслабленности! Но только – единолично!

У Богрова обострился интерес к криминалистике. Иные дни он высиживал в уголовном суде в качестве простого слушателя. Писал из Петербурга: “Я влез в миллионы разнообразных комбинаций. Когда-нибудь это будет что-нибудь в особенности, как мы говорили”.

А ходил по Петербургу тихий, вежливый, замкнутый. И даже с квартирной хозяйкой – ни слова никогда ни о чём.

Тот маловажный случай с эсеровским письмом из Парижа привёл Богрова сходить и к

Егору Лазареву. Лазарев был известный член эсеровской партии, враг режима, сторонник уничтожительного террора, но в данный момент не мог быть ни в чём уголовно обвинён и мирно работал в одной из редакций на Невском, не высылаемый даже из Петербурга.

После того первого маловажного визита Богров, волнуясь, напросился на вторую встречу с Лазаревым. Волнуясь, потому что и партия эсеров была несравненна с анархистами по террору центральному, и сам Лазарев в партии – фигура немалая. И вот ему первому и единственному решился Богров приоткрыть свой созревающий замысел. (Да как убедить, чтобы поверил?)

Явился к знаменитому эсеру полуболезненный, утомлённый безусый юноша в пенсне, с передлинёнными верхними двумя резцами, они выдвигались вперёд, когда при разговоре поднималась верхняя губа, – и голосом надтреснутым объявил:

– Я – решил убить Столыпина. У меня нет для этого подходящих товарищей, но они даже и не нужны. А я – твёрдо решил.

(Уже совсем ли твёрдо? совсем бесповоротно? Ведь ко многим отчаянным мыслям мы иногда примеряемся как бы в игру: а что, если вот сейчас выпрыгнуть из поезда?)...

Лазарев не мог скрыть улыбки:

– Да что ж это вы так сразу высоко?

– В русских условиях, – ответил Богров давно готовым, – систематическая революционная борьба с центральными правящими лицами единственно целесообразна. В России режим олицетворяется в правящих лицах. Убивать подряд каждого, кто б ни занял эти места. Не давать никому задерживаться. Тогда они уступят. Тогда мы изменим Россию.

– Но почему сразу именно Столыпин? – всё ещё насмешливо, как мальчика, спрашивал Лазарев. – Как вы взвесили: за что именно его?

О, да! это было более всего и взвешено:

– Надо ударить в самое сплетенье нервов – так, чтобы парализовать одним ударом всё государство. И – на подольше. Такой удар может быть – только по Столыпину. Он – самая зловредная фигура, центральная опора этого режима. Он выстаивает под атаками оппозиции и тем создаёт режиму ненормальную устойчивость, какой устойчивости на самом деле нет. Его деятельность исключительно вредна для блага народа. Самое страшное, что ему удалось, – это невероятное падение в народе интереса к политике. Народ перестал стремиться к политическому совершенствованию. Так забудут и Пятый год! Люди вживаются в это благоустройство жизни – и стирается память обо всём Освободительном прошлом, как будто не было ни декабристов, ни нигилистов, ни Герцена, ни народолюбцев, ни кипящих первых лет этого века. Столыпин подавляет Финляндию, Польшу, инородцев. Поразить всё зло одним коротким ударом!

– Но слушайте, молодой человек, – уже с большим сочувствием говорил Лазарев. – О Столыпине со сладострастием думали уже столько боевики – но никому никогда не удалось.

– Простите, – сдержанно, методично, невозмутимо настаивал болезненный, слабый молодой человек в пенсне, с руками слабыми и далее как бы чуть пригорбленный от физического недоразвития, – но убийство Столыпина – хорошо обдуманная задача, которую я решил во что бы то ни стало выполнить. Если можно так выразиться – он слишком хорош для этой страны. Я решил выкинуть его с политической арены по моим индивидуальным идеологическим соображениям. К тому же есть и хорошая традиция убивать именно министров внутренних дел. Это место – должно обжигать.

Уже под впечатлением такой взвешенной готовности и в большом раздумьи, не зная этого юношу достаточно, Лазарев продолжал возражения:

– Но вы – еврей. Обдумали ли вы, какие могут быть от этого последствия?

Всё он обдумал! Ещё готовней отпечатал:

– Именно потому, что я еврей, я не могу снести, что вы, позвольте вам напомнить, до сих пор живём под господством черносотенных вождей. Евреи никогда не забудут Крушеванов, Дубровиных, Пуришкевичей. А где Герценштейн? А где Йоллос? Где тысячи

растерзанных евреев? Главные виновники всегда остаются безнаказанными. Так вот я их накажу.

– Отчего ж тогда сразу не царя? – усмехнулся Лазарев.

– Я хорошо обдумал: если убить Николая Второго – будет еврейский погром. А за Столыпина погрома не будет. Да что Николай, он игрушка в руках Столыпина. Потом – убийство царя ничего не даст. Столыпин и при наследнике будет ещё уверенней проводить свою линию.

Интеллектом своим Богров, как всегда, произвёл сильное впечатление. Но не физическим видом. И Лазарев оставался в колебании и покручивал головой.

– А зачем, собственно, вы пришли мне это объявить? Я должен быть вам чем-нибудь полезен?

– Я и в Питер приехал, собственно, для того, чтобы повидаться с вами, – тут подоврал Богров.

Однако, спешил объяснить, он совсем не пришёл просить у мощной партии эсеров – помощи, материальной или технической, или курса обучения, как убивают премьер-министров великих государств. Нет, он всё рассчитает сам и сумеет всё сам. Ему только вот что нужно: **от чьего имени он убьёт**? Он просит разрешения сделать это от имени партии эсеров, вот и всё.

– Я всё равно так сделаю, это решено. Но меня тяготит мысль, что мой поступок истолкуют ложно – и тогда он потеряет своё политическое значение. Для воспитательного эффекта надо, чтобы после моей гибели остались люди, целая партия, которые правильно объяснят моё поведение.

Богров уверял, как это всё решено и бесповоротно, а Лазарев слышал его прерывисто-вибрирующий голос, щурился на болезненно-вялое его лицо, на изнеженную тщедушность – и не верил в его решимость, и ясно представлял, как ему не хватит силы дошвырнуть бомбу или, меча её, как он обронит пенсне. Как, схваченный полицией, он саморасшлётся в мокрое место – и положит невзрачное пятно на репутацию партии эсеров. (А может и вообще всё – провокация?) И опять отшучивался:

– Да что это вы – в таком раннем возрасте и такой пессимизм? Вероятно – несчастная любовь? Переживёте, пройдёт.

Богров настаивал, что его решение совершенно окончательно. (В самой необходимости настаивать оно ещё укреплялось). И от чести такого акта – как может отказаться партия эсеров? Тяготит, что в полной тайне подготовленный, никому не объяснённый индивидуальный акт может подвергнуться кривотолкованию. Хорошо, он просит партию эсеров санкционировать акт только после следствия, суда и казни – только если он умрёт достойно! Но, умирая, он должен быть уверен, что будет поддержан и объяснён.

Нет, не сумел произвести убедительного впечатления. Лазарев отказал, и настолько отрезно, что даже не согласился передать предложение Богрова на рассмотрение ЦК эсеров. Единственный дал совет: если в самом деле это настроение не временное – не делиться больше ни с кем.

Богров и сам видел, что он на это обречён.

– Но всё-таки если... Можно мне вам как-нибудь... написать?

– Ну, напишите. На редакцию. На имя, вот, Николая Яковлевича имярек.

Не ожидал Богров такого отказа. Опора – отошла, надежды и расчёты повисли ни на чём. Покушение расплылось в сомнительной целесообразности.

Искать у социал-демократов было и совсем безнадежно: тайно будут рады убийству, а публично отмежуются и станут негодовать.

А ещё ж и климат петербургский какой дрянной! За восемь месяцев здесь испортилось его здоровье, то боли в спине, то расстройства желудка, а хуже всего – угнетённое состояние, тоскливо, скучно, одиноко, никакого интереса к жизни. И врачи послали измученного молодого человека отдыхать и лечить нервы в Ницце. Так и не началась никакая его адвокатская практика.



И весь замысел покушения – отошёл в тумане.

В декабре 1910 он был уже на Ривьере. И всю зиму вместо петербургской сырости и темноты он провёл на юге Франции, куда к нему приезжали и родители, тоже любящие зимний южный морской отдых.

В этот раз он не сокасался с эмигрантами-революционерами. Но чтоб не бросить игры, всё же как-то написал фон-Коттену: малозначительные сведения о заграничных эсерах, и попросил денег. Тот – высылал в Ниццу, но Богров за последними не сходил и получить.

Он играл на рулетке в Монте-Карло, играл в карты, настроение постепенно рассеивалось. Из зеркальных окон отеля – голубоватые бухты. Что это ему так настойчиво мерещилось – какое покушение? Как можно прекрасно жить.

Но каждой сказке конец. В марте он вернулся в Киев, возобновил регистрацию помощником присяжного поверенного. Но – опять не работал, не пришлось ему произнести ни одной адвокатской речи, ни – использовать выгодно покровительство многоизвестного Гольденвейзера.

Не навещал он и Кулябку – с тех пор ещё, как уезжал в Петербург. Забросил эту игру.

Разбирала его душевная незаполненность, неопределённая тревога. Нынешнюю свою жизнь после обещательных успехов учения он находил ничтожной, и все удобства, блага и развлечения не возбуждали в нём чувств. Не вспыхивала любовь ни к одной женщине, и в него никто не влюблялся. Быстро снова опостылел Киев. А уж Петербург он отведал, хватит. А о квасной Москве и мысль никогда не возникала. Да само время, так деятельно переживаемое всеми, – как бессмысленная последовательность часов или как тупая эпоха – оно-то, время, и постыло.

В этом же марте, когда он вернулся в Россию, пережил и новый удар в душу: мартовским постановлением распространили на экстернов исчисление еврейского процента. Ни самого Богрова, ни его родственников это сейчас не касалось, но принципиально это был пинок болезненный в грудь, разбуживающий задремавшую душу: до сих пор экстернат был открытый путь для сколько-нибудь зажиточных евреев обходить процентную норму. Теперь и этот путь закрывали.

И в этом же марте произошло в Киеве убийство какого-то мальчика – и стали вменять его евреям как ритуальное, обвинили соседнего еврейского приказчика.

Нет! Эта страна была несправима, и несправим её самоуверенный, верно разгаданный премьер-министр. Вся эта глухая эпоха могла быть оборвана только сильным взрывом. Но взрыв не по силам. Тогда – нужным выстрелом в нужную грудь.

Несколько револьверов постоянно хранились на квартире у Богрова – такую вольность он мог себе разрешить при положении отца да и при дружбе с Кулябкой.

Но – к чему они теперь? Пустое он хвастал Лазареву: как можно ему дотянуться до Столыпина? Не удавалось самым опытным террористам. А случай на водопроводе неповторим.

Вдруг газеты этой весны зашумели об отставке, о падении Столыпина. Опоздал? Свалится и сам?

Нет, устоял. Но сильно пошатнулся в обществе. А вот теперь бы его и...

Вдруг возникли слухи, а затем начались по Киеву и грубые шумные приготовления к царским торжествам в сентябре. Что такое? Памятник Александру Второму, 50 лет освобождения крестьян, памятник княгине Ольге – а в общем ищут повода утвердиться самодержавной пятой в Киеве, сделать его опорой русского национализма, – столыпинская же и мысль.

Вот так удача! Центральные люди России не надо искать по Петербургу – они катили в Киев сами!

Но будет царь со своей сворой-свитой – а будет ли Столыпин?

В каком сердце, хоть чуть касавшемся революции, не вспыхнет ненависть к этому наглому торжеству? Как удержаться – испортить врагам их праздник? посмеяться?

В июне родители ехали на дачу под Кременчуг – он с ними туда же. Там, над Днепром,

он теперь ходил в одиночестве, ходил – и обдумывал. Степной воздух не успокаивал истерзанной изъеденной груди.

Приехал и брат с женой на дачу. Но ни с ним, ни с отцом Богров не поделился ни обрывком мысли.

В начале августа вернулись в Киев: родители ехали продолжать отдых в Европе, брат возвращался в Петербург. Младший Богров остался в многоэтажном родительском доме свободен, – ну, с наглядом над квартироснимательским делом, и один, – ну, со старой тёткой, с горничной, кухаркой, услугой.

Один.

Большое облегчение груди, голове: не притворяться, не скрывать, никто не просит ничего рассказать. Всё – молча, всё – в себе.

Тем временем уже наехавшая из Петербурга и Москвы полиция подходила на улицах даже к людям солидной внешности и просила предъявлять документы. Производилась временная высылка из Киева неблагонадёжных лиц. По всем путям ожидаемого высочайшего проезда осматривались квартиры, чердаки, погреба, делались кое-где обыски.

Ну, готовьтесь, готовьтесь, свора!

Что не покидает Богрова все эти дни – самообладание. У него счастливое свойство: чем ближе опасность, тем полней самообладание. Он пишет обстоятельные деловые письма отцу (он вполне сумел бы хорошо вести коммерческие дела!): как дать взятку инженеру, чтобы кто-то получил выгодный заказ от городского самоуправления, и какие предосторожности принять, чтобы взятка, не осуществясь, не уплыла бы из рук, чтоб обе стороны имели гарантию. “Я надеюсь, папа, ты поверишь моей опытности”.

Тянут ли его сомненья, мученья, отчаяние – это не выходит наружу.

Так наступают – когда-то наступают – в каждой человеческой жизни главные дни.

## 64

Украсились киевские улицы и дома – флагами, царскими вензелями, портретами. Многие балконы драпировались коврами, тканями, уставлялись цветами, некоторые дома были иллюминированы. Обыватели телячье ждали зрелищ. К сведению их (и Богрова) подробно была объявлена вся программа торжеств – с 29 августа по 6 сентября.

В одиночестве, в ожидании, в томлении Богров много сидел дома, лежал, ходил по комнатам, фантазируя, вырабатывая... А ещё – методически просматривал и уничтожал, что не должно было оставаться.

Всё это выглядело как колоссальный цирк, где зрителями был созван весь Киев, да по сути – вся Россия, да даже и весь мир. Сотни тысяч зрителей глазели из амфитеатра, а наверху на показательной площадке, под самым куполом, в зените, выступали – коронованный дурак и Столыпин. А маленькому Богрову, чтобы нанести смертельный укол одному из них, надо было приблизиться к ним вплотную – значит вознестись, но не умея летать, взлезть, но не имея лестницы и в противодействии всей многотысячной охраны.

Образ цирка вызывает образ центрального шеста, поддерживающего вершину шатра. Вот по такому шесту – совершенно гладкому, без зазубрины, без сучка, надо будет вползти, никем не поддержанному, но всеми сбрасываемому, вползти, ни за что не держась. Задача – исключительно невозможная. Но посмотреть: нельзя ли изменить хоть одно исходное условие? Добавить себе крыльев? – не дано природой. Искать помощи у разных ЦК? – уже отвергнуто. Уменьшить высоту шеста? – она задана. Добавить ему шероховатостей? – сперва поискать на своём теле. А затем и на шесте: нейтрализовать сопротивление охраны? Это надо попытаться. К чему-то же, зачем-то же были эти несколько лет игры-сотрудничества?

Если охрана окажется умна – тогда пустой номер. Но опыт подсказывал, что – не окажется.

Лежал, ходил, откидывался в качалке, упражнялся с гантелями. Фантазировал, вырабатывал.

Было душно, окна нараспашку. К обеду мороженое, к напиткам лёд. Как во сне, сидел с тётёй за обедом, за ужином у просторного стола. Не ездил в клубы, не играл в карты. Его задача требовала сосредоточения всего ума, всего тела.

Программа царских торжеств лежала перед ним. И ясно, что самый удобный центр её – 31 августа, Купеческий сад, на берегу Днепра.

Но если – там, то – Днепр рядом! Как не попробовать ещё и ускользнуть? Найти моторную лодку, добежать, спрыгнуть?...

И он ходил бродить по набережным, на пристань, по берегу.

Но легче было изобрести невообразимое – как дотянуться до председателя совета министров, чем найти способ и язык объясниться с чужими, грубыми, непонятными днепровскими лодочниками, внушить к себе доверие в такие подозрительные дни и самому доверить уголок своей конспирации. Он мог заплатить за моторку – сколько угодно. А правдоподобно уговориться – не умел. Это были люди с другой планеты.

Наконец, 26 августа он зашёл к доверенным знакомым, оставил письма: одно – родителям, два – в газеты.

И позвонил, от себя из дому, в Охранное отделение: *дома ли хозяин* ?

Не повезло: Кулябку не застал. Но – знал он там всех – и заведующему наружным наблюдением Самсону Демидюку предложил встретиться, срочно.

Они сошлись в Георгиевском переулке, в парадном. И Богров объявил Демидюку: ***во время торжеств готовится террористический акт против самых высоких особ !!!***

Одной этой чрезвычайной фразы было достаточно, чтобы Демидюк побежал бегом к Кулябке. Но Богров не поскупился и на несколько деталей: приезжает группа из Петербурга, с оружием. Ищет способа безопасного въезда в Киев и устройства здесь. Богров должен получить инструкции.

Находка не просто дерзка – гениальная: двигаться почти напрямую и говорить почти правду! Какое ещё убийство готовилось так: всё время настаивая перед полицией, что именно это убийство произойдёт!?

Зацепка – во всяком случае. Для них – служебно невозможно пренебречь таким сенсационным донесением.

Вернулся домой, нервно ходил. Начало было важнее всего: вообще по шесту можно ли взбираться хоть сколько-нибудь, или тут же соскользнёшь?

Снова позвонил в Охранное, когда Кулябко уже был там. Обрадованный, блеющий, глупый голос! Полтора года пропадали – и вот объявился любимец и сразу с таким известием! Поверил, захвачен – первая удача. На первую сажень уже взобрался – держит, не скользит.

Ещё новое: назначает прийти не в Охранное, а – к себе домой. Небывало, что за изменение? Ловушка? Простодушно объясняет Кулябко: да обед уже назначен, переменить нельзя.

Радушный голос, человеческая слабость. Признак полного доверия.

Богров идёт к Кулябке однако с браунингом в кармане. (Так было задумано, когда собирался в Охранное: если версия не будет принята, а сразу разоблачение, – стрелять в него, стрелять в других, бежать, стрелять в себя?... Теперь, по домашности, как бы и лишнее. А может и не лишнее, незнакомый дом, незнакомый ход. По домашности – тем более не будет обыска. Взять).

В сообщении Богрова нет ни одной зазубринки факта, ни одного реального выступления – скользь, и разбился. Отступления нет, браунинг несётся в кармане.

Через Золотоворотскую улицу, через чёрный ход, Демидюк провёл Богрова в квартиру Кулябки. Хозяин (стал подполковник теперь) встретил его в задней прихожей и провёл к себе в кабинет (доверие!)... через ванную, другого хода нет.

Сюда из гостиной довольно слышен оживлённый обеденный разговор. И у Кулябки – не совсем вытертый масляный рот, вкусный обильный обед ещё не закончен – и приятно его доканчивать, имея на десерт такого посетителя, о котором там сейчас и похвастаться близким гостям. Радушный, весёлый, доверчивый вид – кажется, и к столу бы позвал, если б

не неприлично.

Хотел повторить ему тот же пунктир, уже расширяя в сюжет, но Кулябке хочется к обеду, к гостям, – “ты садись и напиши всё, голубчик!” Оставил Богрова в кабинете (ничему не научил его взрыв на Астраханской!) – и пошёл дообедывать.

Писать? Если донесение истинно и террористы нависают за спиной? Самоубийство. На что ж Кулябко рассчитывает, подавая перо? Догрызть утиное крылышко?

Когда мы в жизни проходим сквозь мелкое событие – никогда мы не знаем, насколько ещё оно может пригодиться нам впереди. А теперь вело чутьё: из прошлого – как можно больше правдоподобных деталей, каких сегодня нет, как можно больше истины в прошлом. И все последние дни удочкой памяти Богров выщеплял обломки этой незначительности: дама из Парижа на Троицу 1910, совсем забывши про Троицу... Кажется: подруга дочери Кальмановича... Почему-то через неё – второстепенные письма от ЦК эсеров... Кальманович, сам уезжая, поручил все передачи своему помощнику Богрову... Богров эти письма показывал фон-Коттену... А потом передал Егору Лазареву (про Лазарева знал Богров, что Столыпин заменил ему ссылку в Сибирь на границу, так что тому не опасно) и... были ж ещё два письма... Одному молодому революционеру... Скажем, “Николаю Яковлевичу”. (Такое имя в редакции назвал ему Лазарев, теперь всё годится).

Узелки завязаны, вперёд, моя история! Так вот этот Николай Яковлевич в начале лета вдруг прислал письмо: не изменились ли убеждения Богрова? С революционерами приходится настороже, опасно и смолчать, опасно и высказать правду. Нет, мол, не изменились. И вдруг! – в июле на дачу под Кременчугом (вот и дача пригодилась, уже покинутая, там томился, гулял, не знал, что так скоро пригодится, как можно больше реальных совпадений!) – явился сам “Николай Яковлевич”! И открыл...

(Если он серьёзный террорист, идёт на такое великое предприятие – и доверяется одной почтовой фразе неактивного подозрительного анархиста Богрова, и сразу едет к нему и открывается со всеми тайнами?... О, какой скользкий гладкий шест! Прижаться к его палочному телу самим собою, всем телом своим тереться и переползать по неправдоподобностям!)

... открыл: что едет их группа террористов, трое, из разных мест, в Киев, чтобы совершить акт во время празднеств. Говорят, на вокзале и на пристани строгая проверка документов. Так вот, не может ли Богров помочь им: перед самыми торжествами въехать в Киев – ну, например, моторной лодкой из Кременчуга? (Прицепился этот Кременчуг, как та дама из Парижа, очень удачно. И моторная лодка сюда перескочила, складывается само). Пусть добудет им моторную лодку, а потом в Киеве – конспиративную квартиру на троих. И – уехал.

И – пришли, весёлые, подвыпившие, неравновесные с обеда – жирный селезень Кулябко. Остроусый красивый пронизательный, образованный, осмотрительный, струнно-служащий полковник Спиридович. И ещё какая-то бледная штатская немочь – действительный статский советник. Очевидно, за обедом уже было рассказано – да, вот он, тот интересный субъект, который работал у меня раньше несколько лет и давал всегда точные сведения. Какие же в этот раз?

Тёплыми пальцами брали бумагу с жадной новостью, полупьяными глазами читали, вертели, передавали, смотрели друг на друга понимающе: террор как будто давно заглох – и вдруг сейчас словить такую группу? – большие награды, большие повышения! И как легко шли террористы сами в сеть!...

(Ах, верно он изучил их клёв! Ах, знал Богров их душёнки! А – **во что** тут было поверить? Трезвому человеку – во что? Выпирал из кармана браунинг явно (зачем взял? проклинал), и в шесть глаз не видели, только спросить: а это – что у вас? И тогда – стрелять? Их – трое, и из квартиры не выскочишь.)...

Впрочем, они – полиция, и не забыли, что надо поморщить лоб, расспросить придирчиво: а откуда Николай Яковлевич узнал ваш дачный адрес?

Сперва приехал в Киев ко мне домой – и домашние сказали.

А... почему вы не пришли к нам с этим важным сообщением сразу?

(Почему он **вообще** пришёл – не пришло им спросить: разумеется, каждый обязан явиться. За четыре года Кулябко никогда не пытался понять: а **зачем** Богрову вся эта служба? что за человек Богров?)

Доверчиво смотрит на опытных полицейских через пенсне молодой интеллигент с удлинённой стиснутой головой, постоянно чуть изогнутой набок, с постоянно несомкнутыми губами, видно – и скрыть ничего не умеет: поскольку Николай Яковлевич тут же и уехал, у меня остались как бы пустые руки, мне было неловко так приходиться. И я всё ждал, что он объявится. Но время идёт, подходят торжества. А в одной из газет (к тому же правых, которые так и читают взахлёб присяжные поверенные...) промелькнула заметка о возможности какого-то покушения. Я – просто взволновался, не знаю, что мне делать. Если они теперь нагрянут и потребуют, я под их наблюдением уже никак не прорвусь к вам спросить: добывать ли им лодку? искать ли им квартиру?

Нет, моторной лодки не давать, строго отводит Спиридович. А квартиру? Чтобы знать, где они будут, и легче их взять, отчего же? Кулябко думает – можно, и даже знает, какую: разведенной жены полицейского письмоводителя.

(Богрову это никак не годится: призраков нельзя поселить к реальной хозяйке).

Замаялся: как бы чего не пронюхали, вдруг она вызовет у них подозрение, тогда всё провалится.

А чью бы вы предложили?

Да тут... одна знакомая уехала за границу. Да если разрешите – и мою: родители уехали.

Что ж, может быть и хорошо (легче наблюдать через Богрова).

(Держится! Держится!)

Ещё ближе к истине, ещё естественней: я так понял – акт будет не в начале торжеств, а – к концу, когда охрана ослабеет. (Как **будет** – так прямо и говорить! так прямо и предупреждать охрану, вот дерзость!)

Спиридович – самый профессиональный и единственный умный: но как Николай Яковлевич так легко вам доверился, все подробности?...

А! Я заявил Николаю Яковлевичу, что не хочу быть пешкой в их руках, а должен быть посвящён во все планы, это моё условие. (Я – не мелкий! Я буду всё знать! Верьте мне и держитесь за меня!)

Убедительно.

Но уж если все планы, – сверлит-таки усопронзительный Спиридович, – так тогда: **на кого**? На Его Императорское Величество?

Нет! (Не только нет, потому что – нет, уж Богрову ли не знать, а и – нет, чтоб и в мыслях ни у кого не было! И если: только сейчас допустить о царе – слишком подхватятся!) Нет, в этом случае опасаются еврейского погрома. Поэтому план террористов: покушение на двух министров – на Столыпина (так-таки наоткрытую!) и Кассо. (Министр просвещения, лютая ненависть передового студенчества, очень реалитетно. И – раздвоить внимание охраны).

И – так и видно, как настороженность вся вышла из Спиридовича, и вернулось послеобеденное блаженное упитое состояние.

(Держится! Как угадано!)

Спросили приметы Николая Яковлевича. И был готов, и – не был, ещё не сжился с ним Богров вполне. Ответил с лёгкостью, но приметы вышли хлипкие: жгучий брюнет, средней длины волосы, чёрные средние усы, интеллигентное лицо, привлекательные глаза...

Приняли. Записали. “Надо послать в Кременчуг”.

Статский советник: вы эту записку вашу – подпишите, пожалуйста.

Только усмехнулся Богров, до чего ж новичок статский советник и до чего ж ничтожный чиновник: о, нет! вот это – слишком опасно для меня, в вашем аппарате может быть предательство.

(И – опять достоверно, опять выиграл!) Вот и вопросы исчерпались. Исчерпались сомнения подполковника, полковника...

(Богров так и надеялся. Он знал за собой, за ним признавали какую-то особенную убедительность рассказа: он, когда хочет, как завораживает, как пение редкой птицы, вытянувшей шею, и даже врагам своим в такие минуты он становится милым).

Смелеет, дерзает и делает ещё один переполз, важности которого вне чиновного мира даже невозможно охватить, он сам не понимает сотрясательности удара, он хотел только впустить между ними каплю расслабляющего яда:

– Николай Яковлевич говорит, у них есть связи и среди чинов Департамента Полиции и в петербургском Охранном отделении. Они – уверены в успехе.

(Но: зачем тогда им в Киев ехать? не перебрал?)...

Нет, не перебрал! Они – союзники тут, единомышленники, вот – их четыре единомышленника здесь. И Кулябко подходит к пачке (она здесь и лежала!) заготовленных билетов-приглашений на торжественный спектакль 1 сентября, а есть и на общественное гулянье в Купеческий сад на 31 августа – и предлагает Богрову взять, сейчас впишет его фамилию! (Из благодарности? Или с целью какой? Или по селезнёвой суетливости просто? Даже непонятно – зачем? Волосы прилизанные, светленькие, глупые. И знал Богров, что Кулябко глуп, – но не ожидал такой лёгкости!)

И отважный увидел себя – уже на половине шеста, нет – выше половины: уже мелкими кажутся те бесправные муравьи, из которых пополз три часа назад. И уже совсем не так далеко вверху заветная площадка! Ничем не удостоверенный, скользя по невероятностям, – как он поднялся? на чём он держится???

То, что нужно! Билет на закрытый спектакль, где будет открытый Столыпин, да кстати ещё и этот... император. Ожигая револьверную руку, в неё сам плывёт театральный билет! Какая удача! Какая победа – и сразу!

И всякий другой юный схватил бы билет. Но – не умудрённый Богров. Нельзя принимать слишком лёгких побед. А достигнутое доверие дороже билета. (Да ещё до театра – шесть дней, они могут опомниться и отобрать).

И – отклоняется Богров от багряно-желанного билета – движением чуть утомлённым, бескорыстным, узкая голова чуть на сторону: нет, он не хотел бы афишироваться.

Хорошо. Поручили ему дальнейшее наблюдение за террористами. Если понадобится – в его распоряжении Демидюк. Расстались.

Расстались – с полной инициативой у Богрова, никаких обязательств: когда же связь или когда следующая встреча?

Ошеломлённый сверхожиданной удачей, несомый победным счастьем, весёлый Богров идёт к тем знакомым – отбирать назад те письма с объяснением выстрела, какой сегодня не понадобился.

О, счастье! Разве – нейтрализовал? Он – взял полицию к себе на помощь, вместо эсеров! Какой юмор – и не с кем поделиться, и оценит ли кто-нибудь, когда-нибудь?

Условия задачи сильно изменились: уже не всё против, только не отдать взятого.

Стоп, может быть за ним установили слежку? Проверил – нет, передвигается ненаблюдаемый.

Вот идиоты! Вот олухи!

О, счастье! Ещё когда тот выстрел, ещё когда то обречение, а сегодня – победа, свобода, киевское лето к зрелым каштанам. Впереди – свободная ещё неделя.

Да и вообще он – свободен! Кому он обязался? кому подписался? Допустим, Николай Яковлевич передумал, не приедет. И все последствия – денежный пакет от Кулябки.

Но – и одиночество.

Но – и обдумывание.

И – всё напряжённее.

27 августа.

А зато: как сразу и навсегда отметить – от всех подозрений, обвинений! Убил – и

чист навсегда.

## 28-е.

В колоде бывает 52 карты, 36, и меньше. Здесь – составных элементов ещё даже меньше, но они неуловимые. Только Кулябко отлился в толстого простофилю, бубнового короля, а вот Николаи Яковлевич никак не представится во плоти, не хватает воображения.

А в Кременчуг – погнали целый отряд филёров. Хорошо, меньше будут толкаться в Киеве. Кременчуг и моторная лодка – очень удались, ветер достоверности.

Элементы – простые, но не строго очерченные, оттого комбинации их множатся, перетекают, – и на какую же опереться дальше?

Главная наживка – держать их в напряжении, в расчёте перехватить террористов живьём, получить служебный эффект. Держать – до последнего момента и даже через последний момент, всё никак не завершая.

И поэтому – ни в чём не торопиться, оттягивать, не видеться часто.

Ещё для того не видеться, чтоб не навязали ту полицейскую квартиру.

В душной заперти Богров сидел, сворачивался, лежал, ходил, сидел, раскачивался – обдумывал. Те несколько нужных капель для рокового мига должны были накопиться, насочиться – в мозгу? в зобу? в зубу?

29-е. Три дня созревания замысла в завихре мыслей, отточки каждой детали, всех вариантных возможностей – раздробленных, рассыпанных, неожиданно могущих вспыхнуть. И такая тревога, что в нужный момент может отказать сообразительность? или внимание? или память? или смелость?

Но самое удивительное – не беспокоилась, не спрашивала, не звонила охранка, будто мелочь такая, группа бомбистов при царском пребывании, не беспокоила её.

Деликатно не спрашивали – но и за ним самим не следили! никуда не сопровождали! – только установили заметный пост против дома, на случай прихода такого отметного Николая Яковлевича.

И по расчётам Богрова это и было самое выгодное: оставить охранке как можно меньше времени для обдумывания мер.

Безумно трудно было – удержаться все эти дни, не сделать лишнего, не сорваться с достигнутого. Часы одиночества тянулись невыносимо, варианты казались упускаемы. (Но в записях филёров не отмечено, что Богров выходил в эти часы).

А совершенно точно: он в эти дни обедал с тёткой, принимал неизбежные посещения друзей – Фельдзера-старшего, Фельдзера-младшего, в какие-то часы ходил и к Гольденвейзеру в контору. 29-го написал отцу за границу очень деловое письмо: что плохо сделан ремонт пола, и – о страховке. А в 11 вечера ещё один друг – Скловский, зашёл к нему со своей барышней, они втроем выпивали. Около часа ночи Богров вышел их проводить, на пустынных улицах снова и снова убеждаясь, что наблюденья за ним никакого нет, и, значит, Кулябко верит беззаветно. Особенный вкус и подъём: пьянеть с людьми, кто и отдалённо не представляет ни подвига твоего, ни успеха, – это всё остаётся твоим нераздельным счастьем и роком, а ты весело болтаешь о пустяках. А вот на углу Владимирской – твоя бывшая гимназия, питалище твоих юных надежд, – какой бывший ученик, и в седине, и в пустынную ночь пройдёт без шевеления сердца мимо своего вечного здания, где и он, в перебой со сверстниками, мечтал о великой прославленной жизни? Как раз в эти самые дни их гимназия ждала своего столетнего юбилея – на рубеже сентября, в разгар торжеств, и царского посещения. Она не знала, какой юбилейный салют её ждал.

Так – Богров выдержал, и только 31 августа, и то не с утра, а в час дня, он поднял свою домашнюю телефонную трубку и попросил у телефонной станции соединения с номером Охранного отделения.

Ещё недостаток телефона: разговор может слышать случайная телефонная барышня. Правда, такого умного, кто мог бы понять и проверить, там не бывает.

В Охранном трубку взял дежурный Сабаев, письмоводитель, хороший знакомец, – он в доме Богровых бывает запросто, часто, чуть не ежедневно, правда не у самих хозяев, а посещает кухарку их. Подполковника Кулябки? Нету.

Опять – потеря на косвенную передачу, ослабление эффекта, новый риск.

– Тогда, пожалуйста, передайте подполковнику: Николай Яковлевич приехал, имеет при себе, что надо, остановился тут, у меня. И мне – нужен билет сегодня в Купеческий сад.

Несколько часов изводящего ожидания. Кулябко – не отвечает.

Вот когда остро пожалел, что переиграл, не взял билетов.

Уже не верит?... Раскрыл?... Провал?...

Переигрыш. Передержался.

Перемудрил – давали билет!

Последние часы перед началом гулянья – а телефон молчит.

Кто б ещё оценил, кто оценит когда-нибудь силу и смелость этого построения: навлечь наблюденье и слежку на собственный дом – перед тем, как идёшь на акт? И ещё при этом уничтожительном совпадении: горничной нельзя приказать не открывать Сабаеву; Сабаеву же ничего не стоит самому прийти и проверить у кухарки, что в доме никто новый не появлялся.

Или иначе: вот уже сейчас оцепили дом и кинутся брать Николая Яковлевича, не дожидаясь остальных? Неудачно сказал: имеет при себе что надо. Значит – возьмут с бомбой, чего им ещё?

Выходил, снова выходил на балкон. Опытным взглядом просматривал Бибиковский бульвар. Нет, не оцепляют. В скуке дежурит один филёр.

Нет, не бросятся брать. Ну, возьмут одиночку с оружием, а где доказательства, что он покушался на государственных особ? Где эффектность? Схватить заранее – ничего не доказать.

Но почему ж тогда нет звонка? Известись.

То неудачно, что не попал на Кулябку, не получил ответа, не подбодрился его хлюпающим голосом.

А, вот он!! Да! – по телефону возбуждение и хлюпающая радость Кулябки: приехал??

Для правдоподобия – приглушенный осторожный голос (ведь кто-то в соседней комнате сидит). Для правде подобия – такую свертхайну, не очень охотно по телефону, но и нельзя же совсем ничего: у меня – один, будут и другие. Принять активное участие я отказался, но кое-что мне поручено и буду проверен, – и для того, во избежание провала, мне надо быть сегодня в Купеческом саду.

Не поверит! – как грубо сшито...

Коченеет, онемела вся долгота тела, вот – свалится со всей высоты. Упадать гораздо больнее, лучше б не начинать и всползать.

А Кулябко – и не задумался даже. Кулябко и не переспросил: а зачем же собственно билет?... В Купеческий сад, куда не попасть и лучшим семьям Киева, – хорошо, присылайте посыльного!

Опять удача! Черезильно извивнулся удолженным телом, спиралью, – и ещё поднялся!

Но не успел положить трубку – звонок опять. Знакомый, Певзнер. Очень просит его простить, две минуты назад он звонил Богрову и по вине телефонной барышни его соединили до окончания предыдущего разговора...

Оледенел!

... Очень просит простить, но слышал, с какою лёгкостью Богрову пообещали билет в Купеческий сад. Очень бы занятно там побывать. Не может ли Богров устроить билет и ему?...

Барышня – идиотка! и совпадение – невероятное, на двести телефонных звонков не бывает!...

Оборвал, ответил зло, вообще не разговаривал, язык отказал, только: “Надеюсь, это будет в секрете?”



Когтит по груди, расцарапывает: **с какого места** слышал? Может – **всё** ??...

Почему все оступки, оскользы и срывы не постигают нас в плавной жизни, а только – на самом кругом опасном месте?

Почему: то растягивается время и дремлет, то – сжимается режущей петлёй?

Вихри мыслей – расчётов – опасностей-отклонений – посыльной уже заказан и пошагал, а:

может быть, это последний час твоей жизни?

И:

“Дорогие, милые папа и мама!... (Через папу и маму, их чувствами, всего-то жальче и себя)... Вас страшно огорчит удар, который я вам наношу... Но я иначе не могу. Вы сами знаете, что вот два года, как я пробую отказаться от старого... (Обломанная лапка у “ж”, а задняя лапка “я” – как в землю морковкин корень)... Но если бы даже я и сделал хорошую карьеру – я всё равно кончил бы тем же, чем сейчас кончаю...”

И это письмо – опять к знакомому.

(Не следят!)...

И – посыльной принёс заветный билет. И с браунингом в кармане, празднично проталкиваясь по бешено иллюминированным улицам, мимо огненных абрисов зданий и гор огня, у входа в Купеческий мимо открытого вчера памятника Александру II – что-то итальянско-бронзовое, а внизу обсажен лубочными народными фигурами, “Царю-Освободителю – благодарный Юго-Западный край”, – через контроль полицейский – по счастливому билету – в недоступный сад.

(Не следят!)...

И – по толчее сада, иллюминированного ещё безумней. Многоцветные фонтаны из ваз. Снопы светящихся колосьев. Букеты, рассыпающиеся в звездочки. Слева издали через густоту деревьев – как висящий в воздухе крест святого Владимира в лампочках. У открытой ложи царя – симфонический оркестр. Крестьянский хор. Хор русских и малороссийских песен.

Мимо оркестров, мимо эстрад и хоров... Как разбирают эти скрипки! А может быть отдаться музыке, иллюминации, ласкающей тёплой южной ночи – да и бросить всё?... Ведь никому не обещано, никто не ждёт, никто не упрекнёт.

Сколько раз бесчувственным осязанием, бесчувственным ртом принимал эту жизнь, сколько раз внушал себе, что своя жизнь – не стоит, чтоб её тянуть, – а вдруг стало позывно жаль: ведь только двадцать четыре года! Можно прожить ещё полвека! Можно узнать, что будет в 1960 году!... Твоя жизнь – ещё вся при тебе, вся надеется и ждёт, вся плывёт в этой музыке. И ещё где-то есть женщины, которые могут тебя когда-нибудь полюбить? (И ещё где-то крадутся с револьверами бесстрашные, которых ты можешь выручить на суде блистательной речью и отойти под аплодисменты?) Но собственный единственный нажим на спусковую дужку – и вместе с грохотом выстрела обрушивается навсегда весь мир...

И – любишь себя. И – презренье к себе.

Жаль не приготовил моторной лодки.

На площадках, залитых электричеством. И под тёмными зелеными аллеями... И даже – в первых рядах публики близ царского шатра...

Шатёр устроен над днепровским обрывом, смотреть фейерверки. Сам шатёр – из гранатовой материи с золотыми орлами и увенчан шапкой Мономаха в белых и голубых огнях. А с кручи вниз – светятся и сооружения набережной, одна пристань белая, другая зелёная, и громадная мельница Бродского, и на Трухановом острове горят царские вензеля, а по Днепру медленно плывёт ладья из огоньков в форме лебедя, огни отражаются в воде. И самой тусклой деталью – через Днепр на небе луна. При взрывах ракетных гроздьев оба берега Днепра с многотысячными толпами видны как днём – и оттуда возносятся оркестровые гимны.

Но у шатра – не видел царя. А близ эстрады с малороссийским хором – вдруг оказался, притиснулся – в двух шагах от него – не в трёх, а в двух! Чуть сзади, вполузатылок, гладко

подстриженный тёмный затылок под военной фуражкой, – и между головами приближённых – открытый прострел! И в кармане – браунинг с досланным первым патроном. В кармане наощупь передвинуть предохранитель – вынуть – и бей!

И – взорвать их сверкающий праздник весь!

Богров задрожал от сладости. Сколько раз он отвергал эту мысль – убивать царя, – но чтобы так доступно! но чтобы так!!!

Даже голова закружилась от своего могущества. Слабый нажим указательным пальцем – и нет ещё одного русского царя! И даже – целой династии может быть, всех Романовых – снять одним указательным пальцем!!! Событие мировой истории!

Но – с усилием охолодил себя: этот царь – только название, а не достойная мишень. Он – объект общественных насмешек, он – лучшее ничтожество, какого только можно пожелать этой стране. Никакой удачный выстрел и никакой наследник потом не сделали бы эту страну слабей, чем делает этот царь. И вот уже 10 лет – убивали министров, генералов, а этого царя не трогал никто. Понимали.

Зато, напротив, расправа за смерть его, за рану, становится в противоречие с целью. Именно в Киеве это будет что-нибудь особенное. Убрали бы царя где-нибудь, только не в Киеве, – так-сяк. Но если в Киеве и – он, Богров, – это будет страшный еврейский погром, поднимется тёмный безумный народ. Живое, родственно ощущаемое еврейство Киева! Последнее, что б хотел задержать на земле Богров: чтобы Киев не стал местом массового избиения евреев, ни в этом сентябре, и ни в каком другом!

Трёхтысячелетний тонкий уверенный зов.

И он погасил свою охотничью дрожь. И дал себя оттеснить. И пошёл дальше.

Зато уже – Столыпина он твёрдо решил убить сегодня! Премьера Столыпина – ничто не могло в этот вечер спасти, ничья рука, ничья преграда, ничья защита! И чернь – его не знает, и никто за него не поднимется.

А просто – не встретил. Не увидел. Может быть – по близорукости.

Даже – показалось, видел издали, неотчётливо. Но нагонял, проталкивался, – упустил.

А может быть, всё-таки, искал – не так уж упорно?

И – любишь себя. И – презренье к себе.

Не встретил, не нашёл.

А вечер – кончился.

Упущено.

И, едва выйдя из сада, среди разъезда экипажей в устье Крещатика, перегороженного у Михайловской улицы жандармами и казаками, чтоб любопытные толпы не хлынули сюда смотреть, – уже очнулся от этой размягчённости и был тоскливо безвыходно сжат – внутри.

Стояли сиволобые, охраняли, а он! – уже проточился в самое сердце, смертельный укол неся при себе, – и? – рассеялся... не нашёл...

От себя не уйдёшь. Ещё не доехал извозчик до Бибиковского – уже знал Богров: надо добывать следующий билет.

Завтра? А пока поспать...

Нет, уже никогда не спать.

Но – Кулябко?! Все эти дни – ни вопроса, ни беспокойства: приехали террористы, нет? и – что было в Купеческом? и – зачем так нужно было туда пойти? Николай Яковлевич **имеет при себе всё, что нужно**, – и никакого беспокойства! Блаженная толстокожесть! – такой не ожидал Богров, даже зная охранников.

Как их назначают? Как их отбирают? Как они продвигаются по служебной лестнице? Всё – по знакомству и угодству.

А может, наоборот: всё разгадали?... А может – сейчас придут с арестом?... Следили в саду?

Возможно! Возможней всего! Похолодел.

Полночь. Час ночи. Движение к раздеванию? Нет, и думать нечего спать.

С каждым часом бездействия он – терял.

Как он мог так расслабиться в Купеческом, как он мог упустить? Меньше бы слушал скрипки, быстрее бы ходил-искал.

Завтра утром опять не застать Кулябки. Завтра днём своё непрерывное движение торжеств, и можно театр упустить.

Добывать билет – сейчас же, сейчас же, не рискуя откладыванием.

Со своей мистификацией – уже сам сживаешься. Двоение реальности. “Николай Яковлевич” сидит вон в той комнате. Что он подумает, услышав ночной уход своего сомнительного хозяина? Как объяснить ему? И как разгадать его завтрашние планы? А что передать Кулябке? Поверит ли Кулябко? Поверит ли Николай Яковлевич? Только бы не отказала острота, мгновенность доводов.

Отрепетировать их. Вот, изложить чётко на бумаге. Да по ночному времени к Кулябке без записки и не попасть.

... Николай Яковлевич ночует у меня. У него в багаже два браунинга... (Как можно ближе к истине – не поскользнёшься. Чем ближе – тем верней играет роль, тем меньше морщин на лбу)...Ещё приехала “Нина Александровна”. (Когда-то встречалось в жизни такое сочетание, обаятельная, молодая...)...Я её не видел. У неё – бомба. (Без этой бомбы – ничего нового, охранку не сдвинешь и не проймешь)...Остановилась на другой квартире... (Это вот для чего, прекрасное построение: если здесь у меня – не все террористы, то на квартиру нагрянуть нельзя, испугаешь остальных. Но и – надежду надо им дать. Но и – ограничить во времени)...Завтра днём она придёт ко мне на квартиру от двенадцати до часу. (А вниз посмотреть – закружится голова: уже какая высота!) Подтверждается впечатление, что покушение готовится на Столыпина и Кассо.

Всё им открыто! всё от начала до конца! сам на себя доносчик перед исполнением! – невиданно! Лазарев – распутает ли когда-нибудь? оценит?

... Николай Яковлевич считает успешный исход их дела несомненным. (Надо, чтобы Кулябку потряхнуть. Перетревожить их нельзя, но оставить сонными тем более)... Опять намекал на таинственных высокопоставленных покровителей. (Утомлённая голова уже не придумывает новых мотивов)... Я обещал *во всём* полное содействие. Жду инструкций...

В этой язвительной наглости обнажения всего, как будет, – есть что-то завораживающее, Кулябко и должен онеметь, он должен – душевно смириться, подчиниться.

И всё-таки: невозможно понять, почему они так равнодушны?...

Бомбой – взорвёт он беспечность Кулябки! Именами министров – успокоит. Высокопоставленными покровителями – окостенит. Этими покровителями он прокусит сердце Кулябки. Если и покровители так хотят – то зачем Кулябке стараться больше всех?

В два часа ночи к городовому у подъезда Охранного отделения подошёл хорошо одетый господин и потребовал доложить начальнику. Дежурный в отделении – всё тот же Сабаев, он ещё не сменился (а сменясь – не отправится ли к нашей кухарке, как раз когда бы ей готовить завтрак Николаю Яковлевичу). Пригласил в приёмную. Стал звонить на квартиру, разбудивать подполковника. (Богров теребил их как проситель, будто это ему, а не премьер-министру грозило покушение)... Кулябке, конечно, страх не хотелось ночь разбивать: ну, какие там ещё спешности? ну хорошо, пусть изложит письменно... Да записка уже готова, вот она... Ну, тогда отошлите её Демидюку, пусть разбирается... Нет, он настаивает – только вам лично.

Понесли записку. Течёт ночь, перемесь бессонницы и провалы сна. Сидит Богров у Сабаева. Ключёт носом Сабаев. А Кулябко на эти четверть часа ещё, наверно, улётся спать. Но, встряхнутый бомбою Нины Александровны, – поедет в отделение? Нет, конечно: звонит и велит – привести Богрова к себе на квартиру.

Второе свидание, и опять на квартире, вот пошло!

А это и есть – то, что нужно! Человек, сжигаемый замыслом, несравненно сильнее человека, хотящего только покоя. Человек, не ложившийся спать, всегда превосходит человека, вырванного из постели. Вслед за рассчитанной своей запиской хладнокровный Богров вступает и сам гипнотизировать расслабленного Кулябку.

А Кулябко и ещё последние эти четверть часа, после второго телефонного разговора, додрёмывал. И, с простотой российской, – вышел к нему перевалкою селезня, так и не дав себе труда одеться, ведь сейчас опять в постель, – в бордовом халате, зевая густо:

– Что вас так беспокоит, голубчик? – с сожалением к себе, к нему, к таким несчастным...

А ведь и не стар, сорока ему нету. А толст.

Человек в халате, едва сведённом, и вовсе ничто перед человеком в костюме.

В этой драпировке сейчас – должно решиться.

А Богрову и нужен-то всего только: один театральный билет на сегодня. Вон там они лежат, стопочкой, в кабинете.

Но говорить открыто – ещё и сейчас неосторожно. (Самого себя изломало это откладывание. Всё тело болит).

Кулябко встретил его с полусонной теплотой, не очень взорванный бомбой, не очень окостеневший от покровителей, – и другу своему подполковнику дружески растолковывает Богров те подробности, которых днём не мог по телефону: террористы поручили ему установить приметы Столыпина и Кассо. (Они – во всех иллюстрированных журналах, но сонному этого не сообразить). Для этого и пришлось идти в Купеческий сад, не пойти – никак было нельзя: террористы, очевидно, следили за ним, как он выполнит.

Шест как будто прочный, вкопан, но наверху, уже близко к куполу, – как раскачивается! вот сбросит! И неизвестно чем держась, становишься беспомощен, самые нелепые движения: где следили террористы? в саду? так сами бы и собрали приметы, хоть прямо бы и грохнули... И если так не доверяют – пойдёт ли в сад, то – как доверяют все тайны, все планы, самих себя?...

Надо бы крепче всё увязать, но уже не хватает усталого ума.

Но тем более – у сонного Кулябки. В лице Кулябки глупость – даже не личная, а типовая, если не расовая. Почёсывается, укутывается плотней, ничего не заметил, всё правильно. Спа-а-а-ать!... – он сам как тройная подушка.

И, ещё перемалывая, что было в записке, и развивая: Столыпина не видел, поручения о приметах выполнить не мог. А Николай Яковлевич настаивает... (Подготовка, что понадобится театральный билет... Но брать – нельзя. Дороже билета – доверие. Может дать и билет, но приставить трёх филёров).

Но покушение – не на Государя??...

Нет-нет.

Кулябко всё более успокаивается. Кулябко не понимает, зачем его вообще разбудили.

Да! спохватился, вспомнил жалобу из Кременчуга: приметы Николая Яковлевича слишком общи, невозможно искать, уточните, голубчик!

Какой дурак! Зачем ему Кременчуг?...

Что ж, можно. (Немного врасплох). Вот: роста выше среднего... довольно плотный... брюнет... небольшие усы (а как там было раньше?)... подстриженная борода... рыжеватое английское пальто... котелок... тёмные перчатки.

Тёмные перчатки особенно убедительны для православного жандарма: ведь у террориста – когти, надо прятать.

Пошёл Кулябко спать, а Богров – пустыми улицами, освежаясь.

Ещё раз убедился: на ночь филёрский пост снимают, за домом не следят. Или – самовольно спать уходят.

Вился, вился – какое искусство! Не отказало внимание, не отказал смысл.

Но – утром? Но утром, когда Кулябко очнётся, – ведь он же должен докладывать? Как высоко? Самому Столыпину? По смыслу – нельзя не доложить.

Так не слишком ли углубился кинжал истины?

А могли – и раньше доложить? Должны были – и раньше. И – ничего?

Не переиграл ли он со своей откровенностью?... Но скажи одного Кассо – не дали бы и билета.

В этой игре с истиной – уже чудовищная несоразмерность: премьер-министру объявят, что на него готовится покушение! Так он – обержётся, он и в театр не пойдёт?

Не спрячется. Пойдёт. Никак же не меньше, чем эту кулябку, обдумывал, изучал Богров свою будущую жертву. На вызов лётчика-эсера ответил же он тем, что сел с ним на двухместный аэроплан! Характер Столыпина – не уклоняться от опасности. Так он и встретит свою верную смерть.

Приманка поставлена прекрасно: террористы сойдутся, но не раньше полудня. Значит, раньше их брать нельзя. Раньше нельзя приходить с арестом на богровскую квартиру. (Только б не догадались проверить через Сабаева!)...

Но и – билета нельзя просить раньше: ведь не знает же Богров, что решат и что прикажут ему террористы...

Сколько там ни спал – а с утра, взвинтаясь кофе, был нервно весел. Счастливое чувство: обхитрил, победил, приблизился – и вот наступает момент, для которого ты жил всю жизнь.

Сколько там ни спал, а утренняя голова всегда сообразит больше. В ночном свидании ошибки не было, хорошо. Но и – решения нет.

Надо развить его. Допечатлеть ночное впечатление.

И – перед полуднем, за час до критической встречи террористов, хозяин квартиры вышел пешком. (Филёры уже стоят, смотрят – но за ним не идут. Доверие сохраняется).

Он вышел на Крещатик – и среди солнечного дня открыто пошёл в Европейскую гостиницу, где, он знал, Кулябко сейчас. Где, знал весь Киев, расположились на дни торжеств многие приезжие высокие власти, и пировали там. (Какая же смелость? – на просмотре у террористов, и не боится их? А вчера звонил прямо из дому в Охранное отделение, слал посыльного за билетом – терпеливые террористы всё сносят и не беспокоятся? Как это знобко видно при свете и жаре южного дня!)...

Кулябко принял его в комнате того статского советника, Веригина.

Оба. (Но не трое, и то хорошо).

Безукоризненно следить за каждым выражением.

Но дело и не в выражении, а – во втягивающем ворожении.

Неважно, что сказать, – важно, как смотреть. Перебывать всё то же. (Эти не изменились). Изменение одно: дневное свидание у террористов не состоится. (А откуда они друг о друге так точно узнают? как они это всё сговаривают?)... Встречу перенесли – на Бибиковский бульвар, на углу Владимирской, в 8 вечера. (За час до спектакля).

Отложено, но – акт не отменён?

Нет! – навстречу всем опасностям Богров. И честных глаз не сводя с обоих.

Всё-таки понимает. С двух сторон: где же он может произойти?

Правду, правду и только правду! Скорее всего... у театра. (Чуть откатнулся при конце).

Статскому советнику, промокательному пресс-папье, очень хочется показать свои полицейские способности: а как узнать террористов на многолюдной улице? И как узнать их намерение: акт состоится или опять отложен? (Если отложен, тогда повременить с арестом?)

Кулябко: если идут на акт – пусть Богров подаст знак курением папиросы.

(Всё расползается: ему – идти на бульвар? на пустую скамейку? А как же – в театр?... Всё рассыпается, и доводами спать невозможно).

А только – привораживающим взглядом, чуть набок плосковатую голову, такой милый юноша, ему хочется верить, как ему не поверить, ему надо верить...

Конечно, Богров всё готов исполнить, и папиросу. Но ему тягостно, что террористы затают его в свой насильственный акт. Он как раз к этому часу хотел бы изолироваться, отойти от этой компании, да чтоб с ними и не арестовываться. Ему хотелось бы изолироваться от бомбистов.

Но – под каким предлогом?

Предлог как раз хороший: вчера в Купеческом саду не удалось собрать примет Столыпина. Николай Яковлевич – недоволен, и требует. Так может для этой, якобы, цели – в роли разведчика для террористов, и пойти в театр?

(При режущем свете дня так ясно видна вся подмазка и как неестественно прилепился к столбу в том месте, где быть и не должен. Тут всё рассыпается: зачем же ему в театр, если встреча на бульваре, и акт – у театра? Как же он будет сигнализировать о намерениях, если изолируется? и – зачем им приметы так поздно? Но, сплавленное гипнотической волной, всё как-то удивительно держится).

Даже вот как: а в театре Богров неправильным сигналом мог бы испортить их предприятие.

(И – держится!)

В праздничной суматохе (да они же опять спешат на завтрак с шампанским), перед очевидностью успеха и наград – держится!

– Но как вы объясните им, откуда вы достали билет?

– О-о! Через певицу Регину. А она – от своего покровителя из высшего света.

Ещё непонятно: так значит, Богров не укажет террористов на бульваре?

Ну, филёры легко могут следовать за Николаем Яковлевичем от дома Богрова. А в театре Богров пожалуй будет и понужнее.

Пожалуй...

Но как же террористы проникнут в театр?

(Всё смешалось).

О-о, при высокопоставленных покровителях...

Завораживающе.

Кулябко и Веригин обсуждают ещё другие возможные варианты, в которые может быть поставлен террористами их сотрудник.

Без нажима, но чуть притерпевшись: причём, мне надо получить видное место в партере: они могут за мной наблюдать, проверять, там ли я.

Ведь Богров под жестоким контролем террористов, каждый его шаг просматривается...

Веригин: в первых рядах – никак нельзя, там – только генералы и высокопоставленные.

Кулябко: в партере, но – дальше. Билет – пришлю, если планы революционеров не изменятся ещё раз, а то они всё время меняются.

Уплыл билет? Может и нет. Настаивать нельзя. (Ослабло тело, распускаются мускулы, язык устал, глаза закрываются, сейчас – мешком по столбу вниз?)...

Домой – на извозчике: и по слабости, и как бы торопясь в стиснутое общество Николая Яковлевича, не заподозрил бы в отлучке.

В собственную стиснутость. Так хорошо плёл, переползал – и срывается? А завтра вся эта царская банда поедет по другим городам – и надо дальше переставлять как фишки – Николая Яковлевича, Нину Александровну, и придумывать ещё персонажи, сюжеты, приметы... Уже не брала голова. Срывался.

Устал... Сколько мы, превосходные, тратим энергии, искусства – и на что? Проклятье! Они превращают нас сыщиков.

Часы, часы одинокие, в безвыходном остром тупике, в перекладывании предположений. Обед с тёткой. Ничто не лезет в горло. Сам не заметил: с тёткой распустился и обронил, что был вчера в Купеческом. Изумилась: да как же попал? Петербургские знакомые помогли.

Как же можно было вчера пропустить Купеческий? Ведь такие удачи не повторяются.

Ещё вот не подумал: швейцар! Просто придут к швейцару и проверят: проходил ли парадное хоть раз вот с такими приметами?

А приготовлены, развешаны горничной – фрак, белый жилет. Этот фрак готовился для публичного адвокатского выступления, так и не состоявшегося ни разу.

Часы напряжённейших нервов. Ах, скорей бы конец, и в нём – вся награда! Кончатся прятки, сойдёмся лицом к лицу – и посмотрим, кто побледнеет. Скорей бы кончать. Скорей бы стрелять. Заслонил Столыпин весь свет.

Вдруг в комнату – стук, чей-то чужой. Револьвер – на столе, упустил прикрыть, почему-то рванулся к двери.

Полицейский!!!

## Сабаев.

Открыли?? Всё провалилось?!! Уже все комнаты проверил, никакого Николая Яковлевича?? Уже топчется в прихожей полицейский наряд??

Сабаев вежливо: можно ли ему с их телефона позвонить к себе в Охранное отделение?

Нет! Нет! (Ловушка? Ещё усилить наряд?)

Удивился Сабаев.

Нет, понимаете, в моём положении я не могу этим злоупотреблять. Это может быть замечено.

Ничего. Обошлось. Значит, он – к кухарке. Значит, там у них всё хорошо.

Ещё, ещё расхаживать, ждать, томиться. Лечь – не ложится, встать – не ходится.

Будет билет?

Как-то всё-таки перетягиваются стрелки часов. Ближе, ближе к семи. Нет сил дождаться до ровного. Позвонил Кулябке. На этот раз – он.

Голосом приглушенным (чтоб Николай Яковлевич не слышал): планы не изменились, пришлите билет.

Хорошо. Демидюк принесёт швейцару сам, скажет – от Регины.

Голос Кулябки – обычный.

Но – двадцать минут, но – тридцать минут, – не несут!

Уже и фрак надет, стеснительно жаркий, в кармане брюк – браунинг. Ходить, привыкая. Браунинг – большой, крупнокалиберный, выпирает, надо будет чем-то прикрывать.

Не несут! И, с запасной запиской в кармане, объясняющей свой преждевременный выход и задержку террористов -

... Николай Яковлевич очень взволнован... из окна через бинокль он видит наблюдение, слишком откровенное... Я – не провален ещё...

– 8 часов! уже там, на бульваре, их смотрят! – Богров выходит на улицу сам.

На первый в жизни *акт* .

Уже стемнело. Филёры. Не прорваться Николаю Яковлевичу...

Вот и сам Демидюк. Чтоб не попасть под глаза террориста из своего окна – знак ему, дальше, дальше, и к Фундуклеевской.

И вот – билет в руке!!!

Самообладательно – ещё раз перегнуть, его, и в карман фрака.

Судьба правительства. Судьба страны.

И судьба моего народа.

А по Фундуклеевской, по Владимирской, а на Театральной площади – почти сплошная толпа. Тысячи глупых людей хотят хоть глазом увидеть проезд своего глупого царя.

Автомобили и экипажи с разряженной знатью – подъезжают и подъезжают. Ещё час до спектакля, а театр полон.

(Но уже за 8 – а террористы не сошлись на бульваре. Опять отложили? – но как они всё перекладывают? По телефону? так его и подслушать можно, вот Певзнер, а если догадалась и полиция? А если отложили – то покушенья не будет? – и для чего ж идёт Богров? Да, собирать приметы и дать ложный сигнал – кому? какой? о чём? И помешать покушению – безоружный и без содействия?)...

Рядом с каждым билетёром – полицейский офицер. Как гордо иметь честный законный билет, выписанный на своё собственное имя. А фрак, безукоризненные жесты и манеры тем более сливают тебя с этой знатью.

(А вдруг вот сейчас – обшарят, и легко найдут браунинг с восемью патронами?... Страшный момент: сейчас-то и обыщут, это естественно!)

В вестибюле похаживает Кулябко. Всё-таки – ждёт известий. И – в мундире, при

орденах, вот тут, при всех открыто, готов разговаривать со своим любимцем.

Ах, какой глупый селезень, даже жалко его иногда. После того как дал билет, появилось сочувственное к нему.

За колонной: да ведь я же здесь под перекрестным досмотром, нам очень опасно разговаривать, на виду.

– Вы думаете, их агенты и в театре?

– О, ещё бы! У них связи...

По-думаешь, ещё бороться ли с ними. По-думаешь, ещё портить ли отношения.

А – свидание на бульваре? Отменено. Опять? Перенесли на частную квартиру, не известную мне. И Николай Яковлевич переедет туда, после 11 часов.

Бросило в жар Кулябку, вытирает пот из-под кительного воротника. Обкладывали, обкладывали добычу – и всё зря? Просочатся и уйдут? Вместе и с наградами? Ускользнут?

– Так слушайте, идите и проверьте: дома ли ещё он? (Ах, опять перебрал! Трудней всего – равновесие).

– Так я только что вышел – он был дома.

– Нет, нет, вернитесь и проверьте, сейчас же!

– Так я же для него – в театре, как же я вернусь?

– Ну, скажите... перчатки забыл.

В поту заёжило жирного – и как могла промелькнуть к нему жалость? Одолеть всю недостижимую неправдоподобную высоту – зачем? чтобы теперь сползть назад? Билет в кармане – и как нет билета.

– Идите, идите, голубчик! – торопит, гонит Кулябко со всей своей страстной суетой. – Идите проверьте, вернётесь – доложите.

Сползая, сползая по остроганному, но хоть без занозы. Сползать – вряд ли легче, чем подниматься. И – как уже устали все мускулы кольца!...

Идти домой? Глупо, и не протолпишься, не успеешь вернуться к началу. Не домой? – филёры доложат потом, что не возвращался.

Но – потом. **После**.

Перешёл на ту сторону Владимирской. Потолкался минут пятнадцать около кафе Франсуа. А может – за ним уже теперь следят? И вот – уже всё провалилось? А в такой толпе не откроешь слежку.

Вернулся в театр, к другому контролю. Полицейский чиновник не пропустил: билет уже использован.

Но зорко видит и спешит на выручку Кулябко: этого – пропустите! этого – я знаю сам!

Ну, что? Дома, сидит ужинает. Но – заметил наблюдение за домом, грубо следят, очень встревожен. (Раньше бы это сказать! Забыл, а в кармане даже записка).

Значит, Николай Яковлевич никуда не выйдет. Значит, Кулябке пора успокоиться.

И – ещё, ещё не начинается спектакль. Вся густая разряженная публика расхаживает по фойе, в буфетной, по коридорам – показываясь и разглядываясь. За десятки лет киевский оперный театр не видел такого собрания. Много и петербургских.

Это была – его публика! Она думает, что пришла на “Сказку о царе Салтане” да посмотреть на ожерелья царских дочерей, – а она увидит, чего не видела Россия, и ещё внукам будет рассказывать каждый: это при мне убивали Столыпина, вот как это было... Эта публика не видела, как взбираются под купол, под верхнюю площадку, – она увидит только последний фокус.

Он вот как придумал: выпирающий карман брюк прикрывать широкой театральной программкой, в полуспущенной руке.

Звонили звонки. Обдавая духами, шли дамы в цветных платьях. И – военные, военные, больше всего военных.

В генерал-губернаторской ложе, слева над оркестром, возвышался царь с парой дочерей. Царицы не было видно.

И Столыпина среди крупных чинов у подножья – сзади издали опять, не разобрать. Но



он должен быть там: театр тем и отличается от гулянья в саду, что здесь места – по чинам.

Гасли лампы. Увертюра. Раздвигался занавес. Глупые девки в идиотской деревенской избе, разряженные как можно по-русски, что-то вздорили, а вздорный царь подслушивал их и выбирал невесту.

Он вот что ещё придумывал: почему считать себя обречённым? почему после выстрела не бежать? Все, конечно, растеряются, можно выскочить из театра, схватить извозчика?...

Надо быть уверенным, что за ним не следят. Не похоже на Кулябку, а всё-таки. А если следят – тогда ничего не сделаешь, тогда успеют руку перехватить в последний момент.

Значит, в первом антракте нельзя пробовать. Первый антракт – на проверку слежки: быстро уходить в уборную одному, быстро переходить по лестницам. Хорошо, значит можно отложить акт – на один антракт.

Или – вообще отложить?...

Ведь в этом гореньи, в этих расчётах меньше всего думал: а **вообще-то** – насколько неизбежно? именно **ему** ?

Но – слишком много удачно сошлось. Как бросить бы три кости сразу – и на всех трёх по шестёрке!

И кто ж бы другой это сумел?

Антракт. Начал быстро ходить, проверять.

Нет, не следят.

Наёмным биноклем с разных мест рассматривать: где же Столыпин? И – сколько лиц и как охраняют его?

Там впереди, впереди... У подножья царской ложи никакого явного караула не было. И не угадывалась рассадка специальных людей. Там, впереди...

Да, Столыпин в белом сюртуке сидел в первом же ряду под царской ложей, и почти у прохода.

Без всякой видимой охраны. Так, собеседники.

А не время ли – вот и идти на него?

И – горячий удар внутри.

Нет, ещё какая-то неготовность, какая-то ещё разведка. Да ведь антракта – три, и ещё потом разъезд.

Небывалый партер: эполеты, эполеты, звёзды министров, звёзды и ленты придворных, бриллианты дам.

Как объявлено: народный спектакль.

Он – вот что вдруг заметил и вспотел: мужчины почти все в мундирах, военных или чиновных, а кто в гражданском – то не во фраках, а в светлом летнем, такая жара.

И только почти он один ходил между всех чёрным пятном. Заметный...

Просчёт.

И – опять Кулябко: неприлично близко подошёл, поманил в закоулок – и ни о чём же новом, просто так, разговаривать о Николае Яковлевиче.

Отделался от Кулябки только началом второго акта.

И теперь уже, из 18-го ряда в первый, уверенно видя в бинокль затылок Столыпина – только его, не спектакль, – просидел весь акт неподвижно, скорчась.

И такую ненависть в себе ощущал, что мог бы его глазами заколоть через бинокль.

Антракт.

Публика почти вся выгуливалась из зала, немногие оставались.

И опять же – Кулябко. Кивал – отойти в закоулок.

За все дни он так не кипятился, как сейчас: прошло полтора часа – и где же там Николай Яковлевич, не ускользнул ли мимо филёров? В театре – вам нечего больше важного делать, незачем дольше оставаться. А ступайте домой и следите за Николаем Яковлевичем.

Зануда, не взял слежкой – дождёт хлопотней, до третьего антракта не даст дожить. Не согласиться – не отстанет. А сейчас уйти – кончено всё.

Быстро, сразу, не возбуждая подозрений: ухожу.

И – уходить.

Понимая – что никогда уже не удастся больше. И даже – обман обнаружится через несколько часов.

Это был – последний момент!

В коридоре скрылся от Кулябки – и повернул!

И повернул! – и пошёл в зал, рискуя же снова встретиться с Кулябкой. (Ну, забыл бинокль, перчатки.)...

Не было Кулябки.

Но могло – Столыпина не быть на месте, в единственный этот момент.

## **Был!!!**

И стоял так открыто, так не прячась, так развернувшись грудью, весь ярко-белый, в летнем сюртуке – как нарочно поставленный мишенью. В самом конце левого прохода, облокотись спиной о барьер оркестра, разговаривая с кем-то.

Почти никто не попадался в проходе, и зал был пуст на четыре пятых.

Не вспомнил, даже не покосился – что там в царской ложе, есть ли кто.

Шагом денди, не теряя естественности, всё так же прикрывая программкой оттопыренный карман – он шёл – и шёл!! – всё ближе!!!

Потому что по близорукости был освобождён от стрельбы.

Никто не преграждал ему пути к премьер-министру. Сразу видно было, что ни вблизи, ни дальше никто защитный не стоял, не сидел, не дежурил. Сколько было военных в театре – ни один его не охранял. Охватил, а понимать уже некогда: он прямо и не раз им объявил: покушение будет – на Столыпина! И весь город, и весь театр был оцеплен, перецеплен, – а именно около Столыпина – ни человека!

И никто не гнался за Богровым, никто не хватал его за плечо, за локоть.

Сейчас вы услышите нас – и запомните навсегда!

Шага за четыре до белой груди с крупной звездой – он обронил, бросил программку, вытянул браунинг свободным даром -

ещё шагнул -

и почти уже в упор, увидев в Столыпине движение броситься навстречу, - выстрелил! дважды!! в корпус.

## **65**

### **(Пётр Аркадьевич Столыпин)**

Главный узелок нашей жизни, всё будущее ядро её и смысл, у людей целеустремлённых завязывается в самые ранние годы, часто бессознательно, но всегда определённо и верно. А затем – не только наша воля, но как будто и обстоятельства сами собой стекаются так, что подпитывают и развивают это ядро.

У Петра Столыпина таким узлом завязалось рано, сколько помнил он, ещё от детства в подмосковном Середникове: русский крестьянин на русской земле, как ему этой землёю владеть и пользоваться, чтобы было добро и ему, и земле.

Это острое чувство земли, пахоты, посева и урожая, так понятное в крестьянском мальчишке, непредвидимо проявляется в сыне генерал-адъютанта, правнуке сенатора (по родословному древу – в родстве и с Лермонтовым). Не знание, не сознание, не замысел – именно острое слитное чувство, где неотличима русская земля от русского крестьянина, и оба они – от России, а вне земли – России нет. Постоянное напряжённое ощущение всей России – как бы целиком у тебя в груди. Неусыпчивая жалость, ничем никогда не прерываемая любовь. Но хотя любовь как будто вся – из мягкости, а как что прикоснётся

**этого** - твёрдость дуба. И так всю жизнь.

Впрочем, это чувство земли выныривало и в конногвардейце-деде, от которого, видно, и заповедалось: не будет расцвета русскому крестьянину, пока он скован круговой порукой общины, ответом каждого за всех, принудительным уравнением, обезнадёжливими переделами земли, никогда не в сросте с нею, бессмыслицей каких-либо улучшений, и длиной, узостью, нелепостью, отдалённостью полосок пахотных и сенокосных участков. Приехав даже изблизи, с земель белорусских или малороссийских, как не подичиться этой щемящей великорусской чересполосице, хотя и умилишься устоявшемуся вековому искусству крестьян размерять и уравнительно распределять во всём неравную, негладкую, несхожую землю?

И – просто до ясности, и – сложно так, что ни взять, ни объять. Передельная община мешает плодоносию земли, не платит долга природе и не даёт крестьянству своей воли и достатка. Земельные наделы должны быть переданы в устойчивую собственность крестьянина. А с другой стороны? – в этом умереньи, согласии своей воли с мирской, во взаимной помочи и в связанности буеволия – может быть залегает ценность высшая, чем урожай и благоденствие? Может быть, развитие собственности – не лучшее, что может ждать народ? Может быть, община – не только стеснительная опека над личностью, но отвечает жизнепониманию народа, его вере? Может быть, здесь разногласие шире и общины, шире и самой России: свобода действия и достача нужны человеку на земле, чтобы распрямиться телом, но в извечной связанности, в сознании себя лишь крохой общего блага витает духовная высота? Если думать так – невозможно действовать. Столыпин всегда был реалист, он думал и действовал едино. Нельзя требовать от народа небесности. И через собственность неизбежно нам проходить, как через все искушения этой жизни. И община – порождает немало розни среди крестьян.

(Хотя наш неизбежный очерк о Столыпине и деле его жизни будет как можно деловит и сжат, автор приглашает погрузиться в подробности лишь самых неутомимых любознательных читателей. Остальные без труда перешагнут в ближайший крупный шрифт. Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы, если бы раньше того не была грубо изломана сама история России, вся память её, и перебиты историки).

**Не все дают себе труд изучить предмет, но броски все к любимым доводам: де, русская поземельная община – это лучшее создание русского народного духа, она существует от Рюрика и Гостомысла и будет существовать, пока жив русский народ, аминь! И ещё как надо вникнуть, чтоб разошёлся романтический туман: мир – был на Руси испоконь, но принудительного земельного поравнения ещё и до XVIII века не было. Мир был – церковный приход, он содержал церковь, выбирал на священство, и добрых людей судных целовальников – правду стеречи, и ведал помощью сиротам и вдовам, но не было принуждения равнять или переделывать участки, а: куда топор, коса и соха ходили – тою займкой крестьянский двор владел, и продавал, и завещал.**

**Однако с первых Романовых всё уверенней распростиралась над этой крестьянской землёй – царская воля дарения и пожалования, так что земля под крестьянской сохой и косой невидимо переобразилась в землю помещичью. А там Пётр Первый разложил свою жестокую подушную подать, обязал помещиков взыскивать её – и для успешности взыскания понадобилось уравнивать землю по тяглам, а значит и переделывать её временами. Так-то и создались общины – в одной Великороссии. Так и родилось то “извечное создание народного духа”, которое нравилось теперь с разных сторон: государственной бюрократии – удобно для взыскания податей и для порядка в деревне; землевольцам, народникам, социалистам – уже почти готовый социализм в русской деревне, археологическая святыня, ещё шагнуть – обрабатывать землю сообща и пользоваться продуктами сообща – и из сегодняшней общины вырастет всероссийская наижеланная земельная коммуна.**

**Вот, освободили крестьян. Но деревня не расцвела от того, а упала. Вослед освобождению потянулась какая-то мёртвая полоса. Земля – та же, не ширится, а**

население расплывается, так наделы падают. И несутся стоны об оскудении русского центра, о невыносимой земельной тесноте, – а удобной-то земли у нашего крестьянина – ещё вчетверо больше, чем у английского, в три с половиной немецкого, в два с половиной французского, – да только пользуется он ею худо: от этих разбросанных ненаследуемых полосок захватывает его безразличие, и где доступно взять 80 пудов с десятины – берётся 40. Община никого не защищает, но всех ослабляет. Никто из хозяев не может применить своей склонности к особой отрасли хозяйства, но все должны следовать единому способу. Говорится “община”, а надо говорить: “чересполосица с трёхпольем без права выбрать вид посева и даже срок обработки”. Всё от безразличия: ни в какой участок не надо вложить слишком усердно труда и удобрений – ведь его придётся скоро отдать в переделе, может какому-нибудь лодырю. Земельная теснота как будто должна направить на усиление обработки – нет, побеждает равнодушие и даже пьянство. И жажда крестьянина катит его сердце не как улучшить свой надел, а как прихватить бы где побольше. Земля и есть у него – и нет земли, и нет в нём острей и возбуждённой жадности, как: где бы землицей раздобыться?

Но если земля перестаёт кормить – то надо переустраиваться так, чтобы кормила? Нельзя доводить людей до нечеловеческого образа жизни.

От той же связи с землёй и что растёт из неё – Пётр Столыпин выбрал естественный факультет (Петербургского университета). От той же связи и студенчество не увлекло его ни в какое общественное возбуждение, но пошёл он на государственную службу – и в ведомстве земледелия успел поработать в одной из комиссий, ещё доводивших освободительные реформы Александра II. (В тех же годах он был и свидетель остановительных движений Александра III). Дальше служба повела уездным предводителем дворянства, там – губернским, там губернатором, и всё в губерниях западных, где земля у крестьян – чаще в подворном пользовании, – и Пётр Аркадьевич видел и убеждался, насколько это плодотворней, а где община – местами склонял крестьян к мирским приговорам на раздел, на хуторские выселки – и испытывал, что это – добро. И повсюду – свой любимый уклон и пристрастие: то склад сельскохозяйственных орудий, то сельскохозяйственное общество, посевы, покосы, посадки, лошади; своё любимое состояние: объезжать рысаков, или в высоких сапогах, непромокаемой куртке пересекать грязевища осенних полей, в это особенное время, когда земля говорит только работнику, а для всех пикникантов – покинута, неуютна.

И так уже был он самый молодой – сорок лет – губернатор в России, а тут революционеры убили очередного министра внутренних дел (Плева), и при вызванных тем перемещениях Столыпин был внезапно переназначен в крупную Саратовскую губернию, из самых революционно-бурных. Левые партии были здесь богатые (пожертвованиями богатых людей), щедро тратились на газеты и рекламации, а к властям устоялась такая накалённая непримиримость, что иные интеллигенты даже в симфоническом концерте хлопали креслами и уходили, если в свою ложу вошёл губернатор. И в самих революционных беспорядках уже устанавливался такой порядок, что при волнениях губернские власти покидали Саратов, иллюзорное же управление переходило в руки младших администраторов. (Да и среди старших, увешанных царскими орденами, выступали оппозиционерством). Ярче, чем во многих местах России, саратовское общество чувствовало и высказывало громко свою как бы несомненную правоту, а власти умели выставлять войска, никогда – аргументы, смирясь со своей как бы несомненной виновностью. Нов и неожидан выказался губернатор – рослый, прямой, с решительными движениями, властной повадкой, не из тех, какие по ночам в своих дворцах не спали от страха, но выезжал на коне без эскорта к разъярённой толпе на площади, шедшему на него парню с дубиной бросал свою шинель – “подержи!” – и голосом полновзвучным, уверенной речью уговаривал толпу разойтись. И наоборот, когда иная толпа, в оскорблённом патриотическом чувстве, в Балашове осадила здание, где собралась интеллигенция для

обсуждения политической резолюции, Столыпин спас их тоже вмешательством личным, сквозь толпу, и погромщик ещё ушиб булыжником его отроду больную правую руку.

В три первых года этого века – Девятьсот Первом, Втором и Третьем, Россия была охвачена опасно нарастающим ознобом, уже в жару. Всё указывало – начать методическое неуклонное лечение. И тут, как сталкивая заболевающего лёгочного в прорубь, открыли войну с Японией.

Не только верность службе, но верность монархическому принципу стягивают человека в дисциплине, заставляя все усумнения и ропот перемалывать в себе, и даже если всё отрывается внутри – соблюдать внешнюю бодрость. Смутны истоки войны, нечётка её неизбежность на русском пути. От этого трудно найти в себе влечение к жертве, ещё труднее разбудить в других. Но есть зов царя – и каждому сыну родины остаётся... (На таких безвыгодных речах развивалось умение говорить и вера в то, что говорить он умеет).

В *передовой* губернии и покушения на власть были передовыми. В бурную осень 05 года в доме Столыпина в Саратове был разнесен бомбой генерал-адъютант Сахаров, присланный подавлять мятежи. (Эти бомбы бросались очень просто: приходила просительница с жалостным лицом. А эти каратели были доступны любому необысканному просителю даже и в неслужебные часы).

Первое покушение на Петра Аркадьевича было тем же летом, при объезде губернии, просто в деревне: два револьверных выстрела. (Как и последнее...) Столыпин сам бросился догонять стрелявшего, но тот убежал. Второе – на театральной площади, при возбуждённой, недоброжелательной толпе: с третьего этажа к его ногам упала бомба, убила нескольких – но губернатор остался невредим и ещё уговорил толпу разойтись. Третий раз (как и последний) покушитель уже навёл револьвер в упор, тоже перед толпой, – Столыпин распахнул пальто: “Стреляй!” – и тот обронил револьвер. Не удавалось самого – стали приходить анонимные письма (революционная этика): отравлен будет ваш двухлетний сын, готовьтесь! (Единственный сын после пяти дочерей).

Но и все покушения не остерегли Столыпина, не отвадили, напротив – он ещё решительней ездил по губернии, в те именно места, где гуще бурлило, где дерзей всего левые, – и всегда безоружным входил в бушеванье толпы. И утишал – речами, всё более владея своим голосом и спокойствием, не крича, не угрожая, но разъясняя. При внутреннем ядре его жизни, крестьянам – он только и мог *объяснять*, он больше всего это и любил: глядя прямо в глаза, объяснять, – метод, забытый русской администрацией. Делить помещичью землю? – Тришкин кафтан, не прикроет; даже если всё разделить – не намного обогатитесь; а без царя – и все пойдёте нищими. У крестьян он имел и успех наибольший – они слушали его благожелательно, и бывало, что бунтарская сходка требовала священника и служила молебн о царе.

Молодой саратовский губернатор, чем более думал, тем более проникался, что грозны для России не демонстрации образованной публики, не волнения студентов, не бомбы революционеров, не рабочие забастовки, даже не восстания на иных городских окраинах, – страшно и угрозно для России только стихийное пламя крестьянских волнений, погромная волна – такая, что от одной горящей усадьбы можно докинуть глазом до другой. Так и в Саратовской губернии в 1905 не было недостачи в этих поджогах, перебрасывавшихся как зараза, так что крупные владельцы уже и не бывали вовсе в своих усадьбах. На сельских пространствах шла необъявленная пожарно-революционная война. И вместе с тем, сколько мог видеть сосердственный наблюдатель, – это вовсе не было следствием революционных идей в народном сознании, но – взрывами отчаяния от какого-то коренного неустройства крестьянской жизни. Это безвыходное неустройство такую трещиной проходило в крестьянской душе, что даже в крупнурожайный год, как минувший 1904, большие заработки

крестьян не послужили к устройству их положения или лучшему ведению хозяйства, но по большей части растрчивались по винным лавкам. Что-то запирало крестьянину всякую возможность улучшения, упрочения. А запирала: невозможность подлинно владеть землёю, которую одну только и любил и мечтал иметь крестьянин. Путь ему перегораживало, самого крестьянина заглывало – общинное владение. И судьба России и спасенье её: остановить эти погромы усадеб, эту крестьянскую раздражённость. Но – не карой, не войсками, а: открыть крестьянину пути свободного и умелого землепользования, которое и обильно бы кормило его и утоляло бы его трудовой смысл. Путь был только один: возвышение техники обработки.

В конце каждого года полагалось губернаторам посылать на высочайшее имя рутинный отчёт о состоянии губернии. Каждый год Столыпин не мог удержаться не вписать туда что-то из своих заветных мыслей о крестьянстве и земле. Кончая же 1904, саратовский губернатор переступил все формы бюрократической записки и вложил свои излюбленные наблюдения и страстное Сочувствие, пытаясь убедить читающего (вообразительно, – самого Государя): нужно открыть выход из общины в самостоятельные зажиточные поселения. И такие устойчивые представители земли смогли бы в опору трону, устойчивому государственному порядку, противостоять городским нетерпеливым теоретикам, их разрушительной пропаганде, – создать в противовес им крепкую земельную партию.

Давнее зерно всей жизни должно было где-то пробиться ростком, не удивительно, вот и пошло стеблем живым через толщу бюрократического отчёта. Но таких губернских отчётов до ста собиралось в Петергофе, красиво переплетенных да бесплодных, и не всех судьба была испытать прикосновение к себе царских пальцев, не то что перелист, не то что внимательное чтение. Чудо русской истории, что монарх – не слишком напряжённый читатель и мыслитель – именно эти страницы (по чьему ли совету? уже никогда не узнаем) прочёл, и стебель их пробился к его сердцу, отнюдь не бесчувственному, а в зажатости и застенчивости мечтавшему найти бы путь к народному благу, да только неусильный; но были бархатом завешаны зренье и движенья императора. (Может быть на эту отзывность и намекнёт Столыпин через три года:

... минута, когда вера в будущее России была поколеблена, нарушены были многие понятия, не нарушена только вера Царя в силу русского пахаря.

Не явно, но именно главная связь русской земли и должна проявляться в её роковые минуты; именно такую цепочку допустимо предположить и здесь).

И в апреле 1906 полетела вызывная телеграмма из Петербурга в Саратов. Государь принял Столыпина ласково, сказал, что давно следит за его деятельностью в губернии, считает его исключительным администратором – и вот назначает министром внутренних дел.

Среди сотен государственных назначений – почти всегда ошибочных, близоруких, даже ничтожных – чудо русской истории было это назначение 26 апреля 1906 в первый думский кабинет, в канун открытия 1-й Государственной Думы, через три дня после объявления первой русской конституции, на рубеже нового, думского периода России. Приходила Дума – но и правительству было кем встретить её.

Столыпина озадачило: такого возвышения невозможно было предвидеть, он не готовился к такой ответственности и к такой власти. Да, он был и уверен в своей силе, и знал себя прирождённым вождём, и у него много было соображений выше, чем губернских, но...

“Это против моей совести, Ваше Величество. Ваша милость ко мне превосходит мои способности. Не благоугодно ли было бы Вам назначить меня лишь *товарищем*?... Я не знаю Петербурга и его тайных течений и влияний...”

Нет, Государь в этот раз не колебался.

Впрочем, дар отравленный: уже двое предшественников на этом посту убиты.

Соображений выше, чем губернских: если не явится спаситель с крепкой рукой и крепкой головой, монархия погибла. Но Столыпин вправду явился в Петербург не столичным чиновником, а волевым посланцем русской провинции. (Министры на заседаниях морщились от его провинциальности).

Есть два пути к посту министра внутренних дел: по лестнице полицейской и по лестнице административной. Путь прихода потом сказывается перевесом деятельности первой или второй. Все мысли Столыпина были склада общегосударственного. А вот прежде надо было дать чужой полицейский бой – да такой, какой русская революция ещё не встречала и не ждала.

1-я Дума собралась – уверенная в себе, резкая, громкая, с неостывшими голосами от едва выхваченной победы. Дума собралась – бороться против любого законопроекта, какой бы ни был предложен этим правительством. Когда этой Думе прочитывали с трибуны, сколько террористических убийств совершено в разных местах, – иные депутаты кричали с кресел: “Мало!” Дума собралась непримиримее и резче, чем сама Россия, собралась – не копаться в скучной законодательной работе да по комиссиям, не утверждать да исправлять какие-то законы или бюджеты, а – соединённым криком сдунуть с мест, сорвать и это правительство, и эту монархию – и открыть России путь блистательного республиканства из лучших университетских и митинговых умов под благородной, среброволосой копной профессора Муромцева. В первой же резолюции эта Дума потребовала: отнятия и раздела помещичьих земель! упразднения второй палаты – Государственного Совета (чтобы быть свободнее самой)! да и – отставки правительства, чего уж! Собранная Дума публично требовала начать законодательную жизнь с изменения конституции (что вне Думы считалось уголовным преступлением) и так обещала обществу новую форму революции! В Думе сидели (чаще вскакивали) почти открытые эсеры, почти открытые террористы, легальные представители нелегальных партий, но более всего – кадеты, цвет интеллигенции двух столиц и десятка самых разговорчивых городов, – и они торжествовали своё умственное превосходство над бездарным дряхлым правительством, никогда, кажется, не давшим ни оратора, ни ума, ни государственного мужа.

Для них внезапным встречным ударом выдвинулся никому не известный Столыпин – не генерал и не чиновник, без единой орденой ленты, не тряская старая развалина, как было принято, но неприлично молодой для российского министра, – шагом твёрдым всходя на трибуну, крепкого сложенья, осанистый, видный, густоголосый, в красноречии не уступая лучшим ораторам оппозиции, и с тою убеждённою в мыслях, живых и напряжённых к отстаиванию, какие не сотворятся ни чинами, ни годами, ни шпиргалками. С той убеждённою в правоте, которую не раздёргать, не высмеять, не отринуть, с тою уверенностью, что никакой здравомыслящий не может же с ним не согласиться, – и левые колыхались, возбуждались, вскакивали с рёвом, стучали ногами, крышками пюпитров – “в отставку!”.

А Столыпин стоял не согбась, овеянный вызывающим спокойствием. Быть может, и он ожидал встретить здесь не этих, по арифметике населения он мог бы рассчитывать встретить здесь Думу крестьянскую, но вот оказалась такая – он и к ней обращался со всей серьёзностью, надеясь и этих убедить, нисколько не подлаживаясь под оттенки их стиля, нисколько не стыдясь обруганного понятия “патриот”. Он и их призывал к терпеливой работе для родины, когда они собрались прокричать лишь – к бунту! Бунт упущен был в главных городах, неосуществив одною профессорскою учёностью, но ещё можно было вздуть его через деревню: разбудить крестьянство возывом к захвату помещичьих земель – и тогда сами вспыхнут пожары, заревут погромы – и сдунется трон, и Россия станет счастливой, демократической. Но именно на этой деревенской дорожке, устойчиво опираясь, и стоял против Думы всё тот же Столыпин: не земельные подачки, не беспорядочная раздача земли! Как всякое

созревшее историческое действие, общинная реформа была обдумана на верхах и до Столыпина – но он был первый, кто отдал ей всю волю, всю веру и свою судьбу. Теперь-то, в разгар революции, тем более реформа эта стала жизненно нужна. Столыпин настаивал перед Думой, что Россия в целом не разбогатеет ни от какого передела, а только разгромятся лучшие хозяйства и уменьшится хлеба. Он напоминал земельную статистику, совсем неведомую тёмным мужикам (никто из правителей, из тёплых поместий, никогда не просветился объяснить её народу), но и для кадетов настолько досадливую, что они её не хотели признать и усвоить: казённой земли – 140 миллионов десятин, но это большей частью тундры да пустыни, остальное – уже в крестьянских наделах; всей крестьянской земли – 160 миллионов десятин, а всей дворянской – 53, втрое меньше, да ещё и под лесами большая часть, так что, и всю до клочка раздели, – крестьян не обогатить. Так – не раздача земель, не успокоение бунта подачками. Землю надо не хватать друг у друга, а свою собственную пахать иначе: научиться брать с десятины не по 35 пудов, а по 80 и 100, как в лучших хозяйствах.

Но заложены были уши и левых, в Думе и вне Думы, услышать доводы его:

Правительство желает видеть крестьянина богатым, достаточным, а где достаток – там и просвещение, там и настоящая свобода. Дня этого надо дать возможность способному трудолюбивому крестьянину, соли земли русской, освободиться от нынешних тисков, избавить его от кабалы отживающего общинного строя, дать ему власть над землёй;

и заложены уши правых:

Землевладельцы не могут не желать иметь своими соседями людей спокойных и довольных вместо голодающих и погромщиков. Отсутствие у крестьян своей земли и подрывает их уважение ко всякой чужой собственности.

(Может быть через свою собственность поймут и крестьянскую нужду).

Со всех сторон все городские люди и все кадеты защищали общину – иным совсем и ненужную, непонятную, чужую – но из своих расчётов или из игры политики.

В конце июня правительство обратилось к населению, пытаясь что-то объяснить из сути дела, – в начале июля постановила и Дума: обратиться мимо правительства прямо к населению, что никогда не отступит и не даст себя уклонить от принципа принудительного отторжения частных земель!

Дума сама отлила свою судьбу! Это был прямой крик законодательного учреждения: мужики, отбирайте землю, убивайте хозяев, начинайте чёрный передел! Только не совпал политический календарь с природным: ещё хлеба на корню. Но вот как справятся с уборкой – и заполыхает?

И что же было с такой дерзкой Думой делать? Вызываемый, среди других, на консультации в Петергоф, где Государь замкнуто жил по революционному времени, Столыпин мог понять, что в близком окружении Государя довлела неразбериха. Дума оказалась дерзка к правительству – но ведь она народная и, стало, не может не быть лояльна и даже родственна своему народному царю. Глас народа требует отнятия земель у помещиков – но может быть на это надо и пойти? Тайно велись переговоры с лидерами думских кадетов – и те охотно соглашались брать власть, но не обещая никакого снисхожденья взамен. А между тем наторелый, но престарелый, срок службы переживший Горемыкин едва удерживал правительственный руль, и очень хотел его передать, и сам твёрдо указывал на Столыпина. (Такое назначение и вовсе было бы сотрясательно и громоподобно для Двора: первым министром всегда назначалось лицо в соответствии со старшинством службы, числом уже полученных наград, достаточно близкое ко всем приближённым, никому не досадившее, а то и услужливое). Но столыпинская программа решительных мер столкнулась с прекраснородушной программой другого кандидата в премьеры Дмитрия Шипова.

Любовь к народу бывает разная и разное нас ведёт. Шипов, заслуженный земец, чистейший нравственный человек, всю жизнь и отдал этому служению



народу-богоносцу. Донашивая лучшие представления, что все люди в основном добры и народ добр, лишь не умеем мы дать расцвести его судьбе, Шипов отказался принять от Государя возглавление кабинета министров при кадетском в Думе большинстве: возглавить и должны были избранники народа кадеты. И тем более он возражал против разгона Думы – не по взрывоопасности такого действия, но: какая есть, неработоспособная, неработоохочая, бунтарская – пусть, пусть Дума делает ошибки! Куда б она Россию ни завела, это естественное развитие: население будет знать, что это – ошибки его избранников, и исправит при следующих выборах.

А Столыпин возражал, что прежде такой проверки свалится вся телега. Что в России опаснее всего – проявление слабости. Что нельзя так покорно копировать заёмные западные устройства, но надо иметь смелость идти своим русским путём. Мало иметь правильные мысли – нужно проявить и волю, осуществляя их.

А Шипов возражал, что и уверенная воля и успешные действия – тоже не всё, но выше того должна быть глубина нравственного мирозерцания – и в его недостатке он винил Столыпина.

В те первоиюльские дни в петергофской тиши определялся ещё один узел русской жизни, которые вот так зачистили. Разогнать Думу? – вызвать горшую бурную революцию? Не разгонять? – катиться в неё же?

Всего два-три дня петергофских консультаций были у Столыпина, чтобы решиться на принятие великой и горькой власти. И он хорошо понимал, какое наследство ему предлагают: после нескольких десятилетий, упущенных в государственном строительстве, после нескольких месяцев, уступленных расползу революции.

Доводы Столыпина убедили Государя (но в сильнейшем колебании; уже дал согласие, уже объявили роспуск, – а всё не ставил последней подписи на указе). Решение состоялось: новым председателем совета министров был назначен Столыпин – принять все последствия вызванной бури. Два месяца назад ещё губернатор – вот премьер-министр.

Прошлой осенью там, в Саратове, как и все остальные тогда губернаторы, как и все провинциальные власти, Столыпин был изумлён, застигнут полной внезапностью Манифеста 17 октября 1905. Не только не было о нём никакого предварения, предупреждения, но само опубликование произошло так нелепо, что в иные места текст его прибывал раньше частным образом, а не правительственным (а слухи ещё раньше), печатался в местной частной типографии и вывешивался в окне еврейской аптеки – на соблазн постовых городских, к полной растерянности властей и к восторгу интеллигентской публики. И толпы стягивались трясти ворота губернской тюрьмы на сутки и на двое раньше, чем по тюремному управлению сообщался приказ о выпуске амнистированных.

Манифест, поворачивавший одним косым ударом весь исторический ход тысячелетнего корабля, как будто был вырван из рук самодержца вихрем поспешности? едва ли не раньше, чем тот сам перешёл его второй раз? Дан в таких попытках, в такой катастрофической срочности (отчего? как это было понять из Саратова, Архангельска, Костромы?), что не только разъяснений местным властям не было подготовлено и послано (и все толковали его по-своему, революционеры – как можно шире, и в городах сталкивались до крови демонстрации сочувственные и враждебные), – но в самом себе Манифест ещё не содержал ни одного готового закона, а лишь ворох обещаний, почти лозунгов, первой всего – свободы слова, собраний и союзов, затем: к выборам в Государственную Думу

привлечь те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав.

Означало ли это всеобщее равное голосование? Чего проще было бы сказать? – обходчиво не было сказано. Зато с торопливостью:

Установить незыблемо, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы.

Неизвестно ещё как выбранной в будущем, ей уже заранее доверялась неизменность той будущей системы. Торопились влезть в петлю и затянуть её на своей шее. Сама же избирательная система пришла двумя месяцами позже, от кружка расслабленных государственных старцев, и опять поспешная, плохо обдуманная, десятикратно запутанная: и не всеобщая, и не сословная, и не цензовая, например перед рабочими даже заискивали, давая им гарантированные места в Думе, отделением ото всего населения укрепляя в них ощущение своей личности.

А даже и не был избирательный закон результатом только испуга и поспешности, но лежали в его основах ошибки коренные. Одна: что необъятная, неохватная, почти целый материк, богатырская и дремучая, ярко самостоятельная Россия не может и не должна открыть ничего подходящего себе другого, чем выработали для себя несколько тесных стран Европы, напоённых культурой, с несравнимой историей и совершенно иными представлениями о жизни. Другая ошибка: что вся крестьянская, мещанская и купеческая национальная масса этой страны нуждается в том именно, чего требуют громким криком бесосновательные кучки в нескольких крупных городах. И третья: что при несхожем по образованности, по быту, по навыкам составе населения уже созрела пора и вообще возможно разработать такой избирательный закон, чтобы вся корявая масса послала в Думу именно своих корявых представителей, соответствующих истому облику и духу России, а не была бы на подставу подменена острыми развязными бойчаками, которые выхватят ложное право глаголить от имени всей России. В деревнях выборы были почти всеобщие (и, как корове седло, тайные), но за две и за три ступени происходила подмена депутатов. Ради мнимой простоты, не предусматривались уездные избирательные собрания, где встречались бы выборщики от отдельных разобщённых курий, узнавали бы друг друга и посылали бы в губернию от своей уездной совокупности таких лиц, кто могли бы дальше представлять уездные интересы, были бы известны своему населению, достойные и почвенные деятели. Вместо этого выборщики от уездных курий ехали прямо на губернское собрание, тонули там в незнакомой толпе, особенно терялись крестьяне, не готовые ко всей системе выборов, и образованные кадеты легко изматывали их на губернских собраниях. Да и все, забыв уезды, сбивались по классовому признаку, что и открывало путь речевитым политическим главарям. Так расплылась в ничто и опора на крестьянство. Такая подмена ещё на многие десятилетия обрекала Россию не быть представленной в своём парламенте своими истинными представителями: те истинные смутятся, тем истинным ещё надо было развить в себе уверенность, грамотность, лёгкость речи, широту кругозора, государственный опыт. А, пожалуй, ничто для общественной русской жизни не было важнее и лучше, как: на живом деле развивать все виды земств и особенно волостное, с которым медлили уже 40 лет.

По обещаниям Манифеста собирался в Петербурге парламент, но не 82% его, как в самой стране, представляло сельское население. Власть тоже боялась возобладания крестьянской численности в парламенте: тёмная масса, совсем не созревшая к правовому сознанию (но тогда и зачем же парламент?), поглотит культурные органические элементы общества. Сростясь с имущим напуганным дворянством, российская государственная власть и в прошлом царствовании и в нынешнем не доверяла своим крестьянам и, декорируя парламент, тоже искажала их нормальное развитие. Не доверяла истой сущности России и её единственному надёжному будущему.

Манифест 17 октября был не только суетлив и плохо продуман, но – неясен и двойственен. Вобранный затем в раму конституции 23 апреля 1906 (названный “Основными Законами”, чтобы не дразнить уха Государя), он как будто и ограничивал самодержавие, а как будто пытался его и сохранить. Манифест только дальше

распахнул ворота революции, а теперь призываемому премьер-министру предстояло закрыть их, оставаясь под сенью Манифеста же: только законными методами законного правительства. Руками, оплетенными пышноцветными лентами Манифеста, надо было вытягивать живую Россию из хаоса. Но принимая должность, Столыпин и понимал, за что берётся и на каких условиях. Какая ни создавалась в России конституция, разделившая прежде единую власть, – ему теперь доводилось первому с этой конституцией обращаться, учиться самому и учить других – вести Россию новым, необычайным средним фарватером. Он намеревался честно и упорно выполнять эти обязательства – и теперь принимал к себе в кабинет лишь таких министров, которые искренне согласны с новым конституционным строем. Он понимал, что сразу же густятся враги на двух крылах: крайне-правые, желающие изорвать Манифест и вернуться к бесконтрольному управлению, и по-русски неумеренные либералы, желающие не хода кораблю, но завалить его на противоположный бок и придавить противников.

А весь сегодняшний размахистый расшат России Столыпин, как губернатор и премьер-министр, слишком хорошо обнимал представлением. Это не была прежняя цельная устойчивая страна. В революциях так: трудно сдвигается, но чуть расшат пошёл – он всё гуще, скрепы сами лопаются повсюду, открывая глубокую проржавь, отдельные элементы вековой постройки колются, оплавляются, движутся друг мимо друга, каждый сам по себе, и даже тают. Вместо прежней “земли и воли” лозунг революции стал теперь: “вся земля и вся воля”, настаивая, что от воли Манифест кинул только клочки, а землю – будут отнимать решительно всю, никому ни клочка не оставив.

Как будто существуют, сильно помягчавшие, законы о союзах, – но союзы (инженеров, адвокатов, учителей) вольно действуют, даже не пытаясь легализоваться, как им любезно предлагается. Печать свободна, она течёт, не спросясь правительства, – и вот враждебные правительству лица используют её для растления населения (а значит – и армии!). Уж как наименьшее: легальная печать “воспроизводит без комментариев” любую дичь революционных воззваний, любые резолюции нелегальных конференций. Целый Совет рабочих депутатов интеллигентны укрывали на частных квартирах и печатали его разрушительные призывы. Разлитое общественное настроение: верить всякой лжи и клевете, если они направлены против правительства. Пристрастие прессы: безответственно печатать эти клеветы и не опровергать потом – пресса захватила себе власть сильнее правительственной.

В учебных заведениях хоронятся склады революционных изданий, оружия, лаборатории, типографии, бюро революционных организаций. Но всякий раз, когда полиция протягивает туда руку – *общество* и пресса взывают о злоупотреблении властей, о вмешательстве их в неподлежащие дела, а учебное начальство, бессильное внести успокоение, еще подлаживается к бунтующей молодежи и оспаривает результаты обысков. На заседании учёного педагогического совета передают из рук в руки фуражки и ридикюли с надписями: “на пропаганду среди рабочих”, “на вооружение”, “в пользу эсеровского комитета”...

В гражданских и военных судах по политическим делам пристрастные послабления в пользу виновных: тяжёлых уголовно-революционных убийц освобождают до суда, под крики толпы применяют смягчения, равносильные оправданию, или откладывают дела, или даже не начинают их.

Революционеры повсюду наглеют, везут из-за границы оружие в опасных для страны количествах. Они силой выгоняют на мятежи или на забастовки. Где не удаются забастовки – там портят мосты, железнодорожное полотно, рвут телеграфные столбы, чтобы добиться развала страны и без забастовок. И охотно громят во множестве казённые винные лавки.

А местные власти – расшатаны, разъединены, нерадивы, да более всего –

напуганы, как бы не тронули их самих. Кадетствующее чиновничество получает содержание от правительства и одновременно проявляет свою к нему *оппозицию* : состоит на государственной службе, а тайно – агитирует или участвует в революционных группах, – иногда по сочувствию к ним, иногда по боязни мести. Представители власти – как в параличе вялости, растерянности, боязни. Служащих, деятельных против дезорганизации, террористы безнаказанно убивают.

Страх, одолевший власть, это – уже поражение её, уже – торжество революции, даже ещё не совершённой.

Также и полиция в дремоте или в страхе. Низшие полицейские чины и стражники, сжившись с местным населением, долго не обращают внимания на растущее вокруг брожение – а потом оно взрывается и губит их самих первыми: низшие чины – самые незащищенные, на них-то посягательство самое и лёгкое, к городским, по роду их службы, могут обращаться за справками все проходящие. И террористы пользуются этим. Уездная полиция перед враждебно-настроенной толпой часто проявляет совершенную слабость в действиях и только развращает этим массу, толкая на новые выходки.

А деревенские раскинутые просторы – и тем более без наглядку и удержу, и любые агитаторы успешно сеют на них возбуждение. Вот, трое городских агитаторов, с девушкой, подняли 400 крестьянских подвод на разгром сахарного завода: они сами – в масках, и в квартире управляющего играют на рояле, пока крестьяне громят завод. Пришлые поджигатели – не соседние крестьяне – распарывают животы скоту на племенном заводе, и быки и коровы подыхающе режут над своими внутренностями. Крестьяне жгут имения, библиотеки, картины, рубят в щепки старинную мебель, бьют фарфор, топчут ногами, ломают, рвут, где – не дают спастись из горящих домов, где – увозят награбленное возами. (Разгромили и усадьбу помещика-либерала, и он просит помощи губернатора). А сельское духовенство, многолетне подавленное, не в силах остановить мятежные движения своей паствы. (А иные городские батюшки даже и сами действуют против правительства).

На аграрные беспорядки высылаются большие армейские отряды, иногда целые полки. Они бессмысленно содержатся стянутыми – и тогда остаются без охраны угрожаемые районы, или их дробят мелкими подразделениями – и эти маленькие отрядики становятся добычей агитаторов. Гражданские начальники развращаются правом пользования необычными войсками в необычном месте: создают себе чрезмерные конвои при разъездах, ставят возле своих частных квартир целые отряды с артиллерией, пользуются нижними чинами для личных услуг – и так оскорбляют войска, действуя разрушительно, как и те агитаторы.

А брожение страны перекинулось, конечно, и в воинские части. Идут солдаты по увольнительной в город – и там стоят на митингах (вперемешку с гимназистами). Вне казарм для солдат полное безначалие, хоть и пьянство. Да одних газет начитавшись, впору только бунтовать, ничего другого. Впрочем, агитаторы являются и прямо в казармы, лишь натянув военную одежду, и беспрепятственно агитируют здесь, и тащат кипы листовок. И уже установилась терминология: что Россией правит шайка грабителей, армией командуют враги трудового народа, – и никто в армии (и в России) не научен возразить, а только – ловить и наказывать. Агитаторы используют каждое слабое место, каждый промах – замедление отпуска призывных, опоздание со сменой обмундирования, худые харчи, невыписку проездных билетов. Запущенность, конечно, есть везде, запущенность оттого, что страна опоздала в развитии, а потом, этим же революционерам сопротивляясь, – несколько десятков лет не развивается нормально, поэтому агитаторским языкам легко. А в воинских частях никакого наглядку за агитацией нет, и воинские начальники привыкли рапортовать “в части всё благополучно”. Армейское командование, как все гражданские власти, окостенело или слишком быстро напугано, оно вдруг разрешает общую сходку в казарме и предлагает

составлять требования. И требования составляются (партийными агитаторами): “дать ответ в трёхдневный срок! это не улучшение довольствия, если в день добавили полфунта мяса!”.

Да, но и платить бы солдатам не 22 копейки в месяц, и курить разрешать не только в отхожем месте, а за неотданье чести не ставить бесчувственной чуркой. Как и с крестьянами, как и с рабочими, запущенность в армии большая. Есть окостенение традиции, и полковникам и поручикам кажется: ни над чем не надо думать, будет вот так само-само-само плыть ещё триста лет.

Передние ноги коней российской колесницы уже плавали над пропастью – и не много было минут размышлять: хватать ли за узды разнесшихся коней? принимать ли непосильную власть в непосильный момент?

А ещё и в эти самые дни петергофских консультаций братишки-террористы успели убить одного генерала в самом же Петергофе (спутали по мундиру, приняли Козлова за Дмитрия Трепова), одного адмирала в Севастополе.

И лёг под высочайшую подпись первый указ, ведомый мыслью и пером Столыпина:

Выборные от населения вместо работы строительства законодательного уклонились в непринадлежащую им область, к действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населению.

Роспуск Думы вполне мог показаться – и казался! – не последневременным хватаньем под узды, а ещё одним отчаянным толчком – туда! в ту пропасть! (Государево окружение и Трепов страшились этого шага).

Но то был риск хладнокровной руки, знающей, что: уже взяла – и держит!

Да восстановится же спокойствие в земле русской и да поможет нам Всевышний осуществить главнейший

выделял Столыпин

из царственных трудов наших – поднятие благосостояния крестьянства. Воля наша к сему непреклонна, направлял Столыпин царскую волю, и пахарь русский, без ущерба чужому владению, получит там, где существует теснота земельная, законный и честный способ расширить своё землевладение.

Верим, что появятся богатыри мысли и дела и что самоотверженным трудом их...

Тут и была вся программа начатого боя: обе стороны хотели *поднять* крестьянство: радикальные интеллигенты – поднять на поджоги и погромы, чтобы развалить и перепрокинуть русскую жизнь, консервативно-либеральный правитель – поднять крестьян в благосостоянии, чтобы русскую жизнь укрепить.

А ожидая удара революции, в тот же день Столыпин ввёл по Петербургской губернии – положение чрезвычайной охраны.

Так уверенно рвалась Дума к горлу власти, казалась – неудержимой, предвидела победу и никак не ждала встречного удара! И – что же теперь? Удар был нанесен, наступил момент испустить клич революции! Но – клич неожиданно не испустился. Испустился как бы воздух из проколотого шара – сперва громче, но сразу и тише – Выборгское воззвание.

Однако кроме оробевших кадетов в разогнанной Думе были и боевые эсеры (переназванные для легальности в “трудовиков”) и захлёбчивые социал-демократы. Эти – опубликовали в Петербурге 12 июля

## МАНИФЕСТ К АРМИИ И ФЛОТУ

...Солдаты и матросы! Мы были избраны заявить царю про народные обиды и добиться земли и воли. Но царь послушал богатейших помещиков, которые не желают выпустить из рук именья... манчжурских генералов, которые убегали от японцев и

расстреливали Москву... Зачем вы будете защищать правительство? Разве вам хорошо живётся? Вас отдают в рабскую службу денщиками... Мы хотели издать законы о денежном жаловании солдатам, о запрещении всяких оскорблений.

**Мы, законно избранные представители от крестьянства и рабочих, объявляем вам: без Государственной Думы правительство незаконно! Вы присягали защищать отечество. Ваше отечество – это русские города и сёла. Всякий, кто будет стрелять в народ, есть преступник, изменник и враг, им не будет возврата в родные селения. Правительство вступило в переговоры с австрийским и германским императорами, чтобы немецкие войска вторглись в нашу страну. За такие переговоры мы обвиняем правительство в государственной измене! вне закона! Солдаты и матросы! Ваша священная обязанность – освободить народ от изменнического правительства! В бой за землю и волю!**

Как всякая революционная прокламация, терпела и эта без проверки любую дичь, хоть и переговоры с Германией. Но здесь не только взрывались слова: уже мотались революционные гонцы между Севастополем, Кронштадтом и Свеаборгом – поднять восстание в единый срок! (Даже не скрывали план: после уборки хлебов зажечь восстания сельские, войска кинутся туда, – а передовые крепости тут и восстанут). Вновь раздуть восхитительный багряный воздух революции!

Тут не случайно замелькала Финляндия – и Выборг, где можно было воззвание оглашать, и Свеаборг – главная морская крепость на островах у самого Гельсингфорса. Уж когда по всей России ослабли законы, то в Финляндии они почти и вовсе не действовали. Едва разогнали Думу – именно сюда штабс-капитан русской службы Цион телеграфно звал думцев: “будете под защитой пушек Свеаборга!”. Именно в Гельсингфорс кинулись революционеры из эмиграции и самой России, именно в его кофейнях и скверах заголосили лучшие ораторы, а матросы и солдаты гарнизона беспрепятственно слонялись от митинга к митингу, слушая об измене русского правительства и что пришло время свергать его. По финским законам не только не мешали тем митингам, но по Гельсингфорсу маршировали вооружённые отряды открыто за революционеров; действовало легальное издательство “Фугас” и выходил социал-демократический “Вестник казармы”, звавший к восстанию против “террористического правительства” и “всероссийского палача”.

Финляндия! Это была ещё одна из проноз заболевшего российского тела. Для какого-то величия, украшения или мнимой пользы России, включили в неё Финляндию, отобрав у Швеции, признали её конституцию на 100 лет раньше российской; дали ей парламент на 60 лет раньше нашего; дали вольности Александра I и Александра II, на которые внутри самой России не решились до сих пор; освободили от воинской повинности; дали финнам привилегии на территории Империи; так устроили валютную систему, что финны жили за счёт России. Потом, двумя ослабленными границами – финско-шведской и финско-русской, открыли лёгкий проход из Европы революционерам, революционной литературе и оружию. И всех тех дарований Столыпин не имел права теперь не признать. Финляндия стала для российских революционеров более надёжным убежищем, чем соседние европейские государства: оттуда, по договорам с Россией, их могли выдать, а финская полиция вообще за ними не следила, и русская не могла иметь в Финляндии агентуры. Финляндия стала легальным заповедником и плацдармом всех российских конспираторов, гнездом изготовления бомб и фальшивых документов. Здесь, под куполом почти западной свободы, в 25 верстах от столицы России и неотграниченно от неё, – проводились десятки революционных конференций и съездов, готовился террор для Петербурга, сюда же увозили награбленные террористами деньги. Началась российская смута – под видом мирной классовой организации была разрешена финляндская “красная гвардия”, она открыто по всей Финляндии проводила воинские

учения и парады, даже под стенами Выборгской крепости, нападала на жандармов, – и от этого всего наплыва могучая Россия могла только отгородиться белоостровским кордоном.

В Финляндии же 17 июля вспыхнул дикий Свеаборгский мятеж – сразу с побоища между восставшими артиллеристами и невосставшей пехотой. Таким побоищем между русскими солдатами и протёк он все три дня. Присоединяться к бунту заставляли под угрозой смерти, офицеров арестовали (показав и другие жребии: кого застрелили, кого подняли на штыки и утопили, один застрелился сам). “Бей офицеров!” и был лозунг, под которым звали пехоту, но пехота в восстание не пошла, и за это три дня её поливали тяжёлыми пушками, а она отстреливалась полевыми. В этой взаимной канонаде и при взрыве пороховых погребов, с которыми без офицеров не управлялись, от русских снарядов погибло несколько сот русских солдат. К восставшим сбежалась несколько десятков каких-то гражданских бесов – и три дня они поджигали это взаимное уничтожение, а в последнюю ночь Цион и его друзья тайно сбежали, покинув восставших на расправу.

И во всей Финляндии у русских властей не нашлось войск для подавления, это сделал только – ещё новым обстрелом – пришедший флот.

На третий день взбунтовался и Кронштадт, но здесь бунта хватило лишь на 6 часов.

И именно этих – финскую красную гвардию, взорвавшую мосты между Гельсингфорсом и Петербургом, валившую телеграфные столбы и взятую с оружием на территории мятежной крепости, – по свободным финским законам неслыханно было бы привлечь к военному суду, это оскорбило бы конституционное чувство финнов. И так, их всех отпустили под мягкий суд на короткие сроки, военный же суд судил только русских (а потом большинство приговорённых к казни помиловали).

Мысль Столыпина была: чем твёрже в самом начале – тем меньше жертв. Всякое начальное попустительство лишь увеличивает поздние жертвы. Умиротворяющие начала – где можно убедить. Но этих бесов не исправить словами убеждения, к ним – неуклонность и стремительность кары. Что же будет за правительство (и где второе такое на свете?), которое отказывается защищать государственный строй, прощает убийства и бомбометание? Правительство – в обороне. Почему должно отступать оно – а не революция?

Где с бомбами врываются в поезда, под флагом социальной революции грабят мирных жителей, там правительство обязано поддерживать порядок, не обращая внимания на крики о реакции.

(В то время в России такое заявление воспринималось как наглая *реакция*. Через 70 лет по всему миру это, пожалуй, понятнее).

Революционеры вооружённо захватывали типографии, печатали призывы ко всеобщему восстанию и массовым убийствам, возглашали местные областные республики, пылал Прибалтийский край, бунтовали полки в Тамбове, на Кавказе, в Брест-Литовске, волновались Ставрополь и Батум, бастовал Каспийский флот, тульский оружейный завод, весь южный промышленный район или вся Польша, – меры должны были быть решительны, даже суровы, – но строго законны. Изъять массы оружия; восполнять места бастующих – под охраною войск, добровольцами из патриотических организаций, – но не давать им оружия и права междоусобицы; твёрдо поддержать полицию, чья служба особенно тяжела. Именно суд своей правильной, твёрдой и быстрой деятельностью значительно устранил применение административного воздействия. Но слабость судебной репрессии деморализует всё население.

Допущенная в одних случаях снисходительность, в других может порождать мысль о неуместности строгой кары, которая превращается как бы в излишнюю жестокость.

Так же и: медленный судебный аппарат не произведёт впечатления в массе и никого не успокоит. Значит – военно-полевые суды: обстановка гражданской войны? – так и законы военного времени. А быстрые меры вызовут и поддержку населения, это верней всего и остановит революционеров:

Одна решимость благомыслящих людей открыто выступить в защиту порядка произведёт такое впечатление, что понизится безумная смелость “боевиков”, которая живёт за счёт малодушия сторонников мирной жизни.

Однако эти простые мысли не только опережали всемирную эпоху, но и – волю трона, оробевшего от дерзости распустить эту 1-ю Думу, – а теперь ещё дальше двигаться в грозно-опасное подавление?

Исход ускорили сами террористы: они решили прервать жизнь нового премьер-министра после одного месяца его деятельности и 12 августа взорвали казённую дачу премьера на Аптекарском острове как раз во время приёма посетителей. Это был – из успешнейших взрывов революции: 32 тяжелораненых и 27 убитых! (Всё больше – посторонние. Раскопками солдат двух полков и пяти пожарных команд обнаруживали раненых и трупы в скрюченных позах, с оторванными частями тел, без голов, рук, ног). Разнесло полдома, отпали стены, лестницы, трёхлетнего единственного сына Столыпина и одну из дочерей выкинуло с балкона через забор далеко на набережную, мальчику сломало ногу, девочка попала под раненых перепуганных лошадей, на которых революционеры подъехали в фаэтоне. Одна просительница была с младенцем – убило обоих. В клочья были разорваны и сами революционеры и останавливавшие их генерал и швейцар, – и только одна комната в доме совсем не пострадала: кабинет Петра Аркадьевича. В момент взрыва он сидел за письменным столом. От воздушного толчка большая бронзовая чернильница взлетела через его голову, залила его чернилами – и это был весь ущерб.

Приехал царский катер, взял семью Столыпина в пустующий Зимний дворец. В яркую летнюю субботу катер проезжал под мостами, а там наверху шло кипливое шествие с красными флагами. Восьмилетняя, не раненая, дочь в испуге спряталась от них под скамейку. Столыпин, только что умоливший не ампутировать ног раненой дочери (их мучительно пролечат два года, но она останется хромой на всю жизнь), сказал тут, остальным:

– Когда в нас стреляют, дети, – прятаться нельзя.

Вся левая печать в эти дни намекала Столыпину (“страдания его детей так подействовали на его нервы”), что самое время ему – усвоить урок, пока не поздно, уйти в отставку, спасая детей и себя. (А между тем признав и обречённость правительства: “быть может освежилось его сознание, что невозможно управлять без полновластных представителей народа”). Нет! именно теперь Столыпин и не уступил главарям террора: пусть подаёт в отставку, кто трус!

Где аргумент – бомба, там естественный ответ – беспощадность кары. К нашему горю и сраму лишь казнь немногих предотвратит моря крови.

Так начался пресловутый *стольпинский террор*, настолько навязанный русскому языку и русскому понятию – говорить ли об иностранцах! – что по сегодня он стынет перед нами чёрной полосой самого жестокого разгула. А террор был такой: введены (и действовали 8 месяцев) для *особо тяжких* (не всех) грабительств, убийств и нападений на полицию, власти и мирных граждан – военно-полевые суды, чтобы приблизить к моменту и месту преступления – разбор дела и приговор. (Предлагали Столыпину объявить уже арестованных террористов заложниками за действия невзятых – он, разумеется, это отверг). Была установлена уголовная ответственность за распространение (до сих пор практически беспрепятственное) в армии – противоправительственных учений. Устанавливалась уголовная ответственность и за восхваление террора (до сих пор для думских депутатов, прессы да и публики – беспрепятственное). Смертная казнь, согласно закону, применялась к бомбометателям



как прямым убийцам, но нельзя было применять её к уличённым изготовителям этих самых бомб. Собrania, устраиваемые партиями и обществами, если они происходили без посторонних и не в публичных помещениях, или с посторонними, но интеллигентной публикой, – не требовали надзора администрации.

Такие драконовские меры вызвали в русском обществе единодушный мощный гнев. Посыпались газетные статьи, речи, письма (и от Льва Толстого), что нельзя сметь казнить вообще никого, даже и самых зверских убийц, что военно-полевые суды не могут обновить нравственного облика общества (как будто террор обновлял его), а лишь содействовать одичанию (как ещё того успешнее – террор). Гучков, осмелевший открыто поддержать введение военно-полевых судов (они, де, лучше, чем расстрелы озлобившейся полицией или войсками), был захлёстнут левой травлей. Да даже всякая телеграмма сочувствия пострадавшим должностным лицам вызывала либеральное негодование. Всякий, кто не одобрял громко революционного террора, понимался русским обществом сам как каратель.

А между тем, одичание не одичание, странно: тотчас по введении военно-полевых судов террор ослаб и упал.

Эти самые решительные месяцы Столыпин с семьёй, нигде теперь не опасённые, по настоянию Государя жили в перепыщенной мрачноватой тюрьме Зимнего дворца, где сами цари давно не обитали. На всех входах и въездах менялись строгие караулы. Пётр Аркадьевич, так любивший верховую езду да сильную одинокую ходьбу по полям, теперь гулял из зала в зал дворца или всходил на крышу его, где тоже было место для царских прогулок. Вот тут, взнесенный над самым центром Петербурга и скрытый увалами крыш, премьер-министр России только и мог быть неугрожаем. А император этой страны так же потаённо прятался уже второй год в маленьком имении в Петергофе и так же давно нигде не смел показываться публично и даже под охраною ездить по дорогам собственной страны.

И в чьих же тогда руках была Россия? Разве – ещё не победили революционеры?

## 65

(Пётр Аркадьевич Столыпин)

В залах Зимнего горели только дежурные лампочки, отчего было ещё мрачней. В полумраке тускнела позолота рам бесчисленных портретов, позолота и хрусталь несветящих люстр. Чехлами была покрыта неподсчитанно-богатая отслужившая мебель, столькоких высокоумудрых сановников принимавшая в свои изящно-изогнутые объятия, а вот – с пустыми затянутыми зевами, с застывшей хваткой мертвецов. И чехлом же был покрыт императорский трон. Как тоже отслуживший.

И забирала дрожь: да жива ли русская монархия? И та династия, что готовилась к 300-летию?... Перепуганным Манифестом 17 октября не сама ли себя удушала?

За этой мёртвой мебелью Столыпин ощущал тысячи высокопоставленных живых мертвецов, кто сбившейся своей толпой хотел бы остановить всякое движение истории. А вокруг дворца бродили обесевшие юноши с бомбами, кто хотел бы взорвать историю и тем тоже окончить её. И вырисовывался перед Столыпиным единственный естественный, но в землетрясной обстановке почти невероятный путь: путь равновесной линии по обломочному хребту. До сих пор почему-то реформы – означали ослабление и даже гибель власти, а суровые меры порядка означали отказ от преобразований. Но Столыпин ясно видел совмещенье того и другого! А по свойству характера: то, что видел и знал, – он уже и *умел* проделать мужественно. Его склонность и была не к публичным политическим распрям с одной стороны и не к парадом с другой, – но достигать и делать. Он видел путь и брался даже из этого

малоумного виттевского манифеста вывести Россию на твёрдую дорогу, спасти и ту неустойчивую конституцию, которую сляпали в метаньях.

Но даже слов “конституционный строй” и “конституция” он не смел употреблять, щадя чувства Государя. Мало было премьер-министру двух слитных яростно-вражьих полос с двух сторон, – ещё он должен был отзывчиво балансировать, чтоб не повредить уязвимых робких чувств Государя. Как верующему невозможно делать что-либо серьёзное, говоря и полагая, что он делает это своей мощью, а не по Божьей милости, так монархисту невозможно браться за большое дело для родины, выйдя из пределов монархопочитания. За несколько месяцев Столыпин уже померился и увидел, что российские говоруны, почти легендарные, если смотреть из провинции, – на самом деле не сила и не разум. И про себя успел увидеть, что отлично способен им противостоять. Но принявши пост главы правительства России, он должен был думать – не как развернёт свои свободные замыслы, а: как сумеет ввести их в русло монаршьей воли. И даже когда этой воли явственно не было, а была напуганность, но в перемеси с упрямством, даже и в ошибках, и как высший импульс – не переживать беспокойств, – всё равно надо было бережно отыскивать этот бледный слабый огонёк монаршьей воли и ослонять его от задувания и подпитывать его, чтоб он не гас. Потому что Россия в обозримое время не могла бы двигаться и даже выжить при сломе её монархического облика и устоя. Нельзя было поддаваться простой человеческой оценке вяловатого мягкого собеседника, вот курящего через стол, с простой мягкой улыбкой между простыми усами и бородой, но в самом себе искренне подстраивать образ, исконно парящий в золотом ореоле. Потому что никакому величайшему министру не подменить собою слабого наследного Государя. Путь Бисмарка – неестественно насиловать волю монарха в интересах монархии – Столыпин не принимал для себя.

Несомненно было, что Государь растерян, не уверен, боится делать решительные шаги – как бы ещё не увеличить беспорядки. (Как распоряжение государственное: прошу приказать вести точный счёт телеграммам, получаемым мною от Союза Русского Народа и засим представить мне общую ведомость). Ему несомненно нужна сила, которая сделает всё за него (мою мысль разрешаю обсудить в совете министров), но так, чтобы народ знал: это мысль царя и царю близки народные горе и радости.

И всё это вместе вызывало у Столыпина – боль и жалость, за первую – Россию, но сразу же – и за венценосца, слабого, но добродетельного, слабейшего всех своих предшественников в династии, не по своей воле попавшего под тяжкую мономахову корону в самые тяжёлые годы. И порыв: не оставить этого царя в беде, но вложить ему всю свою решительность. Не только потому, что иначе им не совершить общего русского дела, но – из сочувствия к его обречённой медлительности и шаткости. (Хотя очень видно вперёд, как этот царь может легко отшатнуться и предать своего министра). Следуя форме, обкладывая свои стремительные властные решения подушками почтительности... Повергнуть на ваше благоволение... И как вы правы, Ваше Величество, как вы правильно угадываете... Простите, Государь, за смелость моего чистосердечного мнения, высказываемого по долгу службы и присяги, и верьте, что я менее всего хотел бы влиять на свободу вашего решения... Все мои стремления – к тому, чтобы оберегать вас от затруднений и неприятностей...

Только в зимнем саду многообразно перекликались певчие птицы. Да ещё во всех залах и при всех дверях дежурили старые лакеи, привычно сторожа дряхлеющую немую старину и даже неприятно поражённые живой фигурой премьер-министра как призраком гамлетова отца. Они церемонно-обязательно шаркали, молчали, отвечали необходимое и оживлялись только, если их расспрашивать о старине.

Нет, Столыпин так задыхался: без часовой живой прогулки вся его неисчерпаемая работоспособность – до трёх часов ночи и с девяти утра – могла подкоситься. Хоть один час подлинной прогулки с размышлением сообщает предметам ту крупную совзвешенность, без которой невозможны большие решения, а судьба –

утопиться в мелочах.

Тогда изобрели поездки, проводимые по плану охраны: это она определяла, а не сам премьер-министр, через какую из множества парадных дверей его сегодня выведут, где ожидает карета, по каким улицам повезут и куда. За городом, на окраине, Пётр Аркадьевич гулял. И снова не знал, каким путём его вернут, обещал не вмешиваться, не давать приказаний кучеру, чтобы не сбивать. На таких же условиях ездил он и с докладами к Государю – летом в Петергоф, зимой в Царское. По распоряжку Государя утро начиналось почти к полудню, так что Столыпин ездил с докладами всегда вечером, а возвращался к часу ночи.

Несмотря и на такую замкнутость жизни, террористы изобрели, как найти и убить его. Сперва: через студентов, через старшую дочь подставить в семью учителя младших дочерей – террориста. Разоблачилось. (Ухаживая за старшей, он звал её к себе на квартиру – но дочь сочла неблагородным открыть этот адрес отцу, – и Столыпин согласился). Тогда: ввели террориста в охрану Зимнего дворца, и более чем удачно: с револьвером в кармане он стоял на карауле как раз при том входе, через который однажды и вышел Столыпин, – но от неожиданности растерялся, не выстрелил, а затем вскоре был разоблачён. И ещё раз: социалисты-революционеры пронаблюдали, как Столыпин посещает больную сестру, сняли квартиру в доме через улицу, готовилась стрелять из окна в окно, – сорвалось и это. И ещё раз: при открытии медицинского института (группа Зильберберга). И ещё раз: на поездке в Петергоф с докладом (Сулятицкий). Всего за год были пресечены покушения: группы Добржинского, “летучего отряда” Розы Рабинович и Леи Лапиной, “летучего отряда” Трауберга, группы Строгальщикова, группы Фейги Элькиной и группы Лейбы Либермана.

Об этих месяцах Столыпин говорил близким: “Каждое утро творю молитву и смотрю на предстоящий день как на последний в жизни. А вечером благодарю Бога за лишний дарованный в жизни день. Я понимаю: смерть как расплата за убеждения. И порой ясно чувствую, что наступит день, когда замысел убийцы наконец удастся. Но ведь несколькими смертям не бывать, умирают только раз”.

И уже в первый вечер изнурительной жизни в Зимнем, едва оправясь от взрыва, при двух раненых детях и перепуганных остальных, Столыпин сидел и работал глубоко в ночь. В наш самый грозный час, при наибольшей жизненной стеснённости, как раз и выполняется главная задача жизни! Террористы порывались убить его, но Россия свисала над бездной. Горели поместья, взрывались бомбы, бунтовали воинские части, судили военно-полевые суды, – а смотреть надо было далеко в будущее, а продвигаться – по единому стержню продуманной системы реформ. Прекращая беспорядки физической силой, правительство тем более должно было направить нравственную силу на обновление страны, и прежде всего на земельную реформу.

Мы будущими поколениями будем привлечены к ответу. Мы ответим за то, что пали духом, впали в бездействие, в какую-то старческую беспомощность, утратили веру в русский народ.

Узел русских судеб завязан в деревне. Лечить государство надо не с высшего общества, где развращены, заражены: чиновники – рутинной службы, помещики – свободной жизнью, отсутствием обязанностей, Двор -... о Дворе монархисту судить не приличествует. У государства должны быть прежде всего прочные ноги и лечить его надо с ног – с крестьян. Никакое здоровое развитие России не может решиться иначе как через деревню. Это была главная мысль Столыпина: что нельзя создать правового государства, не имея прежде независимого гражданина, а такой гражданин в России – крестьянин. “Сперва гражданин – потом гражданственность”. (Это и Витте говорил, что всякой конституции должно предшествовать освобождение крестьян, но сам же Витте нервным дёргом ввёл конституцию – а Столыпину теперь доставалось освобождать крестьян уже после неё). Абстрактное право на свободу без подлинной свободы крестьянства – “румянец на трупе”. Россия не может стать сильным

государством, пока её главный класс не заинтересован в её строе. И, говорил Столыпин, -

нет предела содействию и льготам, которые я готов предоставить крестьянству, чтобы вывести его на путь культурного развития. Если эта реформа нам не удастся, то всех нас надо гнать помелом.

На правительстве – нравственное обязательство указать законный выход крестьянской нужде,

каждому трудолюбивому работнику создать собственное хозяйство, приложить свободный труд, не нарушая чужих прав.

Немедленною уступкою крестьянам части казённых, удельных, кабинетских земель (9 миллионов десятин тотчас же – указ об этих 9 миллионах был подписан в самый день взрыва на Аптекарском острове, при дружном семейном сопротивлении великих князей, не желавших отдавать удельную землю всю и не желавших безвозмездно); облегчением продажи земель заповедных, майоратных (для примера и сам Столыпин продал своё нижегородское имение Крестьянскому банку); понижением платежей по ссудам, увеличением кредита, – но главное: свободой выхода из общины.

Невыносима дальше необходимость всем подчиняться одному способу ведения хозяйства, невыносимо для хозяина с инициативой применять свои лучшие склонности к временной земле. Постоянные переделы рождают в земледельце беспечность и равнодушие. Поля уравненные – это поля разорённые. При уравнительном землепользовании понижается уровень всей страны,

и сельскохозяйственный, и общекультурный.

Занося руку разрушить земельную общину, ещё бы Столыпин не знал, сколько государственных актов перед тем были направлены – общину сковать и заморозить. Даже Николай I настойчиво вёл земельную программу, не отличимую от мечты нынешних эсеров: равномерное (по дворам, по сёлам, по волостям, по уездам и даже по губерниям) наделение землёй и периодические переделы по переписям. Попытки в конце его царствования в виде опыта расселять государственных крестьян на семейно-подворных участках были остановлены при Александре II. При освобождении крестьян от помещиков хотя и видна была несуразность оставить их в зависимости от общины, но сделали именно так (сохраня теоретический выход: выйти единовольно после уплаты всех выкупных платежей; но почти никто не нашёл сил выкупиться так, а в конце царствования Александра III и этот выход запретили – пока все выкупы были прощены царским махом осенью 1905). Русские цари один за другим таили недоверие к самому трудолюбивому и обширному классу, на котором зиждилась страна. Не доверял крестьянам и Александр III, запрещая даже простой раздел крестьянского двора без согласия общины, специальными указами напоминая неотчуждение надельных земель (и как раз после голода 1891, когда ожидался бы вывод противоположный!), стесняя робкие права деревенских сходов властью дворянских начальников – властью штрафов, арестов и даже розог.

Ошибкою Александра III было: перенести на крестьян гнев, вызванный интеллигентскими мятежниками.

Не доверял крестьянам и царствующий Государь, всего три года назад настаивая на неприкосновенности общины, даже когда уже отменялась невыносимая, несправедливая круговая порука сельских общин за неисправных плательщиков; и даже в прошлом году с высоты трона было повторено, что надельные земли неотчуждаемы. Держать общину настаивал и Победоносцев (чья сила исчерпалась только осенью 1905).

А просто: осознанно, неосознанно, весь правящий слой дрожал и корыстно держался за свои земли – дворянские, великокняжеские, удельные: только начнись где-нибудь, какое-нибудь движение земельной собственности – ах, как бы не дошло и до нашей. (Да ещё обзаведись крестьяне своей землёй – уменьшится предложение

крестьянского труда).

А с дворянской землёй не помогала и самая убедительная статистика: выше всех цифр и доводов парила в крестьянской груди наследственная обида на помещичье землевладение: не у нынешнего поколения, не у отцов, не у дедов, даже не у прадедов, – но у каких-то предков наших когда-то вы отняли землю ни за что, дарили нас целыми деревнями вместе с землей! – и этого незажившего пыланья не могли остудить столетия.

Но именно: отсутствие у крестьян подлинно своей, ощутимо своей земли и подрывает его уважение ко всякой чужой собственности. Затянувшиеся общины своим мировоззрением и питают социализм, уже накатывающий во всём мире. Несмотря на святую общину деревня в Пятом году проявила себя как пороховой погреб. Правовое бесправие крестьян далее нетерпимо, крестьянин закрепощён общиной. Нельзя дальше держать его на помочах, это несовместимо с понятием всякой иной свободы в государстве.

Чувство личной собственности столь же естественно, как чувство голода, как влечение к продолжению рода, как всякое другое природное свойство человека,

и оно должно быть удовлетворено. Собственность крестьян на землю – залог государственного порядка. Крестьянин без собственной земли легко прислушивается к толкам, поддаётся толчку разрешить свои земельные вожелания насилем. Крепкий крестьянин на своей земле – преграда для всякого разрушительного движения, для всякого коммунизма, то-то все социалисты так надрываются – не выпускать крестьянина из плена общины, не дать ему набрать сил. (Да и скученная жизнь в деревне облегчает работу агитаторов). Земельной реформой уничтожатся и эсеровские поджоги.

Свой ключевой, земельный закон Столыпин понимал как вторую часть реформы 1861 года. Это и было истинное, полное освобождение крестьян, опоздавшее на 45 лет. (И как тогда подогнало крымское поражение, так теперь подогнало японское).

Вероятно, многое из этого говорилось и внушалось на ночных приёмах в Петергофе летом и осенью 1906 года – и имело успех. Государь вот уже и сам был искренно уверен, даже увлечён, что это именно он чувствовал и выразил: благоденствие крестьянства – главный царственный труд Наш. Что это именно он задумал реформу в продолжение великого дедовского освобождения крестьян, и удачно, что Столыпин находит для неё формулировку. И теперь Государь сам настаивал – проводить закон без Думы, чтоб она не тормозила, по статье 87 Основных Законов:

Во время прекращения занятий Государственной Думы, если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость, совет министров представляет законодательную меру непосредственно Государю императору.

(Но за 2 месяца восстановившихся занятий Думы закон, не утверждённый ею, а тем более не представленный ей, умирал). То была золотая пора их отношений с Государем. И Столыпин спешил с практическими делами.

В то лето он тщетно пытался привлечь к себе в кабинет представителей не слишком левой общественности – Гучкова, Шипова, Николая Львова, привлечь именно этой линией: что нынешнее время – не слов, не программ, не звучных рассуждений, но – дела и работы. Делу – поверят, и дело увлечёт скорей и верней, чем слова. Не торопиться собирать для такой же безответственной болтовни следующую неработоспособную Думу, чьи депутаты под прикрытием неприкосновенности будут вести разлагающую работу. Но поспешить сделать шаги и реформы, насущно необходимые сразу большим группам населения.

Надо было не топтаться, не оглядываться, а – двигаться, и не отставая от скорости века, в движении не теряя из глаз точные контуры современного положения. Угадывать лучшее и иметь настойчивость осуществлять его. Таким талантом и

обладал Столыпин. Он боролся с революцией как государственный человек, а не как глава полиции.

Нет! Такова была в русском обществе радостная ослеплённость солнцем свободы, что никакое бедствие не казалось сравнимым со счастьем публично рассуждать. *Человек дела* – воспринималось синонимом тирана. Никто из приглашаемых общественных деятелей не рискнул войти в кабинет Столыпина, кто и сочувствуя ему.

5 октября 1906 Столыпин получил царскую подпись на указ о гражданском равноправии крестьян, уравниении их с лицами других сословий, – дать им то положение “свободных сельских обывателей”, которое было им обещано 19 февраля 1861. Крестьяне получали право: свободно менять место жительства, свободно избирать род занятий, подписывать векселя, поступать на государственную службу и в учебные заведения на тех же правах, что и дворяне, и уже не спрашивая согласия “мира” или земского начальника. Отменялись и все последние специфические крестьянские наказания. (Ни 2-я, ни 3-я, ни 4-я свободоносные Думы, страстно любящие народ и только народ, никогда до самой революции так и не утвердили этого закона! – и во время его многолетнего обсуждения правые громкими возгласами поддерживали левых ораторов, а Столыпина обвиняли в революционизме).

Провёл указ о волостном земстве – то есть бессловном местном самоуправлении, чтобы начать децентрализацию управления государственным. (Та же судьба: свободолюбивые защитники народа утопят и этот закон до самого февраля 1917, упрекая его в недостаточной демократичности, и правые охотно поддержат их. Так навек будет закрыто крестьянам самим управлять местными делами – финансами, орошением, дорогами, школами, культурой).

Когда городские интеллигенты выхватывали Манифест о свободе слова и собраний, они позабыли, что ещё существует понятие и свободы вероисповедания. Теперь, в междудумье, Столыпин отменил вероисповедные ограничения, уравнивал в правах старообрядцев и сектантов. Установил свободу молитвенных зданий, религиозных общин.

Долго готовил Столыпин и настойчиво пытался провести также закон о равноправии евреев – следуя духу Манифеста, но имея и мысль большую часть евреев оторвать от революции. По его закону с евреев снималась значительная часть ограничений (а некоторые облегчения текли и прежде того) – и уже состоялось постановление правительства. Однако, после колебаний, тоже долгих, и с редкой у него твёрдостью, Николай II отверг этот закон. Столыпин был озадачен, но принял меры, чтобы тень отказа не запятнала царя в глазах общества. А коль скоро закон о еврейском равноправии отодвинут – так вот и полная причина для Думы задержать равноправие крестьянское: не даёте евреям – так мы не дадим крестьянам!

И ещё ряд земельных законов: о землеустройстве, о мелиорации, об улучшении форм землепользования, о льготном кредитовании.

А венчая их, 9 ноября 1906 – основной указ о праве выйти из общины, укрепить свой надел в личную собственность (отруб), или вовсе выделиться, с жильём (хутор).

Но гораздо и больше того за эту осень и зиму было наготовлено 2-й Государственной Думе законопроектов, наготовлено не на её силы, – на историческое переустройство России.

Выбиралась Дума совершенно свободно. При повышенной общественной горячности от разгона 1-й Думы, 2-я собралась не менее грозной. Кипели слухи, что весь созыв обманен, что Думу тотчас и распустят, – нет, Столыпин созывал её, чтобы с ней работать, и прямодушно предлагал равную критику взаимных законодательных предположений.

Дума открылась в конце февраля. А 2 марта 1907 в зале её заседаний в Таврическом дворце обрушился высокий потолок – балками, люстрами, досками, штукатуркой на весь центр думского пустого зала, на три четверти депутатских мест,

президиум, оратора и правительство, и если б на несколько часов позже – погрёб депутатов бы триста да сильно бы ранил, оставляя невредимыми лишь крайне-правых и крайне-левых. Только потому уцелела Дума, что обвал случился не в час заседаний.

Левые депутаты не преминули объяснить событие грубым презрением к народным представителям и даже заговором:

Может быть это входило в *расчёт*, тогда этот расчёт жесток... Нам нужно обеспечить нашу жизнь на будущее время.

А голосистый социалист, “рабочий” (корректор) Алексинский:

Если народ узнает, что над нами валятся потолки – он сумеет сделать из этого соответствующие выводы!

(Потом нашлись вполне достоверные объяснения, почему этот потолок и неизбежно должен был рухнуть: исследования о том, как он строился при Потёмкине, как подгнил от долговременной здесь теплицы. Однако, этот обвал не мог не произвести впечатления на современников даже материалистических, так и толкая развидеть тут символ – но чего именно?... – не устоять ли Думе? или этому правительству? или самой России? Ещё надо было протечь десяти годам, день в день, чтобы открылся и символ и день падения потолка).

Заседания перенесли в белый зал Дворянского Соборания, на Михайловскую. Там 6 марта Столыпин – неуничтожимый, всё тот же цельный, безуклонный, прямой, всё с той же бодростью и верой в своё дело, всё с тем же вызывающим взглядом, вышел перед очередной “Думой народного гнева” (хотя уже без свистков) прочесть правительственную декларацию.

В первых же словах признав, как того жаждала Дума, что по воле монарха отечество наше должно превратиться в государство правовое, чтобы обязанности и права русских подданных определялись писанным законом, а не волею отдельных лиц,

то есть утвердив, что государство будет перестраиваться в соответствии с Манифестом 17 октября (и даже трактуя этот процесс как усиленный национальный *рост*), а для того будет пересмотрено всё действующее отечественное законодательство (для правых – революционный выпад, как взрыв анархистской бомбы), Столыпин тут же перешёл к обоснованию своего заветного Земельного закона:

Невозможно откладывать настойчивые просьбы крестьян, изнемогающих от земельной неурядицы; нельзя медлить предупредить совершенное расстройство самой многочисленной части населения России, которая стала экономически слабой, неспособной обеспечить себе безбедное существование своим исконным земледельческим промыслом.

А дальше – как если бы Россия и давно была государством парламентским, и перед ним сидел бы традиционный опытный парламент – Столыпин развернул перед новособранной Думой объёмную и разработанную постепенную программу – самый полный, связный стройный план переукладки России, когда-либо высказанный в нашей стране. Хотя он мог предложить лишь ту

серую повседневную работу, скрытый блеск которой может обнаружиться только со временем.

По всем направлениям общественной жизни тут был подробный разворот множества мер, объединённых единой мыслью. Как создать единство губернских и уездных управлений, упразднив многочисленные *присутствия*. Упразднить настрывших всем земских начальников. Упразднить даже и жандармерию, введя новый полицейский устав и точно определив сферы полицейской власти. Отменить административную высылку. Ввести судебный контроль над задержаниями, обысками, вскрытием корреспонденции. (Кажется, и за весь XX век ничто в нашем отечестве не выполнено и ничто не устарело). Создать местный суд – доступный, дешёвый, скорый и

близкий к населению. Мировых судей избирать населением и расширить их компетенцию. Установить гражданскую и уголовную ответственность государственных служащих. Ввести защиту в предварительное следствие. Допустить: осуждение – условное, освобождение – досрочное. Разработать меры общественного призрения, государственное попечение о нетрудоспособных, государственное страхование по болезни, увечьям и старости. Широкое содействие государственной власти благосостоянию рабочих, ненаказуемость экономических стачек. Дать естественный выход экономическим стремлениям рабочих, административно не вмешиваться в отношения между промышленниками и рабочими. Врачебная помощь на заводах. Запрет ночных работ женщин и подростков, сокращение длительности рабочего дня. И об улучшении гужевых дорог. О развитии рельсовых путей. Водных и шоссейных. Судоходства. О постройке Амурской железной дороги (из Забайкалья в Хабаровск). И школьная реформа: законченный круг знаний в начальном, среднем и высшем образовании, но и связь трёх ступеней. Во всех ступенях – улучшить материальное положение преподавателей. Подготовить сперва общедоступность, затем и обязательность начального образования во всей Империи. Профессиональные училища. Наконец – изыскание средств для этого всего, бюджет. Его трудности после неудачной войны. Бережливость. Равномерность налогового бремени для населения – подоходный налог и облегчение неимущим. Финансирование земств, городов...

Мог бы рассчитывать Столыпин, что хоть кто-нибудь из присутствующих оценит грандиозность и стройность его программы. Но если и были такие немногие депутаты в неопытной Думе, то не их голоса были слышны. Ах, да разве для этого собрались со всей Империи пламенные ораторы 2-й Думы, а особенно закавказцы! (Хотя представляла Дума как будто всё население России, но на трибуне всё мелькала почему-то череда необузданных закавказских социал-демократов). Неужели – дремать над цифрами росписи государственных доходов и расходов? Неужели каждый вечер до полуночи заседать в комиссиях и доводить этот необъятный ворох законопроектов до окончательных формулировок? Избавьте! Вот уж не могла такая мелочность привлечь сочувствие депутатов! Слишком уж много предлагалось этой серой работы со скрытым блеском, который публика оценить не может. И – куда же направить алый гейзер свободолобивых речей? Эта программа с её множеством конкретных пунктов, даже с облегчением рабочего класса, с отменой ссылки и жандармерии, – не могла не быть коварной лицемерной уловкой, чтобы миновать революцию. И чем дать увлечь себя в крючкотворное законодательство и в беспросветную работу – лучше громко разоблачать правительство и громко говорить о свободе.

Тотчас в атаку ринулся краса социализма Церетели. Это правительство -  
правительство военно-полевых судов, сковавшее всю страну, разорившее вконец население

(за 8 месяцев своего существования, законами о крестьянском равноправии и хуторах). Как все тогдашние русские социалисты, он лил и лил из своего катехизиса, как бы не слышав произносимого в думском зале и не имея цели к чему-нибудь прийти с этим собранием. (Председатель Головин счёл долгом подтвердить, что не находит, в чём бы поправить этого оратора).

Церетели: Правительство организует расстрелы целых кварталов!

(Тут председатель потребовал от правых не нарушать порядка). А Церетели гнал волны гнева:

... в целях сохранения крепостнического уклада!... Законопроекты урезают даже те права, которые народ уже вырвал из рук своих врагов. Мы разберём их при свете кровавых деяний правительства. Пусть наш обличающий голос пронесётся по всей стране и разбудит к борьбе всех, кто ещё не проснулись. Мы обращаемся к народным представителям с призывом готовить народную силу -

то есть к восстанию? – иначе понять нельзя.



Под видом успокоения страны оградили интересы всякого рода паразитов... Распродают земли в интересах помещиков... Социал-демократическая фракция возлагает все надежды на *движение самого народа*.

Алексинский: Помещики, которые именуют себя русским правительством... Крестьяне, желающие получить всю землю без выкупа, не получают её иначе как путём борьбы.

Кадеты же в этом заседании – демонстративно молчали. Они выразить хотели ту степень осуждения, которая выше всяких гневных слов. Но проявился в молчании и оттенок растерянности. Кадеты не могли не видеть – но и не хотели видеть! но и запретили себе видеть! – что Столыпин и предлагал либеральную освободительную программу, разворачивал обновлённый строй, давал верный тон соотношению исполнительной и законодательной власти, давал тон самой Думе. Но это приходило – от власти, значит – *не из тех рук*, и слишком прямо вело к укреплению жизни, когда надо было сперва её развалить. Кадеты молчали – и в молчании своём ненавидели этого выскочку. Конституционная партия, для которой и делались уступки, не хотела их, а рвалась к революции.

Все фракции, от кадетов и налево до края, отказались даже обсуждать правительственную программу по её сути. Тщетно какие-то тёмные депутаты-крестьяне предлагали

прежде всего работать и работать вместе с правительством. Россия, посылая нас сюда, приказывала не взирать на революционные меры, стараться мирным путём облегчить нужды народа, утолить его голод, дать ему свет.

Джапаридзе от фракции с-д предложил формулу перехода:

Государственная Дума, вполне разделяя недоверие народа к правительству, рассчитывает, *опираясь на его поддержку*, претворить волю народа в закон.

То есть восстанием.

А этот невыносимый царский министр под градом левых речей не убежал, не скрылся, не изничтожился. Но – в чёрном глухо застёгнутом сюртуке, с мраморной осанкой и мистически уверенной выступкой фигуры, невыносимый именно тем, что он – не угасающий нафталинный старец, не урод, не кретин, но – красив, – в сознании своей силы и, вот, несомненной победы, в поединке одного против пятисот, ответил с трибуны громким, ясным голосом:

Языком совместной работы не может быть язык ненависти и злобы, я им пользоваться не буду... Правительство должно было или дать дорогу революции, забыв, что власть есть хранительница целостности русского народа, или – отстоять, что было ей вверено. Я заявляю, что скамьи правительства – это не скамьи подсудимых. За наши действия в эту историческую минуту мы дадим ответ перед историей, как и вы. Правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение неустойчивости, злоупотреблений. Но если нападки рассчитаны вызвать у правительства паралич воли и сведены к “руки вверх!” – правительство с полным спокойствием и сознанием правоты может ответить: “не запугаете!”.

Слова его впечатывались и во врагов и в друзей. За много лет впервые оппозиция встретила в нём противника блистательного и смелого.

Вне Думы речь его быстро стала знаменита, к нему потекли адреса с десятками тысяч приветственных подписей, даже от грамотных крестьян. Москвичам (в Москве он провёл детство) Столыпин ответил:

Надеюсь не на себя, а на ту собирательную силу духа, которая уже не раз шла из Москвы, спасая Россию.

В ту пору (и ещё через десяток лет) образы Смутного Времени навевались многим русским людям, привлекались ораторами, вдохновляли деятелей, казались посильными для повторенья и нами. Но в 1907 году этой великой программой и великой речью открылась ещё одна неработоспособная Дума бесконечных бесплодных

прений.

Хотя закон о военно-полевых судах без утверждения Думы сам собою отпадал через полтора месяца – Дума начала горячо осуждать именно его, ибо это было выигрышно. И ещё через неделю всё тот же невозмутимый, твёрдый, эпически достойный Столыпин вышел отвечать вновь:

Мы слышали тут, что у правительства руки в крови, что для России стыд и позор – военно-полевые суды. Но государство, находясь в опасности, обязано принимать исключительные законы, чтоб оградить себя от распада. Этот принцип – в природе человека и в природе государства. Когда человек болен, его лечат ядом. Когда на вас нападает убийца, вы его убиваете. Когда государственный организм потрясён до корней, правительство может приостановить течение закона и все нормы права. Бывают роковые моменты в жизни государства, когда надлежит выбрать между целостью теорий и целостью отечества. Такие временные меры не могут стать постоянными. Но и кровавому бреду террора нельзя дать естественный ход, а противопоставить силу. Россия сумеет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных хирургов. Страна ждёт не оказательства слабости, но оказательства веры в неё. Мы хотим и от вас услышать слово умиротворения кровавому безумию.

О, нет, вот уж нет! Перестали бы левые депутаты представлять свои партии, если бы посмели призвать к окончанию террора. Прекратите вы свои суды, а террор – мы продолжим! Дума, конечно, отказалась осудить восхваление террора в печати и противоправительственную пропаганду в армии.

Дума, разумеется, не стала рассматривать государственный бюджет (хороший способ запутать дела правительству), не рассмотрела и двадцатой доли конструктивной программы Столыпина, у неё не было и понятия “конструктивность”. Думские комиссии не могли приняться за работу, ни у кого не было и навыка работы. Не исторический ход России интересовал Думу, но аплодисменты левого общества. На заседаниях сыпался слева град запросов – кто громче и пронзительней крикнет. Да может быть свой высший смысл Дума и видела в длительности заседаний – чтобы дотянуть до автоматической остановки военно-полевых судов. После этого срока левое крыло даже жаждало роспуска Думы – утвердить легенду о своей силе и слабости правительства.

Не получив утверждения Думы, должны были теперь остановиться также закон о крестьянском равноправии и все земельные законы Столыпина. Напротив, эта Дума, как и предыдущая, требовала в заседаниях (а члены Думы печатали в газетах призывы) отнимать у помещиков землю силой. Столыпин снова выходил и доказывал (Дума ещё голосовала, дать ли ему выступать), что

переделением всей земли государство в целом не приобретёт ни одного лишнего колоса хлеба,

что раздел помещичьей земли – решение не государственное, что Россия не расцветёт от разрушения 130 тысяч культурных хозяйств, крестьянские же надель, хотя немного и увеличенные, при быстром росте населения и разделах скоро обратятся в пыль. Что вообще

никакой передел не есть развитие, а развитие – это углубление труда.

Что начав систему переделов, уже не удастся остановиться и на помещичьей, но делить далее и успешную крестьянскую, всё выдающееся дробить, делить и сводить к нулю.

Нельзя укреплять больное тело, питая его вырезанными из него самого кусками мяса; надо создать прилив питательных соков к больному месту, и тогда весь организм осилит болезнь; все части государства должны прийти на помощь слабейшей – в этом оправдание государства как социального целого.

Государство закупало бы предлагаемые в продажу частные земли, прибавляя их к

общему земельному фонду, а малоземельные крестьяне приобретали бы на льготных условиях.

Нет! Такое скучное серое решение без погрома и поджога имений не насыщало русских свободолюбив.

Но и Столыпин, как всегда, на своём:

Правительство, сознающее свой долг хранить исторические заветы России, правительство стойкое и чисто-русское...

– что за гнусный намёк на *чисто-русское* и какие это ещё “исторические заветы России”? Кому они нужны?

Противники государственности хотят освободиться от исторического прошлого России. Нам предлагают среди других сильных и крепких народов превратить Россию в развалины – чтобы на этих развалинах строить неведомое нам отечество.

И снова, подходя к одной из своих знаменитых фраз, громко, ясно, каменя в крупной сильной простоте:

**ИМ НУЖНЫ – ВЕЛИКИЕ ПОТЯСЕНИЯ, НАМ НУЖНА – ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!**

Как мрачный вешатель без единой разумной мысли остался впечатан в русскую историю ненавистный Думе, *передовому обществу* и бомбовым социалистам этот неутомимый премьер-министр, не устававший присутствовать в поносительных заседаниях, энергично бравший слово в самом начале прений, чтоб отчётливо, уверенно изложить взгляд правительства и помочь отбросить неделовое.

(Десятилетие спустя, в последние месяцы перед февральской революцией, когда чехардою ничтожных министров будет выташнивать общество и позориться Россия, вспомнят ещё Столыпина и враги, даже Керенский, что за *его* словами уж никогда не стояла пустота:

Кто помнит первую декларацию Столыпина? С каким напряжённым вниманием встречала Дума каждое его слово – кто с бурным приветствием, кто с гневом. Знали и верили: его слова – не сотрясение воздуха, но решение мощного правительства, имеющего громадную волю и власть, чтобы провести в жизнь обещанное).

От этого столыпинского стояния мог начаться и начинался коренно-новый период в русской истории. Стало казаться въявь, что 1905-06 не повторятся. (Близким сотрудникам говорил Столыпин: “Ещё 10-15 лет, и революционеры уже ничего в России не возьмут!”) Столыпин так верил в Россию, что возрождал в ней доверие к самой себе:

На втором тысячелетии своей жизни Россия не развалится.

Он принял государственную жизнь в расползе и хаосе – и вытягивал созидательно к России, свободной от нищеты, невежества и бесправия.

Он всё выступал перед 2-й Думой, надеясь образумить её и спасти для работы. Он принял это в неизбежное наследство: народное представительство – введено, и убедил себя и убеждал Россию, что эпоха конституционного управления – началась. И он стал – сторонник такого управления, и относился к Думе серьезнее, чем сами думцы, и всё убеждал себя, что с этой 2-й Думой ещё удастся сотрудничать (он даже для неё олиберализовал состав своего правительства). И зачем бы было разгонять эту плохую Думу, – чтобы получить ещё худшую следующую?

Но, как признавался Столыпин: “1-ю Думу трудно было разогнать, 2-ю – трудно сохранить”.

В ней всё заострялось к воспламенению, в огонь кидали всё, что было способно загореться. Шло утверждение очередного возрастного призыва в армию – вышел на трибуну тифлисец Зурабов и хужейшим русским языком стал поносить русскую армию в общем виде, изгаляться над её военными поражениями – что она всегда была бита,

будет бита, а воевать прекрасно будет только против народа. И Дума шумно одобряла зурабовские оскорбления – а вне Думы вознегодовали обширные слои, и не было момента, более сочувственного для разгона Думы.

Однако Столыпин все силился сохранять её – и инцидент прошёл безо всяких последствий.

С весны непосильна стала семье Столыпиных тюрьма Зимнего, и по приглашению Государя они переехали на лето в Елагин дворец. (Раньше там любил жить Александр III, последние десятилетия никто не жил и там). Сад его был огорожен колючей проволокой, ходили часовые снаружи и чины охраны внутри, – и только тут мог теперь гулять, да сотню сажений прогребсти на лодке по такому же пленному в заборе отводу Невки премьер-министр необъятного государства: осада террористов продолжалась. (А раненая дочь уже перенесла несколько операций и всё не могла ходить).

Тут же предстояло обдуматься и решиться судьбе русской конституции.

Быть может главная причина, по которой рушатся государственные системы, – психологическая: круги, привыкшие к власти, не успевают – потому что не хотят – уследить и поспеть за изменениями нового времени: начать благоразумные уступки ещё при большом перевесе сил у себя, в самой выгодной позиции. Мудр тот, кто уступает, стоя при оружии, а не опрокинутый навзничь. Начать уступать – беспрекословность авторитета, власть, титулы, капиталы, земли, бесперебойное избрание, когда все эти твои права ещё облиты щедрым солнцем и ничто не предвещает грозу! – это ведь трудно для человеческой природы.

В России такие благоразумные изменения уже начинались при Александре I, но непредусмотрительно были отвергнуты и покинуты: победа над Наполеоном затмила умы александровским мужам, и то лучшее благоденственное время реформ – сразу после Отечественной войны – было упущено. Восстание декабристов рвануло Россию в сторону, победитель его Николай I плохо понял свою победу (побед и не понимают обычно, поражения учат беспощадно). Он вывел, что победа есть ему знак надолго остановить движенья, и только в конце царствования готовил их.

Александр II уже и спешил с реформами, но стране не пришлось выйти из колдобин на ровное место. Террористы – своим ли стадным инстинктом или каким-то дьявольским внушением – поняли, что именно теперь их последнее время стрелять, что только выстрелами и бомбами можно прервать реформы и возвратиться к революции. Им это удалось и даже дальше, чем задумано: они и Александра III, по широте характера способного уступать, по любви к России не упустившего бы верных её путей, – и Александра III загнали в отъединение и в упор. И снова и снова упускалось время.

Николай II, внезапно застигнутый короной, и по молодости, и по характеру особенно был неподготовлен к самым бурным и опозданным годам России. Девятьсот Первый, Второй и Третий проносились мимо него мигающими багровыми маяками, – он со всем своим окруженьем не понял их знаков, он полагал, что неизменно-послушная Россия непременно управляется волею Того, кто занял русский трон, – и так легкомысленно понёсся на японские скалы. Испытания, выпавшие ему в те годы, были по силам разве такому, как Пётр, а больше, может быть, никому в династии. Тогда в потерянности он заслонился Манифестом.

Это сделано было опрометчиво, нерасчитанно, без запаса, и безвыходно составлено. Но – сделано. И когда теперь тронное окружение и все закоснело-уверенные, что Россия – глыба без развития, даже радуются безумствам и срыву двух Дум и теребят – отобрать Манифест и вернуться к прежнему, – они не только толкают Государя к нечестности, но повторяют ошибку двух предыдущих неудавшихся застоев.

Попятиться – уже нельзя. Совсем отказаться от законодательных учреждений, отобрать уступленное – уже нельзя, этим только сдёрнулось бы всё к революции. В

положение до Пятого года Россия уже никак не может вернуться. Дали конституцию – значит, надо учиться работать по конституции.

Но и: плыть этому дальше, как оно плывёт и срывается, – дать нельзя: это к той же революции и не медленнее. Виттевский избирательный закон призывает в Таврический дворец не Россию, а карикатуру на неё. Этот избирательный закон всё равно не даст верного представительства России: ещё нет той массы граждан, готовых ко всеобщим равным выборам. Итак, чтобы сохранить саму Думу – надо изменить закон о выборах. Такое изменение закона, хоть и царским указом, после Манифеста – противозаконно. Но – нет другого пути создать работоспособную Думу. Простые разгоны Думы только раздражают, а призовется новая – ещё революционней и безалаберней! Такой парадокс: только незаконным изменением избирательного закона спасётся выборность и само народное представительство.

В истории самые трудные линии действий – по лезвию, между двух бездн, сохраняя равновесие, чтобы не свалиться ни в ту, ни в другую сторону. Но они же – и самые верные: между двумя революциями, между двумя враждующими массами, между двумя посредственностями и пошлостями.

В эту весну Столыпин тайно встречался с небезнадёжными (их в шутку звали “черносотенными”) кадетами – Маклаковым, Челноковым, Струве, Булгаковым, ища сговориться и составить с ними такое правительство – на ребре, не опровергаемое ни слева, ни справа. Встречались тайно и от тех и от других. Столыпину эти кадеты доверяли: в личных встречах он поражал прямотой, открытостью, спокойным верным взглядом, определённой выраженностью, и глаза блестели умом и твёрдостью. Но даже открыться однопартийцам они боялись, где ж тогда составлять правительство!...

Меньше чем за два года это была третья попытка, когда российское правительство приглашало общественность разделить власть, – но та отказывалась, чтоб не испачкать репутации. Роль гневной оппозиции оставалась более лёгкой. Как-то мечталось русским радикалам: всё смести до основания (не преградивши ни петербургскими квартирами, ни прислугами) – а тогда уже строить совсем новую, совсем свободную, небывалую удивительную российскую власть! Они сами не понимали, насколько сами нуждаются в монархии. Они не умели управлять и не учились, а детски радовались взрывам и пожарам. К тому ж бесповоротно убедился Столыпин, что эта Дума никогда не утвердит его земельную реформу.

Последняя тайная встреча с кадетской четвёркой была в Елагином дворце в самую ночь на 3 июня.

А еще с мая подкатил случай: на квартире у депутата Думы было застигнуто полицией заседание из членов социал-демократической фракции Думы с делегатами революционной военной организации. В тот раз задержанные члены Думы были отпущены.

1 июня Столыпин взял в Думе слово и неожиданно – всё неожиданным приходился *обществу* каждый его решительный шаг – предложил Думе: исключить из своего состава 55 членов фракции с-д за участие в противоправительственном заговоре и дать согласие на арест 15 из них, наиболее замешанных.

Кроме обязанности сохранять неприкосновенность депутатов, на власти лежит и долг охранять общественный порядок, тем более в столице, где случилось многое.

(Думская фракция социал-демократов без стеснения вела подрывную пропаганду в петербургском гарнизоне – и 5 мая делегация солдат пришла с петицией о своих требованиях на депутатскую квартиру по Невскому 92, где депутаты ждали их, а полиция следила).

Дума была ошеломлена: как ни шумела она о невыносимых притеснениях, но уж депутатскую неприкосновенность считала мандатом на любые действия, хоть и бомбу бросать. Председатель Головин извернулся – найти формальный ход, чтоб избежать

голосования, губительного для Думы при обоих исходах: стать ли на сторону подрывателей или отречься от них. Но увёртка не помогла: 3 июня последовал арест тех из 15, кто не успел скрыться, указ о роспуске Думы и новый избирательный закон. В сопровождавшем царском (стольпинском) манифесте настаивалось, что это не отход от Манифеста 17 октября, что все права народа сохраняются, но

многие из присланных от населения не с чистым сердцем приступили к работе, а – увеличить смуту и способствовать разложению государства,

почему и меняется теперь лишь самый порядок призыва выборных, чтоб они верней выражали нужды народа.

Хотя Столыпин окончательно стремился провести интересы крестьян – он пока вдвое сокращая их мнимое, неподготовленное представительство в Думе, но усилил крупных землевладельцев, а более всего – опытных культурных земцев.

Может быть этот разгон Думы и эти объяснения не вызвали бы в обществе столь сильного возмущения, не положили бы столь долгого шрама, если бы в царском манифесте по роспуску не прозвучала так невыносимая либеральному уху и так настойчиво-свойственная Столыпину русская нота:

Государственная Дума должна быть русскою по духу. Иные народности, входящие в состав Державы Нашей, должны иметь в Думе представителей нужд своих, но не должны и не будут являться в числе, дающем им возможность быть вершителями вопросов чисто-русских.

Сужались избирательные права восточных окраин, убавлялось депутатов Кавказа, Польши, утоплялись в своих губерниях некоторые города. Столыпин мог повторять, что речь идёт не о полицейском успокоении, а о постепенном терпеливом создании правового государства, что никому не удаётся сразу, – нет! не хотели ни слышать, ни слушать. Обозначило русское общество этот решительный шаг 3 июня – государственным переворотом, а свою недостаточно левую часть, которая это изменение признала и потом сотрудничала с властью в попытках построения России вместо того, чтобы разнести её в клочья, как бомбою террористы, – “третьиюньской общественностью”.

(Надо было пройти многим десятилетиям, чтобы В. Маклаков, озираясь из эмигрантской дали, признал бы:

Дата 3 июня стала для нас таким же нарицательным и порицательным именем, как 2 декабря для Франции. Но после всего пережитого такое суждение односторонне. Если этот переворот и прекратил насильственный острый период ожесточённой борьбы исторической власти с передовой общественностью, то он же начал короткий период совместной работы власти и общества в рамках конституции. Не произошли в 1914 европейской войны, Россия могла бы продолжать постепенно выздоравливать без потрясения. Переворот 3 июня при всей своей незаконности может быть помог нам тогда избежать... полного крушения власти, на 10 лет раньше 1917 года, в обстановке, нисколько не лучшей для мирного оздоровления).

Всё *общество* только поносило Столыпина – за реакционность, за надругательство над конституцией. Никто не заметил, что 3 июня было началом великого строительства России. В раздражении не заметили, что кроме ограничений в третьиюньском законе было и расширение прав: земства, то есть народных интересов. По Столыпину, земство не было придатком к централизованной бюрократии, но – в древнерусском духе и в своих александровских формах – должно было становиться добротным основанием всего государства. Работоспособное, охочее земство, занятое не лихорадочной фрондой, не политикой, а упрочением и украшением народной жизни, было для Столыпина идеалом, до которого он хотел поднять и Думу.

Думу так поднять он не сумел, но отношение земства к министерству внутренних дел и, значит, к властям вообще, при Столыпине сменилось быстро и ярко. Это вызвалось и личным отношением Столыпина к земцам, и его законодательством.

Вообще, возносясь в постах, он это возвышение понимал как острую потребность всё более изучать и изучать: и государственное право, России и Запада, и военные и морские науки; посты его были – обязанность десятикратного трудолюбия. Но с тем большей страстью он отдавал земцам своё соображение, схватчивый переим мысли у собеседника, ёмкую память и дельность. Он много с ними встречался, занимался, исследовал их нужды, жадно собирал сведения о пожеланиях земств, искал удовлетворить их. И земцы видели человека необыкновенного на этом месте, с его чётким напряжённым сознанием потребностей всей страны и потребностей местных, – и уходили от него душевно-побеждённые, ища или даже не ища, как в этой неожиданной симпатии оправдаться перед либеральными друзьями.

## 65

(Пётр Аркадьевич Столыпин)

До Столыпина министры внутренних дел и губернаторы чинили земствам осложнения, препятствия, а земства утыкались в политику. Это было уродливостью развития и ещё накалилось в революционные годы. Столыпин же считал местное самоуправление почти таким же желанным благом для России, как и хуторское устройство. В первые же свои месяцы он стал энергично восстанавливать земское дело. Восстановил отменённые при Александре III прямые выборы уездных земских гласных на крестьянских волостных сходах, открыл крестьянам свободный путь в уездное земство. Отменил контроль губернаторов над расходными земскими сметами. Обязал министерство просвещения к ежегодным значительным дотациям на земские школы (ещё через 2 года провёл закон о переходе ко всеобщему начальному образованию в них). Другие дотации земствам полились из главного управления земледелия-землеустройства – для разнообразной агрономической помощи крестьянским хозяйствам: содержать опытные поля, станции по борьбе с оврагами, ветеринарные, прокатные машинные, и целую армию землемеров, землестроителей и агрономов. Столыпин поддерживал кредитные кассы, товарищества и сельскохозяйственные кооперативы, противопожарные меры в сельских местностях – и собирал всероссийские съезды специалистов всех этих направлений. Характер земских съездов при Столыпине изменился, стал дружелюбен правительству.

В тесном сближении земств, городов и правительства я вижу будущее России.

Приведя к расцвету земскую деятельность, основательно надеялся Столыпин через то поднять по всей России и культуру крестьянского земледелия. Всё, что ни делал он, как будто само сходялось (им сводилось) к одному заветному главному – поднять крестьянскую Россию.

При открытии 3-й Думы в ноябре 1907 ему не пришлось излагать правительственную программу слишком подробно: вся та прежняя осталась на очереди, 2-я Дума и не притронулась ни к чему; за последние месяцы в программе ещё вызрело

государственное попечение о неспособных к труду рабочих, страхование их, обеспечение им врачебной помощи.

Но упорно увлекая вперёд весь охват своей программы, Столыпин упорно выныривал на своём и своём:

Внутреннее устройство окажется поверхностным, улучшения администрации не проникнут вглубь, пока не будет поднято благосостояние основного земледельческого класса. Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он останется рабом.

Та прирождённая природная победность, которая была в фигуре, в натуре и в судьбе Столыпина, больше всего и поражавшая оппозицию и публику, в этот раз

проявилась в нём как никогда, ибо была овеществлена: быстрым концом кровавого хаоса и – этой Думой, в надежде работоспособной. Колесница не сорвалась в бездну, а завернула от края. Да – революция ли то была?

Для всех теперь стало очевидным, что разрушительное движение, созданное крайними левыми партиями, превратилось в открытое разбойничество и выдвинуло вперёд все противообщественные преступные элементы, разоряя честных тружеников и развращая молодое поколение.

Но

бунт погашается силою, а не уступками... Чтоб осуществить мысль – нужна воля. Только то правительство имеет право на существование, которое обладает зрелой государственной мыслью и твёрдой государственной волей.

И вот он вышел перед Думой, как никогда имеющий силу и власть, повернувший Россию из рушения в выздоровление (ещё недавно не верилось, а вот наступило). После “третьиюньского переворота” он не обвиняемым вышел, оправдываясь в отклонениях от конституционного пути, но возглашал

восстановление порядка и прочного правового уклада, соответствующего русскому народному самосознанию.

Снова и снова эта опасная настойчивость в проведении *русской* линии:

Наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать силу в русских национальных началах – в развитии земщины и в развитии самоуправления. В создании на низах крепких *людей земли*, которые были бы связаны с государственной властью. Низов – более 100 миллионов, и в них вся сила страны.

Поражало это упрямство мысли, десятижды высмеянной просвещённым либерализмом: как может образованный человек так не бояться смеха света:

Народы иногда забывают о своих национальных задачах, но такие народы гибнут.

С думской трибуны, пронизываемый безжалостными корреспондентскими взорами, Столыпин безо всякой иронии, нисколько не стесняясь, декларировал многовековую связь русского государства с христианской церковью. Приверженность к русским историческим началам – противовес беспочвенному социализму...

Он даже брался учить свободолюбивейших и образованнейших граждан России, высших понимателей свободы, – самому понятию свободы:

Свобода настоящая слагается из гражданских свобод и чувства государственности и патриотизма.

Эта Дума на днях отвергла слово “самодержец” в обращении к Государю, и потому-то Столыпин, не опасаясь выглядеть старомодно, дерзнул поучать избранников народа – даже ценности самодержавия:

Историческая самодержавная власть и свободная воля монарха – драгоценнейшее достояние русской государственности, так как единственно эта власть и эта воля призваны в минуты потрясений и опасности – спасти Россию, обратить её на путь порядка и исторической правды. Если быть России, то лишь при усилении всех сынов её охранять царскую верховную власть, сковавшую Россию и оберегающую её от распада.

Со своей, ещё преждевременной, надеждой, что

в России сила не может стоять выше права,

он всё же видел путь к парламентаризму не простым и не быстрым:

Русское государство развивалось из собственных корней, и нельзя к нашему русскому стволу прикреплять чужестранный цветок.

Такой напор не мог быть молча принят левым крылом Думы, чтобы кадетам не перестать быть самими собой. Среда ответчиков взнёсся Родичев, из первых красноговорцев кадетской партии, никогда не умевший говорить спокойно (такие речи у него сонно разваливались), но только в огне страсти, когда не успевают промерять аршином, и – о так называемой России:



У России вовсе не было истории, лучше не говорить про неё. За 1000 лет именно из-за самодержавия она не выработала личностей, а без личностей не может быть истории.

Это было очень модно тогда: утверждать, что *нет людей* в России, переполненной ими, и менее всего допускать их в *людях земли*. И накатывал любимую мелодию русских радикалов:

Когда мне говорят об истинно русских началах, то я не знаю – о *каких* идёт речь? Национальное чувство есть и у нас и заставляет нас прежде всего требовать осуществления права. Может ли каждый из нас быть уверен, что право его не будет нарушено ради государственной пользы?

Извечная проблема, нигде не решённая и сегодня, вечное качание весов: как взять права, не неся обременительных и даже опасных обязанностей? или как заковать в обязанности, не давая прав? или как найти им чуткое равновесие?

Нашёл ли Родичев, что его речь становится даже академичной и не насытит ярости его партии? Он обострял, перешёл к военно-полевым судам, но и всё ещё его речь не вошла бы в историю, если бы безоглядная страсть к афоризмам и толкающее чувство ненасыщенной партии не погнало его показать на своей шее пальцами стяг петли и назвать – *стольпинским галстуком* (перифразируя “муравьёвский воротник”).

Он ожидал аплодисментов, к которым привыкли вожди оппозиции, но в этот раз не досталось ему устало-счастливо улыбнуться залу: бледный Столыпин вышел из министерской ложи, в зале поднялся и длился оглушительный шум, половина Думы стала стучать шопитрами, кричать и набегать на трибуну, угрожая стянуть Родичева. В неразборном шуме председатель прервал заседание – уже не голосом, а своим уходом, высокий же старик-кадет, прикрывая Родичева, дал ему отступить в Екатерининский зал. А там его настигли – с вызовом на дуэль! – секунданты премьер-министра.

Не тот был Столыпин министр, кто на оскорбителя ищет параграф закона. Тут он – весь: в ответ на необузданное, ненаказуемое, до проституции распущенное *свободное слово* XX века – послать рыцарский вызов, одно остаётся мужское решение. Он – уже вёл уверенной рукой Россию, успокаиваемую от разбоя, но сам из себя не соорил предупредительно такой для неё самооценности, какая позволяла бы ему пренебрегать личными оскорблениями. Нутрянее всех своих государственных обязанностей он был – рыцарь (“с открытым забралом” было его любимое выражение). Он – всё вложил в свою государственную линию, он вёл её сердцем, умом и жизнью, но даже и в ней не мог остаться в такой миг и всё бросал, чтобы сразиться с обидчиком, и готов был к смерти через одну ночь. Щедрость в нежалении своей жизни, какая только у тех и бывает, чья жизнь особенно дорога.

Сын севастопольского генерала сказал:

– Я не хочу остаться у своих детей с кличкой вешателя.

Несовременное – тем более это и поражало! Родичев был огорошен, как и все кадеты: за долгие годы гибкой словесности они забыли, что оскорбление может дёрнуть курок пистолета. Они привыкли блистательно насмеяться над всем инородным себе – они только забыли, что за свои слова надо отвечать, даже и жизнью.

Премьер-министр, 45-летний отец шестерых детей, не поколебался поставить свою жизнь. 53-летний тверской депутат не был готов к такому повороту. И – пришлось помятому оратору в этот же перерыв поплестись в министерский думский павильон просить у Столыпина извинения. Столыпин смерил Родичева презрительно: “Я вас прощаю”, – и не подал руки.

Сила этого характера, полтора года назад вовсе неизвестного России, проступала всё неоспоримей. Он остался до конца заседания, и Дума устроила ему овацию. А Родичеву пришлось с трибуны взять свои слова назад, просить у Столыпина извинения – и всё равно быть исключённым на пятнадцать заседаний.

(Однако: словесность взяла своё, и в истории остался “стольпинский галстук”. То и был перевес века. Эпоха безграничных гражданских свобод есть и эпоха безответственных обвинений).

Ту зиму семья Столыпиных опять проводила в Зимнем дворце среди пустынных мёртвых залов, где меньше всего можно было верить, что самодержавие – развивается. Притекали анонимные угрожающие письма. Террористы всё тянулись пронять металлом непроницаемого министра – и было предотвращено покушение даже в самой Думе: стрелять должен был из журналистской ложи социалист-революционер с паспортом итальянского корреспондента. Даже не предчувствием, а спокойным знанием – ещё с Аптекарского острова – сложилось у Столыпина, что ему не умереть своею смертью (как и не умирают бойцы). Каждый раз, выходя из дому, он мысленно прощался с родными. И повторял, завещал, это запомнилось: похоронить его там, где *он будет убит* .

Александр Гучков обещал Столыпину поддержку партии октябристов. Поддержка эта оказалась неровна, условна, иногда радовала дружностью и ковременностью, иногда оказывалась и не поддержка вовсе, а состязание и даже столкновение. Третьиюньский закон своё исправил: хотя и в новой Думе накалялось повышенное внимание к политическим трактовкам и пониженное к деловой работе, – собралась Третья Дума уже с перевесом гучковских октябристов над кадетами. Но и не создалось сильного правого крыла, которое препятствовало бы стольпинским реформам со стороны другой. Так эта Дума давала надежду на примирение власти и умеренной общественности, без чего Столыпин не видел спасения России. Такая укреплённая Дума давала надежду противостоять и безгранично-влиятельным, всегда анонимным дворцовым силам – истратам монархического правления.

Но тут же доводилось отведывать Столыпину истраты правления парламентского: рассчитывая на поддержку октябристского большинства, узнавать его сопротивление. (Неизменно на стороне Столыпина были только русские националисты). Так в начале Девятьсот Восьмого – сперва о постройке четырёх броненосцев. В то время для России это был вопрос не побочный. После сокрушительной Цусимы все лучшие силы русского флота упокоились на дне Японского моря. Вот уже третий год, как у России оставался не флот, а разрозненные корабли, не имеющие никакого сочетательного смысла, да береговая оборона. И руководящие морские круги и всё правительство, угнетённые поражением, не смели возгласить большой морской программы, только эти 4 корабля на доступные для России средства. Возражений не было, что флот не нужно отстраивать или что запрашиваемые средства непомерны. Возражение общества было другое, настойчиво выраженное в Думе Гучковым:

Морское ведомство – в неустройстве, и прежде флота должно быть преобразовано. Наша критика лишена малейших элементов злорадства. Патриотический траур напитал атмосферу этой залы. Мне и моим политическим друзьям мучительно больно отказывать правительству в кредитах после катастрофы. Однако в рескрипте 05 года обещалось: “нравственный долг перед родиной – разобраться в наших ошибках”.

И что сделано за три года? Всё та же пустая парадность в поведении флота, а адмирал Алексеев, преступно проваливший японскую кампанию, – наказан? Нет, в Государственном Совете. Октябристское большинство Думы отказало в кредитах, сперва требуя расчистки штатов морского министерства от завали и гнили.

Глубоко посмотреть, они были правы, и Столыпин сам не мог им не сочувствовать. И как раз той расчистке мешали придворные круги, и полезно было чем-то мощным её ускорить. Но, ещё глубже глядя: внешние враги России – не ждали, Россия лежала беспомощна и малоподвижна. И: желанные спокойные годы её зависели от сильного морского щита. И – с неутомимостью и с поразительной находчивостью, разнообразя аргументы и вытягивая всё новые и новые, как будто не было им счёту,

Столыпин с надеждой и напором выступил на трёх заседаниях – думской комиссии, Думы, потом Государственного Совета – каждый раз против сложившегося большинства и каждый раз сотрясая его, -

если не изменить предreshённое мнение, то доказать, что может существовать противоположный взгляд – и не безумный.

Не всякий парламентский министр с большим опытом мог бы найти столько энергии и проявить такое уважение к доказательному спору. Тем более – никому из царских министров негде и не перед кем проявлять такую изворотливость и настойчивость аргументации, так сильно вылепливать доводы, наносить их в блестящем каскаде сравнений, а каким-то и вызвать хохот и союзников и противников:

Если гимназист срезался на экзамене, нельзя ж его наказывать тем, что отнять учебники.

Он убеждал, что этак сойдёт энергия страны, весь мир перестраивает флоты, а Россия не защитит и берегов, весь флот обратится в коллекцию старой посуды, не обучен останется и личный состав без подлинной эскадры, он просил не избавлять правительство от ответственности за морскую оборону России, – всё тщетно.

И вскоре вслед отказала ему Дума в ассигнованиях на постройку Амурской железной дороги – не потому, чтобы могла возразить его речи об опасности, что дальний тот край пропитается чужими соками и будет утерян для России, – но просто считала такую трату непосильной для ослабленной страны, а верней: сама ещё была юна и не приучена судить государственно.

В других случаях Столыпину удавалось Думу убедить, в этих – нет. И тут от крайности уговоров он обратился к крайности действия:: использовал думские перерывы и провёл своё по “87 статье”. В двух этих случаях собравшаяся потом Дума не решилась остановить уже начатые без неё постройки – и броненосцев, и Амурской дороги. По той же маневренной статье провёл он и закон о старообрядческих общинах и о переходе из одного вероисповедания в другое. Но и для самого Столыпина была в том грозная недоумённость: он был министр не придворный, он возвысился не по протекции и не удерживался таким ни дня, своей равновесной линии он действительно никогда не провёл бы без Думы, он истинно нуждался в ней, именно он и убеждал Россию, что эпоха конституционного правления утвердилась, а вот: настоятельно-необходимого не мог провести через Думу – и нуждался её обойти.

И – каков же должен быть образ правления, чтобы правитель, преданный своей стране, мог бы, во благо ей, править быстро и энергично? Твёрдая устойчивая практика законодательных учреждений – и во всех странах возникала не вмиг.

И даже перед этой укреплённой, совсем не шалой Третьей Думой – ещё год и год, и год должен был отстаивать Столыпин ограничительные меры к печати, этой “матери революции”:

Если б нашёлся безумец, который сейчас одним взмахом пера осуществил бы неограниченные политические свободы в России, – завтра в Петербурге заседал бы совет рабочих депутатов, который через полгода вверх бы Россию в геенну огненную;

и исключительные меры против террора (Гучков со своим серединным большинством сперва поддерживал их, потом потребовал прекращения):

Не думайте, господа, что медленно выздоравливающую Россию достаточно подкрасить румянами всевозможных вольностей и она станет здоровой. Наши внутренние задачи приходится решать между бомбой и браунингом. Когда изнеможённое, изболевшееся народное тело укрепится – исключительные меры отпадут сами собой.

От выступления к выступлению несомненно проявлялись способности Столыпина: мгновенное соображение поданных реплик (выкрикивалось два слова, смысл мог быть сложней, его надо было достроить в секунду); и лёгкость ту-секундного

ответа на эти реплики; и такая добротная укладность в памяти, что не упускались подсобные мысли, дремлющие в притёмках, – тотчас вдвигались, давая речи корпус и рельеф; не дремала тонкость различения понятий, определений, процедур, и так же не дремали и вступали в дело нужные примеры из государственного права Европы, которым Столыпин не уставал заниматься, свободно зная три языка; и почти фонтаном били, внезапно возникая, популярные сравнения, всегда разъясняя мысль, иногда и веселя слушателей. В стране, где вся иерархия от императора до урядника предпочитала молчать, скрываясь за печатными распоряжениями, – невиданный этот царский министр измотал и склонил оппозицию своими речами, чёткими, как его почерк. И он не избегал приезжать на заседания, выступать, пользовался каждым случаем ещё и ещё продвигать своё дело, распахивать свою веру. По горячности сердца он не удерживался смолчать и там, где удобно было беззвучно уклониться.

Так было, например, в феврале 1909, когда оппозиция сделала запрос об Азефе. Испытав провал с ним, и провал во многих своей деятельности, лидеры эсеров выдвинули фантастическую сложную картину демонического двойничества Азефа, как бы участия правительства в террористических актах против себя самого: что правительство само создаёт Азёфов и убивает даже высокопоставленных лиц, только бы разложить революцию. Это было блистательное обвинение правительства, и русская *общественность* тотчас же и без проверки охотно его подхватила. Широковещательно разнеслось, что 11 февраля оппозиция внесёт в Думу громоподобный запрос. По закону Столыпин вовсе не обязан был являться в Думу отвечать: он мог ответить заочно, письменно, через месяц. Но он – сам рванулся на заседание, и слушал речи левых, переполненные не доказательствами, не знанием дела, а оскорблениями правительству и государственному строю. Кроме броской потрясающей гипотезы ораторы оппозиции Покровский и Булат в напряжённом, перенабитом думском зале не могли подкрепиться ни единым фактом. Столыпин вспыхнул, поднялся и выдвинулся под бой. Он ярко доказал, что левые лидеры преподносят басню, чтобы спасти свои знамёна. Не смолчал – и оставил нам речь, без которой сегодня и не докопаться бы до всей истины.

В этой горячности Столыпина не без влияния могло оказаться и то, что бывший глава полиции Лопухин, выдавший революционерам осведомительство Азефа и помогший Бурцеву сочинить азёфовский миф дальше, – был товарищем Столыпина по гимназии, – и вот явил ли хлипкость, столь распространённую в русских образованных людях? или особенно – в государственных чиновниках, обсевших трон, вот страшно? Искал, как спасти свою карьеру: главные убийства – Плеве и великого князя Сергея Александровича – беспрепятственно совершились при Лопухине, он пропустил предупреждения того же Азефа, не принял мер охраны – и теперь пытался всё свалить на Азефа, в сотрудники нанятого не им, гораздо раньше (но однажды спасшего жизнь и Лопухину). Пропустивши жизнь своего водителя Плеве – теперь не погнушался встретиться с его убийцей Савинковым, чтобы вместе оболгать Азефа и правительство. И даже слал протест Столыпину против попытки остановить его поездку в Лондон к террористам – и заверенную копию этого письма тут же пересылал заграничным эсерам, чтобы те публиковали в западной прессе. Даже не так поражала личная мерзость Лопухина, как твердеющая догадка: сколько же десятков – или сотен? – таких карьерных шкур и составляли слой власти в России?

Теперь в Думе Столыпин перечислял несомненные даты и факты. Что Азеф с 1892 года и по самое последнее время был добровольным секретным сотрудником полиции. (Даже нельзя вслух назвать – каким последовательным и первоклассным). Что до 1906 года (ареста Савинкова) Азеф никак не участвовал в террористической деятельности эсеров, но все частные сведения, которые ему удавалось получить через знакомства в партии, – он тотчас и добросовестно сообщал полиции. Так он дал сведения о Гершуни как центральной фигуре террора, помешал покушению на Победоносцева, одному

покушению на Плеве, сообщал данные о подготовке против Трепова, Дурново, и опять на Плеве – удавшееся в июле 1904 (и даже указывал именно на Егора Сазонова). Что обвинения будто Азеф участвовал в убийстве Плеве и Сергея Александровича – скроены неумело, без внимания к фактам: в обоих случаях Азеф находился за границей, тогда как в практике эсеров направители и вдохновители всегда присутствуют на месте, чтоб исполнителя подбодрить и тот бы его глаза видел. Так Гершуни был на Исаакиевской площади при убийстве Сипягина, на Невском при покушении на Победоносцева, и в Уфе, когда кончили Богдановича, и в харьковском “Тиволи” сидел рядом с убийцей и подтолкнул его, когда тот заколебался. Так же и Савинков везде был сам – при убийствах Плеве, Сергея Александровича, при покушении на Трепова, и на Соборной площади в Севастополе. А с 1906, когда Азеф получил доступ к действиям боевой организации, – решительно все её акты были умело расстроены и не совершены. Так к Азефу ни в каком отношении не применимо словцо “provocateur”, излюбленное революционерами для прикрытия своих неудач: так не может быть назван осведомительный агент полиции, а лишь инициатор преступления.

Насколько правительству полезен в этом деле свет, настолько же для революции необходима тьма. Вообразите, господа, весь ужас увлечённого молодого человека или девушки, когда перед ними обнаружится вся грязь верхов революции. Не выгоднее ли распускать чудовищные слухи о преступлениях правительства и переложить на него все преступные происки и деморализацию, все непорядки в революции – на правительство,

и заодно надеяться,

что наивное правительство само поможет уничтожить преграды для победоносного шествия революции,

откажется от всякой тайной агентуры – которая только и предупреждает убийства.

Вся наша полицейская система есть только средство – дать возможность жить, трудиться и законодательствовать. А преступной провокации – правительство не терпит и никогда не потерпит.

Уже за полночь он сошёл под рукоплескания всего зала.

Для одного государственного деятеля и всего в несколько лет слишком много проколыхалось и прогудело этого: бомб, браунингов, убийства правителей. Через такие кровавые годы пророчество само пропитывалось в сознание. И в этой речи об Азефе пророчество тоже прорвалось:

Мы строим леса для строительства, противники указывают на них как на безобразное здание, и яростно рубят их основание. И леса эти неминуемо рухнут и может быть задавят нас под своими развалинами, – но пусть, пусть это случится тогда, когда уже будет выступать в главных очертаниях здание обновлённой свободной России!...

Этой речью оппозиция была подавлена, Столыпин заставил поверить, что честность – не на стороне революции. (Впрочем, по законам либерального ветра, – как и “стольпинский галстук” или “стольпинский вагон”, присохнет на столетие не стольпинская правда, а черново-бурцевский детектив об Азефе).

О содержательности понятия свободы приходилось Столыпину спорить с кадетами не раз:

Нельзя только на верхах развешивать флаги какой-то мнимой свободы, мы призваны освободить наш народ – от нищеты, от невежества, от бесправия!

О каком бы внутри- или внеполитическом, административном, устройственном вопросе ни шла речь, Столыпина никогда не покидало это чувство связи с низами – как с главной опорой государства:

Поднять нашу обнищавшую, нашу слабую, нашу истощённую землю. Земля – это залог нашей силы в будущем. Земля – это Россия!

Увы, даже улучшенная рискованным третьиюньским законом, Дума всё ещё не стала рачительным национальным собранием, отзывчивым крестьянскому делу. Горше всего и в 3-й Думе пришлось реформе земельной.

От указа, изданного приёмом всё той же 87 статьи, в обход ещё 2-й Думы, – прошёл год, и два, и вот уже следующая Дума прела и прела над каждой его статьёй, не соглашаясь, возмущаясь, требуя объяснений. Кадеты, от азарта оппозиции потеряв понятие, что Столыпин выполняет именно либерально-правовую программу в деревне, стояли стеной в защиту коллективистской общины. Правые опасались крутого разрыва с традицией – и защищали ту же общину. И так велико было отвращение образованного общества от этого шага – освободить крестьянский труд и самостоятельность крестьянина, что в двух-с-половиной-летних прениях цеплялись за ступеньку каждой фразы, где только можно было закон задержать. И вот придумано было этими адвокатами и профессорами, что глава крестьянской семьи не может быть допущен к единоличному распоряжению своим участком, но на каждый имущественный шаг должен получить согласие сочленов семьи, своих баб и своих детей. Любой из этих состоятельных, самостоятельных, сиятельных горожан и помещиков ощутил бы надругательством такой порядок для себя в собственной семье (а любой европеец счёл бы глупой шуткой). Но того угнетённого крестьянина, *святого труженика*, которого они все кряду сердечно любили по наказу русских писателей и только ему и служили тут, в народном представительстве (хоть и не владея его языком и чуждые его понятиям), – того крестьянина они считали настолько неправомочным в его зрелые лета и настолько бесповоротным пропойцей, что, получи он участок в собственное впадение, он тотчас же его и пропьёт, пуская по миру семью; так если отпала над ним власть помещика, отпадала власть общины, – должна была остаться над святым тружеником хоть власть семьи. А вызвавши на то ответ Столыпина, что нельзя всё взрослое население отдавать в опеку своим детям, нельзя всё крестьянство рассматривать как хронически-слабых, весь русский народ как пьяниц,

нельзя создавать общий закон ради уродливого явления. Когда мы пишем закон для всей страны, надо иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых. Таких сильных людей в России большинство, -

общественность тут же обронила это “большинство”, а – выхватила, понесла, перекувырнула – с лёгкостью неотмываемого оболгания, которая так доступна тысячеликой безликости, – что мол Столыпин проговорился: его закон – это ставка на *сильных* крестьян, *то есть значит* на перекупщиков-кулаков. И в лад с ними с другой стороны голосили правые, что “защита сильного – глубоко антинациональный принцип”. (Так и с этим клеймом, как с другими, предстояло слишком неуклонному министру встунуть в своё столетие. Ложь за ложью посмертно лепили ему враги).

И часть духовенства выступала против реформы: расселение на хутора ослабит православную веру в народе.

За эти два с половиной года уже стёкся миллион крестьянских заявлений о выходе на хутора, уже работали землеустроительные комиссии, переводя землю в собранные отруба, уже посылало правительство в сельские местности растолкователей закона (не знал Столыпин, что следом за ними шли студенты и толковали наоборот: “не слушайте их, не идите на хутора, опять обманут!”), – а Дума еле-еле дотянула принять закон большинством в несколько голосов.

И ещё на год позже с треньями и колебаньями закон прошёл через Государственный Совет.

И когда и все законодатели уже проголосовали – закон ещё месяцы ждал последней подписи Государя, и в эти месяцы Столыпина резко атаквали справа, облыгая, что он – канцелярский реформатор, даже, будто, чиновники выгоняют крестьян из общины насильственно, что развал общины – из самых вредных его идей и отдаёт крестьян во власть еврейских скупщиков. (Хотя в законе отчётливо

оговаривалось, что наделённая земля не может быть отчуждена лицу иного сословия, не может быть продана за личные деньги и не может быть заложена иначе, как в Крестьянский банк).

Ещё теперь надо было ждать подписи Государя: не сломят ли, не отклонят ли за кулисами?

Государь имел то отчаивающее свойство, что один приятный посетитель мог в один разговор изменить его устоявшееся многолетнее мнение. Вокруг же Государя простирались и обращались несколько отдельных и очень многолюдных, из титулов и званий нанизанных сфер, которые были нечто не-Россия, но от вращения которых более всего зависела русская судьба. И, в занятом ими пространстве, не эти *сферы* были болезнью, отклонением, пороком, – но именно Столыпин, мелкопоместный, прорезавший эти сферы до самой вершины власти – незаконно, несогласованно, провинциально, без протекции и помощи, – а теперь утвердившийся тут чужеродно. Он стал вторым лицом империи, совсем не принадлежа и не зная ни придворного мира, ни великосветского, ни высокосановного, и никогда не готовленный к ним. Вне *сфер*, в большой России, Столыпин мог пытаться строить свод новых законов, и законы эти даже могли начать действовать на пространстве России, – но на пространство придворных сфер они не имели никакого влияния.

А шире – дело было так: Столыпин для всех для них оказался полезным нужным человеком, пока спасал их от революции, от поджогов и погромов. С лета 1906 по осень 1908, хотя и проявлялась к нему недоброжелательность правых кругов и высших сфер, но они не боролись с ним, а давали ему бороться с революцией. Когда же эта его борьба окончилась поразительным успехом, и Россия из безнадежного Смутного времени вдруг переплыла в мерные воды нормального государственного существования, – политика Столыпина стала им всем нетерпима и невозможна. А более всего непонятно, почему он до сих пор не отбирает назад Манифеста 17 октября, играет в конституцию, представительные учреждения и правовой порядок.

*Им всем* – это, по определению Гучкова, трём группам: придворной камарилье, которой при конституционном строе ничего не остаётся делать, как только исчезнуть; отставным бюрократам, всем неудавшимся правителям, плотно сжившимся в правом крыле Государственного Совета (он был засижен отставными бездельными старцами, и в них останавливалось продвижение живого дела, как в старческом организме останавливается кровь); и – той зубровой части дворянства, которая полагала господствовать Россией ещё столетия вперёд, не подавшись на вершок. Можно добавить сюда и Союз Русского Народа: от первых же признаков успокоения в стране Союз поносил Столыпина за недостаточную твёрдость против революции, няньченье с Думами, преданность конституции, негласные облегчения евреям, за либеральные идеи: куда он ведёт Россию?!... Но Столыпин не поддался и им, как и никакой партии никогда. Он служил – России, а не петербургскому озеру влияний. Ни в каких его действиях никогда не бывало личных расчётов.

Но мало того, что Столыпин не отбирал назад Манифеста: подавив революцию, он всерьёз потягивал цепь невыносимых реформ и расчисток, которые дальше разнесли бы неподвижное насладительное существование *сфер*, и те увидели это раньше его самого, а отдельные группы их уже и прямо почувствовали на себе грозную полосу сенаторских ревизий.

Столыпин в своём поединке с революцией и со счастливой уверенностью делателя – не оценил опасности с этой стороны. Он неуклонно ступал и победно продвигал свои законы, уверенный, что врежет и утвердит их и в *сферах*, – себе же от сфер не усваивая никакого закона: не искал там ни друзей, ни союзников, не выпрашивал мнений (он не был их братом-бюрократам, и они не чуяли на нём родного воскового налёта). И более всего ненавидя корыстных и взяточников, и уже задумываясь о реформе полиции, уже назначив комиссию для того, – ещё не видел большого стеснения

и опасности, что именно в эти месяцы, с начала 1909 года, *сферы* посадили ему (через царское благоволение, даже личную волю царицы) в министерство внутренних дел первым заместителем – жадного хорька Курлова. (То уже, может быть, была и подготовка его отставки. И собственный департамент полиции стал подслушивать телефон своего министра). Столыпин – всё ступал далее и высказывал тем более резкую правду, чем более вверх. Он как будто не замечал постоянной к себе неприязни государыни (эти отношения не входили в статут совета министров, хотя Государь в доказательство ему приводил и так: “эту точку зрения безусловно разделяет и государыня императрица”). И он уже привык на каждом шагу ожидать, но и парировать, внезапные перемены государева настроения: то – даётся согласие на смелую меру по министерству просвещения, даже грозящую студенческими волнениями, то вдруг – в обход соответствующего министра и премьер-министра подписывается публичное повеление прямо противоположного смысла, хуже чем подрывая устойчивость правительства. Так, о каждом согласии Государя всегда приходилось помнить, что оно ещё, собственно, не согласие.

И всякий раз к аудиенции (а Государю удобно было принимать премьер-министра лишь после 10 вечера, и то не в субботу и не в воскресенье, которое естественно отдать семье и развлечениям; а многие месяцы надо было не экипажем ехать в Петергоф, но поездами в Крым и назад, неделю в дороге, чтобы два дня поработать с Государем, а с устранением революционных опасностей Государь и на четыре месяца мог отбыть в Германию, отдохнуть на родине супруги), – идя на высочайший приём, всегда готовый к шатким внезапным изменениям высочайшей воли, Столыпин нёс в портфеле письменную просьбу об отставке, подписанную сегодняшней датой, – и иногда подавал её.

Весной 1909, когда *сферы* стали плотно давить на Столыпина, такая отставка, всё время зревшая, едва не произошла. Случай казался мелочным: подтверждение штатов морского генштаба, – но Столыпин проявил нетерпение, провёл через Думу и настаивал на своём решении, тогда как Витте поспешил указать в Государственном Совете, что здесь создаётся прецедент ограничения императорской прерогативы в военных вопросах. Ход событий был искажён внезапным воспалением лёгких у Столыпина. Государь предложил ему взять отпуск и отдохнуть в Ливадии. *Отпуск* – это вполне истолковывалось как подготовка к отставке, а посланный в Ялту рескрипт о даровании Столыпину ордена Белого Орла – как смягчение отставки. Столыпин воротился в Петербург в апреле – ещё с тёплым крымским воздухом в лёгких, порывом на свежий воздух и здесь – скорей на сырой Елагин, с ещё не оттаявшим снегом! Весь Петербург уже говорил, что Столыпина заменяет министр финансов Коковцов, а на министерстве – Курлов. И вероятно Государь в эти дни уже решался уволить. Но в конце апреля последовал ещё один рескрипт, открыто для публики утверждающий Столыпина. (Всё же полное ведение военных вопросов он должен был оставить за Государем – и так стал терять поддержку октябристов и Гучкова).

Отношения с Государем – это была уязвимая перемычка всей столыпинской работы и постройки: совсем не участвуя в той постройке, эта перемычка решала, однако, всю её. Как только не злословили об этом царе в обществе! какого только чучела не высмеивала в нём образованная Россия! – почти единодушно считалось, что он и недалёк, и глуп, и зол, и мстителен, и нечувствителен. Столыпин и прежде, из отдаления и невидения, не разрешал себе подумать так. А приблизившись и соприкасаясь тесно и в главном – убедился, что это совсем не так. Государь был даже страдательно уязвим, даже хрупок, но всё это загонялось им внутрь и переносилось лишь его отменным здоровьем. И не только не был он мстителен и зол, но был христиански добр, был воистину христианин на троне, и всем сердцем любил свой народ, и благоволил ко множеству людей, с которыми ему приходилось знаться. (Хотя обиду мог понести – и нести уже потом долго, до конца). Он искренне хотел, чтобы всем



в его царстве и во всех остальных царствах было хорошо. (Но только: чтоб от него не требовали для этого слишком большого и длительного напряжения). И он мог вникнуть в любую аргументацию, и понять совсем даже не упрощённую мысль. (Но тоже: чтоб не слишком утомительно и часто). Государь Николай Александрович нисколько не больше отходил от средности, чем и всякий средний монарх, который по вероятности должен уродиться, – а добротой чувств даже сильно избыточествовал над средним. И тем более долг монархиста был: уметь работать с этим Государем.

Государь был сердечно уверен, что всегда держит перед собой одну цель блага родины, а мелочные чувства личностей перед этой цепью меркнут, и повторял о своей страшной ответственности перед Богом, а подписывал назначения и поддерживал нашепты то дворцового коменданта, то начальника походной канцелярии. Государь искренне сознавал свою страшную ответственность – и так же искренне, откровенно оттягивал как скучные дела важные государственные вопросы или вовсе отменял такую неприятную процедуру как личный приём всего состава Государственной Думы, – а многое в 3-й Думе могло бы пойти иначе, если б этот приём состоялся. Но не было для Государя – любителя широчайших военных парадов (где участники однако бессловесны) или узких застольных бесед (где участники все свои), ничего более неприятного, чем встреча с десятком, сотней, полутысячей развитых инакомыслящих людей – не немых и не своих. Так нежно и так хрупко было всё мировоззрение Государя, а главное – способность отстаивать его, что он не мог его вынести на ветер мнений. Он мог только в запахнутом сосуде теплить веру в свой прекрасный народ и прекрасных государственных деятелей, которые всё устроят – и с просвещением, и с гуманностью, и со свободой, и с расцветом. И самого Столыпина долго ценил как такого прекрасного министра, который осуществит прекрасные цели и выведет жизнь народа в благоденствие, – лишь бы не слишком теребил своего Государя и не вынуждал делать неприятное какому-нибудь прекрасному человеку из придворных сфер.

А Столыпин не только не имел выбора иного, как всячески поддерживать и внешне возвышать этого Государя – по службе и по верности, но он и внутренне полюбил этого доброго честного человека, хотя и с государственно важными недостатками. (“J'aime le petit”, – говорил жене, “люблю Маленького”. Маленького императора, не сильного, как прежние). И стремился помочь ему эти недостатки одолеть, а от слабостей – выкрепиться. Если держать целью укрепление в России её исторических начал, то ныне царствующему монарху следовало служить всеми силами (смиряться с его неудождностями, как смиряется сын с неудачностью своего отца). И Столыпин не упускал случая прославить Государя, поставить в центре народных торжеств (двухсотлетие Полтавы), упоминать его только в тонах высочайших, приписывать ему заслуги собственных догадок и законов (“царь обратил свои взоры к русскому крестьянству”) и заклинать слушателей в верности (“Россия, преданная своему Государю”). Даже в откровенных беседах с Гучковым, своим единомышленником по думской борьбе, чьим резким речам Столыпин больше сочувствовал, чем мог выразить внешне, и с кем вместе планировали, как расколоть правый сектор Думы и выделить умеренное крыло, – даже наедине с Гучковым, недоброжелательным к царской чете, Столыпин никогда не позволял себе выразиться о Государе неодобрительно. И чем слабей, а от слабости упрямее (чтоб отстоять своё сознание силы) бывал Государь то там, то здесь, – тем необходимей было уступать этому упрямству, чтоб его впечатление силы не хрустнуло. И подкреплять это впечатление в нём, благодарить за милостивое участие, и оговариваться: “что я непрощенною мерою мог поставить Ваше Величество в неудобное положение...”. А когда уж совсем невозможно было миновать дать урок, это тоже было бы изменой монархизму, надо было форму найти такую, будто урок произносится для самого себя или о ком-то вообще постороннем:

Для государственного человека нет большего греха, чем малодушие.

Столыпин отлично видел о себе, как он подходит к посту, как умеет властвовать, и до чего необходим этому царю. Но тот, конечно, не мог соразмерить доли своего интеллекта и энергии в государственном управлении и доли премьер-министра, он искренне не понимал, сколько тут вкладывается работы и времени. Поэтому Государь не видел тягости для своего статс-секретаря ездить к нему в Ливадию из Петербурга с докладами. Или будучи отпущенным по Полтавской и Орловской губерниям осматривать своё любимое затеище – хутора, непременно поспеть к высочайшему обеду в честь датской королевской четы.

Государь позабыл или совсем никогда так и не понимал, в какую бездну уже почти сверглась Россия в Девятьсот Пятом и Шестом. Когда теперь, тремя годами позже, перед открывшейся первой свободной поездкой Государя в Полтаву, Столыпин не без гордости доложил ему:

– Революция устранена, Ваше Величество, и Вы теперь можете перемещаться свободно, – Государь ответил даже с раздражением:

– Не понимаю, о какой революции вы говорите. Даже и беспорядков бы не было, если бы власть была в руках более мужественных и энергичных людей, как ялтинский градоначальник Думбадзе.

Столыпину стало горько: как быстро и легко Государь забыл об опасностях, которым подвергался сам же. Как будто и не видел всего, что сделано для спасенья страны.

Правда, в первые годы Государь очень был к Столыпину расположен, живо ощущая его спасителем страны и себя. Он предлагал ему для безопасной жизни свои дворцы и прогулку на императорской яхте по финляндским шхерам (как ездил и сам).

Летом 1908 в такой прогулке на яхте Столыпин побывал инкогнито в Германии и там испытал неценное счастье всякого простого человека: ходить свободно по улице, не скрываясь от убийц. Но о его поездке стало известно императору Вильгельму, тот захотел встретиться. Столыпин уклонился, ускользнул, Вильгельм погнался за ним несколькими кораблями, однако не настиг. (Их разговор состоялся годом позже при встрече императоров. Вильгельм до неприличия пренебрегал царственным братом и его супругой, весь уйдя в разговор со Столыпиным, от которого пришёл в восхищение, – и ещё через 20 лет повторял, что тот был дальновиднее и выше Бисмарка).

Да! Ведь кроме внутренней политики (которая и есть единственная нужная политика – терпеливое устройство собственной страны) – существовала ж ещё и внешняя. И как премьер-министру, а не только министру внутренних дел, Столыпину полагалось бы много заниматься ею?

Совсем нет. Сколько мог, он от внешней политики уклонялся, игнорировал, жалел силы на неё: по сравнению с внутренней она казалась ему чрезвычайно легко решаемой: тут не было такой запущенности отношений, таких накопленных вековых несуразностей, а главное – такой истребительной ненависти, таких яростных идейных врагов, для которых не существовало жизни вне этой вражды. Ему казалось: во внешней политике достаточно приложить четверть силы, как богатырь передвигает горы: тамошние горы и пропасти – кажущиеся. Он был уверен, что правитель с самым посредственным разумом может остановить внешнюю войну во всякое время.

Может быть из-за этого невнимания кабинет Столыпина был наказан назначением в министры иностранных дел молодого честолюбца Извольского. (Да ещё: насколько русское правительство было кабинетом? Только-только начинали привыкать, что оно – нечто единое. Все эти годы министр иностранных дел не обязан был своих докладов повторять председателю совета министров. И – уволить того же Извольского или оставить на посту – тоже решалось без председателя). В поисках эффектного дипломатического хода и свободных рук по отношению к Турции, Извольский попался в ловушку своего австро-венгерского коллеги и попустил тому захват Боснии и Герцеговины в конце 1908 года сопроводить объявлением, что захват

произведен с согласия России. Это было наглое использование нашей послеяпонской слабости, наступали на ногу и заставляли улыбаться: Германия потребовала от России даже не молчания, не нейтральности, но – унижительного публичного согласия на оккупацию: преклонить колено и отречься от всей славяно-балканской политики. Русское общество было возмущено, взнялась тряска в печати и в Думе, – а кроме войны отвечать было нечем, упущено. А войной-то – хуже всего нельзя, Столыпин вник в военное министерство (оно, как и все, работало отдельно) и ещё более убедился, в чём был убеждён из соображений общих: воевать нам – никак нельзя, мы ещё долго будем не готовы, для нас сейчас война – поражение, но ещё раньше – революция. Вывод сам по себе был горек, но очень смягчён для того, кто и не намерялся воевать ни в коем случае, да и не горел панславянской миссией никогда. Временный ущерб самолюбия был ничто перед громадностью внутренней строительной программы. Столыпин не мог вскрыть аргументы публично, он только разубедил Государя, уже решившегося на мобилизацию против Австрии: это потянет и войну с Германией и угрозу династии. (И сказал близким в тот день: “Сегодня я спас Россию!”) И ещё личными переговорами Столыпин успокаивал лидеров разгневанного воинственного думского большинства. Кадеты – очень рвались в войну (не собственными телами только) и ещё долго шумно гневались после потсдамской встречи императоров в 1910: зачем Россия отказалась от наступательной позиции? А французы тревожились, почему ликвидируются в Польше четыре русских крепости. Столыпин же считал: все эти союзники – никакие не друзья и отвернутся от России, если её постигнет несчастье. Англия опасается международной силы России и желала бы её распада. Во Франции нет к России ни любви, ни уважения, а – только страх перед Германией. Никому в Европе и даже в мире не кажется полезной сильная национальная Россия.

И результат убеждал Столыпина, что внешняя политика не стоит слишком настойчивых и долговременных усилий: вот, все реальные угрозы были без труда удалены. Если сильная держава не хочет войны – никто её не заставит воевать. При назначении после Извольского министром иностранных дел Сазонова, Столыпин просил его: только избегать международных осложнений, вот и вся политика. России война совершенно не нужна, и во всяком случае нужно 10-20 лет внешнего и внутреннего покоя, а после реформ – не узнать будет нынешней России, и никакие внешние враги нам уже не будут страшны.

Когда будут здоровы и крепки корни русского государства, – слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед всем миром.

Он не предвидел обстановки, которая позывней истребовала бы Россию к войне, чем аннексия двух славянских областей, – а вот не пошли, и обошлось, и не заметно, чтоб ущербнулся свет самодовлеющего светила. И не было у него раскаяния ни перед честью российского государства, ни перед английским неверным союзником, когда в октябре 1910 в Потсдаме на встрече с Вильгельмом они с Государем обязались не участвовать ни в каких английских интригах против Германии, за что и Германия обязывалась не поддерживать австро-венгерской агрессии на Балканах. При разумной русской внешней политике просто вообразить было нельзя, с кем бы и зачем России предстояло воевать.

В три-четыре года столыпинского премьерства, не урывком, не враз, а постепенным неуклонным движением преобразилась страна так, что и друзья и враги, и свои и чужие не могли бы этого не признать: багровый хаос больше не зыбился, революция кончилась, она была – прошлое. А всё более вязалась обыденная живая деятельность людей, которая и называется жизнью. Страна приняла здравомысленный склад. Третий, четвёртый, пятый год кряду Столыпин влёл всю Россию, куда ему виделось правильнее. Он доказал, что управлять это значит предвидеть. Доказал наилучшим доказательством – действием. Самим собой. Любя Россию, а к партиям равнодушный, он не примыкал ни к одной, был свободен от давленья любой из них и

поднялся над ними всеми, при нём партии потеряли свою опрокидывающую силу. Вокруг него было прополото всё мелкое политиканство. Он был чужд мелочей, а потому и – мелкого самолюбия. Явное отсутствие личных интересов привлекало к нему людей. Он излучал бодрость, не скупился убеждать каждого сам, – с ним весело, легко было работать, и передавалась его бестрепетность перед угрозами и почти художественная формовка его огромных дел. Он был в расцвете лет и сил – и вливал свою крепкую молодость в государственное управление. Он был для всей России прозрачен, на просмотре, не оставляя болотоц для клевет. В оправданье фамилии, он был действительно столп государства. Он стал центром русской жизни, как ни один из царей. (И вправду, качества его были царские). Это опять был *Пётр* над Россией – такой же энергичный, такой же неутомимый, такой же радетель производительности народного труда, такой же преобразователь, но с мыслью иной, и тем отличаясь от императора Петра:

преобразовать наш быт, не нанося ущерба жизненной основе нашего государства – душе народной,

ни народному облику, ни верованиям:

Русское государство – в многовековой связи с православной церковью. Вы все, верующие и неверующие, бывали в нашей захолустной деревне, бывали в деревенской церкви. Вы видели, как истово молится наш русский народ, вы не могли не осязать атмосферы накопившегося молитвенного чувства, не могли не сознавать, что раздающиеся в церкви слова для этого молящегося люда – слова божественные.

(И почти в тех же днях, сознавая сторону другую:

Вашему Величеству известно, что я глубоко чувствую синодальную и церковную нашу разруху,

и что обер-прокурор должен быть сильного духа и сильной воли).

Линия Столыпина стала кристаллизующим стержнем, и к нему притягивались по всей России все те образованные – увы, уже ещё? – немногие, в ком сохранялись непостыженные остатки или раскрывались неуверенные начатки русского национального самочувствия и православной веры.

Этот духовный процесс тоже нуждался в развёртывании времени, вероятно – в тех же двадцати непо потревоженных годах.

Столыпин приобрел такую крепость стояния и усвоенного места, что уже без труда принимал затрёпаные стрелы оппозиции и силою и с новым свежим оперением метал их обратно:

Да! После перенесенных испытаний Россия естественно не может быть довольна. Но она недовольна не только правительством – она недовольна и Государственной Думой. И Государственным Советом. И правыми партиями. И левыми партиями. Она недовольна собой. Недовольство это пройдёт, когда укрепится русское государственное самосознание. Когда Россия почувствует себя опять Россией.

Его закон о выходе из общины, промытарившись через законодательные палаты, был окончательно подписан, – а между тем уже два миллиона хозяев подали заявление о выходе на хутора. И, предвидя зерновое изобилие, Столыпин создавал по всей России широкую сеть зерновых элеваторов государственного банка и субсидировал крестьян для хранения там зерна.

А была ещё одна, заветная, область, о которой Столыпину не досталось много спорить, ни встречать отчаянного сопротивления, успехи же были особенно зримы, быстры, переполняли звонкой радостью. Эта область – переселенческое движение крестьян за Урал в Сибирь, Киргизский край и Семиречье.

Кажется, ничего нельзя было указать естественнее для русских крестьян, чем переселяться им на свободные земли за Урал, – не лежать же им веками и веками в пустоши! И эта мысль, опережая многие другие, – давно сообщилась крестьянским низам, мудро выхватывая из неизвестности ту перевесь причин и условий, которая

через полета лет получит и учёное обоснование. Этот порыв породил мечты, легенды, рассказы – о “царицыных землях”, о “сибирских садах”, о “Мамур-реке”, – и крестьяне кидались даже в одиночку, перехватываемые начальством, иногда убегая из родной деревни беззвучной ночной повозкой, имея впереди тысячи вёрст по чужим местам, где всё так же нельзя было объявляться и не всегда удавалось получить ночлег, просить подаяние, – и уж вовсе к неизвестному дремучему обиталищу. От самых великих реформ 1861 русское правительство мешало расселению своих крестьян на свободные богатые земли под корыстным настоянием помещиков, боявшихся, что возрастут цены на рабочие руки в их поместьях завтра, и не доходящих, что будет со всей Россией послезавтра. Из Европейской России, где приходился 31 житель на квадратную версту, Сибирь, где жило менее одного человека на версте, так не пускали крестьян до самого голода 1891, затем послабили, даже начали строить сибирскую железную дорогу – и всё ж дождались накала 1905 и усадебных погромов.

Кроме улучшения обработки земли переселение было ещё одним выходом крестьянской нужде – и так оно легло во внимание и усилия Столыпина. Поток переселенцев получил многие льготы: казённую отвозку смотроков, государственную информацию, предварительное устройство участков, помощь на переезд семьями, с домашним скарбом и живой скотиной (были даже строены для этого особые пассажирские вагоны с упрощённой планировкой, к ним потом, перенабивши арестантскими душами и зло исказив смысл, приклеили название “стольпинов”), кредиты на постройку домов, покупку машин, – и самый предприимчивый слой крестьянства, однако недостаточно устроенный на старых местах, потянулся на восточные земли. Под переселение были отданы и кабинетские (собственные царские) земли Алтая – пятикратной Бельгии. Ещё и солдаты, обратно пересекшие Сибирь с японской войны, двинули этот крестьянский интерес. Уже в 1906 переселилось 130 тысяч, а затем в год по полмиллиона и больше. (К войне 1914 – больше 4 миллионов, – столько же, сколько за 300 лет от Ермака). Землю переселенцы получали даром и в собственность, а не в пользование, – по 50 десятин на семью, так раздавались дальше миллионы десятин, и с каждой снимали по 60 пудов, мечта Петра Аркадьевича. Орошали Голодную Степь, рыли общественные каналы. Всего прошло только четыре года, ничтожный срок для русской истории, 75 раз он мог быть использован в одной романовской династии, – и вот Столыпин с любимым своим министром Кривошеиным, с кем делили всё деревенское устройство, теперь, в августе и сентябре 1910, объехали многие переселенческие места в Сибири – большую часть в телеге – и не меньше самих переселенцев дивились и радовались их привольной, здоровой, удачной жизни на новых местах, их добротным заимкам и сёлам, даже целым городам, где три года назад не было ни человека, их весёлой спорой работе уже с первыми плодами нажива и прибýtка, с нескудным лесом, урожайным земледелием, вольным скотским отгулом, даровой охотой и рыбной ловлей, – за три года людям уже и не верилось, они ль это жили до се в теснотах и отчего же не трогались сюда?

И если это всё – за 4 начальных года, и уже подняли годовой сбор хлеба до 4 миллиардов пудов, что ж можно будет устроить за 20 лет разогнанных?

Весь вид этого огляженного благоденствия, всё движение и воздух сибирских степей были Столыпину высшей радостью его жизни, несравненно с наградами, которыми когда-либо мог одарить его трон или почеть российский народ: в эти счастливые месяцы (и безо всякой охраны) ему привелось увидеть, как его канцелярские усилия образились в устройстве великого народа на богатых просторах. Эти люди, смело пошагавшие в необжитость и даль, крепкие, неуёмно подвижные, ядрёная поросль русского народа, были сыты своим трудом, свободны и как же далеки от революционной мути и как неподневозможно заявляли себя царю и православию, требовали церковью и школой. Перенесенная на новое место Россия воссоздавалась даже очищенной: в Заволжьи встретил Столыпин бывшего крестьянина-революционера,

члена 1-й Думы, теперь страстного хуторянина и любителя порядка.

И весь путь Столыпин с Кривошеиным радостно разрабатывали, какие новые государственные меры надо принимать, чтобы вольно разливался этот переселенческий вал.

Через месяц Столыпин сидел в Потсдаме рядом с императором Вильгельмом, ощущая спиной сибирскую поселенческую добротность, и ещё и ещё удивлялся лёгкой устрояемости международных дел, этой пресловутой “внешней политики”. Отношения с Германией могли установиться как угодно хороши.

Русская жизнь выздоравливала – непоправимо. Ощущение этой уже достигнутой перемены пропиталось и в головы, груди революционеров. Тридцать кряду лет эти головы и груди были охвачены жадной надеждой на близкую в России революцию, только тем жили и двигались. Теперь же – безверие, усталость и отступничество залили их в безвыходном положении: их слов больше не слушали, революция хуже чем не состоялась, она была проиграна и перестала собою розовить горизонт будущего, лишь багрово догасала на горизонте прошлого. (В историю это впечатано как “годы столыпинской реакции” – да, это была реакция ещё не погубленных душ на свою отвратительную деятельность. И реакция здоровой части народа на нездоровую: в сторону, не мешайте трудиться и жить!) Так и от самого Столыпина террористы отвалились года с 1910, перестали охотиться, искать случая убить. В прошлом неудача многих попыток не заставляла их отчаяться и покинуть замысел, но вот наступили годы, когда террористы перестали встречать восторг и благодарность даже в тех интеллигентских домах, в которых привыкли. Во всём населении они почувствовали себя не столько гонимыми, сколько ненужными и отверженными. И это лишило их силы действовать.

Теперь дошло Столыпину позаботиться и об очистке вод, стекающих в Неву, и о бесплатном чае для нищих по ночлежным домам. Его счастливого здоровья хватало на все работы, и постоянно свежим видели его.

Зиму 1909-1910 Столыпин жил уже в доме на Фонтанке, никак не прятался, выезды его в Таврический дворец происходили в заведомо известные дни, а летом он мог ехать в своё любимое ковенское имение.

Однажды Столыпин осматривал летательные аппараты, и ему представили лётчика Мациевича, предупредив, что это известный эсер. (Состояние в эсерах не препятствовало ни военной службе, ни обычной работе). Вдруг, блеснув взглядом вызова, именно этот лётчик с улыбкой предложил Столыпину – полетать вместе.

Не свою только жизнь – даже всю русскую судьбу в руках держа, от подобного вызова Столыпин уклониться не мог: честь поединка парила в нём выше рассудка и обязанностей, как уже не раз при покушениях. Он – тотчас согласился.

И они полетели. И сделали круга два на значительной высоте. В любую минуту лётчик мог разбить обоих (жертвовать и собою – обычный был шаг террористов), а то и попробовать разбить лишь пассажира. Но он этого не сделал и противники только вели незначущий разговор и мерялись взглядами. (А очень вскоре Мациевич, летая в одиночку, убился. “Жаль смелого летуна”, – отозвался Столыпин).

В те годы не принято было трубно восхвалять на всю страну государственных деятелей, ни – обклеивать их портретами улицы. И в стомиллионной глубине России далёкие от политики обыватели меньше всего запоминали, кто там сейчас председатель совета министров, знали одного царя (за которого Столыпин и затенялся охотно), да видели вочью, что жизнь успокоилась, разбоя нет, снова можно жить на Руси покойно.

И кадеты не смели поносить Столыпина, устали атаковать. Они для себя новое положение приняли, лишь не желая чествовать победителя. Он врезался неизъяснимо-чужеродно: слишком националист для октябристов, да и слишком октябрист для националистов; реакционер для всех левых и почти кадет для

истинно-правых. Его меры были слишком реакционны для разрушительных и слишком разрушительны для реакционных. И, таким странным, *общество* уже привыкло терпеть его.

(Пётр Аркадьевич Столыпин)

Но был один слой, где каждый день напряжённо помнили, кто именно сегодня председатель совета министров, и удивлялись, как долго держится; где с негодованием и завистью следили за каждым новым успешным шагом этого невиданного карьериста, счастливчика, которому всё липнет в руки, самоуверенного честолюбца, чужака, не петербуржца, с кем не установишь взаимного счёта услуг, да ещё и предвзятого оптимиста, попугайски твердящего о светлом будущем, когда всё угрозней подрубались привилегии и права. То был – высший служилый и придворный слой, по сравнению с толщей России – ничтожный, но достаточный по толщине и объёму, чтобы все служебные движения министра-председателя связывались бы им. Их счёт был особый, как бывает на биллиарде или карточной игре, – счёт по шарам или картам, отмечаемый мелом, – как будто стираемый, тленный, но – бело-горящий, превыше всей страны и вселенной за пределами игральной комнаты. По этому счёту Столыпин был не в выигрыше, а в проигрыше кругом: он рано, не по годам, взлетел; он дерзко считал себя никому не должным; во всех *человеческих* случаях (кого поднять, повесить, перевести, наградить или защитить от наказания) он решал не по-человечески, как свой бы среди своих и для своих, но – прячась за бессердечной придуманной якобы государственной необходимостью; он не вступал ни в какой комплот, ни в какую дружескую компанию, он разыгрывал вполне независимого, чего быть не может, не бывает, – и цифры неоплатимого счёта разбухали в рассыпчатом мелу. Этот интриган обольстил, обморочил Государя и передержался на своём посту, – но по всем счетам ему пора было убираться! И, переводя на меловой и восковой язык, ему приписывали в долг и в вину каждую его удавшуюся реформу: он виноват был, освободив крестьян на отруба; он виноват был якшаньем с земствами, кому уже начал передавать часть незыблемого неделимого государственного управления (реформировать же уездное управление ему помешало дворянство, хотя половина дворянских предводителей даже не жила в своих уездах); он виноват был, увеличив из кармана помещиков земские сборы в пользу крестьянского устройства; он виноват был, готовя страхование рабочих за счёт фабрикантов и государственных налогов; он виноват был, введя праздничный отдых приказчиков; он виноват был защитой старообрядцев и сектантов; виноват невниманием к чинам дворцовой службы. Наконец, или самое первое: он не заслужил гофмейстера и статс-секретаря!

Он был выскочкой нестерпимой для тяжело-седых сановников Государственного Совета, неподступист для всего дворцового окружения и всё более неугож Ея Величеству. (И каждый, кто достигал высочайшей аудиенции, доносил высочайшему уху, что Столыпин растит свою популярность за счёт популярности Государя).

Эта среда не отличается стальной упругостью, но – болотной вязкостью. Она долго подаётся под ступающею ногой и даже податливо мерится – но с какого-то сжатия непобедима. Не только государево сознание и уши наполнились, но весь воздух, вся среда дрожала подозреньями, осужденьями, негодованием, как неприлично одному человеку так долго, так властно держаться за столь высокое место. И императору открылось постепенно, что его первый министр, уже 5 лет на этом месте, не благожелательный спаситель трона, но в каждом новом успехе пожинает славу себе и заслоняет собою своего Государя.

В такой вязкости всегда тянутся неисследимые липкие нити из одного края в

другой, они и дают болотной среде свою непобедимую болотную упругость, отзываясь в неожиданном месте. Государево чиновничество не смело открыто сопротивляться законной правительственной власти – так сопротивление Столыпину неожиданно прорвалось через церковь, и именно – в саратовской епархии, где он те так давно был губернатором: епископ Ермоген, а с ним иеромонах Илиодор, фанатичный инок с безумными глазами, проповедывали против властей как еретиков и изменников Государю, – а кто же эти власти возглавлял, если не Столыпин? – и выжили теперешнего губернатора. Вдруг оказались они оба в дружбе и союзе с Распутиным, входившим при Дворе во влияние (потом, правда, рассоривались и с ним, и друг со другом). Государь повелевал прекратить начатое властями против Илиодора преследование, возвращал его на богослужения в Царицын, предпочёл уволить обер-прокурора Синода, члена столыпинского правительства. В те месяцы слышали от Столыпина:

Ошибочно думать, что русский кабинет есть власть. Он – только отражение власти. Нужно знать совокупность давлений и влияний, под гнётом которых ему приходится работать,

бессильное положение правительства перед анонимными сферами, тёмными гнёздами позади кулис. Некоторые, как Гучков, убеждали Столыпина вырваться из связанного положения, дать открытый бой тёмным силам. Но Столыпин не мог этого сделать, не превращаясь сам в такого же Илиодора.

Враги – множилось, хотя Столыпин не множил их. Он не давал воли личным раздражениям и порывам, ибо не на этой стезе шла его битва. Так, он долго избегал резкого столкновения с Распутиным. (И не настаивал черезсилу, когда было высочайше отменено полицейское наблюдение за ним, его кутежами, аферистскими связями и не удалась высылка в деревню в 1908 году. Объяснил однажды Государь: “Лучше один Распутин, чем десять истерик императрицы”). Столыпин долго лишь отстранялся, чтобы не пересеклись пути государственные и распутинские. Однако, это оказалось невозможно: липкие нити тянулись повсюду, определяли назначения митрополитов, сенаторов, губернаторов, генералов, членов Государственного Совета, – а вот и в собственном министерстве внутренних дел Столыпин был подстережён и опутан своим же первым заместителем Курловым – неместным, чужим, неприятным, не им выбранным, но августейшей волей, – и вдруг оказавшимся во главе и Департамента полиции и Корпуса жандармов, оглавив, как будто, защиту России, ему бесчувственно недорогую сравнительно с мутными личными спекуляциями. Первый заместитель Столыпина по министерству, он вдруг – каждый раз вдруг – оказывался и добрым знакомым того самого Илиодора, потом и Распутина, – именно тогда, когда Распутин хорошо укрепился в Царском Селе, становился уже нетерпим в государственном теле, – невозможно было дать определяться государственным вопросам на уровне этого мужика, и Столыпин – в начале 1911 года – решил выслать его на родину, – увы, не надолго, и ко взлёту вящему. (Кривошеин предупреждал: “Вы многое можете сделать, но не боритесь с Распутиным и его приятелями, на этом вы сломитесь”). На этом Столыпин и потерял последнее расположение императрицы).

Несоскребённое болотное петербургское покрытие должно было непременно дать отдачу. Свойства напряжённых конфликтов – раздражаться внезапно и даже по третьестепенным поводам, не знаешь, где споткнёшься. Попалось – сложное да и спорное западное земство. И вдруг на этом месте сошлось сопротивление всей чвакающей среды.

На 9 западных губерний, от Ковенской до Киевской, Александр II в своё время не решился распространить выборное, как внутри России, земство – и там оно по сегодня оставалось назначенным. Такое земство как будто имело преимущество нереволуционности: назначенные служащие добросовестно работали и никогда не были в оппозиции к правительству. Но, глубже: назначенные земцы не могли так



смело, как выбранные, использовать местные силы, не считали себя вправе расширять деятельность своих земств, укрепляться усилением земских сборов, перенимать часть правительственных функций. А именно этого и хотел Столыпин ото всего российского земства. Расширение земских прав лежало на его главном государственном пути.

Но не решался Столыпин применить и простое географическое распространение правил: в этих губерниях было всего 4% поляков, а в Государственном Совете все 9 депутатов Западного края – поляки. При крестьянах – литовцах, русских, белорусах и малороссах, помещики были сплошь польские, в их руках было всё богатство, экономическое воздействие, наём рабочей силы, влияние на быт, образование, религию, уверенное господство и политическая опытность, сводящая их в спаянную национальную группировку. Оттого и выборное земство обещало стать под давящим польским влиянием, и путь всех 9 губерний сложиться польским, прочь от России. И задача была: не обратить расширяемое земство в инструмент польской политики, но повсюду застраховаться от несправедливого преобладания.

Однако по общему земскому закону Александра II помещики имели решительное преобладание над крестьянами. Теперь в 9 западных губерниях этот противокрестьянский корыстный закон правящих обещал национально отомстить за себя. Чтобы в западных губерниях спасти русскость, предстояло вывернуть прежний земский закон: не дать польским помещикам перевеса над своими крестьянами, нейтрализовать сословный характер выборов. Для этого производить выборы раздельно по национальным куриям, допустить к выборам духовенство (всё – не польское), а ещё (невиданность!) понизить имущественный ценз, чтобы маломочные не-поляки избирали больше гласных, чем состоятельные поляки (впрочем, и им оставалось 16%, четырёхкратно по сравнению с численностью). В земских управах должно было быть обеспечено большинство от сельских общин, а не от богатых поляков. Особо требовалось, чтобы были русскими (или украинцами, или белорусами, в те годы это никем не различалось серьёзно) – председатель земской управы и председатель училищного совета.

Запечатлеть открыто и нелицемерно, что Западный край есть и должен остаться русским. Защитить русское население от меньшинства польских помещиков.

(Как хорошо-то было бы прежде додуматься до того в самой России. Отчего ж в России-то ещё полвека назад не встал вопрос, как защитить крестьян от помещиков?)

Можно здесь предположить в Столыпине долю политического лукавства: хотя цель его была самая прямодушная, на пересечении двух, даже трёх его излюбленных линий – крестьянской, земской и национальной, но не упускал же он из виду, что такая демократизация земства, снижение имущественного ценза для гласных, так что в земство потечёт и русская полуинтеллигенция, склонная к революции, вместо консервативного польского дворянства, – не может не понравиться Государственной Думе. Действительно, приморщилась она от националистического духа законопроекта (и левые голосовали против), но приняла снижение ценза, даже вдвое, нежели Столыпин предлагал. И Дума, пожалуй, была права, а дальновидные правые должны были заполошиться: как бы это снижение ценза не перебросилось заразой на саму Россию потом. Итак, в первой палате закон прошёл, а во второй не мог не вызвать оппозиции – не против национальной, но именно против земской линии Столыпина.

Вторая палата – Государственный Совет, и держалась как бы для торможения и мудрой проверки скороспешных законов Думы. Из полутораста человек там около половины было выборных членов, около половины – назначенных самим Государем. (Этот приём назначения и вообще всегда имеет смысл тормозительный и личного влияния монарха, а для Николая II он давал выход его особой склонности назначать на важные должности лично ему приятных людей для противовеса слишком решительным действующим – так, чтобы не самому останавливать их).

“Лёд усталых душ”, говорил Столыпин о Государственном Совете. Тут были и

старцы, настолько уже дряхлые и даже глухие, что не успевали на заседаниях схватить смысл обсуждаемого и должны были в виде репетиций знакомиться с порядком дня до заседаний. Тут был и отстойник всех бывших деятелей, уволенных, отставленных, ушедших на покой, а значит и тщеславных неудачников. Змеей Государственного Совета в это время был Витте, личный ненавистник Столыпина: его изводила сухая тоскливая бесплодная зависть, как Столыпину удалось успокоить и вытянуть Россию там, где при Витте она впала в истерию и погрязла. (Смешно: даже не только, что Столыпин перенял его пост и исправлял его провалившуюся систему, сколько: одесская управа разыменовала “улицу Витте” в другое имя, Витте слёзно-коленно перед Столыпиным умолял не разыменовывать, а Столыпин не вмешался). Витте и стал - не главный открытый оратор противной стороны, но главный вдохновитель сопротивления за кулисами.

Всё ж до злополучного этого проекта как-то управлялся Столыпин с Государственным Советом. Но по проекту западного земства тут возникло упорное сопротивление – сословная их корысть оказалась выше всего. Казалось бы: не такой был важный законопроект, чтоб из-за него давать решительный бой и ставить под опасность уже 5-летнюю и ещё может быть долгую правительственную линию Столыпина?

Но даже и в комиссии Совета большинство пунктов было принято. Однако перед пленарным обсуждением, чуя нарастающую враждебную стену, Столыпин применил силу – взял от Государя подпись на письмо к председателю Совета, навещающее закон к принятию. Тогда один из решительных противников, В. Трепов, добился у Государя аудиенции и спросил: понимать ли письмо как приказ *или можно голосовать по совести* ? Излюбленно уравновешивая борющиеся силы, да и естественно, – Государь призвал голосовать по совести, а излюбленно к скрытности – скрыл этот эпизод от Столыпина. Впрочем, к этому времени уже много накопилось у него против министра-председателя: всё окружение Государя и все приходившие на приём возбуждали его против Столыпина; в этих же первых месяцах 1911 года были и главные кризисы с Илиодором и Распутиным, где Столыпин действовал против царского сердца и потерпел поражение.

4 марта на пленарном заседании Государственного Совета законопроект был провален. И 5 марта Столыпин подал прошение об отставке.

Не редкий пример из жизни людей и обществ: как подлом происходит будто на чём-то побочном, обходимом, когда по главной линии все тяжёлые препятствия взяты. От долгого ряда побед ослабляется ощущение всех сопротивлений, прорывается пылкая нетерпеливость.

Действующий конституционный порядок не требовал отставки правительства при вотуме недоверия в одной из палат: правительство оставалось по конституции ответственным лишь перед монархом. Но в том и дело, что голосование в Государственном Совете, как тем более настроение вокруг него, являли Столыпину, что, где-то за кулисами и не проявись, Государь уже отказался от своего министра-председателя.

Четыре дня не было ответа Столыпину на его отставку. (Уже Петербург называл премьером Коковцова, его фотографии появились в столичных витринах, в эстампных магазинах). Потом он был вызван вдовствующей императрицей, от кого имел неизменную и верную поддержку. Мария Фёдоровна тепло уговаривала Столыпина остаться на посту: “Я передала моему сыну моё глубокое убеждение, что вы один имеете силу спасти Россию”. В два часа ночи фельдъегерь привёз Столыпину письмо от Государя, где тот, дружественно и отчасти извинительно, просил взять отставку назад.

Здесь Столыпин проявил крутость, ему несвойственную (размах досады или далеко вперёд расчищая путь реформ?): вождей оппозиции, В. Трепова и П. Дурново, настоял уволить из Государственного Совета в бессрочный отпуск. А сам Совет (вместе

с Думою, иначе закон не позволял) распустить, – всего на три дня – но в эти три дня издать по 87 статье закон о западном земстве.

Это и было сделано 11 марта. Седовласые многозвёздные в лентных перевязях сановники принуждены были выслушать стоя высочайший указ о своём роспуске и многократно провозгласить “ура” в честь Государя императора.

Конституционно то был шаг неоправданный: 87 статья допускала издание законов Государем в *отсутствие* законодательных учреждений и при условии чрезвычайности положения, а не – искусственно распускать их для того.

Следует оценить, что Столыпин перегорачился и переупрямился, проявил резкость и нетерпение делателя, которому мешают делать, так уже тошно пришлось ему со *сферами*. Перед делом, перед государственной необходимостью казалась так досадна помеха от старцев.

Да наверно испытал он и задор проучить Государственный Совет – рассчитывая на верную поддержку Думы. Случай не стоил ни подачи в отставку, ни ломки Совета, ни применения 87 статьи. (Удалясь на охлаждающие десятилетия от спора, В. Маклаков потом указывал, что Столыпин не использовал верных возможностей закона: всего-то надо было ему потерпеть до летнего перерыва занятий, петом провести по той же 87 статье, уже неоскорбительно, – и Дума не имела бы повода отменять закон, одобренный ею самой, – и он бы даже никак не попал второй раз в Государственный Совет). Но, оглядываясь, ведь только по 87 статье, не иначе, удавалось Столыпину сообщать начальную скорость и всем своим основным законам, – хотя бы начальную скорость, а потом всё равно эти законы увязали в Думе или Совете или утапливались навсегда.

В этих нетерпеливых рывках творить законодательство без парламента можно видеть и следствие выкидышного рождения виттевской конституции в России, недозрелости её и её исполнителей, – но просвечивало и предвещение тех великих испытаний, которые потом наслал XX век на все парламентские системы мира, того кузнечного испытания на прочность и поворотливость, какие нужны раскалённому железу под молотом, а Россию эти испытания лишь постигли ранее всех других и менее всех подготовленной. О верном соотношении парламентской процедуры и личной воли ответственного правителя – вывод основательный осторожнее будет отложить до начала XXI века.

Этим трёхдневным дерзким роспуском законодательных палат Столыпин восстановил против себя всё петербургское общество: левых и центр – тем, что обошёл конституцию, правых – унижением и расправой с их лидерами.

Перегорачился и Гучков, неровный союзник Столыпина: хотя весь-то закон и проводился как раз в линии его октябристского думского большинства, он в бешенстве (или упиваясь общественно-выгодной позой) сложил с себя думское председательство и уехал – не ближе, как в Монголию. Хлопком двери он ещё преувеличил событие, сдвигая 3-ю Думу к неверности 2-й. (Столыпин очень удивился отставке Гучкова и надеялся на скорый возврат его. Не мог изменить ему Гучков!)

В петербургских *сферах* в первые дни столыпинский напор был разноречиво воспринят и как геркулесовы столпы нахальства зарвавшегося властолюбца, “самодурства, невиданного со времён Бирона”; и как удивительное счастье, когда и поражения обращаются в пользу.

А через полмесяца Столыпину пришлось защищать своё решение в Государственном Совете, который знал свою силу, ибо ещё через полтора месяца автоматически отменял закон непринятием его. Столыпин выслушал тут упреки во мстительной злобе, знобящей лихорадке безотчётного своеволия, самодержавии премьер-министра, манёврах для сохранения личного положения, игре на революционных инстинктах Думы, потеснении просвещённого независимого консерватизма, насаждении чиновничьего сервиллизма; и подробные юридические

возражения; и пафосные упрёки, что это – рвут клочья из Манифеста 17 октября и выпускают Выборгское воззвание наизнанку. Но все обличения не пошатнули Столыпина, и он всё так же бодро и многогранно отвечал шире и сильнее, чем формально обязан был по запросу, не уклоняясь ото всего объёма схватки ни в подробностях, ни в целом. На все юридические доводы он не упустил ответить юридически, обильно цитируя западных знатоков государственного права, и указывая примеры подобного роспуска, даже британского парламента Гладстоном. Он доказывал, что воля монарха не подлежит критике (он заслонялся тронем, уже изменившим ему), это она определяет чрезвычайность или ординарность закона, отрицать же право монарха на роспуск палат значит подвергать опасности всю жизнь страны в будущие чрезвычайные моменты. У нас ещё нет политической культуры, при молодом народном представительстве трения поглощают всю работу, и в законодательных учреждениях может завязаться мёртвый узел, который посилено развязать лишь монарху, хотя это и – край, противоположный парламентаризму (он скользил ногой по основам того Манифеста, который тщился сохранить).

Столыпин устоял на ногах перед Государственным Советом, и, казалось, сохранял всю мощную позицию правителя. Однако к концу апреля, когда подходили последние недели законопроекта и тот всё равно был обречён отмениться, – в той самой Думе, на кого более рассчитывал теперь Столыпин, и в чьей формулировке, надеясь поладить, он провёл свой закон, – именно в Думе раздались самые уничтожительные речи.

Сперва Столыпин отвечал на запрос. Он выдвигал новые и новые доводы, так что вся постройка аргументации уже намного превзошла защищаемый законодательный акт. Особенно тщательно он защищал юридическую сторону, на которую ожидал главной атаки, но звал и к чувствам, напоминая, как законодательные палаты из-за трений и по юности опыта тормозили законопроекты, от которых страдали миллионы русских людей или загоразивалась их молитва. А теперь в законе о западном земстве

победит ли чувство народной сплочённости, которым так сильны наши соседи на Западе и на Востоке?

Он намекал, что именно этим роспуском он отстаивал решение Думы и правоту Думы. И наконец, перед аудиторией напряжённо-неприятной, выдвинулся, по своей манере идти на бой открыто и первому вперёд:

Имеет ли право и правительство вести яркую политику и вступить в борьбу за свои политические идеалы? Достоин ли его продолжать вертеть корректно и машинально правительственное колесо? Тут, как в каждом вопросе, было два исхода: уклонение или принятие на себя всей ответственности, всех ударов, лишь бы спасти предмет нашей веры.

Когда-то сокровенно-укоризненно выраженная царю, теперь прорвалась с трибуны его задушевная мысль:

Для лиц, стоящих у власти, нет греха большего, чем малодушное уклонение от ответственности. Ответственность – величайшее счастье моей жизни.

И это оказались – последние слова, когда-либо сказанные им публично.

Он сел в министерскую ложу слушать прения. В который раз удалось ли ему – переубедить, сдвинуть или хотя бы озадачить противомысленных слушателей? Уже первая речь от фракции октябристов, обезглавленной уходом Гучкова, обещала мало хорошего. Оратор назвал кризис – лично *председательским*, игрою в законность.

Даже желательные мероприятия, но проводимые путём сомнительной законности, есть поворот к прошлому. Наш исторический грех: неуважение к идее права, к незыблемости закона. Не встретив противодействия, такие мероприятия имеют тенденцию повторяться.

Всегда ли главная работа – у того, кто говорит? Не труднее ли – слушать против себя, уже лишённым возможности ответить? Как легко законодателям *давать законы*,

освобождён от необходимости осуществлять их! или – останавливать законы, не понуждаемо искать выход из мучительного состояния страны. Как легко с лакированной трибуны XX века поставить неторопливую, прожжённую, проголосанную законность выше вопиющей неотлагаемой нужды! Как легко в пиджаке, галстуке и запонках оценить наш исторический тысячелетний грех, не упомня ни дебрей, ни морозов, ни хазар, ни татар, ни ливонцев, ни поляков, – то-то у всех у них, кто сжимал нас, было уважение к праву!

А следующим – по значимости партии, и несравненно первым по умению говорить, вышел блистательный Василий Маклаков. Вот уж кто, тончайший из юристов, будет сейчас разбивать все заставы юридических доводов премьер-министра! Нет, с неожиданностью, доступной только великим ораторам, он великодушно (или другого избега нет) покидает то поле, где ждётся главная сила его:

Я думаю даже, что формально статья 87-я нарушена не была.

Вот как! И главный юрист признаёт, что закон-то нарушен не был. Так что же тогда?

Но кроме прямого ненарушения закона необходимо его добросовестное и лояльное применение.

И атака Маклакова – что Столыпин, формально правильно применив закон, извратил его смысл. А говорится со страстью, и уже в первой части речи оратор с лёгкостью выговаривает, что извращение – политически-преступное, что премьер-министром владеет *mania grandiosa*, его мораль готтентотская по сравнению с европейской христианской моралью (сидящих здесь кадетов). В густой напряжённости зала Маклаков наносит эти оскорбления как звонкие пощёчины в министерскую ложу, допущенный наконец к недостижимому – выразить за пять лет кадетскую месть. (А свежий председатель Родзянко, упоённый председательским местом, возвышается и не рискует прервать). Маклаков не обходит тронуть сердце адвокатской руладой:

И какая была бы благоденственная демонстрация, если бы председатель совета министров, всю энергию и решимость которого мы знаем, покорно склонил бы голову, и врезает новую пощёчину, назвав Россию *стольпинской вотчиной*.

Он бьёт свои удары – но как изменилось положение для премьер-министра: почему-то невозможно не только ответить, но – оскорбиться, выйти из ложи. Не потому, что повторение, но в этой новой обстановке было бы смешно и доказывало бы только правоту противника.

Это старая психология нашего правящего класса. Все наши губернаторы – Столыпины в миниатюре. Он так вырос в этой психологии, что не мог понять, что Дума станет на иную позицию. А для Государственной Думы быть или не быть земству в губерниях запада – мелочь, сравнительно с вопросом, быть ли России правовым государством.

Да, Столыпин дал глубокий промах, он недооценил Думу, он не вник, что для Думы – мелочь и западное земство, и вообще земство, и волостное, и само крестьянство, и национальные интересы, – а только расквитаться бы с премьер-министром за вереницу своих от него поражений. Зря он рассчитывал, что Думе – нужен закон о земстве, да ещё взятый в её думской редакции, что она повлечётся на снижение земского ценза, перспективы демократизации, да ещё укрепить свои позиции против Государственного Совета, – нет! она все эти возможности отбрасывала. И хотя только что признал кадетский адвокат, что закон нарушен не был, теперь он поучал Столыпина:

всякий государственный человек должен уметь уступить, подчиняясь закону, и таково было невыносимое соотношение, цена за земский закон, что надо было принимать поученья, опустив голову.

Давно ли председатель совета министров был популярнейшим человеком в России?

(Только Дума никогда этого не признавала).

Давно ли сами его противники относились к его политике с осуждением, но и с уважением?...

(Только тогда говорили другое).

И вот, через несколько лет...

Через несколько лет – первый раз в думских прениях Столыпин оказался в положении слабом. Первый раз что-то сломилось и изменилось, и на каком же, кажется, не топком месте. Под их же улюлюканье вытаскивал всю Русь из дьявольского хаоса – и было под силу. А небольшая реформа в полудюжине губерний сбивает с ног.

Великое самомнение и великая дерзость ставить свои идеалы выше законов. Иногда история прощает дерзость тех титанов, умевших опрокинуть все законы и вести страну за собой; но тот, кто таких заслуг за собой не знает, должен быть скромнее.

Так он не вёл страну за собой? он ничего и не сделал?... О, кто измерит труд со стороны, не сметив, забыв тот прежний край бездны, и никогда не разделив натяжения наших мускулов.

Не устая, 4 года мы указываем на позорное правление под его главенством... Жертва слишком большой уверенности в правоте своих взглядов... Образ честолюбивого правителя... Вместо подлинного успокоения он разжигал, чтобы сделать себя незаменимым...

Как будто он не через бомбы шагал, а – карьерист, ловко достигший поста. Не ответишь: только ваших детей не тронули, а моих изувечили.

... Удивительное ощущение: пять лет успешно строил, строил – и вдруг оказывается всё как бы в развалинах, всё – под сомнением... Пять лет назад оставить их с их говорильней – они погибли бы все. Но твёрдой рукой выведя их из гибели – теперь присуждаешься испытать заушенья, и впервые заколебаться: да, ошибся, да, погорячился на ровном месте, да, хотел проучить заносчивый Государственный Совет.

И вдруг с неожиданнейшим изворотом, который и отличает великих адвокатов от маленьких, кадет Маклаков восклицает как о самом ранящем его:

Что сделали с монархической идеей! Я – монархист не меньше, чем председатель совета министров,

огорашивает он Думу,

я считаю безумием отрицать монархию там, где её исторические корни крепки. Но этот защитник монархии, вмешивая имя Государя в свой конфликт с Государственным Советом... Недостойная форма... Сомнительный акт... Из просьбы об отставке извлёк себе пользу...

Этот изворот и этот трепет адвокатского голоса – уже не к Думе, он вносится выше самоварного корпуса Родзянки – выше – выше – он не может не достичь тех ушей, не пронзить их неизбежностью окончательной отставки премьера. Выйдя говорить как будто в защиту Думы, Маклаков блистательно дотянулся отсечь недостойного министра от великого царя. Только так и могла Дума столкнуть Столыпина: в союзе с ненавидимым монархом и в союзе с ненавидимыми сферами. И достигнув этой главной цели, не доступной Думе, хотя бы вся она проголосовала заедино, – Маклаков разрешает себе теперь и завершительную пощёчину:

Для государственных людей *этого* типа русский язык знает характерное слово – временщик. Время у него было – и это время прошло. Он может ещё остаться у власти, но, господа, это агония.

И верно знает, где отрубил. И верно знает, что вот – отхлестав, оплевав – не получит вызова на дуэль, как доказательства последнего банкротства.

Однако что может сделать единственная речь как будто безоружного человека: он не принёс своей лепты доводов, не положил своего догрузка на весы, – но мельканием лёгкого языка, но сочетанием известных элементов слушательской слабости – смахнул

великана, сдюзавшего со всей Россией, смысл в помой неотставленное правительство.

А на трибуне – новый монархист, в этот раз истерический перекидчивый Пуришкевич – с коварной попыткой вырвать себе аплодисменты всегдашних левых врагов, а со Столыпиным рассчитаться с той стороны, откуда он менее ждёт удара.

Довольно и здесь пощёчин: что трусливо прикрылся священным именем Государя, подорвал авторитет русского самодержца; не проявил твёрдости против смуты в Саратовской губернии, а заигрывал с революцией (уже и в этом!...), самовластен, не понимает государственных идеалов России (и в этом!), испытывает недостаток ума и воли (и в этом?),

но, нужно полагать, зайдёт же он когда-нибудь!

(Место для аплодисментов). Пуришкевич не признаёт за Столыпиным права называться русским националистом, его национализм – вреднейшее течение, которое когда-либо было в России, он оживляет в сердцах мелких народностей надежды на самоопределение и дифференциацию, он даёт самоуправление окраинам, а это – безумие, ибо инородцы Империи не могут иметь самоуправления наряду с коренным русским населением. Западный Край и не просил себе выборного земства, это придумала Дума, – и в угоду ей и в её редакции премьер-министр провёл закон, губительный для русского населения, к торжеству поляков и левых, в западные земства повалят социал-демократы, эсеры и сепаратисты.

Не всякому даже в жизни раз достаётся такой день публичного беззащитного позорища, медленной казни. Но ошеломляет, туманит, сбивает, что атака равно яростна с противоположных сторон. Упрёки следующих ораторов покрывают и догружают упрёки ораторов предыдущих. Со всех сторон череда несдерживаемых оскорблений – и вдруг пошатывается наша, никогда не шатавшаяся уверенность. Удар за ударом, попадая в нас, постепенно размягчают нашу стойкость. Цельный предмет, хорошо тебе известный, вдруг наклоняется, поворачивается, расщепляется, – и ты с содроганием уже усумняешься: да был ли он цел и един? Не то что не стоило класть голову за этот закон, но может быть ты и раньше, и раньше – видел не так?

А жаждающие ораторы всё меняются, их не десять и не пятнадцать, дорвалась 3-я Дума отыграть за проигрыши всех трёх Дум.

От социалиста слышит Столыпин, что он потопил русский народ в его собственной крови, и даже злейший враг не мог столько вреда принести русскому самодержавию, закон же о западном земстве – это вершина “пирамиды расправ”.

И снова от кадета, и довольно известного:

Где мы видим те огромные заслуги за председателем совета министров, чтоб он мог сказать, что является носителем национальной идеи? Мы не знаем ни победы под Садовой, ни у Седана.

(Уже и то ему в вину, что он не устроил войны).

Притязание, что его идеи единственно-истинные для русского народа – оскорбление национальных чувств.

И опять от правого:

Председатель совета министров, покайтесь, и идите к престолу просить прощения, ибо вы подвели верховную власть.

Как прорыв ненависти. Как будто все – только и ждали удобного случая взять реванш за то, что пересиливал их столько лет.

Кто-то говорит и за – но их много меньше, и для совестливого сердца их аргументы никогда не кажутся успокоительны. Ощущение почти сплошное – разгрома, и не в одном этом законе, а – во всём пятилетии управления, во всех замыслах жизни.

Жил и ощущал, что сделал так много. А вот, оказывается: ничего, всё – прах.

Ораторы меняются, заседание тянется в вечер, и к полночи, и за полночь, и только тогда дали слово – и то по мотивам голосования – двум из западных крестьян, которым Родзянко отказывал весь день прений, хотя с них-то и надо было эту

дискуссию начинать:

Вы нам зажали рот. Мы очень рады, что осуществляется и наше земство. Будь там статья 87-я или какая, но если от вас ждать, ваших реформ, то мы никогда не дождёмся.

Но уже слишком было поздно, слух депутатов к тому не клонился, а скорее надо было голосовать: 200 с осуждением, 80 в защиту. Только русские националисты и остались неизменно верны Столыпину.

(Закон о западном земстве утонул – и лишь после смерти Столыпина был легко принят. И западное земство очень помогло в близкие годы войны).

Уже в апреле чуткие придворные носы распознали, что Государь бесповоротно охладел и даже овраждебнел к Столыпину. И в *сферах* стала складываться вокруг Столыпина атмосфера конченности. Кажется искалась только благоприличная форма отставки его на невлиятельный пост. Таким предполагалось, например, новопридуманное восточно-сибирское наместничество: услать его в его излюбленные края.

И можно было Столыпину: поддаться, покорно уйти, и так (знаем теперь) – спасти жизнь и дожить до поры, когда он снова будет призван, когда он ещё пригодится России. (И как пригодится! В июле 1914, чтоб отклонить войну. В Петрограде и Могилёве в 1917 – чтоб не допустить до крушения).

Но как после взрыва на Аптекарском Столыпин отверг этот выход слабости, куда его толкали революционеры, так и сейчас отверг выход, куда его толкали парламентарии. Он должен был вытянуть свой долг.

Тогда, после Аптекарского, он говорил:

Я совершил большую оплошность, что не составил для Государя памятной записки, чтобы в случае моей смерти не произошло никакого замешательства. Я должен непременно составить её на случай второго покушения.

Была ли такая на случай второго, четвёртого, шестого покушений – мы не знаем, да ведь от самого взрыва на Аптекарском и как поехали под мостами в Зимний – были ли сутки свободные для того? Задачи дня всегда неотложнее, ежедневная деятельность так увязчива, а предусмотрение терпеливо ждёт.

Но после апрельских поражений в Государственном Совете и в Думе, Столыпин созрел для составления и диктовки обширной программы – уже, впрочем, давно в нём готовой: второй ступени, прямого продолжения той первой программы 1906 года, развёрнутой перед неслышащими ушами 2-й Думы, мало кем понятой и оцененной. Все эти 60 месяцев программа непрерывно осуществлялась – и в деле и в самом её авторе, неразлично и неслышно нарастая звено на звено, кольцо на кольцо, как растут деревья, и только общему одноразовому круговому огляду доступно выделить и назвать: лечение ног, низов, лечение крестьянства – отлично совершается, теперь пришла пора лечить бюрократию.

Вторая большая государственная программа Столыпина, диктованная в мае 1911 (в паузах: “и всё это, всё это можно будет сделать, если только Господу Богу угодно”), так и построена – по отраслям государственного управления.

Последний год у него уже действовал “Совет по делам местного хозяйства”, где законопроекты подготавливались совместно – чинами министерств, губернаторами, предводителями дворянства, городскими головами и земскими людьми. Этот совет, молвою названный “Преддумье”, имел цель, чтобы законы не были созданием чиновников, но проверялись бы людьми жизни. По новой программе дела местного самоуправления выделялись в отдельное министерство, которое перенимало все местные казённые учреждения от министерства внутренних дел (где оставались только органы охраны, полиция освобождалась от несвойственных ей функций). Права земств расширялись, используя опыт штатного управления в США. Земства брали полностью в своё ведение продовольствование (для угроз голода создавался новый



продовольственный устав, по которому голодающее население кормили: имущие – кредитом, мускульно-сильные – общественными работами, немощные – благотворительным обслуживанием). Для кредитования земств и городов, для нужд местного благоустройства и дорожного строительства создавался особый правительственный банк. Высшие учебные заведения поступали в губернские земства, средние – в уездные, начальные школы – в волостные (которые пока что Дума не давала создать). Земский избирательный ценз понижался в 10 раз, чтобы могли быть избираемы владельцы хуторов и рабочие с небольшой недвижимостью.

Создавалось новое министерство труда, контролирующее все предприятия, с задачами: изучать положение рабочего класса на Западе и готовить законы, улучшающие положение нашего: из беспочвенного пролетариата сделать участника государственного и земского строительства. Министерство социального обеспечения. Министерство национальностей (на принципе равноправия их). Министерство исповеданий – всех, а в части православного: Синод превращался в Совет при министерстве, и должно было разрабатываться восстановление патриаршества. Столыпин исходил из того, что русский народ в своей православной потребности покинут, следует значительно расширить сеть духовных учебных заведений, и семинарию обратить в промежуточную ступень, все же священники должны кончать академии. Министерство здравоохранения – финансировать земства и города в устройстве бесплатной медицинской помощи сельскому населению и рабочим, в борьбе с эпидемиями и повышении врачебного уровня в стране. Наконец, ещё новое и отдельное министерство – по использованию и обследованию недр.

Деятельность всех этих министерств нуждалась бы в сильном бюджете. Бюджет безумно-богатой России неверно построен: более бедные западные государства дают нам займы! при таком обилии сырья – такое отставание металлургической и машиностроительной промышленности. В России имущества обложены ниже своей действительной ценности и действительной доходности, и иностранные предприниматели легко вывозят капиталы из России. Исправлением этого, увеличением акциза на водку и вина и введением прогрессивного подоходного налога (малоимущие почти освобождались, косвенные налоги сохранялись невысокими) бюджет увеличивался более чем втрое, и так открывались источники финансирования. Брать иностранные займы предполагалось только первое время и только: для исследования недр и для строительства шоссейных и железных дорог – так, чтобы через 15-20 лет (к 1927-1932) их сеть в европейской части России не уступала бы сети центральных держав, – такой план, включая водные пути и каналы, министерство путей сообщения должно было окончить разработкою в 1912. Тут предполагалось пригласить и частных концессионеров, еврейские банки и акционерные общества (снятие ограничений с евреев было неременной частью столыпинских программ). Впрочем, постепенно предполагалось перекрыть операции частных банков – Государственным Банком.

Увеличивалась (расчётом по прожиточным нуждам) заработная плата всех чиновников, полиции, учителей, священства, железнодорожных и почтовых служащих. (Это давало возможность всюду привлечь образованных). Бесплатное начальное образование уже широко началось в 1908 и должно было осуществиться как всеобщее к 1922. Число средних учебных заведений доводилось до 5000, высших – до 1500. Минимальная плата за проучение должна была расширить путь малоимущим классам; при всех университетах увеличивалось в 20 раз число стипендиатов. Венчая же их, создавалась Академия для подготовки на высшие государственные должности. В этой двух-трёхлетней Академии были бы факультеты, соответствующие направлениям народного хозяйства, с точной росписью: на какой факультет принимаются выпускники (самые способные и не меньше чем с двумя иностранными языками) какого высшего учебного заведения (на факультет недр – из горных институтов, на

военный – окончивших военные академии, исповеданий – окончивших академии духовные). Так государственный аппарат России должен был заблистать знатоками и специалистами. На высшие должности попасть стало бы невозможно человеку неподготовленному, неспособному, по случайностям протекции. И министров не должен был выискивать Государь, сощурясь, перебирая в памяти и спрашивая совета у придворных, – но из рекомендательного списке, представляемого советом министров. Министерство же национальностей должен был возглавить общественный деятель с авторитетом в нерусских кругах.

Готовилась также легальность социал-демократов, под запретом оставались террористы.

Программа Столыпина охватывала и политику внешнюю. Она исходила из того, что Россия не нуждается ни в каком расширении территории, но: освоить то, что есть; привести в порядок государственное управление и возвысить положение населения. Поэтому Россия заинтересована в длительном международном мире. Развивая инициативу русского царя о Гаагском мирном трибунале, Столыпин теперь, в мае 1911, строил план создания Международного Парламента – от всех стран, с пребыванием в одном из небольших европейских государств. Занятие его комиссий должно было быть круглогодично. При нём – международное статистическое бюро, которое собирало бы и ежегодно публиковало сведения по всем государствам: о количестве и движении населения, о развитии промышленности и торговых предприятий, о природных богатствах, незаселённых землях, о возможностях товарообмена; о положении населения, числе рабочих в промышленности, сельском хозяйстве, числе безработных, о среднем вознаграждении, доходах групп населения, налогах, внутренних задолженностях, сбережениях. По этим данным Парламент мог бы приходить на помощь странам в тяжёлом положении, следить за вспышками перепроизводства или недостачи, перенаселённости, – и Россия предлагала в такой помощи участвовать. Международный Банк из вкладов государств – кредитовал бы в трудных случаях.

Международный же Парламент мог бы установить и предел вооружения для каждого государства и вовсе запретить такие средства, от которых будут страдать массы невоенного населения. Войны с разрушительными средствами ещё несут ту опасность, что государственные формы будут легко меняться на худшие. Конечно, мощные державы могли бы на эту систему не согласиться, но этим повредили бы своему авторитету, – а и без их участия Международный Парламент что-то мог бы сделать.

Особо выделял Столыпин отношения с Соединёнными Штатами, от которых более всего ожидал он и поддержки Международному Парламенту. Соединённые Штаты не имеют оснований завидовать России, бояться её, они с ней и не сталкиваются нигде, – и лишь усиленной еврейской пропагандой в Штатах создано отвращение от русского государства (да и народа), представленьё, что все в России угнетены и нет никому свободы. Столыпин предполагал пригласить в Россию большую группу сенаторов, конгрессменов и корреспондентов.

Его программе могла помешать отставка – но он надеялся на поддержку Марии Фёдоровны, и даже если будет отставлен, то вскоре позже призван вновь. Могли противиться – и конечно бы изо всех сил противились – Государственные Дума и Совет, в которых как раз-то и не хватало высоты государственного сознания.

Эта обширная программа переустройства России к 1927 – 1932 годам, быть может превосходящая реформы Александра II, простёрла бы Россию ещё невиданную и небывавшую, впервые в полном раскрытии своих даров.

(Эта программа, в ожидании осени, лежала летом 1911 в его письменном столе в ковенском имении. По его смерти приехала туда правительственная комиссия и, в присутствии свидетелей, в числе других бумаг изъяла эту программу – навсегда. С тех

пор проект исчез, нигде не был объявлен, обсуждён, показан, найден, – сохранилось только свидетельство помощника-составителя. Быть может, он был найден коммунистами, и какие-то идеи плана были использованы в обезображенном, искарикатуренном виде. По иронии первая их пятилетка в точности легла на последнее столыпинское пятилетие).

То лето Пётр Аркадьевич был как никогда утомлён, подавлен – и нежен с детьми. В тяжёлые минуты у него были опасения или предчувствия и своей смерти и катастрофы России. Первого он никогда не боялся – боялся второго. Министру Тимашеву он утомлённо жаловался на своё бессилие в борьбе с безответственными придворными влияниями. Сказал: “Вот ещё несколько лет проживут на моих запасах, как верблюды живут на накопленном жиру, а после того – всё рухнет...” А Крыжановскому, своему заместителю по министерству внутренних дел: “Вернусь из Киева – займётся реорганизацией полиции” (в духе его программы). В августе он последний раз ездил в Петербург, председательствовал в совете министров в Елагином дворце, последний раз встречался и с Гучковым, обсуждая, как скорей продвинуть через Думу закон о пенсиях увечным нижним чинам. В Петербурге предупредили Столыпина, что как будто финляндские революционеры вынесли ему смертный приговор.

Сколько уже их было...

Царь ехал в Киев наслаждаться пышными многодневными торжествами – и ему в голову не пришло, что среди множества своих шталмейстеров и гофмейстеров он мог бы одного – своего премьер-министра – не брать лишней блестящей пуговицей, а оставить его при серьёзных делах.

А памятник-то открывали – как раз Александру Второму, 50 лет первой реформы.

Столыпин очень печально простился с родными, с соседями по ковенскому имению, с друзьями. Говорил, что никогда ему не был отъезд так неприятен. (Хотя один смысл и этой поездке всё же был: Киев был главным городом Западного Края, где и надо было подкрепить земство западных губерний. И именно в Киеве в те годы разгорался свет русского национального сознания).

Почему-то поезд, тронув со станции, остановился – и полчаса не мог сдвинуться.

Потому ли, что Столыпин ехал не из Петербурга, он не взял с собой офицера жандармской охраны, а только штаб-офицера для особых поручений Есаулова, – не для охраны, а в помощь своему секретарю: для распоряжений по приёмам, корреспонденции, для формальных визитов.

Всё дело охраны киевских торжеств, так задолго предсмакуемых Государем, и потому о них много толковали при Дворе, было организовано не обычным образом: заведывала охраной не местная власть, что было бы естественно, а специально к тому приникший и прилипший генерал Курлов, что очень импонировало Государю. Курлов с ранней весны 1911 начал объезжать места государевой поездки, и были ему подчинены все чины всех ведомств тех областей. Это возмутило киевского генерал-губернатора Фёдора Трепова, он протестовал Столыпину и просил отставки. Объявленная Государю, эта угроза могла бы исправить распоряжения об охране (и всё пошло бы иначе), но безусловно омрачила бы ребяческие предвкушения императора. И – пожалев царственного ребёнка, Столыпин убедил Трепова взять отставку назад. Из рук человека местного, знающего на месте всех и всё, охрана перешла в руки приезжего. А выше того подчинялся Курлов только дворцовому коменданту Дедюлину, от которого для связи в попечении особы монарха и приставлен был к Курлову полковник Спиридович.

Курлов был как будто подчинённый, заместитель, – а вот уже владел всей полицией и жандармами Империи, вполне независимо от Столыпина, – но Столыпину было так даже и лучше: его голова была занята не полицейскими заботами. Курлов был и сам по себе неприятен Столыпину и противоположен по всему образу действий и по всем жизненным взглядам: в каждом деловом решении из него так и выстораживалось: а что это даст лично

ему? Было в нём – и от остромордого злого кабанчика, как он упирался ножками и пёр, и бил с разгону. Но – вкоренчив был, связи повсюду, и со всеми врагами Столыпина. И это не был тип беззвучного воскового бюрократа – а с большой жадностью жить как широкий дворянин, с ресторанными кутежами как мерилom жизненного успеха, оттого кроме службы вёл коммерческие дела, мутные спекуляции, утопал в векселях. И – умён не был, это как раз он попался на удочку Воскресенского, освободил его из тюрьмы для двойничества, едва не взорвался с ним на Астраханской улице, а потом сплетал обвинения на других полицейских генералов.

Но – слишком много требовалось добавочных усилий, чтоб освободиться от этого клеща вовремя. Имея задачи высокие, не тратят сил на такое. Должно было само со временем обойтись.

Дворцовый же комендант Дедюлин, маг и распорядитель торжеств, – был одно из важных болотных сцеплений сфер, ненавистник Столыпина. А теперь, лучше других зная, как охладел к нему Государь, он спешил дать вьяве проступить этому охлаждению, стать зримостью для всех – да и натешиться же! Опытная придворная толпа ловит малейший признак, ведёт счёт оттенкам, – а тут грубо было показано, что Столыпин уже не достоин ни почтения, ни внимания. От самого приезда в Киев 27 августа Столыпин был – униженно, демонстративно – отеснён из придворных программ, и уж конечно не получил личной охраны – не то что достойной, но – рядовой.

Столыпину отвели комнаты в доступном нижнем этаже генерал-губернаторского дома, с окнами в плохо охраняемый сад, на аршин от земли, но Курлов отказал Есаулову поставить жандармский пост в саду: излишняя мера. К Столыпину являлись расписаться должностные и штатские лица, просто крестьяне, – прихожая была в нескольких шагах от комнат премьер-министра, и вход для всех свободный, ни одного дежурного полицейского, тем более офицера. Не охраняли его ни при поездках в Софийский собор (на молебен о благополучии высочайших особ), к митрополиту, ни – при депутациях от дворянства, земства и городского самоуправления.

Всё время, свободное от церемониала, Столыпин продолжал работать, ведя управление страной из Киева.

С 26 августа шла богровская игра, что готовится покушение на Столыпина, – премьер-министру никто об этом не сообщил и никто из компании Курлов-Веригин-Спиридович-Кулябко не проверил: да охраняется ли этот Столыпин вообще.

Стало широко известно, что он не охраняется, патриоты стали предлагать добровольную охрану. От них потребовали списки желающих, те представили 2000 человек. Списки задержали на утверждении, потом возвратили с вычёркиваниями, – уже было и поздно. С трудом Есаулов добился жандармского поста в прихожей.

29-го, так ничего и не зная, Столыпин ездил на вокзал участвовать во встрече высочайших особ. Ему не дали даже дворцового экипажа, на автомобиль у департамента полиции не нашлось денег (но нашлись на курловские кутежи), Столыпин вынужден был взять извозчика, открытую коляску, ехал в ней безо всякой охраны, с Есауловым, – и коляску задерживали не раз полицейские чины, не признавая и не подпуская к охраняемому дворцовому кортежу. Так же и при разъезде экипажей настолько не было распоряжений о каком-то премьер-министре, что Есаулов с большими затруднениями добился, чтобы извозничий экипаж министра был поставлен вслед за тройкой дежурного флигель-адъютанта.

Городской голова Дьяков, узнав о положении Столыпина, прислал ему для следующих дней собственный парный экипаж.

Как-то в эти дни профессор Рейн умолял Столыпина надевать под мундир панцырь Чемерзина. Столыпин отказался: от бомбы не поможет. Свою смерть он почему-то всегда представлял не в виде револьвера, а в виде бомбы.

И 30 августа, и 31, и в Купеческом саду Столыпин так ничего и не знал о явке Богрова

и всех его сведениях...

Богров готовился слишком хитро! Он не представлял, насколько беззащитна против него одна вся императорская Россия! За эти дни, безо всякого театра, он мог стрелять в Столыпина сорок раз.

Только 1 сентября утром пришла остерегающая записка от Трепова, следом прибыл Курлов. Курлов приехал, собственно, со всеми служебными делами, и подписывать многочисленные награждения. А в ряду тех дел вот и это: предупреждение секретного сотрудника Богрова, посему лучше бы министру подождать мотора от охранного отдела.

Столыпин не придавал серьёзного значения. А нашли бомбу? Нет.

О чём он только не спросил, и чего предположить было нельзя: что этого осведомителя полиция приглашает в целях охраны. Это – категорически было запрещено, и Курлов знал, и не делалось никогда.

Да уже и торопили Столыпина выезжать на сегодняшние празднества – манёвры, ипподром. Поскольку он не принадлежал к дворцовому кортежу, его торопили выехать за полтора часа, иначе закроют проезд. Столыпин отказался швырять полтора часа.

Последние сутки своей неутомимой жизни он, ради придворного этикета, провёл в сплошных церемониях...

Входных билетов в театр лица, сопровождавшие Столыпина, не имели до последнего момента (получили их, может быть, не раньше Богрова). Есаулов получил билет не рядом со Столыпиным, в первом ряду у левого прохода, а в третьем ряду и затиснутый в середину. Но когда он явился и к этому месту – оно оказалось занятым полковником болгарской свиты. Есаулов долго выяснял недоразумение – и ему дали место к правому проходу.

Так никого даже под рукой не оказалось, не то что охраны.

Можно было пересесть в ложу к Трепову, но Столыпин отказался, считая излишние предосторожности малодушием.

Ещё при входе в театр Есаулов спросил Кулябку, арестованы ли злоумышленники, тот ответил: “Их совещание состоится завтра”.

Спросил и Столыпин Курлова, какие новости со злоумышленниками, – тот ответил, что не знает, уточнит в антракте. Уже взвивался и занавес.

В первом антракте Курлов ничего не узнал или не узнавал, Столыпин перестал и думать. Прошёлся один по партеру.

Доставало ему о чём подумать в эти нелепо теряемые для работы дани, в первый день рабочего сентября, осени, в которую должна была решиться его Реформа.

Во втором антракте к нему подошёл попрощаться Коковцов – он, счастливый, уезжал в Петербург, в министерство.

– Возьмите меня с собой, – пошутил Столыпин грустно. – Мне тут нехорошо. Мы с вами тут лишние, прекрасно обошлось бы и без нас.

Всегда это был – капризный, упрямый министр, которого надо было постоянно уламывать, потому что он видел роль министра финансов не в развороте бюджета для могучего хода России, а в задержке трат, в сохранении денег. Но сейчас так освежительно было видеть делового человека.

И в этом антракте Столыпин тоже не вышел из душного зала, да некуда было идти. Он стал у барьера оркестра, локтями назад на него опершись, грудью к проходу. Он был в облегчённом белом сюртуке (а как бы стиснуто и жарко в броне!).

В зале оставались немногие, проход пуст до самого конца. По нему шёл, как извивался, узкий длинный, во фраке, чёрный, отдельный от этого летнего собрания, сильно не похожий на всю публику здесь.

Столыпин стоял беседовал с пустым камергером, который не считал потерей ещё беседовать и рядом стоять с этим премьер-министром, никто более важный не подошёл.

Они оба – угадали одновременно преступника на его последних шагах! Это был долголицый, сильно настороженный и остроумный – такие бывают остроумными – молодой еврей.

Угадали – и камергер бросился в сторону, спасая себя.  
А Столыпин – снял локти с барьера – вперёд! – руки вперёд и броситься вперёд, самому перехватить террориста, как он перехватывал прежде!  
А тот уже открыл наставленный чёрный браунинг – и что-то косо дёрнулось в его лице – не торжество, не удивление, а как бы невысказанная острота.  
Ожог – и толчок назад, опять спиной к барьеру.  
И – второй ожог и толчок.  
Как будто выстрелами пришило Столыпина к барьеру – он теперь свободно стоял.  
Террорист, змеясь чёрной спиной, убежал.  
И никто за ним не гнался.  
Кто-то крикнул: “Держите его!” – кажется, да, это был надтреснутый голос Фредерикса, близко тут.  
Столыпин стоял. Подвинуться! он не мог, а стоял легко.  
Сколько охотились – всё-таки достали.  
Он ещё не почувствовал ничего, стоял как нетронутый, а уже знал и понял: смерть.  
Ранило ещё и само выражение тонкого убийцы.  
Столыпин стоял всё один.  
Подбежал профессор Рейн.  
Да, вот, расплывалась и густела кровь по белому сюртуку справа, большим пятном.  
А под пятном, в этом месте, было тепло.  
Столыпин поднял глаза вправо, выше над собою он чувствовал там или помнил и теперь искал.  
Вот Он: стоял у барьера ложи и с удивлением смотрел сюда.  
Что же будет с...?  
Столыпин хотел его перекрестить, но правая рука не взялась, отказалась подняться.  
Злополучная, давно больная правая рука, теперь пробитая снова.  
Что же будет с Россией?...  
Тогда Столыпин поднял левую руку – и ею, мерно, истоиво, не торопясь, перекрестил Государя.  
Уже и – не стоялось.

Выстрел – для русской истории несколько не новый.  
Но такой обещающий для всего XX века.  
Царь – ни в ту минуту, ни позже – не спустился, не подошёл к раненому.  
Не пришёл. Не подошёл.  
А ведь этими пулями была убита уже – династия.  
Первые пули из екатеринбургских.

## 66

Что такое государственная служба? Это – самая устойчивая из служб и самое выгодное из занятий, если его правильно понимать. Государственная служба это – осыпавшее нас расположение высших лиц и постепенное наше к ним возвышение. Это – поток лестных наград и ещё более приятных денег, иногда и сверх жалования. Если уметь.

Среди своих, садясь за роскошный стол, как говорится, хе-хе-хе: поручи прокормить казённого воробья – без своего поросёнка за стол не сядем.

Пётр Великий, основавший наше регулярное государство, завещал нам великую Табель о Рангах: весь путь возможного восхождения как по военному ведомству, так и по гражданскому он выложил чёткими ступенями, не допускающими разнотолкования, чётко соотнося успехи на обеих лестницах, воздвигнутых над аморфным российским народом, и давая каждому служащему человеку точное понимание достигнутого им значения, степень его начальствования, степень подчинения и расчёт возможностей вверх. Тот, кто нутрянее

этими законами проникнут, тот и успешнее продвигается к верхам государства.

Но и не так просто эти законы надо понимать, как терпеливую выслугу. Терпеливые в лямке выкладывались, высыхали в слишком мерном продвижении, так ничего заметного и не достигнув в жизни. Услужение высшим – непременно условие успеха, но никогда не продвинуться достаточно высоко на одном лишь услужении: надо иметь и собственные решительные движения. (Это можно пояснить служебным продвижением Наполеона). И безупречное знание и применение всех законов – также условие неполное. Конечно, надо уметь во всякую минуту выхватить и выстелить нужную статью. Знание законов вооружает нас как пастью сильных зубов, и ты находчиво обнажаешь их против недругов, против соревнователей, против ревизий, против, упаси Бог, суда, – но иногда, чтобы верно знали твою силу, надо слегка дать почувствовать твои зубы – и стоящим над тобою (кроме, разумеется, незакатного государева солнца). В разумной дозе применённое, такое смелое действие может сильно поспешествовать твоему продвижению вверх.

На низах служебной лестницы по обстоятельствам или неразумению твоей юности могут произойти и ошибочные рыски: побуждаемый слишком прямолинейной мыслью о славе, ты неверно начнёшь службу гвардейским офицером, к чему есть неоценённые препятствия (даже, например, недостаточный рост). Затем ты исправишься – через военно-юридическую академию в военно-судебное ведомство, но всякое исправление есть уже попоздание, уже сорван темп твоего продвижения, 13 лет ты закисаешь в провинциальном прокурорском надзоре, тебе 43-й год, а ты – много ниже средней линии лестницы, ты – ещё в многолюдной чиновной полосе, где толпятся неудачники, и втуне всё твоё понимание способов, никак не применятся твои напористые возможности, и не подставятся те высокие кресла, к которым струятся достойные блага.

И вот, расхаживая в печали по своему вологодскому прокурорскому кабинету с окнами на провинциальную убогость и в который раз размышляя над цепью своих неуспехов, – ты вдруг осеняешься совершенно выдающейся мыслью, имеющей стремительно преобразить всю твою карьеру: ведь ныне могущественный министр внутренних дел Плеве тоже был некогда вологодским прокурором. И как же далее может функционировать вологодский окружной суд, не развесив на своих стенах галерею всех бывших вологодских прокуроров? И как же добыть в эту галерею почётный портрет всеми нами излюбленного министра Плеве, как не послав к нему в Петербург в специальную командировку? И – кого же, как не инициатора этой идеи Курлова?

И всё отстаивается! И командировка, и польщённость Плеве, и самый этот портрет, тщательно обёрнутый для железнодорожной транспортировки, но – не любящими руками инициатора будет он прибит к стене (да ещё и устроится ли эта галерея?), ибо всемогущий министр, вглядываясь в перезревающего вологодского прокурора – низкорослого, мелкоголового, с низким бобриком, не слишком раскидистыми усами, а подбородком и вовсе скромно-голым, уже очень неуверенного в себе, но очень честного, преданного, спрашивает его вдруг: “А ведь нам нужны люди. Не перейдёте ли вы из судебного ведомства в администрацию?” Курлов – полнготовен к переходу, и с 1903 года начинается его бесшумное движение – сперва вице-губернатором курским, затем губернатором минским.

Всё так, один изящный вольт, и теперь можно было бы начать безукоризненный энергичный подъём по главным ступеням лестницы, если бы не настигло всех её служителей и церемониймейстеров смутно-опасное время, когда не то что карьера, но даже сама жизнь высокого гражданского должностного лица подвергалась угрозе, например при возглавлении больших армейских отрядов для защиты крупных имений. (Эта тема возвращает нас к образу Наполеона. Что такое Наполеон? – это, при малом росте, железная воля и способность распорядиться большими массами. Конечно, и романтика есть в том, чтобы в угрожаемом помещичьем гнезде принять кров и уют, и за обедом успокаивать прелестных обитательниц своим хладнокровием, решимостью и глубоким знанием положения). Такое смутно-опасное время, какого не мог предвидеть главный создатель Табели: ступени великой лестницы оскользлись, и даже с верхов иные упали, разбивая голову насмерть, как и сам незабвенный

Плеве, или срывались на несколько ступеней, или, все остальные, уже не могли шагать с прежней уверенностью и свободой, над собою зная всегда лишь волю начальства, а теперь постоянно скашивая глаза и поправляясь на то, чтобы нравиться и общественности или по крайней мере не быть ей слишком отвратительным.

Впрочем, Курлов был так озабоченно-пристален и знал за собою такую легкоподатливость во вращении, что чувствовал себя в состоянии совершать возвышение даже и при этом двойном законе: быть и преданным слугой престола и *persona grata* для либералов. Так, принимая Минскую губернию и велев разогнать в Минске беснующуюся молодёжь, в основном из “Бунда”, – не упустить и не опоздать выказать себя убеждённым сторонником полного еврейского равноправия. (Еврейский вопрос – главный ключ к сердцу либерала). Держа при губернаторском доме эскадрона два казаков, не упустить разъяснить народной депутации, что это – лишь из удобства конюшенного расположения, и то – по ведению воинского начальства. Если привокзальные войска открыли огонь по наседающей толпе, то предусмотреть возможные общественные нарекания губернатору и учредить воинское следствие над стрелявшими. (А террористы – не оценили курловского такта и всё равно сбросили ему на голову бомбу, – но она не взорвалась: как потом оказалось – фон-Коттен заранее вывернул детонатор своими руками). Всё же поскользнувшись на этом эпизоде подавления и сорванный с минского губернаторства – дать всем правым кругам считать себя пострадавшим от “веяний 17 октября”. Но снова посылаясь губернатором в Киевскую губернию, весьма престолопослушную, не дать себя впрячь в гиблую упряжку правых кругов, а даже – афронтировать им и поддержать обаятельного генерала Сухомлинова, обвиняемого в юдофильстве.

Нет таких скользких лестниц, по которым не взойдёт, и таких угрожающих сплетений, из которых не выберется незапятнанным подлинно-государственный человек, – только не ослабить остроту расчёта и не потерять хладнокровия. И в служебной российской иерархии знал Курлов немало подобных деятелей, ими и держалось государство. Оно тем более бы держалось, если бы все высокодолжностные лица действовали сплочённо, всегда понимая высшую общую спаянность, выручая друг друга в тяжёлых служебных ситуациях и никогда не роняя взаимного авторитета неприличными упрёками, как мог Дмитрий Трепов несдержанно обвинять Лопухина, что Департамент полиции не отпустил нужных средств на охрану великого князя Сергея Александровича. (И как могли потом за выдачу Азефа бесчеловечно топить самого Лопухина, нисколько не считаясь с его рангом и с авторитетом учреждения, – топить вопреки всем законам, ибо нет кары за разглашение государственной тайны и нет закона, который карал бы за неправильные действия с секретными сотрудниками). Мы все скорбно чтим память великого князя и святость его вдовы, посетившей убийцу в тюрьме, – но это не даёт нам прав в чём-либо когда-либо поставить пятно на служебной репутации друг друга.

Чем владеет, однако, далеко не каждый чиновник – дар особенный, который Курлов за собою знал, это: не ждать пассивно благоприятных возможных перемещений или открывающихся вакансий, но, независимо от вакансий, самому наметить для себя следующее благоприятственное место и самому же настойчиво требовать его. Благосердечный министр внутренних дел Дурново обещал Курлову увести его из бунтарско-еврейской Минской губернии в обильную и значением высокую Нижегородскую. Увы, сам Дурново не удержался на своём посту в первые бурные месяцы 1906, а заменивший его грубиян выскочка Столыпин, совсем незаконоположно взлетевший сразу в министры с такого же губернаторского поста, как и Курлов сидел (и на два года моложе Курлова!), – Столыпин не знал (притворялся?) или не хотел выполнить обещания Дурново: как и ожидалось (верные сведения), нижегородская вакансия открылась, но назначено было туда лицо совсем другое.

То был момент роковой: ведь под началом этого выскочки и чужака предстояло теперь служить. Нельзя было дать себя так занизить: вырвать уже обещанное. Надо было твёрдо поставить, себя с самого начала. Да просто оставаться в революционном Минске в такие страшные месяцы значило в ту или иную сторону сломить карьеру, потерять имя, а может



быть и голову. И ничего не оставалось, как подать прошение об увольнении в отпуск.

Во всякую другую пору то было бы самоубийство: самоперерыв службы, это навсегда. Но в нынешнее неустойчивое время – может быть, самое благоразумное: отстраниться и посмотреть, что из этого выйдет. Если всё рушится, то лучше выйти из-под угрозы заблаговременно. Если всё восстановится – то будет момент новых вакансий. (Курлов, естественно, не брал полной отставки, ибо был камергер Двора).

И, будучи особенно дальнозорким, Курлов использовал свой длительный отпуск для продолжительной отдыхательной поездки за границу, конечно – в *la douce France*. Оттуда он и наблюдал за развитием русских событий.

Тут надо оговориться, что хотя государственная иерархия есть органическая часть мироздания, корпус человечества, каменные устои, на которых держится мир, – всё же не она есть главная творческая и живительная ткань, та весёлая вода, которая струится между устоями. А – деньги. Деньги дают не только всю ту несравненную силу, что и власть, но ещё и – полную личную независимость, ещё и – розовый туман предвкушательного наслаждения. Жизнь и принципиально не могла бы быть ограничена одной службой: вся служба есть только фундамент для пользования дарами жизни.

Эту двойственность бытия Курлов понимал ещё в ранние свои годы, потому не без разумного выбора женился на дочери фабриканта, с богатым приданым. И вот теперь он мог разрешить себе больше, чем многие успешливые в службе генералы, он получал нравственную возможность из европейской дали, из Парижа, из Ниццы, со скорбью наблюдать за возможной гибелью императорской России, одновременно телесно вкушая блага мира. Даже если бы рушилось всё – он, при скромной жизни, мог бы ещё много лет прожить здесь.

Ход событий был безумный, восставали военные крепости, полки, целые области, под конец это всё осветилось огнём несравненного взрыва на Аптекарском острове (счастливчик Столыпин остался жить). Но к осени 1906 анархия пошла несомненно на убыль – и это был знак к возвращению в Россию, и на службу, и момент выдвинуться по министерству внутренних дел. Однако приходилось идти на поклон всё к тому же Столыпину.

Но уж раз отношения их начались неблагоприятно, Курлов избрал не линию угождения, но – деловой любезности, а за ней – неуклонного напора. Вдохновением к тому было ставшее известным Курлову расположение к нему Государя (после одной краткой аудиенции), не забывшего, как он пострадал в Минске и выразившего в минувшие месяцы большое огорчение о потере столь ценного административного деятеля. И вот теперь Курлов, не давая забросать себя второстепенными предложениями, высказал Столыпину давно обдуманное желание стать петербургским или московским градоначальником – несмотря на то, что эти посты были в настоящее время заняты. Но Столыпин не поддался (хотя не мог не знать о склонности Государя к Курлову) и уговаривал принять кратковременное назначение киевским губернатором (нынешнего требовал убрать генерал-губернатор Сухомлинов). Курлов согласился весьма нехотя: это не только не было крутым повышением, которого он заслуживал, но как бы даже понижением на долю ступеньки от прошлого (губернаторство несамостоятельное), что всегда подрывает человека в глазах чиновного мира. Он согласился – но только на короткий срок и по тяжести времени, и напомнил, что ожидает непременно должности петербургского градоначальника.

Вот тут-то в Киеве и создалась та сложная ситуация, из которой Курлов вышел великолепно, осадив зарвавшихся правых и польготив евреям. (Ему это было абсолютно необходимо после печальных минских событий: теперь на государственной лестнице действовал закон двойного осмотра). Но назначение в Киев оказалось даже и очень счастливым. Укрепилась самая сердечная вечная дружба с выдающимся генералом Сухомлиновым, делавшим крупную карьеру. Там же свелась дружба и с другим выдающимся генералом Николаем Иудовичем Ивановым, кого задушевно любил Государь. В лице их двоих получал теперь Курлов тех постоянных добрых ходатаев при государевых ушах, которые могли бы время от времени напоминать его императорскому величеству о

пострадавшем и честном Курлове.

Да, немаловажно, и по киевскому охранному отделению удалось узнать двух приятных и полезных людей: жандармского полковника Спиридовича, прославленного арестом эсеровского боевика Гершуни, а теперь после ранения возвышаемого на важный пост начальника дворцовой охраны (и на этом важном посту благоприятно иметь доброжелателя), – и мужа его сестры, комичного (допустим, необразованного), тороватого (допустим, немного и вороватого), возможно не очень умного, но зато какого радушного Кулябку. Этого Кулябку после неудач военной и полицейской службы, перетрат и неосторожного использования неистинных документов Спиридович взял к себе вольнонаёмным писцом, затем поручил секретную агентуру, а теперь, по известной похвальной привычке всюду по своему пути помещать своих людей, оставлял после себя помощником начальника киевского охранного отделения. Кулябка был из тех милых верных простаков, которые и свою душу распахивают и как бы в вашу душу входят – своею беззаветной верностью, включая и денежные дела.

К вопросу о денежных делах. Это – очень тонкая грань: иному другому человеку вы можете во всём доверять, и собственную особу и свою семью, но только не в денежных делах, – и настоящей близости нет. Ткань денежных отношений, она даже гораздо интимнее, чем отношения любовные: те – можно разделить едва ли не со всякой милостивой дамой, а эти – только с душевно избранным человеком. Но зато уж он становится тебе воистину близок. (Так – и с Кулябкой. Когда Курлов получит возможность, он сделает этого верного человека – жандармским ротмистром, поднимет в начальники, освободит от лишнего подчинения, то оградит от нападков, иногда и пожурит, но всё более и более придаст ему прав и значения. Пренебрежёт ли Кулябка перепиской с Департаментом полиции, надерзит ли губернаторам или поставит начальником сыскного отделения – уголовного, во всём он искупит свои ошибки ретивостью и доверенностью).

А петербургский градоначальник всё не уходил, не уходил в отставку – и вдруг был убит террористами. (И самого Столыпина при том чуть не убили). Теперь Курлов естественно ожидал обещанного назначения на этот пост, но дни шли – назначение не поступало. Тогда он из Киева телеграфировал Столыпину, напоминая (со стороны Столыпина это был уже второй обман). Столыпин оправдывался (искренно или неискренно?), что назначению помешало высочайшее благоволение к Курлову: Государю императору благоугодно было выразить непожелание, чтобы такой верный слуга, как Курлов, был бы на новом посту через несколько дней так же убит злодеями. И даровал ему между тем звание шталмейстера Двора.

Курлов был глубоко растроган заботою его императорского величества о себе, большею, чем он в погоне за избранным постом сам к себе допустил. Пост – не был получен в этот раз, но в расположении Государя обещательно сверкала вереница будущих успехов, против чего и всемогущий Столыпин не имел власти.

Курлов стал вице-директором Департамента полиции, затем всё же отвлечён был на беспроходную вверх и опасную (опять же после убийства предшественника) должность начальника тюремного управления. Ему приходилось преодолевать враждебное отношение самонадеянного директора полиции Трусевича, злобного министра финансов Коковцова, затаённую недоброжелательность министра юстиции Щегловитова, постоянную отчуждённую неискренность Столыпина, зависть товарища его Макарова, – но, всегда собранный на своей цели, Курлов пулеподобно пробивался в переплетённых обстоятельствах. Да и были же теперь у него невидимые верные друзья, настоятельные ходатаи вблизи трона, они помогли Курлову получить сразу больше, чем он добивался: с января 1909 при уходе Макарова – сюрпризом для Столыпина, перескоком через Трусевича (чьё самолюбие не выдержало такого удара, и он откатился в сенаторы) – стать товарищем министра внутренних дел! (Это было желание и самой государыни! Она сказала, что только при Курлове может быть спокойна за жизнь Государя. И вместе они считали, что в Курлове найдётся противовес излишнему либерализму Столыпина). Да так назначен, что

Департамент полиции попал в особое внимание и полное распоряжение Курлова, давая возможность широких перемещений, снижения лиц неприятных и повышения приятных. (Так милый смешной Кулябко возглавил охрану всего Юго-Запада России, даже многие генералы попали к нему в подчинение, хотя его самого едва успели произвести в подполковники. И так же был державно мгновенно вознесен надо всей полицией Империи в качестве вице-директора Департамента, сразу подброшен в чине и в окладе – для всех до сих пор незначительный секретарь Веригин – чрезвычайно преданный человек, которому можно было доверять самые задушевные денежные тайны). Зоркий глаз Курлова выхватывал доверенных людей для необычных перемещений, вообще же он, напротив, осаживал все необычности, вводя полицию в равномерное течение Табели, послужного старшинства, – так, чтобы сам ход времени возвышал каждого чиновника к следующему посту, не обижая остальных.

Первые недели служебного взлёта были Курлову головокружительно приятны, но весьма скоро овладело им хладнокровие, и он усмотрел недостаточность завоёванной им компетенции: нельзя было полновластно распоряжаться всем полицейским делом России, пока оставался независимым Отдельный Корпус жандармов. А уже бывали прецеденты, в 1905, когда высочайшим указом и Департамент и Корпус были подчинены единому лицу, Дмитрию Трепову, и теперь Курлов хотел бы возобновить тот старый указ: он давал право личных докладов Государю и заседания в правительстве! Столыпин конечно не соглашался, опасаясь соперничества, эту мысль пришлось оставить. Но получить в руки сам Корпус фактически – изящно помог Сухомлинов, уже военный министр: он придумал назначить барона фон-Таубе (ставленника Трусевича) на подходящее ему место наказного атамана войска Донского – и так освободить Корпус жандармов для курловского управления. Одновременно Курлов был переименован из советника в генералы (что, нельзя скрыть, как-то тоже напоминает восхождение Наполеона), однако и с оставлением в шталмейстерах. И вот развернулось перед Курловым государственное поле невиданного охвата – весь розыск и вся охрана в Империи! К тому ж и Столыпин, все более занятый землёй или земством, или переселением или промышленностью, всё меньше занимался собственно министерством внутренних дел.

При такой своей необычной мощи и уже достигнутой значительной успокоенности в стране, Курлов мог проявить и собственную политику дальнейшего успокоения: не кругую борьбу с революционерами, как неосмотрительно делал Столыпин, подвергаясь их ярости и сам, но – аккуратное разряжающее скольжение, при котором все острые ножи беспоследственно спускались бы в песок, а руководство полиции находило бы себе моральную награду в отсутствии расправ и громких дел, а значит – ненареканий общества. Так разумно поступил Курлов со слетовской группой эсеров, прибывшей в Петербург для царубийства: они переоделись все извозчиками и следили за выездами Государя. Среди них был один секретный сотрудник полиции. Курлов легко мог арестовать всю группу прежде осуществления заговора и предать боевиков суду, с несомненным смертным приговором. Но такая кровавая расправа не могла бы остановить последующих покушений на драгоценную особу Государя, а на фигуру самого Курлова, между тем, в глазах общественности бросила бы кровавый отблеск. И Курлов нашёл исключительный выход: через того же сотрудника предупредить террористов, что охранка за ними следит, – и дать им всем возможность благополучно бежать за границу.

Или: подобно тому как Государь, форменно сказать обожая свои войска, высочайше запретил какую бы то ни было осведомительную агентуру в армии, – генерал Курлов запретил такую агентуру и среди учащихся учебных заведений, имея целью всё то же, общественное успокоение и личное себе ненарекание.

Пользование секретными сотрудниками чрезвычайно заманчиво, всегда необходимо, но требует большой проницательности, тут могут быть и срывы. Увы, такой срыв произошёл с неблагодарным Петровым, которого в тех же целях умиротворения: (и предупреждения царубийств) именно Курлов и велел освободить и даже направить для розыска за границу.

Миловал Бог, Курлов не поехал на ту встречу, где взорвались. А беспощадная пресса и тут ему ничего не простила.

В условиях непрерывных общественных нареканий самое безопасное было бы – вообще не пользоваться осведомителями. А если уж пользоваться, то иметь их не в центре революционной партии, а лишь мелких местных агентов в местных охранных отделениях, как это было великолепно поставлено у Кулябки; это не могло вызвать общественного скандала.

Итак, объём власти и служебной высоты был Курловым пока достигнут совершенно насыщающий. Охват власти пока удовлетворял гордую душу Курлова – однако стало недоставать денег для того благородного вольного образа жизни, который один даёт полноту существования и который один приличествует потомственному дворянину. Да и где отражается трепет жизни более, чем в сверкании бокалов над белизною скатерти, над отменным ужином бывшего гвардейца, и в окружении привлекательных женщин? И в обстановке не скучной домашней – но клубной, но ресторанной, либо в мужской компании, и тогда уж с балеринами. Увы, именно этот образ жизни требует больших свободных денег, а жалование вместе и с наградными вовсе не было так велико, и приданое жены сильно поистратилось. Курлов жил в долгах.

Это вынуждало генерала Курлова, даже будучи товарищем министра внутренних дел, вести своё экономическое дело, о чём он при занятии должности и поставил в известность Столыпина. Конечно, это непрерывно ведомое личное экономическое дело и связанные с ним вексельные операции, иногда обременительные, несколько отвлекали генерала от его служебных задач (впрочем, он изрядно знал бухгалтерию). Но главным образом не они отвлекали его от твёрдой организации сыска в Империи – а многочисленные государевы поездки, которые и заполнили все годы пребывания Курлова у власти.

К этому времени уже была значительно погашена смута в стране – и Государь пожелал выйти из своего многолетнего самозаточения, ездить за границу и показываться своему народу. Строго по должности Курлов совсем не обязан был брать на себя заботы охраны его в поездках по стране, однако он быстро понял, что это во всех отношениях привлекательно: и тем, что Государь знает своего постоянного главного охранителя и благоволит к нему, и тем, что для таких сложных путешествий можно завести порядок, что ответственный генерал получает непосредственно на руки все отпущенные для охраны сотни тысяч рублей в нуждах оперативного выплачивания без разгласки и расписок тем и там, кому и где необходимо. Такой новый финансовый порядок был, не без сопротивления и язвительности врагов, введен и оказался удобен во всех решительно отношениях. При отказе от центральной агентуры после неудачи с Петровым ничего не было известно о намерениях революционеров, и это приходилось восполнить усиленной наружной армейской и полицейской охраной, многими командированными из других мест отрядами, – этот эффективный способ то и дело требовал расплат из оперативных сумм, которые и могли производить такие доверенные люди, как Веригин или Кулябко, да ещё с их способностью экономить. (Оттого Кулябку Курлов приглашал также и в места вне его области, как в Ригу). И Государь изволил пропутешествовать к итальянскому королю и к германскому императору, пожить два месяца в родном для императрицы Гессене, посетить широкие торжества 200-летия Полтавской битвы, Ригу, а осенью по несколько месяцев жить в Ливадии.

Все эти путешествия и отдыхи доставили высокое удовольствие Августейшей Семье, а значит, укрепили их благодарность и благоволение к генералу Курлову, доставив тем самым и ему высочайшее нравственное удовольствие. Это тем более подступало важно, что исключительный фавор Столыпина всё более пошатывался и миновал, при его неуёмном реформаторстве он обречён был пасть, – а Курлову с его правилом самому выбирать свой следующий пост не следовало упустить кризисного момента. Весной 1911 при столкновении Столыпина с Государственным Советом (где Курлов имел много сочувственников), уже определённо говорили, что тот доживает последние недели, а то и дни, и его переместят на какую-нибудь почётную бесполезную должность, – и тогда при всех раскладах никто как

Курлов только и мог перенять у него министерский пост. В те дни срочность казалась настолько назревшей, что подступал момент заявить перед высочайшим вниманием свои притязания. Но Курлов имел осторожность ещё провести зондаж через великого князя Николая Николаевича – и тот разочаровал его сведением, что Столыпин остаётся сидеть крепко.

Но тогда из-за отсутствия расположения временщика ни Курлову, ни его покровительствуемым становилось невозможно продвигаться выше. Людям честным, не желающим лакействовать у премьера, просто невозможно становилось служить.

И сверх всего он ещё назначил ревизию секретных фондов Департамента полиции, что было уже невыносимо, душило.

В такой обстановке и было высочайше решено торжественное посещение Киева с освящением памятников святой Ольге и Александру Второму. Тем более поспешил Курлов взять на себя единолично все охранные мероприятия, отстранив и Департамент полиции и генерал-губернатора Юго-Западного Края Фёдора Трепова, который претендовал вести охрану сам и ещё выказал себя глубоко оскорблённым. Помощники Курлова имели уже большой опыт, а теперь Кулябко был прямо у себя дома в Киеве. Длительная командировка давала возможность Курлову обеспечить содержанием и значением своего двоюродного брата и других удобных лиц, а также на несколько недель облегчить и личный бюджет переходом на казённое содержание. Целые жандармские эскадроны и множество чинов наружной и охранной полиции были затребованы из столиц и других мест Империи для усиления киевской охраны – всего 2000 нижних чинов и 48 офицеров. А в верховном надзоре Курлову неоценимо помогали и дворцовый полковник Спиридович и свой Веригин – уже камер-юнкер, а пришла пора добывать ему и камергера. Их двоих Курлов повелел включить и в городскую комиссию по распределению билетов на парадный театральные спектакль, чтобы город не допустил кого-либо нежелательного. Всеми же остальными билетами – в Собор, в Купеческий сад, на ипподром, на открытие памятника, заведовал свой двоюродный брат.

Нет сомнения, все революционные партии объявили мобилизацию, дабы совершить покушение на цареубийство во время этих торжеств, и даже как бы не сам Савинков возглавлял террористические замыслы. Но и противостояла же им многолюдная продуманная курловская охрана.

Однако всё напряжение всех сил охраны никак не выявляло глубоко-затаившихся террористов, пока вдруг 26 августа не позвонил Кулябке его бывший заслуженный умнейший сотрудник Богров. Это сообщение застало полицейскую верхушку за праздничным домашним обедом (в те недели все обеды были праздничные), который Кулябко давал в честь Спиридовича и Веригина, позвавши Сенько-Поповского и других. Человеческая теплота этого обеда распространилась и на беседу их с Богровым, что чрезвычайно понятно: чины розыскных учреждений, имеющие постоянное общение с секретными сотрудниками, не только к ним привыкают, но последние становятся для них как бы близкими людьми. И такому явившемуся сотруднику опасно выразить недоверие: тогда в его действиях появится неуверенность. Вдвойне дорогой оттого, что потерянный и вот вернувшийся, умница Богров докладывал наконец о злодейских планах. Это была крупная неожиданная радость и вполне простительно, что мера доверия была несколько превзойдена.

Сам Курлов не присутствовал на том обеде из-за перенесенного им лёгкого ревматического удара (но, лёжа в “Европейской” гостинице, он не уставал руководить всеми необъятными охранными мероприятиями, обеды же с ограниченным числом приглашённых сервировались у него в номере). Поэтому о приходе и сведениях Богрова тройка доложила ему лишь на завтра, когда он уже полностью приступил к обязанностям. Курлов сразу оценил исключительность случая: какие награды отсюда могут проистечь. Практически же? можно было применить “слетовский” вариант: предупредить Николая Яковлевича через Богрова, что план их обнаружен полицией, – и они тихо уйдут со своими бомбами и празднества пройдут как нельзя благополучнее. Но не велик был и риск, а слава большая – захватить эту

группу. И все распоряжения Кулябки были одобрены и даже усилены тем, что в Кременчуг на розыски симпатичного брюнета с интеллигентным лицом был послан отряд из десяти полицейских во главе с ротмистром. Курлов и охладил пыл Кулябки предлагать для террористов полицейскую квартиру: так можно было повредить Богрову, очевидно его собственная квартира более подходит, хотя и затруднительно наружное наблюдение за огромным домом Богрова-старшего, где помещения снимают даже целые больницы. Только во всяком случае не оскорбить Богрова личным наблюдением! Можно было добавить и объективный приём: телеграфно в Петербург запросить фон-Коттена: действительно ли в прошлом году было такое письмо от ЦК эсеров к Кальмановичу.

А уже начинались большие праздничные попыхи, уже послезавтра ожидалось прибытие высоких гостей, все четверо сбивались с ног от подготовки, а генерал Курлов, несколько дней проболевши, должен был навёрстывать в указаниях, распоряжениях, выплатах, объездах, смотрах и визитах, – а ещё же нельзя было допустить померкнуть главному смыслу этих дней – торжественному, с обильными радостными обедами, ужинами, шампанским, музыкой и цыганскими хорами, чем царедворцы посылно разделяли августейший праздник. В этом кружении и не мог генерал Курлов припомнить довольно стеснительной просьбы Столыпина – делить соображения и меры с киевским генерал-губернатором. Ещё менее могла бы прийти нелепая мысль – с докладом о сведении Богрова отправляться к самому Столыпину: значение министра-председателя было настолько для всех явно утеряно, немилость Государя к нему проступала так отчётливо, что для Курлова было почти унижением – выбиться из общего тона и серьёзно принимать во внимание своего номинального шефа. Десятки совпадающих признаков обещали завтра ему самому это министерское кресло! Да если сейчас доложить такое Столыпину – он перехватит дело себе и захватит все лавры от ловли террористов. А если Столыпин вновь избегнет государевой отставки – то как будет обязан Курлову за своё негласное спасение! Да и не оставалось времени ни для каких личных докладов: никаких жандармских и войсковых охран не хватало, и только многочасовое личное самоотверженное присутствие генерала Курлова в наиболее опасных местах уличных церемоний и его мужественная распорядительность обеспечивали безопасность Августейшей Семьи. Все дни проходили в построениях, прохождении, оцеплениях и приёмах, жизнь и всего киевского охранного отделения текла на улицах, в канцелярии сидел один дежурный, думать о Богрове оставлено было старшему филёру, Богров ни о чём новом достойном знать не давал, а филёры пропустили, когда же этот опытный конспиратор Николай Яковлевич, обойдя всю слежку в Кременчуге и на вокзалах, проник незамеченным в дом Богрова. Новички полицейского сыска могли бы теперь сорваться: грубо вломиться в квартиру Богрова и арестовать Николая Яковлевича. Но это было бы не только не полуспека, но провал: как и при убийстве Александра II и Плеве, арест одного члена группы только вынуждал оставшуюся группу действовать быстрее. Правильная же охранная линия была: выжидать дальнейших действий террористов, неотступно следя за ними через Богрова, поскольку следить за самим Николаем Яковлевичем не было никаких средств.

Опасность была в Купеческом саду, где часть границы шла по холмам и плохо охранялась. Но всё сошло благополучно.

А донесения Богрова не заставили себя ждать: глубоко в ночь на 1 сентября он принёс новые сведения о прибытии бомбистки. Понятно было его необычайное волнение, ибо юноша попал в завихрение огромного заговора. Остаток ночи у Кулябки был непоправимо разорван, это не сон: рано утром он уже был у Спиридовича и вместе с ним успел застать генерал-губернатора Трепова перед выездом на манёвры. Это было, конечно, ошибкой – вмешивать в историю Трепова, который уже был устранён от охраны, но они не решались потревожить так рано генерала Курлова, тем более, что до встречи террористов на бульваре ещё было в запасе несколько часов. Трепов до сих пор вообще ничего не знал о Богрове, ни о покушении, он теперь слал предупреждение Столыпину не выходить из дому и слал Кулябку отвезти Столыпину ночное предупредительное письмо Богрова. Но Кулябко, уже с

Веригиным, естественно отправились сперва к своему руководителю. Генерал Курлов выбрал Кулябку за неуместную инициативу, что вмешательством Трепова внесли раздвоение и путаницу в охранную службу. Теперь, разумеется, приходилось что-то объявлять Столыпину, но, конечно, не обращаться же Кулябке прямо к нему самому, лишь к его адъютанту, и не вводить в такие детали, как ночное письмо Богрова, а пересказать в общем виде.

Сам же Курлов имел этим утром назначенный у Столыпина доклад по текущим делам (например, производство Веригина в камергеры и много подписей к наградам). При том докладе он не мог теперь миновать сообщить министру вкратце о богровской истории, но передал это по возможности с меньшим значением и только просил выезжать сегодня не в коляске, а в моторе.

Во время доклада Курлов смотрел и поражался, как бесповоротно пал в значении председатель совета министров. Он попросил у Курлова места в его железнодорожном вагоне в Чернигов.

– Как, разве ваше превосходительство не имеет места на царском пароходе?

– Меня не пригласили.

Последний знак унижения и немилости! Да, в малые дни предстояло ему потерять пост.

А что теперь требовало экстраординарных полицейских мер – это обеспечить благополучное возвращение Государя с манёвров, ценой даже изменения маршрута (уже помчался Спиридович к дворцовому коменданту предупреждать и предусматривать). Затем благополучное пребывание его на смотре потешных на ипподроме. Благополучную поездку в театр. И сам спектакль (впрочем, наиболее обеспеченный: там 92 агента охраны и с ними 15 охранных офицеров).

При возврате в “Европейскую” на завтрак ждала Курлова ещё одна новость: самоотверженный Богров приходил опять, прямо сюда, в гостиницу, и сообщил о новом изменении планов у террористов. Что ж, надо было, не вмешиваясь, дать событиям развиваться и ждать новых сообщений от Богрова. И конечно, чтоб ему не утратить доверия террористов, – надо было снабдить его билетом в театр, как он просил. (Леденяще действовало замечание о высокопоставленных покровителях террористов. Надо было соображать очень-очень остро, а действовать очень-очень осторожно. Не попавши в струю, можно безвозвратно погубить свою долголетнюю беспорочную службу).

Но впрочем за колоссальными устроительными заботами некогда было вникать в богровские подробности, еле остался часик посидеть вчетвером в ресторане. Предстояло энергично и заметно присутствовать на всех проездах Государя, руководя полицейскими мерами. Обречён был генерал Курлов весь сегодняшний день промотаться по улицам: то обманными громкими распоряжениями полиции дезориентировал собравшуюся толпу; то – самостоятельно менял слишком опасный маршрут императорского кортежа на менее опасный; то – умолял дворцового коменданта Дедюлина, своего друга, просить Государя о других изменениях распорядка. И неумоимо, пронизательно и отважно во всех этих операциях содействовал Курлову полковник Спиридович.

Затем был пышный обед во дворце, а там подходило и время спектакля, и надо было Курлову сперва хорошо проверить, как осмотрен полицией театр (не спрятано ли что в артистических уборных, в гримировальных коробках артистов), потом выехать ко дворцу, принять кортеж Государя и довести его до театра. Лишь после этого за несколько минут до начала пойти и занять своё почётное ответственное место в первом ряду партера, третье от царской ложи (на первом – государев любимец, адмирал Нилов, всегда несколько выпивший, на втором – Дедюлин; от них обоих всегда получал Курлов первейшие дворцовые известия и имел в них лучших своих доброжелателей). А Столыпин занимал пятое кресло и сказал Курлову, что передал ему адъютант Есаулов от Кулябки, довольно бессвязное: что встреча террористов на бульваре вечером не состоится. А днём – состоялась? Столыпин ничего не знал.

А Курлов – знал: и на ипподроме днём и не раз за день ему докладывал Кулябко

богровские новости, и действия Кулябки вызывали полное одобрение генерала. Курлов – знал, но мог и не знать, во всяком случае так подробно, для доклада Столыпину. Он прошептался весь акт с дворцовым комендантом, не скрыв от него поразительную подробность о высокопоставленных покровителях, а после акта не кинулся узнавать для премьер-министра, но снова сам расспрашивал Столыпина, что именно знает он, – лишь потом по освободившимся проходам вальяжно пошёл посмотреть, где там Кулябко.

А Кулябке достались немалые волнения: явсь в театр, Богров заявил, что и вечернее свидание террористов на Бибикивском бульваре, где уже расставлена была сеть филёров, – тоже не состоится! Это становилось уже мрачным: блестящий успех грозил обернуться поражением, террористы ускользали?! И Кулябко со щемлением понял, что нужен ему Богров не в театре, а дома, при Николае Яковлевиче, следить, чтоб не ушёл совсем. Однако так празднично был наряжен Богров и так горд, что попал на парадный спектакль, куда и самые достойнейшие люди Киева не могли достать билета, оттеснённые петербургской знатью (а из евреев были только два миллионера), – так горд был Богров, что не хватало духа нанести ему удар и вовсе запретить идти на спектакль. На одно только решился Кулябко: послать Богрова быстренько до спектакля проверить, на месте ли ещё Николай Яковлевич. Богров сходил домой (неудобно было бы дать ему в сопровождение агента), вернулся и объявил, что Николай Яковлевич ужинает. Та-ак, пока что покой был обеспечен продолжительностью этого ужина.

Но за время первого акта беспокойство Кулябки снова пружинисто надавливало. Пока на сцене в царском дворце облыгали царицу, а потом топили её в море вместе с царевичем – ничего этого он не видел, а видел, как изощрённый неуловимый Николай Яковлевич просачивается невидимкой через цепь филёров – и уходит, уходит, унося в чемоданчике с браунингами – следующий чин, орден и денежную награду подполковника Кулябки, и не его одного.

И в первом антракте, как ни неловко было перед Богровым, Кулябко всё-таки опять попросил бы его сходить домой, но тут увидел своего благодетеля генерала Курлова, значительно шествующего по фойе.

Курлов схватывал всякую суть с первого слова. Он не одобрил этой посылки Богрова домой: ну хорошо, один раз за перчатками, а больше никак нельзя, будет провален. А вот что! – пронизательнейшая мысль возникла у него: террористы уже второй день сколько раз меняют планы. Каким путём это происходит? – вот не догадались спросить у Богрова. Конечно, это может совершаться посредством записок, переносимых малозаметными лицами, а дом Богровых многоэтажен и многолюден. Но не исключено, что это совершается и через телефон? А в Киеве нет ли такой технической возможности: подслушать разговор по телефону Богровых? Тут как тут подскочившему Веригину Курлов и приказал: вызвать директора почт и телеграфов и обсудить с ним эту меру.

Ещё оставалось антракта немало, Веригин и Кулябко отправились через улицу напротив в кофейную Франсуа – и туда к ним явился (в театр ему билета не было) директор почт и телеграфов. Да, мера оказалась возможной. Обещал, что часам к одиннадцати вечера – значит, к началу третьего акта, телефон Богрова будет уже прослушиваться.

И право и расчёт полицейского начальника – все подобные детали удерживать при себе, не освещать никому лишнему: в них может виться тайная нить, в них может обнаружиться и некоторый ущерб, который тем более не следует видеть со стороны.

И воротясь в почётный ряд, Курлов ответил Столыпину неопределённо, что – да, террористы будут встречаться позже где-то в другом неизвестном месте, узнается от Богрова. (Но не сказал, что Богров тут же за их спинами).

А у Кулябки опять возросла тревога: 11 часов приближались, Николай Яковлевич конечно уже отужинал, – а после-то ужина, натурально, и ушёл на другую квартиру? И вся замечательная операция охранного отделения – проваливалась? И едва стал задвигаться занавес после второго акта и прилично было встать – беспокойный подполковник покрался кивать и вызывать Богрова.



А Столыпин всё-таки забеспокоился неопределённостью с террористами и отрывал Курлова от интересного разговора с дворцовым комендантом и просил его идти и выяснять обстоятельства. Вынужденный повиноваться, Курлов вышел из зала в коридор, кого-то из жандармских офицеров послал за Кулябкой. Увидел телефонную комнату, придумал позвонить директору почт, тут подоспел Кулябко, доложил, что Богров вторично послан к себе домой на проверку, что вызвало у Курлова большое неудовольствие, и он выговаривал Кулябке за непослушание.

И как раз в это время из театрального зала раздался сухой треск непонятного смысла, а потом сильные крики, волнение публики и бегство её из зала, что, мол, стреляли и убили Столыпина. Кулябко потерял над собой управление (и Курлов над ним потерял), бросился в зал – узнать или видеть. Курлов же воздержался метаться в потоке публики, пока ещё и опасность не миновала и выстрелы могли воспоследовать. Публика была отборно-высокопоставленная и, натурально, многие могли ожидать следующих выстрелов в себя. Так бежал генерал Сухомлинов из первого ряда, да и Веригин приказал отпереть для себя запертые пожарные двери.

Что стрелял именно Богров (ах, жидёнок, какой же хитрый!), Курлов узнал от пронесшегося с обнажённой саблей Спиридовича: Спиридович обнажал саблю на убийцу, избиваемого офицерами в проходе зала, но, узнав Богрова, не ударил, – а побежал стать сабленосно на страже внизу под царской ложей.

Курлов и вовсе перестал идти в зал, услышав, что Столыпин не убит: всего неприятней было бы ему сейчас обменяться словами или даже взглядом с раненым Столыпиным.

А Кулябко, потеряв самообладание до опасного предела, брёл как потерянный, хватался за голову, за кобуру револьвера и обещал застрелиться.

Один только генерал Курлов сохранил полное хладнокровие. Он отправился распорядиться: вышел на площадь, велел её всю очистить от народа, театр оцепить, на выпуске проверять всех лиц: он готовил благополучный отъезд Государя.

А пожалуй это была и ошибка: пока убийца находился в руках жандармов, следовало поспешить взять его в свои руки.

Во время затянутого антракта Столыпина увезли в больницу, в зрительном зале исполняли гимн и сцена стояла на коленях перед Государем, Богрова завели в буфетную, обыскали, и его начал допрашивать дежурный жандармский офицер, спасший его от избиения. Кулябко без надобности топтался там же, оправдывался, отчаянно невменяем, полагая, что ослабит свою вину, если будет опорочивать и топить своих начальников. Спешил брать на себя вину, что не установил наблюдения за Богровым в театре. Ничего не мог ответить на простейший вопрос – почему он не обыскал Богрова при входе в театр? – и за него находчиво ответил Веригин: “Обыскивать сотрудников неэтично и может подорвать доверие, у нас это не принято”.

Пойти туда самому Курлов опасался, что-то мешало ему внутренне. Но после доклада Веригина всё понятнее становилось, что если тут же не принять срочных мер, то можно всё и всех погубить. Минутами – решались многолетние службы и судьбы. Первое и лучшее, что можно было сделать, – это забрать Богрова для допроса в охранное отделение и там всё следствие провести под своей рукой. Но собственная явка Курлова с этой целью могла выявить личную заинтересованность, нежелательно. Кое-как образумили Кулябку и отправили его в буфетную настаивать на взятии Богрова в охранное отделение. Также и Спиридович, уже вложивший саблю в ножны, объяснял, что заниматься Богровым – прямое дело Кулябки. Но уже успел приехать прокурор судебной палаты – и отказался выдать Богрова. Кулябко в отчаянии и иступлении настаивал – хотя бы поговорить с Богровым наедине, для получения важных сведений. Но и этого не разрешили. Тогда ходатайство Кулябки о личном свидании для получения правдивых сведений было поддержано и Курловым через третье лицо – прокурор заколебался, но и тут отказал. Тем временем Курлову надо было обеспечивать (с каким сердцем!) возврат Государя из театра во дворец – и так он должен был отлучиться. (А дело текло!...)

Лишь после всех разъездов они все четверо собрались в “Европейской” гостинице решать положение. И тут совершили новую ошибку поспешности: вместо того чтобы сосредоточиться на успокоении Кулябки (как он оказался хлипок!), просветлении его и указании ему истинного пути, решили сделать ещё одну попытку вырвать Богрова – и послали в театр полицейского пристава: от имени начальника Департамента полиции и командира Корпуса жандармов генерал-лейтенанта Курлова – взять Богрова для допроса в охранное отделение. Но вышло катастрофично: прокурор не только осмелился не отдать Богрова (он уже снёсся с министром юстиции Щегловитовым), но узнав у того же глупого пристава, что Кулябко сейчас находится в “Европейской”, – немедленно по телефону вызвал его в театр для допроса!

А Кулябко, за эти короткие часы после выстрела не очнувшись, не осознавшись, не понял даже собственной выгоды и в этом неподготовленном непрояснённом состоянии так и поехал на допрос, и там выкладывал, что Спиридович, и Веригин, и сам Курлов знали о допуске Богрова в театр, и все шаги он, Кулябко, предпринимал с ведома их, – совершал ошибку непоправимую и надолго осложнял следствие и положение товарищей, нисколько не облегчая собственного.

Так же и Богров, не испытав никакого влияния, никаких разъяснений, в начале допроса скрывал, от кого билет, а потом называл и Веригина, и Спиридовича.

А между тем правильный план оправдания быстро освещался и выстраивался в хладнокровных опытных головах Курлова и Спиридовича. Спиридович – конечно ничего о Богрове не знал, да и принципиально не нуждался знать, потому что это функция местного охранного отделения, а Спиридович заведует охраной дворцовой. У него и времени на это не могло быть. Ещё меньше касался всего этого Веригин, который и вообще не нёс никаких специальных заданий по охране, даже не имел никакого отношения к политическому розыску, а состоял при Курлове для особых поручений. Касательно Богрова оба они не отдавали, да формально и не могли отдавать никаких распоряжений. Что же касается самого генерала Курлова, то, действительно, он отвечал в полном объёме за всё состояние охраны во время торжеств, но именно по огромности этой задачи он не мог вникать в каждую деталь (о Богрове был информирован лишь в самых общих чертах) и должен был доверять исполнителям отдельных участков, без чего вообще невозможно никакое руководство. Непосредственное принятие розыскных мер не лежало на его обязанности. Кулябке же, работнику многолетнему и опытному, Курлов имел все основания доверять.

Если бы так рассудить и построить защиту с первой минуты, то все трое они, старшие по положению, сразу выходили из-под обвинения, становились на твёрдую землю, – и тогда тем более эффективно и авторитетно генерал Курлов мог протянуть руку помощи и защиты своему подчинённому, попавшему в беду по неосмотрительности и некоторым служебным упущениям. Ведь и сам Кулябко мог быть оправдан сильными доводами: что он никак не мог ожидать вероломства от Богрова, служившего прежде так усердно; что только глянув на его щуплую близорукую интеллигентскую фигуру, никак нельзя было принять его самого за террориста; а подвергнуть его грубому наблюдению или обыску значило бы испортить всю игру. Здесь просто – несчастно сложившиеся обстоятельства.

Но Кулябко, как корова, искусанная оводами, от случившегося потерял всякое ясное рассуждение, метался, мычал, пускал слизну – и не мог быть наставлен прежде, чем позван на допрос.

А ведь вся перспектива разбирательства ещё и очень зависела от обстоятельств высших: насколько большее или меньшее значение будет придано ранению (смерти?) статс-секретаря Столыпина. По придворным признакам и деталям поведения Государя в этот вечер Курлов имел основания предполагать, что разбирательство пойдёт по нижнему регистру, и тем легче было бы выйти из всех неприятностей первоначальной осмотрительностью в показаниях. (Тем более, что от дворцового коменданта Дедюлина было в этот вечер подтверждение его обещанию, уже развитому в предыдущих разговорах: при падении – а теперь смерти – Столыпина с успехом ходатайствовать о продвижении Курлова

в министры внутренних дел).

Но что оставалось несомненным при всех вариантах: некоторые охранные упущения этих дней должны были теперь – в целях благоприятного развития следствия – быть восполнены, и как можно быстрее, просто – в эту же самую ночь. Надо было сейчас прокатить по Киеву лавину обысков и арестов: ликвидировать все возможные связи Богрова. Прежде всего обрушиться на его квартиру, до сих пор пощаждённую, искать там Николая Яковлевича и оружия (отрядить побольше полицейских чинов!). Взять всех, обнаруженных в квартире, включая и тётку. Арестовать по Киеву всех, кто когда-либо прежде привлекался как анархист. Задержать всех лиц, перечисленных в записных книжках Богрова, всех его родственников и всех знакомых даже среди присяжных поверенных, хотя последнее вызовет возмущение. Но что ж, и на это есть аргумент: занятый принятием более общих и важных мер по охране порядка, генерал Курлов и тут не мог входить в подробности действий своих подчинённых. Зато деятельность этой ночи будет положительно зачтена ему против упреков в бездействии власти.

Таких лиц удалось задержать в эту ночь 78. Не всех их допрашивали потом.

А ещё правильный ход был теперь: хотя и сердечно жалко Кулябку, но распоряжением самого Курлова устранить его от должности.

Однако и на этом не кончилась бурная ночь: внезапно Курлов был вызван на квартиру Коковцова, до сих пор министра финансов, а вот, как оказалось, в ночные часы уже и назначенного исполняющим обязанности министра-председателя. Значит, в тех же часах могли и назначить временно управляющего министерством внутренних дел! Но не для этого вызвал Коковцов Курлова: в откровенно враждебном тоне, даже не подав руки, он спросил: “Добились? Довольны?” И по всему разговору стало ясно, что новый премьер-министр не пожалеет сил, чтобы обвинить Курлова в несуществующем преступлении.

С тяжёлыми чувствами встречал генерал Курлов рассвет 2 сентября. Теперь, когда неуправляемый Кулябко всё потянул в грязь, начинал рисоваться другой – последний и прямодушный способ защиты. В случае смерти статс-секретаря и притом быстрой (а первое впечатление врачей было обезнадёживающее) можно было: признать, что он, генерал Курлов, всё знал, и даже о допуске Богрова в театр! – но он действовал с ведома и разрешения самого Столыпина, которому систематически докладывал о ходе дел.

Умершего статс-секретаря это уже практически не отяготит, но Курлову чрезвычайно облегчит защиту.

А чтобы такое сообщение не грузнело, не потонуло в судебных: архивах, достаточно будет из-под руки информировать пару либеральных корреспондентов – и вся пресса громко подхватит и разовьёт этот самый выгодный для неё мотив: что Столыпин пал от собственной полицейской системы, которую он создавал против революции!

## 67

На следующее утро захлестнут был ошеломлённый Киев слухами изустными и газетными, ворохом из вымысла и правды. И сразу по всем направлениям: жив или нет? кто убийца? как убили?

Слух: пули были отравлены! Слух: убийца сидел в четвёртом ряду, из самых высокопоставленных! “Биржевые Ведомости” спешно сообщили, что убийца был из первых рядов и восторженный монархист, переговаривался с лицами свиты.

Наиболее достоверное было о Столыпине. Не потеряв присутствия духа, он сам снял сюртук, на белом жилете быстро увеличивалось красное пятно, схватился за это место – рука оказалась в крови. Опустился в кресло, силы оставляли его. Случившийся рядом профессор медицины Рейн, затем и другие подбежавшие доктора, бывшие в театре, остановили кровотечение и сами сопровождали раненого к выходу, перемарав и свои костюмы кровью. Тем временем к театру прибыла карета скорой помощи, и она доставила раненого в лечебницу Маковского, поблизости, на Мало-Владимирской улице.

Пули было две. Одна вошла ниже правого соска – она ударилась о крест Святого Владимира на груди, помяла его, это ослабило силу ранения. Выходного отверстия нет, пуля застряла в мускулах у позвоночника. Опасаются, что она задела диафрагму и печень. Вторая пробила кисть руки, барьер, ушла в оркестр и там ранила в ногу скрипача. Выемка пули из спины считается второстепенной, и пока не намерены оперировать. Ночью положение было грозное, сердце – не крепкое у пациента – отказывалось работать. После перевязки раненый приобщился Святым Тайн, сам громко произнёс предпричастную молитву, крестился левой рукой. Он испытывал сильные боли, но переносил их стойчески.

К утру наступило улучшение, объяснимое может быть духом больного, и врачи стали надеяться на благоприятный исход, даже с шансами 90 из 100. Больной попросил зеркало, посмотрел язык, сказал: “Ну, кажется, на этот раз я выскочу”. А о болях в желудке: “Это во мне всё ещё сидит генерал-губернаторский обед”. Он потрясён нервно: каждый стук и шорох его тревожит. Мостовую перед больницей покрыли соломой. Врачи ничего существенного не делают, выжидают. Из Петербурга вызван знаменитый Цейдлер. Аппетит плох, слабительного нельзя. Дают вино, чёрный кофе, бром. При болях впрыскивают морфий.

А покуститель? Молодой помощник присяжного поверенного. С большим революционным прошлым и неоднократно подвергался обыскам и арестам. Член ЦК партии эсеров и её боевой организации.

Но публика этим не удовлетворилась. Такой большой и сложный акт не мог выполнить один человек, какой он ни будь разбоевой эсер! Естественное направление умов было: искать огромный заговор, большую группу террористов. Такой был слух: эсеры объединились с Бундом и с финнами, теперь будет серия крупных актов, это только первый. Стянулись и сопоставлялись сообщения о самоубийстве несколько дней назад в помещении охранного отделения какого-то революционера (то оказался простой уголовник, не успевший сбежать за границу); о метаниях вчера близ театра по Фундуклеевской какого-то автомобиля (очевидно случайного), седоки избили сторожа, не пускавшего их во двор; о перерезанной вчера в театре электрической проводке, лишь не удалось злоумышленникам достичь главного провода, погрузить театр во тьму и тем спасти убийцу, для бегства которого была уже приготовлена военная шинель и фуражка; и будто бы сам убийца на допросе признал существование такого плана.

Из этого ничто потом не подтвердилось.

Тут разнеслось, что убийца – не какой-то посторонний приезжий, но сын одного из уважаемых богатых горожан и прошёл в театр по его билету. Киевская чинная публика перепугалась (всё-таки убийство главы правительства!). Грозилась отобрать у Богрова-отца билеты в Дворянский клуб и в “Конкордию” (но не понадобилось). Заикались даже и отца исключить из адвокатского сословия (исключили сына, и то не счасно). Присяжный поверенный, у кого Богров был приписан от самого университета уже полтора года, хотя ни разу не вёл ни единого дела, а только числился для властей, – заявил, что он отрекается от Богрова (и тоже поспешил, мог не отречься).

В газетной лавине, местной и центральной, мелькало множество сообщений – верных, но в суете не подтверждённых, неверных, но в суете не опровергнутых. Сообщали, что убийство могло произойти ещё 29 августа: за 20 минут до прибытия императорской семьи на площади перед зданием присутственных мест разъезжал посторонний всадник и удалился только после препирательств, – и этот всадник будто бы был Богров. А другое сообщение: что 1 сентября во время смотра потешных на ипподроме Богров был замечен на площадке, куда допускались с билетом неполным; и секретарь общества рысисто коннозаводства, кто не раз видел Богрова на бегах, услышал от него, что он ждёт “придворного фотографа”, и выпроводил его с площадки, откуда только решётка вполроста и несколько шагов отделяли от министерских кресел.

Так и осталось для публики неразъяснённым, что из этого всего правда, что неправда.

Город чувствовал на себе ответственность: ведь билеты в театр распределяла городская управа. Днём 2 сентября было созвано чрезвычайное собрание городской думы – и

городской голова Дьяков отвёл обвинения: преступник был допущен в театр не городом, а другим учреждением, которое потребовало себе часть билетов. А каким учреждением! – взревели гласные, хотя уже было понятно. И с удовольствием облегчился городской голова: охранным отделением.

Дума взвыла. Дума потребовала фотокопию с книги распределения билетов и, ещё не успевая понять, как потянет общественный ветер, избрала Столыпина почётным гражданином Киева.

Общественный же ветер потянул так: что нельзя было ожидать разгадки, более выгодной, – и большей горчицы под нос властям! Да для прессы поле всё равно было беспроектно: убили революционеры? – показательно и урок реакции! убили охранники? – ещё показательнее: сами убили своего министра внутренних дел и главу правительства! (К концу 3 сентября переломились к худшему сообщения врачей – воспаление брюшины, опасения велики, положение очень серьёзно, затем – угрожающее ослабление деятельности сердца, – всё более можно было говорить “убили”). И всегда ведь писали и говорили, что Охрана у нас прогнила, что она – государство в государстве. Полиция у нас и построена на провокации, вот так оно и есть! Симбиоз полиции и революции, охранки и террора! Сама система толкает полицию организовывать такие заговоры или их не пресекать!

Происшедшее всё больше оборачивалось либеральным ликованием: убрали подавителя революции – и пистолетом самой охранки!

(Катилась и дальше новая волна слухов: в книге охранного отделения есть отметка, что револьвер выдан Богрову Кулябкой. Ещё: перед самым убийством Кулябко выходил из театра и куда-то поспешно ездил на автомобиле. Ещё: Кулябко исчез из Киева, его не могут найти. Нет, не исчез, ещё распоряжался на улицах, и толпа будто кричала: “долгой провокатора!”).

Ужаснулись и центр, и полуправые, и правые, так зазяло всем, что не один Столыпин плохо охранён – вся Россия не охранена, беззащитна, в полной неготовности. Что безопасность государства плохо обеспечена и тайным сыском, и дорогостоящей шумной охраной. (Поспешливый Милюков объявил, что охрана торжеств обошлась в 900 тысяч рублей, потом спустили на 300, потом оказалось ещё меньше). Как будто начало русское общество чуть-чуть отвыкать, отходить, отдыхать от террора. Представлялось, что террор обезоруживается, государственная власть усилилась, – и вдруг дерзость выстрела на парадном царском спектакле при чрезвычайнейшей охране – и в того самого, кто принёс стране успокоение!

В Государственной Думе создалась заминка. Октябристы хотели бы внести запрос о деятельности охранной полиции, но левые свели бы запрос на то, что полиция провокационно разлагает ряды революционеров. Пренебрежение всякими правилами охраны было настолько явным, что самая наиправая “Земщина”, враг Столыпина и всей его линии, в эти дни соглашалась, что выстрел инспирирован охраной.

Да никак иначе этого и нельзя было понять и истолковать. По первым обломкам известий первых дней и то составилось: Богрова пустили с револьвером в театр для непонятно какого изобличения неназванного злоумышленника, который мог бы попасть в театр неизвестно как, просто не мог. Если и не было полицейского сговора против Столыпина, то наглое пренебрежения невозможно было оспорить. Надо было или хотеть быть обманутыми или уж вовсе гомерическими дураками. И какие подробности ни попадали в прессу, все были удивительнее одна другой. Когда Богров выходил из дому в театр, простым филёрам он казался подозрителен, но заместитель Кулябки их успокоил: “наш человек”. Театральные билеты раздавались и другим тёмным личностям “народной охраны”, например, Францу Пявке, бывшему предводителю разбойничьей шайки (14 грабежей), а теперь служащему у Кулябки. И даже сам Департамент полиции был устранён от охраны торжеств, и генерал-губернатор Юго-Западного Края тоже, а всё и всех заменили таинственные всемогущие Курлов, Веригин, Спиридович, – малоизвестные до сих пор, соединённые их имена набухали пауками. Как всегда в потрясениях, обнаруживалось

сокрытое: что правые враги Столыпина давали Курлову большие суммы под векселя, до сих пор не оплаченные; что мелкий чиновник Веригин был непомерно взнесён Курловым в первый же день его власти, весь Департамент полиции заискивал перед фаворитом, он получал десятки тысяч рублей бесконтрольно – а теперь уехал из Киева как человек посторонний и ни за что не ответственный; что недавно Распутин предлагал нижегородскому губернатору пост министра внутренних дел, выразившись о Столыпине, что его и убрать легко.

И вот в этот момент потянуло в прессу от хорошо осведомлённого лица чернильным облаком: что это сам Столыпин отстранил генерал-губернатора от охраны... что это сам Столыпин одобрил выдачу театрального билета Богрову.

Столыпин уже не мог узнать и возразить, а пресса восторженно подхватила: ах, вот как? Двойная удача! Так это – провокация не полицейская, а правительственная?! Да и не причастен ли и сам Азеф к убийству Столыпина? (И такой пустили слух). Они хотели захватить сто революционеров и создать грандиозный судебный процесс? Так Курловы – только продукты столыпинского курса? Так Столыпин и был насадитель агентов-провокаторов по России? Столыпин и пал жертвой собственного провокационного замысла? Националистическая и религиозная политика России и не могла кончиться ничем лучшим!

От такого вывода не могла не вздрогнуть радостно кадетская пресса. Если и правая печать открыто защищала Курлова, “Россия” и “Русское знамя” не стеснялись поносить ещё не умершего премьер-министра, – отчего ж было и кадетской прессе, изошрённой в подцензурных уловках, не найтись, как выразиться:

Столыпин был поражён в тот момент, когда, счастливый и весёлый, как бы праздновал свой триумф. Откуда этот гнев судьбы? Не слышится ли за шумом этих револьверных выстрелов предостерегающий голос? Теперь у русского общества могли бы быть и некровавые способы протеста, – но может быть судьба хотела напомнить, что эти методы остаются?...

Из невольной дани приличию нельзя было прямо писать, что рады убийству, но и без грана сожаления рассудительно писали “Русские Ведомости”, что через террор естественно выразилось общественное настроение, следствие глубокого государственного неустройства, от которого глубочайшее неудовольствие разлито во всех слоях населения. Хороший случай был повторить, что “правительство враждебно народу” (не ошибается, не слепо, но именно враждебно). А “Речь” могла теперь окончательно вывести, что “национальная политика лишена всякого положительного содержания”. В общем, Столыпин был так давно и так во всём виноват, что киевский выстрел раздался даже и как бы слишком поздно.

Хотя кадеты за последние годы уже как будто отстали аплодировать террору (уже стало принято говорить, что террористы открывают дорогу реакции) – они не могли не вглотнуть свежего воздуха от богровских выстрелов. (Внутри-то всегда точило: ах, хоть бы они взорвались!) Всё общество по наследственному чувству сладко замерло. Ведь так устойчиво было принято воспевать “героические поступки” и “самоотверженные жертвы” революционеров. Промелькнуло среди раскрытий, что некий член Государственной Думы как-то получил конспиративное письмо от заграничного ЦК эсеров, – это никому не показалось неприличным, не то чтобы криминальным.

А тут неутомимые телеграфы стали приносить и из-за границы отклики на покушение. Там можно было выражаться полнозвучно. Вот неуёмный Бурцев, якобы так проникательный в конспирациях, выступил с соображениями. А ЦК эсеров грохнул (и легальная печать без стеснения перелагала): что партия никакого поручения на этот выстрел Богрову не давала, но эсеры горячо приветствуют убийство Столыпина, имеющее крупное агитационное значение и внесшее растерянность в правящие сферы.

И после этого в глазах общества ещё героичнее выдвинулась одинокая фигура Богрова! О, если б ещё и не связан с охранкой, – ведь народный герой!

И наметился такой поворот: теперь, когда вина охранки и правительства была доказана

(через Богрова), – может, Богров-то сам и не виноват? Для всего общества, а тем более для знакомых и для семьи, главное стало: если можно – очистить Богрова от охранки! Доказать, что это – не азефовщина! Очень хотелось, чтобы Богров оказался чист – только кровь на руках, ничего другого! (Возненавидели Кулябку именно за клевету, что Богров – давнишний сотрудник. Печатали, что Кулябка этот уничтожал собственноручные письма Льва Толстого).

Брат Богрова публично выразил возмущение, что в газетах смеют употреблять слово “убийство” (когда, подразумевай, это была справедливая народная казнь). Отец, застигнутый вестью в Берлине, и с видимой гордостью за возвращённого сына, дал интервью: мой сын любил лошадей, лодочную греблю, играл в карты, посещал клубы, бонвиван, совсем другой образ жизни. Он не нуждался в мелких деньгах. Здесь несомненно (ему в Берлине несомненно) преступная деятельность чинов охраны. Убил человека? – не могу примириться с этой мыслью. (Читай: человека бы? – не мог).

Ни почтенный Богров-старший, ни всё почтенное сословие присяжных поверенных, только и призванное осуществлять справедливость, ни вся почтенная пресса, включительно до “профессорских” газет, – за важнейшим вопросом, можно ли считать Богрова честным революционером, не задались вопросом другим: а имеет ли право 24-летний хлюст единолично решать, в чём благо народа, и стрелять в сердце государства, убивать не только премьер-министра, но целую государственную программу, поворачивать ход истории 170-миллионной страны?

Только одно волновало общество: честный или охранник? О горе, о горе, если охранник, – но даже и лучше: тем более виноват тогда не он, но среда, но проклятый режим, а Богров – лишь трагическая жертва его.

Были всё-таки некоторые цензурные границы, не позволявшие прямо славословить убийцу. Но – восхищённо выхватывала печать каждую его похвальную чёрточку. По слухам, Богров даёт показания с большим самообладанием. Держится очень спокойно, очень иронически. Держится как истинный революционер, исполнивший свой гражданский долг. Даёт показания, курия и скрестив руки по-наполеоновски! Держится почти беззаботно! Жалеет родителей. Интересуется, что пишут о нём в газетах!...

А так как и правые не защищали Столыпина, то только почти одно “Новое Время”, которое тоже не очень ладило с ним, давало тон свой:

Снова пошла тёмная рать... Утеряно чувство безопасности... Столыпин не прятался, и тем легче было нанести удар. Это вызов русскому народу, пощёчина русскому парламентаризму... Это не частное злодейство, но нападение на Россию... Не страдания пролетариев подняли руку убийцы, сына миллионера, а чувство человека своего племени, которое стало встречать преграду своим захватам. Столыпин готовил национализацию русского кредита. Столыпин – это русская национальная политика, и за это он принял муку.

Но громче всего и шире всего в эти дни заливали Россию молебны. Ещё прямо из театра некоторые пошли в Михайловский монастырь и служили молебен в ту же ночь. 2 сентября в киевских церквях был поток молебнов. В переполненных Софийском и Владимирском соборах они шли непрерывно, при рыданиях многих людей. Совет профессоров университета Святого Владимира телеграфировал, что возносят молитвы. В тот же день в Петербурге Гучков устроил молебен в Таврическом дворце, были молебны в зале городской думы, в церкви Главного Штаба, в Адмиралтействе. В Казанском соборе заказывалась череда молебнов: от октябристов, от националистов, от Государственного Совета, от военного министерства, от министерства внутренних дел, от министерства земледелия...

И потом ещё сколько по остальным храмам.

И – в Москве.

И – по всем, по всем городам Российской империи.

\*\*\*\*\*

## И МОЛЕБНЫ ПЕТЫ, ДА ПОЛЗЫ НЕТУ

\*\*\*\*\*

68

Что пишут в газетах о нём? – но что и о Столыпине?

Неужели – ещё жив? Неужели – останется? Жжёт, разрывает: зачем же тогда всё?...

Богров стоял так близко, что видел как бы вздрагивание ткани сюртука при незастёгнутой верхней пуговице от вихревого удара пуль. Он физически ощущал, что не просто стреляет, но вбивает пули в самое туловище врага. И уже не выпускал всех восьми, какие были, но и не считал, сколько выпустил, сбился, – а насытился, уверился в успехе – и кинулся бежать.

И как же он поторопился! Теперь оказывается: всадил всего две пули, и вторую – всего лишь в кисть? (Сам не заметил, как револьвер качнулся. Это значит – он уже убежал?)

Тогда, в момент стрельбы, ему ясно мелькнуло, что ещё можно и спастись! Настолько перепугался неполный зал благородной публики – кричали истерически, и убегали, и за кресла прятались – другие, как будто надо было спастись им, а не Богрову. Проход был чист перед ним – и Богров кинулся бежать, так и неся револьвер в руке (может быть откинуть бы его – и не узнали б?), – и уже недалёк был от выхода – как офицер схватил его за руку с револьвером так железно у кисти, что браунинг выпал или вырвали, он уже не успевал всё заметить и объяснить, ударили по голове, кажется биноклем, а потом он уже не замечал – чем, кто именно свалил его с ног, куда и как били.

Уже позже, в буфете, на первом допросе, он понял, что выбиты два зуба.

Готовясь к подвигу, он готовился к строгим вопросам, даже и к потере жизни, но забыл, не подумал, никак не ждал избиения, не ждал боли и муки для тела прежде казни. Обычно никого из революционеров не били. И даже когда просто наручники надели, чтобы везти в крепость, это оказалось так неожиданно больно, что Богров вскрикнул и просил ослабить. И это – в первую ночь, когда в пылающем гордом состоянии он ещё мало более замечал.

На второй же и на третий день, когда возбуждение сменилось удручённостью, всё разбалывалось – и в камере Косого Капонира эти боли удручали больше, чем предстоящее. И при болях и в таком состоянии особенно невыносимо оказалось отсутствие удобств – промывного унитаза, водопровода, электричества, мягкой постели, домашней еды. Мучительная покинутость, запущенность тела. Богров вызывал врача.

От избиения военной публикой в театре Богрова спас жандармский подполковник Иванов: перебросил его через барьер в ложу. И он же, очень доброжелательно, вёл, в помощь главному следователю, часть допросов. Не уклонялся и сам ответить на вопросы Богрова: что пишут о нём в газетах? как узнали и что сказали родители? И – как Столыпин??

Столыпин всё ещё не умер, но надежда была большая: задета печень!

А главное – угадано было общественное настроение, что “этой жертве – не посочувствуют”.

Когда ненависть насыщается до самых своих краёв – она перестаёт нас тяготить. Чувство исполненного долга уравнивает нас.

Прекращенье борьбы. Даже и чувство сладкой слабости. В первый раз отлила всякая ответственность.

Да, он был прав, пойдя на акт, кончились все его сомнения и расщепленья. Вся ценность нашей жизни лишь в том состоит, как выполнить её цель. У кого цель требует – беречь себя, а у кого – пожертвовать.



И как это в конце концов оказалось несложно – поворачивать историю: всего только получить театральный билет, миновать 17 рядов партера – и нажать гашетку.

И он сделал – всё один, по своей внутренней оригинальной идее! Никого не вовлек, ни на кого не упадёт удар. Не даст привлечь никого из знакомых покровителей, присяжных поверенных.

Теперь, когда главное дело – всей его жизни главное дело, оказывается! – было выполнено, а будущность решена, – теперь эти следственные вопросы не только не были Богрову досадчивы, но даже – облегчение, но разрядка от того неудержного сгущения тайны и расчётов, какие извели его за последнюю неделю, так что каждое словесное прикосновение тогда раздражало. Теперь наконец-то можно обо всём говорить! – хоть с этими. Крыльная лёгкость следствия, когда выполнена задача, можно гордиться собой, не нужно юлить, выворачиваться. Ещё в буфете он спешно заявил себя анархистом. (Хоть и не был им давно).

Конечно, куда веселей было бы теперь разговаривать с людьми из своего общества (ещё блистательней бы – с корреспондентами!), – именно теперь, когда ему удалось что-нибудь в особенности. Но и все следователи были интеллигентные, вежливые, внимательные собеседники, с полным уважением к личности и взглядам Богрова, а к тому же всё главное записывалось в протоколы, и значит, неизбежным ходом бюрократии, все показания Богрова будут наилучше сохранены, когда-нибудь появятся и в прессе – и объяснят, и оправдают перед историей его одинокий великий подвиг.

И без напряжения, сокрытий, расчётов, лавировки – он теперь гордо, полно, прямолинейно объяснял. Да, помощник присяжного поверенного Мордко Гершевич Богров. Покушение на Столыпина задумал давно, задолго до киевских торжеств. Да, именно на него как на народного врага. Считает Столыпина главным виновником реакции в России, притеснений печати, притеснений инородцев. Он игнорировал мнения Государственной Думы. Револьвер купил три года назад. Стрелять приходилось мало, в воздух. План покушения мною разработан не был. Был уверен, что в театре найду момент приблизиться. Покушение совершил без какого-либо уговора с другими лицами и не как участник какой-нибудь организации. (Такая и записка была приготовлена в его бумажнике, взята с ним: “Подтверждаю, что я совершил покушение на убийство статс-секретаря Столыпина единолично, без всяких соучастников и не в исполнение каких-либо партийных приказаний”). Билет был выписан на моё настоящее имя. Пули не были отравлены.

Правда ли, что – давний сотрудник Охранного отделения?

Тут – никуда не деться, этого не скрыть.

Да, я сотрудничал с Охранным отделением. Да, уже 4 года. Да, давал сведения. Причина? – гм... я хотел получить некоторый излишек денег. Для чего мне нужен был этот излишек? – я объяснить не желаю. (И не объяснишь ведь!...)

Но не назвал ни одного нового имени, не вспомнил ни одной явочной квартиры или конспиративного факта. Да о таком – никто и не спросил.

Повторно и повторно: Кулябко не знал о моей цели. (Один раз проговорился, что: это было **предложение** Кулябки – дать билет и в Купеческий сад и в театр). Нет-нет, не знал. (Да и что видел Богров от Кулябки, кроме поддержки, одобрения, денег? – а теперь тот сам попал в какую беду. Проступает даже больше, чем благодарность или расчёт, – какая-то неестественная сроднённость у него получилась с Кулябкой. Ни один истинный анархист не мог бы двинуть и пальцем из жалости к начальнику охранного отделения. А вот...)

И вот – вся история ошеломительного убийства не оказалась ни загадочной, ни трудной. И была исчерпана двумя-тремя ясными протоколами.

2 сентября написали и ещё один протокол – побочный: о том, что у Богрова возникала мысль совершить покушение на Государя, но была оставлена из боязни вызвать еврейский погром.

Да, как еврей он не считал себя вправе совершить такое деяние, которое могло бы вызвать хотя бы малейшее стеснение еврейских прав.

Тут – Богров не комбинировал, не изобретал, он оставался верен до конца своему

народу: и очевидно здесь была главная сила его внутренней твёрдости.

И даже в своей верности уже настолько верен, что отказался подписать и этот свой ответ: узнав о таком моём заявлении, правительстве получит оружие – устрашая погромами, удерживать евреев от террористических актов. (А они должны происходить в России беспрепятственно).

Оттого и пришлось этот ответ выделить отдельным протоколом: его подписали только следователь и прокурор.

Имеете ли ещё что существенное добавить или изменить в показаниях?

Нет.

(Задета печень! Умирает! Совершено!)

Ещё вопрос: как же всё-таки и почему после честной четырёхлетней службы в Охранном отделении вы решились на такое убийство?

Богров ответил снисходительно-презрительно: “Я отказываюсь объяснить причины”.

Ещё ли вы не поняли, что я никогда вам не служил? И что же вы поняли во всём этом деле?...

Не я вам – вы мне служили. Но это прочтёт и поймёт история.

И вот, следствие – кончается? Теперь дело будет передаваться в суд.

Суд? Какой ещё суд! И как он заранее неуклюж. Вот был суд: подсудимый – премьер-министр. Но не допрашивался ни он, ни свидетели. И весь суд состоял из кипения одинокого разума. И приговор был – смерть! И приведен в исполнение.

А между тем остывает и голова, и задор. И такая боль в побитом теле! (Избиение – потрясло его). И так не хватает выбитых зубов.

И возвращается реальность: суд?? Как получилось, что, сам из адвокатской среды, он, изошрённо планируя покушение, не планировал суд? Он – весь отдался покушению. (А иначе б он его не сделал). Но ведь суд – это светлый выход (как вышла Засулич!). Сколько свободных манёвров русской юстиции откроется ему теперь! Можно брать защитника – да лучшего защитника Киева! И – через него сразу связаться с родным миром! – дать понять, передать, и узнать самому?...

Нет. Захлопнуто. Он – “охранник”. Это – единственное пятно, которое вывести нельзя ничем. Которое не может простить общество, и публичный судебный диспут об этом зачумит его перед всеми честными людьми. И об этом – даже невыносимо разговаривать сейчас с доброжелателем. Если завтра он вызовет Гольденвейзера и будет рыдать перед ним, что всё было – искусно придумано, что это был только ход для разложения охраны, для великого убийства, – нет! ни Гольденвейзер не властен через это переступить, ни общество. Адвокатские языки будут у него, но без адвокатских сердец. Уже нельзя в его защиту произносить пламенные речи.

Закрыто. Он – зачумлён. Все последствия – на нём, и он должен защищаться сам.

А передаётся дело – в военно-окружной суд.

Ого. Это – не судебная палата. Это – не Засулич. Тут самое малое – неотвратимая каторга.

После допросов отводят в камеру. Они здесь по-старинному – без глазков, без форточек, запираются на тяжёлые висячие замки, но внутри – светлы и просторны. Это – круглый башенный Косой Капонир в углу Печерской крепости, на приднепровском обрыве. Из окна видны старые земляные валы, малохожая тропка светлеет по жёсткой выгоревшей траве – а за оврагом видна и соседняя Лысая Гора. Где и *казнят* осуждённых военным судом.

Овражная, голая, дикая гора. Та самая Лысая Гора – легендарное прибежище ведьм и их шабашей.

А тут – деревянная бочка для нечистот, застаивается, мерзкий запах. И ни ванны, ни душа, ни быстрой смены белья – этого уже не спрашивай.

А ещё после пыла первоарестных дней вдруг вернулся аппетит – да какой! давно не испытанный, просто голод! Тот “бесчисленный ряд котлет”, над которым он иронизировал, –

теперь начинает манить! Да как же он мог поедать его так скушающе?!

Как вообще он не ценил свою устроенную жизнь. А ведь сейчас, вернись в неё, и всё опять к услугам, и как удобно можно жить.

От перенапряжения, от самогипноза, от позы, от инерции, от шока – отходит тело (и то неосязаемое, что в нём обитает) – и возвращается уколами, толчками, вспышками: а – как бы вернуться в жизнь? Вернуться!

И – тесно, и пусто это каменное пространство – от параши до окна на безнадежную гору – на место твоей казни? И – уже мучит желанное прежде одиночество, и тоскливо, что кончились все разговоры с живыми людьми, жаль, что кончилось следствие.

А оно – ещё не кончилось. Ведут ещё на один добавочный допрос.

И пока ведут, через круглый тёмный вестибюль и гулкий коридор, – неумершая способность изобретательства снова закручивается, завинчивается в поиске. Напрягись! Найди!

Снова тот симпатичный жандармский подполковник Иванов (и приятель Кулябки), спасший от избиения в театре. Один, без главного следователя. И такой же опять доброжелательный.

А вопросы его: вот найден револьвер также у вашего отца, – вам не известно, пользовался ли он им? для какой цели держал? А вот – такой-то и такой-то, имярек, посещали ваш дом? По каким делам?

И остальное – не серьёзнее. И допрос – окончен, увы. Подпись на протоколе.

Допрос окончен, но Иванов не кончает. Он смотрит на Богрова с большой симпатией, и пониманием. И говорит. Почти задушевно.

Разрешите вам высказать несколько соображений. Вы – человек редкой силы духа, исключительного мужества. Вы совершили то, что никто не мог бы совершить. Но ваша нынешняя позиция ничего вам не даёт. Зачем вам такая гордая принципиальность, эти ваши заявления о замысле, да ещё давнем? Вы только отяжелите свою участь: будет верная смерть. Зачем вам лезть в петлю? Ради верности революционерам? Но они все от вас отреклись, никто вас своим не признал. Что вы реально хотели сделать – вы сделали, и это никуда не уйдёт, а зачем вам настаивать дальше? Теперь – подумайте о себе, облегчите свою участь. Не высказывайтесь таким принципиальным государственным преступником, не настаивайте на безусловности такого замысла – убить премьер-министра. Вы могли это сделать под влиянием момента, аффекта, почти случайно. Напротив, вы честно служили Охранному отделению против революционеров, – а что вы теперь потеряете в революционной среде? Но вы смягчите свою участь. Обдумайте. Я вам очень советую: измените показания на суде.

Разве не поздно переменить показания?

Нисколько. Это – можно, так делают. Назначат переследствие. А противоречия – ни с кем вам не грозят, у вас не было сообщников, соучастников, свидетелей, никто не собьёт вас.

Из осторожности, из недоверия – Богров не ответил порывом. Но – широким ножом вошла в него эта мысль, разрезая прежние скрепы.

И – в толстокаменной камере опять. Не наблюдаемый, не видимый никем. И снова – от двери к окну. И – замораживающий вид из окна на проклятую гору.

И правда, что так сразу впал в слабость, в эвфорию смерти, покорился? Да попробовать же спасти свою жизнь!

А ведь террористам – заменяли смертную казнь на каторгу, и часто. Даже Сазонову за Плева.

Если избиение было так больно – то насколько ж повешенье!?

Да, он проиграл следствие, теперь это видно. Он провёл его не так.

И раз эта вся толпа революционеров отказала ему в поддержке, никто не захотел его подвиг взять на своё знамя, – так он и свободен?

Да и когда он принадлежал к этой банде? Разве он – революционер? Он – свободная индивидуальность, он – сторонник либерального развития. Только.

Сменить версию? Сменить всё объяснение поступка?

Уронить подвиг – но спастись?

Да он никогда не был честолюбив.

Уже жертвовал жизнью, – мало. Теперь пожертвовать и общественной честью?

Да она уже и измарана, нескоро отчистится.

Как стесняется мир! – одно зарешеченное окошко, тропа по пустому склону, не видно даже Днепра – да ветер, ветер над пустой ведьминской горой, – уныние, дикость и обречённость, как всё в этой проклятой России. И где те очаровательные бухты Лазурного берега, как в Villefranche-sur-Mer, на которые смотришь утром с балкона – принявши душ, в узких рейтузах, в белейшей сорочке, молодой, готовый к жизни? (К жизни, которая всегда обещает, а не даёт главного...) Пальмы Ниццы, весёлые овощные ряды на улицах с подмигивающими торговками?... Променады дез Англе?... Пляжи уютной Ментоны?... Непомерные платаны перед казино Монте-Карло? Чрезмерное вычурное богатство залов, золотистые стены, золотой купол.

В первом зале, где игра по мелочи, – взвинченная нервность, курящая девушка за игорным столом и старушки-одуванчики, заглоченные мужчины, фанатичные исследователи с карандашами, – а над расчерченным игорным столом всё то время, что не носится шарик по черно-красному кругу в чашном углублении, – мечутся проворные лопатки-загребалки помощников крупье, как костлявые руки ведьмы, и во мгновение убирают всё проигранное посетителями и как бы презрительно выбрасывают редкий выигрыш. И сами морды крупье – то подслеповато-недолепленные, то черноусо-бандитские, с карикатурными носами, то с видом благородного учёного в очках. А молоденькая в лиловом платье с чернокрашенными бровями и ресницами выталкивает дым сильными толчками вверх и глубоким диким взором следит за игрой. А когда выигрывает, так же помалу, как и проигрывает, то зачарованная улыбка блуждает на её лице – но ошибся бы, кто отнёс эту улыбку к себе и попытался бы увести её от стола.

Ставил Богров и в этом зале, разгораясь следить за сумасшедшим шариком. Но когда с деньгами было свободней – шёл в глубину.

Глубже, куда дорого за вход, – залы *приватной игры* – настоящей, где ставки не ограничены, где нет толпы ни играющих, ни наблюдающих, а меньше десятка у каждого стола, где волноваться считается неприлично, – и дерзко выглядит молодой несчастливый игрок, с безумным лицом расхаживающий от стола к столу. Под такой же непомерной высотой зала – нервная тишина, почти пустота. Здесь и не берут жетонов вместо денег, но апоплексически покрасневший старик за столом баккара, как бы не считая, вынимает из сумки у ног пачку за пачкой, сто штук по 50 франков, сто штук по 100, обклеенные пачки новеньких, а худой выразительный итальянец, вкрадчиво и безошибочно раскладывающий карты, так же вкрадчиво и безошибочно смахивает пачки в глубокий внутренний ящик.

Какой азарт! какой накал! – в полчаса можно пережить целую жизнь.

Переволованы куда больше, чем Богров в зале киевской оперы. Но и – какая музыка жизни!

И никогда больше этого не увидеть.

В этих переглядах с лица на лицо, в этих переходах из зала в зал, в этих переездах из городка в городок, счастливо играешь или несчастливо, смотрел ли на девушек только издали или купил итальянку на ночь, – вдруг создаётся, и не сразу, а потом, из отдаления, из раскидистого щедрого Киева, из сырого хмурого Петербурга, а теперь из замкнутой камеры – ощущение, что то были золотые страницы твоей жизни.

А ты – и не ценил...

Если перебрать – что случилось, видел, чувствовал, мечтал, этот впитанный аромат удовольствий, во всех европейских поездках, курортном житье...

1906? – Мюнхен... Париж... Висбаден.

1907? – Ницца... Ментона.

1908? – Меран... Монрё... Лейпциг.

1909? – Париж... Ницца... Монте-Карло.

1910, и даже в этом феврале, эту последнюю весну – снова Лазурный Берег.

24 года – это жизнь короткая? Или даже длинная?

Если уметь...

Нет – играть дальше!! И ставка – крупней, чем в залах приватной игры!

Обманывает Иванов? Подослан? Конечно подослан. Этим – выгодно так. Но не безвыгодно и Богрову.

Убыстряются движения между каменными стенами, благо никто не наблюдает.

Нет, не биться в стенки как баран. Нет, не подкоп и не подкуп.

Но – извилиною сильного ума.

Показания потеряют правдоподобность? – так и пусть вешают на охранку! Если уже всё равно связал своё имя с охранкой – почему ж не взять с неё ещё одну плату? Поможет – спасена жизнь! Не поможет – так всё повиснет на вас!

Да! Это и остался сильный ход: навесить себя на охранку!

Изобразить последовательное сотрудничество, какого и не было! Перемешать террор с охранкой, чтоб им не распутаться сто лет! И только возрастет неизмеримо социальный эффект акта! Удвоенный удар по режиму: опорочить саму охранную систему, значит – ещё раз ударить и по Столыпину! Дотянуться – ещё и с того света.

Для такой ещё новой большой цели – отдать и личную репутацию до конца.

Что было невозможней: сплести покушение из ничего? Он – сплёл, голыми пальцами!

Неужели же не проще теперь?

## 69

Глаза – всё в точку одну потолка, как позволяет тело. Нельзя на правый, и на левый плохо, а только всё время навзничь, придавленный в спину, как сразу был пришит к барьеру, и всё время ощущая невынутую пулю под лопаткой.

Первая ночь была грозная, смерть дышала в лицо, отказывало сердце.

А с утра отступило. Рана затаилась.

А сознание – полное, ясное, в свободном движении, как и положено быть всему духовному в нас. И уже не верится в смерть.

В зеркале – живая окраска лица, не помертвело. И температуры нет. И пронзающие боли первых часов опали (или это от морфия?), и тошнота упала, – и так хочется забыть о заботах тела, и жить одним духом и мыслью, – как легко бы!

Куда же попала главная пуля? Толкуют врачи, что – во владимирский крест и так ослабла, и изменила направление.

Изменила – к лучшему? Изменила – к худшему?

Толкуют, что нет кровохарканья, нет перитонита, это хорошо.

Больной, раненый сразу выбывает из числа взрослых, самостоятельных людей. Он теряет не только власть своего положения, но даже просто право человека знать о себе самом. Если бы от студенчества не знал латыни, не понял бы по недоговоркам врачей: пуля пробила диафрагму и разворотила печень.

Всё-таки не сердце, не горло, не умер враз. Не самое худшее.

Но и печень у нас одна.

Знают враги, что выклёвывать: печень.

Неужели – смерть?

Всё-таки – дотянулись.

А недоможная правая кисть – искалечена уже навсегда. Наверное, правой рукой заслонился.

Спросил, как раненый музыкант. Ничего серьёзного.

Хотя теперь не имело значения, но “интересно”: как же это произошло? как убийца мог попасть в театр? Эта загадка задевала вполне по-земному.

Впрочем, что стоило убить его все эти киевские дни, зачем театр?...

Какие они все полицейские! Искатели чинов и возвышений. Вот был Герасимов в Петербурге, в самые революционные годы, – сколько раз он беззвучно спас и царя, и Столыпина, и других. Террористы в отместку оклеветали его, а Курлов съел.

Курлова! – тёмного, путаного, себеумного, ничтожного, навязанного начальника всех полиций – сам не убрал, оставил его взбалмошную охрану, пожалел государевы чувства. Взглянуть бы ему сейчас в глаза!

Просил вызвать его. Не шёл, лукавый. Уехал праздновать вместе с Государем.

Да разве Столыпин имел ещё власть вызывать?

Да разве Столыпин и главою правительства имел когда-нибудь полную власть?

Как же просто оказалось: убили главу российского правительства – и никто даже не приходит объяснить.

Впрочем, первый день настолько прилично чувствовал себя – казалось, выберется из беды, и ещё разберётся здоровый. Вполне земно шли мысли. И врачи не скрыли от раненого прочтённое в газетах: стрелял – агент охранного отделения Богров.

Богров?? Тот самый, о котором вчера и говорили? Секретный сотрудник, доносящий о террористах? Умопомрачительно.

Эти вопросы бы сейчас затравили, заелозили бы телом, если бы уже не всё равно: какая разница, кто и зачем? Дотянулись...

На самом деле – дух плавал свободно и необидчиво. Мысль была ясна необыкновенно.

И Пётр Аркадьевич – ждал. Для важнейшего во всей жизни разговора.

Ждал.

Государя.

Вечером, едва привезли в больницу и наложили перевязку, – Столыпин тотчас, ещё до первого причастия, просил передать Государю – что готов за него умереть.

В первую тяжёлую ночь, когда смерть нависала, ждал его все часы.

Утром сегодня, когда стало легче, тем более ждал.

Столько было ему передать! О стольком предупредить! Сейчас Столыпин мог разговаривать с ним как никогда независимо и дополна.

Но день тёк, но день тёк – а Государь не шёл.

И знал, и знал же Столыпин своего Государя! И мог бы вспомнить, что даже и в день Ходынской катастрофы не был отменён бал у французского посла. И мог бы помнить, что для Государя ничего нет радостней и дороже военных парадов, – а 2-го сентября как раз и идёт по распорядку главный военный парад, и далеко за городом, и согнаны десятки тысяч войск, – и как же может быть регламент нарушен.

Знал – а ждал.

И к вечеру 2-го сентября, когда Государь вернётся в город, – ждал особенно.

Но тот – не приехал.

И – бесплодно прошёл самый ясный, невозвратный день сознания.

Неужели он не мог изменить распорядка торжеств – ни на мало?...

Неужели ему совсем не существенно узнать – о делах государства? О несделанном? О будущих опасностях? Перенять мысли умирающего? Весь план своей Реформы Пётр Аркадьевич хотел изложить Государю сегодня – как наследство. И убедить, и увлечь к исполнению.

Не в заслуги прошлого – не за то, что Столыпин победил ему революцию, восстановил здоровую страну, – но себе же на будущее! Себе же!

Ведь он сам не видит, как ещё заклинена Россия. И как вырваться ей.

А пришёл – следовательно, какой-то мелкий. Допрашивал, записывал в протокол: как именно произошло там, в театре, как именно стоял министр и близ кого, как подошёл убийца и в какой руке держал...

А приехал, и врачи допустили, – Коковцов. Он уже стал: временно исполняющий министр-председатель.

В две отставки не произошедшее, это произошло теперь: Коковцов – принимал пост. Не противник. Но – узок в уме и в чувствах. Как углубить ему ум, как расширить сердце? Ему надо сердцем осмелеть, прежде чем всё это потянуть.

Почему – не Кривошеин?...

Государева воля.

Кое-что изложил ему. (Из первых: добиться у Государя заменить Сухомлинова, открывается сумбур в военном ведомстве).

В незаполненный день приносил зато секретарь пачки телеграмм – со всех концов России пожелания выздороветь.

В час беды мы слышим эти клики друзей – и всегда с опозданием. Как дороже бы иметь одну шестнадцатую их рядом – но в минуты деланья.

И – телеграммы, и газетные сообщения об отслуженных молебнах, – особенно в церквах столичных навёрстывали молебнами. А местные – передавали образки, образки. И епископ черниговский привёз масло от мощей великомученицы Варвары.

Как любят на Руси эту чрезмерность. Да не взамен бы ежедневного дела. Легче отмолиться, трудней поддержать. Трудней – делать дело.

Столыпин и сам над собой постоянно знал – реющего, веющего, направляющего Бога.

И наипервыми своими усилиями стремился засыпать крестьянские закрома.

И неужели – уйти сейчас? Перед главной своей реформой?

Хотелось бы чистого, твёрдого голоса, обещающего продолжение воли и силы.

Но нигде по России такой голос не раздался. Да – есть ли?

Уйти – ещё полным сил, в сорок девять лет! И оставив Россию – ещё всё раздираемой бешеной этой враждой гражданского состояния к императорской власти. Клеветой. Недомыслием.

Как это устроено Тобою, Господи, с непонятным планом для нас: сколько бы Ты ни отпустил каждому сделать, сколько б раз мы ни пересекли наш последний предел замысла, – но на каждом новом горизонте и даже на последнем горизонте смерти – ещё больше, ещё больше тревожно неуправного, где так нужен я, но Ты повелел рукам моим опуститься.

А – Оля?... А шестеро? – маленьких и взрослых?...

Наказанье это Божье или милость Его: не облегчённый забвеньем, разве коротким сном, непрерывно знаешь и помнишь: вот, я ранен. И могу умереть.

И, наверно, умру.

Ничего нового от телеграмм, от слухов. И не вникнуть в боли и шелохи в самом себе: что там совершается? разрушается? исцеляется? густится не в месте кровь? или отсасывается утомлённым сердцем?

Врачи – как будто и не лечат: только морфий да кофеин. Говорят: встанет через три недели. Не меняют повязки, не шевелят. Собирались пулю вынимать – оставили. Ждут знаменитость из Петербурга.

Вечно деятельному – всё обрезано враз. И говорить не с кем. И передать невозможно. И сознание, осуждённое никогда не вмешаться в будущее, перебирает своё прошлое.

1906. Всё в мятежах и бунтах.

1907. “Не запугаете”.

Как эти фразы неподготовленные вдруг состраиваются. Счастье стояния! И несчастье брести среди раздоров злоб вместо упругости сцепленных государственных сил.

Но как жаловаться? Он должен был погибнуть ещё на Аптекарском, ничего не сделав. А отпущено было – пять лет работы.

И, ощущая в себе перекрестье всех тяжей России, – несомненность решения: с тем фанфароном идти на дуэль.

Да и сегодня – та же дуэль. Только враг – исподтишка, а грудь действующего всегда открыта.

Поразило выражение лица убийцы: торжествующая уверенность в правоте. Ликование достигнутой победы в кривой усмешке интеллигентного лица: поймут ли, как это

остроумно?

Их всех обратили так. Полвека их обращали.

Что им Россия! Что её задачи...

Не-ет, это не агент Охранного отделения.

Посылаются нам в жизни пророческие предупреждения; какие-то заранее примеры и подобию, они являются как посторонние, а касаются нас больше, чем мы думаем. И мы обычно этих предупреждений не опознаём. Тогда, в речи об Азефе, так мерзко было допустить, чтоб охранный агент и направлял террор. А думские враги так и пророчили: правительство само погибнет от этих осведомителей! И вот – какое-то уродливое подобие того?

Как они будут сейчас доторжествовывать невыигранное тогда... Как им всем этот выстрел кстати. Закончил апрельские думские заседания.

Надо было найти время и внимание для полиции, не брезговать.

1909. Разгон России всё шибче.

1910. Год свершений. Хутора уже сеются по российскому лику, и меняется лик природы. И своя же счастливая сибирская поездка, подлинно вершина жизни: всё это – твоё создание.

Да может быть – ты всё своё и выполнил? Не так-то много отпущено отдельному человеку. Одному человеку – не всю Историю повернуть.

Но даже и в эту высшую пору, и даже особенно в неё – был со всех сторон обставлен, связан...

Нет, не так! Нет: о, Господи! Благодарю Тебя, многощедрый, что Ты дал мне это всё – совершить.

Как раз с августа на сентябрь и был разгар поездки: вот эти самые дни, такие нудные в здешних торжествах, – в прошлом году такие раскидные, раздольные в сибирской степи, меж воздвигаемых одоньев, холмов зернового хлеба.

И – ещё бы разик съездить туда!

Прошла и ночь на 3 сентября, не такая грозная, как первая. И температура всё так же 37, и пульс не больше 90, – и так хочется верить врачам, что надежда велика! Ни жара, ни бреда, только недвижимое тело тяжко налито, и слабость. Правый бок, вокруг раны, железно огружен. Что там в глуби происходит тайно? Кровотечения больше нет, и повязки не меняют. И не лечат ничем. Нельзя?

Приехала Оля из ковенского имения.

Да, видишь, друг мой... Да... Вот так...

Но ни поздно вечером, после парада, не приехал Государь, ни рано утром.

Приедет днём?

А что у него по распорядку? А по распорядку опять вне Киева – Коростень, Овруч.

Так не приедет?...

Не шёл.

И – знал Государя Пётр Аркадьевич! И всё-таки – ждал, что придет. Он приготовился говорить с ним уже не как подданный, а как присмертный. Одному ему, больше некому!

... Ваше Величество! Не обманывайтесь, что всё уже хорошо! Одна крепкая буря нас ещё повалит! Всё те же две силы разрывают нас – безответственные, безумные! И одна из них – вся под вашей рукой, расчистите эти заросли, Ваше Величество!

И сам распнутый, направо и налево, этот бычий разрыв испытавши своими плечами, – кого же взамен себя он мог предложить Государю? Ведь не было.

Жалел ли теперь, что криком таким не сотряс Государя раньше? Или, напротив, что не удержал его расположения?

Он вёл себя всегда так, как чувствовал в деле. Не мог он подмениться и не мог подменить дела.

Ну, только этой весной сильно вспылит с западными земствами.

Но пусть осудит тот, кто сам вёл государство.



Всё стройно до каждой башенки боковой – так никому не дано.

Почему если успешно тянешь главную работу и на главном направлении, то все вокруг становятся твоими врагами и всё вокруг – враждебным?

Как в речи сказал о строительных лесах: противники рубят их яростно, не давая нам строить, и леса эти неминуемо рухнут, так и сказал – неминуемо, и раздавят под своими развалинами нас (и мстящий Родичев: вы не докроите ваших лесов, упадёте!), – но пусть это случится тогда, когда в главных очертаниях уже встанет обновлённая Россия.

Но разве – она встала? Но разве главное уже сделано? Боже мой, теперь-то Пётр Аркадьевич и видел всё самое главное, – теперь, не имея сил приподняться даже на локте.

Умереть – совсем не страшно. Страх смерти не знаешь уже давно, самому удивительно, и это прежде пятидесяти. Все боязни всегда – за Россию.

О, не помогу уже ничем!

Страшно, что не найдётся наследников и не придёт до дел. Мы все так не допущены до настоящего дела, вместо нас насажено всюду немцев, или трухлявых уродов, а если появляются направительные руки, прокладывать дорогу, – тотчас налетают со всех сторон выбивать нам из державы циркуль, аршин, кирку, лопату.

... Ваше Величество! Если не образумить и тех и других – мы можем ещё рухнуть! Недопустимо жить стране в таком разрыве! У меня – тёмные предчувствия, Государь, – и не оттого только, что ждал меня этот выстрел. Пятый год ещё может и повториться, Ваше Величество, не дай Бог опять война. Надо растить, растить здоровые слои! И не доверяйте корыстным людям, их много вокруг вас!

Тянулся, тянулся день, уже не с такою ясною мыслью, как вчера. То темнилось, то тошнило, то испарина, слабость, и всё железней огружена печень – и приехал петербургский Цейдлер, и всё равно не решаются ни на что хирурги.

А Государь – открывает в Овруче храм.

Очень ждал, хотелось, чтобы приехал Гучков: эти годы так хорошо понимали друг друга, восстановить бы сейчас.

И он – ехал, или выезжал, – но тоже не поторопился. Прислал вперёд старообрядческую икону.

А уже становилось всё хуже.

– Похоронить меня, Оля, в Киеве. В этом городе хорошо лежать.

Это и давнее было его завещание, все близкие знали: похоронить там, где его убьют. И получилось, что убили – в колыбели всей России, где первый русский корень, – и именно тут за последние годы ярче всего держалось русское национальное чувство – не в чиновном Петербурге, не в окадеченной Москве, – тут! И для этого Киева он и держал последней весной свой бой о западном земстве.

В те недели и сорвавши сердце. Сейчас-то оно бы и помогло, разгонять кровоизлияние, сейчас-то и не было его прежнего.

К вечеру сознание стало сбиваться – и тут пришло ему в голову, что ведь он может Государю всё изложить письменно. Как же он не догадался раньше! Теперь фразы строились горячие и ещё куда убедительней, чем в полном яву. Теперь-то он совершенно убедит Государя! – и тот не может не выполнить, какое благо.

И он требовал бумагу, подкладку, ручку – и вдруг вспомнил, что рука-то правая – и всегда писавшая с поддержкой левой, теперь ещё ранена, как же он будет писать?... И – ослаб.

Наплывали бреды. Сидела жена и доктор Афанасьев, не отходивший все ночи.

Утром сознание вернулось. Врачи были тревожны, находили воспаление брюшины, пульс 120. На что не решались в хорошие дни – решились теперь: перевязка. И операция на спине, вынули пулю-убийцу. Посмотрел на неё Пётр Аркадьевич. Сегодня он уже был так слаб, что не мог бы говорить много и сильно, приди Государь.

А Государь, оказывается, был в лечебнице вчера поздно вечером – но больной лежал без сознания.

А сегодня утром опять уехал из Киева. По расписанию.  
В перерывах, в дрёме, в уколах прошло 4-е сентября.  
И думалось отрывками.  
Он распахнул ворота в русское будущее – но как бы их не затворили опять.  
Боже, как представить это Будущее – светло-высокое? или снова темно-клубистое? Как увидеть продолжение начатых движений – и как это всё повернётся?  
Так бы и кинулся – участвовать в нём. Я – для него! Я весь – для него!  
Но разливалось уже и примирённое отстранение: это – уже не моё. Всё – и так хорошо.  
Утром 5-го Пётр Аркадьевич снова проснулся в полном сознании и требовал от профессоров:  
– Как вы можете говорить мне неправду в последний день моей жизни?  
Профессора уклонялись. Правая кисть была перевязана, а левой рукой он не мог себе сам нащупать пульса – да кажется его и не стало. Давали кислород. И кофеин.  
Столыпин лежал сосредоточенный, в сознании.  
Он ясно понимал, что умирает.  
И сегодня – так и не было Государя...  
Слабый, и сам несчастный своею слабостью, уклончивый, отвращённый – так и не пришёл.  
И не без Божьей же воли нам послан в **такие** годы – **такой** Государь...  
Не нам Твой замысел весить.  
О, Господи, Создатель наш! Просвети его ум и сердце! Отпусти ему твёрдости для невзгод великих!...

Весь день 5 сентября больной, затемняясь сознанием, тяжело страдал, стонал, метался. Удивлялись, что сердце его ещё тянет – иногда совсем переставало, и только от кофеина возобновлялось.

Когда накануне установили кровоизлияние под диафрагмой – вероятно следовало оперировать, удалить кровь, затампонировать печень. Не решились.

В комнату уже никого не допускали посторонних.

Вечером, впадая в забытьё, требовал электрического света! – “Дайте письмо!... Дайте перо!... Кто же даёт ручку без пера?”

И – что-то об управлении Россией.

Несколько раз ясно: “Финляндия”, – и левой рукой чертил на простыне.

А дали карандаш с бумагой – не смог.

В восемь часов вечера стали холодеть конечности. Дыхание сильно затруднилось.

В девять сказал последнее: “Переверните меня на бок”. Доктор Афанасьев перевернул.

И – совсем потерял сознание.

Стали впускать людей.

Протоиерей прочитал отходную.

Живой цвет лица сохранялся до самой смерти.

Жена каменела стоя.

В десять вечера, примерно в час убийства, после четырёх суток борьбы, Столыпин скончался.

Доктор Афанасьев, дежуривший около него четыре ночи, делился: приходилось наблюдать обречённых на смерть многих людей, выдающихся по интеллекту и способностям, – и обыкновенно все они цепко хватались за жизнь, обнаруживали растерянность, слабость духа, молили о спасении, ловили надежду во взгляде врача. А от этого обречённого – не было мольбы, но редкостное спокойное самообладание.

Столыпин встречал смерть как равный. Владетельно переходил из одного вида жизни в другой.

\*\*\*\*\*

## ЧЕРЕЗ КОГО МІР СВЕТ УВИДЕЛ – ТОГО И ОБИДЕЛ

\*\*\*\*\*

70

Объявление о смерти хотели задержать до утра, но это оказалось невозможно из-за паники, охватившей евреев Киева (слух просочился неудержимо), а тотчас и Одессы. Начались отъезды из города. Представители кинулись к властям – молить о защите евреев.

Защита была обещана – и дана. Внимание властей сосредоточилось на том, чтобы не допустить погрома. (Расчёт Богрова оказался верен). Патриотические манифестации на улицах на всякий случай разгонялись полицией. Производились аресты лиц, заподозренных в подготовке погрома. В Киев стянули до 30 тысяч войск, ещё не разошедшихся после парадов, разместили близ еврейских кварталов. Исполняющий обязанности председателя совета министров Коковцов разослал и опубликовал строгий циркуляр принять самые решительные меры для охраны евреев. Генерал-губернатор объявил повеление Государя, уезжающего из Киева: “Воспрещается толпе, обществам и отдельным лицам проявление своеволия, могущего вызвать беспорядок”. Союз Михаила Архангела выпустил воззвание к своим членам соблюдать на улицах самый строгий порядок. В городской думе лидер правых сделал заявление, что всякое выступление против кого-либо противоречит совести и смыслу политики Столыпина, борца за порядок и законность. “Как духовный пульс населения Киева мы должны сделать всё, чтобы внести успокоение”. Правые решили не допускать далее манифестаций, чтобы не дать толчка для общественных беспорядков. (Киевские же правые спохватились перед самой смертью Столыпина, что лечебница Маковского, где он лежал, не получила от полиции никакой охраны: начини Столыпин выздоравливать и найдись у Богрова единомышленник – ничего не стоило бы прийти в лечебницу и всадить добавочные пули).

Вероятно, такое сдержанное поведение тем легче далось правым, что они никогда не считали Столыпина своим, но, напротив, предателем: вместо того чтоб отвергнуть и растоптать Манифест 17 октября, Столыпин искал развитие России в его вынужденных пределах. Хотя он и выволок Россию из революции, он остался им недостаточно хорош: та нетерпящая правая крайность, которая знать не желает никакого развитая общества, никакого движения мысли, никаких тем более уступок, а только всемолитвенное поклонение царю да каменную неподвижность страны – ещё век, ещё век, ещё век. Правда теперь, убитый евреем, Столыпин стал для правых более приемлем. Местные киевские союзники (Союз Русского Народа) готовились продемонстрировать в том же оперном театре, где прозвучали выстрелы, на спектакле “Жизнь за царя”. (Но узнав о том, власти отменили этот спектакль – и дневной, и вечерний). Однако в верхушке правых, в Петербурге, непримиримость к Столыпину не изменилась: из думской фракции правых демонстративно никто не поехал на похороны – ни Марков 2-й, ни Пуришкевич, ни Замысловский. И правые газеты писали откровенно:

Россия не давала Столыпину своего имени... Да будут его увлечения – предостережением каждому его заместителю: не поддаваться гипнозу современных либеральных веяний.

Архиепископ Антоний Храповицкий на панихиде в Житомире осудил реформы Столыпина как левые и призвал православных замаливать его грехи. А прославленный и безвозбренный в своей лихости царицынский Илиодор (к тому же и с личными счётами к Столыпину) отказался даже и панихиду отслужить: “Столыпин нам не родня, не знакомый, никакого добра не сделал”.

А главный тон им всем – задавал Государь. Никак не осталось незамеченным, что он

посетил лечебницу всего один раз – и даже не прошёл к самому больному. Давно разработанная программа чайнных торжеств выполнялась неуклонно, ни на волос не дрогнув от выстрела в театре: воинский парад, осмотры киевских заведений, поездка в Овруч и в Чернигов. Оттуда Государь вернулся лишь 6 сентября – уже слишком поздно, чтобы проститься с умирающим, но и слишком рано, чтоб задержаться до завтра, к переносу тела в Лавру. В механической программе своих торжеств Государь, как проходя между кеглями на цыпочках, обминул и первые минуты раненого в театре, и ожидания его в лечебнице, и день смерти его, и день перевоза в Лавру, и день похорон. Все видели, что российский единоподдержец не сострадает раненому.

Передавали устно – и просочилось в печать: “Говорят, Государь не считает особенной потерей”.

Тем легче не прихлынула большая волна сочувствия. Молебны по России сменились на панихиды, те отзвучали – и всё.

Тем более не нуждалась либеральная печать теперь и заикаться о какой-либо “глубокой печали”. (Но вся пресса перепечатывала восхищение жандармского подполковника Иванова личностью Богрова). Появилась возможность подекламировать:

Что передумал раненый министр перед смертью? Не прояснился ли в его уме истинный взгляд на сущность полицейского строя, в котором он жил и действовал?

И приляпать биржевую оценку от имени истории:

Был ли покойный большим государственным человеком? Была ли у него широкая, глубокая государственная программа с определёнными принципами и системой? Нет, он не отличался мощным размахом объединяющей идеи.

В эти самые дни правительственная комиссия в ковенском имении Столыпина изымала программу развития России на 20 лет. Судили о нём газеты с той размашистой самоуверенной пошлостью, которую в XX веке никто не выразил так отъявленно, как журналисты. И поучала кадетская печать:

Никому не дано забывать, что *право*

(то есть кодекс статей, выработанный выпускниками юридических факультетов и вотируемый другими юристами в законодательном учреждении)

## ВЫШЕ

религии и выше национальных чувств.

Только Меньшиков в “Новом времени” написал:

Это был выстрел на весь мир. Убит в цветущем возрасте, посреди исполнения долга, политическая жизнь его только начиналась. Он боролся с революцией как государственный человек, а не как глава полиции. Это был новый тип государственного деятеля. А мы – ничем не можем ответить, кроме “вечной памяти” и синего кадильного дыма. Так мы реагируем на то, что Россию обезглавили. Все эти панихиды – тени дел. А революции надо дать отпор не театральный.

А кроме журналистов и политиков разве остаётся ещё какое-нибудь мнение у страны? Русской потери у нас почти не объяснили.

Некоторые киевляне обсуждали ставить Столыпину памятник. Государство не предложило участвовать.

Хоронила Россия своего лучшего – за сто лет, или за двести – главу правительства – при насмешках, презрении, отворачивании левых, полулевых и правых. От эмигрантов-террористов до благочестивого царя.

Только в европейских странах можно было прочесть, что (французский официоз) покушение было не на лицо, а на основу государственного порядка. Что Столыпин был – великий деятель, опора порядка, за изумительно короткий срок восстановивший в России благоденствие. Что (“Таймс”) он приспособил русскую политическую жизнь к представительным учреждениям так скоро и в таком порядке, как это не было сделано ни в

одной стране. Что он пал мучеником за свои убеждения, смерть его – национальное горе России, и можно только надеяться, что эра Столыпина не кончится с его смертью. Что (венские газеты) опять великий муж России пал жертвой зверской страсти; русские социалисты-террористы, с большим влиянием в кругах русской буржуазии и университетских, называют себя освободителями, прикрывая этим отвратительное варварство и только препятствуя мирной культурной работе.

После смерти Столыпина лежал в дубовом гробу, в белом кителе. Из многих венков вдова выбрала терновый и положила ему на грудь. У ног на подушке лежал измятый пулей орден Святого Владимира. В тесную лечебницу вход был затруднён, но шли чередой прощаться.

Хоронить намеревались у Аскольдовой могилы. Но Государь, посетивший лечебницу, повелел хоронить в Лавре.

7 сентября несколько вёрст от лечебницы до Киево-Печерской Лавры Столыпина перевозили в открытом гробу по улицам, запруженным толпами и обставленным шпалерами войск, – теперь дана была умершему защита, какой не хватало живому. То не находилось и одного жандарма, а теперь все сотни их, какие только собрались из трёх столиц, – ехали конные и шли пешие и впереди и позади процессии, формально – потому что покойный был и министром внутренних дел, но обрамленьем своим извращая его великую службу России. Множество лиц, каких не достало живому на поддержку, – все, все теперь были здесь, и депутации от учреждений, и высшие военные и гражданские чины. (Но Курлов отбыл в Петербург, Спиридович – в Ялту).

Играли многие военные оркестры. Впереди процессии шли факельщики. Затем в белых одеждах дворяне, земские чины. Хор злополучного театра. В синих кафтанах хор соборных певчих. Десять хоругвей. Высокий крест. Попарно псаломщики и дьяконы с кадилами. Три архиерея, восемь архимандритов, митры блестели на солнце. Кое-где перед колесницей народ становился на колени. Впряжены были 6 лошадей в белых сетках и с белыми султанами. При остановках близ церквей архиереи читали Евангелие. За колесницею после родных шли генералы, офицеры, монархические организации со стягами, везли сотни серебряных и живых венков, процессия тянулась три часа.

Не хватало малости: Государь изволил накануне отбыть из Киева на отдых в Крым. (Но был от их величеств венков. И от вдовствующей императрицы).

А к 9 сентября, к похоронам, уже приспели и петербургские депутации. От Государственной Думы негусто – человек 50, прослойка русских националистов, которые только и верны были Столыпину от начала до конца (но и киевский их лидер Шульгин лечился в Крыму), да кучка октябристов с раскаявшимся Гучковым. Ни от левых, ни от крайних правых членов Думы не было никого. Родзянко привёз венков, но только от собственного имени. “А почему не от Думы?” – спросили его. – “Депутаты меня не уполномочили”.

И – не было никого из великих князей.

Гроб простоял минувшие ночи в Трапезной церкви, у него дежурили предводители дворянства, земские деятели, гласные городской думы и опять-таки чины министерства внутренних дел. Правда – и верные друзья по земельной реформе – министр земледелия Кривошеин и помощник Столыпина Лыкошин.

Митрополит служил заупокойную литургию. Епископ Евлогий от Холмской Руси произнёс пылкую прощальную речь, назвал покойного крестоносцем.

Перед выносом гроба удобно расположились у места погребения представители печати, фотографы и кинематографисты. “Союзники” настояли, что это оскорбительно, – и потребовали удалить. Журналисты не шли, их вывели.

Под колокольный звон гроб понесли из церкви. На караул брали снова жандармы. На подушечках – снова ордена. И в белом облачении – 54 священника, 6 дьяконов, 4 епископа, митрополит. Гроб несли сановники, но не очень высшие (высшим – указал отъезд

императора). Из министров сопровождали Щегловитов да Тимашев. Кривошеин вёл вдову. Да Родзянко, Гучков, Балашов, Владимир Бобринский. Пихно.

Какой-то мужичок старообрядец пытался сказать у гроба слово – жандармы оттолкнули его, не дали говорить.

После литии у могилы – с “Коль Славен”, “Вечной памятью” и под три ружейных залпа за стенами Лавры, опустили великого русского в склеп, между Трапезной и Великой церквями. И стали заделывать.

Не запугали.

Убили.

## 71

А через несколько часов в одной из больших камер Косого Капонира начинался тайный суд над Богровым. Не оправдался слух последних дней, что Богрова будут открыто судить в Петербурге и так осветятся все подозрения против охраны. Нет, судили его, конечно, трусливо-закрытым судом и не был опубликован обвинительный акт – и нельзя было лучше подтвердить подозрения и укрепить левых: нужно самим быть очень виновными, чтобы так скрывать истину о деле Богрова! Богров и был их человек! Власти сами и подстроили убийство!

И чего, правда, стоили эти шпалеры войск при похоронах и жандармы, берущие на караул при орденских подушечках убитого, если скрывали суд?

... Как оказалось, вчера, 8 сентября, подсудимый просил бумагу “для чрезвычайно-важных показаний”. Сообразуясь с тем, что он уже передан военно-окружному суду, тюремная администрация отказала Богрову в бумаге. К сегодня была осведомлена и прокуратура, но ничего не изменила в ходе.

Суд был назначен на пять часов пополудни. Не рассчитали, что в Косом Капониере нет электричества, а и день попасмурнел, начинали уже в серости, и вскоре послали собрать керосиновых ламп.

Четверо членов суда были полковники и подполковники из гарнизона, председатель – генерал-майор, прокурор – генерал-лейтенант. Два последних очевидно имели случай заметить и усвоить все пренебрежения императора к раненому и умершему премьер-министру. Они и сами могли тут выводы сделать, а вероятно и спрашивали совета, мы никогда не узнаем, у кого. Во всяком случае было вызвано 12 свидетелей – и пятеро из них не явились. Курлов – даже и не числился среди вызванных, суд (а перед тем и следствие) не смел дерзнуть так высоко. Веригин, как совсем не причастный к делу, поспешил уехать в первых же днях в Петербург. Спиридович, связанный охраною при дворцовых торжествах, уехать из Киева сразу не мог, но пренебрегал вызовами на следствие и не являлся дважды. Когда министр юстиции предупредил министра Двора, что будет личным докладом императору добиваться вызова Спиридовича, тот явился на следствие раз, но (по сговору четвёрки) не ответил ничего по существу, ибо ведь он был и вовсе ни при чём. И тем более не явился сегодня в суд.

И никто из пяти неявившихся свидетелей не был востребован повторно.

Защитника не было, поскольку подсудимый от него отказался. Но и более замечательная особенность: не вёлся протокол судебного следствия, полная запись показаний, – как если бы этот суд происходил на театре военных действий и снаряды противника уже сотрясали бы башню. Или как если бы этот суд был – о карманной краже.

На суде присутствовали важные местные лица: генерал-губернатор Фёдор Трепов, командующий военным округом Николай Иудович Иванов (ему-то и спас Богров однажды жизнь, выдав покушение), киевский губернатор, губернский предводитель дворянства, несколько прокуроров. И министр юстиции Щегловитов заезжал на часть времени. И никто из них не указал на упущение с протоколом, или не видели упущения в том.

Объяснение было слишком неприятно власти, чтоб его подробно расписывать. А по

законам бюрократического бытия мнение о случившемся уже впечатлилось во всех них.

И вдруг Богров (всё в том же фраке, помятом при аресте и от тюремной жизни, уже без воротничка, манжетов и бабочки) – попросив на время своих объяснений оставить в зале и свидетеля Кулябку (по закону это воспрещалось, но суд согласился!), – Богров хладнокровно взорвал всё, что было на следствии. Ему не дали вчера бумаги представить всё это письменно – теперь он переворачивал голосом.

Его показания были – прямо противоположны прежним!

Уже не стало великого замысла убить врага народа, врага инородцев, врага прогресса и конституции, а – произошла случайность: Богров ходил несколько дней с револьвером, да, но вовсе ещё не решив, что кого-нибудь убьёт и кого именно. Он совершил убийство Столыпина безо всякого злоумышления и неожиданно для самого себя. В Охранном отделении он служил всегда чисто-идейно, из сочувствия к целям охраны, а вознаграждения практически и не получал.

(Я – ваш! Я даже ещё более ваш, чем вы до сих пор думали. И если я потону – то и вы!)

Однако этой весной и летом к нему дважды приезжали делегаты от парижских анархистов, требовали отчёта в израсходовании партийных денег 1908 года, обвинили, что он – в сношениях с Охранным отделением, – и потребовали совершить какой-нибудь террористический акт, а иначе огласят его провокаторскую деятельность и убьют самого.

(Спасите меня, я ваш! Вы видите – я пострадал за вас).

Анархисты посоветовали Богрову убить – Кулябку.

(Кулябка – вздрогнул как подстреленный. Так вот что ему грозило?? Он, рыдавший эти дни на допросах и признавший свою запредельную глупость, чтобы только избежать квалификации государственного изменника, – он сам и был главная намеченная жертва!?)

Вносились керосиновые лампы. Появлялись угрожающие тени на сводах, увеличенные чёрные взмахи передвижений и жестов.

Богров и сам наметил Кулябку – потому что при постоянных сношениях такое убийство можно было совершить вполне безнаказанно.

(Милый, милый умница Богров! – просветляется теперь Кулябка: так ведь если я главная жертва, так я уже почти и не виноват?)

Однако доверие Кулябки и его ласковое к Богрову отношение остановили последнего. В ночь на 1 сентября (как всё опять ложится удачно!) он и приходил домой к Кулябке, чтоб его убить, зачем бы иначе? – но был обезоружен его добротой и домашней ночной раздетостью.

(Я жалел – Кулябку, такого же, как вы всё! Признайте же меня – я ваш!)

И – горячие слова в защиту Кулябки: что тот – поверил в Богрова. Что тот добросовестно заблуждался.

В странных тенях на сводах не отличишь мира этого от того.

И всё это – к вечеру, рядом с Лысой Горой.

Суд – поражён сенсационным поворотом.

– Но почему ж тогда вы убили статс-секретаря Столыпина?

– Совершенно случайный выбор. Просто – самое видное лицо в публике.

Откуда ж тогда наполеоновская гордость первых часов? И почему же столько дней в плаще геройском – шёл и шёл на эшафот? Нагораживал против себя всё самое тяжкое, до высшего размаха обвинения?

Суд – поражён, но не настолько, чтобы задать хоть один из этих вопросов. Да – поражён ли суд? Никто не спрашивает, чем же объяснить катастрофическую смену показаний? Какие мотивы?

Углубить допрос? Начать вести подробный протокол? Назначить переследствие? Отсрочить своё решение?

Нет, как будто снаряды ложатся близ самой башни Косого Капонира, – суд спешит кончать. Суд спешит кончить как можно быстрее и глуше – будто нарочно подтвердить все худшие обвинения левой прессы: это ваш человек!

Как по гладкому спуску допрашивается блеющий от радости Кулябко. (А ему тем легче теперь попасть в лад, что он всю новую версию слышал). И он хвалит и хвалит верного сотрудника Богрова. Да ведь он и всё время так говорил: деятельность Богрова для Охранного отделения была исключительно полезной. Не поверить Богрову было бы совершенно невозможно, контролировать его – неэтично. А почему Кулябко не попытался арестовать на квартире Богрова мнимых революционеров? А потому что он ещё не схватил бы их на несомненном замысле, но этим выдал бы революционерам тайну Богрова. Что же касается допуска в театр, то (без подсказки Курлова Кулябко этого бы и придумать не мог, и шепнуть бы не осмелился): **Богров был допущен в театр с ведома Столыпина!!!**

Уже засыпана, уплотнена земля стольпинской могилы. Теперь можно топтать и так.

Оказалось всё просто, исчерпывающе ясно. (Да ведь надо и спешить). И при таком совпадении показаний Богрова и Кулябки – зачем суду допрашивать кого-либо из шести ещё прибывших свидетелей? А из неявившихся – зачитать Спиридовича и Веригина, – и суд может удаляться на совещание?

Тот каляевский задуманный Суд, героическое увенчание Акта. Что желает сказать подсудимый суду ещё?

Что в тюрьме он страдает от голода (тем большего, чем больше вернулась надежда на жизнь) – и просит накормить его хорошо.

Вызванный администратор доложил, что Богров содержится на офицерском положении. Распорядились накормить вволю. А всего через двадцать минут вернулись и с приговором: помощник присяжного поверенного Мордко Гершов Богров, признанный виновным в соучастии в сообществе, составившемся для насильственного посягательства на изменение в России установленного основными государственными законами образа правления (им непременно нужно сообщество, так гласит статья 102-я, а иной статьи в кодексе и нет, весь кодекс не предусматривает одиночных революционных выстрелов, какие вспыхивают уже полвека, весь кодекс не готов к революционным годам), – и в преднамеренном убийстве –

– приговаривается к лишению всех прав состояния и к смертной казни через повешение.

И – качнулся Богров.

Так – сразу?... Так сразу – и всё??

Рассчитал, должно было взять! Не взяло.

Шарик выпал – худшим образом.

(Да может быть суд и охотно бы его помиловал. Но ещё был один закон, которого Богров не знал: в радиусе двух вёрст от Государя всегда действует военное положение. Не в том дело, что обвиняемый убил премьер-министра, но он стрелял – в присутствии Государя!)

И отдельное постановление о Кулябке: не принял мер... не распорядился... не учредил наблюдения... Об этом – сообщить подлежащим властям гражданского ведомства.

Только и всего. Не судить же.

Теперь дали Богрову последний в жизни лист бумаги – уже в камеру не будет бумаги дано – для последнего письма родителям.

Расхотелись, уходили. Мелькали на сводах чудовищные тени тустороннего мира. Ждали конвоиры.

Богров при керосиновой лампе, на столе, мог писать.

Версии меняются – а родители одни. По версиям он карабкался, сколько мог, – а возможность этого письма не повторится.

И письмо – разве только к родителям? Его десятки раз напечатают. Это письмо – ко всему миру.

**Но это всё** – как выразить? И – чтобы прошло?

“Дорогие мама и папа! Единственный момент, когда мне становится тяжело... Вы должны были растеряться под внезапностью действительных и мнимых тайн...”



И – мнимых. Кажется ясно: не верьте тому, что наговаривают обо мне: что агент охраны. Нет, вот ещё ясней:

“Пусть у вас останется мнение обо мне как о человеке честном”.

**Честный** – нельзя выразиться ясней! Для Богрова-отца, для всего круга присяжных поверенных, для всего российского общества **честный** – это враг правительства и властей. Честный – значит убил идейно.

И цензуру пройдёт.

Так спешили с судом и казнью, что в следующую ночь, на 11 сентября, и должны были казнить. (Тщетно просили родственники Столыпина отсрочить казнь до результатов уже начинающей работу ревизии киевского Охранного отделения – 10-го сенатор Трусевич назначен, 11-го приезжает в Киев). Казнили бы, если б не закон, что под воскресенье нельзя. Значит, под понедельник.

Никого из крупных террористов в России не судили, не казнили так судорожно поспешно. Быстро-быстро убрать, чтоб не передопрашивать, не переследывать, не переигрывать. Последний, судебный, вариант оказался совсем неплохой: почти никто и не виноват, почти ни на ком служебного пятна.

Однако, Охрану начинают ревизовать – а суд не затруднился протоколом с подписью обвиняемого. И как же будет доказана безупречность Охраны?

И в субботу же 10 сентября, в тишине Косого Капонира, в камеру осуждённого на смерть, по закону закрытую для всего этого мира, прокрадывается или даже проходит нестеснительно – следователь!

Для добавочного допроса! Какого не бывает со смертником нигде никогда! (Мы узнаём, что такое сферы и сила их. Стены тюрем, во сколько бы кирпичей ни выкладывали их, имеют такую особенность: неодолимые для арестанта, они легко проницаемы для имеющих власть).

Но и – встрепетывается сердце Богрова! Его вариант работает! – ещё не все извивы закрыты уму!

Этот прокравшийся некто – снова жандармский подполковник Иванов, почти влюбившийся в Богрова за эти дни, заявивший прессе: “Он – из самых замечательных тюдей, которых я встречал в жизни”. (Много лет спустя, после всех революционных успехов, уже вышвырнутый в эмиграцию, он ещё будет возражать белогвардейской газете, посмевшей оценить наружность Богрова как несимпатичную).

Проник через непроницаемые двери – для благодарности за спасительный вариант, высказанный на суде?

Нет, потому-то он и пришёл, что судебный вариант Богрова оказался недостаточным.

Но и судебное решение – не обещанное.

Суд – не в руках Охраны.

Что же теперь, за гранью приговора?

Побег!! Ещё лучше! Не каторга – а заграница. И это – в руках Охраны.

Трудно верится.

Но если подполковник, вот, допущен к смертнику – вне всяких законов? И если заинтересовано много влиятельных лиц? И – разве это первый раз? А сколько уже Охрана устраивала побегов? – Петров. Соломон Рысс. Да многие.

Это верно.

У человека извне, да ещё жандармского чина, бесконечный перевес непроверяемых жизненных возможностей перед смертником, запертым уже на последние свои замки.

Но – вибрирующим в надежде! но – вибрирующим в комбинациях!

Да ведь не так много и просится дополнительно, надо лишь акцентировать. Так, как это высказано на суде, – недостаточно убедительно. Надо выявить, что была полная основа вам доверять до самого конца. Надо подчеркнуть, что к террористическому акту вас внезапно вынудили революционеры под прямым страхом смерти. И дать детали.

И подписать.

Этот объёмный разговор – скрыт от нас, мы ничего никогда о нём не узнаем, оба участника давно в земле. Но осталась формальная запись.

И по ней: недавно гордый смертник охотно отвечает на внезапном допросе, помогает искать формулировки и подписывает их.

Допрос начинается приёмом, как бы машиной времени переброшенным в 1911 год из послевоенного смятенного 1946-го: просто показом фотографической карточки какого-то человека: не знаете такого?

Ждущему казни чем томиться о вечности, беседовать с Богом или раскаиваться в прошлом – ну отчего бы не пособить жандармскому подполковнику насчёт фотокарточек? Как будто только и ждал смертник этой фотографии – и вот непринуждённо сразу потёк его рассказ.

Да, да, в минувшем марте именно этот анархист пришёл ко мне после Лукьяновской тюрьмы и сообщил, что там против меня сильное раздражение: год назад пришло в тюрьму письмо, снова меня обвиняющее. Теперь ему поручено расспросить меня вновь.

Исчерпана фотокарточка, но уже рассказ потёк, что поделаешь. И не как на суде, есть время записать.

В мае – новый приход, два анархиста из Парижа, “революционная комиссия”, объезжающая Россию, места, где прекратилась революционная работа: выяснить причины провала, собрать силы и оружие. За Богровым числят недостачу 520 рублей. Хотя не считал себя в растрате – взял у родителей, уплатил. Но в конце июля на дачу под Кременчугом (все чудеса оттуда – и Николай Яковлевич, и моторная лодка!) всё равно прислали из Парижа заказное письмо (в Киеве бы оно было зарегистрировано, а в селе поди спрашивай) с враждебными контрольными вопросами.

И не жалко – отбросить триумф победы, сойти с пьедестала? Отринуть всё достигнутое? Войти в историю даже не бонвиваном из Монте-Карло, но мелким полицейским служкой? Снова подсчитывать растроченные и уплаченные партийные деньги, вспоминать мелкие доносы и объяснить весь подвиг своей жизни страхом: убить кого-нибудь в искупление, чтоб не убили за предательство тебя самого? И ясно же, что пишется протокол не тайною на века: чуть изменённое в передаче, это самое будет передано в газеты в эти же дни. Избрать позорный вариант, который самому же казался хуже смерти?

Но смерть, при столкновении с ней в лицо, оказалась ужаснее бесчестья.

Другим – всегда умирать легче, себе – всегда тяжелей.

А если жизнь, так – о-о-о! – я всё это ещё опрокину!

Да, 16 августа на киевскую квартиру явился к Богрову ещё один знакомый анархист, проездом из Парижа, от группы “Буревестник”. (Долгий, тщательный, неторопливый протокол. Голова, как и раньше, находит много реальных подробностей). Так вот: предательство Богрова установлено окончательно, решено теперь обо всех фактах сообщить во все места, где Богров бывает, и присяжным поверенным, и всему обществу, – смерть гражданская. А за ней придёт и физическая от мстителей. Но разрешает “Буревестник”: реабилитировать себя террористическим актом не позже 5 сентября, а лучше всего – Кулябку.

Кулябку, Куля... Вот с Кулябкой-то и получился грубый перебор. Ещё один небольшой вопрос: “Почему во время суда вы так выгораживали Кулябку?” Богров: “На вопросы прокурора Кулябка так растерялся, не знал, что ответить. Я пожалел его”.

Но не настолько же он любил Кулябку! – как товарища по постели? Тоже не ответ. Ну хоть так.

А тут случайно – киевские торжества, и вот подвернулся Столыпин. Случайно знал его в лицо (встреча на петербургской водопроводной станции), на нём же было сосредоточено и внимание публики – вот и решил. Но если б кого-нибудь раньше увидел в проходе – мог убить того. (Свободные возможности террориста!) Я совершал террористический акт почти бессознательно. (Преступление почти не готовилось, жест отчаяния, – так надо и Курлову).

Мастер мистификаций, мастер возможных версий – вот он достроил ещё одну, – и снова сходились даты, мотивировки, поступки. (Не все – но и в главной версии не все).

Но если всё так – отчего б анархистам не похвастаться, что это убили они? (Слабое место).

А ещё могла быть такая версия: зрело свободное гордое решение – а угроза подтолкнула. И то бы – лучше.

Но не то требуется заказчику.

С такой извивчивой изобретательностью всползти на самую верхушку шеста, ужалить к восторгу публики – и вдруг свалиться обмякшей тряпкой вниз?...

Ах! Умирать не хочется!...

Выстрелить, повернуть всю тупую русскую тушу, – а самому, обрызнутому духами, снова войти в золотистый зал Монте-Карло?

Достоевский много душевных пропастей излазил, много фантазий выклубил, – а не все.

На следующий день, в воскресенье, к осуждённому был допущен раввин. И Богров сказал ему:

– Передайте евреям, что я не желал причинить им зла. Наоборот, я боролся за благо и счастье еврейского народа.

И это было – единственное несменённое из всех его показаний.

Раввин упрекнул Богрова: ведь он же мог вызвать и погром.

Богров ответил:

– Великий народ не должен, как раб, пресмыкаться перед угнетателями.

Это тоже было широко напечатано в российской прессе.

И текли часы смертника – а к нему больше не шли. Не шли открывать дверь на побег... Обманул Иванов?!

К вечеру воскресенья пустырь под фортом Лысой Горы был обыскан и оцеплен пехотой, казаками и полицией. Кроме законной комиссии получили разрешение присутствовать на казни человек двадцать из Союза Русского Народа, выражавшего сомнение, что Богров будет действительно повешен, а не подменён. При посадке в арестантскую карету его, всё в том же фраке, уже теперь насмешливом, осветили электрическим фонариком, и союзники признали: “Он, он!” – “Я ему в театре хорошо поддал!”

Не походило на инсценировку.

Четыре версты ехали. Богров пожаловался, что его лихорадит.

На месте казни при свете факелов помощник судейского секретаря громко прочёл приговор (всё тот же, о преступном сообществе).

Спросили Богрова, желает ли ещё что сказать раввину. Да, он желает продолжить беседу с раввином, но наедине. – “Это невозможно”. – “Тогда приступайте”.

Обманул Иванов.

Попросил присутствующих передать последний привет родителям.

Затем – тихо и спутанно, ничего уже не разобрали.

Палач из каторжан Лукьяновки завязал Богрову руки назад. Повёл к виселице. Надел саван.

Из-под савана Богров спросил:

– Голову поднять выше, что ли?

Палач выбил табуретку.

Тело, поплясавшее вначале, – висело 15 минут, по закону. Горели, потрескивали факелы в глубокой тишине.

Кто-то из союзников сказал: “Небось, стрелять больше не будет”.

А ему – уже и не надо было.

Союзники взяли на память по куску этой верёвки.  
Многие киевские студенты-евреи надели по Богрову траур.

И как хорошо всё кончилось, этими правильными показаниями: просто несчастные метания защемлённого человечка. Не осталось ни пятна на полицейских генералах. Ни на одном видном чине.

Ни – гордого вызова этой стране.

Ни – подрыва Верховной императорской власти.

Она так любила умиротворяющие незначительности. Сглаживающие выводы. Ничтожные концы.

## 72

Первого сентября Аликс была нездорова, и Алексей тоже, и она на весь день осталась во дворце и вечером не поехала в театр. А Государь днём на ипподроме с удовольствием смотрел своё любимое зрелище – церемониальный марш потешных; четыре полковых колонны из гимназистов, реалистов, городского и ремесленного училищ, приютов и школы призрения, и благодарил их всех. Малый отдых – и надо было ехать на долгий генерал-губернаторский обед. Ещё малый отдых – и в оперу, на парадно-народный спектакль, с двумя старшими дочерьми.

Во втором антракте вышли из ложи в аванложу, Государь курил, Оля и Таня пили прохладительное, а из должностных лиц зашли посетить их, узнать впечатления, пожелания, приказания.

В этот момент из зала послышались два выстрела. Они все вбежали в ложу и сверху, через бархатный барьер, увидели совсем близко, под собою, ещё стоявшего вприслон к оркестровому барьеру Столыпина.

И Столыпин медленно-ранено повернул голову сюда, увидел Государя, поднял руку, почему-то левую, и благословил носителя российской короны.

Государю видно было, из ложи, тут всего сажени четыре, что Столыпин сильно побледнел, а на белом сюртуке у него – большое кровавое пятно. Сразу за тем он шагнул к креслу и стал расстёгивать сюртук. Профессор Рейн и седовласый граф Фредерикс помогали, склонясь к нему.

Из глубины зала, от выхода, доносился шум: это поймали, били и ругали убийцу, и весь зал, кто был там, гудел встревоженно. А вскоре сюда подбежал отважный Спиридович с обнажённой саблей, протолкнулся перед первым рядом – и так, с саблей, пружинно-преданно стал и стоял, как часовой, под самой царскою ложей.

Вот тебе раз! Уж как великолепно была поставлена охрана! Нет, против этого бесовского отродья не убережешься. Бедный Столыпин. И как омрачительно, что это – в дни таких прекрасных торжеств.

Печальное это событие теперь удлинит антракт. Около Столыпина собрались врачи, какие были в зале. Приподняв его под руки – медленно повели. Праздничный зал снова наполнялся, гудел, но и сдерживался в присутствии Государя. И вновь заполнились все места, кроме столыпинского в первом ряду, близ прохода. И воинственный Спиридович вложил саблю, сел на своё место в третьем.

Публика потребовала, чтобы в ответ на злодейский выстрел был бы теперь непременно исполнен гимн. Вышла на сцену вся оперная труппа в костюмах салтанского царства и с тамошним царём, стала на колени и запела “Боже, царя храни”. И поднялась вся публика. И Государь с великими князьями стоял у барьера ложи, чтобы всем было удобно видеть.

И повторили гимн ещё два раза.

Потом сыграли-спели 3-й акт, и Государь с дочерьми уехал. Предосторожности охраны были ещё повышены, если они допускали повышение. Очень старался преданный генерал

Курлов.

Государь возвращался во дворец в очень грустном состоянии. Он понимал, что произошло событие трагическое.

Бедный Столыпин.

Но сам удивлялся себе и досадовал, что не испытывал уж такого сокрушения и горя. И искал причину.

А всё потому, что Столыпин – передержался в должности. Зачем он не подал в отставку раньше? Ведь это уже так созрело, и он понимал. Зачем ожидал увольнения?

Подавал бы в отставку – и был бы теперь цел.

Сейчас пока исполняющим обязанности назначить Коковцова, он уже не раз заменял Столыпина при отлучках.

Во дворце Аликс ещё ничего не знала о покушении. Она лежала с сильной головкой болью и невралгией в спине, а наследник у себя в комнате, в постельке, но, слава Богу, за часы театра никому тут не стало хуже.

Николай сказал о случившемся, форсируя горькие выражения голоса. Тут ворвались Таня и Оля и в слезах рассказывали матери, как это всё было.

Но Аликс отнеслась спокойно. И Николай уже не так упрекал себя за бесчувствие. Какое-то возвращалось равновесие.

Девочки ушли, он присел к Аликс, и она, через боль, морща лоб, сказала задумчиво:

– Знаешь... может быть это и не самый плохой выход. Даст Бог он поправится – а отставлять его так или иначе было необходимо. Но неприятны были бы все эти толки, пересуды в газетах, в гостиных. И сопротивление матушки.

Фактически верно, но и какая-то моральная неправда в этом.

– Это я виноват, – сказал обескураженный Николай.

– Не решился. Уволил бы вовремя – и был бы Столыпин цел.

Аликс лучисто смотрела со своим глубоким пониманием. Но и сожалением:

– Моему супругу всегда ведь немного не хватает твёрдости. А на самом деле твёрдость монарха – это благо для подданных. Твёрдостью – все вопросы: решаются милосердной.

Николай понуро сидел, локти на коленях, голову в чашку ладоней:

– А сам бы он – не подал, не дожидаться.

С весны Николай как освобождения ждал этой отставки. Как жалел, что в марте уступил Мама! Никогда за всё время Дум не жгли его так думские прения, как весной по западному земству, особенно речь Маклакова: Государь увидел себя осмеянным, игрушкой Столыпина в неверном деле.

– Поставил такие жёсткие условия. Так грубо обошёлся с Государственным Советом.

– Да никогда, Ники, он не был по-настоящему наш. Укреплял возмутительную Думу. Держался за злосчастный Манифест. Сколько раз тебе все об этом говорили.

– Нет, в тяжёлое время он помог.

– Но и не так был твёрд, как Думбадзе.

Но то тяжёлое время уже никогда не повторится. Войска, преданные Государю, уже никогда больше не могут так заколебаться. Народ не может второй раз поддаться такому агитаторскому одурманиванию. Трёхсотлетняя династия простояла кризис – и теперь ещё, может быть, простоит три тысячи лет.

– Манифест он никак не хотел вернуть, ослабить, да. Все правые осуждают его.

– И никогда он не уважал нашего Друга! Даже был бессердечен к нему.

– Да, он не облегчал жизни, – должен был согласиться Николай. – Утомительный.

О, какой утомительный! И почему, за что самодержавный Государь должен был находиться под таким угнетением?

Полноглухая тишина стояла в покоях – не слышен был ни дворец, ни город.

И Аликс сказала:

– Он был бы рад занять твоё место.

– Ну, как это? – запротестовал Николай, не только по невозможности дикой мысли, но

и тон их разговора вызывал протест. – Это нелепо.

– Ну, я хочу сказать: он добивался чрезмерной славы, и не опасался заслонить тебя. Увы, об этом говорили не раз.

– Будем молиться! – настоятельно, как возражал, Николай. – Будем молиться, чтобы он выздоровел. А потом, конечно, отпустим на покой.

А Таня долго ещё и много плакала в ночь. Обе старших плохо спали.

О раненом сообщили утром, что он ночью сильно страдал, ему часто впрыскивали морфий. Но посетить его никак не выкраивалось времени: на этот день, 2 сентября, был назначен обширный парад войск, по окончании манёвров, и далеко, в 55 верстах от Киева, много времени взяла поездка на моторах туда и обратно, да сам парад! (Все великие княжны были на молебнах во Владимирском соборе и в Андреевской церкви).

Но как удался парад! Гигантский неохватный четырёхугольник войск представляли ему Иванов с Алексеевым, такие славные генералы. В воздухе реяло 6 аэропланов. Четыре армейских корпуса проходили мимо Государя, казалось бесконечно: пехота, артиллерия, драгуны, уланы, гусары, казаки – донцы, кубанцы, терцы, оренбуржцы, рысью и шагом. Потом конная артиллерия, военные тяжеловозы, автомобили, мотоциклеты, – и все ниточка в ниточку. Наконец, церемониальным маршем прошла и воздухоплавательная команда – и перед Государем выпустили из строя вверх шар с двумя офицерами, до тех пор удерживаемый. Всего было войск до 90 тысяч, и каждая часть услышала царское спасибо.

Этот парад достойно завершил чудесные киевские дни – из самых счастливых дней во всей жизни Николая: тут, в сердце русской земли, и в месте крещения её, испытать такие восторженные встречи! Так воочию увидеть неистребимую любовь народа к себе!

С парада вернулся поздно, а ещё же был большой приём для офицеров, и вечеров во дворце – обед для начальников частей. А назавтра рано-прерано надо было ехать в Овруч, где восстановлен был и ждал освящения древний собор Святого Василия, XII века.

А эта поездка была – ещё по-новому чудесной! До Коростеня – железной дорогой, оттуда, почти в 8 утра, – автомобилями в Овруч. Утро – пасмурное, но без дождя и обещало распогодиться. При выезде из Коростеня – хлеб-соль от крестьян. Дальше по дороге крестьяне настроили приветственных арок, украшенных цветами и иконами, – и много раз по пути ещё была хлеб-соль под восторги народа, и встречали крестные ходы.

А сам Овруч, оказывается, всю ночь не спал. Пришло из волостей 36 крестных ходов и 30 тысяч крестьян, перед самым городом толпа стояла в 3 версты длиной. На площади был выстроен почётный караул местного полка и потешные городского училища. Сыграли гимн, Государь обошёл караул и потешных. У собора его встречали депутации дворян, земств, города, и все подносили хлеб-соль. И духовенство во главе с архиепископом. Главная святыня – икона Святого Василия с мощами. Началась служба освящения храма и литургия. Потом Государь посетил архиепископа в его покоях.

Только вечером вернулись в Киев. По пути с вокзала во дворец Государь заехал в лечебницу, видел приехавшую жену Столыпина, но сам раненый был плох, и врачи не посоветовали заходить к нему.

Государь испытал и облегчение. В данную минуту и не хотелось бы разговаривать со Столыпиным.

А у себя во дворце нашёл горку сочувственных телеграмм – от английского и сербского королей, от французского президента, от султана, от имперского канцлера, от австрийского и других правительств. Все выражали сочувствие русскому императору в его глубоком горе и возмущение злодейством.

Потоком этих телеграмм создавалось тоже невольное преувеличение роли министра. Николай вспомнил, как Вильгельм и Эдуард всегда жарко расспрашивали о Столыпине. Они не испытали, как несладко работать с таким своеобразным министром, у которого все идеи уверенно настойчивы, и монарх ощущает, что не может сохранить самостоятельности. Так и в газетах этих лет установился к Столыпину нездоровый тон повышено-подробных сообщений: что он делает в данную минуту, что он собирается делать, как если б это был

единственный центр государственной жизни.

В воскресенье 4 сентября после литургии в домовая церковь генерал-губернатора Государь посетил 1-ю киевскую гимназию: она праздновала свой столетний юбилей, открыта была как раз перед наполеоновской войной. Очень было парадно, чинно, все гимназисты и много приглашённых. В гимназической церкви отслужили молебен. В актовом зале – государевы портрет и вензеля, на эстраде хор, исполнявший “Славу”. Государь поклонился всем, рассматривал выложенные реликвии. Кассо прочёл государев указ о пожаловании гимназии звания императорской. “Ура”, и весь зал запел “Боже, царя храни”. И ещё были хорошие речи. Государь расписался в гимназической золотой книге, сказал несколько фраз ближайшим студентам, обошёл некоторые классы. (Кстати, оказалось, что убийца – как раз выпускник этой гимназии).

Ещё присутствовал на открытии памятника Святой Ольге – дар Киеву от Государя. В тот же день успел осмотреть военно-исторический музей и кустарный музей, давались очень интересные пояснения. И принимал во дворце профессоров университета.

А вечером уже надо было садиться на пароход и плыть в Чернигов от иллюминированных киевских гор – давно задуманная речная поездка, а чтобы проплыть по Десне – специально для царя переоборудованная из захудалого пароходика милая яхточка, какой не бывало в здешней флотилии. Против течения плыли медленно, хотя фарватер готовили специально, пришлось посидеть и на мели – Десна песчаная, извилистая, судоходство по ней трудное. (Вся Августейшая Семья выходила на палубу, смотрела, как снимались с мели). Но и какие же девственные, а порой уютные виды берегов!

И так всё время ушло на дорогу. Приехали в Чернигов уже после полудня 5 сентября, под звон колоколов. На специальной царской пристани встречал фронт почётного караула с гимном. Государь пропустил караул церемониальным маршем. Дальше встречали дети с цветами и лица свиты, приехавшие поездом, – Фредерикс, дворцовый комендант, начальник походной канцелярии, адмирал Нилов, и военные, среди них милейшие генералы Сухомлинов, Иванов, обязательный восторженный Курлов, и обер-прокурор Синода, и здешний губернатор Николай Маклаков, брат того язвительного кадета, а этот симпатичнейший, преданный – как это возможно, из одной семьи?

И этот губернатор устроил совершенно великолепную, незабываемую программу, хотя и на несколько всего часов. Хлеб-соль от городского головы, от мещанского общества, от евреев. В открытом экипаже – в кафедральный собор, а по сторонам – шпалеры, шпалеры жителей. Весь центр города утопал во флагах, зелени, цветах, балконы и витрины были завешаны коврами и малороссийскими тканями, бюсты и портреты Их Величеств и вензеля были выставлены во многих местах. Да и погода стояла изумительная! – здешняя осень солнечней северного лета. И какая дивность – собор! Прикладывался к святыням, к гробу Святого Феодосия. Затем на площади произвёл смотр пехотному полку и двум тысячам потешных. Потом посетили дворянское собрание, там был дан завтрак. Осмотрел музей. Обошёл делегации крестьян Черниговской губернии – старост и выборных, всего больше 3 тысяч, – повторяло это, как в Полтаве два года назад. Какое сильное светлое чувство – непосредственно перед собой видеть вживе, в натуре, свой бородатый, доверчивый, благодарный народ! – ничто так благотворно не действует, какое восстановление сил. К вечеру – опять на пароход, в Киев. И по берегу вослед пароходу бежали толпы, пели гимн, кричали “ура”.

Правда, и сюда достигло известие об ухудшении здоровья Столыпина. А на другой день утром на киевской пристани после салюта ждал Коковцов и сообщил о кончине Столыпина накануне. Так-таки не спасли! Ах, бедный, бедный, и такой молодой, и оставил сирот. Как жалко их! Надо будет вдове назначить пенсию в размере жалования, какое получал покойный.

А времени оставалось в обрез, через несколько часов отходил севастопольский поезд. Государь съездил в лечебницу, на панихиду, а у Аликс совсем не оставалось времени, царская семья спешила во дворец, собираться.

Столыпин лежал под простынями на столе. Бедная вдова стояла как истукан и не могла плакать. Сказала: “Вы видите, Ваше Величество, что Сусанины ещё не перевелись на Руси”. Искренно жалея несчастную, Государь не возразил ей, конечно. Фраза – простительная для вдовы, но сопоставление с Сусаниным уж чересчур натянуто. Там была – жертва за царя, здесь – правительственная служба, и не всегда уравновешенная.

А во дворце ждали новые телеграммы глав государств – теперь с сочувствием о смерти премьер-министра.

Но нет, что-то мешало Николаю слишком отдаться горю. Ещё и сейчас как будто оставалось с весны стеснение в груди, от насилия над своей волей. Ещё и сейчас не мог без боли вспомнить, как со слезами вышел от матери.

На киевских улицах порядок был до конца изумительный, трудно вспомнить, где ещё бывал такой. И в центре – по Александровской улице, по Бибииковскому бульвару снова шпалерами стояли гимназисты. Киевляне, южане, не похожи на скованных петербуржан, и от их несдержанных приветствий у Аликс навернулись слезы, и Николай тоже был глубоко растроган.

На вокзал провожать съехались гражданские и военные власти, много дам. В царском зале обходили присутствующих. Там же объявил Коковцову, что его назначение министром-председателем уже не временное, но постоянное. Никто другой в правительстве не подходил больше, Кривошеин был слишком столыпинский, а Коковцов станет успокоительным контрастом к покойному, с ним легче будет дышаться, он будет руководить кабинетом, но не империей. А министром внутренних дел вместо покойного? Государь предложил, не слишком уверенно, нижегородского губернатора Хвостова-племянника (Аликс хотела, Григорий так просил), но Коковцов неожиданно отказался. Ну хорошо, пока не замещать, пусть исполняет обязанности Курлов, обсудим при вашем приезде в Крым.

А теперь предстояло – несмотря на весь киевский блеск – нечто ещё более радостное: путешествие в Крым. (Да ведь Крым и соединил нас окончательно, вспомни!) И притом – в новостроенный, ещё ими самими не виданный дворец!

Тронулись. Вот уж где для Николая наступил полный отдых, даже и от торжеств. Как ни радостны эти приёмы, депутации, приветствия, цветы и возгласы – но отдыхать в одиночестве ещё лучше. Ничто так не успокаивает, как долгая равномерная поездка в поезде, – это понял Николай в свои многие поездки в японскую войну. А после вынужденного замкнутого унижительного сиденья в революционные годы, подлинного царского заточенья, – ни садить верхом, ни выезжать за ворота куда бы то ни было, и это у себя дома! стыд за нашу родину и негодование! – после этого ещё больше оценишь мелькание, мелькание своей страны за окном. Долгая поездка из Петербурга в Крым и назад – всегда наслаждение.

А уж сам-то Крым!...

7 сентября приехали в Севастополь ко времени дневного чая – и сразу в Южную бухту. Стоял дивный тёплый день. Какая радость в такой день гребным катером снова попасть на свою любимую яхту, в каюту, где всё висит на прежних местах, прилечь на койку, подумать, встать, пройтись по палубе. Очень полное чувство возврата к себе, всё внутри устанавливается на свои места. В годы смуты “Штандарт” и был единственной их свободой, и так любили его, и так по нему скучали.

Но и – сразу же нельзя было Государю не поехать к черноморской эскадре. Осмотрел броненосцы и другие корабли. Блестящий отполированный вид судов и весёлые молодецкие лица команд привели Николая просто в восторг. Какая разница с недавней революционной пакостью! Слава Богу, всё наладилось.

А вечером иллюминирован оказался и город, и корабли. Светились транспаранты с вензелями Их Величеств, взлетали фейерверки. Рейд соперничал с городом световыми эффектами, суда ударили прожекторами.

Однако, как ни рвалось сердце, в Севастополе пришлось простоять на “Штандарте” почти неделю. Задержка была в том, что архитектор, построивший новый ливадийский дворец, умолял дать ему ещё несколько дней, чтобы всё было готово, как надо. И стоило



прислушаться к его желанию, чтобы первое впечатление было полным и без изъяна. Да и Аликс лучше отдохнёт на привычной освоенной яхте, чем в новом дворце, с ещё не совсем устроенными комнатами.

А пока стояли в Севастополе, Государь устроил смотр войскам гарнизона на Северной стороне – в субботу 10-го, и потом ещё раз в понедельник, и потом, после дождей, ещё раз во вторник – для тех частей, которые не были в понедельник. А в воскресенье после обедни и панихиды по усопшим государям и Столыпину – представлялись ветераны севастопольской обороны. Потом пропустил церемониальным маршем юных гимнастов. И ещё саму яхту посещали потешные, показывали ружейные приёмы, соколиную гимнастику. И кончили шлюпочной гребной гонкой учащих.

В эти дни на яхте Николай много отдохнул и очень много спал – здоровым, крепким сном, при открытом иллюминаторе, морской воздух, поплескивание воды. Написал большое письмо Мама – обо всём путешествии от Белгорода до Севастополя, так излелеянное в семейных мечтах ещё с весны, обо всех впечатлениях, чаще радостных, иногда грустных, – методически и с аккуратностью обо всех событиях подряд, манёврах, парадах, приёмах, убийстве Столыпина, не забывая и погоду каждого дня (он записывал её отдельно и потом вставлял в письма), рассказал Мама и о придворных церемониях и свадьбах, о которых она ещё не была извещена.

Дел в эти дни, собственно, не было никаких, предстояло только назначить, кем же заменить убитого на министерстве внутренних дел. Дворцовый комендант Дедюлин каждый день приступал и советовал – Курлова. И действительно, Курлов вполне заслуживал этого поста и был замечательный специалист полицейского дела – кому же и обязан был Государь своими чудесными безопасными путешествиями последних лет? И с какой искренней готовностью он всегда говорил, что скорее сам погибнет, но не допустит до беды с Государем! – впрочем, все опасности он предвидит и знает. По всему служебному расположению надо было назначить, конечно, Курлова. Но эта киевская история, по несчастью, легла на него как бы несколько порочащим отблеском: что, всё-таки, и он не усмотрел. И так, несмотря на настояния дворцового коменданта, Государь не решался. Аликс же хотела назначать Хвостова, весёлого и талантливое человека, по убеждениям правого, и дружественного к Григорию. А Коковцов в письмах настоятельно предлагал – Макарова, бывшего тоже столыпинского заместителя, которого Аликс не любила.

Но как ни хорошо текли эти дни в Севастополе, а самое замечательное было – предвкушение переезда в новый ливадийский дворец. Придворные, кто уже съездил в Ливадию за эти дни, привозили самые заманчивые известия: ослепителен снаружи! невероятно уютен внутри!

Это из самых больших радостей, доступных человеку: со своей любимой семьёй переезжать в новый дом, который тебе по сердцу.

Государь отклонял уже не первый проект железной дороги по южному берегу Крыма – чтоб она не нарушала тишины Ливадии. Да невозможно дать вторгнуться железу и дыму в эти заповедные, как будто от сотворения мира нетронутые места.

И каждый раз притягательно посмотреть на эти утёсы, эти выси, эту поднебесную дикость – ещё и с корабля, подъезжая. Чередование синевато-зелёных кудрявых и голо-скалистых мысов с глубоко запавшими голубыми бухтами.

В Ялте уже усиленно приготовились к прибытию высочайших особ (из-за постройки в прошлом году не приезжали сюда совсем). Был устроен особый помост для причала “Штандарта”, на молу заново отделана царская беседка. Встречали местные власти и радостная публика. Мост на ливадийскую дорогу был украшен триумфальной аркой.

Шоссе поднималось – и бились сердца: что сейчас увидим? На архитектора Краснова надеялись – очень способный, и Николаше уже отстроил отличный дворец. Но когда вдруг возникла перед царской семьёй вся эта ослепительно-белая, радостная, изящная итальянская стройность – они все ахнули. Вышли из автомобилей, стали обходить, потом входить, не погоняя удовольствие, но для его, – Аликс не выдержала и ещё далеко до середины осмотра

сказала:

– С детства мечтала о таком дворце!

Действительно: стены, которые сразу любишь. Ступеньки, которые так и зовут всходить и сходить. А кабинет Аликс, очаровательный, светлый, на втором этаже угловой, с балконом на Ялту! А большой кабинет самого Государя! Все спальни какие светлые, милые, весёлые, соединённые общим балконом. Угловая игральная Алексея. А мавританский дворик! А столовая к нему!

– Теперь мы будем здесь каждую весну!

– Иногда и осень?...

С более важными докладами министры будут приезжать, им тоже приятно.

Зиму в Царском, лето в Петергофе, а здесь – весну и осень. Каково здесь в начале марта, когда в Петербурге слякоти, туманы, метели, – а здесь глицинии, акации “золотой дождь”, итальянские анемоны, тюльпаны, ирисы!

Теперь – на сколько дней увлекательное освоение новых комнат, устройство в них!

Предстоит 16-летие Ольги, устроим бал – здесь?!

Какое чудесное будет отдохновение, какая желанная жизнь. Тут, в любимом семейном кругу, в соединении с близкой, любовно-дружественной душой, за прогулками, завтраками, чаем, чтением друг другу вслух, иногда небольшими дружескими parties с милыми любезными друзьями, – так можно было бы провести и всю жизнь, если б не иметь на себе груза обязанностей.

У Аликс блистали её дивные гордые глаза:

– Это всё – надо показать нашему Другу! Я хочу, чтобы наш Друг увидел и благословил этот новый дворец! Ведь мы – проживём теперь здесь долго? Декабрь здесь – изумительный! Пригласим его сюда на твои именины?... И он расскажет нам ещё о Палестине.

Минувшей весной Григорий ездил в Палестину, куда императорской чете положение и обязанности не позволяли так просто поехать. А Аликс очень хотелось.

Как будто – место же не изменилось, то самое, и вот он рядом отцовский деревянный темноватый и сыроватый дворец, – но этот белый, праздничный, ещё более выдвинутый к морю, к обрыву – всё меняет! И – чудная беломраморная цельная скамья при беломраморном цельном столике – сесть лицом к морю и замереть. Дорогое Чёрное море! – есть ли что на свете благословеннее тебя? Смотреть отсюда, из-под сени олеандров, – часами. Набегание мощных морских валов (их слитный шум достигает и сюда). Вдали – пароходы, паруса. С этой высоты – безлюдное, прямое единение с морем.

Человек с чувствительной душой не может не впечатляться ежедневным ходом природы через всех нас. И глубже всего воспринимается природа в отъединённости от людского множества. Что может сравниться с дивными ливадийскими и ореандскими высотами над морем? Отсюда смотреть, замерев, на эту обворожительную необъятную переменчивую, рябчатую то синюю, то зелёную, то лиловую водяную скатерть. Или гулять с кем-нибудь в тихой беседе по горной тропе, так особо проложенной к Ореанде, чтобы не подниматься и не опускаться, не шире и не уже, а всегда на двоих, – отступают все эти петербургские неприятности, настойчивости, домогательства, дрызги, все эти головоломные государственные вопросы, которым нельзя отдавать всю страсть и сердце, потому что лопнет всякое нормальное сердце и не выдержит никакой ум, – а спасенье от них только и есть: на несколько недель или месяцев отодвинуться, забыть, как не было, и отдыхать в этом уголке, подобии Божьего рая, вдыхать магнолии, щуриться на море меж ветвей.

Нигде больше не чувствуешь себя так в раю и так отдельно.

А всё же, как ни стараться забыть, – нет окончательной лёгкости: от уютнейших крымских гор накинута и далеко на север и на восток легла распространенная мантия России, – и эта мантия нечеловечески оттягивает плечи, никогда от неё не забыться вполне.

Через немногие дни приехал Коковцов, только входящий в дело и, значит, много вопросов.

И среди них: весьма неприятно проходит следствие по убийству, ложится тень на Курлова и Спиридовича – не только плохая распорядительность, но как бы даже косвенное соучастие.

Это ужасно.

Но таким образом Курлов не может воспринять от убитого – поста министра внутренних дел?

Но этим самым он уже и жестоко наказан.

И кого же теперь? Пришлось принять кандидатуру Коковцова: Макаров.

Ну, пусть пока.

Однако Коковцов считал, что надо наказывать или даже судить Курлова и других.

Но ведь нет такого точного закона, который бы они нарушили!

Государь находился в смущении и затруднении.

Но вот что: под влиянием упоительного крымского воздуха как раз в эти сентябрьские дни пришло выздоровление наследника. И Государь, в тёплой волне благодарности, которая уже и не помещалась в нём, хотел и других одарить милостью.

И он выразил Коковцову, что хочет ознаменовать выздоровление наследника добрым делом: прекратить следственное дело Курлова-Спиридовича-Веригина-Кулябки.

А Коковцов убеждал, что нельзя заглушать естественный ход следствия. И всё общество следит пристально.

Ну, так тем более нельзя поднимать меча так высоко.

Да ведь Государь прощал и за себя: ведь и его самого могли убить – и в театре, и в Купеческом саду.

А он – прощал.

По новизне ли после пяти лет, было свежо и удобно с Коковцовым. Смена министров всегда освежает. И Государь сказал ему напрямому:

– Я рад, что вы не ведёте себя, как покойный Столыпин.

– Ваше Величество, – возразил Коковцов: – Столыпин умер за вас.

Ну, далеко не совсем так.

А государыня, не стоявшая долго на ногах, усадила Коковцова рядом, беседовала милостиво и сказала:

– Мне кажется, вы придаёте слишком много значения деятельности и личности Столыпина. Верьте мне, не надо так жалеть тех, кого не стало. Я уверена, что каждый исполняет свою роль, и если кого нет среди нас – то это потому, что он уже окончил свою роль, ему нечего больше исполнять. Я уверена, что Столыпин умер, чтоб уступить вам место, и что это – для блага России.

### (Царское милосердие)

Ещё при неумершем Столыпине Коковцов назначил ревизию киевского Охранного отделения. Министр юстиции Щегловитов приехал в Киев и внезапно для Кулябки опечатал отделение. Ещё не был казнён Богров – уже прикатила в Киев и сама ревизия: сенатор Трусевич с отрядом судебных и полицейских чинов. Можно было ждать безжалостного расследования. (Особенно потому – публика не держала этого в соображении, а в чиновном мире это всё, – что Трусевич был обойдён и оттеснён Курловым по службе и, стало быть, его личный враг. Впрочем, и Кулябко был назначен на свой пост тоже при Трусевиче, это осложняло). Отобраны были дневники агентов и филёров. Даже предприняты хлопотливые допросы сотен полицейских (частью уже воротившихся в Петербург) об их стоянии при проездах Государя. В общественном мнении убийство и поспешный скрытый суд повисли загадкой – и все

ждали от Трусевича сенсационных разъяснений. В Государственной Думе (она открылась как раз в 40-й день смерти Столыпина, но не его почтила, а умершего между тем члена Думы, лишь потом Родзянко напомнил о Столыпине) новый министр внутренних дел Макаров обещал, что правительство ничего не скроет, но намерено пролить самый яркий свет.

Однако весь этот размах разоблачений повис в воздухе. Шли месяцы – и не только не был пролит яркий свет, и не только не было ничего опубликовано официально, но когда газеты время от времени печатали якобы подлинные куски предварительного следствия о своре Курлова (все четыре имени были уже широко известны и соединены), то редакторам грозили судебной ответственностью, если... материалы окажутся подлинными. Был слух, надежда общества, что Кулябку подвергли домашнему аресту, но и этого не произошло.

Ревизия проходила вполне скрыто. Кулябко, сколько мог, тормозил её, а сколько успевал – врал, ещё и меняя показания. На первом допросе он отрицал даже, что Богров был допущен в Купеческий сад. Но во всяком случае вся четвёрка знала, что Богров в театре (как и сам Богров показал в первую ночь). Веригин по неопытности допустил колебание: ему кажется, что Кулябко докладывал об этом генералу Курлову. Курлов: абсолютно ничего не знал, и так же твёрдо, что не знали Спиридович и Веригин. Закрутившийся Кулябко напоминал, что оба знали Богрова в лицо и видели в театре и не могли не узнать, и почему-то же Спиридович остановил свою занесенную над Богровым саблю. Тем настойчивей был Спиридович, что от него умышленно что-то скрывали. А уж Курлов: и в лицо Богрова не знал, и фамилии не знал, и ни с какой стороны вообще ничего не знал.

Как бы ни рвался Трусевич к следствию, но уже была охвачена его ревизия параличом Верховного пожелания. И записывала так: “Полковник Спиридович дал сенатору свои объяснения”. Всё. (На время следствия Спиридович и не отстранялся от должности начальника дворцовой охраны).

Трусевич дал себе волю только в расследовании денежном. Он вывел, что Кулябко тратил огромные средства на агентуру и наблюдения, а поставлены они были слабо. Что Курлов бесконтрольно ведал суммами по 150 тысяч рублей и из них выплачивал личные долги, а Веригин так и не отчитался в 50 тысячах.

Но Курлов на все суммы представил расписки каких-то подотчётных лиц. И доказал, что не только не расплатился с долгами, но остаётся в задолженности, что и подтверждает его честность. Вообще же касаться частных экономических операций сенатор Трусевич не полномочен.

Сложны, неприятны были Курлову все эти объяснения перед ревизией, но и не так же, как если бы пришлось повидаться со Столыпиным в его последние дни, когда по телефону три раза вызывали Курлова к умирающему, но все три раза удалось не попасть туда. Там он должен был бы отвечать неизбежно нечто другое и при неизбежных свидетелях – и теперь было б ему трудней свести концы.

Ясный ум юриста и человека, долго служащего, подавал Курлову неопровержимые защитные аргументы – и он, третий месяц отбиваясь от ревизии, оставался товарищем министра. И удержался б дальше, если б не подло-лукавая подножка Макарова. Тот, воротясь из Крыма, передал Курлову якобы слова Государя: “Я удивляюсь, что такой честный и преданный слуга, как Курлов, не подал до сих пор в отставку”. А – как проверить? Не запросишь Государя, так ли он в действительности высказался? Курлов вынужден был подать в отставку. Большое упущение: теперь из-за этой отставки, даже добившись оправдания, он не получит ни полного подсудного содержания, ни максимальной пенсии и не сможет быть назначен в Сенат. (А всё это очень бы ему пригодилось теперь, когда он готовил вторую женитьбу. И вскоре же Распутин, большой сердцевед и простодушный христианин, охотно обещал помочь Курлову вылезти из-под всех несправедливых обвинений).

По причине высокого положения Курлова итоги ревизии были поданы не по судебной линии в Сенат, но – в Государственный Совет, и там несколько месяцев томилась безо всякого разрешения. Это составляло уже 9 толстых томов, но ещё надо было испросить новые объяснения четвёрки. Они все пришли не короткими, но от Курлова – необычайно пространными. Прежде всего, он отводил ото всех обвинений Веригина и Спиридовича, ибо хотя они и носились поверх всей охраны, но никаких, официальных поручений по ней не имели. Далее, он отвергал, что Кулябко не соответствует должности, а только – не отличается талантливостью, так этим не может похвастаться и никто из жандармских офицеров в России. Курлов спрашивал в свою очередь: где же точная формулировка деяний, которые ставились бы ему в вину? Единственный фактический момент: нарушение циркуляра о недопущении секретных сотрудников для охраны государственных лиц. Но во-первых он и не знал о допущении, а во-вторых этот циркуляр издан по Департаменту полиции, Курлов же как товарищ министра стоит выше Департамента и не обязан подчиняться той инструкции. Совершенно неуместно и обвинять, что не была использована связь кухарки Богрова с филёром Сабаевым для проверки, существует ли террорист: такие методы не могут быть вменены в обязанность полиции, они противоречат этическим нормам. Самое же главное: не могут быть виновны одновременно и начальник и подчинённые. Раз Курлов ничего не знал, то виноват один Кулябко. А если бы Курлов знал, то был бы виноват он, а Кулябко чист. Но Курлов даже обо всём плане покушения ничего не знал до самого 1 сентября, но и в этот день – не подробно. А весь тот день он должен был простоять на улицах, обеспечивая проезды Государя. Не мог же генерал Курлов, начальник всей охраны, лично заняться слежкой за Богровым. В таком неохватном деле невозможно руководить, не доверяя своим подчинённым. Курлов даже в театр прибыл позже Столыпина и только от него узнал, что не состоялось какое-то свидание террористов на каком-то бульваре. Тут надо отметить, что высшего руководства полицией никто никогда со Столыпина не снимал. С другой стороны ещё и теперь неизвестно, может быть сообщения Богрова и не были вымышлены. Никак нельзя и упрекнуть, что охрана внутри театра была недостаточна: там находилось свыше девяноста чинов охраны при полутора десятке офицеров. Но вообще надо признать, что даже при самой идеальной постановке охраны не существует возможности предупредить террористические акты, особенно одиночные.

(Пройдёт 10 лет, и в эмиграции он состроит ещё безупречней: “Сообщения Богрова сильно меня тревожили и несмотря на скептическое отношение Столыпина я настаивал на вызове одного из офицеров личной охраны министра”, – то есть, ещё одного из Петербурга в дополнение к сотне здесь. – “Но Столыпин находил и без того преувеличенными меры его охраны”, – то есть, не охраняемую прихожую и сад под окнами первого этажа. После этого Курлов сам “намеревался ни на шаг не отходить от Столыпина” в театре, но тот же сам его и послал выяснять у Кулябки – чего единственного Курлов все эти дни не успевал).

А Кулябко теперь в ответах Сенату отказался от первоначальных своих показаний, что Курлов знал, и просил считать действительными новые показания, что Курлов не знал.

И всё же выводы Государственного Совета оказались не в пользу четвёрки. Курлов не выполнил условия Столыпина: не принимать важных мер по киевской охране без соглашения с киевским генерал-губернатором. Напротив, непомерно расширил охранные права Кулябки, не соответствующего даже и своей должности. Легкомысленно доверил ему действовать с Богровым, не подвергнув никакой проверке первостепенное сообщение, а то мистификация была бы разрушена тотчас. Курлов по приезду в Киев не произвёл элементарной проверки агентуры. Пренебрег предупредительным сообщением о личности Богрова из Департамента полиции. Не придавал значения подозрительной переменчивости богровских сведений. Билеты

распределяла комиссия, в которую входили и Спиридович и Веригин. Заведомо политически неблагонадёжный Богров был допущен без обыска и без досмотра и в Купеческий сад, и в театр – и свободно разгуливал там, выбирая жертву. Для охранников обязательна подозрительность, здесь её не было, а систематический ряд бездействий. Все шаги или исчезновения Богрова принимались с полным доверием. Подготавливаемый террористический акт был предметом общего обсуждения четвёрки, и никто из них не может быть отведен от следствия. Наличествуют преступления, рассматриваемые в судебном порядке. Возбудить уголовное преследование и назначить следствие.

Так беспощадно звучат юридические доводы и так же беспощадно они обрушиваются на людей незащищённых. Но эти были скрыто защищены настолько, что не страшна была Курлову и враждебность председателя совета министров. Министр юстиции был понужден к двум решающим послаблениям. Поскольку не существовало предварительного сговора их четверых с Богровым о его злоумыслии – то преступление их должно считаться не политическим, а по должности. И поскольку деяния всех четверых совершены при исполнении обязанностей не военных, но полицейских, то, хотя трое из четверых носят военный чин, они должны быть подвергнуты суду не военному, а гражданскому.

Всего лишь убили первого министра страны – гражданское нарушение по должности. Вся главная туча, ещё не ударив, разряжалась.

А пока, что тоже было благоразумно: 31 января 1912 высочайшим приказом по военному ведомству был уволен по домашним обстоятельствам от службы Отдельного Корпуса жандармов подполковник Кулябко – с зачислением... в пешее ополчение.

Долго ли, коротко ли, – весной 1912 было учреждено следствие сенатора Шульгина. В июне он начал его. В августе приехал и в Киев. Всеми такими затяжками очень излечивается общественное волнение: долгие месяцы публика уверена, что правосудие движется, оно – придёт. А к тому времени остывают страсти. И если с Богровым полезно было кончить в 9 дней, то разбор четвёрки естественно растянулся на 15 месяцев.

Однако, всё ж, дело закручивалось. И Курлов, теперь свободный от службы, засел за новое объёмистое сочинение, где отточенным взглядом бюрократического скалолаза не упускал ни одного выступа или углубления для носка или когтя, чтоб не опереться, не подтолкнуться к спасению. Всё та же главная схема защиты, выстроенная им в первую сентябрьскую ночь, дальше от раза к разу у него тонко развивалась, исхищрялась, умножалась и дополнялась.

Он и вообще не может быть обвинён в бездействии власти, ибо не имел прямого распоряжения чинами местной полиции. Он только давал руководящие указания по докладам. Потом: все главные охранные меры принимались по соглашению с генерал-адъютантом Треповым. Затем: Богров никогда не привлекался к политическим дознаниям, и его никак нельзя было считать политически неблагонадёжным. Не было и никаких оснований сомневаться в сведениях, сообщённых Богровым. Следить за Богровым? – конечно, следовало, но Курлов считал, что такой элементарный приём розыска никак не может быть упущен опытным начальником охранного отделения. Сам факт преступления Богрова был совсем несложен. Каждое сведение и каждое распоряжение подробно докладывалось статс-секретарю Столыпину. Курлов теперь припоминает, что, кажется, Богрову, да, было поручено следить за министрами в Купеческом саду, но с достоверностью о допуске Богрова в Купеческий сад Курлов никак не знал. Посылать агентов непосредственно на квартиру Богрова было недопустимо: так можно было спугнуть прибывшую группу террористов. Перед спектаклем и в 1-м антракте Курлов был занят тем, что расспрашивал Столыпина, что тому известно от Кулябки. И пытался получить сведения от Кулябки, – но тот не успевал рассказать существенного, и потом

Курлов докладывал статс-секретарю свои неполные сведения. А всё 1-е действие и всё 2-е действие Курлов обсуждал с дворцовым комендантом, что предпринять. Выстрел произошёл совершенно неожиданно и не мог быть предусмотрен. И в голову не могло прийти Курлову, что Богров в театре. Курлов предупредил Кулябку, что Богров должен неотлучно находиться при Николае Яковлевиче. Вполне возможно, что Богров и за час не знал, что ему придётся убивать, требование застало его врасплох и подчинило чужой воле. Здесь надо искать глубокие политические причины и неведомые нам тайные силы, а не обрушиваться на отдельных служебных лиц. Личных счётов со Столыпиным у Богрова не могло быть, а поэтому не могло быть у него инициативы совершить это убийство с риском для своей жизни. Курлов понял так, что Кулябка разговаривал с Богровым где-то у подъезда театра, возможно – во время спектакля. О перчатках? – да, что-то Кулябка сказал о перчатках, но не было понятно, что речь идёт о белых театральных, а не простых обиходных. Решено было, что после спектакля Кулябка пойдёт и сам станет на наружное наблюдение за домом Богрова. Со Спиридовичем? – кажется, никто не вёл никаких разговоров, во всяком случае это не сохранилось в памяти. После покушения Курлов приказал Кулябке составить подробный рапорт обо всей этой истории, но Кулябка почему-то медлил исполнить это приказание, поэтому Курлов и не мог собрать точных сведений, что же произошло. Взять Богрова для допроса в охранное отделение? – да, Курлов поддерживал такую мысль, но её разделял и новый председатель совета министров статс-секретарь Коковцов. (Такие петли, вовремя брошенные, очень помогают удержаться над пропастью). Генерал-губернатор Трепов (ещё петелька) никогда не заявлял о несоответствии Кулябки занимаемой должности и был согласен возложить на Кулябку заведывание народной охраной.

Стал сенатор Шульгин собирать следственные протоколы Богрова – и вдруг в суде почему-то *не оказалось никаких протоколов*, – они почему-то не велись. И пришлось ему допрашивать присутствовавших на суде прокуроров и сановников, чтобы восстановить ход суда.

Несмотря на изумительно-находчивые объяснения Курлова, несмотря на его авторитет в полицейском деле и правоту всех его методов и теорий розыска, – сенатор не дрогнул и возвёл на Курлова всё те же обвинения: преступное бездействие власти; не принял мер предотвратить злодеяние; не распорядился о надзоре за Богровым, об исследовании в его квартире, о проверке его сведений; *знал* о выдаче билетов оба дня, не воспретил, не распорядился обыскать на оружие, наблюдать за ним в театре; не установил охраны министров, об опасности которым было предупреждение.

Также и трём остальным чинам сенатор не нашёл смягчающих обстоятельств.

Обвинительные заключения были составлены в августе 1912 (даже и в 1914 цензура не пропускала к печати многие части их, а Спиридовича, как близкого ко Двору, закрывала полностью). Но правосудие (в пустой след и к лицам, поставленным высоко) – самая медленная из колесниц. И только в декабре 1912 собрался департамент Государственного Совета разобрать дело курловской четвёрки.

Все изучившие дело – и сенатор-докладчик и прокурор, обвиняли согласно. Богров имел возможность также и бросить снаряд в царскую ложу, и остановила его не полиция, а лишь боязнь еврейского погрома. Если бы Курлов не знал, что Богров в театре, то это ещё усугубило бы его вину – незнания. Он был командирован поставить всю охрану – и не может сваливать вину на подчинённых. Спиридович и Веригин, каковы бы ни были их служебные поручения в тот момент, состояли на выдающейся государственной службе; они знали, кто такой Богров, видели его в театре и молчали.

Хотя обвинения формулировались о бездействии власти с особо-важными последствиями, но из материалов выпирало, что все четверо были соучастниками убийства, а Кулябка – даже очень активным.

Так, вопреки милости, выраженной Его Величеством, следствие ползло и ползло,

подступая вот и к горлу.

Но не суду был предложен этот обвинительный акт, а почтенным старцам Государственного Совета. А они все почивали в сени благой государевой воли и ею держались. И были ещё злы на Столыпина. И они же своим долготерпимым сердцем не могли приесть такого грубого обвинения. Да кто-то из них и сам когда-то попадал в тяжёлые служебные обстоятельства. Да кто вообще – святой и не может попасть? А Курлов не раз и заступался за обвинённых в бездействии, в превышении, в растратах. Между людьми, кто служит десятилетиями единому аппарату власти, должна быть взаимная выручка. И голосами старчески-блеющими, с задыханием и дребезжанием, аргументировали один за другим: что если Курлов виноват, то не виноват Кулябко; а если виноват Кулябко, как видят все, то не виноваты трое остальных. С Курловым же случилось не бездействие, а несчастье. Ни от какого начальника нельзя требовать, чтобы он всё осуществлял сам, не полагаясь на надёжных подчинённых.

Единодушно осудили только Кулябку – за всё, вместе с воровством казённых сумм, на страшный срок в 16 месяцев тюремного заключения. (Высочайшим повелением этот срок был сведен к 4 месяцам).

О трёх остальных разделились и голоса департамента. Шесть членов (среди них многопрославленный потом плаксиво-благостный Штюрмер) – за оправдание, пять – всё-таки за осуждение. Но среди пяти был председатель, да прибавил к ним свой голос упорный в честности министр внутренних дел Макаров, – и так, неосязаемым перевесом, обвинение все же состоялось. Однако шестеро оправдателей потребовали, чтобы на высочайшее усмотрение было представлено и их особое мнение.

Хотя следствие тянулось уже 15 месяцев, но общество не забыло, ждало решения, в газеты пробивались то сведения, то опровержения: голоса разделились пополам, мёртвая точка; уже составляется обвинительный акт; будет грандиозный процесс в Екатерининском зале Таврического, – нет! решения Совета не получили высочайшего утверждения, и Курлов будет повышен.

И, как всегда, худшие слухи были наиверными. В начале января 1913 стало известно, что на протоколе Государственного Совета Его Императорское Величество изволил начертать собственноручно: дело о генерале Курлове, полковнике Спиридовиче и статском советнике Веригине прекратить без всяких для них последствий.

Через два месяца ожидалась амнистия к 300-летию династии. Можно было для приличия осудить, тут же и амнистировать. Нет, император спешил отметить помилованием своё особое доверие и расположение, особую склонность и симпатию.

К этому вгрызчивому крысо-хорьку, чемпиону бюрократического мира. И к этому дворцовому угоднику, веретенному теоретику розыскного дела, клюнувшему дешёвую наживку. Да к этой бледной статской немочи – без начала, без лица, и без конца.

Этим умилительным милосердием император предварил и символически отметил 300-летие династии.

Конечно, царь мог помиловать и раньше. И – такова была его воля: ведь это не государственное какое-нибудь дело, а дело личных судеб, личного милосердия к проступившимся, но преданным людям. Он предрешил помилование давно раньше: в тот счастливый сентябрь в Крыму, когда утеря опостылевшего премьер-министра была вознаграждена очередным выздоровлением наследника. А когда заменивший Столыпина министр внутренних дел Макаров принёс Государю расследование об убийстве и оказалось, что нити ведут к Курлову, – Макаров сразу стал Государю неприятен. Государь взял все бумаги, сказав, что хочет ознакомиться внимательно, – и оставил дело навсегда у себя, никогда больше не заговорил с Макаровым. (А после его голосования в Государственном Совете против Курлова – и снял тотчас с поста министра). Царь – мог помиловать давно и раньше. Но он надеялся, что верные старцы



Государственного Совета поймут и сделают сами.

Они и сделали, как умели. Как ночная нежить, они узнавали своих по запаху и по уголькам глаз. Они выгораживали и вытягивали по-человечески такого же, как сами, попавшего, как и они могли попасть. Они бы дико откинулись, если б им сказали, что голосование было не о Курлове, но о том, как скоро будут потрошить их собственные дома, расстреливать их самих и резать домочадцев.

Да куда ж им было соревноваться с революционерами? Те жертвовали своими жизнями в 18-25 лет, шли на безусловную смерть, только бы выполнить задуманное. Эти – в 40, 50 и даже 70 лет почти поголовно думали об одной карьере, а значит – о своём непременно сохранении для нее. Думать о России – среди них было почти исключение, думать о кресле – почти правило. Они не давали себе напряжения соображать, медлили в действиях, нежились, наслаждались досугом, умеренно сияли в своих обществах, интриговали и сплетничали. Что же парило над ними? Показное православие (чтобы как у всех, они все регулярно отстаивали церковные литургии) да преданность Государю как лицу, от которого зависит служба.

Как же могли они не проиграть России? Все их служебные помыслы были напряжённое слежение за системой перемещений, возвышений и наград – разве это не паралич власти? То-то: как почти ни одного крупного генерала, начинавшего войну 1914 года, мы не встречаем потом в Белом движении, так ни один из этих полицейских зубров, любимчиков Двора и старцев Совета не промелькнёт на защите трона, когда он станет падать: все притаятся или рассеются. Они от Седьмого года и до Семнадцатого не несли сознания полной опасности, наступила революция – они не имели присутствия духа даже для самозащиты.

15-месячное расследование подтвердило всё, что было известно с первых пылких минут – и дело предано забвению! Всё собралось в том трусливом, стыдливом, скомканном окончании – и дела убийцы, и дела предателей. В том уклончивом умолчании, где так узнаётся характер нашего последнего императора.

Либеральному обществу удобно было посчитать Богрова охранником, – и только чтоб не наказывать своих угождателей, русский царь позволил этому гнусному объяснению остаться в памяти России и пятном на чести её. Чтобы спасти три чиновные шкуры – весь грязный заляп Верховная Власть принимала на себя. Вершина дерева беззаботно отдавала здоровые побеги, повеивая дряхлыми.

Эта медленная история прощения убийц – открывает тем, кто не отгораживается видеть. Каждое милосердие к своре – омертвляло государство. Уже достаточно перед тем проявил император, что был не на высоте задач, решаемых Столыпиным. После его смерти потерю курса покойного и вот прощением убийц – проявил нечувствие этой страны в 170 миллионов, за чьи души, мнения, память и честь помазанник Божий отвечает перед всеми судами Земли и Неба.

И так ещё совпало, что в тот же день с неосуждением Курлова Государственный Совет вынес ещё одно мудрое решение: отказал Архангельской губернии в праве иметь земство. Самый русский, самый грамотный, бескрепостной, самостоятельный крестьянский край, расцветавший при древнем Новгороде и Московии, – не мог получить самоуправления в XX веке из-за того, что там не доставало дворянства! Русская монархия не решалась опереться на неразвитый крестьянский класс – да почти детей, не могущих жить без опеки образованных.

Посмеявшись над Столыпиным, посмеялись и над любимой земской идеей его.

*Акт милосердия* января 1913 был окончательным предательством Столыпина тронem – всего дела и всей жизни Столыпина, и это отчётливо было понято всеми партийными направлениями. В том же году открывался в Киеве памятник убитому (по общественному сбору, не на средства казны), – и вот снова обсуждалась жизнь и смерть Столыпина. Но теперь либеральная (то есть подавляющая) печать выбранивалась, как не смела в дни убийства: что это был властный и даже типичный временщик, который

не имел своего направления политики, а всякий раз выбирал, что выгодно для него лично, каждый шаг его определялся соображениями личной карьеры и беспощадностью к тем, кто попадался на пути. Само открытие памятника либеральные газеты называли “киевским действием”, где “сдружились над дорогим трупом” русские националисты и часть октябристов (другая часть постеснялась приехать), “захотелось людям пошуметь перед памятником”. Родзянко снова привёз венок от себя лично, не от Думы. Какие министры приехали – каждый сам от себя, не от правительства. И представителей от Двора и династии – не было.

Всего два года прошло от смерти Столыпина, – почти вся российская публичность и печатность открыто насмеялась над его памятью и его нелепой затеей русского национального строительства.

**Выстрел Богрова оказался – бронебойный и навывлет.**

## 74

Только и было его беззаботной лёгкой жизни – до 26 лет, только и было тех несравненных петербургских зим. По утрам – уже хиреющие теоретические занятия по государственоведению, в 22 года отпали и они. А целые дни свободны, чай, завтраки и обеды с титулованными и приближёнными, ни одного вечера дома, балеты, французские пьески, песенники и цыгане, то венгерцы, то зурначи с лезгинкой, вина, пробы рулетки, редко ложился Николай раньше часа, а то и в три, с трудом подымался или даже скрадывал сном половину урока и никогда не оплакивал отмену заседания Государственного Совета или заседание короткое. (Отец заставлял отсиживать. Сам с собою заключал пари, сколько минут сегодня продлится заседание, точно следил по часам и рассчитывал, куда ещё можно успеть ринуться). В году два раза говенья, иногда праздничные приёмы, а то – вседневная свобода, на катке в Аничковом весёлая возня с девицами Шереметевыми или с ними же в прятки, то смотреть через забор на Невский, то с молодёжью по набережной. Рано усвоенная привычка записывать это всё в дневник, когда-нибудь забавно будет вспомнить. И рано оцененное чтение из русской истории – оказалось, что нет интересней книг, живое чувство предков, как будто это сегодня происходит или ещё произойдёт. Английский, немецкий, французский языки – как будто и не в труд, сами собой. А теоретическим военным занятиям всегда предпочитал практическую службу: последовательно в пехоте – командиром батальона преображенцев, в кавалерии – командиром эскадрона лейб-гусар, да два года в гвардейской конно-артиллерийской бригаде.

Каждое лето и отбывал с ними поочерёдно лагерные сборы. То переходы верхами, то разыгрывание атак (ото всего на память – снимки), иногда подъёмы среди ночи, а с рассвета досыпанье, с офицерами состязания по стрельбе в тарелки, трубачи и песенники, – всё это легко и весело молодому здоровому. Жизнь на вольной природе, вне дворцового ритуала, – свои удовольствия: прыгать через костёр, играть в городки, возиться на сене, лазить на крышу, грести на байдарках, на лёгких двойках, ловить рыбу, стрелять уток, в дурную погоду – бильярд, анекдоты. А вечера – всё равно свободны, Красное Село – рядом, после обеда каждый вечер туда, усиленная закуска с выпивкой, или катанье на музыке в охотничьем шарабане, или танцы с институтками или ужины с испанцами, с малороссиянами, с цыганами до 6 утра. А в сезон милого красносельского театра – на оперетки, на балеты, и ходить за сцену. Положительно очень заняла маленькая Кшесинская 2-я, всё больше обаяла.

Ещё особые месяцы – это сентябри, месяцы императорской и великокняжеской охоты. Охота – из самых лучших человеческих удовольствий. Конные переходы, загоны, стоянье на номерах, стрельба; стрельба – вот олень на полном скаку падает как заяц, за наезд убивали одних оленей десятками, а козлов, а кабанов! (Иногда и неудача, пропуделяешь). Дамы на псовой охоте. Масса зайцев, фазанов, куропаток, наконец и тетерева. Трудолюбивые охотники не знают себе пощады – то встают в темноте, то в дождь и холод в сёдлах по 30

вёрст. Обеды с музыкой, вкруговую из рога шампанское за убитых оленей. Охотничьи музыканты на валторнах. Дразнить беловежских зубров. Лаун-теннис. Обедни в походной церкви. Сеансы фокусника. Для препровождения времени – игра на деньги, в карты и в бильярд. Приходили соседние крестьяне с музыкою славить – раздавали по полтысячи платков крестьянкам, давка.

Потом, по воле отца и собственному выбору, – несравненное долгое путешествие, да не в Европу, как ездят все, – на Восток. С двумя Георгиями – своим братом и греческим принцем Джорджи, с молодой весёлой свитой. В Греции – Олимп, в Египте – подъём на пирамиду Хеопса, Ассуан, Мемфис, тайно смотреть на пляску альмей. В Индии – охота на пантер и тигров, Цейлоне – на слонов, Яве – на крокодилов. (Брат Георгий в Индии сильно простудился, отправили домой, с тех пор много болел). Но забавы забавами, возникают и впечатленья иные. В Индии испытываешь несносное чувство – быть окружённым самоуверенными англичанами, повсюду видеть их красные мундиры. В Сиаме нельзя не изумиться этой необычайной тонкой древности. В Японии в Оцу – неожиданное нападение фанатика, – и только Джорджи не растерялся, спас Николая, а удар палашом мог быть смертелен – грозное напоминание о беззащитности наших судеб, всецело в Божьей воле.

Накопилось от путешествия – какие же рядом с нами живут цивилизации, до того необычные, до того многотайные. Как велик и сложен Божий мир, как многого мы в нём не понимаем.

Потом двухмесячное возвращение по Сибири, конским гоном. Пространство, поражающее даже русское воображение. Страна – вся наша, а тоже почти не известная никому. И с радостным сочувствием рассматриваешь города, в которые никогда ведь не соберёшься больше: Иркутск, Тобольск, Екатеринбург.

А между тем – развивается чувствительное сердце и жаждет идеальной любви. Когда-то на свадьбу дяди Сергея с тётёй Эллой приехала её 12-летняя сестра, ангельская Аликс, принцесса Гессенская, и танцуя с нею на балу 16-летний Николай подарил ей брошку, а она не решалась принять. В беседке вырезали имена. С тех пор её неземной образ Николай понёс в сердце, при её посещениях Петербурга рвался видеть, и в 20 лет уже принял окончательное решение добиваться её руки. Как это всегда бывает с монархами, десятки побочных политических расчётов встали на пути цесаревича, пытаюсь отклонить его выбор. Очень против была Мама, недоволен Папа, они имели что-то другое в виду, но юный Николай настаивал непреклонно, предчувствуя единственное счастье. После нескольких лет сопротивления наконец, о, разрешение было дано – и в 26 лет, свою счастливейшую весной, поехал в Кобург свататься и обручаться. Хотя свита князей сопровождала русского цесаревича, а к юной Аликс для душевной поддержки приехала её бабушка английская королева Виктория, – но по сути ничего ещё не было решено, главное препятствие: согласится ли Аликс перейти в православие? Первый трудный разговор во вторник с замечательно похорошевшей, но грустною Аликс. Она – противилась перемене религии, и Николай устал душою обезнадёженно. Впрочем, уже то было утешительно в среду, что она вообще соглашалась с ним видеться и разговаривать. Четверг пережил только свадьбою германского принца, да вечером “Паяцами” и пивом. А в пятницу – о, незабвенный день жизни, какая гора свалилась с плеч, как обрадуются Папа и Мама: Аликс – согласилась! И Николай весь день ходил как в дурмане, не вполне сознавая, что, собственно, с ним приключилось. Вильгельм поздравлял молодых с помолвкой, а всё разветвлённое королевское семейство на радостях лобызалось. Даже не верилось, даже не верилось цесаревичу, что теперь у него наконец была невеста! И какое же это возвышенное неземное счастье – состоять женихом! А как переменилась Аликс в обращении! – одним этим приводила в восторг. Она даже написала почти без ошибки две фразы по-русски. Ездил вместе с Ней в шарабане, сидели у пруда, рвали цветы и сирень, снимались – и публика теснилась в сад смотреть, а пехотная музыка и драгуны играли у жениха и невесты под окнами. Так странно было просто вдвоём кататься в шарабане, ходить и сидеть с ней, даже не стесняясь нисколько! Аликс подарила Николаю кольцо! Удивительное чувство! Как она

была трогательна с ним! То и дело теперь сидели вдвоём, даже и до полуночи. Сердце с благодарностью обращалось к Господу. Невозможно было представить себе на сколько-нибудь теперь разлучаться – а приходилось, ужас. Аликс уехала к бабушке в Лондон, а Николай один ходил по местам, отныне дорогим, рвал её любимые цветы и вечерами отсылал в письмах. На каждом шагу воспоминания о ней. При себе носил, при еде у прибора ставил карточку Аликс, окружённую розовыми цветами.

Невозможно оказалось прожить без неё в России более двух месяцев – и он снова плыл в Лондон, вполне наслаждаясь чудной отцовской яхтой “Полярная звезда” и сходя с ума от ожидания. И снова череда прелестных дней, неразлучно с милой душкой Аликс, то прогулка в королевской коляске по Виндзорскому парку, то – на выставку роз, то с наслаждением гребя по Темзе, то на рояле в четыре руки, – а затем засыпая в своей уютной комнате под одну кровлей с нею. Улучать каждый полчас и затем каждый вечер, иногда и до рассвета, чтобы сидеть наедине со своей дорогой невестой. И уже нет от неё тайны дневника, хотя она не понимает по-русски, но то и дело перенимает перо и вписывает сама

(по-английски:... с беззаветной преданностью, которую трудно выразить словами),  
или вперёд, шагая по чистым страницам, там и сям заносит строчки ненаглядным почерком, они переплетутся потом с его петербургскими записями и так переплетутся души их

(по-немецки: есть нечто чудесное в любви двух душ, которые воедино сливаются, радость и страдания переживают вместе, и от первого поцелуя до последнего вздоха поют друг другу о любви).

На завтраки, на обеды, на смотры и на спектакли – сам то в венгерке, то в конвойской черкеске, в ментике, в полной гусарской форме или в сюртуке гвардейского экипажа, сразу показывая и русскую славу и свою мужественность. Одеваться в формы полков – увлекательно, как бы успеваешь переслужить во всех этих полках, почувствовать их военный жребий. Чудные дивные спокойные вечера у милой Аликс. Месяц райского житья в Англии пролетел совсем незаметно.

(Изображение сердца. По-английски: никогда не забывай ту, чьи самые горячие молитвы – сделать тебя счастливым).

Заехал в магазин старинной мебели, купил красивую кровать, умывальник, зеркало Empire, очень понравились. Просто умирал от любви к бесценной. Выбирал для неё вещицы у ювелиров. Однажды рассказал ей о Кшесинской, ведь это никогда не повторится.

(По-английски: мой дорогой мальчик, неизменный, всегда преданный, верь и полагайся на свою девочку. Я люблю тебя ещё больше после того, что ты мне рассказал).

Ещё, ещё последние дни у моря, сидеть на песке, смотреть на прилив, бродить по воде голыми ногами. Ни на минуту не отходить от милой дорогой невесты. Ещё день, потянуть ещё день блаженного пребывания. Едва расстался с ненаглядной прелестью, гребным катером до яхты – а там сюрприз! уже ждало от неё дивное длинное письмо.

(По-английски:... любовь поймана, я связала ей крылья. В наших сердцах всегда будет петь любовь).

Какое же сердце может выдержать эти строчки? Тут же ответил с отплывающим англичанином. От тоски и грусти совсем устал. Как пережить два месяца разлуки?

(По-английски: пусть мягкие волны тебя убаюкают, твой ангел-хранитель стоит на страже).

По пути отправлял ей письма с лощанами.

Увы, осенью внезапно и тяжело заболел Папа. И при страстном желаньи лететь на крыльях к милой Аликс, Николай покорился долгу и поехал с родителями в Крым. Там изнывал, грустил ужасно, в какой день не получая письма от драгоценной Аликс, зато на другой день двойной наградой всегда приходило два письма. Слезно огорчилась она из-за отмены приезда жениха. И отчего он не женился этим летом! Тянулся сентябрь, в иные дни Папа было и гораздо лучше, он был на ногах, каждый день занимался с министрами и бумагами. В своей крутой манере он отклонял всякое лечение, не давался эскулапам.

Николай смотрел на спуск почтовых голубей, много ездил верхом – на виноградники, на ферму, на водопад, и подальше – к маяку, в Учан-су и в Алупку. У Папа самочувствие стало скверное, его мутило. Горько, что ему так плохо, бедный отец. С невесёлыми думами и тоскою Николай сидел на камешках у моря, волны катились громадные. Ехать к Аликс было нельзя.

Вскоре съехалось уже пятеро врачей. В начале октября однажды отец почувствовал себя настолько слабым, что сам захотел лечь в постель. Дорогая Аликс написала Мама – и Папа и Мама разрешили выписать её из Дармштадта сюда. Николай несказанно был тронут их добротой. Какое счастье снова так неожиданно встретиться, хоть и при печальных обстоятельствах. Папа ложился после завтрака, а Николай впервые читал за него бумаги, привозимые фельдгегерями. Бумаги бывали скучные, бывали головоломные, и всегда много новых имён и неизвестных обстоятельств. Какая тоска, как Папа это всё помнит? Ездили в Ялту встречать гостей, всегда освежает разнообразие новых лиц. Неуместно завтракали с музыкой – и уже потом узнали, что Папа в это время приобщился Святых Тайн.

Впервые пробрал страх: а вдруг отец скончается? Что тогда будет? О Боже, как страшно и незащитно станет! И как можно, ни к чему не готовому, рискнуть управлять империей? Где взять такое богатырство, как у отца? А кому ещё? Старший сын, наследник, не уклониться. И Георгий в чахотке.

Ещё через день встречал обожаемую Аликс и вместе с ней в коляске ехали в Ливадию. Какая радость! – половина забот и скорби как будто спала с плеч. На каждой станции татары встречали хлебом-солью, вся коляска была в цветах и винограде. Папа был слабее, и приезд Аликс утомил его.

И снова вместе днём и вместе вечера, пока не отводил невесту до её комнат. Не мог нарадоваться её присутствию, садился заниматься бумагами у неё. Ездили в Ореанду, любовались морем, играли в карты. Присутствие Аликс давало столько бодрости и спокойствия! – с каждым днём он любил её всё больше и всё глубже: что за счастье иметь такое сокровище женою! Помогал ей вышивать воздухи для Святых Даров ко дню её первого причастия.

(По-английски: Твоё Солнышко молится за тебя и за любимого больного. Будь стойким и прикажи докторам сообщать тебе ежедневно, в каком состоянии они его находят и все подробности, что будут делать. Таким образом ты обо всём всегда будешь знать первым. Не позволяй другим быть первыми и обходить тебя. Ты – любимый сын отца. Выяви свою волю и не позволяй другим забывать, кто ты).

Она права: надо научиться проявлять себя и дать понять.

Гуляли у моря. Коляски не было – и боялся за ноги Аликс, под силу ли ей будет взлезть наверх.

Ещё день – и Папа снова причастился. О Боже! Да неужели это так серьёзно? И возможен – **конец**? Как сердце сжалось за благородного, сильного, щедрого отца! И, о Господи, отгони от меня это испытание, не возлагай на мои плечи этого непосильного, нежеланного!

Часть вечера провёл у Папа, его мучил сильный горловой кашель. Стал готовить Николая к тому, что ему придётся царствовать. Теперь будут вместе заниматься каждый день, отец будет объяснять. Холодный страх опадал по телу ото всего. И страшно, и так больно сердцу – ничего голова не воспринимала. Позже – опять сидел у дорогой Аликс.

(Когда чувствуешь себя упавшим духом – приходи к Солнышку, она постарается согреть тебя своими лучами).

Эту ночь Папа вовсе не спал, и так худо было утром, что всех к нему позвали. Не прощаться, но и как бы – прощаться. Что за дни! Чем же это кончится!?. Этого мига Николай всегда боялся.

Теперь никуда не смели отлучаться из дому. Такое утешение иметь дорогую Аликс! – пока читаешь дела от разных министров, а она целый день сидит у тебя. Потом совещание докторов у дяди Владимира. Завтракали так, чтобы не шуметь. Потом Папа почувствовал

себя бодрее, сидел на следующий день в кресле. И снова Николай был у него, и занимались. Сколько имён, сколько дел, как это охватить? и как направить? как научиться решать? Потом Папа лёг в страшной слабости.

На следующее утро затруднилось дыхание, давали кислород.

Отец причастился третий раз – и отозвал его Господь к себе.

Боже, да ведь это – сотрясение всей России. Что ж это будет! Голова шла кругом, не хотелось верить, чувствовал себя как убитый.

Императорский штандарт на дворце стал медленно спускаться, так что видела вся Ялта, и крейсер на рейде дал пушечный салют.

Вечером была панихида – в той же спальне.

В один день – какая страшная перемена! Уже никогда не будет прежней лёгкости. Все заботы теперь станут его уделом на всю жизнь.

Быть русским царём? – непереносимо трудно!

Но на то, но на всё – Божья воля.

Чёрным осенним вечером несли умершего из дворца в церковь, между двумя рядами факелов. Жутко.

Но и в глубокой печали Господь даёт нам тихую радость: милая Аликс была миропомазана. Потом целый день отвечали с нею на телеграммы. Было холодно, море ревели. И на второй день только и делал, что отписывался от туч телеграмм. И на третий день писал телеграммы без конца. Днём катались с нею, вечерами по обыкновению сидел у неё, – и это общение давало силу нести свой жребий.

(По-немецки: Господь ведёт тебя, своё дитя. Не бойся.)

(По-английски: Почаще спрашивай себя: как бы я поступил, завидя ангелов?)

В большом династическом семействе теперь спорили, как устраивать свадьбу: торжественно или частным образом, в Петербурге после похорон или теперь же здесь? Все дяди, забрав много влияния, настояли, что в Петербурге. Николай и не брался с ними спорить.

Через неделю после кончины выехали. Казаки и стрелки, чередуясь, донесли гроб от ливадийской церкви до ялтинской пристани. Под андреевским флагом повезли покойного императора вдоль крымских берегов. В Севастополе вся эскадра стояла выстроенная в одну линию. Траурный поезд двинулся на север. На крупных станциях служили панихиды. Утешение и поддержка – присутствие неналюбной красавицы в поезде. Сидел с ней целыми днями.

(По-английски: Что любовь соединит – ничто не разъединит. Скоро стану твоей единственной жёнушкой).

Через Москву до Кремля гроб везли колесницею и у десяти церквей останавливались для литий. И – первый шаг прямо вместо отца: в Георгиевском зале надо было сказать несколько слов собравшимся сословиям. С утра волновался, ужасные эмоции! – но, слава Богу, сошло благополучно.

В Петербурге шествие с гробом от вокзала до Петропавловской крепости продолжаюсь 4 часа. Панихида в крепости при захоронении. И снова панихида вечерняя. И новые, новые панихиды день за днём, в присутствии иностранных делегаций и принцев. Уже у всех надорвалась душа, заплакали глаза. И с каждой панихидой всё ясней ощущал Николай неотвратимое налегшее бремя. Пришлось принимать полный состав Государственного Совета – и опять говорить (Победоносцев приготовил речь и наставлял). Свиту принимать – и опять говорить. И читать министерские доклады, и выслушивать первые устные. И с каждым членом иностранных делегаций о чём-то изыскивать разговаривать. И сербский король, и румынский король отнимали немногие свободные минуты, когда бы видеться с Аликс. Всё – урывками, скучно так, поскорей бы жениться – тогда конец прощаниям. И – снова архиерейская служба с отпеванием, на двадцатый день – снова панихида в крепости, и молились на могиле. Двое принцев уехало, скорей бы вынесло прочь и остальных. Принимал разных иностранцев, с письмами и без писем. Отвечать приходилось на всякую всячину,

совсем терялся, с толку сбивался, на душе камень, чуть не расплакался от обиды, давая обед всем заезжим принцам в концертной зале Зимнего. Всё больше шло министерских докладов. Принял весь Сенат в полном составе в бальной зале. Принимал серию генерал-губернаторов. Губернаторов. Серию командующих войсками. Атаманов казачьих войск. Массу депутатов со всей России, по 500 человек разом в Николаевском зале. День отдыха – когда нет приёмов и докладов или читать приносили мало, и можно было чудно погулять, посидеть с Аликс. При таких тяжёлых обстоятельствах странно думать о собственной женитьбе: будто о чужой. Чересчур тесно было бы поместиться вдвоём в четырёх прежних комнатах Николая – и ездили с Аликс выбирать ковры и занавеси для двух новых комнат.

Наконец, о великий день, из большой церкви Зимнего вышел женатым человеком, – и поехали с Аликс в карете с русской упряжкой в Казанский собор мимо выстроенных по Невскому войск. (В день свадьбы распорядился удалить всю полицейскую охрану молодых). Затем – рассматривались свадебные подарки ото всей семьи и отвечались новые телеграммы, уже свадебные. Невообразимо был счастлив с Аликс, просто не было сил расстаться друг с другом, всё бы время проводил исключительно с ней, – но отнимали занятия. Чтобы скрыться от министерских докладов – на неделю уехали в Царское и там невыразимо приятно жили, никого не видя и день, и ночь, и без нужды читать бумаги. Беспредельное блаженство. Большого и лучшего счастья человек на этой земле не вправе желать.

(По-английски: Не могу достаточно благодарить Бога за моего Бесценного! Покрываю поцелуями дорогое твоё лицо. Если твоя маленькая жёнушка невольно огорчала тебя, душа, прости ей!)

Гуляли по парку, катались на дрожках, на санках, посещали цейлонского слона. Играли в четыре руки на фортепьяно, рисовали, рассматривали альбомы, вычитывали смешные стихи из старых модных журналов. Не описать словами, что за блаженство жить вдвоём с нежно любимой женой в таком хорошем месте, как Царское. (Да он и родился тут).

Опять Петербург. Развешивали картины и фотографии на стенах новых комнат. На сороковой день – заупокойная обедня в крепости. Рассматривали проекты устройства комнат в Зимнем, выбирали образцы мебели и материй. Без конца читал губернские рапорты. Опять тормозили Николая целыми утрами: то Победоносцев с наставлениями и предостережениями (он приходил, когда сам назначал), то министры с противоречивыми друг другу докладами, совсем одуревал, то черед военных представлений, то приём целого Адмиралтейского совета, то подписывание указов Сенату о наградах – к своему же тезоименитству. А там – готовить подарки к Рождеству в Англию и в Дармштадт и разбирать вещи душики-жены, приехавшие из Дармштадта, и рассматривать свои подарки под ёлкой. И покататься вдвоём в охотничьих саях на иноходце. Вот уже больше месяца, как были женаты, а только начинал привыкать к этой мысли, любовь к Аликс продолжала расти. А несли, несли безжалостно много бумаг для прочтения и редко оставалось почитать вслух французскую книжку или для себя исторический журнал. (Так приятно окунуться в дальнюю русскую историю! А более всего любил Николай царствование Алексея Михайловича. Он любил то старое допетровское время, когда московский царь был в простых нравах со своим народом). Полупраздником был день, когда принимал только одного министра или так удачно, что торжественное собрание Академии Наук заканчивалось в один час, оставалось время для коньков или поздно, при луне, – санками на острова.

Так – ни в какой отдельный день, а незаметно во все эти траурные дни Николай втягивался в безвыходный жребий стать всемогущим всевластным монархом. Что надо было делать? Что говорить? Кого назначать? кого смещать? С кем соглашаться, с кем нет? Где-то пролегал единственно-правильная линия, открытая Божественному Провидению, но сокрытая от глаз людских – и от глаз юного монарха, и его советчиков, которые, конечно, тоже ошибались. А от покойного отца не досталось Николаю выслушать ни одного политического наставления – ни при здоровьи его, всё считалось рано, пусть сын позабавится, созреет, ни в дни болезни, всё считалось не смертельно. Только запомнилось из последних дней: “Слушайся Витте”. Отбывал когда-то Николай скучные отсидки в

Государственном Совете, но почти не вникал в смысл прений этих подагрических, диабетических, седых и лысых старцев.

Теперь дядя Владимир успокаивал Николая: и Александр II и Александр III вступили в царствование в смутном положении, а сейчас, после 13 лет мира, всё спокойно, ни войны, ни революционеров, и нет необходимости торопиться с какими-то новшествами, с изменениями, даже и людей на постах менять никого не надо, – это создало бы впечатление, что сын осуждает действия отца. Такой совет чрезвычайно понравился Николаю, это было самое лёгкое: не ломать головы, ничего не менять, пусть плывёт как плывёт. (Только министра путей сообщения сразу пришлось уволить за жульничество, но и отец собирался).

Однако нельзя было рассчитывать на слишком частые советы дяди Владимира из-за того, что тётя Михен вполне владела им, а она нехороша была с Мама. Как и на советы дяди Алексея, дяди Павла, дяди Сергея: у каждого была своя жизнь и каждый мог справедливо считать, что он более подготовлен наследовать трон. Тем меньше можно было ожидать полезных советов от восьми двоюродных дядей, а двоюродный дедушка, Михаил Николаевич, генерал-фельдмаршал и председатель Государственного Совета, был сердечно занят одною артиллерией. Правда, был Победоносцев, недавний учитель наследника, когда-то и первый наставник отца, ему принёс Николай жалобу на огорчение первых недель: подчинённые заваливают бумагами, некогда читать. Победоносцев объяснил: многое – пустое, дают на подпись, чтоб избежать ответственности, надо их от этого отучать. Но как бы ни был умён Победоносцев, нельзя было отдаваться его властным советам, да и мненья его не могли так решительно превосходить мнений других умных приближённых людей, как например Витте. А Витте, быстро узнал Николай, был переполнен определительными мненьями и ничего слаще не знал, как только высказывать их, особенно в областях, не касающихся его министерства финансов, – с тем ли, чтобы все области других министерств от него зависели. Но даже и по министерству финансов не он единый имел идеи, например вводить ли золотое обращение? Один одно говорил, другой – другое, и приходилось созывать совет, чтобы разобраться, – и всё равно разобраться было невозможно. То Витте предлагал создать комиссию по крестьянским делам – и молодой Государь соглашался. Приходил Победоносцев, указывал на вздорность этой затеи – и Государь гасил. Тут Витте присылал толковую записку о крайней необходимости комиссии – и Государь на полях полностью соглашался, убеждённый. Но приходил Дурново настаивать, чтобы комиссии не было, – и Николай писал “повременить”. То Сандро (и дядя, и зять, и друг, и сверстник) находил никому до сих пор не известного выдающегося патриота и понимателя русской жизни и тот увлёк Государя такой мыслью: всеми силами препятствовать вторжению иностранных капиталов в Россию. И Государь уже поставил несколько резолюций в этом духе на бумагах, этот взгляд тотчас стал известен иностранным компаниям, – встревоженный Витте принёс записку профессора Менделеева о крайней пользе именно притока иностранных капиталов, и настаивал, чтобы Государь высказал мнение, обязательное для всех министров. И собрали совет министров и постановили дозволить.

Вот это и было в роли монарха самое мучительное: среди мнений советников избрать правильное. Каждое излагалось так, чтобы быть убедительным, но кто может определить – где правильное? И как было бы хорошо и легко править Россией, если бы мнения всех советников сходились! Что бы стоило им – сходиться, умным людям – согласиться между собой! Нет, по какому-то заклятью обречены они были всегда разноголосить – и ставить своего императора в тупик. И только душили его записками, докладами, докладами.

А Николай потому был особенно неуверен, что так хорошо и крепко было жить за спиной отца.

А тут ещё, как будто мало было разногласий в кругу министров, – многие отдалённые от трона и даже от столицы, подогреваемые надеждами, что над ними нет теперь твёрдой руки покойного Государя, захотели также высказывать свои мнения и иметь свою долю в управлении русскими делами. Подобные дерзкие мысли самонадеянных ораторов, чуть ли не доходящие до ограничения Государя и до конституции (в безумии говорения они не



понимали, что их же самих конституция и погубит), стали высказываться на губернских земских и дворянских собраниях. Это было очень обидно, именно: что молодого монарха не считают за силу, а хотят поживиться на его первой слабости и раздёргать власть по перышкам. Но как ни был Николай молод, он понимал, что наследовал мощную силу, сильную только в своём соединении, и нельзя дать её расщеплять, ибо именно в полноте мощи она нужна огромной стране. И он собрал все свои силы и решил, что даст отпор: на приёме дворянских, земских и городских deputаций ответит им наотрез. Однако волновался как никогда в жизни. (И Аликс волновалась: достойно ли её поклониться депутациям, решила не кланяться). Стал бояться не запомнить короткую подготовленную ему речь. Но и не хотел открыто читать, а высказать как собственные свои слова, только сейчас приходящие. Близкие надоумили его держать записку с речью на дне фуражки, которую по церемониалу он снимет. И всё было сделано так, и произнёс ли, прочитал он всё уверенно: охранять начала самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как незабвенный родитель; но в главном месте, что некоторые земцы увлекаются беспочвенными мечтаниями об участии в делах управления, – ошибся и выговорил “бесмысленными” мечтаньями. Всё прошло хорошо, поставил их на место. (И, кажется, велика ли ошибка? – всё равно отказ. Но много лет не могли ему забыть, всё попрекали этими “бесмысленными”).

И не даром эта церемония была отмечена весьма дурным предзнаменованием: когда тверская делегация (с которой и возникли главные неприятности) подносила приветствие – из рук предводителя выпало блюдо и покатилося со звоном. Всё – на пол: хлеб – развалился, соль просыпалась. А Николай сделал помогающее услужливое движение – поднять блюдо, но ощутил, что императору это неуместно и только больше смущает всех. (И потом вспоминалось: правда, все беды начались с этого приёма, с этого блюда).

Тяжко быть русским царём, особенно поначалу, не освоюсь. Но не так было бы тяжело с одними вопросами внутренними, если б не ломала голову ещё политика внешняя, где того многообразнее лица, мнения, возможности, – и в грустные минуты таишь про себя тоску, что выбрать истинный путь непосильно уму человеческому. Умирал вослед за своим Государем старый опытный министр иностранных дел Гирс – и в первом же докладе сообщил юному монарху, что уже два года Россия скована с Францией секретным военным союзом, настолько секретным, что даже советы министров обеих стран о нём не знают, а между тем и разработанным, так что уже определено, что в случае войны с Германией Франция обязана поставить близ миллиона человек, а Россия – восемь миллионов. И с этим тайным бременем обречён был теперь Николай получать настойчивые, почти любовные, письма от Вильгельма, горячо любящего друга и преданного кузена, о том, что не случайно Россия и Германия и царствующие в них дома уже столетие связаны традиционными узами дружбы: в этом – единство их противостояния анархизму и республиканизму; тот монархический принцип, который только и держит эти страны на прочных основах рядом с Францией, где президенты мостятся на троне обезглавленных королей, а едва засаженных злодеев распускают амнистиями; рядом с Англией, где всемирный приют скотам-анархистам, где министерства плетутся к падению, сопутствуемые насмешками всех.

Чем-то очень привлекал и покорял Вильгельм! Он так был всегда искренен, так уверен в правоте каждого слова, какое высказывал, – да ведь и несомненно правда! Его слова многое объясняли Николаю. Даже не пройдя никакой государственной школы, Николай существом понимал, что Россия крепка именно монархическим принципом, а при переменной республике погубят её случайные болтуны в их сменной чередё (от торопливости смены каждый спешит насытить честолюбие) и молчаливые капиталисты, имеющие деньги покупать газеты и тем направлять общественное мнение.

Так-то так, но и воля отца была над наследником. Почему-то же вступил отец в союз с президентом, ютящимся на троне обезглавленных королей, и со своей обнажённой головой – выслушивал же в Кронштадте марсельезу?

Как любовно-ласково-дружествен был Вильгельм к Ники и к Аликс, так всем сердцем ему навстречу хотелось быть откровенным и Николаю, но тайный союз тяготел и отяжелял

искренность его ответов: страшно подумать, что будет, когда Вилли об этом союзе узнает?

Перед смертью старого министра успел понять Николай, что же толкнуло отца на странный союз: между Германией и Россией прежде был тайный договор о взаимном страховании – если одна из них втянется в войну, другая обеспечивает благожелательный нейтралитет. Но молодой Вильгельм, едва наследовав деду и отставив Бисмарка, послушался нового канцлера и в 1890 не возобновил договора.

Так что ж, за страстно-льстительными словами Вилли и подарками при каждом письме надо было угадывать и встречную тайну? Так жить – не хватит ничьей головы. А если подойти ко всему с хорошим сердцем – так это всё может быть одно недоразумение. Надо в одном сердце совместить и Германию и Францию, надо просто помирить их!

Тут сразу и случай представился: торжества открытия Кильского канала. Все флоты идут туда, неужели же французский не захочет пойти вместе с русским? Уговорил. И какое торжество – первый шаг к европейскому примирению! (Во французском парламенте очень бранились потом: совпало с 25-летием франко-прусской войны).

А тут и другой случай. Ещё в те месяцы, когда умирал отец, проворная Япония, о которой никто до сих пор и не слышал, которой и в списке держав не было, вдруг начала войну против беспомощного Китая и быстро побеждала его. Изо всех европейских правителей молодой Николай один только и видел тот край своими глазами, и от этого как бы ощущал особую за него ответственность и особую к нему направленность. Время не ждало, нельзя было откладывать, пока освоишься и привыкнешь управлять, а – немедленно останавливать хищницу. И тем же толчком миролюбия он призвал двух старинных врагов – Францию и Германию, вместе помочь ему в этом. И хотя всем казалось невозможным их совместное выступление, но вот они выступили вместе, втроём с Россией, и получилось очень удачно: Япония прервала свою победную войну, отказалась от Кореи, от Ляодунского полуострова с Порт-Артуром, взяла себе только Формозу, ничего на континенте, и обещала крайне осторожно относиться к интересам других держав.

Вот, бывает же мудрость в сердце кротких! Юному монарху удалось такое, что не снилось опытным старым политикам.

Кузен Вильгельм разгорячился на японскую выходку даже больше, чем сам Николай, Он признавал, что несомненно великая задача России – цивилизация азиатского материка и защита Европы и креста от вторжения жёлтой расы и буддизма, Европа должна быть благодарна Николаю, что он так быстро понял российское призвание, а Германия позаботится, чтоб европейский тыл России был при этом покоен.

Николай же до сих пор ещё и сам не понимал этого российского призвания, но теперь всё больше стал задумываться и понимать. Да не случайно же судьба повела его ещё юношей на этот таинственный Крайний Восток и какими-то нитями связала с ним, даже и покушением в Оцу. Восток был теперь для него не абстракция, но обширные плодородные тёплые пространства у тёплых морей, рядом с нашей ледяной Сибирью, не поддающейся обработке, не знающей морского выхода, – а в сплошном сухопутном прилегании одного к другому была своя пророческая связь. (Витте подал золотую мысль: строить нам дорогу не вокруг Амура, а сокращённо, по Манчжурии, Китай не сможет отказать). Да оказалось, что ещё и отцом были отпущены одному предприимчивому буряту 2 миллиона рублей на мирное завоевание Монголии, Китая и Тибета, истрачены, а теперь испрашивались ещё 2 миллиона на продолжение предприятия. И стоило дать. Восточная идея становилась личной излюбленной идеей молодого монарха. И, конечно, не слабая Япония была нам там помехой, но всюду подставленное железное английское плечо. (Вилли подозревал, что Япония так крепкоголова только благодаря тайным английским обещаниям). Действительно, кто был исконным врагом России всегда и везде – это Англия. Среди немногих государственных фраз отца запомнил Николай: всегда и везде – в Азии, в Персии, в Константинополе и на Балканах – каждому русскому шагу мешала именно Англия. (Хотя так приятно было гостить у королевы Виктории).

Какую тайну можно сохранить при республике? Во французском парламенте очень

скоро проболтали тайну союза с Россией. Так стыдно было перед Вилли! – хотя не Ники же придумал такой союз. Но дружба их выдержала это испытание, Вилли простил великодушно (да ведь не сказано было в договоре, что против Германии). Только пришлось выслушать от него, что в один прекрасный день Николай и не заметит, как втянется в самую страшную войну, какую когда-либо видела Европа.

А уже миновал и год смерти отца. Снялся траур – хотя совестно и жалко, траур служил последней видимой связью с дорогим прошлым. Так ощущал Николай, невидимо, что ещё хотел отец переструить ему какие-то советы, какую-то тайну передать, которую не успел на Земле, – но всё это молодой монарх теперь должен был постигнуть сам. Да – с Божьей помощью.

И тут же стали готовиться к коронации – двадцати майским праздничным дням в Москве. Как на всякое общественное испытание, где придётся много показываться публике и может быть говорить публично, Николай ехал со стеснённым сердцем, внутренне боясь. (Знала об этом только Солнышко Аликс и подбодряла). Но и сам же он доверчиво ждал, что от возложения венца в Успенском соборе он весь переменится, станет уже подлинным властным правителем с ведением, вложенным от Бога. И с этой верою и жаждою он, в порфире и в венце, с державой и скипетром в руках читал пересохшим горлом символ веры и слушал коронационную молитву: “даруй ему разум и премудрость, во еже судити людям Твоим во правду, погрей его сердце к заступлению нападствуемых, не посрами нас от чаяния нашего”. Со дня коронации почувствовал себя возмужавшим. Со дня коронации много задумывался об избранности и верховодности королей. А направить может только Господь.

На четвёртый день после коронации выпала незаслуженная беда: за гостинцами с ночи собравшаяся толпа вдруг рано утром бросилась давиться без видимой причины – и сама в себе за десять минут растоптала 1300 человек. Печальным зачерком легла эта жертва на все торжества, сердце Николая сжалось и омрачилось: за что наслал Бог это несчастье? почему оно прилегло к коронации? нет ли здесь дурного знака?... Но не только для размышлений не оставалось времени, а неуклонное расписание празднеств требовало в тот же вечер ехать на бал ко французскому послу, – и Аликс считала, и все дяди дружно голос повысили, что не поехать было бы некорректно ко Франции.

Шаги монарха расчисляются не так, как у всех. Соотношения держав и народов входят в его повседневный быт. И к этому надо привыкать.

А получилось нехорошо.

Николай проявил милость, чтобы не пострадал и не был наказан никто из распорядителей Ходынского поля: не увеличивать ещё числа несчастных.

Но над самую царскую четой как будто повисло какое-то небесное непощение: летом поехали в Нижний Новгород на всероссийскую выставку русского труда – и как раз в час их посещения нашла чёрная туча, пошёл сильный град и дробил многие стёкла в павильонах, сыпал и бил, как громил выставку.

Тем летом совершили большое приятное заграничное путешествие: посетили императоров австрийского, германского, короля датского – родного дедушку, гостили в Шотландии у бабушки Виктории, и наконец пожинали триумфы в Париже, где толпа встречала русского царя почти так восторженно, как московская, портреты его раздавались на улицах, печатались на конфетных обёртках, с русскими гербами продавалась посуда, мыло, игрушки, – и на военном параде растроганный Николай решился сказать о братстве по оружию с французами (хотя память его и образование не хранили: когда же такое было). Потом отдыхали от восторгов на родине Аликс в Дармштадте. И мрачные воспоминания Ходынского поля и нижегородской выставки больше не преследовали царственных супругов.

Парижская встреча так растрогала Николая, что снялась его недоброжелательность к республиканской стране, и он тепло согласился с французским правительством на какой-то дружественный уговор по Турции, о котором только в Петербурге ему объяснили, что в Париже его обманули, связали руки-ноги ничего не делать по проливам.

Вот так обещать хорошим людям! – а тебя обманывают. Николай так обиделся, что дал министрам уговорить себя в исправление: теперь же высадиться в Босфоре! Турция – умирает, и надо брать наследство. Наш посланник в Константинополе особенно добивался этого, уверял, что сопротивление будет самое ничтожное, и военный и морской министры подтверждали полную стратегическую возможность. Очень было заманчиво! – начать новое царствование со славного взятия Царьграда, недоступной мечты всех предков Николая. Действительно, когда-то же и кому-то надо выполнить эту историческую задачу России, возврат к византийскому пепелищу, – и раз навсегда защитить всех славян. Какой-то внутренний голос подсказывал Николаю, что это время пришло и задача – на его плечах. Константинопольский посол уже составил для себя письменные инструкции от имени Государя – право в избранный им момент вызвать в Константинополь наш флот с 30-тысячным десантом – и Николай подписал. Придут в Дарданеллы чужестранные флоты? Ну что ж, примем войну и со всей Европой! (Но Англия воевать не будет, она предпочтёт делить Турцию и захватить себе Египет). Тут вернулся из-за границы дядя Алексей, адмирал, и руками замахал: в Париже уже идут слухи, это будет огромный скандал! И Николай отобрал полномочия у посла.

Ещё никак он не был уверен, что его движения – истинно императорские. Он жаждал бы проявлять движения властные и беспрекословные – но не рождались. Он жаждал бы иметь полное знание, как править государством, – но не от кого было взять. От самого первого дня короны он застигнут был состоянием недоумения и так и плыл в нём. Он очень бы хотел понять законы совершающихся событий, но не видел, где почерпнуть их. Примеры из давней русской истории, которые он многие знал и любил над ними размышлять, – всё как-то не давали ему ясного указания. И стеснялся спросить кого-либо, да по гордости не хотел и показать, что не знает. Да и не осталось таких советников от отца. Победоносцев ему ещё в юности надоел своими наставлениями – настойчивый брюзга, длинный, худой, очкастый со впалыми щеками, отставленными ушами, как оттопыренными против этого хужающего безнадёжного мира. А ретивый неутомимый Витте, такой подавляюще умный, что от его рассуждений дух захватывало, изобретатель винной монополии, такой умелец добыть деньги у Ротшильдов, – пугал и давил своей склонностью обратить всю жизнь и всё государство в отдел министерства финансов. В министры проводил он только таких, кто не мог соперничать с ним.

Николай остался хуже, чем сиротой: ни одной доверенной души, кроме горячо любимой Аликс да мудрой Мама. В высшем свете не оказалось друзей у молодой императорской четы – оттого ли, что они не вели шумной жизни Двора, но всё старались оставаться тихо вместе. Даже их с Аликс привычка не пропускать ни обедни, ни всенощной воспринималась аристократией как причуда.

Может быть следовало теплей и доверчивее отнестись к Вильгельму, пылкому другу, – но его пылкость немного и пугала. Равновластный император и тоже молодой, его настойчивые горячие советы иногда добирались до самого сердца. Нашли с ним удобным иметь между двумя великими монархами кроме неуклюжих министерств ещё и личных посланников-адъютантов – для быстрого искреннего обмена. *Для нас в Азии*, говорил Вилли, – азиатские дела стали их общие. В 1897 он приехал в Петербург, долго гостил, было особенно сердечно и откровенно, установили единство всех взглядов и совместный идеал защиты белой расы на Востоке. Как-то августовским вечером возвращались из Красного Села в Петергоф вдвоём в коляске, и Вильгельм, почти усами к лицу дорогого кузена, наговаривал, наговаривал – и согласил Николая не препятствовать ему занять Киао-Чао, этой настойчивости невозможно было противостоять!

А мы после японо-китайской войны объявили Китаю, что не только не имеем с ним спорных вопросов, желаем жить в дружбе, но готовы защищать его от европейцев – и за то получили от Китая право строить железную дорогу по Северной Манчжурии. Теперь Китай обратился к России с просьбой о защите от Германии. Создалось щекотливое положение. Придуманно было ответить так: Россия готова помогать Китаю, но для этого нуждается иметь

операционный пункт на китайской территории. Те предложили Порт-Артур. Собралось совещание – брать или не брать? Николай понимал, что это незаслуженно и по-человечески нехорошо, – однако мог ли великий император иметь простые человеческие мерки? Никаких твёрдых императорских правил вообще не было никогда на земле. Порт-Артур был очень необходимый незамерзающий порт, далеко на юг от русского побережья, – для вящего величия России как не взять? имеет ли Государь право не взять? К тому же, мы должны стоять твердыней против жёлтой расы (и Аликс очень против жёлтых). Решился – брать, на 25 лет в аренду и с правом соединить его с Великой Сибирской магистралью, которая поспеет скоро.

Вильгельм аплодировал: мастерское соглашение! Собственно, ты становишься хозяином Пекина! Благодаря твоему великому путешествию ты стал знатоком Востока. При твоём уме тебе всегда удастся найти выход. Глаза всех с надеждой обращены к великому императору Востока. – И сам готовил для Ники гравюры в подарок, как они вдвоём охраняют Европу от жёлтой опасности.

Да, тут много было верного. Что-то особенное чувствовал и понимал Николай в Востоке. Может быть, это было из первых прозрений помазания: призвание России расширяться далеко-далеко на Восток. (Тем более, что Босфора никогда нам не дадут взять).

Однако китайские приобретения Германии и России усилили напряжённый английский поиск. И Вильгельм честно предупреждал Николая, что Англия ведёт с Германией переговоры о союзе, – неужели же она разлучит друзей? Но ещё раньше перед тем, ответил Николай, Англия предлагала союз и России, хотя бы союзом её связать удержать от дальневосточного развития, – и получила отказ. Переменчивость дипломатических отношений придала в головокружение: между отдельными людьми не бывает таких перемен и крайностей, как между странами. А все короли при этом – братья и кузены, женаты на родственницах, все – родня.

И к чему ведёт это нескончаемое соревнование вооружений великих держав? Кому ли нибудь обеспечивает оно мир? Только расточение сил всех народов, а потом худшую войну. Военный министр Куропаткин докладывал однажды Государю, что вот неизбежно подходит и нам и Австрии, чтоб не отстать ото всех и друг ото друга, – вводить скорострельные пушки, и потратит на них Россия не меньше 100 миллионов рублей. А вот, с мужицкой простоватостью высказал он, договориться б нам с Австрией – ни им, ни нам не вводить? Только выгодно обеим, а соотношение сил не изменится. Ожидал Куропаткин, что Государь побранит за неуместную мысль, но Николай, глубоко взволнованный, ответил ему:

– Вы меня, значит, ещё мало знаете. Я – очень сочувствую такой замечательной мысли. Я долго был и против введения последних новых ружей.

С несомненностью почувствовал он, что вот наконец здесь нашёл истинное государево дело, внушённое Богом.

Стали перебирать: разве одни скорострельные пушки предстояло вводить? А полевые мортиры? фугасные снаряды? бетонные укрепления? новые типы пулемётов? Сколько бессмысленных трат! – поражать бюджет, подрывать народное благосостояние – и во имя чего? Долгие мирные перерывы – только накопление небывалых боевых средств. А через малое число лет и это всё оружие потеряет цену и значение, и потребуются новые. А что если обратиться ко всем державам сразу: договориться и не развивать вооружений дальше? Ведь предложил же Александр II всему миру – запретить разрывные пули, – и запретили! И надо поспешить с обращением именно теперь, когда неевропейские нации тоже быстро воспринимают изобретения современной науки. (И именно теперь, после наших приобретений на Ляодунском полуострове, дать всему миру доказательства русского миролюбия). Мысль разрабатывалась и всё более манила: именно России взять на себя миролюбивый почин. Именно Россия может себе разрешить даже и отстать в вооружениях: мы так велики, что на нас никто не нападёт. А сэкономленные деньги, мечтал Куропаткин, пустить на крестьянское устройство, на укрепление наших корней. Бросить в мировую ниву великое семя. Освободить миллиарды для благосостояния людей. Создать благодарную

память в потомстве. Августейшим именем запечатлеть начало грядущего столетия.

И в августе 1898, не предупредив ни союзную Францию, ни братски-дружественного Вильгельма (никому не дать преимущества размышления, а главное – не дать себя отговорить), – разослали всем державам ноту российского правительства. (Излюбив каждое слово там, Николай трижды читал её государыне вслух – и всё более излюбивал). Нота призывала не к разоружению, что вызвало бы тревогу и недоверие, но положить предел развитию вооружений. Вместо мира напряжённо-вооружённого установить истинный и прочный, сохранить духовные и физические силы народов, труд и капитал, от непроизводительного расточения. Созвать для этого конференцию и создать третейский суд между государствами.

Весь мир был застигнут врасплох. Печать (а значит народы?) похваливала, отнеслась местами даже восторженно, правительства – иронически или недружелюбно: с царского трона легко произнести всё, что угодно, правительство царя не зависит от общественного мнения, от одобрения кредитов. Франция была обижена, как союзница, от которой скрыли подготовку ноты, и возбуждена, что у неё хотят отнять 27-летнюю подготовку вернуть силу Эльзу и Лотарингию. Англия и Америка отнеслись спокойней, поскольку не предлагалось ограничивать флоты, а они своих целей достигали флотами. Тут между Англией и Францией вспыхнул грозный конфликт в Африке, угрожавший войною. Так запутались счёты между державами, что нельзя было избрать момента, равновыгодного всем для остановки вооружений: всегда кто-то оказывался отставшим. Да и у самой России были проблемы: всё тот же Босфор и Крайний Восток, и ещё подумать надо было, не поспешить ли всё-таки перевооружиться скорострельными пушками, чтобы сравняться, чтобы не думали: мы потому предлагаем остановить вооружения, что истощили свои средства. Перевооружиться – а уже потом ограничиваться? Вильгельм телеграфно приветствовал возвышенность побуждений русского императора – и тут же увеличил свою сухопутную армию.

Либо надо было покинуть благородную затею, либо продолжать настойчивей. От многих обществ и частных лиц Николай получал выражение благодарностей – и уже одни они вдохновляли продолжать. В декабре 1898 он согласился на вторую циркулярную депешу державам. Предлагалась всеобщая конференция с программой: удерживать вооружённые силы в границах, определённых соотношением армии к населению, военного бюджета к государственному, запретить вводить новое огнестрельное оружие, новые взрывчатые составы и подводные лодки для морской войны. И согласиться на третейское разбирательство между державами.

Всё это было так невообразимо, что державы не могли отказаться от конференции, но и согласиться не хотели ни на что. Мировая печать по-прежнему хвалила начинание русского царя, хвалила конференцию, она состоялась в 1899 в Гааге, но нового столетия не открыла собою. Германский представитель заявлял, что *его* народ не изнемогает от бремени расходов, и всеобщая воинская повинность для немцев – тоже не бремя, а честь. Комиссия главных держав отклонила все основные предложения России, и арбитраж тоже не был признан обязательным. Только и создали в Гааге Международный Суд над державами.

А между тем такая большая правда была во всём начинании! – и так тупо шлёпнулось в болото. Николай перенёс неудачу как личную. Он – двоился, он уже и раскисался, что всё это начинал и оказался как будто в дураках, дал называть свои намерения комически-сентиментальными и подозревать лукавые расчёты у России.

Нет, и помазанному монарху трудно прозреть предназначенный путь. Самый манящий шаг вдруг оказывается в пустоту или в слякоть. Разделяется истина в противоборстве держав, разделяется истина в спорах советников – и только терзается душа. Мечтал бы делать лишь верное и хорошее, но никто не может указать, никто не в силах. А несомненны – только семейная жизнь и самые простые занятия. Солнышко Аликс. Купанья души маленькой, первой дочери. Утренние и вечерние прогулки, наблюдать Божью природу. Иногда – на байдарке или по царкосельскому парку на велосипеде, или дрессировать собак.

Вечерами отдыхать на красивых операх, на смешных пьесах, иногда и дважды на один спектакль. Большое счастье, когда приходится принять церемониальный марш войск, всегда поднимается дух! То – осенняя серия полковых праздников, то – весенняя. (Николай и весь годовой календарь ощущал по полковым праздникам: у какого полка когда). А то – глупеть, подписывая бесконечные распоряжения, приказы, да дуреть от двух ежедневных министерских докладов, всё поглядывая на часы, что затягиваются уже за счёт завтрака, отнимая простое человеческое время. Никто не знал верно, что надо делать, но все министры и множество их подчинённых уверено что-то делали каждый день.

Как невыносимо быть императором, да ещё всероссийским, как хорошо и естественно – простым семейным человеком: освободить себе вечер да сидеть почитать историю прежних лет, тем приятную, что в ней все выборы уже сделаны и известно, как пошло дальше.

А иногда и гордо. Не только когда дню именин твоих салютует и расцветивается даже германский флот. А вот: когда разгорелась война Англии с Трансваалем, захватало капканом извечную смутьянку и хищницу, и Николай был всецело поглощён этой войной, прочитывал в английских газетах все подробности от первой до последней строки и радовался английским потерям, вот что значит полезли в воду, не зная броду! – в его груди разгоралась гордость, что он был единственный человек на земле, кто мог изменить ход войны в Африке на гибель Англии. И всего для того простое средство: отдать по телеграфу приказ всем своим туркестанским войскам мобилизоваться и подойти к границе. И всё! И никакие самые сильные флоты в мире не помешают ему расправиться с Англией в самом для неё уязвимом месте!

Но – нет, возражали советники (тем всегда и неприятные, что возражают), мы недостаточно готовы к военным действиям, наша армия технически отстаёт, да и Туркестан не соединён сплошной железной дорогой с внутренней Россией.

Да, это была лишь мечта приятная. Решимости не было начинать большие действия самому. Но – гордо так помыслить. А что нужно: укреплять наши дороги и наши войска, наше влияние и наше положение в Азии. Будущее России несомненно лежало в Азии, в которую она так естественно входила сибирским массивом. В Европе один Босфор уже вынуждал к европейской войне, но даже и с Дарданеллами ничего не давал, кроме другого такого же замкнутого Средиземного моря. В Азии самые малые гарнизоны обещали принести великие успехи. Невозможно было не расширяться в Азии, когда давалось так легко, безо всяких военных усилий. (А когда подоспеет великая Сибирская дорога – насколько возрастёт цена нашим приобретениям!) Китай был удобным большим рыхлым телом, от которого любая сильная держава брала то, что ей нужно. Его правительство плавало в ничтожной слабости, и всем было выгодно продолжать это состояние. Но там звучали свои возбуждающие голоса, подпирало недовольство национальным унижением, – и вот летом 1900 китайцы восстали, помимо своего правительства, отрезали Пекин от моря, осадили тамошний международный посольский квартал, говорят, убили несколько сот белых по всему Китаю. Весь мир завыл от китайских зверств и жестокости. Беспроволочного телеграфа ещё не было, нельзя было узнать, что делается в несчастном посольском квартале, очевидно шли массовые убийства, и только войска могли его выручить. Согласие европейских держав составилось как никогда полное. Собрали международный отряд, третья часть войск – русская, и русские же заняли Пекин. И вдруг посольский квартал оказался совершенно не тронут, он был блокирован слабыми китайскими войсками и ими защищён от повстанцев. И Николаю стало отвратительно и совестно, что он участвовал в этом общем нападении. И Витте настаивал, что враждебные действия против Китая полностью неразумны, когда мы получаем всё договорно. (Впрочем, за время этой малой войны взяли себе полосу от Манчжурии до Порт-Артура сплошь). И Николай заявил державам, что из Пекина уходит и предлагает то же всем. Предупредил не ожидать дальнейшей помощи от России европейским войскам.

Было просто стыдно: ведь мы обещали Китаю защиту – а вот напали вместе со всеми.

Тут ещё такой эпизод рассказали: когда пронёсся слух о китайских зверствах, в Благовещенске, к тому же обстрелянном с китайской стороны, люди возбудились, выгоняли из домов своих жителей-китайцев и заставляли их плыть через Амур. Многие потонули.

Власть императора – непомерна. Нельзя бездействовать – но и при действиях неосторожная длань давит сотни и тысячи людей. Когда можно не действовать – лучше бы не действовать, вместо крутых мер – золотую середину. По-христиански нельзя делать другому – Китаю, того, чего не хочешь себе – России. А практическая политика заставляет – делать, строить дорогу через Манчжурию, укреплять её охранной полосой, связь по суше установить до Порт-Артура.

В том году Николай отменил ссылку в Сибирь: не засорять её беспокойным сорным элементом, очистить эту великую здоровую страну. Умственным взором он видел, как Россия скоро порастёт в ту сторону.

Естественно, всё главное внимание и зоркость царя уходили на разгадку козней, интриг и заговоров внешних врагов. А внутри России врагов бы быть никак не должно, лишь подданные, ожидающие своей очереди милостей. России быть бы единой. Но нет: все те годы, что Николай напрягал разум разобраться в международных сплетениях, – здесь, внутри, совсем не было спокойно, они не вняли его твёрдому отказу в конституции, волновались всегда недовольные земские служащие и те бездельники из дворян, кто свободен был от забот истинной нужды и мог насытить свой досуг измышленьями о нуждах пресыщения. Но хуже: профессора портили и учащуюся молодёжь, захватывали за собой.

Четыре первых года царствования Николай верил, что и вовне и внутри можно уладить по-мирному, терпеливо выжидая или прося терпеливо подождать. Но на пятом, 1899, году пришлось ему жестоко разочароваться: и Гагская мирная конференция не принесла всеобщего мира – и внутри страны обнажилась злоба и борьба.

Это вспыхивает совсем неожиданно. Вдруг на торжественном акте в Петербургском университете оскорбились студенты может быть неумелым грубоватым предупреждением ректора не буянить и не пьянствовать после – освистали его, сорвали акт, на выходе полиция неосновательно потеснила студентов к одному из трёх мостов, разделяла конными и применила нагайки – прискорбно, но что ж началось? Студенты объявили университет надолго закрытым, не давали ни читать лекций, ни посещать, за ними забастовали все студенты Петербурга, все – Москвы, и все провинциальные университеты. Николай хотел уладить отечески, назначил для расследования комиссию генерал-адъютанта, известного симпатиями к студентам, – и можно было рассчитывать на возврат мира, и полиции впредь запрещено было где-либо вмешиваться, – но нет, забастовка длилась месяц и другой, в Киеве случилось побоище в аудиториях, и ещё месяц, и никто не слушал умиротворяющей комиссии, но всё образованное общество подзуживало студентов продолжать.

Имея силы противостоять мировым державам, – в каком нелепом положении находишься, не в силах взять в руки собственное возбуждённое юношество. Но если вспомнить, что большая часть их учится, не имеющая средств, половина освобождена от платы за обучение, четвертая часть получает стипендии в помощь, – то ведь и разгневаешься: почему государство должно за студентами ухаживать? Почему все находятся в рамках долга – а они нет? И Николай согласился: наказывать. Одобрил предложенное Витте: из высших учебных заведений за беспорядки исключать на год, на два или на три и на время исключения отдавать в войска, хотя б и не подлежали призыву, хотя б и нестроевыми: воинское воспитание есть лучшее исправление.

Четыре года казалось – можно управлять скорее даже в духе деда, чем отца. Четыре года важные решения как будто замедлялись, не стучались в дверь, – тут сразу пошли одно за другим.

Финляндия. Если она – часть России, то может ли она не жить по русским законам, и только те из них принимать и постольку принимать, как одобрит сама? Всего-то призывает Финляндия 10 тысяч солдат – но из них ни одного не имеет права Россия переместить хотя бы в другую губернию. Александр I не жалел им подарков в начале века, но жизнь перестаёт



быть такой просторной, и в последний год века приходится потеснить то, что было подарено в первый год его. Или тогда уже не жить с Финляндией вместе? Но кто бы взял на себя распад наследованной империи?

Земства. Дал дед земства не всем губерниям, как будто действительно надо теперь распространить их на остальные, – но, нашёптывает неистошимый и переменчивый в мыслях, всегда блестящий и убеждённый Витте, – земства вообще не совместимы с самодержавием. Вместо обслуживания местных нужд они тянутся вырасти и подорвать монархию.

Решения толпятся, принимать их – проще в один цвет. Непокорных студентов – в солдаты. Земств – не распространять далее. Финскую армию набирать на новых основаниях. А более всего как зеницу хранить – русскую крестьянскую общину.

Но деревня отвечает неурожаями – в самых богатых и обильных губерниях. Но Финляндия волнуется к полному отделению. Но общество возбуждается до крайней черты озлобления, так что, кажется, им и Россия сама не нужна, только бы не было у них царя. И то, что пишут они в газетах, так далеко от исконных русских представлений, как если бы два несхожих языка – и нет никаких переводов, и нет пути объясниться. А в университетах полтора учебных года прошло спокойно – и вдруг, открывая XX век, в феврале 1901 студент застрелил министра народного просвещения Боголепова!

Что должен делать монарх? Поклониться студентам? Просить ещё других выстрелов?

Суд был гражданский, он не имел прав покарать убийцу смертью (вскоре тот легко сбежал от наказания), – да за 6 лет царствования Николая ещё и не было ни одной политической казни, он никак не думал к ним прибегнуть. Тут собралась перед Казанским собором студенческая тысячная толпа. Были окружены, кое-где с дракой, и целыми толпами арестованы, восемьсот человек, так что не хватало места не только в тюрьмах, но и в полковых манежах. Одним внушали, других исключали, третьих рассылали по родным их местам. Надежда была, что теперь, без самых буйных, утихомятятся. И назначил нового, мягкого, министра – не мстить за убитого. Тот начал с разрешения университетских сходок и с поисков, как улучшить уклад учебной жизни.

Но в тех же днях стреляли в Победоносцева (не попали). В ответ на мягкие меры вражда общества к власти только усилилась от месяца к месяцу и принимала формы беспощадные.

В начале следующего года, 1902, новым юношеским выстрелом был убит министр внутренних дел Сипягин. И общество не скрывало ликования.

Вот тут Николай испытал уже – гнев. Это были выстрелы, по сути, в него самого. Ему – запрещали вести страну, требовали сдаваться. Но у него и колебания не было такого. Он нёс историческую корону, весь народ был за него – и только кучка интеллигентов против. Государь назначил новым министром – сторонника подавлений Плеве.

Именно внутри страны, где все – свои русские, и должно бы идти наиболее гладко – вгонялись смертные эти занозы. Любя эту страну и желая ей только добра – почему нельзя было жить всем мирно, хорошо?

Апрельской ночью поехать на глухарей. Хоть и вовсе не спи – на другой день после охоты всегда бодрое состояние, а можно после министерских докладов поспать. Обьезжать казармы и благодарить войска за службу. Присутствовать на манёврах и потом на длинных интересных разборах. Посмотреть, как стрелковый батальон проделывает рассыпной строй. Пospеть верхом на обычное место прохода улан или егерей в свой лагерь (Аликс подъедет на шарабане). В чудную погоду, море как зеркало, покататься вдвоём на тузике. Или смотреть гонку барж, вельботов, шестёрок. Вечером поехать на какую-нибудь весёлую пьесу, если летом – то в красносельский театр. (Красное Село всегда покидаешь с грустью – это центр всех воинских лагерей). Но нет лучшего наслаждения и освобождения, чем поехать на обед в офицерское собрание и засидеться там до ужина и дальше, непринуждённо беседуя, слушая неистошимые военные рассказы, цыган или русский хор, вернуться в два часа ночи – и ещё на другой день подняться под прекрасным впечатлением проведенного вечера.

Как легко жить тем, кто несёт ответственность только за свою семью! Но молодой монарх отвечает ещё за несколько десятков великих князей и княгинь, за своих двоюродных братьев и даже тётей и дядей, намного старше его, за доходы от их удельных владений, занимаемые ими посты – и даже за поздние привязанности их: дяди Михаила, потом дяди Павла, когда, пренебрегая династической представительностью и не желая побороть свои страсти, они избирали позорный путь морганатического брака, и так были удаляемы со всех постов, лишаемы званий, высылаемы за границу, – сколько это огорчений для всей династической семьи!

А наследник престола – вдумчивый кроткий брат Георгий, тихо истаял от чахотки, в уединении, в кавказских горах, мало пережив отца.

Трудность управлять – это трудность применить свою голову не к одному своему послушному телу, лёгкому на передвижения, и не только к своей семье, и не только к императорскому Дому, но осенить собою пространство, никак не свойственное отдельному человеку. Иногда, скалывая лёд в саду Зимнего, или во время верховых прогулок под Царским, Николай так напрягался умственно, сопоставляя противоречивые мнения собеседников и подчинённых, что передайся его напряжение в лом – тот бы заплясал как бешеный, а пройди и отзовись его усилие в лошади – она бы захрапела, понесла.

Трудность управлять – это и несносная трудность обращаться к управляемым. Легко – если это один-два-три собеседника в закрытой комнате или застольника за обеденным столом. Приятно, если это в военной, гвардейской среде, – тогда легко раскрывается рот, привольно льётся речь (тут выпал юбилей Пажеского корпуса – его праздновали долго, шумно, во многих формах, и Николай с удовольствием много говорил). Но сжато и стеснительно, когда надо что-то вымолвить перед собранием штатских людей, да ещё весьма образованных и многомысленных, – руки Николая как связывались, ни одного естественного жеста, вяз язык во рту, не способный продвинуться, чтобы произнести одно милостивое или любезное слово, и опасался император, что может быть даже краснеет, что смущение его видно, – и не знал, как провалиться сквозь землю, скорее уйти. (Рядом с Пажеским выпали столетние юбилеи Государственного Совета и учреждения в России министерств – Николай вынужден был туда казнить ехать, но ни тем, ни другим не произнёс ни одного слова). Послан был едва ли не каждому второму человеку этот дар – свободно держаться перед собраниями, но Николай костенел, леденел, и только надеялся, что его молчание выразится достаточно важно.

Трудность управлять – это мучительная трудность принять правильное решение и трудность выбрать верных людей, на которых бы положиться. Сколько раз казалось – вот, нашли решение! – но сопротивлением событий оно разваливалось, или сызначала же не находилось сил его выполнить. И сколько раз мнилось – нашёл правильного человека! Но хором других людей указывалось, что человек избран неверно. Да и все советники никогда не сходились едино, а все друг другу противоречили, из чего вытекало, что и сами они не знали, как будет верно. И год от года Николай стал всё меньше и меньше доверять советникам и даже не открываться им полностью, лишь выведывал их мнения, но в каждом заранее предполагал ошибку. Внутреннее царское чувство должно было подсказать верней.

Все министры, кто скромней, кто развязней, выставляли положительность своих мнений и действий и постоянно настаивали кого-нибудь награждать или назначать на выгодную должность, в какой-нибудь опекунский совет или в почётную отставку в Государственный Совет. (И сам Государь, внимая просьбе Кшесинской сложить с неё штраф за ношение не того костюма был вынужден пожертвовать директором театров). Кто, как Витте, считал, что блистает талантами, – внушал Государю, что именно на таланты надо ему опираться. Напротив, другие доказывали, что нужна лишь верность и преданность, и царя должны окружать не гении, но средние люди, чистоплотные труженики. Многотруден был путь – выслушивать одного, другого и третьего в их противоречиях, и прочитывать и прочитывать все стопы подкладываемых бумаг, а министры тем временем многое успевали делать сами, так что государево решение оказывалось уже и ненужным. От роя

противоречий и несогласий между министрами стал Николай более всего не доверять именно министрам – чем дольше тот был на своём посту, тем больше, – и снова начинал доверять им после отставки. Он приучался наружно выслушивать министра (чаще – скучая, иногда оживляясь, если доклад содержал забавное) и даже повышенно-любезно, если предполагал от него вскоре отказаться или решить ему наперекор, приучался скрывать от министров свои чувства и свои мнения, а искать верного совета у кого-нибудь случайного, доброго проникательного человека, не занимающего никакого поста, – и издавать важные акты без соответствующего министра или учреждения.

Если бы мог Государь непосредственно узнавать мнение своего народа – вот это было бы решение. Но министры забором стояли между ним и народом.

А ещё происходили задержки и перемены решений от того, что Аликс и Мама оказывались почему-то разных мнений, тем более – всё многолюдье великих князей (но многие из них претендовали повлиять на решения), да и всякие допускаемые на приём интересные лица. И сперва застенчивым, а потом всё более уверенным голосом научался говорить Николай: “Я так хочу. И не желаю, чтобы со мной дальше об этом разговаривали”.

Год от году он всё больше стал верить в самого себя, не более грешного и ошибочного, чем все они, но зато укрепленного Божьим помазанием. Он был – самодержец, и давно пора ему это понять, как ему и внушала Аликс. Он был – избранник от самого дня рождения, и уже поэтому мог управлять лучше их всех, только надо самому в себя поверить и следовать велениям совести, она никогда не обманет. Недаром говорится: “Сердце царёво в руках Божиих”. Николай ответствен ещё и перед историей, история поймёт его путь. А что его распоряжения не нравятся современникам – это не удивительно: люди, живущие в безверьи и в круге совсем других представлений о мире. Счастье, что с Аликс так хорошо понимали друг друга и поддерживали.

Правда, иногда, по грешному нетерпению, хотелось более отчётливо знать Божью волю через мистические связи, которые существуют для сведущих. Для этого можно воспользоваться посредничеством тех таинственных людей, которые общаются с потусторонним миром, – и через него многое безошибочно узнают. Как раз такой обаятельнейший человек – мсьё Филипп, оккультист из Лиона и доктор медицины, счастливо появился при петербургском дворе (через дядю Николашу и черногорских княжён). Он объяснил царю, что и не нужно никаких других советников кроме высших духовных сил. Он без труда стал вызывать духов, среди них и тень Александра III, который, выполняя упущенное при жизни, и стал теперь диктовать сыну приказания, как управлять отечеством. (Одно из первых было: назначить черногорскому князю пенсию в 3 миллиона). Также обещал мсьё Филипп помочь в их семейном горе: Аликс родила уже четырёх девочек, а наследника всё не было. Он внушил Аликс, что она беременна мальчиком, – и у царственной четы прошло несколько счастливых месяцев. Затем оказалось горестно, что беременности вообще нет, и эта внезапная смена потянула сплетню высшего света, что рождён был урод и пришлось его придушить. Такая великосветская гадость оставила глубокий шрам на чувствах Аликс и Николая. Вот уж кто от них был дальше всего в России – это высший свет с его лицемерным раболепным преклонением и готовностью тут же предать. От чуждости высшему свету, напряжённому этикету и от любви к скромной жизни императорская чета прекратила устраивать придворные балы: их счастливые вечера были – в кругу семьи, их субботы были – у всеночных.

У всех на свете есть враги, нашлись они и у мсьё Филиппа и представили сведения, будто он – не доктор медицины и преследовался во Франции за обман. Эта клевета на человека, ставшего ему и Аликс дорогим, разгневала Государя, он небывало вышел из себя, бросил бумаги на пол, топтал их ногами – и велел просить президента Франции выдать Филиппу недостающий диплом. Велись переговоры, французское правительство опасалось запросов в парламенте, – тогда решено было дать Филиппу русский диплом, чин действительного статского советника, и пожаловать в русские дворяне. Тут наш главный полицейский агент во Франции, некий Рачковский, обязанность которого была следить за

нашими там революционерами, полез не в своё дело и донёс, что мсьё Филипп будто бы простой мясник без образования, французская полиция запретила ему лечить больных и он обратился к гипнотизму. Создался тяжёлый осадок, убрали Рачковского из Парижа, и в отставку.

Так разные несчастные обстоятельства отяготили светлые возможности мсьё Филиппа – и не более года тянулось это время полного освобождения от министерских мнений, когда Николай мог приказывать категорически, зная, что решение исходит от высших сил. К несчастью, не сумел Филипп получить и решающих указаний: как же Николаю единственно-правильно вести себя на Крайнем Востоке?

Но – он видел этот край! – в этом, очевидно, сказался Божий замысел. И тот же замысел в сопредельности восточных русских земель с китайскими. Дремлющий в упадке Восток нуждается в сильной руке со стороны, – от кого ж, как не от России? Очевидно, грандиозно-замысленной задачей царствования Николая было – распространить русское влияние и власть далеко на Восток: взять для России богатую Манчжурию, идти к присоединению Кореи, может быть распротереть свою державу и на Тибет. И Аликс очень поддерживала. А чтобы при том не возникло никакой войны – лучшим залогом было мощное поведение России. Да никто там не посмеет против России.

И странно: величие и неотложность этих задач лучше всего разделяли с Николаем не естественные его помощники, русские министры, но германский император. Это время они виделись с кузеном каждый год и переписывались дружественно, со стороны Вильгельма – нежно, почти любовно. Даже свой морской флот Вильгельм предназначал кажется только для того, чтобы помочь Николаю поддерживать в мире спокойствие. Даже берлин-багдадскую дорогу он строил кажется только для того, чтобы предоставить её для переброски русских войск против Англии. В Ревеле в 1902 Николай открылся преданному, даже покорному, кузену и другу во всей великой азиатской задаче своего правления. Вилли, отплывая, изящно попрощался, морскими флажными сигналами передал: “Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого!” А подписывался – “всегда на страже, Вилли”, и действительно сообщал многие секреты, узнанные его агентами в Азии о скрытой английской враждебности и о японской подготовке. Он снова и снова предупреждал Николая об опасной **крымской комбинации** врагов России: что демократические страны, управляемые суматошным парламентским большинством, всегда будут против устойчивых императорских монархий, – и в своих азиатских шагах ещё увидит Николай и вражду Англии и Соединённых Штатов, и безучастность плохой союзницы Франции. Он объяснял, что на европейском континенте всякий понимает: Россия, подчиняясь законам экспансии, должна стремиться выйти к морю и иметь незамерзающую гавань для своей торговли, а для того иметь и Hinterland в виде Манчжурии, иметь и Корею, чтоб она не стала угрозой и помехой в торговле. На континенте для всякого непредубеждённого человека ясно, что Корея должна быть и будет русской, а когда и как – до этого никому нет дела, а касается только русского императора и его страны.

Увы, российские министры не были так единодушны со своим Государем – и только то было утешение, что они сами со временем противоречили себе прежним, как быстропеременчивый Витте, и постоянно противоречили друг другу. Витте, придумавший всю эту манчжурскую железную дорогу и требовавший сперва послать побольше русских войск, затем отшатнулся и настаивал убирать войска, чтоб зарубежное долгое содержание их не принесло бы финансового краха России. А военный министр Куропаткин, кто, кажется, более всех был обязан поддержать воинственные намерения своего Государя, жаловался как баба, что мы слабы иметь войска одновременно и на Западе и на всём азиатском пространстве. Куропаткин советовал вовсе не касаться Кореи (между тем обещавшей нам очень большие выгоды в будущем), отказаться от южной Манчжурии, от Мукдена, священного китайского города, которых мы защищать всё равно не сможем, но настраиваем против себя весь мир, – а остаться только в северной Манчжурии, чем будет защищён Амур и железная дорога, и вдвое сокращена граница, и не будет столкновения с Японией. Этого

столкновения особенно опасался Куропаткин из-за того, что ещё несколько лет нам необходимы для окончания Сибирской магистрали, а пока, из-за байкальского парома, только три пары поездов проходит в сутки по ней. (Он не понимал, что этого столкновения никогда не будет, Япония не осмелится). Тут Витте, снова в противоречие себе, соглашался присоединить Манчжурию и даже открывать лесную концессию в Корее. А Плеве надеялся, что азиатское столкновение отвлечёт и успокоит внутреннее брожение в России. Куропаткин, напротив, пугал, что война с Японией была бы крайне непопулярна и внутренняя смута увеличится. Удерживаясь же в одной северной Манчжурии, мы наверняка избежим всякой войны. Легче было бы не иметь ни единого советника, чем двух или четырёх. Разобраться, кто же тут прав, было бы просто невозможно, если бы Николай не превосходил их всех знанием Востока, а душой и сердцем не чувствовал бы лучше их славу и пользу России.

## 74

Тем временем смута образованных людей по всей России действительно не стихала, но необъяснимо разрасталась в какое-то общее сплошное круговое неудовольствие: делай ли так или наоборот – всё равно плохо. На газетные мерзости не было никакой управы, в газетах – ворох клеветы, оскорбительных фельетонов и возбуждение всех к беспорядкам. Как в таких случаях быть? как поступил бы отец? Рассказывали Николаю: когда какая-то Цебрикова написала против императора памфлет, и он ходил во многих списках по столицам, и её хотели арестовать, – Александр III распорядился: “отпустите старую дуру!”. Пробовало правительство и теперь не обращать никакого внимания – пропаганда разрасталась ещё наглей. И пробовало наказывать – где распустить земскую управу, где арестовать и сослать студентов, – разрасталось ещё хуже. В том был корень всех бед, что как только российский гражданин получал хоть начатки образования – он тут же непременно становился врагом правительства, и дальше уже ни лаской, ни таской его нельзя было от этого отклонить. Поручали им дело – статистическое изучение деревни на предмет подъёма её, – превращали статистику в пропаганду: поджигать помещиков. Отдавали политически неблагонадёжных на исправление в армию – портилась армия и не хотела выполнять своих обязанностей. В то время как всё японское общество строго и возбуждённо поддерживало своё правительство против России, было крепко в патриотизме, – русское общество как сошло с ума: оно не хотело никакой славы России, никакой выгоды её торговле, никакого расширения её влияния и готово было освистать даже любой успех и победу. По поводу же Крайнего Востока висла одна только брань.

Так великий замысел об освоении азиатского Востока всё более тяготел на одиноких плечах Государя. Однако смутой общества следовало пренебречь как помехой незаконной, незаконномерной, временной.

А великий замысел и не может быть изъяснён даже самому себе в нескольких словах. Он парит высокими облаками над просторами Азии – и в Тибете ли ему край, в Индии или в Персии, – этого никто из живущих не знает. Начали с манчжурской железной дороги. А иметь дорогу – значит иметь и незамерзающий порт в конце. Иметь дорогу, значит, нуждаться и в охране её, а разве может такую охрану обеспечить неустойчивая китайская власть, сама на развале? Китайские беспорядки 1900 года навели на то, чтобы русским войскам занять Манчжурию – временно, против собственного желания России, только ввиду этих тревожных событий. Однако задержка там русских войск и после конца событий вызвала повсюду большое возбуждение. И в начале 1901 пришлось сделать публичное заявление, что мы, уважая неприкосновенность Китая, ищем способа скорей очистить Манчжурию – как только восстановится центральное правительство в Пекине и нормальное положение в Манчжурии. Однако – это частный вопрос между Китаем и Россией, и никто не смеет обсуждать его со стороны. А тут как раз Китай, запуганный Японией, не захотел подписать с нами соглашения об эвакуации – и это обстоятельство отныне развязывало нам

руки! Отныне русское императорское правительство оставляло за собой полную свободу действий. О безусловном возвращении Китаю Манчжурии теперь не могло быть и речи – пока во всём Китае не восстановится вполне нормальный порядок. Но Япония была глубоко задета – и выступила теперь уже как союзник Китая, якобы в защиту его целостности против замыслов России. Она не хотела примириться, что 6 лет назад была вынуждена уступить то самое, что Россия теперь взяла. Наш посол в Токио всячески разъяснял, что Японии нечего опасаться: только западноевропейские державы преследуют в Китае цели колонизации, Россия же, как и Япония, – держава восточная, интересы её в Азии – чисто домашние, она не может желать присоединить Манчжурию. (Впрочем, на всякий случай мы и зондировали, к каким последствиям привело бы официальное заявление России о намерении присоединить? Это было постоянное истомляющее колебание: возвращать Манчжурию или нет? Ясно было, что из западных великих держав ни одна не вступится прямо, – но так ли выгодна Манчжурия, чтобы принять вызов Японии? А с другой стороны, Япония никак не может решиться на войну в одиночку против всемогущей России. А с третьей стороны: если уходить из Манчжурии, то как не допустить, чтобы её отдали разрабатывать другим державам?) Кроме Манчжурии был Порт-Артур – этот безусловно должен был остаться наш. (Куропаткин заверял, что он выдержит хоть десятилетнюю осаду). А ещё была – Корея, вопрос наиболее сложный. По соглашению 1896 года японские и русские права в Корее должны были быть равными, по протоколу 1898 Корея должна была оставаться независимой. Но Япония так обнаглела за минувшие годы, что уже требовала себе там исключительных военных и политических прав. И тщетно русские представители разъясняли японским, что Россия не может безучастно относиться к состоянию маленького соседнего государства и допустить утверждение в ней чужой политической власти. В Петербург приехал недавний японский премьер-министр, весьма влиятельный маркиз Ито, Николай принял его и подтвердил разъяснения, а Ито высказывал японские подозрения о затаённых русских планах в Корее, тогда как Япония нуждается там в политических и военных правах. Маркиз предлагал новое соглашение: признать права Японии в Корее, ибо Корея слишком слаба, чтобы существовать самостоятельно, и ни слова о Манчжурии, Россия может свободно действовать в ней, – и ничто впредь не будет мешать тесной русско-японской дружбе, ибо Корея единственный предмет раздора. Но Николай и сам без своих советчиков легко видел, что предложение маркиза – невыгодное, ничего нового не приносит России: Манчжурия – и без того в руках у России, она так и остаётся, а Япония ещё не опиралась ни на что на материке, и вот в Корее приобретёт права, загораживая такой же путь России. В Корею мы непременно должны также продвинуться в ходе своего естественного распространения – хозяйственными интересами и поддерживающими военными отрядами. Соглашение с Японией в декабре 1901 не состоялось.

Тотчас за этим Япония вступила в военный союз с Англией (дружественная поддержка при войне с одной державой и военная при войне с двумя), – Англия, еле вытянувшая ноги из Трансвааля, бралась поддерживать Японию, если вступится ещё или Франция, или Германия. Но Франция поспешила разъяснить, что русско-французский союз относится только к европейским делам. Но Германия, за пределами нежных писем Вильгельма, не желала помогать слишком явно. И даже старые друзья – Американские Соединённые Штаты – поворачивались против России, очевидно под влиянием еврейского общественного мнения.

Велик был мир – а Россия в нём одинока.

Велика Россия – а император в ней одинок.

И тем не менее он не мог отказаться от великого и таинственного азиатского замысла. Сосредоточением воли должен был Николай провести Россию этим небывалым фарватером. Оказывались худы, неспособливы все назначенные министры – значит надо было действовать в обход министров, искать и использовать истинных верных помощников.

Таким был прежде всего Сандро (женатый на сестре Ксенье). Сандро горячо брался за дело – как усилить наш флот в Тихом океане и как устроить лесную концессию в Северной Корее, не считаясь с неразумным противодействием корейского правительства. Таков был и

адмирал Алексеев, опасавшийся, что нашей чрезмерной уступчивостью мы только вызовем новые японские требования. (И с этим отважным человеком Николай вполне соглашался: ни в коем случае не уступать!) Уж если воевать с японцами, то лучше в Корее, чем в Манчжурии. Корея должна стать русской. И нельзя выводить войска из Мукденской провинции: останется необеспеченным Порт-Артур. Ещё был чудесный советник адмирал Абаза, сухопутный. Но более всех пришёлся желанным помощником через того же Сандро представленный Безобразов, отставной кавалергард и потому особенно хорошо понимавший военное дело также. Это был человек решительный и цельный, он обещал одной мимикой взять для России и всю Манчжурию и всю Корею. Государь сделал его своим личным разведчиком и уполномоченным на Востоке, возвёл в статс-секретари и дал сноситься с собою отдельным шифром, минуя нерешительных министров. Это было государево око, зорко наблюдающее, где что ещё не доделано для нашего величия, где ещё не исполнены веления Государя. Безобразов, ознакомившись с секретными материалами генерального штаба, решил вопреки неуклюжему военному министру что нам совсем не следует укрепляться на западной границе, но все средства бросить для восточного развития. К тому же, как объяснил он, наши экономические предприятия в Корее, лесная концессия, быстро начнут приносить, фантастические барыши, и Восток окупит сам себя. (Пока что он взят кредит в 2 миллиона). Его энергия воодушевляла Николая! Безобразов повсюду на Востоке в окружении своей свиты распорядился, не считаясь ни с русскими министрами, ни с обязательствами русских дипломатов, ни с ничтожным китайским правительством. Он действовал сам от себя, и только такая диктатура могла двинуть вперёд дальневосточные задачи. Николай не мог нарадоваться своему выбору и как он сам ловко отделался от опеки министров. Теперь, минуя слишком осторожного министра иностранных дел, Николай сносился прямо с адмиралом Алексеевым и Безобразовым, и только огорчился, что и между ними двумя тоже вспыхивают противоречия. Никогда не удавалось ему иметь одновременно двух одномысленных помощников.

Но он и сам впервые креп в себе по-настоящему и чувствовал себя воистину самодержцем.

Да дела на Востоке и шли хорошо, всё сопротивление придумывалось пугливыми советниками. Наше влияние неуклонно распространялось, только чересчур медленно.

Летом 1903 сбылась одна заветная мечта Николая: самому участвовать в канонизации русского святого. Это был преподобный Серафим Саровский, умерший ещё при прадеде. В июле Николай поехал участвовать в торжествах в лесные места Тамбовской губернии. Он не взял с собой ни государственных людей, ни государственных забот, ни придворной свиты. Он – как бежал от этого безверного, насмешливого, затхлого петербургского мира, – бежал окунуться в святость и в свой народ. И ожидания его сбылись наилучше. На прославление святого, так забавное образованному обществу, во многих тысячах собрался простой народ, телегами из дальних мест. Не было потребности ни в дворцовых церемониймейстерах, ни в полиции, ни в охране: распрягши коней по сторонам, бородатые паломники и в белых платках паломницы залили собою всё примонастырское пространство, и стекали к обеим сторонам лесной дороги поглядеть, как их царь несёт гроб святого. Четыре дня шли богослужения то в одном храме, то в другом, полна была молящимися монастырская ограда, и многие вне её стояли на коленях и молились, и зажжёнными свечами молящихся в безветренную густую ночь был обставлен пеший перенос гроба из монастыря в скит, и слитные церковные песнопения поднимались с разных сторон в ночное небо. Николай не помнил, когда был так светел и счастлив. Вот, он видел несомненный народ в его жаркой вере и с несомненным совпадением его молитвенных чувств и своих, – и отсюда, из центра поднебных богослужений, так дико было представить где-то в этой же стране – высший свет, ушедший от Бога, профессорскую смуту, студенческие крики, дерзости печати и злодейство революционеров. Из Царского Села, из Зимнего Дворца то всё казалось страшно, а отсюда, из гущи истинной России, – призрачно, как небылое. И что бы сказали эти крестьяне, если бы их посадить судьями над теми студентами, каким дано учиться, а они разгоняют лекции? Он

радовался, что этой весной разорвал удерживающих советников – и вот этим самым добрым крестьянам отменил жестокую круговую поруку, ответственность невинных за виновных, послушных – за ослушников. Вот, без бумаг, канцелярий и высшего света он соприкасался со своим истинным народом и был истинным народным царём, какого и жаждет Россия. В народе – правда, и в царе правда, и как бы постоянно ощущать эту саровскую связь – и царскою волей выражать народную мысль?

“Не посрами нас от чаяния нашего...”

Николай вернулся из Сарова небывало утверждённый в себе. Ему совершенно ясно стало, что он должен быть неуклонен в своей царской воле и убирать препятствия. Тотчас по возвращении он пустил в почётную полутставку Витте, извергавшего каждую неделю новый проект (и сам же высторанивался от своих мер, когда общество шумело). Теперь Государь осуществил свою идею: полностью выделить дальневосточные дела из русских, учредил особое наместничество адмирала Алексеева – исключив весь Дальний Восток из ведения всех министерств, отдав адмиралу и командование войсками, и управление краем, и всю дипломатию с Китаем и Японией, – вести дела, как он хочет и умеет. Государю так было и легче: получать лишь готовые доклады об успехах, не ломая перед тем голову, тем более, что этой осенью пришлось на несколько месяцев удалиться от государственных дел и из самой России: безвременно умерла гессенская принцесса (Аликс просто изрыдалась, не помнила другого такого горя) – и они вдвоём поехали жить там, на родине Аликс, и оплакивать умершую.

Теперь-то Япония должна была смириться, почувствовав русскую решимость! Но странно, нет! – на что она рассчитывала? В августе прислала предложения – Николай не мог рассматривать их иначе, как нахальство. Наши агенты оттуда доносили, что Япония готовится к войне, это и вовсе было бы для неё самоубийственно. Войны возникнуть никак не могло, но, разумеется, следовало её избегать. Алексеев разговаривал с японцами достойно-твёрдо. (Жаль, что они опять ссорились с Безобразовым). Пришлось занять снова Мукден и подослать войск в Корею. В ноябре совсем кажется успокаивалось. В декабре вдруг сообщил военный агент, что японское правительство решило начать войну. И Вильгельм откуда-то взял, предупредил, что Япония начнёт войну в середине января. Очень были возбуждены японские газеты. Вот, как сказали им – “назад!”, 8 лет тому, и они ушли, так решительно надо было и теперь – не отступать нигде и разговаривать твёрдо! Время – лучший союзник России, от каждого года мы станем только сильнее. В январе японцы дерзко предложили нам: совсем уступить им Корею, а по Манчжурии у них претензий не будет. Свой же министр иностранных дел настолько не помогал, а тормозил всякую активную политику, что пришлось Николаю изобретать и действовать втайне от него: двух предприимчивых калмыков послать в Тибет, разжигать его против англичан. (Ах, жаль, ах, жаль, не вмешался в Трансваальскую войну, ещё не было тогда решимости!) В конце концов создавалось положение, полное томительной неизвестности. Если, не приведи Бог, война, то надо оттянуть её ещё на полтора года, пока мы сомкнём Сибирскую магистраль вокруг Байкала. Но лучше всего, конечно, сохранить мир. Так обсуждал на совещании с министрами 26 января – и весь день сохранялось приподнятое состояние: превзойти японцев миролюбием, духом Гаагской конференции, и они тоже очнутся. Вечером был на “Русалке”, пели очень хорошо, а воротясь, получил телеграмму от наместника, что ещё в минувшую ночь японцы коварно атаковали Порт-Артур, повредили два наших броненосца, один крейсер – и намного подорвали наш флот по сравнению с их.

Самые большие несчастья даже не воспринимаются нами сразу, мы не можем их охватить. В эти дни ещё было только негодование против дерзости и решимость нанести достойную кару за вероломство. Военный министр Куропаткин, назначенный командовать действующей армией, был уверен в быстрой победе: серьёзного сопротивления не будет. После разгрома японской армии на материке надо произвести десант на японские острова, занять Токио – разбить японцев хоть и вместе с Англией и Америкой. Богатырская Россия! – узнают её гнев. Лишь больно, что в самой России плохо подумают о нашем флоте.



Много других обычных чувств, забот и дел помещались в груди и в протяжённости дней. В эти недели сильно недомогала Аликс, теперь уже с несомненностью беременная, – всё время лежала, лежала с мигренями, лишь иногда переключивалась на кушетку, совсем редко садилась к обеду. Не выходили, не выезжали вместе, без неё наслаждался “Сумерками богов”, концертами соединённых хоров или андреевских балалаек, – тем более охотно в остальные вечера оставались одни и читал ей вслух. Дни всё так же были полны докладами, чередой представляющихся, чтением бумаг, чаями, завтраками, фамильными обедами с Мама или многочисленными членами династии, иногда под музыку, рядовыми церковными службами, а нередкими панихидами, отпеваньями, молебнами освящения зданий, гулять доставалось только в саду Зимнего, посещал очередные караулы с их оживлённой сменой мундиров, однажды выходил на крышу. Зима в Петербурге стояла на одних оттепелях, все ездили на колёсах, и уже в марте неслась по улицам убийственная пыль. Только по воскресеньям можно было вырваться в пышноснегое Царское, насладиться милым парком и подолгу восхитительно гулять, со спутником или с собаками. Всего два раза за зиму охотились в Ропше, в фазаннике, правда очень удачно, убивал сам по сотне птиц за день. Смотрел, как строятся корабли, – на Галерном острове, в Новом Адмиралтействе, на Балтийском заводе – работа кипела, и у рабочих были хорошие весёлые лица. Это залечивало обиду от тех сорока мерзавцев в Московском университете, телеграфически поздравивших микадо с победой над нами; от тех тифлисских или тверских гимназистов, семинаристов, даже епархиалок, кричавших по улицам “да здравствует Япония, долой самодержавие!” (что делать с такими?).

Надо было ждать и терпеть. Война на отдалённом театре требовала долгого снабжения, сосредоточения. Сибирская магистраль работала с байкальским перерывом. Балтийский флот ещё не скоро будет готов двинуться вокруг Африки и Азии. Франция в эти же месяцы объявила с Англией сердечное согласие и не помогала нам. (Прав был Вильгельм: они всегда столкнутся в “крымскую комбинацию”). Но именно обязательства перед Францией не давали нам убирать свои войска с западных границ. Только Вильгельм был как никогда сердечен, гордился и титулом русского адмирала, и доверенностью к нему Николая, призывал вместе ждать помощи неба и тактично утешал в неудачах, над которыми открыто насмеялась вся печать либеральной Европы, Америки и собственные домашние либералы.

Война пошла – какая-то роковая, японцы и не спешили как будто, но каждый их шаг был удача, а каждый наш – поражение, так что благословенны были дни, когда с Востока не приходили никакие телеграммы, потому что приходившие были всегда плохими. Николай хранил большую надежду на Алексея, писал ему долгие письма, получал от него благоприятные бодрые телеграммы – но они не подтверждались потом. Японцы трепали нас у Порт-Артура, не давали движения Владивостоку, на Пасху на японской mine взорвался первоклассный броненосец и несравненный адмирал Макаров на нём. Накопив войска на континенте, японцы стали наступать, а наши войска, не сомкнутые, при недостатке снаряжения и даже провианта, везомого из России, ёжились и пятались на неохватимых пространствах Манчжурии, теряя пушки (с Бородин мы не теряли их), разорванные отступали на север и отступали на юг к самому Порт-Артуру, не удерживая выгодных рубежей. Ещё вчера Россия виделась всему миру, сама себе и своему императору – державою несравненной мощи. И вдруг в несколько недель вся её мощь оказалась уязвимой, малочисленной и не на месте, роковым образом – **не там** : не там вся сухопутная армия, и не в том океане флот, и даже заперт не в том порту, и моряки, как подменные, мазали непростительные ошибки.

Своим высшим достоинством в такое позорное время счёл Николай – скрывать унижение и горе за полной невозможностью. Чтобы как будто ничем не было нарушено отправленье ежедневных обязанностей. В саду добывал исчезающий снег – и как всегда на свежем воздухе и от движения настроение улучшалось. Не пропускал ни одной церемонии, где его ждали: подъём штандарта, церемониальное прохождение военных училищ (сам себя зная стройным и лёгким, и ловким), парад с атакой на Дворцовой площади, юбилей

кирасиров и парад их в конном строю, полковое учение лейб-гусаров или улан и многие другие смотры и полковые праздники, выпивал традиционную чарку перед фронтом парадов или в столовой нижних чинов, принимал закуски и завтраки в офицерских собраниях, принимал выпускников всех военных академий, присутствовал при надувании воздушного шара, осматривал военно-санитарный поезд имени Ея Императорского Величества, осматривал новую морскую походную амуницию, – и от того, как замечательно она продумана и прилажена, поднимался дух, и веселей представлялось всё будущее вооружённых сил и армии. А ещё укрепляла всякая беседа с контуженными или ранеными, прибывшими с Дальнего Востока и снова туда направлявшимися: от этих касаний Николаю казалось, что он и сам там побывал и поучаствовал. Но особенно поднялся дух, когда Петербург встречал героев “Варяга” и “Корейца”, Николай угощал их в Зимнем.

Само собою шла череда субботних и воскресных служб (и пасхальное большое христосование, 700 человек придворных и нижних чинов охраны), которые Николай не пропускал, и где в настойчивых молитвах прилагал те усилия, которых реально физически не мог простереть через Сибирь на далёкую Действующую армию. Как и каждый год, не пропустил апрельский молебен в годовщину своего чудесного спасения в Оцу от японского убийцы: в этом году память того события приобретала символическое значение: в тот день явлена была ему милость Божья – и не без смысла же.

Само собою Государь принимал удачно-короткие или тяжеловесные доклады министров, иногда до одурения читал бумаги и писал на них, не упускал множество мелких дел и всяких распоряжений. А когда подолгу не было подбодряющих телеграмм от Алексева – отводил душу в беседах с генерал-адмиралом дядей Алексеем или с адмиралом Абазой, которого и держал для этого в Петербурге.

Не было оснований нарушить регулярный годичный круг, как жила и переезжала семья: от конца весеннего таяния – в Царское, при расцвете лета – в Петергоф, к морю (при въезде традиционно – весь уланский полк выстроен по Александровскому парку). Регулярная смена любимых мест – одно из лучших наслаждений жизни. В Петербурге удобнее съездить в театр, посмотреть выставку исторических и драгоценных вещей или археологическую коллекцию, но гулять тесно и кататься только по набережным. В милом Царском чудные прогулки во всякую погоду, даже под проливным дождём или при сильном ветре, но особенно наслаждаешься солнечной мягкой; или верхом вокруг Павловска, или целой компанией в Гатчину к Венерину павильону и там чай пить, и готовят блюда на свежем воздухе. Этим летом ещё надумали кататься на железнодорожном моторе. Весной два охотился на глухарей на току, а то наладился в царскосельском парке охотиться на ворон: сперва убивал по одной в день, потом уже и по две. А в Петергофе – поездки на шлюпках, на электрическом катере до бакенов, или возиться с собаками у моря, или просто баловаться в речке, ходя голыми ногами, – ото всего этого распорядка вносилось большое успокоение. Да ведь 36 лет, молодое тело всего просит. А уж по воскресеньям устраивали строго-замкнутый домашний отдых, никаких докладов – и окончательно легчало на душе, будто в мире ничего дурного и грозного не происходило. (Не ото всего спрячешься и на семейных обедах: дядя Алексей, пожалуй, слишком много вмешательной власти забрал во всей азиатской истории и в этой войне, а устранить его от морского ведомства препятствовала Мама. А для Кирилла, чудом спасшегося при взрыве броненосца, когда погибли все, и Макаров, дядя Владимир теперь требовал отдыха и заграничного лечения, нисколько не стесняясь горькими событиями).

В этом году отмечали между собой и 10 лет помолвки и 8 лет коронации (воспоминание об этом миге тоже подкрепляло, не могло быть помазание всуе). Но самое особенное было в этом году – беременность Аликс и шестая вспышка надежды, что родится сын! Как берёт её Николай в этот год! – почти все дни катал и катал в кресле по царскосельским и петергофским аллеям, по милым паркам (иногда девочки рядом на велосипедах), когда могла – катал на шлюпке по прудам, а то – она в коляске с детьми, а он верхом рядом. И невыносимо было один день не увидеть её – никогда б и не отлучался, если

бы не возникла счастливая большая мысль: что в руках монарха есть способ воздействия на войну высший, нежели доступно генеральским штабам или зависит от снабжения, снаряжения, провианта.

Способ этот: прямо передать войскам ту благодать, которой обладает помазанник. Показать себя войскам и благословлять их – целыми полками, батареями, отрядами, и даже – отдельно каждого передачею ему от царя священного образка, например Серафима Саровского. Такое благословение и зримый вид царского лика воодушевят солдат и многое исправят в упущениях подготовки и полководительства. Аликс одобрила эту мысль, вместе с ней выбирали для войск образа. Невозможно было достичь тех войск, которые уже воюют на Востоке, но можно было застичь отправляемые полки, – и Николай решил ни одного из них не упустить своим благословением, распорядился так подстроить их готовность к прощальным парадам в разных местах, но по одной железной дороге, чтоб отлучаясь от Аликс не более, чем на неделю, мог бы объехать и благословить сразу многих. В первую такую поездку объехал Белгород, Харьков, Кременчуг, Полтаву, Орёл, Тулу, Калугу, Рязань. Полки и батареи представлялись отлично, чудно, повсюду был большой порядок, даже после ливней проходили замечательно (лето стояло со многими частыми ливнями и даже бурями, но в тепле, и благодатно сразу нагревался и возносился воздух). Нечего и говорить, как войска были воодушевлены, что сам царь провожает их на войну, никого не забыл, не обошёл благословением. Но так пусто и тяжело без нежно-любимой. И какая радость под чудным впечатлением совершённой поездки быстро очутиться снова дома и увидеть родную Аликс. (И, увы, снова сесть за доклады, которые в поездку не посылались). Второй раз объехал Коломну, Моршанск, Тамбов, Пензу, Сызрань, Уфу, Златоуст, Самару, и было поразительно радостно смотреть на представляющиеся полки, удивлялся равнению и тишине в строю при церемониальных маршах (особенно отличились тамбовские и моршанские полки), кое-где среди запасных нижних чинов узнавал знакомых, виденных при отбытии ими службы, – память на лица и фамилии у Государя была редкая. На станциях представлялись многочисленные депутации, иногда население стояло вдоль железной дороги, в каждом городе непременно посещал соборную службу. Вернулся из поездки с умилённым благодарением Господу за его милости и с уверенностью, что он не оставит России. Тем более было отрадно возвратиться в лоно семьи и снова катать свою жёнушку в кресле по аллеям. В третью поездку побывал в Старой Руссе и Новгороде, и снова остался очень доволен смотрами и особенно – видом людей. Четвёртая поездка была на Дон – в казачий лагерь под Новочеркасском, правда очень жарко в вагоне. На платформе была встреча от Войска, дворянства и торгового сословия. Пропустил мимо себя донскую дивизию дважды, благословляя иконами. Казаки представились молодцами, на отличных лошадях, самое лучшее впечатление. Потом многие казаки скакали рядом с поездом и очень ловко джигитовали. По пути на станциях народу было масса, такие приветливые весёлые люди. Нет, непобедима Россия! Не оставит нас Бог никогда.

А между тем наступил незабвенный великий день, в который так явно посетила нас милость Божья: 30 июля днём в один час с четвертью Аликс родила сына! Нет слов, чтоб уметь благодарить Бога за ниспосланное Им утешение в эту годину трудных испытаний. Поехали к молебну. Конечно, со всего света навалилась гора телеграмм, и пришлось три дня отвечать. Предложил Вильгельму быть заочно крестным отцом, он был очень польщён. (Во весь этот тяжкий год он – единственный верный внешний друг, сочувствовал погибшим и поражениям, обещал снабжать углем русскую балтийскую эскадру в кругафриканском плаваньи, давал советы, как черноморским флотом вырваться сквозь Дарданеллы, присылал агентурные сведения об Англии, как она помогает Японии, только очень настаивал на торговом договоре, тяжёлом для России. Послал к нему Витте). На 12-й день состоялось крещение наследника – и вереница золотых карет выстроилась у моря, в окружении казачьего конвоя, гусар и атаманцев. В этот день отменил последние телесные наказания в России. А на 40-й возникло у маленького опасное кровотечение, но он был удивительно спокоен и весел. (Защемило сердце надолго).

Перед рождением наследника японцы подошли к Порт-Артуру с суши и приступили к плотной осаде. Флот оказался в ловушке (несчастливая мысль была Алексеева держать его там). Николай велел флоту уходить во Владивосток, но прорыв не удался, потрёпанный флот вернулся в обречённый Порт-Артур. Терпел неудачи и владивостокский крейсерный отряд. (И посылать ли теперь туда Балтийский флот? ведь он не справится). Полоса дождей ещё удерживала сухопутное сражение. В августе оно произошло под Ляояном при силах почти равных, но Куропаткин потерял дух, упустил возможную победу, принял обидное решение отступить, опасаясь окружения фланга. Тяжело и непредвиденно.

Какая-то бессмысленно-несчастливая война, без единой удачи. Как будто расколосось и гасло солнце России. Как будто рассыпалось в воздухе оружие, едва его подымал русский император, – либо рассыпалась самая рука его.

После Ляояна что-то начало носиться в лицах и глазах, что мы можем – не победить.

Не сами потери были так велики – в битвах прошлых войн Россия теряла и больше, но славно. А были они неожиданны, несоразмерны воюющим странам, позорны, давая волю западным карикатуристам изображать, как маленькие макаки, спустив штаны с рослого великана, секут его и погоняют.

В это лето через два мерзких случая постигло две смерти: террористы убили сперва финляндского генерал-губернатора, затем – министра внутренних дел, когда он ехал в Петергоф с докладом. В лице Плеве Николай потерял незаменимого министра. Строг Господь, когда посещает нас своим гневом.

И – как разгадать нам гнев Его? Это значит – мы сами не видим, где неверно ступаем. С простодушною радостью кричали царю “ура” все осмотренные им войска, вереницы сёл и уездов вдоль железных дорог махали руками, шляпами, бабьими платками, – но может быть за всеми их миллионами не следовало забывать всё более рассерженного, необъяснимо злого образованного класса? Быть может, ему в чём-то надо было уступить? Плеве успешно держался линии – всякое внутреннее недовольство подавлять. Но может быть во время неудачной войны министр внутренних дел должен быть помягче? Николай назначил князя Святополк-Мирского, зная, что его любят земцы, что и в нём самом либеральный дух, однако же не до конституции. Быть может правильно было – никакой борьбы ни с кем внутри страны не вести, но дружно сплотить усилия и правительства и общества. Это всегда был самый трудный вопрос: что делать с недовольным обществом? И подавлять без конца нельзя и уступать без конца неправильно. Самое верное было бы – увлечь их сердечной любовью к России. Но они не увлекались.

Хотелось сожмурить глаза, разожмурить – и нет недовольства общества, а то бы – и японской войны. Отдельные дни проходили спокойно – и если бы все так! Привычный распорядок укреплял душу. Искал с Мама грибы. Опять катал Аликс в кресле, как привыкли до родов, вечерами много читал ей вслух, а маленькое сокровище лежало в постельке. Возникли большие осложнения с англичанкой-няней, долгие колебания и обсуждения, уволить ли её. Иногда на красивом закате выходил в море на байдарке. Николай жил с природой как с главным живым существом. Первым событием его дня всегда было: какая сегодня погода? И весь день он ощущал её всякую, хорошую или дурную, от этого зависело настроение его, как принимал он собеседников и мысли их, в какую сторону склонялись его решения, и вечером над дневником первая мысль была – о погоде минувшего дня. После странного лета осень грянула неоправданно, обидно рано, с пронзительными ветрами, с налитым холодом даже солнечных сентябрьских дней, и на эту раность Николай мог так обидеться, что не шёл на прогулку. От моря переехали в Царское только в конце сентября. Охотились за Гатчиной и под Петергофом. Облавы были удачные, летела масса пера, убивал фазанов, тетеревей, куропаток, а беляков даже и по полсотни враз. Всё так же посещал полки, парады, представлялись кавалергарды то шагом, то галопом, фотографировался с офицерами, пил за здоровье полков, ездил на освящение церкви драгун, на освящение суворовского музея, на праздник гусар в экзерцирхаузе. Приезжал в гости греческий принц Джорджи, спаситель Николая тогда в Оцу, просил отобрать у Турции Крит и передать

Греции. Вечно ему благодарный, Николай охотно бы взялся за посредничество, но, по тяжёлому году, лишь поддержал ходатайство принца перед европейскими правительствами: в самом деле, и передать, отчего бы нет?

Не сиделось на месте безучастно к войне, и Николай снова и снова ездил в дальние поездки – благословлять иконами отходящие на Восток войска, целые дивизии или стрелковые бригады, верхом выезжая в лагерь с ближних станций, где встречали его делегации дворян, делегации крестьян. Все войска были в блестящем виде, и лошади хорошие. Отправка на фронт захватывала всё новые, ещё нетронутые военные округа, и поездки были – под Варшаву, в Одессу (где после собора проехали по бульварам, приём был удивительный и порядок тоже). В такой дальней дороге много читал и несмотря на тряску ухитрялся на ходу писать Аликс.

Да если бы не Аликс, не маленький и вообще не обязанность руководить министрами и политикой – Николай может быть и сам бы отправился туда, на Восток. Болело его сердце, что он не разделяет тяжкого дальнего жребия своей армии, ничто не было ему так по душе, как находиться при армии. Он не пропускал беседовать с приезжими из Манчжурии – слушал их всегда с интересом, радовался редким удачным рапортам – Стесселя об отбитых штурмах, Куропаткина – о взятых сопках, и принимал, напутствуя, новых командующих русскими армиями – Гриппенберга, Каульбарса. Адмирал Алексеев правильно настаивал – наступать и выручить Порт-Артур! А Куропаткин оттягивал, жалуясь на недостаток войск, на несобранность. Наконец пришло же время заставить японцев повинаться нашей воле! В середине сентября Куропаткин перешёл в большое наступление, но продвинулся на юг всего 20-30 вёрст, как встретили его японцы – и началось 9-дневное сражение на фронте в несколько десятков вёрст. На Покров Пресвятыя Богородицы уже стало ясно, что наша армия отходит и потери у нас, по-видимому, большие. И после долгой внутренней борьбы, никому не открытой, решился Николай уволить славного адмирала Алексеева с верховного руководства, и наместничество его этим кончалось. Это было крушение года великих надежд, собственного сердечного выбора. И хотя Порт-Артур ещё отбивался (уже с тифом, цынгой, недостатком патронов), – но прояснялся и горький жребий Порт-Артура. И уже веяли в воздухе такие мысли, не миновали Николая: едва начавшаяся война – вот уже не кончилась ли? Ещё как бы и не начатая, не развернулся флот, не доехали войска, – не подошла ли к своему закату, не пора ли махнуть рукой и заключить мир?

В дни тяжёлых сомнений этой осени никто так не поддержал Николая, как кузен Вильгельм. Истинный друг, он просто и слышать не хотел о конце войны, и передавал через приставленного русского флигель-адъютанта: даже если падёт Порт-Артур – заключение немедленного мира будет ошибкой для России и торжеством для её врагов! Разве может Россия успокоиться, не одержав ни одного осязательного успеха?

С благодарностью ответил Николай, что Вильгельм может быть уверен: Россия доведёт войну до того конца, что последний японец будет выгнан из Манчжурии.

Чего касались сомнения ближе всего, это: посылать ли в кругосветное плавание из Балтийского моря на Тихий океан Вторую эскадру? Ей предстояло провести многомесячный путь, уязвимый со стороны Японии и Англии, – и прийти на место втрое слабее японского флота. Из всех практических соображений выходило, что посылать не надо. Но: и как же было, имея большой флот, не послать его туда, где он нужен? Имея флот, отдать противнику море? Это и значило бы уже сейчас признать войну проигранной.

В эту осень одни душевные колебания накладывались на другие. Николай думал про себя, и беседовал, собирал мнения, собирал совещания, – и несколько раз принимал решение – не посылать! И как гора сваливалась с плеч. И несколько раз решал: посылать! И снова воздвигалась гора на плечах, на сердце, – неминуемая, необходимая.

Да все задачи его царствования были такие: и поднять нельзя, и обойти нельзя. Крест Господен.

Николай всегда любил свой флот – но эту Вторую эскадру с какой-то особенной нежностью, будто с раскаянием или с предчувствием. Он посещал её в Кронштадте, в конце

её снаряжения. И опять посетил перед отплытием, обошёл все суда и – чудесная погода, хорошее предзнаменование – на яхте провожал её из Кронштадта. (Подняли штандарт Мама – и вся эскадра из двух колонн произвела салют, торжественная и красивая картина). И ещё через месяц нагнал её поездом на рейде Ревеля, и опять обошёл все суда, окончательно прощаясь, часть судов даже с Аликс. (Все эстляндские дамы потом на вокзале представлялись ей). И думал об эскадре по часам, когда она выходила из Либавы в своё многотрудное плавание. (Благослови, Господи, путь её, дай ей прийти целой!) И ещё отдельно ездил напутствовать два отставших крейсера. Ещё потом отдельно принимал команды подводных лодок. И тревожно следил за движением эскадры.

И всего через 10 дней произошла ужасная беда: близ Англии ночью эскадра увидела неизвестные четырёхтрубные миноносцы, открыла по ним огонь, – а миноносцы куда-то исчезли, и подставились, как Дон-Кихоту мельницы вместо великанов, – английские рыбаки. Начался мировой скандал, Англия метала грозы, английские крейсера шли вдогонку русской эскадре, и нависла ещё как бы не война с нею, предлог был достаточный. Беды по одной не ходят.

Чем было умерить дерзость спесивых врагов? Правда: делай всегда добрые дела, они когда-нибудь скажутся. Предложил Николай и устроил когда-то Гаагский третейский суд, не предполагая сегодняшнего, – а вот сегодня и пригодился, разбирательством вышли из конфликта.

Это было у десятилетия смерти отца. Боже, как за эти 10 лет всё стало в России труднее. Но смилостивится же Господь, наступят когда-нибудь спокойные времена!!!

Чем дальше продвигалась Вторая эскадра, тем отлегалась опасность английских помех или войны. Но всё движение зависело от угля, только Германия могла его дать – и тут-то высказал кузен Вильгельм, что снабжение нарушает нейтральность, становится всё опаснее, и Англия с Японией могут требованиями или силой его остановить. Германия с Россией сообща способны встретить эту опасность – но какова же милая союзница Франция в её сердечном согласии с Англией? Не пора ли её проверить, предложив присоединиться к союзу континентальных держав? – и тогда нам не страшна никакая угроза, Япония погибла, Россия торжествует.

Да эта мысль Вильгельма была как будто исторгнута из головы самого Николая! Чья же заветная издавняя мысль эта и была, как не его! Он и начинал свои шаги, таща французскую эскадру на кильские торжества, чтобы примирить непримиримых, свой двойственный союз протянуть в сплошной тройственный – и избавить Европу от наглости высокомерной Англии! – а ныне осадить и нахальную Японию. И действительно: уже 12 лет союзница, что же Франция не спешила помочь в тяжкую минуту России? Тройственная коалиция принесёт мир и спокойствие всему миру. И Николай просил Вильгельма набросать план такого договора.

Вильгельм не заставил ждать, скоро прислал проект. Но проект ему не удался: там не столько были задачи войны с Японией, сколько обход с Францией, если она не присоединится к двум. Исправили в Петербурге. Жаль, Вильгельм не соглашался, прислал новый проект и ещё зачем-то настаивал ничего не говорить Франции, пока не подпишут Россия с Германией, лишь тогда объявить, и она охотно присоединится, а при разгласке может преждевременно вспыхнуть война с Англией. Как во всяких дипломатических переговорах, здесь потянулись наросты, побочные предположения, ожидаемая реакция европейской печати, ответы и контрответы отсутствующих держав, опасения министра иностранных дел, что Германия хочет поссорить нас с Францией, – и так эта полезная смелая мысль зависла и заглохла.

А между тем в самих русских столицах происходило трясение. Поначалу новый министр внутренних дел прекрасный честный князь Святополк-Мирский был приветствован обществом и газетами, ему слали адреса, он обещал благожелательное доверие к общественным силам, и, кажется, общество было готово отплатить доверием, и Николай тихо радовался, что вопреки советам своего строгого дяди Сергея он верно рискнул на это

смягчение, для общего единства в стране. Вечно-трудный внутренний вопрос, кажется, был решён милосердием.

Но, увы, газеты не остановились на взаимном доверии, а поплыли, поплыли – о многолетнем искусственном сне России, о том, что все поражения идут от правительственного аппарата, – как прорвало: вдруг вся печать и все имеющие гласность стали требовать немедленных, во время войны, преобразований, разлития всяческой свободы – до полного оскотления государственной власти. (Из подававшихся раньше предложений было когда-то такое: создать “царскую газету”, свою официальную, и там объяснять точку зрения и решения Верховной Власти. Никогда не собрались). Об ограничении монарха заговорили сразу почти открыто, вслух, – а революционные партии кликали России военное поражение и террор. И либералы не погнушались съехаться в Париже вместе с террористами и требовать уничтожения монархии.

Тут ещё и Святополк упустил, не имел сразу твёрдости отказать самозванному съезду в Петербурге никем на то не избранных, самооявившихся земцев. Николай даже бы согласился на съезд подлинных уполномоченных, истинных представителей всероссийского земства, как бы представителей народа, послушать стоило, царское ухо не должно быть к ним закрыто, – но выборы таких потребовали бы четырёх месяцев, а самозванные уже и собрались в Петербург. Святополк не решился им препятствовать, и они, заседавая неразрешённо, а вместе с тем и открыто, выработали свои пункты, по которым правительство не имело бы никакой власти, – и тотчас распространили пункты по всей России. И тотчас же, как бы завершив свои задачи, Святополк стал просить отставки (очень рассердив Николая), а дядя Сергей – отставки себе, ибо не брался дальше быть московским генерал-губернатором при таком сахарном министре. И действительно получалось, что кому-то из них надо уйти, они не были совместимы. Мучительно труден выбор направления. И удивляя сам себя, Николай согласился со Святополком созвать совещание для обсуждения возможных немедленных реформ.

А между тем по всей России как зараза распространились какие-то *банкеты* – все, кто мог и не мог, собирали вскладчину (или на какие-то сторонние деньги?) стол и произносили речи: ограничить царские права, ввести конституцию! Стало ясно, что общество использует *взаимное доверие* не для объединения с правительством, а – переменить государственный строй.

И вот на Невском толпы молодёжи свободно ходили с красными флагами и кричали “долой самодержавие!”. А московская городская дума дерзко потребовала подчинить всю государственную администрацию контролю выборных людей – и позорили по всей Москве своих членов, отказавшихся подписать. Молодёжь и на концертах кричала “долой царя!” и сбивала концерт революционными песнями. Где-то печатались и повсюду раздавались прокламации. На Страстную площадь однажды вывалили тысячи людей и опять красные флаги. Дядя Сергей не велел полиции стрелять, она разгоняла ножами и тупеём сабель, а демонстранты били её палками, кистенями, железными прутьями.

Эта междуусобица больно оскорбляла, и Николай всё менее понимал, что же правильно делать. (Ещё какие-то и дни стояли: серая оттепель с резким ветром и темнота в воздухе ужасная!)

В начале декабря собрали раз и два совещание о мерах, как прекратить смуту реформами, – главных несколько дядей, главных несколько министров и сановников. Сперва склонялись: собрать ото всех сословий Земский Собор, но дядя Сергей решительно отговорил, что мера не вызвана состоянием дел, и не для военного времени. Тогда решили: от местных учреждений выборных представителей привлечь к первоначальному обсуждению государственных дел. Но сильно заколебался Николай и насчёт этого пункта. Дядя Сергей уговаривал – выбросить, Витте уговаривал – оставить, иначе в указе повиснут одни торжественные слова, которые никого не успокоят. Витте настаивал, что к представительному образу правления единообразно идут все страны мира, и так же надлежит России. О Боже! за что Ты взвалил на мою голову эти решения – как идти России целыми

веками? Нет, как шла Россия из глубины: полезен народный глас, но решение должно быть единолично царское. Нет, парламентский образ правления не может нас привести к добру, а только к злой сумятице сердец. Всё это – усиленные попытки направить Россию по пути, чуждому для её народного духа. Вычеркнули пункт.

Ещё потому так был подавлен Николай всё это время, ноябрь и декабрь, что жил не в привычной для этих месяцев ласковой крымской обстановке, но, по серьёзности положения, остался в сгущённой петербургской полутьме, и сердце его занывало, стеснялось, и все решения давались ему ещё труднее обычного. Он не мог уступить требованиям! И не смел им сопротивляться, если б за ними стояла истина, но – кто это знает? И при всём том достоинство монарха обязывало не показать своего смятения наружу – для всех на вид оставаясь всегда спокойным, даже равнодушным: свои заветные чувства и тревоги не дать трепать языкам. В эти недели он часто посещал Мама в Гатчине, пил чай и засиживался до обеда, подолгу беседуя, ища у неё совета и руководства: как поступил бы сейчас на его месте отец?

Ещё ж и большой охоты он был лишён в эту осень! – в этот год не поехали и в Беловеж. Лишь несколько раз по одному дню охотились то в фазаннике под Петергофом, то под Ропшей (взяли хороший загон), то в Царскославянском лесу на лосей (один раз лоси ушли из круга, другой – убил лося с хорошими рогами, но всего четырьмя отростками). Однако даже и в дни охоты нельзя было освободить душу от докладов – с утра отсиживал их, следя, чтоб не опоздать с поездкой, а воротясь, весь утомлённый и свежий, ещё выслушивал.

А и зимой оставалась на Николае добровольно взятая, но святая обязанность: не пропустить благословить все уходящие на Восток войска. И сумрачным этим декабрём, так или не так окончив совещания указом, Николай (с братом Мишей и обычными спутниками) поехал в Киевскую губернию. Во вьюгах зимы как должно было это видеться войскам – почти чудом внезапным – появление вездесущего царя перед ними на замёрзших полях! Пехотные полки, стрелковые бригады, конно-горные дивизионы, сапёрные и понтонные батальоны выстраивались далеко за городами, бодро представлялись, вид людей был отличный. Один день, около Жмеринки, мороз с сильнейшим ветром был такой ужасный, что у Николая при объезде строя чуть не отмёрзли пальцы на левой руке, и он торопился благословить все части в каких-нибудь полтора часа. (А с Мишей сделалось от холода дурно). После этого как приятно было сесть в тёплый поезд! На другой день близ Барановичей из-за мороза не решился ехать в открытое поле, приказал привести войска к вокзалу.

А в ночь, под Бобруйском, получил потрясающее известие о сдаче Порт-Артура. Громадные потери, болезненность состава, израсходование снарядов, всё так, предвиделось, – а всё время хотелось верить, что защитники устоят. Но, значит, на то воля Божья! Плакал и молился.

Неделю проездил – как счастлив был увидеть дорогую Аликс и детей здоровыми! (Конечно, не обошлось сейчас же без докладов). Только и отдохновение – быть дома, завтракать семейно, ужинать вдвоём. Рассматривать альбомы фотографий. Смотреть сцены кинематографа. Разбирать вазы, пришедшие с фарфорового завода. Принимать от уральского войска икону для маленького сокровища. Читать вслух, иногда с кем-нибудь поиграть на рояле в четыре руки – да только в семейной обстановке и может найти успокоение душа человека! И мнится: всё худое минует.

Тут подступило и Рождество. Сперва ёлка для детей, потом ёлка для всех, потом в манеж на ёлку конвоя и туда же на ёлку второй очереди. Приезжал в царскосельский дворец митрополит славить Христа, завтракали. Государь посещал госпиталь вернувшихся с войны, для них тоже ёлка. Аликс, бедняжка, катаясь с горы с детьми, ушиблась.

Под Новый Год принимал Святополка, одно расстройство, банкеты продолжались по всей стране – и как же их запретишь? Принимал Абазу: как же быть теперь на Востоке? Усиленно читал и подписывал всякого рода указы, указы. В царскосельском соборе отслужили панихиду по погибшим в Порт-Артуре.



Да благословит Господь наступающий 1905 год, да дарует в нём России победоносное окончание войны, прочный мир и тихое безмятежное житие! Поехали к обедне, после завтрака отвечал на поздравительные телеграммы. Провели вечер вдвоём. Так рады остаться на зиму в родном Царском Селе, в этом году не переезжать в Зимний. На святках была и офицерская ёлка, присутствовали все дети, даже сокровище, вело себя очень хорошо. С Нового Года пришлось принять отставку дяди Сергея, он согласился перейти на военную должность, на командование войсками Московского округа. Приезжал, сделали с ним хорошую прогулку. Он не предвещал доброго при новом либеральном курсе. Вон, уже в Трепова стрелял ученик торговой школы. На другой день Николай имел крупный разговор со Святополком – а ему что ж, он и сам просится в отставку. Принимал Абазу, отводил душу.

На Крещение поехали к водосвятию в Петербург. После службы в церкви Зимнего крестный ход спустился к Неве на иордань – и тут во время салюта гвардейской конной батареи от Биржи одно из орудий выстрелило настоящей картечью и обдало ею рядом с водосвятием, ранило городского, пробило знамя, пули разбивали стёкла в нижнем этаже Зимнего и даже на помост митрополита упали несколько на излёте.

Салют ещё и затем продолжался до 101 выстрела – царь не пошевелился, и не побежал никто, хоть могла прилететь и опять картечь.

Было ли это покушение или случайность – среди холостых попался один боевой? Или опять дурной знак? Угодили бы точней – перебили бы несколько сот человек. Осталось тяжёлое чувство. Обедали вдвоём и легли спать рано.

На следующий день решали о покупке военных судов в Чили и в Аргентине: флот пошёл недостаточный, надо его на ходу укрепить. День выдался беспокойный, пришлось одного за другим принять девятых. (А такой чудный иней стоял на деревьях!) Дело в том, что за минувшую неделю в Петербурге разыгралась изрядная стачка. Началось с Путиловского, из-за какого-то местного случая, а вот уже, говорят, дошло до 100 тысяч человек. И требовали чего-то неосуществимого, и какой-то почему-то священник с домогательствами для всех заводов – такими, что полностью упала бы вся отечественная промышленность. Да наверно подали им соблазн, что легко уступили стачке в Баку. Большие толпы бастующих ходили от завода к заводу, фабрике, мастерским, требуя, чтоб и там прекращали работу, и грозя насилием. И чтоб избежать ненужного побоища, иногда и сама полиция велела рабочим оставлять работу. Так и все типографии прекратили, и в Петербурге не вышла ни одна газета, и от этой мнимой пустоты (на самом деле – отдыха) очевидно и было у всех такое ощущение, что опасность беспорядков сильно преувеличивали. У кого-то была мысль об аресте вожаков, но не доставало чинов полиция, занятой на охране порядка, да и не оправдывалась такая мера нынешней общей тяготой положения, на всех распространённой. Сходили вдвоём приложиться к иконе Знаменья Божьей Матери.

А на другой день забастовали уже, кажется, все рабочие Петербурга, странно и неблагоприятно для них же самих: если все будут не работать, то еды никак не добавится (или кто-то платил им?). В этот день стало известно, что завтра в воскресенье намеревается вся рабочая толпа собираться к Зимнему Дворцу, чтоб о нуждах своих говорить с батюшкой царём. Никто из подчинённых разумеется не высказал вслух, но у всех стоял вопрос в глазах: как же это будет? поедет ли Государь в город и в Зимний, где думают его найти и будет ли говорить? А Николай никогда и с отдельным рабочим не говорил о его нуждах, он не знал такого разговора, – как же сразу со ста тысячами или больше? Он мог бы выйти перед такой толпой, но если б она составляла несколько дивизий, поставленных по порядку, при своих офицерах, и ожидала бы простых команд и простых приветствий. Но выйти одному к толпе не оформленной, не возглавленной – даже опускалось нутро: как же вести себя? что сказать? что произойдёт? Да горло пересохнет, глаз не поднимешь. Это было бы даже счастье – царю поговорить прямо со своим народом, это рисовалось ему в представлениях, – но не теперь же сразу, без подготовки, и о чём? Занятый тяжкою войною и раздором с образованным обществом, Николай и позабыл придавать значение ещё заводам, эти навалились вдруг неожиданно. Всё же он склонялся поехать и выйти на балкон дворца и выслушать – но резко

воспротивились великие князья. Тогда он склонился – не поехать, и Аликс вполне его поддержала, уж её сердце не ошибётся. Это был какой-то грубый вызов каких-то подозрительных вожаков, священник-социалист, там действовали революционеры несомненно. Когда к вечеру стала известна подготовленная ими петиция, это подтвердилось вполне: просьбы подменили. Простые немудрёные рабочие из своих нужд не могли бы такого придумать: что главная просьба их – всеобщие, прямые, равные, тайные выборы в учредительное собрание, затем свобода печати и ответственность министров не перед царём, а перед народом. И сам тон был дерзок: поклянись исполнить, не то мы все умрём здесь на площади, перед твоим дворцом! Пропустили, как эта петиция появилась в последний момент, читали её рабочим или они не знали даже? Вся программа там была социал-демократов. Приезжал в Царское с докладом о принятых мерах совсем потерянный растерянный Святополк, он уже еле влёк свой пост, и Николай уже еле терпел этого министра, да не было подходящего дня для отставки. По слабости полиции, никак не подготовленной к массовому передвижению, и малочислию гарнизона вызывались на завтра в Петербург из окрестностей войска – чтоб удерживать порядок, а ко дворцу не допускать. Объявить в Петербурге военное положение? – не было повода. Сделал градоначальник печатное объявление по городу: чтоб не происходило скопления народа, а то с толпой будут поступать по закону. Верно, на каждом посту свой ответственный генерал, и он знает, что делать, не о каждом шаге заботиться царю. (Только по забастовке типографий напечатали объявлений мало, маленькие и расклеили далеко не везде).

Вечеру Николай долго молился, почему-то была страшна ему эта выросшая внезапность – не социалистические те требования, а что двести тысяч, не управляемые, вдруг пойдут по городу. И с утра на обедне молился между надеждой и боязнью. Все и всё ждало от монарха решений – а как бы хотелось без них! Он надеялся, что всё обойдётся по-хорошему. И остался в успокаивающем окружении царскосельского парка, в солнечном дне. Здесь его глаза не увидели этих рабочих лиц, и уши не слышали роковых залпов. Боже, какой тяжкий день! Ужасно, но местами войска должны были стрелять, потому что ни увещаниями, ни предупреждениями, ни угрозами, ни даже холостыми залпами они не могли остановить наседающих толп, все стремились к центру города, даже и с “ура” бросались на армейский строй. А попадавшие в рабочей толпе студенты – насмехались, оскорбляли войска бранными словами, бросали камни и даже стреляли из пистолетов. Пришлось применить огнестрельное оружие у Нарвской заставы, на Троицкой площади, на Васильевском (там и баррикада была), даже – у Адмиралтейства, на Певческом и Полицейском мосту, потому что и сюда просочились многие. И вот – было до ста убитых и ещё умирали раненые.

Господи, как больно и тяжело! Откуда же это навалилось, и так внезапно, и чем заслужено? И как это всё было предотвратить? У царской власти не было таких сотен молодых помощников, которые бы шли туда, в самую толпу, где эти шествия готовились, и объясняли бы, напротив, что петицию им подменили злые, чужие, что царь-батюшка знает об их нуждах, но не доходят руки за тяжкой войною.

А потом думал: а всё-таки – шли ведь без красных флагов. А со стороны Путиловского – даже с хоругвями, с иконами, как на крестный ход, и даже полиция была смущена, пошла впереди шествия, с обнажёнными головами. И рабочие могли не понять сигнала армейского рожка, откуда бы у них выучка? И не могли знать, что царя нет в Петербурге. Шли-то ведь они – не к градоначальнику, не к министрам, а **к нему**, и значит с доверием. Шли – чтоб непременно дойти, впусе не возвращаться. Да ведь просто движение по улицам – не запрещено? Не сказано, скольким можно идти, а скольким нельзя? Как-то то всё неподготовлено навалилось, на докладах не успели достаточно обсудить – **что** же именно надо делать? Не уговорено было именно неотклонно стрелять.

Но если двести тысяч идут по улицам, так это что ж – революция? Вот так просто в один день и начинается?

Молился и плакал. О Господи, почему Ты не даёшь помощи? Почему же так мрачно

обставилось всё вокруг? О, просвети, что же надо делать? Что же надо было делать!?

И это же могло теперь повториться завтра и послезавтра? Так и ждали. Пользуясь отсутствием и смятением полиции, по Петербургу разбивали фонари, стёкла в магазинах, грабили товар, частные дома, один оружейный склад. Вечерами перерезали электричество. Отдельных военных на улицах оскорбляли словами и действиями. Что ж это было, если не начало революции? Войска ещё два дня должны были нарядами стоять на улицах. Святополк совсем разваливался. Нужен был крепкий человек у власти. Как раз Дмитрий Трепов, покинувший московский пост вместе с дядей Сергеем, теперь был в Петербурге, собираясь в Манчжурию воевать. Его и решил Николай назначить генерал-губернатором столицы и губернии, отобрав их обе у министра внутренних дел.

И не раскаялся. Это решение было счастливым. Твёрдый решительный человек и знающий, что делать. Всё успокаивалось, столкновений больше не было. Там и здесь начались попытки рабочих вернуться на работу, кем-то противодействуемые.

Успокаивалось – но и что-то переменялось, не возвращалось к старому. Отчасти волнения перебрасывались теперь в Москву. Министры докладывали: ни полиция, ни военная сила на самом деле уже не могут восстановить положения; после того как улицы столицы обагрились кровью – голос министров уже не может быть услышан, необходимо державное слово.

Державное слово? Да, наверное. Царь и народ должны быть едины. Но как это слово перекинуть через всё разделение? Кому, где и когда сказать его, если не пользоваться привычными канцеляриями, Сенатом, указами, рескриптами и должностными лицами, поставленными на то? Николай не умел.

Министры настаивали, что Государь должен что-то сказать. Они выработали такой манифест: выразить скорбь и ужас от случившегося, но события не были известны Государю своевременно и (предлагал Витте) войска действовали не по его повелению.

Но – он не мог так сказать о своих войсках! Свои войска предать – он не мог! И хотя события действительно были ему не вполне известны и поняты не вполне – но и другим ведь так же, всех застигло врасплох.

Выручил Трепов: он предложил созвать делегацию благонамеренных рабочих от разных заводов. Только немного! – ну, человек 30, – это ещё можно преодолеть. Привёз их в Царское, через десять дней после события, и Николай объявил им (прочёл заготовленные) слова твёрдые, но сказал мягко, сострадав:

– Вас поднимали на бунт против меня. Стачки и мятежные сборища всегда будут заставлять власти прибегать к военной силе, а это неизбежно вызывает неповинные жертвы. Знаю, что нелегка жизнь рабочего. Но имейте терпение. Мятежную толпой заявлять мне о своих нуждах – преступно.

Но – он не гневался на них. Даже больше:

– Я верю в честные чувства рабочих людей, в непоколебимую их преданность мне, а потому прощаю им вину их.

Но даже и после этого прощения – не устала, не вернулась в прежнее общественная обстановка. В эти самые дни ещё начал наступление Куропаткин, однако в несколько дней свершилась опять неудача, отошли с потерями. Что-то надо было предпринять Государю, но не дано было прочесть волю небес: что же именно?

В эти недели совсем безучастным остался Вилли, он вмешался, и очень горячо, как нельзя бы никому простить, но он был – верный друг и равный монарх, и смел поставить себя на место Ники. Сперва через приставленного русского флигель-адъютанта, потом большим, страстным, даже резким письмом Николаю, вскоре, не успокаиваясь, ещё и через Мама, Вильгельм нарисовал план, как должен был Николай действовать, и даже настаивал, со своей неудержимой пылкостью почти понуждал. Он стучался прямо в сердце: напруги силы! Россия переворачивает страницу своей истории. Режим Святополк-Мирского лишком быстро отпустил повод, отсюда и поток неслыханных дерзких статей, умаляющих уважение к власти. Доверчивыми рабочими завладела революционная партия – и они стали

категорически требовать, о чём понятия не имели. Но ты должен был с балкона Зимнего принять некоторое количество этих невежественных людей и поговорить как отец. Это слово внушило бы массам благоговение – и было бы поражением агитаторов. Ведь мысли царя не известны массам. При самодержавном режиме сам правитель должен давать программу, а без этого любые реформы – пыль видимости от министров, все будут с беспокойством ощущать недостаток твёрдой руки. Когда монарх скрыт – уже и благонамеренные толкуют вкривь и вкось и начинают валить недовольство на царя. Самодержец должен обладать сильным умом и ясно сознавать результаты своих действий. Так, все в Европе согласны, что именно царь лично всецело ответствен за войну: и за её внезапность, и за очевидную неготовность России. Запасные неохотно едут воевать в страну, которой даже названия не знали до сих пор. Страшно вести непопулярную войну, когда огонь патриотизма не возожжён. Все ждут от царя какого-то великого деяния, при котором он не пощадил бы себя самого, может быть – принятия верховного командования, чтобы вернуть уверенность своим солдатам. В прежние времена твои же предки, прежде чем отправляться на войну, молились в старых церквях, собирали народ во дворе Кремля. Такого призыва Москва и ждала от тебя вслед за нападением японцев – и не дождалась. Глубоко отразилось, что эта война не объявлена с кремлёвских стен. Но ещё и теперь не поздно царю вновь овладеть Москвой, а с нею и всей Россией. Конечно, никакого соглашения с мятежниками, сохрани Бог от какой-либо уступки бунтующей черни, малейшая будет иметь последствия губительные. Анархию надо давить самыми энергичными действиями, но обставив их с подходящей торжественностью. Ты должен выявить свою монаршую волю, привлечь внимание народа и воодушевить армию. Невозможно вести одновременно два таких сложных дела, как большую войну и реформы внутреннего управления. А кончить войну с Японией нельзя без существенных успехов. Значит, всякие реформы надо отложить. Но это бесповоротное решение надо объявить во всеуслышанье и твёрдо. Наиболее подходящее место для такого объявления – московский Кремль. Появиться с блестящей свитой из высшего духовенства, дворянства, собрать благомыслящих представителей всех сословий. С хоругвями и иконами выйти на балкон и прочесть манифест верноподданным. Слушали бы, затаив дыхание. Царская воля: прекратить обсуждения внутренней политики, все устремленья – к победе! После войны будут реформы – но каких ты сам пожелаешь, habeas corpus act, расширение прав Государственного Совета, – но никаких учредительных собраний, никаких распущенных свобод. (Только не доверяй внутреннего переустройства таким изворотливым, как Витте: у него скрытые намерения, он помнит все уколы, нанесенные его самолюбию когда-либо, и он не воодушевлён старыми дворянскими традициями). Если нужно – скажи, что ты отправишься делить тяготы войны с их братьями (царь не может постоянно оставаться в Царском или в Петергофе!), – и весь народ упадёт на колени и будет молиться за тебя!! И потекут народные приношения на войну.

Говорят, у каждого человека есть свой роковой человек, к которому тянет необъяснимо и с которым потом неизбежно связана главная судьба. Таким человеком для Николая проступал Вильгельм.

Было и обидно, и стыдно, и благодарно. Да, с этим человеком сообщая, никогда не нарушив их дружбы, можно было удержать от краха и Россию с Германией и весь мир!

Но не испытывал Николай в себе решимости на крупные шаги, на резкие действия. И в Кремле выступить уже упущено (да вообразив перед собой в толпе насмешливых либералов, коими Москва роилась). И решиться на многие месяцы уехать на неприютный край света, – а душу Аликс, а маленькое сокровище – оставить?...

Нет уж, пусть всё идёт, как на то воля Божья.

Да всего несколько дней прошло – и в той самой Москве, в том самом Кремле, в пустом его дворе был разорван бомбами дядя Сергей! Не жил и минуты, от тела почти ничего не осталось (а кучер, получивший 80 осколков, ещё мучился). Это – громовой был взрыв. Злодеи (рощённые где-то же в России! хотя Вильгельм уверен был, что в Женеве) пристращались ко вкусу мяса, шли от убийства к убийству, от министров – теперь к великим

князьям. Убивали по одному именно тех, кто стоял и удерживал смуту. И вполне могло быть, что их намерение – извести весь царствующий дом. Оттого и на похороны не мог теперь поехать сам Николай, но согласились, чтоб не ездили и великие князья и княгини, даже на панихиды в петербургские соборы, никуда, где заранее могут ожидать, – служили по своим домашним церквям, весь Двор надел траур. (Вспоминали с Аликс, как познакомились как раз на свадьбе дяди Сергея). Вся династия вмиг оказалась как в плену по своим дворцам. Особенно травили дядю Владимира, посылая угрожающие письма. В эти же дни изловили дюжину революционеров со складом взрывчатых веществ. Небезопасно становилось и в самом Царском с его раскинутыми просторами прогулок. А уж из него – никуда. Николай отменил все парады и внешние обязанности, с того несчастного крещенского водосвятия никуда больше не выезжали из Царского. Страх перед покушением не было в нём никакого, однако самодержец не имел права себя подставлять.

Но с 9 января случилось что-то и худшее, не в один день это понялось. Петербургские рабочие как будто улеглись (хотя вспыхивали опасные слухи и ещё два вводили в город войска), – но забастовки передались в Москву, на железные дороги, в Прибалтийский край, а в Польше дороги вообще остановились. И по русским городам (даже в Ялту) перебрасывались грабежи, убийства, таинственные поджоги, малые бунты, так что в иных городах становилось опасно вечерами из дому выходить, и недоумевалось может быть: да есть ли в этой стране царь? А войск на охрану не было, они всё более, теперь уже четырнадцатью поездами в сутки, перетекали на поддержку манчжурской армии. Как будто тайным каким-то способом, безо всякого видимого сведения, передалось лихим людям повсюду, что пришло время безнаказанно баловать, что их царь не применит больше силу и, гуляя по своим аллеям, сам не знает, что делать ему.

А пуще всякого простого народа, с 9 января рассердился образованный класс, он как будто сам на себя рассердился, что упустил первую линию, – и теперь нагонял. Вот объявляли протесты и забастовки адвокаты, профессеры и даже академики, писали письма по триста человек, отказывались преподавать (но не отказывались от казённого жалования). Объявили забастовку до осени и студенты почти всех учебных заведений (тоже не отказываясь от казённых стипендий), а кто хотел учиться – тех нечем было оградить от насилий забастовщиков. Да что, бастовали даже гимназисты, реалисты, даже в самом Царском Селе в реальном училище родители решили, чтобы дети их бастовали. Всё русское общество било как истерикой. Все газеты писали о Земском Соборе как о вопросе решённом. В петербургском университете состоялись разрешённые студенческие сходки. На одной постановили, что не желают никакого Земского Собора, а желают Учредительного Собрания, то есть устанавливать власть понову, как если б в России ныне не было никакой власти. А на другой сходке сорвали портрет Государя, разорвали в клочки, топтали – и разошлись.

И – что же было с ними поделать? Не арестовывать же. Решено было – не заметить, как бы – не случилось ничего.

В эти серенькие мягкие февральские деньки Николай гулял по снежным аллеям – со сжатым сердцем, как съёженный, – и не мог решиться, что предпринять. Как будто развязали какой-то чёрный мешок – и из него посыпалось. Он всё более с ужасом думал об этой расходившейся, разъярённой образованной публике, которая плевала в него насмешками и проклятьями. Он совершенно терялся – что же можно поделать? Как пригласить их слушаться властей?

И никто не мог ему помочь. И советчики – разноречили. Едва он обрадовался, что нашёл единственного решительного прямодушного Трепова, не боящегося за свою жизнь, – как все министры дружно возненавидели его, более всех – Витте, и говорили, что Трепов погубит всё своей непримиримостью. И пути-то было всего два, как всегда: твёрдость или уступчивость? А выбрать между ними окончательно – не было душевного жара.

Николай стал теперь собирать в Царском Селе всех министров одновременно, под своим председательством, думая столкновением их мнений установить истину. Они все предлагали идти на уступки, собирать общественных представителей, не то разрушатся

финансы, не будут верить иностранные державы и разразится революция, – но всё ещё может быть спасено, если в 4 месяца соберётся Земский Собор.

Однако горел в сердце и совет Вильгельма – что надо самому обратиться к народу прямо. Но если не выговорить этого самому, то надо издать манифест. Сердце подсказывало, что Вилли прав: война, какие могут быть реформы? что Святополк был ошибкой, из-за тех уступок всё и развязалось. И вот, втайне от министров, с помощью других стойких людей, Николай приготовил и издал манифест: что призывает всех верноподданных на искоренение крамолы и одоление внешнего врага; что мы призваны на Тихом океане защищать интересы всех христианских держав; что основы русского государства, освящённые церковью, должны остаться незыблемы.

Проявил твёрдость, подписал – и ощутил довольственную устойчивость. Но и сразу же – раскаяние, но и сразу же – сочувствие: а ведь многие добрые хотят подать добрые благоразумные советы – разве Государь намерен отвратить слух свой от народного голоса? Он только не смеет порвать с историческим прошлым страны, он только не согласен отдать судьбы страны в руки выборных, предать борьбе партий, – а советам благоразумия он очень рад, он даже жаждет их! Воля царя и должна выражать народную мысль. И подвигся Государь наряду с тем непреклонным манифестом издать и щедрый широкодушный указ: что предоставляется всем подданным право открыто и свободно высказываться по вопросам совершенствования государственного порядка, а совету министров поручено принимать и изучать все проекты реформ, кем бы они ни были составлены.

И теперь, ощутив прекрасное равновесие того и другого шага, Николай без совета министров распорядился: опубликовать и манифест и указ в одно и то же утро, 18 февраля.

Но в то самое утро собрались к назначенному заседанию и министры. Указа они как и не заметили, но откровенно высказывали свою поражённость манифестом, без них созданным. И только что поднявшееся сердце Николая снова упало. А министры принесли составленный – да по его же распоряжению, он не помнил, – проект рескрипта о подготовке созыва местных представителей для участия в выработке законопроектов, – и тут уже ничего не говорилось о подавлении крамолы и о задачах внешней войны, а так получалось, что, не глядя на войну, начинаются реформы. Этот рескрипт был прямо противоположен только что опубликованному манифесту и шёл совсем не туда, куда указ, – не к добрым советам, а к вынужденному парламентарству. Государя опять толкали на невыносимые уступки дружным согласием их всех – и никак невозможно было отклониться, отстояться от их настойчивых речей. Николай всегда боялся сам себя – что не выдержит характера. Вот и теперь, протомаясь безвыходно среди министров, он подписал тем же числом и рескрипт. Благослови Бог манифест и указ, пошли, Господи, успеха и рескрипту.

А с заседания выйдя – так гадко себя почувствовал. И у Аликс разрыдался.

Все эти дни служили панихиды по дяде Сергею. Отвечал на массу телеграмм соболезнования – из-за границы конечно, а у нас ликовали смерти его. Тем временем у маленького сокровища прорезался первый зубок. Упаковывали подарки санитарному поезду Аликс. Приехал освобождённый японцами Стессель, герой Порт-Артура. Завтракали, много говорили с ним про осаду.

Что одно могло сейчас спасти Россию и перевернуть её общественное настроение – это блестящая победа в Манчжурии. Общество за своим развлекательным бунтом почти и забыло о той войне, но Николай горячо помнил, горячо молился, и – ждал. Он знал, что там стянулось друг против друга до 600 тысяч войск, невиданно. И когда он подписывал патриотический манифест, сердечный указ и злосчастный рескрипт – в эти самые дни Куропаткин начинал сражение под Мукденом.

О Господи! Да есть ли мера испытаний Твоих! За что же гнев Твой на нас так бесконечен? Опять поражение, да какое! Избегая полного охвата, Куропаткин отступал под напором с трёх сторон, бросил до 100 орудий, даже знамёна, отдал 30 тысяч пленных и 60 тысяч потерял, – почти бегство.

Из того развязанного чёрного мешка летели и летели беды на Россию.

Этой весной удерживался в Царском, вынужденно, оберегаясь от террористов, любимое место оборотилось тюрьмой, было такое ощущение, что больше нет в его руках подлинной власти, что уже не от него зависит, как пойдут или не пойдут события. Но не было власти и у либералов. А всё качалось как на перевесе, кто прежде достанет до твёрдого. Вся Россия – на перевесе.

Они создавали какие-то союзы. Потом Союз союзов. Беспрепятственно теперь собирали земский съезд, и более всего тянулись к своему самому сладкому – всеобщему-прямому-равному-тайному голосованию, как будто этим всё будет спасено. Николай надеялся, что съезд не будет допущен, уже довольно наболтались они, – но съезд был допущен. А указ всем радеющим о нуждах государственных подавать свои благие соображения был разнuzданно истолкован так, что во многих местах собирались и громко, развязно предлагали – всё упразднить, вплоть до императорского трона и самой России. И общество и газеты открыто обсуждали, не заключить ли мир, как будто им, а не Государю предстояло это решить. И – что и сколько можно отдать Японии.

А весна стояла – дивная, великолепная! И в майские дни потянуло как низким холодным: стали доноситься сперва противоречивые, а потом всё более тяжёлые вести о бое в Цусимском проливе – и всё больше о потерях наших и ничего об их, – и в три дня обнажилась сотрясающая картина гибели почти всей эскадры! – и от радостной весны ещё острее чувствовался мрак.

Грозно же являет Господь свой гнев! Такого удара ещё не приносила вся война. Нет, видно это всё было написано на небесах – и так тому быть. И весть эта пришла – в 9-ю годовщину коронации.

Много ездил верхом, развеивался, иногда катался на байдарке, на велосипеде. Принимал артиллеристов, выпускников академии. Однажды приняли вдвоём симпатичного москвича Гучкова, приехал из армии, много интересного рассказывал. Дядя Алексей после цусимского боя решил уходить с морского ведомства, больно и тяжело за него, бедного. (Но он-то и не допускал до сих пор реформировать флот).

Что делать теперь с войной? По 8-й частной мобилизации (всеобщей так и не было в России) составилось ещё 150 тысяч молодых солдат, которых за три месяца можно было довести до Манчжурии и иметь армию в полмиллиона. Можно было объявить ещё и 9-ю частную мобилизацию, хотя тогда уже – затронуть опасно-возбуждённый Западный край. Однако море во власти Японии, нечем защитить Камчатку, Сахалин, устье Амура, и не готов к обороне Владивосток – ни войсками, ни снарядами, ни провиантом. Дух войск подорван, и особенно после Цусимы. Многие советовали Николаю искать путей к миру (и любимый адмирал Алексеев, зачинатель всего движения, более всех упал духом), другие – хотя бы узнать японские условия. Николай и сам этим проникся: конечно, нам важнее всего благосостояние внутреннее, и для него надо снести позор. Вернув России внешний мир, мы вернём ей и внутренний, и так благополучно разрешится всё, не разрешимое теперь. И надо спешить пока японцы ещё не заняли ни куска русской территории. Даже само начало переговоров благотворно отразится на настроении населения. Уж не знал Николай, как избавиться от этой несчастной войны. Какой он был счастливый, сам того не ведая, и как легко было управлять страной, пока война не начиналась!

А другие говорили: напротив, внутренний разлад никак не уляжется, если кончить войну без победы: вернётся угнетённая армия – разве настроение улучшится? И от Японии, как только она узнает, что мы ищем мира, возникнут новые унижения.

Получалось заколдованное кольцо: от худости внутреннего положения нужен мир – но мир ещё ухудшит внутреннее положение. О, как не просто всё на свете: громоздились и громоздились противоречия, не разрешимые человеческим умом. И возлагались все – на голову Николая.

А Вильгельм писал: твоя война непопулярна в твоём народе. Во имя своего понимания национальной чести нельзя посылать далее на смерть, Царь царей потребует ответа. Располагай мною для подготовки мира. Японцы чтут Америку, а мы с президентом

Рузвельтом большие приятели, могу частным образом снести.

Ну, так тому и быть, само складывается. Он большой разумник, Вильгельм, как он всё видит!

Через несколько дней американский президент предложил посредничество, и переговоры начались. Николай ещё держался, как мог, отвечал в телеграммах патриотам, что никогда не заключит недостойного России мира, – а между тем посылал на переговоры вездесильного Витте. И даже знал, что Витте не пожалеет расплачиваться за счёт России, но надо было послать кого-то самостоятельного, умного, а, оглядясь, таких людей вокруг русского трона не было.

Он послал Витте на переговоры, а сам жил двойною надеждой: и что они удадутся и что они не удадутся. И то и другое приносило своё облегчение: или освободиться от войны или избежать позора. Или будет разбита вера в отечество – или кровопролитие. Он не знал, чего желать. Это был один из непосильных выборов жизни, только вера во Всевышнего приносила утешение.

Внутри страны всё как разваливалось дальше: было восстание с баррикадами в Лодзи, смута в Одессе, ошеломляющий необъяснимый мятеж на броненосцах Черноморского флота с убиением офицеров, просто не верилось, какая срамная история! – а с другой стороны мирно прошли две следующих частных мобилизации на войну, подкрепления в Манчжурию текли и текли, армия сильно укреплялась, финансы страны были незыблемы, хозяйство не затронуто, старшие возрасты не призывались, и Россия могла воевать хоть ещё 10 лет, если бы не общество, – и в таком положении до слез досадно было просить об унижительном мире. Поначалу японцы требовали с России весь Сахалин и большую контрибуцию, но уж тут решил Николай – ни копейки, и начал надеяться, что переговоры на этом сорвутся, и общество оценит, что не он, а Япония сорвала, и больше не будет бунтовать. Но Япония вполне внезапно вдруг отказалась и от контрибуции, брала Сахалин только южный, Порт-Артур, Ляо-Дун, – и Витте подписал. Соглашение Японии грянуло так неожиданно, мир был подписан так мгновенно, – Николай воспринял как новое поражение и горе, целый день ходил как в дурмане, лишь постепенно сильный холодный ветер продувал жаркий воздух и голову: может быть и хорошо, что подписали. Вероятно, так и должно быть. Служили молебен во дворце, но радостного настроения не ощущал.

И началась война как во сне, и кончалась как во сне.

Лето жили, как всегда, в Петергофе, здесь и безопаснее, на ограниченном пространстве. Некоторые недели стояла здоровая жара, много купались, и Аликс с детьми ходила в воде. Катались на электрическом катере. Играли в теннис.

В эти тяжёлые недели Вилли предложил повидаться, и Николай охотно согласился, так нуждалась душа поделиться с близким, а вместе с тем – равным. По напряжённости русских обстоятельств уговорились сойтись шхунами в Бьёрке, тут близко, в Финском заливе. Николай ждал поддержки и дружеских советов относительно японских переговоров, да и внутренних неурядиц, где Вилли так завидно видел выход. А Вильгельм приехал весёлый, но и очень озабоченный: он говорил, что именно теперь, когда Россия выходит из японской войны, особенно опасно нападение на неё Англии и особенно-зрелым и нужным стал их несостоявшийся оборонительный договор, в который затем они втянут и Францию. За многими беспокойствами минувших месяцев Николай как-то потерял мысль, сейчас не мог собраться: почему именно теперь, именно к концу войны, только со дня заключения японского мира (не вступать же Германии против Японии), – Вильгельм считал таким необходимым этот договор? Вилли озабоченно, дружески и категорически настаивал – да оказывается, он привёз и весь договор готовым! Но ведь было условие сперва советоваться с Францией? Ни в коем случае, именно это нельзя, сразу станет известно Англии, и Англия успеет объявить войну. Надо подписать теперь же (вот, он уже подписывал!), а тогда Франции легче будет и присоединиться, если у неё есть совесть. И прямо ручку протягивал – подписывать. Николай никак не охватывал этого смысла до конца, не тем была занята его голова. И правда, Франция все эти годы войны и бедствий была чужая, совсем не союзница,



и даже сердечный друг врагов. А Вилли был тот друг, который не покидает в беде, именно в японскую войну они и стали друзьями, как никогда. Он называл Ники милым братом и только одну надежду имел: видеть Ники достигающим успеха. Он говорил, что этот союз особенно полезен именно для России, потому он и предлагает то. Там дальше Двойственный Союз сольётся с Тройственным, образуется Пятерной, – кто против него устоит? А уж все мелкие государства естественно притянутся, доверчиво следуя за нами. Весьма возможно, со временем и Япония пожелает присоединиться к нам. Нынешний день начнёт новую страницу истории.

И Николай – подписал. Сколько было дружеской радости, обнимались. Теперь, говорил Вильгельм, надо поддержать договор в глубокой тайне, пожалуйста не говори даже министру иностранных дел, а то – разойдётся. Даже министру иностранных дел? Даже! Но нужно чьи-то подписи для скрепления наших. Ну вот, с тобой морской министр. Пусть подпишет, только не читая. А от меня – адъютант. Простились с Вильгельмом сердечно. Николай вернулся домой под самым лучшим впечатлением этих часов. (Радостно было увидеть детей, но не министров). Теперь, в тройственном союзе с Германией и Францией Россия будет снова непобедима.

Но что делалось внутри? Съезды собирались, какие хотели, – и соревновались друг с другом дерзостью резолюций. Съезд городов и земств захотел послать депутацию к Государю – и уже не во власти Государя было отказать: как школьник, он был обязан глаз на глаз выйти; к своим врагам, конституционалистам. Стоял против них, рассматривал лица – обыкновенных состоятельных людей, да почти все дворяне, и даже князья, – и ждал, чем они выстрелят в него. Однако слова были произнесены почтительные (или снисходительные?), но предрекали бессилие власти, пока не будут созваны избранники народа, как Государь и обещал.

Всё же Николай был тронут их неожиданной сдержанностью и ответил им тепло (да неужели же русские люди не могут между собой сговориться?). Это правда, он обещал, да что-то тянулось, никак не выработывался этот Земский Собор или по-современному лучше назвать Государственной Думой, да и разное они вкладывали в неё: Государь представлял совещательным собранием умеренных положительных людей, чьи советы помогают не упустить какие-то пути, а мятежные дворяне представляли буйной ассамблеей: перехватить власть от царя – себе в многоголовье.

Через месяц эти же земцы собрали новый съезд и объявили уже не то, с чем приезжали в Петергоф: но что реформ ждать пустое, а революция – уже факт, и надо обращаться не к трону, а к народу. Никем не приглашённые, они одобряли самовольный проект конституции и отвергали государеву совещательную Думу. Многоголовые, они не давали следа, кому же верить: вчерашним или сегодняшним. Вот и обнаруживалось, что все их просьбы о народном представительстве были ловушкой, захватить власть. А интеллигентский Союз союзов – в заседаниях открыто называл нынешнюю государственную власть разбойничьей шайкой. Интеллигенты умели выражаться хуже революционеров.

От Государя ждали Думы всенациональной и не сословной, а Николай всё более склонялся: как бы набрать туда почти одних крестьян – неветренных, некипучих, обдумчивых, даже предпочтительнее неграмотных, кто не повторяет газетных выкриков, не поддаётся проидам, а всю эту горластую наглую городскую публику вообще от участия устранить? О, как бы правда установить единение и понимание между царём и Русью, между царём и земскими людьми? Ведь было же встарь! Открыв молебном летние совещания с людьми сановными и сведущими, Николай старался сам вникнуть в каждую статью и определить её редакцию. Он понимал, что идёт на шаг небывалый, чего, может быть, не простили бы ему отец, дед и прадед.

Лето было жаркое, со многими эффектными грозами. Из-за докладов и этих совещаний иные дни были заняты необыкновенно: по 5 и по 6 часов. А ещё надо было принимать многих раненых. Отдыхал, играя с офицерами и Мишей в теннис, катаясь на моторе, на катере. Пили чай под зонтиком, на балконе, в китайском павильоне. Но ничто так не

подбадривает, как посещение военной части и долгий приятный обед в полковой офицерской семье. Или дать тревогу в Конной Гвардии – а самому ехать верхом на военное поле смотреть, как собираются.

В эти же дни пришла горестная весть о кончине мсьё Филиппа.

## 74

На Преображение (и в день парада Преображенского полка), через полгода подготовительной работы, опубликовали закон о Думе, и уязвленная городская рвань и с нею князя из линии Рюриков стали тут же кричать, что это обман. А Вильгельм, всё время торопивший публиковать, теперь поздравлял, но снова торопил: избирать депутатов как можно скорей, пусть условия ожидаемого мира отклонят или одобряют народные представители, тогда на них ляжет и ответственность решения, оппозиция смолкнет, а император освободится от нападков во всех случаях, ни один смертный властитель не может брать на себя такого решения без помощи своего народа.

Все советы Вильгельма были всегда пронзительно-уверенны. Но Николай знал, что истинный народ всегда верит в своего Государя, – и не спешил уклониться от тяжести одиночных решений. За 11 лет он к ним уже и привык.

Только вот: другая часть народа, но более подвижная, творила в стране что-то невообразимое – и не наказавши поначалу раз, и не удержавши два и три, – уже ни в одном случае не было сил управить и остановить. Многие места империи, а особенно Польша, Финляндия и Прибалтийский край, сотрясались забастовками, взрывами, убийствами и грабежами. Бастующие устраивали уличные шествия. В Баку – на две трети были сожжены нефтяные промыслы, и вспыхнула армяно-татарская резня. Такое же побоище произошло и в Тифлисе. Большими массами в Россию, видимо, везлось оружие. Когда садился на мель пароход с двумя тысячами швейцарских винтовок – случай становился известен. Уступая студентам, чтоб им после забастовки легче было начать новый учебный год, объявили автономию университетов, выборность ректоров, неприкосновенность их территории для полиции, – но студенты вместо благодарности и успокоения собирали там невозбранные митинги с поджигательными анархическими речами.

Всего этого просто выдержать не могла душа. И Николая давно занимала мысль: как бы от этих всех неприятностей уехать на несколько дней и дать себе отдохнуть? порадоваться и понаслаждаться жизнью немного для себя самого? Заключение мира с Японией сделало эту мечту осуществимой. На уютной яхте “Полярная звезда” со всеми детьми поехали в финские шхеры, стали на рейде военного отряда. Дети всячески радовались и возились с офицерами и матросами, и сам Николай как молодое дитя был счастлив этой свободе и отдыху. Надеялся он, что и маленький наследник полюбит море. Совершали прогулки, устраивали гонки шлюпок и парусные, вместе с Аликс посещали суда, кое-где производил тревогу – водяную, боевую, пожарную, остался доволен. Но больше всего забавлялись охотой, устраивали облавы на островах, загонщиками матросы. Убивал тетеревей, зайцев, а то большую лисицу. Вечерами устраивали фейерверки для детей или играли в дутьё, или на инструментах. Устроили обед с мичманами и офицерами, много смеялись. А как спалось! Счастливые две недели. Как будто чувствовалось, что такая беззаботность повторится у них нескоро. В эти дни спешил представиться Витте, воротившийся с переговоров, Николай позвал его сюда в шхеры, пожаловал ему графа, тот был потрясён, три раза старался поцеловать руку. Наверное, ещё бы остались, но падал барометр, задувало, пришлось возвращаться в Петергоф, – и снова доклады, снова приёмы. Скучали ужасно по милой яхте.

Надеялся Николай, что теперь, после заключения мира, успокоится всё само. Но не только не успокаивалось, а возжигалось ещё сильнее. На студенческих сходках по 5-7 тысяч, вместе с посторонней толпой, в разрешённых теперь местах и без всяких помех от полиции, горланили по целым неделям – расходились домой, а на утро собирались продолжать, и

постановления делали: если отменить забастовку, то как пассивную слабую форму борьбы, а перейти к активной агитации, университеты обращать в политические школы и революционные очаги. “Зачем учиться, когда вся Россия в крови? Да здравствует коммунизм!” Обидно было такое узнать и негде, некому возразить, такого голоса нет у царя, и студенты неведомы, невидимы, да и сокровенно слишком, этого и близким не выскажешь: кровью, пролитой так несчастно 9 января, Николай был как обожжён, и теперь все движения правительства умерял осторожно, чтоб это не повторилось. Но разгул только шёл дальше. Журналистика была совершенно распушенная, и никто не обращался в судебную власть за применением законов к ней. Начинала бастовать одна типография – её молодые наборщики в перемеси с какой-то подозрительной толпой шли выбивать стёкла в остальных типографиях, – и останавливались все. Иногда убивали, ранили городского, жандарма. (Только никого не арестовывали, ни даже зачинщиков, не разжигать недовольства!) Пока не бастовала почта – приходили бранные гнусные письма великим князьям. Потом – бастовала почта, за ней и телеграф, бастовали почему-то присяжные поверенные, гимназисты, пекари, перекидывалось от заведения к заведению. Даже духовная академия! – и митрополит, являсь их усювестить, не был допущен внутрь студентами со свистом и революционными песнями. Некоторые священники отказывались читать послание митрополита об умиротворении. Москва не вытягивалась из забастовок и уличных столкновений весь сентябрь и на октябрь. Забастовщики требовали иметь на заводах неувольняемых, неарестуемых депутатов, а чтоб сами депутаты могли увольнять администрацию. Собирались самозванные съезды, депутаты выбраны сами собою. (Странно, но местные власти бездействовали). Распространялись прокламации со многими обещаниями. Собирались уже и уличные сходки, и ораторы требовали не земцев, не думцев, а только – свержения самодержавия и учредительного собрания. Стрелять было не велено, а разгонять. Агентские телеграммы только и сообщали об убийствах городских, казаков, солдат, о волнениях и возмущениях. Но судебные власти не преследовали политических преступников, судебные следователи не обнаруживали виновных, и все они, и прокуроры, симпатизировали им.

А что ж, может и пусть текут эти все беспорядки: Россия сама убедится в их гибельности и сама от них отвратится!

Самообразовался революционный железнодорожный союз и стал принуждать к забастовке всю массу железнодорожных служащих. Это быстро у них пошло, с 7 по 10 октября забастовали почти все дороги, выходящие из Москвы. У них был план: вызвать всеобщую голодовку и помешать движению войск, если бы правительство хотело подавить. Студенты приказывали закрывать лавки. Пользуясь несообщением, злоумышленники пустили по Москве слух, что Государь “отказался и уехал за границу”. Тут же Москва осталась без воды, без электричества, и забастовали все аптеки. В Петербурге же Николай отдал все войска гарнизона Трепову, тот предупредил, что всякий беспорядок будет подавлен, и здесь держалось спокойно. Тем временем постановили делать всеобщую по стране забастовку, ужасно. Да может быть в рабочих требованиях и много справедливого, но никто не хотел подождать, когда всё бы решилось постепенно.

И надо же! – в самое такое грозное время двоюродный брат Кирилл, позоря династию, зажелал пожениться на разведенной двоюродной сестре Виктории – и упрямо не хотел подчиниться запрету Государя, так что пришлось и этого высылать за границу, и даже так разгневался Николай, что хотел небывало лишить его звания великого князя.

Однако что же делать? Затягивалось едва ли не хуже, чем в январе. Прервался всякий телеграф и телефон с Москвой. У министров не было никакой решимости и ясности плана, а все эти тревожные дни только обсуждали, ставить ли пост первого министра (хотел таким Витте стать) и подчинять ли ему остальные министерства? Нервы были натянуты до невозможности, да у всех. Было чувство, как перед жуткой грозой.

В эти ужасные дни попросил отдельной аудиенции Витте – и Николай с надеждой позвал и ждал его. Когда все звенья власти по стране ослабились, не подчинялись или совершали ненужное или вредное – на ком ещё можно было повиснуть надеждой, как не на

этом выручатель из несчастной войны, вечно смелом и вечно знающем человеке? Витте стал приезжать в Петергоф с утра, а уезжал чуть не вечером. Один день он полностью всё докладывал Николаю, другой раз вместе с Аликс, и представил записку. В этом сложном положении мог помочь только выдающийся ум, вот он и был. Он умел мыслить как-то высоко, выше повседневных задач простого правительства – на уровне всей человеческой истории или самой научной теории. И говорил охотно, долго, воодушевлённо, – заслушаться. Он говорил, что в России ныне проявляется поступательное развитие человеческого духа, что всякому общественному организму присуще стремление к свободе, – вот оно закономерно и проявляется в движении русского общества к гражданским правам. А чтоб движение это, теперь подошедшее ко взрыву, не вызвало бы анархии – надо, чтобы государство смело и открыто само стало во главе этого движения. Свобода всё равно скоро восторжествует, но страшно, если при помощи революции, – социалистические попытки, разрушение семьи и религии, иностранные державы разорвут на части. Но ото всего этого можно легко спастись, если лозунгом правительственной деятельности станет, как и у общества, лозунг полной свободы, – и тотчас правительство приобретёт опору и введёт движение в границы. (И Витте брался лично твёрдо такую политику провести). Совецательная Дума предложена слишком поздно и уже не удовлетворяет общественным идеалам, которые передвинулись в область крайних идей. Не следует опираться и на верность крестьянства, как-то выделять его, а надо удовлетворить передовую общественную мысль и идти ко всеобщему-равному-тайному голосованию как идеалу будущего. И не надо бояться слова “конституция”, что значит разделить законодательную царскую власть с выборными, надо готовиться к этому исходу. Главное – это выбор министров, пользующихся общественным уважением. (А кто же пользовался им больше Витте!) Да, Витте не скрывал: это будет резкий поворот в политике целых веков России. Но в исключительно опасную минуту невозможно дальше цепляться за традиции. Выбора нет: или монарху стать во главе освободительного движения или отдать страну на растерзание стихийности.

Аргументами Николай не мог противостоять этой неумолимой логике, и положение действительно вдруг представилось страшно загубленным (как это получилось? когда?!). Но сердце его сопротивлялось и не хотело так сразу отдать – и свою власть, и традиции веков, и крестьянство. Как будто что-то было немножко не то – а не с кем больше посоветоваться с таким умным.

Ни один из министров в общем в советчики не годился, ни даже покладистый заботливый министр двора Фредерикс. Как-то так оказалось, что в близости трона, да и во всей имперской столице настоящих умных советчиков – не было. И Мама была в отъезде, в Дании. Но Мама всегда очень советовала в тяжёлые минуты держаться за Витте. (Да ведь и отец завещал то же самое!)

Был – немудрёный преданный Дмитрий Трепов, но он не умел рассуждать столь широко, высоко и убедительно, а упирался только, что в этакой смуте никакой реформы делать нельзя. Надо военной силой подавить беспорядки, тогда реформы не будут выглядеть уступками.

Но с **того** дня Николаю черезсилно стало применить войска против толпы.

После виттевских обольстительных убеждений, не найдя решения и в Аликс, Николай день и ещё день советовался так, кое с кем, и томился, не находя и ниоткуда не видя решения. За эти дни сплошные обсуждения он сильно устал, до полного рамолисмента. А тут приезжали совсем посторонние посетители, то уральские казаки с икрой, то трогательная депутация, непременно желающая видеть маленького, то иностранцы. Вечерами по привычке играли в дутьё или на бильярде, но утром, даже поздно встав, некуда было деться от проблемы.

А тем временем забастовки на железных дорогах не только дошли до Петербурга, но захватили и дорогу в Петергоф, так что нужные вызываемые люди не могли теперь приехать поездом, но – на колясках или на пароходах. Прелестные времена. (И погода была сквернейшая: холодные ветер и дождь).

Тут почудилось, что может быть Витте преувеличивает и можно вообще избежать большого решения, принять простое небольшое. И Николай дал об этом Витте телеграмму: объединить действия всех министров (до сих пор разрозненные, так как каждый из них относился с докладами к Государю) – и восстановить порядок на железных дорогах и повсеместно вообще. А начнётся спокойная жизнь – там естественно будет и призвать выборных.

Но это оказалась как бы программа Трепова, и Витте, враг Трепова, принять её не мог. На следующее утро он приплыл в Петергоф и снова представлял, что путь подавления теоретически возможен, хотя вряд ли будет успешен, но не он, Витте, способен его осуществить. К тому же для охраны российских дорог нет достаточно войск, напротив, все они находятся за Байкалом и удерживаются дорогами же. Витте теперь привёз свои мысли облечёнными во всеподданнейший доклад, который Государю достаточно лишь утвердить и будет избрана новая линия: излечивать Россию широким дарованием свобод, сперва и немедленно – печати, собраний, союзов, а затем постепенно выяснится политическая идея благоразумного большинства и соответственно устроится правовой порядок, хотя и в течении долгих лет, ибо у населения не скоро возникнет гражданский навык.

Беседовали утром и ещё беседовали к вечеру. Было много странного в том, что Витте предлагал, но и никто же не предложил и не у кого было спросить ничего другого. Так что приходилось как будто и согласиться. Только страшно было отдаться сразу в одни руки. А не хотел бы Витте взять к себе министром внутренних дел человека другого направления – Горемыкина? Нет, настаивал Витте, он не должен быть стеснён в самостоятельном выборе сотрудников, и – не надо пугаться – даже из общественных деятелей.

Нет! Утвердить такого доклада Николай не мог. И потом: должно же что-то исходить лично от Государя, какой-то манифест. Дарственный манифест, который оглашается в церквях прямо к ушам и сердцам народа, жаждущего этих свобод. Для Николая весь смысл уступок только и мог быть в форме такого манифеста: чтоб это шло прямо от царя – и навстречу народным желанием. Да, вот что, пусть Витте составит и завтра же привезёт проект.

Ни во что в этот вечер не играли. А с утра примчался дядя Николаша – обходя забастовки, на перекладных прямо из-под Тулы, из своего имения. Вот приезд, вот и кстати! Если уж твёрдую руку назначать, диктатора, – так кого же лучше? С тех пор как Николай был в лейб-гусарском полку эскадронным, а Николаша у него полковым, – остался для него Николаша большим военным авторитетом. И с приезде, с пыху, Николаша даже соглашался на диктаторство. Но тут опять приплыл Витте, полил свои сладкие увещевания – и Николай опять размягчел, растерялся, а Николаша совсем был переубеждён, стал горой за Витте и за свободы и даже говорил, что застрелится, если Ники не подпишет свобод. Дело в том, убедил их Витте, что если энергичный военный человек и подавит сейчас крамолу, то это будет стоить потоков крови, а передышку принесёт лишь временную. По программе же Витте успокоение будет прочным. Только настаивал Витте публиковать его доклад – чтобы не Государь брал на себя ответственность (а пожалуй, хотел сам лучше показаться обществу?), да и трудно изложить в манифесте. Впрочем, и манифест у него готовился: на пароходе составляли, сейчас на пристани там сотрудники дорабатывали. Послали за манифестом.

В нём были замечательные слова: “Благо российского Государя неразрывно с благом народным: и печаль народная – Его печаль”. Это было именно так, как Николай истинно понимал и постоянно хотел бы выражать, да не было умелых посредников. Он искренно недоумевал, отчего не утихали злобные смуты, отчего не установится взаимное миролюбие и терпение, при которых жилось бы хорошо всем мирным людям и в деревне, и в городе, и множеству верных чиновников, и множеству симпатичных сановников, гражданских и военных, а также императорскому Двору и императорскому Дому, всем великим князьям и княгиням, – и никому не надо было бы ничем поступаться или менять образ жизни. (Особенно, всегда истаивала Мама, чтоб никто не касался вопроса о кабинетских и удельных

землях, которые эти свиньи хотят отобрать по программам разных партий).

А ещё в манифесте были: все свободы, на которых настаивал Витте, и расширение избирателей уже объявленной Думы, и как будущий идеал – всеобщее избирательное право, а также – бессилие впредь каждого закона, не одобренного Государственной Думой.

Конечно, понимал Государь, что русский народ ещё не готов к представительству, он ещё в невежестве и необразованности, а интеллигенция между тем преисполнена революционных идей. Но ведь и уступка будет – не улице, не революции, а умеренным государственным элементам, для них это и строится.

И не совсем же это получалась конституция, если шла от царского сердца и его добрым движением была дана?

Все присутствующие оказались согласны – но из осторожности Николай не подписал и тут, оставил у себя, помолиться и подумать.

И посоветоваться с Аликс. И посоветоваться же ещё с кем-нибудь, с Горемыкиным, с другими. Составилось ещё два проекта манифеста. Однако Витте предупредил, уезжая, чтобы с ним согласовали каждое изменение, иначе он не берётся осуществлять. В воскресенье ночью послали старого Фредерикса в Петербург к Витте. Тот не принял ни единой поправки, увидел в этом недоверие к себе и уже отказывался от поста первого министра.

А решительно иного выхода – никто за эти дни не предложил: кроме верного Трепова, все во главе с Николашей убедились в необходимости дарования свобод и ограничения царской власти.

Решение было страшное, Николай это сознавал. Такие же муки и недоумение, как с японским миром: хорошо ли это получилось? или плохо? Ведь он изменял пределы царской власти, неущербно полученные от предков. Это было – как государственный переворот против самого себя. Он чувствовал, что как бы теряет корону. Но утешение было, что такова воля Божья, что Россия хотя бы выйдет из невыносимого хаотического состояния, в котором она уже год. Что этим Манифестом Государь умиротворяет свою страну, укрепляет умеренных против всяких крайних.

И благоугодно стало ему – даровать свободы.

Пришлось это – на понедельник 17 октября, и как раз в 17-ю годовщину от железнодорожного крушения, где едва не погибла династия (тоже поминали каждый год). Посетил праздник Сводно-гвардейского батальона. Отслужили молебен. Потом сидели ждали приезда Витте. Николаша был что-то слишком весёлый. И ещё убеждал, что всё равно все войска в Манчжурии, устанавливать диктатуру нечем. А у Николая голова стала совсем тяжёлой и мысли путались, как в чаду.

Ещё помолясь и перекрестясь – подписал. И сразу – улучшилось состояние духа, как всегда, когда решение уже состоялось и пережито. Да теперь-то, после Манифеста, всё должно было быстро успокоиться.

И следующее утро было солнечное, радостное, – хорошее предзнаменование. Уже в этот день Николай ожидал первых волн народного ликования и благодарности. Но к изумлению его всё вышло не так. Те, кто ликовали, те не благодарили императора, но рвали его портреты публично, поносили его оставшуюся власть, ничтожность уступок и требовали вместо Государственной Думы – Учредительного Собрания. В Петербурге не было кровопролития только благодаря Трепову, он запретил всякие шествия вообще (пресса настаивала уволить его), но в Москве и по всем остальным городам они были – с красными знамёнами, торжеством победы, насмешками над царём, только не благодарностью. А когда через день в ответ также по всем городам поднялся никем не возглавленный встревоженный верующий народ с иконами, портретами Государя, национальными флагами, гимном, то и в них была не благодарность, и не ликование, а – тревога. Тщетно Синод пытался остановить второе движение, что царь могуч и справится сам, – два движения, красное и трёхцветное, по всем городам не могли не прийти в столкновение, междуусобицу толп, а напуганных властей как не было при этом. И поразительно, с каким единодушием и сразу это случилось во всех

городах России и Сибири: народ возмутился глумливым беснованием революционеров, а так как множество среди них – евреи, то злость встревоженного народа обрушилась кое-где в еврейские погромы. (В Англии, конечно, писали, как всегда, что эти беспорядки были организованы полицией). Толпа местами так рассвирепела, что поджигала казённые здания, где заперлись революционеры, и убивала всякого выходящего. Теперь, через несколько дней, Николай получал отовсюду много сердечных телеграмм с ясным указанием, что желают сохранения самодержавия. Прорвалось его одиночество народной поддержкой – но зачем же не в предыдущие дни, зачем же они раньше молчали, добрые люди, когда и деятельный Николаша и преданный Горемыкин соглашались, что надо уступать? Самодержавие! – считать ли, что его уже нет? Или в высшем смысле оно осталось?

В высшем смысле оно не могло поколебаться, без него нет России.

Тут ещё ведь так случилось, что кроме Манифеста и виттевского доклада не было выработано ни одного более документа, не успели: враз как бы отменялись все старые законы, но не составился ни один новый закон, ни одно новое правило. Но милосердный Бог должен был помочь, Николай чувствовал в себе Его поддержку, и это не давало пасть духом.

Витте обратился за помощью к газетам и через газеты к обществу: дать ему несколько недель передышки, и он организует правительство. Но общество потребовало начать успокоение с отмены усиленной охраны и военного положения, с увольнения Трепова, с отмены смертной казни за грабежи, поджоги и убийства, с увода из столицы войск и казаков (в войсках они видели главную причину беспорядков) и отмены последних сдерживающих законов о печати, так чтобы печать не несла уже ответственности ни за какое вообще высказывание. И Витте в несколько дней растерялся, не находя поддержки: как он ни звал, никто из земцев и либералов не пошёл к нему в правительство *возглавить свободу*. И хотя он сменил половину министров и 34 губернатора, уволил Трепова и многих чинов полиции – но не добился успокоения, а только худшего разора. Странно, что такой опытный умный человек ошибся в расчётах. Так же и новое правительство, как все прежние, боялось действовать и ждало приказаний. Теперь и Николаша очень разочаровался в Витте.

Только теперь, с опозданием, выяснилось, что московская забастовка уже накануне Манифеста переломилась к утишению: заработал снова водопровод, конка, бойни, сдались студенты университета, городская дума уже не требовала республики, Казанская, Ярославская, Нижегородская дороги уже постановили стать на работу, – ах, если б это знать в те дни! – уже всё начинало стихать, и никакого Манифеста не надо было, – а Государь поддал как керосину в огонь, и опять вся Москва забурлила, и даже генерал-губернатор Дурново снимал шапку при марсельезе и приветствовал красные флаги, на похороны какого-то фельдшера вышло чуть не сто тысяч, произносились речи не верить Манифесту и низвергать царя, из университета раздавали новенькие револьверы (не все пароходы садились на мель, морская граница длинная, её всю не охранишь). А в Петербурге из Технологического института студенты бросили бомбу в семёновцев.

Ах, кто же **тогда бы** прискакал и сказал, что уже утихает?!... Или почему, правда, летом не послушал Вильгельма, не поспешил избрать и собрать эту совещательную Думу? – ещё верней бы всё остановили! А теперь – запылало только сильнее. С красными флагами ринулись освободить тюрьмы. Национальные флаги везде срывали. Прежние забастовщики требовали содержания за дни забастовки – а тем временем объявлялись новые стачки. Печать достигла разнузданной наглости – любые извращения о власти, ложь и грязь, а всякая цензура совсем отпала, и уже открыто появлялись революционные газеты. Сходки в высших учебных заведениях растягивались по неделям. Снова останавливалось движение на железных дорогах, а Сибирь – вся прервалась, восточней Омска – полная анархия, в Иркутске – республика, от Владивостока разгорался бунт запасных, не отправляемых на родину. Возникло возмущение в одном из гренадерских полков в Москве, солдатские волнения в Воронеже и Киеве. Кронштадт два дня был во власти перепившейся матросской толпы (и даже подробностей нельзя было узнать, не действовал телефон, только окна петергофского дворца дрожали от кронштадтских выстрелов), а флотский экипаж буйствовал

в Петербурге. На юге и востоке России разгуливали вооружённые банды и предводительствовали в уничтожении имений. Городские агитаторы подбивали крестьян грабить помещиков – и некому было сдерживать. Крестьянские беспорядки перебрасывались из одной местности в другую. Революционные партии открыто обсуждали, как вести пропаганду в войсках и поднимать вооружённое восстание. Самозванный совет рабочих депутатов в столице захватывал типографии, требовал денег. Польша была вся в мятежном движении, балтийские губернии и Финляндия – в подлинном восстании (взрывали мосты, захватывали целые уезды), генерал-губернатор сбежал на броненосец (Николай уступил финнам во всём, подписал ещё один манифест). Тут произошёл морской бунт в Севастополе. Опять во флоте! (Удивительно, как этих мерзавцев совсем не заботила честь России и как они своей присяги не помнили!) А тут объявилась всероссийская почтово-телеграфная забастовка – ещё хуже не стало ни движения, ни сообщения. Иногда из Царского Села разговаривали с Петербургом только по беспроволочному телеграфу. Узнать было невозможно, как за один месяц упала Россия! – вся жизнь её, деятельность, хозяйство, финансы, не говоря уже о внешних отношениях. Ах, если бы власти исполняли свой долг честно и не страшась ничего! Но не было видно на постах людей самоотверженных.

А Витте, так и не возглавивший “естественное движение прогресса”, теперь предлагал расстреливать и вешать, только у самого сил не было.

Да, подходило всё равно кровопролитие, только ещё горшее. И больно и страшно подумать, что все убитые и все раненые – это же свои люди. Стыдно за Россию, что она вынуждена переживать такой кризис на глазах всего мира, и до чего довели её в короткий срок.

Николай мучился, изводился отчаянием – одиноким и запертым, потому что опасался да и не привык отлучаться из Петергофа, из Царского. Да скоро все эти дворцы и милая мамина Гатчина могли исчезнуть. (Стала выдвигать требования уже и придворная прислуга). Со смирением надо нести возложенный тяжёлый крест. Может быть вот крестьянство войдёт в Думу – и потребует возврата самодержавия? Пошли Бог силы трудиться и спокойствия духа. В эти дни познакомился с человеком Божиим Григорием из Тобольской губернии, подлинным простым народным человеком. Помиловал Стесселя (против него, бедного, затеяли следствие и суд за сдачу Порт-Артура).

В эти горькие дни чего более всего не хватало душевно – это общения с гвардией, глотнуть их военного духа. Унизительная необходимость оберегаться от террористов не давала возможности ездить прямо в расположение частей. Но Николаю пришла замечательная мысль: приглашать целые полки к себе в Царское Село. Так и сделали! По два раза в неделю стали приходиться то семёновцы, то преображенцы, московцы, конная гвардия, лейб-казаки. В первый день полк вступал в Царское, располагался в казармах, а все офицеры обедали у императорской четы – долго разговаривали, как приятно было их видеть, освежалась душа. А на другой день на площадке перед большим дворцом или в экзерциргаузе, по погоде, полки представлялись парадом и всегда великолепно, блестяще. Кавалергардов пропустил три раза – шагом, рысью и галопом, замечательно хорошо! А мимо строя финляндцев пронёс маленького Алексея, их шефа, он привлёк всеобщее внимание. После каждого парада – обед у офицеров, и засиживался до ужина и далеко после него. И полкам – какая бодрость, и на плечах Николая как бы легчилось государственное бремя, вести Россию уже не казалось так тяжело. Это хорошо понял Вильгельм, отозвался: да, самый лучший способ облегчить заботы и огорчения – это заниматься своей прекрасной гвардией, делая ей смотры.

Однако с Вильгельмом эта осень тоже выдалась очень тяжёлой. Николай не удержался и открылся министру иностранных дел насчёт договора в Бьёрке, тот пришёл в ужас: да показать Франции такой готовый договор – значит, против кого же он заключён? это – коварный приём Вильгельма, чтобы расстроить нашу дружбу с Францией, самой Германии выйти из изоляции, а Россию привязать к ней! Тут неблагоприятное противоречие с русско-французским договором: у Франции единственная цель – реванш от Германии, для



чего же бы и для кого она вступила в такой договор?!

Николай так не думал, он этого не видел прежде, теперь усумнился. С одной стороны и Франция не была нам верная союзница, покинула нас в войне, а теперь вот не давала нового займа, по жалобе российских евреев. А с другой стороны и Германия в торговом договоре использовала нашу связанность войной, пришлось пожертвовать русским зерном. Действительно, нет у России верных друзей. И теперь – неужели такое лукавство со стороны лучшего друга Вильгельма? Никак не ожидал Николай. Всё же, полагал он: если ловко взяться за дело – может быть, ещё можно от договора в Бьёрке освободиться? Стали пытаться.

Написал Николай Вильгельму так: наше соглашение – в высшей степени ценное, но пока Франция не присоединится, а большие встретились трудности, никак нельзя пускать его в ход. Иначе можно толкнуть Францию в объятия противника.

Вильгельм не уловился, но ответил очень строгой телеграммой: все обязательства России по отношению к Франции могли бы иметь значение лишь постольку, поскольку она заслуживала бы их. Но во время японской войны она оставила Россию, тогда как Германия поддерживала всячески. Это налагает на Россию нравственные обязательства. Мы подали друг другу руки и дали свои подписи перед Богом, который слышал наши обеты. Что подписано – то подписано, договор должен исполняться нами как есть. И невероятно, чтобы Франция отказалась подписать.

Какое-то защемлённое положение, не хватало головы сообразить, как выскочить. Тогда придумали с министром так: в Бьёрке Николай не имел при себе документов, подписанных его отцом с Францией, – а те исключают всё, что могло бы привести к столкновению с ней. Вот почему договор в Бьёрке условен, и пока не может войти в силу.

Но Вильгельм резко настаивал, что договор подписан, и надо выполнять. И что Александр III, хотя и подписывал там что-то с Францией, но лично Вильгельму высказывал отвращение к французскому республиканскому строю.

И это конечно была правда. И такое же отвращение испытывал к нему Николай. И такое же отвращение испытывал французский республиканский строй к монархической России. Но вот: зачем-то же подписал отец, и не сын его имел право разрушить. А зачем перед тем Германия не продолжила дружеского договора с Россией?... Всё это запутывалось узлами неведомыми, постичь и исправить их было нельзя. А зачем Вильгельм поступил так коварно в Бьёрке и так настаивал теперь?

Вот это властное насилие особенно оскорбляло Николая и порождало желание вырваться из объятий. Он же не ребёнок был!

Увы, таких сердечных отношений, как до Пятого года и в Пятом, – уже не было у них никогда. Слова о дружбе повторялись, но уже без прежнего значения.

Послеяпонская слабость России заставила искать соглашения с Англией, уладить, чтоб не беспокоиться о среднеазиатских границах. Приезжал дядя Эдуард на свидание в Ревель. (Он хотел в Петербург, но Николай не мог ему объяснить: тут – всюду террористы, тут ни шагу я не могу с тобою гулять). Никак это единственное свидание не могло перевесить дюжины таких свиданий с Вилли – но вдруг стало как бы перевешивать. Вот уж никогда не задумывал Николай вступать в союз или в дружбу с Англией, – но в глазах Вилли и всего мира стало так получаться: Россия как будто вползала в ненужный для неё союз с Англией.

И всё это сказалось через год, в 1908, когда Австрия захватила Боснию и Герцеговину (да ещё так лукаво выбрала время, Николай плавал на любимой яхте, долго не имел связи и ничего не знал). Все в Европе вели себя так, что с Россией не надо более считаться как с величиной. (И доклады военного министра о состоянии армии убеждали Николая, что следует терпеть и терпеть). Теперь Николай слал Вильгельму его прежние слова: о тесном единении России и Германии как оплота монархических учреждений, что он всю жизнь будет стремиться укреплять эти узы, – а Вильгельм, уже не личным письмом и не через личного адъютанта, но грубым правительственным приёмом заставил Россию не просто

смолчать, а унижительно поклониться Австрии за её захват Боснии. Всё русское общество, от правых до кадетов, всегда нервно-единое по славянскому вопросу, негодовало, ещё по-новому презирало своё правительство, – но и сам император не находил выхода из унижения. Дал себе слово Николай не забыть этого (не забыть – скорее Австрии, чем Германии).

И – ещё же продолжались их встречи. Ездил в Потсдам. Ездил на столетие освобождения Германии с русской помощью. И повторяли оба о честном сотрудничестве, о преданной дружбе, о братстве по оружию, возникшем так давно, – да никогда не имел и цели Николай вооружаться против Германии или воевать с нею!

Жила Россия свои лучшие годы отдыха, расцвета, благосостояния. Жила – укреплялась. Но вдруг, как в замороженном каком-то колесе, стала история повторяться, как она обычно никогда не повторяется – как ещё раз бы насмешливо просила всех актёров переиграть, попытаться лучше, – через 6 лет снова так же нависала Австрия над Сербией, только ещё несправедливее, – и снова держал Николай телеграмму Вильгельма...

## Июль 1914

... о сердечной и нежной дружбе, связывающей их столько лет.

В телеграмме было и отчуждение этих последних годов, но и – ясными буквами проставлена сердечная нежная дружба! Вильгельм был застигнут событиями в норвежских фьордах, он ещё шёл по морю домой – а вот с пути телеграфировал Николаю, как мог делать только друг, а не посторонний государственный деятель. Какое счастье, что они установили эти отношения – прямые, честные, тесные и мгновенные. Насколько было бы медлительней, запутанней, а в тревожные часы и беспокойней сноситься через двух министров, двух послов: никто не отзывчив как струна, и в той же лысоватой подвижной голове долгоносого Сазонова – своё сопротивление, свои возражения и побочные соображения, на всём теряется и время, и точность слов и прямота линии, ничто не может заменить прямой межимператорской связи.

И в том, что Вильгельм застигнут во фьордах, тоже было свидетельство, что нет тайного замысла с Австрией. Теперь ещё более убедился Николай, что Вильгельм, правда, и о захвате Боснии не знал в своё время. Это всё исподлобная австрийская манера, как и сейчас: послать ультиматум Сербии так, чтоб ещё не узналось, пока Пуанкаре давал на броненосце прощальный ужин Николаю. И какая неслыханная резкость, какой категорический тон ультиматума! И почему Австрия не хотела расширить срока его, давала только 48 часов?

Что ж, Франц-Иосиф, 66 лет на троне, не хочет умереть спокойно?

С пятницы Николай разрешил уже принять некоторые подготовительные меры: возвращать войска из лагерей на зимние квартиры, офицеров из отпусков, настроить крепости, флоты, чтобы не повторился Порт-Артур, – но даже частичной, смежно Австрии, мобилизации ещё не было надобности производить. А теперь, в понедельник 14 июля, с телеграммой Вильгельма Николай и вовсе успокоился и написал Сазонову: не теряя времени, побудить Сербию обратиться с жалобой в Гаагский суд – исключительно подходящий был случай для суда и разбора. Пусть Австрия представляет аргументы! Убийство эрцгерцога подготовлено в Австрии, она пожинала плоды своего боснийского захвата – при чём тут бедная Сербия? Сербия ответила примирительно, почти все пункты своего унижения приняла.

А погода была – чудная! Поиграл в теннис с Аней Вырубовой. Весь вечер читал.

И такая же чудная – во вторник. С обычным регулярным докладом приехали военный министр Сухомлинов и начальник Генерального штаба Янушкевич.

Николай всегда очень уважал старого Сухомлинова, это был блистательно-остроумный военный, он когда-то и лекции читал ему, ещё наследнику. И Янушкевич – умница, очень положительный, самообладательный, знающий генерал, ровесник Государя. Ничего нового

не было у них, так что всё оставалось, как и в субботу: вести подготовительные меры для частичной мобилизации, если она понадобится, – и ничего резче. Да в руках таких опытных невозмутимых генералов всё было покойно. Сухомлинов повторял, что нам никакая война теперь не страшна, выиграем всякую.

В этот день, кроме обязанностей, успел и в теннис поиграть и съездить в Стрельну к тётке Ольге, там у неё пили чай, когда Сазонов сообщил по телефону, что Австрия сегодня днём объявила войну Сербии!

Это – как громом поразило! Позорная война, слабой стране! Не наученная раз, не наученная два, по лапам, лезла старая шкодливая кошка на чужое молоко.

Неурочно вечером принял Сазонова в Петергофе. Тот явился воинственный, так и кололся шильными глазами из впадин и настаивал объявить частичную мобилизацию немедленно. Он и перед тем, сразу после австрийского ультиматума, настаивал, что мирностью мы ничего не добьёмся: уступим Сербии, перенесём ещё одно унижение, – а Германия, раз она рвётся к войне, зацепит русские интересы ещё в новом чувствительном месте. Сазонов уверен был, что австрийский ультиматум прекрасно согласовал с Германией. Николай думал, что – нет, нет! не может быть. Но и у него самого дрожало нутро, так хотелось проучить Австрию! Невыносимо было ещё раз снести боснийское унижение, ещё раз не осмелиться помочь славянам! Неужели мы не великая держава?

И всё же нельзя было терять голову, это повлекло бы слишком многое, и ещё не поздно было – обращаться в Гаагу. Но Сазонов настаивал, как не смел бы никогда, тряс своей маленькой лысой головой, в пределах приличного даже бегал – и потрясал руками, что вся общественная Россия не может снести такого позора. Изумительный подъём духа у всего общества, и мы только сорвём его полумерами. Вот это небывалое единство чувств Государя с обществом придавало Николаю и решительность. Да и трудно было не уступить этому народному уговариванию. Нехотя-нехотя дал Николай согласие на частичную мобилизацию – смежных с Австрией округов. Но в уме торопился к другому: телеграфировать Вилли. Только это уже делается без министра.

Его рука дрожала, когда он писал (по-английски), исправлял, перечитывал, потом дал шифровать. Ночью телеграмма пошла в Берлин. Николай писал, что прибегает к помощи Вилли. Что боится вскоре уступить давлению со стороны всей безмерно возмущённой России – и во имя старой дружбы умолял не дать австрийцам зайти слишком далеко, не допустить до бедствия Европейской войны!

Он представлял десятки их встреч, обеды и ужины вдвоём, дружеские обнимки, шутки, подарки, столько раз они были друг другу открыты – слава Богу, это не могло теперь не выручить!

Следующий день, среда 16-го, выдался необычайно беспокойный. Началось с приёма Янушкевича, который уже с утра поверг Государя в недоумение и страдание: оказалось, что частичная мобилизация, на которую Николай с таким трудом дал согласие вчера, была практически невозможна: в Генеральном штабе такой проект, оказывается, никогда не разрабатывался! Да и как разделить Варшавский округ – он граничит и с Австрией и с Германией? Так не хватило мирного времени об этом подумать?! Тут не было бы границ достаточно рассердиться, но абсолютно невозможно было рассердиться на бархатного Янушкевича – и голосом, и обходительностью, и мягкостью наружности обаятельного человека (и знавшего своё обаяние). Да и был он начальником Генерального штаба всего четыре месяца, не с него следовало спрашивать. Но – так ли? Проверить бы надо у генерал-квартирмейстера Данилова, он всё знает! Проверено, Данилов прибыл из отпуска: такого проекта в Генеральном штабе никогда не существовало. Как странно, такая естественная мысль – частичная мобилизация против Австрии, – и никому никогда не пришла в голову? Но Сухомлинов? Он-то уже пять лет военным министром?! Янушкевич застеснялся, стушевался, он никак не хотел подвести своего благодетеля Сухомлинова. И Сазонов, значит, когда вчера выпрашивал частичную мобилизацию, – ну да, тем более не знал. И на совете министров они никогда этого не обсудили, странно.

А может быть, это и к лучшему? Даже освобождались плечи Николая: значит, можно и никакой мобилизации пока не объявлять. Обождать. (Да вероятно же всё хорошо обойдётся: друг Вильгельм не оставит, всё уладим переговорами. Наконец, есть и запасный козырь: Англия до сих пор никак себя не проявила, и Германия считает, что та останется нейтральной. Но надо будет попросить Англию, та вовремя твёрдо заявит – и все опасности останутся). Так хорошо, тогда, не объявляем никакой.

О, нет, о нет! – страдал чувствительный Янушкевич не менее самого Государя. Во-первых, уже трое суток, как ему поручено и он уже составляет план такой частичной мобилизации. Гм-м... Достаточно понимал Николай военное дело, что план мобилизации и в три месяца нельзя вполне составить и распространить. А во-вторых, во-вторых... Переход от частичной затем ко всеобщей может вызвать большую путаницу, сорвётся всё расписание назначенных воинских поездов и маршруты мобилизованных команд... Бархатный голос и бархатные глаза Янушкевича выстилались уговаривающим ковром... Нам удобно в случае тревоги сразу объявить всеобщую... нам удобно было бы сразу готовить и всеобщую...

И такой указ – о всеобщей мобилизации – вот, у него уже был приготовлен, привезен, ждал подписи Государя.

Николая даже отшатнуло. На всеобщую он не был согласен ни за что! (В Европе это будет воспринято грандиозно, грозно). Да какая необходимость? Он и на частичную-то вчера так неохотно согласился.

Но ведь невозможно совсем не готовиться ни к какой, само собой будет разрабатываться частичная, конечно. А само собой пусть наготове лежит и всеобщая... Упали мягкие веки Янушкевича от ужаса, что можно упустить... Да ведь подпись Государя это ж ещё не мобилизация, это только начало пути: еще нужно получить подписи трёх министров, ещё нужно передать в Сенат для опубликования... Это – только заблаговременная мера.

Ну, если заблаговременная, правда... Ещё же министры, а они не подпишут сами... Так настойчиво, так уговорчиво Янушкевич просил! В самом деле, раз частичной нет, а совсем никакой нельзя же не готовить.

– Но только, вы же не подведёте, голубчик? Вы же будете советоваться с Сазоновым?... сноситься со мной?

О, никакого сомнения!

Подписал.

(А заодно ещё – подписал, не читая, уже и так беседа затянулась, Положение о полевом управлении войск).

Но этим утренним разговором не кончились, а только начались волнения беспокойнейшего дня. Всё было достигаемо через телефон: по чрезвычайности обстоятельств подчинённые смели теперь вызывать Государя к телефону, чего никогда не бывало, и целый день то один, то другой, то третий, – ощущение приколотости звенящею булавкой, вот сейчас позвонит – и для каждого разговора надо идти в комнату камердинера. И самому Николаю для скорости приходилось вызывать их таким же путём. А Николай всегда ненавидел телефон и не пользовался им. Что может быть неприятней, неестественней разговора по телефону, да ещё важного? Собеседника не ждал, теперь не видишь, и нет простора оглядеться, пройтись по комнате, подумать, помолчать?

Николай оставался приколотый в Петергофе, лишь произвёл гардемарин в мичманы да поиграл в теннис, но озабоченно, мрачно, не шла игра. А погода была опять чудная. А в Петербурге, Вене, Белграде, Берлине и всех других столицах происходили события, и все друг другу писали и телеграфировали. (А бедный Пуанкаре после гошенья у Николая ещё и до Франции не успел доплыть).

Утром же к Сазонову явился германский посол с обнадеживающей вестью, что Германия будет всячески склонять венский кабинет к уступкам (этого Николай и ждал!), но просит не создавать препятствий преждевременной мобилизацией (этого Николай и не собирался!). Сазонов отвечал, что частичная мобилизация предстоит, но ещё не приступили

к ней (и правда). Но наши военные меры никак не направлены против Германии и даже не предрешают наступления против Австрии. И совет министров, собравшись в полдень, постановил: к частичной не приступать.

Пришло и другое: что Австрия отказалась от всякого обмена мнениями с Россией – непосредственно или через конференции.

Вот что значит – уступили тогда, в 1908. Австрия рассчитывает – мы опять побоимся заступиться.

А не заступимся сейчас, они, взявши Сербию, ещё следующий наглый шаг потом сделают.

Тут германский посол попросил у Сазонова второго приёма и прочёл телеграмму канцлера: если Россия будет продолжать свои военные приготовления, *хотя бы и не приступая к мобилизации*, Германия сочтёт себя вынужденной мобилизоваться, – и тогда с её стороны последует немедленное нападение!

День был ясный – а на душе темно. В Петергофе – мирный простор, из окна кабинета – мирный Финский залив, а деться некуда. С нами разговаривали как с Сербией, не как с великой державой. Даже простых предупредительных мер не разрешали.

Душило унижение! Одна надежда оставалась: Сазонов просил Англию выступить наконец и объявить свою позицию!

И тут принеслась спасительная телеграмма от Вильгельма – ну, конечно же, Вилли не изменился и не изменил! Он обещал свою помощь, всё сгладить, – и только убедительно просил не доводить до войны.

Николай был снова окрылён. Их дружба всё спасёт! Он кинулся звонить, чтобы Сазонов с Сухомлиновым и Янушкевичем не приняли никаких бесповоротных мер.

Он составлял теперь ответ Вильгельму. Их телеграммы так зачастили, что опережали одна другую, разминаюсь и не были ответами.

Как согласить, спрашивал теперь Николай, твою примирительную дружественную телеграмму и совершенно другого тона заявление посла? Выясни это разногласие! Давай передадим весь австро-сербский вопрос в Гаагскую конференцию! Избежим кровопролития! Я доверяюсь твоей мудрости и дружбе!

А тут пришло известие, что австрийцы уже бомбардировали Белград.

Вот почему они были так несговорчивы. Вот для чего выигрывали часы!

Тем временем Сазонов и Сухомлинов совещались в Генеральном штабе у Янушкевича о частичной мобилизации, как было это им разрешено. И по телефону доложили Государю, что невозможно рисковать сорвать всеобщую мобилизацию проведением частичной. Только спутается всё. Они просили санкционировать всеобщую.

И решение надо было принимать в глупой прикованности, держа трубку у уха, – все мысли угнетены, не соберёшься. Уже бомбардируют мирных жителей Белграда. Что-то надо делать. А к частичной – мы оказались позорно не готовы. (Деликатность мешала сказать им в трубку: вы же сами во всём виноваты!)... Н-ну, что ж... н-ну, может быть... пока предварительные шаги, ещё не утверждается окончательно... Н-ну, хорошо.

Тем и тяжело решение, что принимается не под явными бомбами, не верхом на честном коне перед строем войск – а в какой-то эбонитовый раструб, в пустоту и немоту. Но от трудного слова с сопротивительным придыханием вдруг начнут двигаться и обращаться миллионы.

Печальные одинокие вечерние часы – уже никто не приезжает с докладами, уже никаких внешних обязанностей, от обеда к чаю, своя семья, – а где-то в неизвестности совершается непоправимое – и как же с этим лечь спать?

И вдруг – облегчающая телеграмма, опять от дорогого Вилли! опять вразмин, ответ на предыдущую. Ну, конечно же! – он разделяет желание сохранить мир! Конечно, Россия может остаться только зрителем и не вовлекать Европу в самую ужасную войну, какую ей приходилось когда-либо видеть. Непосредственное соглашение Петербурга и Вены и возможно и желательно, и Вильгельм прилагает все усилия для того. Но, конечно, военные

приготовления со стороны России помешали бы его посредничеству и ускорили бы катастрофу.

О, спасибо! Счастливое освобождение, всё ещё можно спасти! А может быть наши уже всё пустили в ход? Нет, их задержат подписи министров, Сенат.

В десять вечера Николай в который раз спустился в комнату камердинера и велел соединить себя с военным министерством и с Генеральным штабом. И металлическая трубка голосом сиплым, не похожим на изумительный бархат Янушкевича и даже в манере уже не такой предупредительной, стала упрямо возражать, что мобилизация – это не коляска, которую можно по желанию то останавливать, то двигать вперёд, что начальник штаба не может взять на себя ответственность за подобную меру...

– Тогда я беру на себя! – воскликнул Николай.

– ... что уже, может быть, и ничего остановить нельзя, посланы мобилизационные телеграммы в военные округа...

– Но как это возможно? Когда это могло произойти? А подписи министров?

Не мог же он их собрать за эти полтора часа?!... Трубка нехотя и с перхотой выдавала, что подписи всех министров уже собраны в течении дня как предупредительная мера. Что уже и Париж и Лондон оповещены Сазоновым о начале нашей всеобщей мобилизации. Что в данный момент, вот сейчас, уже посылаются телеграммы в округа... А отступить уже никак невозможно!

Остановить! Остановить! Слава Богу, он был не какой-нибудь выборный связанный президент, но монарх в своём отечестве! Остановить! Только частичная, – и дальнейших объяснений не хотел слышать Государь.

И как сразу опять полегчало!

Стояла тихая тёплая звёздная ночь. Так тихо было на море, что не доносился плеск.

Но прежде чем заснуть успокоенно, предстоял ещё приятный долг ответить Вильгельму. Благодарить его сердечно за скорые его ответы. Военные приготовления – не помеха, они уже 5 дней как приняты, просто для защиты. От всего сердца надежда на посредничество Вилли. Да что телеграммы! – завтра же с подробным письмом поедет к Вильгельму генерал-адъютант.

Сейчас же вызвать и генерал-адъютанта, на завтра.

Зашифрованная телеграмма пошла уже в час ночи. Тяжёлый день Государя кончился. (И только завтра предстояло ему узнать, что в этот самый час ночи германский посол телефоном будил Сазонова и просил немедленно его принять).

Слава Богу, утро четверга начиналось поспокойнее: не было тревожных телефонных сообщений. Лишь морской министр просил разрешения ставить минные заграждения в Балтийском море – и Николай не разрешил: на такое действие будет особое его повеление.

Если уж доверять Вилли – так доверять, надо рискнуть.

Да некстати звонил, добивался срочного приёма министр земледелия Кривошеин, просто смех как некстати. (Только потом узналось, что его побуждал Сазонов – умолять о всеобщей мобилизации). Было отказано, чересчур занят.

Николай и правда был занят, но не той чередой малозначительных приёмов, которые шли по прежней записи, сами собою. А – надо было до середины дня написать ответственное письмо Вильгельму, письмо, которое сегодня же пойдёт с генерал-адъютантом и поможет окончательно расчистить горизонт между ними.

Но ещё не сел он за письмо, как снова его позвали к телефону. Это звонили из Генерального штаба Сухомлинов и Янушкевич: недовольные вчерашней отменой, они снова просили разрешить им приступить ко всеобщей мобилизации. Николай рассердился: такой назойливости он не помнил ни от кого из подчинённых никогда. Заботила ли их немецкая угроза – или просто они покрывали свою неготовность к частичной мобилизации? Решительным тоном отверг домогания их и просто прекратил разговор.

Прекратил – но ещё какой-то миг почему-то не положил трубки. И Янушкевич успел вставить, что с ним рядом в комнате Сазонов и просит дозволения взять трубку.

Счастливым это качество, у кого оно есть, – отрубать так отрубать, до конца и сразу. А Николай, когда и сердился, – отрубить не мог. Помолчал. Ну, пусть возьмёт.

Сазонов проворно выговорил в трубку, что просит принять его сегодня для неотложного доклада о политическом положении.

В такие дни не принять министра иностранных дел – возможно, тогда зачем его и держать? Но чтобы стеснить его и чтобы всё одно к одному вместе и кончалось, назначил ему тот же час, когда должен был явиться за письмом генерал-адъютант.

И – сел беседовать с Вилли. Во всеобщем колыхании опасений и угроз – только и была надёжна одна струна между их сердцами. Не стеснён телеграфным языком и шифровкой, Николай писал теперь. Конечно, убийство эрцгерцога – ужасное преступление. (Чем эти террористы лучше тех, кто убили дядю Сергея, Столыпина, ещё десятки генералов и сотни правительственных лиц в России?) Но где доказательства, что к тому причастно сербское правительство? А сколько бывает ошибок в судебных следствиях? Почему Австрия не откроет результаты следствия всей Европе – а вместо этого предъявляет короткий ультиматум и войну? Сербия и так уже пошла на невозможные для независимого государства уступки, но Австрия добивается карательной экспедиции, как в колонию. Успокоить воинственное настроение в России будет очень трудной задачей. И Николай обращается к Вильгельму...

Вчера вечером при получении телеграммы от Вилли и сегодня при пробуждении нынешнее письмо представляю Николаю каким-то особо-убедительным изливом души. Но вот – за разными ничтожными приёмами, телефонами, завтраком – утеряна замысленная свежесть, и уже нейдут лучшие слова. И вряд ли это письмо, дойдя до Вильгельма через два дня, решительно исправит ход европейских событий.

А между тем уже и приехал за ним генерал-адъютант, вместе с Сазоновым.

Так и принял их вместе, как собирался. Недовольно смотрел на пожилого Сазонова, почти лысого, с полумесяцем шерсти с темени на темя, лицо неприятное, неоткрытое, а сейчас и с невралгическим страданием. И в этой нервности, пренебрегая этикетом и производимым впечатлением, Сазонов стал говорить возбуждённо, непрерывно, долго. И иногда, правда, высказывал страшные фразы. Что наступил трагический час, который предрешит участь России и участь династии. Что мы не можем так сразу пресечь свою славянскую политику. Что война, давно созревшая, стала теперь неизбежной. Что она вполне решена и даже уже начата Веной, а в Берлине не хотят произнести слова вразумления – а требуют снова капитуляции, снова от нас, срамом покрыть имя России, – чего уже и Россия не простит потом своему Государю. Что дипломатия – исчерпала свою роль. Совершенно явно, что Германия решила довести дело до столкновения – и безопасность государства требует встретить его во всеоружии. Если мы не начнём всеобщей мобилизации тотчас же – она позже станет бесполезной, Россия попадёт в катастрофу, мы проиграем войну раньше, чем вытащим шашки из ножен. Несравненно лучше стать во всеоружии – мы же не начинаем войны! – чем из страха вызвать войну – оказаться застигнутыми врасплох. Да мы произведём мобилизацию как-нибудь тайно, в Европе даже не узнают.

Николай заходил, заходил по комнате как раненый, еле скрывая, что ломает пальцы. Его изводило, тянуло в разные стороны, разрывало. Он должен был вот сейчас, вот сейчас принять величайшее решение! – и ни присутствующие, ни отсутствующие, никто не мог помочь ему советом, а голос Господа не слышен был явно. Сколько было у него министров, генералов, великих князей, статс-секретарей – а решать он всегда обречён был сам, колеблющейся, измученной душой! Не было такого одного – твёрдого, умного, превосходящего человека, который взял бы на себя и ответственность, и решение, сказал бы, нет – сразу бы сделал: **так**, а не иначе!

Столыпин! – был такой человек. Вот кого не хватало ему сейчас, сию минуту здесь – Столыпина!...

В чём было остриё всей тяжести? Если Германия обманывает нас, то мы – попадаемся, да. (Хотя при наших необъятных границах насколько уж так попадаемся? на какую

полоску?) А если Германия искренна – то мы своим шагом вызовем войну, величины которой даже не может охватить разум...

Всё время молчавший генерал-адъютант, видя муки Государя, протянул сочувственно:

– Да, трудно...

Как от удара по натянутым нервам, Николай вздрогнул и резко отсек:

– Решать буду я!

Да, вспомнил он Сазонову, – что же ваша Англия? Что же стоило ей во все эти дни – сделать одно недвусмысленное заявление? И не было бы никакой задачи.

Да! вспомнил и Сазонов, уже он ехал сюда, в последнюю минуту ему подали свежее сведение: несколько часов назад германский флот вышел из Киля и на всех парах идёт в Балтийское море для внезапного нападения!

Как?? А Государь – не разрешил минировать!

И – как лопнули последние перенатянутые нервы! Урок Порт-Артура невозможно было забыть:

– Хорошо, вы убедили. Но это будет самым тяжким днём моей жизни.

И наступило облегчение.

Как всегда, когда уступишь.

Когда освободишься от решения.

Сазонов попросил дозволения сейчас же, по телефону из Петергофа, сообщить Янушкевичу, что всеобщая мобилизация начинается сегодня с полночи.

Хорошо.

А день был – такой тёплый. Море отсвечивало так ласково – неужели в другом месте его уже бороздила германская эскадра, крадясь на новый Порт-Артур?

Да так ли? Сведения могут быть и фальшивы.

Пошёл – и выкупался. С наслаждением.

Но облегчение от уступки и облегчение от купания как-то очень быстро соскользнули.

А на душу и на голову – опять давило.

То ли предчувствием? В 6 часов принесли телеграмму от Вильгельма.

Уже не было ласковости в ней. Никакого противоречия с демаршем посла; твоя мобилизация вызовет опасные серьёзные последствия. Ведь у Австрии до сих пор нет всеобщей мобилизации. Принятие решения ложится теперь всей своей тяжестью исключительно на тебя, и ты несёшь ответственность за войну или за мир.

О Боже, как затеснило, защемило! О Боже, как страшно! О, помоги мне снести нечеловеческое это бремя!...

И первое движение было – позвонить Янушкевичу и отменить.

Но – стыдно было перед своими же подчинёнными.

Николай живо представлял Вильгельма – его горящие глаза, его живую страстную манеру разговора, – и пытался вообразить его окончательным врагом, и не мог: он никогда за 20 лет не выступал врагом, это какое-то жуткое недоразумение, какая-то роковая недоговоренность, как 8 января 1905 года: задержать толпу, но не сказано было, **как** задержать.

И проступило просветлением: о, Вилли, очнёмся! Что же мы делаем? Мы погубим наши троны!

Но – неловко было звонить отмену. (Он не знал, что телефон Янушкевича отныне сутки будет сломан).

А с другой стороны – уже так много и так позорно уступали Австрии – когда-то же надо проявить в поступках разнообразие, проявить и твёрдость! Теперь-то можно разговаривать твёрже – когда бес революции навсегда из России исторгнут!

И как это Сазонов обещал провести мобилизацию тайно? С утра 18-го на всех улицах Петербурга висели объявления! на **красной** почему-то бумаге – или уже залитые будущей кровью? или красный флаг прокрался в императорский стан? Все иностранцы заметили, а красный цвет особенно почему-то действовал. И германский посол, затем австрийский,



бросились к Сазонову – телефонными звонками вослед эти визиты отдавались Государю. Германского заверял Сазонов, что со стороны России не будет сделано ничего непоправимого. А тот принёс записку, что Германия делает какие-то шаги, что Австрия не будет посягать на неприкосновенность Сербии, но Россия должна признать локализацию конфликта.

Локализацию? – значит, дать душисть Сербию в одиночку?

Но ещё всё могло уладиться с Божьей помощью? О, если бы! О Господи! Жалость какая – почему не объявил частичную? Не подготовили частичную, неверные слуги. О, если бы обошлось!

Посол австрийский сообщил о согласии вступить в прямое с Россией обсуждение ультиматума.

И надо было начать обсуждение! А Сазонов почему-то – не вставишь помощникам своей головы, не вмешаешься вовремя сам! – отправил Австрию на переговоры в Лондон. И пусть прекратит военные действия. (Это – правильно, она же одна воевала тем временем).

А день стоял – гнетуще серый, и такое же угнетённое похоронное было настроение. Томила тоска: зачем согласился на всеобщую?? Но всё-таки, история же знает и демобилизации, не каждая мобилизация переходит в войну.

В одиннадцать все министры съехались на совещание в Петергоф. Обсуждали вопрос Верховного Главнокомандования. Кому же, как не самому Государю, всю жизнь между штатскими только пленнику, всё счастье и воздух – в смотрах, парадах, манёврах, разговорах с офицерами? Он давно решил, что станет сам во главе войск. И теперь оставалось только обдумать, как устроить без него гражданское управление Россией. Опять нет! – опять сопротивление! Все министры и даже Горемыкин дружно возражали: нельзя, чтобы тень военных неудач могла пасть на императора. И приводил пример, как уехал из армии Александр I и не вступил в главнокомандование Александр II.

И как будто всё заключалось в его собственном решении – а вот, не мог он противостоять соединению министров.

А как жалко расстаться с мечтой.

Тут – Сазонова позвал к телефону германский посол. Надежда!

И тут же, на заседании, стал Николай набрасывать просветившуюся ему новую телеграмму Вильгельму – как ещё можно объяснить и исправить. Благодарность за посредничество! Оно начинает подавать надежды на мирный исход! Остановить наши военные приготовления невозможно по условиям техническим. Но мы далеки от того, чтобы желать войны! Мои войска не предпримут никаких вызывающих действий, даю тебе в этом моё слово! Верю в Божье милосердие. Преданный тебе...

И отправил зашифровывать.

И ласково принял графа Пурталеса, германского посла. Вот если б тут сейчас между ними зависела война или мир – был бы решён мир. Пурталес был едва не сокрушён грозным ходом событий. Он умолял Государя – остановить мобилизацию и дать простор посредничеству императора Вильгельма.

Но, граф, вы военный человек. Кто и как может остановить разогнанную мобилизационную машину?

Только ещё тоскливей и безысходней стало от этой встречи.

Как ждал ответа от Вильгельма!

Погулял с дочерьми. Усилием сел заниматься бумагами.

В почте было два письма, душевно пронзивших, застигли врасплох. Одно – от раненого Григория из Сибири, умолял не вступать в войну, грозил бедами. Другое из трёх слов: “Побойтесь Бога! Мать”.

Как ударило по душе. А – что делать?... А – что делать?...

И вдруг – принесли телеграмму от Вильгельма. Но – опять разминувшуюся. Они – перестали успевать. Они – перестали друг друга слышать, как слышали 20 лет...

Писал Вильгельм, что из-за русской мобилизации его посредничество становится

призрачным. Что дружба его к Николаю и к России, завещанная дедом на смертном одре, всегда была для него священна, но теперь вся вина за бедствия цивилизованного мира падёт не на него. Однако от Николая будто бы ещё зависит всё предотвратить – если Россия остановит военные приготовления.

Но Николай не видел – как .

Разверзлась несдержимая, никем не управляемая бездна – и разносила их на разных обрывах.

Долго, в одиночестве, с головой, опущенной над телеграммой, он сидел и плакал над концом их дружбы.

Он уже не мог различить, кто и сколько сделал для её конца.

А вечером получил донесение от нашего посла в Берлине, что через час после отсылки этой телеграммы Вильгельм торжественно въехал в столицу и произнёс с балкона, что его вынуждают вести войну. И уже раздавались на улицах листки с германским ультиматумом России, которого так и не дождавшись в этот день, Николай лёг спать.

Пурталес принёс ультиматум Сазонову в полночь – и сроком всего в 12 часов, до полудня субботы, и с требованием остановить военные приготовления России.

Вечером же в пятницу пришли сведения о всеобщей мобилизации в Австрии, объявленной в те же часы, что и наша.

Утром 19-го, в субботу, проснулся Николай в тревоге, не началась ли война. Нет, не началась.

А значит, сохранялась надежда?

Была годовщина открытия мощей преподобного Серафима. При каждом воспоминании о том дне – схватывало горло.

Текли обычные рутинные доклады, давно назначенные, как будто ничего большего нигде не совершалось, – и не было сил хоть их-то прервать, освободить голову.

Предложил Сухомлинову стать Верховным Главнокомандующим. Неожиданно он отказался. Но очень советовал Янушкевича на штаб Верховного.

Тогда – объявил назначение Николаше. Тот с гордостью принял.

А Николай отдавал главнокомандование с ослезёнными глазами. Но это он – временно назначал, он, конечно, потом поедет в армию сам.

Истек срок германского ультиматума. И текли дальше часы. И ничего не случилось.

Надо было ещё попытаться, ещё!

И снова он писал телеграмму Вилли. Понимаю, что ты должен мобилизовать свои войска. Но обещай и ты мне, что это не означает войны, что мы будем продолжать переговоры. Наша долго испытанная дружба должна же с Божьей помощью предотвратить кровопролитие! Жду твоего ответа с нетерпением и надеждой.

Надо – молиться! Милостив Бог, минует.

Поехали с Аликс в Дивеевскую обитель.

Погулял с детьми.

А там дальше – и всенощная. Поехали ко всенощной, ещё молиться.

Воротился умиротворённый.

И тут настиг телефонный звонок Сазонова: Германия объявила нам войну! – приходил граф Пурталес.

Это было так. Старик приехал, глубоко волнуясь, и спросил, может ли императорское правительство дать благоприятный ответ на ультиматум. Сазонов ответил, что общая мобилизация не может быть отменена. Граф Пурталес, всё более волнуясь, вынул из кармана сложенную бумагу и, как не слышавши ответа, повторил всё тот же вопрос. Удивлённый Сазонов повторил ответ. И снова, как в безумии, дрожа бумагою в руке, Пурталес в третий раз задал неизменно всё тот же вопрос. А после третьего ответа Сазонова, задыхаясь, протянул ноту с объявлением войны, отошёл к окну и взявшись за голову заплакал: “Никогда бы я не поверил, что покину Петербург при таких обстоятельствах”. Обнял министра и, не способный о чём-либо думать, просил за него распорядиться, как быть посольству.

Слезы стояли у Николая на глазах. Это шло – как разрушение семьи.

Но надо было жить. Обедали. В одиннадцать часов вечера принял английского посла, и с ним составляли телеграмму английскому королю.

Это был – как переход в другую семью.

Чувствовал себя – совсем больным. В два часа ночи хотел принять ванну – но камердинер стучал в дверь ванной: “Очень, очень спешная телеграмма от его величества императора Вильгельма!!!”

Теперь-то – что? Теперь о чём? Задрожали руки. Без числа, Потсдам, 10 вечера. Надеется Вильгельм, что русские войска не перейдут границы?!

Что это?! Как понял?! Так ещё есть надежда??.

Но какая же надежда, если он сам только что, вечером, объявил России войну?

Так Вилли передумал? Так ещё можно всё спасти? О, бывает же чудо! О, дошли молитвы к Серафиму Саровскому!

Телефон к Сазонову. Тот – к Пурталесу.

Пока время шло – Николай в безумном волнении, всё один, не будя жены, ломал руки и молился. Вильгельма – пробрала совесть, он понял, в какой ужас едва не верг Европу!

Телефон от Сазонова. Спустился к камердинеру. Граф Пурталес ответил: ничего не знает, не имеет новых инструкций. Предполагает, что телеграмма была послана на сутки раньше и задержалась в пути.

О, бедное сердце!

Возможно ли такое: от императора к императору – сутки в пути и в такой момент? Нет, говорило сердце: это – истинная телеграмма, этого вечера. Так он рассчитывал – обмануть?... Выиграть время для войск? Может быть Николай – поколеблется? в последнюю минуту сделает какой-нибудь отходный, слабый, смешной шаг?

В эту последнюю минуту Николай и выздоровел от дружбы с Вильгельмом. Охолодел. Свалился спать.

А в воскресенье проснулся с оздоровляющим чувством. Путь жизни был выбран, и надо было жить им, не поддаваясь унынию. Уныние – тяжёлый грех.

Вообще – вдруг почувствовал облегчение. Война – не больше как на год, а то на три месяца. От войны укрепятся национальные чувства, после войны Россия станет ещё более могучей.

А день был опять солнечный. И дух поднимался. Очищался.

С двумя дочерьми поехал к обедне. Там – ещё успокоился, ещё утвердился.

Завтракали – одни, никого не было.

Весь мир вокруг Петергофа был безгранично тих.

Хотя сегодня был Ильин день – ничто не намекало на грозу.

Ещё со вчерашнего дня у всех одновременно возникла мысль, что надо появиться перед народом. Народ, как сирота, потянется к безлюдному Зимнему – и никто не выйдет?

Днём по сверкающему морю поехали на яхте в Петербург – и катером подошли прямо к набережной у Зимнего. В Николаевской зале – много офицеров гвардии, дамы и придворные. Прочтён был манифест, отслужен молебен перед иконой Казанской Божьей матери (которой молился Кутузов, отправляясь к Смоленску). Вся зала пела “Спаси, Господи, люди Твоя” и “Многая лета”. Кричали ура, многие плакали.

А тогда – вышли с Аликс на балкон Дворцовой площади.

И что поднялось! Какие клики! Сколько видно было пространства, замкнутого дугою Главного Штаба, – всё было море голов и царских портретов, и знамён, и хоругвей.

И Николай кланялся, кланялся на все стороны. А те пели – и становились на колени перед Дворцом.

Вот, он стоял перед своим народом, над своим народом, – благословляюще, открыто и царственно – так, как мечтал всегда, – и отчего же вышел только впервые с коронации?

(В мыслях тут же настиг его опять Вильгельм, и не враждебно. Ведь вот, сбылось его давнишнее предсказание: ты – выйди на балкон, и народ на площади падёт на колени перед

своим царём).

Отчего он не выходил так и часто? Пели церковно, молились, кланялись, – и по сверкающей глади воспоминаний лишь слегка проморщились неприятные годы – лет пять их было, или десять, или пятнадцать? – со своими огорчениями, страхами – всё мимолётными, как видно теперь. Двадцати лет его царствования как не бывало, он ещё не совершал ошибок, он никогда не ссорился со своим народом, он сегодня был юно-коронованный царь, только начинающий славное царствие.

## ДОКУМЕНТЫ – 8

### Июль 1914

#### ПИСЬМО РАСПУТИНА ИЗ СИБИРСКОЙ БОЛЬНИЦЫ – ГОСУДАРЮ

Милай друг ещё раз скажу грозна туча над Расеей беда горя много темно и просвета нету. Слёс то море и меры нет а крови? что скажу? Слов нету неопиcуемый ужас. Знаю все от тебя войны хотят и верная не зная что ради гибели. Тяжко Божье наказанье когда ум отымет. Тут начало конца. Ты царь отец народа непусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Вот Германию победят а Расея? Подумать так воистину не было от веку горшей страдалицы вся тонет в крови. Велика погибель без конца печаль.

Григорий

### 75

– После всех прошлых лет – кто мог ждать такого народного единодушия? Чтобы студенты стояли на коленях и пели “Боже, царя храни”? Тысячи людей под национальными знамёнами и кричат царю восторженное? Общество примирилось с государством! Прекратились разногласия между партиями, сословиями, народностями – осталась одна великая Россия! Могли мы ждать этого недавно? Такого подъёма не было с Восемьсот Двенадцатого года! Вот так мы сами не знаем себя, а Россию тем более.

Рослая решительная курсистка в крупно-клетчатом платъи, с большим лицом упрощённого склада, как из деревни, но и с напором уверенного развития, без утончённости внешних черт, как это бывает в великорусском типе, крупно двигала руками и полногласно это всё объявляла своей группке, слышно и для смежных и проходящих. И месяц назад – непроизносимое! фальшивое! – вот не только не высмеивалось, но слышались голоса в поддержку:

– Примирение общества с государством – это чудо!

– А чего стоит воззвание к Польше? Мы протягиваем руку полякам!

– И вот мы не “жандарм Европы”, но защищаем от поругания Сербию!

– Как будто с первыми пушками стал нарождаться новый мир!

– Да! – встряхивала головой та рослая в клетчатом платъи, в крупном тугом навиве светлых волос, – война была нам **нужна** ! Даже прежде всего не для сербов нужна, но для нашего собственного спасения! Потому что мы стёрлись характерами, мы разуверились, мы одряхлели, мы скатились ниже некуда – до “Синего журнала” и до “танго”. Нам нужен подвиг, чтобы обновиться! Нам нужна победа, чтоб освежить атмосферу, в которой мы задохнулись!

И на неё не шикали, не кричали “позор”. Потому что все пришли с этих новых удивительных улиц, расцвеченных обилием белых косынок и красных крестов сестёр милосердия, и бинтами первых раненых, и согретых внезапною добротой людей друг ко другу, чего никогда не бывало в Петербурге. И пришли из домов, где женщины уже

сбирались готовить перевязочное, уже начали вязать рукавицы, носки и фуфайки для солдат.

Вероника думала. Вид первых раненых наводил и на другую мысль: сколько же, сколько же будет их?...

Но раздался и гордый отклик:

– Как можно щепкой вливаться в патриотические хождения толп? Для чего же мы столько лет искали сознания и открытых глаз?

И ещё одна бойкая сухолицая возражала тонко, резко:

– Мы задыхаемся? – да! Но от внутренних неустойств! Нам не война нужна, а долгий мир! А если б мы в эту войну не вмешивались?

На неё почти прикрикнула совсем не молодая курсистка, не ровесница им всем:

– Надо мыслить в категориях национального существования! Это – дуэль насмерть между славянством и германизмом. И если б мы оставили Францию одну – уже в этих бы днях её Германия разбила, и повернулась бы на нас, – и нам пришлось бы один на один! Мы – в Союзе, и выход – только победа союзников!

Ещё одна чёрненькая, со схваченным хвостиком волос, протестовала:

– Вы говорите – национальное единодушие. Это – опасная вещь. Это значит, какая-то из двух сторон – общество или государство – ошибалась. А – какая? Это надо проверить!

Рослая – вся в её сторону и торжествующе:

– Национальное единодушие – не опасно, это нормальное состояние народа! И очень жаль, что мы не могли прийти в него раньше, а – только такой ценой. Всё русское общество десятилетиями имело антинациональный характер! Может, хоть теперь мы почерпнём истину в единении.

Ещё возражали, но и в возражениях было не возражение:

– Не в патриотизме дело! А вот случай слиться с народом, идти с ним на равных, чтоб он нас признал за своих, – то самое состояние, о котором мы грезили десятилетиями...

Сливаться с народом – это многие тут чувствовали. Но не видели ясно, каким путём. Прямое дело ниоткуда тотчас не выступало, и администрация Бестужевских курсов никаким объявлением или призывом ни к какому делу не приглашала слушательниц. И вот, за десять дней до учебного года, они сами во множестве собирались тут возбуждённо в вестибюле и ждали открыть себе что-то в разговорах или по случайности. Вот шёл разговор о завтрашнем дне флагов, сборе пожертвований, везде по столице объявленном, и многие курсистки уже записались ходить, а другие говорили, что это – мало и смешно, однодневный кружечный сбор, – вон сколько молодых женщин бросают всё и идут сестрами милосердия. И правда, может быть сестрами? Как будто нелепо – с высших курсов, но и так же была неуклюжа, непримерена война, врезанная в существование. Первые дни войны разразились как гром, обещали ужас, и эгоистическое движение было – остаться в стороне, но сразу и выше того, и настойчивей порыв – участвовать всеми силами тела и духа! Даже: спешить успеть принять участие в первой войне их поколения! Быть может, она продлится всего 3-4 месяца! Россия борется за мировую справедливость – и как же нам остаться в стороне? Россия борется за своё существование – и как же нам не помогать?

И так говорили:

– Но можно служить войне тем, что критиковать правительство, предостерегать его от ошибок! Например, от ограничения евреев.

Само здание их курсов, новое, на Среднем проспекте, говорят, отдавалось под госпиталь. И вот канцелярия оставалась тут, в старом здании, на 10-й линии.

Так рано, ещё до конца августа, никого обычно не бывало в вестибюле курсов – а теперь всех стягивало сюда, что-то узнать и решить, и вот многие курсистки стояли группами и расхаживали тут, по тёплому солнечному дню ещё в одних летних платьях.

Спорили и о Петербурге-Петрограде, переименованном вчера. И тоже не говорили так, что это – квасной шовинизм, что смешно. А только: что святого потеряли, Санкт-, сменили апостола на императора и не заметили, уж тогда бы Свято-Петроград. А другие напоминали, что город-то был по-голландски назван Питербурхом, а “Петербург” нам немцы навязали, и в

этом символ нашего вечного подчинения, и хорошо, что отбросили!

Первокурсниц ещё не было тут. А второкурсницы наступающего года по-прежнему ощущали себя тут самыми младшими, и разговоры их не были так громки. Кто-то сказал, что расписание уже вывесили. Так задолго? Да, очевидно и канцелярию тянуло то же чувство зовущего времени. Второкурсницы пошли смотреть, среди них Вероня с Ликоней, пятигорская Варя, с пышно набитыми стриженными волосами и твёрдым подбородком, другая Варя из Великих Лук, желтоволосая, Лиза из Тамбова, тонкая, топольком, с печальным взглядом, и ещё другие. Обсуждали расписание.

Отменным событием было, что историю Средних Веков у них будет читать – женщина – профессор! – Андозерская. Правда, докторскую степень она получила не у нас, конечно, а во Франции, но сдвинулось и у нас: недавно утвердили её магистром. В расписании ещё писалось "преп.", но в университетских кругах уже сложилось, признано и курсисткам известно: "проф.!" Кроме Средних Веков на втором курсе она будет и на старших вести семинарий: работа над источниками.

Очень это было интересно. Захотелось девушкам сегодня бы и взглянуть на своего профессора, вынести о ней суждение. Удалось. В канцелярии узнали, что Андозерская сейчас у декана. Ждали.

Их стайка оттянулась к окну, стали рассказывать друг другу кто что слышал об Андозерской. Достижением была несомненная эмансипация – и, значит, успех всех угнетённых. Помогала Андозерская добывать средства для столовой, общежития, стипендии. Но вот на своём семинарии, начатом прошлой весной, она предложила курсисткам корпеть над папскими буллами XI века на латинском языке. Такие ж были и её печатные работы – о церковном обществе в Средние Века, о паломничестве в Святую Землю...

Обе Вари считали, что это вызывает недоумение и почти даже смех: как же можно так далеко уходить от живой жизни? Как же можно так гасить в курсистках общественный дух?

Ну, правда, раз женщина, не может получить профессорского звания в России, а только в Европе, приходится заниматься и их средневековьем, – но зачем эту жвачку переносить сюда, на наши курсы?

– Ей нужно было эмансипироваться, да, но не слишком ли дорогая цена? Уйти в бесполезные мрачные средние века...

– Почему бесполезные? А Кареев? А Гревс?

Но хотя обе Вари были прогрессивны, здесь на Бестужевских курсах в 13-м-14-м году они выглядели уже и реакционно, вот диалектика! С воздухом, наглотанным в обществе, – они тут, на курсах, что-то не успевали за философскими диспутами, дискуссиями, и голоса их звучали слишком резко. Под сводами аудиторий произошёл какой-то невидимый поворот, непоправимая перемена, – и вот тамбовская Лиза (впрочем, дочь священника), самая высокая в их кучке, повела-покачала головой – не так даже укоризненно, как сожалительно, растягивая фразы:

– Девочки, как вам не надоедает эта выеденная плоскость? Ведь нам открыта такая сфера, такая среда, свобода духа вместо партийности! Нам дают прислушаться к Истине. Нам дано стать поумней этих политических деятелей, – зачем же?...

И чуть подрагивал недоумённо кончик её прямого носа на удолженном, чистом лице.

Спор не успел разгореться, – тут вышла от декана Андозерская – совсем невысокая, а если выше Ликони, то из-за высокого накрута волос. Не с пренебрежением она была одета. Однако платью её, кроме приятного, чуть переливчатого серого цвета, не отмечено было никаким украшением, и не назначалось слишком выявить фигуру.

Со скромностью она шла мимо, держа в руке книжечку маленькую, как молитвенник, в старинном переплёте, но с весёлой розовой закладкой. Не только для профессора женщины, а и вообще для профессора была она молода, разве немного старше тридцати.

Тем проще было обступить её и в несколько голосов:

“Простите, пожалуйста...”, “А это вы будете вести?...”, “А как нам вас называть?”

Ольда Орестовна. – Ольга?... – Нет, именно Ольда. – Что-то скандинавское? – Да,

может быть, фантазия отца, – очень просто держалась Андозерская, охотно остановясь.

Впрочем, со студентами и курсистками охотно останавливались и самые прославленные профессора. Кто не знал направляющего закона русской высшей школы: положение и славу профессора определяет не благосклонность или неприязнь начальства, а студенческое мнение. Профессор, неугодный начальству, ещё долго преподавал и носим был на руках, и, даже уволенный, пребывал в ореоле. Но горе было профессору, кого студенты признали реакционером: презрение, бойкот лекций и книг, неизбежный бесславный уход были роком его.

Варя пятигорская – опять своё, не выдержала:

– Скажите, но такая детальность в отмеревшем Средневековьи, не слишком ли это большая цена...?

Из лёгкой неуклонной походки, с которой Ольда Орестовна только что скользила мимо них, она вполне твёрдо и охотно утвердилась на высоких каблучках в этом месте паркета, лже-молитвенник не мешал её левой руке поддерживать в жестах правую, и выражение лица было – готовность хоть к семинарию, хоть к спору тут же:

– Это не цена. Если выбросить Средние Века – история Запада разломится, и в обломке новейшем вы тоже ничего не поймёте.

Она посмотрела в спокойное темноглазое лицо Вероники, искоса вверх – в крупные вдумчивые глаза Лизы.

(Варя пятигорская:) – Но практически история Запада и всё, что нам нужно почерпнуть, начинается с Великой французской революции...

(Варя великолукская:) – С века просветителей.

– Ну, с века просветителей. При чём тут паломничество в Иерусалим? При чём палеография?

Ольда Орестовна слушала как знакомое, чуть губы изогнув:

– Ошибка поспешного мышления: обнаружить ветвь и выдать её за всё дерево. Западное просветительство – только ветвь западной культуры и отнюдь не самая плодоносная. Она отходит от ствола, не идёт от корня.

– А что же главней?

– Если хотите, главней – духовная жизнь Средневековья. Такой интенсивной духовной жизни, с перевесом над материальным существованием, человечество не знало ни до, ни после.

Это – о мракобесии?... инквизиции?...

(Обе Вари:) – Но простите! Как можно отдавать наши силы сегодня – западным Средним Векам? Чем это помотает освобождению народа? И общему прогрессу? Изучать в России сегодня – папские буллы?? Да ещё по латыни!

Ольда Орестовна сделала лёгкое *glissando* по обрезам страниц лжемолитвенника. Это был латинский раритет. Она улыбалась несмущённо:

– Дорогие мои, история – не политика, где один говорун повторяет или оспаривает то, что сказал другой говорун. Материал истории – не взгляды, а источники. А уж выводы – какие сложатся, хоть и против нас. Независимое знание должно возвышаться над...

Ну, это совсем уже было никуда! Это – слишком было!

– Но если выводы противоречат сегодняшним нуждам общества?

– Но для сегодняшних действий нам достаточно анализа сегодняшней социальной среды и сегодняшних материальных условий – что добавляют нам Средние Века?

По высоте не видная из кучки своих собеседниц, Андозерская слегка отложила голову набок и улыбалась очень уверенно, многозначно:

– Было бы так, если бы жизнь личности действительно определялась материальной средой. Это бы и проще: всегда виновата среда, всегда меняй среду. Ведь говоря о сегодняшних действиях, вы, наверно, подразумеваете революцию? А физическая революция – как раз и не есть освобождение, напротив, – это борьба против духовного начала. Кроме социальной среды ещё есть – духовная традиция, сотни традиций! И есть духовная жизнь

отдельного человека, а потому, хоть и вопреки среде, личная ответственность каждого – за то, что делает он, и что делают при нём другие.

Вероника выступила из задумчивости как из стены:

– И – другие?

Ольда Орестовна ещё раз отметила её взглядом:

– Да, и другие. Ведь вы могли помочь, могли помешать, могли руки умыть.

Тополёк Лиза, как бы чуть покачиваясь от высоты, на тонких длинных ногах:

– Ольда Орестовна, а вы у нас какой-нибудь кружок будете вести?

Андозерская охотно:

– Если сумеем с вами выбрать тему.

– А – какую например? – Лиза не спускала с неё допытчивых глаз.

Андозерская обежала глазами всех сразу – сколько их тут, тут ли им и предложить?

Чуть подумала, маленькие губы собрав:

– Ну, скажем... О религиозном преображении красоты в Средние Века и в эпоху Возрождения? – И опять осмотрела всех, видя много и недоумения. – Или – мистическая поэзия Средних Веков? – Ещё улыбнулась: – Ну, подумаем.

Едва поклонилась, с достоинством отпуская их или себя, и пошла маленькая, узкая, ровненькая, в спину почти бы курсистка, только с перебором изящества, что уже и не интеллигентно.

Лиза задумчиво смотрела ей вслед.

Другие загудели, обе Вари возмущённо: что ж, духовная жизнь того же Средневековья не вытекает из его социально-экономических условий? Да если она осмелится сказать такое на лекциях!...

– Ах, – закинула голову Лиза, – это невыносимо, всё вытягивать из экономики, кончайте!

Варя пятигорская, очень уверенная после лета:

– Ах, такие ли бывают превращения! Был у меня друг, я вам рассказывала... Неделю назад встречаю его на станции Минеральные Воды...

Вероника спокойно, как сама с собою вслух, защищала профессора:

– А что? Личная ответственность каждого – ведь это хорошо? Если только среда да среда – так мы тогда каждый – что? Ноли?

– Мы – молекулы среды, – осадил её Варя великолукская. – Этого довольно!

А Ликоня косила в окно, даже отходила. Но потребовали мнения от неё. Она подняла брови, повела шеей, пожала плечами, не одновременно двумя:

– Мне очень понравилась. Особенно голос. Как будто арию ведёт. Такую сложную, мелодии не различишь. Засмеялись подруги:

– А – смысл?

– А тема кружка тебе понравилась?

Ликоня нахмурилась маленьким лобиком, но и в улыбку сдвигая подушечный рот:

– Смысл?... Я пропустила...

\*\*\*\*\*

## НЕ ИСКАЛ БЫ В СЕЛЕ, А ИСКАЛ БЫ В СЕБЕ

\*\*\*\*\*



власти, и власть хорошо прилегалась к ней. Уступчивость Томчаку была из редчайших случаев её жизни. Её покойный муж, добрый человек, пробоялся её от первого ухаживания и до последнего вздоха. По службе гимназического инспектора он постоянно советовался с ней, а вне службы подчинялся беспрекословно, дети знали, что всё серьёзное может разрешить или запретить только мама. Городские власти очень считались с Харитоновой, и при лево-либеральном направлении её гимназии никто не осмеливался притеснить или указать ей. (Да впрочем и вся ростовская образованность рядом с казачьей столицей по долгу не могла принять роль иную, как лево-либеральную). В гимназии Харитоновой преподавала историю жена революционера, то осуждённого, то бежавшего, то тут же, в Ростове подпольно действующего, и всё направление гимназического курса истории было с нескрываемым революционным уклоном. С такими же симпатиями велась и русская литература. Конечно, не миновалось преподавание закона Божьего, но и батюшка приглашался не мракобес, не фанатик, да больше половины воспитанниц были освобождены от этих уроков как лица иудейского вероисповедания. Конечно, в праздничные дни приходилось гимназисткам на актах петь “Боже, царя храни”, но откровенно без энтузиазма. Однако ироническому непочтению к властям государственным Аглаида Федосеевна не допускала распространиться внутри гимназии на собственную власть. Её власть в гимназии осуществлялась непреклонно и неподвержно расшатыванию. Не только все воспитанницы трепетали перед ней, но и приглашаемые на вечера гимназисты или ученики мореходного училища поднимались по лестнице в робости, что при верхе её каменная начальница, через пенсне оглядывая каждого зорко, тут же повернёт по лестнице вниз за ничтожную некорректность одежды. Нравы харитоновской гимназии стояли выше похвалы, да при высокой плате за обучение (без чего и нельзя поставить гимназию высоко) туда попадали дети родителей состоятельных, и только девочки две на класс содержались благотворительно.

Державно ведя такую гимназию, меньше всего могла ожидать Аглаида Федосеевна мятежа в собственной маленькой, легко управляемой семье. И не муж проявил непокорность, но, по смерти его, старший сын – в крещении Вячеслав, но хотением матери Ярослав. Как будто с малых же лет пропитанный просвещённым духом, он вдруг стал порываться ещё с пятого класса уйти в кадетский корпус. И всякое бы жизненное отклонение сына не могла легко допустить такая властная уверенная мать. Но это отклонение пришлось особенно обидно: за неразумным мальчишеским увлечением серым контуром проступала измена. Хотел уйти старший сын именно в тёмную, тупую офицерскую касту, не затронутую ни духом свободы критики, ни духом знания. Так неожиданно извратилась в Ярославе воспитанная в нём здоровая любовь к народу: не в помощь освобождению народа, а в приобщение к его якобы святой силе и почве. Ярослав был мягкий мальчик, но это извращение в нём оказалось упорно. Три года мать с ним билась и защемляла, но после гимназии уже не хватило материнского авторитета, логики, гнева – и Ярослав уехал в Москву и поступил в Александровское училище.

Борьбу за сына можно было продолжать, свободная мысль пробивалась же и в офицерство: ведь и Кропоткин кончал Пажеский корпус! и Чернышевский преподавал в кадетском! – но тут второй удар нанесла дочь Женя, и в тот же год.

При самом большом сочувствии свободе социальных отношений, равноправию женщины (даже примату её), Аглаида Федосеевна косо держалась того правила, что девушка должна венчаться более, чем за девять месяцев до рождения ребёнка. Женя же переступила это правило. А выходя внагонку замуж, не дождалась материнского благословения. А потом рождением ребёнка развалила и своё ученье в Москве на педагогических курсах. Наконец и муж её, Дмитрий Филоматинский, сын дьякона, сам только кончающий студент, не оказался мужественным сильным человеком, какого Аглаида Федосеевна могла бы ожидать для своей живой, породистой, энергичной дочери. И она с бесповоротностью не признала этого замужества, считала его не произошедшим, внучку – не родившейся, подвергла всех троих опале, не разрешено было им приезжать в Ростов. И

где-то в Козихинском переулке под чердаком Женя качала Ляльку, а зять готовил последние экзамены и дипломный проект.

В последний год там часто бывала у них Ксения, очень сочувствуя гонимой Жене, и Ксения же взяла на себя её горячую защиту – в письмах и при поездках в Ростов. И смогла поколебать Аглаиду Федосеевну! – этой весной та разрешила отлучённым однажды показаться.

Круто гневалась начальница, но была ж и справедлива. Пришлось признать, что ошибки Жени были исправлены, или не оказались ошибками. Хотя, действительно, зять был щупл, невзрачен – Лялька вышла очень здоровым ребёнком, в мать. Едва не развалив своим рождением семьи, Лялька засверкала новым центром её, звенящим радостным центром, отобрав это место у своего дяди, одиннадцатилетнего Юрика. Однажды увидав, бабушка не захотела с ней расстаться. А зять оказался умён и деловит. Он был не просто инженер, но с новым уклоном теплотехник, и молоденького выпускника здесь как поджидала работа: и по теплу и по холоду, и в Ростове и в Александрово-Грушевске, и даже предлагали ему лабораторные занятия в Донском Политехническом. Не было у него петушиного задора – так и лучше, чем у глупого Ярика: скрещенные молоточек и гаечный ключ становились новым знаком века, вместо скрещенных когда-то мечей или знамён. Это понимая, зять держался скромно, но с силой, не видной извне. За столом он бывал подавлен фигурой тётки, но не её колкостями: отшучивался, надо признать, остроумно, хотя незлобиво. От удачной работы, от жены, от ребёнка его не покидало щедро-счастливое состояние. Ещё в большем состоянии счастья плавала и носилась Женя. Счастье, как розовый туман, затопляло всю квартиру Харитоновых, и никто, дышащий им, не мог им не заразиться. И Аглаида Федосеевна, трижды в день переходя из гимназического коридора в свою квартиру, при всём упорстве не могла не поддаться охвату этого розового тумана. Звенел лялькиный крик, напевала дочь, тихо посмеивался зять, всё взрослей рассуждал за столом Юрик – и затягивался старый рубец мужниной смерти и новый рубец своевольтства старшего сына.

Такою видела Ксения семью Харитоновых в июле, когда ехала из Москвы на юг, ещё до войны. Всегда было ей хорошо с этими людьми, но никогда так до слез хорошо, как теперь. И в письмах Жени, приходивших в экономию, всё та же была суматошная, сама себе не верящая радость, и рубез войны почти не прочертился в них. И с тем же предвкушением опять погрузиться в тёплый туман этой радости, Ксения теперь, на обратном пути с Кубани, вышла на ростовском вокзале и села на извозчика, пересчитав свои поднесенные шесть вещей.

Правда, в экономию она неслась лёгкой птичкой, а назад волокла на себе горе, но и куда же с ним, как не к Харитоновым, где же помощи искать, защиты, совета? Как чёрной плитой свалилась мрачная воля отца: не то что о танцевальной студии, об этом и не поперхнись, а – курсы бросай, трэба замуж! Только до Рождества отпросилась с ориной помощью, пока всё равно война. Там, дома, казалось, что выхода никакого: как же спорить с отцом?! Но стоило проснуться утром в вагоне и от Батайска из окна увидеть на долгом гребне над рекой уступами улиц – огромный, вольный, весёлый Ростов, где родились и расцвели первые свободы, радости и интересы Ксении, – и уже стала отваливаться плита отцовской угрозы, и носатый крикатый отец перестал быть страшным неоспоримым единственным судьёй её жизни.

От возврата в Ростов всегда бьётся сердце! – особенно вот так, ранним утром, когда свеж, чист, в тёмной зелени деревьев крутой подъём Садовой к Долмановскому и извозчик на подъёме задорно гонит не отстать от трамвая! А трамваи совсем не московские, на ходу тяжелей, не с дугами, а с роликами, и есть летние, продувные, без боковых стенок. И на них, по-ростовски, сзади, на “колбасе”, обязательно подбьезжают мальчишки до городского на перекрестке. И эти особенные передвижные решётчатые мостики, арочкой и с поручнями, их бросают через потоки в южный ливень, а в сухое время берут на тротуары. От Никольского переулка Большая Садовая уже вполне распрямилась и показывает вперёд свою трёхвёрстную прямую стрелу до границы Нахичевани. Вот и окна Архангородских на втором

этаже, из гостиной угловой балкон под полотняными маркизами и как бы не Зоя Львовна цветы переставляет, но не разберёшь за густыми деревьями, да к Архангородским ладно, к ним не с утра. Вот, на солнечной стороне Садовой, модный чёрный с шероховатой отделкой двухэтажный магазин, полосатые маркизы с бахромкой над каждой зеркальной витриной. Хочет извозчик поворачивать по Таганрогскому проспекту – нет, поезжайте дальше, до Соборного. (Если по Таганрогскому, то потом на Старом базаре мимо густого запаха рыбных рядов, от постоянного изобилия огромных чебаков, сазанов и сулы, выдвинутых до самой мостовой, и именно в утренние часы весь ночной непроданный улов ещё жив, серебряно шевелится, плескает поперёк прилавков). Ещё одно здание модерн на углу Таганрогского, таких и в Москве поискать: верхние этажи почти без стен, одни стёкла... “Гранд-Отель”... Купеческий сад... “Сан-Ремо”. И не мал ведь Ростов, а как уютен!... Афиши. Так, что идёт? В Машонкинском чей-то бенефис... Цирк Труцци. Французский театр миниатюры... В “Солее” – сильная драма... и сильно комическая картина Макса Линдера... Эти дни – походить, посмотреть. От городского сада повернули на Соборный, не такой гладкий булыжник. Вот реальное училище, где Юрик учится. Почтамт. В просвете переулка – Старый собор, тяжёлая некрасивая туша, а ближе, на чистенькой площади, – памятник Александру Второму, с восьмигранным обводом. Заманчивая пёстрая Московская улица, вся из одних магазинов, опять маркизы, маркизы над витринами – вдоль ростовской Московской можно одеться не хуже, чем в Москве! А теперь наискосок, мимо края базарного привоза, вот и гимназия Харитоновых... Нет, это главный вход, а меня, пожалуйста, с другой стороны, к начальнице.

Милая лестница! Милая каждая дверь! С первого порога – та умственная свобода и лёгкость отношений, какие всегда в этой семье. И – Женя, Женечка! В обнимку! Налетела вихрем, будто моложе Ксеньи. Подвижное, решительное, светлое лицо! Как хорошо, а мы тебя ещё не ждали. Что так рано? Неприятности?... Надо рвать с отцом! Делай, как я! Они потом одумаются!... Но слушай: Лялька – это чудо! Она – музыкально одарена, я тебе ручаюсь! У неё всё время речитатив, импровизированный! почти пение!... Пойдём, пойдём слушать!... Нет, сейчас просто говорит. А уж говорит – без умолку, правда я одна только всё понимаю... А то вот так под одеяло спрячется и оттуда: “Ищи меня!” А какая кожица нежная, попробуй, небывалое что-то!

Гибкая весёлая Женя, счастливый полный смех, счастья в обхват, девать некуда, раздаёт. Вместе не жили тут: ведь Женя уехала на курсы, когда Ксения комнату её заняла. Пять лет разницы, московская курсистка и дикарка из степи. Ещё фыркала: не будет ли у этой девчонки зазнайства от богатства? Этого бы Женя не снесла, она бы ей отгрохала! Но зазнайства не было, а – усердие, перениманье, потом Ксения – послом с Козихинского, сгладилась разница лет, а вот новая: мать – и девушка... (А у меня – это будет? Будет! Будет! Иначе – зачем же?... Верно свершение, но и ожидание верно. Ведь бывает ещё лучше – бывает и сын. Дмитрий Иванович очень славный человек, но я-то – я встречу такого!!)

Да если забыть отцовскую угрозу или, правда, если её ослушаться (но – страшно, но это – очень страшно!) – так счастливо можно жить! Всё прекрасно!

А вот ещё увлечение – фотография! У них ведь кодак, и Митя часто щёлкает. И вместе при красном фонаре они печатают, а Женя сама окантовывает – и вот на всех стенах снимки квадратные, круглые, овальные, ромбические, с полным фоном и на искусственном белом, – Лялька в чепчике, Лялька голенькая, Лялька в ванне, Лялька с куклой, мама с Лялькой, папа с Лялькой, бабушка с Лялькой, Женя с Митей на морском берегу – это Азовское, и прекрасное купанье, и близко, и дёшево, каждое лето будем ездить!

Но не всё так весело, надо идти представляться Аглаиде Федосеевне. Не всё так весело, ведь Ярослав... Что-о-о-о??? Нет, не с ним, но вообще два корпуса разбито, и как раз в том районе... Иди, иди к маме.

Не к маме – к начальнице гимназии. До конца жизни она будет тебе начальница гимназии. Робость перед ней, приглаживаешь волосы, всегда страшновато, и невозможно оспорить её, возразить.

Аглаида Федосеевна за круглым очехлённым столиком в очехлённом двуспинчатом кресле сидела ровная и раскладывала пасьянс “Крест побеждает луну”. На вход Ксеньи она слегка повернула величавую голову, подставила щеку, уже изрядно сморщенную и даже обвисающую. (К поцелую, на правах дочери, она допустила Ксенью только после окончания гимназии). При близком наклоне увидела Ксенья, что разошлась седина по вискам и надлобному венчику начальницы, как не было раньше заметно.

И пасьянс? – раскладывался только благодатными ленивыми вечерами, никогда по утрам: утром для ранней деятельной жизни бывала на ногах Аглаида Федосеевна. А сейчас вдавилась в кресло, упёрлась локтями в столик, движение не звало её.

С обычным вниманием к собеседнику, будто своих новостей нет и быть не может, с обычной сухой сдержанностью, не давая голосу быть мягким и простым, Аглаида Федосеевна задала Ксенье перед столиком основные вопросы: как провела лето? все ли здоровы дома? почему едет раньше времени? какого числа в Москву? – но не смотрела на неё, а на раскинутые девять карточных стопок луны, четыре стопки креста, соображала и медленно перекладывала.

Был удобный момент рассказать о своём горе, попросить защиты от самодурства отца! Ксенья и начала. Какой кошмар и вздор! – ведь на сельскохозяйственные курсы Голицыной так трудно было попасть, принимали почти одних медалисток, – и теперь самой бросить, уйти?...

Начальница делала усилие лбом; да, она понимает, да, Ксенья права, да, придётся Захару Фёдоровичу написать...

Но за пенсне были подглазные тёмные полукружья. Складка губ самая недовольная, как перед разносом целого класса. А под вазой, прижатый, лежал конверт – и кусочек почерка Ярослава. И стыд поднялся к щекам Ксеньи, она вскрикнула отзвучиво:

– Аглаида Федосеевна! От какого числа вам письмо от Ярика? У меня тоже ведь есть! И какое радостное, я вам сейчас из него...

Начальница резко подняла голову. И одну бровь:

– От какого?

– От пятого августа. Штамп – Остроленка, указан 13-й кор...

Вот этот ещё Тринадцатый проклятый.

Аглаида Федосеевна вернулась к пасьянсу.

От пятого августа было и у неё. А сегодня – двадцатое. А сегодня – “от штаба Верховного Главнокомандующего”.

Переложила одну карту.

Посмотрела на Ксенью. Загорелая, а волосы ближе к светлым. Только что оживлённое лицо недалеко до слез.

Они с Яриком были как с братом, правда. Даже ближе она к Ярику, чем Женя.

– Возьми сюда! – показала.

На карточку! На другом столе, окантованная, с приклеенной ножкой, стояла – карточка Ярослава! Уже в форме подпоручика, после выпуска!

Схватила Ксенья. Смотрели вместе.

Боже мой! Да от этой огромной фуражки, да от этого высокого воротника он же ещё больше мальчик, чем в домашней рубаше... И ремни-то как натянул, вертикальные, как доволен!... И на широком поясе тяжеленный револьвер...

Раслабив обязательно-прямую спину, обязательно-прямые плечи, Аглаида Федосеевна сказала Ксенье как дочери:

– Видишь сама... Это перешло границы упрямства... Был бы теперь студентом третьего курса, никто б его не тронул... В газетах пишут нарочно так, чтоб ничего не понять... Где этот корпус? где этот Нарвский полк?... Но всё-таки! штамп Остроленка, и, значит, это – южный отряд, Самсонова... Он – там...

И на семёрку червей – самая простая капля.

И вдруг – в первый раз! – в обнимку за ослабевшую, стареющую шею руками

молоденькими, горячими – ведь мать! даже больше, чем мать!

– Аглаида Федосеевна, милая! Он – точно жив! Я уверена – он жив, вот сердце говорит! И по тону письма – он радостный! Такие не умирают рано! У него – счастливая судьба! Вот увидите! Вот скоро получим письмо!

Начальница сняла каплю с семёрки.

Судьба?... Она и хотела узнать только это: судьбу, жизнь, письмо, будет ли ещё одно? Но с тайными силами, кто распоряжаются этим всем – судьбой, жизнью, письмом, – Аглаида Федосеевна не знала путей контакта.

Только вот через пасьянс...

Она стягивалась в форму. Хмурилась. Бровями возвращала барьер. Но глухо срывалась: – А ты ещё Юку не видела? Пойди посмотри на Юку.

Шли добровольцы по Садовой – и он по тротуару, не отставал. Из станиц приезжали казаки, тоже вроде демонстрации с хоругвями – и он там. Туда посылали каких-то школьников с флагами, петь “Спаси, Господи”, – но его-то никто не посылал.

Оттого он был дома “Юка”, что в раннем детстве, представляясь “Юрка”, не выговаривал “р”.

Бывшую комнату мальчиков теперь отдали Дмитрию Ивановичу под кабинет, а угол Юрику был отгорожен в большой комнате шкафами. Но не там оказался он, а лежал на брюхе на балконе над Николаевским переулком и по большому атласу Маркса, по гладкой бумаге, по зелёной краске мазал чёрными карандашами какие-то кривые линии и соображал.

– Ну? – окликнула его Ксения весело и присела к нему на корточки до самого пола, поднимая юбкой ветер. – Здравствуй, Юк!

Ткнулась ему в темя и ерошила пальцами голову – он не коротко был стрижен, торчали в разных местах по-разному заломленные острые хвостики волос. Юрик из вежливости перелёг на бок, видеть её, но не покидал карандашей, и выражение его лица было отвлечённое.

– Ты что же делаешь! Ты что же пачкаешь такой прекрасный атлас?

– Он мой. И я потом сотру, – не мог и не старался Юрик покинуть своё углубление.

– А что эти линии значат? – вкрадчиво-весело спрашивала Ксения, всё так же на корточках, полбалкона занявши юбкой.

Зеленоватыми глазами Юрик серьёзно смотрел на неё. Вообще-то она ни Ярика, ни его никогда не подвела, они ей доверяли.

– Только нашим – никому, – поморщился он носом, и опять его удлинённое строгое загорелое лицо смотрело самоотверженно. – Это – линии фронта. Кто побеждает – стираю, передвигаю.

За стиранием она его и застала: один фланг тут подавался, а центр держался хорошо.

– Так это что ж – Южная Россия, ты что? Немцы у тебя и Харьков взяли? И Луганск?! – Не хотела она обижать мальчика, но рассмеялась. – Ты бы другую карту, тут войны никогда не будет, Юрик!

Юк покосился на неё с сожалением и превосходством:

– Не беспокойся. Ростова мы никогда не отдадим!

Перевалился опять ничком и от Таганрога к северу стал отодвигать фронт.

( вскользь по газетам)

**ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!**

**Беспорядки в германской армии...**

**... После Гумбинена потрёпанная Германия... Перевозка из Бельгии на восток**

значительных сил конницы...

**ПОРУГАНИЕ НЕМЦАМИ ПРАВОСЛАВНЫХ ИКОН.** Немцы в Брюсселе добивают раненых... Австрийцы режут мирных сербов без различия пола и возраста...

... Бессонные ночи императора Вильгельма. Охваченный кровавой фантазией...

... вещие слова Кнута Гамсуна: “Славяне – народ будущего, завоеватели мира после германцев”.

**Я, ваш душка, ваш единственный,  
Поведу вас на Берлин.  
(Игорь Северянин)**

**ВОЙНА НЕ МЕШАЕТ РАБОТАТЬ!** Как и прежде, мы продаём быстро-вязальные машины “Виктория”...

**УДВОЙТЕ СВОЙ ПРИХОД!** Приобретайте фотографическую камеру Мандель...

**Сегодня БЕГА**

... Всю Русь облетела весть о славном подвиге Козьмы Крючкова... мы, группа учащихся... посильную лепту... прилагаем 5 руб...

... Трезвитесь, бодрствуйте!... Повсюду мобилизация... с громадным подъёмом народного воодушевления. Помимо глубоких причин, скрытых в незримых тайниках величавого русского духа... закрытие виноторговли...

... Немецкие школы в Петербурге... Жестокая резкость с учениками...

... Преступность в Петербурге понизилась на 70%.

... Нижегородская ярмарка... торговцы белкой в удручённом состоянии...

... один из раненых рассказывает, что русские войска за целые сутки не встретили ни одного немца. Часто впереди отряда идёт гармонист и играет, а солдаты поют... Забываешь, что и на войне...

... нам, не призванным под царские знамёна, надо работать и за себя и за ушедших... Всем миром вспашите и засейте поля ушедших, уберите хлеба обезлошаденных. В сомнениях обращайтесь к своим земским начальникам.

Известный русский социалист в Париже Бурцев обратился с воззванием ко всем политическим партиям России: забыть раздоры, сплотиться вокруг правительства, отстаивать русскую национальность...

... от слов к делу. Сила немцев – в поразительной сплочённости, организованности, работоспособности... Настало время, когда каждому из нас нужно работать...

**ДНЕВНИК ВОЙНЫ.** Русская армия заняла города Сольдау, Найденбург, Вилленбург, Ортельсбург, идёт наперез отступлению разбитых немецких войск...

Германские корпуса рискуют очутиться в плену.

Сегодня БЕГА

РАБСТВО СЛУЖБЫ смени на своё хозяйственное дело с доходом от 2 до 6 тысяч рублей в год. Перевод известной книги князя Кропоткина...

... Особые подтяжки, величественная военная выправка...

ПОГИБНЕТ ЛИ ГЕРМАНИЯ ОТ ГОЛОДА ИЛИ НА ПОЛЕ БОЯ? Статья экономиста.

ЗВЕРСТВА НЕМЦЕВ. Самые жестокие пытки и ужасы инквизиции бледнеют перед... Один из раненых офицеров (имя не названо), участник боя (место пропущено), сообщил корреспонденту “Биржевых Ведомостей” о следующем приёме, широко практикуемом немцами. Попадающие в плен легко раненые русские воины подвергаются операции перерезания сухожилий на руках. После такой операции немцы получают уверенность, что раненый не будет больше владеть оружием...

ПОПЫТКА НАСТУПЛЕНИЯ НЕМЦЕВ в Восточной Пруссии... Передвижка немецких войск с французской границы...

Турция почти не скрывает своей вражды к России... это, надеемся, не пройдёт Турции даром. Греки не удержатся от соблазна свести счёты... арабы, послушные указаниям Англии, армяне Кавказа пожелают получить больше, чем сколько им дано... Трудно сказать, что останется от Оттоманской империи, если она рискнёт...

Холера в турецких войсках... Беглецы из Адрианополя рассказывают...

... неслыханные зверства германских немцев... глубокое возмущение среди немцев-колонистов... С целью отмежеваться от германского варварства многие из колонистов, особенно Херсонской губернии, решили ходатайствовать об изменении их фамилий и даже имён на русские...

Латышские воины! Вместе с геройской русской армией вы приближаетесь к древней столице меченосцев Мариенбургу. Отсюда хищная шайка меченосцев держала в железных объятьях нашу родину... латышских девушек, взятых заложницами... Латышские невесты будут ждать домой только героев.

Подвижные кресла для инвалидов...

Любителям музыки. Собрание трудных пьес в лёгком переложении...

Слабость во всех её видах поддаётся успешному лечению стимулолом...

НЕПРОБИВАЕМЫЕ ПАНЦЫРИ

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!!

ВОЙНА И ВОДКА... В переживаемое время у населения столько личного горя и столько национальной радости, что в водке нет серьёзной психологической потребности...

**ХОДАТАЙСТВО ЛОМОВЫХ ИЗВОЗЧИКОВ...** без вина привычная грубость смягчилась... работа пошла скорее, сознательнее... продлить эти счастливые дни хотя бы до окончания войны... И полиция, освободясь от обязанности подбирать пьяных по улицам, стала бдительнее следить за ворами...

Выдача пайка семьям запасных. Каждому члену семьи призванного... из расчёта в месяц: 68 фунтов муки, 10 фунтов крупы, 1 фунт подсолнечного...

**ДНЕВНИК ВОЙНЫ...**Необходимость строгого соблюдения военной тайны вынуждает Верховного Главнокомандующего быть очень скупым в сообщении о ходе военных действий. Если немецкие военные власти в своих репортажах описывают даже такие победы, каких не было, то наш Генеральный Штаб умалчивает иногда и о таких победах, которые были одержаны... Только на путях движения южного нашего отряда немцам удалось временно задержать обходные колонны генерала Самсонова, причём сам командующий, а также генералы Пестич и Мартос убиты, страшно пострадал от артиллерийского огня штаб, и русским полкам нанесены тяжёлые потери.

Впрочем, от этой прискорбной случайности наше стратегическое положение нисколько не пострадало... Непрерывный приток сил из России изменил соотношение сил в нашу пользу... Чтобы удержать Самсонова, немцам пришлось перебросить два корпуса из Бельгии.

Таким образом, энергичное движение генерала Самсонова как бы было кровавой жертвой, принесенною на алтарь боевого братства...

#### **ПАМЯТИ А.В. САМСОНОВА**

Орлиным взором ты следил  
За нападением и борьбою,  
А вражий самолёт ходил  
Чуть видной точкой над тобою...

... По словам лица, близко знавшего покойного, он пользовался редкой любовью своих подчинённых. В высшей степени ровный, воспитанный, он всегда быстро охватывал и оценивал обстоятельства...

... Генерал-от-кавалерии П. К. Ренненкампф высочайше награждён за боевые отличия орденом св. Владимира 2-й степени с мечами.

... Никто не ждал победного шествия на Берлин или на Вену, потому что озлобленные враги мирных народов поставили всё на карту, и война с ними должна быть ожесточённая. Недавно нашими войсками были разгромлены под Гумбиненом три германских корпуса, а теперь мы узнали, что, обрушившись огромными силами на наши два корпуса, неприятель нанёс нам большой урон. Среди убитых и генерал Самсонов. Никто, конечно, не падает духом после этой вестии и не ответит тенью уныния на смерть храбрых. Их кровь ещё больше спяет наше мужество...

... Нас постигло несчастье и, бесспорно, известие об этом производит на всех тяжёлое впечатление... Но в то же время вполне естественно рядом с этим чувством горя растёт и другое чувство, чувство радости. Мы радуемся открытой правде этого сообщения... Кто не боится сказать правду, как бы горька она ни была, тот силен. Лгут слабые!



**И вновь, как прежде, мы ответим  
За Русь миллионами голов.  
И вновь, как прежде, грудью встретим  
И грудью вытесним врагов.**

**Пока оружия не сложит  
Раздутый спесью швабский гном,  
Пусть каждый бьётся тем, чем может:  
Солдат – штыком, поэт – пером.**

... В Главное Управление Генерального Штаба поступает масса телеграфных с оплаченным ответом ходатайств и просьб об освобождении от службы призванных при мобилизации лиц, о предоставлении им отсрочек и других льгот. ГУГШ оповещает через печать, что для принятых на действительную службу существует установленный законом порядок выяснения своих прав, почему просьбы за них родственников подлежат оставлению без рассмотрения.

**МАНИФЕСТ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. Французы!... Храбрыми усилиями наших доблестных солдат... под давлением превосходящих неприятельских сил... Для лучшей заботы о благе народа правительственные и общественные учреждения будут временно перенесены из г. Парижа...**

**ПОЛОЖЕНИЕ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ.** Из вполне авторитетных источников нам сообщают, что положение в Восточной Пруссии не внушает никаких опасений. Большой урон в двух корпусах объясняется дальностью боя тяжёлых орудий и большой площадью их поражения. На общий ход военных действий в Восточной Пруссии это событие не может оказать существенного влияния,

**УСПЕХИ ФРАНЦУЗОВ!** Французская армия, достигнув Парижа, перешла в наступление... Французское правительство переехало в Бордо...

**НАША БОЛЬШАЯ ПОБЕДА НАД АВСТРИЙЦАМИ...** Успехи на фронте в 300 вёрст!

21 августа, первый день флагов. Едва зашёлся серенький осенний денёк, как на московские улицы высыпала целая армия сборщиков-продавцов союзных флажков “на помощь жертвам войны”... В ресторанах... В клубах...

**ДУМАЙТЕ ТЕПЕРЬ ЖЕ о музее Второй Отечественной войны!**

Наше наступление вглубь Восточной Пруссии продолжается. Постоянный приток новых сил из России создаёт возможность продолжать вторжение... Это и дальше ослабит Западный фронт Германии...

**ВОЙНА ДО КОНЦА...** Не заключать отдельного мира с Германией – акт взаимного страхования от миролюбия. Нередко в истории неожиданные порывы великодушия губили всё, что было достигнуто ценою... Всемирно-моральный смысл... Дипломатическая клятва на окровавленных мечах... рыцарская верность трёх правительств...

За несколько недель предупреждали Илью Исаковича его друзья-инженеры из Харькова, из Питера и даже с коломенского машиностроительного, чьим представителем на юго-востоке России он тоже был по совместительству, – чтоб не упустил он в Ростове встретить и принять блестящего инженера Ободовского, до сих пор известного в русских инженерных кругах только своими книгами на немецком языке: по общей экономике, об устройстве портов, о путях концентрации промышленности, о перспективах торгового общения России с Европой, о колебаниях цен, и это всё помимо его специальных горнопромышленных трудов, интересных только горнякам. Ходили о нём и анекдоты, вроде того, что в Милане, бродя по улицам без гроша, он сообразил, что городское трамвайное движение можно спланировать эффективнее, начертил схему – и выгодно продал магистрату. Ещё вчера Ободовский был эмигрант, позавчера – государственный преступник и преследуемый революционер, но вот подпал под амнистию трёхсотлетия дома Романовых, ещё по одному делу “освобождён от обвинения, больше не разыскивается”, – и третий месяц совершает по инженерным узлам России негласный триумфальный объезд, с особым теплом встречаемый и за яркий талант, и по своему революционному прошлому. Как раз в Донецком бассейне, главной цели Ободовского, его застала война, но он провёл там свою месячную программу и теперь приехал в Ростов-на-Дону, с одной из рекомендаций – познакомиться с Архангородским. Они по телефону уговорились: 20 августа провести вместе первую половину дня, потом обедать у Ильи Исаковича. Встретились утром в его конторе (тоже юго-восточном отделении мельничного товарищества Эрлангер и К<sup>о</sup>), листали там чертежи, атласы, потом поехали смотреть два любимых ростовских создания Архангородского – новый городской элеватор и парамоновскую мельницу с миллионным годовым оборотом.

С первых же минут они расположились друг ко другу, несмотря на все различия. Илья Исакович был лет на десять старше, полноват, невысок, несловоохотлив, без жестов, очень тщателен в костюме (всё шито у лучшего ростовского портного) и в прикладе тёмных усов, бровей, причёски. Тридцатидевятилетний высокий светловолосый Ободовский, одетый довольно-таки несообразно, даже как попало, иногда на ходу так резко взмахивал рукой, что пошатывался, весь вид его был ошеломлённый, как был бы он застигнут одним важным делом среди другого важного. Распирала его избыточная энергия. Очень вскоре он так и объявил:

– Вы знаете, я в этой поездке чувствую себя каким-то самоваром со множеством кранов. И благодетель для меня всякий тот, кто открывает один-два крана, выпускает маленько. Если б я ещё остался за границей, меня б от материала разорвало. Этой поездкой я вот разгрузусь – и кинусь, как Горький говорит, месить гущу жизни. Насточертело мне писать из-за границы поучительные вещи, которых Россия прочесть не может. Ох, извёлся я за границей! Хочу делать русскую жизнь своими руками! А спать согласен – четыре часа в сутки. Я в эту поездку больше и не сплю...

Улыбка у него была свободная, не имеющая что таить. Черты лица при разговоре все были в движении, и лоб жил многими переходящими складками. Лёгкий ровный ёжик необременительно покрывал голову.

Действительно, он очень охотно, интересно отвечал, и сам рассказывал, влекомый быстрой жадной мыслью, которая так и кидалась исследовать все пути чужие, боковые, к нему не относящиеся, и на каждом извие делиться, как это на Западе, а тут не видели.

Постороннему глазу день их показался бы скучным, а для них был наполнен каскадами идей, сведений и предположений. Они проговорили все переезды лошаадьми, и все переходы дворами, лестницами и цехами, вперебой с обсуждением тех устройств и операций, которые являлись их глазам. Показывать свою работу понимающему человеку всегда доставляет нам удовлетворение и располагает к нему. Ободовский ничего важного не упускал – и приспособление швейцарских вальцовочных станков, и мойку зерна, и каждое замеченное хвалил в выражениях, точно соразмерных заслуге, не больше. Но сверх того необычайная была у него хватка: любому процессу или проблеме сразу найти место во всей русской

экономике и в возможной завтрашней (без войны бы – сегодняшней) торговле с Западом.

Ни биографией, ни жизненным опытом, ни специальностью они несколько не совпадали и даже не касались – но общий инженерный дух как сильное невидимое крыло поднял их, понёс и сроднил.

Нашлось время и для простых рассказов. Понуждаемый расспросами гостя, Архангородский рассказал о себе, что был в первом выпуске мукомолов харьковского Технологического, всего их было пятеро, и каждому выпускнику открывалось занятие высоких выгодных мест. Однако Архангородский не пошёл вверх, а, возмущая своего отца, мелкого маклера, поступил подсобным рабочим на мельницу, лишь через год помощником крупчатника, ещё через два – крупчатником, и считает, что только из этого понял, в чём суть мельниц и что им надо.

Пошли и город посмотреть, верней, захотел гость увидеть то место крутого Таганрогского спуска к Дону, где ростовская управа думала ставить подвижную дорожку для подъёма людей от набережной. А в Москве, говорил Ободовский, сбила война метрополитен: уже электростанцию строили для подземных поездов, и в 15-м году должны были пустить первую линию от Большого театра на Ходынское поле. Вообще по-сумасшедшему Москва эти годы строится, много поставили.

Своим неизменно спокойным оценивающим взглядом Илья Исакович всматривался в нервного Ободовского. Насколько жизнь Ильи Исаковича была равна, пряма и постоянна, настолько жизнь Ободовского состояла из виражей, взлётов, срывов, и даже дышал он неровно, словно воздуха хотел забрать на десять лёгких, и хотя ругал войну, но в мирной жизни ему как будто не хватало событий, оттого он их и сгущал.

Уж он не поминал своё давнее революционное прошлое, за которое было два суда, тюрьма, ссылка, побег за границу. Больше говорил о близких заграничных впечатлениях: в Америку ездил; изучал в Германии горнозаводскую промышленность; в Австрии работал по рабочему страхованию, и книгу написал (для России, так в Харькове несколько месяцев никак её не выпустят: то шрифта не хватает, то предисловие потеряли). А больше всего был захвачен нынешней поездкой: русские рудники и шахты уж так доступны выпускнику Горного института! – но тогда ему было важно революцию делать, да на сибирский рудник чуть и не угодил в кандалах, – а потом в эмиграции изводился, как попасть в Донецкий бассейн и руки приложить. И сейчас с восторгом рассказывал, что тут можно сделать за десять лет и что за двадцать по единому комплексному плану, каждый шаг соразмеряя с будущим, например – подземную газификацию углей...

– Вообще – кончился штиль! Штиль в России кончился! А при ветре можно плыть и встречно! – с восторгом восклицал Ободовский.

Повсюду его встречали горнопромышленники-сверстники, выпускники того же 902-го года или около, встречали с теплом, пробирающим до горлового сжатия, предлагали и инженерные места, и консультативные посты, и чтение лекций и даже – директором всего Горного департамента!

– Почему всегда не хватает работников? – ужасался Ободовский. – Чуть толковенького увидят – все хватают, все приманивают. Такая страница, столько сановников, столько чиновников, столько бездельников – а работников нет!!

– И что ж выбрали?

– Да самые блестящие предложения даже и отклонил. Буду пока в Горном лекции читать и разное там, в Питере.

Да не знаешь, где главное, – и студенты, и страхование, и бюро труда, и порты, и торговля, и банки, и технические общества – всё России нужно, везде надо успеть. Говоря в общем виде, две равных задачи у нас и обе надо вытянуть: развитие производительных сил и развитие общественной самодеятельности!

– Да, если б не война.

– Да если б хоть вести они её умели!... Старая ржавая пружина, чужие руки, долдоны! Они – века не понимают! Они **такую** страну рассматривают как свою вотчину: захотят –

помиряются, захотят – будут воевать, как с Турцией в прошлом столетии, и полагают, что всегда им будет с рук сходить. Да ни один же великий князь такого и слова не знает: **производительные силы** ! На Двор – всегда привезут, хватит! Им гораздо важней кажутся юбилеи: в Костроме праздновать, да медаль чеканить...

– Ну, впрочем, – лукаво стрельнул Архангородский, – если б не этот юбилей, то ваш самовар так бы и разорвался где-нибудь в Руре.

– Да, правда!... – смеялся Ободовский. – А с другой стороны русские интеллигенты под экономикой понимают восьмичасовой рабочий день, прибавочную стоимость, ренту. Совсем не понимают конкретной экономики: недра, орошение, транспорт. Через всех пробиваться!... Но сейчас вот забрезжило национальное примирение, да повернутся все силы к строительству? Нам бы десять лет спокойного развития – не узнать бы ни нашей промышленности, ни нашей деревни. А какой бы торговый договор мы могли с Германией заключить, это изумительно, до чего выгодно, я вам сейчас подробно...

Они уже пришли домой, Илья Исакович позвонил, со второго этажа их увидели и автоматически открыли дверь, так у них устроено было, без швейцара. Квартира их на втором этаже занимала много комнат, все из тёмного коридора. Илья Исакович вёл гостя за десять минут до назначенного срока со смущением и опаской, что жена его Зоя Львовна не будет готова и поставит его в конфузное положение. Была кухарка и, если ей не мешать, она сготовила бы обед строго вовремя. Но он бы не был достаточно замысловат! – понятно было бы происхождение каждого блюда, из какого продукта оно приготовлено. А уж для знаменитого гостя Зоя Львовна, Мадам-вулкан, не могла не постараться сама, для таких-то случаев и держался её неровный кулинарный пыл, всплесками из Молоховца!

Из коридорного излома на кухню, пылая от плиты и захлёбным шёпотом, Зоя Львовна объявила, что обед задержится на полчаса. Пришлось покорному Илье Исаковичу брать из столовой графинчик на поднос, сёмгу, бутерброды и нести в кабинет.

– Да, ещё же и “Союз инженеров”! – неумоимо встретил его Ободовский. – Как он здесь у вас?

– Да пожалуй хиловат.

– А во многих местах – крепкие оживлённые группы. Я считаю, Союз инженеров мог бы легко стать одной из ведущих сил России. И поважней, и поплодотворней любой политической партии.

– И принять участие в государственном управлении?

– Да не прямо в государственном, собственно власть нам ни к чему, в этом я и сегодня верен Петру Алексеевичу...

– Кому это?

– Кропоткину.

– Вы его знаете?

– Да, близко, по загранице... Деловые умные люди не властвуют, а созидают и преобразуют, власть – это мёртвая жаба. Но если власть будет мешать развитию страны – ну, может, пришлось бы её и занять.

Смеялся.

Первая рюмка разогрела их, вторая тем более, всё виделось ещё приподнятей и общей, и из глубины кожаного дивана Ободовский вскинутой худой рукой протестовал с присущей ему экспромтностью:

– Да, а почему все ваши отделения зовутся “юго-восточными”, хотел бы я понять? Разве вы от России – юго-восток? Вы – юго-запад!

– Юго-запад – это Малороссия. У нас и железная дорога – “юго-восточная”.

– Да где вы тогда стоите? Откуда смотрите? Вы тогда России не видите! На Россию надо, батенька, смотреть издали-издали, чуть не с Луны! И тогда вы увидите Северный Кавказ на крайнем юго-западе этого туловища. А всё, что в России есть объёмного, богатого, надежда всего нашего будущего – это **Северо-восток** ! Не проливы в Средиземное море, это просто тупоумие, а именно северо-восток! Это – от Печоры до Камчатки, весь Север Сибири.

Ах, что можно с ним сделать! Пустить по нему кольцевые и диагональные дороги, железные и автомобильные, отоплить и высушить тундру. Сколько там можно из недр выгresti, сколько можно посадить, вырастить, построить, сколько людей расселить!

– Да, да! – вспомнил Илья Исакович. – Ведь вы в Пятом году чуть ли не Сибирскую республику делали? Хотели отделиться?

– Не отделиться, – весело отмахнулся Ободовский. – Но оттуда начать Россию освобождать.

Вздыхнул Архангородский:

– Всё-таки зябко. Не очень туда хочется. Здесь лучше.

– Надо, чтобы хотелось, Илья Исакович! Ну, не в вашем возрасте, так молодым. К тому идёт мир, что скоро немыслимо будет эти пространства держать пустыми, человечество нам не позволит, это получается – собака на хвое. Или используй, или отдай. Настоящее завоевание Сибири – не ермаковское, оно ещё впереди. Центр тяжести России сместится на северо-восток, это – пророчество, этого не переступить. Между прочим, к концу жизни к этому пришёл и Достоевский, бросил свой Константинополь, последняя статья в “Дневнике писателя”. Да нет, не морщьтесь, у нас и выхода не будет! Вы знаете расчёт Менделеева? – к середине XX века население России будет много больше трёхсот миллионов, а один француз предсказывает нам к 1950 году – триста пятьдесят миллионов!

Маленький ладный осторожный Архангородский сидел в круглоохватном поворотном твёрдокожаном кресле, сложив небольшие руки одну на другую на выступающем животике.

– Это в том случае, Пётр Акимович, если мы не возьмёмся выпускать друг другу кишки.

## 79

Что наибольшее семейное счастье бывает не с красавицами, что с красавицами, да ещё темпераментными, очень неудобно жить, – знал Илья Исакович, внушали ему разумные люди, и всё-таки он не удержался от соблазна жениться на золотоволосой Зое с её перекидчивыми настроениями, с её “всё или ничего!” – или воротник под самые уши или самое открытое декольте, не понравилось своё лицо на фотографии – зачеркнула, с её несостоявшейся сценой (родные не пустили), с её неоконченной варшавской консерваторией, в доме то чтением из Шиллера в лицах, то музыкальными вечерами, с её страстью к вазам, кольцам, брошам, презрением к игле и пыльной тряпке. Очень, правда, ей шли драгоценности – и заплётom в волосы, и на шею, и на грудь и на руки, но Илья Исакович при замужестве предварял и потом повторял: “я – инженер, а не купец”. (Тем же мельничным строительством занимаясь, он мог изменить направление деятельности, покупать и дома и землю, но чистое инженерство ушло бы от него). Зато уж образ поведения жены давал мужу полный отход и отдых от его дневных занятий, хотя по квартире среди многих драпировок, занавесей и атласной обивки постороннему как будто чего-то не хватало: то ли света от окон и ламп, то ли тепла от радиаторов, то ли из углов не совсем хорошо выметено или из буфета не чисто смахнуты крошки.

С опозданием, а всё-таки обед поспел. Белей и богаче повседневного накрыт был стол в темноватой, но очень просторной столовой, где можно было и сорок человек рассадить, а сейчас к семи приборам докладывала последнее из огромного старинного буфета статная красивая горничная. (Любя всё красивое, Зоя Львовна держала только красивых горничных, хотя сама ж и ревновала мужа к ним).

Уже сняв передник, Зоя Львовна обходила комнаты и звала к столу. Да кроме главного гостя все были свои или почти: сына дома не было, но дочь Соня, её гимназическая подруга Ксения, ещё молодой человек Наум Гальперин, сын известного в Ростове социал-демократа, которого Архангородские в 1905 году прятали у себя, с тех пор и близкое знакомство, наконец – Мадмуазель, сонина гувернантка с малых лет, вполне член семьи.

Наум и Соня не были, не могли быть схожи, но в чём-то и были: густотой обильных

чёрных волос (у Наума – не очень расчёсанных), тёмными яркими глазами и боевой живостью в спорах. У них уже раньше было сговорено принципиально и воспитательно поговорить с отцом по поводу его участия в позорней так называемой патриотической манифестации ростовских евреев. Манифестация эта произошла ещё в конце июля и началась в хоральной синагоге, где Илья Исакович показывался лишь по праздникам, по традиции, имел там почётное место на восточной стороне, но верующим не был, и уж на манифестацию легко мог бы не пойти, а – пошёл. Синагогу убрали трёхцветными флагами и портретом царя, началось с богослужения о победе русскому оружию в присутствии военных, держал речь раввин, потом полицеймейстер, пели “Боже, царя”, потом тысяча двадцать евреев с флагами и плакатами “да здравствует великая единая Россия” и с отдельным отрядом записавшихся добровольцев ещё пошла по улицам, митинговала у памятника Александру Второму, ещё приветствовала градоначальника, слала всеподданнейшую телеграмму царю, и это ещё не все мерзости. Но вскоре после того уезжала Соня, потом уезжал отец, теперь собрались, а вчера ещё поддали жару тем, что в двух кинематографах стали показывать хронику об этой манифестации, и так это было слащаво, лживо, невыносимо, что нагорело тотчас объясниться с отцом!

С опозданием узнали молодые люди, что за обедом будет гость – известный бывший революционер, теперь отступник. Сперва это сбило их, не отложить ли нападение, но решили, что так и лучше: если в этом анархисте сохранилась капля революционной совести, то он поддержит их, а если он до конца изменник, то тем жарче и интереснее будет бой. Так они сели за стол, ища первейшего повода, чтобы вцепиться, не откладывая позже супа.

Закуски уже были передержаны опозданием, и по телефону (от столовой до кухни по дальности коридора действовал телефон) Зоя Львовна вызвала суп-не суп, а как бы борщ, чисто бурачный, в пикантном сочетании с творожными ватрушками полупесочного теста. Хозяйка сидела во главе стола, а гость – рядом с ней, он похвалил её изобретательность, затем осведомил, откуда едет и куда, вот выбирает себе круг обязанностей, – и чем же был не повод? вполне удобный повод! Направив на отступника пристально-угрожающий взгляд, кудлатый Наум напряжённо спросил:

– Но какое производство вы будете развивать? Капиталистическое?

Илья Исакович потемнел, угадывая, что молодые готовят скандал, и хотел тут же загасить дерзость.

Догадался и Ободовский. Ему сегодня после обеда предстояло ещё десять дел, а за обедом он хотел бы поесть спокойно. И самоварные краны его словоизвержений были приготовлены для единомышленников, чтобы дело делать скорей, – а переспаривать малосмыслящую молодёжь ему казалось и старо, и скучно. Но по положению гостя он сделал над собой усилие, не такое уж и большое при безъякорной лёгкости его речи, и ответил подробно, дружелюбно:

– Узнаю этот вопрос, ему уже лет двадцать! На студенческих вечеринках в конце девяностых годов вот это самое мы друг у друга и спрашивали. Тогда в студентах уже прозначился этот раскол – на революционеров и инженеров, разрушать или строить. Казалось и мне, что строить невозможно. Надо было побывать на Западе, чтоб удивиться: как там анархисты чинно живут, аккуратно работают. Кто касался **дела**, кто сам что-нибудь руками делал, тот знает: не капиталистическое, не социалистическое, производство только **одно**: то, которое создаёт национальное богатство, общую материальную основу, без чего не может жить ни один народ.

Ну, ласковым многословием не замазать было чёрных горящих глаз Наума:

– Этого “национального богатства” народ при капитализме не видит и не увидит! Оно мимо его рук плывёт – и всё эксплуататорам!

Ободовский легко усмехнулся:

– А – кто такой эксплуататор? Наум дёрнул плечом:

– По-моему слишком ясно. **Вам** стыдно задавать такой вопрос.

– Тому, кто вертится в деле, – не стыдно, молодой человек. Стыдно тому, кто издали

судит, руки сложа. Вот сегодня смотрели мы элеватор, где недавно рос один бурьян, и современную мельницу. Мне не передать вам, какие там вложены ум, образование, предусмотрительность, опыт, организация. Это всё вместе – знаете, почём стоит? – девяносто процентов будущей прибыли! А труд рабочих, которые камни клали и кирпичи подтаскивали, – десять процентов, и то можно бы кранами заменить. Они свои десять и получили. Но ходят молодые люди, гуманитаристы... вы ведь гуманитарист?

– Какое это имеет значение? Вообще – да.

– Ходят гуманитаристы и разъясняют рабочим, что они получили мало, а вот инженеришка там в очках ни одной железки сам не передвинул, неизвестно, за что ему платят, *подкуп* ! А умы и натуры неразвитые легко верят, возбуждаются: свой труд они ценят, а чужой им понять недоступно. Непросвещённый наш народ очень легко возбудить и соблазнить.

– А – Парамонову за что прибыль? – крикнула Соня.

– Не вся и зря, поверьте, я сказал: организация. Не вся зря. А ту, что зря, – ту надо разумными общественными мерами постепенно переключать на другие каналы. А не бомбами отнимать, как мы делали.

Нельзя было откровенней выразить своего ренегатства и капитулянтства. Наум улыбнулся криво-презрительно, переглянулся с Соней.

– Значит, вы навсегда отшатнулись от революционных методов?

Наум и Соня от напряжения и презрения забыли есть. А между тем статная горничная принесла второе, и хозяйка заставила гостя признаться, что он отказывается понять, что это и из чего. Она ждала похвал, от похвал светилась, и Ободовский обязан был их высказать, но ещё дожигали отступника четыре черно-огненных глаза через стол. И он досказывал им:

– Я бы это иначе назвал. Раньше меня больше всего беспокоило, как *распределять* всё, что без меня готово. А теперь меня больше беспокоит, как создавать. Лучшие головы и руки страны должны идти на это, а распределят головы и послабей. Когда много создано, то даже при ошибках распределения без куска никто не останется.

Наум и Соня сидели рядом, на удлинённой стороне стола, прямо против инженеров. Они переглянулись, фыркнули:

– Создавать!... Создавать – вам царизм помешает! – и решили этот вопрос покинуть для запасённого главного. Но теперь и Ободовский пожелал знать:

– А вы – какого направления, простите?

Науму пришлось ответить, но скромно, тихо, потому что об этом не кричат:

– Я – социалист-революционер.

Он не пошёл по пути своего отца-меньшевика, находя, что слишком миролюбиво, кисло-квашено.

А Илья Исакович и самые важные вещи и при самом важном подчёркивании никогда не произносил громко. Он и выговоры детям делал лёгким постукиванием ногтя по столу, всегда было слышно. Теперь, смотря на Наума почти ласково, тоже из-под бровей густо-чёрных:

– А спросить: на какие средства ваша партия живёт? Всё-таки явки, квартиры, маскировки, бомбы, переезды, побеги, литература – откуда деньги?

Наум резко отмотнулся головой:

– По-моему, об этом не принято спрашивать... И, по-моему, общественности это известно.

– Вот то-то и оно, – гладко ноготь полировал о скатерть Илья Исакович. – Вас – тысячи. И никто давно не работает. И спрашивать не принято. И вы – не эксплуататоры. А национальный продукт потребляете да потребляете. Мол, в революцию всё окупится.

– Папа!! – воскликнула дочь с призывом возмущения. – Ты можешь ничего для революции не делать, – (она, впрочем, тоже ничего не делала), – но так говорить о ней – оскорбительно! недостойно!

Она наискосок сидела от отца, как и Наум от Ободовского. Возмущённые взгляды

молодых так и стреляли вперекрест.

А между тем по телефону вызвали рыбу, запеченную кусками в больших ракушках, и гость опять должен был удивиться, и Зоя Львовна весело объясняла ему что-то, поигрывая пальцем с платино-алмазным ромбиком на кольце. Политика душила её, вот уж что она ненавидела – это политику!

А через весь стол, на другом коротком конце против хозяйки, от той же политики нудилась и Мадмуазель, ещё безнадежнее, потому что ей и вовсе не с кем было слова сказать, только горничную благодарить. Пятнадцать лет назад, когда в парижском свободном кафе с ней познакомился председатель харьковской судебной палаты и повёз в Россию, – она русского совсем не знала, а в первых русских воспитанницах не предполагала французского и укачивала их песенками о том, как кто-то к кому-то забрался в кровать. С тех пор достаточно она узнала и здешний язык и здешние обычаи, чтоб эти бесконечные разговоры о политике и понимать и ненавидеть. С тех пор устарел альбом её поклонников, она устоялась в добродетели, последний год ходила во дворе к одинокому лотошнику давать ему уроки французского, и уже знала Зоя Львовна о предстоящей их женитьбе, – да вот брали лотошника на войну.

Неподалеку от Мадмуазель и рядом с разгневанной Соней скромно сидела и поблескивала глазками Ксенья. В гимназии они с Соней были украшением своего класса: всегда вместе за первой партой, вместе руки поднимали и не уступали друг другу в пятёрках. Но там очень ясно было, что отвечать: всё, что необходимо знать теперь и навсегда, там прежде сообщалось или в учебнике прочитывалось как несомненное. Сейчас же Ксенья и не хотелось ничего сказать и страшно было произнести глупость, оплошность. Все за столом умные люди говорили по-разному, и не выбиралось одно правильное из их слов. Но на такие случаи в семье Харитоновых давно приучили степенячку Ксенью не показывать тарашеньем глаз или зевотою, что застольный разговор ей непонятен, скучен, а умело изображать свою заинтересованность и понимание спорностей всего-то весьма малыми средствами: поворотом головы к говорящему; иногда кивком одобрения; улыбкою интереса; удивлённым вскидом бровей. Всё это, не вслушиваясь, Ксенья теперь старательно проделывала, ещё следя, чтобы правильно оперировать видами ложек, вилок и ножей. А думала – о своём.

Её жизнь была упоена более важным, чем можно выразить словами. Каждый день и каждый шаг невидимо, неуклонимо приближал её к тому высшему счастью, для которого только и рождаются на свет. И это ожидаемое счастье её не могло зависеть ни от войны, ни от революции, ни от революционеров, ни от инженеров, – а просто должно было неминуемо наступить.

Илья Исакович как бы не спорил, а размышлял над тарелкой:

– Как вам не терпится этой революции. Конечно, легче кричать и занятней делать революцию, чем устраивать Россию, чёрная работа... Были бы постарше, повидали бы Пятый год, и как это всё выглядело...

Нет, так мягко сегодня отец не вывернется, готовился ему разнос:

– Стыдно, папа! Вся интеллигенция – за революцию! Отец так же рассудительно, тихо:

– А мы – не интеллигенция? Вот мы, инженеры, кто всё главное делает и строит, – мы не интеллигенция? Но разумный человек не может быть за революцию, потому что революция есть длительное и безумное разрушение. Всякая революция прежде всего не обновляет страну, а разоряет её, и надолго. И чем кровавей, чем затяжней, чем больше стране за неё платить – тем ближе она к титулу Великой.

– Но и дальше так тоже жить нельзя! – со страданием вскричала Соня. – С этой вонючей монархией – тоже жить нельзя, а она – ни за что доброй волей не уйдёт! Пойди ей объясни, что революции разоряют страну, пусть *она* уйдёт добровольно!

Кругленько, а твёрденько всё на том же месте скатерти гладил ногтем Илья Исакович:

– Не думайте, что без монархии вам сразу наступит так хорошо. Ещё **такое** наступит!... Ваш социализм для такой страны, как Россия, ещё долго не пригодится. И пока достаточно б нам либеральной конституции. Не думайте, что республика – это пирог,



объявление. Соберутся сто честолюбивых адвокатов – а кто ж ещё говоруны? – и будут друг друга переговаривать. Сам собою народ управлять всё равно никогда не будет.

Горничная, всеми называемая на “вы”, разносила сладкое в виде корзиночек. Зоя Львовна рассказывала Ободовскому, как прошлым летом ездила с детьми и с мадмуазель путешествовать по южной Европе.

– Будет! Будет!! – в два голоса крикнули, в два кулака пристукнули уверенные молодые. И с последней черно-огненной надеждой ещё глянули на бывшего анархиста: неужели можно так низко и необратимо пасть?

Нет, несогласие в нём всё-таки было, он кажется хотел хозяину возразить, да слушал хозяйку.

Илья же Исакович стал говорить настойчивее, начиная уже волноваться, это сказывалось в малых движениях его бровей и усов:

– “Пусть сильнее грянет буря”, да? Это – безответственно! Я вот поставил на юге России двести мельниц, паровых и электрических, а если сильнее грянет буря – сколько из них останутся молоть?... И что жевать будем? – даже и за этим столом?

Ну, он сам подвёл и время и место для удара! Едва удерживая слезы обиды, слезы позора, Соня крикнула с надрывом:

– Оттого ты и манифестировал вместе с раввином свою преданность монархии и градоначальнику, да? Как ты мог? Как тебя хватило? Желаеть, чтоб самодержавие укрепились?...

Илья Исакович погладил грудь, покрытую салфеткой. Он не давал голосу повыситься или сорваться:

– Пути истории – сложнее, чем вам хочется руки приложить. Страна, где ты живёшь, попала в беду. Так что правильно: пропадай, чёрт с тобой? Или: я тоже хочу тебе помочь, я – твой? Живя в **этой** стране, надо для себя решить однажды и уже придерживаться: ты действительно ей принадлежишь душой? Или нет? Если нет – можно её разваливать, можно из неё уехать, не имеет разницы... Но если да – надо включиться в терпеливый процесс истории: работать, убеждать и понемножечку сдвигать...

Прислушалась и Зоя Львовна. Она-то для себя решала этот вопрос так: на еврейскую Пасху ели мацу, а следом, на православную, пекли куличи и красили яйца. Широкая душа должна всё принимать, понимать.

Наум отрезал бы резко, но из уважения, из семейной благодарности не решался. Зато Соня кричала всё, что накопилось:

– **Живя** в этой стране!... Живя в Ростове из той милости, что ты – личный почётный гражданин, а кто к образованию не пробился – пусть гниёт в черте оседлости! Назвал дочку Софьей, сына Владимиром, и думаешь, тебя в русские приняли? Смешное, унижительное, рабское положение! – но хотя бы не подчёркивать своего преданного рабства! Гласный городской думы!... **Какую** ты Россию поддерживаешь в “беде”? **Какую** ты Россию собираешься строить?... Патриотизм? В этой стране – патриотизм? Он сразу становится погромщиной! Вон, читай, на курсы сестёр милосердия принимают – только христианского вероисповедания! Как будто еврейские девушки будут раненым яд подсыпать! А в ростовском госпитале объявлено: персональная койка “имени Столыпина”! персональная койка “имени градоначальника Зворыкина”! Что за идиотизм? Где же граница смешного? Колоссальный Ростов, с такой образованностью, с твоими мельницами и с твоей думой, одним росчерком пера подчинён наказному атаману тех самых казаков, которые нас нагайками?... А вы у царского памятника поёте “Боже, царя”?

Илья Исакович даже губы закусил, салфетка вывалилась из-под тугого воротника.

– И всё равно... и всё равно... Надо возвыситься... И уметь видеть в России не только “Союз русского народа”, а...

Воздуха не хватало или кольнуло, но в паузу легко поддал Ободовский:

– ... а “Союз русских инженеров”, например.

И повёл живыми глазами на молодых.

– Да! – ухватился и упёрся рукою в стол Архангородский. – Союз русских инженеров – это менее важно?

– Чёрная сотня! – кричала Соня, цепляя рукавом неначатую корзинку сладкого, – вот что важно! Чёрной сотне ты кланяться ходил, а не родине! Мне стыдно!!

Всё-таки вывела из себя! Дрожа голосом, двумя ладонями, на рёбра поставленными, Илья Исакович показал:

– С этой стороны – чёрная сотня! С этой стороны – красная сотня! А посередине... – килем корабля ладони сложил, – десяток работников хотят пробиться – нельзя! – Раздвинул и схлопнул ладони: – Раздавят! Расплющат!

## 80

Великий князь Николай Николаевич при Александре III был в загоне, даже не числился в свите. При Николае II был выделен из роя великих князей, как и самой природою во плоти, 6 футов 5 дюймов, самый высокий мужчина в династии, – выделялся из них. Однако положение его не было прочным. Порою он сильно влиял на Государя, покорял его своему влиянию; много говорили, что Манифест 17 октября и созыв Думы вырвал именно Николай Николаевич, угрожая застрелиться в царском кабинете; он не чуждался общественного мнения, не боялся общественных движений, слышал их (хотя общество до последнего времени считало его черносотенцем). Порою же, в глухом противодействии императрице (к чему он обречён был волею сестёр-черногорок, своей второй жены и её сестры), он терял должности, влиянье, опоры, сникал в тень. Так в 1908 году был распущен Совет Государственной Обороны, руководимый Николаем Николаевичем (впрочем, не слишком пристально), – и так Николай Николаевич был устранён и от разработки военных планов и от общей деятельности по армии. Затем потерял и командование гвардией, остался просто генералом и командующим Петербургским округом.

Но вот началась война – и министры отговорили Государя от его решимости стать Верховным Главнокомандующим. И – сразу открылось его и всем глазам, что нет в России иной фигуры для этого поста, как Николай Николаевич. И снова великий князь вознёсся.

Но настолько в последний момент это всё было переменено, – уже поздно было менять штат Ставки, подготовленный себе Государем. На свой лад, странный для военного глаза, Государь выбрал начальником штаба Верховного – генерала Янушкевича, известного канцеляриста, хотя и профессора Академии, но профессора по военной администрации: хорошо знал всю устроительную, распорядительную и отчётную части, но не имел даже понятия о вождении войск. Такое назначение можно было бы подправить сильным генерал-квартирмейстером, – но и генерал-квартирмейстера предназначил себе Государь – тугодумного, ограниченного, усидчивого Данилова-“чёрного”. А теперь, в своей обычной попустительной неделовой манере, Государь просил великого князя о такой безделице: оставить штаб Верховного таким, как он собран, приятный для Государя.

И как мог Николай Николаевич отказать? Так важно, так нужно, так неизбежно было ему принять именно пост Верховного в этой войне, давно желанной им по ненависти к Германии. Не хотелось ставить лишних помех, да и искренно – привык Николай Николаевич рассматривать волю помазанника как священную, он воспитан был так: хоть младший племянник, но его властитель, без этого нет монархии как принципа. Предвидя и рисуя картину назначения себя Верховным, Николай Николаевич предвкушал поразить Россию, армию и Двор назначением в начальники штаба близкого себе генерала Палицына, а генерал-квартирмейстером – скромного, маловзрачного генерала Алексева, на ясный военный смысл которого великий князь очень полагался. Но вот – пришлось взять чужой штат, как и чужой план войны, не при его участии составленный.

Но поразил его, ободрил, обаял дивный небесный знак. Прибыв со Ставкой в Барановичи, великий князь получил внезапное предзнаменование, что его Верховное главнокомандование будет счастливо и, стало быть, Россия одержит победу. Это

предзнаменование было послано ему через исключительное, почти невозможное и потому мистическое совпадение: в железнодорожном городке под Барановичами, куда ещё из Петербурга определили Ставку, церковка оказалась памяти святого Николая – но не Николая Мирликийского, престолами которого уставлена вся Русь, тут бы не было ничего удивительного, а Николая Кочана, Христа ради юродивого, новгородского чудотворца, с памятью 27 июля (почти так и приехали!), в день тезоименитства Верховного главнокомандующего, – и, стало быть, его небесного покровителя. Такой церкви в России почти не найти. Совпадение не могло быть случайным! Тут было мистическое указание!

А чтобы полно и правильно сей небесный знак прочесть, очевидно не надо было великому князю и удаляться, надолго отлучаться от этого благоприятно-рокового места. Не метаться по фронтам, по дивизиям и полкам, но именно здесь находиться, где все линии перекрещиваются, и именно здесь определится им победа!

А постоянное расположение приводило к постоянному удобному распорядку дел, размеренной чередой обязанностей и досуга. Два поезда Ставки остановились у края леса, поезд Верховного – почти в лесу. Небольшой домик генерал-квартирмейстерской части, где велись все оперативно-стратегические разборы и рассуждения, был выбран прямо против вагона Верховного, перейти двадцать шагов. Почивал великий князь у себя в вагоне. Если приходили ночью какие телеграммы или сведения, ими Верховного не беспокоили, а когда он вставал, всегда в 9 утра, то после умывания и молитвы бумаги эти приносили, и за утренним чаем Верховный знакомился с ними. После чая приходил на доклад и начальник штаба. Два часа размышлений и рассуждений по оперативным вопросам – и шли к полудню завтракать. Потом ложился великий князь отдохнуть, затем катался на автомобиле (не быстрее двадцати пяти вёрст в час, опасаясь несчастного случая), тут подходило время второго чая, после которого уже не бывало серьёзных занятий, а второстепенное разное, дела со свитой, частные разговоры. Перед обедом садился великий князь у себя в вагоне писать ежедневное письмо жене в Киев – подробно обо всём, происшедшем сегодня: без душевного обмена с родным человеком он жить не мог, и как раз его бы он утрачивал, ежась по воинским частям; постоянным же местоположением Верховного достигалась регулярность получения писем от жены. В половине восьмого вечера, по-петербургски, был общий обед штабных в вагоне-столовой, всегда с водкою и винами, ещё позже – третий, не обязательный чай.

По всенощным и праздничным литургиям Верховный посещал свою церковь (там хор держался из отборных певцов придворной капеллы и Казанского собора). У себя же наедине он всегда был с Богом: не садился за трапезу, не помолясь, и на ночь молился подолгу, на коленях, с земными поклонами. Он очень углублялся в молитвы, уверенный в действенной помощи их.

Великий князь – жаждал, жаждал и жаждал скорых и решительных побед. И – по воинственности своей рыцарской природы. И – по ненависти к германскому милитаризму. И – по особым обязательствам относительно прекрасной дружественной Франции, которые имела не только Россия в целом, но и отдельно великий князь: со времён его позапрошлогодней блистательной туда поездки – там любили его, там верили в него, там всегда предвосхищали его назначение Верховным. И Франция не должна была быть оставлена в беде! И вот почему великий князь распорядился о немедленном энергичном наступлении двух русских армий в Восточную Пруссию – и ещё решительно ускорял.

Однако победы не приходили. Даже на австрийском фронте не складывалось хорошо. В Пруссии же, после Гумбинена, никак не наступал второй завершающий успех: не сбрасывали неприятеля ни в море, ни за Вислу. Сперва Самсонов брал города, потом пресекалось. Потом пришло сведение о смещении Артамонова (слишком легко и поспешно; так снимать корпусных – не навоюешься). Потом вообще смолкло. 16-го приезжал в Барановичи Жилинский, жаловался, что Самсонов произвольно снял связь и теперь ничего не известно. И полковник Воротынец, посланный туда, почему-то не возвращался. Такие затяжные молчанья не бывают к хорошему. 17-го опять ничего не узналось – за целый долгий день

ниоткуда никакого сведения. В ночь на 18-е великого князя разбудили – пришла странная, возбуждающая, ненадёжная телеграмма: шифрованная принятым шифром, но обычным гражданским телеграфом, и в обход штаба фронта: “После пятидневных боёв в районе Найденбург-Хохенштейн-Бишофсбург большая часть Второй армии уничтожена. Командующий застрелился. Остатки армии бегут через русскую границу”. И подпись – начальника связи армии, всего лишь. Почему не старше? Почему не начальник штаба? Мистификация? Ошибка перепуганного офицера? Почему молчат Жилинский-Орановский, им-то должно быть известно больше?

Но всё, что Жилинский-Орановский донесли за 18-е августа, было: круговая во всём виноватость Самсонова и приключенческая история, как вышел из окружения армейский штаб. “О положении корпусов Второй армии сведений нет. Можно предполагать, что 1-й корпус ведёт бой у Найденбурга... Отдельные люди 15-го корпуса толпами прибывают в Остроленку”...

Мало, чтобы понять. Достаточно, чтобы потерять покой.

Всё же Данилов и Янушкевич (действительно весьма приятные люди) согласно убеждали великого князя, что ещё нет неотвратно-худого, что положение может счастливым образом и вывернуться. Но сжималось сердце Верховного: если о доступных близких корпусах **можно предполагать**, то что же о дальних? Он ощутил, что пришла катастрофа, и силами человеческими тут не вмешаться, а только Небо может спасти. И пошёл к рядовой вечерне, а потом у себя в вагоне долго стоял на узких твёрдых коленях, даже на коленях высокий, и при зажжённых лампадах молился.

Собственно о гибели армии не было формального ответственного, письменного донесения от Жилинского – и, значит, не было основания формально письменно доносить Государю. Но и распорядок жизни своей только механически выполнял великий князь в эти сутки: тополино высокий и ровный (а ещё как он сидел на крупных, выводных из Англии гунтерах!), не поникая, не сутулясь, проходил по территории Ставки, гулял по садику, разбитому вдоль поезда. Ушло с лица свежее боевое выражение, так молодящее его всегда, и: проступило, что он уже под шестьдесят. С вежливой сдержанностью он разговаривал с чинами свиты, с чинами штаба, однако по принятой в Ставке секретности нигде, кроме домика квартирмейстерской части, ничего не говорилось о самих военных операциях. Особенно важно было таиться от представителей союзников, живших тут же в поезде и обедавших рядом, – француза, англичанина, бельгийца, серба, черногорца, чтоб они не узнали того худого о России, о чём догадываться никак им не нужно, пока не будет нужным признано. И хотя зловещие слухи шепотком передавались, и лица мрачнели, – но следовали все образцу великого князя, и внешняя жизнь Ставки по виду текла размеренно, и адъютант кавалергард граф Менгден между вагоном великого князя и домом генерал-квартирмейстерства всё так же пронзительно свистел, призывая, посылая голубей, и дрессировал своего барсука.

А 19-го уже не только Государю пришлось доносить о катастрофе, но признаться в чём-то и для газет, ибо проникло в газеты.

В сумрачную сжатость погрузился великий князь, не в силах предугадать, как именно отзовётся на происшедшее Государь, легко переменный в своих благосклонностях. От него не бывало поспешных ответов, и надо было ждать на вторые-третьи сутки. Уж молодая императрица, и вся распутинская партия, и Сухомлинов непременно постараются неудачу в Пруссии обратить против великого князя, и даже ссадить его, не давая выправиться в последующем. Из Петербурга сливаются эти расстояния – Найденбург, или Белосток, или Барановичи, и нет труда убедить, что всё загубил Верховный.

Но ещё угнетательней, чем ожиданье монаршего ответа, пустошила великого князя его растерянная неосведомлённость в том событии, за которое ждала его кара. Так и оставалось скрыто, непонятно: что же, как же, до какой же степени худо произошло? Жилинский и сам был силен в придворных кругах, и не мог великий князь вызвать его скорый и полный ответ, как от другого подчинённого. Он может быть знал, но скрывал, а отвечал за всё –

Верховный.

В ночь на 20-е Ставка снова требовала от Северо-Западного подробностей, но Орановский заявил, что сам не может добиться и понять.

Все дни до последнего стоял, при холодных ночах, ровный и даже тяжёлый дневной зной. А с утра 20-го не разгорался полный солнечный свет, сразу был он вялый, тускловатый. И час от часу незаметно небо запеленивалось. Ниоткуда не шло облаков, и ветерок дул самый лёгкий, однако прохладный. А вот уже запад посерел. И к полудню всё застлало пасмурью.

Великий князь старался и при тяжелом сердце держаться распорядка. В назначенное время оделся для прогулки, сегодня верховой, вышел из вагона. Тут увидел начальника военных сообщений, медлительного добряка, собирателя этикеток от сигар. Вспомнил, что у него есть этикетки нового сорта, вернулся за этикетками.

А выходя из вагона вновь, увидел, как прямо из лесу быстрым шагом шёл сюда – полковник Воротынцев! Да, Воротынцев!! Да не во сне ли? Жив, цел? Он-то и нужен был больше всех сейчас!

Воротынцев ходко шёл и оглядывался, как бы желая обогнать кого-то и подойти первым. Но никого не было – лишь генерал, обрадованный этикетками, да адъютант рядом, да поодаль генерал для поручений. Воротынцев был в кителе, налегке, будто здесь, при штабе, всё время. Он шагал неотвычным шагом строевого офицера, но и с какой-то развалкой, переходной к хромоте. Одно плечо у него заметно возвышалось над другим, на челюсти – запекшийся струп, и щёки побриты не чисто.

– Воротынцев! – не домедляя до его подхода и доклада, первый обрадованно воскликнул великий князь. – Вы вернулись?! А почему мне никто не доложил?

Воротынцев и козырнул не со штабным изяществом, а той же перевалкой, будто рука тяжелей обычного:

– Ваше императорское высочество! Я – только что, вот – десять минут...

(Он не только что, он несколько уже часов сидел в лесу. Там он оставил и Благодарёва с шинелью и сумкой. Зная распорядок, он нарочно соорудил так появиться, чтоб миновать и Янушкевича, и Данилова, сразу на глаза великому князю).

– Вы ранены? – броским движением выразительных бровей угадывал великий князь повязку под кителем на плече.

– Да пустяки.

И – жёг Верховного жадными глазами.

Сильно-продолговатое лицо Николая Николаевича вот уже и омолодилось вновь, хотя волнением и тревогой. Громко и требовательно он спрашивал:

– Ну! Что же там? Что??

Воротынцев стоял закинувшись, в строевой докладной позе, но глазами повёл на адъютанта и в другую сторону на подходящего генерала. Сейчас тут все слетятся, только б успеть до них!

– Ваше императорское высочество! Я прошу выслушать меня конфиденциально.

– Да, конечно! – решительно кивнул великий князь, тут же резко и повернулся. Как пристали ему эти движения, собственные его! И длиннющие тонкие ноги в сапогах он уже юношески вносил на вагонные ступеньки, оттуда распоряжаясь адъютанту никого не допускать.

Вагон был внутри перестроен от обычного. Они вошли в кабинет от окон до окон, с восточным ковром во весь пол, письменным столом, медвежьей шкурой на стене, скрещенным дарственным оружием, несколькими иконами и портретом Государя.

Верховный Главнокомандующий всех войск великой России – один на один сидел через стол от Воротынцева, доступный убеждению, без помех от советчиков, жадный к его единственным новостям! Во всю военную службу Воротынцева такого соотношения никогда не бывало – и никогда не будет! Это был миг, чрезмерный для повторения: разумному боевому офицеру повлиять на ход всей военной машины! Очевидно, к этому вершинному

мигу и вела вся его предыдущая служба. Мысли его были собраны, нацелены, напряжены, он мертво проспал две ночи с захватом прошлого дня, тело ещё ломило, горело, а голова ясная. От счастливого начала беседы ещё утроилась его сообразительность.

И он начал говорить свободным потоком, нисколько не робея перед августейшим собеседником (да и никогда ни перед кем). Сжато, плотно он передавал, как армейская операция была не подготовлена; как погонялась и дёргалась; как представлялась Самсонову и как шла на самом деле; что, очевидно, делали немцы; какие главные возможности были упущены и какие свершились. Все дни окружения и потом среди вышедших Воротынцев собирал и спрашивал, сколько успевал, – и всё это насочилось в ту ясную схему, с которой он девять дней назад ещё такой лёгкий вошёл к Самсонову. Но и больше, и выше этого смысла Воротынцев внёс в вагон, в кабинет, – он то сожигающее дыхание битвы внёс, какого набрался в переклоненьях боя под Уздау и в безнадежной защите Найденбурга с ротами эстляндцев. Он внёс сюда ту страсть, которая не воспламеняется от одной убежденности и правоты, но от собственного перестрадания. Он с тем зрением говорил, какого быть не могло, кто не повидал мальчишеской радости Ярослава ко встреченным русским:

– А вы – не окружены?? А сзади вас там, дальше, – свои? -  
и Арсения, дохнувшего мехом кузнечным:

– Дальше-то – Расея? Ух, ба-атюшки, а мы думали ног не вытянем, – и, как осевши пустым мешком, воткнул он в землю теперь ненужный скотобойный нож.

Всё, что Верховный же и возбудил своим отдалённым мановением, не видя, не ощущая, – то Воротынцев прикатил ему обратно шаром чугуном и поставил до полгруды.

Сейчас едва ли не каждый полк он брался расписать по батальонам, кого какая постигла судьба, – и арьергардные жертвы и группы вышедших, кого знал. Артиллерия вся погибла и не меньше тысяч семидесяти осталось в кольце, но тому ещё удивляться надо, что вышло тысяч от десяти до пятнадцати, без генеральского руководства.

И ничего этого Верховный ещё не знает? Ни о чём этом не донёс ему штаб Северо-Западного?

Худое, аристократическое лицо Верховного с гравированными чертами обострилось как в охоте. Он почти не перебивал, не переспрашивал (да Воротынцев гладко и лил, без трещин), несколько раз хватал механическое перо, но так ничего и не записал. Он кусал и курил сигару в азарте, как будто это она, ещё длинная, не допускала его добраться до всей правды. Он мало сказать сочувствовал – он втягивался, сам превращался в несчастного участника несчастного этого сражения.

И Воротынцев рос надеждой, что не зря, не балаболкой он туда скакал, в это пекло, и болтался там неприкаянно, – что сейчас окупится, сейчас он подымет тяжёлую длань великого князя и опустит на все эти деревянные лбы. Воротынцев и всегда был свободен от избытка почтительности, а тем более теперь. О корпусных командирах он говорил как о дурных взводных, которых и сам-то мог отлучить.

И вдруг на Артамонове, кем возмущался злее всего, почувствовал в глазах Верховного – сопротивление, холодок. И при всей непохожести лиц вспомнил стенку глаз Артамонова.

Да, история с приказом непонятная. Но мог напугать и младший офицер.

Имел слабость великий князь привыкать к сослуживцам. Не сходно с Государем, с застенчивой улыбкой задвигавшим в опалу любого вчерашнего фаворита, великий князь гордился рыцарской верностью: он всегда защищал тех, кого однажды полюбил.

Даже если – долдона...

Для зримости, для ошупи Воротынцев перечислял все славные полки, обманом сокрушённые под Уздау, среди них – Енисейский, с которым великий князь недавно шагал на петергофском параде!... И услышал:

– Конечно. Будет строжайшее расследование. Но – храбрый генерал. И верующий человек.

И куда живой интерес? и куда готовность сомыслить? – всё восклубилось, воскурилось в достойную великокняжескую величавость.

И замолчал Воротынцев. Если даже приказ отступить от Уздау – безделица. Если воротить солдат, после часов обстрела самих поднявшихся в атаку, и полноценному корпусу отвалиться на 40 вёрст, и погубить армию – и всё это не предательство, и за это не рвать генеральских погонов, не ссекать головы, – зачем тогда армию эту обмундировывать? Зачем начинать войну?

Да вагон Верховного должен был вздыбиться от рассказа Воротынцева! да весь неподвижный поезд его – тряхнуться и сойти с рельсов! Но – непокачливо стоял, и недопитый чай в стакане нисколько не колебался.

Длань Верховного не поднялась для расправы и для наставы. А разгон Воротынцева с размаха прошёл в пустоту. Он разогнался, накопляя инерцию сдвинуть тяжёлое большое, всем телом веря, как сейчас толкнёт, – а тяжёлое оказалось ещё и гладким, и выставленные руки скользнули по закруглённой поверхности.

Он посягнул толкать – не поддающееся толчку.

Как быстро, много говорил – и хватало дыхания. А сейчас потребовалось отдышаться.

Но и Верховный сидел угнетённо, свеся плечи, длинные руки, потеряв военную статью.

– Я благодарю вас, полковник. Ваш доклад не будет забыт. Завтра сюда приедет генерал Жилинский, мы в оперативном отделе устроим разбор. И вы – будете присутствовать. Доложите.

Надежда расправлялась. Воротынцев близко через стол смотрел на худого постаревшего голубоглазого полководца с лицом, удлинённым до лошадиности. Может быть, завтра всё просветится? приобретёт ход? В конце концов, не в Артамонове дело. Дело – в уроках.

Великий князь сделал движенье-другое, что аудиенция кончена. Воротынцев поднялся, спросил разрешенья идти. Он сидел больше полутора часов, сам не заметил.

Кривая черта горя так и рубцевалась у крупного рта Николая Николаевича. И Воротынцев мог считать свой доклад небесполезным.

Тут постучали. Адьютант Дерфельден с поспешностью внёс запечатанную телеграмму. С высоты конногвардейского роста благоговейно приклонился, подавая:

– От Государя!

И, пятясь, отступал.

Верховный поднялся, читал стоя.

А Воротынцева покинула ясность, он забыл, что нет ему права присутствовать при чтении высочайшей телеграммы. Он сбился, ему что-то недоговорено казалось.

И в уменьшенном дневном свете (всё пасмурнело на улице) увидел, как засветлело, успокоилось и помолодело рыцарское лицо великого князя, и сгладился, весь ушёл тот кривой рубец горя, который только что выдолбил своим рассказом Воротынцев.

Верховный протянул вслед Дерфельдену свою предлинную руку:

– Ротмистр! Позовите ко мне протопресвитера, он только что прошёл мимо.

Вся статья, вся выправка ещё пружинили в этом сильном жилистом воине. Он торжественно стоял перед портретом Государя, полномочиим небес властителя России.

Воротынцев приходился великому князю вполголовы. Ещё раз козырнул о разрешеньи идти. Но торжественно ответил тот, с ударением на избранных словах и уже весь заблестывая:

– Нет, полковник, раз уж вы здесь, вы заслужили после вашего тяжкого рассказа первый получить и бальзам. Послушайте, какая поддержка нам! Как милостиво отвечает Государь на моё донесение о катастрофе!

И он прочёл освобождённым голосом, любуясь каждым словом текста более, чем если бы составил сам:

– “Дорогой Николаша! Вместе с тобой глубоко скорблю о гибели доблестных русских воинов. Но подчинимся Божьей воле. Претерпевый до конца спасен будет. Твой Ника”... Претерпевый до конца – спасен будет! – зачарованно повторял военный, стройный, вытянутый, как к докладу, выговаривая по-церковному: спасен, не спасён, и ещё что-то

новое высматривая, выслушивая в этих фразах.

Постучал и вошёл протопресвитер с умным, мягким лицом.

– Слушайте, отец Георгий! Слушайте, как добр Государь, какую радость он нам посылает! “Дорогой Николаша! Вместе с тобой глубоко скорблю о гибели доблестных русских воинов! Но подчинимся Божьей воле! Претерпевый до конца спасен будет! Твой Ника!”

Протопресвитер с наиуместным выражением принял услышанное, перекрестился на образ.

– И ещё отдельно: сообщается нам, что повелел Государь немедленно перевезти в Ставку из Троице-Сергиевской лавры икону “Явление Божией Матери преподобному Сергию”. Какая радость!

– Это – славная весть, ваше императорское высочество! – подтвердил протопресвитер достойным наклоном. – Сия нерядовая икона написана на доске гробницы преподобного Сергия. Она третий век сопровождает наши войска в походах. Она была с царём Алексеем Михайловичем в его литовском походе. И с Петром Великим при Полтаве. И с Александром Благословенным в европейском походе. И... при Ставке главнокомандующего в японскую войну.

– Какая радость! Это – знаменье милости Божьей! – длинными шагами, два-два по кабинету, нервно ходил всколыханный Верховный. – От иконы придёт нам содействие Божьей Матери!

\*\*\*\*\*

## МОЛИТВОЙ КВАШНИ НЕ ЗАМЕСИШЬ

\*\*\*\*\*

## ДОКУМЕНТЫ – 9

(Германская листовка с аэроплана)

**РУССКИЕ СОЛДАТЫ!**

**ОТ ВАС ВСЁ СКРЫВАЮТ.**

**ВТОРАЯ РУССКАЯ АРМИЯ РАЗБИТА!**

**... 300 пушек, весь обоз, 93 тысячи человек взяты в плен...**

**Военнопленные очень довольны обращением и не желают вернуться в Россию, им у нас очень хорошо живётся.**

**Бельгия разбита. Под Парижем стоят наши войска...**

## 81

Так быстро сдвинулось в осень – не верилось, что ещё третьего дня пылало лето и тяготила плечи шинель. А сейчас в ней было как раз. По сосновому чищенному лесу свободно носился осенний ветер, с перемененно-хмурого неба порой срывался мелкий дождь. Хорошо, что ползать по болотам досталось не в такую погоду.

Оба полковника – Воротынцев и Свечин, приподняли воротники шинелей, засунули по руке в карман, за полу и так ходили, полувольно, между сосен, меж их безветвенных высоких голоменей, тревожимых ветром только в ветвистых вершинах.

– Нет! – проходящими полными сутками, да уже четвёртые сутки от прорыва, не мог успокоиться, подвижно водил здоровым плечом Воротынцев. – Высказать один раз, но всё,



что думаешь, – это наслаждение! Это – долг! Один раз высказаться от души, а там хоть помереть.

Голова Свечина вся по-крупному была сделана, что уши, что нос, что рот. Глаза – яркие, чёрные, для страсти. А сам – невозмутим, неубеждаем:

– **Всего**, что думаешь, – всё равно не скажешь. Неужели ты не понимаешь, что Жилинский не мог бы так отчаянно действовать сам? Вся операция была скомандована сверху – и ты не можешь притвориться, что не знаешь...

– Могу и не знать!

– И если гнали так безумно, ещё не готовых, и не давали днёвок, и не давали осмотреться, – то это гнал по меньшей мере великий князь. Но – и выше. Что ж ты думаешь, весь этот спех и просчёты – только от тупости Жилинского и Данилова? Да несомненно было высочайше одобрено: а ну, швырните неготовые корпуса! Русская широта – помочь благородным союзникам, не жалея самих себя. Париж стоит мессы. Да иначе о нас в Европе плохо подумают. Так с чем же ты споришь?

– Нет! **Этой** мессы для меня Париж не стоит! – вскидывались подвижные глаза Воротынцева и выразительно горько подрагивали губы, открытые под усами.

– Десятки тысяч наших пленных поведут по немецким городам – и немецкие толпы будут ликовать. Этой мессы я не даю, я так не служу! Никогда в истории такое не вознаграждается. Как можно так класть своих расчёту?

Свечин чуть выпыхивал толстыми губами:

– Значит, все будут понимать, о ком и о чём речь, а ты будешь громить Жилинского. Тоже, конечно, фигура не малая. Но не далеко ты разгонишься. Великий князь отлично поймёт намёк. Он-то и тянулся понравиться союзникам, он-то и восклицал, что не оставит Францию.

– Гнал – великий князь, понимаю. Но реальные ошибки делал не он, а Жилинский. Ни ума, ни сочувствия к войскам! Положим все животы, кроме собственных. Мне нужно разгромить саму идею, для этого достаточно Жилинского. И Артамонова. Оттого что этот баран продвинулся от женитьбы на Бобриковой – так пусть ложится 40 тысяч русских?

– Но приказ великого князя был, если ты помнишь, – хладнокровно отводил Свечин, – переступить границу 1 августа. А Жилинский просил отсрочить. Он и сам считал наступление обречённым.

– Так нельзя вести такое! – взгорелись светло-серые глаза Воротынцева. – Так надо иметь мужество – доложить! отказаться!

– Ну, много ты... ну, много ты... – едва не смеялся Свечин.

Вчера к вечеру, после Верховного, Воротынцев сделал доклад Янушкевичу и Данилову, но самый поверхностный, да они подробного и не добивались, им бы желательно и совсем никакого: мёртвые и пленные не докладывают. А потом уже до ночи выговаривался Свечину, и Свечин ему тоже добавлял, что видно из Ставки. И сегодня с утра, в последние минуты перед совещанием, шло у них опять о том же.

– А дурацкую блокаду пустого Кенигсберга – кто придумал? Жилинский. На что ушла Первая армия! Даже в этих пределах насколько можно было успеть иначе! Про великого князя я понимаю, да. И Артамоновым его не пронять. Но всё-таки он воин в душе. Не может он не возмутиться тем, что наделали в подробностях.

В оперативном отделении да и во всей генерал-квартирмейстерской части, да и во всей Ставке был Свечин для Воротынцева единственный доверенный человек, как и он для Свечина. А дроблёное доверие – не доверие, уж если доверять, то без перегородок.

– Августейший Дылда, – отпустил Свечин. – И откуда это у всех убеждение, что он может всё понять, в руки взять и всё спасти? Оттого, что всю Россию объезжал и строго установил конницу? Ну, конечно, рост, вид, голос... А в голове – своего ничего, куда подует...

– Ну, Янушкевича, бархатную тряпку! – ни на одной войне никогда, ни взводом! Ну, тупицу-гения Данилова, как их не промести? Кем Ставку набили? – со страданием

вскрикивал Воротынцев. – С кем начинаем войну?

Однако всю нетерпеливой, больной горячностью Воротынцева Свечин был несколько не увлечён и не сбит.

– И никак великому князю не выгодно такое разоблачение, потому что оно перекинется на него. И когда ты видел у нас, чтобы кто-то кого-то снизу вверх переубедил горячей речью? По частным поводам может иметь успех дельный аргумент, дельная бумажка, – но в общем виде? Чтобы всё сразу перетрясти и всех пронять? Да ни за что. Это – омут. Дегтярный. Даже круги не пойдут. Смотри, Егорий, через час делаешь жизненный выбор. Неизбежно тебе выступить, конечно, но выступление может быть разное.

– Наверно, ты прав, Андреич, – с той же больной улыбкой неуступки на похудевшем, обострённо-оживлённом лице, с тёмно-багровым пятном сквозь бороду, отвечал Воротынцев. – Да только если б ты сейчас всё испытал сам, то... Со всем благоразумием, и твоим и моим вместе... Нет, это состояние бывает, наверно, в жизни раз или два. Ничего не хочу, хочу только правду им вылепить! Я на прорыве дал себе клятву, что если только выйду живым...

– Ну, и сам себя только погубишь.

– А что – меня? – криво усмехнулся Воротынцев. Ещё виделся ему так легко утешенный великий князь. – Претерпевый до конца – спасен будет!... Дальше полка не сошлют. А полком я неплохо командовал.

Свечин был на два года моложе, но по характеру его, но по рассудительности никак бы этого не заметить:

– Да. Если б над каждым твоим шагом не было главномешающих. А будут тебе присылать дурацкие приказы – и ты будешь выполнять и платить солдатами. И телеграммой полковнику Свечину будешь умолять: братец, выручи, защити! Нет, Егорий, делают – делатели, а не мятежники. Незаметно, тихо – а делают. Вот я за день исправлю хоть два глупых приказа в лучшую сторону, в одном месте оправдаю храброго командира полка, в другом – отведу сапёрный батальон от ненужной смерти, и я прожил день не зря. А сидишь рядом ты – ещё два приказа исправишь, уже четыре! Бессмысленно с властями воевать, надо их аккуратно направлять. Нигде ты не можешь быть полезней, чем здесь. Тебе так невероятно повезло – один комментарий при разборе манёвров, великий князь запомнил навсегда, и вот ты в Ставке, а выгонят – сюда уже больше не подынешься.

Да, так устанавливается личная симпатическая связь. Воротынцев со взгляда запомнился, полюбился великому князю – но и сам не забывал теперь своей благодарности к нему. Во всей этой истории он хотел бы отъединять великого князя от дегтярного омота.

А трезвому насмешливому Свечину всё было бесспорно ясно:

– Ну вот, напросился, ездил, – и зачем ты ездил? Много исправил? Очень это было нужно?

– Затем и ездил. Чтоб не пропало, – смутно отговаривался Воротынцев.

Действительно, рвался ехать – казалось так верно, а сейчас отсюда оправдать поездку было совершенно нечем.

– Ты б убедил меня, Андреич, и я бы смолчал, если б это был чисто военный вопрос, ошибки тактики. Да, можно было бы подправить в других местах, на других делах. Но это – уже не военный вопрос, понимаешь? Это – чувство у них такое, – и его терпеть нельзя. Я потому и кинулся в операцию, что думал – судьба армии и победа решается в низах, на деле. Но когда на верхах так чувствуют – это уже за пределами тактики и стратегии. Претерпевый до конца! Они берутся претерпеть все наши страдания – и до конца! – и даже не выезжая на передовые позиции. Они готовы претерпеть ещё три-четыре-пять таких окружений, и тогда Господь их спасёт!

Он – не выговаривал до последнего. Ни для Свечина, ни даже для себя. Но не прощал он – самому царю, да! Вот этого лёгкого самоутешения – не прощал.

– Всё равно ничему не поможешь, – как сквозь зубы насвистывал неуклонный Свечин. – Всё останется так же, а ты голову разобьёшь. Вообще, мятеж, погорячу, часто кажется

самым прямым и правдивым выходом. А проходит время – и оказывается, что терпеливая линия была верней. Я тебе дело говорю. Сиди не лихо, работай тихо.

– Нет, уже не могу я тихо сидеть! – несколько не охлаждался Воротынцев. – Вот – стрела в груди, как её не вытянуть?...

Остановился, приобернулся, придержал Свечина за грудь, за португею на груди:

– И даже знаешь... Вот знаешь?... Тебе дико покажется, скажу. Я там ночью ходил на полянке часовым, под звёздами, моя команда спала. И вдруг стал – как не понимать: а почему мы здесь? Не на полянке этой, не в окружении здесь, а... вообще на этой войне?...

– Как это?

– Вот, вдруг тоскливое ощущение всех нас – не на месте... Заблудились. Не то делаем.

Подвышенное под кителем раненое плечо его поднялось как дня жалобы.

– Я сам себя понять не мог: какое такое голове... разломье? Потом думал так: мы всю жизнь учимся как будто только воевать, а на самом деле не просто же воевать, а как верней послужить России? Приходит война – мы принимаем её как жребий, только б знания применить, кидаемся. Но выгода России может не совпадать с честью нашего мундира. Ну подумай, ведь последняя неизбежная и всем понятная война была – Крымская. А с тех пор... У тебя никогда так?

– Как же мы можем послужить, если не войной?

– Вот я и задумался! Одной силой стоящей армии! – вот как. И я вспомнил Столыпина...

Ну, это уже до бессвязности. Свечин поморщил выкатистый лоб и возвратил друга на землю:

– Втянули бы нас. Напали бы, как сейчас напали. Да и напали за мобилизацию. Это надо бы уступать и уступать, и всё равно Германии не насытишь.

– Несколько не уступать!

– Ну да!... Это ты забредил. Тебя просто самсоновская битва трахнула. Но вся она в истории этой войны будет, поверь, не больше чем эпизод. А у них – уже и сейчас не твоей Пруссией и не твоим Самсоновым головы заняты. Они все сейчас только ждут телеграммы о взятии Львова. Хотя, – вёл и вёл с безулыбчивой рассудительностью, и черно-яркие глаза его глядели жутковато, – знают, что Русский, растяпа, пошёл безопасно южнее города, выпуская из клещей 600 тысяч австрийцев, две армии, Ауфенберга и Данкля, не уничтожает, а вежливо выталкивает, тоже доктрина... И этим Львовом прикроют всю твою самсоновскую, и будут ордена получать. И зазвонят по всей Руси колокола в праздник нашей глупости, что схватили пустой город.

Но никакого австрийского фронта, ничего кроме кольца под Найденбургом не доступен был понять Воротынцев и только накалялся:

– Так тем более! Я им сейчас сказану!

– Ну, боюсь за тебя, – крутил большой головой Свечин. – Ты на совещании хоть на меня поглядывай – и оседай. Пойми: сегодня решается вся твоя служба, сведёшь её в ничто и сам будешь не рад.

Они уже возвращались, выходили на край леса, к посёлку и поездам. (Ставка была поставлена на колёса и в лес, чтоб соответствовать серьёзности военной обстановки, жили в вагонах, работали в сарайных домиках). Было без пяти десять, сходились и другие офицеры к домику генерал-квартирмейстерской части.

А тут, по крайней тропке, обходя места высокого начальства, спешил писарь, хлопотливый селезень, а за ним, с прямизною не военной, не воспитанной, прирождённой, на два шага писаря делая свой один, шагал Арсений Благодарёв. Как все ноши с плеч покидав, с грудью опять выставленной, свободно он на ходу помахивал руками, свободно оборачивался направо и налево, сколько ему нужно, не стеснён высокою Ставкой, ни близостью великих князей.

И напряжение, и раздражение Воротынцева вдруг как смыло. Он выставил пальцы, задерживая писаря.

Озабоченный сообразительный писарь, козыряя не до самого виска и не вполне отброшенным локтем (тут-то, в Ставке, они знали, кто почём), сам первый, не дожидаясь вопроса, доложил:

– Вот, всё выписываем, ваше выкбродие, направление, довольствие.

– У-гм, – отпустил его Воротынцев, а сам с любовью смотрел на Арсения.

Двух полковников, своего и чужого, приветствовал Благодарёв хорошо отведенным локтем, хорошо поставленной головой, – но не едя глазами, не выслуживаясь, а как бы в игру.

– Так что, Арсений, значит, в артилерию?

– Да уж в артилерию, – снисходительно улыбался Арсений.

– Ну, разве не гренадер? – пятернёй сильно ударяя Арсения в грудь и любуясь, спросил Воротынцев у Свечина. – Поедешь в гренадерскую артиллерийскую бригаду, я уговорился.

– Ну-к, что ж, – хмыкнул Благодарёв, перекатил языком под щекою. Да спохватился, не так же надо, это не там. – Премного благодарны! – лишний раз отдал честь и опять чуть посмеивался, отвисая большой нижней губой.

Таким не окружение его сделало, таким застал его Воротынцев и под Уздау, он и тогда не к своему полковнику, но и ко всякому офицеру так умел: безошибочно употреблял все военные выражения, уверенно чувствовалось, что за их черту не перейдёт, а тон – переходил, из службы отчасти в игру. Ничему не ученый, Арсений держался, будто знал больше всех военных наук.

– А то смотри, у меня вот будет полк – ко мне в полк не хочешь?

– Пя-хота? – опустил губу Арсений.

– Пехота.

Благодарён сделал вид, что думает.

– Не-е-е, – пропел, – всё ж не хочу. – Но тут же деланно спохватился: – А как прикажете!

Воротынцев засмеялся, как смеются на детей. Положил здоровую руку ему на плечо, это высокогато получилось – на его погон, уже не мятый, подглаженный, с подложенной картонкой:

– Никак я тебе больше никогда не прикажу, Арсений. Не сердись, что я тебя из Выборгского узвал? В мешок таскал?

– Да не, – тихо, просто, как своему деревенскому, сказал Арсений. Носом шмыгнул.

То из окружения вырывались, некогда было. То отсыпались. А теперь каждому надо было спешить по своей службе, да и погоны слишком разные для разговора. А – миновалось что-то.

И горло Воротынцева сжало, надо было проглотнуть.

И Арсений с расшлёпанным картошистым носом перекатывал во рту языком, как если б тот был большой слишком.

– Ну, знаешь... гора с горой... Ещё может когда... Служи хорошо... До полковника дослуживайся... Обоим смешно.

– ... И домой возвращайся целым.

– Так же и вам!

Воротынцев снял фуражку. Спыхватился и Арсений сорвать свою. Холодный ветер обевал их. Мелко моросило.

Поцеловались. В губы пришлось.

Крепкие лапы были у Арсения.

И Воротынцев быстро пошёл нагонять Свечина.

А Благодарёв – недовольного писаря-селезня.

сесть. Да в генерал-квартирмейстерской части и было два десятка – а сейчас собралось больше трёх.

Два небольших стола были составлены углом. С одного торца – Верховный, выше всех здесь, даже когда сидел. Рядом – всегда неотлучный его родной брат великий князь Пётр Николаевич, с прилежным вниманием (хотя все знали, что войной он нисколько не занят, а – церковным зодчеством уже несколько лет). Рядом – их двоюродный брат принц Пётр Ольденбургский (вспыльчивый очень, “сумбур-паша”). Дальше – светлейший князь генерал-адъютант Дмитрий Голицын (последние годы заведывавший царской охотой). Дальше – генерал для поручений Петрово-Соловово (милейший предводитель рязанского дворянства). Начальник штаба Верховного генерал-лейтенант Янушкевич, с угодственно-приятным хитроватым лицом и проворными руками над бумагами. Генерал-квартирмейстер генерал-лейтенант Данилов-“чёрный”, с прямоугольным лбом, широкими салазками нижней челюсти и твёрдым непоколебимым взглядом. “Дежурный генерал” Ставки, заведующий личными назначениями и наградами. Прямо против Верховного, у другой стены, на изломе столов – главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал-от-кавалерии Жилинский, за 60, с жёлтым чёрствым лицом и холодной презрительной манерой. Да начальник дипломатической части Ставки. Да начальник морской части. Да начальник военных сообщений.

А кому не осталось места за столами – чины оперативного отделения, да дежурный адъютант Верховного, да калмыцкий князь, адъютант Янушкевича, да адъютант Жилинского, – те просто сидели на стульях, у окна, у печи, и писали на коленях, кому надо.

Печь протопили с утра, и тепло её не было лишним. Стёкла всё больше забрызгивало холодным дождём. Безнадёжно было мрачно за окном, хоть лампочки включай.

Тесно было вставать и уговорились выступать сидя. Да так выглядело и деловой, обменяться замечаниями, нет повода выступать с речами.

По приглашению великого князя начал Жилинский. Он не поднимал полностью серых век, не нуждаясь видеть всех присутствующих здесь, а лишь слегка некоторых. Он смотрел или к себе в бумагу или на великого князя, редко добавлял своей голове с седым хохолком сектор осмотра. И говорил, как всегда, не форсируя своих слов чувством. Он и не допускал, чтобы кто-то здесь мог увидеть в нём обвиняемого. Он наставительно и неприветливо потрескивал голосом, как равный Верховному, призванный на равный разбор одного неприятного, но не такого уж крупного происшествия.

Прискорбная неудача, постигшая Вторую армию, была целиком виною покойного генерала Самсонова. Начать с того, что Самсонов не выполнил основной директивы фронта о направлении наступления. (Об этом подробно). Самовольно уклоняясь от заданной линии, он недопустимо растянул фронт своей армии, удлинил марши корпусов, а значит и пути снабжения. Хуже того: он создал зазор между Первой и Второй армиями, расстроил их взаимодействие. В отличие от пунктуального генерала Ренненкампа, Самсонов самоуправничал и в отношении многих других приказов. (Подробно – каких). Непостижимым для здравого смысла является приказ Самсонова с 14 на 15 августа центральным корпусам продолжать наступать, когда было уже ему известно, что фланговые отошли. Эта грубая ошибка армейского приказа ещё усугублена опрометчивым распоряжением Самсонова снять телеграфный аппарат в Найденбурге и так лишить штаб фронта возможности помешать разгрому армии. А как только штаб фронта, с некоторым опозданием, разобрался в положении дел, он тотчас же разослал всем корпусам телеграммы отходить на исходную линию – и лишь по вине генерала Самсонова центральные корпуса не смогли этой телеграммы получить.

Главнокомандующий фронтом даже не усилил рипучего голоса на обвинительных местах, и тем несомненной представилась собравшимся вся простота события: прямая грубая вина покойного командующего. Но тем меньше изъяна и беспокойства сидящим здесь.

Никто не возражал, не шептался, не кашлял. Только мухи, оживлённые топкою, набившись в комнату, чернели на белёной печной трубе, на потолке, жужжали.

Воротынцева крутило и жгло. Во всей России, во всей воюющей Европе никто ему не был так ненавистен сейчас, как этот Живой Труп. Он ненавидел его сухой голос, его землистое лицо, приукрашенное искусственными усами, долгими за щеки и для значительности изогнутыми, его никем не опровергнутую манеру держаться так свысока. Не за одно сегодняшнее ненавидел он этого гробокопателя, но звено за звеном соединились в цепь на шею русской армии, на погибель ей – все его тупости, промахи и недогляды ещё за бытность начальником генерального штаба. Вот он обдуманно изъяснял, не опасаясь опровержения, инотолкования, да даже и взыскания, да даже снятия с поста: ему, конечно, тотчас приготовится другой пост, приятнейший. Ведь он выполнил главный долг – перед союзной Францией, перед генералом Жоффром. В крайнем случае он поедет в Париж принимать цветы от дам и завтракать у президента.

Но нет, и слушателей своих оставлял генерал Жилинский не без надежды. Вопреки боязливому Самсонову он вынашивал смелые замыслы. А именно: теперь же **повторить** комбинированные действия Первой и Второй армии вокруг Мазурских озёр! Для этого Ренненкампф уже стоит отлично, углубясь в Пруссию, и остаётся только дополнить Вторую армию, доформировать некоторые корпуса и направить Шейдемана по направлению, избранному ещё до начала военных действий.

Великий князь сидел так прямо, так возвышенно, будто каждую минуту ждал исполнения национального гимна.

Хотя, кажется, всё важное было исчерпано, но теперь естественно требовалось выступить генералу Данилову: нельзя же было не выступить главному, как все тут понимали, стратегу русской армии. А при его положении надо было и не просто выступить, а выказать глубокую мысль, дать понять, что черед заботных дум не устаёт проплывать за его лбом (а лоб-то был туп! а черед тянущая! а мысли дохлые!), – и именно потому с трегубой самоуверенностью малоподвижных умов стал говорить генерал-квартирмейстер особо непрекаемо.

Да, вполне можно согласиться с тем, что обрисовал здесь главнокомандующий фронтом. (И подробно ещё раз – с чем именно). Но и важные добавления необходимо сделать. Бели бы корпуса Второй армии пересекли германскую границу ещё раньше, как было Самсонову приказано, а он осуществил с замедлением; и если бы он нанёс удар во фланг противнику у Мазурских озёр, как было указано, а не ожидал, пока тот развернётся к Самсонову фронтом, – то был бы несомненно достигнут успех над растерянным неприятелем, и мы сегодня торжествовали бы крупную победу. Также немалую роль сыграла и усталость корпусов Второй армии – и в вину генералу Самсонову необходимо поставить, что он пренебрегал нормальными днёвками, как их предусматривает боевой устав; пехоты. Можно выдвинуть и много упрёков меньшего значения.

А ещё важнее сказанного была та важность, тупеющая сама от себя, с которой генерал-квартирмейстер замолчал. Уж так неизобретательно было его лицо, уж такая прямоугольность, такая неживость, такие глаза неподвижные, такие уши прижатенькие, бесфигурные, ну разве что усы веретенком натянуты, да лишние, – а вот вид! Генерал-квартирмейстер как бы остановил себя перед глубокой тайной, которую здесь не мог высказать, ибо слишком было широко совещание. Это жертвенность была: ту тайну и всю сложность науки он взваливал на свои одинокие плечи, чтобы потом, как специалист, разобраться во всём. Ибо он один был замок и ключ всей стратегии: офицеры ниже его не могли иметь ни его осведомлённости, ни его способностей, а выше был – беспомощный, но дельный Янушкевич, да горячий, неработоспособный великий князь.

И вот естественно подступил черёд выступать начальнику штаба Верховного. Ах, как хотел бы он тот черёд пропустить, темноглазый пушистоусый Янушкевич, с лицом отечным, манерой вкрадчивой и большой нежностью к бумагам и папкам (а вероятно и к женщинам). Добросердечным Государем в добрую минуту назначенный на этот пост, обходительный Янушкевич со сжатием сердца, как Красная Шапочка в тёмном лесу, чувствовал себя в стратегии, в оперативном искусстве. Но сладко было и занять такой высокий пост,

опять-таки сжималось сердце, уже радостно, и как было огорчить голубоглазого, тоже стеснительного, Государя и признаться, что этого всего не понимаешь? Ехал ли Янушкевич в карете, шёл ли паркетными пространствами петербургских дворцов, он представлял себя со стороны и с ужасом и восторгом повторял: начальник российского Генерального штаба генерал-лейтенант Янушкевич! Всего четыре месяца он там побыл, и главное усилие его оказалось – не дать этой войне не начаться, и на том он предполагал остаться в стороне от грозного хода событий, но военный министр Сухомлинов, неисправимый оптимист, продвинул его на должность начальника штаба Верховного – и как было решиться отказаться от несомненной карьеры? Однако здесь с первого же дня оказался Янушкевич в плену у Данилова, который один тут что-то ведал и знал, и тоном своим непрестанно укорял Янушкевича, зачем не Данилов начальник штаба? Одно-то верно смекнул Янушкевич, что в русской армии были стратеги посильней Данилова, – но и Данилов был избранник Сухомлинова, а наедине признав его авторитет, пообещав выхлопывать ему все те же чины и ордена, что будет получать сам, – пожалуй, выгодней было оставить Данилова. Как две лодки, друг с другом связанные, только вместе могли они переплыть эту войну: Янушкевич правил часть распорядительную, а Данилов – стратегическую.

Но сколько мук ежеутренних, что не миновать вести стратегические разговоры и строить понимающий вид. Но какое усилие вот сейчас – подняться и держаться важно, чтоб никто не заметил, как ты сам боишься поскользнуться, как тоскливо и всё непонятно тебе самому! И что сказать против полного генерала Жилинского, формально подчинённого тебе, а на самом деле – предшественника по генштабу, когда ты – и в генерал-лейтенантах выскочка, обгоняя сроки и старшинство?

Фразами обкатанными, тоном вежливым, Янушкевич повторял и повторял всё сказанное до него, ничего не добавив, ничего не пропустя, лишь переставляя местами.

И всё ясней становилось совещанию, как глубоко был порочен покойный командующий, погубивший свою Вторую армию. Но, к облегчению, он сам себя убрал. А другие генералы никогда не могли бы совершить подобных ошибок. И потому совещание теряло, собственно, остроту. Вот всё было начисто исчерпано и покрыто.

На листке бумаги, на планшетке, нервным карандашом Воротынцев давно уже записал все их выволны – и как по ним можно ударить. А выше, чёрными чернилами японского механического пера, ровней и строже, были записаны ночью его главные тезисы. Янушкевича он уже не записывал, почти и не слышал, он веки смежал, чтоб не видеть их всех, а представлялось ему беззащитно-открытое лицо Самсонова – не сейчас, в безвестной лесной чаще, где он лежал, и даже не в Орлау, где он прощался с войсками, а ещё в Остроленке, ещё в полноте прав, ещё властный не проиграть сражения, но уже тогда беззащитность была разлита по его лицу. И представлялся Воротынцеву кабаньих напор через заросли, кабаньих оскал Качкина с Офросимовым на плече. И отвал Благодарёва, как сто десятин вспаханного и вот последним толчком вонзающего в землю лемех ножа.

И Воротынцева срывало со стула – встать и заговорить без дозволения. Но Свечин по соседству осторожно сжимал ему локоть. А Верховный – не смотрел на него.

Узкую кавалерийскую ногу забросив за ногу, никогда не сгорбленный, неприступный, с чуть подброшенными кончиками усов, великий князь если смотрел на кого-нибудь, то, через весь стол, – на жёлто-серое лицо Жилинского с глупо приподнятыми бровями. Ещё недавно он сам давал Жилинскому право сменить Самсонова, если надо. Но вчера и сегодня стало проясняться ему, что Жилинский – как бы не главный виновник катастрофы, и снять его сейчас было бы вернейшим проявлением власти Верховного, лучший урок для генералов. Однако был бы этот поступок очертя: Жилинскому его пост и низок, он сам будет рад освободиться. Он тотчас кинется в Петербург шептать свои жалобы в сферах и шушукаться с Сухомлиновым. И в кишеньки придворных партий всё будет обращено против Николая Николаевича: пойдёт война неудачно – он бездарен, не способен к Верховному Главнокомандованию; пойдёт война удачно – он честолюбив, он грозен для царской семьи.

Видит Бог, жалко ему цвет офицерства, жалко затруженных солдат, понесших

страстные муки в окружении. Но даже и 90 тысяч окружённых и 20 тысяч убитыми – ещё не Россия, Россия – 170 миллионов. И чтобы всю её спасти, надо выиграть не одну-две битвы на фронте, а прежде их – крупнейшую придворную битву за сердце Государя: убрать нечистоплотного Сухомлинова, отлучить от Двора грязного Распутина, ослабить императрицу. В предвидении того всего нельзя сейчас усиливать их партию озлобленным Жилинским. Из преданности Большой России должен сегодня великий князь подавить в себе сочувствие к маленькой России, к этой всё равно уже погибшей самсоновской армии.

А вот потрепать Жилинского, напугать, напустить на него Воротынцева – надо! О Воротынцеве всё время помнил великий князь и не выпускал из угла глаза, как тому не сидится.

На дворе всё пасмурнело, дождик бил по стёклам, в комнате темнело, и зажгли электрические лампочки. При белёных стенах очень стало ярко, и каждую мелочь друг во друге видно.

Начальник дипломатической части Ставки, вот кто брал теперь слово. Начальник дипломатической части просит господ генералов не забывать о высших отношениях, соображениях и обязательствах государства. Французское общество убеждено, что Россия могла бы внести большой вклад. Французское правительство сделало нам представление, что мы не выставили всех возможных сил, что наше наступление в Восточной Пруссии – слабая мера; что по данным французской разведки, противоречащим, правда, нашим данным, германцы сняли два корпуса не с Западного фронта на наш, а с нашего на Западный, и союзная Франция вправе напомнить нам об обещанном энергичном наступлении на... Берлин.

Вот этого лишь звука, последнего этого звука, как иного другого, неловкого в обществе, по этикету принято не замечать, – так и сейчас не заметили князь и генералы, кто в окно, кто на стену, кто в бумаги.

Впрочем, только этот один звук – “Берлин”, и не звучал сейчас. А правота дипломатической части, а воля Государя были ясны: во что бы то ни стало и как можно быстрее спасти французского союзника! Конечно, болит сердце о наших потерях, но важно не подвести союзников.

И начальник военных сообщений доложил, что с полным напряжением усиливается противогерманский фронт, для чего мы не останавливаемся привлекать войска с азиатских окраин. Уже сейчас к фронту подъезжают или выгрузились два кавказских корпуса, один туркестанский, два сибирских – и ещё три сибирских будут вскоре прибывать. Итак, наше новое немедленное наступление, необходимое морально, уже подготовлено и материально.

Жилинский вот почему и просит господ присутствующих дать ему санкцию на повторение операции вокруг Мазурских озёр.

Не только, вскочивши, всё потерять – службу, армию, погоны, но кожу головы содрать, она пылает! – ложь! ложь! но где-то есть пределы лжи?! И вырываясь локтем из хватки Свечина и забыв, что сегодня тут не встают, – Воротынцев поднимался бешеный, не предвидя первого слова своей ярости, – и услышал властный голос великого князя:

– Я ещё попрошу полковника Воротынцева доложить о собственных впечатлениях. Он ездил во Вторую армию.

И взрыва не произошло, свистящий пар ярости разошёлся прозрачно. И колодкой предосторожности сжало прыгающее сердце, колодкой пословицы: “господин гневу своему – господин всему!”

– Наш разбор тем более необходим, ваше императорское высочество, что армия Ренненкампафа ещё сию минуту угрожаема, и может кончить даже хуже, чем армия Самсонова.

(Слишком звонко, тише, тише, пар на выбросе).

Как выбило бы стекло, и холодный мокрый ветер оттуда бы рванул – все поёжились, зашевелились, и великий князь тоже.

Но от фразы ко фразе ровней, ровней, Воротынцев повёл речь будто тщательно



приготовленную, взвешенную в пропорциях:

– Господа! От Второй армии никто не приглашён на наше совещание, да почти уж и некого приглашать. Но эти дни я был там, и дозволено будет мне выразить, что сказали бы ныне покойные или попавшие в плен. С той прямоотой, какую воспитывали в нас и какая прощается мёртвым...

(Только б голос не сорвался, не захлебнулся!)

– ... Я не буду говорить о доблести солдат и офицеров – здесь её не подвергали сомнению. Достойны войти в хрестоматии полковые командиры Алексеев, Кабанов, Первушин, Каховской. Если тысяч более пятнадцати вышло из окружения, то благодаря нескольким полковникам, штабс-капитанам, а не командованию фронта!... Когда не было двойного превосходства немецкой артиллерии, а иногда и при нём, наши части выигрывали тактические бои. Под сильнейшим обстрелом они часами держали оборонительные линии, как Выборгский полк в Уздау. 15-й корпус под водительством блистательного генерала Мартоса – только наступал и только успешно! И несмотря на это, армейское сражение привело нас не к неудаче, как выражались тут, но к полному **разгрому** !

Этим словом он наполнил и едва не взорвал всю комнату. Ветер разрыва хлестнул по лицам.

Это слово – **разгром** , было вперекор и Верховному. **Так** он не мог признать перед Государем, хотя и намеревался повинную голову сложить перед Его Величеством. Он не мог признать – а не вмешался. Осанистый, породистый, долговытянутый, он высокомерно, гордо сидел. (Так близко рождённый к монаршему месту – а всё-таки не на нём).

– Надо сказать, мы могли этого опасаться. Русский Генеральный штаб через разведку знал заключение германского командования: в их играх русская сторона всегда наступала так, как сейчас Вторая, – и всегда немцы успешно атаковали именно левый фланг именно наревской армии. И именно так послали генерала Самсонова... Я... слышал здесь, что вся вина – на нём. А мёртвые не возражают. И нам никому тогда ни в чём не надо исправляться. Это очень удобно, но тогда, простите моё самонадеянное пророчество, такие катастрофы будут **повторяться** , и мы рискуем проиграть **всю войну** !!

Прошелестело возмущение. Жилинский поднял тусклые глаза на Верховного: этого неприличного полковника пора же оборвать, посадить.

Но Верховный, умеющий быть так резок, не шевелил запрокинутой головой. Он только показывал, что он – хозяин делу.

– ... За покойного Александра Васильевича я, впрочем, обязан возразить выступавшим. Приехав из Туркестана в Белосток, он нашёл **нелепым** готовый план, предложенное ему направление армии вглубь Мазурских озёр, в очевидную пустоту. В край крепостей и озёрных дефиле. Свои встречные оперативные соображения он изложил в докладной записке Верховному Главнокомандующему и 29 июля подал её начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту Орановскому!

(Голос уходит вверх! – ниже, ниже).

– ... Шли дни, он недоумевал: никакого отзыва на ту записку не приходило. Он просил меня непременно выяснить в Ставке, и вчера я узнал, что великий князь никогда этой записки в руках не держал!

**Живой труп** мертво оскалился на Воротынцева. Раз Верховный молчал, приходило время вмешаться самому:

– Мне ничего не известно об этой записке.

– Тем хуже, ваше высокопревосходительство! – Воротынцев как будто даже обрадовался возражению, так и повернулся к Жилинскому. – Значит, истины не выяснить без следствия! И если таковое будет, я буду просить **найти** эту бумагу!

Перетрях негодования прошёл по лицам генералов: уже всё было выяснено, о каком ещё следствии этот дерзец... Все смотрели на Верховного: надо же остановить безумного полковника!

Но закованно, высоко перед собой, выше Жилинского смотрел великий князь, с резной

красотою головы.

Несвойственно себе выходя из сухого тона, Жилинский погорячился возразить:

– Вероятно, генерал Самсонов взял бумагу обратно.

А Воротынцев как ждал:

– Нет, он не брал её обратно, это достоверно! – И бил в своё, глядя никуда иначе, ни на кого, только на Жилинского, только на Жилинского, такого занебесного из Остроленки, из Найденбурга, из Орлау, а теперь лишь руку протяни – трупно-серого, костистого старика с плохо разгибаемою спиной. – Отклонение, предложенное генералом Самсоновым и отчасти им осуществлённое, было **верно**, ибо охватывало противника **глубже**, чем предполагал штаб фронта, только ещё недостаточно глубоко! И растяжение фронта армии создано в меньшей степени от непонятного упорства фронтового главнокомандования цепляться за глухой угол Мазурских озёр.

– Это – не угол озёр, это – связь между армиями! – ещё раздражённой перебил Жилинский.

Но Воротынцев уже почувствовал немой сговор: Верховный его не перебьёт. А эти – все вместе не переговариваются. Он дорвался, он ездил не зря! Он холодел, разумнел, и даже в насмешку складывались его губы. Фразу за фразой как петли, как петли он метал на Жилинского, и набрасывал, и набрасывал:

– Это не связь между армиями, когда одну форсируют к наступлению, а другую почти располагают на отдых! Это не связь между армиями, если пять кавалерийских дивизий генерала Ренненкампа после Гумбинена не бросаются преследовать противника, а в дни катастрофы Второй армии не посланы на выручку. Штаб фронта как будто нарочно рассогласовывал действия армии и послал в наступление Первую на неделю раньше – зачем?? Или связь между армиями в том, чтобы 10 августа отобрать у Самсонова корпус Шейдемана к Ренненкампу, 14-го назначить его оттуда под Варшаву – он не нужен в Пруссии в тот день, когда решается сражение Второй армии...

Об этом откуда Воротынцев узнал? Это были уже грехи Ставки. Данилов подозрительно посмотрел на Свечина, забеспокоился:

– Это были **стратегические** соображения. Готовилась Девятая армия для берлинского направления...

– А Вторую – пусть волки гложут? – нагло отбил Воротынцев. -... 15-го августа его всё же посылают на помощь Второй, но штаб фронта даёт **корпусу неверное направление!** 16-го корпус опять назначен под Варшаву. А 17-го генерал Ренненкампф уводит его на север – и это связь между армиями? А ведь только для связи между двумя армиями и был создан Северо-Западный фронт. Генерал Самсонов был обвиняем в отсутствии решительности, но высшую нерешительность проявляло главнокомандование фронта, оставляя для страховки, на коммуникации, на “прикрытие полосы”, не отводить от Бишофсбурга, не продвигать от Сольдау – половину войск!!

В одну точку жёг и жёг Воротынцев, да не в усы ли Жилинского, так они затряслись, задымились?

– Где половина? Где же половину? – зашумели, возражали уже не только Данилов, но и тупой любимец его, полковник, **Ванька-Каин**, туда же.

– Читайте, господа: два армейских корпуса – правый и левый, да три кавалерийских дивизии, ровно половина. А другой половиной Самсонову велено наступать и одержать победу. И если фронтовое главнокомандование задержало фланги – так оно и должно было их двинуть на выручку центральным. Да, генерал Самсонов делал ошибки, но оперативные. Ошибки стратегические надо отдать штабу фронта. Самсонов не имел над противником превосходства сил, а фронт – имел, и вот сражение проиграно!... Надо же делать выводы, господа, зачем тогда наше совещание? вообще – штабы? Мы не умеем водить части крупнее полка! – вот вывод.

– Ваше императорское высочество! Я прошу прекратить бессмысленное выступление этого полковника! – потребовал Жилинский, пристукнув по столу и выказывая, что ещё

совсем он не “труп”.

Великий князь холодно посмотрел выразительными крупно-овальными глазами. Сказал твёрдо, негромко:

– Полковник Воротынцев говорит дело. Я для себя беру здесь много поучительного. Я нахожу, что Ставка, – он посмотрел на Данилова, тот опустил бычий лоб, а Янушкевич передёрнулся чуткой спиной, – почти не руководила этой операцией, целиком доверясь Северо-Западному фронту.

Да знал он цену Данилову! – даже в докладах, им подготовленных, он часто схватывал нить быстрее, чем сам Данилов, жвачный.

– ... А что полковник скажет неверно, вы можете тотчас поправить.

Жилинский, кряхтя, поднялся и вышел по нужде.

А велик был соблазн Верховному: вот, представлены доводы. Развить их, создать следственную комиссию. И Жилинский с позором изгнан, а Ставка чиста от обвинений.

Однако своею вчерашней милостивою телеграммой Государь указал великому князю другой путь: путь прощения, оставив перекоры. Да вот и пришёл, ещё не объявленный, высочайший указ произвести Орановского в полные генералы – материалы на производство имеют свой ход, независимый от хода боевых операций, их не повернуть.

Но как у конницы, прошедшей, хоть и с потерями, оборонительную полосу противника, сейчас у Воротынцева ещё было время и был свободный скок. Да теперь только и начиналось настоящее совещание!

– ... Однако, я хотел бы говорить шире. На что ушли силы Второй армии? На преодоление пустого бездорожного пространства собственной русской территории! Ещё до границы, ещё до соприкосновения с противником корпуса должны были **пять и шесть** суток увязать в песках! А потом на всё это пространство перекинуть снаряды, снаряжение, питание, запасы – а чем? Отчего ж запасы ещё до войны не устроили при границе?

Янушкевич поморщился, было просто больно слушать этого головинского недобитого “младотурка”. И за что великий князь устраивал им это мучение?

– Тогда бы противник мог захватить эти запасы, – объяснил-укусил он из-под пушистых усов.

– Так неужели, – вздыбился Воротынцев, с багровиной на челюсти, – лучше потерять 20 тысяч убитыми и 70 тысяч пленными, чем дюжину интендантских складов?

На Янушкевича – он смотреть не мог без отвращения! По каждому его бабьему движению видно, что это – лжегенерал, и как же может состоять начальником штаба Верховного?! И нет сил помешать ему погубить хоть и всю воюющую армию всей России...

– Склады не устраивались близ границы потому, – уверенно упёрся Данилов, – что мы предполагали на этом направлении обороняться, а не наступать.

Это было верно. Но утыкалось в поспешно изменённый план всей войны – изменённый опять-таки Жилинским, тогдашним начальником генерального штаба, впрочем и военным министром, впрочем и Государем! – впрочем, и великий князь ему сочувствовал. Тут Воротынцев не мог дать себе увлечься. Да надо было и острейшее сказать, как раз в дверях появился и брёл к своему месту Жилинский.

– ... Но главное, отчего погибла армия Самсонова, – неготовность её, как и всей русской армии, выступить так рано. Здесь известно всем, что готовность была оценена в два месяца от дня мобилизации. По крайней мере был нужен месяц.

Жилинский дошёл до своего места, но не сел – нет, слишком горячо было говорено! – он так и стал, лицом к Воротынцеву, кулаки о стол. И Воротынцев, выпятив грудь, как к драке, багряный от напряжения, ему одному швырял:

– ... Роковым решением было, из желания сделать приятное французам, легкомысленное обещание начать боевые действия на пятнадцатый день мобилизации, одну треть готовности! Обещание невежественное! – вводить наши силы в бой по частям и неготовыми!

– Ваше императорское высочество! – окрикнул Жилинский великого князя. – Здесь

оскорбляется государственная честь России, решение, одобренное Государем! По конвенции с союзной Францией...

Уже у Верховного последнюю секунду выхватывая, Воротынцев ещё метнул с ненавистью:

– По конвенции Россия обещала “решительную помощь”, но не самоубийство! Самоубийство за Россию подписали вы, ваше высокопревосходительство!!

(Янушкевича забыли, Янушкевич трусливо голову опустил. Он-то требовал от Северо-Западного ещё на четыре дня раньше...)

– И военный министр! – закричал Жилинский, но голосом надгнившим, нестрашным. – И одобрено Его Величеством! А такому офицеру, как вы, не место в Ставке! И не место в российской армии! Ваше императорское высочество!...

Скульптурно сидел стройный великий князь, нога за ногу в сторону от стола. И сказал Воротынцеву каменно, строгим ртом:

– Да, полковник. Вы переступили границы дозволенного. Вы не для этого получили слово.

Отбиралось последнее слово. Последнее – может быть, во всей военной карьере. И единый звук уступить было жалко! **знать** – и не досказать?... Уже всё потеряв, ничего не боясь, свободный ото всех запретов, только видя, как дорогобужцы несут на плечах мёртвого полковника, раненого поручика, только видя штабс-капитана Семечкина, бойкого весёлого петушка, прорвавшегося с двумя ротами звенигородцев, Воротынцев звеняще ответил Верховному:

– Ваше императорское высочество! Я – тоже офицер русской армии, как вы и как генерал Жилинский. И все мы, офицеры этой армии, отвечаем за русскую историю. И нам не позволено будет проигрывать кампанию за кампанией! Эти же французы будут завтра нас и презирать!...

Вдруг – вспыхнул великий князь редким у него приступом гнева, и осадил:

– Пол-ковник! Покиньте наше совещание!

А уже Воротынцев был облегчён, освобождён, стрела калёная вынута из груди. Хоть и с мясом. Больше ни звука. Руки по швам. Поворот, каблуком пристук. И – к двери.

А из двери навстречу – радостный адъютант:

– Ваше императорское высочество! Телеграмма с Юго-Западного!

Она! Ждали её! Великий князь, разворачивая, поднялся. И другие подымались.

– Господа! Матерь Божия не оставила нашей России! Город Львов – взят. Колоссальная победа! Надо дать сообщение в газеты.

## **ДОКУМЕНТЫ-10**

**Телеграмма, 20 августа**

**Счастлив порадовать Ваше Величество победой, одержанной армией генерала Рузского подо Львовой после семидневного непрерывного боя. Австрийцы отступают в полном беспорядке, местами бегут, бросая лёгкие и тяжелые орудия, артиллерийские парки и обозы. Неприятель понёс громадные потери, и взято много пленных...**

**Верховный Главнокомандующий,  
Генерал-адъютант НИКОЛАЙ.**

\*\*\*\*\*

**НЕ НАМИ НЕПРАВДА СТАЛАСЬ,**

## НЕ НАМИ И КОНЧИТСЯ

\*\*\*\*\*

1937 – Ростов-на-Дону

1969-1970 – Рождество-на-Истье; Ильинское

1976; 1980 – Вермонт